



Н.Э. Лейбце



СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В СЕМИ  
ТОМАХ

Н. Э. Гейнце. Собрание сочинений в 7 томах //Терра, М., 1994  
ISBN: 5-85255-458-8  
FB2: , 29 September 2017, version 2.0  
UUID: E58AB826-74E5-4DC9-BFD6-0908A8EAB481  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Эдуардович Гейнце

**Том 2. Дочь Великого Петра.  
Современный самозванец**  
(Н. Э. Гейнце. Собрание сочинений в 7 томах  
#2)

Во второй том вошли «Дочь Петра Великого» и «Генералиссимус Суворов».

# Содержание

— ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО — . . . . .	0005
Часть первая . . . . .	0005
Часть вторая . . . . .	0253
Часть третья . . . . .	0505
— СОВРЕМЕННЫЙ САМОЗВАНЕЦ — . . . . .	0797
Часть первая ПО ТЮРЬМАМ . . . . .	0797
Часть вторая В ВЕЛИКОСВЕТСКОМ ОМУТЕ	1075
Часть третья ВСЯКОМУ СВОЕ . . . . .	1432

**Николай Гейнце**

# — ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО



## Часть первая

### I

## СМЕРТЬ В ЦВЕТАХ

**В** ноябре 1758 года с быстротою молнии облетело весь Петербург известие о загадочной смерти молодой красавицы княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, происшедшей при необычайной, полной таинственности, обстановке, и взволновало не только высшую придворную сферу, в которой вращалась покойная, но и отдаленные окраины тогдашнего Петербурга, обитатели которых узнали имя княжны только по поводу ее более чем странной кончины.

Покойная была найдена утром 16 ноября 1758 года мертвой в своем будуаре. Она лежала на кушетке, в красном бархатном домашнем костюме, почти сплошь засыпанная цветами. Роскошный букет белых роз лежал у нее на груди. Ее лицо было спокойно, поза

непринужденна, и княжна могла казаться спящей, если бы не широко открытые, оставившиеся, черные как уголь глаза, в которых отразился весь ужас предсмертной агонии.

Туалет княжны был в порядке, и в уютной комнате не было заметно следов ни малейшей борьбы. На лице, полуоткрытой шее и на руках не видно было никаких знаков насилия. Прекрасные волосы княжны были причесаны высоко, по тогдашней моде, и прическа не была растрепана; соболиные брови оттеняли матовую белизну лица с выдающимися по красоте чертами, а полненькие губки были полуоткрыты, как бы для поцелуя, и обнаруживали ряд белых как жемчуг зубов, крепко стиснутых.

Цветы, которыми была осыпана покойница, видимо, были только что сорваны, так как наутро, когда вошедшая горничная увидела первую эту поразительную картину, они были свежи и благоухали.

На шее княжны блестело драгоценное ожерелье, а на изящных руках сверкали драгоценные камни в кольцах и браслетах. В ми-

ниатюрных ушках горели, как две капли крови, два крупных рубина серег.

В правой руке покойной был зажат лоскуток бумажки, на котором были по-французски написаны лишь три слова: «Измена — смерть любви».

Розысками было обнаружено, что княжна с вечера довольно рано отпустила прислугу, имевшую помещение в людской — здании, стоявшем в глубине двора загородного дома княжны Полторацкой, на берегу Фонтанной, где покойная жила зиму и лето, и даже свою горничную отправила в ее комнату, находившуюся в другом конце дома и соединенную с будуаром и спальней княжны проволокой звонка.

Горничная Агаша показала, что княжна по вечерам принимала тайком не бывавших у нее днем мужчин и всегда окружала эти приемы чрезвычайной таинственностью, как было и в данном случае.

— Беспременно их сиятельство кого-нибудь ждали, — сказала она допрашивавшему ее полицейскому чину.

— «Ждали, ждали»! — передразнил ее

тот. — Этого мало... Но был ли кто-нибудь?

— Уж таить пред вами, ваше благородие, нечего: у их сиятельства вчера действительно гость был, а только кто именно, не знаю...

— Как не знаешь?

— Да так, слышала я из-за двери голос мужской, а в замочную скважину, как ни старалась, разглядеть не могла.

Видно было, что Агаша говорит совершенно искренне, но, впрочем, это не помешало полицейскому чину пугнуть ее строгою ответственностью за упорное запирательство.

Однако ретивость полицейского была прервана в самом начале. В дело вмешалась высшая полицейская и судебная власть, но и ей не пришлось раскрыть тайну загадочной смерти княжны Полторацкой. При докладе об этом происшествии государыня императрица Елизавета Петровна заметила: «Жаль, жаль бедную, в цвете лет покончить с собою... Я давно заметила, что она не в полном уме!» И эти высочайшие слова дали направление делу, или, лучше сказать, прекратили его.

Княжна была похоронена по православному обряду на Смоленском кладбище. Весь Пе-



тербург был на этих похоронах. Говорили даже, что в числе провожатых была сама императрица, скрывавшая свое лицо под низко надетым капюшоном траурного плаща.

Тайна смерти княжны Полторацкой таким образом до времени была скрыта под толстым слоем земли и временно поставленным большим деревянным крестом. Только двое людей из великосветского общества знали более других об этой таинственной истории. Это были два молодых офицера: граф Петр Игнатьевич Свиридов и князь Сергей Сергеевич Луговой.

Накануне дня рокового происшествия в загородном доме княгини Полторацкой в городском театре, находившемся в то время у Летнего сада, шла трагедия Сумарокова «Хорев». Часть публики обратила, между прочим, внимание, что два молодых офицера, не дождавшись окончания действия, выбежали из зрительного зала. Все заметили, что они оба очень часто посматривали на ложу, в которой среди других придворных дам находилась княжна Людмила Васильевна Полторацкая, затем подошли друг к другу, сказали

один другому несколько слов на ухо и быстро вышли.

Их поведение особенно подозрительным показалось бывшему в театре любимцу императрицы Ивану Ивановичу Шувалову, знавшему обоих молодых людей. Он вышел вслед за ними, и ему удалось догнать их в совершенно пустом во время действия коридоре театра и услышать следующий разговор:

— Прежде всего одно слово объяснения, — сказал Свиридов. — Вы ведь смотрели на княжну Полторацкую?

— Да, — спокойно ответил князь Луговой.

— Вы смотрели на нее как-то особенно и, казалось, были удивлены, что я смотрел на нее точно так же?

— Совершенно справедливо.

— Я имею право... — начал было Свиридов, но князь перебил его:

— По всей вероятности, и я имею такое же право смотреть на нее, как и вы?

— Именно это право я и отрицаю.

— А я отрицаю ваше право.

— В таком случае, я пришлю к вам секундантов.

— Я к вашим услугам.

— Позвольте, господа! — раздался около них голос Ивана Ивановича Шувалова. — Мне хочется знать, с какой стати вы даете такой дурной пример публике, ведя себя точно сумасшедшие. Хорошо еще, что не все зрители в зале заметили ваше странное поведение и ваш бешеный выход, иначе вы были бы завтра сплетней всего Петербурга. В чем дело, объясните, пожалуйста! Что-нибудь очень важное и таинственное?..

— Да, — прервал его Свиридов. — Причина очень важная... Я уже вызвал князя на дуэль...

— Какая бы ни была причина, я не одобряю такой поспешности. Надо было объясниться...

— Мы уже объяснились здесь в течение одной минуты.

— Все это хорошо, но позвольте вам дать добрый совет. Поедьте ко мне, там вы объяснитесь между собою основательно и хладнокровно, в моем присутствии. Я ни в чем не буду влиять на ваше решение и выскажу свое вполне беспристрастное мнение. Согласны ли

вы?

Оба недавние друга, теперь враги, последовали этому совету.

Дом Ивана Ивановича Шувалова стоял на углу Невского проспекта и Большой Садовой и был выстроен в два этажа, по плану архитектора Кокоринова, ученика знаменитого Растрелли. Обстановка комнат была роскошна. Богатые их анфилады были все увешаны портретами и картинами.

Туда-то и отправились все трое из театра, не доглядев представления.

Хозяин провел своих гостей в угловую комнату о семи окнах, служившую ему кабинетом. Последний отличался укромностью и уютностью, которые придавали ему большие шкафы, наполненные книгами, турецкие диваны, ковры и массивные портьеры.

Иван Иванович уселся в покойное кресло у письменного стола, тогда как оба молодых человека были еще до такой степени возбуждены, их головы были так бешено настроены, что не могли спокойно оставаться на местах и ходили взад и вперед по комнате, как бы стараясь не столкнуться друг с другом.

Несколько времени в кабинете царила тишина.

— Итак, господа, кто же первый начнет исповедь? — прервал молчание хозяин дома. — Я слушаю.

## II ДВЕ ЗАПИСКИ

— Я, — ответил Свиридов. — Дело очень просто: в течение целого часа князь, как я заметил, не спускал глаз с ложи, где сидела одна дама, причем его взгляды были чересчур выразительны.

— Позвольте, — прервал Шувалов, — нечего облекать все это таинственностью, я очень хорошо знаю, в чем дело.

— Во всяком случае, я никого не назвал. Итак, князь Луговой очень пристально вглядывался в даму, которая и не думала отворачиваться от него; я даже заметил, что они раз обменялись довольно красноречивыми взглядами, и это возмутило меня. В то же мгновение дама, заметив, что я смотрю на нее, обернулась в мою сторону и наградила меня такою прелестною улыбкой, которая разом усмирила мой гнев.

— А меня привела в бешенство! — воскликнул князь Луговой. — Я окинул Свиридова свирепым взглядом.

— Я ответил тем же.

— Мы вышли из зрительного зала, а остальное вы знаете...

— Очень хорошо, но позвольте сделать один вопрос: какое право имел один из вас запрещать другому смотреть на эту даму так, как ему хотелось?

— Право, приобретенное вследствие исключительных отношений.

— Как исключительных? — прервал Свиридова князь Луговой. — Что вы под этим разумеете?

— Что разумею? Да то, что вы сами разумеете, — ответил тот.

— В таком случае, я нахожусь с нею в тех же отношениях, как и вы.

— Желательно было бы, чтобы вы представили доказательства.

— Боюсь, не будет ли это неделикатно или даже бесчестно. А между тем надо же доказать, что действуюешь и говоришь не наобум и что все-таки в человеке осталась хотя капля

мозга. Впрочем, мы оба находимся в довольно затруднительном положении, и некоторые исключения из общего правила могут быть дозволены.

Сказав это, князь Луговой вынул из кармана своего мундира маленькую записку, кокетливо сложенную треугольником.

— Это что такое? — спросил Иван Иванович.

— Если здесь говорится о правах, так и я представлю доказательство таких же прав.

Свиридов с любопытством следил взором за движениями князя. Увидев, что тот вынул из кармана маленькую записку, он вынул такую же, во всем похожую на первую, и поднес ее к документу, представленному его соперником.

Удивление троих собеседников не имело границ.

Иван Иванович осмотрел обе записки. Адрес был написан одной и той же рукой.

— Почерк один и тот же, но, может быть, обе записки противоречат одна другой. Пусть князь прочитает адресованную ему записку.

— Но ведь это нечестно! — возразил князь

Луговой.

— Тут нет ничего нечестного, это исповедь! — ответил Шувалов.

— В таком случае, я начинаю, — с нетерпением сказал Петр Игнатьевич и прочел: — «Милый Петя, ты не можешь себе представить, как напряженно я все думаю о тебе, когда тебя не вижу. Твое присутствие до такой степени необходимо мне, что, когда тебя нет возле меня, мне кажется, что я одна на свете. Жизнь без тебя точно пустыня».

— Позвольте! — воскликнул князь Луговой, державший свое письмо открытым, и продолжал: — «Жизнь без тебя точно пустыня, по которой я блуждаю, мучимая тоской и грустью».

— Да ведь это мое письмо! — вскрикнул Свиридов.

— Вовсе нет, мое! — ответил князь. — Оно даже начинается — «Милый Сережа».

Шувалов сличил записки. Они были как две капли воды похожи одна на другую.

— Здесь даже не требуется суда царя Соломона, — заметил он. — Всякому свое.

Князь и Свиридов посмотрели друг на дру-



га, обменялись записками, пробежали их молча глазами и возвратили друг другу, затем снова посмотрели друг другу в глаза и вдруг, гомерически расхохотавшись, оба скорее упали, нежели сели на один из диванов.

На красиво очерченных губах Шувалова тоже играла улыбка.

— Ну, — сказал он им, — стоило ли из-за этого убивать друг друга? Если бы я не подал вам совета объясниться хладнокровно и обстоятельно, один из вас, быть может, через несколько дней лежал бы в сырой земле. Эх вы, юнцы! Знайте же раз навсегда, что не стоит драться из-за женщины.

— Что теперь нам делать? — спросили оба соперника.

— Посоветовать что-нибудь очень трудно, — ответил Шувалов. — Впрочем, садитесь за стол, я дам вам карты, и вы без всякого волнения, без всякой ревности, с картами в руках вместо шпаг, можете оспаривать друг у друга свою возлюбленную и дадите обещание заранее подчиниться велению судьбы.

— Нет сомнения, что это было бы весьма благоразумно, — сказал князь Луговой. — Но

в чем же, собственно говоря, состояло бы здесь наказание для этой женщины? Ведь в данном случае необходимо, чтобы порок был наказан. Женщина, которая вследствие обмана и кокетства готова была причинить такое страшное несчастье, должна потерпеть наказание. Что скажете вы на это, Петр Игнатьевич?

— Дорогой князь, я нахожу это приключение до того смешным и так много хохотал, что не имею решительно никакого мнения.

— Итак, карты вам не нравятся? — сказал Шувалов. — А между тем это было бы средство очень легкое и практическое. Впрочем, есть еще другое средство: пусть каждый из вас, по обоюдному согласию, обещает никогда не встречаться с изменницей. Увидев, что ее оставили так внезапно, она, быть может, поймет, какую страшную ошибку сделала. Наверное, она почувствует и сожаление, и некоторого рода тревогу.

— Этого недостаточно! — возразил Луговой. — А вот что, если бы мы пришли к ней с письмами в руках и показали их ей, не говоря ни слова, а затем разорвали бы их в ее при-

сутствии с величайшим презрением?

— Это очень хорошо, — поддержал Иван Иванович. — Но каким образом исполните вы эту удачную мысль? Явитесь ли вы к княжне среди белого дня в ее гостиной, в то время когда она, может быть, принимает гостей? Это будет недостойно таких порядочных людей, как вы, и месть будет чересчур сильна.

— Совершенно справедливо, — согласился князь Луговой. — Но я не так выразил свою мысль. Мы явимся тихонько вечером, пройдя в маленькую садовую калитку... Не так ли, Петр Игнатьевич?

— А если калитка будет заперта? — возразил Шувалов.

— Ключ обыкновенно дают нам, и, без сомнения, попеременно. У кого ключ сегодня?

— У меня, — вздохнул Свиридов.

— А, теперь понятен ваш гнев! Когда же мы исполним свой план?

— Завтра вечером, князь, если вы не прочь от этого. Мы войдем, когда княжна, верная своим привычкам, отошлет слуг, войдем так, как будто каждый из нас действует для самого себя лично, украдкой, как двое влюблен-

ных, желающих провести приятно время, тем более что все это — совершенная правда. Если хотите, я зайду за вами, князь, и мы отправимся вместе.

— Прекрасно.

Они ушли и на другой день вечером исполнили свой замысел.

Придя к садовой калитке и убедившись, что набережная Фонтанной совершенно пуста, они воспользовались ключом, отданным Свиридову, и проникли в сад. Ночь была довольно темна, но приятели-соперники знали дорогу. Боковая лестница вела от угла дома и позволяла его обитателям спускаться в сад, минуя парадную лестницу, выходящую на двор. Свиридов и Луговой направились к этой лестнице, как будто нарочно устроенной для подобного рода таинственных и любовных приключений, и поднялись наверх.

Вскоре они очутились в маленькой, хорошо знакомой им передней, которая была рядом с будуаром княжны Полторацкой. Оттуда доносились до них голоса. Офицеры толкнули друг друга и тихо приблизились к двери.

Дверь будуара наполовину была стеклян-

ная, но занавес из двойной материи совершенно скрывал ее. Однако он не был настолько толст, чтобы нельзя было слышать, что говорят в другой комнате.

И действительно, самые нежные уверения в любви и самые страстные ответы на них ясно доказывали присутствие влюбленной пары, воспользовавшейся минутным уединением и тишиною в доме. Увлекающий голос княжны преобладал в этом сантиментальном дуэте.

Свиридов и князь Луговой обменялись следующими фразами:

— С кем она может быть?

— Необходимо узнать; отдерни занавес!

Сказано — сделано, и то, что увидели приятели за приподнятым краем портьеры, заставило их сдавленным шепотом воскликнуть в один голос:

— Вот оно что!

Княжна Людмила Васильевна сидела на коленях у красивого брюнета, расточала ему и получала от него самые нежные ласки.

Офицеры молча опустили занавес и молча удалились из комнаты и из сада, оставив

ключ в замке калитки.

Когда на другой день распространились слухи о трагической смерти княжны Полторацкой, первую мысль как князя Лугового, так и Свиридова было заявить по начальству о своем ночном визите в дом покойной. Они зашли посоветоваться к Ивану Ивановичу Шувалову.

Однако не успели они начать свой рассказ, как «любимец императрицы» перебил их, сказав:

— Ее величество очень сожалеет, что молодая особа так рано и так безвременно покончила с собою.

— Покончила с собою! — воскликнули в один голос князь Луговой и Свиридов. — Но ведь...

— Ее величество сегодня часа два беседовала с близким к покойной человеком, — и Иван Иванович назвал лицо, которое Луговой и Свиридов видели в роковую ночь в будуаре княжны Полторацкой.

Последние переглянулись друг с другом.

— Впечатление беседы, — продолжал Шувалов, — для него было очень тяжелое... Все

заметили, что в эти проведенные с глазу на глаз с ее величеством часы у него появилась седина на висках. Завтра утром он уезжает в действующую армию.

### III

## ДВЕ АННЫ ИОАННОВНЫ

В один из ноябрьских вечеров 1740 года в уютной комнате внутренней части дворца в Летнем саду, отведенной для жительства любимой фрейлине императрицы Анны Иоанновны Якобине Менгден, в резном кресле сидела в задумчивости ее прекрасная обительница.

Этот дворец Анны Иоанновны был построен в 1731 году на месте нынешней решетки Летнего сада, выходящей на набережную Невы. Он был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством.

Фрейлина Якобина Менгден была высокою, стройною девушкою с пышно причесанными белокуроыми волосами, окаймлявшими красивое лицо с правильными чертами; нежный румянец придавал этому лицу какое-то детское и несколько кукольное выражение,

но синие глаза, загоравшиеся порой мимолетным огоньком, а порой заволакивавшиеся дымкой грусти, и чуть заметные складочки у висков говорили иное. Они указывали, что их обладательница, несмотря на свой юный возраст (ей шел двадцать второй год), относилась к жизни далеко не с ребяческой наивностью, да и что сама эта жизнь успела показать ей далеко не казовый конец свой.

Сидевшая была одета в глубокий траур с широкими плерезами. Ее прекрасные глаза носили следы многодневных слез, причем слезы этой фрейлины покойной императрицы принадлежали к числу искренних. Она не только оплакивала свою действительно любимую благодетельницу-царицу, но чувствовала, что со смертью Анны Иоанновны ее личная судьба, еще так недавно улыбавшаяся ей, день ото дня задерживается дымкой грустной неизвестности.

На маленьком столике, стоявшем у кресла, лежало открытое, только что прочитанное письмо от сводной сестры Менгден, Станиславы Лысенко. В нем последняя жаловалась на своего мужа и просила защиты у «сильной



при дворе» сестры.

— «Сильной при дворе!..» — с горькой улыбкой повторила Якобина фразу письма. — Сестра там, далеко, не знает, что произошло здесь в течение месяца с небольшим!

Действительно, приди письмо это ранее, когда была жива государыня или когда правил государством «герцог», по-отечески относившийся к ней, тогда, конечно, она не дала бы в обиду Станиславы. Но что она такое теперь?.. Фрейлина покойной и даже опальной после смерти царицы. Она бессильна сделать что-нибудь даже для себя, а не только для других... Вот ей советуют обратиться к цесаревне. Впрочем, говорят, что ее судьбой хочет заняться правительница Анна Леопольдовна. Но все это говорят... А она сидит безвыходно у себя в комнате. О ней все забыли среди придворных треволнений, пережитых ее окружающими за этот с небольшим месяц.

Треволнений при русском дворе действительно было пережито много.

С начала октября императрица Анна Иоанновна стала прихварывать, и это, конечно, не могло не отразиться на состоянии духа при-

дворных вообще и близких к императрице людей в частности. Правда, внезапное нездоровье Анны Иоанновны вначале было признано врачами легким недомоганием и не представляло, по их мнению, ни малейшей опасности; однако весь двор был взволнован происшествием, случившимся в одну из ночей за неделю до смерти Анны Иоанновны в Летнем дворце.

Вот как рассказывают об этом происшествии современники.

Караул по обыкновению стоял в комнате, смежной с тронным залом. Часовой был у открытых дверей. Императрица Анна уже удалилась во внутренние покои дворца. Было уже за полночь, и офицер ушел, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой позвал на караул, солдаты выстроились, офицер вскочил и вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят — императрица ходит по тронному залу взад и вперед, задумчиво склонив голову и, по-видимому, не обращая ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожидании, но наконец странность ночной прогулки начинает всех смущать. Офицер, видя, что государыня не желает

ет идти из зала, решается наконец пройти другим ходом и спросить, не знает ли кто намерения государыни. Он встречается с герцогом Бироном.

— Ваша светлость, — рапортует он ему, — ее величество изволит уже с полчаса прогуливаться по тронному залу, и мы в недоумении относительно намерения ее величества.

— Что за вздор? Не может быть! — отвечает Бирон. — Я сейчас от государыни — она отправилась в спальню ложиться.

— Взгляните сами, ваша светлость, она в тронном зале.

Бирон идет и тоже видит прогуливающуюся государыню.

— Это что-нибудь не так, — ворчит он, — здесь или заговор, или обман, чтобы действовать на солдат.

Он отправляется к императрице и уговаривает ее выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся некоторым сходством с нею, чтобы морочить людей. Императрица решается выйти. Бирон идет с нею. Они ясно видят женщину, поразительно похожую на императрицу, однако несколько

не смутившуюся при появлении последней.

— Дерзкая! — говорит герцог и вызывает весь караул.

Солдаты и некоторые из сбежавшихся придворных слуг видят «две Анны Иоанновны», из которых настоящую и призрак можно отличить только по наряду и по тому, что настоящая императрица пришла с Бироном.

Императрица, простояв с минуту, в удивлении подходит к женщине и спрашивает ее:

— Кто ты? Зачем ты пришла?

Не отвечая ни слова, привидение пятится, не сводя глаз с императрицы, к трону, всходит на него и на ступенях, обращая взор еще раз на императрицу, исчезает.

Императрица обращается к Бирону и взволнованным голосом произносит:

— Это моя смерть!

Императрица удалилась к себе, караул пошел на свои места, а герцог Бирон, задумчивый и встревоженный, отправился в свои апартаменты, находившиеся в том же Летнем дворце.

Ему было о чем встревожиться и над чем задуматься. Высоте положения и почестей, на

которой он находился в настоящее время, он был всецело обязан своей государыне, и вдруг она только что сказала ему: «Это моя смерть!»

Неизбежность этой смерти предстала перед духовным взором герцога, и в его уме возник вопрос: что принесет ему эта смерть? Ожидаемое ли возвышение почти до власти русского самодержца или же падение с головоломной высоты, на которую он взобрался благодаря судьбе и слепому случаю?

Действительно, его дед в половине XVII века был конюхом герцога Якова III Курляндского. У этого конюха родился в феврале 1653 года сын, которого называли Карлом.

Уже этот Бирон сделал значительную карьеру. Он изучил охоту и занимал впоследствии довольно видную должность в герцогском лесном ведомстве. Этим он был поставлен в возможность не только вести обеспеченную жизнь, но открыть своим трем сыновьям перспективу на карьеру, гораздо более блестящую, чем та, которую он сделал сам.

Возрастающее значение его второго сына Эрнста-Иоганна при дворе овдовевшей герцогини Анны Курляндской, впоследствии рус-

ской императрицы, было поворотным пунктом в счастливой перемене судьбы всей фамилии Биронов. Тогда-то Карл Бирон и трое его сыновей удачно изменили свою фамилию и из Бюренов (Bühren) сделались Биронами (Biron). Вместе с тем они приняли и герб этой знаменитой во Франции фамилии.

Эрнст-Иоганн, второй сын Карла Бирона, родился 12 января 1690 года. Он и его братья получили в доме отца очень посредственное воспитание. Чтобы восполнить его, Эрнст Бирон отправился в Кенигсберг. Прослушав там университетский курс, он поехал в Петербург, с целью отыскать себе место, но не нашел такого, которым могло бы удовлетвориться его честолюбие. Он просился в камер-юнкеры при дворе цесаревича Алексея, сына Петра I, но ему было отказано в этом с презрительным замечанием, что он слишком низкого происхождения. Тогда Эрнст-Иоганн возвратился в Митаву, и тут его искание места имело большой успех. Овдовевшая герцогиня Анна Курляндская назначила его в 1720 году своим камер-юнкером, а так как он был очень красив, то вскоре она избрала его в свои лю-

бимцы.

Соблюдавшая в своей жизни строгое приличие, герцогиня настояла, чтобы Эрнст-Иоганн Бирон женился. Но исполнение этого плана герцогини Анны встретило большие затруднения: богатые курляндские дворяне не желали принимать в семью человека без имени.

Наконец один дворянин согласился на это. Это был Вильгельм фон Трот, прозванный Трейденем, бывший в крайне стесненных обстоятельствах. Он выдал за Эрнста Бирона свою дочь, девятнадцатилетнюю Бенигну-Готлибу.

Таким образом, это желание герцогини было исполнено, но зато другое — видеть своего любимца местным дворянином, чего и сам Бирон сильно добивался, не увенчалось успехом в бытность Анны Иоанновны герцогиней Курляндской. Высокое во всем другом значение герцогини разбивалось о стойкость курляндского дворянства, защищавшего свои права.

В 1730 году Анна Иоанновна была избрана императрицей России, и Бирон тотчас же до-

стиг высших почестей. Он начал с того, что сделался камергером; вскоре немецкий император возвел его в графское достоинство; потом он стал обер-камергером и кавалером ордена Св. Андрея. За этим последовали знаки отличия от различных дворов, бывших в союзе с русским.

Подкупам и интригам русский двор довел дело до того, что в 1737 году, когда вымер род Кеттлера, курляндские дворяне сочли за честь избрать в герцоги того, которого они десять лет тому назад не пожелали признать даже только равным себе. В 1739 году новый герцог получил инвеституру на свою землю через депутацию в Варшаве, у трона короля. В июле того же года германский император, по собственному побуждению, прислал герцогу диплом на титул светлейшего.

Таким образом, приобретя наибольшие верховные права, Бирон достиг наивысшего ранга среди русских государственных сановников. Его власть в России тоже достигла высшей степени. Его богатство росло ежедневно; его доходы были велики, его пышность спорила с царскою. Да и немудрено: ведь все



средства к его обогащению на счет русского народа были в его руках.

Все это полное торжества прошлое его безмерного честолюбия пронеслось в голове Бирона в то время, когда он возвращался к себе после услышанных им из уст императрицы Анны Иоанновны роковых слов: «Это моя смерть!»

Что принесет ему эта смерть? Себялюбивый и черствый, он не думал в это время об императрице не только как о женщине, но даже как о друге и благодетельнице. При самых малейших колебаниях его судьбы на первый план выступало его «я», и этому своему единственному богу Эрнст-Иоганн Бирон готов был пожертвовать всеми и всем.

Он, конечно, обеспечил сохранение или даже возвышение своего положения на случай смерти императрицы Анны Иоанновны, но какое-то странное предчувствие говорило ему, что это обеспечение непрочное, что будущее все же лежит пред ним загадочным и темным.

#### IV

## ПРЕДЧУВСТВИЯ СБЫВАЮТСЯ

Предчувствие Анны Иоанновны сбылось — 17 октября 1740 года ее не стало. На российский престол вступил Иван Антонович, сын герцога Брауншвейгского Антона и Анны Леопольдовны, а Эрнст-Иоганн Бирон, герцог Курляндский, был назначен до совершеннолетия его величества, лежавшего в то время еще в колыбели, регентом Всероссийской империи.

По смерти императрицы Бирон вступил в управление государством. Но — увы! — и его томительное предчувствие в ночь после появления во дворце двойника императрицы Анны Иоанновны должно было сбыться.

Его появление в роли регента было последней вспышкой потухавшего огня. Он получил титул «высочества», давал и подписывал от имени императора некоторые дарения членам императорской фамилии, распоряжения о милостях и другие документы, обнародоваемые обыкновенно при начале нового царствования.

Родители императора не могли сопротивляться. Герцог Антон, не имевший связей в чужой стране, был, кроме того, труслив от

природы и изнежен. Герцогиня Анна Леопольдовна, которой шел в то время двадцать второй год, была кротка и доверчива, но необразованна, нерешительна, что объясняется забитостью со стороны тирана отца и грубостью матери, напоминавшей свою сестру, Анну Иоанновну. Она ни во что не вмешивалась и проводила целые дни в домашнем туалете с фрейлиной, смертельно скучая. Она не любила мужа, навязанного ей «проклятыми министрами», как она выражалась сама, и занималась лишь тем, что жаловалась на свою судьбу ловкому и красивому графу Линару, саксонскому посланнику. Эрнста Бирона она боялась как огня.

Он действительно обращался с родителями императора свысока.

К тому же они были сравнительно обижены. Регенту, обладателю четырех миллионов дохода, назначено было пятьсот тысяч рублей пенсии, а родителям императора — только двести.

Герцог Антон попытался было показать свое значение, но был за это, по распоряжению регента, подвергнут домашнему аресту с

угрозой испробовать рук грозного тогда начальника Тайной канцелярии Ушакова.

Пошли доносы и пытки за каждое малейшее слово, неприятное регенту, спесь и наглость которого достигли чудовищных размеров. Он громко, не стесняясь, стал говорить о своем намерении выслать из России «Брауншвейгскую фамилию».

Поведение регента стало нестерпимо. На улицах, несмотря на ужасы, творившиеся в застенках Тайной канцелярии, собирались мрачные толпы народа, в которых слышался ропот. Любимец солдат, оттертый фаворитом от заслуженного первого места, отважный Миних предложил Анне Леопольдовне освобождение от ненавистного ей регента и получил согласие.

Вот как описывает исполнение этого плана в своих записках адъютант фельдмаршала Миниха подполковник Манштейн:

«В последнее воскресенье, приходившееся на 9 ноября 1740 года, его превосходительство генерал-фельдмаршал граф Миних позвал меня к себе в три часа ночи. Когда я явился к его превосходительству, мы пошли в Зимний

дворец к ее императорскому высочеству принцессе. Генерал-фельдмаршал сказал ей, что явился, чтобы получить от нее последние повеления, и приказал мне созвать офицеров стражи. Они явились, и принцесса со слезами на глазах сказала им, что они, конечно, знают, как герцог-регент обходится с императором, с нею и ее супругом; что регент выказывает относительно нее так много злой воли, что имеет, как должно думать, намерение захватить императорский трон. „Чтобы предупредить это несчастье, — продолжала Анна Леопольдовна, — я повелеваю вам исполнять распоряжения генерал-фельдмаршала и арестовать регента“. Все, не задумываясь ни минуты, дали свое согласие. Растроганная Анна Леопольдовна не только допустила всех к своей руке, но обняла каждого из присутствовавших».

Прямо из Зимнего дворца фельдмаршал Миних с сорока избранными людьми направился в Летний дворец, но, не доходя до него, послал Манштейна к караулу дворца, заявить караульным офицерам, чтобы они вышли для получения известий чрезвычайной важно-

сти. Офицеры охотно последовали за полковником Манштейном, и когда генерал-фельдмаршал передал им приказание принцессы, все они, как один человек, вызвались повиноваться.

Полковник Манштейн отправился с двенадцатью солдатами во внутрь Летнего дворца и беспрепятственно достиг спальни герцога Бирона. Он вошел в нее, отдернул полог кровати и громко спросил: «Где регент?» Герцогиня, первая увидевшая в спальне постороннего офицера, подняла крик. Герцог тоже вскочил с постели и закричал: «Стража!» Манштейн бросился на герцога и держал его, пока не вошли в комнату гренадеры. Они схватили его, а так как он, бывший в одном белье, вырываясь, бил их кулаками и кричал благим матом, то они принуждены были заткнуть ему рот носовым платком, а внеся в приемную, связать. Регента посадили в карету фельдмаршала Миниха с одним из караульных офицеров, солдаты окружили карету, и таким образом пленник был доставлен в Зимний дворец.

В ту же самую злополучную для Биронов ночь к красивому дому Густава Бирона, брата

регента, на Миллионной улице, отличавшемся от других изящным балконом на четырех колоннах серого и черного мрамора, явился прямо из Летнего дворца Манштейн с командой.

Густав Бирон спал, ничего не опасаясь. Домовый караул, состоявший из измайловских гренадер при унтер-офицере, бдительно оберегал своего командира, и часовые сначала не хотели пропускать Манштейна. Однако под угрозой силы императорского указа и смерти за сопротивление они должны были уступить.

Манштейн, подойдя к дверям спальни Густава, окликнул его и заявил, что ему необходимо переговорить с хозяином дома о чрезвычайно важном деле.

Густав Бирон поспешил выйти к ночному гостю. Они приблизились к окну, и тут Манштейн, схватив Бирона за руки, сказал:

— Именем его императорского величества государя императора Иоанна VI я вас арестую.

— Что? — воскликнул Густав Бирон. — Меня, брата регента?

— Ваш брат более не регент, а такой же

арестант, как и вы!

— Это сказки, подполковник, — рассмеялся Густав Бирон и начал вырываться от Манштейна, но вошедшая в эту минуту команда, позванная Манштейном, кинулась на Густава; ему связали руки ружейным ремнем, заткнули рот платком, закутали в первую попавшуюся шубу, вынесли на улицу, впихнули в сани, приготовленные заранее, и повезли на гауптвахту Зимнего дворца.

Здесь Густав Бирон уже нашел своего брата-герцога арестованным со всем семейством и там просидел под стражею до сумерек 9 ноября. В это время к дворцовой гауптвахте подъехали два шлафвагена, в одном из которых поместилось все семейство герцога Курляндского, отправлявшегося на ночлег в Александро-Невский монастырь, с тем чтобы на другой день оттуда следовать в Шлиссельбург, а в другой посадили Густава Бирона и увезли в Ивангород.

В ту же ночь был арестован и зять герцога Бирона, генерал Бисмарк.

Ввиду того что Густаву Бирону надлежит играть в нашем повествовании некоторую



роль, мы несколько дольше остановимся на его личности, тем более что он являлся исключением среди своих братьев — Эрнста-Иоганна, десять лет терзавшего Россию, и генерал-аншефа Карла, страшно неистовствовавшего в Малороссии.

## V

### ГУСТАВ БИРОН

Густав Бирон родился в 1700 году, в отцовском именьеце Каленцеем, и рос в ту пору, когда его родина Курляндия была разорена войною, залегала пустырями от Митавы до самого Мемеля, недосчитывалась семи восьмых своего обычного населения, зависела и от Польши, и от России, содержала на свой счет вдову умершего герцога Анну Иоанновну, жившую в Митаве, и заочно управлялась герцогом Фердинандом, последнею отраслью Кеттлерова дома, не выезжавшим из Данцига и не любимым своими подданными. Все это представляло упадок страны, и, разумеется, препятствовало развитию в ней просвещения, которое, доставаясь с трудом местному благородному юношеству, не могло быть уделом детей капитана Бирона.

Таким образом, Густав, воспитываясь в доме родительском, оставался круглым невеждою, что, при ограниченном от природы уме его, не могло, как казалось, обещать ему особенно блестящую карьеру.

Но начать какую-нибудь было необходимо, и Густав задумал вступить на военное поприще, как более подходящее к его личным инстинктам и действительно скорее прочих выводившее «в люди».

По обычаю соотечественников, Густав намеревался искать счастья в Польше, с которой Курляндия состояла с 1551 года в отношениях ленного владения. К тому же в Польшу его манило то обстоятельство, что в ее армии уже давно служил его родной дядя по отцу и туда же недавно определился брат Густава — Карл, бывший до того русским офицером и бежавший из шведского плена в Польшу.

Совместно с этими-то близкими родичами начал Густав свою военную карьеру и первоначально продолжал ее с горем пополам. Последнее происходило оттого, что Польша была вообще не благоустроеннее Курляндии, беспрерывно возмущалась сеймами, не ужи-

валась со своими диссидентами, наконец, не воюя ни с кем, что лишало Густава возможности отличиться, не наслаждалась и прочным миром. К тому же Густав, наряду со всею армиею, зачастую получал свое жалованье гораздо позже надлежащих сроков и в этом отношении должен был зависеть от сбора поголовных, дымных, жидовских и других денег, определяемых сеймами.

Таково было житье-бытье Густава в Польше, пока в Курляндии одинаково неуспешно тягались за герцогскую корону Мориц Саксонский и князь Меншиков, а в России скончался Петр I, за которым сменились на его престоле Екатерина и другой Петр.

В 1730 году состоялось избрание на русский престол герцогини Курляндской Анны Иоанновны, и судьба Густава Бирона, тогда капитана польских войск, изменилась к несравненно лучшему. Его брат Эрнст стал властным временщиком у русского престола. Получив его приглашение, братья в том же 1730 году прибыли в Россию, где старший, Карл, из польских подполковников, был переименован в русские генерал-майоры, а млад-

ший, Густав, капитан панцирных войск Польской республики, сделан майором лейб-гвардии Измайловского полка, только что учрежденного и вверенного командованию графа Левенвольда, который душой и телом был предан графу Эрнсту-Иоганну Бирону.

Густав усердно отдался делу, вдохновляемый своим всесильным братом и осыпаемый милостями государыни. После смотра 27 января 1732 года императрица пожелала явить брату подданного ей обер-камергера особую высочайшую милость, и 3 февраля, в день именин государыни, он был, по сказанию тогдашних «Ведомостей», «обручен при дворе с принцессой Меншиковой[1]. Обоим обрученным показана при том от ее императорского величества сия высокая милость, что ее императорское величество их перстни высочайшею особою сама разменять изволила».

Но вдумываться в такую судьбу княжны, конечно, не приходилось ее нареченному жениху, теперь, как и прежде, занятому преимущественно полком и службой.

Так прошел пост.

9 апреля наступила Пасха, 27 апреля состо-

ялся торжественный въезд в Петербург китайского посольства. 28 апреля великолепно отпраздновали годовщину коронавания Анны Иоанновны, а 4 мая Густав Бирон стал мужем княжны Меншиковой, о чем современные «Ведомости» повествуют следующее:

«Заклученное в прошедшем феврале месяце сочетание законного брака между принцессою Меншиковою и господином майором лейб-гвардии Измайловского полку фон Бироном в прошедший четверток с великою магнificенциею совершилось. Сие чинилось при дворе, и ее императорское величество всемилостивейшая наша монархиня обеим новобрачным персонам сию высокую милость показать изволила, что учрежденный сего ради бал по высокому ее императорского величества повелению до самой ночи продолжался».

По распоряжению Левенвольда, в дом новобрачного были приглашены только те измайловские офицеры, у которых имелись карета или коляска с лошадьми, а провожать Бирона из дома во дворец, в два часа дня, дозволялось без исключения, «хотя бы пешками

и верхами».

Эта женитьба Густава Бирона, назначенного 29 июня того же года генерал-адъютантом императрицы, как нельзя лучше устроила его материальное благосостояние. С помощью брата обер-камергера он успел получить из заграничных банков почти все капиталы опального князя Меншикова, так что сыну последнего, возвращенному из ссылки одновременно с сестрою, едва досталась пятидесятая часть громадного отцовского состояния. К тому же он чрезвычайно любил свою жену, черноглазую красавицу, не уступавшую престестями своей старшей сестре, Марии, некогда невесте императора Петра II. Он все более и более преуспевал по службе, поощряемый высочайшими милостями, и готовился к большой радости — быть отцом.

Но тут судьба едва ли не впервые жестоко обманула ожидания Густава Бирона — 13 сентября 1736 года его красавица жена умерла в родах. Это настолько потрясло Густава, что при последнем прощании с мертвой женой и при погребении ее он неоднократно падал в обморок.

Огорченный потерей любимой жены и скучая невольным одиночеством, Густав Бирон стал подумывать о развлечениях боевой жизни, тем более что случай к ним представлялся сам собою. Война России и Турции была тогда в полном разгаре. Ласси уже прислал в Петербург ключи покоренного Азова, а Миних, ознаменовав взятием и разорением Перекопа, Бахчисарая, Ахмечети и Кинбурна первый из своих крымских походов, деятельно готовился к целому ряду последующих. Указом 12 января 1737 года повелено командировать к армии Миниха, расположенной на Украине, из каждого гвардейского полка по батальону, а начальником всего гвардейского отряда был назначен генерал-майор лейб-гвардии Измайловского полка подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон. Счастье и успех сопровождали его в этой войне.

7 декабря 1739 года был заключен в Белграде выгодный мир для России с Турцией. В Петербурге делались большие приготовления к празднованию этого события.

27 декабря 1740 года состоялось торже-

ственное шествие в столицу частей гвардии, принимавших участие в кампании. Гвардия вступила в столицу под командой Густава Бирона. Войска были украшены кокардами из лавровых листьев. Пройдя Невский проспект, шествие направилось к Зимнему дворцу, следовало по Дворцовой набережной, мимо пресловутого Ледяного дома, и, обогнув Эрмитажную канавку, выдвинулось на Дворцовую площадь.

«Здесь, по внесении знамен внутрь дворца, нижние чины были распущены по домам, а штаб— и обер-офицеры, — как повествует очевидец Нащокин, — были позваны ко дворцу, и как пришли во дворец при зажжении свеч, ибо целый день в той церемонии продолжался, тогда ее императорское величество, наша всемилостивейшая государыня в середине галереи изволила ожидать, и как подполковник (Бирон) со всеми в галерею вошел, — низайший поклон учинили, ее императорское величество изволила говорить сими словами: „Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне, в надлежащих диспозициях, господа



штаб— и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем и чрез генерал-фельдмаршала графа Миниха, и подполковника Густава Бирона известна, и будете за службы не оставлены“. Выслушав то монаршее слово, паки нижайше поклонились и жалованы к руке, и государыня из рук своих изволила жаловать каждого венгерским вином по бокалу, и с тем высокомонаршеским пожалованием отпущены».

Это «вшествие», так блистательно показавшее толпе особу Густава Бирона, было прелюдией мирных торжеств, в распорядок которых между прочим входила и «курьезная» свадьба придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновою, отпразднованная в Ледяном доме 6 февраля. Главное же торжество и вместе объявление наград совершилось 14 февраля. Густав Бирон, командовавший в этот день парадом двадцатитысячного столичного гарнизона, был произведен в генерал-аншефы и получил золотую шпагу, осыпанную бриллиантами.

Наконец празднества кончились. Вскоре общественное внимание было привлечено

делом Волынского, окончившимся казнью кабинет-министра. Густав Бирон не принимал ни малейшего участия в этом грустном деле, весь снова отдавшись полку и службе. Гибель Волынского, конечно, не могла не заставить его еще глубже уверовать в несокрушимую мощь своего брата и совершенно успокоиться за свое будущее.

Настроившись всем этим благоприятно для нежных ощущений, Густав Бирон увлекся прелестями фрейлины Якобины Менгден и решил прекратить свое вдовство. В сентябре 1740 года он торжественно обручился с нею.

В жизни Густава это, конечно, было самую приятную порою. Все тогда улыбалось ему.

Человек далеко еще не старый, но уже генерал-аншеф, гвардии подполковник и генерал-адъютант, Густав Бирон состоял в числе любимцев своей государыни и, будучи родным братом герцога, пред которым трепетала вся Россия, не боялся никого и ничего; он имел к тому же прекрасное состояние, унаследованное от первой жены и благоприобретенное от высочайших щедрот; пользовался всеобщим расположением как добряк, не сде-

лавший никому зла, и едва ли мог укорить себя в каком-нибудь бесчестном поступке; наконец, в качестве жениха любимой девушки он видел к себе привязанность невесты, казавшуюся страшною. Чего недоставало ему, невежественному и ограниченному некогда курляндскому разночинцу и десять лет тому назад голяку капитану голодавших польских панцирников? Он ли не мог рассчитывать на долгое и безмятежное пользование благами жизни и случая?

Увы! Фортуна изменила ему. Смерть императрицы Анны Иоанновны была первым из ударов судьбы, посыпавшихся на Густава Бирона и завершившихся в ночь на 9 ноября, менее чем через два месяца после обручения, арестом и ссылкой.

Разбита была и судьба фрейлины покойной государыни Якобины Менгден, которая хотя и не была особенно страстно привязана к Густаву Бирону, но все же смотрела на брак с ним, как на блестящую партию, как на завидную судьбу.

И вдруг все рушилось разом, так быстро и неожиданно. Она была забыта всеми, хотя

продолжала жить во фрейлинском помещении Летнего дворца, из которого только за несколько дней пред тем увезли арестованного регента герцога Эрнста-Иоганна Бирона.

Положение девушки было действительно безвыходно. В течение какого-нибудь месяца она лишилась всего и уже подумывала поехать к своей сводной сестре Станиславе, бывшей замужем за майором Иваном Осиповичем Лысенко, жившим в Москве. Там, вдали от двора, где все напоминало ей ее разрушенное счастье, Менгден надеялась хотя несколько отдохнуть и успокоиться.

Каково же было ее огорчение, когда она получила от Станиславы письмо из Варшавы, в котором та уведомляла ее, что уже более года разошлась с мужем, который отнял у нее сына и почти выгнал из дома. Она просила «сильную при дворе» сестру заступиться за нее пред регентом и заставить мужа вернуть ей ее ребенка. Таким образом, и это последнее убежище ускользало от несчастной Якобины.

— Что-то будет, что-то будет! — с отчаянием шептали ее губы, и слезы неудержимо лились из ее прекрасных глаз.

## VI В МОСКВЕ

В тот самый день, когда Менгден получила письмо от сестры, в Москве, на Басманной, у окна небольшого деревянного дома, принадлежавшего майору Ивану Осиповичу Лысенко, стоял сам хозяин и глядел на широкую улицу. Это был высокий, полный человек с некрасивыми, но выразительными чертами лица, сильный брюнет с черными глазами — истый тип малоросса. Его лицо было омрачено какой-то тенью, а высокий лоб покрыт морщинами гораздо более, чем обыкновенно бывает у людей его лет.

На дворе моросил дождь, точно мелкой сеткой спускаясь с неба, широкая улица была грязна и неприветлива.

— Какая нынешний год поздняя осень, — сказал он, обращаясь к стоявшему подле него мужчине, одетому в штатское платье, — такая же неприветливая осень бывает и в человеческой жизни... Мне, например, почему-то кажется, что старость наступит для меня раньше, чем для кого-нибудь другого... Я часенько чувствую себя совершенно по-осенне-

му.

— Ты, Иван, слишком серьезно относишься к жизни, — с упреком произнес слушавший его мужчина, — и вообще ты очень переменялся в последние годы. Никто из знавших тебя молодым, веселым офицером не узнал бы теперь. И отчего, скажи на милость! Гнет, тяготевший над твоей жизнью, ты окончательно решил сбросить. Служба совершенно по тебе, так как ты — душой и телом солдат; тебя отличают при каждом удобном случае, в будущем тебя наверное ждет важный пост, твое дело с женою идет на лад, и сын наверное останется при тебе, по решению духовного суда. Мальчик стал красавцем в последние годы, я был положительно поражен, когда увидел его. При этом ты сам говорил мне, что он обладает выдающимися способностями.

— Я предпочел бы, чтобы у Осипа было меньше способностей, но больше характера и серьезности. Ты не можешь представить себе, к какой строгости приходится прибегать, чтобы справиться с ним.

— Боюсь, что ты не многого добьешься при

всей своей строгости. Ведь видно, что для военной службы он не годится.

— Он должен годиться! Это единственное возможное поприще для такой разнузданной натуры, как его, которая не признает никакой узды и каждую обязанность считает тяжелым ярмом. Сдержатъ его может только железная дисциплина.

— Едва ли она сдержит его. Все это — наследственные склонности, которые можно подавить, но не уничтожить. Осип и по внешности — портрет матери: у него ее черты, ее глаза.

— Да, — мрачно произнес Лысенко, — ее темные, демонические, огненные глаза, которым все покорялось...

— И которые были твоим несчастьем, — докончил Сергей Семенович Зиновьев (такое было имя, отчество и фамилия товарища и друга детства Лысенко). — Как я ни предостерегал тебя тогда, но ты ничего знать не хотел, страсть овладела всем твоим существом, точно горячка. Я никогда не мог понять это. Твой брак с самого начала носил в себе зародыш несчастья: женщина чуждого происхожде-

ния, чуждой религии, дикая, капризная, бешеная польская натура, без характера, без понятия о том, что мы называем долгом и нравственностью — и ты, со своими стойкими понятиями о чести; мог ли иначе кончиться подобный союз?.. А между тем мне кажется, что ты, несмотря ни на что, продолжал любить ее до самого разрыва.

— Нет, очарование улетучилось уже в первый год. Я слишком ясно видел все, но меня останавливала мысль, что, решившись на развод, я выставлю напоказ свой домашний ад; я терпел до тех пор, пока у меня не оставалось другого выхода, пока... Но довольно об этом! — и Лысенко, быстро отвернувшись, стал снова смотреть в окно.

— Да, много нужно для того, чтобы вывести из себя человека, подобного тебе, — серьезно заметил Зиновьев. — Но ведь развод освободит тебя от железных цепей, и тебе следует уже теперь похоронить даже воспоминание о них.

Лысенко мрачно покачал головой.

— Подобные воспоминания нельзя похоронить, они постоянно восстают из мнимой мо-



гилы... Да и развод еще не кончен. Хорошо еще хоть то, что Станиславы нет здесь.

— Она уехала в Варшаву?

— Да, там у нее родные.

— Значит, она потеряла надежду выиграть дело?

— Какая же может быть у нее надежда.

— Но если она вернется и пожелает видиться с сыном?

— Я никогда не допущу этого. Да она и не пожелает потребовать этого после того, что произошло. Она вполне узнала меня в тот час, когда мы расстались, и побоится во второй раз доводить меня до крайности.

— Но она может помимо тебя, тайно, достичь того, в чем ты отказываешь ей открыто.

— Это невозможно. Я зорко слежу за сыном, у меня надежные слуги, — возразил Лысенко.

— Признаться откровенно, я считаю ошибкою с твоей стороны упрямое желание скрыть от сына, что его мать жива, — произнес Зиновьев. — Хуже будет, если он узнает это от посторонних. И, наконец, когда-нибудь да придется же тебе рассказать ему все.

— Может быть, когда он сделается юношей и самостоятельно вступит в жизнь. Теперь же он ребенок и ничего не поймет из той драмы, которая разыгралась в доме его отца.

— Пожалуй, ты прав... Но будь, по крайней мере, настороже... Ты знаешь свою жену, знаешь, чего можно от нее ждать.

— Да, я знаю ее, — с горечью сказал Иван Осипович, — а потому-то и хочу оградить от нее моего сына. Он не должен дышать воздухом, отравленным ее близостью, хотя бы в продолжение одного часа! Не беспокойся, я несколько не скрываю от себя опасности, которая грозит мне при возвращении Станиславы, но, пока Осип подле меня, бояться нечего, потому что ко мне она не приблизится, даю тебе слово.

— Будем надеяться, — ответил Сергей Семенович, — но не забывай, что наибольшая опасность кроется в самом Осипе; он во всех отношениях — сын своей матери... На днях ты уезжаешь с ним к Полторацким, я слышал?..

— Да, на несколько дней... Рождение дочери, княжны Людмилы... Летом же Осип будет

гостить у них, во время лагерей...

Зиновьев попрощался и вышел.

Иван Осипович снова направился к окну и уставился мрачным взором на частую сетку морозящего дождя.

«Сын своей матери», — припомнились ему слова Сергея Семеновича. Правда, не было никакой надобности слышать их от другого — он сам хорошо знал это. Именно это осознание и провело такие глубокие морщины на его лбу и вынудило у него такой тяжелый вздох, так как уже около года он со всей энергией боролся с злополучною наследственностью сына.

Мысль о том, что мать может пожелать видеться с сыном, и раньше приходила ему в голову, но он старался отогнать ее. Сегодня он получил от нее даже письмо с этой просьбою.

— Мой сын не знает, что его мать еще жива, и пока не должен знать это. Я не хочу, чтобы он видел ее, говорил с нею, и этого не будет! Я, надеюсь, сумею помешать этому.

Иван Осипович высказал эту мысль вслух и так ударил потухшей трубкой о пол, что она разбилась на мелкие черепки.

Вбежавший казачок бросился подбирать осколки.

— Свежую! — крикнул майор, бросая ему чубук.

Тот схватил чубук и выбежал из комнаты.

## VII ЦЕСАРЕВНА

**П**очти такой же одинокой и забытой, как и Якобина Менгден, жила в своем дворце на Царицыном лугу, где в настоящее время помещаются Павловские казармы, цесаревна Елизавета Петровна.

Тридцатилетняя красавица, высокая ростом, стройная, прекрасно сложенная, с чудными голубыми глазами, с белым цветом лица, чрезвычайно веселая и живая, неспособная, казалось, думать ни о чем серьезном — такова была в то время цесаревна Елизавета Петровна. Между тем 9 ноября 1740 года на ее лице лежала печать тяжелой, серьезной думы. Цесаревна полулежала в кресле, в своей спальне, то открывая, то снова закрывая свои прекрасные глаза. Картины прошлого неслись пред нею, годы ее детства и юности восставали пред ее духовным взором. Смутные

дни, только что пережитые ею в Петербурге, напомнили ей вещий сон ее матери — императрицы Екатерины Алексеевны.

Незадолго до смерти императрице приснилось, что она сидит за столом, окруженная придворными. Вдруг появилась тень Петра I, одетого как древние римляне. Он поманил к себе Екатерину. Она пошла к нему, и он унесся с нею под облака. Улетая с ним, она бросила взор на землю и там увидела своих детей, окруженных толпою, составленною из представителей всех наций, шумно споривших между собою. Екатерина Алексеевна истолковала этот сон так — что она должна скоро умереть и что по смерти ее в государстве настанут смуты.

Этот сон исполнился. Со времени Петра II государство не пользовалось спокойствием, каковым нельзя же было считать десятилетие правления Анны Иоанновны, то есть произвола герцога Бирона. А теперь снова наступали еще более смутные дни. Император — младенец, правительница, бесхарактерная молодая женщина, станет, несомненно, жертвою придворных интриганов.

От мысли о матери цесаревна невольно перенеслась к мысли о своем великом отце. Если бы он встал теперь с его дубинкой, — многим досталось бы по заслугам.

Гневен был великий Петр, гневен, но отходчив. Ясно и живо восставала в памяти Елизаветы Петровны сцена Петра с ее матерью. Не знала она тогда, хотя теперь догадывалась, чем прогневала матушка ее отца. Он стоял с Екатериною у окна во дворце. Анна и Елизавета, играя тихо, сидели в одном из уголков той же комнаты.

— Ты видишь это венецианское стекло? — сказал супруге Петр. — Оно сделано из простых материалов, но благодаря искусству стало украшением дворца. Я могу возвратить его в прежнее ничтожество.

С этими словами он разбил стекло вдребезги.

— Вы можете сделать это, но достойно ли это вас? — ответила Екатерина. — И разве оттого, что вы разбили стекло, ваш дворец сделался красивее?

Петр ничего не ответил. Хладнокровие здорового смысла утишило раздражение.

Елизавета Петровна часто думала об этой сцене, врезавшейся в ее памяти. Только с годами она поняла ее значение — поняла, что, говоря о стекле, отец намекал на простое происхождение ее матери.

Одновременно с этой сценой из дворца исчез красивый камергер императрицы Монс де ла Кроа; его вскоре казнили, и все стало ясно для Елизаветы.

Однако ее отец с матерью примирились.

Далее потянулись воспоминания цесаревны. Она припоминала свою привольную, беззаботную жизнь в Покровской слободе. Песни и веселье не прерывались. Цесаревна сама была тогда прекрасной, голосистой певицей; запевадой у нее была известная в то время по слободе певица Марфа Чегаиха. За песни цесаревна угощала певиц разными лакомствами и сладостями. Цесаревна иногда с девушками на посидках, когда они работали, тоже занималась рукодельями, пряла шелк, ткала холст; зимою же на святках собирались к ней ряженые слободские парни и девки, и тут разливался добродушный разгул: начинались пляски, присядки, веселье и удалые песни, га-

данья с подблюдным припевом.

На Масленице у своего дворца, против церкви Рождества, цесаревна собирала слободских девушек и парней кататься на салазках, связанных ремнями, с горы, названной по дворцу царевнину — Царевною, и сама каталась с ними, а то так мчалась на лихой тройке по улицам Москвы.

Любимою потехою цесаревны была охота. Ей она посвящала все свое время в слободе, будучи в душе страстной охотницей до псовой охоты за зайцами. Она выезжала верхом в мужском платье и на соколиную охоту. В слободе был охотный двор на окраине. Здесь тешилась цесаревна напуском соколов в вышитых золотом, серебром и шелками бархатных клубочках, с бубенчиками на шейках, мигом слетавших с кляпышей, прикрепленных к пальцам ловчих, подсокольничих и кречетников, живших на том охотном дворе, где содержались и приноровленные соколы, нарядные сибирские кречеты и ученые ястребы.

Но более всего любила цесаревна травить зайцев собаками. С пронзительным свистом, диким гиканьем, звучным тьяканьем гончих,



резвых борзых мчались шумные ватаги рьяных охотников, оглашая поляны дворцовых волостей слободы, представлявших широкое раздолье для утех цесаревны, скакавшей, бывало, на ретивом коне всегда с неустрашимую резвостью впереди всех.

Рядом неся любимый ее стремянный — Гаврила Извольский, а за ним — доезжачие, стаешники со сворами борзых и гончих, далее — кречетники, сокольники, ястребинники, со своей птичьей охотой. Всю эту шумную вереницу гулливого люда, среди которого блистали красавец Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, и весельчак Лесток, замыкал обоз с вьючниками. Шубин, сын богатого помещика Владимирской губернии, был ближним соседом цесаревны по вотчине своей матери. Он был страстным охотником, на охоте познакомился с Елизаветой Петровной и стал близким ее сердцу. Лесток был врачом цесаревны; восторженный француз, он чуть не молился на свою цесаревну.

Но вот веселые воспоминания Елизаветы Петровны прервались.

Не по ее воле окончилась ее беззаботная жизнь в Покровской слободе. Ей было приказано переехать на жительство в Петербург. Подозрительная Анна Иоанновна и еще более подозрительный Бирон, видимо, испугались ее популярности.

Жизнь в Петербурге была не та, что там, под Москвою. Здесь испытала цесаревна первое сердечное горе. Неосторожный Шубин заплатился за преданность ей — его арестовали и отправили на Камчатку, где насильно женили на камчадалке.

Много слез пролила Елизавета, скучая в одиночестве, чувствуя постоянно тяжелый для ее свободолюбивой природы надзор. Кого она ни приближала к себе — всех отнимали. Появился было при ее дворе Густав Бирон и понравился ей своей молодцеватостью да добрым сердцем, но ему запретили бывать у нее. А сам Эрнст Бирон часто в наряде простого немецкого ремесленника, прятаясь за садовым тыном, следил за цесаревной. Она видела это, но делала вид, что не замечает.

Припомнились ей оба Бирона теперь именно, после выслушанного рассказа о про-

исшедшем в минувшую ночь. Искренне пожалела она Густава Бирона, а особенно его невесту, Якобину Менгден. Что-то чувствовала последняя теперь?.. Не то же ли, что чувствовала она, цесаревна, когда у нее отняли Алексея Яковлевича.

Года уже не только притупили боль разлуки, но даже в сердце цесаревны уже давно властвовал другой Алексей — Разумовский, и властвовал сильнее, чем Шубин, однако воспоминание о видном красавце, теперь несчастном колоднике, приходило в голову Елизавете, и жгучая боль первых дней разлуки колола ее сердце. Сочувствие к молодой девушке, разрушенной невесте Густава Бирона, вызвало и теперь эти воспоминания и эту боль.

Веселые картины привольной жизни под Москвой сменились тяжелыми мыслями о тревожном настоящем и неизвестном, загадочном будущем.

— Дозволишь войти, цесаревна? — раздался приятный голос, и в дверях появился Алексей Григорьевич Разумовский.

Это был высокий, стройный мужчина, лет

тридцати, несколько смуглый, с чудными черными глазами и черными же дугообразными бровями — словом, настоящий красавец.

Доверенное лицо и в описываемое время управляющий небольшим двором цесаревны и ее имениями, Алексей Григорьевич Разумовский был далеко не знатного происхождения.

В конце семнадцатого столетия в деревне Лемеша Черниговской губернии, на девятой версте от Козельца в Чернигов, жил регистровый казак «Киевского Вышгорода-Козельца полка Григорий Яковлевич Розум». Хотя он и «с великою охотою свои казацкие против татар и протчих неприятелей отправлял походы», однако счастье не улыбалось ему, «ради частых нечаемых ово от неприятелей, ово междоусобных разорений».

Григорий Яковлевич женился на дочери казака Демьяна Стрешенцова из соседнего села Адамовки — Наталье Демьяновне, женщине очень умной, так что ее прозвище «Розумиха» как нельзя лучше подходило ей.

Что был за человек Григорий Яковлевич

Розум, долго ли жил и чем занимался в свободное от походов время — неизвестно. Несомненно только, что в описываемое нами время в живых его уже не было.

У Натальи Демьяновны было три сына: Данила, Алексей и Кирилл, и три дочери: Агафья, Анна и Вера. Данила умер еще в царствование Анны Иоанновны, оставив на попечение Натальи Демьяновны свою дочь, Авдотью Даниловну. Алексей Григорьевич родился в Лемешах 17 марта 1709 года. Он был сперва пастухом общественных стад, но его привлекательная наружность и приятный голос обратили на него внимание духовенства соседнего села Чемеры, и оно взяло мальчика под свое попечение. Священнослужители обучили его грамоте и церковному пению, и молодой Розум пленял своим чудным голосом чемеровских прихожан. Третий сын Натальи Демьяновны — Кирилл Григорьевич родился 18 марта 1724 года. Он ходил за отцовскими волами.

Дети росли и утешали родителей.

— Сыновья мои родились счастливыми, — говорила впоследствии Наталья Демьянов-

на. — Когда Алеша хаживал с крестьянскими ребятами по орехи или по грибы, он набирал их всегда вдвое больше, чем товарищи, а волы, за которыми ходил Кирилл, никогда не заболели и не сбегали со двора.

Хата Розумихи стояла среди Лемешей, по правую сторону почтовой дороги от Козельца в Чернигов. На потолке ее, во всю длину, красовался драгоценный сволок, то есть обои, со следующей резною надписью: «Благословением Бога Отца, поспешением Сына (за ними изображение креста), содействием Святого Духа создася дом сей рабы Божией Натальи Розумихи. Року 1711 мая 5 дня». В таком виде сохранилась хата эта до 16 июня 1854 года, когда пожар уничтожил ее дотла.

Однажды Наталье Демьяновне приснилось, что в хате у нее, на потолке, светятся солнце, месяц и звезды, все вместе. Она пересказала сон соседкам, но те лишь посмеялись над нею.

В начале января 1731 года через Чемеры проезжал полковник Вишнеvский, возвращавшийся из Венгрии, куда он ездил покупать венгерские вина для императрицы Ан-

ны Иоанновны. Он зашел в церковь, пленился голосом и наружностью Алексея Розума и уговорил Наталью Демьяновну отпустить сына с ним в Петербург. Приехав туда, Вишневский представил своего питомца к тогдашнему обер-гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольду, а последний поместил молодого малороссиянина в придворный хор.

Однажды цесаревна Елизавета Петровна присутствовала при богослужении в придворной церкви, была поражена голосом Розума и потребовала, чтобы он был представлен ей после окончания литургии. Его красота поразила великую княжну еще более, чем голос, и она попросила Левенвольда уступить ей молодого певчего. Граф согласился, и Алексей Григорьевич, получивший при поступлении ко двору Елизаветы Петровны прозвание Разумовского, стал считаться певчим цесаревны.

Однако его голос вскоре начал спадать, и из певчих он был переименован в придворные бандуристы. Это случилось после истории с Шубиным.

Арест и горестная судьба этого «сердечного друга» произвели сильное впечатление на

великую княжну. Она долгое время была неутешна по своему любимцу и даже намеревалась принять иноческий сан в александровском Успенском монастыре. Когда первые порывы грусти прошли, цесаревна почувствовала себя совершенно одинокою среди неблагоприятного к ней петербургского двора. Вот в это-то время она и увидела при дворе молодого красавца Розума, и вскоре он, уже не Розум, а Разумовский, был произведен в управляющие одного из цесаревниных имений. Мало-помалу и другие недвижимые имущества, а вслед за ними и весь небольшой двор Елизаветы Петровны, очутились под ведением Алексея Григорьевича, — одним словом, он вполне занял место сосланного Шубина.

Дочь Екатерины I, рожденная до брака и «не привенчанная», возросшая среди птенцов Великого Петра, которых грозный царь собирал на всех ступенях общества, Елизавета Петровна была чужда родовым предрассудкам и аристократическим понятиям. При ее дворе люди были все новые.

Но если бы она и желала окружить себя



Рюриковичами или потомками Гедиминов, это едва ли удалось бы ей.

Оставшись на восемнадцатом году после смерти матери и отъезда сестры Анны в Голштинию без руководителей, во всем блеске красоты необыкновенной, получившая в наследство от родителей страстную натуру, от природы одаренная добрым и нежным сердцем, кое-как или, вернее, вовсе невоспитанная, среди грубых нравов, испорченных еще лоском обманчивого полуобразования, бывшая предметом постоянных подозрений и недоверия со стороны двора, цесаревна Елизавета видела ежедневно, как ее избегали сильные мира сего, и поневоле искала себе собеседников и утешителей среди меньшей братии. Немудрено, что главное место среди последней занял красавец Алексей Разумовский.

Когда он появился в комнате цесаревны, последняя обратилась к нему с вопросом:

— Что скажешь, Алексей Григорьевич?

— Да напомнить пришел, цесаревна, не съездишь ли ты сегодня ко двору.

— Что я там забыла?

— Забывать-то, пожалуй, и не забывала, да тебя-то, цесаревна, там забыть не могут.

— Это ты правильно: стою я им, как сухая ложка, поперек горла.

— Вот то-то оно и есть. Ведь нынешней правительнице доподлинно известно, что регент в последнее время строил относительно тебя, царевна, свои планы.

— Это выдать меня за своего сына Петра и удалить из России Брауншвейгскую фамилию? Нет, меня за немца замуж не выдать — не только за доморощенного, но даже и за настоящего... Немало немецких принцев на меня зарилось, да все ни с чем отъехали. Чай, тебе это хорошо известно.

— Как не быть известным? Да и не мне одному, а и гвардия, и народ — все это знают и почитают тебя, царевна, за то еще пуще.

— Насолили им немцы-то.

— Уж и не говори, царевна! А съездить ко двору все же надо... Не ровен час, как взглянется... Ишь, они ночные действия устраивать принялись.

— Что же, Алексей Григорьевич, может, этим они нам пример подадут!.. — весело ска-

зала цесаревна.

— Дай-то Бог... Все Он, Всемогущий...

— Эх, шутки я шучу Алексей Григорьевич, а в душе при этих шутках кошки скребут. Ведь знаю я, какое дело мы затеваем. Не себя жаль мне! Что я? Головы мне не снимут, разве в монастырь дальний сошлют, так мне помолиться и не грех будет... А вот вас всех жаль, что около меня грудью стоят! Ведь с вами будет то же, что с Алексеем Яковлевичем... А ведь он тебе тезкой был.

Легкая судорога пробежала по красивому лицу Разумовского. Он не любил, когда цесаревна вспоминала о Шубине.

— О нас, цесаревна, не беспокойся... Нам зря болтать не доводилось, да и не доведется, — с горечью ответил он. — Так прикажи туалет твой подать — и с Богом поезжай во дворец-то.

— И то, съездить надо, — встала Елизавета Петровна, сделав вид, что не обратила внимания на колкость, отпущенную Разумовским по поводу болтливости Шубина.

— Поезжай, матушка, да поласковее будь с ее герцогским высочеством, она на ласку-то

ОТЗЫВЧИВА.

— Знаю это! Ведь знаю — на ласку-то меня и взять, только не на притворную... Тяжело, а делать нечего...

— Так я пойду, ноне кое-кого еще повидать надо. Замолви, царевна, коли случай подойдет, словечко за Якобину-то... Совсем, говорю, девка искручинилась.

— Да, да, непременно! Несчастливая!.. — ответила Елизавета Петровна, и при этом напоминании о фрейлине Менгден, жених которой был так внезапно арестован, снова перед нею встала фигура красавца Шубина.

Алексей Григорьевич вышел.

## VIII

### ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Прошло несколько месяцев после переворота, произведенного фельдмаршалом Минихом в пользу Анны Леопольдовны. В кабинете тогдашнего французского посланника при русском дворе маркиза Жака Троти де ла Шетарди находились сам хозяин и придворный врач цесаревны Елизаветы Герман Лесток.

Маркиз был назначен представителем

Франции при русском дворе всего около двух лет тому назад. Он был типом светского француза восемнадцатого века. То офицер, то дипломат, но прежде всего придворный, — он обращал на себя внимание везде, где ни появлялся. В обществе он имел большой успех и насчитывал столько же друзей, как и врагов, привлекая одних своей любезностью и личным обаянием и восстанавливая против себя других своим подвижным и вспыльчивым нравом.

Герман Лесток приехал в Россию в 1713 году, определился врачом при Екатерине Алексеевне и в 1718 году был сослан Петром в Казань. Со вступлением на престол Екатерины I он был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елизавете Петровне, которой сумел понравиться своим веселым характером и французской любезностью.

Шетарди нервно ходил по кабинету, в то время как Лесток, видимо, с напускным спокойствием сидел в кресле.

— Итак, вы говорите, любезный Лесток, что положение вашей очаровательной пациентки становится день ото дня все тяжелее и

опаснее?..

— Да, маркиз, она, видимо, сама не сознает этого и не жалуется, но нам, близким ей людям, все это слишком ясно... У цесаревны нет влиятельных друзей, мы, мелкие сошки, что можем сделать?..

— Отчего нет влиятельных друзей? Быть может, и найдутся.

Лесток, словно не слыхав этого замечания, продолжал:

— Цесаревна слишком доверчива, добра и жизнерадостна, чтобы предаваться опасениям, но нам, повторяю, доподлинно известно, что ее гибель решена... там...

— А... Ну, это посмотрим!.. — взволновался Шетарди. — Гибель ее — гибель изящнейшей русской женщины нашего времени!..

Маркиз был положительно очарован цесаревной. Среди русского двора Анны Иоанновны, с его увеселениями, шутами, скоморохами, грубой, безвкусной роскошью, только одна личность напоминала западные нравы и подходила к духу западных наций своими вкусами, безыскусственной веселостью и врожденной грацией. Это была цесаревна

Елизавета, и с первого свидания Шетарди пользовался всяким случаем быть с нею. Это, видимо, нравилось цесаревне, а так как к тому же и сам французский король очень интересовался ею лично, то она часто повторяла маркизу, что ей известны чувства, которые питает к ней король, что она этим тронута и постарается поддержать их.

Наоборот, принцесса Анна Леопольдовна и ее муж обращались с Шетарди чрезвычайно холодно. Это задевало его самолюбие, и он лишь ждал случая отомстить им. Случай теперь представлялся для Шетарди очень удобный.

Дело в том, что русский двор был поставлен им в щекотливое положение. Шетарди был назначен чрезвычайным послом французского короля при императрице Анне Иоанновне, но лишился этого звания со смертью императрицы. Несколько времени спустя ему велено было остаться представителем Франции в Петербурге, но только в звании полномочного посланника.

Возник вопрос о том, каким образом он представит свои новые верительные грамо-

ты. Посланники других держав удовольствовались аудиенцией у правительницы, но маркиз Шетарди категорически требовал, чтобы ему дозволили представиться самому царю, которому не исполнилось еще в то время и года. Подобное требование удивило русских и породило массу самых запутанных вопросов. Будет ли аудиенция частная или публичная? Вручит ли посланник свои кредитивные письма самому ребенку? Положит ли он их на табурет, поставленный у подножия трона, или вручит их правительнице, которая будет держать младенца царя на руках?

Поставив таким образом в затруднение правительницу, Шетарди торжествовал, и теперь, когда к нему неспроста — он понял это — пришел Лесток, доверенное лицо цесаревны Елизаветы, маркиз нашел, что придуманная им месть Анне Леопольдовне недостаточна, что есть еще другая — горшая: очистить русский престол от Брауншвейгской фамилии и посадить на него дочь Петра Великого, заменив таким образом ненавистное народу немецкое влияние — французским. Ведь он таким образом мог бы достичь разом двух



целей — жестоко отмстить Анне Леопольдовне и ее супругу и исполнить свою главнейшую миссию при русском дворе.

В инструкции французского министерства иностранных дел ему предписывалось собрать предварительные сведения о положении России и партий при русском дворе. При этом он должен был обратить особенное внимание на лиц, державших сторону великой княжны Елизаветы Петровны, разузнать, какое значение и каких друзей она может иметь, а также настроение умов в России, семейные отношения, словом, все то, что могло бы предвещать возможность переворота.

Шетарди уже знал, что незадолго до его прибытия в Петербург был открыт заговор, в котором была замешана Елизавета Петровна, и что ее фаворит Нарышкин должен был бежать во Францию, откуда он продолжал интриговать в пользу цесаревны.

Все это мгновенно пронеслось в голове маркиза де ла Шетарди в то время, когда Лесток упомянул о возможности гибели Елизаветы Петровны.

— Конечно, — продолжал Лесток, — ее не

казнят публично и даже не умертвят, но постригут в монастырь.

— Этому не бывать! — воскликнул маркиз. — Не монашеский клобук, а царская корона приличествует этой прелестной головке. Передайте цесаревне, что я от имени короля заявляю ей, что Франция сумеет поддержать ее в ее великом деле. Пусть она и люди ее партии располагают мною, но мне все же необходимо снестись по этому поводу с моим правительством, так как посланник, не имеющий инструкций, все равно что незаведенные часы.

Ускорить уже давно задуманное им участие в деле цесаревны Елизаветы побудило Шетарди следующее обстоятельство.

Весною 1741 года Миних, бывший противник союза с Австрией, не поладил с принцем Брауншвейгским и был отрешен от занимаемых им должностей. Австрийская партия восторжествовала, и в тот момент, когда Франция стала открыто на сторону врагов Марии-Терезии, подписав вместе с Пруссией и Баварией военный союзный договор, Россия готовилась выступить на защиту королевы

венгерской и послать ей на помощь войска. В это время в Петербург прибыл английский уполномоченный Финч. Англия предлагала Брауншвейгскому дому обеспечить за ним русский престол, если Россия обещает ей помогать в ее борьбе с Францией. Правительница согласилась на это предложение и, подписав договор, открыто присоединилась к недругам Франции.

Маркиз де ла Шетарди предвидел это решение, но не старался устранить его. Зная неприязненные отношения Брауншвейгского дома к Франции, он полагал, что Франции нечего ожидать от Анны Леопольдовны и что Россия, управляемая немцами, рано или поздно всецело подпадет под влияние Австрии. Он был уверен, что русский двор изменит свою политику только с переменой правительства, а для того чтобы вырвать Россию из рук немцев, по его мнению, было одно средство — совершить государственный переворот. Вот именно на участие в этом перевороте и намекал ему Герман Лесток.

Шетарди придвинул свое кресло к креслу Лестока и стал беседовать с ним откровенно,

«начистоту». И ему, и Лестоку дело переворота казалось довольно легким, так как большинство русских людей ненавидело господствующую немецкую партию. Составить заговор или примкнуть к уже составленному, положить конец господству иноземцев, возвести на престол Елизавету, душой и сердцем напоминавшую француженку, — вот план, подробности которого восторженным шепотом развивал пред Лестоком Шетарди.

Однако более старый годами и умудренный опытом Лесток несколько охладил пылкого маркиза. Он заговорил об отрицательных сторонах задуманного, советуя прежде всего обратить на них главное внимание, чтобы не потерять всего в последнюю минуту вследствие горячности и неосторожности.

— Войска и народ действительно любят цесаревну, — сказал он, — многие русские, обожающие в ее лице дочь Петра Великого, возлагают на нее одну свои надежды, но — увы! — у цесаревны нет партии в настоящем смысле этого слова, то есть нет известного числа дисциплинированных людей, которые были бы подчинены одному лицу и были бы

готовы на все по первому данному сигналу.

— Но чем вы это объясните?

— Для того чтобы образовать партию и руководить ею, необходимы терпение и при творство, качества, которыми не обладает цесаревна... Она легкомысленна и несдержанна, да, кроме того, главным двигателем заговора всегда являются деньги, а их-то у цесаревны нет...

— За деньгами дело не станет, они будут, — уверенно сказал маркиз. — Я на этих днях постараюсь увидеть цесаревну и поговорю с нею, но только наедине, чего мне до сих пор, к сожалению, не удавалось.

Действительно, маркизу де ла Шетарди до сих пор не удавалось пробить даже несколько минут с глазу на глаз с цесаревной Елизаветой Петровной, так как около нее всегда находился какой-либо подосланный двором шпион. Однако на другой день после посещения Лестока маркиз был счастливее и, явившись во дворец Елизаветы Петровны, застал ее одну.

Она приняла его с присущей ей утонченной любезностью и в разговоре с особенным

чувством упоминала имя французского короля. Маркиз даже заключил, что цесаревна питает к королю какую-то особую романическую привязанность. Ей были, конечно, известны переговоры, которые велись о ее браке с Людовиком XV. Слыша со всех сторон похвалы уму и красоте молодого короля, она действительно питала к этому монарху, которого никогда не видела, но женой которого могла бы быть, чувство какой-то особенной нежности, смешанной с любопытством.

Из этой беседы маркиз вынес убеждение, что цесаревна всецело рассчитывает на него, и в тот же вечер написал письмо во Францию, склоняя свое правительство помочь государственному перевороту в России. Однако французский двор колебался. Вмешаться тайным образом в домашние распри посторонней державы, дать деньги для составления заговора против существующего правительства и сделать французского короля сообщником этого заговора — казалось делом очень рискованным. Но мало-помалу желание устранить в Петербурге немецкое влияние и заменить его французским взяло верх над прочими со-

ображениями. Французское правительство пришло к тому убеждению, что это дело вполне заслуживает внимания короля, а затем Шетарди было велено передать цесаревне, что Франция предоставляет в ее распоряжение свои средства, свой кредит и готова помогать ей своими советами.

Желая польстить тайной склонности Елизаветы Петровны, маркиз уверил ее, что король, содействуя ее планам, занят лишь ею и ее выгодами. Он ссылаясь на удовольствие, какое испытывает король, и уверял цесаревну, что действия короля всегда будут направлены единственно к удовольствию видеть ее счастливой и восседающей на престоле, что король охотно доставит средства для таких издержек, как только он уведомит, каким образом можно это будет сделать, соблюдая тайну, и что он будет считать себя вполне вознагражденным, если ему достанется слава возведения на престол принцессы, заслуживающей этого во всех отношениях.

Елизавета Петровна не замедлила высказать, что она тронута тем, что король желает для нее сделать, и, руководимая живейшею

признательностью, ни минуты не замедлила бы высказать ее, взяв на себя честь написать его величеству, если бы соображения, которым она оказывается подчиненной, не лишили ее средств к тому. Тем скорее она поспешит вознаградить за упущенное, если дела примут счастливый оборот; ни о чем тогда она не будет заботиться сильнее, как о том, чтобы всю свою жизнь представлять доказательства своей благодарности королю.

После такого обмена нежных чувств оставалось лишь выработать план совместных действий.

В это время отношения России к Швеции обострились[2]. Возможность войны становилась все более и более вероятною, так как Швеция не могла примириться с потерей провинций на восточном побережье Балтийского моря и собиралась возвратить их силою оружия.

Елизавета и Лесток хотели выждать начала войны и воспользоваться смятением, какое вызовет при петербургском дворе весть о приближении неприятеля, чтобы подать сигнал к восстанию.



Франция одобрила этот план в принципе, но с некоторым изменением. Содействуя государственному перевороту, она хотела воспользоваться им не только для того, чтобы сблизиться с Россией, но чтобы восстановить на ее счет прежнее величие Швеции.

Преследуя эту цель, французское правительство выразило желание, чтобы Швеция обязалась напасть на русских по первому требованию, а Елизавета обещала, вступив на престол, возвратить ей часть прибалтийских провинций, завоеванных Петром Великим.

Предъявляя это требование, Франция, видимо, не приняла во внимание патриотизма и дочерней любви великой княжны. Ведь цесаревна сочла бы изменою против своего отечества и против памяти своего отца отказаться от завоеваний, которые должны были обеспечить государству сообщение с морем и защищать доступ к основанной Петром Великим столице. Возвратить прибалтийские губернии — значило бы вернуться на полвека назад! Возможно ли было вычеркнуть из летописей истории Полтавскую победу? Лучше было отказаться от престола, нежели полу-

читать его такою ценою. Понятно, что относительно этого пункта Елизавета Петровна оставалась непреклонною и наотрез отказалась уступить хотя бы одну пядь русской земли.

Это упорство со стороны великой княжны было первою помехою к осуществлению плана, составленного маркизом Шетарди.

Вскоре явилось и другое препятствие.

Мы говорили уже о натянутых отношениях, возникших между Францией и Россией по поводу представления посланника малолетнему царю. Переговоры затянулись и угрожали повести к разрыву дипломатических сношений. В мае 1741 года Шетарди было приказано объявить Остерману, что он прервет всякое сношение с русским правительством, если ему не будет дозволено представить свои верительные грамоты самому царю. Остерман не хотел отвечать на это требование решительным отказом и в то же время не хотел согласиться на аудиенцию у царя, который был слаб здоровьем. Поэтому, во избежание всяких объяснений, он прибегнул к своему обычному способу, когда находился в затруд-

нении или когда отстаивал неправо дело — он заболел. Не получая на свое требование категорического ответа, Шетарди прекратил дипломатические сношения с русским двором и вследствие этого потерял возможность официально посещать цесаревну Елизавету, которая еще не решалась видеться с ним тайно. Лесток являлся иногда на свидания, назначаемые ему Шетарди, но боязнь наказания, а может быть и ссылки, парализовала ему язык. Все это тоже служило препятствием к осуществлению франко-русского плана.

Действительно, подозрение двора уже было возбуждено. Советники правительницы указывали ей на разные меры для ее личной безопасности и, внушая подозрения относительно Елизаветы Петровны, предлагали заключить ее в монастырь или выдать замуж за иностранного принца.

Так прошло несколько недель. Шетарди не видел великой княжны и ничего не слышал о ней. Его разрыв с двором делал его подозрительным для русских, лишил его всякого общества и обрек на полное одиночество. Его никто не посещал, но дюжина шпионов день

и ночь следила за домом посольства.

Пользуясь чудными летними днями, посланник переселился на дачу, на берег Невы, в так называемые Островки, вел там отшельнический образ жизни и, томясь бездействием, обвинял Елизавету в легкомыслии и равнодушии к ее собственным интересам.

Но эти обвинения были напрасны. Цесаревна не забыла его и всячески старалась устроить свидание с ним. Она прогуливалась в сумерки в лодке по реке и несколько раз проезжала вблизи сада Шетарди.

Сидя вечером на берегу и наслаждаясь прохладой, посланник видел иногда таинственную гондолу, скользившую по реке. Человек, сидевший на корме, время от времени трубил в охотничий рог, как бы желая этим обратить на себя внимание. Но маркиз не подозревал, что в этой гондоле сидела Елизавета Петровна, спрятавшись за своей свитой, и что, приказывая трубить в рог, она хотела этим обратить внимание Шетарди и вызвать его на свидание.

Когда это не удалось, она хотела купить дом возле его дачи, но побоялась возбудить

подозрение двора. Наконец в начале августа она послала к маркизу своего камергера Воронцова, чтобы условиться с ним относительно свидания. Было решено встретиться на следующий день как бы нечаянно по дороге в Петербург. Но в самый последний момент Елизавета Петровна не решилась выехать, зная, что за каждым ее шагом следят.

В августе месяце произошел окончательный разрыв со Швецией. Стокгольмский двор, подстрекаемый Францией, объявил войну России.

Все это было известно правительнице, и казалось, ей следовало порвать отношения с Францией, но случилось обратное. Русский двор, желая отделаться от посторонних затруднений в тот момент, когда ему угрожала серьезная опасность, уступил требованиям французского правительства относительно церемониала. Шетарди наконец получил давно желаемую аудиенцию у царя и снова появился при дворе.

## IX ЗАГОВОР И ДЕЙСТВО

На первом же приеме Шетарди встретился с цесаревной и в разговоре с нею высказал, что его король повелел ему остаться в России единственно для того, чтобы отстаивать интересы ее, Елизаветы Петровны.

— Его величество, — заявил Шетарди, — занят изысканием средств для возведения вашего высочества на престол, и если ради этой цели он уже заставил своих союзников, шведов, взяться за оружие, то сумеет также ничего не пощадить, чтобы дать мне возможность оказать вам наилучшее содействие.

Елизавета Петровна поблагодарила посланника и сообщила ему, что в надежде на его посещения она приняла свои меры предосторожности, чтобы не терпеть никаких стеснений от присутствия каких-либо лиц. Кроме того, она добавила, что, по мере того как недовольство растет, ее партия увеличивается.

— В числе моих самых ревностных приверженцев я могу считать князей Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, все лифляндцы недовольны и преданы мне. Судя по нынешнему настроению, наше дело может иметь успех.

— В этом я никогда не сомневался. Будьте только вы мужественны, — ответил Шетарди.

Заметив, что все взоры устремлены на нее, Елизавета Петровна прекратила разговор с маркизом.

На другой день Лесток имел свидание с Шетарди в лесочке, смежном с дачей посланника, и обнадежил его насчет неперемennого желания Елизаветы Петровны как можно скорее приступить к исполнению задуманного плана, а также относительно преданности ее друзей.

С этого момента возник заговор, которым взялась руководить Франция. Кардинал Флери и статс-секретарь Амело решились взять на себя роли заговорщиков. Нити тайной интриги, затеянной в Петербурге, сходились в их руках в Париже, и их тайные агенты препровождали в Россию массу денег, от которых зависел успех переворота.

В первых числах октября 1741 года в кафе Фуа, на улице Ришелье в Париже, вошел молодой человек. К нему вскоре присоединился другой посетитель, с которым тот заговорил, предварительно обменявшись с ним услов-

ными знаками, и которому он вручил две тысячи дукатов. Первый молодой человек был агент министра иностранных дел, второй был де Мань, друг маркиза Шетарди.

Де Мань отослал полученные деньги своему племяннику, проживавшему в России. Этот молодой человек был известный мот и игрок, вел в Петербурге расточительный образ жизни, а потому ему было как нельзя более естественно прибегнуть к помощи щедрого дядюшки. Но, в сущности, эти деньги предназначались для Шетарди, на имя которого нельзя было их послать, не возбуждая подозрения. Из рук же маркиза эти деньги расплылись по казармам гвардейских войск, где вербовались сторонники Елизаветы Петровны.

Подобным образом французское правительство неоднократно пересылало в Петербург довольно крупные суммы денег. Вместе с тем из Франции был послан в Петербург особый эмиссар, которому было приказано уверить великую княжну в нежной заботливости, с какою король печется о ее интересах.

В то же время Франция с успехом интриго-



вала при разных дворах Европы в интересах цесаревны Елизаветы. В Стокгольме французские агенты проводили министров и раздавали пригоршнями деньги в сенате и сейме, чтобы ускорить выступление войска, которое должно было напасть на русские владения. В Варшаве и Дрездене французская дипломатия подготавливала умы к мысли об ожидаемом в России перевороте. В Берлине приходилось действовать осторожно. Фридрих II был связан с Брауншвейгским домом узами крови, и можно было опасаться, что он отнесется к планам Елизаветы Петровны неодобрительно.

Душою заговора в Петербурге был Шетарди. Он вообще был совершенно в своей сфере, когда дело шло о замысловатой интриге, в особенности если в нее была замешана очаровательная молодая женщина. Видя, с каким увлечением он преодолевал все трудности, можно было думать, что он был занят любовною интригою, а не политическим делом, за которое мог поплатиться свободою, а быть может, и жизнью. Для довершения иллюзии тут были и тайные свидания, и долгие часы

ожидания в назначенном месте, и украдкою брошенные взоры, и записочки, передаваемые в табакерках.

Несколько раз в неделю Шетарди имел продолжительные свидания с цесаревной. Он отправлялся к ней во дворец ночью переодетый, каждый день посылал ей записки, одобряя ее планы или высказывая свои замечания, стараясь, с одной стороны, сдерживать ее излишнюю горячность, а с другой — поддерживать ее доверие, которое начинало колебаться.

Правительница Анна Леопольдовна, ее супруг и сановники предчувствовали угрожающую им опасность, но у них не хватало смелости принять действительные меры для своей защиты. До них доходили жалобы недовольных, которые их смущали точно так же, как безмолвие, с каким встречали их войска, когда они проходили мимо них. Во дворце правительницы то и дело совещались сановники, не приходя ни к какому результату. Иной раз Анной Леопольдовной овладевал такой страх, что она вставала ночью, выходила из дворца, отправлялась к Остерману и умо-

ляла его не покидать ее.

Только один человек старался поддержать в ней бодрость духа в это тревожное время. Это был саксонский посланник граф Линар. Он предложил решительную меру — подвергнуть великую княжну допросу и следствию и заставить отречься от прав на престол или арестовать ее.

— К чему это послужит? Разве нет еще чертенка, который всегда будет смущать наш покой? — вздыхая, возразила правительница, намекая на герцога Голштинского, сына Анны Петровны.

Линар разузнал через своих тайных агентов, что против Брауншвейгского дома более всех интригует маркиз Шетарди. Он сообщил Анне Леопольдовне обо всех происках маркиза и советовал арестовать Шетарди, если она не решалась что-либо предпринять против Елизаветы Петровны. Однако правительница была окружена шпионами великой княжны. Одна из камер-юнгфер Анны Леопольдовны, услышав сказанное графом Линаром, передала его слова Елизавете Петровне, последняя предупредила маркиза Шетарди, и он громко

заявил во дворце, что если кто-нибудь отважится посягнуть на его личность, то он вышвырнет посягнувшего из окна. Одновременно в доме посольства были вооружены все слуги, пистолеты заряжены и компрометирующие бумаги были сожжены. Посольство готовилось выдержать осаду, но никто не дерзнул посягнуть на посланника.

Смелость и невозмутимое хладнокровие Шетарди невольно внушали к нему уважение. Он действовал решительно и чуть не открыто работал над гибелью тех, кто мешал осуществлению его планов, но в то же время относительно правительницы не упускал ни малейшего правила, требуемого этикетом и вежливостью. Проведя весь день с цесаревной, он отправлялся вечером во дворец, был внимателен и предупредителен к Анне Леопольдовне, а от нее уезжал на тайное свидание с Лестоком и Воронцовым.

Елизавета Петровна и Шетарди только и ожидали начала неприязненных действий со стороны шведов, чтобы подать гвардии сигнал к восстанию. Оно могло начаться со дня на день. По улицам Петербурга ежедневно

проходили войска, отправлявшиеся в Финляндию.

Неожиданное известие о том, что фельдмаршал Ласси, командовавший русскими войсками, вступил на неприятельскую территорию и взял приступом крепость Вильманstrand, едва не погубило дела. Узнав об этом, Шетарди поспешил к великой княжне и старался поддержать в ней бодрость духа. Ему удалось войти в сношение с главной квартирой шведского генерала, получить оттуда манифест, обнародованный Швецией, и распространить в Петербурге, чтобы навести страх на русский двор. В этом манифесте стокгольмское правительство объявляло о своем намерении напасть на незаконное правительство России, чтобы восстановить права законных наследников престола.

Таково было положение дел, когда днем 22 ноября 1741 года Елизавета Петровна, совершив обычную прогулку, подъехала к своему дворцу. Вдруг у ее саней неожиданно появился Шетарди и помог ей выйти.

— Это вы? Что случилось? — спросила она. Выражение лица цесаревны и ее голос сви-

детельствовали о чрезвычайном волнении.

Маркиз видел, что она не в состоянии далее скрывать свои намерения и терпеливо ждать развязки. Зная непостоянство и неустойчивость Елизаветы, он понимал, что, рискнув всем в первую минуту, она могла погубить все дело минутной слабостью. Он видел, что ему необходимо поддерживать в ней мужество, и решил поставить ей на вид, что если борьба будет начата, то единственным спасением может быть успех.

— Вы вынуждаете меня, — сказал он ей, вошедши в ее рабочую комнату, — ничего не скрывать от вас относительно опасности, которой вы подвергаетесь. Узнайте же, что по сведениям, полученным мною из верного источника, теперь идет речь о том, чтобы заключить вас в монастырь, и вы теперь уже были бы там, не случись некоторых обстоятельств, помешавших этому; но как нельзя более вероятно, что эта отсрочка не будет долго продолжаться. Итак, чем вы рискуете, если даже ваш замысел не удастся? Подвергнуться, быть может, на несколько месяцев ранее той участи, которая вам предназначена и которой

вы не можете избежать при уже принятых мерах. Единственная разница лишь та, что, ничего не предпринимая, вы приводите в отчаяние своих друзей, тогда как, выказав мужество, вы сохраните сторонников, которых ваше несчастье лишь сильнее побудит отомстить за него тем или другим способом, избавив вас от опасности.

— Откуда узнали вы, что моя участь решена? — воскликнула пораженная цесаревна.

Шетарди наклонился к ней и сказал несколько слов шепотом. На лице Елизаветы выразился неподдельный ужас, но она вскоре овладела собою и сказала:

— Благодарю вас. Я покажу им, что я — дочь Петра Первого.

Воспользовавшись ее воодушевлением, Шетарди тотчас же приступил к обсуждению тех мер, которые следовало принять:

— Надобно захватить власть неожиданно, чтобы все было окончено в одну ночь и чтобы Петербург, проснувшись, мог приветствовать новую императрицу.

Так как преданность гвардейских солдат была вне всякого сомнения, а на офицеров

нельзя было вполне полагаться, то было решено действовать исключительно при помощи солдат. Было условлено, что Елизавета Петровна, надев под свою одежду кирасу, отправится в казармы, чтобы привлечь большее число солдат, и сама поведет их к Зимнему дворцу.

Обсудив во всех подробностях различные пункты переворота, Шетарди коснулся вопроса, интересовавшего его в особенности как представителя Франции. Торжество Елизаветы должно было быть торжеством Франции, а с восшествием на престол влияние немецкой партии в России должно было уступить французскому влиянию.

Нанося удар правительству, великой княжне следовало, как говорил ей Шетарди, отделаться от всех своих врагов. Он представил ей список всех тех, кого, по его мнению, следовало арестовать или сослать. В этом списке были поименованы все тайные и явные приверженцы Германии, то есть почти все чины русского правительства. В их числе были Остерман, Миних, Линар.

Условившись относительно подробностей,



оставалось только назначить день для переворота. Это было отложено до ближайшего свидания.

На другой день после беседы цесаревны с Шетарди во дворце был обычный прием. Елизавета тоже была на этом приеме. Принцессы играли в карты в галерее. Возле них толпились придворные и дежурные адъютанты. Тут же были и все иностранные посланники, а между ними и Шетарди.

На лице Елизаветы Петровны была написана тревога. Маркиз несколько раз посмотрел на нее с чуть заметной ободряющей улыбкой. Анна Леопольдовна перехватила один из этих взглядов, наклонилась к цесаревне, сказала ей что-то шепотом и вышла из-за стола. Елизавета последовала за нею, закусив нижнюю губу, что служило у нее признаком сильного раздражения.

— Что это у вас за странные отношения к этому наглецу? — в упор спросила ее правительница, когда они вышли в соседнюю комнату.

— К какому наглецу? — удивленно спросила цесаревна.

— Извольте, я скажу вам: я говорю о вашем Шетарди.

— О Шетарди?.. О моем?.. — гордо подняла голову цесаревна. — Мне кажется, что он как посланник аккредитован при русском правительстве, которое, за малолетством царя, представляете вы, принцесса, как правительница, а потому он скорее ваш, а не мой.

— Однако он на меня не поглядывает так, как на вас.

Вместо ответа цесаревна только пожала плечами.

— Но к чему препирательства? — продолжала правительница. — Я решила потребовать от короля отозвания этого наглеца; он мне неприятен, и я желала бы, чтобы и вы не принимали его.

— Что касается меня, то раз, другой я могу сказать, что меня нет дома, но в третий раз отказать уже будет неловко... Да я и не имею на то причин... Вчера, например, как я могла бы отказать ему, когда мы случайно встретились у моего крыльца?

— Он поджидал вас?

— Я этого не знаю, но спорить с вами не

стану. Однако вот что я скажу вам: меня удивляет, почему вы не действуете более простым путем? Ведь вы — правительница и располагаете властью; велите Остерману сказать маркизу Шетарди, чтобы он более не посещал моего дома.

— Боже меня сохрани от этого! — испуганно вскрикнула Анна Леопольдовна. — Ни в каком случае не следует раздражать людей, подобных маркизу, и давать им повод к жалобам.

— Вот, видите ли, если вы, правительница, и ваш первый министр не решаетесь сделать это, то как же вы требуете этого от меня, простой подданной его величества?

Ничего таким образом не добившись, Анна Леопольдовна в сильном раздражении вернулась на галерею. За нею вышла и Елизавета Петровна и вскоре уехала из дворца.

Много передумал Шетарди, также вскоре после отъезда цесаревны покинувший Зимний дворец, беспокоясь, не была ли обнаружена тайна Елизаветы Петровны, которая была вместе с тем и тайною французского короля. Однако он сумел скрыть свою тревогу с ис-

кусством тонкого дипломата, но по приезде домой тотчас послал за Лестоком.

Врач цесаревны явился лишь на следующий день и рассказал со слов Елизаветы Петровны содержание вчерашнего разговора. Маркиз понял всю опасность своего положения: правительница знала и была настороже.

Из дальнейшего разговора с Лестоком выяснилось, что основой партии служат народ и солдаты и что лишь после того, как они начнут дело, лица с известным положением и офицеры, преданные цесаревне, в состоянии будут открыто выразить свои чувства.

— Солдаты готовы на все!.. — несколько раз повторял Лесток.

— В таком случае, — сказал Шетарди, — чтобы помочь этим храбрым гренадерам, а также ради славы цесаревны, назначим момент для начала действий, чтобы Швеция стала действовать со своей стороны.

Лесток тотчас отправился за приказаниями к цесаревне, но вскоре вернувшись, заявил:

— Цесаревна предоставляет вам назначить время, когда вы сочтете возможным присту-

пить к выполнению замысла, и только в случае опасности она решится, быть может, предупредить срок, который вы назначите.

Шетарди отправил курьера к французскому посланнику в Швецию, чтобы генерал Левенгаупт, стоявший со своей армией на границе, перешел в наступление. Так как прибытие курьера в Стокгольм потребовало немало времени, то осуществление переворота было отложено до ночи на 31 декабря 1741 года.

Но в тот самый момент, когда Герман Лесток вышел из французского посольства, сообщив Шетарди о согласии на назначенный им срок цесаревны, в Петербурге было получено известие, что граф Левенгаупт, командовавший шведскими войсками, двинулся вперед, и вследствие этого гвардейские полки получили приказание быть наготове к немедленному выступлению. Этот приказ чрезвычайно смутил солдат, преданных цесаревне: ведь, будучи вынуждены уйти, они оставляли ее на произвол ее врагов.

В тот же вечер Елизавете доложили, что ее желают видеть семеро гренадеров. Цесаревна тотчас же вышла к ним.

— Что же это ты, матушка, лежебочничаешь, когда надо дело делать? — сказал один из пришедших. — Нам выступать готовиться приказано, не нынче-завтра уйдем мы из Питера... На кого же тогда тебя, матушка наша, оставим?.. Коли честью не пойдешь, мы тебя силком поведем.

Елизавета Петровна была тронута этой простой речью и после некоторого колебания решилась.

— Идемте, дети мои, в казармы, — сказала она.

— Вот это дело так дело! — радостно воскликнули солдатики.

В исходе первого часа ночи на 25 ноября пред домом французского посольства остановились сани. В них сидели Елизавета, Воронцов, Лесток, Шварц. Семеро гренадеров конвоировали экипаж.

Цесаревна велела передать Шетарди, что стремится к славе и нимало не сомневается, что он пошлет ей всякие благие пожелания, так как она вынуждена, наконец, уступить настояниям партий...

От дома посольства она отправилась в

Преображенские казармы и прошла в гренадерскую роту.

Гренадеры ожидали ее.

— Вы знаете, кто я? — спросила она солдат. — Хотите следовать за мною?

— Как не знать тебя, матушка царевна? Да в огонь и в воду за тобою пойдём, желанная, — хором ответили солдаты.

Цесаревна взяла крест, стала на колени и воскликнула:

— Клянусь этим крестом умереть за вас! Клянётесь ли вы сделать то же самое за меня в случае надобности?

— Клянемся, клянемся! — ответили солдаты хором.

Из казарм все двинулись к Зимнему дворцу. Елизавета ехала медленно впереди роты гренадер.

Только один человек мог остановить войско — это был Миних. Однако унтер-офицер, командовавший караулом у его дома, был участником заговора. Ему было приказано захватить фельдмаршала и отвезти его во дворец цесаревны. Он так и сделал.

Шествие двинулось дальше. Двести грена-

деров молча шли около саней Елизаветы. Они поклялись друг другу хранить полное молчание по пути и пронзить штыками всякого, кто будет иметь низость отступить хоть на шаг.

От Преображенских казарм, расположенных на окраине тогдашнего Петербурга, до Зимнего дворца было очень далеко. Пришлось идти по Невскому проспекту. Проходя мимо домов, в которых жили сановники, солдаты входили в них и арестовывали тех, которых им было велено отвезти во дворец цесаревны. Таким образом они арестовали графа Остермана, графа Головкина, графа Левенвольда, барона Менгдена и многих других.

У Адмиралтейства цесаревна вышла из саней, опасаясь, чтобы скрип полозьев не обратил внимания караульных, и пошла дальше пешком; но ей трудно было поспевать за солдатами. Они подхватили ее и пронесли на руках до самого двора в Зимнем дворце.

Цесаревна вошла в караульную.

— Проснитесь, мои дети, — сказала она солдатам, — и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за дочерью Петра? Вы знаете, что



престол принадлежит мне; несправедливость, причиненная мне, отзывается на всем нашем бедном народе, и он изнывает под иггом немецким. Освободимся от этих гонителей.

— Рады стараться, матушка, — как один человек ответили солдаты и, видя, что офицеры колеблются, кинулись на них и обезоружили.

Елизавета, взяв с собою сорок гренадеров, которые поклялись ей не проливать крови, вошла в апартаменты дворца. Она нашла правительницу в постели.

Анна Леопольдовна не оказала никакого сопротивления. В то же время был арестован и герцог Брауншвейгский.

Взяв маленького царя на руки, цесаревна поцеловала его, сказав:

— Бедный ребенок, ты совершенно невиновен, но родители твои виноваты.

Затем Елизавета Петровна, сев в сани, вернулась в свой дворец, взяв с собою Анну Леопольдовну и ребенка-императора Иоанна Антоновича, лишившегося трона в колыбели.

## ИМПЕРАТРИЦА

Весть о совершившемся перевороте с быстротою молнии разнеслась по городу. Все лица, недовольные свергнутым правительством, торжествовали.

В два часа пополудни Елизавета приняла поздравления первых чинов империи. На улице раздавались восторженные клики народа и войска. Петербург ликовал.

Елизавета возложила на себя орден Св. Андрея, объявила себя полковником четырех гвардейских полков и полка кирасир, показала народу со своего балкона, прошла через ряды гвардейских войск и уехала в Зимний дворец.

Любимец цесаревны Алексей Разумовский не принимал фактического участия в перевороте. Он оставался наблюдать за порядком в доме Елизаветы Петровны на Царицыном лугу, куда были доставлены многие арестованные и в их числе павшая правительница с императором Иоанном Антоновичем и новорожденной его сестрою.

Путь Елизаветы в Зимний дворец был рядом триумфов. Вдоль улицы стояли шпалера-

ми войска. Несметные толпы народа приветствовали ее единодушными криками «ура».

Прибыв во дворец, она направилась прежде всего в придворную церковь, чтобы присутствовать на благодарственном молебне, но ее окружили гренадеры лейб-гвардии Преображенского полка.

— Ты видела, матушка наша, — заговорили они, — с каким усердием мы восстановили твои справедливые права. Как единственную награду мы просим тебя объявить себя капитаном нашей роты, и чтобы мы первые могли тебе присягнуть у ступеней алтаря в неизменной верности.

— Быть по сему! — сказала новая императрица.

Елизавета не забыла и о маркизе Шетарди. Она ежечасно извещала его о ходе событий и, когда уже была провозглашена императрицей, послала Лестока спросить его мнения, что ей следует делать с младенцем-императором, свергнутым с престола.

— Передайте ее величеству, — сказал Шетарди, — что следует употребить все средства, дабы изгладить все следы царствования

Иоанна Шестого; лишь одним этим будет ограждена Россия от бедствия, какое могло бы быть вызвано в то или иное время обстоятельствами и которых приходится особенно бояться здешней стране.

В этот же день вечером маркиз был приглашен императрицей во дворец. Елизавета приняла его чрезвычайно приветливо, но видимо была еще взволнована пережитыми ею в течение суток событиями.

— Я чувствую себя еще до сих пор подхваченной каким-то вихрем, — сказала она маркизу. — Что скажут теперь наши добрые друзья англичане? Есть еще один человек, на которого мне было бы интересно взглянуть, — это австрийский посланник Ботта. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу вам, что он будет в некотором затруднении; однако же он не прав, потому что найдет меня как нельзя более расположенной дать ему тридцать тысяч подкрепления.

При своем торжестве императрица не забыла и о Людовике XV.

— Я вполне убеждена в том, — сказала она маркизу, — что его величество, более чем кто

бы то ни был, примет участие в том, что случилось со мною счастливого; я рассчитываю сама выразить ему, как я тронута всем, что он для меня сделал.

Действительно, день спустя после переворота императрица написала французскому королю:

«Мы нисколько не сомневаемся, что ваше величество не только примете с удовольствием известие об этом благоприятном и благополучном для империи нашей перевороте, но что вы разделите наши намерения и желания во всем, что может послужить к постоянному и ненарушимому сохранению и вящему упрочению дружбы, существующей между обоими нашими дворами».

В Петербурге между тем было общее ликование. Да и немудрено, так как разгар национального чувства, овладевшего русскими в описываемое нами время, дошел до своего апогея. Русские видели, что наверху при падении одного немца возникал другой, а дела все ухудшались. Про верховных иностранцев и их деяния в народе ходили чудовищные слухи. Говорили о притеснениях, которые терпе-

ла от них цесаревна, и все жалели ее. Да и по духу она была всем дорога. Всем нравилось, что она отказывалась от браков с иностранцами и постоянно жила в России. Ее двор был скромен и состоял из русских — Алексея Разумовского, братьев Шуваловых и Михаила Воронцова. Сама она жила с чарующей простотой и доступностью, одна каталась по городу. Все в ней возбуждало умиление народа. Чаще всего ее видели в домике у казарм, где она крестила детей у рядовых и ублажала родителей крестников, входя даже в долги. Гвардейцы называли ее не иначе как «матушкой».

Понятна, таким образом, радость народа и солдат.

В вышедшем манифесте было сказано, что цесаревна «восприяла отеческий престол по просьбе всех верных подданных, особливо лейб-гвардии полков». Люди, страдавшие при двух Аннах, были осыпаны милостями. Над недавними сановниками был назначен суд, и 11 января 1742 года утром по всем петербургским улицам с барабанным боем было объявлено, что на следующий день, в десять часов утра, будет совершена казнь «над врагами

императрицы и нарушителями государственного порядка».

Арестанты рано утром из крепости были привезены в здание коллегий, откуда в десять часов их уже стали выводить на площадь, где был эшафот с плахой.

Первым появился Остерман, которого, по причине болезни ног, везли в извозчичьих санях в одну лошадь. За ним шли Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев.

Когда они все были поставлены в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот на стуле. Ему был прочитан приговор. Он обвинялся в утайке духовной Екатерины I и в намерении выдать замуж цесаревну Елизавету за убогого иностранного принца. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз, палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор. В эту минуту читавший ранее приговор секретарь провозгласил: «Бог и государыня даруют тебе жизнь». При этих словах солдаты подняли Остермана и отнесли в сани, где он и оста-

вался все время, пока объявляли приговоры другим. Всем им было объявлено помилование без возведения на эшафот.

Остермана сослали в Березов, Миниха — в Пелым, Анну Леопольдовну с мужем отправили в Холмогоры, где она умерла через пять лет. Иоанн VI был заключен в Шлиссельбургскую крепость.

На приближенных Елизаветы Петровны посыпались милости.

Особенно награжден был Разумовский. В самый день восшествия на престол он был пожалован в действительные камергеры и поручики лейб-кампании в чине генерал-лейтенанта.

Немедленно был отправлен в Малороссию офицер с каретами, богатыми уборами и собольими шубами за семейством нового камергера. Несмотря на петербургский случай своего старшего сына, Наталья Демьяновна продолжала слыть между соседями только Розумихой и по-прежнему содержала в Лемешах корчму. Захваченная врасплох, она не хотела верить словам офицера. Известие о переменах в Петербурге еще не доходило до Леме-



шей, а все самые блестящие представления старушки о величии сына были до того далеки от внезапно поразившей ее действительности, что не трудно понять ее недоверчивость.

Наталья Демьяновна собралась с сыном Кириллом, дочерьми, внуками и внучатами, родными, двоюродными и пустилась в путь-дорогу.

За несколько станций до Петербурга навстречу матери выехал Алексей Григорьевич. Наталью Демьяновну напудрили, подрумянили, нарядили в модное платье и повезли во дворец. Елизавета Петровна радушно встретила старушку и, говорят, между прочим сказала ей:

— Благословенно чрево твое!

Наталья Демьяновна со всем своим семейством поселилась во дворце. Однако придворная жизнь была не по ней. Она строго придерживалась старых обычаев и среди роскоши дворца страдала тоскою по родине.

Не забыт был милостями и Герман Лесток — участник переворота. Помимо большого жалованья, он получал за каждый раз,

когда пускал кровь Елизавете Петровне, по две тысячи рублей. Императрица пожаловала ему свой портрет, осыпанный бриллиантами.

Новая императрица между тем спешила короноваться и назначила коронавание на апрель месяц 1742 года. 23 февраля она выехала из Петербурга, а 28 февраля состоялся торжественный въезд в Москву.

В Успенском соборе новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) встретил императрицу глубоко прочувствованною патристическою речью, в которой картинно описывал прежнее жестокое могущество немцев в нашем отечестве и открытие вместе с Елизаветой новой, чисто русской национальной эры в России.

После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к своему зимнему дому, что на Яузе. По пути ее встретили сорок воспитанников Славяно-греко-латинской академии в белых платьях, с венцами на головах и с лавровыми ветвями в руках и пропели ей кантату.

Днем коронации было назначено 25 апре-

ля. Первенствующую роль среди священнодействующего духовенства играл архиепископ псковский Амвросий. Мантию и корону императрица возлагала на себя сама. Амвросий подносил ей то или другое на подушках, что, собственно, и составляет отличие коронации Елизаветы от предшествующей коронации.

После миропомазания императрица была введена архиереями во Святой алтарь и причастилась Святых тайн от первенствующего архиерея по чину царскому.

Во время шествия императрицы из Успенского собора в Архангельский сопровождавший ее канцлер бросал на обе стороны пути золотые и серебряные жетоны. В то же самое время отправлено было несколько чиновников, верхом на богато убранных лошадях, для того чтобы бросать в народ жетоны. Высокопоставленным лицам, собравшимся в Грановитой палате, императрица раздавала выбитые по случаю ее коронации медали сама из своих рук; другим, менее знатным, раздавал канцлер. Тут же был объявлен длинный список высочайших наград по случаю корона-

ции.

Празднование коронации продолжалось в течение целой недели, причем весь город, особенно Кремль, по ночам всегда был иллюминирован самым роскошным образом.

29 апреля императрица переехала при торжественной и парадной обстановке из Кремлевского дворца снова в свой зимний дом, что на Яузе. 1, 3 и 4 мая здесь давались блестящие балы для высших придворных чинов. С 8 мая открылся при дворе целый ряд маскарадов, которые продолжались до 25-го числа. 29 мая при дворе был особый бал, на котором играла итальянская оперная труппа.

Коронационные празднества закончились только 7 июня.

Милости императрицы посыпались на ее приближенных. Разумовский был пожалован обер-егермейстером и получил знаки ордена Св. Андрея Первозванного; кроме того, ему из собственных императрицыных и сосланного Миниха вотчин были пожалованы множество сел и деревень.

Не забыты были и другие. Таким образом, царствование Елизаветы Петровны началось

необыкновенно милостиво.

Еще ранее коронации, при вступлении на престол, состоялось распоряжение императрицы об отмене смертной казни. 15 декабря 1741 года появился манифест о прощении преступников и о снятии штрафов и начетов с 1719 года по 1730-й. Тогда же государыня возвратила из ссылки много сосланных в прошедшее царствование и наградила чинами и орденами и имениями многих близких своих людей. Многим полкам была дана денежная награда; гренадерская рота получила название «лейб-компаний», капитаном которой была сама императрица, капитан-поручик этой роты равнялся полному генералу, два поручика — генерал-лейтенантам, два подпоручика — генерал-майорам, прапорщики — полковникам, сержанты — подполковникам, капралы — капитанам. Унтер-офицеры, капралы и рядовые были пожалованы в потомственные дворяне. В гербы их внесена надпись: «За ревность и верность».

Вступив на престол, Елизавета Петровна, конечно, вспомнила о своем любимце, сосланном за нее в дальнюю Камчатку, — Алек-

сее Яковлевиче Шубине. С великим трудом отыскали его там в 1742 году в одном камчатальском чуме. Его перевезли в Петербург, и 2 марта 1743 года он был произведен «за невинное претерпение» прямо в генерал-майоры лейб-гвардии Семеновского полка и получил Александровскую ленту. Императрица пожаловала ему богатые вотчины. Однако Шубин недолго оставался при дворе. Ссылка совершенно расстроила его здоровье. Он предался набожности и, дошедши до аскетизма, просил увольнения от службы. На это увольнение согласились быстро главным образом потому, что бывший любимец не мог быть приятен новому, имевшему в то время огромную силу при дворе, — Алексею Разумовскому. Получив отставку, Шубин поселился в пожалованном ему селе Работки Нижегородской губернии. На прощание императрица Елизавета Петровна подарила ему драгоценный образ Спасителя и часть ризы Господней.

Вскоре после коронации покинула Петербург и Наталья Демьяновна Разумовская. Она уехала с дочерьми, оставив младшего сына и старшую внучку при дворе. По возвращении

в Малороссию она поселилась около села Адамовки, в одном из хуторов, пожалованных Алексею Григорьевичу. Здесь она выстроила себе усадьбу и при ней церковь.

## XI ТАЙНЫЙ БРАК

**Н**еобычайно возвеличенный и пожалованный графством, Алексей Разумовский чувствовал, как мало подготовлен он к своему положению и как необходимо ему окружить себя людьми, способными выводить его из той затруднительной обстановки, в которую беспрестанно ставило его совершенное отсутствие всякого образования.

По счастью, у Разумовского в выборе людей было какое-то особенное природное чутье: почти все служившие при нем были людьми замечательными.

Первым по влиянию был Григорий Николаевич Теплов, сын истопника в псковском архиерейском доме, отчего и получил он фамилию Теплова, и воспитанник знаменитого Феофана Прокоповича. Первоначальное образование он получил в школе, учрежденной Феофаном при Александро-Невской лавре, а

потом долгое время учился за границею. Он вернулся оттуда в 1736 году, поступил в Академию наук и пристроился к А.П.Волынскому, который никогда, по свидетельству Гельбига, не покровительствовал невежеству. С необыкновенною ловкостью выпутался он из-под суда во время гибели Волынского, перешел к занятиям ученым, был назначен переводчиком при академии, а в 1741 году — адъюнктом. Тут он стал искать покровительства у нового временщика и сделался необходимым в доме Разумовского.

Другой личностью, состоявшей при Алексее Григорьевиче, был Василий Евдокимович Ададуров, один из первых воспитанников академической гимназии в Петербурге и первый адъюнкт из русских в Российской Академии наук. Он также довершил свое воспитание за границей и первый составил грамматику русского языка. Ададуров был при Разумовском чем-то вроде секретаря.

Третьим был Александр Петрович Сумароков, драматург, много сделавший для русского театра, адъютант Разумовского, дослужившийся до бригадирского чина.



Его известность началась под крылом Алексея Григорьевича.

Наконец, особенно приближенным к Разумовскому был Иван Перфильевич Елагин, несомненно, один из честнейших и образованнейших людей своего времени.

В Москве, во время коронационных торжеств, произошло событие, небывалое в русской истории, доставившее графу Разумовскому исключительное положение при императрице. Хитрый и ловкий граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин еще при Анне Леопольдовне был вызван из ссылки, куда попал по делу Бирона, и снова привлечен к общественной деятельности. Он был очень опытен в делах и умел владеть пером. Государыне он был неугоден, но умел хорошо излагать свои мысли на бумаге и объясняться по-французски и по-немецки. По необходимости его удержали при делах. Однако Бестужев никогда не сумел вполне приобрести благорасположение императрицы. Ему недоставало той живости в выражениях, которая нравилась государыне; в его обхождении была какая-то натянутость, а в делах мелочность, которая была ей особен-

но противна. Но Бестужев был настолько хитер, чтобы сразу понять, как необходима была для него при дворе сильная подпора. Он ухватился за Разумовского, опасаясь, что иначе опять на сцену выйдет Остерман и место великого канцлера, на которое он уже метил, придется променять на хижину в Березове.

Действительно, едва Бестужев занял место вице-канцлера, против него образовалась сильная партия. Все сторонники союза с Францией и Пруссией восстали, когда он предложил тесную связь с Австрией. Лесток вместе с де ла Шетарди стал во главе противников Бестужева, к числу которых принадлежали Воронцов, князь Трубецкой, принц Гомбургский, Шувалов и другие — все люди и сильные, и знатные при дворе. Удержаться одному Бестужеву не было возможности.

И вот в силу этого он сблизился с Алексеем Григорьевичем и вскоре сделался его лучшим другом.

Но этого было недостаточно. Надо было еще сделать узы, соединившие Разумовского с государыней, неразрывными. Бестужев стал искать себе помощников в этом деле и скоро

нашел их в духовнике императрицы Дубянского и в епископе Юшкевиче.

Как известно, с воцарением Елизаветы Петровны русская партия взяла решительный перевес. Во главе ее встал духовник императрицы Дубянский, к которому она особенно благоволила, человек весьма умный и ловкий царедворец, но при дворе разыгравший роль простачка, что давало ему еще большую силу, так как никто из царедворцев его не опасался. Благодаря Дубянскому, все изгнанные в царствование Анны Иоанновны иерархи были освобождены из заключения и им был возвращен архиерейский сан. С кафедры, в присутствии императрицы, стали сыпаться самые сильные обвинения и ругательства против иностранцев.

Но все могло измениться — не все иностранцы были еще сокрушены. Лесток и Шетарди в высшей степени пользовались доверием государыни. Следовало постоянно иметь при самодержице такое лицо, которое было бы предано духовенству и на заступничество которого можно было вполне и всегда рассчитывать.

Таким из всех был Алексей Разумовский. Искренне благочестивый, он принадлежал к партии автора «Камня веры»[3], сторонники которой были по большей части украинцы и белорусы. Призренный в младенчестве духовенством, возросший под крылом его в рядах придворных певчих, он взирал на него с чувством самой искренней и глубокой благодарности и был предан всем своим честным и любящим сердцем. Власть гражданская сошлась с властью духовною.

Уговорить богомольную и отчасти суеверную государыню было нетрудно: духовник имел всегда к ней доступ, и она охотно прислушивалась к его словам.

Тайный брак Елизаветы с Разумовским был совершен осенью 1742 года в подмосковном селе Перове. Обряд венчания совершил Дубянский.

Влияние Алексея Григорьевича после брака стало огромным. Все почитали его и обращались с ним, как с супругом императрицы. Он занимал во дворце комнаты, смежные с апартаментами государыни. Когда он чувствовал себя нездоровым, Елизавета Петров-

на обедала в его покоях и он принимал ее и ее приближенных в парчовом шлафроке. Алексей Григорьевич всюду сопутствовал государыне, и она даже публично оказывала ему знаки нежности и сама застегивала шубу и поправляла шапку, когда в трескучий мороз они выходили из театра. Одному ему отпускалось рыбное кушанье и в то время, когда государыня и весь двор содержали строгий пост. Одним словом, положение Разумовского было совсем особенное, и он удержал его до конца жизни императрицы, несмотря на все усилия враждебной ему партии. Царедворцы падали ниц пред всемогущим супругом императрицы.

В своих увеселениях двор подделывался к вкусам Алексея Григорьевича. Благодаря его страсти к музыке, была заведена постоянная итальянская опера, за огромные цены выписывались знаменитые в Европе певцы, «буфоны и буфонши». В штате дворца встречались бандуристы и бандуристки и даже «малороссиянки-воспевальщицы». Украинские певчие пели и на клиросе, и на сцене, вместе с итальянцами. На придворных пирах появились

малороссийские блюда, — одним словом, все украинское было в моде.

Но среди всех упоений такой неслыханной фортуны Разумовский оставался всегда верен себе и своим. На клиросе и в покоях петербургского дворца, среди лемешевского стада и на великолепных праздниках Елизаветы Петровны он был все таким же простым, наивным, несколько хитрым и насмешливым, но в то же время крайне добродушным хохлом, без памяти любящим свою прекрасную родину[4].

## XII НА БЕРЕГУ ПРУДА

Прошло восемь лет после разговора в домишке по Басманной улице в Москве между майором Иваном Осиповичем Лысенко с его закадычным другом и товарищем Сергеем Семеновичем Зиновьевым.

Стояло чудное июльское послеполудня. На берегу пруда в небольшом, но живописном имении княгини Вассы Николаевны Полторацкой, находившемся в Тамбовском наместничестве, лежал, распростершись на земле, юноша лет шестнадцати в форме кадета па-

жеского корпуса. Это был сын Ивана Осиповича — Осип, гостивший, по обыкновению, летом в имении княгини Полторацкой, куда несколько раз в лето наезжал и его отец. Юноша лежал, устремив мечтательный взор своих чудных черных глаз в лучистую синеву неба, и в этих глазах выражалось что-то вроде раздирающей душу тоски.

Вдруг к пруду приблизились легкие шаги, а в кустах раздался тихий шорох шелкового платья. Из-за деревьев небольшой рощи бесшумно выскользнула женская фигура и неподвижно остановилась, не спуская глаз с лежавшего юноши.

— Ося!

Молодой человек вздрогнул и быстро вскочил. Он вовсе не знал ни этого голоса, ни этой женщины.

— Что вам угодно?

Тонкая, дрожащая рука быстро опустилась на его руку.

— Тише! Не так громко! Нас могут услышать, но мне надо переговорить с тобою наедине, с тобою одним, Ося!..

Женщина указала в другую сторону

небольшого пруда, где за росшими кустарниками слышались веселые голоса, а затем отступила и жестом пригласила его последовать за нею.

Одно мгновение юноша колебался. Каким образом эта незнакомка, судя по одежде, принадлежавшая к высшему кругу общества, очутилась здесь, около уединенного лесного пруда? И что означает это «ты» в устах особы, которую он видел в первый раз? Однако таинственность этой встречи показалась молодому человеку заманчивой. Он последовал за дамой.

Они прошли в глубь рощи, в такое место, откуда их нельзя было видеть, и незнакомка медленно откинула вуаль. Она была не особенно молода, лет за тридцать, но ее лицо с темными жгучими глазами обладало своеобразной прелестью. Такое же очарование было в ее голосе. Она говорила по-русски совершенно бегло, но с иностранным акцентом, что доказывало, что этот язык не был ей родным.

— Ося, взгляни на меня! Ты на самом деле не знаешь меня? У тебя не сохранилось ни малейшего воспоминания из дней детства,



которые подсказали бы тебе, кто я?

Юноша медленно покачал отрицательно головой. Но все-таки в нем проснулось воспоминание, неясное, неуловимое — воспоминание о том, что он не в первый раз слышит этот голос, видит это лицо. Смущенный и точно прикованный к месту, он не сводил взора с незнакомки. А она вдруг протянула к нему обе руки и воскликнула:

— Мой сын! Мое единственное дитя!.. Неужели ты не узнаешь своей матери?

— Моя мать умерла, — сказал Осип Лысенко с расстановкой.

— Вот как? Меня объявили умершей! Тебе не хотели оставить даже воспоминание о матери! Неправда, Ося, я жива, я стою пред тобою. Посмотри на мои черты, ведь они и твои также. Дитя мое, неужели ты не чувствуешь, что принадлежишь мне?..

Юноша все еще неподвижно стоял и смотрел на лицо, в котором мало-помалу находил полнейшее подобие своего; те же черты, те же густые синевато-черные волосы, те же большие, как ночь темные глаза. Даже странное, демоническое выражение, горевшее пламе-

нем во взоре матери, тлелось, как море, в глазах сына.

Сходство говорило о родстве крови, и наконец голос крови заговорил в Осипе Лысенко. Он не требовал дальнейших объяснений и доказательств. Прежнее неуловимое, смутное воспоминание детства вдруг прояснилось, и он бросился в объятия, которые протягивались ему.

— Мама!

В этом восклицании выразилась вся горячая нежность юноши, который никогда не знал, что значит иметь мать, и между тем тосковал по ней со всею страстностью своей натуры.

Мать! Он был в ее объятиях, она осыпала его горячими ласками, сладкими, нежными именами, которых он никогда еще не слыживал. Все прочее исчезло для него в потоке бурного восторга.

Прошло несколько минут. Осип высвободился из объятий Станиславы Феликсовны (это была она) и пылко заговорил:

— Почему же ты никогда не приезжала ко мне? Почему мне сказали, что ты умерла?

Станислава Феликсовна отступила на несколько шагов. Выражение нежности в ее глазах исчезло и взамен вспыхнула дикая, смертельная ненависть.

— Потому что твой отец ненавидит меня, потому что он не хотел оставить мне даже любовь моего единственного ребенка, когда оттолкнул меня от себя.

Осип молчал, ошеломленный. Правда, он знал, что имя матери не произносилось в присутствии его отца, помнил, как последний строго и жестоко осадил его, когда он осмелился однажды обратиться к нему с расспросами о матери, но он был еще настолько ребенком, что не раздумывал над причиной этого.

Станислава Феликсовна и теперь не дала ему времени на размышления. Она откинула его густые волосы со лба и немедленно произнесла:

— У тебя его лоб, но это единственное, чем ты напоминаешь его: все остальное мое, только мое. Каждая черта доказывает, что ты мой.

Она снова заключила сына в свои объятия, а он ответил на них так же страстно. Он был

просто опьянен счастьем. Все это походило на самую чудную сказку, какую он мог себе вообразить, и он, ни о чем не спрашивая, ни о чем не думая, отдался очарованию.

Вдруг возле рожи послышался голос, звавший Осю. Станислава Феликсовна вздрогнула.

— Нам надо расстаться. Никто не должен знать, что я виделась с тобою, главное, не должен знать твой отец!.. Когда ты вернешься к нему?

— Через две недели...

— Через две!.. — повторила она. — Ну, до тех пор мы с тобою будем видеться ежедневно. Завтра в этот же час будь у пруда, но один, чтобы нам не мешали. Ты ведь придешь, Ося?

— Конечно, мама, но...

— Главное, не говори никому, решительно никому, не забывай этого! Прощай, дитя мое, мой единственный любимый сын, до свиданья!

Еще один поцелуй, и Станислава уже юркнула в чащу деревьев так же беззвучно, как и пришла.

Да и пора было скрыться. Тотчас вслед за

тем в роще появились две девочки, которые поражали с первого взгляда своим необычайным сходством друг с другом. Всякий принял бы их за сестер-близнецов, если бы разница в одежде не говорила, что одна из них барышня, а другая служанка.

Девочки были лет десяти. Одна из них — княжна Людмила Полторацкая, а другая — Таня Берестова, крепостная девочка княгини Вассы Семеновны.

Княгиня овдовела лет десять тому назад и все свои заботы отдала своей только что родившейся дочери, посвящая ей все досуги своей хозяйственной деятельности, считавшейся образцовой среди ее соседей. Княгиня была строга, взыскательна, но справедлива. Она не обременяла крестьян усиленной работой, но и не любила лентяев и дармоедов.

Среди дворовых княгини была молодая вдова дворецкого Ульяна Берестова, больная чахоткой, красивая молодая женщина, с дочерью Таней. Через несколько лет после смерти князя Полторацкого умерла и Ульяна, и ее девочка осталась круглой сироткой. Княгиня Васса Семеновна приняла в ней чисто мате-

ринское участие и позволяла по целым дням играть со своей дочерью.

Поразительное сходство между обеими девочками, видимо, не обращало особенного внимания княгини. Злые языки говорили, что она знала причину этого сходства, а еще более злые утверждали, что из-за этого сходства мать девочки сошла в преждевременную могилу и что в быстром развитии смертельной болезни Ульяны небезучастна была княгиня Васса Семеновна.

Как бы то ни было, но девочки были почти погодки и в течение нескольких лет стали задушевными подругами. Различие между ними было лишь в одежде, так как даже скудное по тому времени образование у священника сельской церкви они получали вместе. Губернантка француженка, приставленная к княжне, одинаково передавала премудрость своего языка и бывшей неразлучно с княжной Людмилой Тане.

Княгиня Васса Семеновна Полторацкая жила безвыездно в своем имении, лишь изредка выезжая в Тамбов по хозяйственным надобностям. Связью между нею и Петербур-

гом был ее брат, друг и приятель майора Лысенко — Сергей Семенович Зиновьев, занимавший в то время в петербургской административной сфере далеко не последнее место. Летом он приезжал к сестре, и здесь устраивались свидания между ним и Иваном Осиповичем Лысенко, сын которого Ося на время летних вакаций всегда отправлялся на побывку к княгине Полторацкой и был желанным гостем в ее доме, как сын задушевного друга ее брата и, наконец, как сын человека, о котором у княгини сохранились более нежные воспоминания.

Несмотря на свои шестнадцать лет, Ося был еще совершенным ребенком, и общество двух десятилетних девочек вполне удовлетворяло его, тем более что они относились к нему с восторженным обожанием, очень льстившим его непомерному самолюбию. Надо при этом сознаться, что черненькие глазки грациозной княжны Люды, как звали ее домашние, имели значение в отношениях шестнадцатилетнего юноши к своей маленькой подруге. Инстинктивное чувство любви уже зарождалось в сердце молодого человека.

Княжна Люда могла и, видимо, имела право обращаться с Осей деспотично, и своенравный и неукротимый для всех сорванец становился при ней послушным исполнителем ее желаний.

«Жених и невеста» — так прозвали Осю и Люду в доме Полторацких, и, видимо, обоим детям было далеко не противно это прозвище.

Эта-то Люда со служанкой-подругой и появилась в роще.

— Отчего ты не отвечаешь? Я звала уже три раза. Уж не спал ли ты? У тебя совсем такой вид, будто ты только что видел сон.

Ося на самом деле стоял точно ошеломленный и дико смотрел в ту сторону, куда скрылась его мать. Только через несколько минут он повернулся к девочкам и, проведя рукою по лбу, медленно ответил:

— Да, я видел сон... странный, чудесный сон!

— Как не стыдно спать днем! — укоризненно сказала княжна Люда, видимо, не поняв ответа молодого Лысенко.



## ОТЕЦ И СЫН

Отцы Лысенко и Зиновьева с давних пор были в дружеских отношениях. Как соседи по имениям, они часто виделись. Их дети росли вместе, и множество общих интересов делало все крепче эту дружескую связь. Так как они обладали весьма небольшим состоянием, то их сыновьям пришлось по окончании ученья самостоятельно пролагать себе дорогу в жизни.

Иван Осипович и Сергей Семенович так и сделали. Они были товарищами детских игр и, возмужав, остались верны старой дружбе, даже чуть не породнились, так как их родители мечтали о союзе молодого Лысенко с Вассой Семеновной. По-видимому, и молодые люди сочувствовали друг другу.

Все шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, неожиданно положившее конец всем этим планам.

За много лет до того один из родственников Зиновьевых по женской линии, Менгден, неисправимый кутила, бежал от долгов из России в Польшу, где и принял должность управляющего в имении одного богатого по-

мещика. По смерти владельца ему удалось получить руку вдовы, и таким образом он снова достиг выдающегося положения в жизни.

Лет через пятнадцать после брака Менгден вместе с женой посетил родственников в России.

Госпожа Менгден была уже в зрелых годах и давно отцвела; это, однако, не помешало ей иметь от второго брака дочь, двенадцатилетнюю Якобину. Ее сопровождала также дочь от первого брака, Станислава Феликсовна Свенторжецкая. Эта семнадцатилетняя полька, окруженная ореолом своеобразной красоты, прелести и огненного темперамента, засияла как солнце на горизонте тамбовских провинциалов, жизнь которых шла до сих пор неспешным, размеренным шагом. Станислава, конечно, выделялась в этом кругу, но сама с равнодушием избалованной повелительницы пренебрегала его обычаями и воззрениями. В свою очередь окружающие смотрели на нее, как на удивительное явление из какого-то неизвестного им мира, и в душе относились к ней неодобрительно.

В это время Иван Осипович Лысенко приехал из Тамбова в имение отца, увидел Станиславу, и его судьба была решена. Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, походит на какое-то опьянение, одурение и очень часто оплачивается ценою раскаяния во всю последующую жизнь. Забыты были желания родителей и собственные мечты о будущем, забыта спокойная сердечная привязанность, соединявшая его с подругой детства Вассой. Иван Осипович не замечал более этого скромного цветка родины, а вдыхал опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом; все остальное исчезло, потонуло в тумане.

Однажды, оставшись наедине со Станиславой, он бросился к ее ногам, признался ей в любви и, к его удивлению, чувство не осталось без ответа: Станислава приняла его предложение.

Известие об этой помолвке подняло целую бурю в обеих семьях. Со всех сторон посыпались уговоры и предостережения; даже мать и вотчим Станиславы были против брака. Однако общее сопротивление только раздувало

страсть молодых людей. Несмотря ни на что, они поставили на своем, и через полгода Иван Лысенко ввел в свой дом молодую жену.

Люди, пророчествовавшие несчастье их браку, к сожалению, предсказали слишком верно. За коротким опьянением счастья последовало самое горькое разочарование.

Со стороны Ивана Осиповича было роковой ошибкой вообразить, что женщина, подобная Станиславе, выросшая в безграничной свободе, привыкшая к расточительной жизни богатых фамилий в своем отечестве, могла когда-нибудь подчиниться нравственным воззрениям и примириться с общественными отношениями скромных русских провинциалов. Охотиться по целым часам верхом на полудиком коне в обществе мужчин, вести с ними разговоры в свободном тоне в своем доме, всегда наполненном толпой гостей, окружать себя блеском, обыкновенно идущим рука об руку со страшным упадком имений, обремененных долгами, — вот жизнь, которую одну знала Станислава и которая только и соответствовала ее характеру. Понятие о долге было ей так же чуждо, как все вообще в ее новой

обстановке.

И эта женщина должна была вести хозяйство в доме молодого военного, в распоряжении которого были весьма ограниченные средства, должна была приноравливаться к общественным отношениям в маленьком городе наместничества.

Первые же недели показали, что это невозможно. Станислава начала с того, что поставила свой дом на соответствующую своим вкусам ногу и стала безумно проматывать свое небольшое приданое. Напрасно просил и уговаривал муж — она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение, предметы, священные в его глазах, возбудили в ней только насмешки. Его странные, по ее мнению, понятия о чести и приличий заставляли ее только пожимать плечами.

Скоро между супругами начались ежедневные бурные сцены, и тогда, когда уже было поздно, Иван Осипович должен был сознаться, что поступил очень опрометчиво. Теперь он должен был признать, что только каприз или разве мимолетная страсть привели Станиславу в его объятия. Теперь она не виде-

ла в нем ничего, кроме неудобного спутника жизни, который портил ей всякое удовольствие педантизмом и смешными понятиями о чести и всюду ставил ей преграды. Тем не менее она боялась этого человека, потому что ему всегда удавалось подчинить своей воле ее бесхарактерную натуру.

Рождение маленького Оси уже не могло ничего исправить в этом глубоко несчастном союзе. Впрочем, оно заставило супругов сохранять внешний вид согласия. Станислава Феликсовна страстно любила ребенка и знала, что муж ни за что не отдаст его ей, если дело дойдет до развода. Одно это удерживало ее подле мужа, и Иван Осипович, затаив страдание, терпеливо переносил свою горькую жизнь и употреблял все усилия к тому, чтобы скрыть ее от посторонних.

Но эти посторонние знали всю правду, знали даже то, о чем муж и не подозревал, что скрывали от него из деликатности. Года через два после свадьбы полк, в котором служил Иван Осипович Лысенко, был переведен в Москву. Вот здесь-то и настал день, когда повязка упала с глаз обманутого мужа, и он

узнал то, что уже давно не было тайной ни для кого, кроме него.

Следствием этого была дуэль. Противник Ивана Осиповича был ранен и вскоре умер, а Лысенко заключен под арест, но вскоре был выпущен на свободу, так как все знали, что он как оскорбленный супруг защищал свою честь. В то же время он начал дело о разводе.

Станислава Феликсовна не выказала ни малейшего сопротивления, но делала отчаянные попытки удержать за собою ребенка и вела из-за него борьбу не на жизнь, а на смерть. Однако все оказалось напрасно: сын был безусловно отдан отцу, и тот с неумолимой жестокостью не позволял матери даже приближаться к нему, и ей ни разу не удалось видеть сына. Наконец убедившись, что ничего не добьешься, она вернулась в Варшаву к своей сводной сестре, жившей в этом городе и вращавшейся в придворных сферах. Казалось, Станислава Феликсовна навеки умерла для своего бывшего мужа, и вдруг совершенно неожиданно снова появилась в России, где ее муж уже занимал видный военный пост.

Прошло около недели со дня первого сви-

дания молодого Лысенко с матерью. В гостиной княжеского дома Полторацких сидела Васса Семеновна, а напротив нее помещался полковник Иван Осипович Лысенко, только что приехавший из Москвы. Должно быть, предмет разговора был серьезен и неприятен, потому что Иван Осипович мрачно слушал хозяйку. Княгиня говорила:

— Перемена в Осе бросилась мне в глаза уже несколько дней тому назад. В первое время его просто обуздать нельзя было, так что я раз даже пригрозила отослать его домой, и вдруг он совсем повесил голову, не затевал больше никаких глупостей, по целым часам рыскал один по лесу и, возвратившись домой, спал. Брат решил, что он начинает делаться благоразумнее, я же сказала: «Дело нечисто, тут что-нибудь да кроется», — и принялась за Люду и Таню, которые тоже казались какими-то странными и, очевидно, были в заговоре. Они, оказывается, застали Осю с его матерью в роще, и мальчик взял с них слово, что они будут молчать. Девочки действительно молчали и признались лишь тогда, когда я пристала к ним, что называется, с ножом к



горлу.

— А Осип? Что он сказал? — прервал ее Лысенко.

— Ничего, потому что я и не заикалась ему об этом. Он, разумеется, спросил бы меня, почему же ему нельзя видаться с родною матерью, а на такой вопрос может ответить только отец.

— Вероятно, он уже получил ответ, — с горечью произнес Лысенко. — Только едва ли ему сказали правду.

— Вот этого-то я и боялась, а потому, как только узнала всю историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?

— Ну, конечно, я приму меры. Благодарю вас, княгиня! Я точно предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настоятельно призывавшее меня сюда. Сергей был прав — я ни в каком случае не должен был ни на час отпускать от себя сына; но я надеялся, что здесь, в Зиновьеве, он в безопасности. Осип так радовался поездке, так ждал ее, что у меня не хватило духа отказать ему в ней. Вообще он только тогда весел, когда я далек от него.

В последних словах слышалась глухая боль, но княгиня Васса Семеновна только пожалала плечами.

— Не он один виноват в этом, — сказала она. — Я тоже строго веду свою девочку, но тем не менее она знает, что у нее есть мать и что она дорога ей; Осип же не может сказать то же о своем отце, он знает вас только со стороны строгости и неприступности. Если бы он подозревал, что в глубине души вы обожаете его...

— То сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своею нежностью и ласками. Неужели мне допустить, чтобы он стал повелевать и мною так же, как всеми, кто только имеет дело с ним? Я единственный человек, которого он боится, а вследствие этого и уважает.

— И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать, без сомнения, осыпает безумными ласками? Откровенно скажу вам, что ничего иного нельзя было и ожидать с тех пор, как она опять здесь. Держать Осю при себе ни к чему не привело бы, потому что шестнадцатилетнего

мальчика нельзя уже охранять, как маленького ребенка, и мать нашла бы к нему дорогу. Да в конце концов она и права, и я поступила бы совершенно так же.

— Права! — горячо воскликнул Лысенко. — И это говорите вы, княгиня?

— Права, несомненно, права, — продолжала княгиня. — Я говорю это потому, что знаю, что значит иметь единственного ребенка. То, что вы взяли у Станиславы мальчика, было в порядке вещей: подобная мать не пригодна для воспитания, но то, что теперь, через двенадцать лет, вы запрещаете ей видеться с сыном — жестокость, внушить которую может только ненависть. Как бы ни была велика ее вина — наказание слишком сурово.

— Никогда не подумал бы я, что именно вы возьмете сторону Станиславы, — глухо произнес Лысенко. — Ради нее я когда-то жестоко оскорбил вас, разорвал союз.

— Который вовсе еще не был заключен, — поспешно прервала его княгиня. — Это было планом наших родителей, и ничего больше.

— Но мы знали о нем с детских лет, и он нравился нам. Не старайтесь оправдать меня,

княгиня, я слишком хорошо знаю, какой вред нанес тогда вам и... себе.

— Будь по-вашему, Иван Осипович! Тогда я любила вас, и, вероятно, вы сделали бы из меня не совсем то, чем я стала теперь; я всегда была своевольной девушкой и не легко поддавалась чьему-нибудь влиянию, но вам я покорилась бы. Когда через пять лет после вашей свадьбы я пошла к алтарю с князем Полторацким, судьба решила иначе. Она сделала меня главой семьи, роковые обстоятельства узаконили это главенство — мой муж вскоре умер. Однако прочь все эти старые, давно прошедшие дела! Мы, несмотря ни на что, остались друзьями, и если теперь вам нужно мое содействие или совет, я готова.

Лысенко почтительно поцеловал ее руку, говоря:

— Я знаю это, княгиня, но в таком деле я один могу решать и действовать. Прошу вас, позовите Осипа ко мне. Я поговорю с ним.

Минут через десять вошел Ося. Он затворил за собою дверь и остановился у порога.

Иван Осипович обернулся.

— Подойди ближе, Осип, мне надо перегово-

ворить с тобою.

Мальчик послушался и медленно приблизился к отцу. Он уже знал, что Тане и Люде пришлось покаяться и что его встречи с матерью стали известны, но робость, с которою он обыкновенно приближался к отцу, уступила сегодня место нескрываемому упорству.

Это не ускользнуло от Ивана Осиповича. Он окинул долгим, мрачным взглядом красивую юношескую фигуру сына и произнес:

— Мой внезапный приезд, кажется, не удивляет тебя? Ты, может быть, даже знаешь, что привело меня сюда? Да? В таком случае мы обойдемся без предисловия. Ты узнал, что твоя мать жива, она являлась к тебе, и ты встречаешься с нею. Когда ты увидел ее в первый раз?

— Полторы недели тому назад.

— И с тех пор говорил с нею ежедневно?

— Да, у лесного пруда.

— Вот как? Ну, что же, я не упрекаю тебя, потому что не запрещал тебе ничего в этом отношении; вопрос об этом пункте никогда даже не поднимался между нами. Но, если дело зашло так далеко, я должен нарушить мол-

чание. Ты считал свою мать умершей, и я допустил эту ложь, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний, которые отравили мою жизнь. Это оказалось невозможным, а потому ты должен узнать теперь правду. Еще молодым офицером я страстно полюбил твою мать и женился на ней против воли своих родителей, которые не ждали никакого добра от брака с женщиной другой религии. Они оказались правы: брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я имел неоспоримое право на это, закон отдал сына мне. Более я не могу сказать тебе, потому что не хочу обвинять мать пред сыном. Удовольствуйся этим.

Хотя объяснение было коротко и звучало жестко, но произвело на молодого Лысенко странное впечатление: отец не хотел обвинять пред ним мать, пред ним, который ежедневно выслушивал от нее самые горькие жалобы и обвинения против отца! Станислава свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство. В своем сыне она нашла даже чересчур жадного слушателя, так как его необузданная натура с трудом переносила

сила строгость отца. И все-таки немногие серьезные слова последнего подействовали сильнее, чем все страстные излияния матери. Мальчик инстинктивно почувствовал, на чьей стороне правда.

— А теперь к делу, — продолжал Иван Осипович. — Что было содержанием ваших ежедневных бесед?

Осип, вероятно, не ожидал подобного вопроса. Густой румянец залил его лицо. Осип молчал и глядел в пол.

— А, вот как, ты не смеешь повторять их мне? Не хочешь говорить? Все равно твое молчание говорит мне больше, чем слова; я вижу, какое отчуждение ко мне уже успели внушить тебе, и ты будешь совсем потерян для меня, если я предоставлю тебя этому влиянию еще хоть ненадолго. Встречи с матерью больше не повторятся; ты сегодня же уедешь со мною домой и останешься под моим надзором. Кажется ли тебе это жестоким или нет — так должно быть, и ты будешь повиноваться.

Но Иван Осипович заблуждался, полагая, что сын, как всегда, покорится простому приказанию.

— Отец, этого ты не можешь и не должен мне приказывать! — горячо возразил он. — Она — мне мать, которую я наконец нашел и которая одна в целом свете любит меня. Я не позволю отнять ее у меня так, как ее отняли у меня раньше. Я не позволю принудить себя ненавидеть ее только потому, что ты ненавидишь ее! Грози, наказывай, делай что хочешь, но я не буду повиноваться.

Весь необузданный, страстный темперамент юноши вылился в этих словах. Неприятный огонь пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки. Он дрожал под влиянием дикого порыва возмущения. Очевидно, он решился начать борьбу с отцом, которого прежде так боялся.

Но взрыва гнева отца не последовало. Иван Осипович смотрел на сына серьезно и молчал с выражением немого упрека во взгляде.

— Одна в целом свете любит тебя! — медленно повторил он. — Ты, верно, забыл, что у тебя есть еще отец?

— Который не любит меня! — крикнул мальчик тоном, переполненным горечью. —



Только теперь, когда я нашел свою мать, я знаю, что такое любовь.

— Осип!

Мальчик совсем опешил при звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который он слышал в первый раз. Горячая речь, готовая уже снова политься, замерла на его устах.

— Потому, что ты никогда не видел от меня нежностей, потому, что я воспитывал тебя серьезно и строго, ты сомневаешься в моей любви? — продолжал отец тем же тоном. — А знаешь ты, чего стоила мне эта строгость с единственным любимым ребенком?

— Отец!

Это восклицание звучало еще робко и нерешительно, но в голосе Осипа слышалось что-то вроде зарождающейся симпатии и радостного изумления. Глаза сына не отрывались от глаз отца, который положил руку на его плечо и притягивал его к себе, говоря:

— Когда-то у меня было честолюбие, были гордые надежды на жизнь, великие планы и намерения. Со всем этим я покончил, когда меня поразили этот удар. От него мне никогда

не оправиться, и если я еще живу и борюсь, то, кроме сознания долга, меня побуждает к этому только одно: мысль о тебе, Осип! В тебе все мое честолюбие, сделать твою будущность счастливой и великой — вот все, чего я еще требую от жизни. И она может быть великой, Осип, потому что твои способности не из обыкновенных, а твоя воля тверда. Но есть и другие — опасные — качества в твоей натуре; они должны быть подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и повергли в бездну горя. Я обязан быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но не легко мне это было.

Лицо мальчика пылало. Задыхаясь, следил он за губами отца, как будто читал на них его слова. Наконец он произнес шепотом, за которым чувствовался с трудом скрываемый восторг:

— Я не смел до сих пор любить тебя, ты был всегда так холоден, так неприступен, и я...

Он остановился и снова взглянул на отца, обвившего его плечи рукою и еще крепче прижавшего к себе.

Их взгляды глубоко проникали в душу друг друга, и голос Лысенко прерывался, когда он тихо произнес:

— Ты мое единственное дитя, Осип, единственное, что мне осталось от мечты и счастья, которые исчезли, как сон, а взамен явились разочарование и горечь. Тогда я многое потерял и все вынес, но если бы мне пришлось потерять тебя, я не перенес бы этого.

Сын бросился к отцу на грудь, а отец крепко обвил сына руками, как будто хотел удержать его навсегда. В этом горячем, страстном объятье все остальное было ими забыто.

Оба забыли, что между ними стояла грозная тень, выступившая из прошедшего, разлучая их. Они оба не заметили, что дверь комнаты приотворилась и опять заперлась. Осип все еще обнимал отца с бурною нежностью. Иван Осипович ничего не говорил, но время от времени целовал сына в лоб и не сводил глаз с прелестного, полного жизни лица, которое он крепко прижимал к своей груди.

Наконец сын тихо произнес:

— А... моя мать?

— Твоя мать покинет Россию, как только

убедится, что ты и впредь должен оставаться вдали от нее, — ответил Иван Осипович, на этот раз без всякой жесткости в голосе, но совершенно твердо. — Ты можешь писать ей; я позволяю переписку с известными ограничениями, но личные встречи я не могу и не должен допускать.

— Неужели ты до такой степени ненавидишь ее? — с укором спросил юноша. — Ты пожелал развода, а не она, я узнал это от самой матери.

Губы Ивана Осиповича вздрогнули. Он хотел возразить, что развод был восстановлением чести, но взглянул на темные, вопрошительные глаза сына, и его слова замерли на его устах. Он не был в состоянии доказывать сыну виновность матери.

— Оставь этот вопрос, — мрачно ответил он, — я не могу отвечать на него. Может быть, впоследствии ты сам поймешь и оценишь мотивы, руководившие мною; теперь я не могу избавить тебя от тяжелой необходимости сделать выбор — ты должен принадлежать кому-нибудь одному из нас, с другим надо расстаться. Покорись этому, не рассуждая, как

воле судьбы...

Юноша опустил голову. Он почувствовал, что в настоящую минуту ничего более не добьется, а потому убитым тоном произнес:

— Я скажу это матери. Теперь, когда ты все знаешь, я, конечно, могу открыто идти к ней.

Иван Осипович остолбенел. Он совершенно не подумал о возможности такого вывода.

— Когда же ты хочешь видеться с нею?

— Сегодня же, у пруда. Она наверно уже там.

Иван Осипович боролся сам с собою. Что-то в глубине души предостерегало его, убеждало не допускать этого свидания, и в то же время он сознавал, что было бы жестоко запретить его.

— Вернешься ты через два часа? — спросил он после довольно продолжительной паузы.

— Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.

— Так иди, — сказал Лысенко с глухим вздохом, — но помни: как только ты вернешься, мы поедем домой: ведь и без того твои канулы приходят к концу.

Мальчик, уже собиравшийся идти, вдруг остановился. Слова отца напомнили ему то, о чем он было забыл в последние полчаса, — гнет ненавистной службы, опять ожидавшей его. До сих пор он не смел высказывать свое отвращение к ней, но этот час безвозвратно унес с собою всю его робость пред отцом. Следуя вдохновению минуты, он снова обвил руками шею отца и воскликнул:

— У меня к тебе большая просьба, которую ты непременно должен исполнить; я знаю, ты согласишься, в доказательство того, что ты действительно любишь меня.

— А, ты требуешь еще доказательств? Ну, посмотрим.

Сын еще крепче прижался к отцу. Его голос зазвучал той неотразимо нежной лаской, благодаря которой отказать ему в просьбе было почти невозможно.

— Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю дела, которому ты меня посвятил, и никогда не полюблю его. Если до сих пор я покорялся твоей воле, то лишь с отвращением, с затаенным, гневом; я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел признать-

ся тебе в этом.

— Другими словами, ты не хочешь повиноваться! — произнес Лысенко жестким тоном. — А тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.

— Но я не могу выносить принуждение, — страстно возразил мальчик, — а военная служба — не что иное, как постоянное принуждение, каторга! Всем повинуйся, никогда не имей собственной воли, изо дня в день покоряйся дисциплине, неподвижно застывшей форме. Все мое существо рвется к свободе, к свету и жизни. Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на привязи! Я задыхаюсь, я умираю.

Рука Осипа еще обвивала шею отца, но тот вдруг выпрямился, оттолкнул его от себя и резко ответил:

— Я полагал, что военная служба — вовсе не каторга, что быть военным — это честь! Свобода, свет, жизнь! Уже не думаешь ли ты, что в шестнадцать лет имеешь право очертя голову броситься в водоворот жизни и упиваться всеми ее благами? Для тебя эта именно свобода была бы только распущенностью,

твоей погибелью.

— А если бы так? — воскликнул юноша совершенно вне себя. — Лучше погибать на свободе, чем продолжать жизнь в такой неволе! Для меня служба — цепи, рабство.

— Молчать! Ни слова больше! — крикнул Иван Осипович. — У тебя нет более выбора, потому что ты уже на службе и принял присягу! Сначала ты должен получить офицерский чин и в качестве офицера исполнить свой долг, как и все твои товарищи; когда же ты достигнешь совершенных лет и я уже не буду иметь власти над тобою, тогда выходи, если хочешь, в отставку, но для меня известие о том, что мой единственный сын уклонился от военной службы, будет смертельным ударом. Но этого еще пока нет! Ты зависишь от меня и должен научиться покоряться, пока еще не ушло время. И ты научишься — даю тебе слово!

Голос Ивана Осиповича звучал непреклонно и сурово, ни малейшего следа нежности и мягкости не осталось в его лице.

Осип хорошо знал отца, чтобы еще раз попробовать просить или настаивать. Он ниче-



го не ответил, но в его глазах вспыхнула демоническая искра, а на крепко сжатых губах появилось лукавое, злое выражение. Он молча повернулся и направился к двери.

Иван Осипович следил за ним глазами. В его душе вдруг шевельнулось снова как бы предчувствие какого-то несчастья. Он окликнул сына.

— Осип, ведь ты вернешься через два часа? Ты даешь честное слово?

— Да, отец!

#### XIV ИСКУСИТЕЛЬНИЦА

Через несколько минут после ухода молодого Лысенко в комнату вошел Сергей Семенович Зиновьев.

— Ты один? — удивленно спросил он. — Я не хотел мешать тебе, но только что увидел, как Осип быстро пробежал через сад. Куда это он отправился так поздно?

— К матери, проститься с нею.

Зиновьев остолбенел от удивления при таком известии.

— С твоего согласия? — быстро спросил он. — Да? Какая неосторожность! Ты только

что по опыту узнал, как Станислава умеет поставить на своем, а теперь опять оставляешь сына на ее произвол.

— На какие-нибудь полтора часа. Я не мог отказать ему в этом прощальном свидании. И чего ты боишься? Уж не насилия ли с ее стороны? Осип — не ребенок, которого можно отнести на руках в экипаж и увезти, несмотря на его сопротивление.

— А если он не будет сопротивляться?

— Он дал мне слово возвратиться через два часа, — выразительно сказал Иван Осипович.

— Слово шестнадцатилетнего мальчика!..

— Который воспитан для военной службы и потому знает, что такое честное слово. Это вовсе не беспокоит меня, мои опасения клонятся совсем в другую сторону.

— Сестра сказала мне, что вы наконец поладили, — заметил Сергей Семенович, бросая взгляд на сильно омраченное лицо друга.

— На несколько минут, а потом мне опять пришлось быть строгим, суровым отцом. Именно этот час показал мне, какая трудная задача покорить и воспитать такую необуз-

данную натуру; но, что бы там ни было, я пересилю ее.

Сергей Семенович подошел к окну и стал смотреть в сад.

— Уже смеркается, — заметил он, — а до лесного пруда по крайней мере полчаса быстрой ходьбы. Если это свидание неизбежно, то ты должен был допустить его только в моем присутствии.

— Чтобы еще раз встретиться со Станиславой? Это невозможно. Этого я не хотел и не мог требовать.

— А если это прощанье кончится иначе, нежели ты предполагаешь? Если Осип не вернется?

— В таком случае он был бы негодяем, изменником своему слову, дезертиром, так как он уже состоит на службе. Не оскорбляй меня подобными предположениями, Сергей!

— Ну, не будем спорить, тебя ждут в столовой. Ты хочешь уехать сегодня же?

— Да, через два часа, — твердо и спокойно ответил Иван Осипович. — К этому времени Осип вернется.

Сергей Семенович печально улыбнулся, но

не сказал ничего. Оба друга отправились в столовую.

На полях и в лесу уже ложились серые тени летних сумерек. Вдоль берега лесного пруда беспокойно двигалась взад и вперед Станислава, закутанная в теплый плащ. Она не обращала внимания на спускавшуюся сильную росу, все ее существо было полно лихорадочного ожидания.

С того дня, когда девочки застали ее и Осипа в роще вдвоем и были поневоле посвящены в их тайну, Станислава Феликсовна назначала свиданья по вечерам, когда около пруда и в роще было совершенно пустынно. Но они все-таки расставались до наступления сумерек, для того чтобы позднее возвращение Осипа не возбудило в ком-нибудь подозрения. До сих пор Осип всегда был аккуратен, а сегодня мать ждала уже напрасно целый час. Задержал ли его случай, или же их тайна была открыта?

Вокруг в роще царила могильная тишина, нарушаемая шорохом шагов тревожно ходившей по траве женщины. Наконец послышался слабый звук шагов, сначала совсем вдали,

но они приближались к пруду со страшной быстротою. Скоро показалась стройная фигура юноши. Станислава бросилась ему навстречу. Через минуту сын был в ее объятьях.

— Что случилось? — спросила она, осыпая его бурными ласками. — Отчего ты так поздно? Что задержало тебя?

— Я не мог прийти раньше... я прямо от отца.

— От отца? — вздрогнула Станислава Феликсовна. — Так он знает?

— Все! — и мальчик наскоро рассказал, что случилось.

Не успел он кончить, как горький смех матери прервал его.

— Понятно, все они в заговоре, когда дело идет о том, чтобы отнять у меня мое дитя! А отец? Он, конечно, опять сердился, грозил и заставил тебя тяжелою ценою купить страшное преступление — свидание с матерью?

— Нет, — тихо сказал Осип, — но он запретил мне видеться с тобою и неумолимо требует нашей разлуки.

— Тем не менее ты здесь! О, я знала это!

— Не радуйся слишком рано, мама, — с го-

речью произнес мальчик. — Я пришел только проститься с тобою. Отец знает об этом, он позволил мне пойти проститься, а потом...

— А потом он снова возьмет тебя к себе, и ты будешь снова потерян для меня? Не так ли?

Мальчик не ответил. Он обеими руками охватил мать, и страшное рыданье вырвалось из его груди, рыданье, в котором было столько же гнева и горечи, сколько страдания.

— Ты плачешь? — произнесла Станислава Феликсовна. — Я давно все предвидела; даже если дети не видели нас, все равно в день отъезда из Зиновьева к отцу ты был бы поставлен в необходимость или расстаться со мною, или решиться.

— На что решиться?.. Что ты хочешь сказать? — с изумлением спросил сын.

— Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься насилию, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребенком и попруть ногами нашу любовь? Если ты согласишься сделать это, в твоих жилах нет ни капли моей крови, ты — не мой сын.

— Мама! — воскликнул мальчик.

— Он послал тебя проститься со мною, а ты терпеливо покоряешься, да еще принимаешь его позволение за величайшую милость с его стороны! — перебила его Станислава Феликсовна. — Ты в самом деле пришел проститься со мною, навсегда, в самом деле?

— Я должен! Ты знаешь отца и его железную волю; разве есть какая-нибудь возможность противиться ей?..

— Если ты вернешься к нему, то нет; но кто же заставляет тебя возвращаться?

— Мама! Ради Бога! — с ужасом воскликнул он, но руки матери еще крепче охватили его, а горячий, страстный шепот продолжал раздаваться над его ухом:

— Что так пугает тебя в этой мысли? Ты ведь только пойдешь за матерью, которая безгранично любит тебя и с той минуты будет жить исключительно тобою. Ты часто жаловался мне, что ненавидишь военную службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе; если ты вернешься к отцу, выбора уже не будет: отец неумолимо будет держать тебя в оковах; он не освободил

бы тебя, даже если бы знал, что ты умрешь от горя.

Ей не было надобности уверять в этом сына — он знал это лучше ее. Поэтому его голос стал почти беззвучным от горечи, когда он ответил:

— И все-таки я должен вернуться; я дал слово быть дома через два часа.

— В самом деле! — резко и насмешливо произнесла Станислава Феликсовна. — Так я и знала! То тебя считали не более как мальчиком, каждым шагом которого надо руководить; за тебя рассчитывали каждую минуту, ты не смел иметь ни одной самостоятельной мысли, теперь же, когда дело идет о том, чтобы удержать тебя, за тобой вдруг признают самостоятельность взрослого человека. — Она нервно захохотала. — Ну, хорошо, — продолжала она, — так покажи же, что ты взрослый не только на словах; действуй как взрослый! Вынужденное обещание не имеет никакой силы: разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать; освободись!.. Пойдем со мною, Осип! Я давно все предвидела и все подготовила; я ведь знала, что день, по-



добный сегодняшнему, настанет. В полчасае ходьбы отсюда ждет мой экипаж, он отвезет нас на ближайшую почтовую станцию, и прежде чем в Зиновьеве догадаются, что ты не вернешься, мы уже будем с тобою далеко-далеко.

— Нет, мама, нет, это невозможно! — воскликнул Осип.

Станислава Феликсовна, не слушая его, продолжала:

— Там свобода, жизнь, счастье! Я введу тебя в широкий, вольный свет, и только тогда, когда ты узнаешь его, ты вздохнешь полной грудью и почувствуешь радость освобожденного из темницы узника. О, я знаю, каково бывает на душе у такого счастливецца: ведь и я носила цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении; но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хороша свобода! Ты собственным опытом убедишься в этом.

Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались тысячным эхом в груди юноши, в котором до сих пор насильственно подавляли бурное стремление ко всему тому, что ему пред-

лагала мать. Как светлая, очаровательная картина, залитая волшебным сиянием, стояла перед ним жизнь, которую рисовала ему мать. Стоило протянуть руку — и она была его.

— Мое слово... мое слово!.. — бормотал он.

— Это ловушка.

— Отец будет презирать меня, если...

— Если ты достигнешь великой и славной будущности? Тогда явись к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя. Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые уносят тебя под облака. Он не может понять твою натуру, никогда не поймет ее. Неужели ты хочешь погибнуть из-за простого обещания? Пойдем со мною, Осип, со мною, для которой ты — все! Пойдем на свободу! — и Станислава Феликсовна увлекла сына прочь, медленно, но неудержимо.

Правда, некоторое время он еще противился, но вырваться ему не удалось. Под влиянием мольбы и нежности матери последний остаток сопротивления постепенно ослабел. Он последовал за нею.

Через несколько минут у пруда уже никого

не было. Мать и сын исчезли.

Между тем в то время, когда у берега лесного пруда происходило описанное нами объяснение между матерью и сыном, в столовой княгини Вассы Семеновны хозяйка дома, ее брат и полковник Иван Осипович Лысенко, казалось, спокойно вели беседу, которая совершенно не касалась интересовавшей всех троих темы. Эта тема была, конечно, разрешенное отцом свидание сыну с матерью.

Иван Осипович не касался этого предмета, а другим было неловко начинать разговор об этом.

Сергей Семенович иногда серьезно, с искренним сожалением поглядывал на своего друга. В душе у него сложилось полное убеждение, что мать одержит победу над сыном и что последний не вернется. Княгиня Васса Семеновна думала то же самое, хотя и не успела объясниться с братом ни одним словом. И брат, и сестра слишком хорошо знали Станиславу Феликсовну.

Время шло. Иван Осипович стал нервно двигаться на стуле и чутко прислушиваться к малейшему шуму, долетавшему из сада.

Густые сумерки стали ложиться на землю. Слуги зажгли в столовой огни. Назначенные отцом сыну два часа миновали.

Разговор между тремя собеседниками еще продолжался, но все чаще и чаще стал обрываться не только на полуфразе, но на полуслове. Напряженное состояние духа собеседников достигло высшей степени.

Его совершенно неожиданно разрешил Иван Осипович.

— Лошади, вероятно, готовы, — вдруг встал он.

— Лошади... Какие лошади?..

— Лошади, которые могли бы отвезти меня в Тамбов, а оттуда в Москву. Мне, как я уже говорил, необходимо уехать сегодня же; я и так заговорился с вами и опоздал на целый час.

— А сын? — невольно вырвалось у Сергея Семеновича.

— У меня нет сына, — холодно произнес Иван Осипович.

Княгиня переглянулась с братом, но оба они не сказали ни слова. Они хорошо поняли, что Иван Осипович убедился сам, что сын на-

рушил данное им слово и перешел на сторону матери. Тогда действительно он мог считаться погибшим для отца.

«У меня нет сына!» — эта фраза, казалось, так и осталась висеть в атмосфере комнаты, атмосфере тяжелой и неприветной.

Все трое стояли несколько минут как окаменелые. Первая прервала эту томительную паузу княгиня Васса Семеновна, дернув сонетку.

— Вели подавать лошадей!.. — приказала она явившемуся лакею.

Иван Осипович стал прощаться. Он с почитительностью и с какой-то особой нежностью поцеловал руку хозяйки дома, а затем нервно обнял друга, несколько раз поцеловал его и тотчас отвернулся, чтобы смахнуть предательскую слезинку, появившуюся на ресницах. После того он твердою, ровной походкой вышел в переднюю, а затем на крыльцо, у которого уже позвякивала бубенцами и колокольчиками княжеская тройка.

Лошади тронулись. Княгиня и ее брат молча стояли на крыльце, вдыхая легкую свежесть теплого июльского вечера. Звук коло-

кольчика и бубенцов удалявшейся тройки, по мере его удаления, точно снимал с них тяжелую ношу.

Наконец эти звуки замолкли. Брат и сестра вернулись в столовую, молча вошли и молча сели на свои места.

— Нелегко ему, бедному! — прервала молчание княгиня.

— Д-а-а-а, — протянул Сергей Семенович. — Но он сам виноват... Зачем было отпускать сына?.. Я говорил ему... Он рассердился... Он заявил, что уверен в возвращении Осипа, так как тот дал ему честное слово. Но он не принял во внимание, что мальчик уже вторую неделю находится под влиянием женщины, для которой слово «честь» не существует.

— Не слишком ли вы строги к ней... — заметила княгиня. — Она прежде всего — мать.

— Но разве мать не должна жертвовать своим личным «я» для пользы своего ребенка? Разве она не понимает, что отец, конечно, скорее выведет сына на честную дорогу, нежели она, бездомная скиталица, разведенная жена?.. Как враждебно ни была бы она настроена против своего мужа, она не может

усомниться в одном — в его честных правилах... Где она была восемь лет? Почему только теперь ей понадобился сын? Нет, это возмутительно!.. Мальчик погиб не только для Ивана, но погиб для всех.

## XV ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ

С воцарением Елизаветы Петровны немецкий гнет, тяготевший над Россией, был уничтожен мановением прелестной, грациозной ручки дочери Великого Петра.

Елизавета Петровна отличалась добротой своей матери, отвращением к крови, здравым смыслом и умением выбирать людей. Она сохранила на престоле ту любовь к своей родине, ту простоту Петра, которые стяжали ей имя «матушки» у народа.

Ее двор был отрицанием «Домостроя». Он подчинялся овладевшему тогда Европой влиянию Франции. Пышность, блеск, увеселения, маскарады, оперы, водевили, возникшие при Анне Иоанновне в грубом виде, достигли версальского изящества. Императрица сама переодевалась несколько раз в день, в ее гардеробе было до 15000 шелковых платьев. Она

любила сидеть пред зеркалом, болтая вздор, слушая сплетни дипломатов, а вследствие этого проходили месяцы, пока министр уда-стаивался доклада.

В глубине души Елизавета Петровна была настоящей русской помещицей. По вечерам она была окружена бабами и истопником, которые тешили ее сказками и народными прибаутками. От балов она переходила к томительному богослужению, от охоты — к «богомольным походам». Она благоговела пред духовенством и часто жила в Москве.

При Елизавете Петровне возникли русская литература, науки и высшее образование, а внешняя политика отличалась националь-ным направлением. Императрица начала с объявления, что останется девицей, а наследником назначает своего племянника, сына Анны Петровны, который тотчас же был вы-писан из Голштинии и обращен в правосла-вие под именем Петра Федоровича. Это был тот самый «чертушка», который, если при-помнит читатель, смущал покой Анны Лео-польдовны.

Наряду с этим при дворе интриги были в



полном разгаре. Первую роль играли женщины: Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Настасья Михайловна Измайлова и другие. От женщин не отставали и мужчины. Немедленно по воцарении Елизаветы Петровны образовались партии, только и думавшие о том, как бы одна другую низвергнуть. Их вражда забавляла государыню, и она часто пересказами старалась еще более возбуждать противников друг против друга.

С одной стороны стояли представители союза с Францией, к которым присоединилась еще голштинская свита наследника престола, с другой — Бестужев, опиравшийся на Разумовского. Сам же Алексей Григорьевич не принимал участия в придворных сплетнях и интригах. Его близкими приятелями были Бестужев и Степан Федорович Апраксин; но тем не менее в государственные дела он не вмешивался, а Бестужева любил потому, что, несмотря на его недостатки, чуял в нем самого способного и полезного для России деятеля.

Первая стычка между двумя партиями имела следствием несчастное лопухинское дело.

Герману Лестоку хотелось уничтожить соперника, им же самим возвышенного. Он ухватился за пустые придворные сплетни, надеясь запутать в них вице-канцлера Бестужева-Рюмина и тем повредить Австрии.

Надо заметить, что в числе осужденных на смертную казнь, но помилованных Елизаветой Петровной, был и граф Левенвольд, казнь которого была заменена ссылкой в Сибирь. Негодование и досада овладели близкой к нему женщиной — Натальей Федоровной Лопухиной. Она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей.

Этого было достаточно. Лесток и князь Никита Трубецкой стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна. Агенты Лестока — Бергер и Фалькенберг — напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность. Лопухин дал волю своему языку и понес разный вздор. Из этого же вздора Лесток составил донос, или,

лучше сказать, мнимо-ботто-лопухинское дело. Лесток и Трубецкой старались замешать в это дело также бывшего австрийского посла при нашем дворе, маркиза Ботта д'Адорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить их как главных зачинщиков. Концом процесса было присуждение Лопухиных: Степана, Наталью и Ивана бить кнутом, вырезать язык, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать. Однако Бестужева это дело не сломило.

После описанной трагической развязки этого процесса двор переехал в Москву. Через несколько недель, весной 1744 года приехала принцесса Ангальт-Цербст-Бернбургская Иоганна Елизавета с дочерью Софией Августой Фредерикою. Этот приезд был неожиданным ударом для Бестужева, мечтавшего о брачном союзе для наследника престола с принцессою Саксонскою. В то же самое время миропомазание принцессы Софии, принявшей с православием имя Екатерины Алексеевны, было последним торжеством Лестока.

Во время пребывания двора в Москве, 12 мая 1744 года, императрица подарила Алек-

сею Григорьевичу Разумовскому село Перово и деревни Татарки и Тимохово, а также и двор Гороховский на земле Спасо-Андроньевского монастыря, отобранный прежде в военную канцелярию, но с тем чтобы за землю платить монастырю оброчные деньги.

Разумовский в государственные дела вмешиваться не любил... Он понимал, что высшие правительственные соображения не про него писаны, что он к этому делу не подготовлен, и потому ограничился тем, что передавал государыне бумаги Бестужева и не пропускал случая замолвить за него доброе слово. К тому же свойственная всем истым малороссиянам лень еще более отстраняла его от головоломных занятий.

Однако были два вопроса, которые задевали его за живое. Для них он забывал свою природную лень и отвращение к делам и смело выступал вперед, не опасаясь из-за них докучать государыне. Первый вопрос касался дел духовных и духовенства.

Благодаря Разумовскому влияние духовенства на набожную и суеверную Елизавету приняло огромные размеры.

«Первейший тогда, в особливой милости и доверенности у ее императорского величества находящийся господин обер-егермейстер граф Алексей Григорьевич Разумовский, — говорит князь Яков Петрович Шаховской, — приятственно с духовными лицами обходился и в их особливых надобностях всегда предстателем был».

Если не по инициативе Разумовского, то, по крайней мере, через его посредство учреждена была в Свияжске особая комиссия с целью распространения христианства в среде инородцев. Миссионеры посылались и в Сибирь, и на Кавказ, и в Камчатку, и результаты их деятельности были блестящи.

Доброе семя было брошено и начало уже пускать корни. Вслед за принятием христианства неминуемо последовало бы окончательное обрусение края, но, к сожалению, эти благие начала не принесли доброго плода и благодаря равнодушию следующих царствований прошли без следа.

К сожалению, религиозное настроение Разумовского и императрицы имело и темную сторону. Их набожностью пользовались для

достижения своих целей хитрые интриганы. Этим объясняется то, что несмотря на исключительное положение некоторых духовных лиц при дворе, на постоянное благорасположение к ним государыни и непрестанное ходатайство за них Разумовского, собственно для улучшения всего духовенства и рационального усиления его влияния было сделано или ничего, или крайне мало.

Другим вопросом, возбуждившим живое участие в Алексее Григорьевиче, были дела Малороссии. Здесь он действовал совершенно самобытно, руководимый единственно страстной любовью к родине.

При дворе никто не обращал внимания на отдаленную Украину, до нее никому не было дела, и она стонала под игом правителей, посылаемых из Петербурга. Ее права были забыты, и на ней страшным образом отозвался ужас бироновщины.

В Петербург прибыли депутаты от Украины с поздравлением с совершившимся священным коронованием Елизаветы Петровны. Прием, оказанный им, льготы, привезенные ими, рассказ о силе и влиянии Разумовского

при дворе, о любви его к родине и всегдашней готовности хлопотать и стоять за земляков, произвели сильное впечатление в Малороссии. Все вздохнули привольнее, во всех сердцах зародились надежды на будущие блага, и «генеральные старшины» громко стали поговаривать об избрании гетмана.

По отъезде депутатов-земляков Алексей Григорьевич загрустил по родине и стал думать только о том, как бы ему побывать в Малороссии, а так как малейшие желания тайного супруга императрицы были законом для ее двора, то она сама решила посетить Киев.

Это путешествие в Малороссию или, как тогда выражались, «поход», началось 27 июня 1744 года.

Поезд государыни был огромный. Ее сопровождал Разумовский, гофмейстер Шепелев, граф Салтыков, Федор Яковлевич Дубянский, два архиепископа, графиня Румянцева, князь Александр Михайлович Голицын, граф Захар Григорьевич Чернышев, Брюммер, Берхгольц, Декен и другие. Вся свита состояла из двухсот тридцати человек.

Генеральные старшины взяли было на се-

бя поставку лошадей и провизии на станциях от Глухова до Киева. Решено было подготовить 4000 лошадей, но Алексей Григорьевич сообщил, что всех лошадей нужно будет 23000, так что принуждены были их собирать с обывателей.

Пред государыней проехали великий князь Петр Федорович и его невеста и принцесса Ангальтская; они сперва в Козельске, а потом в Глухове дожидались поезда императрицы.

Начало путешествия было неблагоприятно. Открылся, или, вернее, уверили государыню, что был открыт заговор. Многие лица из свиты прямо с дороги отправлены были в ссылку. Вследствие этого Елизавета Петровна сначала была в очень дурном расположении духа, но туча разошлась дорогою и уже в Малороссии рассеялись последние следы бури.

Прием, сделанный императрице в Толстодубове, под Глуховом, на самом рубеже Украины, был великолепен. В нем участвовало двенадцать полков и несколько отрядов из надворной гетманской хоругви. Полки были выстроены в одну линию, в два ряда. Первый



полк, отсалютовав царице знаменами и саблями, обскакивал весь фронт и другой полк и останавливался за последним; второй делал то же, и таким образом государыня видела неразрывную цепь полков до Глухова. Доехав до городских ворот, государыня вышла из кареты и пошла пешком в Девичий монастырь, где слушала обедню. Из монастыря государыня отправилась в карете на монастырский двор, где была аудиенция всем старшинам. После аудиенции был обед и вечером танцы.

На другой день после приезда государыни ей через Разумовского было подано прошение о гетмане. В тот же день Елизавета Петровна поехала далее, милостиво приняв прошение.

Такие же встречи были в Кролевце, Нежине и Козельце. Из Киевской академии были выписаны «вертепы». Певчие пели, семинаристы представляли зрелища божественные в лицах и пели поздравительные кантаты.

Есть предание, что в Козельце государыня останавливалась на долгое время у матери Алексея Григорьевича — Натальи Демьяновны — и еще ближе познакомилась с семейством Алексея Григорьевича.

Встреча в самом Киеве была чрезвычайно торжественна. В ней приняло участие все население города. Воспитанники духовной академии ожидали Елизавету Петровну в виде греческих богов, героев и даже мифологических животных. С помощью машин были произведены разные удивительные явления. Так, между прочим, выехал за город седовласый старик в богатой одежде, с короной на голове и жезлом в руках. Он представлял киевского князя Владимира Великого, приветствовал государыню, как свою наследницу, пригласил ее в город и поручил ей весь русский народ. Он сидел на колеснице, названной «Боже-ственный фаэтон», в который были запряжены два пиетических крылатых коня, или пегаса.

Все полковники на дистанциях до Киева с полчанами своими подавали прошения о гетмане.

Государыня в Киеве оставалась две недели. Она была в восторге от приема и от самого Киева, посещала церкви и монастыри, где оставляла богатые вклады, собственноручно золотила великолепную церковь Андрея Пер-

возванного и повелела строить в Киеве дворец.

На возвратном пути государыня опять посетила Козелец и пригласила Наталью Демьяновну с дочерьми в Петербург на свадьбу наследника престола.

В ответ на прошение о гетмане генеральным старшинам было приказано прислать в Петербург торжественную депутацию ко дню бракосочетания наследника.

Вскоре по возвращении из «малороссийского похода» стали готовиться к бракосочетанию великого князя. И без того безумная роскошь двора того времени приняла особенные размеры. Всем придворным чинам за год вперед было выдано жалованье, так как они «по пристойности каждого свои экипажи приготовить имеют». Именным указом было повелено знатным обоего пола особам изготовить богатые платья, кареты цугом и прочее. Из Парижа было выписано подробное описание всех церемоний празднеств и банкетов, бывших при свадьбе дофина с инфантою испанскою, а из Дрездена — все рисунки, программы, объявления тех торжеств, которыми

во время правления роскошного Августа II сопровождалось бракосочетание его сына, царствовавшего в то время короля польского.

Государыня страстно любила празднества. При дворе бывали постоянно банкеты, куртаги, балы, маскарады, комедии французская и русская, итальянская опера и прочее. Два раза в неделю бывали при дворе маскарады — один для двора и для тех лиц, которых государыня удостоивала приглашениями, другой — для шести первых классов и знатного шляхетства.

Кроме того, часто бывали публичные праздники для дворянства. Иногда на них допускалось и купечество, и всякого звания люди, кроме людей боярских.

На эти маскарады дамы должны были являться в домино с «баутами» и «быть на самых маленьких фижмочках, то есть чтобы обширностью были малые». Строго запрещалось привозить с собою малолетних и употреблять в убранстве хрусталь и мишуру. Дозволялось являться в приличных масках и платьях маскарадных, «точно кроме пилигримского, арлекинского и непристойных де-

ревенских».

Даже французы, которые в то время гордились Версалем и его праздниками, не могли надивиться роскоши русского двора.

«Красота и богатство апартаментов, — говорит де ла Мессельер, секретарь французского посольства, — невольно поразили нас, но удивление вскоре уступило место приятному ощущению при виде более 400 дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы, в богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало еще новое зрелище: все шторы были разом спущены, и дневной свет внезапно был заменен блеском 1200 свечей, которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах. Загремел оркестр, составленный из 80 музыкантов. Вдруг услышали мы глухой шум, имевший нечто весьма величественное. Дверь внезапно отворилась настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в бальный зал. Воцарилась всеобщая тишина. Государыня поклонилась троекратно. Дамы и кавалеры окружили нас, говоря с нами по-француз-

ски, как говорят в Париже. Зал был огромный и зараз танцевали до 20 менуэтов, что производило довольно странную, но в то же время приятную для глаз картину. Контрданцев вообще танцевали мало, всего несколько польских и полонезов. В 11 часов обер-гофмейстер объявил ее величеству, что ужин готов. Все перешли в очень большой и богато убранный зал, освещенный 900 свечами. На середине стоял фигурный стол на 400 персон. На эстраде во время ужина гремела вокальная и инструментальная музыка. Были кушанья всех возможных стран Европы, и прислуживали французские, русские, немецкие и итальянские официанты, которые старались ухаживать за своими соотечественниками».

Однажды Елизавета Петровна вздумала приказать, чтобы на некоторых придворных маскарадах все мужчины являлись без масок, в огромных юбках и фижмах, одетые и причесанные как одевались дамы на куртагах. Такие метаморфозы не нравились мужчинам, которые бывали от того в дурном расположении духа. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками. Кто был постарее, тех

безобразили толстые и короткие ноги. Но мужской костюм очень шел к государыне, и несчастные дамы и кавалеры должны были покориться судьбе своей. При высоком росте и некоторой полноте, Елизавета Петровна была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины не было такой прекрасной ноги; нижняя часть особенно была необыкновенно стройна.

Государыня во всяком наряде умела придавать своим движениям особенную прелесть. Она танцевала превосходно и отличалась в особенности в менуэтах и русской пляске.

Кокетство было тогда в большом ходу при дворе, и все дамы только и думали о том, как бы перещеголять одна другую. Императрица первая подавала пример щегольства, но при этом никто не смел одеваться и причесываться так, как она.

О прическах и нарядах дам издавались особые высочайшие указы, слушницам которых грозило чувствительное наказание, а главное — гнев императрицы, которую обожали. Этими указами отчасти старались ограничить издержки частных лиц, но в этом

смысле не достигли цели: указы исполнялись, а роскошь все усиливалась.

## XVI ВЕЗДЕ КИРИЛЛ

**В** водоворот великосветской придворной жизни тогдашнего Петербурга сразу окунулся младший брат Алексея Григорьевича — Кирилл, только что вернувшийся из-за границы. Он был отправлен туда своим братом в марте 1743 года, «дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе ее императорского величества и фамилией своей впредь, собою и поступками своими принести честь и порадование».

Кирилл Григорьевич отправился на два года в Германию и Францию под надзором Григория Николаевича Теплова; поучившись в Кенигсберге, он со своим пестуном переехал в Берлин и здесь стал учиться под руководством знаменитого математика Леонарда Эйлера, бывшего профессора Петербургской академии. В то же время Разумовский изучал французский язык, бывший при дворе Фридриха-Вильгельма в большом употреблении.



Из Пруссии путешественник отправился во Францию и наконец весною 1745 года возвратился в Россию и был пожалован в действительные камергеры и кавалеры голштинского ордена Св. Анны.

Эта двухлетняя поездка совершенно преобразила молодого Разумовского. По своем возвращении в Россию он явился при пышном дворе Елизаветы и стал вельможей не столько по почестям и знакам отличия, сколько по собственному достоинству и тонкому врожденному уменью держать себя. В нем не было в нравственном отношении ничего такого, что определяется словом «выскачка», хотя на самом деле он и брат его были «выскачками» в полном смысле слова. Отсутствие гениальных способностей вознаграждалось в нем страстною любовью к родине, правдивостью и благотворительностью — качествами, которыми он обладал в высшей степени и благодаря которым заслужил всеобщее уважение.

Кирилл Григорьевич был очень хорош собою и очень приятен в обращении. Все красавицы при дворе были без ума от него. Почести и несметное богатство не вскружили ему

головы, роскошь и все последствия, неразрывно связанные с нею, не испортили ему сердца. Он был добр и великодушен, благотворителен, щедр в милостынях и без лишних гордости и гнева всем доступен, со всеми ласков, полн наивного, оригинального ума, с легким оттенком насмешливости.

А было отчего вскружиться голове при дворе роскошной Елизаветы, и едва ли кто-либо, подобно Кириллу Григорьевичу, лучше мог бы сохранить трезвость мыслей среди этого водоворота интриг и непрестанных наслаждений.

Двор, говорит князь Щербатов, подражая, или, лучше сказать, угождая императрице, облекался в расшитые, златотканые одежды. Вельможи изыскивали в одеянии все, что есть самого богатого, в столе — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже, в услуге, возобновя древнюю многочисленность слугителей, — приложили к ней пышность их одежды. Экипажи заблестали золотом, дорогие лошади впрягались в золоченые кареты. Дома стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всех комнатах, доро-

гою мебелью, зеркалами и прочим.

Особенною роскошью отличались два приятеля Алексея Разумовского. Первым был великий канцлер Бестужев, у которого был столь большой погреб, что его сын «знатный капитал составил, когда по смерти его погреб был продан графам Орловым», у которого и палатки, ставившиеся на его загородном доме, на Каменном острове, имели шелковые веревки. Вторым был Степан Федорович Апраксин, «всегда имевший великий стол и гардероб, из многих сот разных богатых кафтанов состоявший».

Впрочем, и старший Разумовский не отставал от своих приятелей. Он первый стал носить бриллиантовые пуговицы, звезды, ордена и эполеты. Он вел большую игру, сам держал банк и нарочно проигрывал, «причем статс-дама Настасья Михайловна Измайлова (урожденная Нарышкина) и другие попроще из банка крадывали у него деньги, да и не только лишь важные лица, которые потом в надлежащем месте выхваляли его щедрость, но и люди совсем неважные при этом пользовались». За действительным тайным совет-

ником князем Иваном Васильевичем Одоевским, александровским кавалером и президентом Вотчинной коллегии, один раз подметили, что он тысячи монет в шляпе перетаскал и в сенях отдавал своему слуге.

В Петербурге в это время готовились к свадьбе великого князя.

Туда спешили гости из Малороссии. Наталья Демьяновна Розумиха собралась со всей семьей. Она ехала по зову государыни, но главным образом влекло ее на север свиданье с ее младшим сыном, которого она не видала несколько лет.

Вместе с Натальей Демьяновной прибыл в Петербург генеральный бунчужный Демьян Оболонский и депутаты, избранные от малороссийского народа: генеральный обозный Лизогуб, хорунжий Ханенко и бунчужный товарищ Василий Андреевич Гудович. Все они, конечно, были своими людьми у графа Алексея Григорьевича, где впервые увиделись и познакомились с графом Кириллом Григорьевичем, к избранию которого в гетманы их стали исподволь подготавливать. На всех торжествах они занимали почетное место и жи-

ли в Петербурге, ласкаемые императрицею и Разумовским, ожидая окончательного решения вопроса об избрании гетмана.

Но решения никакого не выходило. Депутатам, разумеется, дали почувствовать, кого им готовили в начальники, однако до окончательного избрания было еще далеко. Находили ли Кирилла Григорьевича слишком юным, сам ли он не желал оторваться сейчас же по приезде от столичной жизни, решить трудно, но дело в том, что Лизогуб, Ханенко и Гудович сидели у моря и ждали погоды, а будущий гетман тем временем только и думал о праздниках.

Свадьба наследника престола была отпразднована с необыкновенными блеском и пышностью. Десять дней продолжались празднества. Бал сменялся банкетом, банкет — маскарадом, маскарад — итальянским действием, именуемым пасторалью, пастораль — оперой, французскими комедиями, балетом и прочим.

Граф Кирилл Григорьевич с увлечением бросался в вихрь света. Он ежедневно находился в обществе государыни, то при дворе,

то у своего брата. Елизавета Петровна большую часть дня проводила в комнатах своего супруга во дворце, да кроме того, часто посещала она его дом и в городе, и за городом. Особенно любила она Гостилицы. В них приезжала она иногда на несколько дней летом, поздней осенью и зимой. Там она охотилась верхом то с собаками, то с соколами, в мужском костюме.

В Гостилицах Алексей Григорьевич давал роскошные обеды и ужины — то в разных апартаментах дома, то на дворе в поставленной белой палатке. Во время этих угощений гремела итальянская музыка, иногда играли волторнисты, при питии здоровья палили из пушек. Изредка собирались в дом крестьянки, «бабы и девки», так как государыня любила народные песни.

Особенно любил Алексей Григорьевич угощать государыню и весь двор у себя в цесаревнином, а позднее в Аничковском доме в день своих именин 17 марта. Для этих праздников он не щадил денег и во все царствование Елизаветы Петровны 17 марта считалось чем-то вроде табельного дня.

Так в пирах и веселье пролетели первые годы пребывания молодого Разумовского при дворе.

Григорий Николаевич Теплов продолжал находиться при нем, хотя в это время он едва ли мог усмотреть за своим бывшим учеником. Впрочем, он этого и не домогался, а терпеливо выжидал времени, пока судьба призовет Кирилла Григорьевича к серьезной деятельности, и заранее готовился принять в этой деятельности самое живое участие.

Из своих сверстников граф Кирилл особенно сблизился с умным, оригинальным и любезным графом Иваном Григорьевичем Чернышевым. Их связали и молодость, и оригинальность, и одинаковые успехи в свете, но особенно общая страстная любовь к родине. Чернышев много знал и читал. Бывши за границей, он сошелся со всеми замечательными людьми того времени, отлично говорил в обществе, был добрым человеком, весьма гостеприимным и со всеми одинаково любезным. Сходство характеров и склонностей и породило дружбу.

Шесть месяцев прогостила Наталья Демья-

новна у своего сына, и снова стало тянуть ее в родную Адамовку, где в то время строился хутор Алексеевщина. Она уехала с дочерью, оставив внуков и внучек, родного и двоюродных братьев Будлянских, Закревских, Дараганов и Стрешенцевых на попечении Алексея Григорьевича. Эти внуки и внучки помещены были во дворце.

21 мая 1746 года Кирилл Григорьевич был назначен президентом Академии наук. Как ни странно теперь назначение в президенты двадцатидвухлетнего юноши, едва выпустившего из рук указку, однако это объясняется не только исключительным положением графа Алексея Григорьевича при дворе, но еще тем полным отсутствием людей образованных и способных, которым отличалась Россия особенно в начале царствования Елизаветы Петровны. К тому же при тогдашнем настроении умов во главе академии хотелось видеть русского, а не немцев. Но из русских никто к этому делу не оказывался годным, так что академия оставалась без президента. Тем временем вернулся из-за границы брат всемогущего временщика с огромным запасом льстивых



свидетельств от падких на русские деньги иностранных профессоров. По городу и при дворе громко трубили о талантах и познаниях молодого Разумовского, и он, не сознавая ни значения академии, ни обязанностей, возложенных на него, очутился вдруг президентом императорской Российской академии наук.

Очевидно, при отсутствии серьезного классического образования недавний казак, каким-то чудом преобразованный в придворного кавалера, не мог быть примерным президентом. Без руководителя невозможно было обойтись, и таковым стал знакомый с академией его воспитатель Теплов, получивший место асессора при академической канцелярии.

Однако, несмотря на недостаточность познания и совершенную неподготовленность к такому делу, Кирилл Григорьевич управлял академией не хуже своих предшественников. Он, с помощью своего бывшего наставника и руководителя Теплова, и давно состоявший в академии Шумахер горячо принялись за академические дела. Начались проекты преобра-

зований, с планами новых регламентов, но распри академиков, разделившихся на две партии, русскую и немецкую, были до того перепутаны, что даже человеку более опытному едва ли было возможно доискаться истины. Все это сразу охладило пыл нового президента. Дела академии пошли по-прежнему под руководством Теплова и Шумахера.

В конце 1746 года императрица Елизавета Петровна сосватала за Кирилла Григорьевича Разумовского свою внучатую сестру и фрейлину Екатерину Ивановну Нарышкину, родившуюся 11 мая 1731 года.

По своему отцу, капитану флота Ивану Львовичу Нарышкину, она была внучкой любимого дяди Петра Великого, боярина Льва Кирилловича, заведовавшего Посольским приказом. Ее тетки при дворе Петра Великого играли весьма важную роль и считались чем-то вроде принцесс крови. По матери невеста графа Разумовского происходила от Фомы Ивановича Нарышкина, дяди Кирилла Полуектовича.

Екатерина Ивановна лишилась родителей в младенчестве и воспитывалась в доме дяди,

Александра Львовича, известного своею надменностью. Таким образом, все свое детство она прожила с двоюродными братьями, Александром и Львом Александровичами, известными в восемнадцатом столетии любезностью и гостеприимством.

В приданое она получила половину всего огромного состояния Нарышкиных. За нею считалось 88000 душ и между прочим дом на Воздвиженке в Москве (теперь графа Шереметева), подмосковные села: Петровское (известное под именем Петровско-Разумовского), Троицкое, Котлы, огромные пензенские вотчины: Черниговская и Ерлово.

Свадьба Кирилла Григорьевича была с изумительной торжественностью отпразднована 27 октября 1746 года при ближайшем участии императрицы Елизаветы, великого князя-наследника Петра Федоровича, его супруги Екатерины Алексеевны и всего придворного штаба. На другой день после свадьбы графиня Екатерина Ивановна была пожалована в статс-дамы.

Между тем малороссийские депутаты Лизогуб, Ханенко и Гудович все еще находились

при дворе, ожидая окончательного решения об избрании гетмана. Впрочем, они сумели в это время выхлопотать много льгот для своей родины.

Наконец 16 октября 1749 года был подписан Елизаветой указ об отправке графа Гендрикова для избрания гетмана малороссийского и о передаче всех дел украинских из сената в коллегияю иностранных дел. В это время были отпущены и депутаты.

Граф Гендриков приехал в Глухов 15 января 1750 года. Он привез жалованную грамоту, и через два дня по его приезде, по его требованию, генеральные старшины съехались в генеральную канцелярию и подписывались на «прошении в гетманы Кирилла Григорьевича». 14 февраля прибыли на избрание митрополит киевский и архиерей черниговский, а 17-го — и все полковники, старшины и бунчужные, кроме рядовых казаков, которым не было указа являться к этому сроку. На другой день в квартире Гендрикова были собраны все полковники, бунчужные товарищи, полковые старшины, сотники, архиереи и все духовенство, и им было объявлено избрание

гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, «а рядовых казаков при этом не было».

Несколько дней было посвящено на подготовку самого избрания при обстановке, дотоле еще неизвестной на Украине. Наконец 22 февраля произошло самое торжество избрания. По пробитии утренней зари и по данному сигналу из трех пушек народ толпою стал собираться со всех сторон на площади, между церквями Николаевскою и Троицкою, где было приготовлено возвышение о трех ступенях, покрытое гарусным штофом и обведенное перилами, обитыми алым сукном. В то же время к тому месту выступили полки. В восемь часов собрались в дом графа Гендрикова генеральные и войсковые старшины, бунчуковые товарищи и знатное малороссийское шляхетство, а митрополит киевский с тремя епископами и прочим духовенством отправился в церковь Св. Николая Чудотворца. В девять часов третий сигнал возвестил народу о начале церемонии. Прежде всего выехали шестнадцать выборных кампанейцев в полном вооружении, под предводительством своего старшины. За ними следовали гетман-

ские войсковые музыканты с литаврщиками; потом в богатой карете секретарь коллегии иностранных дел вез высочайшую жалованную грамоту, держа ее в руках, на большом серебряном, вызолоченном блюде. За каретою несли гетманские клейноды: большое белое знамя с русским гербом, подарок Петра Великого гетману Данииле Апостолу, гетманские булаву, бунчук и печать. Наконец, несли войсковой прапор.

Затем цугом ехали в богатой карете граф Гендриков и его ассистенты. Когда Гендриков приблизился к возвышению, на него были внесены царская грамота и гетманские клейноды и положены на два стола. За ними поместилось духовенство в полном облачении. Около стола, где лежали клейноды, стояли генеральные старшины и бунчуковые товарищи, а вокруг возвышения — все шляхетство.

Посреди возвышения стал граф Гендриков и произнес:

— Ее императорское величество, по прошению всего малороссийского народа, всемилоостивейше соизволяет быть по-прежнему на всей Малой России гетману и повелевает из-

брать им себе из природных своих людей гетмана, по малороссийским своим правам и вольностям, вольными голосами, для которого избрания я с высокомонаршею грамотою сюда, в Малую Россию, и прислан.

После этого секретарь Писарев громогласно прочел всему собранию жалованную грамоту.

Тогда граф Гендриков спросил:

— Кого желаете себе в гетманы?

На это духовенство, войсковые чины и шляхта объявили, что так как самым неутомимым ходатаем за них был граф Алексей Григорьевич Разумовский, то они за правое полагают быть в Малой России гетманом его брату, природному малороссиянину, графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому. Народ троекратным криком подтвердил избрание.

Гендриков поздравил всех присутствующих с новоизбранным гетманом. Раздался сто один пушечный выстрел, и по полкам все казаки стали стрелять беглым огнем. Грамота и гетманские клейноды были внесены в церковь Св. Николая, куда отправилось собрание. Началась литургия, после которой был отпет

молебен с многолетием государыне.

В следующие дни состоялось избрание депутатов, которые должны были ехать в Петербург, чтобы благодарить государыню и поздравить нового гетмана.

## XVII

### НОВЫЕ ФАВОРИТЫ

**В** Петербурге между тем влияние канцлера Алексея Петровича Бестужева на государственные дела все усиливалось. Крайне пронырливый и подозрительный, неуживчивый и часто мелочный, он в то же время был тверд и непоколебим в своих убеждениях. Он с необыкновенным искусством умел действовать даже через своих недругов, и долгое время Шуваловы служили его целям. Однако главной силою Бестужева была тесная его связь с Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Значение Алексея Петровича еще более возвысилось со времени женитьбы его сына на молодой графине Разумовской. Императрица поставила Бестужева на такую близкую ногу, что не проходило почти вечера без приглашения его на маленькие вечеринки, и



Елизавета Петровна дозволила ему говорить все, что он хочет.

Эта «молодая графиня Разумовская» (Евдокия Даниловна), титулованная так и в камер-фурьерских журналах, была родной племянницей Алексея и Кирилла Разумовских, дочерью их покойного брата, и фрейлиной императрицы.

Брак был совершен 5 мая 1747 года, но оказался несчастным. У молодых с первых же дней стали происходить домашние ссоры. Молодая графиня грозилась пожаловаться государыне и своему старшему брату, обещалась обратить свое замужество в унижение великого канцлера и его семейства. В конце 1747 года графиня Евдокия Даниловна поехала с мужем в Вену, куда молодой Бестужев был отправлен с поздравлением по случаю рождения эрцгерцога Леопольда. Мария-Терезия, нуждаясь в союзе с Россией и зная, что Бестужев и Разумовский были сторонниками венского кабинета, осыпала любезностями графиню Бестужеву.

Однако последняя жила недолго: беспутный муж скоро вогнал ее в могилу.

Горячий сторонник союза с Англией и с Австрией, дружественные отношения к которой были еще заведены Петром Великим, Алексей Петрович Бестужев не мог равнодушно думать о Пруссии и Франции. Он знал, сколько денег потратили и Фридрих Великий, и версальский кабинет на то, чтобы свергнуть его, и направил все усилия к тому, чтобы окончательно уничтожить влияние этих двух держав в Петербурге. Он перехватил депеши Шетарди, полные дурных отзывов о Елизавете Петровне, и добился того, что французский посланник был со срамом выгнан из России.

Один враг был сломлен, но за Пруссию стоял еще граф Лесток, которому государыня была многим обязана, но которого терпеть не мог граф Алексей Григорьевич и который сам открытым презрением ко всему русскому, бестактным поведением и необдуманными словами приготовил себе гибель. 22 декабря 1747 года Лестока схватили, допрашивали, пытали и сослали сперва в Углич, а потом в Устюг Великий.

Другие враги Бестужева, Шуваловы и Воронцов, держались благодаря своим женам,

но трепетали пред всемогущим канцлером.

Великий князь Петр Федорович, о котором Бестужев отзывался с величайшим презрением, лишенный своей голштинской свиты, которую канцлер выгнал без всяких церемоний из России, и великая княгиня Екатерина Алексеевна, на которую он смотрел как на малозначащую девочку, окруженные соглядатаями, не могли ни двинуться, ни вымолвить слова без его ведома.

Вскоре после ссылки Лестока двор переехал в Москву, и тут Елизавета Петровна очень серьезно заболела. У нее сделались страшные спазмы, от которых она лишилась чувств, и ее жизнь была в опасности.

Придворные страшно переполошились, но болезнь хранилась под величайшим секретом. Даже великий князь и великая княгиня узнали о ней только случайно.

«Целую ночь, — пишет посланник Линар, хорошо знакомый с тем, что делалось при дворе, так как он был принят как свой у Бестужевых, — были собрания и переговоры, на которых между прочим решено было главными министрами и военными властями, что,

как скоро государыня скончается, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу, и императором провозгласят Иоанна Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал. Я подозреваю многих в том, что они принимали участие в заговоре, особенно же имеющих причины опасаться великого князя и весьма естественно ожидающих более милостей от принца, который всем им будет обязан».

Однако опасения катастрофы исчезли, государыня скоро поправилась и переехала в Перово, к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Туда приглашен был и великий князь с великой княгиней. Каждый день бывали охоты, и мужчины возвращались домой поздно, усталые и нелюбезные, так что дамам приходилось искать развлечения в себе самих.

Государыня ежедневно принимала участие в охоте. Великая княгиня Екатерина усердно принялась за чтение, что составило исключение при дворе, где редко кто брался за книгу. Обер-гофмейстерина Чеглокова, состоявшая при Екатерине, горько жаловалась

на скуку. Не с кем было поиграть в карты, до которых она была страстной охотницей, да к тому же ее муж, которого она страшно ревновала, совсем отбился от рук.

В Перове великая княгиня заболела и здесь увидела доказательство того обаятельного влияния на приближенных, которым природа столь щедро наградила ее. Враждебная ей Чеглокова, приставленная к ней Бестужевым, чтобы следить за каждым ее шагом, с самою нежною заботливостью стала ухаживать за великою княгинею во время ее болезни и с этих пор совершенно переменилась в своих отношениях к ней.

Вскоре после этой болезни захворала вторично и государыня. Она приказала перенести себя в Москву, и весь двор шагом ехал за нею. Новый припадок спазм не имел последствий и вскоре потом Елизавета Петровна отправилась на богомолье к Троице. Она дала обет пройти пешком все шестьдесят верст и начала свое путешествие от Покровского дворца. Пройдя в день версты три или четыре, императрица возвращалась в Москву в карете. Иногда она в экипаже отправлялась да-

лее, к тому месту, где была приготовлена стоянка, а после отдыха снова возвращалась в карете туда, где останавливалась в своем пешеходстве, и отсюда снова продолжала свое шествие. Таким образом этот «поход» занял почти все лето, тем более что иногда императрица по нескольку дней отдыхала в Москве и селах по дороге.

На время богомолья великий князь и великая княгиня переехали на Троицкую дорогу и поселились в Раеве, именье Чеглоковых, близ Тайнинского.

В июле государыня отправилась в Воскресенский монастырь. Ей сопутствовали граф Алексей Григорьевич и некоторые из самых приближенных к ней лиц. Дорогой государыня останавливалась в принадлежащем Разумовскому селе Знаменском и там вечернее кушанье кушать изволила в ставках на лугу, подле Москвы-реки.

В это пребывание императрицы в Знаменском и произошло возвышение нового любимца — камер-пажа Ивана Ивановича Шувалова. Доказательством этого служит то, что он уговорил Разумовского уступить ему Зна-

менское, напомилавшее ему о начале его «случая». Уже через месяц, накануне своих именин, которые она праздновала в Новом Иерусалиме, 4 сентября, императрица пожаловала своего камер-пажа в камер-юнкеры. Это было событием при дворе. Все на ухо друг другу поздравляли с новым фаворитом.

Возвышение Ивана Ивановича Шувалова, который еще камер-пажом обратил на себя внимание Елизаветы своим прилежанием и любовью к чтению, исподволь было подготовлено его родственниками. Графиня Мавра Егоровна Шувалова, женщина умная, ловкая и дальновидная, пользовалась разными случаями, чтобы обратить на красавца пажавнимание государыни, и благодаря ей Иван Иванович получил сперва золотые часы, потом был пожалован камер-пажом и наконец камер-юнкером. С необычайной хитростью Шувалов так устроил дело, что Бестужев и Апраксин просили государыню пожаловать Ивана Ивановича в камер-юнкеры. Нет сомнения, что оба они обратились к своему другу Разумовскому и что добродушный Алексей Григорьевич сам же просил о возвышении

своего соперника.

С этих пор был нанесен первый удар могуществу Бестужева, и Алексей Григорьевич Разумовский стал мало-помалу удаляться на второй план. Однако Алексей Петрович уступил не без борьбы. Он решил заменить нового фаворита своим собственным созданием, который был бы его орудием, а не подмогою для недругов.

В самом деле, вскоре при дворе стали замечать, что роскошнее всех бывал одет на представлении актеров-кадетов красивый юноша Никита Афанасьевич Бекетов. Ему было лет восемнадцать, и он исполнял роли первых любовников. Потом и вне театра показались на нем и бриллиантовые перстни, и кольца, и часы, и кружево, и все самое лучшее. Наконец он вышел из корпуса, и, несомненно, вследствие настояния Бестужева ненавидевший всякие интриги Алексей Разумовский взял молодого Бекетова к себе в адъютанты, что давало тогда капитанский чин.

Придворные не замедлили вынести из этого свои заключения. Стали говорить, что если Разумовский приблизил к себе Бекетова, то



это сделано с целью противопоставить его молодому камер-юнкеру Шувалову, так как бывший кадет обратил на себя особенное внимание государыни. Придворные не ошиблись. Действительно, Бекетов был избран Бестужевым, чтобы отстранить Шувалова и его партию.

Он приставил к молодому и неопытному Бекетову другого адъютанта, состоявшего при Разумовском, Ивана Петровича Елагина, который в то же время служил и под его начальством в коллегии иностранных дел. Жена Елагина — камер-фрау государыни — доставляла Бекетову тонкое белье и кружева, и так как она не была богата, то ясно было, что деньги тратились не из ее кошелька.

Более года оба соперника жили при дворе. Бекетов был произведен в полковники, занял комнаты во дворце и, казалось, брал решительный перевес над Шуваловым.

Между тем положение графа Алексея Разумовского среди всей этой интриги для людей, не посвященных во все тайны придворной жизни, казалось не изменившимся. Государыня зимой гостила по нескольку дней у

него в Гостилицах и праздновала, по обыкновению, в его доме день Св. Алексея, человека Божия, причем в продолжение обеденного и вечернего столов была обычная пальба из пушек, итальянская музыка и иллюминация. Брат Алексея Разумовского был назначен малороссийским гетманом. Казалось, все было по-прежнему, да в сущности и было так, потому что положение новых фаворитов государыни было очень далеко от положения ее «тайного супруга».

Придворные жадно следили за соперничеством между двумя новыми фаворитами — Шуваловым и Бекетовым. С любопытством ждал исхода этой борьбы и вновь избранный гетман малороссийский граф Кирилл Разумовский. Однако ему не довелось лично быть свидетелем окончания этого придворного эпизода.

Летом 1751 года, когда граф Кирилл был уже в Малороссии, Бекетов, любивший литературу и занимавшийся вместе со своим другом Елагиным писанием стихотворений, стал перелагать свои стихи на музыку. Песни, сочиненные им, певали у него молоденькие

придворные певчие. Некоторых из них Бекетов полюбил за их прекрасные голоса и в простоте душевной иногда гулял с ними по петергофским садам.

Шуваловы поспешили ухватиться за это и стали мотивировать поведение Бекетова самым отвратительным образом. Но этого оказалось недостаточным — злонамеренность сплетни была слишком явною.

Тогда, чтобы окончательно погубить молодого любимца государыни, граф Петр Иванович Шувалов вкрался в доверие неопытного Бекетова, то и дело восхвалял его красоту, чрезвычайную белизну лица и для сохранения постоянной свежести дал ему притирание. Доверчивый Бекетов поспешил воспользоваться им, и все его лицо покрылось угрями и сыпью.

Графиня Мавра Егоровна Шувалова немедленно обратила на это внимание государыни и осторожно посоветовала удалить Бекетова, как человека зазорного поведения.

На этот раз удар был верен. Государыня вследствие этой последней проделки переехала в Царское Село, куда запрещено было сле-

довать Бекетову.

Несчастный Никита Афанасьевич остался с Елагиным и заболел горячкою, от которой чуть не умер. В бреду он постоянно говорил об императрице, которая, видимо, занимала все его мысли. Однако, как только он оправился, его удалили от двора.

Шуваловы торжествовали.

Ранее этого, в феврале 1751 года, стали поговаривать на Украине о беспокойствах со стороны татар. Мешкать было долее невозможно; новый гетман должен был отправиться туда и вступить в исполнение своих обязанностей.

13 марта 1751 года он торжественно присягал в Санкт-Петербурге во дворцовой церкви, подписался на поднесенном ему канцлером присяжном листе, а затем получил из рук императрицы все гетманские клейноды: богато украшенную дорогими камнями золотую булавку, большое белое с русским гербом знамя, бунчук, войсковую печать и серебряные литавры с богатыми, на бархате шитыми, занавесками и с золотыми висячими кутосами.

В апреле месяце гетманша первая трону-

лась из Петербурга в Москву, сам же гетман ожидал жалованной грамоты и был уволен в Малороссию только 22 мая 1751 года.

Он уехал со своим неразлучным спутником Тепловым, со множеством экипажей, верховыми лошадьми, с поварами и музыкантами, с гайдуками и скороходами, сержантами Измайловского полка и даже труппою актеров.

В Москве Разумовский съехался с женою, и они вместе продолжали путь к Глухову. Здесь ему была оказана чрезвычайная торжественная встреча, в которой участвовали все местные чины, шляхетство, духовенство и масса войска.

Тотчас по приезде было сделано «повелительное объявление», чтобы старшины, полковники, шляхетство и прочие особы и люди всякого звания собрались в Глухов к 13 июля для торжественного и публичного объявления жалованной грамоты. В назначенный час состоялось перевезение гетманских клейнодов в церковь Св. Николая. Их сопровождали старшие войсковые чины, отряды казаков с музыкой и лакеи в богатых ливреях. Потом

следовал в богатой карете цугом Григорий Николаевич Теплов, державший пред собою на роскошной подушке высочайшую грамоту. За ним в великолепной карете, запряженной шестью богато убранными лошадьми, ехал сам гетман, сопровождаемый большой свитой.

Грамота и клейноды были внесены в церковь и положены на стол, покрытый богатым персидским ковром. Посредине положили грамоту, по правую сторону булаву, а по левую — печать. По бокам стола стали генеральный бунчужный Оболонский с бунчуком и генеральный хорунжий Ханенко со знаменем в руках.

Началась торжественная обедня. По окончании ее Тепловым была вслух «пред всем народом» прочитана жалованная грамота. Последовало благодарственное молебствие, при конце которого была произведена пушечная пальба из города и ружейная из всех полков. Вечером весь город горел огнями.

В Глухове ожидали Кирилла Григорьевича его старушка мать и сестра. Наталья Демьяновна впервые увидела свою невестку, кото-

рую знавала в девушках во время своего пребывания в Петербурге и в Москве. Граф Кирилл Григорьевич всеми силами старался удержать мать при себе, свято чтит все ее деревенские обычаи и нарочно для нее заказывал привычные ей кушанья. Но и в глуховском дворце, как и прежде во дворце царицы, старушке было не по себе. Не сошлась она и с невесткою, с детства привыкшей к придворному обхождению и воспитанной в доме надменного Александра Львовича Нарышкина, выскивавшего себе невест между дочерьми владетельных немецких князей. В конце концов старушка вернулась в свою Алексеевщину, в мирный Козелец и соорудила там каменный двухъярусный собор с каменной колокольней, по образцу той, которая находится в Киево-Печерской лавре.

Глуховской двор был миниатюрной копией двора петербургского. Граф Кирилл Григорьевич зажил царьком. В своих универсалах он употреблял старинную формулу: «Мы, нашим, нам, того ради приказуем, дан в Глухове» и тому подобное. При нем находилась в роли телохранителей большая конная коман-

да, под названием «команда у надворной корогвы», или гетманского знамени. Во дворце был целый придворный штат: капеллан Юзефович, придворный капельмейстер, новгородский сотник Рочинский, конюшенный Арапкин и прочие. В торжественные дни и семейные праздники происходили выход в николаевскую и придворную гетманскую церкви и молебствия с пушечною пальбою. Во дворце давали банкеты с инструментальной музыкой, балы и бывали даже французские комедии. Одним словом, придворная петербургская жизнь в сокращенном виде повторялась и в Глухове.

## XVIII БОРЬБА ПАРТИЙ

**В**еселы показались жителям Глухова 1751 и 1752 годы. У гетмана бал сменялся комедиею, комедия — банкетом, на семейных праздниках вино лилось рекою.

Как маленький властелин, гетман давал даже аудиенции старшинам после богослужения в придворной церкви, торжественно вручил пернач полковому судье миргородскому Остроградскому, которого произвел в полков-



ники, и на приемах у себя поздравлял кого с повышением, кого с наградой.

Впрочем, иногда эти его замашки заходили слишком далеко, и из Петербурга спешили умерить его пыл. Однако там не особенно сильно гневались. Доказательством этому служила присланная 18 февраля 1752 года гетману Андреевская лента. 19 февраля в Глухове было торжество «ради привезенной кавалерии». Торжество продолжалось до 25 числа и окончилось обедом в гетманском доме, балом и фейерверком.

В начале мая гетман, сопровождаемый Тепловым, генеральным писарем Безбородко, генеральным есаулом Якубовичем и десятью бунчуковыми товарищами, отправился осматривать малороссийские полки. Он сперва посетил Батурин, потом Стародуб и Чернигов, а оттуда проехал в степные полки и Киев.

Путешествие продолжалось более двух месяцев. Гетмана везде принимали с радостью, везде были устроены пышные приемы. Вся Малороссия ликовала, и только один случай, породивший толки в народе, смутил малороссов.

Гетман в Чернигове объезжал городские укрепления. За ним ехали многочисленная свита и все чины черниговского полка. Разумовский подъехал к главному бастиону у церкви Св. Екатерины. Вдруг вихрь сорвал с него Андреевскую ленту. Теплов, ехавший за ним, успел подхватить ее и хотел снова надеть, но гетман взял у него ленту, свернул и положил в карман. Ропот в народе и толки дошли до старухи Натальи Демьяновны. Она уговаривала сына удалить Теплова, предсказывая ему неизбежные несчастья, если он будет следовать советам своего любимца.

Однако гетман не послушал матери.

Пред окончанием путешествия Разумовский еще раз посетил Батурич, где была его жена. 22 октября у Разумовского родился сын, названный, в воспоминание недавно полученной «бликитной кавалерии», Андреем[5]. Сын генерального подскарбия Скоропадского был отправлен курьером в Петербург с этим известием. Главные чиновники являлись к гетманскому двору с поздравлениями, причем подносили гетманше «обычный презент».

Вскоре после торжественных крестин Наталья Демьяновна вернулась в Адамовку, а как только графиня Екатерина Ивановна оправилась от родов, она и ее муж, по приглашению государыни, поехали в Москву, где в то время находился двор. Они прибыли в Москву почти в одно время с двором.

Последний 14 декабря тронулся из Петербурга; вместе с ним приехал, разумеется, и граф Алексей Григорьевич, все еще могущественный, хотя уже не всемогущий и единственный фаворит.

Великий канцлер Бестужев не сопутствовал двору, так как дела и здоровье задерживали его в Петербурге. Грозная туча стояла на политическом горизонте, а при дворе ряды его приятелей заметно пустели.

Много злобы накопело в душе великого канцлера со времени падения Бекетова. Между тем Кирилл Григорьевич, несмотря на беспредельную, почти сыновнюю привязанность к брату, был в весьма хороших и даже близких отношениях не только с Иваном Ивановичем Шуваловым, но даже с вице-канцлером графом Михаилом Илларионовичем Во-

ронцовым. С Шуваловым его сблизил общий друг, граф Иван Григорьевич Чернышев.

Кирилл Григорьевич надеялся с помощью Ивана Шувалова и Чернышева примирить Бестужева с Шуваловым. Но дело между ними зашло слишком далеко. В борьбе канцлера с Петром Шуваловым о примирении не могло быть более и речи. Тем не менее гетман всеми силами старался привлечь канцлера в Москву, и наконец Бестужев был призван туда.

Алексей Петрович слепо верил в свое счастье и твердо рассчитывал на него, однако, отлично угадывая, что под него подкапываются вице-канцлер Воронцов, мечтавший занять его место, а также партия Шуваловых, с беспокойством стал замечать, что царедворцы, не скрываясь, избегают его. Поэтому по приезде в Москву он лихорадочно начал искать себе союзников.

Уже с некоторых пор его внимание остановила на себе молодая великая княгиня Екатерина Алексеевна, старавшаяся в первой борьбе с ним воздавать ему по мере сил — око за око и зуб за зуб. Стойкость и хитрость, с кото-

рой Екатерина защищала интересы и права мужа в вопросе о герцогстве Голштинском, доказывали ему, что он имеет дело с женщиной далеко не обыкновенной.

Бестужев знал, что в семейной жизни великая княгиня была несчастлива.

Что касается великого князя, то Алексей Петрович уже давно понял, чего могла ожидать от него Россия. Он ненавидел его, кроме того, как друга Фридриха Великого и сторонника Шувалова. Беременность Екатерины давала надежду, что скоро родится наследник престола, а здоровье государыни, по свидетельству лечивших ее врачей, не давало надежды на долгое царствование. Канцлер первый разгадал и понял Екатерину и решился сблизиться с нею.

Великая княгиня через Сергея Васильевича Салтыкова узнала, что канцлер ищет ее дружбы, и хотя немало накипело у нее злобы на сердце против Бестужева, однако шутить таким предложением было нечего.

При великом князе по делам его герцогства служил голштинец Бремзен, вполне преданный канцлеру, и вот именно ему Екатери-

на поручила объявить Бестужеву, что она готова войти с ним в дружеские отношения. Заключен был тайный союз.

Канцлер стал всячески возбуждать Елизавету Петровну против ее племянника. Это было ему легко, так как государыне давно опостылел ее племянник, а все его немецкие бестактные замашки были ей крайне противны. В записках к Алексею Разумовскому и Ивану Ивановичу Шувалову она в самых резких выражениях отзывалась о великом князе.

Но этого было недостаточно. Бестужев решил, в случае кончины государыни, возвести на престол ее внука, а правительницей провозгласить Екатерину. С рождением правнука Петра Великого об Иоанне Антоновиче никто уже не мог думать. Теперь на место Петра Федоровича, которого легко можно было или отправить в Голштинию, или заключить в Холмогоры, представлялся наследником не иностранный принц, который с детства был заключен в крепости и с именем которого были соединены все ужасы бироновщины, а кровь и плоть Петровы.

Следовало ко всему этому подготовить го-

сударыню. Однако это дело было крайне затруднительно, так как Елизавета Петровна страшно боялась смерти, и всякий намек на ее кончину мог бы дорого стоить тому, кто отважился бы на него.

В своих планах Бестужев нашел сообщников, и главным из них был граф Алексей Григорьевич Разумовский.

Явное презрение великого князя ко всему русскому, пренебрежение всеми обрядами православной церкви, страсть ко всему немецкому уже давно отдалили старшего Разумовского от него. Как ни избегал Разумовский всяких интриг, как ни держал себя вдали от государственных дел, но в этом случае он, видимо, охотно поддался увещаниям Бестужева.

Впрочем, все дело было содержимо в великой тайне, так что даже Шувалов ничего не подозревал, а великий канцлер не спал и втихомолку стал готовить план действий.

Между тем гетман среди беспрестанной придворной суеты не забывал Малороссии. Приехавшие с ним вместе малороссы были представлены государыне, и она приняла их

отменно милостиво. Еще в бытность гетмана в Глухове ему из Петербурга было повелено выслать две тысячи казаков для постройки крепости Св. Елизаветы, нынешнего Елизаветграда[6].

В Москве Кирилл Григорьевич сумел выхлопотать, чтобы вместо двух тысяч туда отправлены были только шестьсот одиннадцать человек. Из генеральной канцелярии он вытребовал в Москву все бумаги, относившиеся к финансовым вопросам. Они были нужны ему для докладов государыне, вследствие которых разные сборы на Украине, отяготительные для народа, были уничтожены. Таможня на границах Малороссии и Велико-россии была закрыта и объявлена свобода торговли между севером и югом.

Эти перемены сильно порадовали малороссиян.

Весною 1754 года двор из Москвы переехал в Петербург, а за двором последовал и гетман с семейством и со свитой. Он снова поселился в своих хоромы на Мойке, тогда еще деревянных, и снова стал принимать у себя все петербургское общество.



Зима 1754/55 года была одной из самых блестящих во всем славившемся празднествами царствования Елизаветы Петровны. По случаю рождения великого князя Павла Петровича при дворе были беспрестанные приемы. Частные люди со своей стороны старались не отставать от двора и наперерыв друг пред другом устраивали у себя обеды, балы, маскарады с иллюминациями и фейерверками.

Между ними особенно отличались своей роскошью праздники Разумовских.

Алексей Григорьевич принимал двор то в Аничковском дворце государыни, то в цесаревнином доме, то на своей приморской даче, то в Мурзинке, то в Гостилицах. Государыня часто посещала его балы и вечера. Стол его славился по всему Петербургу, и своих поваров он выписывал из Парижа.

Кирилл Григорьевич был тоже охотником полакомиться. Его праздники, балы и банкеты не уступали праздникам его старшего брата, но кроме того, утонченные блюда, приготовленные французскими поварами, и вкусные особливые рыбки не предлагались одним

только избранным и знакомым приятелям. У Кирилла Григорьевича был всегда открытый стол, куда могли являться и званые, и незваные.

Дела между тем шли своим порядком. Указом от 17 января 1756 года, состоявшимся по прошению гетмана Разумовского, все мало-российские дела были переведены из коллегии иностранных дел в сенат. Таким образом, гетман стал зависеть от первой в государстве инстанции.

В то же время, пока в Петербурге весело праздновалось рождение великого князя Павла Петровича и заветные замыслы Бестужева и Екатерины через это рождение получили новую силу, события на Западе быстро шли вперед. Европа, умиротворенная Ахенским конгрессом, снова грозила загореться всеобщей войною. Алексей Петрович Бестужев справедливо гордился Ахенским миром и вполне имел право смотреть на него, как на свое творение. Ахенский конгресс состоялся благодаря появлению на Рейне русского тридцатитысячного корпуса, содержимого Англией и Нидерландами. Россия, не теряя ни лю-

дей, ни денег, вдруг заняла в Европе первое место; ее дружбы домогались первенствующие державы. Это ли не была победа русской политики!

Но на самом деле Ахенский конгресс не решил ни одного из вопросов, волновавших тогда Европу. Вражда между Пруссией и Австрией не ослабевала, и обе державы только выжидали случая померить свои силы на поле битв.

Бестужев с самого начала царствования Елизаветы Петровны держался союза с Австрией. С венским двором был заключен договор, по которому обе державы обязывались, в случае нападения на владения одной из них, выставить тридцатитысячный корпус на помощь союзнице. В то же время Бестужев искал союза с Англией, к которой он был привязан лучшими воспоминаниями юности. От Пруссии и Франции отделяли его как интересы России, так и ложная вражда к Фридриху II и версальскому кабинету, долго и неустанно трудившимся над его падением. Тройственным союзом между Россией, Англией и Австрией канцлер думал удержать *status quo* в

Европе и помешать новому пролитию крови.

Из Англии для заключения тесного союза был отправлен в Россию Гэнбюри-Вилльямс, один из искуснейших политиков того времени. Но императрица не скоро решилась закончить какое-нибудь дело. Месяцы текли за месяцами в нерешимости и бездействии, и, в то время как подписание союза с Англией откладывалось со дня на день, в Европе произошла внезапная перемена, которой никто не ожидал и не предвидел и которая спутала соображения самых искусных дипломатов, в том числе и Бестужева.

Льстивые письма Марии-Терезии к всемогущей маркизе де Помпадур изменили всю политику версальского двора; освященные веками предания Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV были забыты: Франция протянула руку своему историческому врагу — Австрии и, забыв недавнюю связь с Пруссией, открыто выступила против Фридриха Великого.

Австрия, Франция и большая часть Германии соединились в одно. На стороне Пруссии осталась одна только Англия.

При таком неожиданном перевороте Бестужев более чем когда-либо стремился к союзу с английским двором, так как этот союз мог парализовать прежний договор с Австрией и спасти Россию от пагубной войны.

Бестужев решился на всякий случай двинуть войска к границе и наготове выжидать удобного случая вмешаться в дела Европы, не теряя ни людей, ни денег. К несчастью Алексея Петровича и русских, павших на равнинах Пруссии, перемены в европейской политике произошли в то время, когда положение великого канцлера при дворе со дня на день становилось более критическим.

Несмотря на все свои огромные недостатки, на корыстолюбие, неразборчивость в средствах для достижения своих целей, крайнее честолюбие, Бестужев все-таки оставался на шестнадцатом году царствования Елизаветы Петровны тем, чем был при начале его, то есть единственным человеком, способным управлять кормилом государства среди волнений внешней политики. С большою опытностью в делах дипломатических он соединял редкие познания и, несомненно, желал

величия России, хотя иногда любовь к родине и подчинял личным выгодам. Однако в описываемое нами время Бестужев должен был непрерывно бороться с сильными противниками, на каждом шагу наталкиваться на подкопы и интриги и видеть, как под меткими ударами врагов сокрушалось здание его политики, с таким трудом им возведенное.

С другой стороны, влияние Шуваловых дошло до высшей степени. Иван Иванович, новый любимец государыни, был всемогущ, но свое влияние он по мере сил употреблял на пользу отечества, забывая о себе и довольствуясь личным расположением государыни. Зато его двоюродные братья быстро достигли высших государственных должностей. Оба были андреевскими кавалерами и графами. Из них граф Александр Иванович, по смерти графа Ушакова, был назначен начальником страшной Тайной канцелярии, а граф Петр Иванович, настоящий глава всей шуваловской партии, в 1756 году получил пост генерал-фельдцейхмейстера и благодаря своей жене, графине Мавре Егоровне, некогда любимой камер-фрау, а теперь всемогущей наперс-

нице государыни, успел завладеть доверием Елизаветы Петровны.

Беспрестанные недуги ослабили нервы императрицы. Ей постоянно приходила на ум первая ночь ее царствования, и она опасалась, чтобы с нею не поступили точно так, как некогда поступила она с несчастной Анной Леопольдовной. Поэтому у нее был даже особый телохранитель, Василий Иванович Чулков.

Простой служитель у цесаревны, он по восшествии ее на престол был сделан камергером и получил несколько вотчин. Своим возвышением он обязан не красоте, как другие, но тому, что у него был чуткий сон, какой только можно себе представить. Чтобы не быть захваченной врасплох, императрица приказала Чулкову каждую ночь оставаться во дворце и дремать в кресле в комнате, смежной со спальней государыни.

Мало спал Чулков, не ложась в постель. Сон был для него гораздо меньшей потребностью, чем для других; а слегка дремать на стуле было для него достаточным отдыхом, так что он не ложился спать и днем.

Этим настроением Елизаветы Петровны ловко воспользовался Петр Иванович Шувалов. Он старался еще более усилить боязнь государыни, уверяя ее, что она окружена тайными недоброжелателями, готовыми на всякое преступление, и наконец ему вполне удалось убедить императрицу в том, что один он в состоянии оградить ее от действия скрытых врагов. В этом состояла его главная сила при дворе.

Без всякой подготовки к государственным делам, лишенный образования и познаний, крайне самонадеянный, Шувалов на самом деле способен был только к одним мелким придворным интригам. Однако, слишком тщеславный и самолюбивый, он стремился к достижению исключительного влияния на дела и хотел стать во главе управления. Не имея опытности в вопросах дипломатических, незнакомый с тайными пружинами европейских кабинетов, никогда не бывавший на войне и совершенно не знавший службы, он, однако, ни пред чем не останавливался — брался за составление нового уложения, и за финансовые вопросы, и за управление поли-



тикою русского двора, и за изобретение гаубиц, и за учреждение военного строя.

Достигнув почти исключительного влияния, он сделался самым гордым временщиком двора Елизаветы Петровны. Не менее Бестужева падкий до денег, он набивал свои карманы трудовой копеейкой народа, тогда как канцлер исключительно пользовался деньгами, получаемыми от иностранных держав. Разумеется, все действия Шувалова носили отпечаток мелочности его способностей. Все делалось наскоро, кое-как, без системы и логики.

Как при Петре были у нас в моде голландцы, при Екатерине I и Анне Иоанновне — немцы, так теперь, при Елизавете Петровне, со времен Шетарди пошли в ход французы. Пышные праздники, блестящая свита и звонкие фразы французского посла произвели глубокое впечатление на поверхностных людей, а между ними и на Петра Шувалова. Все французское стало в моде при дворе и в высшем свете, французский язык быстро вошел в общее употребление.

Благодаря этому настроению высшего об-

щества, граф Петр Иванович стал открытым сторонником Франции. Тайный союз с версальским двором сделался его любимой мечтою. Не разбирая, выгоден ли этот союз для России и какие будут от него последствия, он стал всячески, без ведома Бестужева, стремиться к осуществлению своей цели. Благодаря его проискам, тайным агентом в Париж был отправлен Бехтеев, довольно ничтожный человек, а со стороны Франции явились в Петербург известный шевалье, или, вернее, «шевальерша» д'Эон и шевалье Мекензи-Дуглас. Последний — ловкий и хитрый — вскоре стал домашним человеком у Шуваловых и Воронцова и успел снова завязать дипломатические сношения между Россией и Францией и подготовить путь к приезду посла — маркиза Лопиталья.

Алексей Петрович долгое время не верил успеху своих противников, слепо полагаясь на свое счастье, и слишком поздно стал думать о приобретении союзников. Он надеялся, что влияние старшего Разумовского, благодаря брачному союзу, соединившему последнего с императрицей, не оскудеет во все ее

царствование. Но Алексей Григорьевич отказался теперь от всякого, даже косвенного, вмешательства в дела управления.

Австрийский посол стал требовать не только исполнения договора, но еще и того, чтобы Россия всеми своими силами помогала Марии-Терезии. Однако, скоро поняв, что от Бестужева ожидать ему нечего, он перешел на сторону Шувалова и Воронцова, и из приятеля сделался злейшим врагом канцлера.

На стороне Бестужева осталась одна великая княгиня Екатерина, но на нее рассчитывал для будущего, а в настоящем своем положении она могла принести ему мало пользы. Екатерина принуждена была скрывать свое сочувствие к канцлеру, которое могло, в случае если бы слухи о нем дошли до императрицы, сильно повредить и ей, и Бестужеву.

Против Шуваловых она могла действовать только орудием светской женщины. Она на каждом шагу выказывала им величайшее презрение, отыскивая их смешные стороны, и преследовала их своими насмешками и сарказмами, которые повторялись по всему городу.

Кроме того, Екатерина более чем когда-нибудь ласкала Разумовских и этим досаждала Шуваловым, так как последние были в описываемое нами время открытыми врагами графов Алексея и Кирилла Григорьевичей.

Императрица все продолжала хворать. Царедворцы ясно видели, что едва ли можно надеяться на ее выздоровление.

Таким образом прошли 1755 и 1756 годы.

Со всех сторон готовились к войне. Бестужев не переставал надеяться, что, по крайней мере для России, до открытой войны дело не дойдет, и выдвинул к границе войска под начальством фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина, своего лучшего друга, находившегося тоже в самых дружеских отношениях с Алексеем Разумовским. Ему Бестужев предписал всячески избегать столкновения с пруссаками и как можно медленнее подвигаться к границе, а сам стал бороться с врагами внутренними, трудиться над своим планом удаления великого князя от престолонаследия и хлопотать о заключении тайного союза с Англией.

С большим трудом успел он уговорить го-

сударыню подписать союз с Англией. Сэр Вильямс торжествовал, но это торжество продолжалось только сутки. На другой день он от самого Бестужева узнал, что Россия присоединилась к конвенции, заключенной в Версале между Австрией и Францией. Союз с Англией делался, таким образом, одною пустою формальностью. Бестужев уже не в силах был бороться с ежедневно усиливавшейся партией Шуваловых.

## Часть вторая

### I В ЗИНОВЬЕВЕ

В то время когда в Петербурге и Москве при дворе Елизаветы Петровны кишели интриги, императрица предавалась удовольствиям светской жизни, не имевшей никакого соприкасательства с делами государственными, Россия все же дышала свободно, сбросив с себя более чем десятилетнее немецкое иго. Во всей России немцы лишились своих мест и в канцеляриях, и в войсках. Народ был так озлоблен против немцев, что готов был разорвать их на части. Духовенство называло их

«исчадием ада» и сравнивало время их господства с печальной памяти татарским владычеством.

Были, конечно, места в России, где петербургские и московские придворные передраги не только не производили никакого впечатления, но даже и не были известны. К таким уголкам принадлежало тамбовское наместничество вообще, а в частности — знакомое нам Зиновьево, где продолжала жить со своей дочерью Людмилой княгиня Васса Семеновна Полторацкая. Время летело с томительным однообразием, когда один день совершенно похож на другой и когда никакое происшествие, выходящее из ряда вон, не случается и не может случиться по складу раз заведенной жизни.

Скука этой жизни, кажущаяся невыносимой со стороны, не ощущается теми, кто втянулся в нее. Иной жизни они не знают и не имеют о ней понятия. Жизнь для них заключается в занятиях, приеме пищи и необходимом отдыхе. Если им сказать, что они не живут, а прозябают, они с удивлением взглянут на такого человека.

К таким лицам принадлежала и Васса Семеновна. Она выросла в деревне, в соседнем именьице, принадлежавшем ее родителям и теперь составлявшем собственность ее брата, Сергея Семеновича. Она вышла замуж в деревне за князя Полторацкого и поселилась в Зиновьеве, имения сравнительно большем, чем именьице, где жили ее родители, и отданном ей в приданое. У князя Полторацкого были имения в других местностях России, но он, в силу ли желанья угодить молодой жене или по другим соображениям, поселился в женином приданом имении.

Князь Василий Васильевич был слаб здоровьем, а излишества в жизни, которые он позволял себе до женитьбы и после нее, быстро подломили его хрупкий организм, и он умер, оставив после себя молодую вдову и младенца-дочь.

Васса Семеновна, любившая всего один раз в жизни человека, который на ее глазах променял ее на другую и с этой другой был несчастлив (это был Иван Осипович Лысенко), совершенно отказалась от мысли выйти замуж вторично и всецело посвятила себя

своей маленькой дочери и управлению как Зиновьевом, так и другими оставшимися после мужа имениями. Последние приносили значительный доход, так что княгиня могла жить широко и в довольстве, да еще и откладывать на черный день.

Совершенно не зная жизни, выходящей из рамок сельского житья-бытья, если не считать редких поездок в Тамбов, княгиня Васса Семеновна, естественно, и для своей дочери не желала другой судьбы, какая выпала ей на долю, за исключением разве более здорового и более нравственного мужа, чем покойный князь Полторацкий.

Хозяйственные и домашние заботы поглощали всю жизнь княгини, она свыклась с этой жизнью и совершенно искренне находила, что лучше и не надо. Ширь и довольство жизни заключались в постоянно полном столе, в многочисленной дворне, изяществе убранства комнат и во всегда радушном приеме соседей, которых было, впрочем, немного и которые лишь изредка наведывались в Зиновьево, особенно зимою.

Летом жизнь несколько оживлялась. При-



езжал гостить сын Ивана Осиповича Лысенко — Ося, навещивался и сам Иван Осипович. Наконец, неукоснительно каждое лето наезжал в побывку брат Вассы Семеновны — Сергей Семенович.

Так было в первые годы вдовства княгини, но затем все это круто изменилось. Со времени исчезновения Осипа Лысенко его отец прекратил свои посещения Зиновьева, навевавшего на него тяжелые воспоминания. Сергей Семенович, со своей стороны, получив ответственную должность в петербургском административном мире, не мог ежегодно позволять себе продолжительные отлучки.

Прошло шесть лет со дня происшествия в Зиновьеве, когда Иван Осипович Лысенко уехал из княжеского дома, оставив княгиню и ее брата под впечатлением страшных слов: «У меня нет сына!»

Для Сергея Семеновича Зиновьева эти слова не могли иметь то впечатление, какое имели для княгини Вассы. Старый холостяк не мог, естественно, понять то страшное нравственное потрясение, последствием которого может явиться отказ родного отца от един-

ственного сына. Зато Васса Семеновна, сама мать, сердцем поняла, что делалось в сердце родителя, лишившегося единственного любимого им сына. Она написала Лысенко сочувственное письмо, но по короткому, холодному ответу поняла, что его несчастье не из тех, которые поддаются утешению, и что, быть может, даже время бессильно против обрушившегося на его голову горя.

Княгиня не ошиблась. Иван Осипович, вернувшись к месту своей службы, весь отдался своим обязанностям, совершенно удалился от общества и даже со своими товарищами по полку сохранил только деловые отношения. Вскоре узнали причину этого и преклонились пред обрушившимся на Лысенко новым жизненным ударом.

Княгиня Васса Семеновна все же изредка переписывалась с Иваном Осиповичем, не касаясь не только словами, но даже намеком рокового происшествия в Зиновьеве.

В последнем жизнь, повторяем, текла своим обычным чередом. Старое старилось, молодое росло. Княжна Людмила Полторацкая и ее подруга служанка Таня обратились во

вполне развившихся молодых девушек, каждой из которых уже шел семнадцатый год. С годами их сходство сделалось еще более поразительным, а отношения, естественно, изменились: разница общественного положения выделилась рельефнее и, видимо, это открытие производило на Таню гнетущее впечатление. Она стала задумчива, и порой бросаемые ею на свою молодую госпожу взгляды были далеко не из дружелюбных.

Княжна Людмила — добрая, хорошая, скромная девушка — и не подозревала, какая буря подчас клоочет в душе ее «милой Тани», как она называла свою подругу, по-прежнему любя ее всей душой, но вместе с тем находя совершенно естественным, что та не пользуется тем комфортом, которым окружала ее, княжну Людмилу, ее мать, и не выходит, как прежде, в гостиную, не обедает за одним столом, как бывало тогда, когда они были маленькими девочками.

«Она ведь дворовая», — это было достаточным аргументом, для тогдашнего крепостного времени, даже в сердце и уме молоденькой девушки, не могшей понять, под влиянием

среды, что у «дворовой» бьется такое же, как и у нее, княжны, сердце.

Без гостей, у себя, в своей уютненькой комнате с окнами, выходящими в густой сад, княжна Людмила по целым часам проводила со своей «милой Таней», рисовала пред нею свои девичьи мечты, раскрывала свое сердце и душу.

Хотя, как мы уже говорили, гости в Зиновьеве были редки, но все же в эти редкие дни, когда приезжали соседи, Таня служила им наравне с другой прислугой. После этих дней Татьяна обыкновенно по неделям ходила насупившись, жалуясь на головную боль. Княжна тревожилась болезнью любимицы и прилагала старания, чтобы как-нибудь помочь ей лекарством или развеселить ее подарочками, в виде ленточек или косыночек. Однако на самолюбивую Таню эти «подачки», как она внутренне называла подарки княжны, производили впечатление, обратное тому, на которое рассчитывала княжна Людмила: они еще более раздражали и озлобляли Татьяну Савельевну (так звали по отцу Таню Берестову).

Раздражали и озлобляли ее также призна-

ния и мечты княжны о будущем.

«И все-то ей доступно! Ведь если мать умрет, все ее будет. К тому же она — княжна, богатая, красавица, — со злобой думала о своей подруге Татьяна и тут же не раз говорила себе: — Да, она красавица, такая же, как и я, ни дать ни взять, как две капли воды. И с чего это я уродилась на нее так похожей?»

Однако пока что этот вопрос для наивной Тани оставался темным. Она не могла ничего узнать даже среди дворни, так как последняя, опасаясь близости Тани к княжне и княгине, боялась хоть как-нибудь проболтаться об этом.

Татьяна между тем продолжала думать со злобным чувством:

«Да, я тоже красавица, однако мне мечтать так, как княжне, не приходится; ведь высмеют люди, коли словом и чем-нибудь о будущем хорошем заикнусь; ведь я холопка была, холопкой и останусь».

Эти мысли посещали ее обыкновенно среди проводимых ею без сна ночей, когда она ворочалась на жестком тюфяке в маленькой, убогой комнатке, отгороженной от девичьей

перегородкой, не доходившей до потолка.

Татьяна со злобным презрением оглядывала окружающую обстановку, невольно сравнивая ее с обстановкою комнаты молодой княжны, и в ее сердце без удержу kloкотала непримиримая злоба.

«Даром что грамоте обучали, по-французски лепетать выучили и наукам, а что в них мне, холопке? Только сердце мое растравили, со своего места сдвинули. Бывало, помню, маленькая, еще когда у нас этот черноглазый Ося гащивал, держали меня, как барышню, вместе с княжной всюду, в гостиной при гостях резвились, а теперь: знай, вишь, холопка, свое место, на тебе каморку в девичьей, да и за то благодарна будь, руки целуй княжеские!..»

— «Таня да Таня, милая Таня, — передразнивала она вслух княжну Людмилу, — на тебе ленточку, на тебе косыночку, ленточка-то запачкалась, да ты вычистишь». Благодетельствуют, думают, заставят этим мое сердце молчать... Ох уж вы мне, благодетели, вот вы где! — указывала она рукою на шею, вскочив и садясь на жесткую постель. — Кровопий-

цы...

Так, раздражая себя по ночам, Татьяна Берестова дошла до страшной ненависти к княгине Вассе Семеновне и даже к когда-то горячо ею любимой княжне Людмиле. Эта ненависть росла день изо дня еще более потому, что не смела проявляться наружу, а должна была тщательно скрываться под маской почитительной и даже горячей любви по адресу обеих ненавидимых Татьяной Берестовой женщин. Нужно было одну каплю, чтобы чаша переполнилась и полилась через край. И эта капля явилась.

## II В ЛУГОВОМ

Верстах в трех от Зиновьева находилось великолепное имение, принадлежавшее князьям Луговым. Последние жили всегда в Петербурге, вращаясь в высшем свете и играя при дворе не последнюю роль, и не посещали своей тамбовской вотчины. Поэтому на имение уже легла печать запустения. Однако и одичалость векового парка, и поросшие травой дорожки, и почерневшие статуи над достаточно запущенными газонами и клумба-

ми придавали усадьбе князей Луговых еще большую прелесть.

Обитатели Зиновьева часто ради прогулки отправлялись в Луговое, и для княжны Людмилы и Тани Берестовой не было лучшего удовольствия, как гулять в княжеском парке.

Огромный дом с террасами, башнями и круглым стеклянным фонарем посередине величественно стоял на пригорке и своею штукатуркою выделялся среди зелени деревьев. Запертые и замазанные мелом двойные рамы окон придавали ему еще большую таинственность. Но в некоторых местах на стеклах меловая краска слезла, и можно было видеть внутреннее убранство княжеских комнат.

Княжна Людмила и Таня любили приглядываться глазами к этим прогалинам оконных стекол и любоваться меблировкой апартаментов, хотя лучшие вещи были под чехлами, но, быть может, именно потому казались детскому воображению еще красивее. Одним словом, дом в Луговом приобрел в глазах девочек почти сказочную таинственность.

Однажды, когда княжеский управитель предложил ее сиятельству Людмиле Васи-



льевне — так он величал маленькую княжну — и Тане показать внутренность дома, то обе девочки, сопровождаемые гувернанткой, с трепетом переступили порог входной двери и полной грудью вдохнули в себя тяжелый воздух княжеских апартаментов. После этого несколько недель шли рассказы об этом посещении и воспоминания разных мельчайших подробностей убранства и расположения комнат. Но сказочная таинственность дома как-то вдруг умалилась, и уже при входе в княжеский парк обе девочки перестали ощущать биение своих сердец в ожидании заглянуть в окна дома. Они знали в подробности, что находится за этими таинственными белыми окнами, и дом перестал быть для них загадкой, потерял половину интереса.

Впрочем, в княжеском парке было одно строение, которое носило на себе печать глубокой таинственности. Это было осьмиугольное здание с остроконечной крышей, со шпилем, на котором находилось проткнутое стрелой сердце, с семью узенькими окнами и железной дверью, запертой огромными болтом и железным замком. Окна были все из разно-

цветных стекол и ограждены железными решетками.

Ослабевший интерес обеих девочек к княжескому дому весь сосредоточился на этом загадочном здании. Рассеять или даже уменьшить этот интерес уже не мог управитель. По его словам, ключа от замка таинственного здания у него не было, да он полагал, что этого ключа и никогда не было ни у кого, кроме лица, затворившего дверь и замкнувшего этот огромный замок. А заперто здание было, как говорило предание, много десятков лет тому назад.

Оно стояло в самой глубине княжеского парка. Место вокруг него совершенно одичало, так как, по приказанию владельцев, переходившему из рода в род, его и не расчищали.

То же предание утверждало, что в этой беседке была навеки заперта молодая жена одного из предков князей Луговых; это сделал ее оскорбленный муж, заставший ее на свидании именно в этом уединенном месте парка. Похититель княжеской чести подвергся той же участи. Рассказывали, что князь, захвативши любовников на месте преступления, зако-

вал их в кандалы и бросил в подвал, находившийся под домом, объявив им, что они умрут голодною смертью на самом месте их преступного свидания. На другой же день начали постройку павильона-тюрьмы под наблюдением самого князя, ничуть даже не спешившего с ее окончанием. Между тем несчастные любовники, в ожидании исполнения над ними сурового приговора, томились в сыром подвале на хлебе и на воде, которые подавали им через узкое отверстие.

Постройка продолжалась около года. Когда тюрьма была окончена, снова состоялся единоличный княжеский суд над заключенными, которые предстали пред лицом разгневанного супруга неузнаваемыми: оба были совершенными скелетами, а их головы представляли собою колтуны из седых волос. Затем их отвели в беседку-тюрьму и князь, собственноручно заложив болт, запер замок, а ключ взял с собою. Куда девался этот ключ, неизвестно. После смерти обманутого мужа, женившегося вскоре на другой, этого ключа не нашли, а на смертном одре умирающий выразил свою последнюю волю — из рода в

род оставлять навсегда запертым павильон и не расчищать того места парка, где он стоит. Потомки до сих пор свято исполняли эту волю.

Прогулки из Зиновьева в парк князей Луговых продолжались из года в год. В них принимал участие и Ося Лысенко, и на его пламенное воображение сильно действовал таинственный павильон. После его исчезновения, оставшегося непонятным для маленьких подруг, последние продолжали посещать Луговое и с сердечным трепетом подходить к таинственному павильону. Они знали сложившуюся о нем легенду, но смысл ее был темен для них. «За что наказал муж жену так жестоко?» — этот вопрос, на который они, конечно, не получали ответа от взрослых, не раз возникал в их маленьких головках. С летами девочки стали обдумывать этот вопрос и решили, что жена согрешила против мужа, нарушила клятву, данную пред алтарем, виделась без позволения с чужим мужчиною.

Это разрешение вопроса успокоило княжну Людмилу. Таня согласилась с нею, но внутренне решила, что молодая женщина, вероят-

но, погибла безвинно от княжеской лютости. Она воображала себе почему-то всех князей и княгинь лютыми.

В описываемое нами время в окрестности разнесся слух, что в Луговое ожидают молодого хозяина, князя Сергея Сергеевича Лугового, единственного носителя имени и обладателя богатств своих предков. Стоустая молва говорила о князе, как будто его уже все видели и с ним говорили. Описывали его наружность, манеры, характер, привычки и тому подобное. Из всего этого на веру можно было взять лишь то, что князь очень молод, служит в Петербурге, в одном из гвардейских полков, любим государыней и недавно потерял старуху мать, тело которой и сопровождает в имение, где около церкви находится фамильный склеп князей Луговых. Его отец, князь Сергей Михайлович, уже давно покоился в этом склепе.

Как подтверждение этих слухов, княжна Людмила, совершивши прогулку в Луговое, принесла известие, что там деятельно готовятся к встрече молодого владельца и праха старой княгини.

Княгиня Васса Семеновна, уже давно прислушивавшаяся к ходившему говору о приезде молодого князя Лугового, обратила на известие, принесенное дочерью, особенное внимание. Она начала строить планы относительно ожидаемого князя.

Конечно, князь после погребения матери сделает визиты соседям и, несомненно, не обойдет и ее, княгини Полторацкой, муж которой был не менее древнего рода, нежели князья Луговые. Не будет ничего мудреного, что ее Люда, как звала она дочь, произведет впечатление на молодого человека, которое кончится помолвкой, а затем и свадьбой.

Когда Людмиле пошел шестнадцатый год, княгиня начала серьезно задумываться о ее судьбе. Кругом, среди соседей, не было подходящих женихов. В Тамбове выбирать и подавно было не из кого. Девушка между тем не нынче-завтра — невеста. Что делать? Этот вопрос становился пред княгиней Вассой Семеновной очень часто, и, несмотря на его всестороннее обдумывание, оставался неразрешенным. «Ехать в Петербург или Москву!» — мелькало в уме заботливой матери, но она с

ужасом думала об этом. О придворной и светской жизни на берегах Невы ходили ужасающие для скромных провинциалов слухи. Они не были лишены известного основания, хотя все, что начиналось в Петербурге, комом снега докатывалось до Тамбова в виде громадной снежной горы. В Москве не отставали в отношении привольной и, главное, разнузданной жизни от молодой столицы.

«И в этот омут пуститься со своим ребенком? — с ужасом думала княгиня Васса Семеновна. — Никогда!»

Между тем при таком решении княгини Людмила рисковала остаться старой девой, и вопрос: «Что же делать?» — беспокоил княгиню.

И вдруг известие о приезде молодого князя Лугового открыло для материнской мечты новые горизонты. Что, если повторится с ее дочерью ее личная судьба? Быть может, и Людмиле суждено отыскать жениха по соседству; быть может, этот жених именно теперь уже находится в дороге. Так мечтала княгиня Васса Семеновна Полторацкая.

Это дело слишком переполнило ее сердце,

чтобы она не поделилась им с дочерью. Она сделала это в очень туманной форме, но для чуткого сердца девушки было достаточно намека, чтобы оно забило тревогу. Несмотря на ее наивность и неведение жизни, в стройном, сильном теле Людмилы скрывались все задатки страстной женщины. Ожидаемый князь уже представлялся ей ее «суженым». Ее сердце стало биться сильнее обыкновенного, и она чаще стала предпринимать прогулки по направлению к Луговому.

Не скрыла она туманных намеков матери от своей «милой Тани». Сердце последней тоже забило тревогу. Княжна, строившая планы своего будущего, один другого привлекательнее, рисовавшая своим пылким воображением своего будущего жениха самыми радужными красками, окончательно воспламенила воображение и своей служанки-подруги. Та, со своей стороны, тоже заочно влюбилась в воображаемого красавца князя, и к немым ее злобствованиям против княжны Людмилы прибавилось и ревнивое чувство.

— Меня-то, наверно, за какого ни на есть дворового выдадут... Михайло-выездной стал



что-то уж очень масляно поглядывать на меня... А ведь он — княгинин любимец; поклонится ведьме — как раз велит она под венец идти, а дочке князя-красавца, богача приспособливаает... У, кровопийцы! — злобно шептала Таня во время бессонных ночей.

В Луговом действительно шли деятельные приготовления к погребению останков покойной княгини и прибытию молодого владельца, князя Сергея Сергеевича. Мыли окна, полы, двери, все чистили, и вскоре под руками многочисленных работников и работниц дом стал неузнаваем. Он окончательно потерял свой таинственный вид, и яркое июньское солнце весело играло в стеклах его окон и на заново выкрашенной зеленою краскою крыше. Побеленная штукатурка дома делала впечатление выстроенного вновь здания, и, кстати сказать, эта печать свежести далеко не шла окружающему вековому парку и в особенности видневшемуся в глубине его шпицу павильона с роковым, пронзенным стрелою сердцем.

Именно такое впечатление вынесли княжна Людмила и Таня, когда увидели княже-

ский дом реставрированным, и из их груди вырвался невольный вздох. Они пожалели старый дом с замазанными мелом стеклами.

Впрочем, отделанный заново дом, как вернейший признак скорого прибытия «его», вскоре рассеял их грусть, заняв их ум другими мыслями. Княжна Людмила предалась мечтам о будущем, мечтам, полным розовых оттенков, подобных лучезарной летней заре. Пред духовным взором Тани проносились темные тучи предстоявшего, оскорбляя ее до болезненности чуткое самолюбие. Полный мир и какое-то неопределенное чувство сладкой истомы царили в душе княжны Людмилы, завистливой злобой и жаждой отмщения было переполнено сердце Тани.

— Мама, мама, там, в Луговом, уже все готово, — быстро вошла в кабинет матери княжна Людмила.

— А... вы там были?

— Там, мама, там; только что оттуда, — и княжна Люда пустилась подробно объяснять матери, какой красивый и нарядный вид имеет теперь старый княжеский дом.

Княгиня рассеянно слушала дочь и более

любовалась ее разгоревшимся лицом и глазами, нежели содержанием ее сообщения, из которого главное для нее было то, что «он» скоро приедет.

«Не может быть, чтобы такая красавица, такая молоденькая княжна с богатым приданным не поразила приезжего петербуржца, — думалось княгине. — Разве там, в Петербурге или Москве, есть такие, как моя Люда? Голову прозакладываю, что нет. Бледные, худые, изможденные, с зеленоватым отливом лица, золотушные, еле волочащие отбитые на балах ноги — вот их петербургские и московские красавицы; куда же им до моей Люды?»

— Значит, скоро приедет? — спросила княгиня дочь, когда та окончила свое повествование.

— На днях, не нынче-завтра.

— Что же, это хорошо... Никто, как Бог... — вздохнула княгиня.

— А если он к нам не приедет?

— Как можно, Людочка? Ведь он — светский, вежливый молодой человек, должен приехать. Конечно, не сейчас, после погребения матери, а выждет время; сперва делами

займется по имению, а там и визиты сделает, и нас тогда не обойдет. Мы ведь даже — родственники, только очень дальние; такое родство и не считается, — с улыбкой сказала княгиня, заметив, что дочь как-то взволновалась. — Ах, Господи, кабы все так устроилось, как я думаю!

Княжна Людмила ничего не ответила. Она сидела в кресле, стоявшем сбоку письменного стола, у которого помещалась ее мать, и, быть может, даже не слыхала последних слов матери, так как мысленно была далеко от той комнаты, в которой сидела. Ее думы витали по дороге к Луговому, где, быть может, уже ехал в свой родной дом молодой князь.

Прошло несколько дней, и до Зиновьева действительно дошла весть, что князь Луговой прибыл в свое имение.

Прогулки в Луговое были прекращены. Зиновьевский дом находился в состоянии ожидания.

Это состояние испытывали не только княгиня Васса Семеновна, Людмила и Татьяна, но и весь княжеский дом, то есть многочисленная дворня.

Что бы ни говорили, но в крепостном праве были и светлые стороны. К последним относились главным образом та подчас общая жизнь, которою жили крестьяне со своими помещиками, и отношение к этим помещикам их дворовых людей. Конечно, мы говорим о помещиках добрых и справедливых, хорошо понимавших ту истину, что их хорошее или дурное положение всецело зависит от положения подвластных им лиц в том же смысле. У хороших господ крестьяне и дворня жили со своими господами общею жизнью и не иначе говорили, как «мы с барином». Семейное начало, положенное в основу отношения крепостных людей к помещикам, и было той светлой стороной этого института, которое не могли затемнить единичные и печальные, даже подчас отвратительные, возмущающие душу, явления помещичьего произвола, доходившего до зверской жестокости.

Такого рода добрые, чисто родственные отношения соединяли дворню княгини Полторацкой с барыней и барышней. Дворовые жили действительно одною жизнью с «их сиятельствами», радовались их радостями, печали-

лились их печалью и разделяли их надежды. Несмотря на то что княгиня только туманным намеком открыла дочери свои надежды на князя Лугового, вся дворня основывала на нем такие же надежды и искренне желала счастья найти в нем суженого молодой княжне. Поэтому понятно, что мысли семьи княгини Полторацкой и ее крепостных были направлены на Луговое.

В последнем между тем шли спешные приготовления к погребению старой княгини. Гроб был поставлен в церкви, где должен был простоять три дня, в продолжение которых крестьяне и дворовые могли попрощаться с прахом своей покойной помещицы.

Молодой князь Сергей Сергеевич на управителя и дворовых людей, которым всем он оказал барскую ласку, произвел прекрасное впечатление.

— Князь-то наш даром что молод, а деловит, степенен. Весь в покойного своего батюшку: а ведь тот настоящий был князь.

— Да и лицом, и станом весь в покойного, две капли воды.

— И раскрасавец же писанный... — добавля-

ли женщины.

Согласно распоряжениям князя Сергея, нарочные, снабженные собственноручно написанными им письмами, были разосланы по соседям. В этих письмах князь с прискорбием уведомлял соседей о смерти своей матери и просил почтить присутствием заупокойную литургию в церкви села Лугового, после которой должно было последовать погребение тела покойной в фамильном склепе князей Луговых.

Одной из первых получила это приглашение княгиня Полторацкая. На адресованном ей конверте была приписка: «С дочерью». Эта приписка появилась на конверте вследствие доклада управителя о том, что у княгини Полторацкой, ближайшей соседки Луговой, есть красавица дочь.

Эти два слова укрепили в княгине питаемые ее сердцем надежды: значит, князь знает, что у нее есть дочь, значит, ему доложено об этом, и, конечно, доложено с похвалой.

С этими мыслями княгиня читала полученное приглашение и села с дочерью в карету, запряженную шестеркой лошадей цугом.

В церкви села Лугового к назначенному часу уже собрались все приглашенные. Никто из соседей не пренебрег приглашением молодого владельца села Лугового отдать последний долг его покойной матери. Было несколько семейств, приехавших, быть может, с теми же самыми надеждами, какие питала княгиня Васса Семеновна; это было заметно по тому, с каким беспокойством и тщательностью осматривали матери костюм своих взрослых дочерей. Это поняла княгиня Полторацкая, но тщательный осмотр других претенденток на княжеский титул и богатство Лугового успокоил ее.

Действительно, ни одна из девушек не могла выдержать ни малейшего сравнения с ее дочерью, даже не с точки зрения матери. Это были заурядные молодые лица, с наивным и в большинстве даже испуганным выражением, нежные блондинки, бесцветные шатенки, каких немало встречается в провинциальных гостиных, да и там они остаются незамеченными. Мог ли обратить на них внимание избалованный князь-петербуржец?



Этот вопрос княгиня Васса Семеновна разрешила отрицательно, с любовью и материнскою гордостью смотря на свою красавицу дочь, дивный цвет лица которой особенно оттенялся черным платьем. Княжна Людмила действительно была очень эффектна.

Церковь была переполнена. Молодой князь прибыл в нее за час до назначенного времени и все время молился у гроба своей матери. Затем он стал в дверях церкви принимать приглашенных.

Князь был высокий, статный молодой человек с выразительным лицом, с изысканно изящными манерами, которые приобретаются исключительно в придворной сфере, где люди каждую минуту думают о сохранении элегантной внешности. На его лице лежала печать грусти, вполне гармонизировавшей с обстановкой, местом и причиной приема.

Все заметили, что князь с особой почтительностью поцеловал руку княгини Полторацкой.

После погребения тела матери в фамильном склепе князь пригласил всех прибывших в свой дом помянуть покойную княгиню.

В огромной столовой княжеского дома был великолепно сервирован стол для приглашенных. Не забыты были и дворовые люди, и даже крестьяне. Для первых были накрыты столы в людской, а для последних поставлены на огромном дворе княжеского дома, под открытым небом.

Князь Сергей Сергеевич и в доме принимал гостей с тою же печальною сдержанностью, как и в церкви, но это не помешало ему быть с ними предупредительно любезным и очаровать всех своим гостеприимством.

Княгиня Васса Семеновна и княжна Людмила заняли почетные места у стола, и князь весь обед проговорил с княгиней о хозяйственных делах, о своих намерениях изменения некоторых порядков в имении, и почтительно выслушивал ее ответы и советы. О своей покойной матери он сказал лишь несколько слов по поводу ее продолжительной и тяжелой болезни, не поддававшейся лечению лейб-медиков, присылаемых императрицей. Между прочим, он счелся родством.

— Ну, что касается родства, то оно у нас очень отдаленно, — заметила княгиня.

— Да, если я не ошибаюсь, сто лет тому назад одна из княгинь Полторацких была замужем за князем Луговым.

— Может быть, может быть, — ответила княгиня.

При этом известии княжна Людмила наострила уши.

«Что, если через сто лет это повторится?» — мелькнуло в ее уме, и она густо покраснела.

Это было кстати, так как молодой князь в этот самый момент обратился к ней с вопросом:

— Я слышал, что вы часто гуляли в здешнем парке? Мне очень приятно, что он вам нравится.

— У нас в Зиновьеве есть тоже хорошие места, но они не могут сравниться с вашим парком, — ответила за дочь княгиня, — моя девочка летом чуть ли не каждый день ходила сюда.

— Тем дороже для меня будет этот парк, — любезно произнес князь Сергей и метнул на княжну Людмилу выразительный взгляд, а затем, когда окончился поминальный обед и

приглашенные перешли в гостиную и разбились на группы, почти не отходил от княгини и княжны Полторацких.

Они первые поднялись после десерта и стали собираться домой.

Князь Луговой проводил их до кареты.

— Надеюсь, увидимся, — сказала княгиня Васса Семеновна.

— Я не премину, княгиня, очень скоро лично поблагодарить вас за сочувствие, которое вы выказали мне в память моей покойной матери, и за честь, которую вы оказали мне своим посещением.

После отъезда княгини и княжны стали разъезжаться и остальные гости. Князь все сумел сказать на прощание что-нибудь приятное. Все, кроме огорченных маменек взрослых дочерей, злобствовавших на князя за его внимание к Полторацким, уехали от него обвороженные.

Княгиня Васса Семеновна и Людмила некоторое время молчали. Обе были под впечатлением давно ожидаемого ими свидания. На обеих князь произвел сильное впечатление. Надежда, что ее дочь найдет в Луговом свою

судьбу, превратилась в сердце княгини Вассы Семеновны в уверенность. Она видела, какие восторженные взгляды бросал молодой князь на ее Люду, заметила злобные лица других маменек и основательно заключила, что ее дочь одержала победу. Людмила встретила в князе Луговом олицетворение созданного ее воображением «жениха». Она мысленно таким воображала себе мужчину, который поведет ее к алтарю, и чутьем догадалась, что произвела на князя впечатление.

«Я понравилась ему, — неслось в ее уме, — а он, он... я влюблена в него».

Наконец княгиня Васса Семеновна нарушила молчание.

— Какой милый молодой человек этот князь! — сказала она. — Я даже этого не ожидала.

— А я, напротив, — вырвалось у княжны Людмилы, — именно таким и представляла его себе.

— Представляла?

— Да, мама, представляла. Ведь когда ты мне сказала, что было бы хорошо, если бы князь сделал мне предложение, то есть когда

стала представлять себе, каким он может быть на самом деле...

Девушка склонилась к плечу матери и опустила головку.

— И каким же ты его себе представила?

— Да таким почти, как он есть... — уже совершенно склонившись на грудь матери, прошептала молодая девушка.

— Глупенькая моя! — потрепала ее княгиня по щеке, но вдруг заметила, что эта щека мокрая, — княжна плакала. — О чем же ты плачешь, Людочка?

— Это так, мама, это пройдет. Все это так странно...

— Что странно?

— Да то, что он именно такой, каким я представляла себе его.

— Значит, он тебе нравится?

— Да... — снова чуть слышно произнесла молодая девушка.

— Вот и хорошо... Кажется, и на него ты произвела впечатление. Теперь, когда он придет, надо быть с ним любезной, но сдержанной... Надо помнить, что ты — взрослая девушка, невеста. Не скрою от тебя, я с удоволь-

ствием увидала бы тебя княгиней Луговой.

— Он скоро приедет к нам? — спросила княжна Людмила.

— Вероятно, на днях... не станет медлить.

Они в это время подъехали к дому, и карета остановилась.

Княжна Людмила прошла в свою комнату раздеваться. К ней, конечно, явилась Таня.

— Милая, хорошая, какой он красавец! — восторженно воскликнула княжна, бросаясь на шею своей служанки-подруги.

— Да неужели, ваше сиятельство?

— Что с тобою, ты опять сердисься на меня? — отшатнулась от Тани княжна Людмила.

— Смею ли я?..

— Что это за тон?!

Таня со времени начавшихся в Зиновьеве надежд на молодого князя Лугового стала титуловать свою молодую госпожу, как-то особенно подчеркивая этот титул. Княжна Людмила запрещала ей это; Таня подчинялась в обыкновенные дни и звала ее просто «Людмила Васильевна», но, когда бывали гости и несколько дней после их визитов, будучи в дурном расположении духа, умышленно не

исполняла просьбы свой госпожи и каждую минуту звала ее «ваше сиятельство».

— Таня, милая, что я тебе сделала? — плаксиво заговорила княжна.

— Да ничего. Что вы можете сделать мне, своей холопке, чтобы я смела рассердиться?

— Вот опять «холопки». Что это такое? Ты знаешь, что ты — мой лучший и единственный друг.

— Какой же друг? Ведь я — крепостная.

— Что же из того? Я и мама любим тебя как родную.

— Знаю, знаю и благодарна, — сквозь зубы проговорила Таня. — Но не об этом речь. Вы говорили, что князь — красавец.

— Ах, Таня, такой красавец, что я и не видывала.

Обе девушки снова замолчали. Таня занялась расстегиванием платья княжны, а последняя устремила куда-то вдаль мечтательный взор. О чем думала она? О прошлом или настоящем?

— Каков же он собою? — первая нарушила молчание Татьяна.

Княжна вздрогнула, как бы очнувшись от



сна, но это не помешало ей через минуту яркими красками описать своей подруге церемонию погребения, обед и в особенности внешность князя и сказанные им слова.

— Да вот ты увидишь его на днях. Он придет, — закончила она свой рассказ. — Ты тогда скажешь мне, права я или нет?

— Коли удастся посмотреть в щелочку, скажу, — со злобною иронией сказала Таня.

Вскоре они расстались. Княжна пошла к матери на террасу, а Таня пошла чистить снятое с княжны платье. С особенною злобою выколачивала она пыль из подола платья княжны: в этом самом платье «он» видел княжну, говорил с нею и, по ее словам, увлекся ею. Ревность, страшная, беспредметная ревность клокотала в груди молодой девушки.

«Сама увидишь!» — дрожа от внутреннего волнения, думала она. — «Прикажут подать носовой платок или стакан воды, так увижу. На дворе, когда из экипажа будет выходить, тоже могу увидеть. В щелку, ваше сиятельство, и взаправду глядеть не прикажете ли на вашего будущего жениха?» — и рука Татьяны, вооруженная щеткой, нервно ходила по пла-

ТЮ КНЯЖНЫ.

В то время как все это происходило в Зиновьеве, князь Сергей Луговой находился в отцовском кабинете. Все гости разъехались. Слуги были заняты уборкой комнат, а князь, повторяем, удалился в свой кабинет и с трубкою в руке стал медленно шагать из угла в угол обширной комнаты, пол которой был покрыт мягким ковром. Он переживал впечатления дня, сделанные им знакомства, и его мысли, несмотря на разнообразие лиц, промелькнувших пред ним, против его воли сосредоточились на княжне Людмиле Полторацкой. Ее образ неотступно носился пред ним, и это начинало даже бесить его.

«Неужели я влюбился, как мальчишка, с первого взгляда? — думал он и тут же добавил: — Впрочем, ведь она несомненно очень хороша».

Князь стал припоминать петербургских дам и девиц, у первых из которых он имел весьма реальные, а у последних платонические успехи. Некоторые из них хотя и не уступали красотой княжне Людмиле, однако все же были в другом роде, менее привлекатель-

ными для молодого, но уже избалованного женщинами князя. Здесь красота, несомненно выдающаяся, соединялась с обворожительной наивностью и чистым деревенским здоровьем. Женская мощь, казалось, клокотала во всем теле княжны Людмилы, проявлялась во всех ее движениях, не лишая их грации. Эта сила, сила здоровой красоты, совершенно отсутствовавшая у столичных женщин и девушек, казалось, и поработала князя. Он, выехавший из Петербурга с твердым намерением как можно скорее вернуться туда и принять участие в летних придворных празднествах, теперь решил пожить в своем поместье, присмотреться к хозяйству и к соседям.

Думая о последних, он, конечно, имел в виду лишь княгиню и княжну Полторацких.

«Надо вытащить их из этого захолустья, уговорить их хотя на зиму поехать в Петербург. Государыня любит красавиц, но не одного с нею склада лица. Княгиня может быстро сделаться статс-дамой, а княжна — фрейлиной. Какой эффект произведет ее появление на первом балу! А я, их сосед, хороший знакомый, конечно, буду одним из первых среди

массы ухаживателей, первый по праву старого знакомства. Можно будет и жениться. Она — княжна древнего рода и очень богата. Ну, да это мне безразлично: ведь я и сам богат».

Вот те думы, которые после первой же встречи обуревали молодого князя. Нельзя сказать, чтобы они в общих чертах не сходились с мечтами и надеждами, питаемыми в Зиновьеве. Исключение составляла разве проектируемая князем поездка в Петербург. Впрочем, о ней думала и княгиня Васса Семеновна, но в несколько иной форме: «Женись и поезжай!»

### III БЕГЛЫЙ

Незадолго пред приездом Лугового спокойствие жизни Зиновьева нарушило одно происшествие, сильно взволновавшее не только всю дворню, но и самое княгиню.

Это случилось раннею весной. Однажды вечером староста Архипыч после обычного доклада княгине стал переступать с ноги на ногу, как бы не решаясь высказать, что у него было на уме.

— Теперь ступай и делай все, как сказано, — повторила княгиня, думая, что староста ожидает от нее еще приказаний.

Архипыч продолжал мяться.

— Еще что-нибудь есть? — спросила княгиня.

— Никита вернулся.

— Что-о-о? — вскинула на него взор княгиня.

— Никита ноне еще на заре пришел... В лещочке хоронился, а в обед в деревне объявился.

— Что же теперь делать? — как-то растерянно обводя вокруг себя словно взывающим о помощи взглядом; сказала княгиня.

— Я-с, ваше сиятельство, и докладываю. Как прикажете?

— Уж я и сама не знаю... Что он хочет?

— Чего ему хотеть, ваше сиятельство? Ведь он — в чем душа держится — худ очень, и ни к какой работе его не приспособишь.

— К какой там работе?.. И не надо, только бы жил тихо да зря не болтал несуразное.

— Это вестимо, ваше сиятельство! Зачем болтать? Я ему уже сказывал: «О прошлом за-

был ли? Как я о тебе, шельмеце, ее сиятельству доложу?..»

— Что же он?

— Он мне в ответ: «Что прошло, быльем поросло, а умереть мне в родных местах охота».

Лицо княгини сделалось спокойнее.

— Если так, пусть живет. Но где?

— В Соломонидиной хибарке можно его поместить, за околицей, у березовой рощи... Избушка пустует со смерти Соломониды...

— Отлично, пусть живет! Месячину ему отпустить, по положению, как всем дворовым. Только ты с ним строго поговори, накажи, чтоб язык держал за зубами.

Староста вышел. Княгиня осталась одна. Некоторое время она сидела в глубокой задумчивости. Доклад старосты всколыхнул печальное далекое прошлое княгини.

Никита Берестов был мужем Ульяны, матери Тани. Он служил дворецким при покойном князе Полторацком и, конечно, знал, какую роль при его сиятельстве играла его жена Ульяна. Когда князь задумал жениться, Никита вдруг стал грубить барину, и послед-

ний приказал выпороть его на конюшне. Однако на другой день после наказания Никита сбежал. Ульяна Берестова осталась в ключницах и после женитьбы князя и считалась вдовой. Почти одновременно с молодой княгиней она родила дочку Таню, так что та была лишь на месяц или на два старше княжны Людмилы. Теперь этот Никита возвратился.

Княгиня вздрогнула. Она под первым впечатлением жалости к больному человеку, каким оказался вернувшийся беглец, согласилась пустить его в Зиновьево, хотя имела полное право отправить его, как беглого, в острог и сослать в Сибирь. Она упустила из виду, что Таня Берестова по бумагам считается его дочерью. Что, если он пожелает видеться с нею и даже расскажет Тане о ее происхождении? Она, княгиня, и так сделала большую ошибку, допустив сближение в детском возрасте девушек, так разительно похожих друг на друга. Она сделала это из недальновидного великодушия к своей сопернице, а главное для того, чтобы исполнить волю покойного князя, повелевшего ей позаботиться об Ульяне и ее ребенке.

Странное чувство возбуждал в Вассе Семеновне ее муж. Она вышла за него замуж не любя, так как любила Ивана Осиповича Лысенко, и с первого дня брака почувствовала, какое преступление совершила против человека, с которым связала свою судьбу. Оргии, которым предавался князь, его продолжавшаяся почти явная связь с Ульяной — все это при тогдашнем своем настроении духа княгиня Васса Семеновна считала возмездием за свою вину. Она глубоко жалела князя, и, когда он умер на ее руках, благословив ее и дочь, с просьбой позаботиться об Ульяне и Тане, ее замятие вынесли из его спальни. Она впервые полюбила своего мужа мертвого, полюбила до того, что стала после его смерти жестоко ревновать Ульяну к покойному и действительно непосильной работой и вечными попреками ускорила исход и без того смертельной болезни молодой женщины.

Смерть Ульяны совершила в княгине Полторацкой новый нравственный переворот. Она горько оплакивала свою бывшую соперницу и исключительно для самобичевания за совершенные ею, по ее мнению, преступле-



ния против мужа и его любовницы взяла в дом Таню Берестову и стала воспитывать ее вместе со своею родной дочерью.

Годы шли. Девочки выросли, и княгиня постепенно стала исправлять свою ошибку и ставить Татьяну Берестову на подобающее ей место дворовой девушки.

Мы видели, к какому настроению души бывшей подруги княжны привело это изменение ее положения, и если княжна Людмила недоумевала относительно состояния духа своей любимицы, то от опытного глаза княгини не укрывалось то «неладное», что делалось в душе Татьяны.

— Отогрела я, кажется, змею на груди... — в минуту особенно пессимистического настроения говорила сама себе княгиня. — Надо поскорее выдать ее замуж.

Таким образом, Таня была права, предчувствуя, что княгиня охотно выдаст ее замуж за первого, кто поклонится «ее сиятельству».

«Если Татьяна теперь так ведет себя, — продолжала думать княгиня, — то что будет, если она узнает свое настоящее происхождение? Надо поговорить с Никитой... Архипыч

не сумеет, самой лучше... покойнее будет».

Остановившись на этом решении, княгиня Васса Семеновна позвонила и приказала вошедшей горничной:

— Позвать ко мне Архипыча!

Через четверть часа внушительная фигура старосты уже появилась в дверях кабинета княгини.

— Вот что, Архипыч, приведи ко мне Никиту!

— Когда прикажете?

— Да попоздней, когда барышня ляжет, да и в девичьей улягутся. Он где?

— Да я уже на новом месте его устроил, как приказали.

— Наказывал, что я тебе говорила? Да? А он что же?

— «Да я все перезабыл, говорит, что и было; чуть ли не два десятка лет прошло», — говорит.

— Хорошо, но все же я сама накажу ему, крепче будет.

— Вестимо, ваше сиятельство, крепче, это вы правильно: то наша речь холопская — то княжеская.

— Так приведи!

Княгиня снова осталась одна в своем кабинете и пробовала заняться просмотром хозяйственных книг, но образ Никиты — мужа Ульяны, которого она никогда в жизни не видала, — рисовался пред ее глазами в разных видах. Ей даже подумалось, что он явился выходцем из могилы, чтобы потребовать у нее отчета в смерти его жены. Княгиня задрожала.

Это настроение было, по счастью, прервано докладом, что ужин подан. Однако княгиня почти ничего не ела. Ожидаемая беседа с Никитой, по мере приближения ее момента, все сильнее и сильнее волновала ее.

Наконец ужин кончился. Княжна Людмила, поцеловав у матери руку и получив ее благословение на сон грядущий, удалилась в свою комнату. Княгиня направилась в кабинет, рядом с которым помещалась ее спальня.

— Федосья! — окликнула она, подойдя к двери спальни.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — появляясь в дверях, спросила горничная и наперсница княгини.

— Войди сюда! — сказала княгиня и, когда Федосья приблизилась, спросила: — Ты слышала, Никита вернулся?

— Слышала, ваше сиятельство, слышала, как с неба упал.

— Что ты об этом думаешь?

— Да что же думать, ваше сиятельство? Побродил, побродил, добродился до того, что, говорят, кожа да кости остались, ну, домой и пришел умирать.

— А не ровен час, болтать будет.

— Какой уж болтать? Говорят, еле дышит.

— Так-то так, а все же я велела Архипычу привести его сюда: наказать ему хочу молчать, а главное — не видеться с Таней, чтобы он ей чего в голову не вбил.

— Это вы правильно, ваше сиятельство: тогда с нею совсем сладу не будет, и теперь уж...

Федосья остановилась.

— Что теперь? — взволнованно спросила княгиня.

— Девки болтают, будто она по ночам не спит, сама с собой разговаривает, плачет.

— Замуж девку отдать надо.

— Вот это, ваше сиятельство, истину ска-

зять изволили. Ох, надо пристроить бы девуку, да в дальнюю вотчину.

За дверями в кабинет раздался в это время топот ног.

— Вот они и пришли, потом поговорим. Впусти, Федосья!

Федосья пошла к двери, и вскоре на ее пороге появился Архип в сопровождении другого мужика. Княгиня невольно вздрогнула при взгляде на последнего.

«Выходец из могилы», — мелькнула в ее уме мысль.

Действительно, вошедший вместе со старостой Никита Берестов имел вид вставшего из гроба мертвеца. Одежда висела на нем, как на вешалке. Видимо, весь он состоял из одних костей, обтянутых кожей. Лицо землистого цвета, с выдававшимися скулами, почти сплошь обросло черными волосами, включенными и спутанными; такая же шапка волос красовалась на голове. А среди этой беспорядочной растительности горели каким-то адским блеском черные как уголь глаза.

Никита взглянул ими на княгиню и, казалось, приковал ее к месту. Но это было лишь

мгновение — Берестов упал в ноги ее сиятельству и жалобным, надтреснутым голосом произнес:

— Не губите, ваше сиятельство!

Несколько оправившись, княгиня пришла в себя. Обдумывая это свидание с беглым дворецким ее покойного мужа, она хотела переговорить с ним с глазу на глаз, выслав Архипыча и Федосью, но теперь не решалась на это. Остаться наедине с этим «выходцем из могилы» у нее не хватало духа.

«Кроме того, — неслось в голове княгини соображение, — и Архипыч, и Федосья — свидетели прошлого, они знают тайну рождения Татьяны и тайну отношений покойного князя к жене Никиты. Их нечего стесняться».

Она решила их оставить в кабинете.

— Встань! — властно сказала она. — Бог тебя простит.

Беглец приподнялся с пола, но остался на коленях. Его глаза были опущены; они не смотрели на княгиню, и последняя внутренне была очень довольна этим.

— Живи, доживай свой век на родине, но только чтобы о прошлом ни слова! — сказала

она. — У меня есть на дворне дочь твоей жены, так с нею тебе и видеться незачем.

— На что мне она? — как-то конвульсивно передернувшись, тихо произнес Никита. — Не до нее мне... умирать пора.

— Зачем умирать? Поправляйся, живи на покое, но не смутьянь, а то, чуть что замечу, не посмотрю, что хворый, в Сибирь сошлю.

В голосе княгини слышались грозные ноты.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, отсохни мой язык, коли слово о прошлом вымолвлю. Вот оно где у меня, прошлое! — указал Никита на шею. — А девчонку эту я и видеть не хочу.

— Тогда будет тебе хорошо. Теперь ступай, я все сказала.

Никита с трудом поднялся с колен и поплелся вслед за вышедшим из кабинета Архипычем.

## IV РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Оба они двинулись по направлению к деревне и шли некоторое время молча. Первым нарушил молчание староста:

— Княгиня-то у нас, что говорить, душа-барыня. Правда, под горячую руку к ней даже не приступайся, а потом отойдет...

— Ишь, какая!

— Теперь хоть тебя взять. Пожалела, как я сказал, что хворый ты, умирать пришел.

— Известное дело, умирать.

— Я к тому и говорю, что пожалела; правда, на тебя тоже властно да строго зыкнула, а все же говорит: «Живи, поправляйся».

— Сердобольная! — с иронией в голосе заметил Никита.

— Ну, теперь подь к себе, спи спокойно! — сказал староста, поравнявшись со своей избой.

— Прощенья просим, — ответил Никита, снимая шапку.

Староста прошел в ворота своего дома, а Берестов направился далее к околице, за которою стояла отведенная ему избушка Соломоницы.

Последняя была одинокая вдова-бобылка, древняя старуха, когда-то бывшая дворовая, фаворитка отца княгини Полторацкой, когда тот был холост. После женитьбы князя она



была сослана из барского дома и поселена в построенной ей нарочно избушке, в стороне от крестьянских изб. В этом ее жилище было две комнаты с чисто вытесанными стенами, узорчатое крылечко, а за избушкой был выстроен сарай. Тут же был навес для лошадей, а от двора шло место для огорода.

Соломонида жила в своей избушке, получая увеличенную месячину, как говорили крестьяне, «всласть», с единственным запретом — ходить на барский двор. Исполнить этот запрет ей было тем легче, что вскоре после своей женитьбы отец княгини Вассы Семеновны покинул Зиновьево и поселился в своем соседнем маленьком именье Введенском. Барский дом стоял пустым, дворня была переведена в Введенское, на барский двор и так ходить было незачем. Он оживился только с выходом замуж Вассы Семеновны, поселившейся с мужем в Зиновьеве; но в нем начались новые порядки, в обновленной дворне были новые люди, с которыми Соломониду ничто не связывало, а потому она жила уединенно и не только избегала ходить на барский двор, но даже сторонилась крестьян.

Она как бы ушла в самое себя и жила не настоящим, а прошлым.

По селу Соломонида прослыла «знахаркой», и к этому присоединялось подозрение в колдовстве. Последнему способствовали уединенная жизнь и нелюдимость Соломонида, а главное — огромный черный кот, сидевший на крыльце ее избушки. Соломонида пользовала крестьян разными травами, прыскала наговоренной водой от «сглазу» — словом, проделывала такие таинственные манипуляции, которые в то темное, суеверное время заставляли ее пациентов быть уверенными, что она, несомненно, имеет сношение с «нечистой силой».

Месяца за два до появления в Зиновьеве Никиты Берестова Соломонида умерла, и при этом так же таинственно для людей, как и жила. Никто не присутствовал при ее смерти, никто не голосил у ее постели. За несколько дней до кончины ее видели копошившейся около своей избы, а затем не видали ее несколько дней. Нужды до нее на деревне не было, а потому на это обстоятельство не обратили особенного внимания. Только случайно

зашедшая в избу бабенка, желавшая посоветоваться об усилении удоя «буренки», которая вдруг стала давать молока меньше прежнего, увидала Соломонида лежавшею на лавке со сложенными на груди руками. Баба дотронулась до этих рук и, взвизгнув на всю избу, бросилась вон, прибежала в деревню и всполошила всех. Отправились в избу Соломониды и действительно убедились, что она умерла. Кот тоже оказался околевшим. Доложили княгине, и по ее приказанию, несмотря на то что «колдунья» не сподобилась христианской кончины, ее похоронили после отпевания в церкви на сельском кладбище и даже поставили большой дубовый крест.

После этого избушку заколотили до времени, хотя не было надежды, что найдется человек, который решился бы в ней поселиться. Она простояла бы так пустая, быть может, много лет, но вдруг, когда в Зиновьеве объявился беглый Никита и когда возник вопрос, куда девать его, у старосты Архипыча мелькнула мысль поселить его в избушке Соломониды. «Мужик он бывалый, — соображал он, — в бегах разные виды видывал, не стру-

сит». Да и пропал он почти двадцать лет — именно то время, за которое сложилась среди крестьян страшная репутация Соломонида. В его время она была только опальной «барской барыней», а это не представляло ничего страшного.

Действительно, когда староста сказал Никите Берестову о свободной избушке Соломонида, тот согласился поселиться в ней и даже усердно поблагодарил. Таким образом избушка за околицей снова приобрела странного жильца, тоже находившегося под некоторым запретом.

Между тем, как только Архипыч скрылся на своем дворе, Никита Берестов совершенно иначе зашагал по заснувшей деревне. Куда девались его расслабленная походка, еле влочившиеся ноги, сторбленность стана и опущенная долу голова. Никита выпрямился и почти побежал к околице. Дошедши до своей избы, он вошел в нее, закрыл дверь, засветил светец и, сбросив с себя зипун, потрянул головой, отчего его волосы откинулись назад и приняли менее беспорядочный вид, пятерней расправил включенную бороду и совершен-

но преобразился.

Мерцающее пламя лучины осветило внутренность избы, действительно представлявшей много таинственного, устрашающе действовавшего на суеверный люд. На почерневших стенах были развешаны пучки каких-то засушенных трав и кореньев, там и сям виднелись прибитые шкуры кошек и мышей, с потолка спускались такие же пучки травы и кореньев и, наконец, болталось на бечевке черное крыло какой-то большой птицы. В комнате был образ, но совершенно почерневший, так что не было возможности разглядеть лик изображенного на нем святого. Черневшее отверстие большой печи, не закрытое заслонкою, завершало ужасающую обстановку этой «избы колдуньи», как продолжали звать избу Соломонида на деревне.

Но Никита Берестов не был из суеверных. Он совершенно спокойно стал ходить по избе, даже заглянул в другую темную горницу, представлявшую такой же склад трав, кореньев, шкур животных и крылатых птиц, этих таинственных и загадочных предметов, и время от времени ухмылялся в бороду. Его го-

рящие глаза принимали несколько раз сосредоточенное выражение. Это было как раз в то время, когда он останавливался и ворчал себе под нос.

«Ишь, старая карга, сразу догадалась: „Таньку тебе видеть незачем“, когда в Татьяне-то вся суть!» — подумал он, складывая на лавку свой зипун в виде изголовья, а затем потушил светец, впотьмах добрался до лавки и растянулся на ней во весь рост.

Вскоре избу колдуньи огласил богатырский храп — Никита Берестов заснул...

Несмотря на принятые княгиней меры предосторожности, в девичьей узнали не только о возвращении Никиты, но и о том, что он был принят барыней и по ее распоряжению поселен в Соломонидиной избушке. Некоторые из дворовых девушек успели, кроме того, подсмотреть в щелочку, каков он собой.

Все это произошло без Тани, бывшей в то время в комнате княжны, которой она помогала совершать свой ночной туалет. Когда она вернулась в свою комнатку, отделенную от девичьей лишь тонкой перегородкой, шу-

шуканье между дворовыми девками было в полном разгаре. Тане, конечно, было известно, что в Зиновьево, после почти двадцатилетнего отсутствия, вернулся беглый Никита, но при ней ни разу не назвали его прозвища «Берестов», а потому она особенно им и не интересовалась. С детства отдаленная от двора, она, естественно, не могла жить ее интересами, слишком мелочными для полубарышни, каковою она была. Однако когда она разделась и легла на свою постель, то невольно, мучимая бессонницей, стала прислушиваться к говору не спавших и оживленно беседовавших дворовых девушек, и тут впервые до нее донеслось прозвище Никиты.

— И страшный какой этот Никита Берестов! — сообщила одна из девушек, успевшая посмотреть на «беглого» в замочную скважину, когда он шел с Архипычем к ее сиятельству...

— Кто он такой будет?

— Кто? Наш брат, дворовый. Дворецким служил при покойном князе. Здесь поблизости именье у его сиятельства было, он его брату двоюродному подарил пред женитьбой,

а его, Никиту, да его жену Ульяну сюда перевести приказал, в дворню нашу, значит; только Никита сгрубил ему еще до перевода, и князь его на конюшне отодрал; он после этого и сгинул.

— Чего же он сюда пришел? Ведь родимая-то сторона его не тут.

— Не тут, а все же поблизости. Замятино знаешь?

— Это за болотом?

— Оно самое.

— Да! Так вот туда бы и шел.

— Уж не знаю, может, потому, что дочка его здесь. Ведь он — муж Ульяны.

— А дочка его кто? — слышался вопрос.

— Известно кто! Татьяна Берестова, наша дворовая барышня.

Таня с момента произнесения своего прозвища еще более чутко стала прислушиваться к доносившейся до нее беседе. Когда же оказалось, что эта беседа касалась исключительно ее, она вскочила, села на постель и с широко открытыми глазами как бы замерла после слов: «Известно кто! Татьяна Берестова, наша дворовая барышня».



Таким образом, этот «беглый Никита», о котором еще сегодня возбуждали вопрос, отправят ли его в острог или сошлют в Сибирь или княгиня над ним смилуется — ее, Тани, отец.

«Может, потому, что дочка здесь...» — гудело в ушах ошеломленной девушки, и у нее мелькнула мысль: а вдруг да княгиня отдаст ее отцу, и она должна будет поселиться в Соломонидиной избушке, к которой она с детства вместе с княжной питала род суеверного страха.

Холодный пот выступил на лбу Тани.

Нечего и говорить, что она провела ночь совершенно без сна. Думы, страшные, черные думы до самого утра не переставали витать над ее бедной головой.

## V

### В ИЗБУШКЕ «КОЛДУНЬИ»

Дни шли за днями. Тревога, возникшая в сердце и уме Тани, постепенно улеглась. Княгиня, видимо, не намерена была водворить ее на жительство к отцу, и ее положение ничуть не изменилось со времени появления «беглого Никиты».

Последний видимо сторонился всех. Никита оказался страстным охотником и, получив, с разрешения княгини ружье, порох и дробь, по целым дням пропадал в лесу и на болоте. Ни один из княжеских дворовых охотников не доставлял к обеденному столу столько дичи, сколько «беглый Никита».

Итак, Таня успокоилась и даже почти забыла о существовании на деревне отца, тем более что к этому именно времени относилось появление в Зиновьеве первых слухов о близком приезде князя Лугового. Этот приезд, равно как восторженное состояние княжны Людмилы после первого свидания с Сергеем Сергеевичем, подействовали на Таню: она озлобилась на княжну и на княгиню и, естественно, старалась придать своим мыслям другое направление. Таким отвлекающим мотивом являлась мысль о беглом Никите.

«Отец он мне или не отец? — думала она. — Может, сбрехнули девки. Если бы он был отцом, так неужели не захотел бы взглянуть на родную дочь? Чудно что-то!»

Эта мысль начала развиваться и привела Таню к решению повидаться с таинственным

обитателем избушки Соломонида.

Однажды, уложивши княжну, Таня как-то совершенно машинально не отправилась в свою комнату, а прошла девичью и вышла на двор. Ночь была теплая, луна ярко освещала поля, вдоль которых вилась тропинка за задми деревни. Молодая девушка пошла по тропинке и вскоре очутилась у таинственной избушки. В одном из ее окон светился огонек. Никита был дома.

Этот мерцающий свет лучины в затускневшем окне блеснул в глаза девушки ярким заревом. Она остановилась ошеломленная. Первым ее чувством был страх, она хотела бежать, но не могла двинуть ни рукой, ни ногой и стояла пред избушкой как замороженная, освещенная мягким лунным светом.

Через несколько мгновений дверь избушки отворилась, и на крыльце появился Никита. Стоявшая невдалеке Таня невольно бросилась ему в глаза.

— Чего тебе надобно здесь, девушка? — окликнул он ее и стал спускаться с крыльца.

Девушка не тронулась с места. Страх у нее пропал — Никита был теперь далеко не так

страшен, как в первый день появления в Зиновьеве. Он даже несколько пополнил и стал похож на обыкновенного крестьянина, каких было много там.

— Ты кто же такая будешь? — приблизившись к Тане, спросил Никита.

— Татьяна Берестова, — несколько дрогнувшим голосом ответила она.

— А, вот ты кто! — воскликнул Никита, и в его голосе послышались радостные ноты. — Ты зачем же сюда пожаловала?

— Так, гуляла.

— Правду говорят, что отцовское сердце дочке весть подает! — со смехом произнес Никита, как-то особенно подчеркнув слова «отцовское» и «дочке».

— Так ты на самом деле мой отец? — смело глядя ему в глаза, спросила Таня.

— Отец, девушка, отец, — ответил Никита. — Да что мы тут-то гуторим? Хоть и поздно, а неравно чужой человек увидит... княгини доложат.

— А пусть докладывают... Мне што...

— Тебе, может быть, и ничего, а ведь мне княжеский запрет положен видеться с то-

бой, — возразил Никита. — Схоронимся-ка лучше в избу, верней будет, я тебе порасскажу! — и Никита пошел снова по направлению к избушке.

Таня последовала за ним, а когда переступила порог Соломонидиной избушки, сердце у нее болезненно сжалось. Ей сделалось страшно, но только на мгновение.

— Садись, гостья будешь, — сказал Никита, указывая вошедшей за ним девушке на лавку.

Татьяна села и с любопытством оглядела внутренность избы. Последняя уже потеряла свой загадочный характер. Никита выбросил все травы и шкурки, и изба приняла совершенно обыкновенный вид.

Никита между тем поправил светец и подвинул его поближе к сидевшей за столом Татьяне.

— Дай поглядеть на тебя, девушка. Ишь, какую уродилась!.. Вылитая княжна. Онамеднясь я ее на деревне встретил.

— Да, мы очень схожи с княжной... — ответила Таня.

— Да оно так и должно быть: ведь вы одно-

го корня деревца, одного отца детки; как же тут сходству не быть?

— Одного отца? — удивленным голосом произнесла Татьяна. — Княжна, значит...

— Моя дочь, что ли? Ну, и дура же ты! — Никита захохотал. — Да ведь это ты-то сама — дочь княжеская, князя Василия дитя родное... от жены моей непутевой, Ульянки, вот что!

Никита пришел в ярость и даже руками ударил себя по бедрам.

Воспитанная вместе с княжной, удаленная из атмосферы девичьей, обитательницы которой, как мы знаем, остерегались при ней говорить лишнее слово, Таня не сразу сообразила то, о чем говорил ей Никита. Сначала она совершенно не поняла его и продолжала смотреть на него вопросительно-недоумевающим взглядом.

— Ведь когда ты родилась, — продолжал Никита, — я уже около двух лет в бегах состоял; так как же ты мне дочерью приходиться можешь? Ты это сообрази. Известно — тебя дворовая баба Ульяна, да к тому же замужня, родила, ну, вот тебя по ее мужу, то есть по мне, и записали.

Татьяна продолжала молчать, но вопросительно-недоумевающее выражение ее взгляда исчезло. Она начала кое-что соображать.

— Значит, мать... — начала она.

— Что мать! Вот назвал я ее сейчас непутевой, а, только ежели по душе судить, ее дело тоже было подневольное. Князь — барин. За муж-то он за меня ее выдал для отвода глаз только. Пред женитьбой его дело-то это было. Я Ульянку любил, была она девка статная, красивая, а повенчали нас с нею — только я ее и видел; меня-то дворецким сделали, а ее к князю. Не стерпел я в те поры, сердце у меня загорелось, и уж этого князя стал я честить что ни на есть хуже. Известно, он — князь, барин властный. На конюшню меня отправили да спину всю узорами исполосовали. Отлежался я и задумал в бега уйти. Парень я был рослый, красивый, думал, что Ульяна за меня тоже не зазнамо для князя шла, что люб я ей. Думал я грех ее подневольный простить и рассчитывал, что мы вместе убежим. Наказал я одной старушке душевной жене передать, что за околицей ждать ее буду, да не пришла она, не сменила на меня князя, подлая. Толь-

ко потом, много спустя, сообразил я, что нелегко и ей было, сердечной, судьбу свою переменить, из холи, из сласти княжеской с гольшом, беглецом-мужем в бега пуститься. На первых-то порах проклял я ее, а потом, как сердце спало, жалость меня по ней есть начала; до сей поры люблю я ее, а эту княгиню с отродьем ее, княжной, ненавижу.

— За что же?

— Да ведь эта змея извела Ульяну, как только князь глаза закрыл.

— Извела? Мою мать! — воскликнула Таня, и ее глаза загорелись огнем бешенства.

Уже тогда, когда Никита заявил, что ненавидит княгиню и княжну, в сердце девушки эта ненависть ее названного отца нашла быстрый и полный отклик. В уме разом возникли картины ее теперешней жизни в княжеском доме в качестве «дворовой барышни» — она знала это насмешливое прозвище, данное ей в девичьей — в сравнении с тем положением, которое она занимала в этом же доме, когда была девочкой.

«У, кровопийцы!» — мелькнуло у нее в голове восклицание, обычное у нее по адресу



княгини и княжны во время бессонных ночей.

Теперь же, когда она из слов Никиты узнала, что княгиня извела ее мать, чувство ненависти к ней и княжне Людмиле получило для нее еще более реальное основание. Оно как бы узаконилось совершенным преступлением Вассы Семеновны.

— Известно, извела, — продолжал Никита. — Я тоже хоть и в бегах был, однако из своих мест весточки получал исправно. Стала княгиня, овдовевши, Ульяну так гнуть да работой неволить, что Ульяна-то быстрее тонкой лучины сторела. Вот она какова, ваша княгинюшка. Правда, как уложила она Ульяну в гроб, то начала душу свою черную перед Господом оправлять, а для этого за тебя взялась — тебя, ее же мужа отродье, барышней сделала. Да на радость ли?

— Уж какая радость! Сослали теперь опять в девичью.

— Знаю! Да мало того — замуж тебя выдать норовят, да не здесь, а в дальнюю вотчину.

— Что-о-о? — громко взвизгнула Татьяна и,

как ужаленная, вскочила с лавки. — Ну, этому не бывать.

— И я говорю, не бывать... Положись только на меня, вызволю.

— Родимый, все, что делать надо, сделаю.

— Садись! — указал он ей на лавку, а сам сел рядом и, наклонившись к самому лицу Тани, стал что-то тихо говорить ей.

На ее лице выражались то ужас, то злорадная улыбка.

Они проговорили далеко за полночь.

Таня благополучно пробралась назад в девичью: все девушки уже спали, так что никто, видимо, не заметил ее отсутствия. Она тихо разделась и легла, но заснуть не могла. Голова ее горела, кровь билась в висках, и Таня то и дело должна была хвататься за грудь — так билось в этой груди сердце.

А что, если все действительно делается так, как он говорит? Ведь тогда и она успокоится, будет жестоко отмщена. И чем она хуже княжны Людмилы? Только тем, что родилась от дворовой женщины. Но ведь в ней видимо нет ни капли материнской крови, как в Людмиле нет крови княгини Вассы Семеновны.

Недаром они так разительно похожи друг на друга. Они — дочери одного отца, князя Полторацкого, они — сестры. Почему же она должна терпеть такую разницу их положения? Людмиле все, а ей ничего. У той общество, титул, красавец будущий жених, счастье, а у нее подневольная жизнь дворовой девушки и в будущем замужество с мужиком и отправка в дальнюю вотчину.

При одной мысли о возможности подобной отправки холодный пот покрывал все тело молодой девушки, нервная дрожь пробежала по всем членам, и голова наливалась как бы раскаленным свинцом.

— Нет, не будет этого, не будет! — внутренне убеждала себя Таня. — Я возьму то, что принадлежит мне по праву. Я возьму все, раз они не хотят делиться со мной добровольно. Прав мой названный отец, тысячу раз прав.

Она всю ночь не сомкнула глаз и лишь под утро забылась тревожным сном.

Шум, поднявшийся в девичьей, вывел Таню из этого полузабытья или полусна. Она вскочила, наскоро оделась, умылась холодной водой, и это освежило ее. Затем она во-

шла в комнату княжны как ни в чем не бывало и даже приветливо поздоровалась с нею.

«Потешу ее сиятельство напоследки», — злорадно думала она.

Княжна с ее помощью оделась и вышла пить с матерью утренний чай, а Таня удалилась к себе. Волнение ночи постепенно улеглось в ее душе, и она задумалась. Все, что говорил ей вчера Никита, представилось ей вдруг до того страшным, до того невозможным, что она уже решила в своем уме, что он просто сбреднул по злобе. Но тут же у нее явилась мысль:

«А если это возможно? Если адский план, придуманный Никитой, действительно осуществим. Что тогда?»

В сердце девушки, независимо от ее воли, закрылась жалость к своей подруге. Последняя ведь не виновата! Все княгиня. Но что же делать? Тут нельзя разбирать большую или меньшую вину. Пусть княжна без вины виновата, а все же виновата. Не пропадать же ей, Тане, не дожидаться же, когда отправят ее в дальнюю вотчину! Но нет, может быть, княгиня обеспечит ее, даст приданое, и она вый-

дет замуж за кого-нибудь из городских, из тамбовских, за чиновника. Мечта выйти за чиновника уже давно жила в уме Тани, и с этим исходом она примирилась бы.

Думы в этом роде, одна другой противоречившие, неслись в голове Тани; она сидела неподвижно, с устремленными в одну точку глазами и очнулась от этой задумчивости лишь тогда, когда ее позвали к княжне.

Последняя встретила ее радостным восклицанием:

— Князь приедет сегодня! Мама устроила так, чтобы нам дали знать из Лугового, когда князь сделает нам визит. И вот сейчас был нарочный оттуда, сказал, что сегодня. Мама приказала мне одеться получше, но вместе и попроще, как будто я в домашнем платье. За этим я и позвала тебя.

— Ага! — протянула Таня.

— Что же мне надеть?

Княжна и Таня занялись сперва обсуждением туалета, а затем и самым туалетом. Последний вскоре был окончен. Княжна осталась довольна и пошла показаться матери.

«Посмотрим, что за чудище такое замор-

ское этот князь», — думала Таня, возвращаясь в девичью.

Там ожидал ее новый удар. Горничной княгини Вассы Семеновны Федосьей было вынесено приказание об отправке десяти дворовых девушек в дальний лес по ягоды. В число этих десяти была назначена и Таня.

Это был первый случай, чтобы Таню отправляли вместе с дворовыми на общую работу, и девушка до крови закусилась себе губу. Слезы готовы были брызнуть из глаз, но она употребила все усилия воли, чтобы сдержаться. Она поняла, что ее хотят удалить, схоронить от княжеских глаз, однако не показала и вида, что это распоряжение удивило ее, а напротив, с неподдельной, казалось, радостью пошла вместе с остальными дворовыми девушками в дальний лес. Между тем под этой наружной веселостью скрывался целый вулкан злобы, бушевавшей в ее груди.

«Поплатитесь вы мне, поплатитесь! — мысленно грозила она. — А я, дура, только что жалела их! У, кровопийцы!»

Князь Луговой между тем действительно приехал и был встречен княгиней в гостинной

так, как будто явился неожиданным гостем.

— Моя девочка в саду, — сказала княгиня. — Она, вероятно, сейчас прибежит. Такая егоза, не посидит на месте.

— Молодость! — глубокомысленно умозаключил князь.

Минут через десять появилась и княжна Людмила. Она тоже как бы вспыхнула от неожиданности, вбежав в гостиную и увидев князя, но это не помешало ей грациозно присесть ему, а затем княгиня пригласила Сергея Сергеевича на террасу, куда были поданы прохладительные напитки.

Разговор завязался. Впрочем, говорил больше князь. Он рассказывал о петербургском житье-бытье и, видимо, старался увлечь своих слушательниц и поселить в них желание самим видеть невскую столицу. В особенности живо он описывал праздники придворные и даваемые братьями Разумовскими.

— Празднества гетмана Кирилла Григорьевича в особенности бывают оживленны, так как на них являются званые и незваные, — сказал он...

— Как, все, кто хочет? — удивилась княгиня.

ня. — Но ведь это должно стоить бешеных денег.

— Ну, что значат для Разумовских деньги? — усмехнулся Сергей Сергеевич.

— Да, говорят, они очень богаты и делают много добра?

— Кирилл Григорьевич в особенности добр. Когда я уезжал из Петербурга, то весь город только и говорил о двух случаях, бывших с гетманом. У него всегда и для всех открыт стол, куда могут являться и званые и незваные. Этим правом воспользовался в прошлую зиму один бедный офицер, живший по тяжбыным делам в Петербурге. Каждый день обедал он у гетмана и, привыкнув наконец к дому, вошел однажды после обеда в одну из внутренних комнат, где граф, по обыкновению, играл в шахматы. Разумовский сделал ошибку в игре, офицер не мог удержаться от восклицания. Гетман остановился и спросил у бедняка, в чем состоит ошибка. Сконфуженный офицер указал на промах графа. С тех пор Разумовский, садясь играть, всегда спрашивал: «Где мой учитель?» Но недавно «учитель» не пришел к обеду. Гетман велел наве-



сти справки, почему его не было. С трудом дознались, кто был незванный гость графа; несчастный был болен и в крайности. Кирилл Григорьевич отправил к нему своего доктора, стал снабжать его лекарствами и кушаньями, а после выздоровления помог ему выиграть тяжбу и наградил деньгами.

— Ах, какой он хороший! — наивно воскликнула княжна Людмила.

— Другой случай еще интереснее. В прошлую зиму у Кирилла Григорьевича обедал австрийский посол граф Эстергази и показывал за столом богатую табакерку, подаренную ему государыней. Все любовались ею, и табакерка обошла вокруг стола. Под конец обеда посол захотел понюхать табаку, стал искать табакерку, но не находил ее. Все присутствующие были поставлены этим в неприятное положение. Посол стал намекать на то, что табакерка украдена. Тогда гетман встал, вывернул карманы и громко сказал: «Господа, я подаю добрый пример, надеюсь, что все ему последуют и таким образом успокоят господина посла». Все бросились подражать графу; только один бедно одетый старичок, сидевший на

отдаленном конце стола, отказался от этого и со слезами на глазах объявил, что желает наедине объясниться с гетманом. Разумовский вышел в соседнюю комнату, а за ним последовал его гость. Когда хозяин и старик очутились наедине, последний сказал: «Ваше сиятельство, я в крайней бедности и прокармливаю себя и свое семейство единственно вашими обедами; мне стыдно было признаться в этом пред вашими гостями, не взыщите с меня; я честный человек и живу праведным трудом». При этом он стал вынимать разную провизию из карманов. В эту минуту пришли сказать, что табакерка нашлась у посла: она провалилась между кафтаном и подкладкой. Бедняку гетман назначил пожизненный пенсion.

— Как это благородно и великодушно! — заметила княгиня.

В разговорах время летело незаметно. Князь просидел на террасе около двух часов и наконец, поднявшись с места, начал прощаться. Княгиня пригласила его бывать за просто. Сергей Сергеевич обещал воспользо-

ваться этим любезным приглашением и уехал.

Княгиня Васса Семеновна была очень довольна его визитом. Она заметила, что молодой человек во время разговора не спускал глаз с дочери. Победа была одержана, оставалось только ловко повести дело к желанной цели.

Княжна Людмила, ничего не зная об отправке Тани княгиней «по ягоды», тотчас побежала разыскивать свою любимицу, чтобы передать ей впечатление визита князя и узнать, понравился ли он Тане. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что та, по распоряжению княгини, послана с остальными девушками в дальний лес.

— Мама! — вбежала княжна на террасу. — Зачем ты услала Таню в лес? Она ведь никогда не ходила ни по грибы, ни по ягоды с остальными девушками.

— Так просто, душечка... я думала, что это доставит ей удовольствие. Пусть погуляет, погода такая хорошая, — сконфуженно стала оправдываться княгиня Васса Семеновна.

Княжна Людмила заметила, что поставила этим вопросом свою мать в неловкое положение, пристально поглядела на нее и замолчала, так как сообразила:

«Таня на меня так похожа. Мама не хотела, чтобы князь видел ее. Но почему же она так похожа на меня?»

Этот вопрос несколько раз уже возникал в уме княжны, но оставался без ответа и забывался. Она не раз хотела задать его матери, но какое-то странное чувство робости останавливало ее. Теперь этот вопрос лишь на мгновение возник в уме девушки. Мысль о князе, о том, скоро ли он приедет, опять отодвинула на задний план все остальные вопросы, а в том числе и вопрос о причине сходства ее, княжны, с Таней. Она вышла в сад, углубилась в аллею из акаций, под сводом которых было прохладно, и начала мечтать.

## VI

### СТРАШНОЕ ПРИКАЗАНИЕ

Прошло три недели. Князь Сергей Сергеевич зачастил своими визитами в Зиновьево. Он приезжал иногда на целые дни и в конце концов сделался своим человеком в доме

княгини Полторацкой.

Княгиня Васса Семеновна, сделав должное наставление своей дочери, стала оставлять ее по временам одну с князем, и молодые люди часто гуляли по целым часам по тенистому зиновьевскому саду.

При таких частых и, главное, неожиданных приездах князя, конечно, нельзя было скрыть от его глаз Татьяну Берестову. Княгиня Васса Семеновна после первого же раза сама осудила эту свою политику, тем более что из разговора с дочерью поняла, что последней было не по сердцу это отправление ее любимой подруги детства на общую работу с другими дворовыми девушками. Поэтому княгиня решила не принимать больше таких мер, подумав: «Будь что будет! Не влюбится же он в холопку!» — и оставила Таню в покое.

Девушка видела князя уже несколько раз, но незаметно для него. Он произвел на нее сильное впечатление, и оно еще более увеличило ее злобу против княжны Людмилы, за которой князь явно ухаживал. Все в доме уже называли его женихом, хотя предложения он еще не делал. Однако Таня скрыла от княжны

свое восхищение молодым соседом и на ее вопрос ответила деланно холодным тоном:

— Ничего, красивый.

— Как ничего? Он прелесть как хорош! — обиженно воскликнула княжна.

— Он вашим мужем будет, вам и судить. Холопка я, холопий у меня и вкус, — ответила Таня.

— Ты опять!

— Что «опять», ваше сиятельство? Я правду говорю. Вот ваш князь в вас по уши влюблен, а на меня, хоть я и похожа на вас, и посмотреть, может быть, не захочет.

— Ты думаешь, что он влюблен в меня?

— Конечно же. Да и в кого же ему влюбиться здесь, в округности, кроме вас?

— Значит, и ты ему так же понравишься.

— Навряд! Ведь я — холопка, а ему красавицу княжну надо, — иронически ответила Татьяна.

— А вот я спрошу его. В следующий раз я позабуду носовой платок, и ты принесешь его мне, когда мы будем в саду. Увидишь князя поближе, и он тебя.

— Хорошо-с, слушаю-с.

Тане это предложение было как нельзя более кстати; в душе она очень желала увидеть князя поближе, а кроме того, ее особенно интересовало мнение, которое выскажет о ней князь. Она даже решила сама подслушать его, спрятавшись в кустах или чаще деревьев, смотря по месту, в котором она застанет «воркующую парочку»: ведь свои уши надежнее всего.

Действительно, в следующий же приезд князя Сергея Сергеевича, когда после обеда княжна отправилась в сад, Таня, взяв носовой платок княжны, пошла, спустя некоторое время, разыскивать «воркующую парочку». Она нашла князя и княжну на скамейке в аллее из акаций и, подавши платок княжне, хотела удалиться, но Людмила задержала ее, сказав:

— Ах, благодарю, милая Таня, я забыла его... А где мама?

— Ее сиятельство у себя в кабинете.

— А...

Видимо, княжна вела этот разговор исключительно для того, чтобы дать время князю разглядеть Таню, а той — князя. Когда наконец княжна сказала: «А», давая этим понять,

что Таня может уходить, последняя быстро вышла из аллеи, но тотчас, обогнув ее по траве, чуть слышно прокралась к тому месту, где стояла скамейка, на которой сидели князь и княжна. Она не слыхала, в какой форме спросила княжна у князя мнение о ней, но ответ последнего донесся до нее отчетливо и ясно.

— Да, есть кое-какое сходство, — небрежно ответил князь, — но только кажущееся. Где же ей до вас! Сейчас видна холопская кровь.

«Дурак!» — мысленно послала Татьяна по адресу князя и едва удержалась, чтобы не произнести вслух этого далеко не лестного для него эпитета, а затем осторожно ушла с места своего наблюдения.

Ее сердце теперь уже прямо разрывалось от клокотавшей в нем злобы.

«Холопская кровь! — мысленно повторяла она до физической боли тяжелое для нее оскорбление. — Я тебе покажу эту холопскую кровь, князь Луговой».

Когда князь уехал, Таня была позвана княжной в ее комнату.

— Вообрази, Таня, князь не нашел особенно большого сходства между мной и тобой, —



сказала княжна.

— Вот как? — протянула Татьяна, стараясь казаться совершенно спокойной. — Впрочем, это понятно: ведь влюбленные, во-первых, слепы по отношению всех, кроме предмета своей любви, а во-вторых, любуясь вами, князь, конечно, не может допустить мысли, что есть другая, похожая на вас.

— Значит, ты думаешь, что он влюблен в меня?

— Если до сих пор я только думала это, то теперь я в этом уверена. Я видела, как он смотрит на вас — словно кот на сало.

Княжна покраснела, но тотчас воскликнула:

— Ах, если бы ты была права!

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство: я права.

Разговоры о чувствах князя Сергея Сергеевича к княжне Людмиле повторялись почти каждый день. Деланное спокойствие Тани, с которым она принуждена была вести эти разговоры, все более и более озлобляло ее против княжны и князя. Все чаще приходило ей на мысль его выражение: «Холопская кровь», и

вслед за этим мысленно же слагалась угроза: «Я тебе покажу, князь Луговой, холопскую кровь!»

Во время одной из прогулок князя и княжны по зиновьевскому саду они прошли к стеклянной китайской беседке, стоявшей в конце сада над обрывом, откуда открывался прекрасный вид на поле и лес. Молодые люди вошли в беседку.

— Ах, князь, как я боялась одного места в вашем парке! — вдруг сказала княжна, когда они опустились на круглую скамейку.

— Какого?

— Таинственного павильона, замкнутого большим замком.

— Отчего же вы боялись его?

— Разве вы не знаете, князь, легенду о нем?

— Как же, слышал несколько раз.

— И знаете, князь, я вам теперь признаюсь, когда вы за обедом после погребения вашей матушки сказали, что сто лет тому назад один из князей Луговых был женат на княжне Полторацкой, я подумала...

Княжна Людмила вдруг остановилась и гу-

сто покраснела. Она только сейчас сообразила, что напоминание с ее стороны об этих словах князя похоже на вызов на предложение.

«Это может совершиться и теперь, если только она любит меня», — промелькнуло в уме у князя Сергея, и он, особенно любовно посмотрев на покрасневшую княжну, спросил:

— Что же вы подумали, княжна?

— Нет, я не скажу. Все это глупости. Может быть, это и не так.

— Скажите! Вы окончательно измучаете меня. Я любопытен.

— Говорят, это качество свойственно только женщинам, — повернула было разговор княжна, но князь не отставал:

— Скажите, пожалуйста, скажите.

— Я подумала, что не эту ли самую бывшую княжну Полторацкую замуровал ее муж, князь Луговой, в этой беседке.

— Если эта княжна Полторацкая, жившая сто лет тому назад, была так же хороша, как вы, княжна, то я понимаю своего предка, впрочем, при условии, если эта легенда спра-

ведлива.

— А вы ей не верите? — спросила княжна Людмила, все еще красная, не поднимая глаз.

— Конечно, не верю. Бабушкины рассказы, и больше ничего. Просто там заперты какие-нибудь садовые инструменты, лопаты, грабли...

При этих словах княжна взглянула на князя.

— Было бы очень интересно узнать это наверняка.

Князь вздрогнул. Желая порисоваться перед любимой девушкой, он усомнился в верности передаваемой из рода в род семейной легенды, а отступление теперь считал для себя невозможным.

«Пустяки, конечно, ничего подобного не было, бабушкины рассказы», — пронеслись в его голове как бы убеждавшие его самого мысли, и он с напускной небрежностью произнес:

— Нет ничего легче убедиться в этом! Я завтра прикажу сбить замок, вычистить павильон, а послезавтра попрошу вашу матушку прокатиться с вами в Луговое, и мы будем пить чай в этом самом павильоне.

— Что вы, князь? Нет, нет, не делайте это-

го! — взволнованно сказала княжна. — На этот павильон ведь положен запрет под угрозой страшного несчастья тому из князей Луговых, который осмелится открыть его.

— Говорю вам, княжна, все это — бабьи рассказы.

— Нет, князь, не делайте этого, — умоляла княжна.

Эта настойчивость девушки еще более раззадорила князя. Ему показалось, что она упрашивает его потому, что догадалась, что он сам трусит. Так как это было правдой, то именно это и бесило его.

— Говорю вам, княжна, что это пустяки; вы сами убедитесь в этом. Послезавтра мы пьем чай в этом страшном павильоне. Это решено бесповоротно.

— Я не буду от страха спать ночей! — воскликнула княжна.

— Стыдитесь! Как можно верить в таинственное? — продолжал бравировать князь Сергей Сергеевич.

Разговор перешел на другие темы.

Когда молодые люди вернулись в дом и князь, прощаясь, пригласил княгиню на по-

слезавтра вечером приехать в Луговое, та дала свое согласие.

Княжна Людмила не преминула рассказать Тане о роковом решении князя и упавшим голосом спросила:

— А что, если там действительно окажутся они?

— Это уж его дело.

— Но ведь ты знаешь, говорят, что на того из князей Луговых, кто откроет эту беседку, обрушится несчастье.

— Ну, может, это и пустяки.

— Ты думаешь?

Княжна искала успокоения, и, конечно, малейшее сомнение в возможности избежать для князя последствий прадедовского заклания находило в ней желанную веру. Она отпустила Таню и легла, но долго не могла заснуть. Несмотря на некоторое утешение от слов Тани, мысль о том, что найдут в беседке и пройдет ли это благополучно для князя Сергея Сергеевича, не давала ей долго сомкнуть глаз.

Не спала и Таня.

«Сам в пасть лезет, князюшка!» — думала

она.

Решение князя Сергея нарушить заветное предание в уме Тани подтверждало возможность плана, высказанного Никитой в роковую ночь их первого свидания...

Между тем князь Сергей Сергеевич вернулся к себе в Луговое в отвратительном состоянии духа, явившемся следствием той душевной борьбы, которая происходила в нем по поводу обещания, данного им княжне под влиянием минуты и охватившего его молодечества ни за что не отступить от него. Между тем какое-то внутреннее предчувствие говорило ему, что открытием заповедного павильона он действительно накликает на себя большое несчастье.

Он лег спать, но сон бежал от его глаз. Когда он потушил свечу, ему явственно послышались тяжелые шаги в его спальне и явилось ощущение, что кто-то приближается к его кровати. Князь дрожащими руками засветил свечу, но в комнате никого не было.

«Какое ребячество!» — подумал князь, однако свечи не погасил, и вошедший утром камердинер нашел ее оплывшею и еле горев-

шею.

Князь спал видимо тревожным сном, забывшись на заре. Ему снился какой-то старец, одетый в боярский костюм и грозивший ему пальцем, который все рос и наконец уперся ему в грудь, так что князь чувствовал на ней тяжесть этого пальца. Словом, с ним был кошмар.

Проснулся князь с тяжелой головой, был мрачен и, только вышедши на террасу, всю залитую веселым солнечным светом, и вдохнув в себя свежий воздух летнего утра, почувствовал облегчение.

Вскоре все происшедшее вчера и даже все случившееся ночью представилось ему совершенно в ином свете. Он стал припоминать свой разговор с княжной Людмилой и теперь уже не раскаивался, что дал ей обещание отворить заповедный павильон. Ведь это самое решение, высказанное им, выдало ему головой княжну Людмилу, открыло ему ее чувство к нему.

«Как она испугалась, что со мной случится несчастье! — припоминал он. — Так испугаться может только девушка, которая любит, — и



последнее слово чудной гармонией прозвучало у него в ушах, но он тотчас же подумал: — А как я вчера мальчишески струсил! Мне стало даже мерещиться что-то. Целую ночь я не сомкнул глаз, поневоле под утро мне стала сниться всякая чертовщина. Этот палец старика. И откуда может забраться все это в голову?»

Вошедший лакей доложил князю о приходе управителя с докладом, и через несколько минут Терентьич уже стоял пред ним.

Это был древний, но еще бодрый старик, с седой бородой и такими же волосами на голове, но с живыми глазами, глядевшими прямо и честно. Еще при деде князя Сергея Сергеевича Терентьич служил в казачках и был предан всему роду князей Луговых, как верная собака. Он жил жизнью своих князей, радовался их радостями и печалился их печальями, был готов пожертвовать за них жизнью и перегрызть горло всякому, кто решился бы заочно отозваться о ком-нибудь из них с дурной стороны.

Степенно, твердым, хотя и старческим голосом, поклонившись князю поясным покло-

ном, Терентьич начал обстоятельный доклад о произведенных вчера работах и о намеченных на сегодня. Князь внимательно слушал, изредка затягиваясь трубкой.

— Все, значит, идет хорошо?.. — заметил он, когда управитель кончил свой доклад.

— Все благополучно, ваше сиятельство.

Терентьич замолчал. Молчал некоторое время и князь. Наконец последний тряхнул головой, как бы отгоняя от себя назойливую мысль, и произнес:

— Вот что, Терентьич, сбей-ка народ в парк... Надо будет очистить место, где стоит старый павильон. Да и его надо отворить и вычистить внутри и снаружи. Слышишь?..

Князь Сергей Сергеевич, отдавая это приказание, не глядел на Терентьича. Когда же, не получая долго ответа, он взглянул на него, то увидел, что старик стоит пред ним на коленях.

— Что такое? Что тебе надо?

— Ваше сиятельство, послушайте старика, пса вашего верного, не делайте этого!..

— Что за вздор! Не век же самому лучшему месту парка быть в запустении и не век же

стоять этому красивому павильону без всякой пользы и только нагонять страх на суеверных.

— Не губите себя, ваше сиятельство, — стоя на коленях, продолжал умолять старик.

— Встань, не глупи!.. Стыдись: ты стар, а веришь всяким бабьим рассказам... Вот увидишь сам, что в павильоне не найдется ничего, кроме разве какого-нибудь хлама.

— Ваше сиятельство!.. — попробовал было снова начать свои убеждения Терентьич, но князь рассердился.

— Встань, говорю тебе, и делай, что тебе приказано... Я не люблю ослушников.

Старик покорно встал с колен и лаконически произнес:

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Так-то лучше, ступай и прикажи начать работы сейчас же!

Старик пошел, но при уходе бросил на молодого князя взгляд, полный искреннего сожаления. На его светлых глазах блестели слезы.

На князя Сергея эта сцена произвела тяжелое впечатление. Он стал быстро ходить по

террасе, стараясь движением побороть внутреннее волнение, однако решился во что бы то ни стало поставить на своем и с нетерпением ожидал прибытия рабочих в парк.

Время шло, а рабочие не являлись. Князь уже взялся за звонок, чтобы позвать лакея, как последний появился на пороге двери и доложил о приходе отца Николая, священника церкви села Лугового.

Это был тоже один из древних старожилов княжеской вотчины. Уже более полувека священствовал он в сельской церкви и считал себе лет под девяносто.

Он давно овдовел и был бездетен, жизнь вел чисто монашескую и возбуждал в своей пастве к себе не только уважение, но и благоговение. Небольшого роста, с редкими, совершенно седыми волосами, в незатейливой крашенинной ряске, он по своему внешнему виду не представлял, казалось, ничего внушительного, но между тем при взгляде на его худое, изможденное лицо, всегда светившееся какой-то неземной радостью, невольно становилось ясно на душе человека с чистою совестью и заставляло потуплять глаза тех, кто

знал за собою что-либо дурное. Его глаза, светло-карие и блестящие, глядели прямо в душу, и ничего-то от них не могло укрыться, так что его прозвали «провидцем» не только в Луговом, но и в окружности, и издалека приезжали люди помолиться в церковь села Лугового и получить благословение, совет и утешение от отца Николая. Бывали случаи, когда он отказывал в них приезжавшим к нему, и всегда затем за этими лишенными благословения отца Николая открывалось какое-нибудь очень дурное дело.

К его-то помощи и прибег Терентьич для вразумления молодого князя. Он прямо с барского двора погнал свою лошадку на село, явился пред лицом маститого «батюшки», вкратце передал ему об отданном молодым князем страшном приказании и со слезами на глазах просил отца Николая сейчас же пойти вразумить его сиятельство не готовить себе и своему роду гибели.

Отец Николай, конечно, знал о заклятии относительно неприкосновенности павильона-тюрьмы и вместе с другими верил в возможность несчастья, грозившего послушнику

прадедовской воли, а потому сказал, что по-пробует вразумить князя.

Обрадованный Терентьич усадил отца Николая в свою тележку и погнал лошадку по направлению к княжескому дому. Таким-то образом и случилось, что князь Сергей Сергеевич, нетерпеливо ожидавший рабочих, получил совершенно неожиданный доклад о приходе отца Николая.

«Этому что надо?» — с раздражением подумал князь, однако не принять его не решился.

Отец Николай с первого же свидания с ним произвел на него то же впечатление, которое производил и на других. Быть может, оно не особенно укрепилось в душе князя, но все же образ почтенного старца, служителя алтаря, внушал ему невольное уважение.

— Преси! — сказал он.

Через несколько минут на террасе появился отец Николай. Князь почтительно подошел к нему под благословение и сам пододвинул стул старику.

Отец Николай сел и некоторое время хранил молчание, пристально смотря на князя Сергея Сергеевича, тоже севшего к столу.

Князю показалось это молчание целою вечностью.

— Что скажете, батюшка? — начал он.

Отец Николай откашлялся, заслоняя рот рукою.

— Духовный сын мой, Степан Терентьев, сейчас был у меня.

— Вероятно, жаловался на меня за то, что я задумал привести в порядок парк и почистить старый павильон!

— Порядок — дело хорошее, ваше сиятельство, но то, что веками сохранялось, едва ли следует разрушать, — начал отец Николай, но князь перебил его:

— Вы, батюшка, скажите мне без обиняков: верите вы сами в легенду об этом павильоне?

— Говорят, — ответил отец Николай после некоторой паузы, — что запрет на него положен для сохранения его из рода в род.

— Отец ничего не говорил мне об этом. Положим, я не присутствовал при его смерти — он умер в Москве, когда я был в Петербурге, в корпусе. Но мать умерла почти на моих руках и тоже ничего не сообщила мне об этом за-

прете.

— Все-таки, по-моему, ваше сиятельство, лучше остеречься: это смутит крестьян.

— Почему смутит? — возразил князь. — Если там не найдут ничего, кроме старого хлама, в чем я почти уверен, то никакого смущения не будет и лишь уничтожится повод к суеверию. Затем, если даже там найдут тех, о которых говорит старая сказка, то и тогда я совершаю этим далеко не дурное дело. Они оба искупили свою вину строгим земным наказанием, за что же они должны быть лишены погребения и их кости должны покоиться без благословения в этом каменном мешке? Вы, как служитель алтаря, можете осудить их на это?

— Нет, не могу... — с усилием произнес священник.

— Вот видите, батюшка! Значит, во всяком случае должно открыть павильон. Вы приехали кстати. Если в самом деле там найдутся человеческие кости, мы положим их в гробы, вы благословите их и похороните на сельском кладбище.

Отец Николай сидел в задумчивости, а за-



тем произнес:

— А если от этого приключится что-нибудь дурное для вас, как говорит предание? Подумайте, ваше сиятельство!

— Полно, батюшка! Вы под влиянием народных толков и в заботе обо мне забыли слова Писания о том, что ни один волос с головы человеческой не спадет без воли Божией.

Отец Николай ничего не отвечал и сидел с поникшей головой. Его положение было из затруднительных. Как старожил этой местности, он невольно разделял некоторые предубеждения своей паствы, основанные на преданиях, во главе которых стояло заклятие из рода в род на неприкосновенность старого павильона. Он верил чистою верою ребенка в это заклятие, но редко думал о нем и еще реже рассуждал по этому поводу. Он был убежден, что никто из князей Луговых не решится нарушить его, тем более что для этого не могло быть никаких серьезных причин, кроме разве праздного любопытства. Теперь князь поставил вопрос, совершенно неожиданный и непредвиденный им. Действительно, если внутренность павильона не подтвердит сло-

жившейся о нем легенды, то уменьшится один из поводов суеверия; если же там найдутся останки несчастных, лишенных христианского погребения, то лучше поздно, чем никогда, исправить этот грех. Ни против того, ни против другого возражения молодого князя не мог ничего ответить отец Николай как служитель алтаря, а потому и умолк.

Князь между тем приказал позвать Терентьича.

Старик бодро вошел на террасу в уверенности, что сейчас князь отменит страшное приказание, а потому широко раскрыл глаза, когда князь встретил его довольно сурово.

— Что я тебе приказал? — крикнул он. — Я велел тебе собрать рабочих для расчистки парка, а ты побежал жаловаться на меня батюшке.

— Виноват, ваше сиятельство, я думал... — дрожащим от волнения голосом произнес старик.

— То-то «виноват»! Но чтобы впредь этого не было. Твоя обязанность не думать, а исполнять мои приказания. Мы с батюшкой решили оба присутствовать при вскрытии пави-

льона.

Терентьич был совершенно уничтожен последними словами князя. Он перевел недоумевающий, печальный взгляд с князя на отца Николая и встретился с его ясным взглядом.

— Да, сын мой, и в Писании сказано: «Рабы, повинуйтесь господам своим».

— Ступай и исполняй, что приказано! — повторил князь.

Окончательно пораженный, старик вышел.

«Вот оно что!.. Господи Иисусе, и отец Николай ничего не поделал... тоже на руку его сиятельству погнул», — рассуждал он сам с собою.

Когда он приехал в деревню и отдал приказание идти работать в княжеский парк для очистки павильона, крестьяне, наряженные на эту работу, были прямо ошеломлены.

— Господи, Иисусе Христе, да ведь нельзя этого, Терентьич, никогда мы это делать не станем, пока крест на шее имеем. Освободи, будь отец милостивый!

— Таков княжеский приказ, — объяснил

управитель.

— Князь что! Князь молод... Ты вразумил бы его, — заметили некоторые из крестьян.

— Пробовал уже, православные, а он: «Ломай, — говорит, — да и весь сказ!»

— Дела... А нас все же освободи! — настаивали крестьяне.

— Как же я вас освобожу, если князь сказал, что это надо делать беспременно сейчас... Отец Николай у него, так при нем чтобы.

— Отец Николай?.. Благословляет, значит? Тогда нечего и толковать, православные... Отец Николай даром не благословит.

Хотя отец Николай действительно не благословил работ, а лишь сказал о повиновении рабов господину, но Терентьич пошел на эту ложь, так как по угрюмым лицам крестьян увидал, что они готовы серьезно воспротивиться идти на страшную для них работу. Имя отца Николая должно было, по мнению Терентьича, изменить их взгляд, и он не ошибся.

Известие о том, что будут ломать страшный павильон, с быстротою молнии облетело все село. Крестьяне заволновались; но когда

передававшие это известие добавляли, что при этом будет присутствовать сам отец Николай, волнение мгновенно утихло, и крестьяне, истово крестясь, степенно говорили: «Видно, так и надо», — и вскоре наряженные на работу в княжеском парке крестьяне тронулись из села. За ними отправились любопытные.

Князь Сергей сошел с отцом Николаем в парк и направился к тому месту, где стоял павильон-тюрьма.

— Самое лучшее место в парке, — говорил он, пробираясь через чащу деревьев к павильону, — а вследствие людского суеверия остается целую сотню лет в таком запустении.

Оба они подошли к павильону на полянке, заросшей густой травой. Тень от густо разросшихся кругом деревьев падала на нижнюю половину павильона, но его верхушка, с пронзенным стрелой сердцем на шпиге, была вся озарена солнцем и представляла красивое и далеко не мрачное зрелище.

— Какое красивое здание! — невольно воскликнул князь.

Отец Николай задумчиво произнес:

— Неужели оно действительно строено по внушению злобы?

— Я убежден, батюшка, что это выдумки...

— Посмотрим, князь; те соображения, которые вы высказали мне, заставили умолкнуть мои уста, на которых была просьба оставить эту, как мне казалось, бесцельную затею, могущую, не ровен час, действительно быть гибельною для вас. Но теперь я изменил свое мнение и благословляю начало работы.

В это самое время к месту, где находился павильон, прибыли рабочие-крестьяне, с Терентьичем во главе. Сюда же явились и садовники.

— Позвать слесаря! — распорядился князь. — А вы, ребята, расчищайте-ка дорожку, которая должна соединиться с ведущей сюда дорожкой парка, повычистите отсюда весь мусор, да живо принимайтесь за работу. Садовники укажут, что делать.

Двенадцать прибывших крестьян и четверо садовников молча выслушали приказание и все обратили свои взоры на отца Николая, стоявшего рядом с князем.

— Благослови вас Господь! — твердым голосом произнес тот.

Работы по очистке аллеи начались. Вскоре снова явился Терентьич и привел слесаря с инструментом. Последний шел за управителем испуганный и бледный. Князь невольно вздрогнул и как-то инстинктивно с умоляющим взором обернулся к отцу Николаю.

— Успокойся, сын мой, — сразу понял священник немую просьбу князя и подошел к неподвижно стоявшему слесарю, — надеюсь, ты веришь своему духовному отцу. Я благословляю тебя.

Отец Николай перекрестил слесаря, и тот сразу ободрился.

— Надо сломать этот замок, — указал князь ему на громадный замок, висевший на двери павильона.

— Слушаю-с, ваше сиятельство! — с дрожью в голосе ответил слесарь и быстро бросился к двери.

Прошло томительных полчаса, пока наконец тяжелый замок был отперт. Но петля, на которой был надет железный болт, так заржавела, что его пришлось выбивать из нее мо-

лотком. Последним пришлось расшатывать и болт.

Наконец тот упал с каким-то визгом, похожим на человеческий стон.

Все невольно вздрогнули и на мгновение как бы оцепенели. Первым пришел в себя князь Сергей Сергеевич.

— Отворяй! — крикнул он слесарю.

Тот потянул за скобку окованной железом двери, но она не подавалась. Князь приказал позвать на помощь рабочих, расчищавших парк, и под усилиями пяти человек дверь подалась и распахнулась.

Рабочие отскочили, попятились и князь, и отец Николай, и Терентьич, несмотря на то что стояли в отдалении.

В первые минуты в раскрытую дверь павильона не было видно ничего. Из него клубом валила пыль какого-то темно-серого цвета. Пахло чем-то затхлым, спертым.

Отец Николай истово перекрестился, его примеру последовали и другие, в том числе и князь Сергей Сергеевич.

Когда пыль наконец рассеялась, он, в сопровождении отца Николая и следовавшего



сзади Терентьича, приблизился к павильону.

То, что представилось им внутри, невольно заставило их остановиться на пороге. На каменном полу, покрытом толстым слоем пыли, прислонившись к стене, прямо против потайной двери, полулежали, обнявшись, два скелета. Их кости были совершенно белы, и лишь на черепах виднелись клочки седых волос.

Какую страшную иронию над взаимною любовью, над пылкой страстью людей, увлекающихся и безумствующих, представляли эти два обнявших друг друга костяка, глазные впадины которых были обращены друг на друга, а рты, состоявшие только из обнаженных челюстей с оскаленными зубами, казалось, хотели, но не могли произнести вслух во все времена исторической и доисторической жизни людей лживые слова любви!

Все остановились ошеломленные, уничтоженные открывшейся пред ними картиной. Основная часть легенды, таким образом, оказалась истиной: павильон действительно служил тюрьмой-могилой для двух человеческих существ.

Весть о страшном открытии князя тотчас облетела всех рабочих, и они, пересилив страх пред могущим обрушиться на них гневом князя, собрались толпой у дверей павильона.

Когда первое впечатление рокового открытия прошло, князь Сергей Сергеевич упавшим голосом обратился к отцу Николаю:

— Батюшка, что нам делать?

— Предать их земле, — спокойно ответил священник.

— Затворите дверь! — приказал князь.

После некоторого замешательства два смельчака исполнили это приказание.

— Прикажи сейчас же сделать два гроба! — обратился князь к Терентьичу. — А очистку сада продолжать. Батюшка, позвольте просить вас ко мне, пока все приготовят.

Рабочие под наблюдением садовников принялись за работу, гуторя между собой о страшной находке. Любопытные из крестьян бросились обратно в село, чтобы рассказать о слышанном и виденном.

Князь, посоветовавшись с отцом Николаем, отдал приказание вырыть могилы у церк-

ви близ родового склепа князей Луговых. На него эта находка произвела тяжелое впечатление; теперь, когда дело было уже сделано, в его сердце невольно закралось томительное предчувствие о возможности исполнения второй части легенды, то есть кары за нарушение дедовского заклѣтия. Для того чтобы скрыть свое смущение, он начал беседовать с отцом Николаем о делах, не относившихся до сделанного ими рокового открытия в павильоне.

Часа через два было доложено, что гробы сколочены, и все снова отправились к павильону. Там костяки были бережно уложены рабочими в гробы, отнесены на сельское кладбище и после благословения их отцом Николаем опущены в приготовленные могилы. К вечеру того же дня часть парка, прилегающая к бесѣдке, и сама бесѣдка были вычищены.

## VII

### В МОГИЛЕ ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫХ

Известие об открытии князем заповедного павильона и о найденных двух скелетах в тот же вечер достигло Зиновьева. Княгиня

Васса Семеновна и княжна Людмила сидели в это время за вечерним чаем. Новость, полученную из Лугового, сообщила им Федосья.

— Сумасшедший, зачем он это сделал! — воскликнула княгиня.

Княжна вся вспыхнула, а затем страшно побледнела.

— Ты знаешь? — воззрилась на нее мать.

Княжна рассказала свой вчерашний разговор с князем.

— Безумец! Надо было упросить его, чтобы он этого не делал, убедить его. И зачем ты не сказала мне об этом вчера при нем? Я переговорила бы с ним, как мать, а ты что! Самой интересно было знать, что в этом проклятом павильоне? Ах, молодежь, молодежь! Ничего-то у них нет святого.

Княжна молча потупилась, чувствуя правду в словах матери, а Федосья, стоя за стулом княгини, одобрительно качала головой.

— Ни за что ни про что! — продолжала Васса Семеновна. — Ни за понюх, что называется, табака беду на себя накликать. И ты туда же! Ведь и на тебя беда-то эта может обрушиться.

— На меня? — испуганно спросила княжна Людмила.

— Конечно же и на тебя. Сама ведь понимаешь, что не даром князь к нам зачастил. Не нынче-завтра предложение сделает, ты замуж за него выйдешь, и он не чужой человек тебе будет... И вдруг что-либо случится.

— Мама... — умоляюще почти простонала княжна Людмила.

Княгиня оборвала свою речь, поняв, что зашла слишком далеко в своих мрачных предсказаниях! Она ведь могла напугать дочь так, что та ни за что не согласится выйти замуж за обреченного на несчастье князя. Хотя княгиня внутренне была обеспокоена поступком князя и могущими быть последствиями, но видеть в этом поступке препятствие к его браку с дочерью, браку, мечта о котором была теперь так близка к осуществлению, не решалась. Надежда, что, быть может, все это обойдется благополучно, закралась в ее сердце и несколько успокоила.

— Ну, ну, не пугайся, — мягко продолжала она, — может быть, ничего и не случится. Я только говорю, какое ребячество!.. Чай пить

будет в этом павильоне, меня пригласил. Да я ни за что и близко к нему не подойду.

— Теперь и сам князь этого не предложит, — степенно заметила Федосья.

— Конечно же, конечно... — подтвердила оправившаяся княжна.

Княгиня не отвечала. Она занялась своей чашкой чая. Княжна тоже умолкла. Обе были погружены в свои мысли, но они вертелись у одного пункта — князя Лугового.

— Мы завтра все же поедем, мама? — первая нарушила молчание княжна Людмила, причем произнесла этот вопрос упавшим голосом и обратила на свою мать взор, полный немой мольбы.

— Конечно, поедем, отчего же не ехать? — ответила княгиня.

Людмила облегченно вздохнула: она очень опасалась, чтобы мать, рассердившись на князя, не отменила поездки.

Поездка теперь в Луговое представляла для нее двойной интерес. Несмотря на то что слова матери снова подняли в душе княжны мрачные опасения за будущее, любопытство увидеть павильон превозмогло тот страх, ко-

торый княжна Людмила чувствовала к нему после рассказа о сделанной в нем роковой находке.

«Это он сделал для меня», — мелькало в уме княжны, как самое лучшее оправдание безумного поступка князя Сергея.

Ни княгиня, ни княжна не спали хорошо эту ночь и до самого отъезда на другой день в Луговое были в нервно-напряженном настроении.

Наконец мать и дочь сели в карету и поехали в Луговое.

Князь встретил дорогих гостей на крыльце своего дома. Он был несколько бледен. Да это было и немудрено, так как он не спал почти целую ночь.

После того как место парка около павильона-тюрьмы было приведено в порядок и сам павильон вычищен, князь Сергей сам осмотрел окончательные работы и приказал оставить дверь отворенной. Вернувшись к себе, он выпил свое вечернее молоко и сел было за тетрадь хозяйственного прихода-расхода, но долго заниматься не мог — цифры и буквы прыгали пред его глазами. Князь приказал

подать себе свежую трубку и стал ходить взад и вперед по своему кабинету. Его нервы были страшно возбуждены. Два скелета, найденные им, стояли пред ним неотступно. Он приказал оседлать себе лошадь, помчался, куда глядят глаза, скакал до полного изнеможения и вернулся домой только к вечеру. Однако, несмотря на сделанный моцион, есть он не мог.

Выкурив на сон грядущий трубку в своем кабинете, князь удалился в спальню и заснул.

Вдруг он был разбужен тремя сильными ударами, раздавшимися в стене, прилегавшей к его кровати. То, что представилось его глазам, так поразило его, что он остался недвижим на своей кровати. Князь почувствовал, что не может пошевелинуть ни рукой, ни ногой, хотел кричать, но не мог издать ни одного звука.

Вся спальня была наполнена каким-то белым фосфорическим светом. У самой его кровати стоял тот самый старый боярин, который являлся ему во сне прошлую ночью, причем был как живой. Князь даже уловил некоторое сходство стоявшего с его отцом и с ним



самим.

— Ты нарушил положенное мною заклятье, — сказал призрак, — твое спасение в любимой тобою девушке. Береги ее... Адские силы против вас.

Голос призрака, казалось, шел из пространства, он не шевелил губами, произнося слова, смотрел на князя строгим, суровым взглядом и, едва окончив свою речь, мгновенно исчез. С его исчезновением потух и фосфорический свет, наполнявший спальню князя.

К последнему между тем возвратилась способность движения. Первым его делом было вскочить и зажечь свечу. В спальне, конечно, не было никого, и дверь в кабинет была плотно затворена.

«Неужели это был сон?» — мелькнуло в голове князя, но он тотчас отбросил эту мысль.

Троекратный стук, которым он был разбужен, еще до сих пор отдавался в его ушах. Присутствие старого боярина было для него так ясно, что он не только видел его, но ощущал всем своим существом это его присутствие в комнате, а сказанные им слова глубо-

ко запали в его памяти.

— «Ты нарушил положенное мною заклятие, твое спасение в любимой тобою девушке. Береги ее! Адские силы против вас!» — несколько раз повторил князь Сергей Сергеевич слова призрака, и его сердце болезненно сжалось: значит, опасность стережет не его одного, а и княжну Людмилу.

При этой мысли князь почувствовал в организме приток свежих сил. О, он не даст в обиду княжны! За нее он готов бороться даже с адскими силами. Надо поскорей получить право быть ее настоящим защитником, надо сделать предложение, но прежде объяснить с нею самой.

Это решение не только совершенно успокоило князя, но даже окрылило надежды на радужное будущее. Если действительно его предок вышел из гроба и явился к нему, то, несомненно, из его слов можно заключить, что он не очень рассержен за нарушение им, князем Сергеем, его векового заклятия; иначе он был бы грозней, суровее и не предостерегал бы его от беды, которая висит над головою любимой им девушки.

«Твое спасенье в любимой тобою девушке», — эти слова призрака с особенным внутренним удовлетворением вспоминал князь Сергей. Он видел в них благословение предка на брак с княжной Людмилой, благословение, дать которое явился выходец из могилы. Было ли в этом какое-либо дурное предзнаменование? Этот вопрос князь решил отрицательно.

Впрочем, он после долгого размышления нашел нужным скрыть от княжны Людмилы его ночное видение. Она, как еще очень молодая девушка, естественно может придать преувеличенное значение таинственному явлению и сообщению с того света, это напугает ее и даже может отразиться на ее здоровье. Кроме того, происшествие минувшей ночи касается исключительно его, князя. Ему поручено оберегать любимую девушку, от нее зависит его спасение. С какой же стати ему говорить ей о грозящей опасности?

Рассудив все так, князь начал свой день обычным образом, отдав приказание людям приготовить к пяти часам вечера чай на террасе.

«Я обещал княжне пить чай в павильоне... Но это невозможно... До Зиновьева, вероятно, уже успело дойти известие о вчерашней находке, а потому она поймет», — мелькнуло в голове князя.

Он всецело отдался приготовлению к вечернему приему желанных гостей: лично отправился в великолепные оранжереи, чтобы выбрать лучшие фрукты, и долго совещался с главным садовником по поводу двух букетов, которые должны были красоваться на чайном столе пред местами, назначенными для княгини и княжны.

Из оранжереи князь пошел бродить по парку и незаметно для себя направился именно к тому месту парка, которое было расчищено вчера по его приказанию.

Заросшую часть парка нельзя было узнать. Вычищенные и посыпанные песком дорожки, подстриженные деревья — ничто, казалось, не напоминало о диком, заросшем, глухом, таинственном месте, где над кущей почти переплетающихся ветвями деревьев высился шпигзаклятого павильона с пронзенным стрелой сердцем. Только одно это здание, ка-

менно-железный свидетель давно минувшего, которое нельзя было совершенно изменить и преобразить волею и руками человека, указывало, что именно на этом месте веками не ударял топор и по траве не скользило лезвие косы.

Но и сам павильон все же несколько изменился и сбросил с себя большую часть таинственности. Это произошло отчасти оттого, что окружающая сумрачная местность стала более открытой и не бросала на павильон мрачной тени, и, наконец, оттого, что была отворена дверь, вымыты полы, стекла и даже стены.

Павильон как будто даже манил к себе гуляющего.

Такое, по крайней мере, впечатление произвел он на князя Сергея. Он совершенно спокойно вошел в него и не смущаясь опустился на одну из двух поставленных по его же приказанию скамеек.

Внутри павильона было положительно уютно. Ничто не говорило о смерти, несмотря на то что только вчера отсюда были вынесены останки жертв разыгравшегося здесь эпи-

лога страшной семейной драмы, несмотря на то что это здание несомненно служило могилой двум возлюбленным.

Быть может, именно эта их любовь и смягчала впечатление их смерти. Любовь не умирает; она всегда говорит о жизни, она — сама жизнь.

Наконец князь вернулся домой, а вскоре приехала и княгиня Полторацкая с дочерью. Сергей Сергеевич провел дорогих гостей на террасу, где был изящно и роскошно сервирован стол для чая.

— Зачем все это? Мы запросто, — заметила княгиня, все же окидывая довольным взглядом сделанные приготовления, доказывавшие, что она с дочерью в доме князя — действительно дорогие, желанные гости.

— Помилуйте, княгиня, для меня сегодня праздник, — и князь выразительно посмотрел на Людмилу.

Последняя покраснела, а княгиня, перехватив этот взгляд, улыбнулась и села на приготовленное для нее место за самоваром. Княжна села рядом с князем.

— А вы тут что, князь, набедокурили?.. —

начала княгиня. — На всю окрестность страх нагнали... Зачем вам понадобилось тревожить неприкосновенность старого павильона?

— А, вы об этом, княгиня! В чем же тут бедокурство?

— Ах, князь, я еще смягчила название вашего поступка. Согласитесь, что это безумие — так negliжировать семейные преданья. Вы ведь знали, что на этот павильон было наложено вековое заклятие.

— Знал, то есть слышал, хотя мне лично ни мой отец, ни моя мать не говорили серьезно ничего подобного.

— Странно!

— Они, вероятно, и сами не считали это серьезным. Я, напротив, взглянул на это дело серьезнее их и других своих предков и вчера, прежде чем приступить к работе, высказал свой взгляд отцу Николаю, и в его присутствии и с его благословения открыли павильон.

— Вот как? Я этого не знала... Что же вы сказали ему?

Сергей Сергеевич в коротких словах пере-

дал княгине свой вчерашний разговор с отцом Николаем.

Княгиня Полторацкая была одной из самых ярких почитательниц луговского священника, а потому для нее участие отца Николая в казавшейся ей до сих пор безумной затее князя делало последнюю иной, освещало ее в смысле почти богоугодного дела.

— Вот как? Это — другое дело!.. Как же все это произошло? — уже совершенно другим, мягким тоном спросила она.

Князь начал подробный рассказ о вчерашних работах, и особенно о моменте, когда отворили павильон и глазам присутствующих представилась картина двух сидевших в объятиях друг друга скелетов.

— Ах, какой ужас! — почти в один голос воскликнули княгиня Васса Семеновна и княжна Людмила, до сих пор молча слушавшая разговор матери с князем и рассказ последнего.

— Павильон теперь совершенно вычищен и неузнаваем... Я не решился приказать подать туда чай только потому, что все же с ним соединены тяжелые воспоминания, — и



князь, как бы извиняясь, взглянул на Людмилу.

— Вот что еще выдумали, да я и близко не подойду к нему, а не то что пить чай... Глоток сделать нельзя было бы... Все они мерещились бы, — заволновалась княгиня.

— Я говорю это потому, что третьего дня, разговаривая с княжной, я обещал ей сегодня пить чай именно в этом павильоне.

— Говорила мне она, говорила об этом... Я даже совсем не хотела по этому случаю ехать к вам, да потом подумала, что вы будете настолько благоразумны, что этого не сделаете.

— Я действительно не решился на это. Но пройтись посмотреть на павильон не мешает; вы совершенно не узнаете ни того места, где он стоял, ни самого павильона.

Князь, говоря последнюю фразу, более обращался к княжне.

— Это интересно, — ответила Людмила.

— Может быть, тебе это и интересно, но я ни за что не пойду туда... Идите вы, если хотите, я посижу здесь и подожду вас, вечер так хорош! — воскликнула княгиня.

Радостная улыбка появилась на лице кня-

зя Сергея при этом позволении. Он с мольбой взглянул на княжну Людмилу и заметил промелькнувшую на ее лице довольную улыбку.

Позволение матери пришлось ей, видимо, по сердцу.

Молодые люди поспешили кончить свой чай и, оставив княгиню любоваться картиной залитого красноватым отблеском солнечных лучей парка, спустились по отлогой лестнице террасы и пошли по разбитому пред нею цветнику.

Последний состоял из затейливых клумб, газонов и цветущих кустарников и с террасы виднелся как на ладони, а потому княгиня Васса Семеновна могла довольно долго любоваться идущей парочкой.

Радостная, самодовольная улыбка играла на губах княгини. Судьба дочери устраивалась на ее глазах, согласно ее желанию. Тревоги об этой судьбе, уже с год как змеей вползшие в ее сердце, исчезли. Молодой князь, видимо, по уши влюбился в ее дочь, и предложение с его стороны было вопросом лишь очень близкого времени.

Между тем князь Сергей и княжна Людми-

ла прошли цветник и повернули в одну из аллей парка. Они шли прямо к тому месту, где высился заветный павильон, верхняя часть которого была красиво освещена красноватым отблеском солнечных лучей.

— Вот видите, князь, я была права, говоря, что легенда о павильоне — не сказка, — заметила княжна.

— Признаюсь вам, что я сам то же думал. Я был почти убежден, что найду в нем этих несчастных.

— Зачем же вы открыли павильон? — удивилась княжна.

— Именно потому и открыл, что знал, что найду там...

— Я вас не понимаю.

— Однако отец Николай понял меня.

— Для того чтобы предать их земле?

— Да, это одна из причин, но не единственная, хотя для отца Николая она оказалась достаточной.

— Значит, есть и другая?.. Какая же? Это не секрет?

— Для вас — нет.

Они уже дошли до выхода на полянку, сре-

ди которой высился павильон. Княжна вдруг остановилась.

— Мне страшно.

— Чего вы боитесь?.. Посмотрите, как изменились и само место, и павильон.

— Это так-то так, но все-таки, — сказала княжна и взяла его под руку.

Князь повел ее, чувствуя, как дрожала ее рука.

Они вошли в павильон, внутренность которого уже не представляла ничего страшного, усадил княжну на скамейку и сел рядом.

— Так вы хотите знать другую причину того, что если мы хотя и не пьем чая сегодня в этом павильоне, то все-таки сидим в нем? Извольте, я скажу. Причина следующая: в те дни, когда над этим домом, над этим парком и надо мною должна заняться заря нового счастья, я не хотел, чтобы здесь оставался памятник семейного несчастья моего предка, которое он увековечил ужасным злодеянием...

Княжна Людмила не сразу поняла Сергея Сергеевича. Она некоторое время смотрела на него недоумевающе-вопросительно. Однако

его взгляд, полный любви и восторженного благоговения, казалось, пояснил ей его туманную фразу, и она, вдруг покраснев, опустила глаза.

На лице князя тоже заиграл румянец. Он взял за руку Людмилу и произнес:

— Здесь, в этой недавней могиле заживо погребенных, которая является не обыкновенным памятником победы смерти, а скорее памятником победы любви, именно здесь, княжна, я хочу заговорить с вами об этом чувстве... Я люблю вас, люблю безумно, беззаветно!.. — и князь опустился на колени перед Людмилой.

Она сидела, низко опустив голову, и молчала.

— Княжна... Людмила... — с мольбою начал князь.

Людмила Васильевна протянула ему руки, но вдруг вскочила со скамейки.

— Не здесь, не здесь!

Князь торопливо встал, но Людмила уже успела выбежать из павильона и пошла по направлению одной из тенистых аллей парка. Князь догнал ее и пошел с нею рядом.

Некоторое время они шли молча.

— Княжна, простите, я... я обидел вас своим признанием?.. — начал Сергей Сергеевич.

Княжна обернула к нему свое лицо; на ее чудных глазах блестели слезы.

— Княжна, вы плачете, — сам со слезами в голосе начал Луговой. — Простите, я не знал, что это может обидеть вас.

— Не то, князь, не то, — дрожащим голосом произнесла Людмила и пошатнулась, так что, если бы князь не поддержал ее, она упала бы.

Он бережно довел ее до ближайшей скамейки и усадил.

— Что с вами, княжна, скажите... О чем вы плачете?

— Ни о чем... Мне там показалось вдруг так страшно...

— Так это не потому, что я позволил себе?.. — начал князь, обрадованный и ободренный.

— Нет, нет... Что же тут обидного, если я сама...

— Княжна, Людмила, дорогая! — схватил ее обе руки Луговой и стал покрывать их го-

рячими поцелуями.

Княжна не отнимала рук. Она сидела, низко опустив голову, так что когда он поднял свою, чтобы посмотреть на нее, то их лица оказались так близко друг от друга, что невольно их губы встретились и слились в жарком поцелуе.

В этот самый момент где-то в глубине парка раздался резкий, неприятный смех. Влюбленные отскочили друг от друга и стали оба испуганно озираться.

— Это там, — чуть не в одно слово сказали они.

Им обоим показалось, что смех раздался в стороне старого павильона.

— Это сова, — сказал князь Сергей Сергеевич.

— Сова! — упавшим голосом повторила княжна. — Боже мой, как все это странно!

— Мы просто оба нервно настроены... Вот и вся причина... Успокойтесь, дорогая моя! — и князь, взяв руку Людмилы, поднес ее к своим губам. — Успокойтесь, я около вас и всегда буду на страже.

Он вспомнил свое ночное видение и

вздрогнул, но тотчас же вернул себе самообладание.

— Что с тобою? — вырвалось у княжны Людмилы.

При этом первом сказанном невзначай сердечном «ты» князь забыл все видения, откинул все опасения за будущее, подвинулся к Людмиле и привлек ее к себе.

— Дорогая, милая, хорошая.

Она доверчиво положила свою головку на его плечо, точно позабыв за минуту щемившее ее сердце томительное предчувствие, недавний страх и этот вдруг раздавшийся адский хохот.

Он и она были счастливы настоящим. Для них не существовало ни прошедшего, ни будущего.

Княжна очнулась первая от охватившего их очарования.

— Что скажет мамаша?.. Мы так долго! — прошептала она.

— Завтра я буду в Зиновьеве, чтобы просить у княгини твоей руки, — сказал князь.

— Милый.

Луговой подал княжне руку, и они так до-



шли до конца аллеи, примыкавшей к цветнику.

При входе туда Людмила высвободила свою руку, и они пошли рядом.

— Что вы так долго? — пытливо смотря на дочь, деланно строгим тоном спросила княгиня, от зоркого глаза которой не ускользнуло пережитое молодой девушкой волнение.

— Мы обошли весь парк... — сказал князь, причем его голос дрогнул.

— А-а... — протянула княгиня. — Однако пора и восвояси. Прикажите подавать лошадей!

Лошади были тотчас поданы. Князь проводил княгиню и княжну до кареты.

— До свидания, — сказала княгиня.

— До скорого!.. — с ударением ответил князь, простившись с Людмилой взглядами, которые были красноречивее всяких слов.

Когда карета покатила по дороге в Зиновьево, княгиня спросила дочь:

— Не скажешь ли ты мне чего-либо, Люда?

— Он приедет завтра, мама, — чуть слышно ответила княжна.

— Вот как? Может быть, ты мне скажешь,

зачем он приедет?

— Он будет просить моей руки.

— А сегодня просил у тебя? Это по-модно-му, по-петербургски, — с раздражением в голосе заметила княгиня.

— Мама, ты сердишься? — подняла голову княжна Людмила.

— А ты думаешь, шучу? У нас это не так водится; не для того я его с тобою иногда одну оставляла, чтобы он пред тобою амуры распускал. Надо было честь честью сперва ко мне бы обратиться; я попросила бы время подумать и переговорить с тобою, протянула бы денька два-три, а потом уж и дала бы согласие. А они — на-поди... столковались без матери. «Он завтра приедет просить моей руки». А я вот возьму да завтра не приму.

Княгиня серьезно рассердилась на такое нарушение князем освященных обычаев старины, но радость, что все же так или иначе цель достигнута, превозмогла ее, и Вассе Семеновне очень хотелось подробно расспросить дочь.

— Но ведь это случилось так нечаянно, — точно угадывая мысли матери, жалобно про-

должала княжна.

Княгиня Васса Семеновна окончательно смягчилась.

— Ну его, Бог его простит! Шалый он, петербургский.

— Дорогая мамаша!

Княжна схватила руку матери и горячо поцеловала ее.

— Ну, расскажи, плутовка, как это так нечаянно случилось? — погладила княгиня опущенную головку дочери.

Людмила начала свой рассказ. Она подробно рассказала, как они пришли и сели в этот вновь открытый павильон.

— И ты не боялась?

— Да, потом, мама, мне сделалось вдруг страшно, — ответила княжна и передала матери форму, в которой Луговой начал ей признание в любви в павильоне.

— Ну, не права ли я, что он — шалый, нашел место! — воскликнула княгиня Васса Семеновна.

— Но, мамочка, ведь я и ушла. А потом случилось страшное обстоятельство.

Княжна покраснела. Ей надо было пере-

дать предложение, признание князя и тот поцелуй, которым они обменялись, но княжна Людмила решила не говорить о последнем матери. Это было не страхом пред родительским гневом, а скорее инстинктивным желанием сохранить в неприкосновенной свежести впечатление первого поцелуя, данного ею любимому человеку.

— Что же случилось? — нетерпеливо спросила княгиня.

Княжна рассказала, что когда князь окончил признание, то вдруг раздался резкий хохот.

— Хохот? — испуганно переспросила княгиня, побледнев.

— Да, хохот, мама, и такой неприятный! Нам обоим показалось, что он был слышен со стороны... этого... павильона, — с дрожью в голосе подтвердила княжна.

— И вы действительно оба слышали его? Впрочем, что же я спрашиваю. Какой-то странный звук слышала и я; он раздался именно с той стороны парка.

— Князь сказал, что это сова.

— Сова? А, знаешь ли, он, может быть, и

прав. Мне самой показалось, что это был крик совы.

Собственно говоря, княгине ничего подобного не показалось, но она ухватилась за это предположение князя Сергея Сергеевича с целью успокоить не только свою дочь, но и себя. Хотя и крик совы, совпавший с первым признанием в любви жениха, мог навести суеверных на размышление — а княгиня была суеверна, — но все-таки он лучше хохота, ни с того ни с сего раздавшегося из рокового павильона. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Княгиня и выбрала.

— Но почему же, мама, сова крикнула всего один раз? — озабоченно спросила Людмила.

— Да потому, матушка, что ей, вероятно, хотелось крикнуть только один раз, — с раздражением в голосе ответила княгиня.

Этот вопрос дочери нарушил душевное равновесие Вассы Семеновны. Остановившись на крике совы, она несколько успокоилась, а тут вдруг совершенно неуместный, но вместе с тем и довольно основательный вопрос дочери. Княгиня начала снова задумы-

ваться и раздражаться. К счастью, карета въехала на двор княжеской усадьбы и остановилась.

Княгиня и княжна молча разошлись по своим комнатам.

Таню, пришедшую в комнату княжны Людмилы, последняя встретила радостным восклицанием:

— Таня, милая Таня, он меня любит!

— Сказал?

— Да, Таня, и как было страшно!

— Страшно? — удивленно взглянула на нее Таня. — Что же тут страшного?

Людмила подробно рассказала ей свою прогулку с князем по парку, начало объяснения в павильоне и крик совы после окончания объяснения на скамейке аллеи.

— Ха-ха-ха! — захохотала Таня.

Княжна вздрогнула. В этом хохоте ей вдруг послышалось сходство с хохотом, раздавшимся несколько часов тому назад в княжеском парке. Впрочем, это было на минуту; княжне самой показалась смешной мелькнувшая в ее голове мысль.

— Чему ты смеешься? — спросила она. — Я

не понимаю.

— Как же, барышня, не смеяться? Совы испугались, точно маленькие дети!

— Если бы ты слышала!

— Сколько раз слыхала. Да и вместе с вами.

— Действительно, я тоже слыхала, но, значит, это вследствие другой обстановки.

— Расчувствовались... да разнежились.

Княжна густо покраснела. Она вспомнила о подаренном ею князю поцелуе.

— Он говорил с княгиней? — спросила последняя.

— Он приедет завтра делать предложение.

— Что же, поздравляю.

Княжне опять показалось, что ее подруга высказала это поздравление слишком холодно, но она снова осудила себя за подозрительность.

«Чего ей не радоваться? Если мы поедем в Петербург, я возьму ее с собою, — мелькнуло в голове княжны, — ей будет веселее в большом городе».

Она сейчас же высказала эту мысль Тане.

— Ваша барская воля, — ответила та.

— Опять, Таня... А разве самой тебе не хочется?

— Мне все равно... Где ни служить — в деревне ли, в городе...

— Но там же веселей.

— Господам. А какое веселье холопкам? Одна жизнь!..

— Опять ты за старое! «Холопка»! Какая ты холопка? Ты мой лучший друг.

— В деревне. А вот в городе у вас найдутся друзья богатые и знатные, вам ровня... Что я...

— Ты нынче опять не в духе.

— С чего же мне быть не в духе? Я говорю, что думаю. Вы заняты другим, не думаете о жизни, а я думаю.

— Довольно, Таня. Я не хочу сегодня ни говорить, ни думать ни о чем печальном.

Княжна переоделась и пошла к ужину, а Таня вернулась к себе в комнатку. Тут ее лицо преобразилось. Злобный огонь засверкал в ее глазах, на лбу появились складки, рот конвульсивно скривился в сардоническую улыбку.

— Вот как, ваше сиятельство? Вы желаете получить меня в приданое? Вы делаете мне



честь, будущая княгиня Луговая, избирая меня в горничные. Красивая девушка, хотя и видна холопская кровь, для Петербурга это нужно. Посмотрим только, удастся ли вам это! — злобным шепотом говорила сама с собой Татьяна Берестова. — Надо нынче же повидать отца... поведать ему радость семейства княжеского. Пусть позаботится обо мне, своей дочке.

Слова «отец» и «дочка» она произнесла со злобным ударением.

Между тем княгиня и княжна, обе успокоившиеся от охватившего их волнения, мирно беседовали о завтрашнем визите князя и об открывающемся будущем для княжны.

— Увезет тебя молодой муж в Петербург, — сказала княгиня.

— А ты, мама, разве не поедешь с нами?

— Куда мне на старости лет трясти такую даль свои кости? Вот, может, когда устроитесь совсем, поднимусь да и приеду навестить, но чтобы совсем переселяться в этот Вавилон — нет, этого я не смогу. Я привыкла к своему дому, к своему месту.

— И тебе не жаль расстаться со мной? Ведь

я буду одна.

— Зачем одна? У тебя будет муж, а затем там дядя.

— Не лучше ли Сергею выйти в отставку и навсегда поселиться в Луговом?

— Это не для того ли, чтобы меня, старуху, каждый день видеть? — засмеялась Васса Семеновна. — Ах, какое же ты еще глупое дитя! У него там служба, ему надо делать карьеру. Государыня, говорят, очень любит его... и тебя полюбит. Ты будешь вращаться при дворе.

— Это страшно.

— Совсе не страшно. Попривыкнешь. Такие же люди. Муж укажет. Он хотя и молод, но с пеленок в этой жизни, как рыба в воде.

— Мама, я возьму Таню. Мне будет нужна горничная. Я уже говорила ей.

— Что же она?

— Говорит: «Ваша барская воля».

— И только?

— Да, мне даже показалось, что она этому не рада. Вообще она в последнее время стала какая-то странная.

— Замуж ее надо тоже выдать.

— Таню, замуж? За кого же?

— За кого? За такого же дворового, как и она! — с невольной резкостью в тоне сказала княгиня. — Не графа же выбирать! Мало ли у меня холостых на дворе на нее заглядывается?

— Князь говорил, что она далеко не похожа на меня. Он сказал, что это только кажущееся сходство, — вдруг заметила княжна.

— Конечно же. Для свежего человека это виднее. Мы так уже пригляделись к этой случайности.

— Он говорил, что все-таки в ней видна холопская кровь.

— Конечно, конечно! — подтвердила княгиня, и из ее груди вырвался облегченный вздох.

Надо заметить, что всегда, когда разговор между нею и дочерью касался Тани Берестовой, княгиня боялась, что ее дочь задаст ей вопрос о причине необычайного сходства между нею, княжной, и ее дворовой девушкой. Хотя у княгини было приготовлено объяснение этого случайностью, но она все же иногда думала, что этот ответ не удовлетворит Люды, и ее мысль начнет работать в этом

направлении, а старые княжеские слуги, неровен час, и сболтнут что-нибудь лишнее. Особенно стал беспокоить княгиню этот вопрос со времени возвращения в Зиновьево «беглого Никиты».

Теперь она могла успокоиться. Мысль о сходстве действительно пришла в голову дочери, но она высказала ее не ей, матери, а князю Луговому; последний же в форме комплимента, разумеется, отрицал это сходство дворовой девушки с понравившейся ему княжной. Понятно, что Людмила, увлекшаяся князем, поверила ему на слово, и вопрос для нее был решен окончательно — она к нему более не возвратится. Надо лишь не допустить ее взять Татьяну в Петербург. В светских столичных и придворных кругах не только сейчас обратят внимание на это поразительное сходство княгини и служанки, но даже начнут непременно делать выводы, близкие к истине.

— Если ты хочешь, мама, выдать Таню замуж, то, значит, она должна будет остаться здесь? — спросила княжна.

— Конечно же, душечка.

— Я очень люблю ее, и мне тяжело будет без нее.

— Если это так, то ты должна желать ей счастья. Неужели ты пожелаешь, чтобы она для тебя на весь свой век осталась в девках?

— Конечно же нет, но...

— Какое же «но». Ты можешь выбрать себе девушку, даже двух или трех, из других, мне же позволь позаботиться о судьбе Тани. Я ведь с детства воспитала ее, как родную дочь. Неужели у меня нет сердца? Хотя ее сходство с тобой и небольшое, но все же она будет несколько напоминать мне тебя. Я устрою ее счастье, будь покойна. Я ведь тоже люблю ее.

Деланность искренности княгини ускользнула от княжны Людмилы.

— Какая ты добрая, мама! — воскликнула она и стала покрывать руки княгини Вассы Семеновны горячими поцелуями.

## VIII ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**К**огда после ужина княжна Людмила Васильевна прошла к себе и, конечно, встретила ожидавшую ее Таню, она не преминула сообщить ей содержание своего разговора с ма-

терью.

— Мне казалось, Таня, что в последнее время ты стала сомневаться в нашей любви к тебе. Но ты напрасно так думаешь, и я могу доказать тебе сегодня, что не только я сама, но и мама тебя очень любит.

— Я верю, верю.

— Нет, все-таки выслушай, — и княжна Людмила передала почти дословно беседу со своей матерью за ужином. — Мне лично очень жаль расстаться с тобою, но я понимаю маму... Ей тяжело сразу расстаться со мной и тобой, и к тому же я не хочу мешать твоей судьбе. Пусть мы будем счастливы обе.

— Благодарю вас, ваше сиятельство.

— Опять «сиятельство»! Ты неисправима, Таня. Ну, да Бог с тобою. Лучше скажи мне откровенно: тебе кто-нибудь нравится?

— Кто нравится? — с испугом спросила девушка.

— Ну, кто-нибудь из наших мужчин?

— Каких мужчин, барышня?

— Ну, вот, например, Михайла, Сергей...

Они холостые.

Михайла был дворецким, Сергей — выезд-

НЫМ лакеем.

— А-а... Вы об этих... — В тоне Тани прозвучало нескрываемое презрение. — Нет, никто не нравится.

— Я к тому это спрашиваю, что если бы кто-нибудь тебе нравился, то я сейчас же сказала бы об этом маме, и ты тоже была бы невестой, как и я. Знаешь, когда чувствуешь себя счастливой, так приятно видеть и вокруг себя счастливых людей.

— Это — правда... А когда человек сам несчастен, то счастливых людей видеть очень неприятно. Это только усугубляет несчастье.

— Ты несчастна?

— С чего это вы взяли? — спохватилась Таня. — Я просто к слову.

— А... Но все-таки как жаль, что тебе никто не нравится из наших!

— Странная вы, барышня! Да ведь если бы кто-либо даже нравился, то и его спросить надо, нравлюсь ли я.

— Это само собою разумеется. Каждый из них был бы счастлив, имея надежду сделаться твоим мужем. Ты ведь красивее всех на-

ших дворовых девушек.

— Не по хорошу мил, а по милу хорош.

— Жаль, жаль!.. — повторила княжна, уже ложась в постель.

Таня вышла из ее комнаты и, только пробежав двор и очутившись в поле, вздохнула полною грудью.

— Ишь ты: ее сиятельство забота обо мне одолела! — со злобным смехом заговорила она сама с собою, пробираясь по задворкам деревни за околицу. — «Люблю ее, дочь мне будет напоминать... Судьбу ее устрою... Не хочешь ли замуж за дворового». Эх, ваше сиятельство, я и за князя вашего замуж выйти не хочу. Вот что!

Быстро пробежала она небольшую деревню и очутилась у Соломонидиной избушки. В окне светился тусклый огонек.

— Дома, — радостно прошептала Таня и, быстро взбежав по ступенькам крыльца, отворила дверь.

Никита сидел на лавке пред лучиной и чинил дратвой кожаный мешок, служивший ему ягдташем. Он, видимо, ничуть не удивился появлению Тани и, спокойно подняв голо-



ву при шуме отворенной двери, окинул девушку пронизательным взглядом.

— Здравствуй, Никита Спиридонович, — сказала она.

— Здравствуй, красная девица... Что так запыхалась?

— Бегом бежала! — Таня села и несколько времени молча тяжело дышала, а затем каким-то надтреснутым голосом произнесла: — Князь завтра свататься приедет. Княжна сказала.

— Ей, значит, открылся.

— Сегодня! — и Таня подробно рассказала Никите, со слов княжны Людмилы, обстановку первого признанья и испугавший их смех, который они приняли за крик совы.

— Совы!.. Как бы не так!.. — угрюмо сказал Никита. — Да разве совы при солнце кричат?.. Это «он», леший над ними потешается. Да, по всему видно, что им судьбы своей не миновать.

— Не миновать, конечно! Свадьбу, чай, быстро устроят да и уедут в Питер... Поминай как звали...

— Ну, сейчас видно, что ты — дура девка...

Коли я сказал «не миновать», так слова даром не вымолвил.

— Уж ты прости меня... Томит меня очень... раздумье мучит, — заметила Таня.

— А ты плюнь и не думай, положишься на меня! — Никита встал, несколько раз прошел по избе и наконец сел на лавку рядом с Таней. — Ты вот послушай лучше, что я тебе скажу! — и, придвинувшись к ней еще ближе, он стал говорить ей что-то пониженным шепотом.

По мере того как он говорил, лицо Тани прояснялось, радостно-злая улыбка на губах сменялась улыбкой торжества.

— Эх, кабы все это так и сделалось! — воскликнула она.

— Сделается, как по писаному, — ответил вслух Никита и снова стал шепотом говорить Татьяне.

Совершенно успокоенная, радостная и довольная, возвратилась Татьяна в девичью и прямо в свою каморку. В эту ночь, пред отходом ко сну, ее даже не посетили обыкновенные злобные думы по адресу княгини и княжны. Она быстро заснула, и ее сны были полны радужных картин, которые только что нари-

совал ей, нашептывая на ухо, беглый Никита.

Таня проснулась в прекрасном расположении духа.

Второй туалет княжны, после утреннего чая, занял в этот день больше времени, чем обыкновенно. Княжна Людмила считала себя невестой и старалась тщательнее обыкновенного одеться для своего жениха.

Таня проявила весь свой вкус, отказать в котором ей было нельзя, и княжна Людмила осталась совершенно довольна ею. У нее даже снова мелькнула мысль, нельзя ли как-нибудь уговорить маму отпустить Таню в Петербург. Она там может выйти замуж за одного из лакеев князя Лугового; ведь эти лакеи, как петербургские, конечно, франтоватее и лучше деревенских, и кто-нибудь из них может приглянуться разборчивой дворовой девушке.

Однако мысль о матери, остающейся совершенно одинокой в Зиновьеве, заставила княжну отказаться от этого плана.

«Бедная мама, — замелькало в ее голове, — она так любит Таню! Кроме того, она будет напоминать маме обо мне... Нет, не надо

быть эгоисткой... Здесь Таня будет даже счастливее... Пройдет время, и она кого-нибудь полюбит... Ведь я до князя никого не любила, никто мне даже не нравился... А у нас бывали же гости из Тамбова, хотя редко, да бывали даже офицеры... Так и с нею может случиться... Теперь никто не нравится, а вдруг понравится».

Наконец туалет был окончен. Людмила отправилась к матери, находившейся на террасе.

Княгиня осталась ею довольна.

— Когда князь приедет, — сказала она, — ты уйди в свою комнату. Так водится... Он должен со мною объясниться с глазу на глаз, а потом я, может быть, позову тебя.

— «Может быть»! — печально повторила княжна, и у нее даже покраснели глаза от наворачивавшихся слез.

— Полно, ты, кажется, собираешься плакать?.. Я пошутила... Конечно, позову... Что с вами поделаешь! Совсем вы от рук отбились. По старине следовало бы не соглашаться сразу, попросить время подумать... А теперь и заикаться об этом нельзя — слез у тебя не обе-

решься. Так будь по-вашему... Скажу, что согласна, и тебя позову.

— Мамочка, какая вы добрая!.. — бросилась княжна целовать руки матери.

В это время вдали послышался звон колокольчика.

— Это он едет! — встрепенулась княжна Людмила.

— Да, действительно, это княжеские колокольчики, — заметила и мать. — Ну, теперь ступай к себе!

Экипаж князя Лугового вскоре въехал на двор и остановился у подъезда. Князь Сергей Сергеевич был в полной парадной форме. На его лице светилась особая торжественность переживаемых им минут. Он с особенною серьезностью приказал лакею доложить о нем княгине Вассе Семеновне, несмотря на то, что в последнее время входил обыкновенно без доклада.

— Пожалуйста. Их сиятельство на террасе, — ответил возвратившийся слуга.

Князь прошел на террасу.

— А, дорогой князь, милости просим! — воскликнула княгиня и, как бы только сейчас

заметив, что князь одет в полную форму, добавила: — Что это вы сегодня в полном параде?

Князь, поцеловав руку Вассы Семеновны, сел в кресло, с которого только что за несколько минут пред ним спорхнула княжна Людмила. Он не сразу ответил и несколько минут хранил молчание, как бы приготавливаясь к первому торжественному акту в его жизни.

Княгиня смотрела на него деланно вопрошительным взглядом.

— Я приехал, княгиня, переговорить с вами по одному очень серьезному для меня делу... и не только серьезному, но имеющему для всей последующей моей жизни очень важное, решающее значение.

Он остановился.

— Я полюбила вас, несмотря на короткое время нашего знакомства, как сына, князь, а потому готова выслушать вас и, в чем могу, помочь, — ответила ему Васса Семеновна.

— Я имею честь просить у вас руки вашей дочери, — вдруг выпалил князь Сергей Сергеевич.

Княгиня сделала вид, что поражена неожиданностью, и несколько минут молчала.

Очередь глядеть вопросительно наступила для князя.

— Я благодарю за честь... — начала княгиня Васса Семеновна, — но я, право, не знаю... Люда еще молода, и притом я не могу ее неволить. Как она сама.

— Княжна Людмила согласна, — сказал князь Сергей Сергеевич. — Я вчера имел удовольствие выразить ей свои чувства и получить благоприятный ответ.

Удивление княгини, казалось, росло с каждой минутой.

— Вчера?.. Так вот что вы так долго делали в парке!.. Это не порядок, князь! Вы должны были обратиться сперва ко мне, как к матери.

— Простите, княгиня, это вышло так нечаянно...

Княгиня едва удержалась от улыбки, вспомнив, как вчера и ее дочь уверяла, что это случилось нечаянно.

— Бог вас простит. Сделанного не исправишь. Но все-таки скажу вам: может, в Петер-

бурге у вас это водится, а у нас нет.

— Могу я надеяться, княгиня? — после некоторой паузы с дрожью в голосе спросил князь.

— Ну, если вы все уже без меня устроили, так мне остается дать согласие, и я даю его.

Князь вскочил с кресла и бросился на колени пред княгиною и, схватив ее руки, стал покрывать их поцелуями.

Княгиня Васса Семеновна позвонила и приказала явившемуся лакею:

— Попроси сюда княжну Людмилу Васильевну.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

Лакей вышел.

— Пусть плутовка повторит при мне то, что вчера говорила вам, пользуясь дозволением прогуляться с вами в парке, — шутливо заметила княгиня.

Луговой, уже снова сидя в кресле, счастливо улыбался.

В это время в дверях террасы появилась княжна. Она была особенно хороша. Несколько смущенный, растерянный вид придавал лицу и всей ее фигуре особую прелесть.



— Вы меня звали, мама? — сказала она после небольшой паузы.

Князь вскочил с места при ее появлении. Княжна как-то особенно церемонно присела ему.

— Да, звала, плутовка. Нечего из себя строить наивную овечку, — начала княгиня. — Ты знаешь, зачем сегодня пожаловал к нам князь в полной амуниции?

Княжна смущенно потупилась, а затем бросилась к матери, говоря:

— Мама, простите!

— Чего прощать-то? Нет, ты нам скажи, знаешь или нет?

— Знаю, — смущенно ответила княжна, бросив искоса взгляд на князя Сергея Сергеевича.

Тот положительно пожирал ее влюбленным взором.

— Ну, так и ответь ему сама.

Людмила молчала.

Княгиня с улыбкой смотрела на нее, а затем обратилась к князю:

— Стыдно, князь, говорить о девушке неправду! Ишь, выдумали, что моя Люда со-

гласилась вчера на ваше предложение быть вашей женой! Бедная девочка, какую небылицу взвел на тебя князь!

— Мама, он сказал правду, — вся вспыхнув, произнесла княжна.

— Вот как? Ну, значит, извините, князь, поклепала на вас понапрасну. Дочка-то моя, видно, без меня разговорчивее. Значит, ты знаешь, что князь приехал сегодня просить твоей руки? — вдруг оставила она шуточный тон и обратилась к дочери: — Ты согласна, согласна и я.

Князь уже стоял около своей невесты. Они оба преклонили колени пред тоже вставшей княгиней. Та положила им на голову руки, перекрестила и поцеловала обоих, после чего пригласила завтракать.

Завтрак прошел очень оживленно. Княгиня продолжала шутить с дочерью и будущим сыном, но на княжну эти шутки не производили уже того конфузующего впечатления, как первый шуточный вопрос матери на террасе.

Конечно, все обитатели Зиновьева быстро узнали о событии в барском доме, о том, что «ангел-княжна» — невеста.

После завтрака жених и невеста вышли в парк, чтобы на досуге помечтать о радужном, как им казалось, будущем, открывавшемся пред ними.

## IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСТЬ

**К**нязь остался в Зиновьеве обедать и пить вечерний чай и только поздним вечером возвратился к себе в Луговое.

Там его ожидала новая радость: к нему приехал гостить из Петербурга друг его детства и товарищ по полку, граф Петр Игнатьевич Свиридов.

Это был красивый, высокий, статный блондин с темно-синими бархатными глазами, всегда смотревшими весело и ласково. Вместе с Луговым он воспитывался в корпусе, вместе вышел в офицеры и вместе с ним вращался в придворных сферах Петербурга, деля успех у светских красавиц. До сих пор у приятелей были разные вкусы, и женщины не являлись для них тем классическим «яблоком раздора», способным не только ослабить, но и прямо порвать узы мужской дружбы.

— Петя, какими судьбами! — радостно

встретил князь Сергей своего друга, вышедшего на крыльцо навстречу ему.

— Благодаря тетушке, дружище.

Друзья обнялись и расцеловались.

— Какой тетушке? — спросил князь, вводя приятеля в комнаты.

— Видишь ли, я получил известие, что в Тамбове умерла бездетной одна из моих бесчисленных тетушек, графиня Надежда Ивановна Загряжская, а я — единственный ее наследник. Умерла она уже с полгода, но мне дали знать об оставленном наследстве всего месяца полтора тому назад. Я, конечно, взял отпуск и покатил сюда. Устроивши кое-как дела, хотя и не окончивши их, я решился отдохнуть от милого Тамбова, где положительно задыхался от пыли и жары, где-нибудь на берегу струй, и вдруг вспомнил, что твое имение здесь поблизости и, главное, что ты находишься в нем. Ну, вот я тотчас и двинулся к тебе.

— И отлично сделал. Более, чем отлично! Это просто счастливый случай. Ну, да об этом потом, а теперь позволь мне переодеться. Я весь день пробыл в парадной форме. Так поз-

волишь?

— О чем тут спрашивать! — улыбнулся граф.

Князь позвонил, и с помощью явившегося камердинера начал переодеваться, не переставая задавать вопросы усевшемуся в покойном кресле приезжему другу.

— И большое тебе досталось наследство? — спросил он.

— Как тебе сказать? Приехать стоило! Два дома в городе, именье небольшое в пяти верстах от Тамбова, душ около трехсот. Дом, конечно, с полной обстановкой, усадьба тоже — полная чаша. Да и деньгами тысяч около шестидесяти.

— Это ты верно сказал, что стоило приезжать. И неужели ничего не растащили?

— Вообрази, ни одной нитки. Там такие сторожа сторожат, каких я в первый раз в жизни вижу. Это старик со старухой, обоим в сложности лет более двухсот, но здоровы и бодры и так держат всю деревню, что те в струнку ходят. Они-то мне все с рук на руки и передали. «Ни синь-пороха, батюшка барин, ваше сиятельство, не пропало после покой-

ной вашей тетушки», — говорят. И я им верю.

Туалет князя был кончен, и вошедший лакей доложил, что подано ужинать. Друзья отправились в столовую.

Беседа снова полилась.

— Скажи мне, кстати, Сергей, что у тебя здесь на днях произошло? — спросил граф Свиридов. — На последнем привале мой кучер и лакей выслушали от содержателя постоянного двора целую историю о какой-то чертовщине, которая произошла здесь у тебя; говорят, будто ты раскрыл какую-то старую беседку и нашел там два скелета.

— Это — правда, — ответил князь Луговой и подробно рассказал графу легенду, окружавшую заветный павильон в парке и оправдавшуюся в первой своей половине страшной находкой, о ходе работ, произведенных для того, чтобы открыть его, о похоронах найденных человеческих останков — словом, обо всем, происшедшем два дня тому назад. Свою речь он заключил словами: — Завтра я покажу тебе этот павильон.

— Завтра? Почему же не сегодня?

— Сегодня? — дрогнувшим голосом спро-

сил князь и невольно посмотрел в окно, выходящее в парк.

На землю уже спустилась темная летняя ночь. В тенистых аллеях парка мрак был еще гуще.

Граф Петр Игнатьевич заметил смущение приятеля и, поймав этот взгляд, насмешливо произнес:

— Ты что это, брат, в деревне-то стал трусить не только живых, но даже мертвых?

— Какие пустяки! — вспыхнул князь. — Пойдем после ужина.

Его более всего взбесило то, что приятель угадал причину, по которой он хотел показать павильон не сейчас, а завтра.

— Если очень страшно, то уж пойдем лучше спать, — все еще насмешливым тоном заметил граф Свиридов.

— Ты, брат, не валишь ли с больной головы на здоровую? Кажется, сам труса празднуешь? — отпарировал князь Луговой.

— Ну, это, брат, стара штука. Способ простой, когда совестно сознаться. Нет, съедим последнее блюдо и пойдем. А вот тебе наливка для храбрости.

— Не забудь и себя.

Друзья с наслаждением выпили душистую влагу из сока черешен, а затем, встав из-за стола, вышли на террасу.

Парк был действительно окутан мраком, но в цветнике было сравнительно светлее, так как на него падал слабый, матовый свет последней четверти лунного диска.

Князь Луговой, взяв под руку графа, спустился с террасы в цветник и направился по той аллее, которая вела к заветному павильону. Несмотря на то что место, где стоял он, было вычищено, все же деревья здесь были гуще, нежели в остальном парке, а потому вечером это место казалось мрачнее. К тому же в это время, как нарочно, и луна скрылась за облаками. Это наводило какую-то жуть.

Друзья были нервно настроены. Оба готовы были бы с удовольствием вернуться в уютную столовую или в не менее уютный кабинет, но обоих удерживал стыд сознаться друг пред другом в этом чувстве, которое они оба называли трусостью.

Они подошли уже к выходу на полянку, как вдруг матовые лучи луны пробрались на



последнюю и осветили открытую дверь павильона.

Друзья остановились как вкопанные невдалеке от входа в нее. Они оба увидали, что на одной из скамеек, стоявших внутри беседки, сидели близко друг к другу две человеческие фигуры — мужчина и женщина. Контуры этих фигур совершенно ясно выделялись при слабом лунном свете, рассмотреть же их лица и подробности одежды не было возможности. Друзья только заметили, что эти одежды состояли из какой-то прозрачно-светлой материи.

— Однако, — первый заметил граф, — видно, для здешней молодежи не особенно страшен этот павильон, если она тотчас же стала избирать его для любовных свиданий.

Князь Сергей ничего не ответил. Он стоял рядом с другом, бледный, с остановившимся на видении взглядом. Он сразу подумал, что перед ним не живые люди, а призраки, что это духи умерших в павильоне людей посетили свою могилу.

— Что с тобой? — дрожащим голосом спросил граф Свиридов, вдруг сам почувствовав-

ший какой-то инстинктивный страх.

Но не успел князь ответить, как за павильоном, в нескольких шагах от них, раздался дикий, безумный хохот и послышались удаляющиеся тяжелые шаги.

— Это он, — произнес князь Сергей и пошатнулся.

Граф Свиридов, несмотря на охвативший его тоже почти панический страх, успел подхватить приятеля и не дал ему упасть. Когда он посмотрел снова на дверь павильона, внутри последнего никого не было.

— Он имеет выход с другой стороны? — спросил граф, не выпуская из объятий почти бесчувственного князя.

— Нет... — после большой паузы, несколько пришедши в себя, произнес тот.

— Не может быть! — возразил граф Петр Игнатьевич.

— Ты видишь, все исчезло. Можешь убедиться, — заметил князь, уже совершенно овладев собою. — Войдем!

Они вошли в павильон, представлявший, как известно, круглую башню с одной дверью.

— Это странно! — взволнованно воскликнул граф Свиридов.

— Я тебе порасскажу еще много странных вещей.

Друзья возвратились в дом отнюдь не под хорошим впечатлением всего ими виденного и почувствованного, и, конечно, им было не до сна, а потому они уселись в уютном кабинете, мягко освещенном восковыми свечами. Окна в парк были открыты, и в них тянуло тою свежестью летней ночи, которая укрепляет тело и бодрит дух.

Некоторое время друзья молчали.

— Чем же это наконец объяснить? — первый нарушил это молчание граф Петр Игнатьевич.

— Объяснить?.. Ну, брат, объяснить это едва ли чем можно... Надо принимать так...

— Это ужасно!.. Я на твоём месте сейчас же уехал бы из такого страшного места.

— А я между тем не уезжаю, хотя сегодня не в первый раз испытываю проявление этой таинственной силы.

После этого князь передал другу о своём сне накануне того дня, когда был открыт па-

вильон, и о видении, которое было на другой день.

Тот слушал внимательно и, когда князь кончил, воскликнул снова:

— Это ужасно!

— А ты еще считал меня трусом!.. Ну, правли ты? А знаешь, когда мы шли по твоему настоянию в павильон, я чувствовал, что что-нибудь случится!

Снова оба замолчали.

— Кстати, — первый начал Петр Игнатьевич, — призрак говорил тебе о любимой девушке, в которой твое счастье... Она-то у тебя есть?

— Есть, — ответил князь, — ведь я сперва на радостях встречи, а затем вследствие этого переполоха, позабыл сказать тебе, что я женюсь. Я сегодня сделал предложение и получил согласие.

— То-то ты был в таком параде. На ком же ты женишься?

— На княжне Полторацкой.

— Вот как. Где же ты откопал такое существо, которое оказалось способным пленить твое ветреное сердце?.. Оно должно быть со-

вершенством, так как мы с тобою, несмотря на то что у нас разные вкусы, разборчивы.

— Ты не ошибся: княжна Людмила — совершенство.

— Где же она живет?

— У ее матери именье в нескольких верстах от Лугового...

— Ага, значит, соседка. Какова же она собою?

Князь восторженно стал рисовать перед приятелем портрет княжны Людмилы. Любовь, конечно, делает художника льстецом оригиналу, а потому по рассказу влюбленного князя Людмила выходила прямо сказочной красавицей — действительно совершенством.

Граф Петр Игнатьевич слушал друга улыбаясь. Он понимал, что тот преувеличивает.

— Посмотрим, посмотрим, — заметил он, когда князь кончил описание достоинств своей невесты, — если ты прикрасил только наполовину, то и тогда она достойна быть женою князя Лугового.

— Она-то достойна, а вот достоин ли я?.. Ты увидишь сам, что я не только не преувеличил, но даже не в силах был воспроизвести

пред тобою ее образ в настоящем свете... Это выше человеческих сил.

— Одним словом, ни в сказке рассказать, ни пером описать, — засмеялся граф Свиридов. — Но от этого тебе же хуже: я влюблюсь и начну отбивать.

— Ты этого не сделаешь!

Голос князя как-то порвался. Шутка друга больно кольнула ему сердце.

«А что, если действительно княжна Людмила полюбила меня только потому, что жила в глуши, без людей, без общества? — подумал он. — Нельзя же, в самом деле, считать обществом тамбовских кавалеров. Она увидит графа и вдруг...»

При этой мысли князь почувствовал, как похолодела в нем вся кровь.

Граф Петр Игнатьевич заметил произведенное его шуткой впечатление и произнес:

— Да ты, кажется, серьезно принимаешь шутку и впрямь испугался моего соперничества?

— Нет, не то, голубчик! Только прошу тебя, не шути так! Мое чувство слишком серьезно. Мало ли что на самом деле может случиться!

— Ну, ты действительно влюбился до сумасшествия! — воскликнул граф Свиридов. — На тебя даже нельзя и обижаться. За кого же ты меня принимаешь, если думаешь, что я способен, даже при полной возможности, отбить невесту у приятеля?

— Ты можешь сделать это невольно. Ты слышал, что «он» сказал? «Адские силы против вас».

— Спасибо и за то, что, по твоему мнению, я могу явиться одной из адских сил.

— Они могут действовать через тебя.

— Нет, голубчик, у меня на груди есть крест. Но оставим этот разговор. Можешь, если опасаясь, даже совсем не знакомить меня со своей невестой.

— Нет, отчего же... Мы поедем к ним завтра же. Прости меня, я действительно говорил несообразности. Я так взволнован... У меня до сих пор звучит этот смех, который мы слышали у павильона. Я ведь слышу во второй раз...

— Второй раз!

Князь Сергей рассказал другу обстановку своего первого любовного признания княжне

Людмиле, подаренный ему ею первый поцелуй, после которого послышался тот же резкий смех около павильона.

— Она очень испугалась? — спросил граф.

— Да, но я успокоил ее, первый придя в себя, и объяснил ей, что это крик совы.

— Может быть, это и действительно кричала сова?

— Нет... Я-то знаю, что это — не сова, а «он». Ведь когда мы слышали этот смех издали, солнце еще не заходило, а совы кричат только ночью.

— А сегодня?

— Сегодня мы слышали этот смех совсем близко. Он совершенно не похож на крик совы. Эти птицы так не кричат.

— Гм... — промычал граф Свиридов, — тебе и книги в руки. Но бросим этот разговор. Успокойся только; если ты даже настоишь на том, чтобы я поехал к твоей невесте и познакомился с нею, я за нею ухаживать не буду. Расскажи-ка лучше мне, как начался этот твой деревенский роман.

Князь подробно стал описывать свою первую встречу с княжной на похоронах его



матери, затем его визиты в Зиновьево, прогулки по саду и недавний разговор о павильоне.

— Так это княжна натолкнула тебя на мысль открыть эту башню? Да? Ну, этого я ей никогда не прощу. Ведь не исполни ты ее каприза, мы сегодня не были бы свидетелями всех этих ужасных вещей и давно спокойно спали бы. А теперь посмотри, ведь светает, — заметил граф Петр Игнатьевич.

Действительно, в открытые окна кабинета уже лился свет утренней зари, мешавшийся с тусклым, мерцающим светом догоравших в подсвечниках и бра свечей.

— Пожалуй, действительно этого не было бы, — улыбнулся князь.

— Конечно! Ишь какая!.. Пусть ты из-за нее не спишь ночей — она будет твоей женой; а я тут при чем, что по ее милости должен тоже не спать? Слуга покорный! Пойдем-ка, в самом деле, спать.

— Я велел поставить тебе постель в моей спальне.

— Отлично, поболтаем еще немного... Только, чур, больше не вести никаких разгово-

воров с призраками!

— Не накликай.

— Ты, кажется, заставляя меня спать в одной комнате с тобою, пускаешься на хитрость, надеясь, что мы вдвоем-то с ними справимся?

— Ты неисправим, Петя... Все тебе смешки. Впрочем, тебе хорошо: это тебя не касается.

— И тебя, мой милый, едва ли. По-моему, призраков никаких нет и быть не может. Во всем этом есть доля твоего расстроенного воображения.

— И даже в том, что ты видел и слышал в павильоне?

— Да, быть может, это все была лишь игра лунного света.

— Если ты так умеешь сам себя успокаивать — благо тебе.

— Так идем спать, — зевнул граф.

В сопровождении вошедшего камердинера оба друга отправились в спальню, разделлись и легли, но еще долго не засыпали, беседуя о всевозможных вещах — главным образом о петербургских новостях. Они заснули наконец, когда солнце уже поднялось над го-

ризонтом.

Проснулись оба друга после полудня, свежие и бодрые. Всех испытанных потрясений вчерашнего дня как не бывало. Сомнения, тревоги и предчувствия исчезли из ума и души князя Сергея.

Через полчаса после завтрака оба друга на лихой четверке понеслись по направлению к Зиновьеву.

Княгиня Васса Семеновна с истинно русским радушием встретила товарища будущего мужа своей дочери. Княжна Людмила грациозно присела ему. Свиридов, глядя на нее, не мог внутренне не сознаться, что князь Сергей отнюдь не пел ей вчера особенно преувеличенных дифирамбов; счастье, озарившее, подобно солнцу, всю Людмилу, придавало особый блеск ее красоте.

«Она произведет положительно фурор в Петербурге!» — мелькнуло в голове графа Петра Игнатьевича.

Побеседовав с полчаса на террасе, княгиня извинилась хозяйственными делами и отпустила молодых людей погулять в саду до обеда. Когда она ушла во внутренние комнаты,

княжна Людмила, в сопровождении жениха и графа, спустилась в сад.

Свиридов не произвел на нее особенного впечатления. Вся поглощенная созерцанием своего милого «Сережи», княжна не обратила внимания на характерную, хотя совершенно в другом роде, красоту графа Петра Игнатьевича.

Зато оценила эту красоту другая. Это была Таня Берестова. Она пробралась в сад и, незаметно скользя среди кустов и затаив дыхание, все время следила за статным белокурым красавцем.

«Это вот не чета князю, — думала девушка. — Луговой пред ним совсем пропадает. В Петербурге, может, и еще лучше есть. Это здесь, в глуши, нам все диковинкою кажется».

Таня мечтой неслась на берега Невы и создавала в своем воображении царские дворцы, палаты вельмож, роскошные праздники, блестящие балы, с толпой блестящих же кавалеров. Обо всем этом она имела смутное понятие по рассказам княжны, передававшей ей то, что говорил ей жених; но фантазия Тани была неудержима, и она по ничтожному на-

меку умела создавать картину.

Для графа Петра Игнатьевича, не говоря уже о князе Луговом, день, проведенный в Зиновьеве, показался часом. Быстро освоившаяся с ним княжна была обворожительно любезна, оживленна и остроумна. Она рассказывала ему о деревенском житье-бытье, в лицах представляла провинциальных кавалеров и заставляла своих собеседников хохотать до упаду.

Их свежие молодые голоса и раскатистый смех доносились в открытые окна княжеского дома и радовали материнский слух княгини Вассы Семеновны.

Далеко не радовали эти звуки Таню. Веселье в саду, долетавшее до окна ее каморки, до боли резало ей ухо и заставляло нервно вздрагивать.

«Ишь, раскатываются! Весело! — злобствовала она, уже успевшая достаточно разглядеть друга князя Лугового и налюбоваться на него. — Ну да посмеется хорошо тот, кто посмеется последний. Поживем — увидим!»

## **Х УБИЙСТВО**

Дни шли за днями, летя, как мгновенья, для княгини Полторацкой, княжны Людмилы, князя Лугового и его друга Свиридова.

В доме княгини Вассы Семеновны шла спешная работа по приготовлению приданого княжны Людмилы. Этим занимались несколько десятков дворовых девушек под наблюдением Федосьи и Тани.

Командировка последней для наблюдения была, собственно, номинальной, так сказать, почетной. С одной стороны, княгиня не хотела совершенно освободить ее от спешной работы и таким образом резко отличить от остальных дворовых девушек, а с другой, — зная привязанность к Тане дочери, не хотела лишить последнюю общества молодой девушки, засадив ее за работу с утра до вечера.

«Пусть их наговорятся напоследок, — рассуждала княгиня, — уедет, там, в Питере, мигом позабудет, а я здесь справлюсь с Таней, быстро обломаю и замуж выдам».

Княжна Людмила действительно в отсутствие жениха была неразлучна с Таней, передавала ей, как поверенной своих сердечных тайн, во всех мельчайших подробностях раз-

говоры с женихом и с его другом, спрашивала советов, строила планы, высказывала свои мечты.

Таня слушала внимательно и, видимо, сочувственно относилась к своей барышне, которой скоро суждено было сделаться из княжны княгиней. Она высказывала свои мнения по тем или другим вопросам, задаваемым княжною, и спокойно обсуждала со своей госпожой ее будущую жизнь в Петербурге.

Однако чего стоили ей эта рассудительность и это спокойствие, знала только ее жесткая подушка, которую она по ночам кусала, задыхаясь от злобных слез.

Князь Сергей, то один, то со своим другом, конечно, ежедневно приезжал в Зиновьево и проводил там большую часть дня.

Наступило 6 августа, престольный праздник в зиновьевской церкви.

Весело провели князь Луговой и граф Свиридов этот день в доме княгини Вассы Семеновны. Дворовые девушки были освобождены на этот день от работ и водили хороводы, причем их угощали брагой и наливкой. На деревне шло тоже веселье. В застольной стоял

пир горой. Общее веселье было заразительно, и день в Зиновьеве прошел оживленно.

В этот день граф Свиридов впервые близко увидел Таню и был поражен ее красотой. Когда ему довелось остаться вдвоем с князем Сергеем, он сказал:

— Ты видел двойника княжны?

— Какого двойника?

— Помилуй! Ты чаще меня бываешь здесь и бывал раньше меня, неужели ты не заметил дворовой девушки, как две капли воды похожей на княжну?

— А, это Таня! Ну, это сходство действительно бросается в глаза при первом взгляде, но когда ты приглядишься к этой девушке, то, конечно, убедишься, что у княжны с нею далеко не одни и те же лицо и фигура.

— Может быть, но меня сразу поразило это сходство.

Друзья пробыли в Зиновьеве долее обыкновенного и вернулись домой поздним вечером, в самом хорошем расположении духа.

— Твоя невеста прямо восхитительна. И как она любит тебя! — сказал граф Свиридов, ложась спать.



— Да, голубчик, я счастлив, так счастлив, что мне становится страшно. Видишь ли, мне кажется, что на земле не может и даже не должно быть такого полного счастья, что оно непременно будет чем-нибудь омрачено.

— Что за мысли? Перестань! Ты просто так расстроил свои нервы, что тебе во всем и везде кажется, что вот-вот должно случиться какое-нибудь несчастье. Это болезненно, мой друг, и тебе следует самому взять себя в руки и не допускать подобных мыслей в голову.

— Как же не допускать, когда они лезут без моего спроса? Вот и теперь. Мы так прекрасно провели сегодняшний день, вернулись в таком хорошем настроении, а я ложусь и думаю: что-то будет завтра? Мне ведь уже давно кажется, что должно случиться что-нибудь такое, что будет совершенно неожиданно и притом ужасно.

— Полно говорить пустяки!

— Эта мысль гнетет меня со дня открытия этого павильона. Несмотря на все самоубеждения, я не могу отделаться от воспоминания слов призрака. И, знаешь, сегодня меня особенно томит какое-то тяжелое предчувствие.

— Плюнь, не думай!

— Ну, хорошо! Покойной ночи! — и князь погасил свечу.

Однако тяжелое предчувствие, оказалось, не обмануло его. Обоих приятелей разбудили в шестом часу утра.

— Князь, ваше сиятельство! Извольте проснуться! — вбежал в спальню камердинер. — Несчастье в Зиновьеве.

— Что? Какое несчастье? — воскликнул князь Луговой.

— Ее сиятельство княгиня и горничная княжны убиты.

— А княжна? — не своим голосом закричал князь Сергей Сергеевич.

— А княжна пропала.

— Лошадей... Оседлать...

Оба друга вскочили и как безумные смотрели друг на друга.

— Неужели начинается? — произнес князь Луговой.

Граф Свиридов сделал над собой страшное усилие, чтобы освободиться от неприятного впечатления, произведенного словами друга, и произнес:

— Успокойся, узнаем все на месте. Быть может, все преувеличено.

— Ах, не говори. Может быть, и княжна убита, но ее труп не нашли. Ах, недаром у меня было вчера такое тяжелое предчувствие.

Князь Сергей и граф Свиридов быстро оделись и во весь опор поскакали по дороге в Зиновьево.

Там ожидало князя все же несколько успокаивающее известие: княжну Людмилу в одном ночном белье нашли в саду в кустах, лежавшую без чувств. Дворовые девушки отнесли ее в ее комнату, где она была приведена в чувство, но вскоре снова впала в забытие.

— Конечно, ей ничего не сказали о несчастье? — спросил князь Федосью, докладывавшую ему о княжне.

— Конечно, нет, ваше сиятельство!

Несчастье на самом деле было ужасно.

Воспользовавшись тем, что подгулявшие дворовые люди все были в застольной избе и в доме оставались лишь княгиня, княжна и Таня, неизвестный злодей проник в дом и ударом топора разможил череп княгине Вас-

се Семеновне, уже спавшей в постели, потом проникнул в спальню княжны, на ее пороге встретился с Таней и буквально задушил ее руками, сперва надругавшись над нею. Она была найдена мертвою, лежавшей на полу около комнаты княжны Людмилы. Кругом валялись клочья ее платья и белья. Злодей сорвал с нее всю одежду.

Картина этого зверского убийства и насилия, представившаяся обоим друзьям, заставила их задрожать.

Трупы до прибытия властей лежали там, где были обнаружены, только тело Тани Берестовой прикрыли простыней.

Княжна Людмила спаслась каким-то чудом. По всей вероятности, она услышала шум в соседней комнате, встала с постели, приотворила дверь и, увидев ужасную картину, выскочила в открытое окно в сад, бросилась бежать куда глаза глядят, а затем, упав в изнеможении в кустах, лишилась чувств.

— А ты где была в это время? — спросил князь Сергей Федосью, рассказавшую все вышеизложенное и показавшую приезжим господам трупы своей госпожи и Тани.

Федосья залилась слезами.

— Попутал меня бес, окаянную, тоже в застольную пойти. Ирод Михайло плясал там под гармошку. Загляделась я на старости лет да заслушалась, ну, рюмочку для праздничка лишнюю тоже выпила. До самой смерти не замолить такого греха.

— Ради Бога, охраняй княжну, — с дрожью в голосе обратился к ней князь Сергей Сергеевич. — Главное, подготовьте ее исподволь к известию о смерти матери и Тани.

— Слушаю-с, ваше сиятельство. Подготовлю.

Оба друга остались в Зиновьеве до вечера и дождались прибытия командированного из Тамбова чиновника для производства следствия. Князь Луговой боялся, чтобы последний не вздумал допрашивать еще не оправившуюся княжну Людмилу и таким образом не ухудшил состояния ее здоровья.

Нескольких минут разговора с чиновником было достаточно, чтобы уладить дело в желательном для князя смысле.

— Будьте покойны, ваше сиятельство, княжны я не потревожу теперь. Зачем трево-

жить? И без того горя у нее много, испуг такой, — заявил чиновник.

— Когда окончите свое дело, приезжайте ко мне, в Луговое, я сумею поблагодарить вас, — сказал князь и, отдав еще раз приказание Федосье не отходить от барышни, вместе с другом уехал к себе.

Они ехали обратно почти шагом. Князь был задумчив и молчал.

— Какое страшное злодеяние! — воскликнул после довольно продолжительного молчания граф Петр Игнатьевич. — Я не могу понять одно: какая причина... Быть может, она была очень строга...

— Кто, княгиня? Да ее все любили как родную мать! Строга! Что такое строга. Она действительно была строга, но только за дело, а это наш крестьянин и дворовый не только любят, но и ценят.

— Страшно, — задумчиво произнес граф Свиридов.

— Прямо загадочное преступление. Ну, за что убита Таня?

— Она-то просто под руку подвернулась... Злодей шел убивать княжну...

— Едва ли этому чинуше удастся до чего-нибудь доискаться.

— Я тоже сильно сомневаюсь в этом.

Однако мнения друзей о «чинуше» оказались ошибочными. Когда на другой день утром князь один поехал в Зиновьево, то застал там производство следствия в полном разгаре.

— Что княжна? — были первые его слова.

— Сегодня на заре изволили прийти в себя и даже скушать молока, но еще слабы, теперь започивали... — доложила Федосья.

— Она знает?

— Они все знают... Видели, как злодей душил Таню.

— А о матери?

— Я им осторожно доложила. Княжна поглядела на меня так жалостливо и промолчала... Видно, горе-то таково, что слез нет... Смекаю я, они не в себе... рассудком помутились...

— А обо мне княжна не спрашивала? — продолжал Луговой.

— Никак нет-с.

Князь сделал движение губами, как бы со-

бираясь что-то сказать, но промолчал; он хотел приказать Федосье провести его к княжне, но не решился.

«Это может еще более взволновать ее, — подумал он, — пусть успокоится... Быть может... Господь милосерд».

Князь уехал.

В тот же вечер в Луговое явился производивший следствие чиновник.

— Ну что, придется предать дело воле Божией? — спросил его граф Свиридов.

— Никак нет-с... Убийца известен, но скрылся.

— Кто же это?

— Никита Берестов, известный в Зиновьеве под прозвищем «беглый», отец убитой Татьяны.

— Отец! — воскликнули в один голос граф Свиридов и потрясенный ужасом подобного сообщения князь Луговой.

— Как вам сказать, ваше сиятельство, он ей отец и не отец, — и чиновник рассказал обоим друзьям всю историю беглого Никиты, записанную им со слов свидетелей и уже известную нашим читателям.



— Значит, это убийство из мести? — заметил граф.

— Несомненно! — ответил чиновник. — Княгине Берестов мстил за жену, а Татьяну убил как дочь князя от его жены.

— Вот почему княжна и эта девушка были так похожи друг на друга! — обратился граф к другу, задумчиво сидевшему в кресле у письменного стола.

— Это действительно ужасно! — задумчиво произнес князь, как бы отвечая скорее самому себе, а не своим собеседникам.

Чиновник рассказал еще некоторые более интересные подробности только что оконченного им следствия и при этом добавил, что княжна Людмила Васильевна хотя несколько и поправилась, но не выходит из своей комнаты, и он не решился беспокоить ее.

— Надо будет приехать в другой раз, — меланхолически заметил он.

— Я дам вам знать, когда будет можно, — встрепенулся князь Сергей Сергеевич. — Дайте ей совершенно оправиться; напишите ваш адрес, по которому я мог бы послать нарочно. Вот чернила и перья.

Чиновник сел за письменный стол, написал требуемые сведения и стал прощаться. Он уехал довольный поднесенным ему князем денежным подарком.

Друзья остались одни, но остальной вечер и ночь прошли для них томительно-долго. Разговор между ними не клеился. Оба находились под гнетущим впечатлением происшедшего. Поужинав без всякого аппетита, они отправились в спальню, но там долго лежали без сна на своих постелях, молча каждый думая свою думу.

Между тем в Зиновьеве тела убитых княгини и Тани обмыли, одели и положили под образа — княгиню в зале, а Татьяну — в девичьей.

К ночи прибыли из Тамбова гробы, за которыми посылали нарочного. Вечером, после отъезда чиновника, отслужили первую панихиду и положили тела в гроб.

Об этой панихиде не давали знать князю Луговому, и на ней не присутствовала княжна Людмила.

Князь Сергей Сергеевич и граф Свиридов прибыли на другой день к утренней панихи-

де. К ее началу вышла из своей комнаты и княжна. Она страшно осунулась и побледнела. Князь пошел к ней навстречу. Она церемонно присела ему, не поднимая на него взора. Он хотел высказать ей свое сочувствие, но язык не повиновался ему — таким безысходным горем, недоступным человеческому утешению, веяло от всей ее фигуры. Его сердце больно сжалось, и он остановился рядом со своей невестой, так же церемонно приветствовавшей и его друга.

Панихиды служили по очереди: сперва в зале у гроба княгини, а затем в девичьей, у гроба Татьяны Берестовой.

«По окончании служб я улучу минуту, чтобы переговорить с нею», — мелькнуло в уме князя Сергея Сергеевича.

Но на этот раз ему это не удалось. При конце второй панихиды княжна упала без чувств на руки следившей за нею Федосьи. С помощью дворовых девушек ее унесли в ее комнату, и там она осталась лежать в забытьи.

Князь, вернувшись в Луговое в сопровождении своего друга, тотчас послал лошадей в Тамбов за доктором, приказав того доставить

к нему в имение.

— Я сам с ним поеду в Зиновьево, — высказал он свои соображения графу Свиридову.

— Это, конечно, будет лучше, — заметил тот. — Кстати, — добавил он, — прикажи запрягать и моих лошадей; мне надо быть завтра в Тамбове.

— Зачем? — взволновался князь. — Ты меня оставляешь?

— Ведь я не могу утешить тебя. Ты именно в таком состоянии, когда человеку надо быть одному, когда тяжело иметь возле себя даже самого близкого друга. Я понимаю это, мне тоже тяжело, что я своим приездом как будто принес тебе несчастье.

— Что за вздор! Я сам заслужил его.

— Но ведь любимая тобою девушка жива.

— Что же из этого? Свадьбу придется отложить на год, а год — много времени. Кроме того, Людмила стала совсем другой.

— Не можешь же ты требовать от нее, чтобы она была весела и довольна. Подумай сам: перенести для молодой девушки такое несчастье, взглянуть в глаза смерти. Да ведь и мы с тобою заболели бы, а не то что она, слабая де-

вушка.

— Это ты верно. Я сам начинаю мешаться. Я это чувствую.

— Успокойся, сообрази все наедине и после похорон поговори с нею о будущем. Быть может, она согласится переехать в Петербург и отдаться в качестве твоей невесты под покровительство государыни.

— Вот спасительная мысль! — воскликнул князь, просветлев. — Я поговорю с нею об этом и прямо настою на этом по праву жениха. Не может же она оставаться на год в Зинovieве, где все ей будет напоминать ужасное происшествие. Это было бы безумие!

— А меня все же ты отпусти. Мне надо окончить еще все дела в Тамбове, да пора и в Петербург. Приезжай и ты скорей туда со своей невестой. А пока помни: перемелется все — мука будет. Время — лучший врач. Вы оба любите друг друга. Если Бог попустил умереть княгиню такой страшной смертью — Его святая воля, надо примириться. В Петербурге год пролетит незаметно — и вы будете счастливы!

— Кабы твоими устами да мед пить.

Граф приказал своему лакею укладываться и вскоре, простившись с другом, покати́л в Тамбов.

Князь Сергей остался один. Он пошел бродить по парку и совершенно неожиданно для самого себя очутился у рокового павильона. Войдя в него, он сел на скамейку и задумался.

Мысли одна другой безотраднее неслись в его голове. С горькой улыбкой вспоминал он утешения только что покинувшего его друга.

«Началось! — упорно мысленно твердил он. — Только началось. И еще будет. Но что? Вот страшный вопрос!» «Адские силы против вас!» — вспомнил князь Сергей слова призрака.

Как бороться с этими силами? С какой стороны они направят свои удары? Разве третьего дня, уезжая из Зиновьева, оставив всех там веселыми и здоровыми, он мог ожидать, что в ту же ночь рука злодея покончит с двумя жизнями и что его невеста будет на волосок от смерти? Так и теперь! Разве он может быть спокойным хотя минуту? Может ли быть он уверен, что если не злодей, то сама смерть не отнимет у него дорогую жизнь его невесты,

видимо потрясенной и нравственно, и физически?

Пред ним восставал образ княжны Людмилы в траурном платье, какую он видел ее сегодня утром.

«Ведь краше в гроб кладут», — мелькнуло в его голове.

Однако, подобно светлomu лучу, вдруг озаряющему непроглядную тьму, князю Луговому вспомнились слова графа Петра Игнатьевича: «Как она любит тебя!» Он стал вспоминать слова княжны Людмилы, выражение ее прекрасного лица, все мелочные детали обращения с ним, все те чуть заметные черточки, из которых составляются целые картины.

Картина действительно составилаь и была упоительна для князя Сергея. Он глубоко убедился в той, что княжна точно любила его, а если это было так, то он был охранен от действия адских сил. Провидение, видимо, для этого спасло его Людмилу.

«Она не в себе. Помутилась!» — вдруг пришли ему на память слова Федосьи, и он ужаснулся этому.

Что, если действительно княжна сошла с

ума от испытанного потрясения? Ведь тогда все кончено.

И снова мрачные мысли темными силуэтами стали проноситься пред Луговым, и его тревожное состояние то увеличивалось, то уменьшалось; это была положительно лихорадка отчаяния.

Так прошло время до вечера. Князь вошел в свою спальню и с каким-то почти паническим страхом посмотрел на сделанную постель. Он чувствовал, что благодетельный и умиротворяющий сон не будет его уделом нынешнюю ночь, и стал ходить по комнате.

Вдруг его взгляд упал на висевший у его постели образок Божией Матери в золотой ризе, которым благословила его покойная мать при поступлении в корпус, и он спустя минуту уже стоял на коленях у постели и горячо молился.

В детстве его учила молиться мать, которая была глубоко религиозной женщиной и сумела сохранить чистую веру среди светской шумной жизни. Князь помнил, что он когда-то ребенком, а затем мальчиком любил и умел молиться, но с годами, в товарище-



ской среде и в великосветском омуте тогдашнего Петербурга, утратил эту способность. Однако разразившийся теперь над ним удар заставил его обратиться к Тому Высшему Существо, о Котором он позабыл в довольстве и счастье, в гордом, присущем человеку, сознании, что жизнь зависит от него самого, что он сам для себя может создать и счастье, и несчастье.

Богатый, знатный, молодой баловень света, он не знал препятствий для исполнения своих желаний, даже своих капризов. По мновению его руки все, казалось, были только тем и озабочены, чтобы доставить ему приятное, чтобы окружить его всевозможным комфортом. Встреча с красавицей княжной, без труда и без борьбы сделавшейся его невестой, довершила самообольщение. И вдруг...

Тревога и страх объяли князя Сергея. Это чувство усугублялось еще, видимо, связанными с разразившимся над головой князя ударом таинственными происшествиями и предсказаниями. Князь окончательно потерял голову.

«Началось!» — это слово, выражавшее пол-

нейшую покорность ударам судьбы, окончательно лишило князя нравственных и физических сил.

Взгляд, случайно брошенный на икону — благословение матери, — сразу изменил его душевное настроение. Он упал на колени в горячей молитве. Однако его уста не шептали слов. Это была молитва души, та подкрепляющая молитва, которая не требует ни человеческого ума, ни человеческого языка; это было твердое упование на неизреченную милость Бога, покорность Его воле.

Слезы неудержимо текли из глаз князя, но это были не слезы безысходного отчаяния, которое еще так недавно владело его душой, а покорные слезы ребенка пред своей горячо любимой и беззаветно любящей матерью.

Молитва совершенно переродила и успокоила князя.

— Да будет воля Твоя! — прошептал он в постели и заснул спокойным сном.

## XI

### НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ

Через два дня состоялись похороны несчастных жертв страшного злодеяния.

Все соседние помещики, все тамбовские власти, во главе с наместником и почетными лицами города, явились отдать последний долг титулованной помещице, погибшей такой трагической смертью. Большинство, конечно, было привлечено к исполнению этого долга не чувством к покойной, а любопытством присутствовать при одном из актов трагедии жизни с романическим оттенком, придаваемым положением осиротевшей княжны-невесты. (Слухи о том, что князь Луговой объявлен женихом княжны Полторацкой, уже успели облететь чуть ли не все наместничество.) Все приехавшие в Зиновьево рассыпались пред Луговым в своих сожалениях и тревогах за будущее несчастной сироты княжны.

— Я думаю, что государыня согласится заменить ей мать, как моей невесте, — отвечал Сергей Сергеевич.

— Это более чем нужно, — замечали сочувствующие.

Княжна Людмила, которую также донимали радетели о ее будущей судьбе, отделялась полусловами и короткою благодарно-

стью. Любопытные оставались далеко не удовлетворенными ею.

— Гордячка! — заключали некоторые, другие же, качая головой, говорили:

— Кажется, испуг сильно подействовал на нее. Она какая-то странная, совершенно непохожа на себя.

Это мнение долетело до ушей Лугового и заставило болезненно сжаться его сердце.

«Неужели Федосья права и княжна помутилась?» — подумал он.

Хотя с момента искренней молитвы в душу князя Сергея снизошло необычайное спокойствие и он, весь предавшись воле Божьей, не отчаивался и не волновался, все же участь любимой девушки не могла быть для него безразличной. Его мучило главным образом то, что он до сих пор не имел возможности перекинуться с нею даже словом.

Прибывший из Тамбова доктор осмотрел больную и хотя успокоил Сергея Сергеевича за исход нервного потрясения, но был так сосредоточенно глубокомыслен, что его успокоительные речи теряли, по крайней мере, половину своего значения. Кроме того, он без-

условно запретил говорить с княжной о чем-нибудь таком, что могло бы взволновать ее.

— Мне надо будет переговорить с нею о будущем. Ей надо как-нибудь устроиться, — возразил князь.

— Надо подождать, ваше сиятельство, хоть несколько дней.

Князь вздохнул — приходилось подчиниться.

Он с радостью увидел, что княжна в день похорон, видимо, чувствовала себя бодрее. Она разговаривала с некоторыми из подхлудивших к ней, с князем поздоровалась менее холодно и даже протянула ему руку.

Он почтительно поцеловал последнюю, но, Боже, сколько стоил ему этот почтительный поцелуй! Ему хотелось бы осыпать горячими поцелуями эту дорогую руку, однако расстроенный вид девушки и присутствие посторонних лиц заставило его сдержаться, что причиняло ему страшные страдания.

Глубоко потрясающая была картина, когда поднятые на руках гробы с жертвами убийцы вынесли из дома и процессия потянулась к сельской церкви села Зиновьева. Впереди

несли богатый гроб, в котором покоились останки княгини Вассы Семеновны. За ним шла княжна, опираясь на руку князя Лугового, как своего жениха, а далее следовали многочисленные провожатые. В хвосте печальной процессии дворовые девушки несли простой дощатый гроб с телом несчастной Тани Берестовой, самоотверженно погибшей у порога комнаты своей госпожи-подруги. За ней шла небольшая кучка дворовых и крестьян.

В довольно просторной деревянной церкви Зиновьева было приготовлено возвышение невдалеке от амвона, и на него поставили гроб с прахом княгини Полторацкой. Сзади него нашел себе место гроб с телом дворовой девушки.

По окончании заупокойной литургии и отпевания гроб с телом княгини Полторацкой был опущен в родовой склеп Зиновьевых, где шестнадцать лет тому назад нашел себе упокоение и муж Вассы Семеновны, а Таню Берестову похоронили на кладбище при церкви, и над ее могилой водрузили большой черный деревянный крест с белой надписью, гласившей с одной стороны: «Здесь лежит тело рабы

Божьей Татьяны Никитиной Берестовой», с другой: «Упокой, Господи, душу ее в селениях праведных».

После того как гроб опустили в могилу, все приглашенные возвратились в дом, где был уже накрыт поминальный обед. Для дворовых людей был накрыт стол в застольной, а для крестьян — на дворе.

Княжна несколько раз в церкви лишалась чувств и наконец была замятво унесена с кладбища, так как в момент опускания гроба с телом ее матери в склеп с нею сделался истерический припадок. Князь Луговой, в качестве жениха молодой хозяйки, распорядился за поминальным обедом. Однако по окончании обеда княжна снова появилась среди гостей, которые уже начали разъезжаться.

— Могу я остаться побеседовать с вами? — улучив минуту, спросил ее Луговой.

— Не сегодня, князь! Я положительно еле стою на ногах.

Князю Сергею оставалось только откланяться, и он уехал домой.

Несколько дней подряд он ездил в Зиновьево с целью переговорить с княжною, но та

не принимала его.

— Что с нею? Она больна? — допытывался он у Федосьи.

— Слабы очень, а не то чтобы больны были, — докладывала Федосья, — немножко по-сидят, а все больше в постельке. Каждый день плачут. Да и как не плакать? Ведь такое горе!

— Это верно, но...

Князь не закончил своей фразы.

— Я вовсе не узнаю ее сиятельства. Словно подменили ее, — продолжала между тем Федосья. — Точно она, и точно не она.

— Какой ты вздор мелешь? В чем же ты находишь перемену?

— Да, к примеру сказать, хоть относительно вас, ваше сиятельство: еще с неделю тому назад только вы у нее и на языке были, теперь же следовало бы им вас принять, а они: «Не могу да не могу!» И какая тому причина, ума не приложу.

— Пусть отдохнет, выплачется, — со вздохом ответил князь. — Иди к ней и, главное, ничем не раздражай ее. Если княжна спросит обо мне, то скажи, что я был несколько раз и прошу ее уведомить, когда она может при-



нять меня.

Князь Сергей уехал и действительно целую неделю не показывался в Зиновьеве, ограничиваясь ежедневной присылкой нарочного «справиться о здоровье ее сиятельства». Наконец посланный вернулся с утешительным известием, что княжна чувствует себя лучше и просит его завтра пожаловать.

Князь Сергей не спал всю ночь, дожидаясь часа желанного свидания.

Княжна Людмила приняла его в бывшем кабинете покойной матери.

«И она, и не она!» — мелькнуло в уме Лугового выражение Федосьи, неодобрительно высказавшейся об изменившихся отношениях княжны к нему, ее жениху.

Хотя он тогда прекратил этот разговор, но слова старой служанки запали в его голову, и он часто возвращался к воспоминанию о них. В конце концов ему стало казаться, что он нашел причину перемены княжны к нему. Пораженная обрушившимся несчастьем, она, очевидно, приписала его легкомысленному поступку князя, который из простого любопытства, из желания угодить ее капризу от-

крыл роковой павильон. Удар за это нарушение дедовского завета поразил ее, как близкое к нарушителю существо, как невесту его, князя Лугового. Естественно, что она, и нравственно, и физически разбитая последствием, не могла отнестись равнодушно к причине своего несчастья — князю — и обвиняла его.

«Конечно, это пройдет со временем, — думал князь Сергей. — Не может же она не рассудить, что у меня не было в данном случае ни желаний, ни даже помышления причинить ей зло. Она ведь знает, как я люблю ее, знает, что я готов пожертвовать для нее жизнью. Разорвать отношения только вследствие этой сумасбродной мысли было бы сумасшествием».

Утром и вечером князь Сергей молился; молитва укрепляла его, поселяла надежду в его истерзанном сердце; он терпеливо ждал свидания, которое должно было, по его мнению, разъяснить все, и наконец дождался его.

Княжна Людмила встала с кресла при входе его в кабинет и пошла к нему навстречу усталой походкой. Князь наклонился к ее руке и горячо поцеловал ее. Чуть заметная

усмешка мелькнула на побелевших губах княжны.

— Садитесь, князь! — тихо сказала она.

Луговой не узнал ее голоса, но повиновался и, только сев в кресло против княжны, взглянул на нее. Она чрезвычайно изменилась: бледная, худая, с опухшими от слез глазами, она была неузнаваема.

— Княжна, поберегите себя! — невольно вырвалось у него восклицание.

— Зачем? — почти шепотом начала она. — Судьба отняла у меня двух самых близких мне людей — мою мать, которую я боготворила, и Таню, которая была моей подругой детства и которую я так любила.

— Вы забываете, княжна, что есть еще один человек, который готов умереть за вас! — заметил князь Сергей.

— Я не забываю этого, князь, и благодарю вас. Но судьба, видно, против того, чтобы этот человек сделался мне близким... по крайней мере, в скором времени. Вы, конечно, понимаете, что после всего случившегося нельзя думать о свадьбе ранее истечения года.

— Я понимаю это, — упавшим голосом про-

говорил князь.

— А год — много времени. Может все перемениться. Вы уедете в Петербург.

— Я полагал, что и вам следовало бы ехать туда же. Жизнь здесь, полная тяжелых воспоминаний, невысказанна.

— Вы правы, я тоже поеду туда.

— В качестве моей невесты государыня не откажет взять вас под свое покровительство.

— С этим я не согласна, князь. Что будет через год, я не знаю; если вы не изменитесь в своих чувствах и возобновите ваше предложение, я, быть может, приму его, но теперь я освобождаю вас от вашего слова и надеюсь, что вы освободите меня. Я написала дяде и найду покровительство государыни могу в качестве его племянницы или даже просто в качестве княжны Полторацкой.

Князь не верил своим ушам. Он сидел бледный, уничтоженный.

Княжна Людмила заметила впечатление, произведенное на жениха ее последними словами, и ей, видимо, стало жалко его.

— Это не разрыв, а только необходимая отсрочка, — сказала она.

Князь Сергей, казалось, не слышал этих слов. Он продолжал смотреть на княжну почти безумными глазами и, только через несколько минут овладев собою, произнес:

— Вы отказываете мне в вашей руке, княжна?

— Ничуть. Я повторяю вам, что это лишь неизбежная отсрочка. Вы сами согласитесь со мною, что до истечения года траура не может быть речи о свадьбе. Вместе с тем целый год быть женихом и невестой будет стеснительно и для меня, и для вас.

Князь Сергей сделал жест возражения. Княжна остановилась, видимо желая дать ему высказаться, но он молчал. На его лице проходили тени, указывавшие на переживаемые им внутренние страдания.

— Я не говорю, что отказываюсь быть вашей женой, — продолжала княжна, — я только против того, чтобы это было оглашено преждевременно и таким образом наложило на меня и на вас трудно разрываемые путы. Лучше будет, если мы будем свободны. Вы уедете в Петербург, я приеду туда же. Мало ли с кем столкнет вас и меня судьба? Мало ли

что и меня, и вас может заставить изменить решение?

— Только не меня, княжна!.. — с необычайным волнением сказал Луговой.

— Дай Бог!.. Быть может, и я не изменюсь к вам, и тогда наш союз пред Богом будет совершенно свободным, а не вынужденным обстоятельством, принятым за год вперед.

— Ваша воля, княжна!.. — после некоторой паузы произнес князь Сергей, и в тоне его голоса слышалось отчаяние.

— Я знала, что встречу в вас сочувствие моему плану. С вашей стороны было бы невеликодушно воспользоваться словом девушки, ничего и никого не выдавшей, и, таким образом, взять на себя тяжелую ответственность в случае, если она после венца сознает свою уже непоправимую ошибку... Я много думала об этом в эти дни и рада, что не ошиблась в вас. Год жизни в Петербурге будет достаточен для меня, чтобы я узнала свет и людей и сознательно решила свою участь. Я думаю, князь, что пальма первенства останется все-таки за вами.

Княжна протянула ему руку, однако Луго-

вой не заметил этого движения ее и сидел в глубоком раздумье.

Людмила Васильевна убрала руку и спросила с особым ударением:

— А ваш друг?

— Он уехал, — вышел из задумчивости князь. — Ему необходимо было быть в Тамбове, а оттуда он спешит в Петербург.

— Мне очень жаль, что не удалось проститься с ним, — заметила княжна.

Князь Сергей быстро и внимательно посмотрел на нее. Она сидела с опущенным взглядом. В глазах князя мелькнул ревнивый огонек. У него явилась мысль, что уж не графу ли Свиридову обязан он изменившимся к нему отношением княжны Людмилы. Нехорошее чувство шевельнулось в его душе к другу, но он тотчас же мысленно осудил себя за это чувство.

«Нет, это не то, — неслось в его голове, — просто она считает меня обреченным на несчастье и хочет так или иначе отделаться от меня».

Эта мысль холодила ему сердце, но самолюбие вступило в свои права, и князь не на-

шел возможным просить любимую им девушку изменить ее решение.

«Будь что будет!» — решил он и деланно холодно произнес:

— Граф Свиридов, конечно, с вашего позволения, не преминет сделать вам визит в Петербурге.

— Я буду рада, — уронила княжна.

— Я передам ему. Я еду завтра в Тамбов, а затем вместе с графом в Петербург, — продолжал князь.

— Значит, до свиданья на берегах Невы! — быстро встала княжна.

Луговому снова понадобилось много силы воли, чтобы остаться наружно спокойным, когда горячо любимая им девушка так явно выразила свою радость при известии, что он уезжает из Лугового. Он рассчитывал, что княжна выразит хотя бы сожаление о его отъезде или попросит его повременить этим отъездом, чтобы помочь ей устроить дела по имению. И вдруг она почти прогоняет его! Однако, сделав над собою усилие воли, он встал и сказал упавшим голосом:

— До свиданья, княжна!



— До свиданья, до лучших времен. Простите, князь, что, быть может, я невольно действовала не так, как вы бы того хотели. Вы сами, раздумав, убедитесь, что я права, предложив вам не связываться до поры до времени ни себя, ни меня.

— Не утешайте меня, княжна, — не выдержал наконец Сергей Сергеевич, — я не нуждаюсь в этом утешении, хотя не скрою от вас, что ваше решение до боли сжало мне сердце. Но я не хочу навязываться вам в мужья, и если вы действительно желаете испытать меня и себя, то я преклоняюсь пред этим решением и не боюсь, со своей стороны, этого испытания; если же вы избрали этот путь, как деликатный отказ в вашей руке, то и в этом случае мне остается только покориться вашей воле и ждать, когда для меня станет ясно то или другое ваше намерение... До свидания!

Княжна подала ему руку. Луговой поцеловал ее, на этот раз с далеко не деланною холодною почтительностью, и вышел.

Он не помнил, как добрался до Лугового, и только в тиши своего кабинета стал обдумывать свое положение.

Любимая им девушка видимо старалась отделаться от него, и, таким образом, он снова был свободен, снова одинок.

«Твое спасение в любимой девушке», — пришли ему на память слова призрака, и он тотчас подумал:

«Теперь, значит, спасенья нет... Ну, будь что будет!.. Да будет воля Твоя, Господи!»

На князя напало хладнокровие обреченного человека.

Для того чтобы еще более успокоиться, ему надо было переменить место. Поэтому он отдал приказание готовиться к отъезду и назначил его на следующий день.

По въезде в Тамбов князь приказал прямо ехать к графу Свиридову, в бывший дом графини Загряжской.

Граф Петр Игнатьевич был дома и, увидев в окно экипаж Лугового, выбежал на крыльцо.

— Что с тобой? Что случилось? — встретил он друга восклицанием.

Действительно, князь Сергей страшно осунулся и исхудал. Его глаза получили какой-то тревожный, лихорадочный блеск.

— Говори же, говори! — озабоченно спросил его граф, вводя в угловую большую комнату, служившую ему кабинетом и спальней.

— Ничего особенного, — нехотя ответил князь.

— Ты со мной не хитри. Если бы не случилось ничего особенного, ты, во-первых, не уехал бы из Лугового чуть ли не в погоню за мной, а во-вторых, не имел бы такого страшного вида. Ведь на тебе лица нет.

— Я просто устал с дороги, — деланно хладнокровно ответил князь, опускаясь действительно с видом крайнего утомления на диван, крытый тисненым коричневым сафьяном.

— Нет, брось томить меня! Говори, что случилось?

— Говорю тебе, что ничего особенного. Княжна Людмила Васильевна находит это даже разумным и полезным.

— Ты говорил с нею? Что же она?

— Она просила до истечения года траура забыть, что я и она — благословленные ее покойной матерью жених и невеста.

— Вот как? — удивился граф. — Почему же

это?

Луговой передал свой разговор с княжною, каждое слово которого глубоко и болезненно запечатлелось в его памяти. Граф слушал его внимательно, медленно ходя из угла в угол комнаты, а когда князь кончил, выразил свое мнение не сразу.

— Знаешь что, — начал он, сделав сперва молча несколько концов взад и вперед по комнате, — она отчасти права. Проведи она этот год в деревне, конечно, у нее не могло бы и явиться мысли, что она может предпочесть тебя кому-нибудь другому. Но она решилась поехать в Петербург и там, на самом деле, быть может, встретится с человеком, который произведет на нее большее, чем ты, впечатление. Неужели тебе было бы приятно, если бы она вышла замуж за тебя только действительно в силу обязательства, принятого на себя за год до свадьбы?

— Избави Бог! — воскликнул князь Сергей. — Я вполне понял ее и согласился с нею; но ты, кажется, понимаешь, что от всего этого я не могу ощущать особое удовольствие.

— Это я понимаю. Но будь мужчиной. При-

зови наконец на помощь свое самолюбие!

— Я все это сделал. Я здесь и отсюда еду с тобой в Петербург.

— Вот это — дело! Женщины любят только тех, кто ими пренебрегает. Истинной любви, восторженной привязанности, безусловной верности они не ценят. Им, вероятно, начинает казаться, что мужчиной, который так дорожит ими, не дорожат другие женщины. Они начинают искать в обожающем их человеке недостатки и всегда, при желании, если не находят их, то создают своим воображением. Считая такого мужчину своею неотъемлемою собственностью, они привыкают к нему, и он им надоедает.

— Ну, все это едва ли может относиться к княжне, еще не искушенной светом. Она просто влюбилась в другого и не смела сказать об этом матери.

— В другого? В кого же? — спросил граф.

— В тебя! — в упор сказал ему князь Сергей.

— Ну, брат, ты действительно помутился рассудком.

— Не смейся. Я не ревную: доказатель-

ством этого служит то, что я приехал прямо к тебе. Ты не виноват в чувстве, которое поселил в княжне, но это — ты. Я заметил это сегодня, когда она спрашивала о тебе.

— А она спрашивала? — с плохо подавляемым волнением спросил граф Свиридов.

— Да, и даже очень жалела, что не успела проститься с тобой, выразила желание, чтобы ты посетил ее в Петербурге.

— Это простая любезность, — с деланным равнодушием бросил граф Петр Игнатьевич. — Я даю тебе слово, что до тех пор, пока ты сам не откажешься от нее и не скажешь об этом мне, я не подам тебе повода ревновать ко мне. Если хочешь, я даже буду избегать встречи с нею.

— Зачем? Поставленные тобою препятствия будут только разжигать ее чувство. Будь что будет! Переменим этот разговор.

От ревнивого, зоркого взгляда князя Сергея Сергеевича не ускользнуло впечатление, произведенное на графа его сообщением, что княжна Людмила Васильевна влюблена в него.

«Он сам влюблен в нее. Да и как не быть в

нее влюбленным?» — неслось в его голове.

Приятели действительно переменили разговор, и граф стал рассказывать князю о своих тамбовских знакомствах и даже о легкой интрижке с одной из представительниц тамбовского света. Впрочем, интрижка оказалась непродолжительной, и друзья недели через полторы покатали в Петербург.

## XII В ПЕТЕРБУРГЕ

Петербург описываемого времени представлял собою город разительных контрастов. Рядом с великолепным кварталом стоял дикий лес, возле огромных палат и садов — развалины, деревянные избушки, построенные из хвороста и глины лачуги или пустыри.

Но всего поразительнее было то, что все это изменялось быстро, как бы по волшебству. Вдруг исчезали целые ряды деревянных домов и вместо них появлялись каменные, хотя и неоконченные, но уже населенные.

С точностью определить границы города было трудно. Границею считалась река Фонтанка, левый берег которой представлял предместья от взморья до Измайловского пол-

ка — «Лифляндское», от последнего до Невской перспективы — «Московское», и от Московского до Невы — «Александро-Невское». Васильевский остров по 13-ю линию входил в состав города, а остальная часть, вместе с Петербургской стороною, по речку Карповку, составляла тоже предместье.

В предместьях определялось строить дома: по набережной Невы каменные, не менее как в два этажа, а по Фонтанке можно было возводить и деревянные, но не иначе как на каменном фундаменте. Весь берег Фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож того времени.

Первый деревянный мост через Фонтанку был Аничков, сооруженный в 1715 году. Название он получил от прилегавшей к нему Аничковской слободы, построенной подполковником М.О.Аничковым. Позднее, в 1716 году, Аничков мост стал подъемным, и здесь были караульные дома для осмотра паспортов у лиц, въезжающих в столицу.

Возле этого моста, на правой стороне Фонтанки, на углу, где теперь кабинет его величества, стоял двор лесоторговца Д.Л.Лукьянова.



Он был куплен императрицей Елизаветою Петровною 6 августа 1741 года для постройки Аничковского дома для графа Алексея Григорьевича Разумовского.

Ранее этого императрица подарила Разумовскому дворец, в котором сама жила до восшествия своего на престол. Этот дворец был известен под именем «Цесаревина» и находился на Царицыном лугу, недалеко от Миллионной, на месте нынешних Павловских казарм.

По приобретении двора Лукьянова императрица Елизавета приказала гофинтенданту Шаргородскому, архитектору Земцову и его гезелям, чтобы они «с поспешением» исполняли подготовительные работы. Вскоре после того начали вбивать сваи под фундамент дворца, делать гавань на Фонтанке и разводить сад. Спустя три года были представлены императрице шестнадцать чертежей дворца. Елизавета Петровна одобрила план постройки каменных палат, и та была начата под наблюдением графа Растрелли.

В 1746 году императрица приказала поставить на крыше дворца два купола: один, с

крестом, на Невской перспективе, где предназначено было быть церкви, и для симметрии, на противоположной части дворца, — другой купол, на котором была утверждена звезда.

Аничковский дворец был очень большой, в высоту в три этажа и имел совершенно простой фасад. На улицу выходил на сводах висячий сад, равный ширине дворца.

Другой, обыкновенный дворцовый сад и службы занимали все пространство до Большой Садовой улицы и Чернышева моста, то есть всю местность, где теперь находятся Александринский театр, Екатерининский сквер, Публичная библиотека, здание театральной дирекции и дом против него, который принадлежит министерству внутренних дел, по Театральной улице.

Подъезд со стороны Фонтанки в былое время давал возможность подъезжать на лодке к ступеням дворца. На месте Александринского театра стоял большой павильон, в котором помещалась картинная галерея Разумовского, а в другой комнате, напротив, в том же павильоне, давались публичные концерты, устра-

ивались маскарады, балы и прочее.

За дворцом шел вдоль всей Невской перспективы пруд с высокими тенистыми берегами и бил фонтан. Там, где стоит Публичная библиотека, был питомник растений, позади шли оранжереи, по Садовой улице жили садовники и дворцовые служители, а на улицу, против Гостиного двора, стоял дом управляющего Разумовского, Ксиландера.

На другой стороне, на углу Невской перспективы и Большой Садовой улицы, находился дом Ивана Ивановича Шувалова, в то время только что оконченный и назначенный для жительства саксонского принца Карла. Шувалову принадлежал весь квартал, образуемый теперь двумя улицами — Екатерининской и Итальянской. В этой же местности, где теперь дом министерства финансов, помещалась Тайная канцелярия. При переделке последнего здания, в сороковых годах девятнадцатого столетия, были открыты неизвестно куда ведущий подземный ход, остовы людей, заложённых в стенах, орудия пыток, большой кузнечный горн и другие ужасы русской инквизиции.

В 1747 году Елизавета Петровна повелела выстроить церковь в новостроящемся дворце, что у Аничкова моста, и работы по устройству ее продолжались до конца 1750 года под надзором графа Растрелли, а торжественное освящение было совершено в 1751 году, в присутствии императрицы и всего двора, всеми жившими тогда в Петербурге архиереями-малороссами, приятелями графа Разумовского.

Елизавета Петровна, как известно, никогда не жила в Аничковском дворце, но по праздникам нередко посещала храм. В 1757 году она пожаловала весь дворец графу Алексею Григорьевичу Разумовскому «в потомственное владение».

Церквей в Петербурге было тогда немного. Все они были низкие, невзрачные, стены в них — увешаны вершковыми иконами, перед каждой горела свечка или две-три, отчего духота в церкви была невообразимая. Дьячки и священники накладывали в кадиланицы много ладана, часто подделанного, из воска и смолы, и к духоте примешивался и угар.

Священники, отправляясь кадить по церкви, держали себя так, что правая рука была

занята кадилъницею, а левая протянута к прихожанам, и те клали в нее посильные по-  
дачки; рука наполнялась, быстро опускалась  
в карман и опять, опорожненная, была к услу-  
гам прихожан.

Доходы священников в то время не отли-  
чались обилием: за молебн платили им три  
копейки, за всенощную — гривенник, за ис-  
поведь — копейку. Иногда прихожане присы-  
лали им к празднику муку, крупу, говядину и  
рыбу. Но для этого нужно было заискивать у  
прихожан. Если же священник относился  
строго к своим духовным детям, то сидел без  
муки и крупы и довольствовался одними пя-  
таками да грошами. А эти пятаки в ту пору  
далеко не могли служить обеспечением.

Случалось тогда и то, что во время богослу-  
жения являлся в церковь какой-нибудь пья-  
ный, но богатый и влиятельный прихожанин  
и, чтобы показать себя, начинал читать свя-  
щеннику нравоучения, и бедняк священник,  
нуждавшийся в его подачке, должен был вы-  
носить все эти безобразия. Иногда в церкви  
прихожане заводили между собою разговоры,  
нередко оканчивавшиеся криком, бранью и

дракой. Случалось также, что во время службы раздавался лай собак, забежавших в церковь, падали и доски с потолка. Деревянные церкви тогда сколачивались кое-как и отличались холодом и сыростью.

Торжественностью богослужения отличалась только одна придворная церковь. Императрица Елизавета очень любила церковное пение и сама певала со своим хором. К Страстной и пасхальной неделям она выписывала из Москвы громогласнейших дьяконов. Православие Елизаветы Петровны было искренне; из документов описываемого времени видно, что она не пропускала ни одной службы, становилась на клиросе вместе с певчими и в дни постные содержала строжайший пост.

Тогдашние руководители православия — архиепископ Феодосий и протоиерей Дубянский — были скорее ловкие, властолюбивые царедворцы, прикрытые рясою, нежели радеватели о благе духовенства. Закон того времени позволял принимать и ставить в духовный чин лиц из всех сословий, лишь бы нашлись способные и достойные к служению в церкви.

Из дел консистории видим в духовных чинах лиц всех званий: сторожей, вотчинных крестьян, мещан, певчих, купцов, солдат, матросов, концеляристов, как учившихся в школе, так и необучавшихся. Хотя указом еще от 8 марта 1737 года требовалось, чтобы в духовные чины производились лишь те, которые «разумели и силу букваря, и катехизиса», но на самом деле церковные причты пополнялись лицами, выпущенными из семинарии «по непонятию науки», или по «безнадежности» в «просодии», или «за урослием». Ставились на иерейские должности, и с такими рекомендациями: «школьному учению отчасти коснулся», или: «преизряден в смиренномудрии и трезвости», или: «к проповедаторскому делу будет способен».

Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство отличалось ужасною грубостью нравов. В среде его то и дело слышалась брань, происходили частые ссоры между собою и даже с прихожанами в церквах.

Впрочем, на главы виновных сыпались тяжкие кары. Духовенство не было освобождено от телесных наказаний, и потому вся-

кий, власть имеющий, считал себя вправе, без суда и расправы, по своему усмотрению, наказывать лиц духовного звания, не говоря уже об архиереях, по мановению которых хватали священника, тащили на конюшню и там нещадно били плетьюми и шелепами.

Церковное благочиние в то время редко соблюдалось. В церквях толпились юродивые «в кощунственных одеждах» и нищие, которые тут же в церкви собирали подаяние и тем развлекали молящихся. Впрочем, последние и сами без всякого благоговения относились к посещаемому ими храму, громко разговаривали и даже кричали.

Таково было положение церкви и духовенства в царствование Елизаветы Петровны.

Не большой порядок был и в самом Петербурге, и даже в его центральной части, где помещались дворцы.

Разбои и грабежи были тогда сильно распространены в самом Петербурге. Так, в лежащих вокруг Фонтанки лесах укрывались разбойники и нападали на прохожих и проезжих. В конце концов полиция обязала владельцев дач по Фонтанке вырубить леса,



«дабы вора́м пристанища́ не было». То же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге, на тридцать сажен в каждую сторону, «дабы впредь невозможно было разбойниками внезапно чинить нападения».

Были грабежи и на Невской перспективе, так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих «зол». Имеется также известие, что на Выборгской стороне, близ церкви Сампсония, в Казачьей слободе, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободу на другое место.

Бывали случаи грабительства, которые в судебных актах того времени назывались «гробокопательствами». Так, в одной кирке оставлено было на ночь тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирку, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскали и казнили смертью.

Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры, но они не достигали своей цели. Разбойников преследовали строго, сажали живыми на кол, вешали и под-

вергали другим страшным казням, а разбой не унимались. Одно подозрение в поджоге неминуемо влекло смерть.

Правосудие было поставлено очень плохо; в большинстве случаев действовали произвол и усмотрение, и чрезвычайное значение имела Тайная канцелярия. Сильно процветали облыжные показания и доносы; последние в то время делались даже самыми близкими людьми, например, женами на мужей и обратно; доносчики получали хорошие награды.

К замечательным постройкам описываемого времени, кроме упомянутых нами, должны относиться дома графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице (теперь Пажеский корпус), Орлова и Разумовского, ныне воспитательный дом, Смольный монастырь и составлявший резиденцию императорского дома Зимний дворец. Все эти постройки производились знаменитым итальянским зодчим графом Растрелли, выписанным из-за границы еще императором Петром I.

Постройки этого художника отличаются

особым характером величия, а в ряду лучших произведений зодчества XVIII столетия бесспорно первое место занимает Зимний дворец, построенный им при сотрудничестве двух лиц: «архитектургии гезеля» Федора Шапина и ученика Николая Васильева.

Первый Зимний дворец, в царствование императрицы Анны, был расположен в виде неправильного квадрата в четыре этажа, имел в длину шестьдесят пять, в ширину — пятьдесят и в высоту был одиннадцать сажен. Он занимал место, где при Петре I находился обширный дом адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина; по смерти которого дом, по завещанию, достался императору Петру II.

Императрица Анна Иоанновна решила жить в этом доме по возвращении из Москвы с коронации, а потому еще в декабре 1730 года приказала сделать пристройки к дому адмирала, как-то: церковь, четыре покоя для кабинета, четыре для мыльни, три для конфектных уборов и так далее. Работы были возложены на полковника Трезини, и он выполнил их в семь месяцев; к осени 1731 года все было готово для принятия государыни, и она,

вступив на крыльцо адмиральского дома, навсегда утвердила его дворцом русской столицы.

Однако, несмотря на сделанные пристройки, адмиральские палаты не могли доставить все удобства, каких требовал двор императрицы. Являлась настоятельная потребность строить новый дворец, и 27 мая 1732 года он был заложен и окончен внутренней отделкой к 1737 году.

Все здание вмещало в себе: церковь, тронный зал с аванзалом, семьдесят разной величины покоев и театр. Все здание согревали девяносто печей; в верхнем этаже они были сложены из живописных изразцов и стояли на деревянных золоченых ножках.

Наружный вид дворца был очень красив. Главных подъездов во дворце было два: один с набережной, а другой со двора. Они были украшены каменными столбами и точеными балясами. Балконов было три: один на сторону Адмиралтейства, другой на Неву и третий на луг. Лестницы были сделаны из белого камня. На крыше для стока воды были проведены желоба, которые оканчивались двадца-

тью восьмью большими медными драконами. На фронтисписе находились две лежащие деревянные фигуры, державшие щит с вензелем императрицы. Фронтиспис был весь вызолочен.

Комнаты были распределены в следующем порядке: в средних этажах главного корпуса помещались парадные покои с разделяющей их темной галереей, которая примыкала к залу, где теперь столовая. Отсюда через небольшой кабинет был ход в большой зал; к нему от угла примыкали четыре малых покоя, или кабинета. Из большого зала был ход в аванзал. К последнему вела лестница, проведенная с внутреннего и невского подъездов. Тут же была церковь. В луговой стороне здания находился небольшой театр.

В нижнем этаже, кроме кухонь, сеней, галерей и лестниц, было пятнадцать комнат; из них в двух некоторое время помещалась камер-цалмейстерская контора, в четырех — гофинтендантская, а три были назначены для караульных и дежурных.

В верхнем этаже было двадцать четыре жилые комнаты.

В большом зале стоял резной трон. К нему вели шесть ступенек, разделенных уступами. Балдахин на четырех точеных колоннах «композического» ордера.

На других четырех точеных колоннах были устроены хоры для музыкантов, с такой же балюстрадой.

Пятьдесят четыре резные пилястры поддерживали потолок, или, вернее, великолепный плафон, написанный Луи Караваком, при сотрудничестве девяти живописцев и двадцати двух учеников, маляров и московских «писателей» икон.

На цепях, обернутых гарусом и усыпанных медными золочеными яблоками, висело огромное паникадило. Между окнами были расставлены двадцать четыре кронштейна с подсвечниками.

Наборный пол был сложен из четырех дубовых штук с трехцветною посредине звездою в четыре сажени в диаметре.

Аванзал был также украшен пилястрами, штучными полами, зеркальными окнами и плафоном работы того же Каравака.

Из остальных комнат только галерея была

украшена двенадцатью картинами и двенадцатью барельефами, шестью хрустальными люстрами с такими же двенадцатью кронштейнами, и подсвечниками, и резными головками, и фигурами с яркою позолотою, как их называл Растрелли — «мушкарами и купидами».

Прочие комнаты дворца были украшены белыми панелями и обоями.

Где не было паркета, там положены были полы дубовые и сосновые. Лестницы были из полированного камня с деревянными выточенными поручнями, украшенными статуями. Пол в сенях был из мрамора, а потолки отделаны лепными работами.

Театр в здании дворца был довольно обширен. Он имел двадцать пять сажен в длину и десять в ширину. Рисунок театра составлял сам Растрелли, но исполнял по этому рисунку, а также писал декорации, строил машины «комедийных дел мастер» итальянец Диронбон, или, вернее, Джироламо Бон. Театр находился в отдельном флигеле, отделенном от адмиралтейского тремя проходными покаями и светлою галереею. В 1772 году он был

значительно увеличен.

Пристройки и переделки к Зимнему дворцу все-таки не могли сообщить зданию удобства. При этом странность вида дворца, примыкавшего с одной стороны к Адмиралтейству, а с противоположной стороны к ветхим палатам Рагузинского, не могла нравиться обладавшей эстетическим вкусом императрице Елизавете. Поэтому в 1754 году она решилась заложить новое здание, сказав, что «до окончания переделок будет жить в Летнем новом доме», и приказав строить временный дворец на порожном месте бывшего Гостиного двора, на каменных погребках у Полицейского моста.

В июле начали бить сваи под новый дворец, и работа закипела. Императрица внимательно следила за нею, но — увы! — ей не довелось видеть ее окончание. Постройка шла очень медленно, и, несмотря ни на какие усилия, Растрелли не мог исполнить приказание императрицы насчет поспешного окончания работ.

Первой причиной остановки работ была нехватка денег рабочим: вместо ста двадцати тысяч рублей отпускали в год семьдесят



или даже сорок тысяч рублей.

Растрелли от огорчения заболел, однако не переставал действовать. Предписания и рапорты подписывал за него бывший при нем помощник Фельтен.

Независимо от неудобств Зимнего дворца, переделка его и постройка нового, временно-го, исходили из странной привычки императрицы Елизаветы, усвоенной особенно в последние годы царствования, переезжать из одного дворца в другой, так что самые близкие придворные государыни не знали, где и в каком дворце ее величество будет проводить ночь.

Любимым местопребыванием Елизаветы Петровны вне Петербурга было Царское Село, где она не только проводила лето до поздней осени, но куда часто уезжала и зимою.

### XIII ЦАРСКОЕ СЕЛО

Таким со своей внешней стороны и по своей внутренней жизни являлся Петербург в тот год, когда в его великосветских залах и гостиных должна была появиться княжна Людмила Васильевна Полторацкая.

Князь Луговой и граф Свиридов, возвратившиеся в невскую столицу гораздо ранее княжны, застали Петербург запустелым. Двор еще находился в Царском Селе.

Царское Село было собственностью императрицы Елизаветы Петровны еще тогда, когда она была цесаревною. Она и тогда любила это свое поместье и заботилась о его украшении и благолепии. Так, когда в Царском Селе сгорела до основания от удара молнии Благовещенская церковь, цесаревна повелела в 1734 году заложить на этом месте Знаменскую церковь, причем эта мысль возникла у цесаревны не случайно.

По преданию известно, что находившаяся в этом храме икона Знаменской Божьей Матери с древних времен составляла собственность цареградских патриархов, и один из них, святой Афанасий, посетив в 1656 году царя Алексея Михайловича в Москве, поднес ему эту икону; с тех пор последняя находилась во дворце, благоговейно почитаемая и называемая фамильною. Она переходила от венценосных родителей к их наследникам, как драгоценный знак родительского благо-

словения. Елизавета Петровна на себе испытала особенные милости через эту икону и прославила ее как чудотворную. В честь этой иконы и основала она каменную церковь. Последняя была освящена в 1747 году, когда Елизавета была уже императрицею.

Основой Царского Села послужила существовавшая еще при Петре I Саарская мыза, где находился дом, в котором нередко жила Екатерина I с детьми. С 1725 года последняя официально стала называться Царским Селом. В следующем году здесь был построен новый кирпичный завод и устроен третий уступ в саду позади леса к малому каналу и нижнему, или мельничному, пруду. В 1726 году, по именному указу Петра II, Царское Село поступило во владение Елизаветы Петровны.

В бытность свою цесаревной она, после невольного переезда из Москвы в Петербург, почасти и подолгу жила в Царском Селе. Она заботилась о разведении фруктовых деревьев в садах, сажала в пруды разную рыбу, устроила зверинец для забеглых оленей; последних цесаревна ловила живыми и била лосей, оленей со своими придворными и в

окрестностях.

Елизавета Петровна любила жизнь тихую, мирную, вдали от двора и столицы. По вступлении на престол она указом от 19 февраля 1742 года освободила приписанных к Царскому Селу крестьян на два года от всяких работ и повинностей. В следующем году была начата пристройка правого и левого флигеля ко дворцу. Благодаря этому созданся Большой дворец; сооружение его велось графом Расстрелли. Это должен был быть дворец со всем блеском украшений, приличным жилищу владетельницы обширной империи.

Искусный зодчий сделал все, чего требовала изысканная роскошь того времени. На одних наружные украшения кариатид балюстрады, ваз и статуй на крыше было употреблено девять пудов семнадцать фунтов и два золотника червонного золота. Кровля дворца не была обложена, как уверяют некоторые, листовым червонным золотом, а сделана из белого луженого демидовского железа.

В первое время все украшения горели как жар, и когда императрица Елизавета приехала со всем двором и иностранными мини-

страдами осматривать его, то все были поражены его великолепием, и каждый из придворных спешил выразить свое изумление. Один только маркиз де ла Шетарди стоял в глубоком молчании и на вопрос императрицы, почему он ничего не говорит о новом дворце, разве находит, что чего-либо еще не сделано? — ответил, что, по его мнению, «недостает футляра на эту драгоценность». Такая льстивая фраза имела успех и обошла весь Петербург.

Роскошь и убранство дворцовых зал равнялись пышной наружности здания. Так, один из приемных зал весь выложен янтарем, другой покрыт большими цельными зеркалами, многие убраны одними картинами, перламутром, ляпис-лазурью, мозаикой, китайскими лакированными досками с изображениями, яшмою, агатом и так далее. На стенах висели драгоценные гобелены, бронзовые украшения стиля Людовика XIV, полы украшены превосходною деревянною и каменною мозаикою. Плафоны комнат расписаны лучшими художниками того времени.

К замечательным палатам внутри здания

дворца надо причислить и церковь Воскресения Христова; она была окрашена под лак лазурным кобальтом, на густом фоне которого ярко выступали золотые орнаменты стиля «рокайль», резные, густо золоченные. Живописец Каравак и после него Грот и Вебер написали образа в характере той архитектуры. Церковь построена обер-архитектором Растрелли. Закладка ее была совершена 4 августа 1746 года, а освящение в 1756 году. В 1757 году в церковь было прислано из Адмиралтейства десять колоколов, настроенных в мелодическую гамму.

В старом царскосельском дворце замечательны также следующие комнаты: «Лионская», получившая название от шелковых обоев изделия мануфактур города Лиона.

Наборный пол с перламутрового инкрустацией, а карнизы, плинтусы и потолки из лазурного камня, действительно, с немногими залами во дворцах Европы могут идти в сравнение по ценности.

В XVIII веке были в большой моде китайские украшения, и в царскосельском дворце есть один зал, где эти курьезы китайского ре-

месла выставлены во множестве и даже все стены украшены изображениями быта китайцев и видами местностей Срединного государства. В числе роскошных комнат дворца оригинальны и драгоценны два яшмовых и порфирных кабинета, известных под именем «агатовых комнат».

Само Царское Село не переставало украшаться новыми постройками. В 1745 году была начата постройка «Пустыньки», или Эрмитажа, по плану Растрелли. Это здание было окружено каналом с каменного балюстрадой, за которой все пространство до здания было устлано шахматными белыми и синими мраморными плитами; берега и дно канала были выложены сперва деревом, а потом камнем, через канал были красивые подъемные мостики. Все наружные украшения, как и на большом дворце, были густо вызолочены, все здание построено крестообразно. В зале Эрмитажа был интересный стол, устроенный в верхнем этаже таким образом, что тарелки и бутылки поднимались и опускались посредством особого механизма, будто по волшебству. В этом зале можно было обедать без вся-

кой прислуги: стоило только написать, что желаешь, на аспидной доске грифелем, положить на тарелку, дернуть за веревку, зазвонить колокольчиком, тарелка быстро опускалась и почти мгновенно возвращалась с требуемым. Посреди этого здания есть колодезь, с превосходною студеною водою; вода в нем всегда поддерживается на одинаковой высоте посредством особого механизма.

Другим любимым загородным местом императрицы Елизаветы Петровны была так называемая «Собственная дача». Она лежала у Нижней Ораниенбаумской дороги, на расстоянии трех верст от Большого петергофского дворца.

По преданию, это имение было подарено Петром I известному его сподвижнику по образованию российской иерархии — Псковскому и Новгородскому архиепископу Феофану Прокоповичу. По смерти Феофана эта его приморская дача поступила во владение великой княгини Елизаветы Петровны, которая дала ей наименование «Собственная дача».

Здесь, в загородной тиши, государыня отдыхала от трудов и развлекалась фермерским



хозяйством, имела всегда при себе ключи от кладовых, почему в «Собственную дачу» не дозволялось никому из мужчин входить без доклада.

На этой приморской даче находились деревянная церковь во имя Св. Троицы, одностолпная, без колокольни, и каменный двухэтажный дом, похожий архитектурю на существующий в нижнем саду Петергофа домик Марли, построенный Елизаветой Петровной в память Петра I.

Воспоминания о великом отце, которого Елизавета Петровна беззаветно любила, делали то, что она привязывалась к каждому месту, с которым были соединены эти воспоминания. Оттого-то в памяти государыни и сохранилась так живо и ясно почти вся жизнь ее отца, не говоря уже о выдающихся ее моментах. Эта жизнь прошла мимо нее в раннем детстве и глубоко запечатлелась в ее детской памяти. Кроме того, она охотно слушала разных современников и сорботников ее отца о его жизни и деятельности и запоминала их.

Промыслу Божьему было угодно, чтобы

дочь Великого Петра, насадившего русскую цивилизацию с помощью иноземцев, положила предел разыгравшимся аппетитом этих «учителей», живших на счет своих учеников, уже ставших на твердые ноги благодаря своим национальным способностям. Однако, действуя в этом русском духе, императрица Елизавета благоговела пред памятью своего родителя, и любимую тему ее разговора были он, его жизнь и деятельность. Императрица любила Петербург, как создание своего отца, и благоговела пред каждым памятником, напоминавшим великого преобразователя.

С грустью смотрела государыня в будущее. Ее наследник Петр Федорович был только соименником великого государя, но далеко не приближался к нему ни одной чертой своего ума и характера. Он был «внуком Петра Великого» только по имени.

Императрица Елизавета, конечно, не могла подозревать, что достойной преемницей ее великого отца на русском престоле будет великая княгиня Екатерина Алексеевна, являвшаяся в то время еще только душою так называемого «молодого двора».

Этот «молодой двор» составлял центр, на который было обращено внимание не только политиков того времени и высших придворных сфер, но и вообще всего петербургского общества.

Все замечали, что здесь готовится драма.

«Внук Петра Великого», как сказано было в манифесте Елизаветы Петровны, не таинственный незнакомец для русских, сын дочери Петра Великого, герцогини Голштинской Анны Петровны, Петр Федорович, долго был страшилищем русских венценосцев, как призрак. Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна ненавидели этого голштинского «чертушку». Елизавета Петровна решилась заклясть призрак тем, что вызвала его из далекой тьмы на русский свет. Но она сделала это так потаенно, что об этом не знали ни сенат, ни сам канцлер Бестужев.

Петр Федорович рано осиротел и получил жалкое воспитание. Его дядька «способный лишь обучать лошадей», умел только сечь его и внушил ему отвращение к наукам. Елизавета Петровна была поражена невежеством племянника и приставила к нему академика,

но и последний ничего не мог поделывать с ним и мог обучать его только кутежам.

В 1745 году, когда Петру Федоровичу было семнадцать лет, его женили, и он проявил свой нрав как человек уже самостоятельный. Болезненный, бесчувственный телом и бешеный нравом, с грубыми чертами вытянутого лица, с неопределенною улыбкою, с недоумевающими глазами под приподнятыми бровями, «ужасно дурной» после оспы, Петр Федорович ненавидел все русское, любил только свою Голштинию, завел родную обстановку, окружил себя шлезвигскими офицерами, собирался отдать шведам завоевания своего деда, дабы они помогли ему отнять Шлезвиг у Дании. Кроме того, у него была истинная страсть к прусскому королю Фридриху II. Он благоговел пред «величайшим героем мира» и готов был продать ему всю Россию. Ему были известны имена всех прусских полковников за целое столетие.

Фридрих основывал свои расчеты на этом своем слепом орудии в Петербурге. Он надеялся также на жену Петра Федоровича, Екатерину, бывшую принцессу Ангальт-Цербст-

скую, отец которой состоял у него на службе. Говорили даже, что, когда он пристраивал ее к русскому престолу, она дала ему слово помочь Пруссии. Но в этой женщине ошиблись все, кто думал сделать ее своим орудием.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна — София Доротея, — которая была только годом моложе Петра Федоровича, родилась в Штеттине, где ее отец был губернатором. Когда ей минуло пятнадцать лет, ее мать, снабженная наставлениями Фридриха II, привезла ее в Петербург. Через год принцесса София, приняв православие с именем Екатерины, была обвенчана с Петром Федоровичем, вопреки предостережениям врачей насчет болезненности жениха, вопреки ропоту духовенства — Петр Федорович приходился ей двоюродным братом по матери.

Почти девочка, из «крошечного» немецкого двора, она попала в глубокий омут козней. Ее окружили распри царедворцев, осложненные борьбой с Фридрихом, подозрительность императрицы Елизаветы, разжигаемая фаворитами, и раздоры с мужем.

Через несколько лет после брака муж от-

крыто высказывал ей свою ненависть.

В течение восемнадцати лет Екатерина Алексеевна одна выдерживала борьбу со всеми, начиная с Бестужева, который, как мы видели, сначала негодовал на нее и тотчас выпроводил ее мать домой. Уже тогда великая княгиня говорила: «Как скоро я давала себе в чем-нибудь обет, то не помню, чтобы когда-либо не исполнила его». Тогда же она сказала себе: «Умру или буду царствовать здесь!»

«Одно честолюбие поддерживало меня», — признавалась Екатерина; «и оно все преодолело», — подтверждают посланники держав.

Удалившись от большого двора, сторонясь от мужа, великая княгиня в своем невольном уединении много училась и наблюдала. Ей скоро надоело чтение романов, и она взялась за историю и географию. Ее стали увлекать Платон, Цицерон, Плутарх и Монтескье, в особенности же энциклопедисты, а именно Вольтер, которого она называла своим учителем. Сильно подействовал на нее Тацит. Она стала полагаться лишь на себя и не доверяться людям, во всем доискивалась причин, так что

посланники прозвали ее философом.

Цесаревна научилась притворяться. То она лежала больной при смерти, то танцевала до упаду, болтала, наряжалась, разыгрывала смиренницу, угождала императрице и ее фаворитам, подавляя отвращение к мужу.

Она выказывала любовь ко всему русскому, даже соблюдала посты, скоро много узнала о стране, научилась говорить по-русски в совершенстве; вскакивала даже по ночам, чтобы долбить русские тетрадки.

К описываемому нами времени уже выяснилось ее блестящее будущее. Петр Федорович терял уважение окружающих и возбуждал к себе недоверие русских; даже враги Екатерины не знали, как отделаться от него.

Великая княгиня была лишена даже материнского утешения. Когда у нее в 1754 году родился сын Павел, Елизавета Петровна тотчас же унесла ребенка в свои покои и редко показывала его матери. Это увеличивало всеобщее сочувствие, которое наследница престола приобретала с каждым днем. Ее уже уважали и противники. Подле нее образовался кружок приверженцев из русских. Ей тай-

ком предлагали свои услуги даже Шуваловы и Разумовские. К ней повернулся лицом сам Бестужев, ненавидевший друга Фридриха — Петра.

Таково было положение «молодого двора» вообще и в частности великой княгини Екатерины Алексеевны в придворных петербургских сферах. Даже самые ловкие и юркие придворные чувствовали себя в положении пловцов среди реки, недоумевающих, к которому берегу им пристать. Наружное спокойствие водной поверхности у обоих берегов казалось им зловещим и могущим скрывать глубокий омут.

Это положение было обострено до крайности в то время, когда в великосветских гостиных Петербурга разыгралась таинственная история, которая послужит предметом последней части нашего правдивого повествования.



## Часть третья

### I

## ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

— **Ч**то ты за вздор болтаешь? — Не вздор, ваше превосходительство, а только докладываю, что на дворе гуторят, и боюсь, не было бы нам оттого какого лиха. Доложить ведь — отчего не доложить, а там как прикажете. Может, розыски прикажете учинить или запрет об этом говорить положите.

— Да откуда это пошло? Кто такой слух лживый пустил?

— Разно говорят, ваше превосходительство. Одни бают, что Егорка-кучер в кабаке от прохожего слышал, а другие — что странник из тамошних мест в людскую заходил да поведал.

— А ты спрашивал Егора? Да? Что же он?

— Исклялся, проходимец, что ничего не слышал, никакого прохожего не видел и в кабаке не был.

— А пьян ежедневно? Где же он напивается?

— Я ему это тоже в линию ставил, а он, охальник, несурзное говорит: «Николи, — говорит, — я пьян не бываю».

— Вот как. Вели-ка всыпать ему полсотни горячих! А странника-то видел?

— Никак нет, ваше превосходительство, бабы болтают.

— Пришел, значит, в людскую странник и сказал, что-де княжна-то, что к нам на побывку приехала, — не княжна?

— Так точно-с. Странник-то издалека начал — с того, как князь Сергей Сергеевич павильон заклятый открывал да между слов и сказал: «А княжна-то у вас из холопок». Тут к нему и пристали: как так из холопок? Ну, он и поведал все, как я вам докладывал. Убита княжна и лежит в могиле, а над нею, над могилой-то, есть крест и надпись, что погребена здесь Татьяна Берестова. А Татьяна-де эта живехонька, в княжну вырядилась и айда в Питер.

— Вот как? А где же этот странник?

— Не могу знать, ваше превосходительство. Известно, Божий человек; ему пути не заказаны.

Этот разговор происходил однажды утром, в конце ноября 1756 года, в кабинете действительного статского советника Сергея Семеновича Зиновьева, между ним и его старым камердинером Петром.

— Так как же прикажете? — спросил камердинер.

— Разумеется, прикажи держать язык за зубами и не повторять всякого вздора, сочиненного разными проходимцами. Мне ли не знать моей племянницы?

Последние слова Зиновьев произнес с некоторою расстановкою, как бы в раздумье.

— Слушаю-с! — ответил Петр и вышел из кабинета.

Сергей Семенович остался один, но, прежде чем собрать нужные в месте его служения бумаги и выехать из дома, стал ходить по кабинету. Доклад, сделанный Петром, в действительности сильно смутил его.

Зиновьев был братом покойной княгини Вассы Семеновны Полторацкой. Он уже несколько лет не виделся с нею, и это не удалось ему до самой ее смерти, так как дела задерживали его в Петербурге. В царствование

Елизаветы Петровны необходимо было быть постоянно на глазах монархини, если чиновник занимал высокий пост и желал из честолюбия наград и повышений. Сергей Семенович именно занимал подобный пост и был крайне честолюбив.

В числе милостей государыни было между прочим и сватовство ему Якобины Менгден, на которой он женился лет шесть тому назад. Эта Якобина, если помнит читатель, была любимой фрейлиной императрицы Анны Иоанновны и невестой Густава Бирона, брак с которым был разрушен дворцовым переворотом, арестом жениха и его ссылкой. Хотя Густав Бирон был возвращен, но прожил в Петербурге недолго и скончался внезапно. Якобина Менгден стала примиряться с мыслью остаться в старых девах, но тут заботливая о ней, со дня восшествия на престол, государыня возымела мысль выдать ее замуж за Зиновьева.

Само собою разумеется, что этот брак, заключенный по воле государыни, не имел ни малейшей романической подкладки, однако это не помешало бывшей Якобине Менгден,

ныне Елизавете Ивановне Зиновьевой (она приняла православие вскоре после восшествия на престол государыни и сохранила свое второе имя Елизавета) совершенно забрать в руки мужа.

Расположение императрицы Елизаветы Петровны к Лизе, как она называла запросто Зиновьеву, делало то, что супружеское ярмо, которое надел на себя закоренелый холостяк Сергей Семенович, было не так-то легко сбросить. Да он и не пытался делать это. Уступки жене вознаграждались повышением по службе, да и, кроме того, в домашнем быту он не мог ни на что жаловаться. В доме царила немецкая аккуратность; на хозяйство, хотя после брака Зиновьевы, соответственно своему положению в Петербурге, жили широко, Елизавета Ивановна тратила сравнительно мало денег. Кроме того, несмотря на то что ей было за сорок лет, она еще очень сохранилась и обладала теми женскими прелестями и качествами, найти которые в жене такому пожилому человеку, как Зиновьев, не всегда удается. За невестой он получил еще довольно значительное приданое, от милостей им-

ператрицы, так что и с этой стороны его брак не являлся невыгодным.

Достигнув тех лет, когда при усиленной еще государственной деятельности требуется уже относительный домашний покой и комфорт, Сергей Семенович был доволен. Он дошел даже до того, что малейшая служебная или домашняя неприятность волновала его в сильной степени, как человека, привыкшего, чтобы его жизнь текла спокойным ручейком в гладком песчаном русле. Поэтому его почти до болезни встревожило письмо племянницы, княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, в ярких красках описавшей ему обрушившееся на нее несчастье — трагическую смерть ее матери, а его сестры, и служанки-подруги — Тани. Далее в письме было сообщено о сватовстве князя Лугового, на которое выразила полное свое согласие покойная княгиня; тут же княжна добавляла, что объявление о помолвке, конечно, отложено на время годовичного траура, и просила дядю сохранить это сватовство в тайне. В конце письма княжна уведомляла, что прибывает в Петербург, и просила у дяди приюта в его доме

до своего устройства в этом городе, покупки дома или же найма квартиры.

Сергей Семенович выразил племяннице свое согласие и даже особое «родственное удовольствие» видеть ее в Петербурге временно в своем доме.

На слове «временно» особенно настаивала Елизавета Ивановна, опасавшаяся, что племянница, хотя и богатая, пожалуй, долго проживет на хлебах дядюшки, и, конечно, придет не одна, а в сопровождении дворовых людей, в подобающем ее княжескому достоинству количестве.

В последнем Елизавета Ивановна не ошиблась. В конце октября княжна прибыла в Петербург в сопровождении двенадцати дворовых людей и поселилась в доме дяди на Морской улице.

Зиновьевы встретили ее с родственной сердечностью. Елизавета Ивановна, никогда не выдавшая княжны, конечно, не могла заметить происшедшую в ней странную перемену, зато на нее обратил внимание Сергей Семенович; однако он приписал ее пережитому молодой девушкой потрясению и, кроме

того, многолетней с нею разлуке. Ему бросились в глаза некоторая резкость манер и странность суждений молодой девушки, которые, по его мнению, не могли проявляться в ней, воспитанной под исключительным влиянием его покойной сестры — идеала тактичной и выдержанной женщины, несомненно и к своей дочери прививавшей те же достоинства.

«Сколько лет я с нею пред смертью не виделся. Может, и изменилась с годами», — думал Сергей Семенович при каждой особо шокировавшей его выходке племянницы.

Впрочем, подобные выходки не нарушали рамок светского приличия, но, как ему казалось, не должны были быть у дочери княгини Вассы Семеновны.

Таинственный доклад камердинера Петра через месяц после приезда княжны Людмилы Васильевны, в связи с этими появлявшимися подчас в его голове мыслями, несказанно поразил Зиновьева.

«Неужели и это — самозванка?» — мысленно задавал он себе вопрос, забыв о том, что ему время отправляться на службу.



Его мысли невольно перенеслись за год пред тем, когда случилось происшествие, тоже сильно взволновавшее его и послужившее причиной далеко не шуточного столкновения между ним и женой. Последняя одержала верх, но и теперь, при одном воспоминании о допущенной им мистификации, Зиновьев чувствовал, как под париком у него шевелились волосы. Он до сих пор принужден был порой играть роль в этой неприглядной истории, впрочем утешая себя тем, что, нарушая законы дружбы, действует по законам родства.

Дело в том, что около года тому назад Сергей Семенович, вернувшись со службы, застал в гостиной жены еще сравнительно не старую, кокетливо одетую красивую даму и молодого человека поразительной красоты. С первого беглого взгляда можно было догадаться, что это мать и сын, так разительно было их сходство, особенно выражение глаз, черных как уголь, смелых, блестящих.

Сергей Семенович, увидав гостей, остановился пораженный. Картины минувшего, казалось, вместе с этой дамой и молодым чело-

веком широкой лентой потянулись пред его духовным взором. Он как-то сразу узнал их. Пред ним сидели Станислава Феликсовна Лысенко и ее сын Осип.

Зиновьев стоял как замороженный; между тем молодой человек встал с кресла и почти-тительным, но гордым поклоном приветствовал хозяина дома.

— Позволь познакомить тебя, Серж, — раздался голос Елизаветы Ивановны, — моя сводная сестра, графиня Станислава Свенторжецкая, и ее сын, Иосиф Янович. Прошу любить их и жаловать.

Сергей Семенович перевел почти бессмысленный взгляд с гостей на жену и обратно, пробормотал какое-то приветствие, поцеловал руку сестры своей жены и грузно опустился в кресло. Его голову, казалось, давила какая-то тяжесть.

Он потерял способность соображать.

«Жена Ивана Лысенко — Станислава, его сын — Осип... Графиня и граф Свенторжецкие», — все это какими-то обрывками мыслей несло в его голове, но не могло уложиться в ней в какую-либо определенную форму.

Между тем Елизавета Ивановна продолжала:

— Стася приехала ко мне, уже устроившись в Петербурге. Я попеняла ей за это. Теперь она просит меня устроить ей представление ее величеству, которой одной решается поручить сына. Ей необходимо будет уехать за границу... Ты, конечно, ничего не будешь иметь против того, чтобы я устроила ей это?..

— Почему же... конечно... Это твое дело, — пробормотал Сергей Семенович, очень хорошо зная цену обращения со стороны жены за его согласием, в сущности являвшуюся лишь комедией.

— Я завтра же утром буду у ее величества, а ты приезжай с Осей обедать, — решила Елизавета Ивановна, обращаясь к гостю.

Гости поднялись, простились и вышли из гостиной.

Елизавета Ивановна пошла провожать их, а Зиновьев остался сидеть в глубокой задумчивости, из которой его вывела возвратившаяся супруга вопросом:

— Что с тобою, Серж?

— Послушай, матушка, что это за мистифи-

кация? — спросил он. — Помилуй, какие же это графы Свенторжецкие?

— То есть как какие?

— Да так... ведь это — Станислава Феликсовна Лысенко и ее сын Осип Иванович Лысенко. Я их отлично знаю: ведь муж этой госпожи и отец этого франта — мой старый и лучший друг.

— Мне остается поздравить тебя с такими друзьями, — ядовито заметила Елизавета Ивановна. — Действительно, моя бедная Стася имела несчастье быть замужем за этим армейским извергом, но долго не могла вынести совместную с ним жизнь и бежала от него со своим ребенком.

— Это она так рассказывает! А я знаю, что Иван Осипович Лысенко развелся с нею много лет тому назад. Она была обвинена, и сын был оставлен при отце, но лет десять тому назад она украла его.

— И отлично сделала, — воскликнула Елизавета Ивановна.

Этот чисто женский вывод поставил в тупик Сергея Семеновича. Однако он не сдавался:

— Кроме того, ее отец никогда не был графом.

— Это уже ты ошибаешься. Свенторжецкие — польские графы, хотя некоторые из них, ввиду обеднения, не именуется своим титулом. Дела Станиславы видимо блестящи, и она по праву носит свою девичью фамилию и титул.

— А ее сын? Ведь он-то уже не имеет никакого права именоваться Свенторжецким, да еще графом.

— Польша — не Россия, мой друг, там все возможно. Бумаги Иосифа в полном порядке, иначе она не решилась бы беспокоить государыню.

— Гм... — протянул Сергей Семенович. — Однако я буду относительно этого молодого человека в неловком положении. Видишь ли, я, собственно, говорю о том, что его отец — мой друг. Он, положим, в Москве, но есть слухи, что он будет переведен сюда... Ну, вот мне и будет неловко...

— Ничего нет неловкого. Если ты знаешь мать, то это не помешает тебе — она на днях уезжает из Петербурга. Сына же твоего «дру-

га» ты мог и не узнать после стольких лет. Да его, вероятно, не узнает и сам отец.

— Ну, как не узнать. Старик, конечно, не покажет, что узнал, но узнать узнает. И вот, представь себе, они встретятся у нас...

— Это уже предоставь мне. Я могу поручиться, что этого не случится. Да и вообще я думаю, что дело моей сестры и ее сына — мое дело, а не твое, — решительно отрезала Елизавета Ивановна.

— Оно так-то так, но...

— Никаких «но»...

— Делай как знаешь, матушка!

Сергей Семенович, сказавши эту привычную для него фразу, которой обыкновенно кончались все его препирательства с супругой, удалился в кабинет.

«Действительно, я сделаю вид, что не узнал этого графа Свенторжецкого и никогда не знал», — решил он, однако тут же у него вырвалось восклицание:

— Глупое положение!

Это доказывало, что решение, на которое его натолкнула жена, претило его честной и прямой натуре.

Однако иного выхода не было, Сергей Семенович смирился и сделался безучастным зрителем происходившего вокруг него.

Елизавета Ивановна исполнила просьбу своей сестры в точности. Императрица не отказала в ходатайстве своей любимой статс-даме и назначила графине Станиславе Свенторжецкой день и час приема.

— Приезжай с нею, если она совершенно посвятила тебя в свое дело, — сказала государыня.

Елизавета Ивановна действительно сопроводила сестру и ее сына во дворец и была принята вместе с ними государыней. Прием продолжался около двух часов, но содержание беседы императрицы с Зиновьевой, Свенторжецкой и ее сыном осталось тайной даже для самых любопытных придворных. Елизавета Ивановна передала о впечатлении приема своему мужу в общих выражениях:

— Ее величество добра, как ангел: она обещала заменить Осе мать. На днях состоится зачисление его в один из гвардейских полков. Стася уезжает обвороженная приемом государыни.

Впрочем, Зиновьев особенно и не интересовался этим. Он замкнулся в себе и старался даже при жене показать свое безучастное отношение к графине и графу Свенторжецким. Этим, казалось, он платил дань своей дружбе с Лысенко, прекрасно шедшим по службе и уже имевшим генеральский чин. Мысленно он даже называл Осипа Лысенко — графа Иосифа Свенторжецкого — самозванцем.

Граф Свенторжецкий действительно был вскоре зачислен капитаном в один из гвардейских полков, причем была принята во внимание полученная им в детстве военная подготовка. Отвращение к военной службе молодого человека, которое он чувствовал, будучи кадетом, и которое главным образом побудило его на побег с матерью, не могло находить себе пищу при порядках гвардейской военной службы елизаветинского времени. Служба в гвардии была очень легка. За все отдавались многотерпеливые русские солдаты. Офицеры, стоявшие на карауле, одевались в халаты, дисциплина и субординация были на втором плане. Генералы бывали такие, которые не имели никакого понятия о военной



службе. Гвардия представляла собою придворных, одетых в военные мундиры.

Конечно, при таких условиях военная служба не могла тяготить свобододолюбивую натуру графа Свенторжецкого.

Мать вскоре рассталась с ним и уехала из Петербурга, а молодой человек всецело отдался удовольствиям столичной жизни. Обласканный государыней, красивый, статный, остроумный, он вскоре сделался кумиром дам петербургского света, душой высшего общества и коноводом петербургской золотой молодежи того времени. Сошедшись на дружескую ногу с любимцем государыни императрицы Иваном Ивановичем Шуваловым, он в то же время ухитрился быть своим человеком и при «молодом дворе», где ему оказывали благоволение не только великая княгиня Екатерина, но даже и великий князь Петр.

Все это, конечно, знал Зиновьев, и все это заставляло его еще упорнее скрывать известную ему тайну происхождения графа Свенторжецкого.

Граф Иосиф Янович сам помогал Сергею Семеновичу в его сдержанности. Он являлся в

дом Зиновьевых только с официальными визитами или по приглашению на даваемые изредка празднества, но на особую близость не навязывался, будучи совершенно погружен в водоворот шумной светской жизни.

Однако с появлением в доме Зиновьевых княжны Людмилы Васильевны визиты Свенторжецкого сделались чаще и продолжительнее. Видимо, княжна произвела на него сильное впечатление, и он стал усиленно ухаживать за нею.

Княжне были далеко не противны возбужденные ею в графе чувства — так, по крайней мере, можно было судить по ее отношениям к молодому графу, которые, по мнению Сергея Семеновича, могли бы быть даже более сдержанными, в особенности в дни глубокого траура.

Все это промелькнуло в уме Зиновьева и вылилось в восклицании: «Неужели и эта — самозванка». Однако он оторвался от этих дум, собрал бумаги и уехал на службу, но и в деловой атмосфере присутствия роковой вопрос о том, что ему делать, не выходил из его головы. Он припоминал поразительное сход-

ство побочной дочери мужа его сестры князя Полторацкаго — Тани Берестовой с княжной Людмилой, сопоставлял этот факт со странным поведением в Петербурге его племянницы, и вследствие этого толки дворни, о которых ему докладывал Петр, порожденные рассказами какого-то захожего человека, приобретали роковую вероятность.

Однако вопрос: «Что же делать?» — становился серьезным и вместе с тем трудно разрешимым. Как доказать самозванство княжны Полторацкой, если только это самозванство действительно, как утверждает пущенная в дворне молва? Ведь этой молвы, пожалуй, не удержать распоряжением не болтать вздор. Ведь слово что воробей: вылетит — не поймешь. Из застольной молва полетит на улицу, проникнет в палаты разных господ, пойдет кататься по Петербургу, осложняемая прикрасами, и может, наконец, дойти и до государыни. Его, Зиновьева, сочтут сплетником и укрывателем, и тогда, пожалуй, быть беде неминуемой.

Таковыми мрачными красками мысленно рисовал себе будущее Зиновьев, и снова пред

ним восставал роковой вопрос: «Что же делать?»

Между тем предпринять что-либо было нельзя. Власти тамбовского наместничества признали тождество княжны Полторацкой с оставшеюся в живых девушкой. Она была утверждена в правах наследства после матери, введена во владение всем имением покойной. Дворовые считали ее княжной. Нельзя же было на основании сплетни, пущенной каким-то проходимцем, поднять историю, возбуждение которой злые языки могли бы еще истолковать желанием получить наследство от бездетной сестры.

Сергей Семенович решил, как и в деле графа Свенторжецкого, дать событиям идти своим чередом.

## II

### РАДУЖНЫЕ МЕЧТЫ

**В**скоре после доклада Петра, так встревожившего Сергея Семеновича Зиновьева, княжна Людмила Полторацкая покинула гостеприимный кров дяди и переехала в собственный дом, представлявший собою целую усадьбу с садом и даже парком, или же, соб-

ственно говоря, расчищенным лесом. Он был расположен на левом берегу Фонтанки, тогда еще не входившем в состав города и считавшемся предместьем.

Впрочем, это соответствовало желанию осиротевшей княжны, просившей Сергея Семеновича приобрести ей дом непременно на окраине.

— Почему это, Люда? — спросил ее Зиновьев.

— Я привыкла к деревне, к простору, к зелени деревьев летом, к их белому заиндевевшему виду зимой... Здесь у вас, в центре, меня давит эта скученность построек, мне не хватает воздуха.

— Но на окраине жить небезопасно.

— Какие пустяки! Я ведь не одна — у меня слуги. Одних мужчин восемь.

— Этого мало. Придется выписать из имения еще несколько, если ты настаиваешь на своем желании жить в глуши и если мне удастся приобрести тебе помещение, которое мне показывали в предместье, — и Зиновьев рассказал об усадьбе на Фонтанке.

Княжна Людмила осталась в восторге от

дачи.

— Это именно то, о чем я мечтаю! — воскликнула она.

— Ну, было о чем мечтать! Такая даль и глушь, — возразил Зиновьев. — Впрочем, если хорошенько меблировать, то будет ничего. Дом сухой и теплый, построен прочно. Старик строил для себя и для женатого сына, да вот не привел Бог.

— Почему же он продает?

— Это очень печальная история. Эта дача принадлежит одному старому отставному моряку, у которого был единственный сын, год как женившийся. Они жили втроем на Васильевском острове, но их домик был им и тесен, и мал. Старик купил здесь место и принялся строить гнездо своим любимцам — молодым супругам, да и для себя убежище на последние годы старости. Все уже было готово, устроено, оставалось переезжать, как вдруг один за другим, его сын, а за ним и сноха, заболев оспой, умерли в течение одних суток. Старик, конечно, в полном отчаянии и не может видеть дом, выстроенный им для тех, кто теперь лежит на кладбище.

— Какой ужас! Я понимаю его! — побледнела княжна.

— Он отдает эту усадьбу за бесценок, а сам уже находится в Александро-Невском монастыре послушником. В виде вклада он отдал все имевшиеся у него деньги и те, которые выручит от продажи дома на Васильевском острове. Покупную цену за эту дачу тоже, по его желанию, надо будет внести в монастырскую казну.

— Почему же ты до сих пор не купил ее для меня, дядя? Прошу тебя, кончай как можно скорее.

— Хорошо.

В доме с антресолями было десять комнат, разных по величине; некоторые из них были очень велики. Дом стоял в глубине обширного двора, огороженного дубовым забором с такими же массивными воротами. Крыльцо было с вычурным навесом и выходило на этот двор. На последнем были людская, кухня, погреб, сарай и конюшня. С другой стороны к дому примыкал огромный сад, тоже огороженный высоким забором, в котором была проделана небольшая калитка, из дома же

ход в сад был через дверцу, соединенную сенями с внутренними комнатами. Это было нечто вроде потайного хода, обычного в постройках того времени. Заднее крыльцо выходило на двор за углом дома.

За домом тянулся обширный парк, отделенный от сада и двора деревянной решеткою и обнесенный тоже забором, но не таким высоким, как сад и двор. Верхи заборов были усеяны остриями длинных железных гвоздей, от лихих людей, не любящих ходить прямым путем.

Княжна положительно пришла в восторг от всего.

В несколько дней сделка была совершена, и Людмила Васильевна сделалась собственницей понравившегося ей дома.

Если она продолжала жить у дяди, то это происходило потому, что в доме работали обойщики, закупались принадлежности хозяйства и из Зиновьева еще не прибыли остальные выписанные дворовые. Не приведены были еще и лошади.

Княжна ежедневно ездила в свой дом и торопила окончанием его внутренней отделки.



Несмотря на радушное отношение к ней дяди и тетки, она понимала, что последняя из расчетливости будет очень довольна, когда племянница уедет из их дома. Сергей Семенович не разделял этих помыслов своей жены, но после доклада Петра и размышления над этим докладом тоже стал желать отъезда племянницы, но совершенно по другим основаниям. Настроенный в известном направлении, он подозрительно следил за каждым ее словом и даже жестом, и ему казалось, что он все более и более убеждается в правоте слуха, пущенного в его дворню.

Слух замолк. Дворовые люди Зиновьевых, не имея тех данных, которые были в распоряжении их господина, естественно, не могли поверить этому слуху и, решив, что это — просто «брехня», забыли о нем.

Не забыл о нем только камердинер Петр и, кажется, считал его весьма правдоподобным, а потому порой исподлобья довольно мрачно посматривал на княжну Людмилу Васильевну.

Последняя, конечно, ничего не подозревала, так как до нее сплетня дворни не достиг-

ла. Она светло и радостно глядела в будущее и, оставаясь одна, самодовольно и счастливо улыбалась. Однако при людях, даже при дяде и тетке, она сдерживала свою веселость, не гармонировавшую с ее скорбным костюмом — траурным платьем.

Она находилась теперь в Петербурге. Сколько раз в Зиновьеве она мечтала об этом городе, который княгиня Васса Семеновна вспоминала с каким-то священным ужасом, — до того казался он покойной современным Содомом.

Обласканная императрицей, которой представил ее дядя, княжна Людмила Васильевна была назначена фрейлиной, но ей был дан отпуск до окончания годового траура; по истечении же последнего она надеялась вернуться в том волшебном мире, каким в ее воображении представлялся ей двор. Она была уверена, что, как невеста блестящего жениха — князя Сергея Сергеевича Лугового, — она всегда, при желании, сохранит на него свои права, и, наконец, она знала, что она являлась предметом поклонения красавца графа Иосифа Яновича Свенторжецкого, и чувствовала,

что сама невольно поддавалась его обаянию. Чего еще надо было ей желать? Жизнь открывалась перед нею роскошным пиром, и она решилась не уходить с этого пира голодной и жаждущей. Наконец самостоятельная жизнь в отдельном, как игрушка, устроенном и убранном домике, где она будет принимать нравящихся ей людей, довершала очарование улыбавшегося ей счастливого будущего.

Радужные мечты спускались на головку княжны, когда она пред сном, оставшись одна, нежилась в кровати. Ей виделись роскошно убранные и ярко освещенные дворцовые залы, богатые туалеты дам, блестящие мундиры кавалеров; ей представлялась и она сама, красивая, нарядная, окруженная толпою вздыхателей, на первом плане которых стоял граф Свенторжецкий, а затем уже князь Луговой и граф Свиридов.

При воспоминании о первом какое-то странное чувство охватывало не только сердце, но и ум Людмилы. Ей казалось, что она хочет что-то вспомнить, но не может. Каким-то далеким прошлым веяло на нее от графа Свенторжецкого, особенно от его глаз, устрем-

ленных на нее и заставлявших ее подчас нервно передергивать плечами. Ей казалось, что она видела его где-то и когда-то, но при всем напряжении памяти вспомнить не могла. Ей не приходило и на мысль, что игравший с нею в Зиновьеве мальчик Осип Лысенко именно и есть этот самый граф Иосиф Свенторжецкий.

Граф, конечно, не подавал повода к нежелательным для него воспоминаниям. Чувство, которое он, еще будучи мальчиком, питал к своей маленькой подруге, таилось в его сердце подобно искре, из этого чувства под горячими лучами красоты расцветшей и развившейся княжны Людмилы быстро разгорелся неугасимый огонь страсти. Эта-то страсть и была тем обаянием, силу которого чувствовала на себе княжна Людмила.

Впрочем, в ее сердце еще не зарождалось ответное чувство; оно было занято, или так, по крайней мере, казалось княжне Людмиле.

Со дня ее приезда в Петербург ни разу в доме ее дяди не появлялся граф Петр Игнатьевич Свиридов. Княжна помнила, что при прощании с князем Луговым в Зиновьеве она вы-

разила ему желание, чтобы граф посетил ее в Петербурге, и была уверена, что эти ее слова дошли по назначению. Об этом ей сказал сам князь Сергей, посещавший свою бывшую невесту довольно часто, а между тем граф Свиридов не подавал признака жизни. Это действовало разжигающе на самолюбивую девушку, и образ графа все неотступнее стал носиться в ее воображении и довел ее даже до уверенности, что она любит его.

Однажды она не выдержала и спросила князя Лугового:

— Что ваш друг?

— Какой друг?

— Боже мой, разве у вас их так много? — с раздражением в голосе спросила княжна. — Я говорю о том, которого я знаю.

— А, граф Петр?

— Да. Что он? Болен?

— Нет, я видел его на днях. Он здоров.

— А-а-а... — протянула княжна и переменяла разговор.

Однако Луговой понял ее и решил переговорить со Свиридовым.

«Это черт знает что такое! — сердился он,

приказав кучеру ехать на Миллионную, где жил граф Петр Игнатьевич. — Это, с его стороны, просто невежливо. Не сделать визита! Плохую дружескую услугу оказывает мне он! Если бы я не был уверен в нем, то мог бы подумать, что это, с его стороны, — удачная тактика. Раздражая самолюбие девушки, он заставит ее окончательно влюбиться в себя».

Он застал графа дома и разразился против него целою филиппикой, указав на могущие быть результаты его поведения, далеко не согласные с его, князя Лугового, интересами.

— Изволь, голубчик, я поеду, — ответил Свиридов. — Поверь, у меня и в мыслях не было затевать с княжной какую-нибудь игру. Я просто хотел устранить себя вследствие нашего разговора в Тамбове. Я это делал и для тебя, и для себя...

— Нет уж, брат, уволь от таких дружеских услуг! Недостает еще того, чтобы княжна подумала, что я из ревности не передал тебе ее желания видеть тебя. Женщины ведь способны на всякие выводы и предположения. Мне даже показалось, что она сегодня очень подозрительно на меня смотрела.

— Это вздор: она слишком умна... и, наконец, все-таки слишком хорошо знает, что ты не способен на это.

— Поди догадайся, что женщина знает и чего не знает, когда она бывает умна и когда глупа. Бывают моменты, когда самые умные женщины и думают, и делают глупости, и, наоборот, иногда совершенно глупые женщины высказывают поразительно умные мысли и совершают гениальные поступки. Вот и разбери.

— Пожалуй, ты прав. Я поеду к княжне завтра же.

— Поезжай, пожалуйста, это будет самым лучшим лекарством от ее увлечения. Твое явное нежелание видеть ее, очевидно, оскорбляет ее самолюбие, а для удовлетворения его женщины способны сделать более отчаянные шаги, нежели из чувства и даже из страсти... Понял?

— Понял, понял. Говорю, поеду завтра и постараюсь показать себя в самом отталкивающем свете, — пошутил граф Петр Игнатьевич. — Ну, а как твои дела с нею?

— Мои? Я о них не забочусь, я все предо-

ставил воле Божией, — серьезно и вдумчиво ответил князь Сергей Сергеевич.

### III

## КАБАК ДЯДИ ТИМОХИ

Ясная декабрьская ночь висела над Петербургом. Полная луна обливала весь город своим матовым светом. Снежный покров блестел, как серебро, и на нем виднелись малейшие черные точки, не говоря уже о сравнительно темных полосках улиц и пригородных дорог.

На одной из таких дорог, шедшей от реки Фонтанки мимо леса, где уже кончалось Московское предместье и начиналось Лифляндское, очень мало заселенное и представлявшее собою редкие группы хибарок, стоял сколоченный из досок балаган, над дверью которого была воткнута покрытая снегом елка. Это указывало, что незатейливое строение было кабаком.

Несмотря на позднюю ночь, в окне, обтянутом бычьим пузырем, отражался тусклый огонь. Кабак еще торговал, хотя напротив него тянулся лес, а на далекое пространство не видно было жилья. Кругом было совершен-



но безлюдно и царила мертвая тишина, только из балагана слышался какой-то смутный гул.

Вдруг из леса появились две мужские фигуры, одетые в рваные тулупы, с меховыми треухами, надвинутыми по уши, и в высоких рваных сапогах. В руках они держали по толстой длинной палице, с большим шаром в виде набалдашника. Такими палицами глушили, да и до сих пор глушат, в деревнях быков и коров.

Луна резко осветила этих двух ночных пешеходов и их запущенные снегом одежды и зверские лица, обрамленные заиндевевшими бородами, цвет волос которых различить было нельзя — они представляли собою комки снега.

— Кажись, не опоздали, Карпыч? — сказал один из них. — В самый раз пришли к гулянке.

— Да, бык его забодай, задержал нас его степенство. Умирать-то ему смерть не хотелось. По-моему, это — свинство. Коли встретился с нами, лихими людьми, в пустом месте, так и умирай, а православных не задер-

живай. Кучер-то его степенства, да и мальчонка, что с ним ехал, честно, благородно не пикнули, как мы с тобою оглушили их, а купец, на-поди, артачиться стал.

— Промахнулись мы с тобой оба, да и башка у него здоровая, с двух ударов и то не пода-лась.

— Пришлось ножом прикончить, а я смерть не люблю руки марасть кровью.

— Нож — последнее дело; оглушить вот этим гостинцем не в пример сподручнее, — потряс первый увесистою палицей.

— А знобно сегодня, брат. В кабаке-то у дяди Тимохи, чай, теплее. Чего мы тут на морозе калякаем?

Оба мужика оглянулись и быстро перебежали дорогу. Один из них привычной рукой взялся за железное кольцо двери кабака, распахнул дверь, и оба они вошли внутрь балагана.

Это было довольно большое помещение со сложенной из почерневших от времени кирпичей небольшой печью посредине; оно было разделено на две далеко не равные половины стойкой, сколоченной из досок. В большой

половине стояли два самодельных деревянных стола, окруженные лавками, а в меньшей были нагромождены бочки с вином и брагой, а на самой стойке высились деревянные бочонки и чарки. Тут же в деревянных чашках находились нарезанный мелкими ломтями черный хлеб и вяленая рыба.

За стойкой, на маленькой лавке, сидел сам владелец этого придорожного кабака, известный в окрестности под именем «дяди Тимохи». Это был еще не старый человек с солидным брюшком; его лицо было кругло и глаза заплыли жиром, что не мешало им быстро бегать в крошечных глазных впадинах и зорко следить за посетителями.

«Кабак дяди Тимохи» днем почти всегда пустовал, зато ночью там шла бойкая и выгодная торговля.

В лесах, окружавших столицу, водились лихие люди, собиравшиеся в целые шайки, промышленявшие разбоями или «воровскими делами» в самом городе; однако туда они выходили поодиночке, иногда лишь по двое. Добытое ими добро все обыкновенно оставалось у дяди Тимохи взамен пенистой живитель-

ной влаги.

Кабатчик брал все, от ржавого гвоздя до ценного меха, и всему давал цену «по-божески», как говорили его завсегдатаи. Понятно, эта «божеская цена» была в соответствии лишь с опасностью приобретения вещи. Лихие люди занимались своим разбойным делом, чтобы жить, а жить, по их мнению, было пить, и если дядя Тимоха за дневную добычу открывал кредит на неделю, причем мерой объявлялась душа пьющего, то эта цена уже была вышею и «божескою».

Целые годы вел свою выгодную и по-тогдашнему времени, ввиду отсутствия полицейского городского благоустройства, почти безопасную линию дядя Тимоха, вел и наживался. Он выстроил себе целый ряд домов на Васильевском острове в городской черте. Его жена и дочь ходили в шелку и цветных камнях. За последнею он сулил богатое приданое и готов был почать и заветную кубышку, а в последней, как говорили в народе, было «много тыщ». Своим старшим сыновьям Тимофей Власьич, как уважительно звали его на Васильевском острове, где он в своем приходе со-

стоял даже церковным старостой, подыскивал уже лавки в Гостином дворе. Пустить их по питейной части он решительно не желал.

— Нечисть одна, — говорил он жене, — потружусь для вас, сколько сил хватит, а там, когда всех вас поставлю на ноги, ко святым местам пойду — грехи замаливать, а кабак сожгу. Пусть никому не достается — много с ним греха на душу принято.

Пока что дядя Тимоха трудился, просиживая все ночи до рассвета в своем балагане и собирая, как он выражался, «детешкам на молочишко».

Под утро появлялся в кабаке подручный и оставался на день, а сам Тимофей Власьич на той же лошади, на которой приезжал подручный, отправлялся домой, где ложился спать. Под вечер та же лошадь в тележке привозила Тимофея Власьича на ночное дежурство и увозила домой подручного с канунной выручкой.

— Заяц... Карпыч... С дела? — слышались в кабаке возгласы при виде запоздалых посетителей.

— С дела... — отозвался тот, которого на-

звали «Зайцем». — Плевое дело. Купца пришибли с мальчонком и кучера, да вот с купцом измаялись.

— С чего?

— Живуч бестия. Два раза глушили — ништо... Ножом прикончили.

— Нож — разлюбезное дело, — как-то особенно смачно произнес коренастый мужик со всклоченными черными волосами и бородой, в расстегнутом армяке, из-под которого виднелась рубаха страшно засаленная, но когда-то бывшая красной.

— Не люблю я мараться... — заметил Карпыч.

— Баба! — презрительно сплюнул мужик в красной рубахе. — А мошна где?

— То-то же, что мошна-то плоха, и выходит — плевое дело! — и Заяц при этом вынул из-за пазухи кожаный мешок с деньгами. — Все медные... — презрительно произнес он, подходя к стойке и высыпая на нее монеты. — Считай, дядя Тимоха!

— На все?

— Знамо дело, на все!.. Много ли тут?

Он уставился одним глазом на кучку денег.

Другой его глаз немножко косил, почему Заяц и получил свое прозвище. Дядя Тимоха привычной рукой стал перебрасывать монеты.

— Четыре рубля с гривной, — через несколько времени произнес он.

— Не врешь? Нет? Ну, загребай все! На кой мне их ляд? Ишь, толстопузый, какой капитал с собой возит, а умирать артачится.

— Ты бы его отпустил: может, он на твое счастье еще гривны две нажил бы.

— Доподлинно отпустить бы надо. Эту-то мошну он и сам отдавал. Бает, что больше нет, да мы с Карпычем не поверили. Ну, да зато мы его с Карпычем помянем. Лей две посуды!

— Только до света, — заметил дядя Тимоха.

— Ладно, завтра живы будем, еще добудем.

Новые гости присоединились к остальной компании, и прервавшаяся попойка началась снова.

Через несколько времени дверь кабака снова распахнулась, и в нее вошел новый посетитель в отрепанном полумонашеском-полусвященническом одеянии. На нем сверх армяка была надета крашенинная ряса, подпоя-

санная пестрым кушаком, а на голове — высокий треух, похожий на монашескую шапку. Длинные включенные черные волосы выбивались на плечи, густая большая борода была покрыта инеем.

— А, человек Божий! — воскликнуло разом несколько голосов.

— Честной компании смиренный поклон, — остановился у дверей пришедший и сделал присутствующим полупочтительный и полукомический поясной поклон.

— Здравствуй, здравствуй, отче Никита, спина твоя не бита! — воскликнул мужик в красной рубахе.

Взрыв хохота наградил остроумца.

— С моей спиной не случалась такая проруха, а вот как я, Гаврюха, доберусь до твоего уха, — не думая ни минуты, отпарировал «отче Никита».

Взрыв смеха раскатился еще сильнее по кабаку. Смеялся и сам остроумец Гаврюха.

— Благослови, отец Никита, монашескую трапезу! — крикнули ему из-за стола.

Вошедший подошел к стойке, вынул из-за пазухи кошель, достал из него несколько се-



ребряных монет и бросил их на стойку.

— На все.

— Что же ноне мало?

— Остатные. На днях желтенькие будут. Беленькими не удивишь. Ну, давай до света. Много не выпью, хмелен.

— Мало.

— Уважь.

— Ладно. Разве что уважить, — согласился хозяин и стал цедить в посудину вино.

— Ходь сюда, Божий человек! — слышалось из-за столов.

Пришедший отправился на зов и уселся на лавку среди потеснившихся собутыльников, снял треух и пятернею расправил мокрую бороду. Это был Никита Берестов.

#### IV

### «НОЧНАЯ КРАСАВИЦА»

Приближались рождественские праздники. Обычная суতোлка петербургской жизни увеличилась. Гостиный двор, рынки и магазины были переполнены. В домах шли чистка и уборка, словом, праздничная жизнь была живым ключом не только в городе, но и в предместьях.

Кажется, единственное исключение составлял в этом случае дом княжны Полторацкой. Убирать и чистить в нем было нечего, так как, будучи только что отделан и меблирован заново, он блестел, как игрушка, и не требовал уборки и чистки.

Да и жизни в нем было видно мало. Молодая хозяйка ввиду траура не могла никуда выезжать на праздниках, не могла и у себя устроить большой прием, а потому общее оживление, охватившее столицу, не могло коснуться дома молодой «странной княжны».

Людмила Васильевна, несмотря на свою затворническую жизнь, уже успела получить прозвище «странной княжны» в гостиных высшего петербургского света, обладающего способностью знать все подробности самой интимной жизни интересующего его лица.

Княжна же, несомненно, представляла для петербургского высшего общества далеко не дюжинный интерес. Богатая, независимая девушка, живущая самостоятельно, в полном одиночестве, в глухом предместье столицы, в доме, убранном, как говорили, с чисто восточною роскошью, она выделялась среди деву-

шек своих лет, живших при родителях, родственниках и опекунах, бесцветных, безвольных и безответных, в большинстве случаев.

Людмилу Васильевну не осмеливались осуждать, так как знали, что императрица Елизавета Петровна одобряла образ жизни своей новой фрейлины и даже сама посетила ее на новоселье. Государыня, будучи сама самостоятельна, любила это качество и в других, а потому то, что другим казалось в княжне Полторацкой «странностью», для ее величества являлось заслуживающим похвалы. Последнего было достаточно, чтобы заткнуть рот светским кумушкам того времени.

Но не одна самостоятельно-одинокая жизнь молодой девушки делала ее «странной княжной» в глазах общества. Были для этого и другие причины.

Княжна Людмила Васильевна действительно вела жизнь, выходящую из рамок обыденности. Ее дом днем и ночью казался совершенно пустым и необитаемым. Жизнь проявлялась в нем только в людской, где многочисленный штат прислуги не хуже великосветских кумушек перемывал косточки своей гос-

поже, прозванной ее домашними «полунощницей».

Княжна действительно превращала день в ночь и наоборот. Днем ставни ее дома были наглухо закрыты, и все, казалось, покоилось в нем мертвым сном. Спала и сама княжна. Просыпалась она только к вечеру, когда дом весь освещался; однако это не было видно через глухие ставни; разве кое-где предательская полоска света пробивалась сквозь щель и терялась в окружающем дом мраке. Княжна начинала свой оригинальный ночной день с этого позднего вечера; когда Петербург наполовину уже спал, а предместье покоилось сном непробудным, в это-то несуразное для других время она принимала визиты своих друзей.

Это, конечно, порождало массу сплетен, и последние не доходили до злословия лишь потому, что сама императрица, любившая все оригинальное, узнав о таком образе жизни своей новой фрейлины, с добродушным смехом заметила:

— Вот подлинно «ночная красавица». Если среди цветов есть такие, которые не терпят

дневного света, почему же не быть подобным и среди девушек?

Нечего и говорить, что этот смех государыни эхом раскатился в придворных сферах и великосветских гостиных. образу жизни княжны Полторацкой нашли извинение и объяснение: очевидно, потрясающая картина убийства ее матери и любимой горничной, которой она была свидетельницей в Зиновьеве, не могла не отразиться на ее воображении.

— Она боится ночной тьмы, напоминающей ей об этой катастрофе, и потому проводит ночи в бодрственном состоянии, отдавая сну большую часть дня, — говорили одни.

— Она просто больна! Бедная девушка! — замечали другие.

— Дурит, с жиру бесится, — умозаключали более строгие.

— Оригинальничает, — догадывались завистливые придворные, видя внимание, которое оказывала «странной княжне» императрица.

Благодаря преданности дворни, любившей свою госпожу за кроткое обращение и сытую

жизнь, многое из интимной жизни княжны осталось неузнанным, и сами дворовые люди говорили о многом, происходящем в доме, пониженным шепотом.

Прежде всего всех слуг княжны поражало появление у нее «странника», с которым княжна подолгу беседовала без свидетелей. Этот странник появился вскоре после переезда Людмилы Васильевны в новый дом и приказал доложить о себе ее сиятельству. Оборванный и грязный, он, конечно, не мог не внушить к себе с первого взгляда подозрения, и позванный на совет старший дворецкий решительно отказался было беспокоить княжну. Но странник настаивал.

— Как же о тебе сказать, милый человек? — спросил дворецкий.

— А ты доложи ее сиятельству, что я — не кровопивец.

— Как? — воззрился на него дворецкий и даже отступил на несколько шагов. — Да в уме ли ты, Божий человек?

— Ты доложи, а там, в уме ли я или нет, разберет она сама. Да знай — не доложишь, беда будет. Я-то до княжны дойду, а тебе не

миновать конюшни.

Глаза странника злобно сверкнули каким-то адским огнем.

— У нас княжна милостивая, не только на конюшню не пошлет, а дурного слова не скажет, — ответил дворецкий.

— Все, братец мой, до времени. Меня-то ей, может, видеть уже давно желательно, а ты, холоп, препятствуешь. Хоть и ангел она, по-твоему, а этого тебе не спустит без порки.

— А откуда же знает ее сиятельство, что ты придешь?

— Да я, чай, к ней пришел с Божьего произволения.

— С Божьего произволения? — упавшим голосом повторил дворецкий. — Так что же из того?

— А так, что ей предупреждение было о моем приходе.

— Чудно говоришь ты! Что же, доложи, Агаша, головы за это княжна не снимет, — обратился дворецкий к горничной княжны, — а может, и впрямь: не доложишь — худо будет.

— Как доложить-то? — испуганно спросила Агаша.

— Не кровопивец-де пришел.

— Не кровопивец, — повторила девушка и отправилась к княжне.

Был поздний вечер; княжна Людмила Васильевна только что встала с постели и, сделав свой туалет, сидела за пяльцами. Не прошло и нескольких минут, как Агаша вернулась и сказала страннику:

— Иди за мной! Ее сиятельство велела привести.

Странник смелой походкой последовал за девушкой к княжне, на великое удивление собравшихся в передней дворовых людей. Изумлению их не было конца, когда Агаша вернулась и сообщила, что странник остался у княжны.

— С глазу на глаз? Чудны дела Твои, Господи! — воскликнул дворецкий.

Остальные дворовые сочувственно вздохнули.

— Как же ты доложила? — начали расспрашивать Агашу.

— Да так и сказала, что-де не кровопивец пришел. Ее сиятельство спервоначала уставилась на меня, не поняла, видно, а потом спра-



шивает, каков он собой. Ну, я и рассказала. Глаза, говорю, горят, как уголья, черный. Тут княжна вдруг вся побледнела как полотно и даже затряслась.

— Ну?

— «Проси, — говорит, — сейчас, веди сюда!» — а сама руку об руку ломает, индо суставы хрустят. Я сюда за ним и побегла.

Странник пробыл у княжны более часа и ушел.

Более он не появлялся в доме, хотя Агаша утверждала, что во внутренних апартаментах княжны, когда ее сиятельство остается одна и не приказывает себя беспокоить, слышны голоса и разговоры и что среди этих таинственных посетителей бывает и загадочный странник. Кто другие таинственные посетители княжны и каким путем попадают они в дом, она объяснить не могла. Дворовые верили Агаше и таинственно качали головой.

Около полугода вела княжна такой странный образ жизни, а затем постепенно стала изменять его, хотя просыпалась все же далеко после полудня, а ложилась поздно ночью или порою даже ранним утром. Но прозвище, дан-

ное ей императрицей: «Ночная красавица», так и осталось за нею.

Благоволение государыни сделало то, что высшее петербургское общество не только принимало княжну Полторацкую с распротертыми объятьями, но прямо заискивало в ней.

По истечении полугодичного траура княжна Людмила Васильевна стала появляться в петербургских гостиных, на маленьких вечерах и приемах, и открыла свои двери для ответных визитов. Ее мечты стали осуществляться. Блестящие кавалеры, как рой мух над куском сахара, вились над нею. К ней их привлекала не только ее выдающаяся красота, но и самостоятельность, невольно подающая надежду на более легкую победу. Этому последнему особенно способствовали рассказы об эксцентричной жизни княжны.

В числе таких поклонников по-прежнему оставались: князь Луговой, граф Свиридов и граф Иосиф Янович Свенторжецкий. Все трое были частыми гостями в загородном доме княжны на Фонтанке, но и все трое не могли похвастаться оказываемым кому-нибудь из

них предпочтением.

Тяжесть этой ровности отношений, конечно, более всех них чувствовалась князем Сергеем Сергеевичем. Несмотря на то что он отдал свою судьбу в руки Провидения, князь не мог все же забыть, что эта холодно и порою даже надменно обращающаяся с ним петербургская красавица несколько месяцев тому назад была влюблена в него, будучи провинциальной девушкой, и дала ему согласие на брак. Поцелуй, данный ему княжной Людмилой на скамейке его наследственного парка, еще до сих пор горел на его губах. Но вместе с тем адский смех, сопровождавший этот первый поцелуй невесты, еще до сих пор раздавался в его ушах и заставлял выступать холодный пот у него на лбу.

Против своей воли Луговой ревниво следил за соперниками — графом Петром Игнатьевичем и «поляком», как не особенно дружелюбно называл он графа Свенторжецкого.

Соперничество со Свиридовым, конечно, не могло не отразиться на отношениях Лугового к другу. Постепенно возникала холодность, заставившая недавних душевных

друзей отдалиться друг от друга.

Граф Петр Игнатьевич недаром по приезде княжны Людмилы Васильевны в Петербург сторонился ее. У него было какое-то роковое предчувствие, что обаяние ее красоты не пройдет без следа для его сердца. Это обаяние увеличилось еще надеждой на взаимность, поддержанной самим князем Сергеем, объявившим еще в Тамбове, что княжна влюблена в него, графа, и повторившим это в Петербурге.

Незаметно для себя, против своей воли, граф влюбился в княжну Полторацкую, влюбился и... проиграл.

Это всегда так бывает. Женщина ценит мужчину до тех пор, пока сознает опасность его потерять. Как только же она убедится, что чувство, внушенное ею, приковывает его к ней крепкой цепью и делает из него раба ее желаний, она перестает интересоваться им и начинает им помыкать.

Благо мужчины, у которого найдется сила воли разом порвать эту позорную цепь, иначе его гибель в сетях бессердечной женщины неизбежна. У графа Петра Игнатьевича не

хватало именно этой силы воли. Княжна Людмила Васильевна играла с ним, как кошка с мышью, то приближая к себе, то отталкивая, и заставляла его испытывать все муки бесправной ревности. Он ревновал ее и к Луговому, и к Свенторжецкому.

Впрочем, последний стал видимо гораздо сдержаннее относиться к предмету своего недавнего пылкого увлечения. Происходило ли это от непостоянства его натуры, была ли это, с его стороны, ловкая стратегическая тактика или же на это он имел другие причины — вопрос оставался открытым; об этом знал лишь он сам.

## V

### ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ НОГОТЬ

Однажды по возвращении с одного из ночных визитов к княжне Полторацкой в свою уютную квартирку на Невском проспекте, недалеко от Аничкова моста, Свенторжецкий не мог оторваться от внезапно мелькнувшей у него мысли, выразившейся следующими словами:

«Это — не княжна Людмила, это — Татьяна».

Мысль не давала ему покоя, а вместе с нею пред духовным взором графа отчетливыми картинками неслись рой воспоминаний детства.

Человек часто забывает то, что совершилось несколько лет тому назад, между тем как ничтожные, с точки зрения взрослого человека, эпизоды детства и ранней юности глубоко врезаются в его памяти и остаются на всю жизнь в неприкосновенной свежести.

То же было и с графом Свенторжецким.

Смутно и неясно вспоминал он сравнительно недавнюю свою жизнь с матерью в Варшаве, жизнь шумную, веселую — вечный праздник. Как в тумане проносился перед ним безобразный еврей, посещавший его мать и окружавший ее и его этим комфортом и богатством. Из кармана этого сына Израиля делались безумные траты как на удовольствия, так и на его воспитание в течение долгих лет. Лучшие учителя занимались с ним всеми тогда распространенными науками, необходимыми для поддержания с блеском титула графов Свенторжецких. О том, что ему надо забыть, что он — русский по отцу, Осип Лысенко, ему стали внушать через год после бегства

из Зиновьева.

Смутно припоминал граф и этот момент. Тот же безобразный еврей пришел к его матери и между прочим передал ей сверток каких-то бумаг. Мать развернула их, и радостная улыбка разлилась по ее лицу. Она вскочила, бросилась к еврею, обняла его за шею и крепко поцеловала. Мальчик, тогда еще Ося, был случайным свидетелем этой, с тогдашней его точки зрения, безобразной сцены; последняя яснее всего, происшедшего с ним с момента бегства от отца до прибытия с матерью в Петербург, сохранилась в его памяти и повела к дальнейшим умозаключениям и открытиям.

С годами он понял отношения своей матери к старому еврею, понял и ужаснулся своей еще чистой душой. Ненависть и злоба к этому властелину его матери росла все более и более в сердце молодого человека, жившего на счет этого еврея, Самуила Соломоновича, и обязанного ему графским достоинством. Об этом сказала ему сама мать.

Чем кончились бы такие обострившиеся отношения между сыном и любовником ма-

тери — неизвестно, но года два тому назад Самуил Соломонович умер.

Станислава Феликсовна в первое время была в отчаянии, но потом вдруг ожила и стала веселее прежнего.

Это совпало с появлением в их доме каких-то людей, снова принесших бумаги, а затем начали привозить в их дом драгоценные вещи, свертки с золотыми монетами, мешки серебра. Это было наследство, доставшееся Станиславе Феликсовне от покойного Самуила. Одиноким еврей отказал по завещанию все свое состояние христианке, умело продававшей ему свои ласки и сулившей до конца его жизни доставлять ему иллюзию любви и беззаветной преданности.

Она встретила с ним случайно в доме своих родственников, вскоре после разрыва с мужем. Самуил Соломонович, денежными счетами с которым была опутана вся Варшава, был принят как дорогой гость в домах сальной шляхты. Своей демонической красотой Станислава Лысенко, принявшая в Варшаве свою девичью фамилию Свенторжецкой, произвела роковое впечатление на оди-



ногого еврея, уже пожилого годами, но не телом и духом, и в нем вспыхнула яркая страсть к красавице. Станислава Феликсовна сумела локализовать этот пожар и обратить его в светоч своей жизни, источник богатства и знатности (за деньги в это время в Польше можно было добыть все, не исключая и графского титула).

Какие нравственные муки переносила молодая женщина, решившись на эту самопродажу, осталось тайной ее сердца. Она в это время бесповоротно решила добыть себе своего сына, а для этой цели были нужны средства, чтобы окружить его той роскошью, которая равнялась бы ее любви. Она принесла себя в жертву этой, быть может, дурно понятой, но все же искренней материнской любви, пошла на грех и преступление.

Однако возмездие не заставило себя ждать: сын ненавидел ее любовника и презирал свою мать. С летами он даже перестал скрывать это презрение, между тем как ее любовь к нему росла и росла.

Из-за этой любви Станислава Феликсовна решилась на более тяжелую жертву — рас-

статься с сыном; с этою мыслью она приехала в Петербург и осуществила свой план.

Когда ее ненаглядный Жозя был устроен, она отделила ему две трети своего огромного состояния, доставшегося ей от еврея Самуила, и таким образом он сделался знатным и богатым, блестящим гвардейским офицером, радостная будущность которого была окончательно упрочена.

Сама она уехала в Италию, с тем чтобы там поступить в один из католических монастырей. Часть состояния, которую она оставила на свою долю, была предназначена ею на внесение вклада в монастырь, и эта сумма была настолько внушительна, что открывала ей дорогу к месту настоятельницы. Это очень прельщало ее как честолюбивую эгоистку.

Это же свойство было и в характере ее сына. Эгоист с головы до ног, он готов был на всякие жертвы для достижения намеченной цели, лично ему желательной, и не пренебрегал для того никакими средствами. Все, что не касалось его «я», будь это самое близкое ему существо, не имело для него никакой цены. Вследствие этого он равнодушно простил-

ся с матерью, хотя и не зная ее намерения уйти в монастырь, но все же будучи осведомлен ею, что они прощаются на долгую разлуку.

Новая жизнь, открывавшаяся пред ним, интересовала его, он знал, что его положение более чем обеспечено, что дальнейшие жизненные успехи зависели всецело от него. Так в ком же была ему нужда? Ни в ком, даже и в матери — «любовнице жида», как он осмелился однажды сказать в лицо несчастной женщине.

Таковы были смутные воспоминания графа Иосифа Свенторжецкого о времени нахождения его под крылом матери.

Встреча с княжной Полторацкой, подругой его детских игр, пробудила в нем страстное желание обладать этой обворожительной девушкой. Он быстро и твердо пошел к намеченной цели и был накануне ее достижения. Княжна увлеклась красавцем со жгучими глазами и грациозными манерами тигра. Она уже со дня на день ждала предложения.

Граф тоже был готов со дня на день сделать его, однако какое-то необъяснимое предчувствие останавливало его, и язык, уже не

раз готовый выразить это предложение, говорил, как бы против его воли, другое.

Неожиданное обстоятельство вдруг совершенно изменило отношения графа Свенторжецкого к княжне.

На одном из очаровательных вечерних свиданий, которыми дарила княжна поочередно своих поклонников, он дошел до полного любовного экстаза, и страстное признание и предложение соединить навеки свою жизнь с жизнью любимой девушки были уже начаты им. Княжна благосклонно слушала, играя своими кольцами и браслетами. Вдруг восторженный взор графа остановился на ноготке безымянного пальца правой руки княжны Людмилы, и граф чуть не вскрикнул. Вся кровь бросилась ему в голову; пред ним предстала с поразительною ясностью картина из его детской жизни в Зиновьеве, и полный страсти монолог был прерван. Граф смотрел на сидевшую пред ним девушку мрачным, испытующим взглядом.

Княжна Людмила подняла свой взор и вдруг сперва вспыхнула, а затем побледнела, и это ее смущение еще более подтвердило за-

родившееся у графа подозрение.

Впрочем, княжна только на минуту казалась растерявшейся; она оправилась и спросила равнодушным тоном:

— Что с вами, граф? Или вы испугались, не завлек ли вас очень далеко полет вашей фантазии?

В последней фразе слышалась явная насмешка, и это взбесило графа.

— На этот раз, пожалуй, вы правы, княжна, — с неслыханною ею до сих пор резкостью тона ответил он.

Княжна смерила его надменно-ледяным взглядом.

— Я очень рада, потому что, признаться, ваши разглагольствования подействовали на меня усыпляюще. Вы сделаете мне большое удовольствие, если освободите меня от них хоть на сегодня.

— Я могу вас освободить и от своего общества.

— Если только на сегодня, то я вам буду лишь признательна, — кокетливо-лениво сказала княжна.

Граф тоже овладел собою. Обострить сразу

отношения не было в его намерениях; резкость сорвалась с его языка под влиянием раздражения.

— У меня, княжна, бывают изредка головные боли, наступающие мгновенно... Вот причина моего сегодняшнего поведения. Прошу извинить меня, — произнес он.

— И давно это с вами? — участливо спросила княжна.

— С детства.

— Вы обратились бы к врачам.

— Я не верю им.

Граф встал, почтительно поцеловал руку девушки, получил ответный официальный поцелуй в лоб и уехал, твердя про себя:

— Это — не княжна Людмила! Это — Таня!

Вот именно эта блеснувшая в его голове мысль заставила его прервать полупризнание, а причиной ее явилось следующее. На безымянном пальце правой руки сидевшей пред ним княжны он заметил неправильно растущий ноготь, и вдруг с особенной ясностью ему вспомнилась маленькая Таня Берестова с завязанным безымянным пальчиком на правой руке. Это было тогда, когда он еще

мальчиком бывал в Зиновьеве. Играя в саду, Таня нечаянно наколола палец о шипы росшего в изобилии в Зиновьеве махрового шиповника. Отломившийся шип ушел под ноготок и хотя был вскоре извлечен, но палец продолжал болеть и сделался так называемый ногтоед. Он, Ося, часто обсуждал с княжной Людмилой могущие быть последствия болезни для ноготка Тани.

— Мама говорит, что ноготь сойдет и потом вырастет другой, — говорила Людмила.

— Точно такой же? — допытывался он.

— Да. Только мама говорит, что надо быть осторожной, так как новый может вырасти неправильно.

— Надо сказать об этом Тане.

— Я сказала.

Время шло. Случай с Таней произошел в конце июля, а через месяц она сняла повязку с пальчика, и ноготь оказался несколько кривым.

— Пройдет, выпрямится, — успокаивали плачущую девочку, и она успокоилась и позабыла.

И вот теперь оказалось, что кривизна ног-

тя осталась и, быть может, была единственным отличием Тани Берестовой от княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

Эта мелочь из детской жизни девочки, конечно, была забыта всеми; она могла только случайно сохраниться в памяти Людмилы и Оси, горячо своим детским сердцем принявших вопрос о ноге Тани.

«Теперь она в моих руках!» — подумал граф Свенторжецкий и с этого вечера стал отдаляться от княжны Людмилы Васильевны, готовясь нанести ей решительный удар.

Свенторжецкий понимал, что сделанное им открытие — только конец нити целого клубка событий, приведших к этому превращению дворовой девушки в княжну. Надо было размотать этот клубок и явиться пред этой самозванкой с точными обличающими данными.

Над этим и стал работать граф Свенторжецкий. Он был поглощен мыслью добиться возможности обладания этой очаровательною женщиной; он был уверен, что она станет его рабой, когда увидит, что ее тайна в его руках. Для этого стоило поработать.



Первой задачей Свенторжецкого было узнать подробности кровавой катастрофы в Зиновьеве.

Ехать на место было неудобно, а единственным свидетелем ее был в Петербурге Луговой. Однако отношения с ним у графа Свенторжецкого были более чем холодные, и он решил, что надо постараться сблизиться с ним.

В этом графу помогло его решение временно отстраниться от княжны Полторацкой.

Действительно, Луговой, заметив перемену к княжне в графе Свенторжецком, стал относиться к нему с меньшею натянутостью и через некоторое время даже принял участие в холостой пирушке, устроенной графом. Последняя быстро сблизила их обоих, как это всегда бывает в молодых годах. Граф Свенторжецкий и князь Луговой стали посещать друг друга запросто.

Первый, конечно, выжидал удобного случая, чтобы начать интересующий его разговор, и этот случай представился.

Разговор коснулся княжны Полторацкой.

— Бедная девушка, сколько она должна

была вынести в ночь этого рокового убийства, — с соболезнаванием заметил граф. — Вы, князь, кажется, были в это время в своем имении поблизости?

— Да, и даже был вызван на место катастрофы.

— Скажите... И что же вы там увидели?

Князь подробно рассказал свою поездку в Зиновьево по получении известия о зверском убийстве княгини Вассы Семеновны и горничной княжны Тани.

— Она была как две капли воды похожа на княжну, хотя, конечно, носила на себе более грубый отпечаток дворовой девушки.

— Какая странность! Отчего же произошло такое сходство? — спросил граф Свенторжецкий.

— Говорят, что покойная была побочною дочерью князя Полторацкого от его дворовой девушки. Это-то, как раскрыл чиновник, присланный произвести следствие, и послужило главной причиной убийства. Оно совершено из мести, а не с целью грабежа.

— И убийца открыт?

— То есть его знают, но его, кажется, до сих

пор не разыскали. Он скрылся из Зиновьева. Это отец убитой дворовой девушки, Никита Берестов. Он, собственно, не отец, а муж ее матери, которого удалили от жены тотчас после венчания и за протест даже выдрали на конюшне.

Луговой рассказал историю Никиты Берестова, его побег и возвращение, известные ему со слов тамбовского чиновника, производившего следствие.

— Какая интересная и таинственная история! Из-за чего же он убил свою дочь, а не княжну? — спросил Свенторжецкий.

— Видимо, он хотел убить и княжну, но эта благородная и преданная девушка охраняла от убийцы вход в ее спальню. Берестов убил ее и надругался над нею у порога спальни княжны, а последняя успела тем временем убежать в сад, где ее нашли без чувств в кустах.

— А-а-а! — как-то загадочно произнес граф.

Луговой не обратил на это внимания и продолжал свой рассказ о состоянии княжны Людмилы после убийства ее матери и служанки, о странной перемене, происшедшей в

ней, о похоронах матери и даже о надписи на кресте, поставленном над могилой Тани.

Граф внимательно слушал своего собеседника, стараясь не проронить ни одного слова.

Когда князь Луговой кончил, Свенторжецкий заметил:

— Ужасно пережить такую ночь! Недаром она наложила на княжну Людмилу неизгладимый отпечаток. Конечно, вы заметили в ней странности?

— Да, есть-таки. Она очень нервна.

— По-моему, она... немного помешана.

У князя Лугового сжалось сердце. Он вспомнил слова деревенской горничной княгини Вассы Семеновны, Федосьи, что «княжна не в себе», «помутилась», а теперь услышал подтверждение этого от совершенно постороннего человека.

— Меня, собственно, это и заставило избегать ее. Признаюсь вам, что одно время я был сильно ею увлечен, что и немудрено при ее красоте, — заметил граф, — но теперь это увлечение прошло. Рассудок одержал верх. Какая радость связать себя на всю жизнь с полупомешанной!

Князь Луговой промолчал и переменял разговор. Он не мог не заметить действительно странного поведения княжны со дня убийства ее матери, но приписывал это другим причинам и не хотел верить в ее сумасшествие. Тогда действительно она была бы для него потеряна навсегда. Но ведь в ней, княжне, его спасение от последствий рокового заклания его предков. Он вспомнил слова призрака и похолодел.

Граф заметил его смущение и, отговорившись неотложностью делового визита, уехал. Он отправился прямо домой. Ему необходимо было уединиться и сосредоточиться, чтобы составить план действий.

Последний вскоре сложился в его голове. Если убийца — муж матери Татьяны, то, несомненно, эта последняя знала о замышляемом убийстве и даже косвенно участвовала во всем, так как выгоды от смерти княгини и ее дочери были всецело на ее стороне. Она заранее подготовила всю комедию бегства в сад и обморока, заранее приучила себя к роли княжны, будто бы спасшейся от руки убийцы, благодаря самоотверженному поступку ее

служанки-подруги, стоившему жизни последней. Она поспешила поставить над ее могилой крест с надписью, чтобы в окружающих не возникло ни малейшего сомнения, что в могиле лежит именно дворовая девушка Татьяна Берестова.

Никита скрылся, но, несомненно, он не из таких людей, которые совершают преступление единственно из мести, предоставив незаконной дочери своей жены, приписанной ему, пользоваться результатами этого преступления. Он, несомненно, появится около мнимой княжны и заставит ее поделиться с ним, устройтелем ее судьбы, своим богатством. Быть может, он уже и появился.

Необходимо проследить шаг за шагом за жизнью княжны, узнать, кто бывает у нее, нет ли в ее дворне подозрительного лица, и таким образом напасть на след убийцы. Тогда только можно считать дело совершенно выигранным. Никита будет в руках графа, и сознание его явится в его руках грозным доказательством против этой соблазнительной самозванки.

Так нервно скачками работали мысли гра-

фа Свенторжецкого. В том, что его соображения по поводу участия Татьяны Берестовой в убийстве были совершенно близки к истине, он не сомневался. Слишком уж логически неоспоримыми являлись выводы из известных ему фактов.

Оставался открытым вопрос, каким образом устроить тайное наблюдение за домом княжны или, по крайней мере, получать точные сведения о ее интимной жизни. Это заставило графа сильно призадуматься. В Петербурге он был человеком новым, иностранцем, да еще иностранцем, ненавистным в глазах русских простых людей — поляком. В темную массу русского крестьянства достигали известия о печальном положении польских крестьян под властью панов и их арендаторов-жидов, а потому каждый состоятельный поляк казался извергом.

Граф не был владельцем польских крестьян и даже для услуг держал в Петербурге вольнонаемных людей, ходивших по оброку. Но мог ли он довериться кому-нибудь из них, мог ли быть уверен, что у них нет хотя бы инстинктивного недоверия русского человека к

людям его национальности и положения — к польским панам?

Но надо было на что-нибудь решиться, надо было пользоваться средствами, имевшимися под руками.

Выбор графа пал на его камердинера Якова, расторопного ярославца, с самого прибытия в Петербург служившего у него и пользовавшегося особыми его милостями.

Граф позвонил. Через несколько минут в кабинете графа появился Яков, франтовато одетый молодой парень, сильный и мускулистый, с добродушным, красивым лицом и плутоватыми, быстрыми глазами.

— Звать изволили, ваше сиятельство? — с развязностью любимого барином и со своей стороны преданного ему слуги спросил он. — Что приказать изволите, ваше сиятельство?

— Гм... приказать... Вот что, Яков: хочешь на волю?

— Шутить изволите, ваше сиятельство!

— Нет, не шучу. Мне необходимо, чтобы ты оказал мне одну большую услугу, и, если ты все устроишь так, как надо, я выкуплю тебя на волю у твоего помещика, чего бы это ни



СТОИЛО.

— Скарעד он у нас. Меньше трехсот рубликов не возьмет.

— Ну, что же, помещику отдам за тебя триста, да на руки тебе еще двести.

— Да я, барин, за вас хоть в огонь, хоть в воду и без этого; я и теперь много вам обязан.

— За это благодарю, но это не меняет дела. Скажи, ты знаком с кем-нибудь из дворни княжны Людмилы Васильевны Полторацкой?

— Почитай, всех знаю, ваше сиятельство.

— Так видишь ли, Яков, нам необходимо знать подробно и точно, кто бывает у княжны, кого и когда она принимает, долго ли беседует. Понял?

— Понял-с! Как не понять!..

— Можешь узнать мне это и докладывать ежедневно в течение недели или двух? Этого достаточно, чтобы, все выяснилось.

— Постараюсь, ваше сиятельство! А только и кремни же, ваше сиятельство, там у княжны дворковые-то. Аспиды бессловесные, слова не выманишь. Ну, да я все же это дело оборудую.

— Как же?

— Да так. Девчонка там одна, Агашка, глаза на меня пялит.

— Так ты через нее?

— В лучшем виде дело оборудуем, ваше сиятельство, будьте без сомнения. В душу-то девке влезть для меня плевое дело.

— Так орудуй.

— Беспременно, ваше сиятельство, с завтрашнего же дня.

— А потом ты, может, мне и для другого дела понадобишься.

— Рад стараться! — и Яков вышел.

Граф стал прохаживаться по кабинету. Он был доволен результатом своих переговоров с Яковым. Обещанная тому награда была для Якова целым состоянием. Этот сметливый парень тяготился зависимостью от помещика, без которого он мог бы заняться в Петербурге самостоятельным делом. Он, несомненно, скопил себе уже кое-какие деньжонки, что с обещанными двумястами рублей составит капиталец, который даст ему возможность заняться торговлей и, кто знает, даже сделаться впоследствии богачом. Эти соображения ружались, что парень расшибется вдребезги, а

все же сделает для своего барина дело.

Решение Якова обойти для этого Агашку также показалось графу удачным. Девчонка, конечно, проболтается пред своим ухаживателем, и эта болтовня будет самой истиной. А этого только и было надо.

Уверенность в Якове не обманула Свенторжецкого. Не прошло и недели, как он узнал то, что его, главным образом, интересовало в жизни княжны Полторацкой.

— Болтает Агашка, что к княжне ходит какой-то странник, — доложил ему между прочим его камердинер. — Пришел он в первый раз вскоре после переезда их сиятельства в дом и велел доложить о себе.

— Как же он назвал себя? — спросил граф.

— Имени своего не назвал, а понес какую-то околесину. «Доложите-де княжне, что я — не кровопивец».

— Не кровопивец? Это — он! — вслух подумал граф. — Так ты говоришь, что пришел и велел доложить о себе, что он — не кровопивец? А часто бывает он у княжны?

— Почитай, несколько раз в неделю. Только как он попадает в комнату княжны, —

неизвестно. Ведь во двор-то он не ходит.

— Почему же знают, что он бывает?

— Агашка подглядела. Она вот думает, что у него ключ есть от калитки в саду.

— Ага, — протянул граф Иосиф Янович. — Ну, спасибо, ты службу свою мне сослужил, завтра же пошлю твоему помещику деньги и тебе обещанные выдам.

— Да неужто, ваше сиятельство? — весь просиял Яков. — И больше вам разузнавать ничего не надо?

— Ничего, братец, все разузнано в лучшем виде.

— Ну, слава Богу! Признаться, ваше сиятельство, девка-то эта Агашка малость надоела мне.

— Можешь прекратить ухаживанье за нею. Только теперь у меня будет для тебя еще дело. Тебе надо еще трех-четырёх парней подыскать.

— Это можно найти. А что им делать?

— Они отправятся к калитке сада княжны и будут сторожить по очереди, когда войдет стражник. Как только калитка захлопнется за ним, один из караульных побежит известить

остальных. Мы эти две недельки посидим дома, особенно по ночам. Тогда мы все отправимся к калитке, захватим странника и приведем сюда. Мне надо переговорить с ним.

— А как не изловим, ваше сиятельство?

— Это впятером-то или вшестером?

— Тут дело не в числе. Агашка болтает, что он — оборотень...

— Такой же человек, как и мы с тобой. Я даже знаю, как его зовут. Так ты подыщи молодцов-то... рослых да сильных.

— Один к одному будут.

— Постарайся. Награжу как следует и их, и тебя. Так с завтра надо начинать. День дежурят одни, ночь — другие.

— Слушаю-с.

Яков вышел, не чувствуя под собою ног от радости.

Граф также был очень доволен: он не ожидал, что так быстро откроется все, что ему надо.

Этот странник — несомненно Никита, убийца княгини и княжны Полторацких, муж матери Татьяны Берестовой. В этом ни на минуту не сомневался граф Свенторжецкий. Не

нынче-завтра Никита будет в его руках и даст ему неопровержимые доказательства самозванства княжны Полторацкой и соучастия Татьяны Берестовой в убийстве своих помещиц.

Яков действительно принялся за дело умело и энергично. Он набрал шесть молодцов, и те терпеливо и зорко подвое стали дежурить у калитки сада княжны Людмилы.

Дня через четыре Свенторжецкому донесли, что странник прошел в калитку, и Иосиф Янович, переодевшись в нагольный тулуп, в сопровождении Якова и других его товарищей отправился и сел в засаду около калитки сада княжны Полторацкой.

Ночь была темная, крутила вьюга. Сидевшие в засаде терпеливо ждали. Но вот скрипнула калитка, и среди ночной тишины послышался звук тяжелых шагов Берестова. Все восемь человек сразу набросились на Никиту, и он был связан приготовленными веревками по рукам и ногам. Он вздумал было отбиться, но граф Свенторжецкий наклонился к нему и прошептал:

— Повинуйся, Никита Берестов, убийца

княжны и княгини Полторацких!

Странник перестал отбиваться. Его взвалили в сани, повезли на квартиру Свенторжецкого, а там, по приказанию графа, внесли в кабинет.

— Развяжите, — приказал Иосиф Янович, — и оставьте нас!

— Встань! — грозно сказал граф «страннику».

Никита медленно приподнялся с пола и глядел на графа глазами затравленного волка.

— Ты теперь знаешь, что ты у меня в руках, я тебя не боюсь, а в соседней комнате к моим услугам люди, которые тотчас препроводят тебя в полицию как убийцу княгини Полторацкой и ее горничной, которого разыскивают. Понял? Значит, в твоих интересах быть отпущенным отсюда на волю и снова делить свою добычу со своей сообщницей — Татьяной Берестовой.

— Что же надо для этого сделать?

— Рассказать мне подробно о том, как вы задумали убийство и как исполнили. Мне надо знать все.

— Что все-то? Много и говорить-то не приходится. Убили, да и к стороне.

— Татьяна знала?

— Вестимо, знала. Она мне и дверь отперла, и платье свое дала, чтобы разорвать и бросить его у тела княжны.

— А сама она переоделась в ее платье?

— Только рубашку да юбку надела и в сад убежала.

— Она заплатила тебе?

— Я шкатулку княжны захватил — сот восемь в ней было — и бежал.

— А теперь она тебе платит?

— Сколько моей душеньке угодно.

— Это она дала тебе ключ от калитки сада?

— Полдюжины ключей я для нее сделал — правда, не сам, я этому мастерству не обучен. Но паренек у меня тут есть, на ключи мастак.

— Так слушай. Я тебя полиции не выдам; мне ей служить не приходится, пусть сама ищет. Но знай, что я тебя всегда найду, а потому тебе выгоднее служить мне, нежели идти против меня. Так вот тебе мой наказ: скажи своей княжне, что я все знаю и вас обоих погубить могу, чтобы она, значит, мной не пре-



небрегала.

По лицу Никиты вдруг расплылась довольная улыбка.

— Не извольте, барин, сомневаться. Зачем ей таким красавцем пренебрегать? Всякую ласку окажет, когда потребуете.

— Коли так, ступай на все четыре стороны и помни! — и граф отворил дверь, а затем приказал Якову: — Выпусти его за ворота!

— На волю, значит? Слушаю-с.

Яков проводил пленника и вернулся в кабинет к барину.

— Что, проводил?

— Стрекача задал такого, что только пятки засверкали.

— Ну, Яков, я тобой доволен. Возьми это себе и своим товарищам, — и граф бросил Якову объемистый мешок с серебряными рублями.

Тот поймал его на лету, поблагодарил барина и удалился.

— Ну-с, ваше сиятельство, как вам понравится сообщение вашего папеньки? — потирая руки, сказал себе Свенторжецкий. — Через денек-другой придем к вам за ответом.

Вы, вероятно, будете благосклоннее. Наверно, Никита сегодня побежит к вам и все доподлинно доложит. И как сразу, бестия, догадался, чего мне нужно от этой красотки!

Граф не ошибся. Никита отправился прямо в дом княжны Полторацкой (так мы будем продолжать называть Татьяну Берестову). Княжна уже спала. Однако когда, отперев ключом калитку, Никита пробрался в потайную дверь и постучался в дверь ее будуара, княжна, спавшая чутко, тотчас проснулась.

— Кто там? — спросила она.

— Пусти, Таня! Дело есть.

— Подождешь до завтра.

— Никак нельзя. Отвори! Сейчас же все узнаешь.

— Что такое?

Княжна накинула капот и отперла дверь. Пред нею стоял бледный как смерть Никита.

— Пропали мы с тобой! — воскликнул он. — Открыли, все открыли!

— Что открыли? Кто?

— Сам я во всем сейчас признался.

— Что ты болтаешь? Кому признался? Полиции?

— Нет еще, слава Богу, а барину признался, — и Никита подробно рассказал, как его схватили у калитки и отвезли в квартиру какого-то строгого черного барина.

— Каков он собой? — прошептала княжна и, когда Никита описал, заметила: — Это граф Свенторжецкий. Значит, он знает?

— Знает. Да вот сказал, что если ты к нему ласкова будешь, то он ничего никому не скажет. Уж ты, Таня, постарайся!

— Не беспокойся. Никому он не скажет. Положись на меня и иди спать или пить, как хочешь! — и она выпроводила за дверь Никиту, а сама стала думать:

«Вот почему граф тогда вдруг прервал свои любовные объяснения! Но почему он догадался? Это интересно узнать. „Поласковее будь!“ — сказал Никита. Это можно, граф мне нравится. Все равно мне замуж не выходить, так хоть поживу вовсю. Начну с графа; он красив».

Княжна не сомкнула глаз всю ночь. Нервная дрожь пробирала ее. Она вздрагивала от каждого малейшего звука, достигавшего до ее спальни. Однако образ Свенторжецкого витал

пред нею далеко не в отталкивающем виде. Быть в его власти ей, видимо, было далеко не неприятно.

«Я сделаю его рабом», — сказала она сама себе.

Однако, несмотря на предупреждение Никиты относительно графа Свенторжецкого, несмотря на решение ценою каких бы то ни было жертв заставить его молчать о его открытии, она все же была далеко не спокойна. Прошла уже неделя с момента позднего посещения Никиты, а Свенторжецкий все еще не появлялся в доме княжны. Каждый день просыпалась она с мыслью, что сегодня наконец он придет, каждый день ложилась с надеждой, что он будет завтра, а графа все не было.

Это ожидание сделалось для княжны невыносимой пыткой. Порой ей казалось, что она была бы счастливее, если бы ее преступление было бы уже открыто и она сидела в каземате, искупляя наказанием свою вину. Угрызение совести вдруг проснулось в ней с ужасающею силой.

Она старалась развлечься выездами, приемами, но все было тщетно. Как только она

оставалась одна, картина убийства княгини Вассы Семеновны и княжны Людмилы, имя которой она теперь носила, восставала перед ее духовным взором во всех ужасающих подробностях.

Особенно рельефно сохранился в ее памяти момент, когда она впустила Никиту в дверь девичьей, где по случаю праздника не было ни души. Она не была свидетельницей самого убийства и насилия над княжной. Она быстро разделась и, переодевшись в приготовленное ею белье княжны, бросилась из открытого ею окна в сад. В это время княгиня уже была убита и Никита расправлялся с княжной Людмилой. Последняя не кричала, или, по крайней мере, она, Татьяна, не слышала криков. Она слышала лишь несколько стонов, и эти стоны теперь почти неотступно стояли в ее ушах.

Никита унес белье княжны, разбросав возле трупа разорванное платье и белье, снятое Татьяной. Так они уговорились. Впрочем, теперь она вспомнила, что, забившись в кусты зиновьевского сада, она дрожала, как в лихорадке, хотя ночь была теплая, и у нее из голо-

вы не выходила мысль, все ли устроит Никита как следует.

Ночь прошла довольно быстро. Когда Татьяна услышала шаги, видимо разыскивавших ее людей, то притворилась лежащей в глубоком обмороке. Ее отнесли в спальню княжны.

Далее все пошло хорошо. Все признали ее княжной Людмилой. Одна только Федосья несколько раз бросала на нее подозрительные взгляды. В первый момент это смутило Таню, но она поняла, что смущение может выдать ее, и стала более властно обращаться со старухой. Этим она достигла желанной цели — сомнения Федосьи, видимо, рассеялись. Впрочем, Таня все же не взяла старухи в Петербург.

Но дядя княжны Людмилы, как ей показалось, в последнее время стал относиться к ней сдержанно; он тоже что-то заподозрил; однако дело было сделано так, что, как говорится, иголки не подточешь, и Таня тут же подумала, что, видимо, дядя остался только при подозрении или, может быть, ей это только показалось.

Она сразу заняла в Петербурге соответствующее положение. Расположение императрицы доставило ей круг почти низкопоклонных знакомых. Да и правда, кто мог усомниться, что она — не княжна, а дворовая девушка Татьяна Берестова? Никто!

Конечно, есть человек, который один знает это; этот человек — Никита, муж ее матери, убийца и сообщник. Татьяна понимала, что ей придется всю жизнь иметь с ним дело, но бояться с его стороны обнаружения ее самозванства было нечего. Он ведь будет молчать, охраняя самого себя, хотя ей, конечно, придется бросать ему довольно крупные подачки.

В таком виде представляла себе она будущее. Ничего мрачного, ничего тяжелого не виделось ей в нем; напротив, достигнув цели, совершив, как казалось, дело законного возмездия «кровопийцам», она почти весело глядела в это будущее, где ее ожидали любовь, поклонение и счастье. Ее совесть была спокойна. Ведь Никита Берестов все равно так или иначе расправился бы с княгиней и княжной — он мстил за свою жену и свое раз-

битое счастье. Помощь ее, Татьяны, ему была не особенно нужна. Она только присоединилась к его мщению и путем его преступления добыла себе те права, которые ей, по ее мнению, принадлежали как дочери князя Полторацкого. Этими рассуждениями убаюкивала девушка свою совесть, и это удалось ей.

Все обошлось для нее более чем благополучно. Она сделалась княжной, всеми признанной, она обласкана императрицей, принята с распростертыми объятиями в высшем петербургском обществе. Самые блестящие женихи столицы готовы оспаривать друг у друга честь и счастье повести ее к алтарю.

И вдруг это внезапное предупреждение ее сообщника Никиты. Пред Татьяной рисовалось его бледное, испуганное лицо, в уме звучали его слова: «Все пропало!» Нашелся обличитель ее самозванства, не чета беглому Никите — граф Свенторжецкий.

От этого не отделаешься денежной подачкой — он сам богат; да он уже и предъявил свои условия. Придется расстаться с мыслью о блестящем замужестве.

По странной иронии судьбы, она именно



графы мысленно наметила в свои мужья, но теперь он, конечно, не женится на бывшей «дворовой девке», на убийце. Так пусть же берет ее так, но... молчит.

«А будет ли он молчать? Я ведь в его руках, — тревожно подумала Татьяна, однако тут же успокоила себя: — Но разве у меня нет силы, страшной силы? Ведь эта сила — моя красота!»

«Граф будет моим рабом!» — снова промелькнула у нее гордая мысль, но последняя была отравлена ядом возникавших в уме сомнений.

Она полагала, что граф, случайно добыв доказательства ее самозванства, тотчас поспешит воспользоваться ими. Она ждала его на другой же день после визита ее сообщника. Она во власти графа; не станет же он медлить — ведь он влюблен. Если так, то сила была на ее стороне. Но граф медлил.

При каждом часе этого промедления сомнение в чувстве графа стало расти в душе молодой девушки. А по истечении нескольких дней она уже окончательно потеряла почву под ногами. Ей стало страшно: а что, ес-

ли он вовсе не придет, не захочет иметь с нею дело, а прямо сообщит все государыне?.. Он ведь в числе ее любимцев.

Вместе, с этим страхом обнаружения преступления стало появляться и угрызение совести по поводу его совершения.

Девушка всячески старалась успокоить себя, представить себя жертвой Никиты, путем угрозы заставившего ее принять участие в его преступлении. Но это было плохим успокоением. Внутренний голос делал свои разумные возражения:

«Ты сама пошла к нему. Ты слушала его дьявольский шепот с чувством злобного удовольствия и, наконец, до сих пор пользуешься плодами этого преступления».

И снова начинались муки и страх неизвестного будущего.

«Зачем же графу было тогда отпускать Никиту? Если бы он не стремился ко мне, то не дал бы ему и поручения, — представляла она самой себе успокоительные доводы, но тут же меняла мысль: — А если он сделал это под влиянием минуты и потом раздумал, почувствовав ко мне брезгливость? Что тогда? По-

зор, суд, смерть от руки палача. — Татьяна Берестова дрожала, как в лихорадке. — А что, если он и придет, но придет не пламенным любовником, а хладнокровным властелином и станет требовать от нее любви так, как Никита требует денег?»

Вся кровь прилиwała ей в голову при этой мысли. Она была самозванкой, сообщницей убийцы, но она была женщиной, и подобное предполагаемое требование графа оскорбляло ее, как женщину.

«Кто лучше? Палач или такой любовник?» — думала она и почти склонялась на сторону первого.

Дни шли за днями томительно долго.

А тут еще каждую ночь появлялся Никита, который, видимо, сам был в страшном беспокойстве.

— Был? — обыкновенно спрашивал он.

— Нет!

— Пропала наша головушка. Узнал я доподлинно, действительно это — граф, поляк. Какого тут ждать добра! Он — властный человек, у царицы бывает.

— Приедет ко мне, не беспокойся!

— Вы послали бы за ним, — как-то умоляюще предложил однажды Никита.

— Нельзя, хуже будет!

— Хуже... — отчаянно ударил себя Никита по бедрам и удалился.

Татьяне самой приходило на ум послать записку к графу Свенторжецкому, но она не решалась. Это ведь будет уже окончательной сдачей себя в его власть, а она еще думала бороться.

Ей порой приходило на ум, что Никиту просто захватили врасплох, а он в испуге сознался во всем, и что только таким образом граф получил сведения о ее самозванстве и преступлении. «Он меня сам прямо назвал по имени и убийцей княжны и княгини Полторацкой», — припоминались ей слова Никиты, но тут же она думала:

«Что-нибудь путает Никита, смешал со страха, что это сказал ему граф, после того как он уже все выболтал. Дурак! Ну, да ничего! Тогда можно будет еще и отговориться. Надо удалить Никиту из Петербурга; пусть уезжает подальше, спрячется в такую нору, в которой его никто не найдет. Пусть тогда попро-

бует граф заявить, что ему сказал какой-то оборванец, бродяга, что я, княжна, — не княжна... Он будет только в смешном положении; нет, даже хуже: его прямо сочтут клеветником, скажут, что он решился на такую подлую и глупую месть за то, что я отвергла его ухаживанье. Может быть, он уже сам сообразил это, а потому и не является».

Княжне улыбалась эта мысль, и таково было ее состояние в ожидании «повелителя», как она с деланною ирониею мысленно называла графа Свенторжецкого.

## VI

### ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ДЕЛА

**П**рервем временно наш рассказ, чтобы бросить общий взгляд как на внутренние, так и на внешние дела царствования Елизаветы Петровны, неукоснительно следовавшей национальной русской политике.

Императрица вступила на путь своего отца — Петра Великого. Она восстановила значение сената, который был пополнен русскими членами. Сенат следил за коллегиями, штрафовал их за нерадение, отменял несправедливые из их приговоров. Вместе с тем он

усиленно работал, стараясь ввести порядок в управление и ограничить злоупотребление областных властей.

Но больше всего он занимался исполнением проектов Петра Шувалова. Задачей последнего было увеличение доходов истощенной казны, не столько обременяя народ новыми тяготами, сколько развивая производительные силы страны.

«Доимочный приказ», памятник ненавистной бироновщины, был уничтожен. Крестьяне в то время несли непосильные тяготы. Даже в мирное время их разоряли войска, поставленные «на вечных квартирах». Конечно, они не были в состоянии аккуратно платить подати, а правители думали, что они не хотят платить, и устроили «доимочный приказ» для сбора недоимок за многие годы. Приказ рассылал команды, те со сборщиками накидывались на села и все забирали у мужика. Народ разбежался, а его преследовали и убивали. Теперь было не то.

Облегчением для народа была и новая система о воинской повинности. Россия была разделена на пять полос, по которым произ-

водился набор, то есть брали солдат только с одной пятой населения, притом по человеку со ста. Дорожа рабочими руками, не казнили народ, постепенно устраняли пытки, а беглых оставляли работать на новых местах.

Милостиво относились даже к частным бунтам крестьян, особенно монастырских, и подготавливали отобрание церковных имуществ в казну. От этого быстро заселялись юго-восточные окраины — была устроена Оренбургская губерния. А на юго-запад привлекали иностранцев, особенно поляков и австрийских сербов: возникла целая Новая Сербия и был заложен Елизаветград.

Промыслы развивались благодаря льготам. Торговля со Средней Азией доходила до Ташкента. Этому помогали казенные банки, выдававшие под шесть процентов деньги купцам и дворянам, часто даже без залогов.

Комиссия о коммерции помогала среднему классу — она восстановила главный магистрат, охранявший купцов от воевод, покровительствовала частной промышленности. Большую пользу принесла палата размежевания земель, устранявшая споры между земле-

владельцами.

Еще важнее была отмена внутренних пошлин, а с ними семнадцати мелочных сборов, которым подвергались товары при перевозке из одного места в другое. Был издан и таможенный устав, ставивший торговлю на новые, более льготные основания.

Было двинуто заброшенное основное дело преобразователя — просвещение страны. Иван Иванович Шувалов вводил целый строй народного образования. Он основал первый русский университет в Москве в 1745 году и академию художеств в Петербурге в 1757 году. Двери университета раскрывались для всех, кроме крепостных. Шувалов выработал также план среднего и низшего обучения; по провинциям должны были заводиться народные школы, где преподавались бы основания разных наук, а в «знатных» городах — гимназии, куда поступала бы молодежь из школ и выходила бы в университет, в Академию наук, в Морскую академию или Кадетский корпус. Старались заменить иностранных учителей, помогали даже купеческой молодежи учиться за границей.



Наконец помогли купцу Волкову основать русский театр в Петербурге.

При академии появился первый русский журнал «Ежемесячные сочинения», а при университете — газета «Московские ведомости», существующие и теперь. Возникла, таким образом, отечественная словесность с Достойным русским языком.

Выступили человеколюбие, смягчение нравов, и прежде всего наверху. Императрица сдержала свою клятву Всевышнему, данную в ночь вступления на престол своего отца: в России была отменена смертная казнь в 1754 году, когда на западе правительства и не думали об этом. Правда, она сохранилась для политических дел в Тайной канцелярии; но тут соблюдалась такая тайна, что сама императрица Елизавета Петровна мало знала об усердии этого ведомства. А рядом было воспрещено употреблять пытки при крестьянских бунтах, женщины были освобождены от рванья ноздрей и наложения клейм. Прекращалось много дел о беглых крестьянах, запрещалось недворянам владеть крепостными; облегчалась участь солдат на ученье и «веч-

ных квартирах».

В то же время заводили богадельни, был устроен инвалидный дом, запрещены кулачные бои, пьянство, распутство, даже сквернословие на улицах и по трактирам, а азартная игра — даже в частных домах. Принимались меры против роскоши, быстрой езды, пожаров и зараз; во время мора было запрещено даже носить детей в церковь для причащения.

Одна только черта, вытекавшая из воспитания Елизаветы Петровны, придавала особый оттенок ее царствованию. Заботясь о развитии человечности «путем Петра Великого», то есть с помощью светского просвещения, правительство старалось помогать ей благочестием. Дух древней России сквозил в мерах по распространению православия. Тут не жалели ни денег, ни власти. Увеличивая число церквей и монастырей, стесняли иноверцев. Евреям было запрещено даже за особые налоги торговать на ярмарках, так как императрица «не желала выгод от врагов Христовых».

Елизавета Петровна и во внешних делах шла по пути отца. Так, она ревностно продол-

жала войну со шведами, и по миру в Або к завоеваниям Петра I присоединилась еще часть Финляндии до реки Кюмель.

Затем возник сложный германский вопрос. Война за австрийское наследство перевернула европейскую политику. До тех пор все боялись могущества австрийских Габсбургов и сочувствовали французским Бурбонам, боровшимся с ними. Теперь Фридрих II унизил Австрию, отхватил у нее Силезию и застрашал всех своею гениальностью полководца. Но Россия решила выступить против него. Бестужев поддержал мысль Остермана о союзе России с Австрией. Он доказал даже, что сам Петр, стоявший за «равновесие Германии», остановил бы успехи Пруссии, как нашего главного врага, «по близости соседства и по ее великой умножаемой силе». Кроме того, Фридрих II был лично противен Елизавете Петровне. Он ненавидел ее и даже сносился с раскольниками, чтобы восстановить Иоанна VI на престоле. В результате всего этого русские войска явились в Германию уже во время войны за австрийское наследство. Испуганный Фридрих поспешил заключить мир с

Марией-Терезией до столкновения с ними.

Когда, несколько лет спустя, в 1756 году, Фридрих начал Семилетнюю войну с Австрией и против него вооружилась почти вся Европа, за исключением Англии, Елизавета Петровна стала во главе союзников, сказав, что добьется уничтожения своего заклятого врага.

Русские двинулись под начальством тучного, спесивого барича, щеголя Апраксина. Казаки и калмыки опустошали Бранденбург. В большом сражении у Гросс-Эгерсдорфа русские одержали победу. Вслед за тем Апраксин начал свое показавшееся всем очень странным отступление.

Это отразилось в самом Петербурге. Началась известная «бестужевская история», в которой оказалась замешанной великая княгиня Екатерина Алексеевна. Апраксин 18 октября 1757 года получил указ сдать команду над армией генералу Фермору и ехать в Петербург. В начале ноября он приехал в Нарву, и тут ему было приказано отдать все находившиеся у него письма. Причиной этого явилось то, что у него были письма великой кня-

гини Екатерины. Императрице было сообщено об этой переписке, причем дело было представлено в очень опасном свете. В результате прошло полтора месяца, а Апраксин все сидел в Нарве и не был приглашаем в Петербург, что было равносильно запрещению въезда в столицу.

В январе 1758 года начальник Тайной канцелярии, Александр Иванович Шувалов, отправился в Нарву поговорить с Апраксиным насчет отобранной у него переписки. Однако Апраксин дал клятвенное заверение, что никаких обещаний «молодому двору» не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. На этом дело остановилось.

Императрица Елизавета Петровна обходилась холодно с великой княгиней и с канцлером Бестужевым. Против последнего, кроме переписки, были и другие причины неудовольствия; главная из них была подготовлена Иваном Шуваловым и вице-канцлером Воронцовым: они нашептали государыне, что ее слава страдает от кредита Бестужева в Европе, то есть что канцлеру приписывают более

силы и значения, чем самой императрице.

Кроме того, делу помог великий князь Петр Федорович, обратившийся к Елизавете Петровне с жалобами на Бестужева. Раскаиваясь в прошедшем своем поведении, он сваливал всю свою вину на дурные советы, а дурным советником оказался Бестужев. Императрица была очень тронута, что племянник обратился к ней по-родственному с полной, по-видимому, откровенностью и доверчивостью.

Бестужев был арестован и отведен под караулом в собственный дом.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна получила от Понятовского записку: «Граф Бестужев арестован, лишен всех чинов и должностей, с ним арестованы: ваш бриллианщик Бернарди, Елагин и. Ададулов». И у нее тотчас явилась мысль, что беда не минует и ее лично.

Бернарди, умный и ловкий итальянец, благодаря своему ремеслу был вхож во все дома, и ему давали поручения. Записка, посланная с ним, доходила скорее и вернее, чем отправленная со слугою. Великой княгине он служил таким же комиссионером.

Елагин был старый адъютант графа Алексея Разумовского, друг Понятовского, очень привязанный к великой княгине, равно как и Ададулов, учивший ее русскому языку.

На другой день к великой княгине пришел заведовавший голштинскими делами при великом князе тайный советник Штамке и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтобы она не боялась, так как все сожжено. (Дело шло о проекте относительно престолонаследия.) Записку принес музыкант Бестужева, и было условлено на будущее время класть записки в груду кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева, Штамке должен был также дать знать Бернарди, чтобы тот при допросах показывал сущую правду и сообщил Бестужеву, о чем его спрашивали. Но через несколько дней к великой княгине вошел Штамке, бледный и испуганный, и объявил, что переписка открыта, музыкант схвачен и, по всей вероятности, последнее письмо в руках людей, которые стерегут Бестужева. Письмо действительно очутилось в след-

ственной комиссии, наряженной по делу Бестужева.

Комиссия, состоявшая из трех членов: фельдмаршалов — князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова, ставила арестованным бесконечные вопросные пункты и требовала пространных ответов. Ответы были даны, но решение еще не выходило. Бестужев содержался под арестом в своем собственном доме.

Наряду с его делом производилось и дело об Апраксине, окончившееся, впрочем, скорее — смертью обвиняемого полководца. Великая княгиня Екатерина оказалась весьма причастной к делу. Недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужевым лежала в основании допросов. Екатерина не могла бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать. Однако положение ее было тяжелое: подозрения могли остаться в голове императрицы, да и кроме того, Елизавету Петровну должны были раздражить вмешательство Екатерины в дела и значение, приобретенное ею. Следовательно, гнев императрицы был



несомненен.

Где искать защиты против этого гнева? Одно средство — это обратиться прямо к Елизавете Петровне, которая очень добра, не переносит вида чужих слез и очень хорошо понимает положение Екатерины в семье.

Вместе с тем до Екатерины доходили слухи, что ее хотят удалить из России. Конечно, она понимала, что эти слухи несбыточны, что Елизавета Петровна никогда не решится на такой скандал из-за нескольких писем к Апраксину. Но она решилась воспользоваться и этими слухами, чтобы обратить оружие врагов против них самих; ее жизнь в России стала невыносимой, так пусть ей дадут свободу выехать из России.

Великая княгиня написала императрице письмо, в котором изображала свое печальное положение и расстроившееся вследствие этого здоровье, просила отпустить ее лечиться на воды, а потом к матери, потому что ненависть великого князя и немилость императрицы не дают ей более возможности оставаться в России. Елизавета обещала лично переговорить с великою княгинею.

Свиданье произошло после полуночи. В комнате императрицы, кроме нее и великой княгини, находились еще великий князь и граф Александр Шувалов. Подойдя к императрице, Екатерина упала пред нею на колени и со слезами на глазах стала умолять отправить ее к родным за границу. Императрица хотела поднять ее, но великая княгиня не вставала. На лице Елизаветы была написана печаль, а не гнев. На глазах блестели слезы.

— Как это мне вас отпустить? Помните, что у вас дети! — сказала она Екатерине.

— Мои дети на ваших руках, и лучшего для них желать нечего; я надеюсь, что вы их не оставите!

— Но что же я скажу другим, за что я вас выслала?

— Ваше императорское величество, изложите причины, почему я навлекла на себя ненависть вашу и великого князя.

— Чем же вы будете жить у своих родных?

— Чем жила пред тем, как вы взяли меня сюда, — ответила Екатерина Алексеевна.

— Встаньте! — еще раз повторила императрица.

Великая княгиня повиновалась.

Елизавета Петровна отошла от нее в раздумье, а затем подошла к великой княгине с упреком:

— Бог свидетель, как я плакала, когда, по приезде вашем в Россию, вы были при смерти больны; а вы почти не хотели кланяться мне, как следует, — вы считали себя умнее всех, вмешивались в мои дела, которые вас не касались. Как смели вы, например, посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?

— Я? — ответила Екатерина. — Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказания!

— Как, — возразила императрица, — вы будете заператься, что не писали ему? Ваши письма там! — и она показала рукой на туалет. — Ведь вам было запрещено писать.

— Правда, — ответила Екатерина, — я нарушила это запрещение и прошу простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах относительно его поведения...

— А зачем вы писали ему это? — прервала ее императрица.

— Затем, что очень любила его, и потому просила его исполнять ваши приказания; другое письмо содержит поздравление с рождением сына, третье — поздравление с Новым годом.

— Бестужев говорит, что было много других писем... — уронила Елизавета Петровна.

— Если Бестужев говорит это, то он лжет, — ответила Екатерина, глядя прямо в глаза императрицы.

Последняя употребила нравственную пытку, чтобы вынудить признание, и сказала:

— Если он лжет на вас, то я велю его пытать.

— В вашей воле сделать все то, что признаете нужным, но я писала только эти три письма к Апраксину.

Елизавета Петровна ничего не сказала на это. Весь разговор произвел на нее сильное впечатление, но не раздражил ее.

Великий князь, наоборот, выказал сильное ожесточение против жены. Он старался раздражить и Елизавету против нее, но не достиг

своей цели.

Наконец императрица тихо сказала Екатерине:

— Мне много бы нужно было сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше поссорить вас.

— Я также, — ответила великая княгиня, — не могу говорить, как ни сильно мое желание открыть вам свое сердце и душу.

Елизавета Петровна была очень тронута этими словами и отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уже очень поздно. Но вслед за великою княгинею она послала Шувалова сказать ей, чтобы она не горевала, что она в другой раз будет говорить с нею наедине.

В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате, под предлогом нездоровья, и скоро имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, потребовав сама отпуск из России. К ней явился вице-канцлер Воронцов и от имени императрицы стал упрашивать отказаться от мысли оставить Россию, так как это намерение начинает сильно беспокоить императрицу и

всех честных людей. Он обещал, кроме того, что императрица будет иметь с нею вскоре свидание наедине.

Обещание было исполнено. Императрица потребовала, чтобы Екатерина отвечала ей правду, и первым вопросом было: действительно ли она писала только три известные письма к Апраксину? Великая княгиня поклялась, что только три.

Окончание дела во дворце между императрицею и великою княгинею, разумеется, имело неизбежное влияние и на дело Бестужева с сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почетных и непочетных. Бестужева выслали на житье в его деревню Горетово Можайского уезда, Штамке — за границу, Бернарди — в Казань, Елагина — в казанскую деревню. Веймарна определили к сибирской войсковой команде, а Ададунова назначили в Оренбург товарищем губернатора[7].

## VII

### НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Граф Свенторжецкий медлил действительно с расчетом. Он умышленно хотел довести «прекрасную самозванку», как он назы-

вал княжну Людмилу, до такого нервного напряжения, чтобы она сама сделала первый шаг к скорейшему свиданию с ним.

Дни шли за днями, а он не дождался этого шага. Княжна не решалась на этот шаг, боясь проиграть игру. Она не теряла надежды еще выиграть ее.

После недели ожидания она более спокойно стала обсуждать свое положение и дошла до мысли, что есть способ окончательно отразить удар, который готовился нанести ей Свенторжецкий.

Таким образом, своею медлительностью граф достиг совершенно противоположных результатов, чем те, которые он ожидал. Если бы он действительно приехал вскоре после того как Никита сообщил Тане о своем подневольном к нему визите, сразу захватил бы молодую девушку врасплох, то она под влиянием страха решилась бы на все; но он дал ей время обдумать, дал время выбрать против себя оружие. В этом была его ошибка.

Он до того был уверен, что «самозванка-княжна» испугается открытия своего самозванства, что ему ни на одно мгновение не

пришло на мысль, что она может отпереться от всего, разыграть роль оскорбленной и выгнать его от себя.

Что будет он делать тогда? Как ему поступить?

Эти вопросы не приходили ему в голову.

Он, конечно, мог снова захватить Никиту и выдать его правосудию как убийцу княгини и княжны Полторацкой, а Никита под пыткой, конечно, оговорит Татьяну Берестову и обнаружит ее самозванство. Но поверят ли ему? Доказательств против княжны Людмилы Васильевны, кроме оговора убийцы ее матери, не будет никаких. Предательский нож, единственное различие между дочерьми одного и того же отца, в руках Свенторжецкого не мог быть орудием, так как рассказ из воспоминаний его детства должен был бы обнаружить и его собственное самозванство. Он сам принужден был бы рассказать, что он — Осип Лысенко, сын генерала Ивана Осиповича Лысенко, лично известного императрице. А на это граф никогда не решился бы. Какая же сила была у него?

Никакой, кроме неожиданности и быстро-



го натиска; но для этого он упустил время, хотя и был уверен, что ему стоит только протянуть руку, чтобы взять княжну.

В то время как Свенторжецкий почивал на лаврах своего открытия, предвкушая сладостные его результаты, княжна Людмила обсудила план действий и стала приводить его в исполнение. В одну из ночей, когда Никита задал свой обычный вопрос: «Был?» — она грозно крикнула на него:

— Чего ты ко мне пристаешь, был или не был!.. Мне-то до этого какое дело?..

— Да ты в уме ли, девушка? — задал вопрос Никита.

— Я-то в уме, а ты, видно, свой-то совсем пропил... Ходит каждую ночь и спрашивает: «Был или не был?» Ждет, когда его второй раз цапают и отправят в сыскной приказ. Ведь если он не едет, значит, решил начать дело. Держись только, не нынче-завтра тебе руки за спину — и за решетку посадят.

— Пропала наша головушка! — воскликнул Никита.

— Не наша, а твоя, — поправила его девушка.

— А ты думаешь, что я тебя в каземате-то помилую? Нет, и сама его попробуешь.

— Держи карман шире!

— Я все расскажу, как было, по-божески.

— По-божески? Так тебе и поверят, бродяге; ты о себе лучше бы подумал, как себя спасти, нежели других топить. Дурак ты, дурак!

— Что же мне делать?

Вместо ответа девушка продолжала:

— Ты сам сообрази. Меня все признали, даже императрице самой представили, я ей понравилась и своим у нее человеком стала. Вдруг хватают разыскиваемого убийцу моей матери, а он окоlesiцу городит, что я — не я, а его дочь Татьяна Берестова. Язык-то тебе как раз за такие речи пообрежут.

— Граф подтвердит, — уже более мягко начал было Никита, сообразив, что его сообщница говорила дело, что его оговор, пожалуй, действительно только усугубит его наказание.

— Ничего граф не подтвердит. Ему все равно, княжна я или не княжна, ему лишь красоте да честь мою девичью надо. Но знай, не видать вашему графу меня, как своих ушей.

— Тогда беда будет.

— Тебе беда, а не мне. Я отверчусь. Если уже очень туго придется, сама пойду к государыне, сама ей во всем, как на духу, признаюсь и попрошу меня в монастырь отпустить.

— Ишь, что придумала, змея! — злобно проворчал Никита.

— Не в тебя, чтоб о себе не думать.

— Что же мне-то думать?

— А то, что надо тебе схорониться отсюда куда-нибудь подальше.

— Куда же это прикажешь? Или я тебе надел, сбагрить меня хочешь? Нет, это ты шутики шутишь.

— Ничего не сбагрить. По мне, шляйся здесь, сколько твоей душеньке угодно, жди, пока в каменный мешок тебя законопатят. Мне ни тепло от этого, ни холодно.

— Одной на свободе побыть захотелось, княжной? Ишь, мудреная, что придумала! «Иди подобру поздорову. Скатертью дорожка. Голодай, а я поживу, поцарствую».

— Зачем голодать? Вот я тебе мешочек с золотом приготовила на дорогу. На весь твой век тут хватит. Тысяча червонных.

— Тысяча червонных? — даже захлебнулся Никита.

— Да, тысяча. Получай и сгинь. Скройся подальше. Лучше, если в Польшу, там и пацпорт можешь за деньги достать. Вина везде на твою долю хватит.

Никита молчал, а его глаза были с жадностью устремлены на развязанный княжной холстинный мешочек, в котором она горстями перебирала золотые монеты.

— Пожалуй, ты и дело говоришь, — произнес он.

— Тебе же добра желаю. С чего же тебе пропадать и меня губить? Погубишь или не погубишь, бабушка надвое сказала, и ни от того, ни от другого тебе нет никакой корысти. Умру ли я, в монастырь ли пойду, осудят ли меня, все равно тебе богатства не достанется, дяденьке Сергею Семеновичу все пойдет. Бери же мешочек-то. Ведь это — богатство, целый большой капитал. Что тебе в Питере околачиваться? Россия велика, да и за Россией люди живут. Везде небось деньгам цену знают, не пропадешь с ними. Себя и меня спасешь.

— И граф в дураках останется.

На лице Никиты промелькнула довольная улыбка. Он вспомнил, что ему достаточно помяли бока графские люди, когда неожиданно напали на него у садовой калитки. Теперь граф будет за это отмщен.

— Давай, — протянул он руку. — Прощай, не поминай лихом!

Княжна протянула ему мешок, а он бережно положил его за пазуху.

— Счастливый путь! Живи припеваючи! Так-то лучше, чем тут каждый день труса пред всеми праздновать. Ты когда в дорогу?

— Да сейчас же. Сборы недолги, весь тут, — и Никита повернул к дверям.

— Ключ-то от калитки отдай, тебе он не нужен. Прихлопни покрепче, завтра сама запру.

Никита подал ключ.

Княжна некоторое время стояла в раздумье и, когда услышала шум захлопнувшейся калитки, опустилась на диван и вздохнула полною грудью.

Прошло еще три дня, и наконец княжна Полторацкая получила от Свенторжецкого записку с просьбой назначить ему день и час,

когда бы он мог застать ее одну. Княжна ответила, что давно удивляется его долгому отсутствию, рада видеть его у себя, но не видит надобности обставлять это свидание таинственностью; однако если ему действительно необходимо ей передать что-нибудь без свидетелей, то между четырьмя и пятью часами она по большей части бывает одна.

Тон этой ответной записки поразил графа — так не пишут женщины, чувствующие себя во власти мужчин. Однако он в тот же день решился рассеять возникшее у него недоумение.

«Неужели она надеется перехитрить меня? — спросил он себя, но отбросил эту мысль, как нелепую. — Понимает же она, что ее тайна в моих руках».

Без четверти четыре граф поехал к Полторацкой.

— Княжна у себя? — спросил он у отворившего ему дверь лакея.

— Пожалуйте, у себя.

— Доложи!

— Пожалуйте в гостиную, — указал лакей графу дверь направо, тогда как гость, по при-

вычке, хотел пройти в будуар княжны, где обыкновенно ранее был принимаем ею и где произошел их последний разговор, когда в пылу начатого признания графу бросился в глаза ее предательский ноготь.

Он последовал указанию слуги и вошел в гостиную, но этот прием не только не рассеял, а усилил беспокойство графа, вызванное тоном ответной записки.

«Она что-то затевает! Ну, да найдет коса на камень!» — подумал он и стал нервными шагами ходить по комнате.

Проходившие минуты казались ему вечностью.

«Эта дворовая девка, — со злобой начал думать он, — заставляет меня так дожидаться. Какова!.. Но, может быть, Никита ничего не сказал ей? Навряд ли: тогда бы она приняла меня попросту, без затей. Посмотрите, уже с полчаса, как я сижу здесь, словно дурак. Поплатится же она за это! Нет, я уеду домой и напишу ей», — в страшном озлоблении подумал граф.

Но вот портьера из соседней комнаты поднялась, и в гостиную величественной поход-

кой вошла княжна. Она была одета вся в белом, и это особенно оттеняло ее оригинальную красоту.

Злоба графа вдруг пропала. Он смотрел на нее обвороженный.

«И эта девушка моя, — подумал он. — Мне стоит протянуть руку... Зачем я так долго медлил? Пусть она не княжна, но царица по красоте. Зачем я мучил ее? Она похудела».

Княжна действительно несколько изменилась с последнего дня, в который ее видел граф. Она недаром пережила эти две недели треволнений, дум и опасений.

— Как давно мы с вами не видались, граф! — ровным, спокойным голосом сказала она, протягивая ему руку.

Свенторжецкий невольно припал губами к этой прелестной руке и стал с жадностью целовать ее.

— Садитесь, граф! — грациозным жестом указала княжна на один из табуретов, стоявших возле дивана, и лениво опустилась на последний.

Граф сел и стал удивленно беспокойным взглядом смотреть на княжну. Она, видимо,



не чувствовала ни малейшего смущения и со спокойным, обыкновенно полукокетливым и полунасмешливым выражением лица смотрела на графа.

«Что она, действительно ничего не знает или притворяется?» — неслось в уме последнего.

Наступило неловкое молчание. Его прервала княжна Людмила:

— Что это, граф, вы совсем пропали? Сколько времени я вас не видела у себя. Неужели ваша головная боль, припадок которой случился как раз у меня, так отразилась на вашем здоровье. Вы были больны?

— Нет, я не был болен, — ответил граф.

Княжна играла кольцами и браслетами на руках, а предательский ноготь так и бросался в глаза графу; он напоминал ему, что он здесь — властелин, а между тем его раба играла с ним, как кошка с мышью. Это бесило его и отразилось в тоне его ответа.

Княжна заметила этот тон, и ее лицо приняло надменное, холодное выражение.

— В таком случае я отказываюсь объяснить ваше более чем странное поведение от-

носителем меня. Вы сидите у меня, чуть не признаетесь мне в любви, обрываете это признание на половине, объясняя внезапным приступом головной боли, уезжаете, не кажете глаз около месяца и наконец просите свидания запиской, очень странной по форме. Согласитесь, что я вправе удивляться.

— Но разве вы не знаете, что мне все известно? — вдруг выпалил граф, и его взгляд сверкнул торжеством.

— Вам? Все известно? Что именно?

Этот вопрос был задан так искренне, что граф положительно опешил.

— Вам, значит, ничего не передавал Никита? — вслух сказал он.

— Никита? Какой Никита? — с тем же спокойным недоумением вместо ответа спросила в свою очередь княжна.

«Она играет, — мысленно решил граф. — Посмотрим, кто кого!» — и он добавил громко:

— Никита Берестов.

— Никита Берестов? — медленно произнесла княжна. — Кто же это такой? Позвольте, не тот ли, которого звали «беглым Ники-

той», убийца моей матери и несчастной Тани?

Граф молчал, упорно глядя своими черными, проникающими, казалось, в самую душу глазами на молодую девушку.

Та спокойно выдержала этот взгляд и спросила:

— Где же этот Никита?

— Вам лучше знать это.

— Мне? Послушайте, граф, если это шутка, то очень неуместная. Вы, быть может, больны? Очевидно, вы нездоровы, если говорите такие вещи. Убийцу моей матери, Никиту Берестова, ищет полиция, а вы мне говорите, что мне лучше всех знать, где он находится.

— Он бывал у вас.

— У меня? Нет, лучше переменим этот разговор, — и княжна, как показалось Свенторжецкому, почти с соболезнаванием посмотрела на него.

Этот взгляд красноречивее всяких слов показал графу, что она считает или, лучше сказать, делает вид, что считает его сумасшедшим.

— Зачем менять разговор? — воскликнул

граф, у которого хладнокровие молодой девушки вырывало из-под ног почву — Я именно по этому поводу просил вас назначить мне свидание. Снимите маску! Предо мной нечего играть комедию. Я сам виделся и говорил с Никитой Берестовым.

— Вы видели его и говорили с ним? — медленно произнесла княжна. — Это становится серьезным. Значит, вы-то действительно знаете, где он находится. Он, может быть, даже сознался вам в преступлении?

— Да, и рассказал все.

— Вы, граф, служите в сыском приказе? Я спросила это потому, что иначе не знаю, зачем вы допрашиваете убийцу?

— Чтобы обличить его сообщницу.

— У него были сообщники?

— Я говорю — сообщницу.

— И они, конечно, теперь в руках правосудия?

— Они могут быть. Это зависит от вашего желания.

— От моего? Тогда, конечно, я желаю этого... На вашей обязанности лежит тотчас же уведомить, что вы знаете, где находится убий-

ца моей матери и несчастной Тани... Ведь вы знаете, что это ее отец.

— Я знаю это, — мрачно сказал граф Свен-торжецкий.

Он начал понимать всю шаткость своего положения, если княжна будет продолжать в этом тоне. Наглость, с которою она говорила с ним и глядела на него, положительно парализовала его волю.

— Если вы не сделаете этого, — взволнованно продолжала княжна, — то это сделаю я... Я сегодня же вечером поеду к дяде и расскажу ему о вашем открытии, а завтра доложу об этом государыне.

— И это сделаете вы? — запальчиво воскликнул граф.

— Ну да, конечно, я, — смерила его княжна взглядом. — Кому же еще сделать это, как не дочери покойной?

— Вы — не дочь княгини Полторацкой.

— Что-о-о? — встала княжна, и тотчас же встал и граф.

Они несколько мгновений стояли молча друг против друга. Взгляды их черных глаз скрещивались, как острия шпаг.

— Вы — не дочь княгини Полторацкой, — повторил граф.

Девушка отступила от него на несколько шагов и вдруг села на диван, откинулась на его спинку и правой рукой взялась за сонетку.

Граф понял этот маневр.

— Подождите звонить... Я докажу вам, что... — заспешил он.

— Я и не звоню. Это так, на всякий случай. Я, напротив, с нетерпением ожидаю вашего объяснения. Кто же я такая?

— Вы — Татьяна Берестова.

— Татьяна Берестова? — медленно произнесла княжна, не сморгнув глазом. — Кто же сказал вам это?

— Мне сказал это ваш отец, Никита Берестов.

— Убийца?

— Убийца, которого вы были сообщницей.

— Мне, граф, следовало бы уже давно дернуть за эту сонетку, но я не из трусливых, да и надеюсь, что ваша болезнь еще не дошла до буйства. Да, кроме того, все это — точно сказка. Польский граф захватывает убийцу рус-

ской княгини и обнаруживает, что вместо оставшейся в живых княжны при дворе русской императрицы фигурирует дворовая девушка, сообщница убийцы своей барыни и барышни... Так, кажется?..

— Совершенно так.

— Но что всего интереснее, так это то, что польский граф не сообщает тотчас же о своем важном открытии русским властям, а вступает в переговоры с сообщницей убийцы, самозванной княжной. Вы — остроумный шутник и занимательный собеседник.

— Я не шучу и не рассказываю сказок, — возразил граф.

— Seriously говорить то, что возбуждает смех в слушателях, — одно из достоинств рассказчика. Что же дальше?

— Вы прекрасно владеете собою, видимо предупрежденная вашим сообщником, хотя отказываетесь, что видели его и принимали у себя.

— Кого это?

— Никиту Берестова... Вашего отца.

— Благодарю вас за такое родство, граф.

— Но можно доказать, что у вас бывал

странник, который велел доложить вам о себе, что он — не кровопивец, и вы с ним подолгу беседовали.

— Действительно, — ответила молодая девушка, — ко мне приходил какой-то юродивый, и я помогала ему и слушала его болтовню и даже предсказания... Я очень люблю все необыденное... Доказательство налицо: я слушаю вас, граф, а ваши речи очень малым, по отсутствию смысла, отличаются от речей этого юродивого.

— Княжна! — воскликнул граф.

— Вот и проговорились сами... Забыли, что только сейчас называли меня Татьяной Берестовой, — со смехом заметила девушка.

— Я обмолвился. Но все равно! Этого странника, — продолжал граф Свенторжецкий, — я со своими людьми захватил у калитки вашего сада, и он оказался Никитой, убийцей княгини и княжны Полторацких.

— Но зачем же вы отпустили его?

— Я хотел сперва переговорить с вами.

— О чем же говорить с сообщницей убийцы?..

— Я могу похоронить эту тайну... Никто,



кроме меня, не будет знать об этом.

— Вот как?.. И ваша цена, граф? — с нескрываемым презрением спросила княжна.

— Вы сами, — ответил граф и приблизился к ней.

— Отойдите, граф, — остановила его княжна, — или я позвоню.

— Вы раскаетесь. Я захвачу Никиту и отдам его в руки правосудия.

— Я сожалею только, что вы этого давно не сделали.

— Но тогда вы погибли.

— Вы наивны, граф! Кто может поверить оговору убийцы княжны Полторацкой или вашему сумасшедшему бреду?

— У меня есть доказательства, что вы — не княжна.

— Какие?

— Вы были очень схожи с покойной княжной, но случай сделал между вами некоторое различие. У вас на безымянном пальце правой руки искривлен ноготь, вы занозили руку, когда вам всего было десять лет, и у вас сделался ногтотед... С княжной этого не случалось.

лось.

Молодая девушка невольно вздрогнула при этих словах графа и побледнела, но моментально оправилась.

— Вы правы. Этот случай был с Таней, но вы ошибаетесь в дальнейшем; осенью, за тем летом, в которое случилось с нею это несчастье, занозила тот же палец и я. У меня тоже сошел ноготь и вырос несколько неправильным. Я тогда еще ребенком решила, что это меня наказал Бог за то, что я радовалась, что между мною и Таней есть хотя какое-нибудь различие.

— Это сказка, быстро и умно придуманная, и меня вы ею не убедите. Так вы хотите, чтобы я начинал дело?

Княжна долго, пристально, молча смотрела на него, стоявшего, по ее желанию, в почтительном отдалении. Граф принял это за колебание и подумал, что она сдается. Однако княжна воскликнула:

— Так неужели же вы думали, что я пойду с вами на эту позорную сделку?.. Вы ошиблись... Мне грустно только одно, что до такой низости дошли именно вы. Если бы это сде-

лал действительно польский граф, чужестранец, то я могла бы думать, что добывать себе женщину таким неприглядным способом в обычаях его родины... Но на это решились вы, русский человек.

— Я вас не понимаю, — побледнел граф.

— Вы — не граф Свенторжецкий. Вы выдали себя мне своим последним рассказом о ногте покойной Тани... Вы — Осип Лысенко, товарищ моего детства, принятый как родной в доме моей матери. Я уже давно, встречая вас, вспоминала, где я видела вас. Теперь меня точно осенило. И вот чем вы решили отплатить моей матери за гостеприимство!.. Идите, Осип Иванович, и донесите на меня кому угодно... Я повторяю, что сегодня же расскажу все дяде Сергею, а завтра доложу государыне. Я сделаю даже больше. На днях в Петербург ожидают вашего отца по пути в действующую армию, где он получает высокий пост. Я расскажу ему, как нравственно искалечила его сына иноземка-мать.

Свенторжецкий стоял пред нею бледный, уничтоженный.

— А теперь довольно!.. — и молодая девуш-

ка сильно дернула сонетку, а затем приказала лакею: — Проводите графа! До свидания, — обратилась она к Иосифу Яновичу, — не забывайте меня...

Она грациозно протянула графу руку. Он машинально поцеловал ее и вышел.

## VIII

### МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ

Весь путь от княжны до дома прошел для Свенторжецкого незамеченным. Он решительно не помнил, как он оделся, сел в сани и приказал ехать домой, даже как снял дома верхнее платье и прошел в свой кабинет. Все это в его памяти было подернуто густым, непроницаемым туманом. Лишь спустя порядочно долгое время он очнулся и воскликнул:

— Посрамлен, опозорен!.. Безумец, я думал найти в ней рабу, а встретил врага, и врага сильного.

Он бросился на диван и глубоко задумался.

«Неужели я ошибся, неужели она действительно настоящая княжна? — несло в его голове, но он тотчас же отгонял эту мысль. — Нет, не может быть! Несомненно, она — самозванка. Ведь всего недели полторы тому на-

зад, вот здесь, в этом самом кабинете, предомною сознался Никита Берестов, ее отец. Надо бороться, надо победить ее, нельзя дать так насмеяться над собою».

Необузданный по природе и по воспитанию, молодой человек выходил из себя, как от оскорбленного самолюбия, будучи одурочен девчонкой, так и потому, что понравившаяся ему игрушка, которую он уже считал своею, вдруг стала для него недостижимой.

«Отойдите, граф, или я позвоню!» — раздавался в его ушах голос девушки, и он отошел.

«Нет, нет, она будет моею во что бы то ни стало! — думал он. — Она, конечно, никому не пойдет говорить о нашем разговоре, не пойдет докладывать императрице, а я уличу ее очной ставкой с Никитой. Она не посмеет отпереться и сдастся».

Искра надежды снова затеплилась в сердце графа, и он позвонил.

Явился Яков, все еще служивший у графа, так как отпуск его на волю, несмотря на уплаченные за него графом помещику деньги, еще не состоялся, ввиду того что еще не были окончены все формальности, и спросил:

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Вот что: мне необходимо снова повидать этого странника, что к княжне ходил. Ты ведь знаешь, где найти его?

— Молодцы мои сказывали, что выследили его берлогу. Он живет в лесу, неподалеку от дома княжны.

— А может быть, он оттуда ушел? Так как же быть?

— Опять у калитки дома княжны подстеречь его или у кабака дяди Тимохи; есть такой там, на выезде из предместья, по ночам торгует, более для беглых да для таких, как этот, странников.

— Так ты уговорись со своими и начинай следить. Как сцапаете, так вяжите и прямо сюда. Если меня не будет дома, то до моего возвращения не развязывайте.

— Слушаю-с, ваше сиятельство. Я распоряжусь сегодня же.

— Я полагаюсь на тебя. Вот тебе на расходы! — и граф подошел к шифоньерке, отпер ее, вынул один из мешочков с серебряными рублями и бросил его Якову, сказав: — Лови!

Тот ловко поймал на лету, после чего был

отпущен барином.

— Хорошо посмеется тот, кто посмеется последний, Татьяна Никитишна! — злобно вслух сказал граф. — Я-то не прощу вам сегодняшнего дня. Вы все же будете моей, живая или мертвая. Только бы скорее Яков добыл мне этого Никиту, остальное я все уже устрою умело и обдуманно. Я вижу теперь, что сам виноват во всем. Не надо было медлить. Я дал ей время одуматься и подготовиться. Но увидим теперь, чья возьмет!

Посидев еще с полчаса в раздумье, Свенторжецкий уехал из дома. Он стал вести прежний светский образ жизни, но все же каждый вечер или, лучше сказать, ночь с тревогой подъезжал к своей квартире.

— Ну, что? — спрашивал он отворявшего ему дверь Якова.

— Не нашли еще, — отвечал тот.

Такой же вопрос задавал граф ему и каждое утро, но получал тот же далеко не удовлетворительный ответ.

Никита совершенно сгинул; его землянка оказалась пустою, в доме княжны Полторацкой он не появлялся, в кабаке Тимохи тоже.

Прошла неделя, и граф решил прекратить розыски.

«Она дала отступного, и он скрылся, — рассудил он. — Что же теперь делать?»

Его положение оказывалось действительно незавидным. Игра была проиграна. С исчезновением Никиты весь составленный им новый план рушился.

Между тем «самозванка-княжна» продолжала занимать все более и более места в уме и сердце графа. Пленительный образ молодой девушки преследовал его неотступно. Разве не все равно ему, была ли она княжной или же незаконной дочерью князя? Ведь она — вылитая княжна. Он не заметил в ней ни капли холопской крови, которую из любезности к своей невесте открыл в Тане князь Луговой.

И зачем ему было затевать всю эту историю? «Самозванка-княжна» была к нему благосклонна! Никто не сомневался в ее знатном происхождении, никто не оспаривает у нее богатства, она — любимица государыни, одна из первых в Петербурге невест, он мог на ней жениться, вот и все. Теперь же она для него потеряна. После происшедшей между ним и



ею сцены немислимо примирение.

Граф долго не мог представить себе, как встретится с нею в обществе, а потому умышленно избегал делать визиты в те дома, где мог встретить княжну Полторацкую.

Вместе с тем у него явилась мысль, что она предпочтет ему князя Лугового или Свиридова, и его душила бессильная злоба. Он воображал себе тот насмешливый взгляд, которым встретит его Людмила в какой-нибудь великосветской гостиной или на приеме во дворце.

— Посрамлен, уничтожен, и теперь окончательно! — повторял сам себе граф.

К довершению своего ужаса, Свенторжецкий стал убеждаться, что безумно любит эту посрамившую его девушку. Каприз своенравного человека постепенно вырос в роковую страсть. Граф не находил себе покоя ни днем, ни ночью; образ княжны неотступно носился пред ним.

Он жаждал видеть ее и боялся встречи с нею. Однако момент этой встречи должен был наступить. Ведь они вращались в одном обществе и поневоле должны были столк-

нуться. Граф понимал это и каждый день ожидал, что это случится.

Наконец этот момент наступил. Они встретились в гостиной Зиновьевых, в день рождения Елизаветы Ивановны. Граф по необходимости должен был приехать с поздравлением к тетке и, несмотря на то что нарочно выбрал позднее время, застал в гостиной княжну Людмилу Васильевну. Он смущенно поклонился, она приветливо протянула ему руку и промолвила:

— Опять я целую вечность не видала вас, граф. Он положительно как красное солнышко осенью: покажется — и нет его, — обратилась она к сидевшим в гостиной хозяйке и другим дамам. — Приедет ко мне с визитом, насмешит меня до слез, а затем скроется на несколько недель.

— Чем же таким он смешит вас?

— В последний раз он рассказывал мне какую-то, как я теперь припоминаю, ужасную историю, выдавая ее за истинное происшествие. Он, видимо, сам сочинил ее, но если бы вы видели, с каким серьезным видом он говорит всевозможные глупости! Я сначала испу-

галась, приняла его за сумасшедшего и только после догадалась, что он шутит, что у него такая манера рассказывать!

— Мы не знали за вами такого искусства, граф. Это интересно. Расскажите когда-нибудь и нам что-нибудь такое, — напали на графа дамы.

— Княжна все шутит и преувеличивает, — отбивался он.

— Ничуть не шучу. Настаивайте, мадам, чтобы он каждой из вас в отдельности рассказал по страшной истории.

Положение графа было ужасно. Он должен был улыбаться, отшучиваться, когда на сердце у него клокотала бессильная злоба против безумно любимой им девушки. Только теперь, снова увидев ту, обладание которой он так недавно считал делом решенным, он понял, до каких размеров успела вырасти страсть к ней в его сердце.

К счастью, разговор перешел на другие темы. Княжна Людмила несколько раз особенно любезно обращалась к графу с вопросами, явно кокетничая с ним. У несчастного графа по-прежнему шла кругом голова.

Наконец княжна стала прощаться.

— Надеюсь видеть вас у себя, граф! — сказала она. — Пора бы вспомнить о сироте, живущей в предместье.

Свенторжецкий бессвязно пробормотал какую-то любезность. Княжна же глядела ему прямо в глаза своими искрящимися, смеющимися глазами, и он чувствовал, что точно тысячи иголок колют его сердце.

Однако граф не решился сразу последовать приглашению княжны и поехать к ней. Ему думалось, что девушка просто насмехается над ним и что, появившись у нее после рокового разговора, он получит от нее обидное: «Не принимают». Конечно, вся кровь бросалась в голову этого самолюбивого молодого человека при одной возможности подобного приема.

«Она хочет окончательно добить меня», — думал он и, несмотря на страстное желание видеть предмет своей страсти, не ехал на набережную Фонтанки.

Между тем встречи на нейтральной почве продолжались, и княжна продолжала быть обворожительно любезна со Свенторжецким.

Он положительно терялся в догадках, смеется ли она над ним или ищет примирения. Несмотря на всю свою проницательность, он не мог разгадать, что скрывает в своем сердце эта девушка, и окончательно потерял голову.

Однажды выдался случай, когда в одной из гостиных хозяйка занялась разговором с приехавшим с визитом старцем. Кроме последнего, тут были только княжна Людмила Васильевна и граф Свенторжецкий. Но они остались беседовать в стороне.

— Вы, граф, окончательно решили не переступать моего порога? — спросила княжна, особенно подчеркнув слово «граф».

— Сказать вам по правде, княжна, — тоже не удержался он не подчеркнуть последнего слова, — мне кажется, что вы шутите, настойчиво приглашая меня к себе при посторонних. Ведь после нашего разговора...

— Я забыла о нем и к тому же думаю, что он был последствием вашей головной боли. Приезжайте, говорю вам теперь почти с глазу на глаз.

— И вы меня примете?

— Нет, граф, вы все еще нездоровы. Про-

стите меня. Зачем же приглашала бы я вас?

— Чтобы отказать мне через лакея.

— Я неспособна так мелко мстить, граф. В моих жилах все-таки, что бы вы ни говорили, течет кровь князей Полторацких.

После этого разговора в сердце графа снова поселилась надежда. Однако только через несколько дней он решился сделать визит на Фонтанку и вернулся окончательно очарованный и вместе с тем окончательно безумно влюбленный.

Княжна приняла его снова в будуаре, где он так глупо прервал свое объяснение в любви, которое достигло бы цели, тогда как в настоящее время последняя значительно отдалась от него. Княжна была обворожительно любезна, кокетлива, но, видимо, ничего не забыла, ничего не простила. Чутким сердцем влюбленного граф угадывал это и понимал, что его любовь к ней почти безнадежна, что лишь чудо может заставить ее заплатить ему взаимностью. Ведь он оскорбил ее явно выраженным желанием сделать ее своей любовницей, а не женой, и гордая девушка никогда не простит ему этого.

Однако другой, внутренний голос говорил графу иное и, как чудодейственный бальзам, действовал на его измученное сердце. Граф слишком любил, чтобы не надеяться, слишком желал, чтобы не рассчитывать на исполнение своих желаний, а потому сладко мечтал.

Они оба связаны тайной своего происхождения. Не лучше ли им быть совсем близкими людьми, чтобы эта тайна умерла вместе с ними? Как ни уверена княжна в непроницаемости своей тайны, наконец в бессилии его, графа, повредить ей, все же знание им этой тайны не может не тревожить ее. Между тем открытие тайны его самозванства не представило бы для него никакой опасности. Носимое им имя — имя его матери, его дала ему его мать, она же вручила ему документы, доказывающие его право на это имя. Если у него отнимут эти права, то он, уже поступивший на русскую военную службу, ничего не будет иметь против фамилии своего отца — Лысенко. Графский титул не пленяет его, а заслуги отца уже наложили на его фамилию известный блеск.

Другое дело, если откроется самозванство княжны Полторацкой; ведь за этим самозванством скрывается страшное преступление, караемое рукою палача. Этого не могла не понимать молодая девушка. Она, конечно, дорого дала бы, чтобы Свенторжецкий — он же Осип Лысенко — исчез с ее жизненной дороги или же сделался для нее безопасным. Однако первое сделать трудно, второе же могло быть достигнуто замужеством с ним. Этим-то, вероятно, и объяснялось, что она так настойчиво делала вид, будто забыла прошлое. В ее голове, вероятно, создался именно такой план, но она, конечно, не сразу открыла свои карты, хотела помучить его. Пусть: он готов ждать, лишь бы смел надеяться, готов страдать, если эти страдания приведут его к наслаждению.

Вот те успокоительные мысли, которые подсказывал Свенторжецкому внутренний голос, голос надежды.

Время летело. Год траура княжны окончился, и она стала принимать живое участие во всех придворных и великосветских празднествах и увеселениях. Ее всегда окружал рой поклонников, среди которых она отдавала



предпочтение попеременно то князю Луговому, то графу Свиридову. Поведение ее по отношению к Свенторжецкому в общем было более чем загадочно. Она дарила его благосклонной, подчас красноречивой улыбкой или взглядом, а затем, видимо с умыслом, избегала его общества и кокетничала на его глазах с другими. Он испытывал невыносимые муки ревности.

Уже несколько раз, бывая у нее, граф начинал серьезный разговор о своих чувствах, но княжна всегда умела перевести этот разговор на другой или ответить охлаждающей, но не отнимающей надежды шуткой.

«Я, по ее мнению, видимо, еще не искупил вины; искус еще не окончен», — успокаивал себя граф и снова безропотно продолжал лихорадочную жизнь между страхом и надеждой.

С окончанием траура граф стал очень редко заставлять княжну одну. В приемные дни и часы ее гостиная, а иногда и будуар были, обыкновенно, переполнены. Вследствие этого прошло около месяца, а граф Иосиф Янович не мог остаться с глазу на глаз с княжною, как

ни старался пересидеть ее посетителей. Он был мрачен и озлоблен. Это не ускользнуло от княжны.

— Что с вами, граф? — обратилась она к нему, улучив свободную минуту. — Вы ходите, как приговоренный к смерти.

— Да разве это жизнь? — воскликнул он. — Видеть вас постоянно только в толпе.

— Вы ревнуете?

— Я, к сожалению, не имею права, но мне тяжело думать, что те дивные минуты, которые я проводил с вами в вашем будуаре, может быть, никогда не повторятся.

— Отчего же? Если вы искренне жалеете о них...

— Вы сомневаетесь? — с упреком сказал он.

— Нет, граф, я не сомневаюсь. Я дам вам ключ от садовой калитки, и если после двенадцати сегодня вы свободны, то мы поболтаем в моем будуаре. Дверь в коридор из сада не будет заперта.

Граф Иосиф Янович не успел поблагодарить княжну, как она уже отошла к другим гостям, но при прощанье незаметно получил

от нее ключ.

Это преисполнило его радостной надеждой. Разве ключ, лежавший в его кармане, не открывал вместе с калиткой сада княжны Полторацкой и ее сердца? Если бы она не чувствовала расположения к нему, то с какой стати стала бы заботиться о свиданиях с ним с глазу на глаз, да еще в позднее ночное время?

Но вдруг в его уме возникла роковая мысль: «А если это — ловушка?» Однако тут же ему вспомнились слова княжны: «Я неспособна на такую мелкую месть».

Но это не успокоило его.

«А что, если она теперь задумала месть более крупную? — забеспокоился он. — Если она позовет людей и объявит, что я ворвался к ней ночью, без ее воли? Произойдет скандал на весь город: я буду опозорен».

Холодный пот выступил у графа на лбу при этом предположении, но доводами рассудка он еще до приезда к себе домой сумел убедить себя в полной нелепости подобных мыслей:

«Зачем ей делать это? Какую пользу при-

несет ей этот скандал? У нее много ненавистников, которые готовы перетолковать все не в ее пользу и охотно поверят мне, что она сама дала ключ от калитки и оставила дверь в сад отпертой. Нет, это не то! Просто ей самой приятно провести со мной часок другой наедине, ей льстит мое восторженное поклонение, несмотря на то что я знаю все. Наконец, моя страсть к ней так велика, что должна быть заразительна. Она находит отзвук если не в ее уме, так в ее сердце. Кроме того, ей хочется еще некоторое время помучить меня, прежде чем сделаться благосклонной ко мне. Эти свидания наедине дадут ей широкий простор продолжать этот мой временный искус».

Граф твердо надеялся, что это — именно искус, и непременно временный, что она тоже любит его, и, не затей он этой глупой истории с разоблачениями, она давно была бы его женой.

Успокоив себя таким образом, граф с нетерпением стал ждать полуночи и, когда часы показали одиннадцать, вышел из дома. Надо было волей-неволей идти пешком, так как кучер был нежелательным и опасным

свидетелем ночного визита к девушке. Нельзя было ручаться, что он не сболтнет своим собратьям, а те понесут это известие по людским, из которых оно может легко перейти и в гостиные. Тогда княжна будет окончательно скомпрометирована.

Стояла темная октябрьская ночь. Впрочем, Свенторжецкий хорошо знал дорогу и мог бы найти ее с завязанными глазами. Он благополучно дошел до сада княжны, нащупал калитку и, вложив ключ в отверстие замка, повернул его. Замок щелкнул, калитка отворилась. Войдя в нее, граф запер калитку изнутри и положил ключ в карман.

В саду было еще темнее, нежели на улице, от довольно густо росших деревьев. Граф оцупью отправился искать дверь, ведущую в дом из сада. Последняя оказалась незапертой. Свенторжецкий вошел и очутился в передней, из которой вел коридор во внутренние комнаты. Сняв с себя верхнее платье, он вступил в этот коридор и достиг двери, закрытой портьерой. Граф откинул последнюю и вошел в будуар.

Княжна сидела на диване и поднялась,

увидев его около двери.

— Милости просим, — спокойно сказала она, как будто в этом его визите не было ничего необычного, и подала ему руку.

Граф почтительно поцеловал ее.

— Садитесь, — указала ему княжна на диван, а сама не торопясь подошла к двери и заперла ее.

Несмотря на то что пропитанный духами воздух будуара приятно действовал на графа, звук запираемого замка заставил его сердце сжаться каким-то предчувствием.

Княжна между тем спокойно села с ним рядом и, смотря на него своими смеющимися, очаровательными глазами, сказала:

— Давайте беседовать. Я очень рада, что вы у меня. Вы, конечно, пришли?

— Как же иначе. Не мог же я приехать и таким образом сделать свидетелем этого визита кучера!

— Но это ужасно, в такую ночь и идти так далеко.

— Для того чтобы видеть вас, можно пройти путь в десять раз длиннейший.

— Вы неисправимы. Вы так расточаете

всем любезности, что трудно догадаться, кому и когда вы говорили правду.

— Поверьте, что вы не принадлежите к числу тех, которым я говорю светские любезности.

— Мне очень хотелось бы вам верить, но ваших слов мне мало.

— Чем же я должен доказать вам?

— Вы? Ничем.

— Как это понимать?

— Это покажет время.

— Время — понятие растяжимое. И час, и день, и год — все время.

— Неужели меня не стоит подождать?

— Кто говорит об этом? Если только можно дождаться.

— Мы еще молоды, граф!

— Но молодость и есть время любви.

— Скоро преходящей, время страсти, поправлю я вас.

— Пусть так. Но что за любовь без страсти? — воскликнул граф и хотел было завладеть руками княжны, но она быстро отодвинулась от него.

— Граф! Если вы хотите, чтобы наши сви-

дания повторялись, то будьте благоразумны. Лучше расскажите, что вы поддельваете?

— Думаю о вас.

— И только?

— Это наполняет всю жизнь.

— Нет, оставим это! Скажите мне что-нибудь поинтереснее, иначе я могу раскаяться, что пригласила вас.

Это было сказано таким серьезным тоном, что граф не на шутку перепугался. Он пересилил себя и стал рассказывать княжне какую-то светскую сплетню, с довольно пикантными подробностями. Княжна оживилась и слушала с видимым интересом.

Незаметно в этой чисто светской болтовне прошло более часа.

— На сегодня довольно! — заметила княжна и выпроводила гостя.

«Она играет со мной! — думал граф, шагая в непроглядной тьме по берегу Фонтанки. — Пусть, когда-нибудь доиграется!»

## IX

### СЛАДКОЕ МУЧЕНИЕ

Год со дня смерти княгини Полторацкой, проведенный князем Луговым в томитель-



ной неизвестности, показался ему вечностью. Он был тем мучительнее, что Сергей Сергеевич видел княжну Людмилу почти всегда окруженною роем поклонников и мог по пальцам пересчитать не только часы, но и минуты, когда ему удавалось переговорить с нею наедине.

Она относилась к нему всегда приветливо и радушно... но и только. Конечно, не того мог ожидать ее жених, объявленный и благословленный ее матерью.

Положим, этого не знали в обществе, но было все-таки два человека, знавшие об этой деревенской помолвке; одним из них был граф Свиридов, ухаживавший за княжной и, как казалось, пользовавшийся ее благосклонностью, а другим — Сергей Семенович Зиновьев, которому Васса Семеновна написала об этой помолвке незадолго до смерти.

Об этом знала княжна, лежавшая в могиле, но не знала княжна, прибывшая в Петербург. Сергей Семенович на другой же день приезда спросил ее:

— Ты невеста?

— И да, и нет, — ответила она, вся вспых-

нуб.

— Как же это так? Сестра писала, и ты...

Княжна, услышав, что ее «мать» тоже сообщила брату о сватовстве князя Лугового, подробно рассказала все, включительно до своего последнего разговора с князем.

— Я ведь вам писала, — добавила она.

— Ты не любишь его, — сказал Сергей Семенович. — Если любят человека, так не рассуждают. Он может быть женихом хоть несколько лет в силу тех или других обстоятельств, но предложить скрывать свою поmolвку не может любящая девушка.

— Может быть, вы и правы, дядя.

— Зачем же ты давала ему слово при жизни матери?

— Это была мечта мамы.

— А не твоя?

Девушка потупилась.

— И моя. Там... в Зиновьеве.

— А здесь?

— Я не знаю. Видишь ли, дядя, я тебе признаюсь. Когда этот удар обрушился надо мной, я совсем потеряла голову. Потом я пришла в себя, стала думать и пришла к мысли,

что, собственно говоря, я избрала князя в мужа, не имея положительно с кем сравнить его; уже сделав предложение, он привез к нам своего друга...

— Это графа Свиридова? Да? И что же?

— Он произвел на меня впечатление, — снова потупившись, произнесла княжна.

— Ты влюбилась и в него?

— Не то. Но я увидела, что князь — не один такой красивый, ловкий, увлекательный. Раньше я думала, что он лучше всех. Когда же я увидела, что ошиблась, и к тому же мне предстояло ехать в Петербург, где я могу приглядеться ко многим мужчинам, я попросила отложить день объявления нас женихом и невестой; он охотно согласился.

— Охотно? Ну, я так не думаю. Согласиться ему пришлось поневоле, но чтобы это он сделал с охотой, я не верю. Я убежден, что ты не любишь князя, и в этом смысле, конечно, лучше, если этот брак не состоится. Вы оба молоды, и вам нет надобности заключать брак по расчету.

— Я не знаю, — ответила княжна.

— Время покажет. До окончания траура

еще долго.

Разговор о браке племянницы с князем Луговым более не возобновлялся.

Однако по истечении года траура княжны этот разговор пришлось возобновить.

Князь Луговой нетерпеливо ждал этого срока! Наконец год истек. Княжна Людмила бросилась в водоворот великосветской жизни и, казалось, не только забыла о данном ею Луговому слове, но даже о существовании князя.

В городе стали говорить то о том, то о другом вероятном претенденте на ее руку, но среди них не упоминали имени князя Сергея Сергеевича.

Это очень понятно — князь держался в стороне. Самолюбие не позволяло ему действовать иначе, по крайней мере по наружности. В глубине же его сердца kloкотала целая буря. Ожидание окончания назначенного срока было ничто в сравнении с обидным невниманием княжны, когда этот срок уже миновал.

Князь целый месяц терпеливо ждал, что Людмила Васильевна заговорит с ним о прошлом, даст повод ему начать этот разговор, но — увы! — княжна, видимо, с умыслом, как

он думал, избегала даже оставаться с ним наедине.

Не находя возможности обратиться при таком положении дела к самой княжне, Луговой решил переговорить с ее дядей. Для этого он заехал к Зиновьевым.

Сергей Семенович внимательно выслушал молодого человека, но на его вопрос относительно намерений княжны ответил не сразу.

— Моя племянница и я очень далеки друг от друга, — начал он медленно, как бы обдумывая каждое слово. — Я ее знал маленькою девочкою, затем несколько лет не был в Зиновьеве, где она жила безвыездно, а когда после несчастья она переехала сюда, то, не скрою от вас, показалась мне очень странной. С первых же шагов она стала держать себя по отношению ко мне и моей жене, как чужая. Зная хорошо сестру, я не ожидал, что у нее вырастет такая дочь. Таким образом, исполнить ваше желание будет для меня крайне если не затруднительно, то щекотливо.

— Помилуйте, вы все-таки ее самый близкий родственник. Посудите сами, к кому же другому мне обратиться? Мое положение

невозможно. Не говоря уже об искреннем чувстве, которое я продолжаю питать к княжне, я связан с нею словом и благословением ее покойной матери, а такая неопределенность ставит меня в крайне затруднительное, мучительное положение.

— Я вас понимаю, князь, и очень сочувствую вам Жизнь моей племянницы хотя и не выделяется особенно из рамок жизни нашего общества, но не заслуживает моего одобрения. Я совершенно согласен с сестрой и лучшего мужа, чем вы, не желал бы для Людды. Но она поставила себя так ко мне и жене, что нам положительно неудобно давать ей родственные советы. Она бывает у нас с визитами, является по приглашению на вечера, еще никогда ни со мной, ни с женой не говорила по душе, по-родственному. С какой же стати нам вмешиваться в ее дела, особенно серьезные?

— Но вы знаете волю ее покойной матери, вашей сестры.

— Знаю. Эх, князь, мы живем в такое время, что и живых-то родителей не очень слушаются, а не то что умерших.

— Я и не настаиваю, чтобы княжна слушалась. Мне хочется только получить тот или другой решительный ответ.

— Отчего же вы не спросите ее сами?

— Я считаю это неудобным. Ей легче будет, наконец, отказать мне через третье лицо, нежели лично. Я щажу ее.

«Как он ее любит, не то что она!» — мелькнуло в уме Зиновьева, и он сказал:

— Хорошо, князь, я возьмусь за это поручение, но только для вас. В память моей покойной сестры, которая желала иметь вас сыном, я обязан так или иначе решить этот вопрос. Ваше положение действительно странно. Я понял вас, понял и очень сочувствую вам. При первом же удобном случае я поговорю с Людой. На днях я заеду к ней нарочно для этого.

Князь еще раз поблагодарил и простился с Зиновьевым.

Его положение было действительно мучительно.

«Один уже конец!» — думал он.

Увы, судьба не была к нему снисходительна — она не дала ему скоро этого желанного

конца.

Зиновьев решил, согласно просьбе князя, не откладывая беседы с племянницей в долгий ящик. На другой же день, после службы, он заехал к ней и застал ее одну.

— Дядя, какими судьбами? Вот не ожидала! — встретила его княжна, не забывая почтительно поцеловать его руку.

— Я и сам не ожидал.

— Это любезно. Что же такое случилось, что вы решились доставить себе такую неприятность, а мне большое удовольствие?

— Ишь, матушка, у тебя на языке мед, а под языком лед, да и на сердце тоже.

— Что с вами, дядя? — воскликнула уже тревожным голосом княжна Людмила Васильевна. — Садитесь, скажите.

Сергей Семенович сел, некоторое время молча смотрел на племянницу, а затем произнес:

— Не в нашу семью уродилась ты, Люда, не в покойную мать, мою сестру, царство ей небесное!

Княжна побледнела при этих словах дяди.

— Что такое? Я не понимаю!



— Не понимаешь? Так я объясню тебе. Вчера был у меня князь Сергей Сергеевич Луговой.

— А-а... — протянула княжна.

— Нечего акать, — рассердился Сергей Семенович, — ведь он твой жених.

— Он не забыл об этом?

— Грех тебе говорить это! Он любит тебя. А ты не смела забыть это уже по одному тому, что вас благословила твоя покойная мать, почти пред своей смертью. Это для тебя — ее последняя воля. Она должна быть священна.

— Я пошутила, дядя, — спохватилась княжна Людмила.

— Этим не шутят, матушка.

— Простите меня, дядя, я не виновата, что я такая, — она подыскивала слово, — взбалмошная.

— Надо исправиться. Но надо и ответить князю так или иначе. Я тебя не неволю: если не любишь, не надо идти замуж, ведь так и себя, и его погубишь, но надо развязать человека. Что-нибудь одно.

— Я сама на днях переговорю с ним.

— Переговори, непременно, — заметил

Сергей Семенович и, сочтя свое поручение исполненным, уехал.

На другой же день после этого посещения Зиновьевым княжны Луговой получил от последней любезную записку с приглашением посетить ее в тот же день, от четырех до пяти часов вечера.

Записка заставила сильно забиться сердце князя Лугового. Он понял, что она явилась результатом свидания Зиновьева с его племянницей, а потому, несомненно, что назначенный в ней час — час решения его участи. Несколько раз перечитал он дорогую записку, стараясь между строк проникнуть в мысли писавшей ее, угадать по смыслу и даже по почерку ее настроение. Увы, он не проник ни во что и не угадал ничего. Он остался лишь при сладкой надежде, что наконец сегодня, через несколько часов, так или иначе решится его судьба.

С сердечным трепетом позвонил Сергей Сергеевич в четыре часа дня у подъезда дома княжны. Лакей доложил о нем и тотчас же провел в будуар.

Княжна Людмила поднялась ему на-

встречу с обворожительной улыбкой.

— Здравствуйте, здравствуйте, князь, как я рада видеть вас! — с неподдельной искренностью воскликнула она.

Князь молча смотрел на нее восторженным взглядом и в первую минуту чуть не забыл поцеловать протягиваемую ею руку. Наконец он опомнился, схватил эту дорогую руку, которую он считал своею, и стал покрывать ее горячими поцелуями.

— Целуйте, — улыбалась княжна, — целуйте обе: это — ваше право.

— Право? Вы говорите, право? Вы воскрешаете меня к жизни!.. — воскликнул князь и пылко воспользовался предоставленным ему правом.

— Довольно, князь, довольно, хорошенького понемножку! — все продолжая ласково улыбаться, отняла княжна руки. — Садитесь, а я начну пред вами каяться.

— Каяться?.. Предо мною?..

— Не бойтесь, я ничего не совершила особенно дурного, — сказала она, заметив впечатление, произведенное ее последней фразой. — Сядьте! — указала она ему место рядом

с собою. — Я буду каяться в своем поведении по отношению к вам, князь... Вы на меня жаловались дяде?

Сергей Сергеевич вспыхнул.

— Я... жаловался?.. Сергей Семенович, видимо, не так понял.

— Он понял именно так, как следовало понять. Я пошутила, назвав это жалобой, но вы имели право и жаловаться... Я действительно не права перед вами, тысячу раз не права! Я вела себя как легкомысленная девочка, и вам ничего не оставалось, как пожаловаться старшим.

— Повторяю, Сергей Семенович... — снова хотел объяснить князь.

— Выслушайте меня до конца! — не дала она ему окончить фразу. — Я говорю это не с насмешкою и не с упреком, а совершенно искренне и серьезно. Но у меня есть и оправдание. Я все свое детство и раннюю молодость прожила в захолустье, в деревне. Понятно, что Петербург произвел на меня ошеломляющее впечатление. Но в течение года траура я могла пользоваться только крохами наслаждений, которые предоставляет столица. Год

минул, и у меня окончательно закружилась голова в этом омуте удовольствий. Этим объясняется, что я забыла, что есть человек, который с нетерпением ожидает этого срока, чтобы услышать от меня обещанное решительное слово... Простите меня, князь!

— Помилуйте, княжна, — и Сергей Сергеевич припал к ее руке долгим поцелуем.

— Повторяю, вы были правы, обратившись к дяде с просьбой напомнить мне о моей священной обязанности.

— И это — ваше решительное слово, княжна? — с дрожью в голосе спросил Луговой.

— Вы мне верите, князь? — вдруг спросила его княжна.

Сергей Сергеевич несколько мгновений молча смотрел на нее вопросительно-недоумевающим взглядом и наконец произнес:

— То есть как? Конечно, верю.

— Только при условии веры в меня я могу говорить с вами совершенно откровенно. Ваш ответ на мой вопрос не убеждает меня, но, напротив, доказывает, что вы колеблетесь. Я веду с вами не светский разговор, нет, мы решаем свое будущее. Поэтому я должна получить

от вас твердый и уверенный ответ на свой вопрос. Я поставлю его в несколько иной форме, предложу вам вместо одного вопроса два: первый — любите ли вы меня по-прежнему?

— Да разве вы можете сомневаться?.. По-прежнему!.. — с искренней горечью повторил князь. — Больше прежнего.

— Тогда второй вопрос: верите ли вы любимой вами девушке?

— Безусловно, — твердо и решительно ответил князь.

— Теперь я могу говорить. Я люблю вас по-прежнему, — произнесла княжна и остановилась на Луговом ласкающий взгляд.

— Княжна!.. — весь просияв, воскликнул Сергей Сергеевич и, завладев ее рукою, стал покрывать ее поцелуями.

— Я видела много молодых людей, я изучала их и не нашла среди них достойнее вас, но не по внешности, а по внутренним качествам. И я решила, что буду вашей женой, но...

Княжна Людмила остановилась и пристально посмотрела на Сергея Сергеевича. Его неотступно устремленный на нее восторжен-

ный взгляд вдруг омрачился.

— Князь, я молода, — почти с мольбой в голосе продолжала она, — а между тем я еще не насладилась жизнью и свободой, так украшающей эту жизнь. Со дня окончания траура прошел с небольшим лишь месяц, зимний сезон не начинался; я люблю вас, но вместе с тем люблю и этот блеск, и это окружающее меня поклонение, эту атмосферу балов и празднеств, этот воздух придворных сфер, эти бросаемые на меня с надеждой и ожиданием взгляды мужчин. Все это мне еще внове, и все это меня очаровывает.

— Но и по выходе замуж... — начал было князь.

— Вы хотите сказать, что этот блеск и эта атмосфера останутся. Но это — не то, князь! Вы, быть может, теперь, под влиянием чувства, обещаете мне не стеснять моей свободы, но на самом деле это невозможно: я сама буду стеснять ее, сама подчинюсь моему положению замужней женщины; мне будет казаться, что глаза мужа следят за мною, и это будет отравлять все мои удовольствия, которым я буду предаваться впервые, как новинке.

— Чего же вы хотите? Отсрочки? — глухо произнес князь.

— Милый, хороший, — вдруг наклонилась она к нему и положила обе руки на его плечи.

У Сергея Сергеевича закружилась голова. Ее лицо было совсем близко к его лицу, он чувствовал ее горячее дыхание.

— И надолго? — прошептал он, привлекая княжну к себе.

— На несколько месяцев... Милый, хороший, ты согласен?

Это «ты» окончательно поработило Сергея Сергеевича.

— На что не соглашусь я для тебя! Я люблю тебя, — страстным шепотом произнес он и обжег ее губы горячим поцелуем. — Божество мое, моя прелесть, мое сокровище! Благодарю, благодарю тебя.

Он молча продолжал покрывать губы, щеки и шею княжны страстными поцелуями.

— Могут войти, — опомнилась она, вырываясь из его объятий.

— О, Боже, какая это мука! — воскликнул он. — Какое сладкое мучение!

— Я не знаю, как я благодарна тебе за это



доказательство любви, — продолжала Людмила, — за то, что ты так страшно балуешь меня и главное, что этим баловством доказываешь, что понимаешь меня и веришь мне.

— Я люблю тебя!

— Но мы не можем всегда играть комедию, раз мы близки сердцем; я должна к тому же вознаградить тебя за те несколько месяцев тяжелого ожидания, на которые обрекла тебя. Не правда ли?

— Что ты хочешь сказать этим, моя дорогая?

— Мы будем устраивать свиданья наедине. В саду есть калитка. Я буду давать тебе ключ. Ты будешь приходить ко мне ночью через маленькую дверь, соединяющуюся коридором с этим будуаром. Я покажу тебе дорогу сегодня же.

— Но это могут заметить, дурно истолковать.

— Ночью у нас нет ни души кругом. Никто не заметит. Ты не хочешь?

Князь не ответил сразу. В его уме и сердце боролись два ощущения. С одной стороны, сладость предстоявших дивных минут таин-

ственного свидания, радужным цветом окрашивающих томительные месяцы ожидания, а с другой — боязнь скомпрометировать девушку, которую он через несколько месяцев должен будет назвать своей женой. Однако он понял, что молчание может обидеть ее. Первое ощущение взяло верх, и он воскликнул:

— Это, с твоей стороны, безумие, но оно пленительно!

— Пойдем, я покажу тебе дорогу. — Княжна отодвинула ширму, отперла стеклянную дверь и провела его коридором до входной двери. — Я буду в назначенный день оставлять эту дверь отпертою.

Сергей Сергеевич шел за нею, как в тумане, всецело подчиняясь ее властной воле.

«Это — безумие, это — безумие! — неслось в его уме. — Но если это откроется, то лишь ускорит свадьбу!»

Натолкнувшись на это соображение, Луговой не только успокоился, но даже обрадовался этому «безумному» плану княжны.

Они снова вернулись в будуар.

— Ты доволен? — спросила Людмила.

— Конечно, дорогая моя! Как же я могу быть не доволен возможностью провести с тобою совершенно наедине несколько часов?

— Так сегодня же, в полночь, — и княжна, подойдя, отперла один из ящичков стоявшей в будуаре шифоньерки и, вынув ключ, отдала его Луговому.

Он взял ключ и бережно, как святыню, положил в карман.

— Завтра ты заедешь ко мне с визитом и незаметно для других, если будут гости, передашь его мне.

— Хорошо, благодарю тебя, моя милая! — и князь снова привлек ее к себе.

Если бы мог он заподозрить, что при таких же условиях получал этот же ключ граф Свенторжецкий, хотя, как мы видели, свидания последнего с княжной до сих пор носили далеко не нежный характер.

Луговой уехал, сказав с особым удовольствием княжне Людмиле «до свидания».

«Как он хорош, как он мил! — думала она, проводив своего жениха. — Он лучше всех. А граф? — вдруг мелькнуло в ее уме, причем она вспомнила не о графе Свенторжецком, а о

графе Свиридове. — Нет, нет, я люблю князя! Никого, кроме него! Я буду его женой».

Однако чем более она убеждала себя в этом, тем настойчивее образ графа Петра Игнатьевича носился пред ее духовным взором.

«Он также хорош! Он тоже любит тебя!» — нашептывал ей в уши какой-то голос.

— Нет, нет, я не хочу, я люблю князя, — отбивалась она.

«Но князь обречен. Он должен погибнуть. С ним погибнешь и ты», — продолжал искуситель.

Девушка со слов покойной княжны припомнила все случившееся в Зиновьеве.

«Ведь он сказал, что в тебе видна холопская кровь!» — нанес ей последний удар таинственный голос.

Все лицо ее при этом воспоминании залилось краской негодования. А она только что поцеловала его!

## X ТРОЙНАЯ ИГРА

«Я покажу тебе, князь Луговой, холопскую кровь!» — припомнила теперь Татьяна Берестова, княжна-самозванка, свою угрозу

по адресу Лугового, произнесенную ею в Зиновьеве.

Ее увлечение князем боролось с этим воспоминанием.

Под влиянием злобы на Сергея Сергеевича она усиленно кокетничала с графом Свиридовым.

Еще и там, в Зиновьеве, князь Луговой нравился девушке гораздо более, чем граф Свиридов, но она не могла простить первому нанесенное оскорбление, до сих пор вызывавшее на ее лице жгучий румянец гнева, и она убеждала себя в превосходстве графа Петра Игнатьевича над князем Сергеем Сергеевичем.

То же произошло с нею и в Петербург, после описанного нами свидания с князем Луговым, во время которого она подтвердила данное княжной Людмилой Васильевной слово быть его женой. Она то чувствовала себя счастливой и любящей, то вдруг, вспоминая нанесенное ей князем оскорбление, считала себя несчастной, ненавидящей своего жениха.

Под влиянием последнего настроения она

удваивала свое кокетство с графом Свиридовым, видя в этом своего рода мщение Сергею Сергеевичу, и даже назначала и ему свидания по ночам в своем будуаре, давая ключ от садовой калитки. Потом, написав письмо одному и вызвав его на свиданье, она на другой день писала другому письмо в тех же выражениях.

Впрочем, надо сказать, что княжна ни со Свиридовым, ни со Свенторжецким не была так нежна, как с князем Луговым. Свидания с первым и вторым носили характер светской болтовни при таинственной, многообещающей, но — увы! — для них лишь раздражающей обстановке, хотя она и в разговорах наедине, и в письмах называла их полуименем и обмолвливалась сердечным «ты».

Граф Петр Игнатьевич, конечно, не имел понятия об этой тройной игре, где двое партнеров — он и граф Свенторжецкий — играли довольно жалкую роль. Он, как и оба другие, считал себя единственным избранником и глубоко ценил доверие, оказываемое ему княжною, принимавшей его в глухой ночной час и проводившей с ним с глазу на глаз иногда более часа. Она благосклонно слушала его

признания в любви. Он несколько раз косвенно делал ей предложение, но она искусно переменила разговор и давала понять, что хотела бы еще вдоволь насладиться девичьей свободой. Зная, что она только что вступила в светскую жизнь после долгих лет, проведенных в тамбовском наместничестве, и года траура в Петербурге, Свиридов находил это очень естественным и терпеливо ожидал, пока настанет вождеденный день и княжна переменит свою корону на графскую. Глубокая тайна, окружавшая их отношения, придавала им еще большую прелесть. Граф был доволен и счастлив.

Не был доволен и счастлив второй граф и претендент на руку княжны Полторацкой — Свенторжецкий. У него во время свиданий наедине установились с княжной какие-то странные, полутоварищеские, полудружеские отношения. Княжна болтала с ним обо всем, не исключая своих побед и увлечений, и делала вид, что совершенно вычеркнула его из числа ее поклонников: он был для нее добрым знакомым, товарищем ее детства и... только. Всякую фразу, похожую на признание

в любви, сказанную им, девушка встречала смехом и обращала в шутку.

Это доводило пылкого графа до бешенства. Он понимал, что при таких отношениях он не может сделать ей серьезное предложение, что при малейшей попытке с его стороны в этом смысле он будет осмеян ею. А между тем страсть к княжне бушевала в его сердце с каждым днем все с большей и большей силой.

Роковой вопрос: «Что делать?» — стал все чаще и чаще восставать в его уме.

— Она будет моей! Она должна быть моей! — говорил он сам себе, но при этом чувствовал, что исполнение этого страстного желания останется лишь неосуществимой мечтою.

«Хотя бы с помощью дьявола!» — решил он, но тотчас горько улыбнулся — увы, даже помощи дьявола ему ожидать было неоткуда.

«Погубить ее и себя! — мелькало в его голове, но он отбрасывал эту мысль. — Ее не погубишь. Она слишком ловко и умно все устроила. Только осрамишься».

Именно это соображение останавливало



Свенторжецкого.

Да иначе и быть не могло. Любви, вероятно, вообще не было в сердце этого человека; к княжне Людмиле Васильевне он питал одну страсть, плотскую, животную и тем сильнейшую. Он должен был взять ее, взять во что бы то ни стало, препятствия только разжигали его желание, доводя его до исступления.

— Она должна быть моею! Она будет моею! — все чаще и чаще повторял он, и днем, и ночью изыскивая средства осуществить эту свою заветную мечту, но — увы! — все составленные им планы оказывались никуда не годными, так как «самозванка-княжна» была защищена со всех сторон неприступной бронею.

Граф лишился аппетита, похудел и обращал на себя общее внимание своим болезненным видом.

— Что с вами, граф? — спросила его графиня Рябова, одна из приближенных статс-дам императрицы — молодая, красивая женщина, которую Свенторжецкий посетил в один из ее приемных дней. — Неужели вы влюблены?

— В кого, графиня? — деланно удивлен-

ным тоном спросил он ее. — Положительно не знаю.

— В кого же можно быть влюбленным? Не в меня же! — язвительно заметила графиня.

— Если бы я влюбился, графиня, то исключительно в вас, но, к несчастью, я не влюбчив.

— Будто бы! — кокетливо покачала головой графиня. — А между тем все наши говорят, что вы влюблены.

— Мне об этом неизвестно.

— Значит, чары «ночной красавицы» благополучно миновали вас? Да? Так что же с вами?

— Я болен.

— Лечитесь.

— Лечусь, но доктора не помогают.

— Обратитесь к патеру Вацлаву. Это старый католический монах; он уже давно живет в Петербурге и лечит травами.

— И успешно?

— Есть много лиц, которым он помогает.

— Где же он живет?

— Далеко... на Васильевском острове, но где именно, я точно не знаю. Прикажете

узнать, это так легко. Искренне ли вы сказали, что вы не влюблены, или нет — это все равно: патер Вацлав, как слышно, лечит и от сердечных болезней. Он, говорят, всемогущ в деле возбуждения взаимности.

Граф весь превратился в слух.

«Вот она, помощь дьявола!» — мелькнуло в его уме, однако он сумел не выдать своего любопытства и того волнения, которое ощутил при этих словах графини, и небрежно произнес:

— За этим я к нему и обращусь.

— Хорошо сказано. Уверенность в мужчине — залог его успеха. Надеюсь, вы сообщите мне результат и, кроме того, впечатление, которое вы вынесете из свидания с этим «чародеем».

— Вы говорите «чародеем»?

— Да, так зовут его в народе.

— Я, непременно последую вашему совету, графиня.

Вернувшись домой, Свенторжецкий обратился к пришедшему раздевать его Якову.

— Послушай-ка! Съезди завтра же рано утром, пока я сплю, на Васильевский остров и

отыщи там патера Вацлава. Запомнишь?

— Запомню! А кто он такой, ваше сиятельство?

— Он лечит травами.

— Это чародей? Слышал про него... Его знают.

— Вот его-то мне и надо.

— Слушаю-с, ваше сиятельство. Найду.

Граф отпустил Якова и лег в постель, но ему не спалось.

«А что, если действительно этот чародей может помочь мне?» — неслоь в его голове.

Ум подсказал ему всю шаткость этой надежды, а сердце между тем говорило иное; оно хотело верить и верило.

«Завтра же я отправлюсь к этому чародею, — думал граф, — не пожалею золота, а эти алхимики, хотя и хвастают умением делать его, никогда не отказываются от готового».

После этого Свенторжецкий стал припоминать слышанные им в детстве и в ранней юности рассказы о волшебствах, наговорах, приворотных корнях и зельях.

«Ведь не сочинено же все это праздными

людьми! — думал он. — Ведь что-нибудь, вероятно, да было. Нет дыма без огня, нет такого фантастического рассказа, в основе которого не лежала бы хоть частичка правды. Природа, несомненно, имеет свои тайны, как, несомненно, есть люди, которым посчастливилось проникнуть в одну или несколько таких тайн. Этого достаточно, чтобы человек сделался сравнительно всемогущ. Быть может, патер Вацлав именно один из таких людей, Недаром он пользуется в Петербурге такою известностью».

Граф не ошибся в своем верном слуге.

— Ну, что? — спросил он Якова, появившегося на другой день утром на звонок.

— Нашел-с, ваше сиятельство!

— Молодец, — не удержался похвалить его граф. — Где же он живет?

— Далеко, очень далеко: в самом как ни на есть конце Васильевского острова; там и жилища-то до него, почитай, на версту нет.

— В своем доме?

— Какой там дом! Избушка, ваше сиятельство.

— Ты был у него? Да? И видел его?

— Видел. Страшный такой... худой, седой да высокий, глаза горят, как уголья, инда дрожь от их взгляда пробирает. И дотошный же!

— А что?

— Да спросил меня: «Чего тебе надо?» — я и говорю: «Неможется мне что-то», — а он как глянет на меня так пронзительно да и говорит: «Ты не ври! Не от себя ты пришел, а от другого; пусть другой и приходит, а ты пошел вон».

— Что же ты?

— Что же я? Давай Бог ноги!

— Мы с тобой поедем сегодня к нему вдвоем. Ты меня проводишь, — и граф стал одеваться.

Патер Вацлав был действительно известен многим в Петербурге. На Васильевском же острове его знал, как говорится, и старый и малый, вместе с тем все боялись. Репутация «чародея» окружала патера той таинственностью, которую русский народ отождествляет со знакомством с нечистою силой, и хотя в трудные минуты жизни и обращается к помощи тайных и непостижимых для него

средств, но все же со страхом взирает на знающих и владеющих этими средствами.

Сама внешность патера Вацлава, описанная Яковом, не внушала ничего, кроме страха или, в крайнем случае, боязливого почтения. Образ его жизни тоже более или менее подтверждал сложившиеся о нем легенды.

А легенд этих было множество. Говорили, что в полночь на трубу избушки патера Вацлава спускается черный ворон и издает злоеющий троекратный крик. На крыльце появляется сам «чародей» и отвечает своему гостю почти таким же криком. Ворон слетает с трубы и спускается на руку патера Вацлава, и тот уносит его к себе.

Некоторые обитатели окраин Васильевского острова клялись и божились, что видели эту сцену собственными глазами.

Впрочем, немногие смельчаки решались по ночам близко подходить к «избушке чародея». В ее окнах всю ночь светился огонь, и в зимние темные ночи этот светившийся вдали огонек наводил панический страх на глядевших в сторону избушки. Этот-то свет и был причиной того, что на Васильевском острове

все были убеждены, что «чародей» по ночам справляет «шабаш», почетным гостем на котором бывает сам дьявол в образе ворона.

Утверждали также, что патер Вацлав исчезает на несколько дней из своей избушки, улетая из нее в образе филина.

Бывавшие у патера Вацлава днем, за лекарственными травами, тоже оставались под тяжелым впечатлением. Обстановка внутренней избушки внушала благоговейный страх, особенно простым людям. Толстые книги в кожаных переплетах, склянки с разными снадобьями, пучки засохших трав, несколько человеческих черепов и полный человеческий скелет — все это производило на посетителей сильное впечатление.

Впрочем, «чародей» знался не с одним простым черным народом. У его избушки часто видели экипажи бар, приезжавших с той стороны Невы. Порой такие же экипажи увозили и привозили патера Вацлава.

Кроме лечения болезней, он занимался и так называемым «колдовством». Он удачно открывал воров и места, где спрятано похищенное, давал воду от «сглаза», приворотные



корешки и зелья. Носились слухи, что он делал всевозможные яды, но на Васильевском острове, ввиду патриархальности быта его обитателей, в этих услугах патера Вацлава не нуждались.

Был первый час дня, когда экипаж графа Свенторжецкого остановился у избушки патера Вацлава, и Иосиф Янович, сказав соскочившему с запяток кареты Якову: «Ты останься здесь, я пойду один», твердой походкой поднялся на крыльцо избушки и взялся за железную скобу двери. Последняя легко отворилась, и граф вошел в первую горницу.

За большим столом, заваленным рукописями, сидел над развернутой книгой патер Вацлав. Он не торопясь поднял голову.

— Друг или враг? — спросил он по-польски.

— Друг! — на том же языке ответил граф Иосиф Янович.

— Небо да благословит твой приход! Садись, сын мой, и изложи свои нужды! — ласково, насколько возможно для старчески дребезжащего голоса, произнес патер Вацлав.

Свенторжецкий сел на стоявший сбоку

стола табурет.

— Не болезнь привела тебя ко мне, сын мой, — пристальным, пронизывающим душу взглядом смотря на графа, произнес патер Вацлав.

— И нет, и да, — ответил Свенторжецкий сдавленным шепотом.

— Ты прав: и да, и нет. Ты здоров физически, но тебя снедает нравственная болезнь.

— Вы знаете лучше меня, отец мой!

— Ты прав опять. Я знаю многое, чего другим знать не дано. Ты любишь?

— Да, — чуть слышно произнес граф.

— И нелюбим? Нет? Так расскажи же мне все, без утайки. Кто она? Знай, что нас слышат только четыре стены этой комнаты; все, что ты расскажешь мне, останется, как в могиле.

Граф начал свой рассказ о своей любви к княжне Полторацкой, конечно не упомянув ни одним словом о ее самозванстве, о своих тщетных ухаживаниях и о ее поведении по отношению к нему.

— Она назначает тебе свиданья?

— Да, батюшка.

— Ночью, наедине, ты, кажется, говорил так? Да? Зачем же она это делает?

— Не знаю.

— Быть может, она назначает их и другим? Быть может, это вошло в обычай ее жизни?

— Не думаю! Она честная девушка, — вспыхнул граф, но в его мозг уже вползла ревнивая мысль:

«А что, если действительно она и другим назначала подобные же свидания?»

— Так ты не можешь и догадаться, для чего это она делает?

— Быть может, для того, чтобы мучить меня.

— Ты это думаешь и все же любишь ее, хочешь, чтобы она сделалась твоею женою?

— Я хочу, чтобы она была моей, хочу так, что готов отдать за это половину своего состояния. Вот золото: это — только задаток за услугу, если только возможно оказать ее мне, — и граф, вынув из кармана больших размеров кошелек, высыпал пред патером Вацлавом целую грудку золотых монет.

Глаза старика сверкнули алчностью.

— Тебе можно помочь, но... это средство

может повредить ее здоровью.

— О-о-о... — простонал граф Иосиф Янович.

— Если ты питаешь к ней только страсть, то она будет твоей. Если же...

— Пусть она будет моею! — вдруг твердо и решительно воскликнул Свенторжецкий.

— Она может умереть, — добавил патер Вацлав.

— Пусть умрет, но умрет моею! — в каком-то исступлении закричал граф. — Если другого средства нет, то мне остается выбирать между моей и ее жизнью! Я выбираю свою.

— Это естественно, — докторально заметил патер Вацлав. Граф не слышал этого замечания.

«Она будет моею, а затем умрет. Пусть! Я буду отмщен вдвойне. Но это ужасно. Может быть, есть другое средство? Пусть она живет... живет моей любовницей... Эта месть была бы еще страшнее!» — подумал Свенторжецкий и спросил:

— А может быть, есть другое средство? Пусть она живет. Если это дороже, все равно Берите сколько хотите, отец.

— Ты колеблешься, сын мой? Нет, другого верного средства не имеется. Ведь не веришь же ты разным приворотным зельям и кореньям, которым верит глупая чернь?

— Тогда давайте верное средство, батюшка.

— Я изготовлю его тебе через неделю.

— Какое же это средство?

— Она любит цветы? Да? Ты дарил их ей?

— Нет.

— Начни посылать ей цветы. Через неделю я дам тебе жидкость. В день свиданья, когда ты захочешь, чтобы княжна была твоею, ты опрысни этой жидкостью букет. Нескольких капель на цветах будет достаточно.

— И она умрет после того скоро?

— В ту же ночь. Однако, чтобы это имело вид самоубийства, пошли побольше цветов. От их естественного запаха тоже умирают. Открыть же присутствие снадобья невозможно.

Граф задумался.

Патер Вацлав молча глядел на него, а затем спросил:

— Ну, как же? Приготовлять?

— Приготовляйте, батюшка! Да простит меня Бог! — воскликнул граф Свенторжецкий.

— И простит, сын мой! За сто червонных я дам тебе разрешение нашего святого папы от этого греха.

— И грех действительно простится?

— Разве ты не сын римско-католической церкви? — строго спросил патер Вацлав.

— Я сын ее, — глухо ответил граф.

В действительности он был православным, но с четырнадцати лет, под влиянием матери, ходил в костел на исповедь и причастие у ксендза. Приняв имя графа Свенторжецкого, он невольно сделался и католиком, однако, в сущности, не исповедовал никакой религии.

— Если так, то как же ты осмеливаешься задавать такие вопросы? — произнес патер. — Разрешение святого отца, конечно, действительно в настоящей и в будущей жизни.

— Простите, я спросил это по легкомыслию. Значит, через неделю?

— Через неделю. Час в час.

— До свиданья, батюшка! — поднялся с места граф и, получив благословение монаха, вышел.

— Живы, ваше сиятельство? — встретил его Яков. — Уж очень вы долго! Я перепугался было, хотел толкнуться... Ведь, не ровен час... Нечистый какой каверзы не сделает!

— А ты думал справиться с нечистым, если бы толкнулся? — улыбнулся граф и приказал ехать домой.

«Она будет моей! Она должна быть моей! — неслось в голове графа, откинувшегося в угол кареты в глубокой задумчивости. — Во что бы то ни стало... какую бы то ни было ценою»

## XI КЛЮЧ ДОБЫТ

Назначенная патером Вацлавом неделя показалась Свенторжецкому вечностью. Чего не передумал, чего не переиспытал он в эти томительные семь дней! Несколько раз он приходил к решению не ехать к «чародею», не брать дьявольского средства, дающего наслаждение, за которое жертва должна будет поплатиться жизнью. Ведь ужасно

знать, что женщина, дрожащая от страсти в объятьях, через несколько часов будет холодным трупом. Не отравит ли это дивных минут обладания? Порой он решал этот вопрос утвердительно, а порой ему казалось, что эта страсть за несколько часов пред смертью должна заключать в себе нечто волшебное, что это именно будет апофеозом страсти. Организм, в который будет введен яд возбуждения, и притом яд смертельный, несомненно, вызовет напряжение всех последних жизненных сил исключительно для наслаждения. Инстинктивно чувствуя смерть, женщина постарается взять в последние минуты от жизни все. И участником этого последнего жизненного пира красавицы будет он!

«Она будет твоей и никогда больше ничьей не будет!» — нашептывал ему какой-то внутренний голос, похожий на голос его матери, но тотчас же другой властный голос, поднимавший в его душе картины далекого прошлого, голос, похожий на голос его отца, говорил другое:

«Какое право имеешь ты отнимать жизнь за мгновение своего наслаждения, для удо-



влетворения своего грязного, плотского каприза? Неужели ты думаешь, что страсть, вызванная искусственно, может доставить истинное наслаждение? Ты увидишь, что после пронесшихся мгновений страсти твое преступление оставит неизгладимый след в твоей душе, и ты годами нравственных страданий не искупишь их. Горечь, оставшаяся на твоём сердце после пресыщения искусственною сладостью, отравит тебе всю жизнь».

Свенторжецкий уже стал прислушиваться к этому второму голосу, и тогда у него появилось было решение отказаться от услуг патера Вацлава и постараться сбросить с себя гнет страсти к княжне Людмиле, вычеркнуть из сердца ее пленительный образ. Увы, сделать это он был не в состоянии. Его страсть, по мере открывавшейся возможности удовлетворить ее, росла не по дням, а по часам и еще более разжигалась фразой патера Вацлава: «А не назначает ли она такого свидания и другим?» Эти слова змеей сомнения вползли в сердце графа Свенторжецкого и то и дело приходили ему на память.

«Если это действительно так, то пусть она

умрет!» — говорил он сам себе.

Граф искал предлога для оправдания своего преступления, и эта измена княжны Людмилы представлялась ему достаточным предлогом. Он забывал, что княжна не связана с ним ничем, даже словом. В своем ослеплении страстью он полагал, что раз она назначает ему свидание, то никто другой не имеет права на них. Ведь эти свидания он считал доказательством близости, делить которую с другим не был намерен. И тотчас же он говорил себе, что княжна назначает другим свидания просто для того, чтобы помучить его, отомстить ему и наказать его, но в конце концов переменит гнев на милость и сделается его женой. Однако если другой воспользуется такими же, как он, или, быть может, даже большими правами, то он вправе считать это изменой и жестоко отомстить за нее, отомстить смертью.

Граф решил убедиться в этом, а так как он все равно не спал ночей под влиянием тревожных дум, то стал проводить их у дома княжны Полторацкой, сторожа заветную калитку. Несколько ночей прошло для него в

бесплодном ожидании — никто не появлялся на берегу Фонтанки. Граф хотел уже перестать ходить на обычный караул, но — увы! — последняя ночь убедила его в том, что княжна принимает еще кого-то, кроме него.

На берегу показалась фигура мужчины; она быстро приблизилась к дому княжны и остановилась у калитки. Граф стоял шагах в десяти от нее и при свете луны, на одно мгновение выплывшей из-за облаков, узнал князя Сергея Лугового. Затем он услышал, как щелкнул замок от повернутого ключа, после чего фигура скрылась за калиткой и заперла ее изнутри.

Сомнения не было — княжна Людмила не одному ему, Свенторжецкому, назначала ночные свиданья. Луговой, быть может, был даже счастливее его в часы этих свиданий!

Неукротимая злоба забушевала в сердце графа; горячая кровь бросилась ему в голову, била в виски. Он быстро удалился от дома княжны; приговор изменнице был подписан:

«Пусть она умрет, но умрет моею. Я буду обладать ею».

Со следующего дня граф стал посылать

цветы княжне Полторацкой. Он не стоял за ценой, и вскоре будуар княжны Людмилы стал похожим на оранжерею.

Княжна действительно любила цветы и с удовольствием принимала их, тем более что присылать их у поклонников светских красавиц было в обычае того времени. Однако она даже не знала, от кого получает эти знаки питаемого к ней нежного чувства, так как расторопный Яков ежедневно поручал относить к ней букеты и горшки с цветами разным своим приятелям, строго наказывая, чтобы они не смели говорить от кого. Впрочем, княжна подозревала в этом главных своих поклонников — князя Лугового, графов Свиридова и Свенторжецкого, и ей льстило это внимание.

Свенторжецкому в течение этого времени выпало не более одного раза быть на таинственном свидании в будуаре княжны Людмилы.

— Вы, точно богиня Флора, вся в цветах, — с улыбкою заметил он, входя к ней в будуар и бросая взгляд на цветы.

— С некоторых пор меня стали страшно баловать цветами, — сказала княжна. — И вооб-

разите, граф, я не знаю, кто именно, хотя догадываюсь.

— Я думаю, это вам довольно трудно: ведь у вас бесчисленное количество поклонников.

— Ошибаетесь! Таких, которые меня балуют, немного.

— Но все-таки несколько!

— Пожалуй, но мне кажется, что это делает один. Однако, кто именно, я не скажу вам. Это — мой секрет.

— Не смею проникать в него.

— Цветы — моя страсть, их запах оживляет меня. Не правда ли, как здесь мило!.. Точно оранжерея. Бывало, я еще совсем маленькой девочкой любила целые часы проводить в оранжерее.

— Говорят, это вредно, болит голова.

— У меня нет, я привыкла. Напротив, запах цветов освежает меня.

«Надо принять это к сведению, следует увеличить дозу», — подумал граф, но вслух сказал:

— Это другое дело, привычка — вторая натура.

— Вашей голове, быть может, вреден этот

запах?

— Нет, напротив, легкое головокружение даже приятно. Да это и не от цветов.

— Вы опять за старое! Неисправимы, хоть брось! — смеясь, сказала девушка, поняв намек графа.

— Скажите лучше, неизлечим, так как мое чувство к вам — моя смертельная болезнь.

— Ай, ай, какие страсти! Если бы я поверила вам, то, наверно, испугалась бы, — засмеялась княжна.

— Вы не можете мне не верить.

— Вы думаете, что вам должны верить все?

— Кто все?

— Кому вы говорите то же самое, что мне.

— Я никому этого не говорил и не говорю.

— Очень жаль! Отчего же и другим не доставить удовольствия?

— Придет время, вы поймете, что я говорил правду, но будет поздно! — произнес граф и мрачно поглядел на княжну.

— Вы умрете? — рассмеявшись, спросила она.

— Смерть — хороший исход! — сказал граф.

— Я не доктор и не могу вылечить вас от вашей болезни, поэтому бесполезно и говорить со мной о ней. Вы, как я слышала, к тому же лечитесь у патера Вацлава? Это правда?

— Да, лечусь.

— От любви?

— Нет, от головы.

— Это другое дело. И что же, помогает?

— Это интересует вас?

— Конечно! Ведь в качестве вашего друга я не могу не интересоваться.

— «Друга»! — иронически повторил он. — Я не хочу и никогда не хотел иметь вас другом.

— В таком случае, зачем же вы просите о свиданиях?

— Вы на них принимаете только друзей? — спросил граф, пристально смотря ей в лицо.

— Только, — не моргнув глазом, ответила она.

— И много их?

— Это вас не касается.

— Но это невыносимо. Поймите, что я люблю вас.

— Граф. Вы забыли наше условие — не говорить о любви.

— Я не в состоянии.

— Тогда это свиданье будет последним.

— Хорошо, хорошо, я подчиняюсь, — испуганно согласился граф Свенторжецкий. — Простите!

Разговор перешел на другие темы.

Через несколько времени граф отправился домой, злобно шепча:

— Погоди! Еще дня два или три, и на моей улице будет праздник. Ты сама заговоришь о любви!

Наконец настал срок, назначенный патером Вацлавом для приезда к нему за снадобьем, которое должно было бросить княжну Людмилу в объятия графа. Последний, конечно, почти минута в минуту был у «чародея». Патер Вацлав, обменявшись приветствиями, удалился в другую комнату и вынес оттуда небольшой темного стекла пузырек.

— Несколько капель на два-три цветка будет достаточно, — сказал он. — Княжна может отделаться только сильным расстройством всего организма, но затем поправится.



У меня есть средство, восстанавливающее силы. Если захочешь, сын мой, сохранить ей жизнь, то не увеличивай дозы, а затем приходи ко мне. Она будет жива.

Граф не обратил почти никакого внимания на эти слова «чародея». Все его мысли были направлены на этот таинственный пузырек, в котором заключалось его счастье. Поэтому он спрятал пузырек в карман, а из последнего вынул мешочек с золотом и сверток золотых монет, причем сказал:

— Вот за лекарство, а это — сто червонных — за разрешение от греха.

— Разрешение готово. Вот оно! — и патер, подав графу бумагу, стал считать деньги.

Граф опустил бумагу в карман не читая.

— Разве так можно обращаться с разрешением святого отца-папы? — строго посмотрел на него патер.

— А как же?

— Ты — не верный сын католической церкви, если говоришь такие слова. Ты должен был осенить себя крестом и спрятать бумагу на груди. Вынь ее из своего грешного кармана, где ты держишь деньги, этот символ

людской корысти!

Граф повиновался и вынул бумагу.

— Перекрестись и поцелуй святую подпись! — сказал патер.

Иосиф Янович исполнил приказание и спрятал бумагу на груди, после чего стал прощаться.

— Да благословит тебя Бог, сын мой! — напутствовал его патер. — Помни, не злоупотребляй средством, если не хочешь стать убийцей.

— Но ведь так или иначе, а я буду прощен? — возразил граф.

— Все это так, но ведь тебе жаль женщину, к которой влечет тебя страсть? Да? Тогда сохрани ее для будущего.

— Будущее... разве у нас с нею есть будущее?

— Раз ты овладеешь ею впервые, от тебя будет зависеть сохранить ее навсегда.

«Впервые! Хорошо, если впервые», — мелькнуло в уме графа, и пред ним вырисовалась фигура Лугового, отворяющего калитку сада княжны.

Граф возвращался домой в каком-то экста-

зе. Он то и дело опускал руку в карман, ощупывая заветный пузырек с жидкостью, заключавшею в себе и исполнение его безумного каприза, и отмщение за нанесенное ему «самозванкой-княжной» оскорбление.

Теперь, имея в руках средство отмстить, он особенно рельефно представлял себе прошлое. Он вспоминал, как ехал к княжне, думая, что его встретит покорная раба его желаний, и с краской стыда должен был сознаться, что его окончательно одурачила девчонка. Она искусно вырвала из его рук все орудия, выбила почву из-под ног, и вместо властелина он очутился в положении ухаживателя, над чувством которого княжна явно насмеялась, которого она мучила, а на интимных ночных свиданьях играла с ним, как кошка с мышью. Этого ли не достаточно было, чтобы жестоко отмстить ей?

Между тем пленительный образ молодой девушки восставал пред ним. Он восхищался правильной красотой ее лица, тонкостью линий, ее глазами, полными жизни и обещающими быть полными страсти, приходил в восторг от ее стройной фигуры, где здоровье

соединялось с девственностью, где жизнь и сила красноречиво говорили о сладости победы. Ему становилось жаль безумно желаемой им девушки.

Однако ему припомнились слова патера Вацлава о возможности быть властелином девушки, которой он будет обладать впервые.

«Впервые? — повторил Свенторжецкий, и снова рой сомнений окутал его ум, и снова фигура князя Лугового, освещенная луной у калитки сада княжны Полторацкой, восстала пред ним, и он решил: — Пусть умрет!»

Но это было лишь на мгновение.

«Кто знает? — подумал он. — Быть может, она играет Луговым так же, как играет мной? — и у него мелькнуло другое решение: — Пусть живет».

Ведь он через несколько дней убедится в этом, так как пузырек уже будет в его кармане. Если она была к князю Луговому менее строга, нежели к нему, то он незаметно выльет на букет все содержимое в этом роковом пузырьке. Тогда смерть неизбежна, и он будет отмщен!

«Она говорит, что привыкла к запаху цве-

тов, — неслась далее в его голове мысль, — необходимо все-таки несколько увеличить дозу. Иначе на нее не произведет никакого впечатления, и цель не будет достигнута».

Граф мысленно стал упрекать себя, что не сообщил об этом патеру Вацлаву и не спросил у него совета. Он было решил приказать кучеру повернуть назад, но раздумал. Понятно, что для организма, привыкшего к сильным ароматам, необходимо увеличить дозу.

Вернувшись домой, граф спрятал пузырек в бюро, стоявшее у него в кабинете, и спросил Якова:

— Цветы посланы?

— Посланы, ваше сиятельство.

— Мне будет необходим на днях роскошный букет из белых роз. Но, прежде чем послать его княжне, препроводи его ко мне. Я хочу посмотреть его.

— Уж будьте спокойны. Отправим самые лучшие... царские, можно сказать, цветы, ваше сиятельство.

— Где ты достаешь цветы?

— У садовника графа Кириллы Григорьевича Разумовского. У них лучшие в городе

оранжереи, не уступят царским. Только садовник и выжига же! Дерет за цветы совсем не по-божески. Кажись, ведь это — трава, а он лупит за них такие деньги.

— Не в деньгах дело.

— Это конечно, ваше сиятельство: в капризе-с.

— Как ты сказал? «В капризе»? Что же это значит?

— А то, что для бар каприз бывает дороже всяких денег.

— Пожалуй, ты прав. Так помни относительно букета!

На другой же день граф поехал с визитом к княжне Людмиле. Он застал ее одну в каком-то тревожном настроении духа. Она была действительно обеспокоена одним обстоятельством. Граф Свиридов, которому был отдан ключ от садовой калитки, не явился вчера на свиданье. Княжна была в театре, видела графа в партере, слышала мельком о каком-то столкновении между ним и князем Луговым, но в сущности что случилось, не знала. Свиридов между тем не явился к ней и сегодня, чтобы, по обыкновению, возвратить ключ.

Все это не на шутку тревожило ее.

Неужели они объяснились, и ее одинаковые письма к князю и Свиридову, написанные ею под влиянием раздражения на Лутого за слова, сказанные им в Зиновьеве, дошли до сведения их обоих? Это поставило бы ее в чрезвычайно глупое положение.

«Нет, просто Свиридов заболел! — успокаивала она самое себя. — Приедет, отдаст ключ. Не посмеет же он явиться в неназначенный день! И, кроме того, он найдет дверь в коридор запертой».

Это соображение совершенно успокоило ее.

— Что с вами, княжна? Вы как будто чем-то встревожены? — спросил Свенторжецкий, видя молодую девушку в каком-то странном состоянии духа. — Вы сегодня какая-то странная.

— Мне немного нездоровится.

— Не виноваты ли в этом цветы, которыми, как кажется, вас продолжают обильно награждать?

— Действительно, кто-то положительно сыпает меня ими, но не эти прелестные цве-

ты — виновники моего нездоровья. Они, напротив, оживляют меня, — и княжна, вынув из стоявшего вблизи букета несколько цветков, стала жадно вдыхать в себя их аромат.

— Я должен на днях уехать на довольно продолжительное время в Варшаву. Мне необходимо окончить там некоторые дела...

— Вы говорите, надолго?

— Может быть, на несколько месяцев.

— Но что же станет с влюбленными в вас дамами?

— Вы, княжна, все шутите, а у меня к вам просьба. Позвольте мне прийти к вам завтра.

— Милости просим. Мои двери, кажется, открыты для вас всегда.

— Не двери, а калитка, — подчеркнул граф.

— Калитка? — повторила княжна и задумалась. Это напомнило ей, что ключ от калитки находится в руках Свиридова, и она не знала, что ей ответить. Все же она спросила: — Вы когда едете?

— Послезавтра.

«Не осмелится же Свиридов явиться в неназначенный день!» — мелькнуло у нее в голове, а так как было несколько ключей от



калитки, принесенных ей Никитой, то она решилась.

— Хорошо, я завтра буду ждать, — сказала она и, встав с дивана, вынула из шифоньерки ключ. — Вот вам ключ.

— Я не знаю, как благодарить вас, княжна! — поцеловав у нее руку, сказал граф.

— Я не могу отказать уезжающему.

Раздавшийся звонок известил о новом посетителе, и граф стал прощаться. В передней он встретил нескольких молодых людей.

— Убегает... забежал раньше всех и был принят с глазу на глаз. Счастливец! — слышались шутливые замечания.

Граф в свою очередь ответил какой-то шуткой и уехал. Дело было сделано. Ключ от калитки лежал в его кармане.

— Завтра должен быть букет из белых роз, громадный, роскошный, — сказал Свенторжецкий Якову.

— Будет готов. Я уже распорядился, ваше сиятельство!

— Принеси его ранее сюда, а потом отправишь к княжне, но не сам.

— Слушаю-с. Зачем сам? Я очень понимаю.

## XII ДВА ИЗВЕСТИЯ

Князь Луговой жил тоже лихорадочной жизнью. Повторенное ему обещание княжны Людмилы быть его женою лишь на первое время внесло успокоение в его измученную душу; отсрочка, потребованная девушкой, тоже только первые дни казалась ему естественной и законной в ее положении. Рой сомнений вскоре окутал его ум, и муки ревности стали с еще большею силой терзать его сердце.

Княжна давала ему повод к этому своим странным поведением. Накануне, на свиданье с ним наедине в ее будуаре, она была пылка, ласкова и выражением своих чувств доводила его до положительного восторга, а на другой день у себя в гостиной или в домах их общих знакомых почти не обращала на него внимания, явно кокетничая с другими, и в особенности с графом Свиридовым.

Сергей Сергеевич положительно возненавидел своего бывшего друга, да и тот, видимо, платил ему тою же монетою. Вследствие этого они ограничивались при встрече лишь

вежливыми, холодными поклонами.

Князь, конечно, не знал, что дорога в заветный будуар его невесты открыта не ему одному для ночных свиданий. Он имел право считать княжну Людмилу своей невестой, хотя их помолвка была известна, кроме них двоих, только еще дяде княжны, Зиновьеву. Но и при таких условиях явное нарушение княжной своих обязанностей невесты, выражавшееся в амурной интриге с другими молодыми людьми, переполнило бы чашу терпения и без того многотерпеливого жениха.

К этому присоединялось еще следующее. В обществе о молодой княжне — «ночной красавице» — не переставали ходить странные, преувеличенные слухи, и их старались довести до сведения Лугового. Дело в том, что князь был одним из Выдающихся женихов, предмет вожделений многих петербургских барышень вообще, а их маменек в особенности. Очень понятно, что предпочтение, отдаваемое им княжне Полторацкой, не могло вызвать в них особенную симпатию к Людмиле Васильевне. В то время как дочери злобствовали молча, маменьки не стесняясь давали во-

лю своим языкам и с чисто женскою неукротимою фантазией рассказывали о княжне Людмиле невозможные вещи. По их рассказам, она была окончательно погибшей девушкой, принятой в порядочные дома лишь по недоразумению. Эти рассказы передавались из уст в уста, с одной стороны, из жажды пересудов ближних, а с другой — с целью дискредитировать молодую девушку в глазах такого блестящего жениха, как князь Луговой. Поэтому в его присутствии намеки о поведении княжны были особенно ясны, но — увы! — достигали не той цели, которая имела в виду. Князь слушал их, понимал и даже, отуманенный ревнивым чувством, верил им, однако его любовь к княжне от этого не уменьшалась. Он страшно страдал, но любил ее по-прежнему. Один нежный взгляд, одно ласковое слово разрушали ковы ее врагов, и Сергей Сергеевич считал княжну снова чистым, безупречным существом, оклеветанным злыми языками. Однако обычно следовавшая затем перемена отношений к нему со стороны княжны повергала его снова в хаос сомнений, и в этом состояла в последнее вре-

мя его лихорадочная жизнь.

Одно обстоятельство в последнее время тоже очень встревожило князя. Оно почти совпало с окончанием траура княжны, но известие о нем дошло до Сергея Сергеевича уже после его объяснения с княжной и получения им вторичного обещания ее отдать ему свою руку. Это обстоятельство вновь всполошило в сердце Лугового тяжелое предчувствие кары за нарушение им завета предков — открытие рокового павильона в Луговом.

В конце августа Сергей Сергеевич получил от управляющего своим тамбовским имением подробное донесение о пожаре, истребившем господский дом в Луговом. Пожар будто бы произошел от удара молнии, и от дома остались лишь обуглившиеся стены. Кроме того, были попорчены цветник и часть парка. Донесение оканчивалось слезною просьбою старика Терентьича дозволить ему прибыть в Петербург с докладом, так как он должен сообщить его сиятельству одно великой важности дело, которое он не может доверить письму, могущему, не ровен час, попасть и в чужие руки.

«Что это может быть?» — недоумевал князь Сергей Сергеевич, так как он знал Терентьича за обстоятельного и умного старика, который не решился бы беспокоить своего барина из-за пустяков.

Кроме того, и сообщение о пожаре дома тоже страдало какой-то недосказанностью. И в этом случае видно было, что старик не доверял письму.

«Надо вызвать его и узнать!» — решил князь и в тот же день написал в этом смысле Терентьичу.

Прошло около месяца, и однажды утром Сергею Сергеевичу доложили о прибытии Терентьича. Князь приказал позвать его. Старик вошел в кабинет, истово перекрестился на икону и отвесил поясной поклон князю.

— Чего это тебе, старина, в Питер приспичило ехать? Или на старости лет захотел столицу посмотреть? — встретил его Сергей Сергеевич.

— Не волей приехал, неволя погнала! — серьезно ответил Терентьич.

— Как так?

— Отписал я вашему сиятельству о несча-

стии. Погорели мы.

— От чего же это случилось? — спросил князь, поняв, что старый слуга, говоря «погорели мы», подразумевал его, своего барина.

— Божеское попущение. И натерпелись мы страха в то время.

— Что же, разве народ был на работе? Некому было тушить пожар? — спросил князь.

— Какое, ваше сиятельство, некому? Почитай, все село около дома было. Отец Николай с крестом... Да ничего поделать не удалось... Не подпустил к дому-то — он... враг человеческий.

— Как же это было?

— В самую годовщину, ваше сиятельство, как по вашему приказу павильон-то был открыт, был так час шестой вечера. Небо было чисто... Вдруг над самым домом повисла черная туча, грянул гром, и молния, как стрела, в трубу ударила. Из дома повалил дым. Закричали: «Пожар!» Дворовые из людских выбежали, а в доме-то пламя уж во как бушует! А туча-то все растет, чернее делается. Окна потрескались, наружу пламя выбило. Тьма кру-

гом стала, как ночью. Сбежался народ, а к дому подойти боится. Пламя бушует, на деревья парка перекинуло, на людские, а в доме-то среди огня кто-то заливается, хохочет.

— Хохочет? — вздрогнул князь Сергей Сергеевич.

— Хохочет, ваше сиятельство, да так страшно, что у людей инда поджилки трясутся! Отца Николая позвали. Надел он эпитрахиль и с крестом пришел, да близко-то ему, батюшке, подойти нельзя, потому пламя. Он уже издали крестом осенять стал. Видимо, подействовало. Уходить «он» дальше стал, а все же издали хохочет, покатывается.

— И долго горело?

— Всю ночь, до рассвета народ стоял, подступиться нельзя было, а огонь так-таки и гуляет и по дому, и по деревьям.

— А павильон? — дрогнувшим голосом спросил князь.

— Около него деревья все как есть обуглились, а он почернел весь, как уголь, насквозь прокоптился. Я его запереть приказал, не чистивши.

— Ну, что же делать, старина. Божья воля!



Дом пока строить не надо. Там видно будет; может, я туда никогда и не поеду. А для дворовых надо выстроить людские. Где же их теперь разместили?

— По избам разошлись, устроились.

— Ты за этим и приехал или еще что есть? — спросил князь.

— Есть еще одно дело! Никита у нас тут объявился, беглый Никита, убивец.

— Княгини Полторацкой и Тани? Да? Что же, его схватили?

— Никак нет-с. Кончился он... умер.

— Где?

— У отца Николая, ваше сиятельство. Пришел, значит, к отцу Николаю неведомо какой странник, больной, исхудалый... Вы ведь, ваше сиятельство, знаете отца Николая; святой он человек, приютил, обогрел. Страннику все больше неможется. Через несколько дней стал он кончаться, да на духу отцу Николаю и открыл, что он и есть самый Никита, убивец княгини и княжны Полторацких.

— Какой княжны? Что ты путаешь? — возразил князь.

— Так точно, ваше сиятельство, княжны

Людмилы Васильевны. Он на духу сознался, что убил княжну.

— Какой вздор! Да ведь княжна жива!

— Никак нет-с. Это не княжна, что здесь, у вас в Питере, а Татьяна Берестова.

— Откуда ты это знаешь?

— От отца Николая. Советовался он со мной, как в этом случае поступить. Ну, и решили мы доложить по начальству. Там разберут.

— И отец Николай доложил?

— Со мной до города доехал, к архиерею, ему все как есть объявить хотел.

— Нет, все это вздор, соврал Никита!

— Пред смертью-то, ваше сиятельство, на духу никак этого быть не может. Кроме того, и другие, как узнали об этом в Зиновьеве, смеяться стали. Больно уж княжна-то после смерти своей маменьки изменилась. Нрава совсем другого стала. Та, да не та. А вот теперь, как Никита покаялся, все и объяснилось. Не княжна она, а Татьяна Берестова. Написать-то я вашему сиятельству обо всем этом не осмелился — не ровен час, кто прочтет письмо-то, а она, княжна-то эта, ваша невеста. Так не бы-

ло бы вам от того какого худа.

Князь, видимо, не слышал последних слов старика. Он сидел в глубокой задумчивости.

— Неужели? Не может быть! Это что-нибудь да не так! — произнес он вслух, как бы говоря сам с собою, и снова задумался.

— Когда же прикажете ехать обратно? — после некоторого молчания спросил Терентьич.

— Обратно... да... обратно... туда... — рассеянно сказал князь. — Да когда хочешь... Ты мне не нужен... Отдохни, посмотри город и поезжай. Главное, устрой дворовых. Насчет дома можно подождать, я отпишу.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

Терентьич снова отвесил поясной поклон и вышел.

Сергей Сергеевич остался один. Он долго не мог прийти в себя от полученного известия. Даже пожар дома, случившийся как раз в годовщину самовольного открытия им павильона-тюрьмы, стушевался пред этой исповедью Никиты. Девушка, которую он боготворил, которую мог бы, если бы она согласилась, уже месяц тому назад пред алтарем на-

звать своей женой, была самозванкой, быть может, даже сообщницей убийцы. Но, несмотря ни на что, Сергей Сергеевич, к ужасу своему, чувствовал, что он продолжал любить ее.

«Нет! Не может быть!» — снова разубеждал себя он, а между тем, вспоминая свои отношения к княжне Людмиле с первого свидания после трагической смерти ее матери и до сегодня, все более и более убеждался, что предсмертная исповедь «беглого Никиты» — не ложь.

Теперь все эти отношения между ним и княжной начали приобретать совершенно иную окраску. Девушка, любившая его так, как любила княжна, своею первою чистою любовью, так искренне, с наивным восторгом согласившаяся сделаться его женой, не могла бы так измениться под впечатлением обрушившегося на нее, хотя бы и огромного, несчастья. Напротив, она должна была бы почувствовать себя ближе к любимому человеку; ведь, став одинокой сиротой, она должна была бы в нем и в своем дяде искать опоры, защиты и помощи. Между тем Людмила Васильевна сразу переменяла и тон, и обращение

с ним, повергнув его в изумление и уныние.

Теперь все это объясняется. Княжна Полторацкая — не настоящая княжна, а Татьяна Берестова, ловкая самозванка, воспользовавшаяся своим необычайным сходством с покойной княжной Людмилой.

Чем больше думал князь, тем яснее становилось для него роковая истина этой догадки, и наконец она обратилась в полную уверенность.

«Что же делать, что предпринять?» — задумался князь.

Образ княжны Людмилы, такой, какова она есть, восставал пред ним. Он чувствовал, что теряет голову. Его самолюбие было удовлетворено полученным известием. Им пренебрегала и мучила его не та княжна, которой он сделал предложение, на брак с которой получил согласие ее матери, но наглая самозванка, дворовая девка, сообщница убийцы. Княжна, любившая его и горячо любимая им девушка, лежит в сырой земле, а чего же было ожидать от девушки, в жилах которой все же текла холопская кровь? Князь вспомнил, что именно о присутствии в Татьяне,

горничной княжны Людмилы, этой «холопской крови» он сказал покойной княжне. Почему же в своем ослеплении он сразу не узнал этого наглого обмана?

Сердце Сергея Сергеевича сжалось мучительной тоской. Ему суждено было при роковых условиях переживать смерть своей невесты; лучше было бы, если бы он тогда, в Зиновьеве, узнал об этом. Теперь, быть может, горечь утраты уже притупилась бы в его сердце. Ведь раз судьба решила отнять у него любимую, ее не существовало, то надо было примириться с таким решением судьбы. Теперь же было нечто иное, более ужасное. Его невеста умерла, а между тем она жила, он сегодня увидит ее в театре; но это не она — той нет, это — не княжна, Это — Татьяна Берестова. В течение целого года он любил эту обворожительную девушку. Положим, он принимал ее за другую, но... Князю, к ужасу его, начинало казаться, что он любит теперь именно эту.

Что же делать? Что же делать? Сохранить ее для себя, заставить всех признавать ее княжной Людмилой, его невестой, рассказать ей все, обвенчаться, прежде чем придет эта

роковая бумага из Тамбова? Просить милости императрицы! Ведь тогда дело затушат, чтобы не класть пятна на славный род и честное имя князей Луговых.

Эта мысль показалась князю Сергею Сергеевичу и соблазнительной, и чудовищной. Жить с сообщницей убийцы, жить с убийцей! Нет, это невозможно!

«Но ведь ты любишь ее, эту живую княжну, — зашептал князю внутренний голос, и в глубине души Луговой понимал, что это так. — Быть может, она и не знала о замысле Никитой убийстве и, лишь спасенная чудом, приняла на себя роль покойной княжны?»

— Но что же из этого? Ведь это — тоже преступление! — возразил он сам себе.

«А положение ее, тоже дочери князя Полторацкого, хотя и незаконной, в качестве дворовой девушки при своей сестре разве не могло извинить этот ее проступок? Она ведь только пользовалась своим правом!..»

— Нет, нет, это не то, не то, — возмутился князь сам против себя, — это иезуитское рассуждение. Она — преступница, несомненно!

Но ведь она так хороша, так обворожительна. Отступить от нее у меня не хватит сил. Надо спасти ее, поехать переговорить с нею, предупредить. Она поймет всю силу моей любви, когда увидит, что, зная все, я готов отдать ей свое имя и титул, и ими, как щитом, оградить ее от законного возмездия на земле. Но поможет ли это предупреждение? Быть может, бумага уже пришла!

Князь похолодел при этой мысли, однако, подумав, вспомнил, что бумага из Тамбова не может миновать руки Сергея Семеновича Зиновьева, помощника начальника судного приказа.

«Надо переговорить с ним сегодня же, — решил он. — Княжны я все равно не застаю. С нею я объяснюсь после. Надо предупредить Сергея Семеновича, чтобы он задержал бумагу. Ему тоже неприятна будет огласка этого дела. Ведь он сам представил эту девушку государыне как свою племянницу».

Сергей Сергеевич позвонил, приказал помощнику ему одеваться и вскоре уже вошел в служебный кабинет Зиновьева. Последний оказался, по счастью, не очень занятым и тотчас



принял Лугового.

Пережитое утро не могло не оставить следа на лице князя.

— Что с вами, князь? Вы больны или что-нибудь случилось? — с тревогой спросил Зиновьев, указывая гостю на стоявшее с другой стороны стола кресло.

Сергей Сергеевич в изнеможении опустился на него. Наставший момент объяснения с дядей княжны Людмилы совпал с ослаблением всех его физических и нравственных сил — последствием утренних дум и треволнений.

— Говорите, что случилось, князь? Княжна Людмила? — встревоженно спросил Зиновьев.

— Она... не княжна... — с трудом выговорил князь. — Я получил сегодня ужасное известие. Ко мне приехал мой староста из Лугового, которое находится, как вам известно, в близком соседстве от Зиновьева, и сообщил мне, что более месяца тому назад в Луговом у священника отца Николая умер Никита Берстов, разыскиваемый убийца княгини Вассы Семеновны и Тани, пред смертью этот Ники-

та на исповеди сознался отцу Николаю, что он убил княгиню и княжну, а в живых осталась...

— Татьяна?

Князь молча наклонил голову.

— Что же отец Николай?

— Он сообщил обо всем архиерею, а тот, вероятно, даже непременно, сообщит сюда. Я приехал побеседовать с вами и узнать, не получили ли вы такой бумаги.

— Нет, еще не получал, — глухо сказал Зиновьев.

— Что же нам делать?

— Наказать обманщицу, — твердо произнес Сергей Семенович.

Луговой сидел ошеломленный таким решением.

— Я должен сказать вам, — продолжал между тем Зиновьев, — что уже год тому назад слышал об этом, но не придавал особенного значения, хотя потом, видя поведение племянницы, не раз задумывался над вопросом, не справедлив ли этот слух. Между нею и княжной Людмилой, как, по крайней мере, я помню ее маленькой девочкой, нет ни малей-

шего нравственного сходства.

— Хотя физическое поразительно.

— Это-то и смущало меня. Но теперь, когда будет получена предсмертная исповедь убийцы, надо будет дать делу законный ход.

— Неужели нельзя... как-нибудь потушить это дело? — пониженным шепотом спросил Сергей Сергеевич.

— Но зачем это вам, князь?

— Я люблю ее, и... если бы можно было избежать огласки, я... женился бы на ней.

Зиновьев несколько времени молча глядел на молодого человека, который сидел бледный, с опущенной долу головой. Наступило томительное молчание.

Князь истолковал это молчание со стороны Зиновьева по-своему.

— Я возьму ее без приданого... Я богат; мне не нужно ни одной копейки из состояния княжны. Я готов вернуть то, что она прожила в этот год.

Зиновьев вспыхнул, а затем побледнел и воскликнул:

— Наследник после княжны — один я; но у меня нет детей, и я доволен тем, что имею...

— Простите, я не то хотел сказать... я так взволнован...

— Говоря откровенно, — продолжал между тем Сергей Семенович, — мне самому было бы приятнее, если бы это дело не обнаружилось... Княжны Людмилы не воскресишь, и если вы действительно решили обвенчаться с этой самозванкой, то пусть она скорее делается княгиней Луговой.

— А бумага?

— Я задержу ее, но потом вам надо будет обратиться к государыне. Вы скажете ей, что были введены в заблуждение, что не виноваты и что обнаружение дела падет позором на ваше имя. Государыня едва ли захочет сама начинать дело. Конечно, надо представить эту самозванку, как спасшуюся случайно от смерти и воспользовавшуюся своим сходством с сестрой по отцу.

— Ведь она — незаконная дочь князя Полторацкого?

— Вы знаете это?

— Да, знаю, — ответил князь. — Это, вероятно, так и есть. Не сообщница же она убийцы.

— Кто знает, князь? Надо все-таки подождать бумаги.

— Вы допускаете, что она знает об убийстве?

— Я не хочу предполагать это, иначе... иначе не мог бы допустить, чтобы убийца моей племянницы оставалась бы безнаказанной и чтобы вы женились на таком изверге...

— Нет, не может быть! — воскликнул Луговой. — Нет, она — не изверг, она не может быть им!

— Подождем разъяснения из Тамбова.

— Я хотел переговорить с нею об этом сам.

— Подождите, еще успеете. Дать или не дать ход этому делу — в наших руках.

— Хорошо, я последую вашему совету, — согласился князь и, простившись с Зиновьевым, вышел из кабинета.

Остаток этого дня он провел в каком-то тумане. Мысли одна другой несуразнее лезли ему в голову. То ему казалось, что княжна Людмила жива, что убили действительно Татьяну Берестову, что все то, что он пережил сегодня, — только тяжелый, мучительный сон. То живущая здесь княжна Полторацкая

представлялась ему действительно убийцей своей сестры и ее матери, с окровавленными руками, с искаженным от злобы лицом. Она протягивала их к нему для объятий, и — странное дело! — он, несмотря ни на что, стремился в эти объятья.

В таких тяжелых грезах наяву провел Луговой несколько часов в своем кабинете, пока наконец не наступил час отъезда в театр.

В театре, если припомнит читатель из начала романа, у него произошло столкновение с графом Свиридовым и объяснение с бывшим другом в кабинете Ивана Ивановича Шувалова, в присутствии последнего.

Возмутительное поведение княжны Полторацкой по отношению к нему окончательно отрезвило князя. Любовь, как показалось ему, бесследно исчезла из его сердца.

«Пусть совершится земное правосудие!» — мысленно решил он.

### XIII РОКОВАЯ БУМАГА

Между тем княжна Людмила была очень обеспокоена, напрасно прождав графа Свиридова в ночь, назначенную ему для сви-

дания. Ее несколько развлек визит Свенторжецкого, которому она даже отдала второй ключ от калитки, вполне уверенная, что Свиридов не решится явиться не в назначенное время, не переговорив с нею. Кроме того, она надеялась, что он явится сегодня же и вернет ей ключ, и успокаивала себя мыслью о том, что сумеет урвать время, чтобы потребовать от него объяснения причин его неявки и, смотря по уважительности этих причин, накажет его более или менее долгим изгнанием.

Посетители приходили за посетителями. При каждом докладе лакея о новых визитах княжна надеялась услышать фамилию Свиридова, но ее не произносилось.

Не явился в ее приемные часы и князь Луговой, редко, особенно в последнее время, пропускавший случай быть у нее, и это совпадение стало не на шутку тревожить княжну. Она слышала еще вчера в театре о каком-то столкновении между бывшими друзьями, но, видимо, в свете не придавали этому значения, по крайней мере, ни один из сегодняшних посетителей и даже посетительниц

княжны не обмолвился о вчерашнем эпизоде в театре.

Наконец все разъехались, и княжна осталась одна. Она полулегла на кушетку с книжкой в руках, но ей не читалось. Проведенная почти без сна ночь и нервное состояние дня дали себя знать, и княжна задремала.

Однако ее сон был тревожен и томителен. Пред нею восстали все страшные моменты рокового дня убийства Никитой княжны и княгини Полторацких. Ей ясно представились проходная комната пред спальней княжны и страшная сцена убийства и насилия; стон княжны звучал в ее ушах и вызывал капли холодного пота на ее лбу. Княжна вздрагивала во сне, и на ее лице было написано невыносимое страдание.

Далее вырисовывалась другая картина. Труп княжны Людмилы в простом дощатом гробу с грошовым позументом, стоявшем в девичьей. Скорбное пение во время панихиды и этот жених мертвой девушки, стоявший рядом с нею, с живой, которую он считает своей невестой и на которую глядит грустным, умоляющим, но вместе с тем и недоуме-



вающим взглядом. Затем ей вспомнился день похорон княгини и княжны Полторацких. Она сама идет за гробом княгини, а там, в хвосте процессии, несут останки княжны Людмилы. Вот ее скромный гроб опускают в могилу, а затем на последней водружают деревянный крест.

Безумная! Ей показалось тогда, что все похоронено под этой земляной насыпью, под этим крестом с надписью: «Здесь лежит тело Татьяны Берестовой». Увы! Теперь бодрствующий ум в спящем теле ясно видел, что кровь убитой вопиет к небу и что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.

Припомнились княжне и подозрительные взгляды старых слуг в Зиновьеве. Она уехала в Петербург от этих взглядов, но здесь явился Никита, а за ним — Осип Лысенко, преобразившийся в графа Свенторжецкого! Один — сообщник, другой — случайно узнавший о ее преступлении. Она сумела одного устранить с дороги, а другого сделать бессильным. Но навсегда ли она добыла этим себе спокойствие? Этот вопрос тяжелым кошмаром висел над спящей молодой девушкой.

— Возмездие близко! — послышался ей голос, властный, суровый, похожий на голос покойной княгини Полторацкой, и она проснулась.

Пред нею стояла ее горничная.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — растерянно повторяла она.

— Что, что тебе? — вскочила княжна и села на кушетку, не сознавая, где она и что с нею, причем ей даже показалось, что все открыто и что ее пришли брать, как сообщницу убийцы княгини и княжны Полторацких.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — вывела ее из дремотного состояния горничная, — сколько времени я уже стою над вами, а вы, ваше сиятельство, поживаете, да так страшно!.. Ведь уже за полночь.

— Что ты? А я и не заметила, как заснула за книгой.

— Видно, сон вам нехороший приснился, ваше сиятельство. Бледная такая вы лежали, дышали тяжело, все вздрагивали.

— Да, мне что-то снилось, — окончательно оправилась княжна.

— Что, ваше сиятельство? Скажите, я умею

сны разгадывать.

— Да я теперь и не помню, что мне пригрезилось, заспала, верно.

— Экая напасть какая! — наивно заметила Агаша.

— Однако пора спать по-настоящему, иди раздевать меня! — сказала княжна Людмила Васильевна и направилась в спальню в сопровождении горничной.

Долго не могла она заснуть, однако под утро впала в крепкий, безгрезный сон. Проснулась она поздно, но сон укрепил и оживил ее. Она стала прежней княжной Людмилой, весело и бодро смотрящей в будущее.

Между тем на это будущее надвигались действительно темные тучи. В это же утро Зиновьев, вскрывая почту, увидел секретный пакет, заключающий в себе подробное донесение тамбовского наместника о деле по убийству княгини Вассы Семеновны и княжны Людмилы Васильевны Полторацких.

Наместник подробно излагал в нем сообщение местного архиерея о предсмертной исповеди «беглого Никиты», сознавшегося в убийстве княжны и княгини Полторацких и

оговорившего в соучастии свою дочь Татьяну Берестову, имевшую разительное сходство с покойной. Умиравший убийца рассказал все подробности убийства, равно как о своем сознании пред графом Свенторжецким и получении от своей сообщницы тысячи рублей за уход из Петербурга. Оставшиеся деньги, в количестве девятисот семидесяти рублей, умирающий Никита передал отцу Николаю для употребления на богоугодное дело, но последний при рапорте представил их архиерею. Исповедь умирающего дышала такой искренней правдивостью, что не только в «самозванстве», но даже в виновности Татьяны Берестовой, как соучастницы в убийстве, не оставалось ни малейшего сомнения.

В приведенном целиком рапорте отец Николай указывал и мотивы, приведшие Никиту к раскаянию. По словам покойного, он, отправившись из Петербурга, сильно пьянствовал по дороге и шел, не обращая внимания, куда идет. Каково же было его удивление, когда он очутился вблизи Зиновьева! Он не решился идти туда и зашел в соседний лес. Здесь он вдруг заснул и имел сонное видение,

окончательно переродившее его нравственно, но разбившее физически. К нему явились убитые им княгиня и княжна Полторацкие, и первая властно приказала ему идти к отцу Николаю в Луговое и покаяться во всем. «Тебе все равно жить недолго, ты не проживешь и недели!» — сказала ему княгиня. Никита проснулся весь в холодном поту, а когда захотел приподняться, почувствовал такую страшную слабость и ломоту во всем теле, что еле живой доплелся до дома отца Николая. Предчувствие близкой, неизбежной смерти не оставляло его с момента пробуждения в лесу. Несмотря на уход за ним со стороны отца Николая и его стряпки, больной с каждым днем все слабел и слабел и наконец попросил отца Николая о последнем напутствии. На этой же предсмертной исповеди умирающий и рассказал все своему духовнику.

Сергей Семенович перечитал роковую бумагу и снова вопрос: «Что делать?» — возник в его уме.

«Надо доложить государыне! — решил он после довольно долгого размышления. — Но

прежде сообщу князю Сергею Сергеевичу!» — мысленно добавил он.

Зиновьев имел право личного доклада государыне по делам неполитическим особенной важности.

Такие дела случались редко, а потому редко и приходилось ему докладывать ее величеству.

— Надо заехать к Сергею Сергеевичу, а оттуда во дворец! — решил Зиновьев и уже встал, чтобы выйти, как вдруг остановился.

Он вспомнил, что сегодня утром его жена, Елизавета Ивановна, принесла ему несколько яблок из заготовленных на зиму, и он съел одно из них, поэтому быть сегодня с докладом у императрицы было бы безумием.

В числе особенных странностей Елизаветы Петровны было то, что она терпеть не могла яблок. Мало того, что она сама никогда не ела их, но до того не любила яблочного запаха, что узнавала по чутью, кто ел их недавно, и сердилась на того, от кого пахло ими. От яблок ей делалось дурно, а потому приближенные императрицы остерегались даже накануне того дня, когда им следовало явиться ко

двору, дотрагиваться до яблок. Таким образом, и Зиновьеву пришлось отложить доклад до следующего дня.

— Утро вечера мудренее, — сказал он себе в утешение, оставаясь в своем служебном кабинете.

После обеда он заехал к князю Луговому; он застал последнего в мрачном расположении духа, но прямо заявил ему:

— Бумага получена!

— Получена? — равнодушно повторил князь Луговой.

— Да, — удивленно посмотрел на него Сергей Семенович, — и содержание ее таково, что необходимо доложить государыне...

— Никита оговорил Татьяну Берестову в сообщничестве?

— Он рассказал все во всех подробностях, и, главное, нельзя усомниться в его искренности. Кстати, бумага со мною, прочтите сами.

Зиновьев вынул из кармана бумагу и подал князю. Тот стал внимательно читать ее.

От устремленного на него взгляда Сергея Семеновича не укрылось то обстоятельство, что ни один мускул не дрогнул на лице князя

при этом чтении, и он ломал голову над этим.

— Я так и думал! — совершенно спокойно, к довершению удивления Сергея Семеновича, сказал князь, окончив чтение и передавая Зиновьеву обратно бумагу.

— Что вы сказали? Вы так и думали?

— Вы удивляетесь? Я вчера убедился в таких обстоятельствах, которые не оставили во мне ни малейшего сомнения в глубокой испорченности этой девушки, принявшей на себя личину вашей племянницы.

— Вот как! Какие же это обстоятельства?

— Увольте меня, дорогой Сергей Семенович, рассказывать вам все это теперь. Мне и так тяжело!

— Помилуйте, князь, конечно не надо.

— Когда-нибудь, когда все это дело кончится, я расскажу вам это...

— Значит, то, о чем мы вчера говорили... — начал Зиновьев.

— Забудьте об этом... Я ей не судья, но и не ее защитник. Между мною и этой девушкой все кончено... Если вы хотите спасти ее, спасайте, я же не хочу ни губить ее, ни спасать; ее будущность для меня безразлична... Моя



невеста умерла, я буду оплакивать ее всю свою жизнь. Эта девушка — ее убийца, но Бог ей судья... Мстить за себя не стала бы и покойная, я тоже не буду мстить ее убийце... Остальное — ваше дело.

— Я доложу государыне завтра же и завтра же отдам приказ о ее аресте. Я не могу оставить безнаказанной убийцу своей сестры и племянницы, — горячо заявил Сергей Семенович Зиновьев.

— Пусть свершится правосудие, — как бы про себя сказал князь.

Сергей Семенович стал прощаться с ним. Луговой проводил его до передней и затем, вернувшись к себе в кабинет, потребовал трубку. Долго ходил он взад и вперед по комнате.

Ни одной мысли, казалось, не было у него в голове. Однако это именно только казалось, потому что это происходит от наплыва самых разнородных мыслей, которые мгновенно мелькают в голове, производя впечатление отсутствия мысли, как быстрая перемена всех цветов радуги производит белый цвет, представляющий собою как бы отсутствие всякого

цвета.

В таком состоянии пробыл князь Луговой до поздней ночи, когда за ним заехал граф Петр Игнатьевич Свиридов, чтобы идти с последним объяснением к княжне Полторацкой.

#### XIV В ОБЪЯТЯХ ТРУПА

**М**ежду тем княжна Людмила очень оживленно провела свой день. Она сделала довольно много визитов с затаенною мыслью узнать что-нибудь о происшедшем столкновении между графом Свиридовым и князем Луговым. Ее все еще беспокоило странное поведение первого. Почему он не явился на назначенное ему свидание и не возвратил ключа? Что могло это значить? Однако ни в одном светском доме она не получила ответа на этот вопрос. Видимо, не случилось ничего такого, чем могли быть заинтересованы «великосветские кумушки» того времени. Это обстоятельство отчасти успокаивало княжну Людмилу, а отчасти усиливало ее беспокойство. С одной стороны, она заключала, что не случилось ничего серьезного, а с другой —

что, быть может, при ней, как причине разывравшейся истории, умышленно умалчивают.

С такими лихорадочными мыслями возвратилась домой княжна Людмила Васильевна. Войдя в свой будуар, она на столике около кушетки увидела изумительно роскошный букет белых роз. Оказалось, что его принесли, пока ее не было дома.

Княжна залюбовалась им и воскликнула:

— Боже мой, какая прелесть!.. Положительно интересно, кто награждает меня такими роскошными цветами?

Этот букет несколько отвлек думы княжны от Лугового и Свиридова, или, лучше сказать, дал другое направление этим думам. Дело в том, что она окончательно решила, что именно кто-нибудь из них присылает ей уже более недели ежедневно эту массу цветов. Предположение о том, что это делает граф Свенторжецкий, исчезло. Он слишком хорошо сумел сыграть роль неповинного в деле цветочных подношений человека. Даже тогда, когда Людмила, глядя на него в упор, весьма прозрачно высказала ему свое предположение, он нимало не смутился и, казалось,

даже не догадывался, о чем она говорит.

Княжна не могла предполагать за ним такие актерские способности. Она не знала, что эта присылка цветов — лишь пролог к хладнокровно и всесторонне задуманному преступлению, а потому для графа было очень важно, чтобы княжна не догадалась, от кого присылаются они. Он подготовился искусно разогнать подозрение княжны о том, что это делает он, и достиг цели. Княжна вычеркнула его из списка поклонников, могущих баловать ее так таинственно; в списке остались только двое: граф Свиридов и князь Луговой.

«Если действительно присылает цветы кто-нибудь из них, а больше присылать никому, — думала княжна, — значит, отношения одного из них ко мне не изменились, а следовательно, мой страх обнаружения двойной игры, затеянной с этими двумя поклонниками, совершенно неоснователен».

Она с удовольствием вдыхала в себя аромат присланного букета.

Внезапно ей показалось, что розы пахнут как-то особенно сильно, и ей это представилось странным. Как любительница и знаток

цветов, она знала, что белые розы имеют тонкий, нежный запах.

«Вероятно, это какой-нибудь особый сорт!..» — мысленно решила она, а так как аромат был восхитителен, то невольно до самого вечера, отрываясь сперва от какого-то затейливого вышиванья, а затем от чтения, несколько раз наклонялась над букетом и подолгу вдыхала в себя его чудный запах.

Время шло. Чем ближе подходил час свиданья с графом Свенторжецким, тем княжна чувствовала все большее и большее оживление, странно смешанное с нетерпеливым ожиданием. Никогда еще она не ждала так Свенторжецкого, никогда не считала минуты, оставшиеся до полуночи; когда же полночь пробила, она стала прислушиваться с лихорадочным беспокойством к мельчайшим звукам среди окружавшей ее тишины.

Она чувствовала, как горели ее щеки, как кровь била в виски, и, подойдя к громадному зеркалу, сама невольно залюбовалась на себя. Никогда она не была так хороша, как сегодня. С пылающими щеками, с мечущими положительно искры страсти глазами, она имела вид

вакханки настоящей демонической красоты.

«Он сойдет с ума, увидев меня сегодня!» — мелькнула в ее голове злорадная мысль.

Но странное дело! Девушка почувствовала, что это злорадство смешано у нее в уме и сердце с чувством торжества победы над любимым человеком, победы, которую как будто она ждала долго и напрасно, и только теперь убедилась, что момент ее близок.

Это поразило княжну Людмилу Васильевну.

Разве она любит Свенторжецкого? Нет, она не могла ответить на этот вопрос утвердительно. Он нравится ей, но, припомнив сцену с ним, когда он бросил ей в лицо обвинение в самозванстве и сообщничестве в убийстве ее господ и хотел воспользоваться добытой им тайной для ее порабощения, она должна была сознаться себе, что ничего, кроме ненависти, не чувствует к нему в своем сердце. Если она приблизила его к себе, если принимает его с глазу на глаз, то единственно для того, чтобы этим способом мстить ему, чтобы насладиться его мучениями.

И теперь, при первом взгляде на себя в зер-

кало, прежде всего у нее явилась злобная мысль о том, какие мучения будет испытывать он эти полтора часа, которые она обыкновенно жертвует ему на свиданья, при близости к такой красавице, как она, и при горьком сознании, что к таким свиданиям всецело применима русская пословица: «Близок локоть, да не укусишь».

Но отчего же так томительно билось ее сердце, отчего сегодня потребность свидания с Свенторжецким говорила во всем ее существе как-то особенно властно? Почему она дрожала при мысли: «А вдруг он не придет?» Почему, наконец, эта мысль появилась у нее?

Прежде этого никогда не бывало. Она была совершенно равнодушна к приходу Свенторжецкого, была так твердо уверена, что он придет, а теперь... теперь она боялась, что он не придет. Это возмущало; а между тем она была бессильна побороть в себе это томившее ее чувство опасения.

Какое-то странное желание иметь около себя другое подобное ей существо охватывало молодую девушку.

«Позвать Агашу! — мелькнуло в уме, и ру-

ка уже протянулась к сонетке, но княжна тотчас бессильно опустила ее. — Нет, это не то! Тем более что он может прийти каждую минуту».

Она взглянула на стоявшие на камине английские часы в перламутровом футляре с бронзовой отделкой; они показывали десять минут первого.

Но вот до чуткого уха княжны долетел чуть слышный скрип отворяемой калитки.

«Он пришел!» — пронеслось в уме, и сердце так томительно сжалось, что она должна была вскочить с кушетки, а затем невольно наклонилась к стоявшему на столике букету и еще несколько раз жадно вдохнула в себя его чудесный аромат.

Это, как показалось ей, успокоило ее.

Княжна стояла возле столика с букетом и глядела на дверь, в которую должен был войти граф. В коридоре уже слышались его осторожные, мягкие шаги, и они отзывались как-то непонятно чувствительно в сердце молодой девушки.

Дверь отворилась. Граф Свенторжецкий появился на ее пороге.



— Однако вы заставляете себя ждать, граф! — встретила его деланно спокойным упреком княжна, но в ее голосе слышались сдавленные ноты, указывавшие на с трудом сдерживаемое волнение.

— Извините, княжна, я действительно несколько запоздал... Меня задержала обширная переписка, вызванная моим отъездом.

— Вы будете наказаны тем, что я прогоню вас раньше, чем обыкновенно, — сказала Людмила Васильевна, деланно улыбаясь.

Граф смотрел на нее пытливым взглядом, и от него не укрылись ее с трудом сдерживаемое волнение, ее возбужденное состояние, придававшее соблазнительный блеск ее красоте. Чуть заметная улыбка скользнула по губам графа, и он подумал:

«Подействовало, молодец патер Вацлав!»

Между тем Людмила Васильевна села на кушетку и молча указала графу на место рядом с собою. Он сел и произнес:

— Нет, княжна, вы не будете так жестоки сегодня, чтобы прогнать меня скоро! Я, напротив, хотел именно просить вас продлить это свидание пред долгой разлукой. Оно будет

для меня единственным светлым воспоминанием о Петербурге, когда я буду вдали от вас.

— Уж и единственным! — уронила княжна.

Странное дело! Прежде она тотчас остановила бы Свенторжецкого при начале этого полупризнания, а теперь чувствовала, что эти слова, в тон которых граф сумел вложить столько страсти, чудной мелодией звучали в ее ушах.

— Не правда ли, княжна, вы доставите мне эту радость? — продолжал граф, овладевая ее рукою.

Она не отнимала у него руки, ей было приятно это прикосновение. Она чувствовала сладкую истому.

Граф придвинулся к княжне и наклонился к ее лицу; его горячее дыхание обожгло ее, но она не двинулась с места, как бы решившись всецело отдаться обаянию чудесных минут.

— Я люблю вас, верьте мне, люблю вас безумно, страстно, — раздавался в ее ушах его страстный шепот.

Что-то властное потянуло княжну к графу. Она инстинктивно прижалась к его груди и

склонила свою голову к нему на плечо.

— Любишь, конечно, не мучь.

Граф сильной рукой взял ее за талию, приподнял и посадил ее к себе на колени. Княжна повиновалась как-то автоматически, а между тем ее дивные глаза метали пламя бушующей в ней страсти. Она жадно слушала слова любви и отвечала на них с какой-то неестественной, безумной лаской; она была в совершенной власти графа.

Вдруг в этот момент Свенторжецкому почудились шаги по коридору, но шаги удалявшиеся. Видимо, сам увлеченный вызванной им, хотя и искусственно, страстью девушки, он не слышал, когда эти шаги приблизились к двери будуара.

Шаги смолкли, а она продолжала обвивать его шею горячими руками. Ее пышущее огнем дыхание обдавало его и подымало все большую и большую бурю страсти в его сердце. Они как бы замерли в объятьях друг друга. Их губы сливались в страстном, крепком, долгом поцелуе.

Вдруг княжна Людмила Васильевна затрепетала с головы до ног и как-то неестественно

вытянулась. Ее руки продолжали обвивать шею графа, но он уже не чувствовал их чудной теплоты. Голова ее откинулась назад. На щеках, за минуту пред тем пылавших, появилась мертвенная бледность.

Граф еще продолжал сжимать ее в своих объятиях и со страстью целовать ее полумертвые губы... но... вдруг почувствовал, что девушка холодеет и становится как-то неестественно тяжела. Он вздрогнул, поглядел ей в глаза и, в свою очередь, стал бледен как полотно: он понял, что в его объятиях труп. Княжна умерла.

В первые минуты Свенторжецкий окаменел от охватившего его ужаса и только через несколько времени сумел возвратить себе самообладание. Он с трудом разжал обвивавшие его шею уже похолодевшие руки княжны, бережно уложил ее на кушетку, положил ей на грудь букет из белых роз и, оборвав цветы, стоявшие в букетах и других вазах и корзинах, усыпал ее ими. Он делал это по заранее составленному им плану, так как приготовился встретить смерть девушки, но несколько позже, когда она будет принадле-

жать ему. Судьбе было угодно, чтобы она умерла за несколько минут ранее, и это произошло оттого, что граф слишком увеличил дозу чудодейственного снадобья патера Вацлава.

Он имел присутствие духа вынуть из кармана записку со словами: «Измена — смерть любви», вложил ее в уже похолодевшую правую руку девушки и тогда только вышел, бросив на лежавшую последний взгляд, выражавший не сожаление, а лишь неудовлетворенное плотское чувство. Затем он осторожно затворил дверь, ведущую из передней в сад, тщательно запер калитку и забросил в чащу кустарника ключ.

Все это граф проделал машинально, как бы в тумане. Но напряжение нравственных и физических сил имеет свой конец. Едва он сделал несколько шагов по берегу Фонтанки, как вдруг ноги у него подкосились, он упал в сугроб снега и судорожно зарыдал.

Свенторжецкий не помнил, сколько времени пролежал ничком на снегу. Он пришел в себя лишь у себя в кабинете.

Все только что происшедшее и перечув-

ствованное им восставало в его памяти, и холодный пот выступил у него на лбу, а волосы поднялись дыбом. Он только теперь понял весь ужас совершенного им преступления.

Роковая страсть, толкавшая его на это преступление, исчезла. Объятыя холодеющего трупа «самозванки-княжны» окончательно убили в нем всякие плотские желания, и его ум, освободившийся от гнета страсти, стал ясно сознавать все совершенное им, и он почувствовал сам к себе страшное чувство — чувство презрения.

Все представлялось графу теперь в совершенно ином свете. С чувством необычайной гадливости вспоминалась ему сцена между ним и покойной теперь молодой девушкой, когда он с ее тайной в руках думал сделать ее властелином. У него уже не было, как прежде, против нее злобы за то смешное положение, в которое он был поставлен ею. Он теперь уже считал это только ужасным возмездием за ту гнусную роль, которую он хотел сыграть пред женщиной. Он отомстил ей, отняв у нее один из самых драгоценных даров Бога человеку — ее жизнь. Провидение не

дало ему возможности совершить над отуманенной адским снадобьем девушкой еще более гнусное преступление. Она предстала пред Всевышним Судьей неоскверненной насилием, осталась чистой и непорочной в этом смысле, а вся грязь и позор остались только на нем, графе Свенторжецком, — тоже самозванце графе.

Это самозванство теперь показалось ему особенно гнусным, преступным. Образ еврея — любовника его матери, которому он был обязан и титулом, и состоянием, вырисовывался пред ним во всей своей отталкивающей непривлекательности. Деньги, при помощи которых он подготовил совершенное им преступление, были проклятыми деньгами, добытыми нечестным путем ростовщичества, грабежа.

То чувство самосохранения, которое придало ему на первых порах силы обставить совершенное им преступление так, чтобы смерть княжны Людмилы Васильевны имела вид самоубийства, теперь окончательно исчезло. Ему даже показалось это смешным малодушием. Зачем ему скрывать совершенное

им дело? Разве он может скрыть его от самого себя? А между тем наказание преступника главным образом и состоит в этом суде над самим собою.

Никакие придуманные людьми пытки и наказания не могут сравниться с муками, которые доставляет преступнику сознание его вины. Никуда он не уйдет от этого сознания. Чем искуснее будет скрыто преступление, тем тяжелее будет жить под его гнетом.

Такое же состояние испытывал и граф Свенторжецкий, Осип Лысенко. Он теперь уже ясно и сознательно понимал, что жить с глазу на глаз с совершенным им преступлением он не будет в состоянии, и его охватывало непреодолимое, страстное желание стряхнуть с себя тяжесть тяготеющего над ним преступления, раскаяться, сознаться, пред кем бы то ни было, каковы бы ни были последствия такого сознания.

В лихорадочном волнении провел Свенторжецкий всю ночь без сна, переживая это томительно-тягостное состояние духа, и наконец поздним утром в его уме созрело решение упасть к ногам императрицы и сознаться



во всем.

Был уже двенадцатый час дня, когда он позвонил и приказал явившемуся на звонок Якову подать ему полную парадную форму. Сметливый лакей удивленно посмотрел на бледного как смерть барина, выслушал приказание и удалился исполнять его, не проронив ни слова, не сделав даже жеста изумления.

Граф не торопился, так как знал, что императрица встает поздно и, как говорили про нее, превращает день в ночь.

«Быть может, такой же образ жизни княжны Людмилы Васильевны Полторацкой заслуживал вследствие этого одобрение ее величества».

Одевшись, не торопясь граф сел в карету и велел везти себя во дворец.

Императрица, в бытность свою в Петербурге, жила большею частью в своем любимом дворце у Зеленого моста (теперь Полицейский). Свенторжецкий приехал во дворец, когда государыня только что окончила свой утренний туалет и кушала кофе, и попросил доложить о том, что он явился по секретному,

весьма важному делу.

Императрица приняла его в будуаре, где никого не было.

— Что скажете, граф? — встретила она его, милостиво протягивая ему руку.

Он припал к руке императрицы долгим, почтительным поцелуем и вдруг опустился на колени.

— Что такое, граф? — невольно воскликнула Елизавета Петровна.

В будуаре никого не было.

Дрожащим от волнения голосом начал граф свою исповедь. Он подробно рассказал, кто он такой, свой побег от отца, принятие, по воле своей матери, титула графа, не умолчал даже об источнике их средств — старом еврее. Яркими красками описал он свой восторг по поводу встречи с не узнавшей его, но тотчас же узнанной им подругой его детских игр, княжною Людмилой Васильевной Полторацкой, открытие поразившего его ее самозванства, беседу с убийцей княгини и княжны Полторацких — Никитой, сцену с Татьяной Берестовой, смешное положение, в которое последняя поставила его, мучения, которые

переносил он от ее кокетства, и решение обратиться к патеру Вацлаву за его чудодейственным средством. Наконец, он с рыданием описал свое последнее свидание, когда молодая девушка умерла в его объятьях.

— Я предаю, ваше величество, как ваш верноподданный, свою голову в вашу власть. Велите казнить или помилуйте!

Он стоял на коленях, низко опустив голову.

Императрица сидела несколько времени в глубокой задумчивости.

— Вы знали, что это зелье смертельно? — спросила она после продолжительной паузы.

— Знал, ваше величество, хотя патер Вацлав сказал, что если употребить небольшую дозу, то у него есть средство восстановить силы.

— А вы употребили сильную дозу?

— Меня к этому побудило признание самой жертвы что она с малолетства привыкла к сильному запаху цветов. Кроме того, сознаюсь, что я действовал под влиянием страсти; я был как в тумане и только сегодня ночью окончательно пришел в себя и понял весь

ужас совершенного мною преступления.

Государыня снова помолчала, а затем произнесла:

— Сын моего доблестного слуги, обратившийся к моему личному суду, не может быть предан суду обыкновенному. Я — ваш судья, и я, в свою очередь, отдаю вас на суд Божий. Вы сегодня же отправитесь в действующую армию и дадите мне слово русского дворянина, что не будете избегать опасности. Своей храбростью вы заслужите прощение отца и его признание вас своим сыном; если же Бог пошлет вам смерть, то это будет вашею казнью. Княжна Людмила Васильевна Полторацкая никогда не была Татьяной Берестовой; она покончила с собою самоубийством в припадке безумия. Вот мое решение. Встаньте, Осип Иванович Лысенко!

Императрица снова протянула руку молодому человеку, а он припал к этой руке, обливая ее горячими слезами.

— Идите! Приказ о командировке в распоряжение главнокомандующего действующей армией будет изготовлен через два часа.

Молодой человек встал и, сделав импера-

трице низкий, поясной поклон, вышел.

Вслед за ним государыне доложили о прибытии с докладом Сергея Семеновича Зиновьева. Государыня внимательно выслушала доклад письма тамбовского наместника, и Зиновьева поразило, что она задумчиво-печально смотрела на него, когда он кончил, и молчала.

— Я ходатайствую пред вами, ваше величество, об аресте самозванки и убийцы, — осмелился он заговорить первый.

— Слишком поздно! — заметила императрица.

Сергей Семенович посмотрел на нее с почтительным удивлением.

— Как же прикажете, ваше величество? — спросил он.

— Я говорю вам, что слишком поздно. Она уже ушла от нашего суда. Над нею совершился Божий суд. Ваша племянница, княжна Людмила Васильевна Полторацкая, сегодня ночью покончила с собою самоубийством в припадке безумия.

Пораженный, Зиновьев ничего не понял. Он смотрел на государыню с немym удивле-

нием.

— Вы разве не получали донесения о смерти княжны? — спросила императрица, заметив, как отразилось на Зиновьеве ее сообщение.

— Никак нет, ваше величество, — мог только выговорить он.

— Вы получите его и должны при этом знать, что несчастная молодая девушка сама покончила с собой. Ее следует похоронить соответственно ее званию. Тамбовскому наместнику можете сообщить, что оговор убийцы не подтвердился. Вы меня поняли?

— Понял, ваше величество.

— Распорядитесь при этом выселить немедленно из России за границу живущего на Васильевском острове знахаря, именующего себя «патером Вацлавом» и известного в народе под прозвищем «чародея».

Государыня подала руку Сергею Семеновичу, дав этим знать, что аудиенция окончилась. Он почтительно поцеловал эту руку и вышел.

Императрица Елизавета Петровна просидела после ухода Зиновьева несколько минут

в глубокой задумчивости, затем позвонила и приказала вошедшей камер-фрау пригласить к себе Ивана Ивановича Шувалова. Через несколько минут находившийся во дворце любимец предстал пред государыней.

Она вкратце рассказала ему исповедь Осипа Лысенко и доклад Зиновьева, а также высказала и свое решение по этому делу.

— Будь друг, распорядись в этом смысле, — заключила она.

— Слушаю, ваше величество, — ответил любимец и тотчас отправился отдавать распоряжения.

Эти распоряжения умили пыл полицейского чиновника, уже начавшего допросом прислуги покойной княжны розыски по поводу трагической смерти фрейлины государыни.

Княжна Людмила Васильевна Полторацкая была похоронена по христианскому обряду, и сама государыня присутствовала на похоронах, на которые собрался весь велико-светский Петербург.

Не было только трех его блестящих представителей: графа Свенторжецкого, графа

Свиридова и князя Лугового.

Граф Иосиф Янович Свенторжецкий, в несколько часов ставший Осипом Ивановичем Лысенко, уже ехал к границе с твердым решением исполнить волю монархини — или беззаветной храбростью добыть себе прощение отца и милосердие Бога, или же героической славною смертью искупить свою вину — результат своего необузданного характера и неумения управлять своими страстями. Все более и более удаляясь от Петербурга, города, где он пережил столько тяжелых минут и ужасных тревожений, он даже не думал о возврате на берега Невы. Но те же самые лошади, которые уносили его с места, полного для него роковыми воспоминаниями, с каждым часом приближали его к другому, еще более страшному для него месту, где находился его отец.

Во время кратковременного пребывания Ивана Осиповича в Петербурге его сын под именем графа Свенторжецкого раза два встречался с ним во дворце, но удачно избегал представления, хотя до сих пор не мог забыть взгляд, полный презрительного сожаления.



ния, которым однажды обвел его этот заслуженный, почитаемый всеми, начиная с императрицы и кончая последним солдатом, генерал. И теперь он ехал, по воле государыни, добывать ее и его прощение. Возможно ли это?

«Вернее смерть будет моим уделом», — мелькали в уме Осипа Ивановича грустные мысли, а переменные, сытые и сильные почтовые лошади неслись во весь опор, и ямщики, в чаянии получения щедрой подачки от молодого офицера, весело подбадривали их.

Повозка то ныряла в ухабы, то неслась, скользя по ровной снежной дороге. Только колокольчик под дугой заунывно звучал в унисон с печальными мыслями отданного на «Божий суд» убийцы.

В это же время князь Сергей Сергеевич Луговой лежал больной в нервной горячке. Он не узнавал никого и бредил княжной Людмилой, своими мстительными предками, грозящими ему возмездием за нарушение их завета, первым поцелуем, криком совы и убийцей Татьяной.

При постели больного безотлучно находился его друг, граф Петр Игнатьевич Свири-

дов. Его прежняя любовь к князю с новой силой вспыхнула в сердце после происшествия в театре и рокового открытия в следующую ночь в доме княжны Полторацкой.

## XV

### «СУМАСШЕДШИЙ КНЯЗЬ»

Время летело.

Трагическая смерть княжны Полторацкой, необычайная по своей романтической обстановке, как все на этом свете, поддалась всепоглощающему времени и была забыта. Новые злобы дня — внешние и внутренние — всплыли на поверхность жизненного моря столицы.

К числу первых принадлежали известия с театра войны в Пруссии. Генерала Фермора, назначенного после удаления Апраксина, сменил добрый, простой, неученый, но умный старичок Салтыков, которого любили солдаты и называли «курочкой». Донеслось до Петербурга известие о поражении, нанесенном генералу Фермору самим Фридрихом II у Цорндорфа, но донеслись также и слова, произнесенные прусским королем — этим военным гением тогдашнего времени — по ад-

ресу русских солдат: «Их мало убить, нужно еще свалить!» Салтыков отплатил за цорндорфское поражение и так разгромил Фридриха в 1759 году при Кунерсдорфе, что король написал с поля битвы «все потеряно» и собирался лишиться себя жизни.

Вместе с этим радостным известием о славной победе и о движении русских войск на Берлин пришла весть о смерти капитана гвардии Осипа Ивановича Лысенко. Впрочем, эта весть не могла иметь интерес для Петербурга вообще, в великосветской его части в особенности, так как никто в Петербурге, кроме императрицы и супругов Зиновьевых, не знал офицера, носившего такое имя. Весть, о его смерти написал императрице Елизавете Петровне и Сергею Семеновичу Зиновьеву Иван Осипович Лысенко, один из доблестных участников победы русских над пруссаками при Кунерсдорфе.

Молодой Лысенко со дня прибытия в действующую армию с львиной отвагой и безумной храбростью появлялся в самых опасных местах битвы и исполнял самые отважные и рискованные поручения. Его отец, суровый

старик, продолжал относиться к нему, как к совершенно чужому и постороннему для него офицеру, тем более что Осип Иванович не находился под его непосредственным начальством и потому не было поводов к встречам отца с сыном.

В битве при Кунерсдорфе атаку, решившую победу, повел с безумной отвагой молодой Лысенко, ставший в короткое время кумиром солдат, не только той части, которая была под его начальством, но и других частей. Он шел все время впереди и упал с простреленной в нескольких местах грудью. Это не помешало ему приподняться с трудом на коленях и крикнуть: «Вперед, братцы, умрите, как я». Это восклицание сделало чудеса: солдаты бросились на неприятеля без начальника и положительно смяли его.

Двое солдат успели отнести своего умирающего командира на опушку ближайшего леса. Случайно или по воле Провидения первым человеком, заинтересовавшимся тяжело раненым офицером и склонившимся над ним, был генерал Иван Осипович Лысенко.

— Отец! — открыл глаза Осип Иванович и

окинул старика потухающим взором.

В тоне голоса, которым было произнесено это двусложное, но великое слово: «отец», в выражении взгляда умирающего красноречиво читались мольба о прощении и искреннее раскаяние. Старик не выдержал. Он склонил колени пред умирающим сыном, взял в руки его голову с уже закрывшимися глазами и поцеловал его в губы, воскликнув:

— Сын мой!

Горячие слезы полились из глаз отца и омочили лицо сына. На этом лице появилась довольная, счастливая улыбка да так и застыла на нем. Осипа Лысенко не стало.

В коротких словах рассказал в письме на имя государыни, а также в записке на имя Зиновьева Иван Осипович Лысенко этот полный настоящего жизненного трагизма эпизод.

«Я нашел сына именно в тот момент, когда он был более всего достоин этого. Я горжусь своим мертвым сыном более, нежели гордился бы живым», — заключил суровый воин оба письма.

Однако это известие не могло заинтересо-

вать петербургское общество, не посвященное в предшествующие события, известные нашим читателям. Зато предметом толков и пересудов явилась другая смерть, отвлекшая общественное внимание даже от театра войны. Это была смерть князя Сергея Сергеевича Лугового.

Обстоятельства жизни молодого человека придали этой смерти таинственную окраску. В Петербурге знали, что он был в числе самых горячих поклонников княжны Людмилы Полторацкой. Поразившую его болезнь, почти на другой день после смерти княжны, конечно, приписали удару, нанесенному этой смертью сердцу влюбленного. Весь «высший свет» выражал свое участие бедному молодому человеку и в великосветских гостиных, наряду с выражением этого участия, с восторгом говорили о возобновившейся дружбе между больным князем и бывшим его соперником — тоже искателем руки покойной княжны Полторацкой, — графом Свиридовым, с нежной заботливостью родного брата теперь ухаживавшим за больным. Было ли это участие искренне или же к нему примешивалось прак-

тическое соображение, что со смертью князя Лугового исчезнет один из выгодных и блестящих женихов — как знать? — но дом князя осаждался посетителями — представителями высшего общества, почти ежедневно справлявшимися о его здоровье.

Однако крепкая натура князя Сергея Сергеевича взяла свое. Кризис миновал, больной стал поправляться.

Прошло около трех месяцев. Князь, с позволения доктора, уже переходил на день в кресло и с помощью своего друга, графа Петра Игнатьевича, делал несколько шагов по комнате.

Справляться о здоровье по-прежнему приезжали, но князь не принимал никого. Это обстоятельство стало волновать общество. На вопросы, обращаемые к графу Свиридову по поводу странного поведения его друга, получались уклончивые, неудовлетворительные ответы. Однако общество никогда не дает себя в обиду: в большинстве случаев оно отмщает за нее сплетнею. Так было и в данном случае. В великосветских гостиных стали ходить упорные слухи, что перенесенная кня-

зем Луговым болезнь отразилась на его умственных способностях.

— Несчастный князь, он сошел с ума! — с соболезнованием стали говорить повсюду.

Протесты со стороны графа Свиридова, горячо заступавшегося за друга, только подливали масла в огонь.

— Скрывает друга, это так понятно! — пожимая плечами, замечали на эти протесты.

Граф Петр Игнатьевич понял, что борьба с прочно установившимся в обществе мнением равносильна борьбе с ветряными мельницами, и умолк.

«Да и какое дело Сергею до них теперь!» — мелькало в его уме.

Луговому действительно не было теперь никакого дела до общественного о нем мнения. Это происходило не потому, что болезнь на самом деле подействовала роковым образом на его умственные способности, но потому, что князь пришел к окончательному решению порвать все свои связи со «светом» и уехать в Луговое, где уже строили, по его письменному распоряжению, небольшой деревянный дом. Место для этой постройки бы-



ло выбрано князем в довольно значительном отдалении от старого сгоревшего дома, стены которого он не велел разбирать до своего личного распоряжения.

Когда в «свете» узнали, что князь Луговой вышел в отставку и уезжает к себе в имение, это только подтвердило пущенный слух о его сумасшествии.

— Увозят! — говорили, уже совершенно не стесняясь присутствием друга больного, графа Свиридова.

Последний печально улыбался, но не возражал.

Вскоре факт совершился. Князь Луговой уехал из Петербурга.

Пред отъездом он имел свидание только с одним лицом из петербургского общества, Зиновьевым, посетившим его по его собственному желанию.

Зиновьев, Луговой и Свиридов сидели втроем в том самом кабинете, где полгода тому назад Сергей Семенович сообщил князю содержание письма тамбовского наместника относительно Татьяны Берестовой, искусно в течение года разыгрывавшей роль его неве-

сты — княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

— Я уезжаю к себе, — слабым голосом начал князь.

— Я слышал это от графа, — указал Зиновьев движением головы на графа Свиридова. — Но неужели навсегда? Стыдитесь, князь, так предаваться грусти! Вы молоды, пред вами блестящая дорога, веселая жизнь. Время излечит печаль.

— Нет, мое решение неизменно; я человек обреченный, и моя близость ко всякой девушке будет для нее роковой. Но не будем говорить об этом. Я решился просить вас приехать ко мне, хотя, как видите, я в силах был бы заехать к вам. Простите меня, это произошло потому, что я дал себе обет не переступить порога своего дома иначе как для того, чтобы уехать из Петербурга навсегда. А у меня есть к вам важная просьба...

— Помилуйте, князь, я с удовольствием! Тяжелая, перенесенная болезнь дает вам право, — заговорил Сергей Семенович, а между тем в уме его мелькало: «Не в самом ли деле он тронувшись?» — Какая же это просьба,

князь? Все, что в моих силах, все, что могу...

— Это в ваших силах, это вы можете, — произнес князь Сергей Сергеевич. — Зиновьево теперь в вашем владении?

— Да!

— Позвольте мне на свои средства выстроить церковь над могилой княгини Вассы Семеновны и княжны Людмилы. Другой храм я буду строить одновременно на месте своего сгоревшего дома. Церкви Лугового и Зиновьева, вы знаете, очень ветхи. Если я, паче чаяния, не доживу до окончания построек, то я уже составил духовное завещание, в котором все свои имения и капиталы распределяю на церкви и монастыри, а главным образом, на эти две, для меня самые священные цели. Граф Петр был так добр, что согласился быть моим душеприказчиком и исполнителем моей последней воли.

— Я, конечно, князь, с особым благоговением готов исполнить вашу просьбу, — произнес Зиновьев. — Мне тяжело, что мысль о постройке церкви над могилами погибших такою страшною смертью моей сестры и племянницы не пришла ранее в голову мне, но

пусть мое согласие послужит мне вечным за это наказанием. Я завтра же сообщу управляющему Зиновьеву, что вы явитесь туда полным распорядителем.

— Благодарю вас, — протянул ему руку князь.

Сергей Семенович с чувством пожал эту исхудалую от физических и нравственных страданий руку.

Через несколько дней князь переступил порог своего дома и уехал в Луговое.

Однако о нем не забыли в «свете». На его долю выпала честь быть очень продолжительное время злобою дня в петербургских великосветских гостиных.

Жертву своего любопытства общество найдет на дне морском, а не только в тамбовском наместничестве. Туда написали письма с просьбами следить за князем Луговым и извещать о его образе жизни и прочем. Оттуда стали получать ответы, быстро распространившиеся по гостиным.

«Сумасшедший князь» — эта кличка оставалась за князем Луговым со времени его отъезда — действительно вел себя там, по мне-

нию большинства, более чем странно. По приезде в Луговое он повел совершенно замкнутую жизнь, один только раз был в Тамбове у архиерея и предъявил тому разрешение святейшего синода на постройку двух церквей: одну в своем имении Луговом, а другую в имении Сергея Семеновича Зиновьева — Зиновьеве, принадлежавшем покойной княжне Людмиле Васильевне Полторацкой. Постройка обоих храмов началась и, ввиду того, что князь не жалел денег, подвигалась очень быстро.

Князь Сергей Сергеевич проводил ежедневно несколько часов в родовом склепе Зиновьевых, где были похоронены князь и княгиня Полторацкие и куда, с разрешения тамбовского архиерея, было перенесено тело дворовой девушки княгини Полторацкой — Татьяны Берестовой. Князь — как писали из Тамбова — уверил архиерея, что это тело покойной княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, а что в Петербурге была похоронена под ее именем другая.

Последнее известие произвело целую бурю в гостиных.

— Князь — сумасшедший, ему простительно говорить все, но как же могло согласиться на это высшее духовное лицо? — возмущались сообщавшие и слышавшие это известие.

— Чего нельзя сделать деньгами? — вставляли некоторые.

Прошло два года; церкви были выстроены и освящены, а князь Сергей Сергеевич все продолжал вести странный образ жизни, для свое время между чтением священных книг и долгою молитвою над мнимой могилой княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

Вдруг в июле месяце 1761 года из Тамбова пришло известие, что князь Сергей Сергеевич скончался. Он был убит ударом молнии при выходе из часовни, находившейся при храме в Луговом и переделанной им из старого, много лет не отпиравшегося павильона. Из Тамбова сообщали даже и легенду об этом павильоне и историю самовольного открытия его покойным князем.

Сделалось известным также и завещание Лугового.

Понятно, что подобного рода смерть заста-

вила долго говорить о себе в обществе.

## XVI

### СМЕРТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ

— Пеките блины, вся Россия будет печь блины! — так говорила 24 декабря 1761 года, ходя по улицам Петербурга, известная в описываемое нами время юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище до сих пор пользуется особенным уважением народа.

Ксения Григорьевна была жена придворного певчего Андрея Петрова, скончавшегося в чине полковника. Она в молодых годах осталась вдовою. Тогда, раздав свое имение бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, изредка проживая на Петербургской стороне, в приходе Св. апостола Матфея, где одна улица называлась ее именем. Год смерти ее не известен[8]. Одни уверяют, что она умерла до первого наводнения в 1777 году, другие же — что при Павле.

Могила Ксении издавна пользуется особенным почитанием. В скором времени после ее похорон посетители разобрали всю мо-

гильную насыпь; когда же усердствующими была положена плита, то и плита была разломана и по кусочкам разнесена по домам. Сделана была другая плита, но и та недолго оставалась целою.

Ломая камень и разбирая землю, посетители бросали на могилу деньги. Тогда на могиле прикрепили кружку, и на собранные таким образом пожертвования построили памятник, в виде часовни, с надписью: «Раба Ксения. Кто меня знал, да поминает мою душу для спасения своей души». И действительно, ни на одной из могил на Смоленском кладбище не служат столько панихид, как на могиле Ксении.

Эта-то Ксения и ходила, повторяем, 24 декабря 1761 года по улицам Петербурга, произнося вышеприведенные загадочные слова.

Однако на другой день для петербуржцев и для всей России эти слова, к несчастью, перестали быть загадкой. 25 декабря 1761 года, день Рождества Христова был для России днем радости и горя. В эту ночь было обнаружено донесение генерала Румянцева о славном взятии русскими войсками прусской кре-



пости Кольберг, а к вечеру не стало императрицы Елизаветы Петровны. Она умерла в Царском Селе.

Болезненное состояние императрицы началось с начала 1761 года, и она нередко по неделям не вставала с постели, в которой даже слушала доклады. 17 ноября Елизавета Петровна почувствовала лихорадочные припадки, но по принятии лекарства совершенно оправилась и занялась делами. 19 декабря императрице стало дурно. Началась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики Монсей, Шилинг и Крауз решили открыть кровь и очень испугались, заметив сильно воспаленное ее состояние. Несмотря на это, через несколько дней императрица совершенно оправилась.

20 декабря Елизавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, но 22-го числа, в 10 часов вечера, началась опять жестокая рвота с кровью и с кашлем. Медики заметили и другие признаки, по которым сочли долгом объявить, что здоровье императрицы в опасности. Выслушав вторично это объявление, Елизавета Петровна 23 декабря исповедалась и

приобщилась, а 24-го соборовалась. Болезнь так усилилась, что вечером Елизавета Петровна дважды заставляла читать отходные молитвы, повторяя сама их за духовником.

Агония продолжалась ночь и большую половину следующего дня. Великий князь и великая княгиня находились постоянно при постели умирающей. В четвертом часу дня отворилась дверь из спальни в приемную, где собрались высшие сановники и придворные. Вышел старый сенатор, князь Николай Юрьевич Трубецкой, и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась и государствует его величество император Петр III. Ответом были рыдания и стоны на весь дворец.

Новый император отправился на свою половину. Императрица Екатерина Алексеевна осталась при покойной императрице. У изголовья умершей государыни находились также оба брата Разумовские и Иван Иванович Шувалов, любившие императрицу всем своим преданным, простым сердцем. Слезы обоих братьев Разумовских были слезами искренними, и их скорбь была вполне сердечною. Покойная государыня, возведшая их из

ничтожества на верх почестей, была к ним неизменно добра. Несмотря на все свои недостатки, Елизавета Петровна, несомненно, имела дар вселять в других глубокую к себе привязанность. В горести Ивана Ивановича Шувалова, Разумовских, Чулкова и некоторых других верных слуг ее слышалось не сожаление о конце их случая, но глубокое, вполне чистосердечное сокрушение о той, которую они так искренне и неподкупно любили.

Последние годы императрицы были тяжелы. Она сама болела, даже не подписывала бумаг. Боялись и просились в отставку ее сотрудники, а главный из них, Бестужев, сидел в деревне, в опале. Казна до того оскудела от войны, что ввела лотереи, которых гнушались прежде, и не было возможности достроить Зимний дворец. Незадолго до смерти Елизавета Петровна освободила много ссыльных и подсудимых и издала грустный указ, в котором сознавалась, что внутреннее управление расстроено.

Так закончилось двадцатилетнее царствование дочери Петра Великого.

Закончим и мы наше повествование, бросив беглый взгляд на прошедшее.

При отсутствии внимательного изучения русской истории XVIII века обыкновенно повторяли, что время, протекшее от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, есть время печальное, недостаточно изученное, время, в которое на первом плане были интриги, дворцовые перевороты, господство иноземцев. Но при успехах исторической науки вообще и при более внимательном изучении русской истории подобные взгляды повторяться более не могут.

Мы знаем, что в нашей древней истории не Иоанн III был творцом величия России, но что это величие было подготовлено до него в печальное время княжеских усобиц и борьбы с татарами; мы знаем, что Петр Великий не приводил России из небытия в бытие, что так называемое преобразование было естественным и необходимым явлением народного роста, народного развития, и великое значение Петра состоит лишь в том, что он силою своего гения помог своему народу совершить тяжелый переход, сопряженный со всякого рода

опасностями.

Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II; она заставляет нас с особым любопытством углубиться в изучение предшествующей эпохи — посмотреть, как Россия продолжала жить новой жизнью после Петра Великого, как разбиралась она в материале преобразований без помощи гениального императора, как нашлась в своем новом положении, с его светлыми и темными сторонами, так как в жизни человека и в жизни народов нет возраста, в котором не было и тех, и других сторон.

На Западе, где многие беспокоились при виде могущественнейшей державы, внезапно явившейся на востоке Европы, утешали себя тем, что это — явление преходящее, что оно обязано своим существованием воле одного сильного человека и кончится вместе с его смертью. Ожидания не оправдались именно потому, что новая жизнь русского народа не была созданием одного человека.

Поворота назад быть не могло, так как ни отдельный человек, ни целый народ не воз-

вращаются из юношеского возраста к детству и от зрелого возраста к юношеству; но могли и должны были быть частные отступления от преобразовательного плана, вследствие отсутствия одной сильной воли, вследствие слабости государей и своекорыстных стремлений отдельных сильных лиц.

Так, некоторые противодействия петровским началам обнаружились в усилении личного управления в областях, надстройке лишнего этажа над сенатом, то под именем верховного тайного совета, то под именем кабинета. Но более печальные следствия имело отступление от мысли Петра Великого относительно иностранцев.

Самая сильная опасность при переходе русского народа из древней истории в новую, из возраста чувств в возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой, в жизнь общественных народов заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых поэтому надо было учиться. В этом-то ученическом положении относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности рус-

ского народа. Ведь как соединить положение ученика со свободою, самостоятельностью по отношению к учителю, как избежать при этом подчинении подражания? Примером служит крайнее подчинение западноевропейских народов своим учителям — грекам и римлянам, когда они в эпоху Возрождения совершили такой же переход, как русские совершили в эпоху преобразования, с тем различием, что они подчинялись народам мертвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых людей.

Тут-то Петр и оказал великую помощь своему народу, сокращая срок учения, заставляя немедленно проходить практическую школу, не оставляя долго русских людей в страдальческом положении учеников, употребляя невероятные усилия, чтобы относительно внешних, по крайней мере, средств не только уравнивать свой народ с образованными соседями, но и дать ему превосходство над ними, что и было сделано устройством войска и флота, блестящими победами и внешними приобретениями, так как именно это вдруг дало русскому народу почетное место в Евро-

пе, подняло его дух, избавило от вредного принижения при виде опередивших его в цивилизации народов.

Петр держался постоянно правила: поручать русским высшие места военного и гражданского управления и только второстепенные могли быть заняты иностранцами.

От этого-то важного правила уклонились по смерти Петра. Его птенцы завели усобицы, начали вытеснять друг друга. Ряды их поределли. Этим воспользовались иностранцы и добрались до высших мест.

Несчастливая попытка ограничить самодержавие в 1730 году нанесла тяжелый удар русским фамилиям, стоявшим наверху, и царствование Анны Иоанновны явилось временем «бироновщины».

Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшать бедствие этого времени, оно всегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века, так как дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена основному, неизменному правилу великого преобразователя, чувство-



валось иго с Запада, более тяжкое, чем прежде, иго с Востока — иго татарское. Полтавский победитель был принижен, рабствовал Бирону, который говорил: «Вы, русские, как так смело и в самых винах себя защищать дерзаете»[9]. Эти слова были сказаны временщиком князю Шаховскому, защищавшему своего дядю от обвинения Миниха. Сколько в этих словах презрительного отношения к русским!

От этого-то ига с Запада избавила Россию дочь Петра Великого. Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди, и когда, как мы уже знаем, на место даже второстепенное представлялся иностранец, Елизавета Петровна спрашивала:

— Разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского.

Народ, пришедший в себя, начал говорить от себя и про себя, и явилась литература, язык, достойный говорящего о себе народа. Явились писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, явились народ-

ный театр, журнал, в старой Москве основался университет.

Человек, гибнувший прежде под топором палача, стал полезным работником в стране, которая более чем какая-либо другая нуждалась в рабочей силе; пытка заботливо отстранялась при первой возможности, и таким образом на практике было приготовлено ее уничтожение.

Для будущего времени приготовлялось новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прошлом царствовании — воспитывался и приготовлялся целый ряд деятелей, которые сделали знаменитым царствование Екатерины II.

Но, говоря о значении царствования Елизаветы Петровны, мы не должны забывать характер самой императрицы. Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни, она должна была пройти через тяжкую школу испытаний и прошла ее с пользой. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их, — эти качества приоб-

рела Елизавета в царствование Анны, когда ее безопасность и свобода постоянно висели на волоске. Эти качества принесла она и на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений.

Наследовав от отца умение выбирать и сохранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после нее.

Таково было главное значение царствования дочери Петра Великого. Это двадцатилетнее царствование, следовавшее неуклонно национальной политике Петра Великого, сделало то, что эта политика успела всосаться в плоть и кровь русского народа, доказательством чему служит кратковременное царствование Петра III, пожелавшего снова отдать Россию в подчинение ненавистным немцам.

Иноземка по происхождению, но русская по духу, Великая Екатерина повела своей искусной, сильной, хотя и женской рукой Россию по пути, начертанному ей Петром Вели-

ким и его достойной дочерью. Снова с высоты русского престола раздался столь любезный русскому народу оклик по адресу иноземцев: «Руки прочь!»

# — СОВРЕМЕННЫЙ САМОЗВАНЕЦ —

## Часть первая ПО ТЮРЬМАМ

### I ТАИНСТВЕННЫЙ ПАССАЖИР

Стояло чудное утро половины мая 1887 года. В торговой гавани «южной Пальмиры» — Одессе — шла лихорадочная деятельность и господствовало необычное оживление: грузили и разгружали суда. Множество всевозможных форм пароходов, в металлической обшивке которых играло яркое смеющееся солнце, из труб там и сям поднимался легкий дымок к безоблачному небу, стояло правильными рядами на зеркальной поверхности Черного моря.

Самая людская работа, шедшая в гавани, вносила какую-то бросающуюся в глаза дисгармонию в поэтическую картину. Потные, почерневшие от угольного дыма и загара лица рабочих, их сторбленные под тяжестью

нош спины, грубые резкие окрики, разносившиеся в прозрачном, как мечта, воздухе — все говорило о хлебе и нужде, о грубости среди этих роскошных красот природы, под этим нежно голубым небом.

В гавань только что вошел пароход «Корнилов», совершавший прямые рейсы между Константинополем и Одессой, и остановился в ряду других пароходов.

На пароходе поднялась та суматоха, которая всегда сопровождает прибытие судна на конечную пристань. Пассажиры, которых было на этот раз очень много, собирали свои пожитки или же просто бесцельно слонялись взад и вперед, чтобы укоротить время до выпуска на землю, время, которое должно пройти в исполнении портовых формальностей.

Но кроме этого интереса, обычного для всех заграничных путешественников, пассажиры «Корнилова» были заинтересованы присутствием на их пароходе «невольного путешественника» в лице красивого, статного, атлетически сложенного и щегольски одетого пассажира, ехавшего из Константинополя в сопровождении каваса русского консуль-

ства — смуглого арнаута с ястребиным носом и необычайно длинными черными усами.

Пассажир занимал отдельную каюту, редко выходил на палубу, а если и появлялся там, то был молчалив и сосредоточен и никому из остальных пассажиров не пришлось с ним заговорить, если не считать нескольких пророненных им слов с некоторыми из его товарищей по путешествию.

Таинственный путешественник несколько более других говорил с капитаном парохода, но последний тоже не был из людей особенно общительных.

Говорили, что это русский, выдававший себя за границу за потомка Бурбонов и в этом качестве объявивший себя претендентом на болгарский престол, остававшийся вакантным после случившегося недавно не совсем добровольного отъезда из Болгарии принца Александра Баттенбергского.

Вопрос о том, действительно ли «красавчик» был русский или принятый за такового только по ошибке решен окончательно не был; мнения пассажиров разделились: дамы были на стороне признания его чистокров-

ным французом, понятие о котором в дамском уме соединяется с идеалом галантного, мужественного, сильного телом и духом красавца, а к такому идеалу, по мнению парходных дам, подходил «таинственный пассажир».

Беглый, совершенно чистый французский язык, которым говорил «красавчик», хотя при случае изъяснявшийся очень хорошо по-русски, подтверждал в глазах дам их мнение.

— Просто наши русские власти опростоволосились, — легкомысленно щебетали дочери Евы. — Везут бедного иностранца неведомо куда, а потом начнут перед ним же расшаркиваться и извиняться.

— Посмотрите, с каким величественным, молчаливым спокойствием переносит он свою тяжелую долю. Взглянуть на него, и не останется сомнения, что в его жилах течет королевская кровь. Разве что понимают в этом наши мужчины?

«Непонимающие» мужчины были другого мнения, они стояли на почве законности и не допускали ошибки в таком важном учреждении, как русское посольство в Константино-



поле.

— Должно быть, тонкая штука этот молодец. Держит себя как настоящий принц крови. Чай, просто русский прогоревший барин, лопотать по-французскому сызмальства научили, а в науках не превзошел, да и на службе не годился. Дай-де заделаюсь принцем... и заделался.

Так с иронией относился к «невольному путешественнику» непрекрасный пол, но надо сознаться, что в этом отношении играло роль и ревнивое чувство, пробужденное слишком красноречивыми взглядами их жен, сестер и дочерей, бросаемыми на «красавчика».

— Куда-то теперь его повезут, бедняжку? — вздыхали дамы, когда пароход «Корнилов» уже стоял в гавани.

— Посадят молодчика за решетку! — злорадовались мужчины.

Первой на пароходе появилась карантинная стража, которая, удостоверившись в благополучном санитарном состоянии на «Корнилове», дала надлежащее разрешение причаливать и высаживать пассажиров.

Пароход причалил к пристани, но выпуска еще не последовало. Предстоял еще жандармско-полицейский контроль.

Вскоре на пароход прибыл жандармский капитан с десятью нижними чинами и приступил к ревизии паспортов.

Эта процедура вследствие большого количества прибывших пассажиров продолжалась около двух часов, и до ее окончания никого с парохода не выпускали.

Ревизия паспортов происходила в кают-компании парохода, обращенной в канцелярию.

Пассажиры толпились в ней, и, несмотря на то, что каждый из них думал о скорейшем наступлении момента выпуска, взоры их все же от жандармов невольно переносились на сидевшего в углу кают-компании «таинственного пассажира», казалось, безучастно относившегося ко всему вокруг него происходящему.

Вдруг в толпе пассажиров пронесся шепот. — Его превосходительство прибыл, его превосходительство!

Жандармский капитан и нижние чины

подтянулись. Капитан парохода бросился встречать одесского градоначальника, явившегося самолично на пароход.

— Это за ним! — вздохнули дамы.

— Должно, важная птица этот молодец! — умозаключали мужчины.

Адмирал Зеленый вошел в сопровождении одесского полицмейстера и начальника порта.

— Где Савин? — задал он вопрос встретившему его капитану парохода.

Не успел капитан ответить, как таинственный пассажир встал и, медленно пробравшись сквозь толпу, подошел к адмиралу.

— Вы спрашиваете обо мне, ваше превосходительство?

— Это вы Савин?.. — спросил градоначальник, оглядывая его с головы до ног.

— Нет, я не Савин, а граф де Тулуз Лотрек, но по ошибке русского консула в Константинополе арестован и препровожден сюда под этим не принадлежащим мне именем, почему считаю нужным заявить об этом вашему превосходительству, прося рассмотреть идущие со мной документы, а по рассмотрении

их меня освободить.

— Так значит вы отрицаете ваше тождество с корнетом Савиным и требуете вашего освобождения?

По губам адмирала проскользнула ироническая улыбка.

— Я требую только справедливости.

— Справедливости!.. Может быть... Справедливость — хорошее слово. Но ее окажут вам другие. Я на это не уполномочен. Я должен поступить с вами, как мне поручено из Петербурга и пока принужден отправить вас в тюрьму.

Ни один мускул не дрогнул на красивом лице «таинственного пассажира». Он молча, с достоинством поклонился.

— Полковник, — обратился адмирал Зеленый к стоявшему рядом с ним полицеймейстеру, — отвезите сейчас же под усиленным конвоем «его сиятельство» в тюремный замок и поступайте с ним, как я уже вам говорил.

Градоначальник особенно подчеркнул титул «пассажира», а затем, повернувшись, стал разговаривать с жандармским капитаном.

— Поедьте, — обратился к «таинственно-

му пассажиру» вполголоса полициѣмейстер, — я уже приказал ваши вещи снести в карету.

Пассажир спокойной, уверенной походкой, с гордо поднятой головой последовал за полицейским офицером.

При выходе с пристани его усадили с двумя околоточными надзирателями в карету, по бокам которой ехали два полицейских верхами; полициѣмейстер же ехал впереди на своей паре.

Этот торжественный поезд, везший, если верить рассказам пассажиров парохода, «недавнего претендента на болгарский престол», проследовал через всю Одессу на Куликово поле, где, невдалеке от вокзала железной дороги, высились мрачные стены одесского тюремного замка.

Железные ворота замка открылись и поезд скрылся в них.

## II СОРВАЛОСЬ!

Сдав арестанта смотрителю замка, полициѣмейстер уехал, а нового тюремного обитателя тотчас же отвели в секретную одиноч-

ную камеру, в отделение тюрьмы, предназначенное для политических преступников.

Это была тюрьма в тюрьме, которой специально заведовал старший помощник смотрителя, а обязанность надзирателей исполнялась жандармами.

Помещалось это отделение в самом конце тюремного двора и представляло из себя отдельный одноэтажный корпус, в котором было до двадцати одиночных камер.

В одну из них и заперли «претендента».

Мертвая тишина царила в этом тюремном каземате, и кроме двух жандармских унтер-офицеров, сменяющихся каждые шесть часов, заключенный не видал никого первые два дня.

Наконец на третий день к нему явился помощник смотрителя.

— Почему меня держат тут в отделении политических? — спросил его арестант. — Кажется, я ни в каких политических, преступлениях не обвиняюсь?

— Не знаю, — отвечал помощник смотрителя, — таково распоряжение градоначальника.

— На каком же основании вы меня содержите? По чьему постановлению?

— Никакого постановления на ваше содержание у нас нет, а держим вас потому, что вас привез полицеймейстер с приказом содержать вас в политическом отделении со всевозможной строгостью.

— Но это совершенно противозаконно, мне кажется, что с введением судебных уставов никто не может быть арестован без надлежащего постановления о том, исходящего от судебной власти, так что содержание мое в тюрьме я считаю совершенно противозаконным.

— Уж, право, не знаю, — заметил помощник смотрителя, — если вы недовольны и признаете себя неправильно арестованным, жалуйтесь прокурору.

— Конечно, мне ничего не остается делать, как обратиться за защитой к прокурору, а потому и прошу вас дать мне бумаги и письменные принадлежности для написания этой жалобы.

В тот же вечер арестованный написал прошение прокурору одесского окружного суда, в

котором изложил всю неправильность его ареста в Константинополе и содержания в тюрьме и просил его, сделав дознание, освободить его из-под стражи.

После подачи этого прошения прошло с неделю, и заключенный уже терял всякую надежду на какой-нибудь результат, как в одно прекрасное — если в тюрьме может быть что-нибудь прекрасное — утро дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя с каким-то господином, одетым в штатское платье.

Заключенный встал с железной кровати, на которой лежал.

— Я прокурор здешнего окружного суда, — отрекомендовался вошедший с помощником смотрителя. — Прощение ваше я получил и счел своим долгом повидать вас. Вы находите ваше содержание под стражей незаконным?

— Совершенно верно, господин прокурор, меня содержат здесь по какому-то произволу административных властей, и я прошу вашего заступничества.

— Но вас принимают за некоего Савина, который разыскивается петербургским и ка-



лужским судами. Значит, на арест этого лица существует постановление судебных властей.

— Прекрасно, господин прокурор, на арест Савина, может быть, и есть законное основание, но отнюдь не на содержание под стражей графа де Тулуза Лотрек, а я именно и есть то самое лицо, каким себя именую.

— Чем вы докажете, что вы граф де Тулуз Лотрек, а не Савин? Можете ли вы указать на лиц, могущих это удостоверить?

— Здесь, в Одессе, я, никого не знаю, но в других местах, конечно, найдется масса лиц, знающих меня.

— Так укажите на этих лиц и места их жительства, а я распорядюсь вас немедленно отправить для удостоверения вашей личности.

— Мне кажется, что это совершенно лишнее, когда у меня есть все необходимые бумаги и формальный паспорт, удостоверяющие кто я такой, и если желают проверить подлинность этих документов, то достаточно, мне думается, телеграфировать тем официальным лицам, которые их выдали, начиная с русского консула в Триесте господина Малейна, который меня лично знает и подтвер-

дит не только подлинность выданного им мне паспорта, но и опишет мои приметы, что докажет, что я именно то лицо, за которое себя выдаю.

— Видите ли, граф, написать, даже телеграфировать консулу в Триест я могу, но это не приведет ни к чему. Что бы ни ответил мне консул, я не в праве вас освободить, так как вы арестованы не судебными властями одесского округа, а препровождаетесь только через Одессу в Петербург. Значит и освобождение ваше зависит от петербургских властей, предписавших арестовать вас в Константинополе. Если вы не Савин, то вас по прибытии в Петербург немедленно освободят, а поэтому мой вам совет, просить о скорейшем вашем туда отправлении.

После этого визита прокурора, лопнула последняя надежда Николая Герасимовича Савина — это был действительно он — на освобождение, и ему оставалось терпеливо ждать отправки далее.

День этой отправки наконец настал.

До самой последней минуты от Николая Герасимовича ее почему-то держали в секре-

те. Он не знал, когда и каким образом его отправят, и на все его вопросы по этому поводу ему отвечали незнанием.

Какая была цель тюремного начальства скрывать от него это — неизвестно, но ему сказали, что он отправляется с отходящим этапом только за полчаса до его отправления.

Это было в последних числах мая. Савин уже спал, так как было около десяти часов вечера. Вдруг дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя.

— Вставайте, граф, и забирайте ваши вещи, сейчас вы отправляетесь.

— С кем, каким образом? — спросил его Николай Герасимович, протирая заспанные глаза.

— Этапным порядком, с партией, отправляющейся в Киев.

Уложив наскоро все имевшиеся при нем вещи в маленький ручной чемодан, Савин отправился в контору.

Перд воротами, по лестнице, ведущей в контору, и в самой конторе толпилось человек до ста арестантов в длинных серых халатах, с узлами и мешками в руках и у ног.

Некоторые из них были в кандалах и с бритыми наполовину головами.

Николай Герасимович впервые видел вблизи такую массу арестантов, и на него произвело это зрелище крайне тяжелое впечатление.

В конторе, освещенной двумя керосиновыми лампами, толпились арестанты и солдаты.

За длинным столом сидели начальник тюрьмы, конвойный офицер, принимающий партию, и писарь.

Перед ними лежала кипа бумаг — статейных списков, по которым они вызывали арестантов.

Каждый арестант по вызову подходил к столу, где имя его и назначение, куда он следовал, проверялось по статейному списку, а затем унтер-офицер брал арестанта и, передавая его тут же стоявшему ефрейтору, кричал:

— Обыскать и наручники!

После этого несколько человек солдат тщательно обыскивали каждого переданного им арестанта, осматривали его вещи и затем накладывали на людей попарно наручники, так что правая рука одного была связана с левой

рукой другого.

От этой последней меры освобождались все принадлежащие к привилегированному сословию, нижние чины, женщины и кандалыщики.

На остальных же всех без исключения и разбора, независимо от того, за что и про что они арестованы и к какой категории принадлежат, то есть пересыльные или подследственные, надевались наручники.

Сидя в темном углу конторы, Николай Герасимович с немым ужасом глядел на эту тягостную картину, ожидая своей очереди.

Когда наконец партия была принята и все арестанты вышли из конторы, к нему подошел смотритель с конвойным офицером.

— Вас также надо принять, — сказал ему последний, — покажите мне ваши вещи.

Савин открыл ему свой чемоданчик.

— У вас ничего тут нет запрещенного?

— Кажется, ничего такого нет, но я не знаю, что вы называете запрещенным?

— Ножей, орудий, карт, водки, — сказал, улыбаясь, конвойный офицер.

— Нет, ничего подобного у меня нет.

— Записать: гвардии корнет Николай Савин, в Петербург, в своем платье, — сказал штабс-капитан писарю. — Мне поручено, — обратился он снова к Николаю Герасимовичу, — иметь строжайший надзор за вами, о чем я считаю долгом вас предупредить. Надеюсь, что вы как офицер, поймете меня и не поставите меня братъ против вас какие-либо меры, которые были бы неприятны как для вас, так и для меня. Я вполне сознаю, что для вас такое положение крайне тяжело, но что же делать, надо подчиняться. С моей стороны я все сделаю, что от меня зависит, чтобы облегчить ваше положение, но прошу вас подчиняться уставным правилам.

С этими словами он пригласил Савина выйти из конторы и вышел вслед за ним сам в сопровождении смотрителя.

Партия была уже выстроена во дворе тюрьмы, тускло освещенном двумя фонарями.

— Шашки вон, шагом марш! — скомандовал штабс-капитан.

Ворота растворились, и партия, звеня кандалами в ночной тишине, под темно-синим

небом южной ночи, двинулась по направлению к вокзалу, находившемуся в нескольких шагах от тюрьмы.

### III

## В АРЕСТАНТСКОМ ВАГОНЕ

Когда партия прибыла на вокзал, арестантские вагоны были уже поданы и арестантов немедленно рассадили по ним.

Для Николая Герасимовича Савина, по приказанию конвойного офицера, отвели отдельную лавку в вагоне, где помещалось офицерское отделение.

Арестантские вагоны своим устройством ничем не отличаются от обыкновенных вагонов третьего класса, и одни только железные решетки в окнах, да часовые, стоящие у дверей, показывают их назначение.

Товаро-пассажирский поезд, с которым отправлялась партия, уходил из Одессы в двенадцать часов ночи, так что ждать на станции пришлось около часу.

Этим временем воспользовались арестанты, чтобы достать кипятку и купить съестные припасы, после чего началось чаепитие.

В этом солдатики конвойной команды

очень услужливы и не отказывают арестантам ходить на вокзал за покупками и кипятком.

Вообще русский солдат, несмотря на суровую, грубую внешность, имеет доброе сердце, и оно-то во многом облегчает участь тех несчастных, которые бывают ему вверены.

По размещении арестантов по вагонам, солдатики обращались с ними уже более гуманно: сняли наручники, услуживали чем могли и разговаривали без всякого принуждения, не изображая из себя начальства.

За чаепитием начались разговоры, рассказы, кто куда следует.

В вагоне, в котором находился Савин, помещались большей частью пересыльные арестанты.

Арестанты разделяются на категории: каторжных, бродяг, ссыльных и пересыльных.

К последней принадлежат все лица, пересылаемые по требованию судебных и административных властей, беспаспортные, а также приговоренные уже к наказанию и отсылаемые к месту заключения в тюрьмы или арестантские роты.



Как только поезд тронулся, в вагоне все преобразилось.

Сидевшие до тех пор чинно арестанты снимали с себя ужасные серые с бубновыми тузами халаты, растворили окна и стали весело и шумно разговаривать между собой.

Вот затянули песню, которую подхватили и солдатики.

Появился табак, водка, пронесенные украдкой и продаваемые арестантам по повышенным ценам. Так, восьмушка махорки, стоящая в продаже три копейки, продавалась по двугривенному, и полбутылки водки — шестьдесят копеек.

Конечно, этой контрабандой могли воспользоваться только имущие арестанты, большинству же приходилось с завистью смотреть на этих счастливицев.

Кроме запрещенной торговли водкой и табаком, солдаты вели также торг и съестными припасами по ценам доступным для арестантов.

У них был большой запас бубликов, сельдей, вареной печенки и печеных яиц.

На этой торговле они наживали самые пу-

стяжки, только, как они выражались, «на табачишко».

Все это Николай Герасимович узнал от подсевшего к нему во время пути унтер-офицера.

Это был разбитной малый, земляк Савина — калужанин.

— Посудите сами, — говорил он, — как нам не промышлять с арестантами. Без этого мы бы без табаку и чаю насиделись, не говоря о том, что вечно и так бываем впроголодь. Чего купишь на шестнадцать копеек.

— Ну, а начальство как на это смотрит?

— Что начальство! Оно хотя и знает, да молчит, покуда все идет исправно... Есть у нас один офицер построже, ну, когда едем с ним, немного опасаемся насчет водки, про прочие продукты и он ничего не говорит... При этом же офицере, что теперь ведет партию, что хошь тащи, только чтобы было всегда все исправно, да по прибытии на место в Киев, Одессу или Брест, чтобы ничего не было заметно, а в пути дебоширь сколько хочешь... Он сам тоже мухобой-то порядочный... Ключет, да и спит всю дорогу... За его простоту не

только мы, но и арестанты его ужас как любят.

— А вам часто приходится ездить с партиями?

— Да, почитай, мы все в разъездах... У нашей киевской конвойной команды три тракта: на Москву, на Одессу, да на Брест. Свезем партию в один конец, а на следующий день принимаем обратно на Киев; ну, в Киеве дня два или три отдыхаем, а затем снова в отправку.

— А всегда у вас такие большие этапы, как сегодня?

— Какой же это этап, сто двадцать человек! Бывают этапы в триста, четыреста арестантов, так что смен не хватает на посты к вагонам, и приходится солдатикам стоять беспрерывно всю дорогу на посту. Тяжелая наша служба! — вздохнул унтер-офицер.

— Почему же вся эта служба лежит на киевской команде, а не на одесской, брестской и других?

— В Одессе конвойной команды совсем нет, ну, а брестская и московская имеют свои тракты. Брестская в нашу сторону и не ходит,

она препровождает на Вильну и Белосток; московская же сдает нам этапы в Курске и принимает от нас этапы там же. Вот поедете дальше на Москву, так увидите.

— Значит и в Курске бывает пересадка?

— Нет, там мы сдаем прямо с вагонами, в Киеве же бывает отдых, и вам придется три дня дожидаться московского этапа.

— Из Киева, значит, мы с вами опять поедем до Курска?

— Да, с нашей же командой, но не с нами. Мы с теперешним офицером поедем днем раньше вас в Брест, а вы отправитесь с другим нашим же офицером, капитаном Ивановым.

Болтая таким образом, Николай Герасимович напился с унтер-офицером чаю и закусил, угостив его настоящими турецкими папиросами, имевшимися у него из Константинополя.

Куренье ему было разрешено, как в одесской тюрьме, так и конвойным офицером, и у него, к счастью, еще был запас прекрасных египетских папирос.

Именно, к счастью, потому что не будь их,

Савину нечего было бы курить, так как денег при нем почти никаких не было.

При аресте его в Константинополе, у него были отобраны все документы, ценные вещи и деньги и все это было опечатано и отправлено в Петербург.

Когда же перед отъездом он стал просить консула Логовского дать ему денег на дорогу, тот ответил:

— Вам деньги ни к чему, повезут вас на казенный счет и вам все будет, об этом уже сделано распоряжение.

Действительно, распоряжение было сделано.

С Савина за перевозку денег не спрашивали, но отправили по этапу, выдавая ему на харчи «дворянский порцион», то есть пятнадцать копеек в день.

В консульстве, однако, отбирая у него деньги, оставили ему мелочь, бывшую в жилетном кармане.

Этой мелочи было: три меджидие и несколько пиастров, которые Николай Герасимович и разменял у буфетчика на «Корнилове», за что получил семь рублей двадцать

копеек.

На эти деньги он мог купить себе в Одессе чаю, сахару, жестяной арестантский чайник и стакан, да пользовался улучшенной пищей во время его двухнедельного пребывания в одесской тюрьме прибавляя к получаемому им порциону по пятнадцати копеек день.

Эти расходы истощили и без того тощий его капиталец, так, что при отправке его из одесской тюрьмы Савину выдали на руки только всего рубль двадцать копеек его собственных денег, да на три дня вперед порциону — сорок пять копеек.

Вот все, что было у него в кармане при отправлении его этапом в дальний путь.

Понятно, что он не мог роскошничать, а должен был удовольствоваться покупкою яиц и бубликов у солдат, запивая дешевеньким чайком вприкуску.

#### IV ГАЗЕТНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

**В** том же вагоне, где находился Николай Герасимович, ехал еще один арестант из привилегированных, некий дворянин Лизаро, с которым Савин вскоре познакомился.

Сначала он не обратил на него внимания, так как Лизаро был одет в арестантский халат, но когда он снял с себя его и оказался в весьма потертом пиджаке, то этот туалет, редкий между арестантами из простых, бросился в глаза Николаю Герасимовичу, и он спросил унтер-офицера, указывая на арестанта в пиджаке:

— Кто это такой?

— А это дворянин Лизаро, тот, знаете, который на семи женах женат.

— Как на семи женат?

— Да вы разве не читали в ведомостях? Его уже судили в трех местах за это, а теперь везут еще в остальные места судить.

Конечно, такие слова унтер-офицера заинтересовали Николая Герасимовича, и он познакомился с этим семиженцем.

Лизаро был еще молодой человек лет двадцати пяти, брюнет небольшого роста, худой, с красивым, но крайне изможденным лицом.

Одет он был, как уже сказано, в очень поношенное платье, но и в этом костюме держался очень прилично: видно было, что он когда-то принадлежал к хорошему кругу.

— А я уже давно собирался к вам подойти, господин Савин, — сказал он Николаю Герасимовичу, когда тот обратился к нему с каким-то незначительным вопросом, — но совестился и боялся вас беспокоить. В одесском замке многие вами интересовались, да уж держали вас там больно строго.

— Почему же мною интересовались?

— Да как же не интересоваться вами... Уж слишком много писали об вас в газетах за последнее время.

— Что же писали?

— Чего только не писали! И молодец же вы, господин Савин, Стамбулова и того провели!

— Так здорово меня прохватывали в газетах?

— В некоторых, не скрою, вас порядочно-таки продернули, но зато в других восхваляли и жалели, что вам не дали достигнуть задуманного. Немного еще, и вы были бы болгарским князем. Жаль, что сорвалось! Да вот у меня есть «Новороссийский телеграф», в котором говорится о вас.

Лизаро вынул из кармана засаленный но-



мер газеты и подал его Николаю Герасимовичу.

— Тут, в фельетоне... — указал он, когда Савин развернул газету.

Николай Герасимович, давно не читавший русских газет, впился с жадностью в печатные строки.

«Еще одно последнее сказанье, — писал фельетонист, — и летопись окончена моя, но это последнее сказанье стоит всех предыдущих вместе, и вот почему я оставил его „pour la bonne bouche“ — как говорят французы. Чтобы быть знаменитостью, надо чем-нибудь выделиться из массы, умом ли, красноречием ли, хотя бы даже особо длинной фамилией, как был знаменит этим один благородный гидальго, которого звали Лаперузо-Суза-Танти-Кванти-Аликванти-Конте-Понте-Делеспонте-Вериго-дель-Компостельо. Но герой моего рассказа не отличается этим, он не обладал такой звучной и неудобно натошак произносимой фамилией, его зовут коротко и ясно — корнет Савин.

И вот этого-то Савина, имеющего какие-то счеты с нашими судебными властями и бе-

жавшего несколько месяцев тому назад в Варшаве при транспортировании его из Бельгии в Петербург, вдруг мысль великая осенила и графом де Тулуз Лотреком назвала. Достав себе надлежащий паспорт, денег и окруженный целой свитой, новый представитель старинного рода месяц спустя вынырнул в Софии. Прибыл он туда не как турист-парижанин, а как капиталист, представитель крупных парижских банкирских фирм с предложением дать болгарским воротилам — excusez du peu — двадцать миллионов. Такое неожиданное предложение со стороны блестящего графа, конечно, пленило сердца сидящих без гроша Стамбулова и его банды. За графом ухаживали, не зная как и чем его чествовать. Умный, обходительный, он сумел вскоре расположить всех к себе, а главное, подружился со Стамбуловым настолько, что тот души в нем не чаял. Дружба эта скрепилась еще более после крестин родившейся у Стамбулова дочки, восприемником которой был, конечно, не кто иной, как „блестящий граф“.

Вскоре после этих крестин Стамбулов обратился к своему высокопоставленному куму

с предложением — с каким вы думаете? — быть кандидатом на болгарский престол. Неожиданное, но крайне лестное предложение было, конечно, принято, и воображаемый французский граф де Тулуз Лотрек — агас Савин — уехал в Константинополь, чтобы хлопотать и заручиться симпатиями великого визиря и влиятельных лиц, близко стоящих к будущему его сюзерену-падишаху.

Там, в Константинополе, продолжая разыгрывать роль французского миллионера, он сумел втереться к французскому послу графу де Монтебелло и настолько расположить его к себе, что тот ввел его в высшее дипломатическое общество и представил не только великому визирю, но и самому султану.

В это время Стамбулов орудовал в Болгарии: интриги, обещания, угрозы и даже знаменитые угревые шкуры подготовляли тырновское народное собрание, на котором, в силу берлинского трактата, должен быть избран болгарский князь волею народа.

Но по воле судеб и неожиданного случая сиятельный граф был узнан, и кем же?

Далеко не сиятельным человеком, своим

бывшим куафером из Москвы. Эта неожиданная встреча нанесла страшный удар и разбила не только блестящие планы сиятельного претендента, но и судьбу Болгарии. Графа, по требованию русского посольства, арестовали и увезли с надлежащим почетом в Россию. И теперь вместо того, чтобы восседать в княжеском замке на болгарском престоле, „его высочество“ находится хотя и в замке, но далеко не княжеском, а в здешнем тюремном, под замком, в ожидании отправки в Петербург. История, как видите, интересная и выходящая из ряда обыкновенных приключений, а потому наделавшая немало шуму.

Все газетные хроники переполнены самыми разнообразными комментариями в отношении этого политического Хлестакова, а потому и не могу не высказать своего мнения. Хотя корнет Савин и Хлестаков, но Хлестаков, бесспорно, гениальный, и жаль, что ему не дали доделать задуманного, так как, во всяком случае, русские интересы на Балканском полуострове не пострадали от этого, а могли бы даже выиграть. Жаль, очень жаль, что Хлестаков-Савин не достиг своего рискован-

ного, но гениального плана. Это бесспорно авантюрист, но авантюрист-гений».

Николай Герасимович кончил читать с самодовольной улыбкой.

— Ну что, какво? — спросил Лизаро.

— Наврал с три короба... — небрежно заметил Савин.

— Но вот, кто в дураках, так в дураках, этот ваш кум Стамбулов, — смеясь, продолжал Лизаро. — Как это он так опростоволосился? А, говорят, такой умный и хитрый человек.

— Да здесь ум не причина, разве он мог предполагать, что я не то лицо, за которое я себя выдаю, раз я был ему представлен французским консулом.

— Ну а документы ваши, паспорт были у вас подложные?

— Нет, подлинные...

Лизаро с недоумением вытаращил глаза.

— Подлинные... Как же это? — с недоумением спросил он.

— Как бывают подлинные... Очень просто! — уклончиво отвечал Николай Герасимович.

## СЕМИЖЕНЕЦ

— Да, ваши дела не опасны, не то что мои. —  
— Да вот человек отпетый... — заметил со вздохом Лизаро.

— Вы уже осуждены?

— Да, уже тремя судами приговорен и еду судиться еще в четырех.

— Все по однородным делам?

— Почти так, шесть обвинений в многоженстве и одно в мошенничестве.

— Это очень интересно, расскажите, пожалуйста, — заметил Николай Герасимович.

— С удовольствием. Дайте только я распрощусь с одним товарищем, он выходит здесь скоро, на станции Бирзула.

С этими словами Лизаро ушел в другой конец вагона, где он сидел с худым, высоким, уже пожилым арестантом.

Поезд вскоре, действительно, стал уменьшаться ход, подходя к станции.

Как только поезд после двадцатиминутной остановки на станции Бирзула тронулся в путь, к Савину снова подошел Лизаро и, сядя рядом, весело сказал:

— Ну, вот и я являюсь к вам со своим рас-

сказом.

Николай Герасимович весь обратился в слух.

— Уроженец я Волынской губернии, — так начал свой рассказа Лизаро. — Родители мои были небогатые помещики. Сначала явоспитывался в Киеве, в гимназии, а потом поступил в мореходную школу в Николаеве. Окончив там курс с правом на штурмана, я около года прослужил в обществе пароходства и торговли, но затем, женившись на двадцать первом году на одной очень хорошенькой барышне в Одессе, я бросил морскую службу и поступил бухгалтером в одну частную контору. Сначала мы жили очень счастливо, но вскоре пошли у нас частые ссоры.

Жена моя была страшная кокетка, а я ревновал ее, и кончилось все это тем, что в один прекрасный день она уехала из Одессы сухаживающим за нею гусарским офицером. Такая неудача в семейной жизни страшно подействовала на мою слабую, нравственно не окрепшую натуру. Я с горя запил, стал кутить, вследствие чего потерял службу. Пьянство, разгул и та среда, в которой я очутился, удру-

чающе подействовали на меня и довели до совершеннейшего разорения и полнейшего нравственного падения. Мелкие обманы, шантажи и нечистая игра в карты служили мне единственными ресурсами к жизни в продолжение года.

В это время умер мой отец, и мне осталось после него небольшое именье в Кременном уезде Волынской губернии. Эта смерть отца и отъезд мой из Одессы меня немного отрезвили. Я понял, что возвращаться мне в Одессу и в ту среду, в которой я погряз, не следует, так что по ликвидации моих дел и продажи имущества доставшегося мне от отца, я уехал жить в Киев. Но в Киеве вместо того, чтобы остепениться и начать новую жизнь, я снова предался кутежам и разгулу, так что отцовского наследства хватило мне не на долго.

Вот в это-то время, когда я проживал последние деньги, познакомился с одним семейством, некими Курносовыми. Это был старуха-мать с двумя зрелыми дочерьми. Они приехали в Киев из Полтавской губернии, где у них было имение, искать женихов. Провинциалки-хохотушки, прожившие всю свою



жизнь в глухой Малороссии, наивно рассказывали всем, кто только хотел их слушать, о цели своего приезда и заманивали к себе молодых людей. Таким образом попал к ним и я. После двух-трех визитов к ним, я узнал, что за каждой дочкой давалось приданого двадцать пять тысяч наличными деньгами, да в будущем имении в тысячу десятин земли.

Лизаро остановился, перевел дух и с наслаждением закурил предложенную ему Савиным египетскую папиросу.

— Сначала мне и на ум не приходило жениться, будучи женатым. Бывал же я у них просто так, от нечего делать, и если был у меня какой-либо замысел, то только призанять у них денег и с этой-то целью я начал ухаживать за младшею дочерью Наденькой. Этой Наденьке было уже за тридцать лет и, конечно, мне было не трудно пленить ее сердце. Перезрелая хохлушка воспламенилась страстною любовью ко мне и сама стала мне намекать о браке. Будучи в крайне стеснительных денежных обстоятельствах, и, не видя другого исхода, я решился жениться на ней, конечно, только для того, чтобы получить ее приданое.

Свадьба состоялась, я получил деньги и через несколько дней уехал из Киева под предлогом навестить умирающую тетку в Одессе. В Одессу я, конечно, не поехал, а отправился в Варшаву, думая оттуда пробраться за границу. Но неожиданный случай изменил все мои планы. По дороге, при пересадке на станции Казатин, сел я в купе первого класса, в котором ехал какой-то господин. Это был человек лет тридцати, но очень тучный. Эта тучность его страшно тяготила, он задыхался, пыхтел, как паровик, и страшно мучился от жары.

Познакомившись и разговорившись с ним, я узнал, что его зовут Эдуард Иванович Лейн и что он едет из Оренбурга в Брест-Литовск на службу, куда он назначен судебным следователем. Болтая с ним, я узнал также, что он одинокий человек и никого в Бресте не знает. В купе кроме нас двоих никого не было, и вот вдруг ночью, в то время, как я уже спал, слышу сквозь сон стоны. Я открыл глаза. Смотрю, мой компаньон по купе мечется на своем диване. Я вскочил, чтобы узнать, что с ним. Гляжу, а на нем лица нет, весь побагровел, глаза налиты кровью, а у рта пена. Я испугался. Ко-

гда я взял его несколько минут спустя за руку, чтобы спросить, что с ним, рука оказалась холодная — он был мертв. Сначала я было бросился к двери, чтобы позвать кондуктора, но затем мне пришла вдруг блестящая мысль — заменить мертвеца собою. Я снял с него быстро дорожную сумку, вынул из кармана бумажник, взял из него все документы и оказавшиеся до двух тысяч рублей денег, а также железнодорожный билет и багажную квитанцию и вместо них вложил в него свой паспорт, мои визитные карточки, мой билет и квитанцию и несколько рублей денег и снова положил бумажник в его карман, после чего лег спать. Уснуть я, конечно, не был в состоянии, но притворился спящим до прихода кондуктора.

Лизаро снова смолк, закурил потухшую папироску и, сделав продолжительную затяжку, продолжал:

— Томительно провел я эту страшную ночь в соседстве с мертвецом в ожидании кондуктора. Наконец, под утро дверь купе отворилась и вошел обер-кондуктор. «Ваши билеты, господа!» — сказал он громким голосом.

Я вскочил и протер глаза, как будто только что проснулся, и спросил его: «Что такое?» — «Ваши билет позвольте?» — повторил он снова. Я подал ему билет, взятый мною в сумке умершего, выправленный до Бреста, и спросил его, когда мы приедем в Брест. «В девять часов», — отвечал он мне и, подойдя к толстяку, стал его дергать за рукав: «Позвольте ваш билет, господин». Но господин молчал, и когда кондуктор дотронулся до него, то отскочил от него и с ужасом произнес: «Да он умер?» — «Ужели умер!» — с деланным ужасом воскликнул я. Сбежались кондуктора, и по прибытии поезда на станцию тело покойного было вынесено из вагона и составлен протокол, в котором обозначено, что скоропостижно умер дворянин Александр Лизаро. В этом протоколе пришлось расписаться и мне, что я и сделал, подписав: «Судебный следователь второго участка города Брест-Литовска Эдуард Иванович Лейн».

С этого момента Лизаро-двоеженец умер.

Приехав в Брест, я явился по начальству, познакомился со всеми и принял свой участок. Не будучи юристом, мне было довольно

трудно первое время; но когда я взял опытного письмоводителя и ознакомился с судебными уставами, дело пошло прекрасно. С первого же момента у меня созрел новый план действий послужить месяц-другой, а затем выйти в отставку и по получении таковой уехать жить в Петербург под именем отставного надворного советника Лейна. Но снова непредвиденное обстоятельство заставило меня поступить иначе. Оказалось, что у покойного Лейна была мать, живущая в Ревеле, которая, не получая писем от своего сына, стала прямо бомбардировать меня письмами, в которых удивлялась молчанию сына и, не понимая такового, писала, что собирается к нему приехать. Это-то обстоятельство и заставило меня поторопиться покинуть Брест. Но уезжать из Бреста и не извлечь пользы из такого положения, в каком я находился, был глупо, и я придумал, как извлечь эту пользу. В остроге сидели несколько богатых евреев, посаженных еще до меня моим предшественником, и вот я выпустил их всех, взяв с них тридцатитысяч рублей залогов и с этими деньгами уехал в Петербург. На берегах Невы я жил, конечно,

не под именем Лейна, а под вымышленной фамилией графа Рамбелинского, на имя которого подделал себе вид. Имея деньги и втеревшись в хорошее общество, я там женился на богатой купчихе Овчинниковой, за которую взял в приданое несколько домов. Дома я эти, конечно, заложил, а с вырученными деньгами уехал в Москву под предлогом устройства там фабрики. Фабрики я, конечно, никакой не устраивал, а кутил на славу. Писал своей жене в Петербург нежные письма, и в то же время выдавал себя за холостяка и женился в Белокаменной на зрелой, но весьма богатой княжне Туркестановой. С этой новой женой я прожил всего две недели. Взять с нее я успел только двадцать тысяч, так как приехала моя петербургская жена и нам угрожал большой скандал. Я, конечно, улепетнул.

— Однако, до сих пор вы все проделывали очень ловко... — заметил Николай Герасимович, когда Лизаро остановился. — Но что же дальше?

## VI ЛЮБОВЬ ПОГУБИЛА

— Сначала я хотел уехать за границу, но, не зная языков, решил остаться в России и отправился в Харьков. Там я жил по подложному документу на имя инженера Врасского и женился на вдове статского советника Рындиной. Эта жена была самая плохая, да и взял я за ней всего двенадцать тысяч. Из Харькова я направился на Волгу, жил в нескольких городах под разными фамилиями и наконец женился в Казани на дочери одного предводителя дворянства, фамилии которой я не назову, так как она через месяц после свадьбы умерла в то время, когда я жил с нею в деревне ее отца. Не умри она, я получил бы хороший куш, так как ее отец дал за нею большое имение, но я должен был дожидаться ее совершеннолетия, чтобы получить от нее доверенность на продажу и залог этого имения. Неожиданная смерть ее разрушила мои планы. Овдовев этой женой и получив от ее отца тысячонок пятнадцать, я уехал вниз по матушке по Волге и поселился под именем отставного флотского лейтенанта Новикова в Астрахани.

— Но неужели прожительство под чу-

жим именем и в России так легко? — удивился Савин.

— Легко, а главное безопасно. Если меня разыскивали мои многочисленные жены, а по их жалобам и судебные власти, то они искали разных Лейна, Рембелинского, Врасского и других, под чьими именами я прежде жил и был женат. Свежее имя меня очищало сразу, а чистый паспорт давал мне чистое поле к новой деятельности. Вам, как русскому, конечно, хорошо известны все приемы нашей полиции для розыска скрывшихся преступников и вообще разыскиваемых лиц. О розыске публикуется в «Сенатских объявлениях» да в «Ведомостях» обеих столиц. Эти публикации положительно никем не читаются, и только в одном Петербурге ведется в полицейских участках алфавитный список разыскиваемых в империи лиц. Для облегчения работы все разыскиваемые лица вносятся в разные книги по званию своему, так что есть книги для военных, для чиновников, для дворян и разночинцев. По предъявлении паспортов для прописки в участок, фамилия владельца паспорта просматривается в соответ-



ствующей книге. При этом, якобы, образцовом способе петербургской полиции могут попадаться только неопытные люди да дураки. Кто же, имея, распри с Фемидой, пойдет совать свой паспорт для прописки? Не правда ли?

Лизаро вопросительно посмотрел на своего собеседника.

— Конечно, кому придет в голову такая глупость...

— То-то и оно-то... Но мой способ перемен при приезде в каждый новый город имени еще лучше. При нем вам нечего бояться и петербургской образцовой полиции с ее разыскными книгами.

— Но кто же вам доставлял эти паспорта?

— Никто, я их делал сам... Я выучился вырезать из резины печати и штампея и делал себе всевозможные удостоверения, свидетельства и тому подобные бумаги, необходимые в России для свободного проживания и спокойствия. Вы знаете, что в России для того, чтобы быть вполне полноправным гражданином, надо состоять из трех главных основных элементов: души, тела и паспорта. Раз эти три

элемента налицо — все обстоит благополучно, хотя бы третий — паспорт и был фантастический. Полиция смотрит только на форму; выдан паспорт в установленном порядке, приложены печать и марки, значит паспорт действителен.

— А ответственность?

— Мне ее бояться было нечего... Семь бед — один ответ!.. Приехал я в Астрахань весною, ровно два года тому назад. Денег у меня было с лишком пятьдесят тысяч рублей и мне было не трудно втереться в лучшее общество города. Выдавая себя за моряка, и, будучи по профессии моряком, я вскоре сошелся с кружком морских офицеров и судовладельцев и через их посредство поступил на службу в общество «Кавказ и Меркурий» помощником капитана парохода «Эльбрус», а три месяца спустя женился на дочери одного крупного рыбака Платонова, за которой взял приданого полтораста тысяч.

— Это уж настоящий куш! — заметил Савин.

— Да, действительно, куш, — согласился Лизаро. — Такой блестящей женитьбы я еще

ни разу не делал, не только в отношении денег, но также в отношении мною взятой жены. Это была молоденькая, семнадцатилетняя девушка, хорошенькая и воспитанная, и я невольно ею увлекся. Это-то увлечение и погубило меня. У человека, сделавшего из женитьбы преступное ремесло, увлечение и любовь не должны были иметь места. Это то же самое, как если бы вор, украв что-нибудь, настолько восхитился бы прелестью краденой вещи, что стал бы ее носить на память на виду у всех.

Вот, благодаря этому увлечению, я, вместо того, чтобы взять деньги и уехать с ними, как я это делал до сих пор, остался в Астрахани, обзавелся домом и стал жить с молодой женой, как бы настоящий лейтенант Новиков. Отуманенный этою новою жизнью я возмечтал о почестях и высшем положении и с помощью протекции моей новой родни добился места капитана на том жй пароходе. Но при назначении на эту важную и ответственную должность правление общества обратилось за справками в морское министерство, которое ответило, что никакого отставного лейте-

нанта Новикова нет и указа об отставке за Но таким-то никогда выдаваемо не было. Эта справка, наведенная правлением общества в Петербурге, была сделана конфиденциально, и я ничего об этом не знал. И вот в один далеко не прекрасный день является ко мне полицеймейстер и просит меня отправиться с ним к прокурору, который меня и арестовал. Сначала я не признавался, но когда меня уличили в составлении подложных документов, по которым я жил и женился, а также в том, что я уже был женат, пришлось волей-неволей мне сознаться и раскрыть мое настоящее имя. Следствие длилось около года, после того меня осудили к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житие в Иркутскую губернию, а потом повезли судить по другим городам, где мною совершены были остальные преступления. Не раскрытою осталась только моя женитьба в Казани.

В Одессу я попал для очной ставки с моей первой женой, да с одним находящимся теперь в Одессе евреем, которого я выпустил под залог из брест-литовской тюрьмы. Осуди-

ли меня пока только в Астрахани, Харькове, Киеве, остается еще мне судиться в Бресте, Москве и Петербурге.

— Но как же отнеслись к вам ваши жены? — спросил, после некоторого молчания, крайне заинтересованный рассказом Николай Герасимович.

— Кроме настоящей, все остальные ревут, как белуги. В особенности была комична моя киевская жена, хохлушка. Она даже просила суд не расторгать брак и разрешить ей ехать со мной в Сибирь, чего, конечно, суд не уважил.

— А вам их не жалко?

— По правде сказать, мне жалко только одну последнюю мою астраханскую жену. Она такая была милая, и я сильно к ней привязался; жаль мне также ребенка, родившегося от этого брака! Такой славный мальчуган! Мне его привозила жена на прощанье, когда меня отправляли из Астрахани в Харьков.

— Куда же вас теперь везут?

— Теперь я буду судиться за судебного следователя, которого я изображал, и за роспуск жидов под залоги: это будет презабавное дело

и открылось оно весьма оригинально. Вообразите себе, что меня узнал на киевском этапе один из моих подследственных жидов, которого я как судебный следователь выпустил под залог тысячи рублей. Потеха была здоровая, когда мой жид вцепился в меня, стал кричать «гевалт» и требовал, чтобы я возвратил ему «пепендзы». Для очной ставки с этим-то жидом меня и возили в Одессу — он там содержится в тюрьме за другие совершенные им проделки.

— А не из приятных, должно быть, была для вас эта встреча?

— Какое там неприятно, мне, в сущности, безразлично, за эту брестскую проделку наказания меньше, чем за многоженство, всего только на житие в Сибирь.

— Да вы мне говорили, что вас присудили на житие в Иркутскую губернию?

— Да, но это вследствие снисхождения, данного мне судом, а могли закатить и с лишением всех прав состояния на поселение.

— А на поселение хуже?

— Один черт, разница только та, что нас, дворян, тогда отправляют в казенном аре-

стантском платье, да и то, если есть протекция в губернском правлении, можно выхлопотать идти в своем. Там же, в Сибири, что поселенец, что сосланный на житие — безразлично.

С таким интересным попутчиком-собеседником, как Лизаро, дорога от Одессы до Киева промелькнула для Савина незаметно.

В два часа дня на вторые сутки поезд остановился у киевской станции.

Погода была ужасная. Дождь лил, как из ведра, и, несмотря на это, партию высадили и повели в тюрьму, находящуюся на противоположном конце города, версты за три от вокзала.

В то время, когда партия строилась и Николай Герасимович стоял с приставленным к нему унтер-офицером, к ним подошел начальник конвойной команды.

— Я велел нанять извозчика для вас, — сказал он Савину, — а то пока дойдем до тюрьмы, вы промокнете насквозь. Ишь ливень какой.

Поблагодарив его за любезность, Савин сел с его земляком унтер-офицером в крытую

пролетку и поехал шагом вслед за партией.

## VII В СЕКРЕТНОЙ

По прибытии в тюремный замок, конвойный офицер снова выказал Николаю Герасимовичу свое внимание, поведя его с собой, не дожидаясь общей приемки партии, в контору и представил смотрителю.

— Вы меня извините, господин Савин, — сказал ему, однако, этот последний далеко не ласковым тоном, прочитав поданные ему конвойным писарем относящиеся к арестанту бумаги, — но я принужден буду вас тщательно обыскать и затем содержать в секретной камере; уж больно строго насчет вас предписание от одесского градоначальника.

Савину вывернули все карманы, заставили снять сапоги и провели в маленькую очень грязную одиночную камеру, носящую название «секретной».

В одесской тюрьме хотя его и содержали строго в отделении политических, но там камера была, по крайней мере, чистая, светлая и, наконец, в ней было все необходимое, начиная с кровати.



Здесь же, в киевской тюрьме, Николая Герасимовича посадили в какую-то грязную, вонючую камеру, где кроме нар никакой мебели не было.

Но что было всего ужаснее — это режим этой тюрьмы.

Савин не мог положительно добиться ничего купить на свои деньги, и на его требования ему было категорически объявлено, что выписка продуктов делается один раз в неделю, по субботам, а так как этап прибыл в понедельник, то ему предоставлялось ждать и голодать целых пять дней.

— Что же мне, умирать с голоду? — спросил он оборванного хохла-надзирателя.

— Нет, с голоду не умрете... Мы вам дадим казенной пищи...

И действительно, на следующий день в обеденное время хохол принес Николаю Герасимовичу в деревянной миске крайне сомнительной чистоты «хлебово», как он называл жидкость, долженствующую из себя изображать суп.

«Голод не тетка» — говорит пословица, но тут и голод не помог, и Савин не в силах был

съесть этого «хлебова» ни одной ложки.

— Проводите меня к смотрителю, в контору... — заявил надзирателю Николай Герасимович.

Хохол даже разинул рот от удивления и объявил, что из секретной камеры никого никуда не водят без особого разрешения начальства.

— Что же мне делать?

— Напишите прошение смотрителю, может быть, он сделает для вас исключение. Вот рядом в камере сидит «политик», так ему все полагается, свое получает...

Послушав совета надзирателя, Николай Герасимович написал смотрителю заявление, в котором просил его разрешить ему купить необходимые продукты, но получил отказ. Этот необоснованный отказ страшно взбесил заключенного, и он написал письмо к прокурору киевского окружного суда Н. Г. Медишу, его старому знакомому, с которым он был еще в бытность его товарищем прокурора в Туле в самых лучших отношениях.

Зная Медиша за прекрасного человека, Савин был уверен, что Медиш не посмотрит на

ту обстановку, в которой он теперь находится, и придет проведать его, а также, конечно, прикажет смотрителю обращаться с ним по-человечески.

Письмо это действительно произвело чудеса даже ранее, чем дошло по назначению.

В тюрьме поднялся целый переполох.

Не прошло и получаса, как Николай Герасимович передал его надзирателю, к нему явился смотритель.

— Вы жалуетесь на меня господину прокурору, что я вас будто бы притесняю и не даю ничего, — начал вкрадчивым голосом смотритель. — Чего же вы желаете, господин Савин?

— Я желаю, прежде всего, есть, так как сижу по милости вашей и ваших удивительных порядков уже второй день на пище святого Антония, и получая как дворянин пищу не натурой, а деньгами, я имею, мне кажется, право выписывать, что пожелаю.

— Так-то так, но у нас, видите ли, господин Савин, заведено, что выписка бывает раз в неделю, а потому я приказал вам давать не в счет вашего порциона казенный обед. Разве

вы его не получали?

— Мне приносили какую-то бурду, но я есть ее не мог, так как к такой пище не привык... Вот почему я и написал Николаю. Григорьевичу, прося его, по старой дружбе, приехать проведать, меня и распорядиться о том, что вы считаете невозможным для меня сделать, то есть купить мне колбасы и белого хлеба.

— Хорошо, я сейчас распоряжусь, и вам все купят, а вы уж письмо к господину прокурору перепишите, не стоит его беспокоить по пустякам... — сказал, уходя, смотритель, оставив письмо на подоконнике.

После его ухода Николаю Герасимовичу вскоре принесли все, что он просил, и кроме этого еще целую миску вкусного борща сговядиной, который ему послал смотритель от себя, что убедило наглядно Савина, что знакомство с прокурором в его положении, вещь далеко не бесполезная.

К счастью, в этой ужасной киевской тюрьме ему пришлось пробыть всего три дня, на четвертый уходил этап на Москву, с которым он и был отправлен.

От Киева до Курска дорога показалась ему очень скучной, так как в партии никого из интеллигентных и интересных не было и ему пришлось сидеть в обществе конвойных солдат.

В Курске принял этап московский конвой под начальством очень милого, совсем молоденького поручика.

При первом же обходе арестантов последний разговорился с Николаем Герасимовичем и был так любезен, что пригласил его в свое отделение, в котором он и доехал до Москвы.

Поручик оказался очень благовоспитанным и веселым человеком, но главное, человеком с душой, вникающим в положение людей.

Это последнее он доказал своим крайне гуманным отношением к Савину во время всего пути.

По приезде на Курский вокзал, поручик предложил Николаю Герасимовичу находиться при нем и следовать за этапом стороной по тротуару, вместе с ним.

— Так меньше будет заметно ваше положение, — сказал он ему.

По прибытии в московскую центральную пересылочную тюрьму начались снова мытарства и все благодаря этому «строжайшему» предписанию одесского градоначальника, находящемуся при бумагах Николая Герасимовича.

Вместо того, чтобы посадить его в общую «дворянскую камеру», его засадили в «секретную», помещающуюся в одной из башен, куда сажают только политических преступников.

Савин протестовал, но, в конце концов, должен был подчиниться.

Здесь он пробыл в одиночестве четверо суток до отхода этапа в Петербург.

Этап в Петербург отходил из Москвы каждый четверг и принимался петербургской конвойной командой, которая днем раньше прибывала с петербургским этапом в Москву.

В Петербург этапы бывают большею частью не велики, и тот, с которым отправили Савина, состоял всего из тридцати человек, в числе которых «привилегированный» был один он.

Офицера при этапе не было, и его заменял

старший унтер-офицер.

Скучно было Николаю Герасимовичу во время этого суточного пути, и чем ближе подъезжали они к Петербургу, тем сильнее одолевала его эта томительная скука.

Легко понять всякому то удручающее впечатление, в котором он находился.

Разбитый физически и нравственно, омраченный настоящим его положением, наконец, усталый от всех перенесенных им тюремных и этапных мытарств за время этого двухнедельного путешествия от Одессы, ослабевший от голода и недостатка сна, он сделался страшно нервным.

При возбужденной же нервной системе человек становится чувствительным ко всему переживаемому. Картины, одна печальнее другой, проносились в его голове.

Момент разрушенной надежды, когда он был почти у пристани, восставал перед ним. Он как-то странно, смутно припоминал, как он очутился на пароходе «Корнилов».

Он был до того потрясен, что по прибытии на пароход впал в какое-то бессознательное состояние.

Это был не обморок или потеря чувств физических, но полнейший нравственный столбняк.

Он помнит, что ходил по пароходу, пил, ел, отвечал на предлагаемые ему вопросы, но делал все это машинально, в полной бессознательности, не понимая, где он находится и что с ним делают.

В таком положении механического манекена пробыл он почти сутки.

Когда наконец он пришел в себя, то увидел, что сидит на палубе парохода, идущего на всех парах, по необозримому, сильно волнующемуся морю.

Оглядевшись кругом, как человек только что проснувшийся после долгого сна, он заметил сидящего недалеко от него высокого, худого, с ястребиным носом и необычайно длинными, черными усами каваса русского консульства.

Присутствие этого смутлого арнаута заставило его вспомнить обо всем случившемся и понять его настоящее положение: он был арестован и препровождался в Россию.

Значит, все его надежды, все его мечты



рухнули, разбились, как морская волна о прибрежные утесы, и он свалился с той высоты, на которую было с таким трудом поднялся.

Все было кончено!

Он был уже не блестящий французский граф, претендент на болгарский престол, а снова русский корнет Савин, узнанный, уличенный, арестованный.

«Все кончено!» — сказал он себе.

Воздушные замки, грезы и мечты, лелеянные им, были разбиты и отошли уже в прошлое. В настоящем полная неопределенность — хотя с темной и ужасной перспективой.

Вот каково было его положение тогда. А что ожидало его в России? Мытарства тюрьмы и этапа, которые для него теперь уже близились к концу, а тогда стояли еще только зловещим призраком будущего.

Понятно, что у него появилась мысль бежать во что бы то ни стало.

Бежать, но когда?

Он хорошо понимал, что раз он ступит на русскую землю, там будут приняты самые строгие меры, чтобы довести его до Петербур-

га, а поэтому самое удобное было бежать теперь, с парохода.

С этой целью Николай Герасимович завел разговор с сидевшим рядом с ним за обедом капитаном парохода и стал его расспрашивать о курсе парохода, о заходах его в какие-либо порты, о близости берегов или каких-либо островов и так далее, и узнал от него, что «Корнилов» идет прямо до Одессы, не заходя ни в какие порты, и рейс его вдали от берегов. В одном только месте, близ устья Дуная, он проходит в недалеком расстоянии от румынского берега и единственного имеющегося в Черном море острова.

Узнал он также, что на этом острове есть маяк, который будет виден с «Корнилова», так как пароход пройдет всего в трех-четыре верстах от него, в первом часу ночи на вторые сутки пути.

Намотав все это себе на ус, Николай Герасимович стал обдумывать план бегства. Вышло, что оно, хотя и рискованно, но все-таки возможно.

Для этого нужно было взять один из многочисленных спасательных кругов, висевших

на борту парохода, и надев его на себя, броситься в море во время прохода «Корнилова» близ этого румынского острова. Ночная темь должна скрыть бегство.

Будучи хорошим пловцом, доплыть расстояние в три версты он вполне надеялся, в особенности с помощью спасательного круга, да и не об этом была главная забота. Самым трудным в этом бегстве было обойти бдительность каваса, не отходившего от него, ни на шаг и могущего, конечно, помешать исполнить задуманный план.

Единственным местом, где он оставался один, без его назойливого общества, была каюта. В нее кавас не осмеливался проникать, довольствуясь охраной арестанта, стоя у двери.

Из этой-то каюты и надо было найти способ удрать.

Осмотрев ее, Савин убедился, что это было весьма возможно.

Люк в каюте был настолько велик, что человек мог свободно пролезть в него, но надо было уж отказаться от спасательного круга, так как в каюте его не было, да он и не про-

шел бы в отверстие люка.

Конечно, он не посмотрел бы на это и решился бы все-таки исполнить задуманное, если бы к вечеру не усилился ветер и не взволновал бы до тех пор спокойное море.

В бурю решиться на такое бегство было бы безумием.

Это была бы верная гибель.

Он понял, что бежать ему не судьба и отдался на волю ожидающих его случайностей.

Он помнил теперь, что это решение как-то странно успокоило его и он неожиданно для себя крепко заснул на диване каюты.

Проснувшись ранним утром, он вышел на палубу.

Погода была восхитительная, буря стихла, и пароход шел по зеркальной поверхности моря.

На горизонте виднелась черная полоса — это был русский берег. Сердце его томительно сжалось, его охватило гнетущее чувство страха неизвестности.

Черная полоса на горизонте становилась все явственнее, и вскоре можно было разглядеть молы и другие высокие постройки одес-

ского порта.

Все это неслось в воспоминаниях Савина, сидевшего в арестантском вагоне николаевской железной дороги.

## VIII В ДОМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**П**етербург!  
Как много в этом слове соединилось воспоминаний для Николая Герасимовича Савина!

Тут прошла его бурная юность! Тут жил предмет его первой настоящей любви — «божественная Маргарита Гранпа» — при воспоминании о которой до сих пор сжимается его сердце. Тут появилась в нем, как недуг разбитого сердца, жажда свободной любви, жажда искренней женской ласки, в погоне за которыми он изъездил Европу, наделал массу безумств, приведших его в конце концов в этот же самый Петербург, но... в арестантском вагоне. Дрожь пробежала по его телу, глаза наполнились невольными слезами.

Поезд в это время остановился у Николаевского вокзала.

Для избежания скандального шествия по городу, где на каждом шагу он мог встретить знакомые лица, Николай Герасимович на последний оставшийся у него рубль нанял карету, в которой и доехал до Демидова переулка, где тогда помещалась пересыльная тюрьма.

Не успели еще затвориться тяжелые железные ворота за въехавшей вслед за этапной каретой, как у ее дверей появился старший надзиратель.

— Вы корнет Савин?

— К вашим услугам.

— Пожалуйте в контору...

— У меня есть уже распоряжение отправить вас немедленно в дом предварительного заключения... — сказал Николаю Герасимовичу при входе его в контору седой худощавый подполковник, оказавшийся начальником тюрьмы.

Через полчаса въехала во двор тюрьмы извозчичья карета, в которой и отправили Николая Герасимовича с двумя надзирателями в дом предварительного заключения.

Дом предварительного заключения! Само название этого учреждения звучит как-то

мягче и нежнее, нежели тюрьма.

Так думал Савин и хотя знал, что его везут туда не для развлечения, ему все-таки было как-то легче туда ехать, нежели в тюрьму.

В нем жила надежда, что с этим более мягким названием связано и более мягкое отношение к людям, находящимся, по воле судеб, в этом образцовом учреждении современной Фемиды.

И действительно, подъезжая по Шпалерной улице к этому «заведению», не заметишь ничего тюремного: дом, как дом, у ворот ни будки, ни часового, а дворник в красной рубашке и фартуке, с метлой в руках.

Карета въезжает во двор, подъезжает к подъезду.

Подъезд настезь, швейцар в ливрее, как в самом аристократическом доме, выбегает, отворяет дверцы кареты и при этом, спрашивает:

— Чемоданчик прикажете тоже мне захватить?

«Какая цивилизация в тюремном деле! — мелькало в голове Николая Герасимовича. — Это отель, а не тюрьма».

С этую мыслью он вошел в прекрасно меблированную комнату оказавшуюся контрою.

Портрет Государя над письменным столом, за которым сидел толстенький лысоватый господин в военном сюртуке со жгутами, один оттенял официальность этого помещения.

Толстенький господин, оказавшийся помощником смотрителя, надел на нос золотое пенсне и очень любезно раскланялся с вошедшим, даже привстав.

— Вы корнет Савин? — спросил он мягким голосом.

— Точно так.

— О вашем прибытии мне уже сообщили по телефону, садитесь, пожалуйста.

Он любезно указал Савину на стоявший у письменного стола стул.

— Кто сообщил вам о моем прибытии? — удивленно сказал Николай Герасимович.

— Сначала мне сообщили со станции николаевской железной дороги о прибытии вашем с этапом, а затем, полчаса тому назад, еще из двух мест: от прокурора и из пере-



сыльной тюрьмы, откуда вы были отправлены. Да мы и раньше знали, что вы к нам сегодня придёте, во всех газетах было сообщение о вашем выезде из Москвы.

— Так вот как! Значит обо мне заботятся?

— Как же, как же... Почти ежедневно со дня вашего ареста в Константинополе что-нибудь о вас пишут, — сказал он, смеясь. — Не хотите ли курить?

Он любезно подал Савину свой серебряный портсигар.

— А это у вас разрешается?

— У нас все разрешается, кроме женщин и спиртных напитков, но и эти последние вы можете получить с разрешения врача.

— Да у вас настоящая гостиница! — заметил с улыбкою Николай Герасимович.

— Да, вот увидите! Наверное, после всех тюрем, которые вы прошли, теперь отдохнете у нас. Пойдемте, я вас отведу в вашу камеру.

Выйдя из конторы по парадному подъезду и поднявшись по нескольким ступеням, они подошли к тяжелой полированной двери.

На данный звонок дверь отворилась, и они вошли в достаточно светлый и очень широ-

кий коридор.

По левой его стороне были расположены в четыре этажа камеры с однообразными дубовыми дверьми и ярлыками, на которых были обозначены номера их. К ним вела железная, с такими же перилами лестница.

По другую сторону коридора были огромные, как бывают в мастерских художников, окна, но с матовыми стеклами, пропускавшими мягкий свет, но не позволявшими не только ничего видеть, что происходит на улице, но даже и железных решеток, которыми они были снабжены.

Поднявшись на третий этаж, Николай Герасимович и помощник смотрителя, в сопровождении старшего надзирателя, встретившего их еще при входе, вошли в одну из камер.

Аршин четырех ширины и шесть длины, камера эта, освещавшаяся четырехугольным окном, находящимся от пола на высоте трех аршин, была безукоризненной чистоты. Высота ее была три аршина.

Стены ее были выкрашены свежей масляной краской, асфальтовый пол был натерт

воском, а железная кровать со всем необходимым, стол и табурет составляли ее убранство.

— Ну, вот и ваша квартира пока, — сказал Савину любезно помощник смотрителя, — располагайтесь и отдыхайте... Вы, наверно, устали с дороги... Если вам что-нибудь будет нужно, то позвоните.

Он указал на пуговку электрического звонка.

Раскланявшись и пожав руку Николая Герасимовича, он вышел.

Савин остался один.

Несомненно, что одиночное заключение не представляет особой прелести, оно, оставляя человека постоянно с его думами, очень тяжело, подчас даже невыносимо.

Но человек привыкает ко всему.

Николай Герасимович уже просидел достаточно времени в одиночных тюрьмах Западной Европы, чтобы привыкнуть.

Разница была, впрочем, та, что там он был при деньгах и, значит, мог пользоваться всеми удобствами, в дом же предварительного заключения он буквально прибыл без гроша и даже без табаку.

Последнюю египетскую папиросу он выкурил на станции Колпино.

Таким образом, он испытывал всю тяжесть положения человека, сидящего в тюрьме без всяких средств, но тут-то и сказалась сердечность начальства этого образцового тюремного учреждения.

Ничего подобного Савин не встречал ни в одной тюрьме Западной Европы.

Даже обыкновенная арестантская пища была более, чем порядочная, в особенности, если принять во внимание, что от казны отпускалось всего по шести копеек на человека, но положение Николая Герасимовича постарались улучшить отпуском ему лазаретной пищи и покупкой ему из каких-то пожертвований, имеющихся в распоряжении тюремного начальства, чаю, сахару и даже табаку.

За все это он впоследствии уплатил, но где же это сделали бы, в какой европейской тюрьме?

Дом предварительного заключения, конечно, тюрьма, и тюрьма, устроенная по образцу одиночных тюрем Западной Европы, даже с одинаковым с ними режимом, но благодаря

русскому благодущию, той русской простоте, а главное, русскому сердцу, бьющемуся в груди даже у тюремщиков, с чисто русской теплотой, в эту одиночную, со строгим режимом, тюрьму внесена русская простота, душевность и жалостливость ко всякому несчастному.

Нет, действительно, людей более добрых и сердечных, как русские.

Эта душевность и сердечность есть как бы отличительное свойство, присущее лишь русскому народу, и нигде в мире, ни у одной нации нет столько чувствительности, столько сердечной теплоты, как в русском человеке.

Эти свойства проявляются везде и во всем и не могли не отразиться и не наложить благотворную печать даже на таком иноземном учреждении, как одиночная тюрьма.

Конечно, не обезьянничай мы перед Западом, не перенимай всего западно-европейского, наверное, мы даже бы не придумали своим умом, и это, несомненно, к нашей чести, такого милого современного инквизиционного заведения, как одиночная тюрьма.

Но по несчастью, со времени петровских

реформ в России постоянно увлекались всем иностранным, а наш интеллигентный класс, выбритый и одетый в европейский костюм Великим Петром, с палкою в руке, до того холопски вошел в свою роль, что, увлекаясь всем иностранным, стал одно время пренебрегать и чуждаться всего русского.

Заполонившие же в то самое время Россию немцы помогли нашим бритым и переряженным в европейцев интеллигентам довершить то, к чему они старались нас вести: убить все национальное и онемечить Россию.

К великому счастью для нашей родины, в последние годы русский дух снова воспрянул.

Мы стали понимать, что Западная Европа допеваёт свою песню, а Россия, полная молодой силы, только оживает.

Мы поняли, что нам нет надобности с завистью смотреть на заморские порядки, убедившись, что зачастую то, что там оказывается пригодным и хорошим, у нас никуда не годится.

У нас совершенно другие условия: наша жизнь, склад ума и потребности — все иное.

Из мощной русской груди раздался отрад-

ный крик: «Не ей нас учить!»

К чему, действительно, нам благоговеть перед Европой?

Наша русская жизнь сложилась иначе, наш русский народ не тупоумный, кропотливый немец, не легкомысленный француз, не торгаш-кулак англичанин!

Это сердечный, смелый и великодушный народ, геройски перенесший монгольское иго, язву крепостного права, взяточничество бюрократии и, наконец, невежество, в котором его так долго держали!

И что же?

Проснувшись наконец, стряхнув с себя все эти цепи, он остался добр и младенчески незлобливо прощает тем, кого он имел бы право проклинать.

Герой и дитя — вот определение русского народа, и мы должны перед ним преклоняться до земли.

Если же мы, русские, были до сих пор так близоруки, что увлекались Западом, но этот самый Запад, мудрый, отживающий, хорошо видит и понимает силу и великую будущность России.

Эта сила кроется в характере, складе ума и душевных качествах Русского народа.

Такие или почти такие мысли пронеслись в голове Савина, заключенного в одной из камер русского заморского заведения, но чувствовавшего даже сквозь толстые стены одиночной тюрьмы биение пульса русской жизни, стонявшего, казалось, с этих стен их мрачность и суровость.

Николай Герасимович, оставленный волею закона наедине с самим собою, невольно предался воспоминаниям.

Перед ним одна за другой проходили картины его детства, юности — прошедшей в том самом Петербурге, которого он даже и не видел теперь, но чувствовал за этими стенами своей тюрьмы — заграничной жизни, привольной и сладкой жизни, перемены ощущений, подчас невзгод, но в общем надежд и мечтаний.

Он дошел наконец в своих воспоминаниях до момента приезда к нему в Брюссель любимой им и горячо его любящей женщины, блестящей львицы парижского полусвета — Мадлен де Межен, привезшей ему обрадовав-



шую его весть о распространившемся слухе о его смерти.

Он жил тогда в Бельгии под именем Сансака де Траверсе, и надежда возродиться к новой жизни, покончить с безумным прошлым, чудным цветком распустилась в его сердце.

Жизненный мороз скоро подкосил этот цветок.

Это было сравнительно еще так недавно... но лучше расскажем по порядку хотя часть томительных воспоминаний заключенного.

## IX ОПЯТЬ ЖЕНЩИНА!

Перенесемся и мы вместе с Николаем Герасимовичем Савиным года на два назад до описанных нами событий.

Мм застаем его в Брюсселе в тот момент, когда газеты всего мира оповестили о его смерти под колесами железнодорожного поезда и когда ему, после жизненных тревожных и скитальческой доли последнего времени, заблестела звезда надежды на возможность спокойной жизни под избранным им новым именем маркиза Сансака де Траверсе.

Эту надежду поддерживала и одухотворя-

ла любимая и любящая женщина Мадлен де Межен, променявшая свой роскошный отель шумного Парижа на скромную квартирку на уединенной улице тихого Брюсселя.

Кто не испытал разлуки, разлуки насильственной, тот не в силах будет понять страданий, которые переносят разлученные силою, не всякому будет легко представить себе ту радость, то счастье, которое испытал Николай Герасимович при приезде в Брюссель любимой женщины после этой долгой насильственной разлуки.

После первых порывов обоюдного восторга и нескончаемых ласк оба они первым делом стали обдумывать свое настоящее положение, соображаясь с их делами и надеждами.

Вопрос был для них слишком серьезен, от него зависела вся их жизнь, их счастье.

Мадлен де Межен сообщила Савину, что она все распродала в Париже, даже сдала их общую квартиру на Avenu Villier, оставив только необходимые вещи, и что по уплате долгов у нее осталось двадцать пять тысяч франков, которые она положила на текущий счет в «Лионский кредит».

Конечно, этих денег было слишком мало, чтобы ехать тотчас же в Америку, как они проектировали, и начать там что-нибудь серьезное.

Необходимо было дождаться денег из России, но где было их дожидаться?

Этот вопрос являлся, по отношению к безопасности Николая Герасимовича, самым животрепещущим.

По его мнению, в Бельгии представлялось менее риска, чем в какой-либо другой стране.

Хотя распространенное газетами известие о его смерти и должно было на первое время усыпить бдительность разыскивающих его полицейских агентов, но Савин понимал, что последние не особенно-то доверчивы к газетным сообщениям и их профессиональный нюх будет, напротив, крайне заинтересован отсутствием трупа раздавленного поездом человека, и найдутся даже чиновники-любители, которые по собственной инициативе займутся разьяснением этого дела.

В этом мнении утвердила Савина прочтенная в одной из парижских газет заметка, в которой было ясно выражено сомнение в смер-

ти «знаменитого Савина».

Предположение, чтобы русские власти разыскали его в Бельгии, да еще под громким именем маркиза де Траверсе, о принятии которого им не могло быть известно, казалось Николаю Герасимовичу невероятным.

Во Франции, Италии и других странах, где его хорошо знали, где все читали о его двух бегствах и вообще обо всем случившемся с ним, было, конечно, опаснее жить, чем в Брюсселе, в незнакомом городе, под прикрытием чужого имени и скромной уединенности.

В силу этих-то соображений он и Мадлен решили остаться в Брюсселе.

Скрывшемуся так французу или итальянцу в России, конечно, предосторожностей, принятых Савиным, было не вполне достаточно, но в Бельгии, одной из стран Западной Европы, где интересы других народов соблюдаются так же, как и свои собственные, надо было, как оказалось, быть осторожнее и скрываться еще тщательнее.

В России привыкли смотреть на вещи иначе, чем смотрят люди за границей, поэтому

русским и не приходит в голову, например, таких вещей, чтобы в Бельгии хлопотали об интересах Германии и Франции, как о своих собственных, а между тем то, чего русские почти не знают и не понимают, то есть международная солидарность, существует во всей Западной Европе.

Там между государствами, или точнее, между полицией разных государств тесная связь, о которой русские люди не имеют никакого представления.

Там достаточно телеграммы или письма какого-нибудь полицейского комиссара, или агента парижской, берлинской или миланской полиции к префекту или управлению другой иностранной полиции, в Брюсселе, Женеве или Вене, чтобы вся эта брюссельская, женевская и венская полиция была тотчас же поставлена на ноги по иностранному делу, как бы по своему собственному и заподозренные лица разысканы и арестованы до выяснения дела и присылки всей подробной о них переписки.

Эта-то международная солидарность и привела Николая Герасимовича к новым мы-

тарствам жертвы настойчивого полицейского розыска.

Розыски, разные публикации в специальных полицейских интернациональных газетах и листках, издаваемых в Лондоне, Берлине, Париже и Майнце на четырех языках (французском, немецком, английском и итальянском), — все это надвигалось на Савина грозными тучами.

Берлинские агенты ездили по его следам в Голландию, и весь инцидент, случившийся с ним в Скевеннинге, произошел вследствие приезда в Гаагу немецких сыщиков, так что если бы Николай Герасимович не убежал тогда, он, наверное, был бы арестован и выдан еще из Голландии.

Конечно, прусская полиция действовала только ввиду отместки, не будучи в праве требовать его выдачи, разыскивая его с целью направить на него русские власти в случае удачного розыска.

Ей было важно найти Савина, чтобы дать немедленно знать по телеграфу кому следует в Россию о месте его пребывания и смыть пятно, наложенное на ее полицейскую репу-

тацию его бегством.

Оказалось, что после его удачного бегства из «Hotel d'Orange» в Скевеннинге, немецкие сыщики, потеряв его след, вообразили, что он уехал в Париж, а потому обратились к парижской префектуре, прося ее следить за проживающей в Париже любовницей Савина Мадлен де Межен.

Эти-то наблюдения и привели ко всем неприятностям и аресту Николая Герасимовича в Брюсселе.

Парижская полиция, узнав об отъезде Мадлен де Межен в Брюссель, сообщила о том берлинской полиции, в силу все той же международной полицейской солидарности.

На основании этого сообщения в Брюссель не замедлило прийти такое же сообщение из Берлина с описанием примет Савина и приложением его фотографической карточки, полученной немецкой полицией из Парижа.

Конечно, этого было вполне достаточно, чтобы брюссельская полиция принялась немедленно за розыски Николая Герасимовича и нашла его.

Найти его было не трудно, особенно благо-

даря приезду Мадлен де Межен.

Ее красота, элегантность, туалеты и особый парижский шик, выделявшие ее из толпы, бросались в глаза.

Самый простенький, темный туалет имел в Мадлен всегда отпечаток особого тона и шика, что невольно притягивало взоры всякого встречного, а не только ищущих ее, а по ней Савина, брюссельских сбиров.

Кроме того, хотя никакой формальной прописки паспортов в Бельгии не существует, но есть другие меры, вполне заменяющие ее.

В силу полицейских правил, всякий хозяин дома, гостиницы и даже частных квартир, отдаваемых внаем, обязан доносить полиции о приезде всякого иностранца с обозначением данных им хозяину сведений о его имени, звании и национальности, и таким образом всякий иностранец, проживающий в Бельгии более трех дней, бывает внесен в негласные полицейские списки, о чем он даже не имеет никакого понятия, так как это делается не им, а его хозяином и даже без его ведома.

Такие негласные меры, предпринимаемые полицией, много существеннее для полиции



и опаснее для скрывающихся, чем все строгие прописки видов и другие формальности, которые всегда можно обойти и избежать, зная о них.

На эту-то удочку, на которую попадались уже многие, попался и Николай Герасимович Савин.

Дней через десять по приезде Мадлен де Межен в Брюссель, Савин поехал утром на почту и по возвращении домой Мадлен рассказала ему, что в его отсутствие приходил какой-то чиновник, желавший непременно его видеть, и так как она сказала ему, что не знает, когда он вернется, то посетитель стал ее расспрашивать о его имени, летах, месте его рождения и надолго ли он приехал в Бельгию, а также о том, законная ли она жена или нет и как ее зовут.

На вопросы ее, к чему все эти сведения, он ответил, что обо всех иностранцах, проживающих в Бельгии более продолжительное время, собираются сведения для статистической цели, и что он чиновник муниципального совета, которому поручено это дело.

Это сообщение Мадлен и визит незнаком-

да очень встревожили Николая Герасимовича, и он высказал свои опасения Мадлен.

— Это, голубушка моя, — сказал он ей, — не чиновник статистического комитета, а просто сыщик.

— Мне самой показались странными некоторые его вопросы, — отвечала она, — к чему непременно ему надо было знать для статистики Бельгии, жена ли я твоя или нет.

— Конечно, это, наверное, сыщик и визит его не предвещает ничего хорошего... Нет, моя милая, надо принять безотлагательно меры предосторожности и, по моему мнению, самое лучшее будет, если мы сегодня или завтра уедем из Брюсселя и даже из Бельгии.

— Странно-то, странно, — заметила Мадлен, — но я все же думаю, что ты преувеличиваешь опасность... Если даже это был полицейский сыщик, то нет основания после первого же его визита бежать без оглядки.

— Что же, дожидаться его второго визита? — с иронией спросил Савин.

— Отчего же и не дожидаться... По-моему, всего благоразумнее показаться равнодушными к этому визиту и спокойствием стараться

отвлечь всякие подозрения полиции. Поверь мне, если бы ты был узнан и о выдаче твоей было бы формальное требование из России, полиция не стала бы церемониться и арестовала бы тебя без всяких предварительных засылков своих агентов.

Доводы эти показались Николаю Герасимовичу довольно основательными, да и когда же доводы любимой женщины кажутся нам иными?

Но... «пуганная ворона куста боится», и Савин все-таки стал уговаривать и уговорил Мадлен поехать жить в Лондон.

Они стали собираться к отъезду.

Будь Николай Герасимович один и не подсмеивайся над его страхом Мадлен, он уехал бы, замаскировав свой отъезд и скрыв следы, но насмешки любимой женщины его стесняли и ему совестно было проявить перед ней трусость.

Таким образом было потеряно три дня.

Этой медлительностью он погубил себя и в этой гибели, как, и во всей его предшествовавшей жизни, была виновата женщина.

## АРЕСТ

Прошло три дня.

Однажды утром, часов около девяти, когда Савин и Мадлен еще покоились сладким сном, в их спальню торопливо вошла квартирная хозяйка госпожа Плесе.

— Маркиз, маркиз!.. — стала она расталкивать спавшего Николая Герасимовича.

— Что, что такое?.. — широко раскрыв глаза, спросил он.

— Там вас спрашивают какие-то два господина... — с видимым волнением и тревогой в голосе продолжала госпожа Плесе.

— Кто они и что им надо?

— Это опять, вероятно, они! — воскликнула проснувшаяся Мадлен.

— Да, маркиза, один из них, действительно, тот самый, который приходил сюда на днях, а другой — наш полицейский комиссар.

— Мы погибли!.. — побледнела Мадлен де Межен.

Действительно, для нее и для Савина не оставалось сомнения, что эти господа пришли арестовать лицо, о котором один из них наводил такие подробные справки.

Первой мыслью Николая Герасимовича было бежать.

Как только хозяйка вышла из спальни, он вскочил с кровати и подбежал к окну, чтобы посмотреть, нет ли кого у подъезда.

Оказалось, однако, что комиссар принял все меры предосторожности, и у ворот дома стояли два полицейских сержанта в форме и два каких-то штатских господина, видимо, сыщики.

Никакой надежды на спасение не было, и Савину оставалось только отдаться в руки правосудия.

В нескольких словах он передал Мадлен тот образ действия, которого они должны были держаться, и те показания, которые она должна была дать, если ее спросят о нем.

— Голубчик, Мадлен, — спеша шепотом говорил он, — себя ты должна назвать своим настоящим именем, а не моей женой, как это было до сих пор. Про меня же — что я не Савин, а, действительно, маркиз Сансак де Траверсе.

Молодая женщина слушала, лежа в постели, бледная, вся дрожащая, и лишь наклоне-

нием головы соглашалась на просьбы Савина.

Видимо, страшное волнение мешало ей говорить.

— Впрочем, все это пустяки, — продолжал он, — и ты можешь успокоиться, меня, вероятно, поддержат несколько дней, твои показания будут в мою пользу, против меня не будет никаких других доказательств, и они принуждены будут меня выпустить. Во всяком случае, умоляю тебя, не падай духом, возьми хорошего адвоката, чтобы он руководил тобой в моем деле.

Не успел Николай Герасимович окончить беседу с Мадлен, как в дверь раздался стук и, не дождавшись даже разрешения войти, ее отворили, и в комнате очутились два господина — полицейский комиссар, опоясанный своим официальным шарфом, и мнимый чиновник статистического бюро — сыщик.

Такое более чем бесцеремонное появление в спальне, где лежала еще в постели дама, взбесило Савина и он бросился к ним навстречу.

— Что вам угодно, и какое вы имеете право врывать в мою и моей жены спальню?..

— Входим мы сюда вследствие законного права, — ответил сухо комиссар, — я пришел именем закона вас арестовать, господин Савин.

— Меня зовут маркизом Сансаком де Траверсе, а не Савиным, и вы, должно быть, ошиблись, явившись сюда. Во всяком случае, прошу вас немедленно выйти отсюда, так как вы видите, что моя жена еще в постели и не одета.

— Все эти басни нам давно известны и не подействуют на меня, господин Савин... — возразил комиссар. — Мы знаем, что вы русский офицер, а не французский маркиз, вследствие этого вы обвиняетесь в ношении чужой фамилии. Лежащая же в постели женщина не ваша жена, а парижская кокотка Мадлен де Межен.

— А вы сыщик и нахал! — воскликнул Николай Герасимович вне себя от бешенства. — Вон отсюда! Я у себя, а та, которую вы осмелились сейчас оскорбить, женщина, которую я люблю и уважаю, и за которую я сумею постоять!..

С этими словами он схватил комиссара и

его спутника и выгнал их в шею за дверь спальни, после чего запер за ними дверь на ключ.

Ошеломленный неожиданным отпором, комиссар, видимо, первые минуты не знал, что предпринять, и лишь затем, спохватившись, стал звать себе на помощь стоявших на улице полицейских сержантов и агентов, которых вскоре набрался полный дом.

Они шумели, ругались, неистово стучали в запертую дверь спальни, грозя ее сломать, если Николай Герасимович не отопрет.

Последний тоже им отвечал ругательствами и угрозами.

— Я застрелю первого, который осмелится войти в спальню раньше, нежели встанет и оденется моя жена! — заявлял он.

— Вам, господин комиссар, я объявляю, что права меня арестовать я за вами не признаю, я требую формального приказа от королевского прокурора, без которого не подчинюсь и не последую за вами.

Видя упорство Савина и совершенно законное его требование о предъявлении ему письменного постановления (manda



d'ammene) на его арест от судебной власти, комиссар поехал за этим постановлением к прокурору, оставив для охраны дверей спальни своих подчиненных.

Прошло около часа его отсутствия.

Этим временем Николай Герасимович воспользовался, чтобы успокоить совершенно убитую горем молодую женщину.

Она рыдала и винила себя во всем случившемся:

— Это я, я погубила тебя! Это я уговорила тебя не торопиться с отъездом в Англию. Я теперь вижу, что ты был прав. Надо было уехать без оглядки и не оставаться ни минуты в Брюсселе, после подозрительного визита этого статистика... — с рыданием говорила она.

— Ну, перестань плакать, теперь слезами не поможешь, да и ничего опасного для себя я не вижу в моем аресте, — старался успокоить ее Савин, — пока нет требования о выдаче меня от русской судебной власти. За ношение чужого имени не Бог весть какое наказание: недели две ареста, так что я могу быть освобожден раньше, нежели что-нибудь придет

из России.

В половине одиннадцатого вернулся комиссар и стал во имя закона требовать, чтобы ему отворили дверь, иначе он угрожая сломать ее, а Николая Герасимовича привлечь к ответственности за явное неповиновение закону и властям.

Так как Мадлен была уже одета, то Савин не нашел более препятствий исполнить его требование и отворил дверь.

Комиссар вошел не один, а с целой ватагой агентов и полицейских сержантов, которые всей гурьбой бросились к Николаю Герасимовичу и вцепились ему в руки, ноги и платье, как стая гончих собак в затравленного волка.

Не будучи в состоянии защищаться от такого множества необузданных полицейских, Савин только громко протестовал против такого насилия.

Мадлен де Межен вся в слезах также бросилась к комиссару.

— Господин комиссар, ради Бога, прекратите это возмутительное насилие, уверяю вас, что он вполне подчинится вашему законному требованию и последует за вами без всякого

сопротивления.

Грубый комиссар, вместо вежливого ответа, оттолкнул ее.

— Это не ваше дело, и если вы будете соваться, куда вас не спрашивают, я велю его связать, да арестую и вас! — крикнул он.

Эта наглость и дерзкое обращение до того возмутили без того страшно взволнованную Мадлен, что она в один миг превратилась из униженной, убитой горем женщины в расвирепевшую львицу.

— Так арестуйте же и меня вместе с маркизом! — воскликнула она вне себя от негодования и неожиданно для всех схватила стоявшее близ умывальника фаянсовое ведро, полное грязной воды, и вылила его на голову комиссара.

Как ни тяжело было в эту минуту Николаю Герасимовичу, как ни полно было его сердце скорбью о предстоящей разлуке с любимой женщиной, но он не мог удержаться от громкого смеха, видя эту трагикомическую сцену.

Озадаченный неожиданной выходкой молодой женщины сконфуженный комиссар, опоясанный своим официальным трехцвет-

ным шарфом с золотыми кистями, облитый с ног до головы грязной водой, стоял растерянный, ошеломленный.

— Теперь арестуйте и меня... Что же вы на меня не натравливаете вашей своры! — кричала расвирепевшая Мадлен, гордо стоявшая перед комиссаром.

Придя немного в себя, однако охлажденный своеобразной ванной, комиссар наконец приказал оставить Савина в покое и, кое-как обтершись при помощи своих подчиненных, приказал проводить Николая Герасимовича и Мадлен де Межен в ожидавшую у подъезда карету и отвезти их в полицейское бюро, куда и отправился вслед за ними.

Там, в комиссариате, он прочел Савину приказ королевского прокурора об его аресте вследствие обвинения его в проживании под чужим именем, преступлении, за которое по закону Бельгии виновные подвергаются заключению в тюрьме до трех месяцев.

На основании этого приказа Николай Герасимович должен был быть немедленно арестован и доставлен к судебному следователю, от которого зависело дальнейшее распоряже-

ние.

Прощаясь с Мадлен де Межен, Савин еще раз просил ее успокоиться и не падать духом.

— Если тебя арестуют, обратись за защитой к французскому консулу, наконец, представь залог, чтобы избежать предварительного заключения.

С этими словами он расстался с молодой женщиной и в сопровождении двух полицейских агентов поехал в суд, в камеру судебного следователя.

Здание суда в Брюсселе, так называемое «Palais de Justice», составляет одну из достопримечательностей столицы Бельгии и бесспорно может считаться самым большим и красивым зданием в Европе.

Оно было построено за несколько лет до описываемого нами времени и стоило шесть миллионов франков.

В этом «дворце правосудия», кроме камер судебных следователей и прокуроров всех инстанций, помещается суд исправительной полиции, апелляционная палата брюссельского округа с многочисленными судебными залами и канцеляриями, а также высший касса-

ционный суд Бельгии.

Здание это помещается на обширной площади в конце Королевской улицы.

В это-то великолепное здание суда и прибыл с двумя провожатыми Николай Герасимович Савин.

Все трое направились по широкому светлomu коридору в камеру судебного следователя господина Велленса.

Последний был еще молодой человек, лет тридцати с небольшим, брюнет, весьма симпатичной наружности.

— Прошу садиться! — обратился он к подошедшему к его столу Савину, указав рукой на стоящий у стола стул.

Николай Герасимович сел. Допрос начался.

— Вас обвиняют в проживании под чужим именем и в оскорблении действием и словами полицейского комиссара и агенток полиции при вашем аресте, — сказал он, прочитав присланный комиссаром протокол. — Признаете ли вы себя виновным?

— Нет, не признаю... Я маркиз Сансак де Траверсе и никакого русского офицера Савина не знаю... Что же касается до оскорбления,

нанесенного мной полицейскому комиссару и агентам полиции, то я был вынужден это сделать, вследствие их неприличного поведения и вторжения в спальню женщины, с которой я живу. Сначала я просил вошедшего комиссара очень вежливо выйти из комнаты, так как я был еще не одет, а моя сожительница лежала в постели, а когда он отказался это исполнить и назвал женщину, которую я уважаю, кокоткой, то я не выдержал и действительно вытолкнул его и его спутника из моей спальни. В этом моем действии я ничего преступного не нахожу и прошу вас освободить меня.

— Будь вы бельгийский подданный или хотя бы иностранец, но человек известный в Бельгии, — отвечал судебный следователь, — я согласился бы на ваше освобождение до суда... Но так как, по сообщенным мне полицейей сведениям, вы русский офицер Савин, преследуемый за разные уголовные дела в России и притом бежавший от немецких властей во время следования в Россию, то до разъяснения всего этого или оправдания вас судом я обязан заключить вас в предварительную

тюрьму. От вас, конечно, зависит ускорить это освобождение предъявлением доказательств о вашей личности.

— Вообще, — добавил он, — дело не может затянуться долго, так как я немедленно пошлю всюду, куда следует, телеграммы и допрошу всех лиц, знавших вас раньше, начиная с вашей подруги госпожи де Межен, чтобы разъяснить вашу личность.

Затем судебный следователь написал постановление о содержании именуемого себя маркизом Сансаком де Траверсе в предварительном заключении.

— Это мое постановление, — сказал он Савину, — по нашим законам имеет силу в течение недели, а по истечении этого срока содержание ваше под стражею будет зависеть от решения синдикальной камеры судебных следователей (*Chambre syndicale des juges d'instructions*), которая может продолжить ваше заключение или же освободить вас. К этому времени вы можете избрать себе защитника или же явиться лично в синдикальную камеру для дачи объяснений.

Затем господин Велленс позвонил и явив-



шимся полицейским агентам передал Николай Герасимовича и постановление об его аресте.

— На этих днях я еще раз вызову вас, а теперь можете идти, — сказал он Савину.

Полицейские агенты снова усадили его в ту же карету и повезли в тюрьму святого Жилия.

## XI ТЮРЬМА СВЯТОГО ЖИЛИЯ

Тюрьма святого Жилия находится на окраине города, в предместье того же имени. Выстроена она только в 1884 году, стоила бельгийскому правительству десять миллионов и представляет, так сказать, шедевр тюремного дела.

Подъезжая к предместью святого Жилия, вы издали уже видите ее высокие с башнями стены и возвышающийся из их середины купол.

Подъехав к железным воротам тюрьмы, Николай Герасимович со спутниками вышли из кареты, вошли через ворота во двор и прошли через него к большому подъезду, ведущему в контору тюрьмы.

Пока ничего тюремного не было видно.

Большая, весьма комфортабельная приемная комната была похожа скорее на банкирскую контору, чем на контору тюрьмы.

В ней занимались человек пятнадцать служащих.

Передав одному из них постановление следователя и получив квитанцию о приводе арестанта, полицейские агенты тотчас же ушли, оставив Савина в конторе.

После их ухода ему пришлось объяснить тому же служащему свое имя, фамилию, национальность, лета и прочее.

Все это было занесено в толстую книгу, после чего, позвонив, служащий передал Николая Герасимовича вошедшему тюремному служителю, с которым последний и пошел во внутрь тюрьмы.

Пройдя длинный коридор, они остановились у железной решетчатой двери, за которой стоял швейцар. Проводник Савина передал его ему вместе с каким-то принесенным им из конторы ярлыком.

Пройдя эту дверь, Николай Герасимович очутился в большом круглом зале, освещенном сверху стеклянным куполом.

Посреди этого зала был устроен род беседки, в которой помещалось распорядительное бюро. В этом бюро постоянно находились дежурные: помощник директора тюрьмы и старший надзиратель.

Расспросив арестанта о том же, о чем спрашивали в конторе; и записав все это в книгу, его поручили какому-то служащему, который повел его в назначенную ему камеру.

От центра идут лучеобразно пять галерей, каждая в три этажа, обозначенные под литерами.

Николай Герасимович попал в галерею под литерой «А» и был помещен в нижнем этаже в камере № 29.

Камеры по расположению, величине и устройству все одинаковы. В них пять метров длины и четыре ширины, высокие, светлые, стены выкрашены серой масляной краской, а полы паркетные. Чистота безукоризненная, а меблировка состоит из стола, который ночью раскидывается в постель, дубового полированного стула, небольшого шкафа из такого же дерева для посуды и вешалки. Кроме того, в каждой камере проведена вода, устроен ва-

тер-клозет и электрическое освещение.

На стенах в дубовых рамках висят тюремные правила, выписки из некоторых законов, необходимых для арестованных, список всех адвокатов, состоящих при брюссельской апелляционной палате, с их адресами, и прейскурант продуктов, продаваемых в тюрьме.

Вскоре после привода Савина в камеру, его навестил дежурный помощник директора, очень любезный человек, бывший офицер бельгийской армии.

Между прочими разъяснениями, он передал ему, что если он желает довольствоваться на собственный счет, то может это сделать и даже получить более комфортабельно меблированную комнату, так называемую «pistole», с платою по десяти сантимов в день, то есть три франка в месяц.

Николай Герасимович, конечно, просил сейчас его перевести в такую комнату, что и было исполнено.

Эта камера была в сущности такая же, как и все остальные, но вместо складной кровати, убирающейся днем, была железная постоян-

ная койка с хорошим пружинным матрацом, пуховой подушкой, байковым одеялом и чистым бельем, меняющимся каждые две недели.

Кроме кровати был также ясеневое дерево стол, мягкое кресло, шкаф для вещей и умывальник.

Такой комфорт в тюрьме весьма чувствителен и приятен для заключенного — им как бы сглаживается то ужасное тюремное тяготение, которое так чувствуется при простой тюремной обстановке, постоянно напоминающей заключенному, что он в тюрьме.

Кроме того, хорошая кровать располагает ко сну и позволяет несчастному арестанту забыть на более продолжительное время.

Для получения пищи было устроено таким образом.

Можно было обратиться к одному из ближайших к тюрьме ресторанов, через посредство знакомых или комиссионера, находящегося при тюрьме, и просить хозяина ресторана зайти в контору тюрьмы, чтобы уговориться об условиях присылки пищи.

Таким образом поступил и Николай Гера-

СИМОВИЧ.

В конторе ему рекомендовали ближайший местный ресторан «Gigot de mouton», куда он и послал на следующий же день за обедом и за хозяином, чтобы с ним сговориться о дальнейших присылках.

Хозяин ресторана не заставил себя долго ждать и пришел в тот же день.

Они договорились на том, чтобы Савину ежедневно присылать на утро — кофе, к обеду три блюда и к ужину — два, с бутылкой красного вина или двумя бутылками пива.

За все это была назначена плата в три франка в день, а если Николай Герасимович пробудет более месяца, то восемьдесят франков в месяц.

Цена была очень недорогая, и Николай Герасимович во все время его пребывания в тюрьме святого Жюль харчился в «Gigot de mouton» у госпожи Верлен и был им очень доволен.

Правда, что присылалось все это в корзине за один раз, так что Савин вынужден был купить спиртовую лампочку для разогревания кофе утром и ужина вечером, так как все при-

сылалось к обеду в двенадцать часов, но это нисколько не затрудняло, а напротив, это своего рода стряпанье забавляло и прекрасно убивало время.

Таков был комфорт в современной тюрьме, все же остающейся тюрьмою.

Всякий пансионер этого современного образцового учреждения должен был строго подчиняться установленным правилам, и малейшее отступление влекло за собою наказание, предусмотренное тюремным кодексом и назначаемое тюремным начальством по приговору тюремного суда.

Этот суд состоял из директора тюрьмы и двух его помощников и собирался для суждения ежедневно в десять часов утра, после рапорта надзирателей.

Режим тюрьмы святого Жилия был следующий.

Вставали все по звонку в пять часов утра. Одновременно с первым звонком появлялся и электрический свет в камере, конечно, в то время года, когда в пять часов еще темно.

Заклученный обязан был сейчас же встать, одеться, умыться и сложить свою кро-

вать (за исключением платящих и имеющих постоянную кровать), вымести и натереть воском пол, с таким расчетом, чтобы все это было кончено к шести часам утра, ко времени раздачи кофе.

Кофе давали цикорный, с небольшим количеством молока, но без сахара. Сахар можно было покупать на свои деньги. Одновременно с кофе давали паек хлеба с фунт весом, на целый день.

С девяти часов утра начиналась отправка в суд и к следователю.

Те из заключенных, которые не вызывались из тюрьмы, шли гулять.

Прогулка делалась в специальных помещениях, куда шли заключенные один за другим цугом на расстоянии десяти шагов друг от друга.

Это делалось для того, чтобы они не имели между собою никакого сообщения.

Видеть друг друга заключенные не могли, так как в коридорах им было строго запрещено оглядываться, да и кроме того, каждый из них до выхода из своей камеры, куда бы он ни выходил, обязан был надеть имеющуюся у



каждого маску с капюшоном, закрывающим совершенно не только лицо, но и всю голову.

Прогулка происходила в саду, в специально устроенных для того помещениях, вроде небольших загонов или стойл без крыши, но окруженных со всех сторон каменными стенами.

В этом-то загоне каждый из заключенных гулял совершенно один в продолжение часа, а с разрешения доктора и дольше. Прогулка эта была обязательна для всех, и не ходить на нее заключенный мог только с разрешения доктора.

В двенадцать часов раздавали обед, состоящий из большой миски супу с говядиной и овощами пять раз в неделю, и два раза, по средам и пятницам, давали горох.

С часу до пяти происходил прием родственников и посетителей.

В шесть часов раздавался ужин, состоящий из полной миски печеного или вареного картофеля, а в девять часов вечера звонок извещал всех, что надо ложиться спать.

Четверть часа спустя потухало везде электрическое освещение Тюрьма погружалась во

мрак и действительно засыпала, чтобы на завтра начать новый день, похожий, как две капли воды, на вчерашний.

По воскресеньям и праздникам было обязательно для всех идти в церковь к обедне, где по окончании службы аббат говорил проповедь.

Церковь была устроена так, что все шестьсот заключенных, содержащихся в тюрьме, присутствовали при богослужении, находясь каждый в отдельном запертом помещении, и не могли видеть друг друга, что не мешало им прекрасно видеть алтарь, стоящий на возвышении, и слышать богослужение.

В тюрьме была очень большая и хорошая библиотека, и заключенным давались книги и журналы по их выбору и сколько пожелают. Давались также и работы, желающим заняться таковыми, за что полагалась плата по таксе.

Заработок зависел от категории, к которой принадлежал заключенный, так: 1) заключенные, находящиеся в предварительном заключении, получали всю плату заработка за исключением 10 %; 2) приговоренные по суду,

для которых работы были уже обязательны, получали заработанные деньги в таком распределении: а) приговоренные к простому тюремному заключению —  $3/4$  заработка, б) усиленному тюремному заключению, так называемому «réclusion» —  $1/2$  заработка, и в) каторжные — всего  $1/4$  заработной платы.

Работы эти делались каждым в своей камере и сдавались заведующему работами, от которого и получался расчет каждую субботу.

Деньги, как свои, так и заработанные, хранились в кассе, а на расходы и выписку необходимого выдавалось заключенному на руки не более пяти франков за раз.

Из этих денег они платили за все ими покупаемое в тюремной лавочке дежурному надзирателю, разносившему выписываемые продукты и вещи каждое утро.

Куренье табака, вино и пиво были разрешены, спиртные же напитки строго воспрещены.

Все заключенные до года тюремного заключения имели право носить свое платье, все же остальные обязаны были носить казенное, заключающееся из темно-серой пи-

джачной пары, совершенно приличного покроя и хорошего сукна. Каторжники отличались только тем, что им брили усы и бороду и на брюках у них были нашиты широкие черные лампасы.

При этом все осужденные без исключения лишались права, по вступлении приговора в законную силу, кормиться на свой счет.

Доктор ежедневно обходил всех больных, заявлявших надзирателю желание видеть врача.

При первых же симптомах какого-либо заболевания больной немедленно переводился в тюремную больницу, которая находилась в саду, отдельно от главного здания тюрьмы.

Там больные, конечно, пользовались большим комфортом и удобством, но все были так же изолированы от других заключенных, как и в большом здании, и кроме доктора, фельдшера и тюремного персонала никого не видели.

За всякое нарушение тюремных правил или непослушание администрации заключенные подвергались строгим взысканиям в виде: 1) лишения чтения, 2) прогулки, 3) куре-

нья, 4) свидания со знакомыми и родственниками и, наконец, 5) заключения в карцер от суток до трех.

Все эти наказания налагались тюремным судом.

По рапорту надзирателя, заметившего в чем-либо заключенного, вызывались на следующее же утро как обвинитель — надзиратель, так и обвиняемый — заключенный в центральное бюро.

Там заключенный снимал перед судом маску и отвечал на возводимое на него обвинение.

Рассматривали эти дела правильно, без всякого пристрастия, и при доказанной виновности, хотя бы в самом пустом проступке, виновный был непременно наказуем.

Решения этого суда были, конечно, безапелляционными и приводились немедленно в исполнение.

## XII В ТЮРЬМЕ «PETIT CARMES»

Вскоре после отъезда Николая Герасимовича Савина из полицейского бюро в суд полицейский комиссар пригласил к себе в каби-

нет оставшуюся в бюро Мадлен де Межен.

В кабинете, рядом с комиссаром, сидел у письменного стола какой-то сухой, белокурый, с небольшой клинообразной бородкой господин.

— Здешний королевский прокурор! — представил его комиссар Мадлен.

Та поклонилась.

— Прошу вас садиться.

Молодая женщина села в стоявшее у стола кресло.

Начался допрос.

И прокурор, и комиссар стали по очереди задавать ей вопросы, касавшиеся Савина и ее отношений к нему.

Видя, что ответы ее не удовлетворяют их желаниям и почти не компрометируют арестованного, они переменили тон и стали говорить молодой женщине о наказании, которое ее ожидает за тяжелое оскорбление власти в лице полицейского комиссара, которого она так бесцеремонно облила грязной водой.

— Будьте, главное, откровенны и правдивы, — заметил прокурор, — и тогда я постараюсь улучшить ваше положение, оставю вас

до суда на свободе, разрешу свидание с господином Савиным.

— Я не нуждаюсь в свидании с господином Савиным, так как такого не знаю, — отвечала молодая женщина, — повторяю вами что арестованный вами именно маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин... Вы ошиблись. Что же касается до оскорбления господина комиссара, то он сам довел меня до припадка бешенства своим поведением... Арестуйте меня или отпускайте на свободу — это ваше дело... Большого, чем я показала — я показать не могу, при всем моем желании...

— В таком случае, я прикажу отвезти вас к судебному следователю... — сухо сказал прокурор.

— Делайте, что хотите и что обязаны.

Мадлен де Межен посадили в карету и отвезли в сопровождении полицейского агента в суд, к тому же господину Веленсу.

— Вы обвиняетесь в оскорблении действием полицейского комиссара и в сопротивлении властям, — сказал ей судебный следователь, приглашая сесть, — признаете ли вы себя виновной?

— Властям я не сопротивлялась, а нахала-комиссара действительно чем-то облила, но он сам вызвал это своим неприличным и недостойным мужчины и чиновника поведением...

— Так-с... — задумчиво произнес судебный следователь. — А что вы скажете мне о господине Савине?

— Ничего положительно сказать не могу.

— Почему?

— Потому, что никакого я Савина не знаю...

— Да-а-а... Я говорю о том господине, который арестован вместе с вами.

— Так это маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин... Я повторяю и вам, что сказала комиссару и прокурору: «Вы ошиблись...»

Таким образом молодая женщина выдержала и вторую атаку опытных судейских.

Она знала, что ей грозит тюрьма, суд, скандал, но что могло все это значить в глазах любящей женщины, когда она надеялась этим спасти любимого человека.

— Вы настаиваете на этом объяснении? — сказал следователь.



— Какое же другое я могу дать? — вопросом отвечала Мадлен.

— В таком случае, мне придется подвергнуть вас личному задержанию до суда...

Ни один мускул не дрогнул на красивом лице молодой женщины.

Судебный следователь написал постановление о содержании Французской гражданки Мадлен де Межен в женской тюрьме «Petit Cannes», куда ее тотчас же и отправили с тем же полицейским агентом.

Все случившееся в этот злосчастный день так удручающе подействовало на бедную Мадлен, так ошеломило ее, что она, в сущности, не могла усвоить для себя, понять хорошенько свое настоящее положение.

Она помнила только то, что говорил ей Савин, и старалась показывать то, чему он научил ее.

«Это его спасет!» — вот мысль, которая доминировала в ее голове.

О себе она совершенно забыла. Ее «я» как бы не существовала.

После же допроса следователя и объявления им ей о том, что он отправляет ее в тюрь-

му, на нее нашел какой-то столбняк.

Она впала с этого момента в какое-то забытье, обратилась в живого истукана, не понимая совершенно, что с ней делается, отвечая на вопросы как-то машинально и двигаясь только по закону инерции.

Очнулась она и пришла в себя только тогда, когда почувствовала какую-то особую перемену во всем ее окружающем.

Она сначала не могла понять, что с нею, куда она попала?

Она чувствовала, что дышит какой-то новой, неизвестной ей до сих пор атмосферой, что ее обдает чем-то затхлым, спертым.

Кругом ее все было как-то чуждо, незнакомо. Даже свет был как будто не тот, который она привыкла видеть до сих пор.

Прежде всего ее поразил именно этот странный, как будто исходящий сверху свет.

Она стала вглядываться и заметила высоко над собой окно какой-то маленькой, необычайной для ее глаз формы, с какими-то поперечными полосами.

От окна ее блуждающий взгляд перешел к чистым белым стенам, к деревянному столу и

табуретке, к затворенной массивной двери.

Сама она лежала на какой-то жесткой постели.

Вглядываясь во всю эту странную, незнакомую обстановку, она стала как бы пробуждаться от сна, стала припоминать о случившемся.

Она с ужасом поняла, что она в тюрьме. Ее охватило отчаяние и она горько заплакала.

Слезы всегда действуют благотворно на потрясенный организм. Поплакав, человеку всегда становится легче на душе, возбужденные нервы успокаиваются и мысли проясняются.

Так случилось и с Мадлен.

Поплакав, она почувствовала облегчение и вспомнила ее последний разговор с Савиным, его надежды на благоприятный исход дела и его просьбу к ней быть энергичной и не падать духом.

Одновременно с этими, более спокойными мыслями, молодая женщина почувствовала страшную усталость, чего она до сих пор не чувствовала, ее охватило одно желание — отдохнуть, уснуть и Мадлен, действительно, вскоре уснула.

Какая благодетельная вещь сон для несчастных заключенных. Во время сна они не только отдыхают телом и душой, но и забывают все свои несчастья, все, что их мучает, главное, то ужасное положение, в котором они находятся.

Проснувшись Мадлен уже на другое утро, когда к ней вошла надзирательница, принесшая ей кружку кофе и булку.

Она ласково расспросила молодую женщину о деле, приведшем ее в тюрьму и, узнав подробности, воскликнула:

— Так это сущие пустяки!.. Вы не долго у нас погостите... Я даже думаю, что хороший адвокат может выхлопотать вам освобождение под залог до суда сейчас же...

Это напомнило Мадлен де Межен совет Савина обратиться немедленно к хорошему адвокату и к французскому консулу.

— Действительно, а я и позабыла, дайте мне бумаги, конвертов, чернила и перо, я тотчас же напишу адвокату и консулу. Да, кстати, кто у вас здесь лучший адвокат, к которому вы посоветовали бы мне обратиться?..

— Все для письма я вам доставлю сей-

час, — ответила надзирательница, — но должна вас предупредить, что все письма, исключая писем к адвокату, должны быть распечатанными, так как их до отправки читает директриса тюрьмы. Только к адвокатам письма не читаются... Что же касается хороших адвокатов, то я могу назвать вам их несколько: Янсен, Фрик, сенатор Робер, Стоккарт, — все это знаменитости, но кто из них лучше, трудно сказать... Я знаю только, что берут они очень дорого и говорят на суде очень красноречиво.

С этими словами надзирательница вышла и вскоре возвратилась со всеми принадлежностями для письма.

Мадлен де Межен еще раз попросила назвать ей имена адвокатов, записала каждое имя на отдельной бумажке и, свернув их в трубочки, вынула одну из них.

На бумажке стояло имя Стоккарта.

Она написала ему и французскому консулу, а затем принялась за длинное и осторожное письмо к Николаю Герасимовичу, в котором старалась его успокоить насчет своего положения. Письмо она адресовала маркизу

Сансак де Траверсе.

Эта корреспонденция рассеяла ее немного и сократила то нескончаемое время, которое так убийственно тянется в тюрьме.

Так прошло все утро, и когда она позвонила, чтобы передать надзирательнице письма, было уже обеденное время.

— Как вы желаете кушать, казенный обед или же выпишите из ресторана? — спросила ее надзирательница, взяв письмо.

Этот вопрос об обеде заставил вспомнить Мадлен, что она уже второй день ничего не ела, даже до принесенного кофе с булкой не дотронулась.

Аппетита у ней и теперь не было никакого, но все же нельзя было не есть и надо было разрешить вопрос об обеде.

Она попросила любезную надзирательницу послать за обедом в ресторан.

Час спустя та же надзирательница принесла заказанный обед и бутылку красного вина.

— Покушайте-ка, моя милая, да пойдите погулять... У нас есть садик, и заключенные гуляют все вместе в продолжение двух часов. Там есть тоже порядочные дамы, можете с

ними познакомиться и поговорить, это привлечет вас и рассеет.

Пообедав, Мадлен вышла из своей камеры, вместе с надзирательницей и отправилась на прогулку в сад.

Женская тюрьма «Petit Carmes» устроена в бывшем кармелитском монастыре, вследствие чего и носит это название и находится в центре Брюсселя.

Еще до окончания времени прогулки надзирательница пришла за Мадлен.

— Пожалуйте, к вам приехал адвокат.

— Стоккарт?

— Да.

Она проводила заключенную в комнату, предназначенную для свидания арестанток с их защитниками, и оставила ее с глазу а глаз с адвокатом.

Стоккарт был молодой человек, красивой наружности, элегантно одетый.

— Я только что получил от директрисы тюрьмы с нарочным ваше письмо и поспешил явиться, чтобы поскорее познакомиться с вами и успокоить вас, — сказал он Мадлен.

— Благодарю вас... Вам, конечно, надо рас-

сказать, в чем дело.

— О, с делом я знаком, весь город говорит о нем, все газеты полны подробностями... Я, думая, что вам будет это интересно, захватил две газеты, в которых более талантливо, живо и подробно изложено ваше дело.

Он передал ей номера «L'Indépendance Belge» и «La Reforme».

— Что же будет нам за это? — спросила Мадлен.

— Да ничего страшного, — сказал Стоккарт, — особенно вам. Господину Савину, или маркизу де Траверсе, эта проделка обойдется подороже. К нему отнесутся строже, чем к вам, и его продержат, наверное, несколько месяцев в тюрьме, но вас я надеюсь оправдать...

Переговорив затем подробно обо всем и сделав нужные заметки Стоккарт перешел к вопросу вознаграждения.

За свою защиту он назначил тысячу франков с тем, чтобы половина была уплачена вперед.

Мадлен, конечно, согласилась и дала ему записку к хозяйке квартиры на улице Стас-



сар, госпоже Плесе, в которой просила передать господину Стоккарту некоторые вещи, деньги и чековую книжку «Лионского кредита», находящиеся в сундуке.

Все это Стоккарт должен был привезти Мадлен и получить от нее чек на условленную сумму.

Она просила его также взяться за защиту Николая Герасимовича и, главное, устроить, чтобы его не выдали России.

Стоккарт обещал сделать все, что было в его силах, и дал слово на другой же день быть в тюрьме святого Жиля, а после свидания с Савиным заехать к ней и сообщить ей обо всем.

### XIII ДВА АДВОКАТА

Не зная, что Мадлен де Межен обратилась за советом к адвокату Стоккарту, Николай Герасимович со своей стороны написал адвокату Фрику.

Обратился он к нему потому, что узнал, что Фрик, кроме того, талантливый защитник, депутат палаты и принадлежит к крайней левой партии, то есть ультра-либерал и

сотрудник оппозиционной газеты «Реформа».

Эта-то принадлежность Фрика к враждебной клерикальному правительству партии, могла быть очень полезна Савину.

В стране, где существует полная свобода печати и где каждый может критиковать в ней всякое неправильное действие правительства и его органов, Николаю Герасимовичу было далеко не дурно заручиться защитником, имеющим голос и влияние в либеральной прессе и могущим всегда громить правительство и возмущаться его неправильными действиями относительно его клиента.

Поэтому-то Савин счел Фрика самым подходящим для него в его положении защитником.

Кроме того, его рекомендовали Николаю Герасимовичу директор тюрьмы и тюремный священник — две совершенно противоположные личности, а между тем одинаково с уважением говорившие о Фрике.

Последний не заставил себя долго ждать и к вечеру того же дня, в который Савин послал ему письмо, ответил телеграммой, что будет в тюрьме на другой день утром.

В десять часов утра на следующий день он действительно явился.

Это был высокий, худой господин лет тридцати шести-семи, смуглый брюнет с довольно правильными чертами и весьма серьезным выражением лица.

— Я знаю кое-что о вашем деле из газет, — сказал он Савину, оставшись с ним наедине в комнате свиданий с заключенными, — но, конечно, нахожу это недостаточным, а потому прошу вас обстоятельно рассказать мне все дело.

Николай Герасимович подробно передал ему весь инцидент с полицией во время его ареста, рассказал о бесцеремонности полицейского комиссара, ворвавшегося в спальню и позволившего себе назвать «кокоткой» женщину, вполне уважаемую и не давшую ему ни малейшего повода к ее оскорблению.

Насчет же главного обвинения его в ношении чужого имени Николай Герасимович объяснил, что считает это абсурдом и придиракой со стороны полиции и судебных властей, так как никто на него не жаловался и не указывал как на лицо, носящее чужое имя.

— По-моему, полиции не было никакого повода доискиваться кто я такой, раз я ничего не сделал противозаконного и наказуемого в пределах Бельгии, — заметил Савин.

— Так-то оно так, — отвечал Фрик, — но все-таки я советовал бы вам, если вы можете, достать какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность. Доказав, что полиция была не права в своих подозрениях, будет несравненно легче добиться оправдательного приговора по делу об оскорблении комиссара и агентов.

— Что же касается до госпожи де Межен, — добавил он, — то я уверен в возможности освободить ее под залог. Я побываю у нее, а также у французского консула, с которым я знаком и содействие которого будет очень важно для дела.

— А сколько времени может продлиться следствие и, значит, мое предварительное заключение? — спросил Николай Герасима вич.

— Положительно ответить я вам на это не могу, но, по моему мнению, долго оно продлиться не может, так как дело, в сущности пустое. Во всяком случае, пройдет недели две-

три, а до суда и все шесть.

— Однако...

— Бояться вам этого нечего, так как по нашим законам предварительное заключение засчитывается в наказание, так что в случае приговора, положим, на месяц, вы будете освобождены немедленно, так как срок наказания будет уже вами отбыт.

Это было хотя и плохое, но все же утешение.

— А ваши условия?

— Насчет гонорара я вам ничего не могу сказать, я назначу себе вознаграждение, глядя по делу, я ведь не знаю еще, придется ли мне защищать вас одного или вместе с госпожей де Межен, в одной или в двух инстанциях. Я в этом отношении очень щепетилен, — добавил он — мое правило не обдирать клиентов, брать за свой труд, что следует по работе. Кроме того, я вижу, с кем имею дело, вы со мной, надеюсь, торговаться не будете, я не возьму с вас, поверьте мне, лишнего сантима.

На этом они расстались.

Адвокат произвел на Николая Герасимовича прекрасное впечатление.

Видно было, что это человек дела, а не пустой фразер, как большая часть адвокатов.

В душе Савина возникла сама собой какая-то уверенность, что имея его защитником, он будет оправдан, так как, наверное, суд смотрит на Фрика иначе, нежели на его коллег.

Вообще, Николай Герасимович был доволен, что обратился Фрику и встретил в нем такого серьезного и симпатичного человека.

В тот же вечер Савина посетил и Стоккарт. Он привез ему записочку от Мадлен, которую она передала ему во время свидания.

Этот адвокат представлял из себя совершенно противоположный тип серьезному Фрику.

Он был чрезвычайно подвижный, живой, любезный господин, словом, «милый малый» и ничего больше.

Такое впечатление произвел он на Николая Герасимовича.

Наговорил он с три короба, обещал непременно оправдать Мадлен и выпустить ее на днях на свободу под поручительство.

Вообще заявил, что все уладит и даже

устроит отказ бельгийского правительства на требование выдачи Савина России, если бы такое требование поступило со стороны русских властей.

— У меня большие связи в министерстве, — хвастливо заявил он, — министр юстиции мой короткий приятель... Для меня это будет делом получаса дружеской беседы.

Николай Герасимович любезно поблагодарил тароватого на обещания адвоката.

— Мне крайне жаль, — сказал он, — что защиту свою я не могу поручить вам, так как, не зная, что Мадлен обратилась к вам, я вызвал господина Фрика, который был у меня сегодня и мы с ним кончили...

— Жаль, жаль... — проговорил Стоккарт.

— Но я чрезвычайно доволен, что Мадлен сделала такой удачный выбор и надеюсь, что вы не откажетесь употребить свое влияние в министерстве по вопросу о моей выдаче... Мы с Мадлен не останемся неблагодарными.

— О, конечно, вы можете быть покойны... — заявил Стоккарт. — Располагайте мной...

— Позвольте мне писать Мадлен через вас,

чтобы мои письма не были читаны в тюрьмах.

— С величайшим удовольствием... Я даже посоветую госпоже де Межен посылать и свои письма к вам через меня.

— Я буду вам очень признателен за эту услугу... Кроме того, навещайте ее чаще и успокаивайте...

— Непременно, непременно... Но через несколько дней, ручаюсь вам, она будет на свободе... Я сделаю все возможное и даже невозможное.

С этими словами Стоккарт простился с Савиным и уехал.

Ровно через неделю после ареста Савина и Мадлен де Межен их снова повезли в здание суда.

Они должны были предстать перед синдикальной камерой судебных следователей, от власти которой зависело, по рассмотрении тяготеющих над ними улик, сохранить или отменить принятую судебным следователем меру пресечения уклоняться от следствия и суда.

Николай Герасимович знал заранее, что



относительно его мера будет сохранена, но надеялся, что Мадлен выпустят, и эту надежду все время горячо поддерживал Стоккарт, уверявший, что непременно добьется ее освобождения.

Возили заключенных из тюрьмы в суд в больших тюремных каретах такой же формы неустройства, как парижские «râtelier salade» — разница была только в цвете.

В Париже эти кареты желтые, а в Брюсселе — темнозеленые.

Для заключенных, имеющих средства, с особого разрешения директора допускалось исключение: позволялось брать извозчицы карету на свой счет и ехать в суд в сопровождении жандарма.

Такое разрешение дано было и Савину, и он им пользовался во все время его содержания в Брюссельской тюрьме.

Уезжали все заключенные, требуемые в суд, в девять часов утра и находились там до шести часов вечера, то есть до окончания дела в суде и возвращения кареты в тюрьму.

Это делалось потому, что расстояние между тюрьмой святого Жилия и судом было очень

велико, по крайней мере, четыре версты, и ездить по нескольку раз за арестованными было бы неудобно.

Вот почему их отвозили всех сразу, огульно, с утра.

Для заключенных это не только не представляло неудобств, а напротив, они были этому очень рады, так как в суде они находились все вместе, в большой светлой комнате, без всякого присмотра, кроме наружного, и могли болтать между собою и почылать, за чем хотели.

Жандармы, которым была поручена развозка арестантов и охрана их в суде, были прекрасные ребята, любезные, непридиричивые и редко в чем отказывали заключенным; так, например, для лиц более приличных они отводили отдельную комнату, приносили из ресторана завтрак, обед, вино и пиво.

В эти-то поездки в суд Николай Герасимович и виделся с Мадлен де Межен, которую впускали в ту же комнату, где он находился, и где они прекрасно проводили время целый день.

Первый раз он увиделся с молодой женщи-

ной после разбораа дела в синдикальной камере судебных следователей.

Устроил это свидание Стоккарт, ходивший к следователю гоподину Веленс и получивший от него на это разрешение.

Мадлен была страшно взволнована и, увидев Савина, бросилась, рыдая, в его объятия.

Тяжело было ему видеть в таком положении ту, которую о так страстно любил, но он старался скрыть свое волнение и свои спокойствием ободрить и утешить ее.

Синдикальная камера утвердила постановление судебного следователя и отказала освободить их обоих от предварительно ареста, основываясь на том, что они оба иностранцы и обвиняются в преступлениях, которые влекут за собою наказание свыше трех месяцев тюремного заключения.

Николай Герасимович был к этому подготовлен, но на Мадлен это произвело удручающее впечатление.

Радость свиданья, однако, взяла свое, и они вскоре утешили возможностью провести друг около друга несколько часов и забыть свое горе.

Стоккарт сильно возмутился постановлением камеры и продолжал уверять, что он все-таки добьется освобождения Мадлен, подав жалобу в апелляционную палату.

Он пришел вместе с Мадлен и начал было без умолку болтать и рисовать радужные картины будущего.

— У русских, — заметил ему, улыбаясь, Савин, — есть пословица: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». И я вас прошу, чем сулить освобождение из тюрьмы в будущем, освободите теперь нас от вашего присутствия... Мы так давно не были наедине.

— О, я понимаю, — воскликнул адвокат, — желаю вам лучших минут в жизни.

Он простился и вышел.

Впоследствии, как и надо было ожидать, апелляционная палата не уважила жалобы Стоккарта, и Мадлен де Межен должна была пробыть в тюрьме до суда.

#### XIV

### ПЛАН ЗАЩИТЫ

Во время тех же поездок в суд Николай Герасимович Савин познакомился с двумя очень милыми людьми: депутатом бельгий-

ской палаты Ван-Смиссенем, обвинявшемся в убийстве своей жены из ревности, и французом графом Дюплекс де Кадиньян — любовником этой убитой мужем женщины, который, увлекшись ею, наделал в Брюсселе более миллиона долгов, а после ее смерти уехал в Ниццу, не расплатившись со своими кредиторами и поднадув несколько простаков-бельгийцев, почему и был привлечен к суду за мошенничество.

Бежавшего из Брюсселя от долгов графа арестовали у рулетки в Монте-Карло, где он спускал последние золотые, занятые у бельгийских ростовщиков.

Конечно, мужа убитой и ее любовника вместе не сводили, так как Ван-Смиссен был в состоянии задушить графа, или, по крайней мере, покуситься на его жизнь.

Николай Герасимович видел их обоих порознь, и оба были очень приятные собеседники.

Ван-Смиссен был очень умным и образованным человеком, известным депутатом палаты и принадлежал к клерикальной партии, которая сильно его поддерживала и добилась

в конце концов после двух обвинительных приговоров присяжных кассации обоих их и третьего оправдательного приговора.

На третьем суде присяжные признали, что он совершил преступление в исступлении, доведенный до этого возмутительным поведением и распущенностью своей жены.

Это оправдание последовало уже после отъезда Савина из Бельки, и он узнал о нем из газет, но в то время, когда Николай Герасимович с ним встречался, он был приговорен к пятнадцатилетнему заключению в тюрьме и дело его находилось по его кассационной жалобе в кассационном суде.

Насколько счастливо кончилось дело мужа, настолько несчастливо закончилось дело любовника.

Граф де Кадиньян был признан виновным в восемнадцати мошенничествах, а так как, по бельгийским законам, наказание полагается не одно по совокупности, как в России, а за каждое преступление полагается отдельное наказание, то бедный граф был приговорен к восемнадцати наказаниям, по три месяца одиночного заключения каждого, что со-

ставит весьма почтенную цифру в четыре с половиною года одиночного заключения.

Следствие между тем над Савиным и Мадлен де Межен шло своим порядком.

Надо заметить, что следствие в Бельгии ведется по французской системе, то есть следователь старается всячески запутать обвиняемого разными неожиданными, вымышленными сведениями и даже запугиванием.

При этом следственное производство не предъявляется обвиняемому, так что до суда ему не известны ни показания свидетелей, ни другие собранные сведения и материалы следствия.

Правда, что защитнику разрешается рассматривать документы и все относящиеся к делу во всякое время и брать из него копии, но все-таки такое сокрытие от обвиняемого подробностей следствия крайне неправильно и неблагоприятно для интересов обвиняемого.

Последний становится в полную зависимость от защитника и в суде играет роль совершенной пешки.

Также было и с делом Николая Герасимо-

вича.

Вскоре после вручения Савину обвинительного акта он получил повестку о выезде в суд исправительной полиции, и в тот же день его посетил его защитник — Фрик.

Фрик привез с собою целую кипу разных документов и выписок, относящихся к делу, чтобы познакомить с ними Николая Герасимовича и установить план защиты.

Следствие обнаружило и установило разными допросами свидетелей и полицейских властей в Париже, Ницце, Берлине и Дусбурге, которым была предъявлена фотографическая карточка Савина, что он, действительно, то лицо, которое проживало во Франции и Германии под именем русского офицера Николая Савина, который был арестован по требованию русских властей и впоследствии бежал.

Таким образом, отрицать тождество маркиза де Траверсе с Савиным было невозможно.

— Мой совет вам — сознаться откровенно и этим сознанием расположить судей в свою пользу, — сказал Фрик Николаю Герасимови-



чу.

Но Савин не согласился с этим мнением, он находил необходимость во что бы то ни стало доказать свою невиновность по обвинению в ношении чужого имени, так как от этого зависел весь дальнейший ход дела.

Самое важное для Николая Герасимовича было и чего он больше всего боялся, это его выдачи России, по поводу которой уже началась переписка между бельгийским правительством и русским посланником в Бельгии.

Из дела и собранного материала не было, однако, ничего положительного о его личности из России. Даже посланная его фотографическая карточка в Петербург и Калугу не была никем узнана, и в бумаге, присланной из России, было сказано, что хотя в присланной фотографической карточке и есть что-то сходное с личностью Савина, но положительного никто ничего не мог определить.

Николай Герасимович находил, что этот ответ из России имел большое значение для защиты.

— Поставим лучше защиту на такую почву, — заметил он Фрику, — я скажу, что в

Бельгии я ношу свое имя маркиза де Траверсе, а во Франции и Германии жил, действительно, под чужим именем Николая Савина. Причины, заставившие меня так поступить, — политические идеи моего отца и нежелание его, чтобы я служил в войсках республики. Этой неявкой моей к призыву я поставил-де себя в нелегальное положение в моем отечестве — Франции — вследствие чего и не мог жить там под своим именем, что и заставило меня для поездки во Францию взять паспорт на имя одного моего приятеля русского офицера Савина. Мне кажется, что такая защита имеет достаточно прочные основания, тем более, что у нас есть свидетель, в лице Мадлен, а у обвинения ничего нет положительного, чтобы разбить наши доводы и доказать, что я живу теперь под чужим именем.

Он остановился и посмотрел на Фрика.

Тот слушал его с большим вниманием, но молчал.

— Удайся нам убедить суд, — начал снова Николай Герасимович, — что я действительно проживал во Франции, а не в Бельгии под

чужим именем, добейся я таким образом оправдательного приговора по обвинению в ношении чужого имени, тогда если я и буду обвинен по делу об оскорблении полиции, то под именем маркиза де Траверсе, а не Савина, и этот приговор суда будет мне служить самым лучшим доводом против требуемой Россией моей выдачи: требуют не маркиза де Траверсе, а Савина, с которым я в силу уже приговора бельгийского суда, ничего общего иметь не буду... Разве это не так?

— Так-то, пожалуй, и так... Я понимаю, что для вас такое решение очень важно и готов построить защиту на этой почве, но должен предупредить вас, что она очень зыбка, и если защита не удастся, что очень возможно, суд вас не пощадит и присудит к высшей мере наказания... Примите в расчет и это.

— Или пан, или пропал, будь что будет... Я не отступлюсь от этого плана, а вас освобождаю от ответственности за решение суда... Вы меня предупредили.

— Да, главное, помните, что я вас предупредил... План очень остроумен, но, повторяю, и очень рискован.

— Кто не рискует, тот не выигрывает.

— Хорошо, так будем держаться этого плана.

Вскоре Фрик уехал.

Настал наконец день суда.

За несколько дней перед этим в нескольких брюссельских газетах появились коротенькие заметки, извещавшие публику, что в такой-то день назначено к слушанию в суде исправительной полиции дело о маркизе Сансак де Траверсе, он же Савин, и его любовнице Мадлен де Межен, причем, конечно, не было забыто прибавление разных пикантных подробностей о личностях обвиняемых, а также говорилось, что по распоряжению судебных властей дело это, ввиду его интереса, будет разбираться в большом зале суда и что публика будет допускаться только по билетам.

Конечно, такого рода реклама привлекла в суд не мало желающих присутствовать на таком судебном бенефисе, и огромный зал суда был битком набит самой фешенебельной брюссельской публикой.

Особенно много было представительниц

прекрасного пола, жадных, как известно, до такого рода представлений.

За полчаса до появления Савина и Мадлен перед судом, в комнату, где они оба находились, явились оба защитника, одетые уже в своих длинных тогах и круглых шапочках.

Пришли они, чтобы сделать, говоря театральным языком, генеральную репетицию.

Все их внимание, конечно, было обращено на усвоение Мадлен ее роли.

Они по очереди разъясняли ей все, что она должна была отвечать на вопросы, могущие ей быть предложенными судом и обвинительной властью.

Когда наконец режиссер — судебный пристав — пришел за подсудимыми, то они уже были готовы для отражения всякой атаки со стороны их общего врага — прокурора — и спокойно, даже торжественно, вошли в зал заседания, где и заняли места впереди своих защитников.

Скамьи подсудимых, как у нас и во Франции, в Бельгии нет.

Там суд помещается на особой эстраде, немного возвышенной над остальной частью

залы.

Эта эстрада отделена от публики решеткой, и за эту решетку входят только участвующие в деле лица, не исключая свидетелей, которые входят по одному, по вызову председателя суда.

Свидетели дают свои показания, сидя в кресле, стоящем напротив председательского места.

Стоя говорят только обвиняемые, их защитники и прокурор.

При входе в зал подсудимых взоры всей публики обратились, конечно, на Мадлен де Межен, которая была удивительно хороша и эффектна в этот тяжелый для нее день.

На ней было черное шелковое платье без всякой отделки, прекрасно обрисовывавшее ее роскошные формы.

Ее золотистые волосы были высоко зачесаны вверх по последней моде а la Marie Antoinette, что придавало ей поразительное сходство с королевой-мученицей, на которую она и без того была очень похожа.

Об этом сходстве не раз писали парижские газеты в более счастливые для нее времена, и

это не ускользнуло и теперь от собравшейся публики — в столь аналогичном положении молодой женщины с ее двойником, королевой.

Шепот восторга по ее адресу пронесся по залу.

В публике произошло движение.

Когда оно несколько успокоилось, председатель суда спросил, обращаясь к подсудимым:

— Признаете ли вы себя виновными в возводимых на вас поступках?

И Савин, и Мадлен де Межен отвечали отрицательно.

— Господин судебный пристав, пригласите свидетелей! — приказал председатель.

Свидетели были полицейский комиссар Жакобс и полицейские агенты, присутствовавшие при аресте обвиняемых.

Показания их относились только к факту оскорбления их подсудимыми, то есть к обвинению в неповиновении властям и оскорблении должностных лиц.

Что касается до обвинения Савина в ношении чужого имени, то по этому делу свидетеле-

лей никаких не было, а были прочитаны разные показания, данные официальными лицами во Франции и Германии.

Из этих показаний выяснилось тождество маркиза Сансака де Траверсе с проживавшим в этих странах арестованным и бежавшим русским офицером Николаем Герасимовичем Савиным.

Когда чтение этих показаний окончилось, председатель обратился к подсудимому:

— Не желаете ли вы что-нибудь объяснить по этому поводу?

— И даже очень много.

— Это ваше право.

В зале, переполненном публикой, наступила вдруг такая тишина, что можно было услышать полет мухи.

## XV НА СУДЕ

— Я маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин, — начал среди торжественной тишины, воцарившейся в зале суда, Николай Герасимович свое объяснение, — но должен признаться суду, что, действительно, проживая долгое время во Франции под именем рус-



ского офицера Николая Савина, был выдан французским правительством России и бежал от французских и прусских властей. Так что я сам не думаю даже оспаривать мое тождество с господином Савиным и признаю совершенно правильными все данные во Франции и Германии показания, которые были только что прочтены, но при этом считаю своим долгом разъяснить суду те причины, которые меня заставили проживать под чужим именем во Франции.

Дед мой покинул Францию во время первой революции и эмигрировал в Россию. Там он женился на дочери тоже французского эмигранта, от которой у него родился в первых годах нынешнего столетия сын — мой отец. Он, как и дед мой, остался французом, хотя всю свою жизнь прожил в России. Женился он на француженке, умершей в момент моего появления на свет. Я, единственный его сын, воспитывался в России, но остался, как и отец мой, французским гражданином. Отец мой как ярый роялист не признает теперешнего французского правительства, а потому не позволил мне явиться к призыву и слу-

жить во французской армии. Это нарушение военных законов по воле моего отца поставило меня на нелегальную почву по отношению к Франции, и я как нарушитель этих законов подвергаюсь, если буду застигнут в пределах Франции, наказанию до двух лет тюрьмы и зачислению на законный срок службы в армию по отбытии наказания. Вот эта причина и заставила меня жить во Франции под чужим именем, уехал же я из России во Францию несколько лет тому назад потому, что меня давно тянуло в эту дорогую моему сердцу страну. Я не мог удержаться от желания видеть эту милую Францию, родину моих предков. Но проживать под своим именем мне было невозможно, так как я наверно подвергся бы наказанию и этим самым убил бы старика-отца. Он даже согласился на мой отъезд только с тем, что я ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах не обнаружу во Франции мое настоящее имя. Вскоре я получил известие о его смерти, но данная мною клятва не была им разрешена. Вот причины, побудившие меня назваться и жить в продолжение нескольких лет под именем Савина.

Взял я это имя и документы на жительство от моего школьного товарища и друга русского гвардейского офицера Савина. Нас обоих во Франции никто не знал, а лета и приметы его вполне подходили к моим.

Приехав во Францию, я скоро познакомился с некоторыми проживающими там русскими и благодаря моему знанию русского языка был введен ими всюду и представлен как их соотечественник, русский офицер Савин. Моя веселая, даже расточительная жизнь в Париже и Ницце дала мне скоро некоторую известность, про меня часто писалось в газетах: о моих лошадях, выездах, об огромных выигрышах и проигрышах в карты и дуэлях.

Вот эта известность и сослужила мне дурную службу, довела меня до всех неприятностей, перенесенных мною, и того положения, в котором я теперь нахожусь. Дело в том, что в то время, когда я жуировал во Франции с господином Савиным, чье имя я носил, случилось несчастье: в России против него были возбуждены разные уголовные и политические преследования, ему пришлось покинуть родину и бежать в Америку. Об этом я знал из

его писем ко мне, но не обратил должного внимания. Конечно, мне нужно было тогда же покинуть Францию и вернуться в Россию, но, увлеченный парижской жизнью, связанный делами и любовью, я этого не сделал. Несчастно сложившиеся обстоятельства бросили меня в тот омут, из которого я до сих пор не могу вынырнуть. Дело в том, что полтора года тому назад дела мои сильно пошатнулись вследствие проигрыша моего в карты более миллиона франков, пошли долги и другие неприятности.

В июне прошлого года я имел столкновение в Париже с полицией и, будучи в раздражении, побил полицейского комиссара, за что и был арестован.

Газеты разнесли эту весть по всей Европе. Об этом узнали, конечно, и в России. Русские власти, получив сведения об аресте в Париже того Савина, которого они давно уже искали, потребовали его выдачи. Что было мне делать? Заявить французским властям, что я не Савин, а французский маркиз де Траверсе, нарушивший французские военные законы, и тем избежать выдачи России? Но этим са-

мым я отдавался добровольно в руки французского правосудия, не только по этому нарушению военного закона, но также и по другим преступлениям, вытекающим из моего проживания под чужим именем, как, например, подписи разных актов и долговых обязательств, что могло быть легко подведено под преступление «подлога» и, кроме того, изменить данной моему отцу клятве.

Вот на основании этих-то соображений я решился не только не противиться моей выдачи из Франции, но даже старался ускорить ее. Я видел всю опасность моего фальшивого положения и мне нужно было во что бы то ни стало покинуть французскую территорию как можно скорее. В России мне бояться было нечего, так как не я был преследуем, а Савин. Так я думал первое время, а затем, поразмыслив, увидел, что обнаружение и в России ношения мне не принадлежащего имени, да еще лица, как оказалось потом, скомпрометированного, может повлечь за собою обвинение в соучастии и во всяком случае следствие, во время которого меня будут держать в русской тюрьме. Представление о послед-

ней только по наслышке бросало меня в жар и холод даже во время содержания в европейских тюрьмах. Это-то и побудило меня бежать, чтобы избежать страшной русской тюрьмы. Первое мое бегство было учинено мною во Франции, и я вскоре снова был арестован в Ницце и вторично выдан по требованию русского правительства. Второй раз я бежал от немцев в бытность мою в больнице в Дуйсбурге, после чего я и проехал через Голландию в Бельгию.

Здесь, в Брюсселе, не имея надобности скрываться и опасаться носить принадлежащую мне фамилию, я с радостью сбросил с себя чужое имя, которое наделало мне столько неприятностей. И вот теперь это законное присвоение принадлежащего мне имени приводит меня снова к ответственности и к новым неприятностям! Посудите сами, господа судьи, и вы поймете, что это очень грустно, но вместе с тем и очень смешно! Переходя затем к обвинению меня в неповиновении властям и в оскорблении их, я считаю, что так поступить я был вынужден неправильными действиями и грубостью со мною комиссара.

Он был груб не только по отношению меня, но и по отношению к женщине, которую я люблю и уважаю и которая не подала ему ни малейшего повода к ее оскорблению. Разве благовоспитанный и порядочный человек позволит себе врываться в спальню женщины? Разве он позволит себе называть женщину кокоткой, да еще толкать ее? Правда, что это сделал полицейский чиновник, от которого можно все ожидать, но полицейский чиновник, поступающий так, должен всего ожидать. Я не отрицаю факта оскорбления мной комиссара и его агентов, но надеюсь, что суд поймет, что я был вынужден на это гнусным поведением самой полиции. А потому прошу принять это во внимание и отнестись к ним с присущей вам справедливостью.

Савин кончил.

Речь его произвела видимое впечатление на публику, зажужжавшую как пчелиный рой; что же касается до судей, то на их беспристрастных лицах нельзя было прочесть ничего.

На губах прокурора играла саркастическая улыбка.

— Госпожа де Межен, не пожелаете ли дать суду свои объяснения? — обратился к Мадлен председатель.

Снова в зале все стихло.

— Я со своей стороны, — начала молодая женщина, — должна прежде всего подтвердить все то, что сейчас говорил маркиз де Траверсе. Все, что он сказал — чистейшая правда, и мне, как близкой ему женщине, уже в течение двух лет это было хорошо известно. По обвинению же меня в оскорблении комиссара я не отрицаю факта этого оскорбления и даже очень сожалею о моей горячности, но думаю, что менее виновата я, нежели тот, который довел меня до такого самозабвения и раздражения неприличным поведением по отношению ко мне как к женщине. Вы сами, господа судьи, мужчины, и я ни на минуту не сомневаюсь, что каждый из вас в душе осуждает такое отношение к женщине, кто бы она ни была. Вот все, что я имею вам сказать, господа судьи.

— Ваше слово, господин обвинитель, — обратился председатель к прокурору.

Последний, тот самый, который в день аре-



ста допрашивал Мадлен в полицейском бюро, встал, откашлялся и, выпив глоток воды из стоявшего на его пюпитре стакана, начал:

— Господа судьи! Способ защиты, избранный подсудимым, именующим себя французским маркизом Сансаком де Траверсе, нельзя не признать весьма оригинальным, остроумным и даже очень удачным. Я, признаюсь откровенно, не ожидал такой постановки защиты, но, тем не менее, она меня не смущает, и я убежден, что сумею доказать всю неправдоподобность рассказа обвиняемого, а следовательно, и полную его виновность в возводимых на него преступлениях. Да и на самом деле. Вы, люди жизни и опыта, вы легко поймете, что человек, приберегающий чрезвычайно разумный, логический довод для своего оправдания к последней минуте, к заседанию суда, не имел, значит, его в своем распоряжении ранее. Этот довод — плод его ума, согласись, недюжинного, плод его тюремного досуга. Следовательно, он выдуман. Если бы предстоящий перед вами подсудимый действительно был маркиз де Траверсе, он, конечно, с самого начала следствия поспешил

бы указать таких лиц, которые знали его до проживания по именем Савина, то есть лиц, знавших его не во Франции, а в России, где он родился и жил почти до тридцатилетнего возраста.

Для доказательства истины обвиняемому нечего было совеститься дать эти указания судебным властям, и если, как он говорит, он боялся скандала, то теперь этот скандал стал неизмеримо крупнее, чем был бы тогда, когда бельгийские власти послали бы через русские власти допросить его родственников и знакомых. Обвиняйся еще он в чем-нибудь, порочащем его честь и доброе имя — дело было бы другое, но он обвиняется в ношении чужого имени, что не представляет ничего позорного для чести и доброго имени, а потому он спокойно мог дать все эти указания судебному следователю. Теперь же на его слова, как не могущих быть проверенными, нельзя основать судебного решения, тем более, что свидетельские показания, данные во Франции и Германии разными лицами, знавшими его под именем Савина, достаточно удостоверяют, что он именно и есть русский офицер

Савин, а не маркиз де Траверсе.

Я надеюсь, что суд в этом со мною согласится. Показаниям же госпожи де Межен не может быть дано веры, так как суду хорошо известны отношения к ней обвиняемого, его любовь и преданность ему. Что же касается обвинения обоих подсудимых в оскорблении словами и действиями полицейского комиссара и агентов полиции, а также в сопротивлении властям, то все это доказано и не отрицается самими обвиняемыми. О чем же тогда говорить, как не о применении закона?

Я полагал бы назначить Николаю Савину наказание в высшей мере, так как он уже не впервые оказывает сопротивление властям и оскорбляет их, как в России, так и во Франции, что видно из приложенной к делу переписки. Относительно же Мадлен де Менен, в виду ее молодости и доказанного раздражения, я полагал бы возможным дать ей снисхождение.

Я кончил.

## XVI ПРИГОВОР

После речи прокурора слово было представлено защитнику Николая Герасимовича — адвокату Фрику.

— Всякое обвинение, — начал он, — должно быть основано не на предположениях, а на фактах. Без этих фактов, доказывающих виновность обвиняемого, всякое обвинение падает и не может найти поддержку в глазах суда. Мой клиент обвиняется в ношении чужого имени, но чем это доказано и кто подтвердит это? Из собранных доказательств и свидетельских показаний видно, что мой клиент проживал во Франции под именем Савина, но и сам обвиняемый не отрицает этого. Но это разве доказывает, что он действительно Савин? Вот этого-то доказательства обвинительная власть и не представляет, а потому суд не обязан ей безусловно верить на слово. Почему же нам не верить рассказу обвиняемого, по моему мнению, вполне правдивому? В этом рассказе нет ничего неправдоподобного и невозможного, и кроме того он вполне подтверждается показаниями госпожи де Межен. Господин прокурор, не имея в своем распоряжении ни одного подтверждающего его пред-

положения доказательства, старается выбить у нас таковое.

Обвинитель говорит, что обвиняемой госпоже де Межен не может быть дано веры, так как она состоит к моему клиенту в известных отношениях. По моему мнению, отношение и любовь госпожи де Межен к маркизу де Траверсе не могут служить к опорочиванию ее показаний, тем более, что закон обязывает суд принимать в соображение все доказательства, клонящиеся к оправданию или вообще служащие в пользу подсудимого. Но кроме показаний госпожи де Межен у нас, к огорчению прокурора, еще один важный аргумент, аргумент документальный, свидетель, по счастливому выражению одного судебного оратора, не знающий лжи — это сообщение русских властей, не узнавших в посылаемом им портрете моего клиента — разыскиваемого ими Савина. Правда, в сообщении этом говорится, что в присланной фотография есть некоторое сходство с Савиным, но между сходством и утвердительным признанием личности целая пропасть, а мы не можем предположить, чтобы русские власти, разыс-

квивающие и преследующие Савина, не знали бы его, или не нашли бы лиц, знающих его настолько, чтобы дать положительный ответ.

Будь еще господин Савин человек малоизвестный, уехавший давно из России, тогда дело было бы другое, но господин Савин был русским гвардейским офицером, имевшим множество знакомых, друзей и товарищей, могущих его узнать. При этом он покинул пределы своего отечества весьма недавно, так что не мог уже настолько измениться, чтобы его не узнали в посылаемой фотографии. Все это, конечно, доказательства, служащие в пользу обвиняемого и разбивающие все необоснованные и шаткие доводы обвинителя. Повторяю, что суд при обвинении человека может только основываться на положительных фактах, а не на предположениях, а раз таких положительных данных против обвиняемого нет, то суд не может произнести обвинительного приговора, а потому я и прошу суд оправдать моего клиента по этому пункту обвинения. Что же касается до обвинения маркиза де Траверсе в оскорблении полицейского комиссара и сопротивлении вла-

стям, то я нахожу, что в данном случае полиция сама вынудила его к этому своими неправильными действиями и грубыми поступками. Обратись к обвиняемому со своими требованиями господин комиссар вежливо, предъяви он ему сразу приказ прокурора, без которого никто не может быть арестован, а главное, не позволь он себе врываться в его спальню и оскорблять ни в чем не повинную и вполне уважаемую женщину, то, конечно, ничего бы не случилось. Но явное нарушение закона и приличий со стороны самого же представителя власти вызвало прискорбный инцидент, служащий ныне предметом судебного разбирательства. Это-то обстоятельство и позволяет мне поднять свой голос в защиту маркиза де Траверсе и если не требовать от суда полнейшего его оправдания по этому пункту обвинения, то ходатайствовать о снисхождении и о назначении ему наказания в низшей мере.

Последним встал Стоккарт.

— Господа судьи! — сказал он. — Не впервые вам приходится разбирать такого рода дела, в которых фигурирует оскорбленная по-

лицейская власть. Наверное, не ускользнуло от вашего опытного судейского взгляда то обстоятельство, что большая часть таких дел была вызываема грубостью и какой-то особую, только одной полицией усвоенной наглостью. Не проявляй полиция в обхождении с людьми этой грубости и наглости, конечно, было бы устранено много скандалов и дел подобных настоящему. Когда же наконец полиция поймет, что такое поведение с ее стороны не только предосудительно, но и противозаконно? Закон для всех один, и кому же он должен быть более известен, как не полиции. Она как блюстительница порядков и применения законов, конечно, обязана первая подчиняться ему. Этот пример уважения закона может только благотворно отразиться на массе и принесет, конечно, несравненно больше пользы, чем все наказания, налагаемые судом, в настоящем деле эта профессиональная наглость полицейских чиновников проявилась во всем ее блеске. Она прямо возмутительна.

Обвинитель говорит вам, что для него оскорбление властей и сопротивление им



со стороны обвиняемых ясно доказано, но неужели не ясно доказано для него и возмутительное поведение самих якобы оскорбляемых? Я удивляюсь, как до сих пор виновный в грубости и наглости полицейский комиссар Жакобс не привлечен к ответственности! Во всех странах мира женщина пользуется особым уважением, и чем страна стоит на высшем уровне развития и цивилизации, тем это чувство уважения к женщине в ней развитее. Оскорбление женщины мужчиной считается не только предосудительным, но даже низким, позорным и в некоторых случаях наказуемо очень строго. Если общественное мнение порицает и суд наказывает так строго за такого рода проступок частных лиц, то как же они должны порицать лиц официальных, настолько забывающихся, что позволяют себе во время исполнения своих служебных обязанностей оскорблять женщину, тем более, не давшую на это ни малейшего повода, как было в данном разбираемом нами случае.

Следствием установлено, что комиссар Жакобс, не удовольствовавшись тем, что вошел в спальню госпожи де Межен, которая в то

время находилась в постели, но позволил себе назвать ее кокоткой. Будь она таковой и то он не имел бы права так выражаться, но госпожа де Межен никогда кокоткой не была — это вполне честная и порядочная женщина. Связь с маркизом де Траверсе не может служить ей упреком. Сколько мы видим в настоящем веке женщин, живущих честно и вполне безупречно, не будучи замужем. Теперь не те времена, когда смотрели на такую связь неблаговидно и, конечно, жить с человеком и быть кокоткой — огромная разница. Таким образом, грубость комиссара была не только возмутительна, но и не основательна. Но это словесное оскорбление еще ничего в сравнении с таким гнусным поступком, который господин комиссар позволил себе в отношении обвиняемой. Когда он возвратился вторично в квартиру маркиза де Траверсе с приказом об его аресте, он потребовал, чтобы ему отворили дверь спальни, где находились в то время маркиз и госпожа де Межен, и это его требование было немедленно и беспрекословно исполнено.

Значит, ему не было никакой надобности

прибегать к силе, что все-таки было им сделано. По его приказанию на маркиза напали до десяти полицейских и стали с ним грубо обращаться. Весьма понятно, что такое поведение полиции относительно любимого человека страшно возмутило и взволновало любящую женщину. Она в сильнейшем отчаянии, со слезами бросилась к комиссару, умоляла его освободить от такого насилия любимого человека, но он вместо вежливого отказа грубо и бесчеловечно оттолкнул ее от себя. Тогда, не помня себя от негодования и горя, несчастная женщина в состоянии самозабвения схватила первую вещь, попавшуюся ей под руку, оказавшуюся ведром с грязной водой, и облила ею господина Жакобса. Эта прохладительная ванна, заменив отсутствие, видимо, весьма для него нужных начальственных головомоек, несколько осадил его полицейский нрав. Маркиза де Траверсе освободили от висящих у него на руках и ногах полицейских и отправили в полицейскую префектуру. Этот поступок госпожи де Межен, несомненно, наказуемый, но, принимая во внимание, что обвиняемая была вынуждена на это возмутитель-

ным поведением самого оскорбленного и что она находилась состоянии самозабвения от нанесенного оскорбления, ей нельзя вменить в вину ее поступок, а тем более наказывать ее за него. А потому я убежден, что суд, приняв все мои доводы в соображение, вынесет французской гражданке Мадлен де Межен оправдательный приговор.

По окончании речи Стоккарта председатель обратился по очереди к обоим с вопросом:

— Не имеете ли вы что-либо еще сказать в свое оправдание?

И Савин и Мадлен ответили отрицательно.

Суд удалился в совещательную комнату.

В зале все пришло в движение.

Несмолкаемый говор начался во всех ее концах. Дамы стали лорнировать Савина, мужчины Мадлен. Начались споры, догадки об исходе процесса, как это всегда бывает в эти томительные минуты для обвиняемых.

Совещание суда длилось часа полтора.

Наконец суд вышел и председатель громко, отчетливо прочитал следующий приговор:

«Рассмотрев дело русского подданного Николая Савина, именующего себя маркизом Сансаком де Траверсе и французской гражданки Мадлен де Межен, обвиняемых: первый в проживании под чужим именем и оба в оскорблении на словах и в действии полицейских властей и в неповиновении сим властям, — брюссельский суд исправительной полиции определил: Николая Савина подвергнуть заключению в тюрьме сроком на семь месяцев и штрафу в пятьсот франков, а Мадлен де Межен подвергнуть тюремному заключению на два месяца и штрафу в двести франков, обоих же по отбытии наказания отвезти за границу, с запрещением возвращения и проживания в пределах Бельгийского королевства в продолжение одного года. В виду того, что Мадлен де Межен отбыла уже свое наказание временем, проведенным ею до суда в предварительном заключении, ее из-под стражи немедленно освободить, но обязать подпискою выехать из пределов Бельгии в течение суток, по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана».

— Госпожа де Межен, вы свободны! — добавил председатель, обращаясь к Мадлен.

Радостная улыбка разлилась по лицу Николая Герасимовича; он забыл о предстоящих ему месяцах тюрьмы, его радовало освобождение любимой им женщины.

Обвиняемых увели из зала суда.

Было около четырех часов дня, так что им оставалось еще два часа пробить вместе до отъезда в тюрьму, ему — дабы остаться там еще долгое время, ей — чтобы исполнить формальности освобождения.

Эти два часа показались им мгновением.

## XVII ОТЪЕЗД МАДЛЕН

Конечно, Савин и Мадлен подали апелляционные жалобы на определение суда исправительной полиции.

Последняя, чтобы остаться в Брюсселе, а первый в надежде добиться оправдательного приговора по делу о ношении им чужого имени и во всяком случае уменьшения наказания, так как суд приговорил его к высшей мере, указанной в законе.

Выйдя из тюрьмы, Мадлен де Межен посе-

лилась на старой их квартире, у госпожи Плесе.

Квартира эта была самая подходящая, так как улица Стассар находилась недалеко от тюрьмы святого Жюлья, и близость эта позволяла Мадлен часто бывать у Николая Герасимовича.

Этим частым свиданиям способствовал добрейший директор тюрьмы, позволивший Мадлен бывать у Савина ежедневно и видеться наедине в запертой адвокатской приемной.

Конечно, при таких условиях эти свидания сильно обрадовали любящих друг друга людей и позволяли им излить всю нежность чувств, накопившуюся во время их разлуки и обоюдного заточения.

Но кроме нежностей и ласк, во время этих свиданий они также, конечно, обсуждали свое горькое положение.

Обманывать себя и льстить какими-нибудь несообразными надеждами было нечего.

Мадлен советовала ему подчиниться судьбе и в случае его выдачи из Бельгии в Россию, не стараться бежать, а сделать все, что от него

зависело, чтобы скорей выпутаться из дел и доказать свою невиновность.

— Видно уж так суждено, ничего не поделаешь, — уговаривала она его, — повинуйся силе и закону, а я помогу тебе переносить твою горе.

Савин вполне сознавал справедливость суждений молодой женщины, но ему невыносимо тяжела была перспектива пребывания в России.

Надеясь он по приезде туда быть свободным до окончания его дела, тогда бы вопрос был иной.

Но он наперед знал, что озлобленные против него судебные власти ни в каком случае не согласятся освободить его до суда и ему придется томиться еще долгое время в предварительном заключении, да еще в русской тюрьме.

Это-то и ужасало его и заставляло придумывать новые способы избавления.

В благополучном исходе его дела в России, то есть в его оправдании судом по всем возводимым на него обвинениям он не сомневался ни минуты, но до этого суда и дня его осво-



божждения была целая бездна — долгие месяцы тюрьмы и связанная с ними разлука с той, в которой было все его блаженство, все его счастье, вся его жизнь.

Правда, Мадлен де Межен соглашалась, по приезде его в Россию, немедленно туда приехать и жить там в ожидании его освобождения.

Но что же это была за жизнь?

Видеть друг друга через решетку тюрьмы.

Николай Герасимович смотрел на вещи несколько иначе, чем Мадлен.

Его ничто не тянуло в Россию, ничто его более не связывало с ней.

К чему ему было томиться долгие месяцы в тюрьме, переносить новые испытания и мучения, не приводящие ни к какому положительному результату.

Приходило ему, конечно, на мысль, что если новое бегство не удастся, то волей-неволей ему придется покориться судьбе, но сделать этого добровольно он не решался.

Обсуждали они этот животрепещущий для них вопрос почти ежедневно, и это весьма понятно, потому что от него зависели вся их бу-

дущность и их счастье.

При этом Николай Герасимович считал нужным обсудить его заранее вместе с Мадлен, пока она была с ним до рассмотрения дела в апелляционной палате и ее тогда обязательного отъезда.

По правде сказать, Савин уже не надеялся на благоприятный исход их апелляционной жалобы и заранее был уверен, что палата утвердит приговор суда первой инстанции.

Мадлен же наоборот, как неопытная и увлекающаяся женщина, под влиянием уверений пустозвона Стоккарта, возлагала большие надежды на палатское решение, рассчитывала даже на оправдание Савина и его освобождение.

Он не разбивал этих грез, но и не разделял их.

Прошло около месяца.

Дело было назначено в палате к слушанию в конце октября.

Газеты снова заговорили о Савине и Мадлен де Межен, и они стали готовиться к этому новому бенефису: Николай Герасимович к более убедительной защите перед палатой,

Мадлен де Межен к тому, чтобы удивить брюссельскую публику своим туалетом.

Для женщины, особенно парижанки, туалет — все, и никакое положение не может заставить ее забыть о нем.

Хотя у Мадлен была пропасть вещей и туалетов с собою, но она не могла выдержать соблазна и не выписать себе от своей модистки из Парижа m-me Veraux новую осеннюю шляпку специально ко дню суда.

Но ни парижская шляпка Мадлен, ни защита Савина, ни даже красноречивая речь Стоккарта не помогли. Палата утвердила приговор суда первой инстанции и им пришлось, скрепя сердце, подчиниться этому решению: Савину досиживать его срок, а Мадлен Де Межен на другой же день покинуть Бельгию.

Всякий хорошо поймет, как тяжело отозвалось в их сердцах это палатское решение.

Их снова разлучили, и впереди у них была туманная картина неизвестности.

Прощаясь, они не знали, на сколько времени они расставались, когда и где свидятся.

Эта-то неизвестность и была ужасна.

Мадлен уезжала обратно в Париж, но не

думала там остаться, а хотела уехать к своей кузине, живущей в Нормандии, и жить в деревенской глуши, ожидая решения судьбы любимого ею человека.

При прощании она передала Николаю Герасимовичу банковый билет в пятьсот франков, который должен был оказать ему услугу в случае его нового бегства, но умоляла его быть осторожнее, не рисковать жизнью и помнить, что она всегда останется его и придет всюду, где бы и в каком положении он ни находился, хотя бы и сосланным на поселение в сибирскую тундру.

Видя отчаяние Савина, молодая женщина старалась всячески утешить, поддержать его.

В эти тяжелые для них минуты, она находила не только силы для перенесения своей личной скорби, но и для поддержки падающего духом Николая Герасимовича.

Только любящая душа несет горе так, как несла его эта женщина, и одни женщины так выносят его.

В женской половине человеческого рода заключены великие силы, ворочающие миром.

И действительно, ее гордость действовала на Николая Герасимовича благотворно, пока она была с ним, но как только она уехала, чаша страдания его переполнилась.

Нестерпимо стало ему его томительное одиночество.

Всякие несуразные мысли лезли в голову и не давали покоя ни днем, ни ночью.

Все надежды, которые до сих пор его поддерживали и давали силу переносить все его несчастья, сразу как-то разрушились.

Он перестал в них верить: они стали ему казаться какой-то несообразной, неисполнимой химерой.

Перед ним предстала та ужасная картина разочарования жизнью, которая впервые зародила в нем мысль покончить с собою, оставить этот мир материальных забот и тревог и невзгод.

Будь у него в тот момент возможность добыть яду или револьвер, он, быть может, ни на минуту не задумался бы пустить их в ход.

Но эта невозможность добыть средства к своему собственному уничтожению оставила его в живых для перенесения новых и новых

страданий.

Видно, такова была его судьба!

В это-то время, находясь постоянно один, сам с собою, под влиянием томящего его горя, он впервые стал вдумываться в философские и социальные вопросы.

До тех пор, по правде сказать, никогда подобные мысли не приходили ему в голову и он не выходил за рамки тех эгоистических мыслей, которые более всего присущи каждому человеку.

Благодаря уединению и горьким испытаниям, в нем пробудились новые, совершенно ему не известные чувства.

Страдания научили его мыслить и заставили его забыть отчасти свое собственное «я», открыв ему глаза на ту мировую картину страдания и гниль европейского общественного устройства, которых он до тех пор не видел, которые в эгоистическом наслаждении жизнью его не интересовали.

Чем больше он вглядывался в эту грустную картину, тем сильнее развивалась в его уме мысль о злорадах и невзгодах человеческой жизни.

Он стал предаваться этим возродившимся, совершенно новым для него мыслям с каким-то особенным увлечением.

По целым часам просиживал он в глубоком раздумье, доискиваясь причины недостатков человеческого общества и их устранения и, конечно, ничего не доискался.

Эти размышления были, однако, первыми шагами к его самоперевоспитанию, и он стал смотреть на вещи совершенно другими глазами, чем прежде.

Его прежние взгляды во многом диаметрально изменились.

Конечно, эти доводы и размышления могли только подготовить благодарную почву для его далекого будущего, но не утешить в настоящем.

Это настоящее оставалось по-прежнему ужасным, ближайшее же будущее представлялось еще ужаснее.

## XVIII ВЫДАЧА РОССИИ

**В**скоре после отъезда Мадлен де Межен Николая Герасимовича Савина снова вызвали в апелляционную палату.

Там был назначен разбор требования, предъявленного русскими властями к бельгийскому правительству о выдаче Савина России.

В Бельгии все такого рода требования о выдаче, предъявленные иностранными государствами, передаются сначала на рассмотрение апелляционной палаты, которая их рассматривает с юридической точки зрения.

В заседание вызываются стороны, то есть выслушивают заключение прокурора и возражения требуемого лица или его защитника, после чего палата определяет: следует ли согласиться на выдачу или нет.

Это определение палаты, основанное на законах страны и трактатах, заключенных с иностранными державами, предъявляющими свои требования, служит гласным основанием для дальнейшего решения высшего правительства, от которого зависит окончательное решение.

Но это решение всегда бывает в том смысле, как это мотивирует в своем решении палата.

Очевидно, что для Николая Герасимовича



от этого решения зависело все, а потому адвокат последнего — Фрик — принял все меры, чтобы убедить палату отказать русской миссии в предъявленном требовании о выдаче Савина.

— В деле, — говорил Фрик перед палатою, — отсутствует совершенно доказательство тождества требуемого лица. Русские судебные власти не потрудились их представить. Требуется Савин, а не маркиз Сансак де Траверсе, и кроме того, при требовании, присланном из России, нет точного описания примет Савина, а по фотографической карточке маркиза де Траверсе, посланной из Брюсселя в Россию, русские власти не узнали разыскиваемое ими лицо. Все это, по моему мнению, представляет достаточные основания, чтобы отказать в требовании о выдаче, тем более, что все дело разгорелось от несомненной ошибки бельгийской полиции, которая, будучи уверена, что нашла на след Савина, на том основании, что маркиз де Траверсе проживал под этим именем во Франции, сообщила о его аресте русским властям и этим самым побудила их просить о его выда-

че. Русские власти таким образом были введены в ошибку и если и требовали выдачи Савина, то при этом полагались на полную компетентность бельгийских властей, как в вопросе о тождестве арестованного лица с разыскиваемым ими Савиным, так и в вопросе о самой выдаче. Русские власти не входят ни в какие подробности по этому делу и требуют выдачи именно того лица, которое они разыскивают, то есть Савина. На основании этого я считаю, что выдачей маркиза де Траверсе, лица не требуемого и не имеющего ничего общего с тем лицом, которого разыскивает Россия, будет оказана не услуга дружественному государству, а сделана только неприятность.

Выслушав речь защитника, палата удалась для совещания и после довольно продолжительного времени вынесла свое определение, по коему находила, что преступления, по которым Николай Савин обвиняется в России, входят в число тех преступлений, по которым, в силу имеющегося между Бельгией и Россией трактата, выдача должна состояться. По отношению тождества лиц, по мнению па-

латы, не может быть и речи, так как в силу решения бельгийского суда, вошедшего в законную силу, подлежащее выдаче лицо было признано за Николая Савина, а не за маркиза де Траверсе, а такое решение обязательно для всех бельгийских судов.

В силу этих соображений палата находила, что Николай Савив должен быть выдан по требованию русских властей по отбытии им в Бельгии наказания, к которому он присужден.

После такого решения палаты Николаю Герасимовичу не оставалось ничего более, как дожидаться окончания срока его тюремного заключения.

Срок этот истекал в конце января, так как, в силу бельгийских законов, одиночное заключение как наказание более строгое дает скидку семи дней в месяц против обыкновенного тюремного заключения.

Таким образом, вместо семи месяцев, к которым он был приговорен, он освобождался по прошествии пяти месяцев и одиннадцати дней, считая и время, проведенное им в предварительном заключении.

Ко дню отбытия им наказания все формальности по отношению его выдачи были уже исполнены, и он должен был быть отвезен на германскую границу для передачи прусским властям, которые должны были отправить его далее в Россию без всякой задержки.

За два дня до отправки к Николаю Герасимовичу зашел директор тюрьмы, чтобы предупредить его об этом отъезде и кстати с ним проститься.

Савин в горячих выражениях поблагодарил господина Стевенса.

Отъезд Николая Герасимовича был назначен рано утром, и в этот день его пришли разбудить в четыре часа утра.

В конторе тюрьмы он застал несколько человек, которые тоже отправлялись на германскую границу.

Всех их посадили в развозную тюремную карету и отвезли на станцию железной дороги.

Там их уже ожидал вагон, в котором они были помещены.

От Брюсселя до прусской границы около

четырёх часов езды, и Николай Герасимович со своими невольными спутниками приехали на границу в десять часов утра.

При выходе арестантов из вагона их передали ожидавшим их прибытия прусским жандармам, которые повели их со станции в город, в полицейское управление, для соблюдения необходимых формальностей.

По опросе арестованных и по проверке их документов полицией, приехавших с Савиным, кого освободили, кого отправили в тюрьму, а его оставили в полицейском управлении до отхода вечернего поезда, с которым он должен был отправиться далее через Берлин в Россию.

Зная, что никакие его протесты не приведут ни к какому результату, он, по приезде на прусскую территорию, перестал именоваться чужим именем и стал для прусских жандармов тем же Herr Leitenant, каким был семь месяцев тому назад до его бегства из Дуйсбургской больницы.

Хотя Николай Герасимович и не любил пруссаков, но должен был отдать им полную справедливость, что хотя они хорошо знали,

что он именно тот русский, который два раза уже бежал и последний раз бежал от них же, пруссаков, но никакой вражды или грубых действий по отношению к нему они не применили и были с ним безукоризненно вежливы, так что голландским и бельгийским полицейским властям хорошо бы поучиться вежливости у этих по репутации «грубых» пруссаков.

Единственная мера строгости, принятая ими теперь против Савина, была посылка с ним вместо одного жандарма, как прежде, двух.

По дороге он разговорился и познакомился ближе со своими спутниками, жандармскими вахмистрами, Зюсом и Фингером.

Они кое-что уже знали об арестанте из газет и интересовались прежде всего узнать от него, правда ли, что он один из вожаков нигилистической партии в России.

Конечно, Николай Герасимович постарался их разубедить в этом, объяснив им, что это чистейшая газетная утка, что он никогда нигилистом не был, да и вообще нигилистов в России почти нет.

Затем у них завязался разговор о политике, об организации армий, как русской, так и германской, и о социальном вопросе, так сильно интересующем всех в Германии.

Николай Герасимович был просто поражен образованием этих двух прусских солдат, в особенности Фингера, изумлявшего его своими дельными суждениями и всесторонней начитанностью.

Встреть Савин этого человека в другой обстановке, никогда бы он не предположил, что это простой прусский солдат.

На другой день в четыре часа они прибыли в Берлин. Здесь им пришлось ждать отходящего поезда на Торн и Александрово до половины двенадцатого ночи. Николай Герасимович со своими спутниками воспользовались этим временем, чтобы сходить в баню и хорошо пообедать в ресторане невдалеке от вокзала.

При отъезде из Берлина Савина и его провожатых снова поместили в отдельное купе, в котором они благополучно доехали до русской границы. Чем ближе подъезжали к Александрову, тем более Николая Герасимо-

вича охватывало какое-то особое волнующее и томительное чувство.

Ему было тяжело, совестно находиться в таком положении и быть привезенным на родину прусскими жандармами.

На этом прервались воспоминания Николая Герасимовича, или лучше сказать, были прерваны.

Он очнулся.

Ужасы русской тюрьмы и этапа уже были в прошедшем.

Камера дома предварительного заключения была не хуже брюссельской. Перед ним стоял смотритель и приглашал в контору.

— С вами желают видеться.

— Кто?

— Дама...

Сердце Николая Герасимовича тревожно забилося. «Уж не Мадлен ли?» — мелькнуло в его уме. Он поспешил за помощником смотрителя. При входе в контору он остановился пораженный.

Перед ним стояла Зиновия Николаевна Ястребова.



## ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ПРИТОН

**П**олковница Капитолина Андреевна Усова была вдова.

Три года тому назад она приехала в Петербург и устроилась очень скромно.

Да и вообще, ее дела были тогда не блестящи.

Муж ее, стоявший все время с полком в глухой провинции, оставил ей только скромную пенсию и двух дочерей, из которых старшей было около семнадцати лет, а младшей едва минуло двенадцать.

Вскоре, однако, она заняла большой дом-особняк на Большом проспекте Васильевского острова, через несколько домов от дома, принадлежавшего покойному Аркадию Александровичу Колесину — горячему поклоннику несравненной Маргариты Гранпа, когда-то бывшей невесты Николая Герасимовича Савина, и участнику в первом возбужденном против последнего уголовном деле о разорвании векселя Соколова, предъявленного Вадимом Григорьевичем Мардарьевым.

Обстановка дома Усовой была роскошна, одевалась она с дочерьми по последней моде,

и почти каждый вечер у нее были гости. Вообще по роду жизни она казалась женщиной очень богатой.

Года через полтора после разнесшейся по Петербургу вести о смерти Николая Герасимовича Савина под колесами железнодорожного поезда у бельгийской границы, в один из зимних вечеров к Капитолине Андреевне Усовой собрался небольшой кружок близких знакомых.

К парадному подъезду подкатили элегантные сани, из которых вышли два молодых человека и вошли в крытый подъезд дома.

Это были граф Петр Васильевич Вельский и его приятель Владимир Игнатьевич Неелов.

Молоденькая хорошенькая горничная открыла им дверь.

Поцелуй Неелова ее совсем не обидел.

— Никого еще нет? — спросил граф.

— Несколька дам уже в гостиной, — ответила горничная, лукаво улыбаясь.

— Графа Стоцкого нет?

— Его, кажется, ждут.

Сняв верхнее платье, оба гостя вошли в залу, а затем и в гостиную.

Опытный глаз увидел бы сразу, что дамы, собравшиеся в этой комнате, не принадлежат к высшему обществу.

Хозяйка дома, высокая, худая женщина, лет тридцати пяти, сильная брюнетка, была еще интересна.

По ее манере было видно, что она умеет вращаться в порядочном кругу.

Ее соседка слева, которую Неелов назвал «ваше превосходительство», была немногими годами моложе.

По наружности она составляла полную противоположность хозяйке.

Это была блондинка с очень нежным цветом лица и голубыми глазами.

Полное, круглое лицо дышало здоровьем, а очень открытая шея, высокая грудь и круглые, белые руки дополняли картину этого возможного для человека здоровья.

Третья, сидевшая с работой в руках, была старшая дочь хозяйки, Екатерина Семеновна.

Она была высока и худа, как мать, но во всем остальном ничуть на нее не походила.

Темнорусые волосы, искусно завитые, красивое, выразительное, немного смуглое лицо,

дерзкий взгляд — в общем, во всем ее существовании, было мало женственности, разве только маленький ротик с белыми, как слоновою костью, зубами, как бы созданный для поцелуев.

Около нее сидела красивая, миниатюрная молодая девушка лет семнадцати.

Когда вошли молодые люди, она, краснея, опустила глаза на работу и боязливо подняла их только тогда, когда Неелов взял ее за руку.

— Как мило с вашей стороны, дорогая Марья Петровна, что вы опять приехали. Я боялся, что выходка старого генерала вас так рассердила, что мы не будем иметь удовольствия вас видеть...

При воспоминании о генерале девушка снова покраснела.

— Увидим мы сегодня вашего обожателя, барона?

— Я его жду.

— А если он не придет, никого другого вы не осчастливите вашим вниманием? На время, конечно?

Она взглянула на него, не то стыдливо, не то испуганно.

— С вами будет то же, что с генералом, — вмешалась хозяйка. — Вы поссоритесь с Музей.

— При чем тут я, я разве виноват, что барышня сегодня так хороша, что воспламенит коренного жителя Лапландии. Честное слово, Марья Павловна, вы очаровательны. Разрешите поцеловать вашу ручку и тем выразить вам мое поклонение.

Он наклонился к ее плечу.

— Владимир Игнатьевич, перестаньте!.. — воскликнула она, вне себя от гнева.

Никто не вступился за бедняжку.

Все смеялись над ее испугом, а полная блондинка даже заметила:

— Вы должны быть снисходительны, Владимир Игнатьевич, хорошему тону учатся постепенно.

— Теперь барон всецело владеет ее сердцем, — добавила хозяйка. — Но придет время — и для других окажется там местечко.

— Вы очень скоро заметите, что ваш возлюбленный слишком холоден... — заметила Екатерина Семеновна.

— Слишком холоден? Это, пожалуй, еще

хуже, чем слишком стар, — распространялась ее превосходительство. — Мне знакомо и то, и другое.

— Зачем же вы вышли замуж за такого старика? — спросила Екатерина Семеновна. — Вы должны были знать заранее, что его объятия не будут очень жарки.

Граф Вельский сел в кресло, не обращая ни малейшего внимания ни на этот в высшей степени странный разговор, ни на красоту дам, которые, видимо, старались нравиться.

Екатерина Семеновна подошла к нему, нежно отвела руку, которой он закрывал лицо, и спросила смеясь:

— Что с вами, граф? Вы сидите, точно молодой, который первый раз поссорился со своей женой.

— Вы попали не в бровь, а прямо в глаз! — воскликнул Неелов. — Супружество гнетет его! Отныне он должен быть занят только своей женой; прекрасные молодые девушки теперь больше не для него; разве только те, которые играют в карты, могут еще интересовать его.

Все рассмеялись этой шутке.

Екатерина Семеновна своими огненными глазами вопросительно взглянула на графа и, наклонясь близко к его уху, прошептала:

— А я думала провести сегодняшний вечер с тобой, или я тебе надоела?

— Охота вам слушать чушь, которую несет Неелов! — отвечал громко граф. — Я очень озабочен одним делом, о котором не имею права говорить вам. Ну, да мы создадим веселое настроение! Нельзя ли вина? Екатерина Семеновна, не споете ли вы?

— Вот это дельно! — воскликнул Неелов. — Вино и песни веселят дух.

Молодая девушка села за рояль, а горничная вскоре принесла вина.

Раздался звонок.

— Слава Богу — это Сигизмунд! — воскликнул граф Вельский. Он не ошибся.

Горничная доложила, что приехал граф Стоцкий и барон Гемпель.

Глаза хорошенькой блондинки загорелись счастьем. Не успел граф Стоцкий поздороваться с дамами, как граф Вельский подошел к нему, взял его под руку и отвел в сторону.

— Сигизмунд, — сказал он, — я в большом

затруднении.

— Какого рода?

— Мне не хватает денег.

— Ведь ты получил на днях значительную сумму от своего отца, чтобы купить свадебный подарок невесте.

— Совершенно верно, но большую часть этих денег я проиграл вчера у Матильды.

— Скверно.

— Не придумаешь ли, где бы еще найти кредит? Ты ведь знаешь, что в день моей свадьбы я расплачусь со всеми.

— Так-то так, да везде уже много взято.

— Ну, приблизительно сколько?

— По меньшей мере, ты должен около ста тысяч...

— Постарайся достать еще десять тысяч. Я готов на всякие жертвы.

— Попытаюсь. Но, может быть, ты сегодня выиграешь; я сейчас устрою игру. Если ты вернешь проигрыш, то тебе не надо нового кредита, а если проиграешь, ну, тогда, я помогу тебе устроиться со свадебным подарком.

— О, мой дорогой друг, ты снова даешь мне надежду. Так я могу на тебя положиться?



— Не беспокойся. Как тебе нравится сегодня Катиш?

— Я был так занят до сих пор самим собою, что не обращал на нее внимания и только теперь вижу, что она очень мила... Она пригласила меня на свидание в своем будуаре, я, пожалуй, пойду.

— Почему это «пожалуй»?

— А потому, что с тех пор, как я увидел маленькую лесную нимфу, она не выходит у меня из головы; все прочие женщины, будь они настоящие Аспазии, для меня теперь безразличны.

Граф Стоцкий самодовольно улыбнулся.

— Может быть, мы скоро ее увидим здесь? Остальное устроится само собою. Будь нежен с Катей, это тебя рассеет... Иди к ней в будуар... Там уже, без сомнения, подан чай... Барон уже исчез давно со своей Муськой, следуй его примеру. Как только явится князь Асланбеков, я устрою игру и дам тебе знать.

— Хорошо, я иду.

Он направился к Екатерине Семеновне и что-то шепнул ей на ухо.

Через минуту они исчезли из гостиной.

В то время, когда Сигизмунд Владиславович искал случая остаться наедине с хозяйкой, вошел князь Асланбеков.

Это был человек лет сорока пяти, сильный брюнет, коренастый и широкоплечий. На его лице, обросшем бородой, можно было разглядеть только черные глаза и толстый тупой нос.

«Генеральша» — так звала полковница Усова толстую блондинку — тотчас заняла его разговором.

Неелов что-то наигрывал на рояле.

Граф Стоцкий тем временем отвел в сторону хозяйку и о чем-то тихо с ней разговаривал.

— Четвертая улица Песков, дом 8... Вы не забудете номер?

— Нет, нет, — ответила Усова. — У кого она находится?

— У своего дяди — чиновника Костина.

— Я уже сделаю свое дело.

— Не забудьте, что дело это очень трудное... Эта Клавдия — очень добродетельное дитя, и ее родственники очень зорко следят за ней.

— Ничего... Не такие дела кончались хорошо...

— Если удастся, вы получите тысячу рублей, а если все пойдет хорошо, то сумма будет удвоена... За этим не постоим.

— Положитесь на меня... На днях она будет здесь... Я дам вам знать...

— Тсс... Вот генерал... Он, конечно, ищет вас.

Капитолина Андреевна поспешила навстречу новому гостю. Сигизмунд Владиславович подошел к роялю и облокотился на него, как бы слушая фантазии Неелова. На самом же деле голова его была занята совершенно иным.

Тот, которого Стоцкий назвал генералом, был старик лет семидесяти. Он был совершенно сед и держался сгорбившись, но походка была еще достаточно тверда, а темные глаза горели из-под густых седых бровей. Он рассчитывал прожить еще лет двадцать и очень горевал, что часто его не вовремя беспокоил кашель.

— А для меня здесь никого нет, моя дорогая? — спросил генерал, садясь возле хозяйки.

— Я жду каждую минуту даму, которая, клянусь вам, победит ваше сердце.

— Гм... Молода?.. Хороша?..

— Конечно! Я ведь знаю ваш изысканный вкус... Софи привезет молодую особу... Советую только одно...

— Что, моя дорогая?..

— Не набрасывайтесь опять, как сумасшедший! Марья Павловна все еще боится вас из-за прошлой сцены... Надо идти к цели постепенно. Рим построен не в один день, ни одно дерево не падает с первого удара топора. Заметьте это.

— Вы правы, любовь моя... Вы упомянули о маленькой Мусе. Разве она здесь?

— Конечно! Но она там, в кабинете, со своим поклонником. Подождите немного, когда она надоест барону, тогда вам будет легче, потому что, — тоном поучения сказала полковница, — от початого хлеба всегда легче отрезать, чем от целого.

Старик утвердительно кивнул головой.

— Вы всегда правы, моя дорогая, — сказал он, — но знаете, кто мне больше всех нравится?

— И не подозреваю.

— Ваша младшая дочь! Она прелестна.

— Да, она будет красавица, — согласилась Капитолина Андреевна с материнской гордостью.

— Вы не скоро еще введете ее в общество?

— Нет, ведь ей нет еще и пятнадцати лет, а кроме того, я обязана ее воспитанием...

Полковница наклонилась к уху генерала и что-то сказала шепотом.

— Зачем вы на это согласились?..

— Как зачем?! Я желаю как можно лучше устроить судьбу моей Верочки.

— Пустяки... Я тоже очень богат и устроил бы ее судьбу лучше...

Кашель помешал ему докончить, а хозяйка воспользовалась этой минутой и поспешила к князю Асланбекову, который начинал скучать.

— К черту, Неелов! Перестаньте барабанить, — ворчал князь. — Сегодня разве не будут играть? Я думаю, нам нечего стесняться, потому что в настоящую минуту нет ни одной интересной женщины.

— Терпенье, ваше сиятельство, — умило-

стивляла его хозяйка, — мы ждем еще одну особу. Но если желаете играть, в маленькой гостиной столы готовы, и «генеральша», конечно, пойдет с вами. Не желаете ли, Сигизмунд Владиславович? Прошу вас, Владимир Игнатьевич.

— Начинайте, господа, я сейчас, только общу остальным, — сказал граф Стоцкий.

Барону было нечего говорить, он входил в эту минуту в гостиную под руку с маленькой блондинкой.

Генерал рванулся было подойти, но ему не удалось.

Она простилась и ушла.

Барон проводил ее до передней.

— Жалко, дитя мое, что вы не можете остаться дольше. Теперь только начинается здесь веселье...

— Боже сохрани! Позже десяти часов. О, если бы знали мои родители!

— Так до свидания!

## XX СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

— Если ты желаешь, — сказал через дверь Сигизмунд Владиславович, подойдя к

будуару Екатерины Семеновны, где находился граф Вельский, — сейчас начнут играть.

Задвижка двери будуара щелкнула. Граф Стоцкий вошел.

— Пожалуйста, оставьте его еще здесь... — попросила молодая девушка.

— Это как он хочет.

Будуар Екатерины Семеновны был, разумеется, лучше, чем игорная зала.

Мебель была обита зеленым бархатом, мягкая кушетка так и манила к себе, запах шипра приятно щекотал нервы, свет зеленого фонаря так благотворно действовал на зрение, шаги по полу, покрытому пушистым ковром, были не слышны.

Менее страстному игроку и в голову не пришло бы покинуть это уютное гнездышко, даже если бы его не удерживали прекрасные глаза молодой девушки.

— Я вернусь, — сказал граф Петр Васильевич.

— Честное слово? — сказала она.

— Даю...

— Хорошо, тогда я буду вас ждать. Не заставляйте только меня скучать слишком дол-

го.

— Сколько у тебя денег с собой? — спросил граф Стоцкий, когда они вышли из будуара.

— Полторы тысячи.

— Дай Бог, чтобы тебе посчастливилось.

Они вошли в игорную залу.

Неелов метал банк.

Хотя он вообще обладал талантом вести разговор, но тут он превзошел себя.

Они говорили много и с одушевлением. Его *beaux-mots* поддерживали беспрерывную веселость в обществе.

Вообще, разговаривать во время игры не в правилах игроков, у них позволено говорить только то, что относится до игры.

Он же весьма остроумно касался всего и делал это, видимо, с целью отвлечь внимание своих партнеров от игры, за которой сам следил в высшей степени зорко.

Маневр его удавался вполне: князь Асланбеков, генерал и другие играли рассеянно и проигрывали.

Граф Стоцкий подошел к столу и внимательно наблюдал за Нееловым, нисколько не смущаясь его болтовней.



Если Владимир Игнатьевич и помогал своему счастью различными вольтами, передерживанием карт и то есть и делал это, благодаря своим разговорам, незаметно, но, как только Сигизмунд Владиславович подошел к столу и поставил на первую карту, он сразу прекратил свои проделки.

Граф Стоцкий пристально посмотрел на Неелова. Тот кивнул в сторону графа Вельского.

Сигизмунд Владиславович пожал плечами. Оба поняли друг друга.

Граф Петр Васильевич все проигрывал.

Граф Стоцкий играл счастливо.

Наконец Вельский сказал своему другу:

— Возьми мои деньги и играй за меня, мне сегодня не везет. Тут есть еще рублей восемьсот.

— Попробую, только ты не должен претендовать, если я не буду счастливее тебя.

— Я ведь не ребенок... Я лучше пойду к Екатерине Семеновне, чтобы не мешать тебе своим присутствием.

Когда он проходил по коридору, ему чуть не упала в объятия хорошенькая, молодая де-

вушка, которая выбежала из гостиной. На лице ее было все: стыд, страх, отчаяние.

— Боже мой, куда ты меня привезла, Софи! Прочь, прочь! Пусти меня! — кричала она, рыдая и вырываясь из рук своей приятельницы, тоже довольно красивой молодой девушки, несколько постарше.

— Ты дуручка, — говорила последняя, — если старик и был слишком любезен, ну так что же? Он богат, а твоя мать в нужде. Пойдем назад и не ребячься.

— Никогда! Если бы мы все умерли от голода, то и тогда я не решилась бы спастись своим позором. Пусти меня.

Она захлопнула дверь и сбежала с лестницы.

Граф с первых же слов понял, в чем дело — девушка-новичок в салоне полковницы ускользнула из цепких лап хозяйки.

Такие сцены случались часто.

Часто убежавшие, после нескольких дней раздумья, возвращались, уже решившись на все.

Он вошел в зеленый будуар.

Екатерина Семеновна полулежала на ку-

шетке.

Довольная улыбка озарила ее лицо.

Она рукой указала ему место около себя.

В маленькой гостиной между тем игра продолжалась.

Генерал, прервав было игру на некоторое время и удалившись в большую гостиную, возвратился с недовольным видом и снова стал играть и проигрывать.

— Проклятие, не везет ни в чем... — ворчал он, отдавая ставки. Сигизмунд Владиславович тоже проигрывал.

Выигрывал один Неелов, продолжая прибыльную для него болтовню.

Графа Стоцкого отозвала от стола Капитолина Андреевна.

— У подъезда стоит человек, который вас спрашивает. Я было приказала его прогнать, но он говорит, что для вас самих важно переговорить с ним.

— Вы не приказали спросить его имя?

— Он не хочет его сказать.

— Странно.

— Так позвать его?

— Нет, не надо.

Полковница ушла, но через несколько минут возвратилась снова с письмом в руке.

— Он велел передать вам это в собственные руки и сказал, что будет ждать ответа.

Граф Стоцкий разорвал конверт.

Письмо состояло всего из одной строки, но строка эта, видимо, была полна содержания.

Граф побледнел, как мертвец, и широко раскрытыми, полными ужаса глазами бессмысленно смотрел на Капитолину Андреевну. Та не на шутку перепугалась.

— Что с вами, граф, вам дурно? — бормотала она. Сигизмунд Владиславович пересилил себя, но все еще задыхаясь от охватившего его волнения, произнес:

— Проведите его в один из отдаленных кабинетов...

— Желтый... он свободен, — сказала Усова.

— Хорошо, я иду туда.

Он, шатаясь, вышел из маленькой гостиной.

Войдя в желтый кабинет, называвшийся так по цвету обивки мебели и портьер, граф Стоцкий бросился в кресло, закрыл глаза и схватился руками за голову.

В таком положении застал его податель письма, скромно одетый господин, брюнет, со смугло-желтым лицом, длинными усами и блестящими черными глазами, быстро перебежавшими с предмета на предмет.

— Здравствуйте, ваше сиятельство, — проговорил вошедший, подчеркнув титул.

Сигизмунд Владиславович кивнул головой и жестом руки указал на стул.

— Нет... зачем же?.. Нашему брату не полагается сидеть перед такими важными господами. Я и так много благодарен, что вы меня узнать изволили.

— Перестань ломаться, Григорий, — глухо проговорил граф. — Я тебя знаю, и ты меня знаешь. Зачем ты сюда явился? Тебе не следовало уезжать из твоего укромного уголка за границу. Здесь опасно.

— Совет хорош! И то сказать, фальшивомонетчика Григория Кирова схватят и упекут, а с важными господами, вроде графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого, так не поступают.

— Говори, скорей, что тебе нужно? Конечно, денег?

Киров спокойно поигрывал левой рукой своей часовой цепочкой и молчал.

Губы его были крепко сжаты, а в глазах светилась такая ненависть, что граф не выдержал его взгляда.

— Я не богат, — проговорил он, потупясь. — Но говори, сколько тебе нужно?

— Смахивает на то, что ты боишься меня, Станислав. Это ты напрасно. Я твой друг, да и самому мне не расчет отдать тебя в судейские лапы.

— Слушай, ты меня терзаешь! Говори сразу, что тебе нужно? Я сделаю все, что ты хочешь!

— На беду, я по опыту знаю, что обещать-то ты мастер, — насмешливо вымолвил Киров и задумчиво умолк.

— Говори, сколько тебе дать, чтобы ты навсегда уехал из России?

— Да что я, дурак, что ли? Это чтобы я сказал и России, и тебе: «Счастливо оставаться», а сам поехал бы бродить вдали от Родины. Нет, старый дружище, этому не бывать! Я останусь здесь и буду жить честно, то есть возложу на тебя приятную обязанность содер-

жать меня. Не заставишь же ты старого друга голодать.

Граф Стоцкий так боялся взгляда этого человека, что не смел даже возмутиться его издевательством.

— Так будь же благоразумен, Станислав! — продолжал тот. — Тебе предстоит доставить мне все необходимое для жизни, приятной и спокойной. Там, вдали, я так истосковался о таком любящем сердце, как твое, что раз добравшись до него, я уже его не выпущу! А я хочу быть богатым и жить приятно. Ты у меня в руках и должен за это платить!..

— Да я с радостью... Только уезжай пока отсюда в какой-нибудь другой город.

— Но ведь тебе все равно придется вспоминать обо мне, — заметил Киров насмешливо. — Теперь твоя дружба для меня дороже твоих денег.

Он удобнее уселся в кресло и придвинулся ближе к графу Стоцкому.

— Моя дружба? — тревожно переспросил последний.

— Разумеется. Ведь она защитит меня от неприятных столкновений с полицией. Ведь

друга высокочтимого графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого — и, как я надеюсь, впоследствии и графа Вельского, и всех этих господчиков твоих приятелей в высшем петербургском обществе — никто не осмелится даже заподозрить в чем бы то ни было.

— Ну, а средства для твоего существования?

— Средства? — повторил Киров и после довольно продолжительной паузы добавил: — Это ты...

— Я?!

— Да, ты... Завтра ты мне приготовишь пять тысяч рублей на первое обзаведение... Я буду у тебя в час дня...

— Пять тысяч!.. Но где я их возьму?..

— Если у тебя нет налицо, ты займешь... Завтра, в час дня, они должны быть в моем бумажнике, а не то...

— Хорошо, хорошо...

— Для того, чтобы предупредить тебя, я и побеспокоил тебя сегодня... А теперь до завтра... Желаю тебе счастливо играть и весело провести ночь...

— Но, послушай... — вскочил граф.



— Нечего и слушать... Завтра в час дня пять тысяч... до свиданья...

Киров медленно вышел.

Сигизмунд Владиславович остался один.

Несколько минут он был как бы в оцепенении, но затем встал, вздохнул полной грудью и вышел из кабинета.

Когда он возвратился в маленькую гостиную, он казался по наружности совершенно спокойным.

Игра продолжалась до утра.

Около четырех часов граф Стоцкий разыскал графа Петра Васильевича.

— Ну что, выиграл?

— Нет, все проигран.

— Плохо дело!

— Но ты дал слово выручить меня.

— И я сдержу обещание.

Гости разошлись.

Граф Вельский пригласил было Сигизмунда Владиславовича в свою карету.

— Благодарю. Я хочу немного пройтись, чтобы освежиться.

Он пошел с Нееловым.

— Сколько вы выиграли?

— Не слишком много. Должно быть, тыся-  
чи две.

— По моему счету — четыре, — заметил  
граф Стоцкий.

— Может быть.

— Вы поняли мой кивок?

— Конечно.

— Так половина выигрыша принадлежит  
мне, господин Неелов.

— Жаль мне делиться с вами. Если бы вас  
не было, я бы сделал то же, потому что из них  
никто ничего не видел.

— Да, но раз я был тут — моей обязанно-  
стью было помешать вам и спасти деньги  
друзей. Я этого не сделал. А потому прошу вас  
завтра утром прислать мне мою долю.

— Да будет так. Спокойной ночи.

Они разошлись в разные стороны.

## XXI

### МЕТАМОРФОЗА

**В**есь Петербург собрался на блестящий бал,  
который давал богач-банкир Корнилий По-  
тапович Алфимов в своем великолепном до-  
ме на Сергиевской улице.

Все комнаты первого этажа были полны

гостей.

Каждый из присутствующих мог найти укромное местечко или около роскошно сервированных буфетов, или в маленьких гостиных и кабинетах, где мягкие диваны и отоманки манили к сладкому отдыху.

В одной из первых зал хозяин, еще бодрый старик, элегантно одетый, встречал прибывающих гостей.

— Добрый вечер, барон, очень рад!.. Добро пожаловать, полковник, я уже боялся, что по случаю сегодняшнего парада вы не приедете... Очень приятно, ваше превосходительство!.. Где же ваша дочь? Больна!.. Ах, как жаль...

Для каждого гостя у него находилось приветливое слово.

Никто бы не узнал в этом финансовом тузе Петербурга еще недавнего «миллионера в рубище» — дисконтера, заседавшего в низке трактира на Невском проспекте, попивавшего жиденский чаек за счет своих клиентов и питавшегося обедками, получаемыми им за несколько копеек из того же трактира.

Еще с небольшим год тому назад он жил в

подвальном этаже в конце Николаевской улицы, занимая убогую комнату, и вдруг, точно по мановению волшебного жезла, сделался первой гильдии купцом, открыл банкирскую контору на Невском, занимавшую роскошное помещение, и купил себе дом, принадлежавший одному разорившемуся князю, со всей княжеской обстановкой, за полмиллиона чистоганом.

Этим волшебным жезлом оказался тот современный рычаг, который может перевернуть весь мир — деньги.

Чудный звон золота заставлял слетаться, как мух на мед, в открытые двери дома миллионера и чопорных великосветских бар, и искателей приключений, и выдающихся артистов, артисток, писателей, художников, адвокатов...

Даже наружность Корнилия Потаповича Алфимова, когда-то прозванного его клиентами «алхимиком», изменилась до неузнаваемости.

Оголенный череп был прикрыт искусно сделанным парижским париком.

Прекрасные вставные челюсти заменили

когда-то торчащие изо рта несколько желтоватых зубов, и гладко выбритое лицо, видимо, с искусно расправленными морщинами, носило далеко не прежнее отталкивающее выражение.

Совершенно круглые, совиные, бегающие, с темнозеленым отливом глаза были прикрыты синими очками, в массивной золотой оправе.

Еще недавно совершенно одинокий, он оказался отцом прелестной девятнадцатилетней дочери, Надежды Корнильевны, и двадцатитрехлетнего сына — Ивана Корнильевича, занимавшегося, под руководством отца в банкирской конторе.

Эта метаморфоза поразила всех знавших ранее Алфимова более всего.

Ничего не было бы удивительного в том, что человек, обладающий большим состоянием, пожелал променять свою прежнюю «собачью жизнь» на жизнь, соответствующую его громадным средствам, тем более, что эта перемена жизни была далеко не безвыгодна для одержимого манией наживы богача, так как банкирское дело и другие финансовые и бир-

жевые операции расширили круг деятельности петербургского «паука», и в его паутину стали попадаться крупные трутни велико-светского мира.

Роскошь и блеск, которыми он окружил себя, были таким образом оплачиваемы из увеличившегося дохода, да и кроме того оставался солидный излишек.

Достоинно удивления было то обстоятельство, что у считавшегося совершенно одиноким старика вдруг появилось семейство — дочь и сын, как бы свалившиеся с неба.

Злые языки уверяли, что Алфимов в молодости продал свое имя, женившись на содержанке одного московского коммерческого туза, дети которого, родившиеся впоследствии, и были записаны как законные.

Жена его, с которой он виделся только один раз, в день свадьбы, жила в Москве, получила от отца своих детей, умершего около пятнадцати лет тому назад, громадное состояние, которое увеличивала дисконтерством и ростовщичеством.

Имя Евдокии Смарагдовны Алфимовой было не менее, если не более, известно в Москве,

среди прожигателей жизни и будущих «тянькинских наследников», чем имя «паука» Алфимыча в Петербурге.

Года за два до описываемого нами времени Евдокия Смарагдовна умерла, выписав перед смертью своего законного мужа, которого назначила опекуном своих детей, оставив свое состояние, взяв с него клятву, что он окружит сына и дочь роскошью и довольством.

Клятву эту тем охотнее дал Корнилий Потапович, что умирающая женщина с ясностью делового человека доказала ему, что при умелой, даже чисто царской роскоши, последняя будет оплачиваться с излишком клиентами его операций.

Тогда-то и произошла описанная нами метаморфоза с Корнилием Потаповичем...

Гости между тем все прибывали и прибывали.

Среди них появились и знакомые нам: граф Стоцкий, граф Вельский и Неелов.

Граф Вельский состоял уже объявленным женихом Надежды Корнильевны, у которой был миллион чистыми деньгами, оставлен-

ный ей ее мать, не считая состояния отца, который, конечно, не забудет свою дочь в завещании.

Последняя надежда, впрочем, была не из прочных, так как ходили слухи, что старик Алхимов сам хочет жениться, а в его лета была велика вероятность, что появятся еще наследники, да и молодая жена сумеет прибрать к рукам старика-мужа с его капиталами.

Поговаривали между тем, что старик увлекается модной оперной певицей Матильдой Руга, и уже теперь тратит на нее большие деньги.

Она появилась и на описываемом нами балу своего «мецената», как в шутку называла она Корнилия Потаповича.

Последний в это время разговаривал с Нееловым, графом Стоцким и молодым человеком из начинающих адвокатов Сергеем Павловичем Долинским, так, по крайней мере, представил его хозяин двум своим остальным собеседникам.

— Его, несомненно, ожидает блестящая будущность, — добавил Корнилий Потапо-



вич, — на этих днях он выступает с первой защитой по громкому делу... Убийство, кажется?

— Нет, — отвечал Сергей Павлович, улыбаясь, — мой первый клиент известный шулер и ловкий мошенник.

Едва заметная судорога передернула углы губ графа Стоцкого и Неелова.

— И что же, вы надеетесь на благоприятный исход вашей защиты? — спросил сквозь зубы граф Сигизмунд Владиславович после некоторой паузы, пристально глядя на молодого человека.

— Нет, — равнодушно отвечал тот, — это дело проигранное; и я думаю, что мой патрон мне поручил его именно потому, что оно безнадежное. Впрочем, дело касается такого зловредного субъекта, от которого следует освободить общество...

В это время в дверях залы, около которых происходил этот разговор, появилась Матильда Руга.

Граф Стоцкий с презрительной миной повернулся спиной к молодому человеку и вместе с Нееловым и хозяином, взявшим под ру-

ку Долинского, пошел к ней навстречу.

— Матильда Францовна... Как поздно... Я уж начинал отчаиваться, — встретил ее Алфимов.

— Я прямо из театра.

Матильда Руга, несмотря на то, что ей далеко перевалило за тридцать, была все еще прекрасна.

В роскошном наряде изящная фигура ее казалась чрезвычайно эффектною.

На нее было устремлено всеобщее внимание.

Она с одинаковой любезностью поздоровалась с хозяином и его тремя спутниками и, фамильярно ударив веером по руке Сергея Павловича Долинского, сказала:

— Господин адвокат, можете предложить мне руку...

Он повел ее по зале.

Корнилий Потапович засеменил сзади. Граф Стоцкий и Неелов остались у дверей.

— Однако, этот юнец — молодой, да из ранних. Он, кажется, хочет воспользоваться или, быть может, и пользуется даром тем, за что наш почтенный хозяин платит большие

деньги, — заметил граф Стоцкий.

— Он красив и может иметь успех у женщин, подобных Матильде, бальзаковского возраста.

Матильду Руга между тем окружили и осаждали просьбами что-нибудь спеть.

Долинский подвел ее к роялю и думал, что этим его рыцарские обязанности и кончатся.

Он давно уже искал кого-то глазами.

Но Матильда удержала его.

— Если я уже должна петь, то вы будете мне аккомпанировать.

Он с радостью бы отказался, так как именно в эту минуту увидел то, что искал. Два прекрасных женских глаза остановились на нем.

— Пожалуйста, сыграйте, я так люблю вас слушать, — послышался нежный голос.

Против этой просьбы он не мог устоять и сел за рояль. Матильда стала около него. И едва он взял первые аккорды, как все в зале замерло.

Руга, как всегда, пела превосходно.

Все были очарованы.

Только одна группа людей, среди которых были граф Стоцкий, Неелов, барон Гемпель и

несколько других, не удостоивали ее своим вниманием.

Они были, видимо, заняты интересным разговором.

— Я сейчас видел графа Вельского, он шел точно приговоренный к смерти, — вероятно, вчера опять проигрался... — заметил один из стоявших в группе молодых людей.

— Граф не из таких людей, которые сожалеют о проигрыше в какие-нибудь две-три тысячи рублей... А вчера он проиграл именно столько... — возразил барон Гемпель.

— Просто-напросто он влюблен, — объяснил Сигизмунд Владиславович.

— Влюблен, он, этот петербургский Дон-Жуан, и влюблен? — засмеялся Неелов.

— Ну да, почему же нет? А вы разве, Неелов, не влюблены?

— Я?

— Конечно. Или вы думаете, никто не замечает, как вы стараетесь обратить на себя внимание красавицы Селезневой? Нам всем уже давно ясно, что вы до безумия влюблены в Любовь Аркадьевну.

— Нисколько... — протянул Неелов. —

Немного внимания и больше ничего.

— Не спорьте, — смеясь заметил барон Гемпель, — думают даже, что вы рассчитываете, главным образом, на ее трехсоттысячное приданое, чтобы поправить свои дела. Вы хотите на ней жениться?

— Что касается меня, да будет вам мое благословение, выбор хороший, — сказал граф Стоцкий. — Я даже могу помочь вам и замолвить словечко ее брату. Он имеет влияние на отца.

— Не смейтесь... — сказал Неелов. — Кроме того, я не нуждаюсь в помощниках, и если я что ищу, то уже добьюсь собственными силами.

— Будут сегодня играть? — спросил барон.

— Не знаю, — ответил равнодушно Сигизмунд Владиславович.

— Если господа кавалеры будут танцевать...

Граф Стоцкий схватил Неелова под руку...

— Смотрите, смотрите, только не умрите от ревности... Вы, видимо, ошиблись, говоря, что он единственно может нравиться только женщинам бальзаковского возраста, а оказы-

ваются и молодые девушки...

Пение кончилось, и Долинский шел по залу, направляясь к уютному кабинету, как бы созданному для интимных бесед, под руку с очаровательной шатенкой.

Это и была Любовь Аркадьевна Селезнева.

Молодой девушке едва минуло восемнадцать лет.

Высокая, стройная, с ослепительным цветом лица и ясными темно-синими глазами, она производила на всех впечатление своей красотой и грацией движений.

— Сядемте здесь, — сказала она, опускаясь на диванчик.

Сергей Павлович сел рядом с молодой девушкой и смотрел на нее с выражением глубокой любви.

Она была, действительно, прекрасна в белом атласном платье, с белой розой в пышных локонах.

Только грустный взгляд ее противоречил праздничному наряду.

Она печально опустила голову на руки.

— Вы хотели говорить со мной? — спросил Долинский.

— Да... Нет... У меня не хватает храбрости...  
Я не знаю... — смешалась она.

— У вас есть горе, а я думал, вы так счастливы.

— Я, счастлива!?

— Да разве вы несчастны? Вы молоды, хороши собой, богаты, любимы родителями, обожаемы всеми. Чего же вам более!..

— Ах, вы не знаете...

— Так скажите же, моя дорогая.

— Меня хотят выдать замуж за человека, которого я не люблю.

— Этого ваши родители никогда не сделают... Они вас любят.

— Мой отец — да, но моя мать... Вы знаете, она урожденная княжна и ни за что не хочет, чтобы я вышла не за титулованного жениха. Вы друг моего детства, я вам расскажу все.

— В чем же дело? — смотрел он на нее взглядом, в котором светилось беспокойство и обожание.

— Вы знаете... графа Вельского?

— Молодого?..

— Нет... Молодой женится на Наде... Его отец.

— Эту развалину?

— Он хочет жениться на мне...

— Как, этот старый седой греховодник хочет жениться на вас? Да скорее обрушится небо!

— Не правда ли, что ужасно подумать, что я в мои годы должна выйти замуж за человека, который ни по летам, ни по привычкам мне не пара. Несмотря на это, мать покровительствует его ухаживаниям, а отец не противоречит ей.

— Этого не будет! Я этого не допущу! Это значило бы принести вас в жертву на всю жизнь.

— Благодарю вас, дорогой друг, вы снова вернули мне мужество. Не правда ли, вы не оставите меня, когда все другие будут настаивать на моей гибели...

— Никогда! Никогда!

Он крепко сжал ее руки.

Он не мог противостоять очарованию ее влажных глаз, ее улыбке и наклонился к ней совсем близко.

— Люба, умоляю вас. Я люблю вас больше жизни!



Девушка испуганно перебила его.

— Ради Бога, перестаньте... мама...

— Tete-a-tete продолжается немного долго, — заметил между тем барон Гемпель, насмешливо поглядывая на Неелова. — Вас не гложет ревность?

— Пусть понаслаждается бедняга крохами ее милости, — захохотал Владимир Игнатьевич. — Я не завистлив, где я хочу победить, там я знаю, что победа будет на моей стороне, милейший барон.

— Однако, не мешало бы об этом сообщить папаше, — заметил граф Стоцкий. — А так как я ваш союзник, то и берусь разрушить этот tete-a-tete. Жаль, что Сергея здесь нет. Он лучше всех устроил бы это дело.

— Сергей, без сомнения, у своей возлюбленной за городом, — заметил барон Гемпель. — Ему там веселее, да и зачем он вам? Вот и сам папаша.

Богатый петербургский коммерсант Аркадий Семенович Селезнев действительно приближался к их группе.

## XXII ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

**Г**раф Стоцкий развязно подошел к Аркадию Семеновичу Селезневу.

— Можно вас поздравить с будущим талантливым и многообещающим зятем?

— Что вы этим хотите сказать?

— Я думал, что вы знаете отношение молодого адвоката к его прелестной клиентке.

— Выражайтесь яснее... Я не мастер отгадывать загадки.

— Разве отношения господина Долинского к вашей дочери или, скорее, их обоюдная склонность друг к другу составляет для вас тайну? — продолжал граф. — В таком случае, посмотрите по направлению к маленькой гостиной... Какая прелестная парочка!..

— А, вот в чем дело! — равнодушно протянул Селезнев, посмотрев по указанному ему направлению. — В этом отношении я совершенно спокоен. Долинский честный человек, я знаю его с детства и очень бы желал иметь его своим зятем. Я был бы очень рад, если бы ему удалось завоевать сердце моей дочери и получить согласие моей жены. Но я боюсь, что Люба уже сделала выбор.

Улыбка Неелова доказывала, что он того

же мнения.

— Она уже отказывала не одному жениху, — продолжал старик, — и я желал бы, чтобы ее выбор пал наконец на человека достойного. И, как я уже сказал, человек этот — Долинский.

— Тут ничего не возьмешь! — шепнул Неелов графу Сигизмунду Владиславовичу. — Пойдем лучше к мамаше.

Граф кивнул головой в знак согласия.

— Я только шепну насчет этого Матильде, — тихо сказал он.

При первой возможности он отошел и стал разыскивать Ругу. Для него достаточно было несколько слов, чтобы сообщить ей о своем плане.

Певица подошла к Екатерине Николаевне Селезневой, полной, напыщенной, роскошно одетой даме, и после нескольких минут разговора с ней бывшая княгиня величавой походкой направилась к маленькой гостиной.

Она появилась на ее пороге в тот момент, когда Сергей Павлович готов был признаться молодой девушке в любви.

Он посмотрел на нее, а затем обратился к

Екатерине Николаевне.

— Прошу вас выслушать объяснение того, что здесь произошло и что вы здесь видели.

— Куда ты пропала, Люба? — перебила его Селезнева, не обращая внимания ни на него, ни на его слова. — Тебя ищут в зале.

— В этом виноват я, — начал снова Долинский, — я давно уже ищу удобной минуты...

— Мой сын только что приехал и, вероятно, ищет вас... — снова перебила его Екатерина Николаевна.

Ей, видимо, не удавалось подавить в себе досаду. Долинский с почтительным поклоном вышел из гостиной. Любовь Аркадьевна схватила руку матери и хотела сказать что-то, но та перебила ее и холодно проговорила:

— Я найду средство положить конец этим ухаживаниям...

Мать и дочь вышли в залу.

Когда Долинский выходил из гостиной, он наткнулся на Неелова, который, хихикая, перешептывался с бароном Гемпелем.

Сергей Селезнев действительно искал его.

Он очень любил своего друга детства — Долинского — и даже был обязан ему спасением

жизни, когда они оба, катаясь по Неве, протекавшей в имении Селезнева, верстах в тридцати от Петербурга, упали из опрокинувшейся лодки, и Сергей Селезнев, не умея плавать, стал тонуть.

Они дружески поздоровались.

Долинский был очень рассеян. Он думал только о ней, и горькое сомнение волновало всю его душу.

Вдруг Любовь Аркадьевна легко и весело пролетела мимо него в вихре вальса с высоким изящным господином.

Долинский вспыхнул и даже не узнал Неелова, с которым только что познакомился.

— Знаешь ты этого молодца, который танцует с твоей сестрой? — спросил он своего друга.

— Это Неелов.

— Неелов? Ты близко с ним знаком?

— Нет. Он познакомился с нами недавно и был всего несколько раз с визитом. Если хочешь, я вас познакомлю.

— Благодарю. А что он из себя представляет? Богатый он?

— Я думаю, что нет.

— Чем же он живет? Служит где-нибудь?

— Нет! Живет, как все дворянские сынки, — играет.

— Так значит, он игрок?

— Не знаю, но играет он замечательно счастливо!

— А вообще, что он за человек?

— В обществе про его похождения говорят много: про его удачи, про его счастье. Везет ему во всем — на скачках выигрывает именно та лошадь, на которую он ставит... Совершенная противоположность его друга — Савина...

— Савина... Это тот, который был раздавлен железнодорожным поездом за границей во время его бегства?

— Откуда ты... Разве ты не читал сегодняшних французских газет? Он снова уже судится в Брюсселе... Да и ранее было известно, что он задержан в этом городе.

— Как же это?

— Да так, оказывается, что он очень удачно выпрыгнул из вагона в туннеле, бежал в Бельгию и переименовался маркизом...

— Значит, и ему везет...

— Ну, не очень... Теперь опять попался и, конечно, не выпутается...

— Может быть, он хочет жениться на твоей сестре?

— Кто? Савин? — спросил, смеясь, Селезнев.

— Какой там Савин? Что мне за дело до него, я говорю об этом Неелове.

— Думал, но получил решительный отказ от отца и принял, как кажется, совершенно спокойно.

Долинский решил ближе познакомиться с этим человеком.

Любовь Аркадьевна стояла с Нееловым в оконной нише и о чем-то очень оживленно разговаривала.

Сергей Павлович молча наблюдал за ними.

«Неужели она любит его? — думал он. — Игрока? Может быть, даже шулера?»

«Бедная Люба, — продолжал он размышлять, — ты будешь самая несчастная женщина, если полюбишь его! Лучше уж пойти за старого графа».

В роскошных залах банкира Алфимова собралось много из наших старых знакомых.

Тут были Михаил Дмитриевич и Анна Александровна Масловы и неразлучная с нею Зиновия Николаевна Ястребова.

Алексей Александрович приехал несколько позднее, прямо из редакции.

Он-то и привез с собою корректурный оттиск перевода статьи из «Indépendance Belge» судебного отчета по делу Николая Герасимовича Савина в Брюсселе.

Весь кружок Масловых, знавший и помнивший Савина, сгруппировался около Ястребова в маленькой гостиной, еще недавнем месте разрушенного свидания Долинского с Селезневою.

— Теперь попался, быть бычку на веревочке, — говорил Алексей Александрович.

— Едва ли, не таков он... Посмотрите, опять убежит... — заметил Михаил Дмитриевич.

— Трудновато, теперь за ним будет глаз да глаз... Да я не понимаю, с чего ему бегать?.. Ведь ты же говорил, Леля, что здешние его дела окончатся пустяками, что его должны оправдать? — заметила Ястребова.

— Так-то, так, да не хочется в тюрьмах си-



деть, да по этапу шествовать. А кроме того и расстаться с хорошенькой женщиной... По описаниям газет, эта Мадлен де Межен положительно красавица, — отвечал Ястребов.

— Счастлив он на баб, — произнес Маслов.

— Ишь, вашего супруга зависть берет, — пошутил Алексей Александрович, обращаясь к Масловой.

— За Мишу я спокойна... Не валите вы с больной головы на здоровую.

Алексей Александрович Ястребов, действительно, не отличался верностью своей жене, но она как благоразумная женщина не обращала на это большого внимания и даже заступалась за мужа.

— Вы не обижайте моего Лелю, — вступилась Зиновия Николаевна и теперь, — он не виноват, что все женщины от него без ума...

— Уж и все... Исключите хотя мою Аню, — засмеялся Маслов. — Шутки в сторону, — продолжал он, — вы думаете, его выдадут России?

— Без всякого сомнения, ведь он здесь обвиняется в общеуголовных преступлениях — разорвании векселя и поджоге... Это ведь

только заграничные газеты провозгласили его главой русских нигилистов и вожаком революционного движения в России.

К группе разговаривающих подошла под руку с Нееловым вся разгоревшаяся от танца Серафима Николаевна Беловодова. Им передали известие о Савине.

— Так значит, он жив? — воскликнула Симочка.

— Значит... — с улыбкой заметил Ястребов.

Неелова не поразило это известие, он уже раньше читал, как и другие, об аресте Николая Герасимовича в Брюсселе.

— Выпутается, не из таковских, чтобы дать себя облапошить, — уверенно произнес он.

— Нет, теперь, кажется, ему крышка! — пробормотал Алексей Александрович.

Симочка оставила руку своего кавалера и пошла разыскивать своего мужа.

Андрей Андреевич вертелся около Матильды Руга и Маргариты Гранпа, которая была тоже тут и сияла своим ослепительным декольте.

По занятиям театрального агента ему был знаком весь театральный мир.

Судьба Беловодовых изменилась к худшему.

На табачной торговле они, благодаря Андрею Андреевичу, прогорели.

Беловодов забирал всю выручку и прокучивал ее с приятелями, а по субботам — дням расплаты с поставщиками — исчезал с самого раннего утра из магазина, предоставляя жене вертеться и изворачиваться перед настойчивыми кредиторами.

Молодая женщина рассыпалась в уверениях скорой уплаты и в сетованиях на плохие дела и первое время умела умиловить поставщиков, но всему бывает конец, наступил конец и их терпению, и они перестали отпускать товар.

Кредит прекратился — торговля рушилась. Беловодовы закрыли магазин.

Андрей Андреевич снова пустился в театральную агентуру, которая, хотя и не давала больших заработков, но зато представляла из себя веселую и разнообразную деятельность.

Семья перебивалась с хлеба на квас, но супруги не унывали.

Такая жизнь была в натуре этих современ-

ных супругов.

Хоть есть нечего, да жить весело — вот девиз, который был одинаково по душе как Андрею Андреевичу, так и Серафиме Николаевне.

Маленькая помощь родственников Симочки не давала им умереть с голоду, а из получаемых от тех же родственников обносков молодая женщина умела делать себе такие туалеты, что не было стыдно появиться в них даже на балу банкира Алфимова.

В его дом Андрей Андреевич Беловодов проник сам и ввел жену через Матильду Руга, при которой состоял в качестве комиссионера.

Разыскавши мужа, Симочка передала ему, что слышала о Савине.

— Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить, — резко ответил словницей Беловодов.

Имя Николая Герасимовича приводило его в раздражение.

Вглядываясь в черты лица своей старшей белокурой дочери, он более и более догадывался о том, что делала его жена на даче Хва-

това в то время, когда он пешком шагал в Петербург, зарабатывая триста рублей.

Бал между тем был в полном разгаре.

Все были веселы и оживлены.

Некоторым контрастом являлась дочь самого хозяина — Надежда Корнильевна — которой, казалось бы, надо быть счастливее, веселее и оживленнее всех.

Она была «счастливая невеста титулованного жениха», который, как говорили товарищи графа Вельского, был влюблен в нее до безумия.

А между тем веселость ее была заметно деланная и ее хорошенькое личико то и дело заволакивалось облаком кручины.

Что происходило в душе богатой молодой девушки почти накануне ее свадьбы — знала только она и несколько очень близких ей лиц.

К числу последних принадлежала и Зиновия Николаевна Ястребова, приглашенная к Алфимовой в качестве врача, но вскоре привязавшая к себе свою пациентку и привязавшаяся к ней.

Молодая девушка выбрала минуту и подо-

шла к Ястребовой.

— Вы все печальны? — сказала ей она.

— Если бы вы знали, как мне тяжело! — со стоном вырвалось из груди молодой девушки.

— Отец неумолим?

— Слышать не хочет и спешит со свадьбой.

— А он?

— Он, что же он, он беспомощен, беден...

Его будущность впереди.

— Попробуйте признаться отцу.

— Едва ли это поможет, у него со старым графом какие-то дела... Он дал ему слово... А в слове отец — кремень...

— Но у вас отдельное состояние... Он, наконец, и отец-то вам без году неделю! — резко, не выдержавшая из чувства симпатии к молодой девушке, сказала Зиновия Николаевна.

Та испуганно поглядела на нее.

— Что вы говорите... Я дала матери у ее смертного одра слово не выходить из воли его и моего брата.

— Что же брат?

— Он тоже за графа.

Разговор их прервался приглашением Надежды Корнильевны на вальс.

Невеселое настроение невесты не ускользнуло от зорких глаз приятелей графа Вельского — графа Стоцкого, Неелова и барона Гемпеля.

Они разыскивали «счастливого жениха».

Тот тоже был не весел.

— Между тобой и невестой царит какая-то таинственная симпатия, — сказал Сигизмунд Владиславович.

— Что это значит?

— Да как же... Оба вы печальны и грустны среди этого, несомненно, оживленного праздника.

— Послушай, Сигизмунд, — вполголоса сказал ему граф Вельский, — я скажу тебе одну вещь, которая тебя очень удивит, но, пожалуйста, без насмешек, так как это очень серьезно...

— Это интересно! Только с каких пор ты говоришь таким докторальным тоном?

— Я люблю мою невесту...

Граф Стоцкий расхохотался в ответ на это неожиданное признание.

— Ты... ты... — повторял он, задыхаясь от смеха.

## XXIII В ОТРАДНОМ

Граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий уже второй раз так неудержимо смеялся над чувством графа Вельского к его невесте.

Первый раз это было несколько месяцев тому назад, в имении Алфимова, под Москвой, доставшемся детям Корнилия Потаповича от их матери.

Имение было прекрасно устроено.

Громадный барский дом, великолепно меблированный, со всевозможными службами, стоял на горе, по склонам которой был разбит тенистый сад.

Покойная Алфимова жила в нем только летом, в нем были и покосы, и пашни, а кругом обширные густые леса.

Управлял имением Иван Александрович Хлебников, живший там и зиму, и лето со своей женой Ириной Петровной и дочерью Ольгой.

Последняя была подругой детства Надежды Корнильевны Алфимовой.

Хлебников, служивший когда-то в московской палате гражданского и уголовного суда,



остался за штатом и поступил поверенным Алфимовой, сумел войти в ее доверие честным ведением ее дел и был назначен управляющим.

Он переселился с женой в Отрадное, так звали село, близ которого было имение, а дочь осталась в Москве, в Александро-Маринском институте, где она была в одном классе с Надей Алфимовой.

По окончании курса она переселилась к отцу с матерью, а вскоре мать Надежды Корнильевны скончалась, и она с братом переехала к отцу в Петербург.

Первое лето они не приезжали в имение, а следующей весной Хлебников получил письмо от Алфимова, который оставил его в управителях, с приказом приготовить дом для принятия не только хозяев, но и многочисленных гостей.

Ремонт и чистка дома закипели.

В начале июня, действительно, в Отрадное нагрянула целая орава гостей, в числе которых были и дамы: Матильда Францовна Руга, Маргарита Максимилиановна Гранпа и еще несколько оперных певиц и танцовщиц.

Иван Александрович только целый день качал головой после этого нашествия, находя это общество несоответствующим для молодой девушки, и решился мысленно не пускать дочь в хозяйский дом во время пребывания там этих «петербургских сирен», как прозвал он прибывших дам.

Кавалеры, приехавшие гостить, тоже не внушали старику Хлебникову доверия, не исключая и графа Вельского, о котором говорили, что он жених Надежды Корнильевны.

Это были знакомые нам граф Стоцкий, Неелов и барон Гемпель.

— И с чего это старик-то так разошелся! — беседовал он там со своею женою Ириной Петровной.

— С чего, известно с чего, седина в бороду, а бес в ребро, та черноокая-то... — Ирина Петровна говорила о Матильде Руга, — говорят, его пассия...

— Да что ты, ведь стар уже он очень...

— Стар! Говорят, в Петербурге стариков нет.

Действительно, Корнилий Потапович, послушав советы покойной жены из чисто дело-

вых оснований, вошел во вкус новой жизни, а прежняя, полная лишений, почти жизнь аскета, взяла свое, и он, вкусив от радостей и наслаждений жизни, что называется, разошелся.

Мотал он, впрочем, только доходы.

Капитал по-прежнему был для него неприкосновенной святыней.

В эту-то увеселительную поездку к своему тестю и признался граф Петр Васильевич своему другу графу Стоцкому в любви к своей невесте.

— Должно быть, это у тебя от чудных вин твоего тестюшки! Ты... и влюблен. Не заставляй меня усомниться в твердости земной почвы. Ты — Дон-Жуан Петербурга!.. Ты — мотылек, для которого нет цветка достаточно нежного и ароматного, ты — человек, который знает и кипучих испанок, и красавиц итальянок, ты — Адонис, на которого заглядывались все девушки... и вдруг ты влюблен в эту розу без аромата, которая может рассыпаться от малейшего дуновения ветерка! Влюблен в это хрупкое создание, в котором нет иной прелести, кроме ее полного неведения всего того,

что составляет обаяние женщины. Смотри на меня еще серьезнее, если хочешь, но я тебе не верю.

— Ты, может быть, и прав. Это удивительно. Но каждый раз, как я ее вижу, я чувствую нечто, чего не чувствовал уже давно. Я сам не могу дать себе отчет в этом чувстве, но думаю, что это любовь.

— Это скорее тщеславие, мой друг!

— То есть как это?

— Очень просто. Она не влюблена в тебя, как все другие, в это тебя бесит.

— Не думаю.

— А только эти московские красавицы всегда напоминают мне запоздалые фрукты: сорвать их трудно, а сорвешь — оказывается, что они далеко не так вкусны, чтобы стоило трудов их добывать.

Граф Вельский нахмурился.

Ему было, видимо, досадно, что Стоцкий говорил таким тоном о девушке, которая должна стать его женой и которую он действительно любил.

— А уж если твой избалованный вкус принял такое направление, то мне кажется, ты

мог бы себе доставить удовольствие много поинтереснее...

— На кого ты намекаешь?..

— На подругу Надежды Корнильевны. Она дочь здешнего управляющего и хороша поразительно. В Петербурге она свела бы всех с ума.

— Действительно, я не видывал девушки красивее.

— Она положительно прелестна!

Граф Стоцкий пристально посмотрел на графа Петра Васильевича.

— Я был просто поражен, когда увидел ее в первый раз, да и теперь я от нее в восторге.

— Еще бы! Но как это ты ее прозевал?

— Я-то ее не прозевал, да она-то была здесь всего один раз на каких-нибудь полчаса... Корнилий Потапович очень любит ее и пригласил сегодня, но она не явилась. Очевидно, она от нас прячется. Точно будто у нее есть предчувствие...

Разговор происходил в комнате, отведенной обоим графам, после весело проведенного вечера.

Оба они уже были раздеты и лежали в по-

стелях.

— Шутки... Теперь давай спать... Завтра предстоит, ты знаешь, пикник с дамами... Мы, может быть, увидим и твою красавицу.

Граф Стоцкий потушил свечу.

Но ему не спалось, хотя он вскоре и притворился спящим.

«Черт возьми! — думал он. — Он привязался к ней! А это вовсе не входит в мои расчеты. Этот дурак хочет, кажется, вырваться из моих рук. Но нет, господин граф, шалишь! Знаем мы средство, как укрощать таких соколиков, как ты».

«Жениться на ней он должен, — продолжала работать его мысль, — но не любить ее... Нет! Подожди, птичка, мы поймаем тебя на другую приманку, и дочь управляющего сослужит нам прекрасную службу. Завтра, во время пикника, мы побываем у управляющего, а с этого игра и начнется».

С этою мыслью он заснул.

У подошвы горы, на которой стоял барский дом, шумел густой лес, тянувшийся с лишком за версту, а затем уже расстилалось село Отрадное.

У опушки леса, на берегу протекающей речки стоял хорошенький одноэтажный домик, окруженный тенистым садом.

Это был дом, в котором жил управляющий именем Иван Александрович Хлебников.

На другой день после описанного нами разговора между двумя друзьями, ранним утром из ворот этого дома вышел Хлебников, одетый в коломянковую серую пару и соломенную шляпу.

Это был человек лет пятидесяти.

Борода и усы уже заметно поседели, тогда как волосы на голове были еще густые и без малейшего признака приближающейся старости.

Телосложения он был крепкого, а в его загорелом лице сказывалась несокрушимая сила воли.

Его согбенный вид, по-видимому, был скорее следствием нравственного уныния, чем телесной слабости.

Он пошел по селу по тому направлению, где около церкви, в стороне от крестьянских изб, кстати сказать, по их внешнему виду, указывавших на довольство их обитателей,

виднелся небольшой домик сельского священника, любимого и уважаемого не только крестьянами села Отрадного, но и крестьянами соседних сел, отца Иосифа.

Как раз в то время, когда Хлебников подходил к палисаднику священнического домика, из него вышел сам отец Иосиф, еще не старый человек, с открытым, строгим лицом, опущенным небольшою жидкою бородкой и усами, и какими-то светящимися неизмеримой добротой серыми глазами.

Одет он был в коричневую камлотовую рясу и широкополую черную соломенную шляпу.

Иван Александрович и отец Иосиф встретились, как встречаются люди, ожидавшие встречи, и действительно, ежедневно летом, ранним утром, кроме праздничных дней, когда была служба в церкви, они совершали утреннюю прогулку, проводя час-другой в задушевном беседе.

И теперь Хлебников, приняв благословение от батюшки, вернулся с ним назад, и они пошли по направлению к лесу.

Село было пусто.



Крестьяне все были на работе.

В лесу веяло прохладой и той необычайной тишиной природы, которую можно наблюдать только очень ранним летним утром и которую звуки леса и его пернатых обитателей не нарушают, а скорее усиливают.

Путники шли молча, как бы боясь произнесенным вслух словом нарушить эту тишину.

Пройдя лес, они вышли к подножию горы, на которой был расположен барский дом.

В нем, видимо, все еще спало глубоким сном.

— Ишь, как тихо в усадьбе, — так называли по старинному барский дом, — не шевельнется ни одна мышь...

— Когда кутят всю ночь напролет, нельзя наслаждаться утренними часами...

Отец Иосиф кивнул головой в знак согласия. Они постояли некоторое время на опушке и не спеша пошли назад.

— А теперь, батюшка, я попрошу вас зайти ко мне...

Священник взглянул на него вопросительно.

— Не болен ли кто у вас?..

— Нет, но...

— Вас что-то гнетет, милый друг, скажите.

Вы знаете, что я не только духовник, но и друг ваш.

— Я это знаю, и именно потому, что я нуждаюсь в вашем утешении, в вашем ободрении, я и прошу вас зайти ко мне непременно.

— Ну... В чем же дело?

— Отъезд Ольги решен окончательно.

— И вы можете расстаться с этим ребенком? А как же его мать?

— Это необходимо, батюшка!.. Я боюсь ее оставить здесь летом... В хозяйском доме происходит нечто такое, что заставило меня не пускать ее к подруге детства Надежде Корнильевне... Долго это делать нельзя, это может меня поссорить с моими хозяевами... Лучше удалить ее.

— Действительно, к ним понаехали довольно странные гости, эти певицы и танцовщицы... — заметил отец Иосиф.

— И эти петербургские развратники... — добавил Хлебников. — Ужели я должен допустить, чтобы моя дочь была в таком обще-

стве.

— Нет, этого не следует, — сказал священник. — Господь одарил вашу дочь очень впечатлительным и восприимчивым сердцем, да еще и красотой, а поэтому подобное общество для нее вдвое опаснее.

— А следовательно, она должна уехать, как бы это ни было тяжело...

— А куда вы хотите ее отправить?

— В Петербург.

— В Петербург! — воскликнул отец Иосиф вне себя. — В этот современный Вавилон, в этот город безверия и распущенности, где погибает добродетель и честность? И этому-то Молоху, который не щадит ни невинность, ни душевную чистоту, хотите вы поручить вашу дочь, эту жемчужину между девушками.

— Я думал об этом, — отвечал спокойно Иван Александрович, — но там опасность для моей девочки не так велика, как здесь. Гости, говорят, останутся здесь около месяца... А там при всем желании ее не разыщут. Вы знаете, что сестра моей жены замужем за одним некрупным петербургским чиновником... У

них свой домик в отдаленной от центра столицы местности — на Песках. Они ведут тихую, патриархальную, чисто семейную жизнь... К ним-то и поедет Оля. Там она будет вдали от шумной жизни столицы... У ее тетки дети... и молодая девушка займется их воспитанием.

— Дай Бог, чтобы вы не обманулись в ваших надеждах, достойный друг... — сказал отец Иосиф.

Они подошли к калитке сада, окружавшего дом управляющего, и вошли в нее.

## XXIV ЯД ЖИЗНИ

Дорожка, ведущая к дому, проходила возле беседки из акаций. Идя мимо нее, отец Иосиф и Иван Александрович услышали женские голоса.

— Это Оля с матерью... — сказал Хлебников.

Они направились по траве к беседке и застали там трогательную картину.

На скамейке сидела Ирина Петровна, а рядом с ней дочь, обнимая мать и положив голову к ней на грудь, громко рыдала.

Мать, утирая слезы, утешала ее.

— Будь спокойна, дитя мое. Оставайся только набожной и доброю, какова и теперь, и Господь не оставит тебя. Избегай греха, избегай соблазна; обещай мне, что ты никогда не забудешь, какой страх испытывают твои родители, отправляя тебя.

— Никогда, никогда, дорогая мама! — воскликнула Ольга Ивановна, поднимая лицо, чтобы посмотреть прямо в глаза матери.

Это была девушка красоты поразительной.

Ей едва минуло девятнадцать лет; ее фигура была стройна, мощна, но поразительно гармонична и изящна. В прекрасном лице светилось врожденное благородство.

Она подняла на мать свои темно-голубые, увлажненные слезами глаза.

При этом движении головы темно-русые вьющиеся волосы тяжелой волною хлынули ей на спину.

— Мама, — проговорила она, и голос ее звучал глубокой задушевностью, — утром моя первая мысль будет о тебе, а вечером, засыпая, я стану думать о тебе же. Память о тебе станет охранять меня от всего дурного.

— Дай Бог! — подхватила мать. — Дай Бог, чтобы мы радовались твоему возвращению так же, как тоскуем теперь, отпуская тебя.

— Ах, лучше мне бы совсем не уезжать от вас! — рыдала молодая девушка.

— Нет, моя девочка, так нужно! А мы и издалека будем любить тебя по-прежнему и станем молиться за тебя. Молись почаще и ты, чтобы Господь избавил тебя от соблазнов и испытаний, а если испытания когда-нибудь настанут, то чтобы Он даровал тебе силу устоять против греха.

— Аминь! — произнес отец Иосиф, который вместе с Иваном Александровичем уже несколько минут стояли у входа в беседку.

Он ласково взял девушку за руку.

— Запечатлей в сердце своем слова Писания, которые сказал сыну своему праведник, отправляя его в путь. «Имей Бога в сердцеи перед очами, береги себя, чтобы добровольно не впасть в грех». Со слезами провожают тебя твои родные; дай Бог, чтобы им не пришлось плакать, встречая тебя. Ты прекрасный, едва распустившийся цветок, Ольга; да благословит тебя Господь и да сохранит Он тебя такой

же чистой и прекрасной.

Рука, которой отец Иосиф благословил молодую девушку, дрожала, а на глазах священника навернулись слезы.

Ольга и Ирина Петровна громко рыдали, а Иван Александрович закрыл лицо платком.

Никто не мог произнести ни слова.

Вдруг перед домом остановилась телега.

Хлебников выглянул из беседки.

В стоявшем у телеги мужчине он узнал дворецкого барского дома.

— Что скажешь, Флегонт? — крикнул ему Иван Александрович, быстро вытирая слезы.

— Я привез вина и закуски.

— Зачем это?

— Господа сегодня идут в лес и решили завтракать в вашем саду... Корнилий Потапович просит Ирину Петровну и барышню Ольгу Ивановну похозяйничать.

Хлебников переглянулся со священником.

— Это все из-за Ольги... — проворчал Иван Александрович.

Отец Иосиф поник головой.

— Я хотел бы, чтобы ее уже здесь не было... Мне чуеться, что все это не к добру.

— Когда она уезжает?..

— Завтра утром...

— Да хранит ее Господь.

Священник простился и ушел, а Иван Александрович стал угрюмо наблюдать, как вынимали из телеги вина и провизию.

Ирина Петровна с мучительной тревогой в душе принялась за приготовления к завтраку, стол для которого был накрыт в саду.

Ольга Ивановна ей усердно помогала.

Около полудня прибыло все общество, во главе с Корнилием Потаповичем. Не было только Надежды Корнильевны, у которой от вечера разболелась голова и она отказалась от прогулки в лес «по грибы».

Беззаботность, легкомыслие и бесшабашное веселье было написано на раскрасневшихся от движения лицах.

— Вчера вы заставили нас понапрасну прождать вас, а сегодня мы всем кагалом прибыли к вам... — сказал граф Стоцкий, обращаясь к Ольге Ивановне.

— Украсить, хотя насильно, наш завтрак вашим присутствием, — добавил граф Петр Васильевич.



— Садитесь со мной рядом, прелесть моя! — воскликнула тоном непритворного восторга Матильда Руга, и взяв молодую девушку за руку, буквально насильно усадила ее за стол.

Завтрак начался.

Иван Александрович, отказавшийся с женой принять в нем участие, хотел было удалить и дочь.

— Вы извините Ольгу, она занята приготовлениями к отъезду, и потому ей дорога каждая минута.

— Она уезжает! Куда?

— В Петербург.

— О, как жаль!

— Нет, этого не будет... Вы должны остаться с нами...

Мужчины забросали Хлебникова вопросами, от которых ему насилу удалось отделаться, но все-таки не удалось удалить дочь из этого общества. Она осталась.

— Стакан для Ольги Ивановны...

— Вот, вот...

— Прелестная затворница, позвольте с вами чокнуться. Отныне я буду носить в душе

ваш образ, чистый, как этот звук хрусталя, а память о вас будет одушевлять меня, как вино в этом стакане.

— Тише, тише, барон Гемпель, — перебила молодого человека Матильда Францовна. — Разве вы не замечаете, как краснеет наша барышня.

— А вы не видите, — вставил граф Стоцкий, как у нашего графа Вельского вся кровь бросилась в лицо от ревности... Стыдно, а еще жених.

Граф Петр Васильевич действительно смотрел сумрачно, и легкая краска гнева выступила у него на лбу.

— Дорогая Ольга Ивановна, — сказал он, обращаясь к молодой девушке, — уважение, которое я к вам питаю, так же велико, как и преклонение перед вашей красотой, а потому позвольте мне, жениху вашей подруги, быть вашим защитником от наглости этих господ. Не ревность, а негодование заставило меня измениться в лице.

Молодая девушка подарила его благодарным взглядом.

— Посмотрите-ка, — воскликнул граф Си-

гизмунд Владиславович, — Дон-Жуан стал моралистом!

Завтрак продолжался.

По его окончании гости разбрелись по тенистому саду.

Матильда Руга осталась вдвоем с Ольгой Ивановной, нежно взяла ее под руку и с участием истинного друга расспрашивала о цели ее отъезда.

Граф Вельский и Стоцкий хотели было остаться, но Матильда так выразительно взглянула на последнего, что тот, под каким-то благовидным предлогом, быстро увел графа Петра Васильевича.

Молодая девушка самым простодушным образом отвечала на вопросы.

Сочувствие и расположение молодой красавицы сделало ее развязной.

Она с удивлением рассматривала драгоценные камни, украшавшие руки певицы, и с совершенно детскою наивностью заметила, что, должно быть, она очень богата, если покупает такие дорогие вещи.

— Эти вещи не покупает никто из тех, кто их носит, — ответила Матильда Францовна с

улыбкой, — и я ни одной из них не купила.

Ольга Ивановна посмотрела на нее вопро-  
сительно.

— Это все подарки.

— Подарки... Конечно, от высокопостав-  
ленных лиц, которых вы восхищали своим  
пением?

— Дитя мое, — заметила Руга, — не искус-  
ству приносятся жертвы, а красоте.

Молодая девушка посмотрела на нее недо-  
верчиво.

— Вы могли бы обладать еще большими  
сокровищами, стоит вам только захотеть.

— Я?!

— Да, вы... Вы меня не понимаете! Позднее,  
может быть, слишком поздно, вы увидите,  
что я была права.

— О, я не сомневаюсь, что вы правы, но все  
же я вас не понимаю. Неужели вы думаете, я  
могла бы, если бы захотела, иметь такие же  
роскошные вещи, как вы?

— Конечно, дитя мое!

— Но кто же мне их купит?

— Каждый мужчина, которому вы позво-  
лите. Граф Вельский, например.

— Граф Вельский?

— Да, он... Ведь он пожертвовал бы всем своим состоянием, если бы вы этого потребовали, потому что безумно любит вас...

— Меня, безумно?..

— Вы этого не заметили?

— Боже меня сохрани... Я его и видела-то всего два раза... Да к тому же, он жених Нади. Руга громко рассмеялась.

— О, святая простота... Ну, да столица скоро заставит вас бросить подобные предрассудки...

Вскоре общество вновь собралось к столу, к недопитым стаканам вина.

Снова слышались звуки откупориваемых бутылок.

Благодаря вину голоса стали повышаться.

По неотступной просьбе Матильда Руга пропела несколько пикантных романсов.

Чудный голос вакханки, воодушевленное вином общество, распущенная веселость, свободный, никем не сдерживаемый разговор — все это не замедлило произвести впечатление на молодую девушку.

Ольга Ивановна, хотя и старалась владеть

собою, но все же время от времени украдкой бросала взгляд на сидевшего с ней рядом графа Петра Васильевича, который не принимал участия в общем веселье.

Это ей нравилось.

«Он хороший человек!» — думала она.

Взгляд графа был с благоговением устремлен на нее.

«Как мне нравится она», — думал он, когда взгляды их случайно встречались.

Матильда Руга оживленно вполголоса беседовала о чем-то с графом Стоцким.

Граф Вельский между тем обратил на это внимание молодой девушки.

— Прекрасная охотница раскидывает сети на редкую дичь, а Сигизмунд — этот ненавистник женщин — конечно, всеми силами желает попасть в них.

Ольга Ивановна улыбнулась сравнению.

Они и не подозревали, что разговор касался их обоих и что с этой минуты почти решалась между этими двумя разговаривающими людьми их судьба.

За молодой девушкой в это время прислала мать, прося ее прийти в дом.

Она стала прощаться и подошла, между прочим, к Матильде Францовне. Певица дружески протянула ей руку, на которой сверкал великолепный солитер.

Ольга Ивановна случайно взглянула на него.

Когда она очутилась одна в своей комнате, занимаясь укладкой своих вещей, все только что пережитое невольно восстало в ее памяти, а великолепный солитер продолжал сверкать перед ее глазами.

Она задумалась.

«Все мои драгоценности — подарки мужчин, которые восхищались моей красотой...» — неслось в ее голове.

Как бедны, убоги показались Ольге Ивановне самые лучшие ее платья и скромные украшения ее туалета сравнительно с нарядом модной певицы.

«И вы бы могли иметь все это, если бы захотели...» — звучали в ушах молодой девушки слова Матильды Францовны, слова искушения.

«Вам их купит каждый мужчина, которому вы позволите...» — припомнилось ей далее.

Первая доза жизненного яда проникла в нетронутый, свежий организм молодой девушки.

## XXV ПЛАН ДРАМЫ

Головная боль была только предлогом для Надежды Корнильевны, чтобы не принимать участия в пикнике.

Ей было глубоко несимпатично собравшееся у отца общество, ей было невыносимо тяжело оставаться не только с глазу на глаз с женихом, но даже быть с ним в присутствии посторонних.

Ей хотелось до боли одиночества, а его-то именно у ней и не было среди ее шумной жизни.

Надежда Корнильевна воспользовалась отъездом всех из дому и вышла в сад.

Она пробралась в свою любимую тенистую аллею, ведущую к цветнику.

В шуме деревьев, в шелесте листьев, в душистых цветах искала она ту поэзию жизни, которой не доставало ее мечтательной душе среди окружающих ее людей.

Еще при жизни матери она часто гуляла



здесь со своим другом Ольгой, болтая о своих сердечных тайнах и мечтая о будущем счастье.

Молодая девушка была из тех редких в настоящее время существ, которые с первого взгляда внушают глубокое уважение и удивление.

Высокая, стройная, она обладала той простотой, которая придает женщине особое очарование.

Она была бледна и на ее нежном личике были заметны следы глубокого горя.

Как смоль черные волосы, падая по плечам, представляли поразительный контраст с бледностью лица.

Темные глаза, увлажненные слезами, тихо светились из-под длинных ресниц.

В белой маленькой ручке она держала ветку жасмина, изредка с наслаждением вдыхая его нежный аромат.

Несколько времени она задумчиво ходила взад и вперед, а затем опустилась на дерновую скамейку под тенью могучего вяза, откинула голову назад и возвела глаза к небу с выражением мольбы.

Издали послышались чьи-то шаги. Кто-то огибал беседку.

Через несколько минут перед молодой девушкой стоял отец Иосиф.

— Батюшка, — воскликнула она, — вы ли это?.. Это промысел Божий...

— Промысел Божий всегда над нами, дочь моя, — ответил священник, благословляя Надежду Корнильевну. — Не помешал я вам?

— Нисколько, садитесь, я так рада вас видеть... Мне даже именно в настоящую минуту была нужна мощная поддержка... Я мысленно молилась о ней Богу, и вы, батюшка, явились как бы Его посланником...

— Где, дочь моя, — сказал отец Иосиф, сядя рядом с молодой девушкой, — мне, смиренному иерею, быть посланником Божиим... Конечно, мы ежедневно молим Творца нашего Небесного о ниспослании нам силы для уврачевания душевных скорбей и тревог нашей паствы, и Господь в своем милосердии посылает порой нам, Его недостойным служителям, радостные случаи такого уврачевания... Скажите мне, что с вами, дочь моя?

— Разве вы не знаете, батюшка?..

— Ваш отец выбрал вам будущего супруга, надо покориться его воле, ведь сами, чай, знаете, что сказано: «Дети — повинуйтесь родителям своим... Чти отца твоего и мать твою...»

— Но, батюшка, есть повиновение, которое выше человеческих сил... Я должна выйти замуж за человека, которого я не только любить, но и уважать не могу...

Она громко зарыдала и по-детски склонила голову на грудь священника.

— Никто, никто ко мне не имеет жалости, — каким-то душу холодящим стоном вырвалось у нее из груди.

— Умоляйте вашего отца...

— Отец неумолим!

— Но что же вы имеете, дочь моя, против вашего жениха?

— Я не люблю его...

— В старину говаривали: стерпится — слюбится...

— Он игрок, человек без правил, без нравственности...

— В старину говаривали: женится — переменится...

— Он окружен такими людьми и настолько находится под их влиянием, что перемена немыслима... Он женится на мне ради моего состояния.

— Он сам богат...

— Он игрок, у него много долгов... На эту страсть не хватит никакого богатства.

— Но откуда вы это все узнали, дочь моя?

— Я не ребенок, батюшка... Живя у матери, я видела таких, как он, готовых за тысячу рублей подписать вексель на десять тысяч... Наконец, я люблю другого!

Она оборвала это вырвавшееся у нее невольно признание и замолчала.

— Конечно, брак без взаимной любви и уважения — не брак в христианском смысле... — после некоторого раздумья сказал отец Иосиф. — Я поговорю с вашим батюшкой.

Молодая девушка сквозь слезы, с немой мольбой и благодарностью, посмотрела на священника.

В то время, когда происходил этот разговор, веселое общество гостей, во главе с Корнилием Потаповичем, возвращалось через лес домой.

Матильда Францовна Руга шла под руку с графом Сигизмундом Владиславовичем.

— Дочь управляющего производит на него впечатление, я это сегодня заметил, — сказал последний.

— Конечно, — подтвердила Руга. — Да это и не удивительно, она именно такая девушка, которая может разжечь кровь истощенного развратника.

— Я постараюсь раздуть в нем страсть, так что он сбросит сентиментальные цепи влюбленного жениха.

— Мне вообще не нравится эта свадьба, — промолвила певица.

— Мне также, но она необходима.

— Конечно, эта дочь бывшей ростовщицы очень богата.

— Это еще не единственная причина. Граф Петр сам богат, но по завещанию своей матери он только после женитьбы вступает в полное владение своим состоянием. Если он до тридцати лет не женится, то будет получать пожизненно только доходы. Капиталы же, имущества перейдут в род матери. Вы понимаете, что уж для этого одного он должен же-

ниться.

— Без сомнения. Одним выстрелом он убьет двух зайцев, сделается полным хозяином и своего и своей жены имущества.

— Совершенно справедливо! И это для меня важно теперь, когда он в моих руках.

Матильда Францовна засмеялась.

— Вы сделали из него такого страстного игрока, какого я когда-либо видела.

— А вы воспитали в нем самого ужасного развратника.

— Кроме того, я держу в руках обоих отцов: одного надеждой на обладание Ольгой Хлебниковой, а другого возможностью брака с Селезневой...

— Так что мы оба одинаково трудились и трудимся для общего дела, — заметил со смехом граф Стоцкий.

— Я рассчитываю поэтому тоже получить свою долю.

— Конечно, конечно... Если мы будем действовать и дальше заодно, он от нас не уйдет. Он будет рассыпать свои миллионы, а мы их подбирать. Любовь и карты! Большого рычага и не требуется, чтобы разорить его.

— Хорошо, я ваша союзница.

— А я нуждаюсь в вас именно теперь...

— Говорите, я слушаю.

— Он признался мне, что серьезно любит свою невесту.

— Я могу подтвердить это.

— Но он не должен любить свою жену, иначе она будет иметь власть над ним: она вырвет его из той жизни, которую он ведет. Он будет сидеть дома, откажется от карт и любви, и тогда прощай наши надежды на его состояние.

— Необходимо раздуть страсть к Ольге...

— Это именно и следует.

— Случай представляется благоприятный — она уезжает в Петербург.

— Великолепно! Вы знаете ее адрес?

— Конечно, я обо всем расспросила ее, и простодушная девочка рассказала мне все, что я хотела знать...

— Значит, начало сделано.

Они вышли на опушку леса и стали приближаться к дому, присоединившись к остальному обществу.

План будущей драмы был составлен.

При возвращении общества в дом Надежда Корнильевна незаметно прошла через заднее крыльцо в свое помещение. Туда к ней вскоре явился Корнилий Потапович.

— Что твоя голова? — спросил он.

Молодая девушка подняла на него распухшие от слез глаза.

— Ты опять плакала! — с резкими нотами в голосе сказал Корнилий Потапович.

— Отец! — произнесла она.

В тоне этого восклицания было столько душевной муки, столько слезной мольбы.

— Ты опять за свое... Сядь, поговорим...

Она села на пуф.

Он опустился в кресло напротив.

— Дочь моя, — начал он после минутного молчания, которое было настоящей пыткой для молодой девушки, — постарайся выбросить из головы все свои институтские бредни, тебе представляется прекрасная партия, дело уже решенное, твое замужество не терпит отлагательства... Я должен сообщить тебе, что свадьба состоится в октябре...

Несчастливая девушка застонала. Ее охватил невыразимый ужас.



Кровь застыла в ее жилах, и на бледном лице не осталось буквально ни одной кровинки.

— Отец, сжался!

Корнилий Потапович, казалось, не обратил на стоны и на возгласы дочери ни малейшего внимания и продолжал:

— Эта свадьба необходима по многим причинам. Во-первых, слово, которое я дал молодому графу; во-вторых, страстное желание твоего будущего свекра графа Вельского и, в-третьих, я сам имею намерение жениться и нуждаюсь в содействии графа Петра Васильевича и его друзей. Этих причин, конечно, достаточно, чтобы мое решение было приведено в исполнение. Кроме того, тут есть еще кое-что, о чем я тебе не могу сообщить. Одним словом, я сказал тебе мое неизменное решение...

— Отец, отец... — рыдала Надежда Корнильевна.

— Никаких противоречий!

Молодая девушка вскочила с пуфа и упала к его ногам.

— Сжался! — умоляла она его, обнимая

его колени. — Будь милосерд, не делай меня несчастной! Я не люблю его и не могу любить!

— Глупости! Любовь придет сама собою. Он такой хорошенький мальчик.

— Но он человек безнравственный, у него нет ничего святого.

— Ты исправишь его.

— Но...

— Никаких но... Встань, Надежда, и вспомни свою клятву у постели твоей умирающей матери.

Молодая девушка вздрогнула.

— Отец... — снова простонала она, не поднимаясь с пола.

Страдания ее не трогали холодного, черствого эгоиста. Он встал и двинулся к двери.

Она вскочила и загородила ему дорогу.

— Отец, еще одно слово.

— Ну?

— Я люблю другого.

— Так вот что, — засмеялся он злым смехом. — Берегись! Я предчувствовал, что близость с этим семинаристом не приведет к добру... Давно следовало прогнать этого попа

вместе с его отродьем. Знает он, что ты его любишь?

— Мы никогда не говорили об этом! Он и не подозревает. И сама-то я поняла это только теперь.

— Счастье для него, что он не знает... Я ускорю твою свадьбу.

— Отец, это твое последнее слово?

— Мне нечего больше говорить!

С этими словами он вышел.

Совершенно разбитая, бросилась молодая девушка в кресло и глухо зарыдала.

## **Часть вторая**

### **В ВЕЛИКОСВЕТСКОМ ОМУТЕ**

#### **I**

### **В БОЛГАРИИ**

**М**ихаил Дмитриевич Маслов, выразив мнение, что Савин снова ухитрится убежать, оказался пророком.

Николай Герасимович действительно ускользнул от прусских жандармов за несколько минут до передачи его русским властям на самой границе.

Успокоенные поведением сопровождаемого ими арестанта, поведением, не дававшим места малейшему подозрению даже желания им совершить бегство, жандармы-философы, как прозвал их Савин, при остановке поезда на станции Александрово, обрадованные удачным выполнением ими поручения начальства, разговорились со встретившимися им земляками, упустив лишь на одну минуту вверенного им и подлежащего передаче в руки русских жандармов арестанта.

Этой минуты было достаточно для Николая Герасимовича, чтобы исчезнуть бесследно, точно кануть в воду.

Произошел переполох.

Русские власти донесли о событии по принадлежности.

Немецкие жандармы отправились в свой «фатерланд» под гнетом предстоящего им дисциплинарного взыскания.

Они были угрюмы, не философствовали и не политиканствовали.

Николай Герасимович между тем, верный своему заранее составленному плану, остался временно в пределах России, пробрался в

один из пограничных городов, где один из его родственников, или вернее муж его родственницы занимал крупный пост.

Жена этого «лица» — мягкосердечная женщина — умоляла своего мужа дать временный приют беглецу, а тот отплатил за гостеприимство тем, что обманным образом добыл бумаги своего друга и дальнего родственника по матери графа де Тулуза Лотрека, признанял, пользуясь именем своего властного и уважаемого родственника, у многих лиц довольно крупные суммы и исчез за границу.

Через несколько времени он появился в Софии, столице Болгарского княжества, где в то время царила политическая неурядица и во главе политических пройдох, захвативших в свои руки власть над несчастным болгарским народом, стоял Степан Стамбулов — бывший студент новороссийского университета, вскормленник России, поднявший первый свою преступную руку против своей кормилицы и освободительницы его родины от турецкого ига.

У всех еще свеж в памяти этот период болгарской истории, заставивший на долгие го-

ды отшатнуться от нее ее благодетельницу — Россию.

Это было как раз время, последовавшее после вторичного отречения болгарского князя Александра Баттенбергского от престола.

Он назначил регентство из Стамбулова, Каравелова и Муткурова, которые составили коалиционное министерство под председательством Радославова, министром иностранных дел был Начевич, министром юстиции — Стоилов, а военным — Николаев.

Русское правительство не могло оставить болгарский народ в неизвестности о своем мнении о судьбе его первого князя и своей будущей политике относительно болгарского народа.

Заговорили о миссии князя Н. С. Долгорукова в Болгарию, но затем оказалось, что русский военный агент барон Каульбарс был вызван в Высоко-Литовск, где в сентябре 1886 года имел свое пребывание император Александр III.

По приказанию его императорского величества, барон Каульбарс должен был отправиться в Болгарию и объявить всему болгар-

скому народу чувство искреннего доброжелательства его величества и дать совет для выхода из ее затруднительного положения, но, вместе с тем, категорически объявить высочайшую волю, что ни Баттенберг, ни кто-либо из его братьев не должен возвратиться в Болгарию.

13 сентября Каульбарс прибыл в Софию и вступил в управление агентства, а 14-го он в полной парадной форме сделал официальные визиты регентам и министрам, а министру иностранных дел вручил письмо господина Гирса, уполномочивавшего его в качестве политического представителя России.

С 12-го октября по 6-е ноября продолжались томительные переговоры барона Каульбарса и борьба с его регентством и министерством.

Ее благоприятного исхода с нетерпением ожидал болгарский народ.

Миссия барона Каульбарса состояла в том, чтобы получить полную амнистию для всех участников переворота 9-го августа, то есть в свержении князя Александра Баттенбергского, и отложить на два месяца выборы в народ-

ное собрание, которому предстояло избрать нового князя.

Цель последнего требования была очевидна и разумна.

Необходимо было усмирить взволнованную страну и иметь время для поиска кандидата на болгарский престол.

Исполнение его зависело всецело от доброй воли и понимания дела, чего, к сожалению, у регентства вообще, а у Стамбулова в частности, не было.

Последний торопился созвать как можно раньше народное собрание, чтобы переизбрать Александра Баттенбергского.

Этого желало регентство и отчасти министерство.

Они не хотели отложить выборов, ссылаясь на конституцию, как будто бы регентство, назначенное отрекшимся далеко не по доброй воле от престола Баттенбергом, имело какое-нибудь конституционное значение.

Оказалось, впрочем, что Стамбулов в своем сопротивлении требованиям русского дипломатического представителя руководствовался советами австрийского и английского



агентов.

Это не могло не сделаться неизвестным барону Каульбарсу.

Только 18-го сентября Стамбулов отказался от переизбрания Баттенберга и именно тогда, когда уже все великие державы были убеждены в невозможности такого переизбрания.

Болгарские патриоты просили барона Каульбарса указать кандидата русского правительства, которого они обязывались выбрать беспрекословно и единогласно.

К сожалению, русский дипломатический представитель не был в состоянии удовлетворить их желание.

Собравшееся 13-го сентября в Софии народное собрание состояло исключительно из депутатов — сторонников Стамбулова и компании.

Самые выборы происходили под наблюдением организованной Радославовым армии «палочников», действовавшей от имени комитета, избравшего себе громкий девиз: «Болгария для болгар».

«Палочники» эти называли себя защитниками отечества.

Горе было округу, где избиратели выбирали антиправительственного депутата.

В Дублине, например, начальник округа был убит и тридцать шесть граждан были приговорены к смертной казни.

В Румелии, где избрали русофилов, все избиратели брошены в тюрьмы.

Много было перебито народа в Татар-Базарджике, в Пловдиве и других местах.

Степан Стамбулов созвал народное собрание как подготовительное к великому народному собранию в Тырнове.

Из зала заседания были заблаговременно вынесены портреты Александра II и Александра III, а портрет Баттенберга был только завешен.

Регентство и министерство находилось всецело в руках иностранных агентов и политических интриганов, которые приложили все свои старания, чтобы миссия русского посланца потерпела неудачу.

Барон Каульбарс, после бесплодных переговоров в Софии, начал объезд главных городов Болгарии, чтобы зондировать общественное мнение болгарского народа.

Софийские заправилы послали впереди его своих агентов и наряду с восторженными криками народа по адресу русского Царя и России слышались громкие крики правительственных клеветов.

— Да живие Стамбулов!

Вскоре после этой поездки барона Каульбарса последовал разрыв дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Это произошло 6-го ноября 1886 года.

Барон Каульбарс уведомил о своем выезде из Болгарии правительство нотою, в которой заявил, что правители Болгарии окончательно утратили доверие России, и что императорское правительство находит невозможным поддерживать сношения с болгарским правительством.

Все русские консулы также покинули Болгарию.

Открывшееся в Тырнове 22-го ноября великое народное собрание избрало на болгарский престол датского принца Вольдемара, брата русской императрицы, чем хотело засвидетельствовать, как болгарскому народу дорого сохранить лучшие отношения с рус-

ским Императорским двором.

После последовавшего со стороны избранного принца отказа от болгарской княжеской короны, народное собрание было немедленно закрыто.

Регентство решило отложить дальнейшие выборы в надежде, что ему тем временем удастся убедить Россию в готовности сообразоваться с ее волей, но, главным образом, с целью дать возможность Австрии среди продолжающегося кризиса водворить свое влияние в Сербии и окончательно подчинить себе Боснию и Герцеговину.

Разрыв между державою-освободительницей и ее созданием — Болгарией — причинил глубокую скорбь всем истинным славянским патриотам, верящим в политические задачи России на христианском востоке.

После закрытия тырновского народного Собрания начался период «кандидатов на болгарский престол».

Этот период политической неурядицы продолжался восемь месяцев.

Первой после датского принца Вольдемара кандидатурой была выставлена кандидатура

князя Николая Мингрельского.

Это была единственная русская кандидатура, неприятная, конечно, заправилам Болгарии, ходившим на австрийских помочах, и потому не имевшая успеха.

Вскоре собралось второе великое собрание, на котором в декабре 1886 года было решено послать к европейским дворам депутацию, изыскать средства к примирению с Россией и приискать кандидата на болгарский престол.

Депутатами были избраны Стоилов, Греков и Кольчев.

Конечно, прежде всего эти депутаты посетили Вену, где после беседы с князем Лобановым-Ростовским и Кальноки, они начали, переговоры с доверенным лицом принца Фердинанда Кобург-Готского о принятии болгарского престола.

Затем принц сам принял депутацию в своем замке Эбенталь, близ Вены, где Стоилов произвел на него своей патриотической речью глубокое впечатление, так что с этого времени принц стал иметь большое доверие к этому искусному оратору и государственному человеку.

В то время, когда депутаты путешествовали за границей, в самой Болгарии проект сменялся проектом, один неудачнее другого.

Обратились к принцу Оскару шведскому, сделано было предложение румынскому королю, в случае избрания которого соединение Болгарии с Румынией явилось бы ядром будущей федерации балканских государств.

Но король Карл отклонил это предложение.

Заискивания сербского короля Милана, тогда еще правившего Сербиею, который сам навязывался в болгарские князья, были отвергнуты.

Предлагался в князья Болгарии Алеко-паша, и уже, как последний исход, обратились к Блистательной Порте с предложением, что народное собрание изберет князем Болгарии турецкого султана под условием, что он присоединит Македонию к болгарскому княжеству, под общею властью назначенного ими наместника.

Султан ответил отказом.

Между тем в стране в разных пунктах вспыхнули беспорядки и смуты, финансы бы-

ли в плачевном состоянии — все приходило в упадок и расстройство.

В это-то время в Софии появился блестящий француз граф де Тулуз Лотрек.

Молодой, красивый, прекрасно образованный, он в короткое, время сумел войти желанным гостем в дом всех дипломатических агентов в Софии и сойтись с регентами и министрами.

Особенно подружился он со Стамбуловым, перед которым развивал свои планы будущего управления Болгарией и даже вскользь уронил о возможности заключить при его посредничестве заем у парижских банкиров в двадцать миллионов франков.

Сам граф казался очень богатым человеком, не стесняющимся в средствах.

В уме Стамбулова возник план управления Болгариею за ширмой такого удобного и стоворчивого князя, каким был его приятель граф де Тулуз Лотрек, имеющий вес и значение у парижских Ротшильдов.

Он сблизился с графом настолько, что пригласил его крестить у него новорожденную дочь.

Граф согласился и сделал богатые подарки своей куме и крестнице.

Тогда начальник болгарских «палочников» исподволь подготовил своего кума к возможности заявить его кандидатуру на болгарский престол.

Граф де Тулуз Лотрек после некоторого колебания принял предложение.

Начались подробные переговоры.

Для того, чтобы подготовить почву для избрания, граф по совету Стамбулова отправился в Константинополь, где представился французскому послу графу Монтебелло и сумел обворожить его настолько, что тот представил его великому визирю как будущего, пока негласного, кандидата на болгарский престол. Назначен был день аудиенции, выхлопотанной ему у султана.

Все шло, что называется, как по маслу.

Пустой случай уничтожил ловко задуманное дело.

В общем зале лучшей гостиницы Константинополя, где остановился будущий болгарский князь, его увидел служивший в гостинице куафер-француз, бывший подмастерье па-



рикмахера Невилля в Москве.

— Bonjour, m-r Savin! (Здравствуйте, господин Савин!) — воскликнул он.

— Je ne vous connais pas! (Я вас не знаю!) — отвечал, смутившись, Николай Герасимович — это был он.

Куафер, удивленный, пристально посмотрел на него и прошел дальше. Но фамилия его была произнесена, да к его несчастью, еще в присутствии нескольких чиновников из русского посольства, которым известно было, что Савин разыскивается русскими властями и уже три раза бежал из-под ареста за границей.

В тот же день посольство и консульство были осведомлены о возникшем подозрении.

Приглашенный в консульство куафер клятвенно уверял, что граф де Тулуз Лотрек — не кто иной, как русский офицер Савин, которого он хорошо знает.

Вопрос об его аресте, в виду покровительства, оказываемого ему французским послом, был довольно щекотлив и оставался даже после показания куафера некоторое время открытым.

Сам Николай Герасимович своим неудержимым нравом дал повод к своему аресту.

## II

### ОТ ВЕЛИКОГО К СМЕШНОМУ

Через несколько дней после роковой для Николая Герасимовича встречи с французом-куафером в одной из константинопольских газет появилась статья, посвященная предполагаемому претенденту на болгарский престол графу де Тулуз Лотреку.

В статье этой между прочим указывалось, что граф происходит не от прямой линии Бурбонов, как стараются доказать он сам и болгарские регенты, а от побочной: а именно, от морганатического брака Людовика XV.

Взбешенный Савин отправился в редакцию газеты.

— Могу я видеть редактора?

— Господина Станлея?

— Если это господин Станлей, то господина Станлея.

Секретарь редакции, молодой человек, с лицом, указывавшим на его семитское происхождение, отправился доложить о посетителе, взяв от мнимого графа его визитную кар-

точку.

— Пожалуйста в кабинет... — возвратился через несколько минут секретарь.

Николай Герасимович отправился в указанную дверь. За большим письменным столом восседал сухопарый англичанин.

— Чем могу служить? — холодно спросил он Савина, указав рукою на кресло, стоявшее у стола, и не поднимаясь сам с места.

Это уже одно взбесило еще более Николая Герасимовича.

— Я граф де Тулуз Лотрек... — не садясь, сказал он.

— Я это знаю из вашей визитной карточки.

— В вашей глупой газете напечатана глупая статья...

— Я просил бы вас быть приличнее...

— В этой глупой статье, напечатанной в вашей глупой газете, — продолжал Николай Герасимович, не обратив ни малейшего внимания на замечание редактора, — передаются различные инсинуации относительно моей родословной... Я требую опровержения и печатного извинения...

— Я сделал бы вам эту любезность, если бы вы своим поведением не доказали бы мне очевидно отсутствия в вас не только королевской, но даже благородной крови... — хладнокровно заметил господин Станлей.

— Что-о... Что-о... Ты сказал?.. — крикнул Савин.

— Так не ведут себя графы! — невозмутимо продолжал редактор.

— Если так не ведут... то вот, как бьют... — уже положительно рывкнул Николай Герасимович и с этим словом влепил редактору полновесную пощечину...

Удар был так силен, что господин Станлей откинулся на спинку кресла и на минуту потерял сознание.

Этим временем воспользовался Савин и беспрепятственно вышел из кабинета и редакции.

Секретарь редакции, который, видимо, слышал весь разговор и звук пощечины, так как отскочил от двери кабинета при выходе Николая Герасимовича, не предпринял против него ничего, во даже как-то особенно почтительно ему поклонился.

Пришедший в себя оскорбленный редактор, конечно, бросился жаловаться, и в тот же день к вечеру в номер гостиницы, занимаемой графом де Тулуз Лотреком, явилась полиция с константинопольским полицмейстером во главе.

— По повелению его величества султана я вас арестую... — обратился последний к Савину.

— Пошел вот, турецкая собака! — крикнул Николай Герасимович.

— А, так вы так... — вышел из себя в свою очередь паша и, схватив за ворот Савина, крикнул полицейским: — Вяжите его!

Николай Герасимович, однако, изловчился ударить полицмейстера так сильно ногой в его солидное брюшко, что тот покатился на пол.

Савина все-таки связали.

— Я русский подданный... — крикнул он, зная, что газета, редактируемая Станлеем, не пользуется расположением русского посольства, как орган английских политических интриг.

— Это мы знаем, господин Савин... — за-

явил, вставая на ноги, полицеймейстер, — и потому-то мы вас и арестовываем.

Николай Герасимович побледнел.

«Сорвалось!» — припомнилось ему классическое восклицание Кречинского.

Он передан был в руки русского консульства и вскоре, как мы знаем, очутился на палубе парохода «Корнилов», шедшего на всех парах в Одессу.

Николай Герасимович дошел в своих воспоминаниях до этого момента своего прошлого, — момента, с которого мы начали свой рассказ, — после возвращения его из конторы дома предварительного заключения, где он, если припомнит читатель, так неожиданно встретил друга своей юности, свою названную сестру Зиновию Николаевну Ястребову.

— Зина, ты!.. — воскликнул, прийдя в себя от первого смущения, Савин.

Причиной этого смущения было то, что он совсем забыл эту молодую девушку, жившую в доме его родителей и когда-то с чисто женскими ласками и вниманием врачевавшую его разбитое сердце.

Он протянул ей обе руки.

Она схватила их и крепко пожалала.

Воспоминания прошлого также волной нахлынули на нее.

— Нет, не так, Зина, не так!.. — воскликнул растроганный Савин и заключил ее в свои объятия.

Они обменялись чисто братским поцелуем.

— Вот где пришлось нам встретиться после стольких лет, — с грустью в голосе начал Николай Герасимович.

— Что же из этого? — почти весело отвечала Ястребова, садясь на стул возле тоже сидевшего Савина. — «Грех да беда врозь не живут», — говорит русская пословица, а другая подтверждает и Результат: «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся».

— Так-то оно так, а все-таки печально... Столько лет не виделись... и вдруг... Ну как, что вы... Что муж? Детки? Вы довольны, счастливы?

— Не обо мне речь, — перебила его Ястребова. — Я совершенно довольна своей судьбой... Речь о вас... Надо вас выволить...

— Выволить, — грустно произнес Нико-

лай Герасимович. — Из дел, в которых я здесь обвиняюсь, вызволиться нетрудно... Ведь не верите же вы, что я поджег дом в моем именье, или же рвал неоплаченные векселя... Что будет дальше, не знаю, но до сих пор Бог милостив... Преступлений я не совершал, проступки — да... Значит за дела я спокоен... Но кто вернет мне те прожитые до прибытия сюда, в Петербург, недели, показавшиеся мне годами, кто вознаградит за испытание унижения и оскорбления, за перенесенные страдания... Ведь я не думал бежать из России и тем менее от русского правосудия... Я был болен нравственно и физически, когда мне в Москве принесли повестку от судебного следователя, в получении которой расписался швейцар гостиницы. Я ее даже не видел... Таково мое прошлое... Не радостно и настоящее. А что ждет меня в будущем, когда я выйду из суда, хотя и оправданный, но ошельмованный. Вот в чем дело, дорогая Зина!.. Окаченный помоями и без средств.

— Насчет последнего я вас могу успокоить... В этом смысле будущее ваше не так страшно. Ваши братья сумели собрать все



возможное с заложенных и перезаложенных имений, и на вашу долю приходится сорок тысяч рублей, которые положены в банк на мое имя, во избежание каких-либо препятствий выдачи вам лично... Тотчас по освобождении вы получите их от меня.

— Зина, — воскликнул Савин, — как мне благодарить вас!..

— За что?.. Не за то ли, что я себе не присвоила чужих денег?

Николай Герасимович смутился, но тотчас же оправился.

— Положим, — смеясь продолжал он, — в наш век за это именно надо благодарить больше всего, но не вас... Вы, видимо, не от мира сего. Я благодарю вас за радостную, воскрешающую меня весть и за то, что вы не отстранили от себя участие в деле, где замешан я, считающийся «притчей во языцех» целой Европы, почти целого мира...

— Я слишком многим обязана вашему семейству.

— Теперь оно — ваш должник...

— Но это в сторону... В контору я передала из процентов с ваших денег шестьсот рублей,

так что вы можете здесь обставить себя с возможным для тюрьмы комфортом.

— Вы мой ангел-хранитель.

— Кроме того, вам ведь будет нужен защитник... Здесь ведь есть знаменитости... Надо бы кого-нибудь из них.

— Тот, кого я вам рекомендую — знаменитость будущего — Долинский.

— Молодой?

— Да, он помощник присяжного поверенного... Не так давно он защищал дело, которое сделало известным его имя. Дело было совершенно безнадежное... Мошенник и шулер, известный Алферов, вышел совершенно неожиданно из суда оправданным... Долинский говорит, что это случайность, даже неожиданная для него... Но говорил он прекрасно и дело изучил во всех подробностях, чего никогда не делают наши знаменитости...

— Да будет так... Давайте вашего Долинского.

— Вы еще не получали обвинительного акта?

— Получил по обоим делам, и по здешнему, и по калужскому... Но откуда вы, Зина,

знаете все эти судебные формальности?

— Я жена журналиста.

— Да, я и забыл...

— Тогда подайте заявление об избрании вами в качестве защитника помощника присяжного поверенного Сергея Павловича Долинского и такое же заявление напишите в калужский окружной суд... Получив из суда уведомление, он тотчас же к вам явится...

— Хорошо, я сделаю это сегодня же.

На несколько минут наступило неловкое молчание. Николай Герасимович, видимо, хотел что-то сказать, но не решался.

— Ну, как тут... живут... все?.. — с видимым усилием спросил он.

— Масловы вам кланяются... Михаил Дмитриевич будет у вас...

— Он хороший... — задумчиво произнес Савин и снова замолчал.

— А... она? — после довольно продолжительной паузы, более движением губ, чем голосом, спросил он.

— Для нее, Николай Герасимович, — строго заметила Зиновия Николаевна, — сорока тысяч мало.

Он закусил губу и замолчал.

Ястребова стала прощаться, обещав навещать Николая Герасимовича.

— В следующий раз я приду с мужем, — сказала она.

— Рад буду видеть его.

Они расстались.

Савин вернулся в свою камеру, и мука одиночества после беседы с человеком, пришедшим «с воли», из общества, еще более охватила его.

Принесенная Зиновией Николаевной Ястребовой весть о сравнительном обеспечении его по выходе из тюрьмы отошла почему-то на второй план, и он снова предался воспоминаниям прошлого.

Особенно мучила его неудача последней политической авантюры, на которую он возлагал столько надежд.

И вдруг все рухнуло с его арестом.

Достигни он цели, все его действия получили бы другую окраску, чем теперь.

Обидно и горько казалось это Николаю Герасимовичу, но нечего Уже было делать — это был совершившийся факт.

Приходилось с ним мириться.

Он напрягал все усилия своей воли, чтобы отрешиться от этих мыслей, а они, как мухи в осеннюю пору, назойливо жужжали в его голове.

Наконец он перенесся мыслью к свиданию с Ястребовой, вспомнил ее совет подать заявление об адвокате и сел писать его.

Он окончил его в тот момент, когда в доме предварительного заключения погасили огни.

Николай Герасимович разделся и лег в постель. Но заснуть он мог только под утро.

### III ЖЕРТВА

Прямо из дома предварительного заключения Зиновия Николаевна Ястребова отправилась к одной из своих пациенток, живших неподалеку от дома, где продолжали жить Ястребовы, — на Гагаринской улице.

Зиновия Николаевна была около двух месяцев тому назад приглашена к молодой девушке, жившей в квартире ее знакомой, Анны Александровны Сиротининой, сын которой, Василий Сергеевич, служил бухгалтером

в банкирской конторе Алфимова.

С жилицей Сиротининой Елизаветой Петровной Дубянской случился страшный нервный припадок в окружном суде при разбирательстве дела Алферова, которого защищал Долинский. Лубянская была свидетельницей по этому делу, и оправдательный вердикт, вынесенный присяжными заседателями обвиняемому, произвел на нее потрясающее впечатление.

Она упала на пол в страшных конвульсиях и была отвезена в сопровождении доктора и судейского сторожа домой, где у нее открылась нервная горячка.

Анна Александровна бросилась за Ястребовой, и последняя, по обыкновению, вся отдалась своей пациентке.

Елизавета Петровна уже более года жила в Петербурге по делу, которое имело для нее такой роковой исход, но заседание суда несколько раз откладывалось по болезни подсудимого, которому, как говорили, необходимо было для чего-то выиграть время.

Зиновия Николаевна прошла в комнату больной, где застала и Анну Александровну,

прибиравшую на столике у постели больной склянки с лекарствами.

При опущенных шторах едва можно было разглядеть бледное, но очень миловидное личико молодой девушки.

Это было одно из тех лиц, которые не бросаются в глаза, но чем больше на него смотреть, тем труднее от него оторваться.

Девушка была печальна и озабочена, а тусклый взгляд ее с беспокойством блуждал по полутемной комнате. Губы ее были крепко сжаты. Время от времени она тяжело вздыхала.

Старушка заботливо оправляла подушки больной. При виде докторши лицо девушки вспыхнуло и осветилось радостной улыбкой.

— Как вы себя чувствуете? — взяла за руку больную Зиновия Николаевна. — Нынче у вас опять лихорадочный день.

— Нет, мне лучше, гораздо лучше... — сказала больная.

— Этого я не вижу, — возразила Ястребова. — Но скоро вы будете молодцом... Я говорила вам, что вам нужен покой, вы все волнуетесь...

Анна Александровна пододвинула Зиновии Николаевне кресло. Та села, держа обе руки больной и с улыбкой глядя ей в лицо.

— Но я чувствую себя хорошо, совсем хорошо...

Больной, однако, не удалось скрыть охватившего ее припадка слабости.

Она закрыла глаза и откинулась на подушки.

— Ах, дорогая Зиновия Николаевна, — заговорила через несколько времени больная, — вы не можете себе представить, как я рвусь на воздух, чтобы отделаться от мыслей, которые меня мучат нестерпимо. Мне часто кажется, что я не вынесу этих воспоминаний, особенно сознание, что этот человек остался безнаказанным.

— Если он виновен, Господь покарает его.

— О, в этом я убеждена... Но мне хочется сегодня рассказать вам все...

— Вы слишком слабы, это вас снова взволнует...

— Напротив, мне станет легче, когда я поделюсь с вами моими страданиями. Вы такая добрая, сердечная... Позвольте...



— Я вас слушаю...

— Я дочь помещика... У нас было имение под Петербургом... Я была очень счастлива, потому что у меня была мать, которую я обожала. Как сейчас вижу ее кроткую улыбку, с которою она наклонялась, чтобы поцеловать меня и сказать, что я ее единственная радость, единственное утешение. Я редко видела моего отца, особенно последние года. Дела вынуждали его — так, по крайней мере, говорили мне — часто ездить в Петербург. Мы жили очень уединенно, тогда как раньше мои родители виделись, хотя изредка, с соседним помещиком графом Вельским.

— Граф Вельский?.. Это отец того молодого человека, который живет здесь?

— Да, да... Петр Васильевич его сын... Он ведет дурную жизнь. Года три тому назад он, Неелов и граф Стоцкий часто бывали у моего отца.

— Великолепная троица!.. Рассказывайте дальше.

— Мать моя часто плакала... Бывало, все улягутся в доме, она я примется плакать... да так горько, навзрыд! А когда я стану спраши-

вать, о чем она горюет, она мне ничего не отвечает, а только обнимет меня крепче и рыдает еще горше. Один раз отец вернулся из города и подал матери какую-то бумагу.

— Прочти... — говорит. А голос у него был такой, что он и теперь звучит в моих ушах. Мать так вся и задрожала, однако бумагу взяла. Не прочла она и десяти строк, как вскрикнула и замертво упала на пол.

— Вероятно, отец ваш проигрался?

— Да, я узнала об этом гораздо позднее. Дело было в том, что мы должны были жить только на доходы с имения. Отец стал бывать дома еще реже, а когда приезжал, был мрачен и рассеян и скоро уезжал опять. Мать моя с каждым днем становилась бледнее и плоше. Она старалась скрыть от меня свое горе. Но наконец ей стало не под силу. Она делалась все слабее и слабее. У нее открылась чахотка, и когда мне исполнилось девятнадцать лет, она умерла, а, умирая, все звала меня, называя всевозможными ласковыми именами.

Последнее слово больная произнесла шепотом. Чтобы продолжить свой рассказ, она принуждена была перевести дух.

— В день похорон неожиданно вернулся из Петербурга отец. Должно быть, он был потрясен глубоко. Он опустился перед гробом на колени и со слезами целовал холодную руку покойницы. С этой минуты мы не разлучались. Казалось, он хотел вознаградить меня за все зло, которое сделал моей матери.

— Значит, он бросил играть? — спросила Ястребова.

Дубьянская покачала головой.

— Слушайте дальше. Он был со мною в высшей степени нежен и исполнял мои малейшие желания, мне так хотелось любви и заботы. Мое осиротелое сердце ответило на его ласку всеми своими нетронутыми силами, и он никогда не оставлял меня в деревне одну. Наши доходы все еще были довольно значительны, так что ему не приходилось ни в чем себе отказывать, и наш дом был одним из богатейших в уезде. Гостеприимство отца и всегда во всем полная чаша привлекали массу так называемых друзей, которые под маской дружбы старались обойти моего отца.

— А вы, имея на него влияние, разве не могли заставить его не принимать их?

— Я умоляла его об этом, но все напрасно! Между его друзьями был один человек, который имел на него громадное влияние. Его фамилия была Алферов. Его познакомил с отцом, кажется, граф Стоцкий. Он старался так обойти отца, что тот был совершенно в его власти. С первой же встречи я возненавидела этого человека, хотя он очень старался сблизиться со мной.

— Какой негодяй!

— Он постоянно вертелся около меня. И чем больше я его презирала и ненавидела, тем больше отец запутывался в его сетях, — продолжала она.

— Вероятно, он был тоже игрок!

— Он был настоящий мошенник, и мой бедный отец погиб безвозвратно. Он прожил у нас несколько недель. Отец проводил целые ночи с ним вдвоем и с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. В один из вечеров, это было тринадцатого мая, — никогда не забуду я того дня, — случилось то, что я давно ожидала. Было поздно, я давно уже ушла спать, как вдруг слышу страшный шум. Моя спальня отделялась от комнаты, где играли

отец с гостем, только коридором. Я быстро оделась и открыла дверь. Слышу голос отца... Я бросилась по коридору прямо к ним... То, что я увидела, было ужасно! Отец обеими руками впился в негодяя и кричал: «Шулер! Отдай мне то, что ты у меня украл!» А этот негодяй только презрительно хохотал над ним, потом освободился от его рук и так толкнул его, что тот грохнул на пол и потерял сознание. Я еще не успела броситься ему на помощь, как он пришел в себя, вскочил и снова бросился на негодяя. Вдруг шулер ударил отца так, что тот зашатался. Я страшно закричала и, не помня себя от страха и негодования, бросилась между ними. Негодяй отпустил руку, а мой бедный отец упал в кресло и закрыл лицо руками. В эту минуту я забыла даже об этом изверге, бросилась к отцу, стараясь его утешить. Вдруг я почувствовала на своем плече чью-то тяжелую руку. «Если вы хотите, — слышалось над самым моим ухом, — вы можете спасти вашего отца». — «Прочь, негодяй!» — вскричала я, отталкивая его. Он насмешливо улыбнулся. «Ваш отец разорился по собственной вине, — заговорил он, отчека-

нивая каждое слово, — у меня в кармане его обязательство на сумму большую, чем стоит все его имение... Я возвращу их вам, если вы...»

Бедная девушка запнулась и покраснела.

— Чего же требовал негодяй? — спросила Зиновия Николаевна. Она с трудом проговорила:

— Он возвращал все обязательства отца, если я... открою ему дверь своей спальни...

— Подлец...

— У меня язык смолк от обиды, — продолжала Елизавета Петровна. — Я стояла перед негодяем, и меня всю трясло от злобы. Несмотря на всю свою грубость, он понял, что смертельно оскорбил меня, и сказал: «Я не жестокосерд, согласитесь выйти за меня замуж и все станет опять принадлежать вам и вашему отцу». Мне было так противно, что я отшатнулась от него. «Если вы и ваш лтец дадите мне письменно обещание, я буду доволен...» — сказал он. Дальше я не могла молчать. Откуда брались у меня слова, я не знаю, но только они достигли цели. Он заскрежетал зубами и, не дожидаясь конца объясне-

ния, выбежал из комнаты. В ту же ночь он выехал из нашего имения. Я не в силах рассказать того, что чувствовала, когда снова вернулась к отцу. Я просила его успокоиться и лечь спать. «Мы нищие!» — вот все, что он отвечал мне на мои утешения. Наконец, казалось, он сдался и позволил проводить себя в спальню. «Теперь иди, дитя мое! — сказал он глухо. — Господь да хранит тебя. Может быть, он сжалится над тобой». Но меня все-таки что-то удерживало возле него; я чувствовала, что не должна оставлять его одного. И только после настоятельной вторичной просьбы я решилась уйти к себе. Ах, зачем я не осталась, может быть, я предупредила бы страшную катастрофу.

Молодая девушка остановилась.

— И что же было потом? — торопила ее Ястребова, которая слушала с напряженным вниманием.

Слезы катились по щекам Дубянской и она, рыдая, стала рассказывать дальше.

— Я не могла заснуть... страх не давал мне спать... Прошел, должно быть, целый час... Вдруг слышу выстрел! Я вскочила. Страшное

предчувствие овладело мной. Как сумасшедшая бросилась я в комнату отца и без сознания упала на его труп...

Елизавета Петровна снова замолчала.

Воспоминание о только что рассказанных сценах потрясло ее до того, что она не могла выговорить слова. Несколько успокоившись, она продолжала:

— На письменном столе отца нашли письмо, написанное дрожащею рукою. В этом письме отец объяснял причину своего страшного решения. Мы теряли все. Он надеялся, что его убийца оставит мне, по крайней мере, столько, что я никогда не буду терпеть нужды.

— Конечно, надежды вашего отца не оправдались? — мягко и участливо спросила Ястребова. — Вам так совсем ничего и не оставили?

— Я уехала из имения, захватив мои платья и драгоценности, и здесь нашла приют у Анны Александровны, подруги моей покойной матери. По приезде я тотчас подала жалобу прокурору... Началось следствие, кончившееся, как вам известно, оправданием него-



дядя...

— Это возмутительно!

— Теперь, рассуждая хладнокровно, я думаю, что суд иначе не мог поступить... Отец выдавал такие обязательства, которые были совершенно законны... Алферов и его сообщники знали, что делали.

— Бедная, бедная... Так молода... и так много перенесла испытаний!

Зиновия Николаевна с грустью опустила голову.

— Что же вы будете делать по выздоровлении?

— Буду искать место гувернантки... или, быть может, компаньонки...

— В состоянии ли вы будете перенести это столь зависимое положение?

— О, у меня хватит сил перенести все, лишь бы заработать себе честно кусок хлеба.

— Я, быть может, постараюсь найти вам более подходящее место.

— Как я должна благодарить вас за вашу доброту, Зиновия Николаевна! — произнесла больная, хватая ее за руку.

— Мои старания невелики, — сказала она,

улыбаясь. — Место для вас у меня есть в виду.

В глазах Дубянской засветилась радость.

— Я состою домашним врачом в одном очень уважаемом семействе и вспомнила теперь, что хозяйка не раз высказывала желание пригласить компаньонку для своей взрослой дочери.

— О, как я буду рада! Благодарю вас.

— В знак благодарности поправляйтесь... Выздоровление пациентки — лучшая награда для врача.

— Теперь я начну выздоравливать не по дням, а по часам.

— Дай Бог...

Зиновия Николаевна простилась с больной, обещав зайти на другой день.

Спускаясь с лестницы, она думала:

— Да, да, дом Селезневых будет для нее самым подходящим местом. Надо поместить ее именно туда.

По возвращении домой Ястребова рассказала мужу во всех подробностях о своем свидании с Савиным, а также о плане относительно своей пациентки.

— Знаешь, Леля, ведь он еще до сих пор не

забыл Гранпа?

— Ну?

Зиновия Николаевна передала ему вопрос Николая Герасимовича и свой резкий ответ.

— Да, — задумчиво произнес Алексей Александрович, — не даром, видно, пословица молвится, что старая любовь не ржавеет...

По поводу же рекомендации Дубянской Селезневым, Ястребов, далеко не покровительствовавший филантропическим занятиям своей жены, только махнул рукой и заметил:

— Как знаешь, матушка!

#### IV ПОДРУГА

Столоначальник одного из бесчисленных Петербургских департаментов Семен Иванович Костин жил на 4-й улице Песков, местности, в описываемое нами время тихой и малолюдной, напоминающей уездный городок. Он занимал очень хорошенькую квартирку на втором этаже.

Жена его, Евдокия Петровна, была младшей сестрой Ирины Петровны Хлебниковой, но сходства между ними было очень мало, она не была так кротка, как Ирина Петровна,

наоборот, вся ее фигура дышала гордостью и сознанием собственного достоинства. Она была полной владелицей своего дома и своего супруга.

Муж, жена и две девочки, восьми и семи лет, сидели в столовой за послеобеденным чаем.

Ольга Ивановна стояла между тем у окна и смотрела на пустынную улицу.

В руках ее было письмо, которое, по-видимому, и нагнало на нее грустное настроение.

— Бедная девочка скучает по дому, — заметила Евдокия Петровна. — Оно и понятно, дома она целый день была бы на воздухе, в лесу, а здесь — точно птичка в клетке.

— Ты ведь сама хотела, чтобы она приехала, — позволил себе заметить Семен Игнатьевич, — и, наверное, не желаешь отпустить ее.

— Конечно, я не желаю, чтобы она уезжала, но смотреть, как бедная девочка томится и грустит — больно!.. Она скучает, потому что не видит ничего, кроме домов нашей улицы, и никуда не может выйти... — добавила она тоном упрека по чьему-то адресу.

— Да оно и лучше, милая Дуня, что она не

слишком много выходит. Совсем другой разговор, если бы ты была здорова и могла выходить вместе с ней.

— Она не видела бы ни одного деревца, — продолжала Евдокия Петровна, не обращая внимания на замечание своего мужа, — если бы я не свела ее на днях в Таврический сад. Таврический сад и лес в Отрадном! Да, тут никакого сравнения быть не может, но все же она увидела зелень, увидела голубое небо. Надо было видеть ее радость...

— Мне тоже жаль ее...

— Тебе жаль ее? Да не ты ли всегда первый против всякого развлечения!

— Из чего это ты заключаешь? Не из того ли, что я не отпустил ее гулять с барышней, с которой она на днях познакомилась?

— Именно!

— Но ведь мы ее совершенно не знаем. Она приходила несколько раз звать Ольгу гулять — вот и все.

— О, нет, она мне обо всем рассказывала. Очень милая барышня эта Софья Антоновна Левицкая.

— Кто же она?

— Ее родители были очень достаточные люди, она сирота, живет у своей тетки, полковницы Усовой, которая очень богата. Она убедительно просила отпускать к ним Олю. Сегодня у них семейный праздник. Надо же доставить девочке удовольствие. Пусть повеселится.

— Но ведь это так далеко... На Васильевском острове и, кроме того, насколько я знаю Олю, она не любит большого общества.

— Вот ты всегда так... Далеко! Что такое далеко? Они поедут на извозчике... Ведь не в лесу, в столице... Через нее и нам честь, а тебе все равно... Как на днях, когда приехала Матильда Францовна Руга, все из окошек высунулись, чтобы на нее посмотреть, а ты стоял, как пень...

— Ее визит относился не к нам.

— Конечно, она приезжала к Оле, чтобы передать ей два билета в театр, но ведь я ее тетка, а ты мне муж, и она живет у нас. Жаль, что у Оли не было туалета, чтобы поехать с нею в театр.

— А я был очень рад этому... Мне было бы очень неудобно сидеть в первых рядах... Мог-

ло случиться, что мой директор сидел бы сзади меня. Нет, Дуня, лучше не в свои сани не садиться! Когда ты поправишься, я охотно возьму вас обеих в театр.

— Ты, кажется, сердисься, что знаменитая Матильда Руга так внимательна и так любит Олю.

— Если хочешь, да.

— Ты дурак.

— Ходят слухи, — продолжал муж, не обратив внимания на привычный для него эпитет со стороны супруги, — что эта певица ведет жизнь далеко не безупречную, и кто знает, что может случиться с Ольгой, если она будет бывать у нее.

В передней раздался звонок, и в комнату впорхнула молодая девушка.

Она приветливо поздоровалась с обоими супругами и бросилась обнимать Ольгу Ивановну.

— Как я рада, что застала вас! Вы не можете представить, как мне хотелось вас видеть.

Она еще раз обняла молодую девушку.

— Но что с вами, вы такая печальная? Случилось что-нибудь?..

— Оно и не удивительно, — пояснила Евдокия Петровна. — Мало того, что девушка скучает до смерти, ее еще срамят...

— Дуня! — остановил ее умоляющим тоном Семен Иванович.

— Значит, скучаете? — спросила Софья Антоновна Левицкая.

— Нет, не скучаю, Софья Антоновна.

— Это нехорошо... вы обещали бросить всякие церемонии и звать меня просто Софи, — перебила ее молодая девушка. — Итак, дальше, милая Оля.

— Ну хорошо, Софи!.. Меня расстроило это письмо...

— Печальные вести из дому? Может быть, там кто-нибудь болен?

— Боже избави от этого... Это письмо от моей подруги, Нади Алфимовой.

— Это дочь банкира?..

— Да... Я ее очень люблю и она меня также...

— Значит, она поверяет вам свои сердечные тайны?..

— Ну да.

— Несчастливая любовь?



— Нет, отец выдает ее замуж за человека, которого она не любит...

— Должно быть, какой-нибудь титулованный голыш, которому нужно ее состояние?..

— Нет, человек этот очень богат, гораздо богаче Нади...

— Вероятно, он необразован, неуч, какой-нибудь купеческий сынок?..

— Нет, нет, — насколько я могу судить, у него прекрасные манеры и он отлично образован.

— Так он урод, или стар?..

Ольга Ивановна грустно улыбнулась.

— Ах, нет! — сказала она. — Он очень красивый молодой: человек. Я никогда не встречала мужчины более красивого, чем граф Вельский.

— Граф Вельский... — повторила Софья Антоновна.

— Вы его знаете? — спросила Ольга Ивановна упавшим голосом.

— Нет! — уверяла ее подруга.

Она покраснела, но не потому, что солгала, а потому, что вспомнила, как он видел недавно бегство ее подруги от полковницы Усовой.

— Я его не знаю! — повторила она. — Но судя по вашему описанию, его можно полюбить, даже не видя.

Ольга Ивановна задумчиво покачала головой.

— Говорят, он большой кутила!

— Что это значит? Он ухаживает за дамами?

— Да.

— Да разве это не его обязанность как кавалера?

— Он играет в карты!

— Играть в карты и на скачках — это благородные страсти. Что еще?

— Я больше ничего не знаю.

— Извините, но в таком случае ваша Алфинова совершенная дурочка. Быть может, она любит другого?

— В том-то и дело, что да...

— Это другое дело... Впрочем, и это дело поправимое...

— Как?

— Она может любить его после свадьбы...

Ольга Ивановна посмотрела на нее широко раскрытыми глазами.

Она не поняла ее.

— Как это так?

Они разговаривали, стоя у окна.

В эту самую минуту к ним подошла Евдокия Петровна.

— Идите в гостиную... Там удобнее... Вы ведь сегодня вечером останетесь у нас? — обратилась она к Левицкой.

— Нет, благодарю вас, никак не могу.

— Почему это?

— Сегодня день рождения моей кузины, и у нас соберется небольшое общество... Тетя поручила мне просить вас отпустить к нам Олю.

Семен Иванович был готов восстать против этого желания, но, вспомнив слезы и «положение» жены, промолчал.

— Я со своей стороны ничего не имею против этого, только бы не сказали, что мы лезем не в свое общество...

— Но я вас очень прошу, Евдокия Петровна.

— Я предоставляю решить это моему мужу.

— Будут мужчины? — спросил Костин.

— Очень немного... Двое моих дядей, мой двоюродный брат, жених моей кузины... Во всяком случае, очень скромное общество, в этом вы можете быть совершенно спокойны.

— Я уверена, моя милая... — сказала Евдокия Петровна.

Семен Иванович по опыту знал, что когда его жена в чем-нибудь уверена, переубедить ее невозможно, а потому, во избежание новых сцен, не возражал.

Ольга Ивановна пошла вместе со своей подругой в свою комнату одеваться, и менее, чем через час они вышли из дому.

— Пусть повеселится бедняжка! — заметила Костина мужу, глядя в окно за удаляющимися молодыми девушками.

— Ох, не по душе мне эта стрекоза...

— Какая еще?..

— Да вот эта, подруга Оли.

— Ты вечно со своими подозрениями... А по-моему, она премилая и превоспитанная девушка.

— Будь по-твоему... Дай Бог, чтобы не я, а ты оказалась права.

— Ты вечно каркаешь...

— Я знаю лучше жизнь...

— Толкуй там... По-твоему, молодых девушек следовало бы непременно держать в терему...

— Что же, это было лучше, нежели теперь, когда их выпускают на улицу...

— Уж и на улицу... скажешь тоже...

Раздавшийся звонок в передней прервал разговор супругов, грозивший снова обратиться в ссору.

Приехал Алексей Александрович Ястребов, большой приятель и друг Семена Ивановича Костина.

Оба супруга просияли.

Алексей Александрович в их доме, как и всюду, вносил особое оживление и веселость. С ним вместе врывается в дом, если можно так выразиться, струя клокочущей петербургской жизни.

Он знал все новости минуты и умел их передавать с неподражаемым комизмом и остроумием.

— Алексей! — воскликнул Семен Иванович, бросаясь навстречу гостю.

— Алексей Александрович... — с радост-

ною улыбкой приветствовала его Евдокия Петровна. — Одни?

— Один... Мимоходом... Да она доктор, и долго с нею не посидишь... Больные одолели... Совсем жену отняли... Я вот все к чужим и примащиваюсь...

Софья Антоновна и Ольга Ивановна подъезжали между тем уже к дому полковницы Усовой.

На подъезде они столкнулись с Нееловым.

— А, Софья Антоновна! — воскликнул последний, с любопытством разглядывая ее спутницу, которую не узнал в шляпке.

— Не для вас! — тихо шепнула ему Левицкая.

## V У ПОЛКОВНИЦЫ

— А где же очаровательная Ольга Ивановна? — спросил Алексей Александрович Ястребов, когда хозяйка, отлучившаяся для того, чтобы приказать подавать закуску, возвратилась в столовую.

— Она поехала со своей подругой к ее тетке.

— А-а... Значит, мы гуляем. К кому же она

поехала?

— К одной даме, Софья Антоновна называла фамилию, но я теперь позабыла, — отвечала Евдокия Петровна.

— Да откуда же взялась у Ольги Ивановны подруга здесь, в Петербурге? Москвичка, значит?

— Нет, они познакомились в Гостином дворе.

— Ай, ай, ай! Вот так знакомство. Вы здесь на Песках живете, как на добродетельном оазисе среди пустыни беспутства, а за границей благословенных Песков опасно отпускать девушку одну с неизвестной подругой к неизвестной даме. Еще недавно был такой случай, что девушка из очень порядочного дома, познакомившись в Летнем саду с какой-то барышней, была ею через неделю после этого знакомства увезена к полковнице Усовой, и только по счастью бедняжке удалось безнаказанно вырваться из этого вертепа.

— Что?

— Как вы назвали фамилию?

Эти вопросы одновременно сделали и муж и жена, побледнев как полотно.

— Полковница Усова, — невозмутимо повторил Алексей Александрович. — Она живет на Васильевском острове и содержит игорный дом и тайный любовный притон. Там происходят отвратительные оргии. Туда увлекаются легкомысленные девушки и молодые женщины хороших семейств, чтобы удовлетворить своя порочные желания или для приобретения средств. Петербург — это помойная яма, а потому...

Ястребов остановился, так как теперь только заметил состояние своих слушателей.

— Но что с тобой? Ты бледен, как смерть... — обратился он к Костину. — А твоя жена? С нею дурно...

Евдокия Петровна бессильно откинулась на спинку дивана, почти теряя сознание, а Семен Иванович, бледный, как полотно, не обращая внимания на жену, бессмысленно смотрел на Алексея Александровича.

— Если я не ослышался, ты сказал полковница Усова на Васильевском острове?

— Да, но тебе какое дело до всего этого?

— Поедем же, поедем, надо спасти ее! Где живет эта женщина? Васильевский остров ве-



лик.

— На Большом проспекте, я знаю.

— Слава Богу!

— Но я ничего не понимаю. Посмотри, что делается с твоей женой, Евдокия Петровна лежит без чувств.

— Не теперь... спешим, а то, пожалуй, будет поздно.

— Что поздно?

— Может быть, Ольга уже погибла.

— Ольга?

— Она у этой женщины. Поедем, нельзя терять ни минуты.

— А что, если в самом деле уже поздно! — воскликнул бледный Ястребов.

Не заботясь о лежавшей в обмороке Евдокии Петровне, оба мужчины быстро оделись и, взяв не торгуясь первого попавшегося извозчика, помчались на Большой проспект Васильевского острова.

Извозчик, вопреки обыкновению петербургских возниц, ехал бодрой рысью, но седокам казалось, что он движется, как черепаха.

Наконец они приехали.

С живостью юнцов соскочили они с про-

летки и позвонили у подъезда.

«Дай Бог, чтобы не было поздно...» — подумали оба.

Вечер у полковницы Усовой уже начался.

На этих вечерах собирались почти всегда одни и те же личности.

Если же на них появлялся кто-нибудь посторонний, особенно женщина, то в первое время поведение всего общества изменялось, до тех пор, пока не узнавали, насколько эта новая личность склонна принять участие в удовольствиях кружка и попасть в его распущенный тон.

Так было и в описываемый нами вечер.

И дамы, и кавалеры вели себя безукоризненно сдержано, так как знали от хозяйки, что у нее в этот день будет молодая особа, не имеющая никакого понятия об их удовольствиях.

Каждый раз, как двери залы отворялись, все взгляды обращались на нее, и видя, что входит кто-нибудь из обычных знакомых, с разочарованием отворачивались.

— Но кто же это дивное диво, которое нам сегодня покажут? — спросил барон Гемпель,

исподтишка обнимая Марью Павловну и в то же время обмениваясь с Екатериной Семеновной нежными взглядами.

— Это сказочная красавица. Провинциалка. Соня говорит, что она выше всякого описания.

— В таком случае, мы, бедные, сегодня будем все на заднем плане... — заметила одна молоденькая дама, сидевшая рядом с дочерью хозяйки.

— Вы забываете, что это еще совершенно воплощенная невинность, — сказала Капитолина Андреевна, — и что на первый раз старания господ кавалеров едва ли увенчаются успехом.

— Хоть это для нас утешительно... — сказала «генеральша», роскошная красота которой сияла в этот вечер как-то особенно вызывающе.

— Не правда ли, ваше сиятельство, вы предпочитаете открыто и удобно достигаемое наслаждение долгой борьбе из-за какого-то еще не изведенного идеала.

— Разумеется! — подтвердил князь Асланбеков. — Да и кроме того, я убежден, что это

хваленое чудо не может иметь такого обаяния, как вы. Что касается меня, то я всегда предпочитаю осязательное идеальному.

— А что скажете на это вы, граф?

Этот вопрос был обращен полушепотом к графу Петру Васильевичу Вельскому, который задумчиво оперся головой на спинку одного из кресел.

В этом кресле сидела молодая женщина.

По временам она оборачивала голову и что-то нежно шептала ему на ухо.

Это была кокетливая, в высшей степени хорошенькая девушка.

Своеобразный акцент ее речи, тип лица, черные блестящие глаза, роскошные черные волосы и очертания пухлых губ — все свидетельствовало о ее французском происхождении.

— Ничего, Люси... — рассеянно ответил граф.

Люси была поистине прелестна, когда, откидываясь назад, небрежно закидывала ногу на ногу, при чем ее стройные формы обрисовывались еще рельефнее.

Вдруг она заложила прекрасную белую ру-

ку за затылок, откинула голову еще больше, сверкнула в лицо графа глазами и поцеловала его в губы.

Граф Вельский почти этого не заметил.

Девушка порывисто вскочила с кресла.

— Вы сегодня просто невыносимы, граф! Интересно знать, о чем это вы думаете. Вероятно, мечтаете о прелестной незнакомке раньше, чем вам ее показали.

— Ничего подобного, Люси! Не сердись. Я думал совсем о другом, и в моих мыслях не было ожидаемой девушки.

— Вероятно, эта же дума помешала вам быть вчера в Малом театре?

— Нет, я вечер провел у Руга.

— О, этой певице я бы с наслаждением выцарапала глаза. Из-за нее мне пришлось чуть не умереть от скуки. Я ни за что не хотела выходить, пока не приедете вы, и оттягивала с минуты на минуту мой номер, чуть не опоздала. А вы, граф, напрасно не приехали, и именно вчера.

— Почему же это именно вчера?

— А потому, что я в первый раз надела бриллиантовую диадему, которую вы мне по-

дарили. Эффект был поразительный.

Воспоминание о подарке, видимо, примирило ее с графом.

— Хотя вы сегодня и похожи на истукана, но я все-таки еще раз вас поцелую, приедете завтра в театр?

— Дорогая, за исключением вашего появления, мне надоело все, что там делается.

— Разве можно быть таким пресыщенным? А именно со вчерашнего дня там есть нечто очень интересное.

— Это что же такое?

— Вчера был дебют новой «парижской звезды».

— Ох, уж эти звезды!

— Но эта восхитительно хороша. Я, женщина, влюбилась в нее окончательно.

— И хотите показать мне?

— Да.

— И не ревнуете?

— К ней нельзя.

— Почему это?

— Она любит.

— Она — женщина.

— Она исключение.

— Это любопытно. Как ее фамилия?

— Мадлен де Межен. Так будете завтра?

— Именно завтра никак не могу.

— Почему это? Опять у Руга?

— Нет, завтра приезжает моя невеста. Через две недели моя свадьба.

Лицо певички вспыхнуло, и только что она хотела выразить свое негодование, как дверь отворилась и в зал вошли граф Стоцкий с Иваном Корнильевичем и Долинским, бывшим здесь в первый раз.

Граф Вельский тотчас же оставил чересчур пылкую Люси и отвел Сигизмунда Владиславовича в оконную нишу.

— Достал ты денег?

— Всего три тысячи.

— Но что же мне с ними делать? Ведь до свадьбы еще две недели. Завтра она приезжает, надо сделать подарок.

— Но, может быть, ты выиграешь сегодня?

— Разумеется, должен выиграть, если не хочу потерять последнее.

— Ну, будем надеяться на лучшее. Однако, присоединимся к обществу. На наш разговор начинают обращать внимание.

Оба новичка чувствовали себя неловко, больше всего смущен был Долинский.

Появление в чужом обществе всегда порождает в человеке чувство застенчивости, и особенно, если об этом обществе у нас заранее составлено дурное мнение.

То же самое ощущал и молодой адвокат, но тем не менее, он скоро нашелся в своем затруднительном положении.

Его внешность расположила к нему всех дам.

Молодая особа, сидевшая рядом с Екатериной Семеновной и выразившая мнение, что сегодня она останется на заднем плане, употребила все свои чары, чтобы овладеть им, но неожиданно встретила соперницу в лице оставленной графом Вельским Люси.

Иван Корнильевич дружески здоровался с приятелями, которые все его приняли очень радушно и этим сгладили неловкость его дебюта.

Его увлекли их удовольствия, о которых он имел понятие только понаслышке, а им как страстным игрокам было очень приятно залучить партнера с такими значительными



деньгами.

Чем многочисленнее становилось общество, тем более неловко себя чувствовала Мария Павловна.

— Нельзя ли уйти в другую комнату? — сказала она барону Гемпелю.

— Разумеется, моя прелесть! — отвечал он. — Подождем только обещанное диво. Очень любопытно на него посмотреть.

В синих глазах девушки появилось выражение не то грусти, не то упрека.

Дверь снова отворилась.

Вошел Неелов. Он наскоро поздоровался с обществом и остановился посреди гостиной с таким видом, как будто хотел сообщить что-нибудь очень важное.

— Что с тобой? Что случилось? — посыпались вопросы. Неелов театральным жестом указал на дверь, ведущую в залу.

— Господа! — торжественно проговорил он, — соберите все ваше самообладание!.. Вооружитесь всем вашим мужеством, чтобы иметь силу выдержать лицезрение.

В это время в дверях показалась Софья Антоновна Левицкая под руку с Ольгой Иванов-

ной Хлебниковой.

Появление их произвело, действительно, очень сильное впечатление. Ольга Ивановна была одета просто, даже слишком просто для такого общества.

Но именно эта простота так гармонировала с чистотой всего существа ее и так ярко доказывала, что красота ее не нуждается ни в каких искусственных добавлениях, что в этом обществе не могло не произвести величайшего эффекта.

Навстречу молодым девушкам поднялась с кресла Капитолина Андреевна и, приветливо поздоровавшись с обеими, познакомила Ольгу Ивановну со своей дочерью и усадила ее возле себя.

## VI НЕ ОПОЗДАЛ ЛИ?

Очутившись среди ярко освещенной гостиной, Ольга Ивановна сильно покраснела и смутилась, что еще более увеличило ее обаятельную красоту.

— Боже, да ведь это дочь управляющего Алфимова! — воскликнул барон Гемпель.

Граф Вельский вздрогнул, и Сигизмунд

Владиславович к своему величайшему удовольствию заметил, что померкшие глаза его вспыхнули гневом, когда барон направился к Хлебниковой, чтобы возобновить знакомство, начатое в Отрадном.

— Как она сюда попала? — спросил он у графа Стоцкого почти со злобой.

— Она дружна с Софи. Вероятно, она ее и пригласила, — отвечал тот, равнодушно пожимая плечами.

Шевельнулось ли в сердце этого распущенного человека сознание, что такому чистому ангелу не место в этой смрадной среде? Понял ли он, что было бы преступлением осквернить этот чистый цветок плотскими взорами окружающих?

Он сам не мог себе дать в этом отчета.

Мужчины тотчас же окружили Ольгу Ивановну, и она мгновенно стала средоточием общего внимания.

— Надо избавить ее от этих нахалов!.. — проворчал граф Вельский.

Сигизмунд Владиславович кивнул головой.

Он подошел к Капитолине Андреевне и

сказал ей несколько слов.

Та тотчас же увела Ольгу Ивановну под предлогом показать ей залу и другие гостиные.

Екатерина Семеновна и Софи пошли за ними.

Мужчины остались этим, конечно, недовольны, но скоро утешились надеждой еще успеть пригласить ее на один из танцев до начала бала.

— У меня так нехорошо на душе!.. — печально и нежно говорила Марья Павловна барону Гемпелю. — И общество здесь такое несимпатичное. Уйдем куда-нибудь, мне так многое хочется сказать вам...

— Не теперь, Муся, — ответил он холодно.

— Но ведь вы же обещали...

— Перестань же, Муся!.. Потом...

— Но ведь вы же знаете, что я не могу оставаться поздно...

— Ну, так в другой раз... Теперь я не расположен слушать... И куда это запропастилась наша чаровница?..

— Значит, вы меня больше не любите?

— Ну, пошло, поехало! Разумеется, люблю!

Только мы поговорим о нашей любви в другой раз. Я только пойду посмотрю, где она... А вы поболтайте пока с другими, я против этого ничего не имею.

На глазах девушки навернулись слезы.

Она отдала ему все свое сердце, пожертвовала для него всем, любила его со всем пылом первой страсти, а он...

Между тем Ольга Ивановна сидела с полковницей, ее дочерью и Софи в зеленом будуаре, куда им подали роскошный десерт.

Граф Стоцкий старался удалить мужчин, которые стремились туда же, и сумел устроить так, что граф Вельский попал в зеленый будуар первый и сел возле Хлебниковой.

Когда вошли остальные, желанное место было уже занято. Все они знали хорошо правила этого дома, где один не имел права мешать tete-a-tete другого с избранной дамой, а потому скоро разошлись.

Графу Петру Васильевичу легко было завести с Ольгой задушевный разговор.

Он говорил с нею об Отрадном, о ее отце и матери и своей невесте.

О последней он отзывался с величайшей

почтительностью, мечтал о том, как он окружит ее всеми радостями жизни. Это скоро расположило молодую девушку в его пользу.

«Какой он хороший!» — думала она.

Из залы донеслись первые звуки вальса. Софи и Екатерина Семеновна поспешили туда.

— Вы не танцуете? — спросил граф Вельский.

— Нет, — ответила Хлебникова. — Я вообще не люблю танцевать, а сегодня и одета не по-бальному... Софи схитрила и не сказала мне, что здесь будут танцевать. А вы?

— Я охладел ко всем удовольствиям, — ответил граф, лениво покачиваясь в кресле, — и танцую только при крайней необходимости... А вот если позволите мне остаться здесь и поболтать с вами, то я проведу время в тысячу раз приятнее.

— Давайте болтать.

— Вы часто пишете Надежде Корнильевне?

— Да, и получаю от нее длинные письма.

— Писала она вам обо мне?

Ольга Ивановна кивнула головой.

— Я боюсь, что она не радуется близости своей свадьбы, как радуются другие невесты, — сказал он. — Я никак не могу отделаться от мысли, что она меня не любит.

— Может быть, до нее дошли о вас ложные слухи... — мягко заметила Ольга Ивановна.

— Вы правы! — воскликнул граф, — О, Ольга Ивановна, вы себе представить не можете, как тяжело быть не понятым там, откуда ожидаешь счастья своей жизни. Может быть, небо поставило вас на моем пути как ангела света, которому суждено водворить мир в душе моей невесты, а мне даровать величайшее земное счастье.

Капитолина Андреевна вдруг вспомнила, что не сделала каких-то распоряжений, и ушла. Молодые люди остались одни.

— Да как же я могу это сделать?

— Я знаю, что моя невеста дорожит вашим мнением, И вот, именно ради того, чтобы быть достойным вашего участия, я И хочу, чтобы вы поняли меня совершенно. Я знаю, что меня называют человеком безнравственным, и признаюсь, что вел жизнь пустую и распущенную, но я уже несколько раз пытал-

ся изменить ее. Вот и теперь я имею это же намерение.

«Как это с его стороны благородно!» — подумала молодая девушка.

— Я любил несколько раз, любил страстно, безумно. Не одни горячие губы целовали меня, не одни нежные руки обвивались вокруг моей шеи, но все эти любовные приключения удовлетворяли только мое сластолюбие и ни одно из них не затронуло моего сердца. Ни одна женщина не привязала меня к себе надолго, и даже в минуты самых страстных порывов я чувствовал, что в душе моей холодно и пусто. Напрасно старались друзья пробудить во мне чувства, и только тогда, когда я увидел Надю, я ощутил то духовное удовлетворение, тот внешний покой, которого я искал так долго и так напрасно. Когда я получил ее согласие, я сам возвысился в своих собственных глазах и ощутил прилив бесконечного счастья.

«Как счастлива женщина, которую он любит так страстно и свято!» — неслось в голове Ольги Ивановны.

— Эта любовь, — продолжал граф, — не так



жгуча, как прежние мои увлечения, которые сжигали сами себя, но тем она глубже, прочнее, и я понял, что она овладела моим сердцем на всю жизнь.

«Бедняжка, — думала молодая девушка, — каково ему знать, что она его не любит».

Она чувствовала к графу искреннее сострадание.

— Я начал ощущать отвращение к жизни, которую вел до сих пор, — снова заговорил граф Вельский. — За мою бытность в Отрадном я понял, что только любовь, чистая, святая любовь может обуздать и исправить меня. Я увидел вас, Ольга Ивановна, и в чистом зеркале вашей души передо мною отразилось все мое нравственное безобразие!

Он тяжело вздохнул.

— О, если бы Надя стала моей женой, а вы подругой, всегда готовой принять участие в моей судьбе, как был бы я счастлив! Оставайтесь для меня, Ольга Ивановна, на всю жизнь ангелом света, охраняющим мир в моей душе.

— Чем же я могу содействовать вашему счастью, граф?

— Очень многим! Всем! С той минуты, как я вас увидел, меня охватило чувство, которого я не испытывал никогда. Даже образ Нади отошел от меня на второй план и утонул в сиянии вашей чистоты! Если она не хочет спасти меня, сделайте это вы. Для вас это возможно. Полюбить меня вы не можете, так будьте мне хоть другом.

Сердце молодой девушки порывисто билось. «Да, я буду его другом, — думала она. — Надя не полюбит его и мира душевного ему не даст... Так сделаю это я...» Граф Петр Васильевич взял ее между тем за руки. Кровь бросилась ей в голову.

— Так вы будете моим ангелом? — нежно шептал он.

Она была не в силах произнести ни одного слова. Он осторожно обнял ее.

— Одно короткое «да» сделает меня счастливым и хорошим человеком! — с любовью в голосе настаивал он.

В душе молодой девушки происходила еще неизведанная ею борьба.

Не было ли все это происходящее теперь преступлением против ее лучшего друга.

Но ведь Надя не любила его, а разве можно человека оставлять несчастным?

Разве на обязанности друга не лежит подготовить между молодыми хотя бы согласия.

Она невольно поддалась охватившему ее волнению, медленно склонила голову на грудь и дрожащими губами беззвучно вымолвила:

— Да!

— О, благодарю, благодарю вас!.. — воскликнул граф, протягивая к ней обе руки.

Но в будуар вдруг донесся какой-то странный шум — слышались тревожные голоса, какая-то возня.

— Ах, пожалуйста, не уводите ее! — звучал голос полковницы Усовой. — Бал только что начался, пусть она хоть часик украсит его своим присутствием. Не угодно ли вам посидеть с нами и выпить стаканчик вина?

— Ни за что я этого не позволю... — отчеканил мужской голос, по которому Ольга Ивановна тотчас узнала дядю Семена Ивановича. — Она и попала сюда по ошибке... Потрудитесь позвать ее сюда, а если вы этого не делаете, то я...

Этот голос сбросил девушку с небес счастья на землю скучной действительности.

Она, однако, тотчас выбежала к дяде.

— Что с вами? Что случилось? — спросила она.

Семен Иванович был один, Алексей Александрович, впус­тив его в подъезд, остался дожидаться на улице возвращения овечки из стада козлов, как он выразился на своем своеобразном языке.

— Меня там все знают... — уклончиво отвечал он на вопросы Костина, почему он отказывается его сопровождать.

— Пойдем скорей... Тебе не следует оставаться в настоящем доме ни минуты, — задыхаясь от волнения, говорил Ольге Ивановне Семен Иванович.

— Да отчего же? Почему ты так спешишь?

— Дай Бог, чтобы я не опоздал только! Идем скорее!

Ольга Ивановна удивленно и досадливо покачала головой, но бес­прекословно последовала за взволнованным дядей.

— Ну, что? — встретил их у подъезда Ястребов.

— Вот она... Вызволил... Кажется, не опоздал.

— Конечно же... Это не так скоро делается, — заметил Алексей Александрович.

Молодая девушка смотрела на них обоих с нескрываемым недоумением.

Семен Иванович с племянницею сели на извозчика.

— А я домой! — сказал Ястребов.

— Заходи! — крикнул ему Костин, когда извозчик уже тронул свою лошадь.

Когда они очутились дома, Ольгу со слезами обняла Евдокия Петровна и сквозь рыдания спросила мужа:

— Ты не опоздал?

— Не знаю.

— Ну, хоть ты, Ольга, скажи мне — он не опоздал?

Молодая девушка не понимала до сих пор поведения ее дяди, а вопрос тетקי окончательно озадачил и рассердил ее.

— Не понимаю, чего вы от меня хотите, — с досадой отвечала она. — Я могу вам только сказать, что дядя не только не опоздал, а приехал еще слишком рано. Вовсе не для чего бы-

до пороть такую горячку.

— Ты не опоздал... — сквозь слезы улыбнулась мужу Евдокия Петровна.

## VII ФИНАНСОВЫЙ ГЕНИЙ

Корнилий Потапович Алфимов имел много причин желать брака своей дочери с графом Петром Васильевичем Вельским.

Три из них, как мы знаем, он высказал Надежде Корнильевне.

Это были: во-первых, данное им молодому графу согласие; во-вторых, желание этого брака со стороны отца Петра Васильевича графа Василия Сергеевича, и, в-третьих, намерение самому жениться.

— Есть еще причины, но я тебе их не могу сказать... — сказал Алфимов во время беседы со своей дочерью в Отрадном.

Он скрыл их от молодой девушки не потому, что ему неловко было открыть их, а потому, что он не считал их доступными ее женскому пониманию.

Эти причины были деловые.

Граф Василий Сергеевич Вельский был одним из богатейших вельмож в Петербурге.

Его состояние давало более полумиллиона годового дохода, и единственный сын его Петр, имевший отдельное громадное состояние от своей матери, был наследник всех этих несметных богатств.

Вступив прямо из низка трактира на Невском проспекте в величественное здание петербургской биржи, Корнилий Потапович вскоре и там совершенно освоился и получил вес и значение в качестве крупного денежного туза, на что ему давали право его состояние и престиж гениального финансиста, счастливо производящего самые сложные биржевые спекуляции.

На бирже и в банках счастье — рычаг всего: счастливого биржевого дельца, банкира возводят на пьедестал, ему оказывают почти царские почести, звон золота, сопровождающий его удачные сделки и спекуляции, придает им характер подвигов, и он сам в глазах большинства является каким-то магом и волшебником, вызывающим поклонение. Все спешат вверить ему свои сбережения, все кричат о его классической честности и ждут как милости, чтобы он соблаговолил взять в

свое распоряжение их капиталы, большие и малые, доставшиеся им по наследству или нажитые упорным трудом... С поклоном отдают ему их и с замиранием сердца боятся услышать отказ от их собственных денег.

Но повернись хотя на некоторое непродолжительное время счастье спиной к такому дельцу, и картина меняется как бы по мановению волшебного жезла.

Та же толпа, с кровожадностью римлян в эпоху падения империи, стекавшихся в амфиатраы любоваться боями гладиаторов с дикими зверями, бежит в зал суда, где ее вчерашний герой, ныне развенчанный в подсудимые, дает отчет в употреблении чужих капиталов, погибших зачастую вместе с собственными при одном неблагоприятном обороте колеса фортуны.

Те самые люди, которые чуть ли не коленапреклонно подносили «счастливому дельцу» свои капиталы, прося как милости взять их в свое распоряжение, с нескрываемым негодованием в качестве свидетелей-потерпевших отзываются о своем вчерашнем благодетеле и кормильце.



Бесстрастный представитель обвинения, опираясь на текст статей закона, нарушенных подсудимым, требует его обвинения, а следовательно, и соединенного с ним изгнания из того общества, которое еще вчера чуть не носило его на руках и не целовало следов от его ног, обутых в щегольские ботинки.

Защитник, купленный зачастую ценой последних крох состояния прогоревшего дельца, говорит громкие высокопарные фразы о превратности человеческой судьбы, о законности сделок, совершенных обвиняемым, призывает в свидетели о его безукоризненной честности лиц, сохранивших в своих сердцах чувство приязни к подсудимому, или в своих карманах барыши от счастливо ранее произведенных им операций.

Но потерпевшие громко взывают о возмездии, и возмездие совершается.

Неумолимый закон подводит деяния «несчастливого спекулянта» под текст бездушной статьи, и он становится отщепенцем, отверженным.

Правосудие совершилось.

Общество, падкое до наживы, сбегает

на звон золота охотнее, нежели на звон церковных колоколов, само порождает таких «дельцов» и, смотря по удаче последних, или молится на них, или же топчет ногами в зверском озлоблении.

Удачная операция, а тем более ряд таких операций, кружат головы, и в руки счастливого дельца стекаются громадные суммы, приносимые добровольно, чуть не с мольбою.

Группа дельцов, образовавших банки, выдает громадные дивиденды, а кассы банков еле вмещают приливающие в них капиталы.

Владельцы этих капиталов, конечно, хорошо знают, что банк спекулирует их достоянием, но пока эта спекуляция дает барыш, пока «заправила банка умело ведут дела», как выражаются капиталисты, они имеют от всех почет и поклон.

Но перефразируем слова Суворова: «Сегодня уменье, завтра уменье, необходимо и счастье». И вот когда это счастье отвернется от «опытного дельца» или целой компании дельцов — банка — то является преступление, а вместо поклона и почета — жалоба прокурорскому надзору и обвинение с пеной

у рта в присвоении и растрате.

Одним из таких крупных финансовых гениев считался в описываемое нами время Корнилий Потапович Алфимов, а самым ярким его поклонником и дифирамбистом был граф Василий Сергеевич Вельский.

— Все состояние мое отдам ему без расписки и буду жить спокойно!.. — говаривал он, когда заходила речь о деловых качествах Алфимова.

Без расписки хотя старый граф Вельский денег и не давал, но в обороте Алфимова имелись большие суммы, принадлежавшие графу Василию Сергеевичу.

Весьма естественно, что скрепление уз доверия, которые были между Корнилием Потаповичем Алфимовым и графом Василием Сергеевичем Вельским узами родства было очень желательно для первого и небезвыгодно для второго, надеявшегося, что Алфимов в качестве родственника еще более будет заботиться о приращении его капиталов.

Состояние молодого графа, во владение которым он вступал в случае женитьбы до тридцатилетнего возраста также входило в дело-

вые расчеты старика Алфимова, не знавшего, что на это состояние уже начата атака таких если не сильных, но зато искусных противников, как Матильда Руга и граф Стоцкий.

Все это вместе взятое делало то, что Корнилий Потапович не только настаивал на свадьбе, но и торопился с нею.

К чести отца Надежды Корнильевны или, лучше сказать, мужа ее покойной матери, он был далек от мысли быть относительно ее жестоким.

Он был искренно убежден, что граф Петр Васильевич Вельский — блестящая партия для молодой девушки ее круга, и все общество соглашалось с ним.

Любовь же молодой девушки к другу ее детства он находил, опять же убежденно — губельною для нее блажью.

## VIII

### КОМАНДИРОВКА

Предметом «блажи» Надежды Корнильевны, как называл старик Алфимов чувство своей дочери, был сын отца Иосифа — Федор Осипович Неволин.

В год смерти матери Алфимовой он окон-

чил курс Московского университета по медицинскому факультету и пристроился ординатором к одной из московских больниц.

Во время прохождения курса сперва в Московской семинарии, а затем в университете, он как сын священника села Отрадного был принят в доме Алфимовой, а летом, во время каникул, проводил несколько месяцев в Отрадном, и тогда «удалая тройка», как прозвали на селе Надю Алфимову, Олю Хлебникову и Федю Неволина, не расставалась.

В раннем детском возрасте они вместе играли и резвились, с годами стали степенно ходить по грибы, удить рыбу и читать, словом, долгие годы молодые люди не расставались.

По странному, детскому инстинкту Федя был дружен с Олей Хлебниковой и несколько сторонился и даже дичился Нади, которая платила своему товарищу тою же монетою.

Это было в раннем детстве.

С летами отношения их стали ровнее, но все же и тогда Федя, став Федором Осиповичем, был откровеннее и задушевнее с Ольгой Ивановной, чем с Надеждой Корнильевной,

тоже из девочек обратившихся в барышень.

Оказалось между тем, что сердца Неволина и Алфимовой давно тяготели друг к другу, и их сдержанность и отчуждение друг от друга происходило именно от этого чувства взаимного притяжения, ими ранее не понятого.

Отношение товарищей было для них немыслимо, так как оно не только не удовлетворяло их сердечных влечений, но даже при попытках подобного сближения оба они ощущали какую-то тоже непонятную для них неловкость, доходящую до сердечной боли.

Им порознь случайной шуткой открыла глаза на их отношения Ольга Ивановна.

— Вы так смотрите друг на друга, — сказала она, — что будто смерть друг в друга влюблены и даже сами себе боитесь сознаться в этом, — сказала она им во время одной из прогулок.

Надежда Корнильевна и Федор Осипович оба как-то инстинктивно взглянули друг на друга и оба покраснели.

— Bravo, bravo, угадала! — захлопала в ладоши Хлебникова, следившая за впечатлением, которое произведут на ее товарищей ее

Слова.

— Какие ты говоришь глупости! — с дрожью в голосе, после некоторой паузы, заметила Алфимова.

Неволин промолчал.

Прогулка продолжалась, но уже встречающиеся взгляды Надежды Корнильевны и Федора Осиповича без слов говорили о их взаимной любви.

Им вдруг стало легче на сердце, они открыли его друг другу, хотя Алфимова была права, сказав отцу, что они ни разу не говорили о любви.

Они поняли друг друга без слов, да слова им были и не нужны.

В год смерти матери Надежды Корнильевны, когда стало известно, что она с братом переезжает к отцу в Петербург, Федор Осипович в одно из посещений дома Алфимовых сказал, что он подал прошение о переводе в одну из петербургских больниц.

— И это скоро может устроиться? — спросила Надежда Корнильевна.

Ее не поразило решение молодого доктора, прекрасно поставившего себя в московской

больнице и даже приобретшего в первопрестольной столице довольно порядочную практику.

Она, видимо, заранее была твердо уверена в том, что Федор Осипович будет там, где будет она.

Разве могли они жить в разных городах?

Она покидает Москву не по своей воле, значит, он должен следовать за ней.

После переезда в Петербург Федор Осипович сохранил отношения с молодыми Алфимовыми и бывал в доме Корнилия Потаповича в качестве товарища и приятеля Ивана Корнильевича.

О нежных чувствах между «поповым сыном», как называл Неволина старик Алфимов, и Надеждой Корнилий Потапович только догадывался, не придавая им особого значения, и только лишь при возникшем в его уме проекте брака между его дочерью и графом Вельским стал иногда косо поглядывать на молодых людей.

Старик стал присматриваться к этим отношениям, и результатом этого наблюдения было то, что молодой доктор уехал на продолжи-



тельное время за границу.

Это было сделано с присущим Корнилию Потаповичу умением.

Об этом умении устраивать дела, как и о необычайной аккуратности и знании людей Алфимовым ходило по Петербургу много рассказов и анекдотов.

Один из них был очень характерен.

Молодой, богатый представитель великосветского Петербурга, находясь временно в затруднительных обстоятельствах, обратился к Корнилию Потаповичу с просьбой ссудить ему под вексель пять тысяч рублей.

Алфимов согласился и назначил день выдачи денег у себя на дому.

Молодой человек приехал в назначенный час, привез вексель и передал его Корнилию Потаповичу в обмен на пять пачек радужных.

Получив деньги, он небрежно, не считая, сунул их в карман.

— Позвольте, — заметил ему Алфимов, держа вексель в руках, — я, кажется, ошибся в счете, позвольте мне пересмотреть пачки.

Тот предусмотрительно выгрузил их из своих карманов.

Корнилий Потапович взял их, тщательно пересчитал и, открыл стоявший у письменного стола несгораемый шкаф, спокойно положил их обратно в него и запер.

Молодой человек с удивлением смотрел на своего кредитора.

— Извольте обратно ваш вексель... — голосом, в котором слышались стальные ноты, сказал Корнилий Потапович, — денег я вам дать не могу.

— Почему же? — дрожащим голосом, с широко открытыми глазами, спросил молодой человек.

— Тот, кто не считает получаемые деньги, не может заслуживать доверия.

— Вы шутите...

— Нет, я говорю совершенно серьезно... Я не могу вести дело с человеком, которого можно обмануть. Я убежден, что он тоже может обмануть.

— Милостивый государь!

— Я не сказал вам лично ничего обидного — это моя мысль вообще.

И никакие просьбы не помогли.

Денег Алфимов из несгораемого шкафа не

вынул.

Молодой человек уехал без денег и, конечно, в первое время был страшно взбешен на «петербургского Шейлока», как даже прозвал Корнилия Потаповича, и рассказывал этот случай своим приятелям с пеной у рта.

Вскоре, впрочем, когда время безденежья прошло, он стал признаваться, что Алфимов дал ему хороший жизненный урок.

Таков был Корнилий Потапович — не человек, а кремень.

Кремнем он был и в достижении намеченной цели. Он никогда не действовал лицом к лицу, а умел всегда заставить другого исполнить его волю.

Ему надо было, чтобы Неволин уехал из Петербурга, и он уехал.

Случилось это таким образом.

В один прекрасный день младший ординатор был неожиданно вызван к своему главному начальнику, заслуженному профессору, знаменитости медицинского мира, власти имущей особе.

Знаменитый доктор предложил ему сопроводить за границу одну из его пациенток.

— Я выбрал вас потому, что полагаюсь на ваши знания, на то, что вы сумеете последовать моим советам.

Эти слова в устах знаменитости были вышею похвалою молодому врачу.

Федор Осипович почтительно поклонился.

Польщенное самолюбие не допустило даже появиться в его уме мысли, откуда знаменитость, видевшая его в первый раз в жизни, получила сведение о его знаниях.

Условия оказались блестящими, особенно в положении Неволина, практика которого в новом городе шла более, чем туго, и ему приходилось перебиваться на скудное ординаторское жалованье.

— Место останется за вами, содержание сохранится, ваша поездка будет считаться командировкой... Вы даже получите прогоны и подъемные... — продолжала рисовать «особа» картину его будущего благополучия.

Отказаться было немислимо. При исполнении желания «его высокопревосходительства» карьера была обеспечена, при отказе она окончательно рушилась в Петербурге, а может быть, и повсюду.

«Разлука с Надей, но эта жертва для нее, для будущего... Положим, она богата, но деньги не все, положение мужа также имеет не малое значение...»

Все это пронеслось в голове Неволина.

— Долгое время, ваше высокопревосходительство, продолжится эта моя миссия? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Не менее года, а быть может, и более, — с чуть заметной улыбкой ответила особа. — Впрочем, это будет зависеть от обстоятельств, от хода болезни, вы сами понимаете...

Федор Осипович снова поклонился.

— Через неделю вы можете ехать, а сегодня в шесть часов будьте у меня, я вас сам отвезу и представлю больной... Ваши бумаги будут готовы в конторе больницы на этих днях.

«Особа» кивнула головой в знак того, что аудиенция кончена. Федор Осипович встал и откланялся. «Особа» подала ему руку.

Неволин спускался по роскошно устланной ковром лестнице квартиры «особы» в каком-то угаре. Горечь предстоящей разлуки с Надей ступшеывалась открывающейся перед ним светлой будущностью в случае удачного

выполнения поручения «знаменитости».

Какие широкие, и научные, и жизненные, горизонты открывались перед ним! Положение, известность, обширная практика, уважение, почет — все это являлось равным миллиону, обладательницей которого была Надежда Корнильевна Алфимова, и который не радовал, а скорее смущал любящее сердце идеалиста Федора Осиповича.

Ему казалось, что этот миллион является пропастью, отделяющей его, бедняка-труженика, от богатой невесты.

Он нашел теперь возможность выстроить собственными руками, при улыбнувшейся ему судьбе, мост через эту пропасть.

Знакомство с больной, важной барыней, состоялось, бумаги были действительно готовы с почти невероятною для канцелярий быстротою, и Неволин зашел к Алфимовым сообщить об отъезде и проститься.

— Рад, очень рад, — потирая руки, сказал Корнилий Потапович, и даже, что за последнее время почти не случалось, оставил молодого доктора обедать, а сам уехал с визитами.

— Счастливец, — сказал Иван Корнилье-

вич. — Мне давно очень хочется за границу. Но отец не пускает, в конторе так много дел...

Он сделал кислую улыбку при воспоминании об этих делах.

Надежда Корнильевна была деланно весела. Видно было, что известие об отъезде Неволина произвело на нее сильное впечатление.

Улучив несколько минут и оставшись вдвоем с молодой девушкой, Неволин объяснил ей невозможность отказаться от предложенной поездки, свои виды на нее, свои планы на будущее и снова, хотя между ними не было сказано ни слова о любви, о браке. Она поняла, что он это делает для нее, что они связаны навеки, а он понял, что понят ею.

— Могу я писать вам?

— Да... Нет...

— Как же это понять, да или нет? Я думал, что мы будем переписываться...

— Я буду писать...

— А мне нельзя?..

— Нет... Пишите, но не на мое имя...

— На чье же?

— Адресуйте Наташе... Наталье Ивановне Моничевой... Она мне очень предана.

Молодая девушка покраснела.

Это согласие было равносильно признанию.

Он поклонился и нежно поцеловал ее руку.

В это время вошел Иван Корнильевич, бывший дома, и tete-a-tete был разрушен.

Вернувшийся к обеду, Корнилий Потапович был очень весел и смеялся, что случилось с ним не часто.

За обедом он велел подать шампанского и предложил тост за здоровье отъезжающего друга и за его благополучное и успешное путешествие.

Доверчивый Федор Осипович искренно благодарил старика за любовь и ласку, не подозревая, что тот празднует счастливо удавшееся удаление препятствия к браку его дочери с графом Вельским.

## IX МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

Каждое утро у жены коммерции советника Селезнева — Екатерины Николаевны — собиралось небольшое дамское общество, состоявшее из дам высшего круга, с которым и



хозяйка была связана по своему рождению как княжна Холмина.

Род князей Холминых обеднел, и дочь последнего, некогда богатого отпрыска этого рода, вышла замуж за богатого купца Аркадия Семеновича Селезнева, несколько утешенная выхлопотанным ее родственниками молодому коммерсанту чином коммерции советника.

Богатство мужа давало Екатерине Николаевне возможность заседать в качестве желанного члена и щедрой благотворительницы в разных благотворительных дамских комитетах и таким образом продолжать связи с «обществом», как она называла высший круг.

Дом свой она поставила тоже на аристократическую ногу, и швейцар в их доме — особняке по Фурштадтской улице — был одет в какую-то фантастическую ливрею.

Дамы охотно собирались на чашку чая к радушной хозяйке, великодушно, как она выражалась, принесшей в жертву свой княжеский герб возможности делать добро ближним при помощи средств своего мужа.

— Притом, этот брак по любви... — замеча-

ли защитницы неравного брака княжны Холминой, — а любовь извиняет все.

Аркадий Семенович был действительно без ума влюблен в Екатерину Николаевну, не только когда она была невестой, но и первые годы после свадьбы, и этим дал возможность молодой властной женщине совершенно забрать себя в руки.

Екатерина Николаевна тоже по-своему любила мужа, но считала, что принесенная ею жертва в виде герба — она забывала о получаемых ею широких средствах к жизни — обязывала его к полнейшему повиновению ей, пожертвовавшей для него родовыми традициями.

С годами Аркадий Семенович, добрейший, честнейший и умный чиновник, привык глядеть на все глазами своей жены, там где она этого хотела и находила нужным.

Милая беседа дам, состоявшая из сплетен и пересудов, была в полном разгаре, когда лакей доложил о приезде докторши Ястребовой с молодой барышней.

— Проси обеих! — сказала Екатерина Николаевна. — Это новая компаньонка, которую

мне рекомендует наша постоянная докторша... — пояснила она, обращаясь к дамам. — Люба доставляет мне много хлопот.

— В каком отношении? — любопытно спросили дамы.

— У нее вкусы относительно выбора мужа такие странные, плебейские! — с презрительной улыбкой сказала хозяйка. — Конечно, она унаследовала их не от меня. Ей уже многие делали предложения, граф Вельский, например.

— Молодой?

— Нет, отец...

— А... И что же Люба?

— Упрямится... А партия прекрасная...

— О, да, конечно, и притом он еще очень бодр...

— Еще бы, граф Василий Сергеевич совсем молодец, но тут вмешался некий Неелов, мы ему уже отказали, но это не привело ни к чему... Он разгоняет всех других женихов... Он говорит, что убьет всякого, кто решится жениться на Любе...

На лицах дам выразился ужас.

— Он распространяет это через своих дру-

зей, сам оставаясь весьма корректным относительно нашего дома, в котором и после отказа продолжает изредка бывать как товарищ Сергея, так что мы бессильны принять против него какие-либо меры.

— А ваша дочь его любит?..

— Не думаю, она встретила наш отказ равнодушно... Она, кажется, еще никого не любит... Единственно, кто мне внушает опасения, это один молодой адвокат, Долинский, но и он теперь почти у нас не бывает.

— Ах, Долинский! О нем говорит весь Петербург после защиты Алферова как о талантливом адвокате.

— Он самый...

— Боже, как можно снизойти до такого выбора! — воскликнула одна из дам.

— Но, говорят, он очень достойный человек и очень умный, — осмелилась заметить другая дама.

— Достойный, умный!.. Что все это значит?.. Он беден.

— Для адвоката это вопрос короткого времени...

Вошла Зиновия Николаевна с Елизаветой

Петровной Дубянской. Все взоры с любопытством обратились на них.

— Очень рада, дорогая Зиновия Николаевна, вас видеть. Представьте мне вашу протеже.

Ястребова назвала имя, отчество и фамилию Дубянской. Екатерина Николаевна попросила обеих сестр и стала подробно расспрашивать Дубянскую обо всех обстоятельствах ее жизни. По-видимому, она осталась довольна ее ответами.

— Вы мне очень нравитесь, m-lle Дубянская. Ваши взгляды на жизнь, на обязанности детей так сходятся с моими, что от вас вполне будет зависеть как можно долее остаться в нашем доме.

— Благодарю вас за ваши слова, я обещаю исполнять свои обязанности так, чтобы вы остались довольны мною.

В то время, когда этот разговор происходил в гостиной, Аркадий Семенович Селезнев сидел в столовой на качалке и читал газету.

— Здравствуй, папа, — тихо сказала Любовь Аркадьевна, проходя мимо.

— Люба, ты куда спешишь? Разве так здо-

роваются с отцом? Подойди, поцелуй меня, моя девочка.

Молодая девушка молча повиновалась.

— Что с тобой, моя дорогая? — продолжал он. — Я с некоторых пор замечаю, что ты что-то скрываешь. Будь откровенна, дитя мое, я люблю тебя и всегда рад тебе помочь.

Он обнял ее и посадил на колени, нежно лаская ее белокурую головку.

— Я понимаю, что ты скрываешь от матери, которая не одобряет твоих симпатий. Она и теперь осудила бы тебя за то, что ты сидишь у меня на коленях. Ну, да ничего. Ты для меня то же любимое дитя, которое десять-двенадцать лет тому назад я носил на руках. Но тогда твое сердце принадлежало только мне, а теперь...

Она с мольбой подняла на него свои темно-голубые, полные слез глаза и, кажется, готова была признаться во всем, если бы в эту минуту не вошла Ястребова с Елизаветой Петровной. Аркадий Семенович спустил дочь с колен и поспешил навстречу вошедшим.

— Я пришла представить вам и вашей дочери Елизавету Петровну Дубянскую, — ска-

зала Зиновия Николаевна. — Дай Бог, чтобы она нашла в вашем доме защиту и сочувствие, в которых она так нуждается, со своей же стороны она постарается заслужить вашу общую любовь исполнением своих обязанностей.

Аркадий Семенович без всяких церемоний протянул руку молодой девушке и ласково сказал:

— Я уже вас знаю по слухам... Читал ваш процесс. Как я глубоко сочувствую вам... Насколько будет возможно, постараемся, чтобы у нас было вам хорошо. Но, Зиновия Николаевна, каков наш Долинский? Этот процесс сделал сразу ему имя.

— Да, действительно, он говорил очень хорошо и основательно изучил дело. Я ему устроила на днях еще одно очень громкое дело.

— Вы?!

— Да, я...

— Каким образом?

— Он будет защищать Савина!

— Это того претендента на болгарский престол? Но неужели и его оправдают?

— По тем делам, в которых его обвиняют здесь, в России, его должны оправдать. Он в них неповинен.

— Да, несомненно, это будет громкое дело.

— Только по имени подсудимого.

— А вы почему знаете?

— Я сирота и росла и воспитывалась в доме его родителей.

— А... Говорят, он красив?

— Очень.

— Ну, исполать[10] вам, что заботитесь о нашем Сергее Павловиче, он друг моего сына, друг нашего дома, а мое желание, чтобы он стал еще ближе.

При этих словах он любовно посмотрел на дочь, ясно давая понять, на что он намекает.

Елизавета Петровна поняла, что будет в этом доме между двух огней: чего не желала жена, то было желанием мужа.

Насколько дружелюбно встретил новую компаньонку своей дочери Селезнев, настолько холодно отнеслась к ней Любовь Аркадьевна.

«Это чтобы следить за мной, — неслось в ее головке. — Боже, они сами меня толкают



на тот шаг, которого требует Владимир и на который я все еще не решаюсь».

Она воспользовалась первым удобным случаем, чтобы уйти.

В коридоре горничная сунула ей в руку записку.

Войдя к себе в комнату, Любовь Аркадьевна развернула ее.

«Сегодня в три часа жду тебя на Литейной. Маша проводит тебя и подождет твоего возвращения. Сегодня или никогда!

*Владимир».*

Любовь Аркадьевна машинально взглянула на часы, стоявшие на камине в ее будуаре, отделанном с причудливою роскошью.

Часы показывали два.

Еще целый час на размышление: идти или не идти на это первое свидание, которого он домогается уже столько времени. Молодая девушка опустила на кушетку и задумалась.

Через час, однако, когда ее мать беседовала с новою компаньонкою об обязанностях последней относительно Любви Аркадьевны, она незаметно оделась и в сопровождении горничной вышла из дому.

На углу Литейной и Фурштадтской стояла карета с опущенными шторами, а по тротуару ходил нервной походкой ожидающего — Неелов.

## X ПАДЕНИЕ

— Пришла, пришла, дорогая, милая... — страстным шепотом произнес Владимир Игнатьевич, приблизившись к Любови Аркадьевне и бросив выразительный взгляд на Машу.

Та быстро перебежала улицу и скрылась. Селезнева и Неелов остались одни.

— А Маша, где же Маша? — торопливо стала озираться молодая девушка, в первый раз в жизни оставшаяся на улице без провожатого.

— Маша будет здесь, на этом самом месте, через два часа, дорогая моя.

— Через два часа? Зачем?.. — упавшим голосом спросила Любовь Аркадьевна.

— Разве тебе не приятно провести их со мной?

— С тобой, где...

— Поверь, что там, где нас никто не увидит

и где ты будешь в безопасности, под моей защитой. Ты не веришь мне? Тогда вернись домой, я сам провожу тебя и прощусь... навсегда.

— Владимир!..

— Недоверие доказывает, что ты меня не любишь. А недоверие к будущему мужу доказывает, что ты его не уважаешь.

— Владимир!

— Вот карета. Позволь мне тебя посадить в нее. Этим ты докажешь.

Любовь Аркадьевна бросила испуганный взгляд на экипаж, опущенные зеленые шторы которого придавали ему таинственный и, как ей казалось, мрачный вид.

— Но если отец и мать узнают, что я обманываю их, они проклянут меня.

— О, милая моя, наивная девочка. Их проклятие не продолжится долго. Через месяц, не более, я устрою все, мы с тобой бежим и обвенчаемся под Петербургом. Когда все будет кончено, поверь мне, они простят нас и благословят. Мы будем счастливы. Поедем.

— Но зачем теперь, Владимир? Лучше потом... — пробовала возражать молодая девуш-

ка.

— Так-то ты любишь меня. Ты не хочешь воспользоваться удобным случаем провести со мной наедине какой-нибудь час. С завтрашнего дня ты будешь вечно конвоируема компаньонкой, которая не будет обладать добрым сердцем Маши. Если не хочешь, то иди домой и, повторяю, прощай навсегда.

— Маша будет ждать меня здесь? Я вернусь домой вместе с ней? — вместо ответа спросила, после некоторого колебания, молодая девушка.

— Ну конечно, все условлено и предусмотрено.

Он подал ей руку.

Она как-то машинально оперлась на нее, дошла до экипажа и позволила себя посадить в него.

Неелов с торжествующей улыбкой на губах вскочил за нею, и крикнув кучеру «пошел», захлопнул дверцу.

Карета катилась по Литейной, и свернув по Симеоновскому переулку, проехала Симеоновский мост, часть Караванной, Большую Итальянскую, выехала на Невский проспект.

Быстро домчавшись до Большой Морской, и проехав часть этой улицы, повернула на Гороховую и остановилась у второго подъезда налево.

Этот, хотя громадный, но невзрачный дом на Гороховой улице известен всему жуирующему Петербургу. Большая его часть занята «гнездышками любви», в которые и из которых днем и ночью впархивают и выпархивают парочки воркующих голубков.

Более или менее изящно отделанные, смотря по стоимости, апартаменты этого приюта петербургского, далеко, впрочем, не платонического флирта, хранят в своих стенах много страниц скандальной хроники не только полусветского, но и великосветского Петербурга.

Дом имеет множество входов и выходов, и ревнивые мужья и жены, как и строгие отцы и матери, и чересчур наблюдательные братцы положительно могут потеряться в этом лабиринте коридоров и переходов, среди этих безмолвных стен, за которыми происходят интересующие их романы.

Прислуга этого приюта нема, как и эти сте-

ны, и долголетней практикой приобрела особый нюх относительно намерений посетителей или посетительниц.

Неелов выскочил первый из кареты, осмотрелся зорко по сторонам, и, подав руку Любови Аркадьевне, помог ей выйти из экипажа.

На лице молодой девушки лежало уже выражение какой-то немой покорности судьбе.

Карета отъехала.

Неелов и его спутница быстро вошли в подъезд, и, поднявшись на второй этаж, прошли по маленькому, узкому коридору и остановились перед запертою дверью.

Кругом не было ни души.

Неелов вынул из кармана ключ, отпер и отворил дверь.

Она очутилась в комфортабельно убранной комнате, через дверь которой была видна другая, меньших размеров.

Он запер дверь на ключ изнутри.

Западня закрылась.

Птичка была поймана.

Любовь Аркадьевна робко остановилась невдалеке от двери и машинально окинула

взором помещение.

Мягкий, пушистый, хотя в некоторых местах повытертый ковер покрывал пол этой довольно обширной, но казавшейся уютной, ввиду множества мебели, комнаты.

Мебель состояла из мягких, обитых тоже не первой свежести, но, видно, тщательно сохраняемой шелковой материей темно-синего цвета, дивана, кресел, стульев, chaise longue и преддиванного стола, покрытого бархатною скатертью.

Над диваном было большое овальное зеркало в золоченой раме, в такой же раме огромное трюмо стояло в широком простенке между двумя окнами и тяжелыми темно-синими драпи и спущенными густыми тюлевыми занавесками, от которых в комнате стоял какой-то странный полусвет.

На стенах, оклеенных дорогими темно-синими с золотом обоями, висели, кроме того, картины.

Любовь Аркадьевна бросила было взгляд на одну из этих картин, но тотчас же отвернулась.

Ей бросилась в глаза группа голых тел.

Что-то невольно кольнуло ее в сердце.

Бросилась молодой девушке в глаза также странность зеркал. Они все были испещрены какими-то надписями.

«Зачем, почему?..» — мелькнуло как-то произвольно в ее уме, но вопрос этот так и остался без ответа.

Из двери за тяжелой открытой портьерой, ведшей в следующую комнату, виднелся туалетный столик с овальным зеркалом, тоже в золоченой раме.

Наблюдения эти, однако, прервал Неелов. Он снял с нее верхнее платье, бережно взял за талию и повел к кушетке.

Она в каком-то полузабытьи опустилась на нее. Он сел рядом.

Казалось, в эту минуту он искренно любил ее. Страстно обняв молодую девушку, он шептал:

— Наконец мы с тобой одни... О, как я люблю тебя, теперь больше, чем когда-либо, потому что тебя силой хотят отнять у меня.

— Это правда?.. — тихо сказала она.

— И ты можешь это спрашивать!

— Да ведь ты сам говорил, что любил мно-



гих, а другие говорят о тебе...

Она остановилась.

— Я и не скрываю моих прежних похождений, но клянусь тебе, ты одна заставила меня понять, что в любви есть что-то высшее, святое!.. Ты должна быть моею, хотя бы все силы небесные и адские восстали против меня.

— Боже, как мне хотелось наслаждаться полным счастьем с тобою!

— И будем.

— Бог знает.

— Скажи, что ты «моя»... Докажи мне это... У меня будет все готово к побегу и к венцу через несколько дней.

— Ах, Владимир... Я не могу.

— Ну, значит, ты не любишь меня... Если бы ты любила так горячо, так искренно, как я, ты не задумывалась бы... А, понимаю... Моя бедность...

— Замолчи! — вскрикнула она, падая в его объятия.

— Так я умру с тобою!.. — воскликнул Неелов, целуя ее в полуоткрытые губы.

— Ах, Владимир, — шепнула она, — я брошусь к ногам отца, вымолю его благословле-

ние, а затем, вдали от света, мы будем наслаждаться счастьем, которое дает любовь.

Взором, казалось ей, полным любви и блаженства, смотрел он на нее, пока она говорила, затем склонился к ней так, что дыхание его коснулось ее волос, глаза его впились в ее глаза.

Постепенно лицо его склонялось все ниже и ниже, и наконец их губы замерли в долгом горячем поцелуе.

В полубессознательном состоянии лежала Любовь Аркадьевна на груди любимого человека.

Но прошедшее и будущее для нее уже не существовали, она жила только блаженством настоящего мгновения.

Как перышко, взял он ее на руки и понес в следующую комнату.

Портьера тихо опустилась.

Опустим и мы завесу над нашим рассказом.

Через два часа у дверей кареты, приехавшей обратно на угол Литейного и Фурштадтской улицы, действительно, как из земли выросла Маша и с вышедшей из кареты барыш-

ней отправилась домой. Любовь Аркадьевна прямо прошла в свою комнату, бросилась на постель и залилась слезами.

В тот же вечер Елизавета Петровна, войдя в ее комнату, была поражена ее видом.

— Что с вами, вы больны?

— Ничуть.

— Пойдемте заниматься музыкой.

— Я не расположена.

Лубянской после такого холодного приема ничего не осталось, как пройти в гостиную, где она застала Екатерину Николаевну.

— Что делает Люба?.. — спросила последняя.

— Я звала ее поиграть в четыре руки, но она отказалась. Мне кажется, что она не совсем здорова.

— Так пошлите за доктором.

— Не нужно. Мне лучше. Если вы не раздумали, пойдемте играть... — сказала внезапно вошедшая молодая девушка.

— Но ты, на самом деле, страшно бледна... — сказала Селезнева.

— Маленькая головная боль, теперь уже проходит... — отвечала дочь.

Дни потекли за днями.

Из общих знакомых в доме Селезневых Елизавета Петровна дружески сошлась с Иваном Корнильевичем Алфимовым, приятелем Сергея Аркадьевича Селезнева, который чрезвычайно симпатично с первого же раза стал относиться к компаньонке его сестры.

Что касается до последней, то она продолжала держаться на стороже относительно приставленной к ней «шпионки», как она мысленно называла Дубянскую.

Бывали, впрочем, минуты, когда Любовь Аркадьевна старалась побороть в себе это предубеждение против Елизаветы Петровны.

С интересом и сочувствием слушала она рассказ молодой девушки о смерти ее отца.

Когда она упомянула фамилию Неелова, Селезнева заметила что знает одного Неелова, который делал ей предложение.

— Владимир Николаевич?

— Да.

— Это он самый.

— Вероятно тот, так как я знаю, что он дружит с графом Стоцким.

— Конечно, он... И он делал вам предложе-

ние?

— Да, он любит меня, но папа отказал ему.

— И слава Богу... Вы избегли большой опасности.

— Почему?

— Вы не знаете, как страсть к игре губит человека, а он игрок. Он сделал бы вас на всю жизнь несчастной. Он испорченный, дурной человек, даже ваша любовь не исправила бы его.

«Она подучена моим отцом», — мелькнуло в уме Любовь Аркадьевна.

— Вы были бы сто раз счастливее, если бы вышли за человека, который вас не любит, но уважает, даже если бы он был некрасив и немолод.

«Она подразумевает графа Вельского, — подумала молодая девушка. — Значит, она все же орудие в руках моей матери... — О, милый Владимир! — работала далее ее пристрастная мысль. — Мы окружены врагами. Тебя хотят оклеветать, унижить в моих глазах, дорогой мой. Да, я буду недостойна твоей любви, если когда-либо усомнюсь в тебе».

И снова она отдалялась от Елизаветы Пет-

ровны и снова уходила в самую себя.

Бывали случаи, когда горничная Маша по приказанию барышни запирала ее на ключ в ее комнате и не давала этот ключ Дубянской.

Чтобы не делать истории, Елизавета Петровна не доводила этого до сведения Екатерины Николаевны, очень хорошо понимая как свое положение, так и положение Любовь Аркадьевны.

## XI В ЦЕПЯХ ПРОШЛОГО

Среди известной нашим читателям компании, состоявшей из графа Стоцкого, Неелова, барона Гемпеля и графа Вельского, появилось новое лицо, Григорий Александрович Кирхоф.

Он был представлен графом Сигизмундом Владиславовичем, не стеснялся в деньгах, вел большую игру и принимал с охотой участие в кутежах, пикниках, обедах и ужинах, в подписке и подарках актрисам и танцовщицам.

Этого было достаточно, чтобы ставшая за последнее время довольно невзыскательной петербургская «золотая», или, правильнее, «золоченая», молодежь приняла его в свой

круг, из которого он даже попал в некоторые дома столичной, как родовой, так и финансовой аристократии.

Кто он был, откуда явился в столицу, какие имеет средства к жизни? — все эти вопросы, которыми не задается наше современное общество при встрече с незнакомцем, если он элегантно одет, имеет внушительный вид и обладает всегда полным бумажником. Последние условия всецело подходили к Григорию Александровичу, и прием его в среду людей, считающих друг друга, а в особенности, самих себя порядочными, состоялся беспрепятственно.

В момент появления его в петербургском обществе трудно было установить его тождество с лицом, являвшимся к полковнице Усовой и ведшим с графом Стоцким довольно, если припомнит читатель, странный разговор.

С того времени он возмужал, раздобыл и приобрел вид настоящего барина; костюм от лучшего портного также сделал свое дело, и никто бы, даже сама полковница Капитолина Андреевна, видевшая его хотя один раз, но чрезвычайно памятливая на лица, не узнала

бы в нем Григория Кирова, изменившего свою фамилию лишь несколько на немецкий лад.

Мы застаем его в его комфортабельно убранной холостой квартирке на Малой Колюшениной, в уютном кабинете, за интимной беседой с графом Сигизмундом Владиславовичем Стоцким.

— Довольно мне быть твоим рабом, — говорил граф, — еще одна подобная записка, и я разорву эти адские цепи — чего бы мне это ни стоило.

— Это тебе будет стоить каторги, мой друг... — со смехом заметил Григорий Александрович.

— Как знать, не было бы тебе хуже, чем мне... Поддельватель фальшивых ассигнаций, шулер, вор!..

— А ты разве не то же самое, что и я, но вдобавок еще убийца.

Последнее слово Кирхоф — мы так и будем называть его — произнес пониженным шепотом.

— Убийца! — повторил граф. — Докажи.

— Изволь, если хочешь, я покажу тебе



некоторые вещественные доказательства.

Граф Стоцкий побледнел.

Григорий Атександрович между тем продолжал деловым, равнодушным тоном.

— Если бы не твоя угроза отделаться от меня во что бы то ни стало, я промолчал бы, но теперь я хочу доказать тебе, что ты ничто иное, как игрушка в моих руках, которую я могу уничтожить, когда она надоест мне, или не будет мне нужна! Твоя тайна в моих руках. Интересно тебе знать, насколько я проник в нее?

— Никто ничего не может знать про меня... — задыхаясь, проговорил граф Стоцкий.

— Ты думаешь? — улыбнулся Кирхоф. — Так слушай, что я расскажу тебе... Старик Подгурский был очень богат, но, собственно говоря, не имел никаких прав на свое состояние. Он женился на одной русской, у которой был ребенок, но не ее, а какой-то знатной дамы, которая обязалась выдать ей огромную сумму на воспитание... Ради этих-то денег Подгурский на ней и женился.

— Какое мне дело до всего этого... Через тебя же я познакомился с ним десять лет тому

назад, когда он уже был вдовцом.

— Подожди, не торопись... Слушай дальше... У Подгурского была сестра, которую соблазнил один польский магнат, граф Владислав Стоцкий, ты теперь начинаешь понимать, что дело касается немного и тебя?

Сигизмунд Владиславович был бледен, как полотно.

Григорий Александрович заметил это и с презрительной улыбкой продолжал:

— Подгурский запретил сестре показываться на глаза... Около этого времени вспыхнуло польское восстание. Граф Владислав Стоцкий принял в нем деятельное участие, за что был сослан в Сибирь, а имущество его конфисковано. Сын его от первого брака еще ребенком остался в Варшаве у родственников, а после ссылки отца, когда вырос и возмужал, уехал в Англию, сделавшись эмигрантом. Сестра Подгурского осталась нищей, но брат не сжалился над нею. Между тем спустя много лет граф Владислав Стоцкий был помилован, и ему была возвращена значительная часть его состояния. Вернувшись на родину, он стал разыскивать свою возлюбленную и,

не найдя ее, написал завещание, по которому все свое состояние завещал ей и своему сыну Сигизмунду поровну, если же она умерла, то ее сыну, если и сын его Сигизмунд окажется умершим, то сестра Подгурского и ее ребенок делались единственными наследниками. Душеприказчиком он выбрал Подгурского, поручив ему все свое состояние. Сделав это распоряжение, старый граф вскоре умер.

— А тот — Сигизмунд?

— Не торопись, милый друг. Ты должен видеть, что я знаю больше, чем те газеты, которые десять лет тому назад извещали об убийстве известного поддельвателя кредитных билетов и шулера Станислава Ядзовского. Сестра Подгурского и не подозревала о наследстве и ходила со своим сыном из дома в дом, прося подавание. А Подгурский на ее деньги строил в Москве дома. Однажды от голода и холода она умерла на пороге одного из этих домов, где он жил. В старике проснулась совесть, он взял мальчика, не говоря ему, однако, о наследстве. Должно быть, мальчишка был негодяй, потому что убежал из дома своего дяди, чему тот от души был рад.

Он остановился, чтобы перевести дух.

— Дальше, дальше... — задыхаясь прошептал Сигизмунд Владиславович.

— Изволь, дальше, чтобы не томить тебя, я сделаю скачек и перейду прямо ко времени нашего бегства. Наша фабрика процветала под Петербургом, как ты знаешь, не долго... Благодаря неосторожности одного из сообщников, все было открыто... Я должен был бежать, а также и ты, мой друг.

— Это мне известно, ты хотел рассказать о молодом графе Стоцком.

— Он совершенно случайно узнал, что его состояние у Подгурского в Москве, и написал ему, что приедет к нему по разным обстоятельствам тайно, чтобы взять часть своего наследства.

— Я помню, — отдался воспоминаниям и граф Стоцкий, — это было в то время, когда мы бежали и остановились в Москве, где я по твоей протекции нашел пристанище в доме Подгурского. Он тогда говорил, что Бог знает что дал бы, чтобы кто-нибудь убрал с его дороги молодого поляка.

— И мой молодой друг понял его, — приба-

вил Григорий Александрович.

— Это ложь! Я не причастен к этому делу!

— Ты думаешь, меня легко обмануть? А доказательства, о которых я говорил тебе...

— Я его не убивал.

— Выслушай и потом отрицай.

Кирхоф пронизывающим взглядом смотрел прямо в лицо своего собеседника. Тот молчал.

— Молодой человек не явился ни в тот день, ни после. На другой день, когда его ожидали, я прочитал в газетах, что в Сокольничьей роще, недалеко от роскошной дачи Подгурского, нашли убитым разыскиваемого петербургской полицией преступника Станислава Ядзовского... Я пошел посмотреть на труп моего друга Пальто, сюртук, бумаги — все было твое, кроме лица. Я ничего не сказал, решив, что для тебя же лучше, если тебя сочтут умершим. Каким образом очутилось твое платье и бумаги на убитом?

— То и другое было у меня украдено.

— Старая песня острожников! Но вот что важно: молодой граф не являлся больше к Подгурскому за наследством, а все бумаги

прощенного впоследствии правительством Сигизмунда Стоцкого у тебя.

— Все это могло бы иметь значение, если бы было доказано что убит не первый встречный, а граф Сигизмунд Стоцкий.

— Совершенно справедливо, но слушай дальше... За границей я познакомился с Николаем Герасимовичем Савиным, который затем наделал столько шума в Европе и который теперь сидит здесь в доме предварительного заключения. У него в Париже была прекрасная квартира и в кабинете множество портретов. Один из них, красивого молодого человека лет двадцати, заинтересовал меня и я спросил его кто это?

— Это мой старый друг, я с ним сошелся еще в Варшаве, затем он уехал в Англию, но там в бытность мою я не мог его разыскать. Его звали...

— Как ты думаешь, чье имя он назвал? — спросил Григорий Александрович, наслаждаясь смущением и испугом графа Стоцкого.

— Графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого, — продолжал он после некоторой паузы. — Я упросил Савина позволить мне пе-

реснять этот портрет под предлогом, что он очень похож на моего покойного брата, который не снимался при жизни, и получил разрешение. Хочешь, я покажу тебе его?

С этими словами он направился к бюро.

Граф Сигизмунд Владиславович, все лицо которого исказилось от злобы, готов был в эту минуту кинуться на своего смертельного врага и задушить его.

— Не надо, не надо... верю... — прохрипел граф.

Кирхоф вернулся на место и подозрительно посмотрел на Стоцкого.

Прежде чем продолжать дальше беседу, он взял стакан вина, стоявший перед ним, но поднеся его к губам, поставил обратно на стол и позвонил.

— Вылей это вино и дай новый стакан. Только не пей его... — приказал он лакею.

— Ты боишься яду? — спросил граф Сигизмунд Владиславович с худо скрытой злобой. — На этот раз ты напрасно опасался, но если ты меня вынудишь...

— Дурак! — возразил Григорий Александрович. — Разве ты меня не знаешь. Или ты

думаешь, что я, зная, что ты ради своего спасения можешь стать убийцей, буду ждать от тебя пощады? Я осторожнее тебя. Все, что я рассказал тебе, я написал, запечатал в конверт и передал верному человеку. В случае, если я умру насильственной смертью, этот конверт будет передан в руки правосудия, если же своею — будет уничтожен.

Граф Сигизмунд был окончательно уничтожен. Он действительно оказывался игрушкой в руках своего бывшего сообщника и друга.

— Я вижу, что улики против меня, — сказал он, — но повторяю тебе, не я убил его.

— Ха, ха, ха! Однако, ты очень храбро отпираешься.

— Я нашел его в роще уже мертвым и действительно переменял его одежду на мою и взял бумаги.

— Но кто же поверит этой сказке?

Сигизмунд Владиславович молчал. Наконец, после долгой паузы он сказал:

— Признаю, что я вполне в твоей власти, но предупреждаю, если ты уже слишком затянешь петлю, в которую я попал, я предпочту



умереть, чем влачить эти тяжелые цепи прошлого. Чего ты от меня хочешь? Ты живешь, ничего не делаешь и ничем не рискуешь, — а я? Я ежеминутно должен дрожать, чтобы не попасться. Мне грозит ежеминутно тюрьма, Сибирь. Подумай об этом и сжался. А ты требуешь от меня все больше и больше.

— Я нахожу, что с некоторых пор ты залежался, и я нарочно призвал тебя, чтобы посоветовать тебе действовать энергичнее.

— Да разве я могу что-нибудь сделать, когда граф Вельский под влиянием жены стал избегать нашего общества, и я боюсь настаивать, чтобы не лишиться его совершенно.

— Его? Не ее ли? — с насмешкою заметил Кирхоф.

— А если бы и так, — строго и дерзко ответил граф Стоцкий. — Тебе все равно, откуда я беру для тебя деньги... Они будут.

С этими словами он простился со своим собеседником-властелином и вышел.

## XII ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Григорий Александрович Кирхоф был прав, заметив, что графу Стоцкому не желатель-

но потерять не «его», а «ее», то есть не графа Петра Васильевича Вельского, а графиню Надежду Корнильевну.

Последняя стала графиней недавно.

Медовый месяц молодых только что подходил к концу.

О выдающейся по роскоши и блеску свадьбе молодого графа Вельского с дочерью банкира Надеждой Корнильевной Алфимовой продолжал еще говорить великосветский Петербург.

Молодые после венца не последовали установившейся моде отправляться в путешествие, а напротив, по окончании венчания в церкви пажеского корпуса, начавшегося в семь часов вечера, широко распахнули двери своего великолепного двухэтажного дома-особняка на Сергиевской, убранство которого, с великолепным зимним садом, освещенным, как и весь дом, причудливыми электрическими лампочками, напоминало страну из сказок Шехерезады.

Многолюдный бал, роскошный буфет с серебряными боченками шампанского, окруженными серебряными миниатюрными, сде-

ланными в русском вкусе ковшами, залы, переполненные тропическими растениями в цвету, букеты цветов, привезенных прямо из Ниццы, раздававшиеся в виде сюрприза дамам, великолепный оркестр и даже вначале концертное отделение с выдающимися петербургскими артистами — все делало этот праздник исключительным даже для избалованного в этом отношении Петербурга и долго не могло заставить забыть о нем присутствующих.

Все было весело и оживленно, и лишь небольшим облачком этого светлого пира являлось личико новобрачной, подернутое дымкой грусти.

Мы говорим небольшим, потому что большинство присутствовавших объясняло это выражение лица Надежды Корнильевны понятным смущением невесты в день свадьбы.

Немногие угадывали, какую приносило это молодое существо жертву клятве, данной ею у постели ее умирающей матери.

К числу этих немногих принадлежали знакомые нам Масловы, Ястребовы и граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий...

Последний, впрочем, знал только одно, что Надежда Корнильевна не любит своего мужа и обвенчалась с ним по принуждению отца.

На этом он строил свои планы.

Предприняв вместе с Матильдой Руга, тоже присутствовавшей на балу и даже исполнявшей два номера в концертном отделении, поход на состояние графа Вельского, стараясь для этого излечить графа Петра Васильевича от любви к Надежде Корнильевне, он понимал, что сам и незаметно для самого себя влюбился в Алфимову с тою роковою последней вспышкою страсти пожившего и уже немолодого человека, которая туманит ум и может заставить человека решиться на все, включая и преступление.

Холодность Надежды Корнильевны, скажем более, почти брезгливость относительно его, не уменьшали этой страсти, не уязвляли даже его самолюбия, чрезвычайно чувствительного в других случаях, но напротив, все более и более, все сильнее и сильнее тянули его к молодой девушке, будущей графине Вельской.

Он зачастую забывал свой главный план

относительно капиталов графа, и любовь последнего к невесте возбуждала в Сигизмунде Владиславовиче не опасение за будущее, а ревнивое чувство настоящего.

Граф Стоцкий бесился, стыдился самого себя за такое мальчишеское увлечение, а между тем ничего не мог поделать с собою.

Еще не видя Надежду Корнильевну, он дал себе слово не поддаваться ее обаянию, здраво рассуждая, что из этого чувства не может быть ничего, кроме его собственного унижения и даже, быть может, несчастья, но при первом свидании с предметом своей любви все эти рассуждения разбивались в прах и он снова страдал, мучился и старался безуспешно вызвать в ней хотя малейшее к себе расположение.

Это состояние его сердца в связи с постоянным «дамокловым мечом», висевшим над ним в виде Григория Александровича Кирхофа, делали его жизнь, пожалуй, не лучше избегаемой им каторги.

Недаром он, выйдя из квартиры бывшего своего сообщника после описанной нами беседы с ним и садясь в щегольскую коляску,

подумал: «Опять та же каторга!»

Прохожие, видя изящно одетого, солидного барина, удобно развалившегося на подушках шикарного экипажа, думали, вероятно: «Вот счастливец». Если бы они знали, что на душе этого счастливца и многих ему подобных, катающихся на рысаках по улицам Петербурга, целый ад мук и тревог, они не пожелали бы ни этой одежды, ни этого экипажа злему своему лиходею.

— На Сергиевскую! — крикнул граф Сигизмунд Владиславович кучеру.

Тот, ловко подобрав вожжи, тронул лошадей.

Они помчались крупной рысью.

Графиня Надежда Корнильевна Вельская сидела с работой в руках в угловой гостиной, когда по ковру вдруг раздались чуть слышные шаги.

Она подняла голову.

Перед нею стоял граф Стоцкий.

— Вашего супруга нет дома, графиня?

— Вам, вероятно, это уже сообщили слуги, — ответила она с презрительной холодностью.

— Да, графиня, но непреодолимое желание увидеть вас одну и сказать вам все то, что я почувствовал с тех пор, как увидел вас впервые, придавало мне смелость явиться сюда. Вы несчастны, графиня, — продолжал он, садясь возле нее и как бы не замечая, что она смотрит на него строго и вопросительно. — Вы не любите вашего мужа и ломаете себя, чтобы казаться любящей женой.

— Милостивый государь, какое право вы имеете говорить мне все это?

— Право глубокого и искреннего чувства.

— Вы — друг моего мужа.

— Ваш муж не достоин вас.

— Чего же вы, наконец, хотите?.. — воскликнула она, гневно вставая с кресла.

— Ваш муж сегодня вечером приглашен к князю Инкову, там будет большая игра... Позвольте мне явиться сюда, — начал он, тоже вставая с кресла.

— Презренный, низкий человек, — смирла его с головы до ног пылающим взглядом оскорбленной женщины графиня. — Я сегодня же все расскажу моему мужу...

— Если вам угодно... Только посмотрим,

кому из нас он больше поверит... Кроме того, графиня, предупреждаю вас, будет время — и оно уже недалеко — что я потребую от вас того, о чем прошу сегодня, как милости. Ваш муж проиграл все свое состояние... Ваше богатство и даже богатство вашего отца не покроют его долгов...

— Здравствуй, Сигизмунд... — раздался сзади него голос вошедшего графа Вельского.

— Здравствуй! — ничуть не смущаясь, сказал граф Стоцкий, в то время как графиня быстро вышла из гостиной. — Что ты сегодня такой сияющий?

— Еще бы... Чуть не первый раз в жизни выиграл...

— Да что ты... Днем?

— На бирже, друг, на бирже... Десять тысяч рублей... Сегодня они мне пригодятся у Инкова.

— Господи, как я рад!.. — казалось, с неподдельною искренностью воскликнул Сигизмунд Владиславович, с чувством пожимая руку графа Петра Васильевича.

— О, Сигизмунд, друг, как ты, стоит миллионы!



— Надеюсь, что ты имел случай убедиться в моей преданности. А впрочем, клевета может разъединить даже таких друзей... — меланхолически добавил он.

— Клевета. Да кто же станет клеветать мне на тебя?..

— Мало ли кто... Например, я знаю, что жена твоя ненавидит меня... Я все боюсь, что именно она внушит тебе недоверие ко мне. Женщины гораздо умнее и сильнее нас нравственно. Она и сегодня так оскорбила меня своим приемом, что я решил не бывать у тебя в доме.

— Полно, Сигизмунд, у женщин всегда есть свои неискореняемые предубеждения. Жена считает тебя моим соблазнителем... Но не лишаться же мне ради этого твоей дружбы.

— Я всегда останусь твоим другом. Но эти постоянные наущения против меня...

— Ну, этому никогда не бывать, что бы она ни выдумывала, — проговорил граф Вельский.

— Благодарю, благодарю тебя, мой друг! — с чувством пожал Сигизмунд Владиславович руку графа Петра Васильевича, — А теперь

скажу, зачем я к тебе приехал... Я тоже собираюсь к князю Инкову, вчера получил приглашение и, знаешь, быть между этими людьми и...

— Не иметь денег? Тебе нужно?..

— Да, хоть несколько сотен рублей.

— И отлично, бери половину того, что у меня есть. Станем играть пополам — и выигрыш, и проигрыш общие.

— Отлично... По рукам... Славный ты товарищ.

— Пойдем в кабинет...

Оба друга вышли из гостиной.

Графиня между тем отправилась из гостиной к себе в будуар, где и сидела в немом отчаянии.

«Боже, Боже, — думала она, — чего только не насмотрелась и не наслушалась я за короткое время моего замужества! Мне никогда не думалось, что на свете может быть что-нибудь подобное!.. Но лишь бы мне удалось спасти его!»

Дверь будуара беззвучно отворилась, и горничная доложила, что приехала Ольга Ивановна Хлебникова.

Подруга графини вскоре после проведенного вечера у полковницы Усовой уехала в Отрадное к своим родителям, и несмотря на просьбы Надежды Корнильевны, не была отпущена ими на ее свадьбу.

Иван Александрович сам написал Алфимовым почтительное письмо, в котором уведомлял, что его дочь нездорова и не может пуститься в дорогу.

Будущая графиня была неутешна и каждый день писала письма своей подруге, в которых просила, как только она поправится, приехать погостить к ней, так как она положительно умирает от тоски по ней.

Хлебниковы, видя такую настойчивость, и думая, что с женитьбою молодого графа опасность для Оли миновала, и кроме того, получив сведения, что молодая графиня ведет затворницкую жизнь, решились наконец отправить дочь в Петербург.

— Оля, милая Оля! — бросилась графиня навстречу почтительно остановившейся у двери молодой девушки. — Да что с тобой, разве я все не та же, как и была в Москве и в нашем Дорогом Отрадном?

— Я глубоко тронута, графиня, что вы еще не забыли...

— Что за «вы»? Для тебя я та же Надя...

— Я думаю, что ты очень счастлива, Надя... — после некоторой паузы сказала Хлебникова, садясь по приглашению графини с ней рядом на маленький диванчик. — Я ведь знала, что раньше ты не хотела выходить за него, но теперь, когда ты его узнала ближе — ты, конечно, его любишь...

— Нет, Оля! Я многое знала и предчувствовала моим сердцем, но действительность оказалась хуже предчувствий.

— Значит, ты его не любишь?

— Тебе я могу сказать правду — нет...

— Несчастный, бедный! Да за что же?.. Он молод, хорош, богат...

— Одного нет — чистого сердца... И молод, и хорош, и знатен, и богат, но все это я бы отдала за то, чтобы сердце у него было чистое...

«Да, она говорит правду... — неслось в голове Ольги Ивановны. — Она его не любит... Мне следует его утешить, хотя дав ему ту дружбу, о которой он меня просил».

— Я просила тебя приехать так настойчиво

потому, что мне страшно тяжело, — продолжала между тем Надежда Корнильевна с порывом безнадежной тоски. — Я ведь совершенно, совершенно одинока. Исполни мою просьбу, Оля, останься навсегда со мною. Ты будешь поддерживать, ободрять меня...

— Я останусь у тебя, Надя, с радостью, очень долго, сколько ты захочешь, если против этого не будут иметь ничего мои родители и, наконец, твой муж...

— О, он ни в чем мне не отказывает, а твоим родителям я напишу письмо, которое их тронет.

В это время в будуар вошел граф Петр Васильевич.

### XIII ДРУЖБА ИЛИ ЛЮБОВЬ?

**О**льга Ивановна Хлебникова, хотя была, как мы знаем, почтительная и любящая дочь, но в этом почтении и любви к родителям не было того рабского подчинения, которое подчас вырабатывается в детях, содержимых, выражаясь «по-московски», в ежовых рукавицах.

Единственная дочь у отца и матери, она

была, конечно, кумиром своих родителей и ничего, кроме ласк и выражения самой нежной любви, от них не видала.

Добрая и честная по натуре, она не испортилась баловством отца и матери, не сделалась ни своевольной, ни капризной, но живя одна, почти без подруг, если не считать единственную Надю Алфимову, девушку без всякого характера, мягкую, как воск, «святую», как прозвали ее в институте, выработала в себе силу воли и характер, и подчинить ее чужой воле, если эта последняя не была основана на разумных и ей понятных причинах, было трудно даже для отца и матери.

Таким образом, если бы Ольга Ивановна пожелала бы присутствовать на свадьбе Нади Алфимовой и графа Петра Вельского, она была бы на ней, так как нездоровье было только предлогом вежливого письма ее отца к дочери своего хозяина, предлогом, выставленным с разрешения самой Ольги Ивановны.

Молодая девушка сама дошла до решения не быть на свадьбе и даже совсем не ездить более в Петербург. Это решение согласовалось с желанием ее родителей, которым она, одна-

ко, его не высказывала, а лишь последовала данному ими совету.

Какие же причины руководили молодой девушкой для такого разрыва с другом своего детства и с человеком, которому она дала слово быть другом — графом Вельским, ставшим мужем ее подруги?

Надо заметить, что после на первых порах так возмутившего Ольгу Ивановну почти насильственного увода ее с вечера полковницы Усовой ее дядей и перерыва разговора молодой девушки с графом Петром Васильевичем на самом интересном месте, она много передумала об этом происшествии.

Конечно, ни дядя, ни тетка не объяснили ей, чего они опасались от дальнейшего пребывания ее в доме полковницы Капитолины Андреевны и чему так обрадовались, что не опоздали увезти ее оттуда.

Она дошла до этого своим собственным умом.

Восстановив в своей памяти всю обстановку квартиры Усовой, общество, которое она там встретила, особенно дамское, вспомнив некоторые брошенные вскользь фразы и сло-

ва ее новой подруги Софьи Антоновны, она поняла, что попала, действительно, в такое место, где не следует быть порядочной, уважающей себя девушке, и внутренне была глубоко благодарна дяде за то, что он увез ее отсюда.

Вывод этот подтверждался тем, что Софья Антоновна после эпизода на вечере Усовой не появлялась более у Костиных.

Она канула, как в воду.

Образ графа Петра Васильевича Вельского восставал между тем в уме молодой девушки в таких соблазнительных красках, которые она считала не гармонирующими с ее дружбой с его будущей женой.

Вопрос, почему граф очутился в обществе лиц с сомнительной репутацией, разрешен был молодой девушкой легко и просто: «Он несчастен, не любим девушкой, которую любит, и на которой женится... Он ищет забвения... Ему это нельзя ставить в вину...»

Так всегда рассуждает женщина, когда хочет оправдать мужчину.

Что граф «несчастен» — это в глазах Ольги Ивановны Хлебниковой доказывал его разго-



вор с ней.

Она припомнила все сказанное им, интонацию его голоса; и слова его, как тогда, так и теперь, находили отклик в ее сердце.

Она с ужасом даже додумалась, что ею руководит не одна жалость к нему как к человеку вообще, и поймала себя на ревнивом чувстве к Наде Алфимовой: ей стало казаться, что она могла бы вернее сделать графа Вельского счастливым мужем, чем эта «святая».

В первый раз она сама, даже мысленно, назвала свою подругу этим насмешливым институтским прозвищем.

Она чувствовала, повторяем, что готова полюбить жениха, а через несколько дней мужа своего единственного друга детства.

Она понимала, что о присутствии ее и графа Вельского на вечере у полковницы Усовой нельзя рассказывать Наде Алфимовой, ни теперь, когда она его невеста, ни тогда, когда она сделается женой графа.

Значит, она не может быть уже совершенно искренней и откровенной, как прежде, со своей подругой.

Между ней и графом Петром Васильеви-

чем, таким образом, является случайно связующая их тайна, и тайна серьезная, так как данное ею ему слово быть его другом, «ангелом-хранителем», как он выразился, налагало на нее известные по отношению к нему обязанности.

Может ли она их выполнить, не рискуя спокойствием своим и своей подруги.

Под первым впечатлением нахлынувших на нее опасений она ответила на этот вопрос отрицательно.

«Надо уйти от них подальше, надо с ними более не встречаться Наши дороги разные... Пусть каждый идет по своей...»

С этим решением она и уехала в Отрадное, вскоре после полученного оттуда известия, что Корнилий Потапович с сыном и дочерью выехали в Петербург. «Так как, говорят, скоро состоится свадьба», — прибавлял в письме ее отец.

Всем этим первоначальным настроением духа молодой девушки объясняется ее решение не присутствовать на свадьбе Алфимовой и не возвращаться в Петербург, решение, так согласовавшееся с заветными затаенными

мечтами ее родителей.

После первых дней радостной встречи с отцом и матерью, когда были исчерпаны все привезенные дочерью петербургские новости, исключая, конечно, уличного знакомства с Софьей Антоновной и неудачного вечера у полковницы Усовой, словом, когда домашняя жизнь в селе Отрадном вошла в свою колею и Ольга Ивановна волей-неволей оставалась часто наедине сама с собою, на прогулке в саду и в лесу, мысль ее заработала с усиленной энергией, вращаясь, конечно, на интересовавших ее лицах: Наде Алфимовой и графе Вельском.

Несмотря на получение частых писем от первой, в которых сперва невеста графа, а затем графиня горько жаловалась на свое одиночество и настойчиво звала к себе свою дорогую подругу. Ольга Ивановна не могла думать о своей бывшей товарке по институту без какого-то для нее самой непонятого озлобления.

Ей казалось в ее предубеждении, что и нежные письма графини Вельской поддельны и искусственны.

«Просто хочет, чтобы я присутствовала при ее светских триумфах, при ее дебюте в качестве графини... У... святая!» — думала Ольга Ивановна Хлебникова и сама сердилась на себя за такие дурные мысли, но не могла от них отвязаться.

«Нет, не поеду, ни за что не поеду я туда!» — решала она уже, по крайней мере, в сотый раз, как бы сама себя убеждая быть твердой в раз принятом решении.

Это-то повторение себе самой намеченной программы действий уже одно доказывало, что ей очень хотелось найти случай, предлог, но непременно серьезный, чтобы изменить эту программу.

Человек всегда найдет то, чего он сильно желает.

Так было и с Ольгой Ивановной.

«А что он?» — начала она себе задавать вопрос.

Под этим «он» подразумевался граф Петр Васильевич Вельский.

«Несчастный! — продолжала работать мысль молодой девушки. — Красавец, молодой, знатный, богатый, любящий и не люби-

мый... Разве эта „святая“ поймет его, оценит, исправит, он с нею погибнет так же, как и без нее. Надо сильное чувство, чтобы вернуть его на настоящий путь, чтобы направить его способности и его состояние на полезную деятельность... Женщина должна всецело подчинить его, подчинить для его же пользы... А разве графиня Надежда такая женщина?.. Святая...»

И снова злобное чувство против подруги волной захлестывало молодую девушку.

В этих рассуждениях о графе снова сквозила мысль, в которой Ольга Ивановна не призналась бы даже самой себе.

Она именно такая жена, какая нужна графу, в ней нашел бы он и подчинившее его сильное чувство, и сильную волю, направившую бы его на все хорошее и отвлекшую бы от всего дурного.

О, как бы она хотела быть его женой!.. Но там уже все совершилось, все кончено, другая женщина владеет им, а, следовательно, не может дать ему того счастья, которого он так стоит и которого он так жаждет.

Раз заработавшая в таком направлении

мысль привела вскоре к отмене решения никогда не возвращаться в Петербург.

Письма графини при этом были настойчивее и настойчивее... Она звала ее.

«Сама зовет!.. А он-то как будет рад... Это судьба», — решила Ольга Ивановна и, переговорив с родителями, которые тоже были тронуты последними письмами графини Надежды Корнильевны, Уехала в Петербург.

Злобное чувство к бывшей подруге не покидало ее до самого порога ее будуара, чем и объясняется ее почти официальное приветствие графини...

Но неподдельная радость молодой женщины растопила ледяную кору, окружившую было сердце Хлебниковой в Отрадном относительно своего друга детства.

— Я только что просила Олю остаться у нас навсегда, — сказала графиня мужу, когда тот с нескрываемой радостью поздоровался с приезжей.

— Я был бы за это беспредельно благодарен.

— Да, да, она стала бы добрым гением нашего дома.

— Ты, кажется, воображаешь, что этот дом населен злыми духами? — проговорил граф Петр Васильевич, хмурясь. — Я знаю, что друзей моих ты ненавидишь, но прошу не проявлять этого хоть им в глаза.

— Да пойми же, что ты братаешься с людьми, которые тебя недостойны.

— Прошу тебя не оскорблять моих друзей, я их знал раньше и лучше, чем ты...

— Но у меня есть доказательства... Например, граф Стоцкий...

— А, я так и знал! Только не трудись клеветать на него. Я знаю, ты его ненавидишь.

— Даже больше! Я глубоко презираю его. Он оскорбил меня. Он дошел в своей наглости до того, что объяснился мне в любви.

Граф громко расхохотался.

— Стоцкий и любовное объяснение. Да это так же возможно, как и падение неба на землю.

— Следовательно, ты даже не намерен вступить за меня?

— Горе тому, кто осмелится оскорбить тебя, Надя, но и тебя я прошу не оскорблять моих друзей... Я приказываю, чтобы графа Си-

гизмунда принимали в этом доме всегда — здесь я или нет... Больше мне нечего сказать тебе, — сказал граф и вышел.

— Он несется к гибели очертя голову! — простонала графиня.

«О, если мне удалось бы разъяснить недо-  
разумение, разъединяющее эти два сердца!» — думала Ольга Ивановна.

#### XIV В КОНТОРЕ

**В** банкирской конторе «Корнилий Алфимов  
с сыном», занимавшей роскошное помеще-  
ние на Невском проспекте, шла оживленная  
работа.

Человек двадцать служащих исполняли  
свои сложные обязанности с быстротой и точ-  
ностью машины.

В те дни, когда сам Корнилий Потапович  
не мог по тем или другим обстоятельствам  
бывать в конторе, его замещал сын Иван Кор-  
нильевич.

Это был симпатичный белокурый молодой  
человек с лицом, на котором еще не исчезли  
следы юношеского румянца, и лишь некото-  
рая синева около добродушных глаз, выраже-



нием своим напоминающих глаза его сестры, указывала, что яд Петербурга успел уже всосаться в недавно еще девственную натуру скромного москвича.

Он сидел в кабинете отца за письменным столом, заваленным кипами бумаг и счетов, но все его внимание было сосредоточено на личных счетах.

Он просматривал их с видимой мучительной тревогой.

— Двадцать тысяч рублей! — прошептал он. — Да где же я их возьму! Проклятая игра! О, с какой радостью отказался бы я от нее. Но ведь мне необходимо добыть денег... а другого способа нет... Отец... Но как сказать ему о таком проигрыше... Он ни за что не выдаст мне даже моих денег... или же предложит выделиться и идти от него, куда я хочу, с проклятием матери за спиною... Он неумолим... Тронуть капитал для него хуже смерти... А я дал клятву матушке... Хотел выручить граф Сигизмунд, но и он что-то не появляется... Как тут быть?..

И он опять принимался нервно пересчитывать на бумаге роковые для него цифры.

Несчастный молодой человек представлял из себя новую жертву «теплой компании» графа Стоцкого, Неелова и барона Гемпеля.

Познакомившись с ними через графа Вельского, он был введен в круг «золоченой молодежи» Петербурга и петербургские притоны, подобные салону полковницы Усовой.

На почти не тронутого жизнью юношу одуряющая атмосфера этих притонов и отдельных кабинетов произвела действие угара.

Вино, карты и женщины — эти три исторические силы падения человека — сделали свое дело и направили молодого человека на тот путь, где один лишний шаг зачастую отделяет честного человека от преступника.

Первый стакан вина, выпитый далеко не с охотой, а больше из молодечества, и не показавшийся даже вкусным, ведет за собой второй, тяжесть головы вначале, производя неприятное впечатление, с течением даже весьма короткого времени становится обычной и даже необходимой для отвлечения от нее мрачных мыслей, порождаемых еще не совсем заглохнувшей совестью.

Первый выигрыш — это получение денег без малейшего труда, среди хохота, смеха и веселья — побуждает стремиться ко второму. Проигрыш не пугает, а, напротив, усиливает желание выиграть, чтобы отыграться.

Кутила и игрок готов.

Изученный поцелуй заморской или доморощенной «жрицы любви», искусный до «артистического шедевра», подделанный под настоящее страстное лобзание, заставляет усиленно биться молодое сердце и ключем кипеть молодую кровь. Аромат духов и женского тела мутит ум и парализует волю.

Развратник готов.

К чести Ивана Корнильевича надо сказать, что по последнему пути он сделал еще очень слабые шаги.

Его сердце еще не было испорчено, и женщина не была еще сведена им с «пьедестала юношеского поклонения» на уровень хорошо приготовленного, приправленного заморскими пряностями лакомого блюда.

Усилия его друзей разбивались об «идеализм» Ивана Корнильевича, давшего графу Стоцкому и другим обильную пищу для на-

смешек над «чистым мальчиком», как прозвали молодого Алфимова в кругу петербургских «хлыщей».

Обычные посетительницы квартиры Капитолины Андреевны не имели успеха относительно «сына банкира», несмотря на приложенные с их стороны старания.

Это озаботило графа Стоцкого, и по совету с полковницей Усовой было решено приготовить для Ивана Корнильевича другую приманку, сообразно его «московским вкусам», как выразился граф Сигизмунд Владиславович.

Этой приманкой послужила некая Клавдия Васильевна Дроздова — молодая шестнадцатилетняя девушка, с личиком херувима, миниатюрная и гибкая, «одна мечта», как определила ее полковница.

Она жила со своей матерью на Васильевском острове в бедной квартирке и перебивалась работой портнихи.

Отца она никогда не знала, да о нем и не было упомянуто в ее метрическом свидетельстве, а ее мать была из тех падших женщин, не потерявших вместе с нравственностью

благоразумия и сумевших скопить себе день-жонки на черный день, которыми и перебивалась вместе с маленьким заработком дочери, принужденная с летами оставить свое занятие «любовью», как она сама выражалась.

Переговоры с Марфой (когда-то Мартой) Спиридоновной, так звали мать Клавдии, были не трудны.

Капитолина Андреевна была понята с первых же слов, а несколько сотенных бумажек придали ее речам крайнюю убедительность, и Клавдия Васильевна стала постоянной гостьей салона полковницы Усовой.

Одевалась она скромно, но мило, на средства той же полковницы, да и шикарный наряд дисгармонировал бы со всей ее простенькой до наивности внешностью.

Она принадлежала еще к числу тех жизненных блюд, для которых гарнир является излишним.

Приманка оказалась действенной. Иван Корнильевич увлекся и проводил очень часто с Клодиной, как звали девушку у полковницы, целые часы в одном из будуаров.

Эти свидания не отражались на внешне-

сти молодой девушки, искренно привязавшейся к молодому человеку, что приводило графа Стоцкого и других к убеждению, что «чистый мальчик» разводит в будуаре «кисель на розовой воде».

Это не касалось Капитолины Андреевны, которой было безразлично, чем занимаются ее гости, оставаясь *tete-a-tete*, тем более, что Иван Корнильевич исправно и щедро давал ей деньги на нужды «маленькой Клодины» и ее матери.

Больше половины их застревало, конечно, в карманах полковницы.

За последнее время, впрочем, другое чувство начало вытеснять из сердца Алфимова увлечение «маленькой Клодиной».

Вся эта жизнь и привела Ивана Корнильевича к роковому раздумью над счетом его долгов, в котором мы застаем его в кабинете банкирской конторы.

В дверь кабинета постучались.

— Войдите! — крикнул молодой Алфимов. Дверь отворилась, и вошел граф Стоцкий.

— Ну, что? — поднялся с тревогой с места Иван Корнильевич.

— Все прекрасно... Векселя согласились переписать на три месяца, но потом никакой пощады.

— Даст Бог, выиграю... Когда будете играть опять?

— Сегодня... Будет граф Вельский... Он продал одно из имений, доставшихся ему от матери.

— Кто купил?

— Неелов.

— Неелов! Да откуда же у него деньги!.. Говорят, дела его плохи.

— Вероятно, выиграл... — отвечал Сигизмунд Владиславович, пожимая плечами.

— Вот счастливец!.. Если бы и мне так! Ведь покуда векселя не уплачены, мне более не откроют кредита. Не знаешь ли ты, у кого бы занять?

— Мудрено! Мог бы Вельский дать, да он сам в тисках, да еще задумал купить дачу.

— Черт возьми!.. А ведь сегодня вечером мне так необходимы деньги.

— Да отчего ты не потребуешь от отца из своих? — сказал между тем граф.

— Что ты, что ты... Он не даст...

— Да как же он смеет?

— Я дал клятву у постели моей умирающей матери не выходить из его повиновения... Она пригрозила мне загробным проклятием.

— Какой вздор...

— Нет, лучше об этом перестань говорить... Ты не поймешь меня.

— Еще бы... — усмехнулся Сигизмунд Владиславович.

— Нет, не говори...

— Да я молчу.

— А деньги мне все-таки сегодня нужны.

— Да и не сегодня только... Ты забыл за последнее время «маленькую Клодину», Капитолина Андреевна просила тебе напомнить.

— Ах, какая это скучная история... Мне, признаться, с ней с некоторого времени тяжело... Она не такая девушка, о какой я мечтал.

— Ага, тебя притягивает другой магнит.

— Нет, Сигизмунд, не то... Я говорю правду... Действительно, у меня раскрылись глаза на мой идеал только при встрече с Елизаветой Петровной Дубянской... Вот идеальная девушка... При ней всегда страшно, вдруг она



глянет в мою душу и сразу узнает ее темные тайны... Я и решил навсегда покончить с Клавдией Васильевной... Она мне нравится, но любить ее я не могу... Я люблю...

— Дубянскую?

— Да, ее... Но это, увы, мое несчастье. Она не полюбит меня.

— Почему же?

— Потому что, мне кажется, она любит.

— Кого... Сергея?

— Нет... Я, впрочем, высказываю только предположения. Мне кажется, что Сиротинина.

— Вашего кассира?

— Да...

— Ну, это конкурент не опасный, сын банкира всегда будет иметь перевес над кассиром в сердце современной девушки.

— В том-то и сила, что она не такая... Не современная.

— Оставь, все они на один покров... Но где же она познакомилась с Дмитрием Павловичем?

— Она жила до поступления к Селезневым у его матери, которая была дружна с матерью

Елизаветы Петровны.

— А... Но как же быть с Клодиной?.. Она, кажется, не на шутку привязалась к тебе, и разрыв может губительно отразиться на ее здоровье... Девушки ее комплекции легко впадают в чахотку от неудавшейся любви... Ты, конечно, ее обнадеживал?

Иван Корнильевич потупил глаза и после некоторой паузы произнес:

— Если так, то я способен на все жертвы... Я женюсь на ней, хотя бы от этого рушилось все счастье моей жизни.

— Жениться — это уже слишком, но обеспечить надо... Тем более, что она в таком положении.

— Что-о-о? — вскрикнул Алфимов.

— Мне вчера сообщила об этом Капитолина Андреевна, прося тебе напомнить о Клодине.

— В таком случае, она солгала тебе... Клянусь тебе, что до такой близости я не доходил!

— Странно, удивительно.

— Клянусь тебе жизнью!

— Однако... Зачем же Усовой лгать?

— В таком случае, она... Я имею полное право не иметь с нею более дела!

— Гм! Но ведь она станет громко кричать, что ты отец ее ребенка, и все поверят ей, благодаря тому, что ты часто бывал с ней вдвоем... Наконец, она обратится к твоему отцу и потребует или платы за молчание, или брака.

— Это возмутительно!

— Что делать. Разве тебе кто поверит, если ты будешь уверять, что просиживал с ней часами с глазу на глаз, но только платонически любовался ею... Все будут хохотать над тобой.

Молодой человек опустил голову.

Сигизмунд Владиславович наблюдал за ним с выражением Мефистофеля. Он понимал, что Алфимов всецело в его руках.

— Что же делать? — растерянно спросил он.

— Давай мне две тысячи рублей и представь устроить это дело. Даю тебе слово, что ты никогда более об ней не услышишь.

— Голубчик, устрой... Видеть я ее не могу... Я ее презираю...

— Говорю, устраю... Давай деньги.

— Ах, да, деньги.

Иван Корнильевич растерянно взглянул на счета, но затем вдруг сразу как будто успокоился.

Граф Стоцкий наблюдал за ним глазами хищного зверя.

— Ну, делать нечего... Сегодня вечером я дам тебе две тысячи.

— Хорошо, так до вечера... — произнес Сигизмунд Владиславович и вышел из кабинета.

## XV ПЕРВЫЙ ШАГ

Горькое чувство овладело Иваном Корнильевичем, когда он остался один.

Девушка, которую все же, как ему казалось, он любил, к которой относился с предупредительной нежностью и не решался сделать решительного шага, не проверив силы и продолжительности своего чувства, которое и оказалось на самом деле мимолетным, так нагло обманула его!

«Я принужден теперь сделаться вором, — неслось далее в голове Алфимова. — Дорого придется расплачиваться за любовь. И кто знает, сколько еще новых безобразий поведет

это за собой? Дурные дела тем и ужасны, что ведут за собою всегда еще много дурных дел. Это-то и составляет их проклятие».

В это время в дверь постучались, и в кабинет вошел кассир конторы Дмитрий Павлович Сиротинин.

Последний был молодой человек лет двадцати семи, шатен, с выразительным и даже красивым лицом и с прямо смотревшими на собеседника светлыми, честными глазами.

Одет он чисто и аккуратно, но без малейшей претензии на франтовство.

Он был единственный сын Анны Александровны Сиротининой, подруги покойной матери Елизаветы Петровны Дубянской.

В квартире этой-то Сиротининой, на Гагаринской улице мы впервые и познакомились с молодой девушкой.

Мать чуть не молилась на сына, который платил ей восторженным обожанием.

С Елизаветой Петровной Дмитрий Павлович был другом раннего детства, затем они расстались и встретились лишь по приезде Дубянской в Петербург.

Окончив одним из первых курс в коммер-

ческом училище, Дмитрий Павлович поступил на службу в государственный банк, где обратил на себя внимание начальника исполнительностью и аккуратностью и был самым директором рекомендован Корнилию Потаповичу Алфимову для его банкирской конторы.

Старик Алфимов скоро и сам оценил Сиротина, и несколько исполненных им прекрасно иногородних поручений и освободившееся в конторе место кассира привели к тому, что Корнилий Потапович назначил на это место Дмитрия Павловича.

Мать и сын жили очень скромно, и последний тщательно копил деньги из своего довольно хорошего жалованья, чтобы купить дачку в Лесном, о чем мечтала Анна Александровна как о «своем уголке».

Ко дню нашего рассказа сумма в две тысячи рублей, первый взнос за дачу, продававшаяся в рассрочку, была готова, и Дмитрий Павлович хотел именно в этот день обрадовать мать этим известием.

Было еще, кроме матери, существо, которое любило его.

Иван Корнильевич не ошибся — это была

Елизавета Петровна Дубянская.

Она успела за несколько месяцев совместной жизни в квартире его матери оценить душевные качества Дмитрия Павловича, и он являлся первым мужчиной, затронувшим в ее сердце теплое чувство любви — именно то чувство, которое живет годами, а не вспыхивает и угасает, как страсть.

Сиротинин со своей стороны хотя и не задавал себе вопроса об отношении своем к жнице своей матери и подруге своих детских игр, но чувствовал к Елизавете Петровне какое-то, казалось ему, родственное влечение, и в особенности оно ясно определилось для него с момента отъезда Елизаветы Петровны из их дома.

Разлука — лучший оселок чувств.

— Что вам угодно, Дмитрий Павлович? — спросил у вошедшего Иван Корнильевич.

— Шесть часов. Потрудитесь принять кассу.

— Хорошо, я сейчас иду...

Обыкновенно Иван Корнильевич быстро, почти механически пересчитывал кредитки и записывал свертки золота и векселя, но се-

годня он беспрестанно путал и по нескольку раз проверял одни, и те же пачки.

— Дмитрий Павлович, — сказал он наконец, — дайте-ка мне вексельную книгу.

— Вексельную книгу? — с удивлением спросил Сиротинин. — Она заперта вместе с другими книгами, а тот, кто ее ведет, уже ушел...

— Тогда копируйте... —

Дмитрий Павлович ушел исполнить приказание, и в ту же минуту несколько пачек с сотенными кредитными билетами исчезли в боковом кармане Ивана Корнильевича.

Несчастный весь дрожал от волнения.

— Вот копирующе-вексельная книга, — проговорил Дмитрий Павлович, входя в помещение кассы.

— Благодарю вас. Но я навел уже справку по записям... Потрудитесь принять кассовую и мемориал. Я уже внес все к себе.

Он нерешительно взял шляпу и прибавил:

— Я, вероятно, опоздаю завтра, а могут случиться большие платежи.

— Так я велю дисконтировать их в банке, — сказал Сиротинин.



— Нет, лучше возьмите ключ.

— Это против правил, Иван Корнильевич, — заметил Дмитрий Павлович, — ключ от кассы может только оставаться у главы фирмы.

— С вами, Дмитрий Павлович, об этом не может быть и разговора. Мой отец верит вам безусловно. Возьмите ключ.

— Если вы так непременно хотите...

Сиротинин взял ключ, а Иван Корнильевич распрощался и уехал.

«Ну, этому до отца далеко, — грустно думал Дмитрий Павлович. — Тот никогда не сделал бы ничего подобного, хотя бы из принципа. Да и на меня падает теперь большая ответственность...»

Он запер кассу и вышел с веселым сознанием человека, который честно исполнил свои обязанности.

Мысли его обратились на приобретаемую дачку.

«Как мама обрадуется, узнав, что дачка наша... Вот глупое сердце, как оно прыгает от радости даже теперь... Мама, дорогая, славная мама... О чьей же мне радости заботиться, ес-

ли не о твоей...»

В то время, когда Дмитрий Павлович с ключом от кассы банкирской конторы в кармане и со светлыми мечтами в голове возвращался к себе домой на Гагаринскую, его мать сидела в простенькой гостиной своей маленькой квартирке с желанной гостьей, которую она упросила остаться пообедать «чем Бог послал».

Гостьей этой была Елизавета Петровна Дубянская.

Старушка Анна Александровна Сиротинина внимательно, изредка покачивая своей седой головой в черном чепце, слушала рассказ своей «любимицы», как она называла Дубянскую, о ее страшном двусмысленном положении в доме Селезневых между отцом и матерью, с одной стороны, и дочерью — с другой.

Все сочувствие старушки было на стороне дочери — Любовь Аркадьевны Селезневой.

Происходило это потому, что Анна Александровна, сама дочь богатых родителей, впоследствии разорившихся, вышла замуж вопреки их воли, увозом.

Ее саму хотели отдать замуж за пожилого,

богатого, но нелюбимого ею человека, и она вспомнила теперь все перенесенное тогда ее девическим сердцем и понимала теперь, что должна чувствовать молодая Селезнева.

— И такую молоденькую, да хорошенькую, — видела я ее тут раза два у Алфимовых, — хотят выдать за такую развалину, как граф Василий Сергеевич Вельский, — соболеющим тоном сказала Анна Александровна.

— Но Неелов хуже... Он игрок...

— И, милочка, женится — переменится.

— Игрок не может исправиться.

— Это вы говорите по предубеждению... Может, он был сам завлечен этим Алферовым.

— Послушайте, что о нем говорят в Петербурге.

— На чужой роток не накинешь платок... Про моего покойничка Павла Павловича тоже не весть что говорили. Однако прожила я с ним двадцать четыре года душа в душу... Царство ему небесное.

Старушка истово перекрестилась, и добрые глаза ее, переведенные на икону, заслезинились.

— Нет, нет, чуется мое сердце, что эта любовь на погибель.

— Как знать... А может, она любит и не его, а Долинского, за которого, вы говорите, желает выдать ее отец...

— Нет, за последнее время я убедилась, что Екатерина Николаевна ошибается... Люба не любит Долинского, она просто дружна с ним...

— А Неелов-то у вас бывает?

— Очень редко, на больших вечерах... И всегда держится в стороне от Любы... Это-то и подозрительно.

— Почему же?

— Значит, они видятся в другом месте... Я заметила несколько взглядов, которыми они обменялись... Они мне открыли глаза.

— Но ведь вы всегда с нею?

— То-то же, что не всегда... Часто она запирается от меня в своей комнате по целым часам...

— И вы думаете?

— Что ее нет в комнате... У нее есть верная сообщница, ее горничная, которая в эти дни обыкновенно лихорадочно настроена и рев-

ниво оберегает дверь в комнату своей барыш-ни.

— Однако это серьезно... И вам бы следовало все-таки поговорить об этом или с отцом, или с матерью... или даже с обоими.

— Я сначала сама думала об этом... Но ведь это только мое предположение... Как говорят, не имеет доказательств... А если она действительно желает быть одной... В каком положении могу очутиться я...

— И то правда.

— А теперь я зорко наблюдаю и все же думаю предупредить возможное несчастье, насколько это, конечно, в моих силах... В первый же день моего компаньонства во мне появилось страшное подозрение.

— А что?

— Люба, воспользовавшись тем, что я еще не переговорила с Екатериной Николаевной и не вступила в отправление своих обязанностей, ушла гулять в сопровождении своей горничной. Прогулка продолжалась часа два... Когда же она вернулась, на ней положительно не было лица.

— Что вы?

— Глаза были заплаканы... Она жаловалась на нездоровье... У меня тогда же мелькнуло подозрение, что она ходила на свидание, но с кем, тогда я еще не могла догадаться... Теперь же я уверена, что это с Нееловым... Но опять же эта моя уверенность основана на внутри меня сложившемся убеждении, а не на фактах...

— Да, милочка, трудно вам с этим справиться... За любящей девушкой усмотреть, ох, как трудно... Сама по себе знаю. Был тоже за мной не один глаз, однако, всех провела — убежала с милым...

Анна Александровна проговорила это с чувством какого-то особенного самодовольства.

— Ох, дети, дети, сколько они доставляют и забот, и хлопот... С девочками беда, да и с мальчиками не сладко... Вот я, благодарю Создателя, хоть и вырастила одного, троих Бог прибрал, не дал веку, и всем он хорош, и почитителен, и любящий, и честный, не пьяница, не мот, не развратник, а все сердце за него ноет и ноет.

— С чего же это? — спросила Елизавета

Петровна. — Дмитрий Павлович, кажется, примерный сын и очень хороший человек...

— Все это так, душечка, все это так, да ведь он мужчина, также из плоти и крови создан.

— Так что же? — удивленно посмотрела на нее Дубянская.

— Как, что же?.. Еще в Библии сказано: «Не хорошо быть человеку одному». Вон оно куда пошло...

— Что же, Дмитрий Павлович всегда может выбрать себе девушку по душе... Он человек честный, работающий, без места никогда не останется... Старик Алфимов, даже и тот в нем души не чает.

— Любит, любит он Митю... Назначил на место кассира, большое доверие оказывает... Да и оказать можно, чужого не возьмет...

— Еще бы...

— Это-то все-таки... А вот вы говорите выбрать себе девушку по душе... Где выбрать-то? Из кого?.. Девушки-то нынче пошли какие-то, и как назвать, не придумаешь... Ежели образованная, так в министры метит. Какая уж она жена? Если немножко лоску понабралась, шелк да бархат подавай, экипажи, развлече-

ния, а совсем уж необразованную, простую, как бы только для кухни, тоже взять зазорно... Словом с ней не перекинешься... Никому не покажешь ее... Вот тут и задача...

— Уж вы очень строги к нынешним девушкам, — заметила Елизавета Петровна.

— Не строга, а справедлива... Не все, конечно, таковы... Ну, да те, хорошие-то, единицами считаются... Есть у меня одна такая на примете, кабы привел Бог, ох, как счастлива была бы я за Митю.

Она любовно посмотрела на Дубянскую. Та потупилась и молчала.

— Ну, да что Бог даст, Его святая воля, — произнесла старуха. В то время в передней раздался звонок.

— А вот и Митя, сейчас и обедать будем...

Это действительно возвратился Дмитрий Павлович Сиротинин.

## XVI ДВА ОПРАВДАНИЯ

**В** то время, когда происходили последние описанные нами события, Николая Герасимовича уже не было в Петербурге. Он был препровожден из дома предварительного за-



ключения в Калугу и помещен в местном тюремном замке, в ожидании суда по обвинению его в поджоге дома в своем имении, селе Серединском, с целью получения страховой премии.

Дело в петербургском окружном суде по обвинению Николая Герасимовича в уничтожении векселя в четыре тысячи рублей, выданного им на имя Соколова и предъявленного ему Владимиром Григорьевичем Мардарьевым, окончилось полным оправданием Савина.

Свидетели, Михаил Дмитриевич Маслов и участковый пристав Санкт-Петербургской полиции Мардарьев, показали, что Николай Герасимович действительно заявил Владимиру Григорьевичу о безденежности его векселя, как одного из данных им господину Соколову для учета.

— Я не получил обратно ни векселя, ни валюты... — говорил Савин.

Справка, наведенная в канцелярии Санкт-Петербургского градоначальника, также подтвердила, что Николай Герасимович своевременно заявлял о безденежности выданных

им на имя Соколова векселей, с которыми последний скрылся.

Оказалось из справки, что по заявлению корнета Савина розыски Соколова производились, но безуспешно.

Товарищ прокурора, ввиду этих выяснившихся данных, отказался от обвинения.

Защитник Николая Герасимовича — помощник присяжного поверенного Долинский — сказал прочувствованную речь о тех мытарствах этапа и тюрьмы, которые претерпел Савин из-за того только, чтобы выслушать из уст представителя обвинения, что возводимого на него преступления не существует и не существовало.

Несмотря на отказ товарища прокурора, речь защитника не была оставлена без возражений.

Представитель обвинения обратился к присяжным с заявлением, что хотя укор защиты по разбираемому делу, быть может, и справедлив, но что подсудимый Савин арестован за границей не по одному разбираемому ныне делу.

— Над ним, господа присяжные, тяготеет

еще обвинение в поджоге дома в селе Серединском Калужской губернии с целью получения страховой премии, и каков бы ни был ваш вердикт и приговор суда, он для обвиняемого не будет иметь никакого значения. Если вы его обвините, на что вы имеете право, несмотря на мой отказ от обвинения, раз вы найдете его виновным по обстоятельствам дела, приговор над ним не вступит в законную силу ранее суда над ним в Калуге, если оправдаете — его не освободят из-под стражи ранее этого же суда.

— Я не хочу думать, — возразил на эту вторую речь представитель обвинительной власти защитник Долинский, — что господин прокурор своим последним заявлением хотел сказать вам, господа присяжные, что ваш вердикт не имеет никакого значения для защищаемого мною обвиняемого, а потому-де вы можете даже не задумываться над ним, так как подсудимый все равно будет обвинен в более тяжком преступлении. Это значило бы предрешать будущее тяготеющее над Савиным обвинение, которое может оказаться, да я и уверен, что окажется таким же фантасти-

ческим, как и настоящее. Действительно, моему клиенту, независимо от вашего оправдания, предстоят еще долгие месяцы тюрьмы и следование по этапу в Калугу, так пусть же ободряющей в его несчастном положении мелодией звучит ему справедливое о нем мнение судей совести, выраженное словами: «Нет, не виновен». Я жду от вас этих слов во имя высшей справедливости.

Товарищ председателя сказал краткое резюме, в котором, между прочим, разъяснял присяжным по поводу речей, которыми обменялись обвинение и защита, что дело Савина по обвинению его в поджоге не может и не должно иметь в их глазах никакого значения при постановлении вердикта по настоящему делу.

Присяжные заседатели после минутного совещания вынесли Савину оправдательный вердикт, встреченный взрывом рукоплесканий публики, битком набившей зал заседания.

Председательствующий сделал распоряжение об удалении публики из залы. Затем суд объявил отставного корнета Савина, в силу

решения присяжных заседателей, оправданным по суду, но в виду тяготеющего над ним другого обвинения не освобожденным из-под стражи.

Николая Герасимовича вновь увели в дом предварительного заключения, откуда через неделю отправили по этапу в Калугу.

Туда же уехал и Сергей Павлович Долинский, имя которого снова, благодаря делу Савина, обошло все газеты и сделалось популярным адвокатским именем в Петербурге. Обаяние этой известности придало ему немалый престиж и пред калужским окружным судом, с составом которого он познакомился недели за две до дня, назначенного для слушания дела Савина.

Николай Герасимович не скрыл в беседе со своим защитником трагическую судьбу его любовницы Настасьи Лукьяновны Червяковой, которую он уже безумную видел в саду, окружавшем сгоревший дом в Серединском, откуда она и убежала и лишь через неделю после пожара была найдена повесившеюся в соседнем лесу.

— Вы думаете, что она и подожгла дом?

— Я в этом уверен, так как только тогда, когда начался пожар, я вспомнил и понял смысл ее слов: «Такое пекло устрою».

Сергей Павлович принял к сведению рассказ своего клиента и, по приезде в Калугу и знакомстве с местной прокуратурой и магистратурой, отправился в село Серединское.

Там еще было живо в памяти время пожара господского дома и обнаружение затем самоубийства «барской барыни» Настасьи Лукьяновны.

Некоторые крестьяне прямо делали вывод из совпадения этих событий, что дом подожгла Настасья «из любви к барину».

— Очень тогда ее расстроил перед этим какой-то приезжий чумазый барин... — говорили некоторые из них, намекая на посещение Серединского покойным Строевым.

Сергей Павлович не без труда уговорил некоторых из отчетливо помнивших событие пожара крестьян ехать с ним в Калугу и выступить в суде в качестве свидетелей защиты.

Конечно, Долинский повез их в город на собственный счет и принял на себя, независимо от вознаграждения за потерю времени, их

содержание в Калуге.

Вернувшись в этот город, он подал в суд заявление о дозволении ему представить переименованных им в нем свидетелей и о при соединении к делу находящегося в архиве окружного суда дела о самоубийстве в припадке безумия крестьянской девицы Настасьи Лукьяновой Червяковой. Оба ходатайства были судом уважены.

Наконец наступил день суда.

Зал заседаний калужского окружного суда был переполнен избранной публикой, среди которой было много лиц, знавших Савина еще до получения им общеевропейской известности.

Суд занял свои места. Произведен был выбор присяжных и приступлено к чтению обвинительного акта.

«В ночь на 25 июля 1882 года, — гласил между прочим этот акт, — в селе Серединском, Боровского уезда, Калужской губернии, сторел деревянный, одноэтажный с антресолями дом местного землевладельца, состоящего в запасе кавалерии корнета Николая Герасимовича Савина. Дом в это время никем

занят не был. Пожар начался на чердаке, так как дом был заперт, и управляющий имением Савина, крестьянин Гамаюнов, высказал предположение, что пожар произошел от поджога, но подозрения ни на кого не заявил.

Время и место возникновения пожара удостоверено было при следствии несколькими свидетелями. Из них первые очевидцы пожара, крестьяне Щевелев и Бобылев, увидев, что у барского дома горит крыша, побежали на пожар и нашли дом запертым, а потому отбили замок у входных дверей в нижнем этаже; в антресолях огня еще не было. Когда же они открыли дверь, ведущую на чердак, то идти туда было уже нельзя.

Владелец сгоревшего дома корнет Савин, уехавший тотчас же после пожара, и живший до него в селе Серединском во флигеле несколько дней, о причине пожара не объяснил ничего.

Сгоревший дом, не считая находившегося в нем имущества, был застрахован в „Российском страховом от огня обществе“ за 20 000 рублей.

После этого следствием были обнаружены



обстоятельства, послужившие поводом к предположению, что поджог был произведен самим Савиным.

Прежде всего показалось подозрительным то, что Савин впервые застраховал 18 января 1882 года, то есть за полгода до пожара, в „Российском страховом обществе“, через посредство живущего в Туле агента общества статского советника Мерцалова, дом в 20 000 рублей, отдельно от него каменный флигель в 6000 рублей и смешанную людскую постройку в 4000 рублей. До того времени все эти постройки никогда не страховались, страховались из имущества господина Савина в селе Серединском только один трактир, но страховка его производилась в другом месте, а именно, у агента „Санкт-Петербургского и Русского страховых обществ“ Соколова, живущего в городе Боровке.

Допрос господ Мерцалова и Соколова по поводу страхования у них Савиным имущества выяснил некоторые противоречия в том, что говорил обвиняемый тому и другому агенту.

Все это, по мнению обвинительного акта,

составляло первую улику против Савина. Вторую уликою была оценка через сведущих людей застрахованных Савиным строений, оказавшихся по цене много ниже суммы страховки.

Относительно обстоятельств, предшествовавших пожару, из рассказа ключницы, солдатки Максимовой, и старшины Гамаюнова выяснено, что Савин приехал в Серединское вместе с землемером за несколько дней до пожара, не застав уже в нем его домоправительницу Настасью Червякову, ныне умершую, и остановился во флигеле. Сгоревший накануне отъезда барина дом был все время заперт кругом, и ключи находились у Прасковьи Максимовой. Савин ключа от дома у нее не брал и в дом не входил, и в него, по мнению некоторых свидетелей, можно было проникнуть через окна, выходящие в парк, так как некоторые из них запирались очень плохо, а одно, подъемное, не запиралось совсем. Окно это было невысоко от земли, и влезть через него в дом было очень легко. Все это облегчало возможность поджога; тем более, что были под руками горючие материалы. В 1880 или

1881 году в сгоревшем доме был уничтожен мезонин и прежняя крыша была заново перекрыта дранью. После этой работы на чердаке оставалось много разного хлама, там же был и старый гонт с крыши».

По прочтении обвинительного акта Николаю Герасимовичу был задан вопрос, признает ли он себя виновным, что с целью получения страховой премии поджог собственно ему принадлежащий дом в селе Серединском, на что Савин отвечал отрицательно.

Вызванные обвинением свидетели подтвердили в общих чертах выводы обвинительного акта.

Интерес сосредоточился на свидетелях защиты, перед которыми обвиняемый дал странное объяснение о встрече в саду в Серединском с Настей, исчезнувшей из дома за несколько дней до пожара и, видимо, впавшей в безумие.

— Сгоревший дом и имущество стоили вдвое, чем то, что я получил из страхового общества, но я считал и считаю это для себя возмездием за то, что я погубил привязавшуюся ко мне молодую женщину, от которой отделя-

ла меня неравность общественного положения и воспитания. Настоящий суд надо мной тяжел мне, но не как суд, могущий лишить меня доброго имени и признать поджигателем — я глубоко убежден, что на это не поднимется рука судей совести — а как воспоминание о покойной, так трагически покончившей с собою.

Свидетели защиты подтвердили рассказ обвиняемого об исчезновении Насти и то, что она была последнее время «не в себе», и выразили убеждение, что пожар дома села Серединского был делом ее безумных рук.

Прокурор произнес сдержанную речь, прося присяжных заседателей не увлекаться вдруг впервые обнаружившейся и явно подготовленной защитой романтической подкладки этого, в сущности, весьма обыденного и прозаического дела. Защитник Савина Долинский построил между тем на этой самой романтической подкладке блестящую речь, произведшую впечатление не только на присяжных заседателей и на публику, но и на суд.

Николай Герасимович Савин вышел из суда оправданным и свободным.

## XVII ЗЛОЙ ДУХ

Был прекрасный июльский день.

На террасе роскошной дачи графа Петра Васильевича Вельского сидела Ольга Николаевна Хлебникова с книжкой в руках, задумчиво склоня на перила свою прекрасную голову.

— Как счастлива была бы я на ее месте! — прошептала она с глубоким вздохом.

Мечты ее были прерваны появлением графа Стоцкого.

— Здравствуйте... Неужели я приехал слишком рано, чтобы поздравить новорожденную?

— Конечно, здесь день начинается только часа в два...

— А вы привыкли вставать рано и в это время, разумеется, скучаете?

— Нет, я в это время читаю. Граф так любезен, что сам выбирает для меня книги.

— А что вы читаете теперь? Можно полюбопытствовать?

— Это английский переводной роман, в котором рассказывается история одной женщи-

ны, которая не любила своего мужа и довела его до того, что он привязался к другой и женился на ней, а сама она вышла замуж за другого.

— Молодец, граф... Назидательно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вещь очень простая, которую вы и сами знаете очень хорошо... Графиня не любит мужа — он не такой дурак, чтобы этого не видеть, и кончится тем, что полюбит вас.

— Перестаньте, Сигизмунд Владиславович! Ни любить, ни полюбить он меня не может — он любит графиню. Но добр он ко мне беспредельно. Вчера, например, он подарил мне целый парюр из драгоценных камней и сказал, что я должна принять его уже потому, что ему было бы больно, если бы лучшая подруга его жены была одета хуже ее. И при этом он так был взволнован! Какая нежность, какая чуткость ко всему, что хотя мало-мальски касается графини.

— Да, это правда — он к ней в высшей степени внимателен, бедняга! Хотя история с парюром мне кажется подозрительной... Вы святая простота... Но она! Скажите, чем объяс-

нить ее холодность? Влюблена она что ли в кого-нибудь?

— Как вам не стыдно! Клянусь вам, что графиня одна из тех женщин, которые способны ради исполнения долга вырвать самое глубокое чувство из своего сердца.

— Вы прелестная идеалистка, Ольга Ивановна, — заметил насмешливо граф Стоцкий. — Вы говорите об этом подвиге графини, как о факте, уже свершившемся.

— Я вас не понимаю!

— К чему вы притворяетесь? Ведь вы очень хорошо знаете, как состоялся этот брак... Корнилий Потапович настоял на нем, хотя и знал, что его дочь глубоко любила другого. И даже отправил этого другого в почетную ссылку. Говорят, он скоро вернется.

— Что же из этого? Если бы это и было так, хотя я не знаю этого... Но я убеждена, что если бы что и было до брака, то после него графиня останется до гроба верна своему мужу...

— Bravo, прелестный адвокат... Но как же это вы, закадычная подруга графини, не знаете имени ее избранника?..

— Повторяю вам, не знаю.

— Так уж я вам скажу его. Это доктор Неволин.

— Он просто друг детства.

— Ох уж эти друзья детства! — усмехнулся Сигизмунд Владиславович своей змеящейся улыбкой.

В эту минуту на террасу вошел граф Петр Васильевич.

— Как здоровье Нади? — спросил он у Ольги Ивановны, дружески поздоровавшись с графом Стоцким. — Хотелось бы, чтобы она хоть сегодня была повеселее, но, кажется, мои доброжелатели так восстановили ее против меня, что этому не бывать.

— О, граф! Не виноваты же люди, что про вас ходили такие странные слухи... Но ведь теперь никто ничего дурного не думает.

— Да, да, будем надеяться на лучшее, — перебил граф Вельский. — Однако неужели до сих пор Надя не встала?

— Я пойду потороплю ее... Да и я еще ее не поздравила.

С этими словами Ольга Ивановна ушла с террасы.

— Прелестное существо, — сказал граф



Петр Васильевич.

— Ты находишь? — язвительно спросил граф Стоцкий.

— И что за безграничная преданность нам с женой, — продолжал он, не обратив внимания на это замечание. — Она положительно заставила меня додуматься до того, что Надя пожертвовала для меня всем и что ради этого я обязан от многого отречься.

— Что же?.. Если не боишься сделаться всеобщим посмешищем — за чем же дело стало? Ступай хоть в монахи. Но главное в том, есть ли достаточная причина на это решаться?

— Говори яснее.

— Ну, братец, такие вещи легко не говорят.

— А я тебе повторяю, во имя нашей дружбы, говори!..

— Помни, что ты сам этого потребовал! Видишь ли... женщины не то, что мы, — это организации нервные, утонченные, способные питать чувство одним воображением и все-таки сохранять это чувство целые годы. Графиня тебя не любит, да едва ли когда-нибудь и привяжется к тебе, потому что она прежде любила...

— Я убью этого проклятого... — проскреже-  
тал граф, бледнея.

— Ты не так меня понял! — проговорил  
граф Стоцкий, сам испугавшись последствий  
своих слов. — Я не говорю, что графиня любит  
и теперь... Я только хотел тебе посоветовать  
не становиться в глазах света смешным, пока  
ты не убедишься, что...

Он не договорил, так как на террасу снова  
вышла Ольга Ивановна.

— Графиня сейчас выходит в столовую, —  
сказала она Петру Васильевичу.

Тот, мрачно сверкая глазами, порывисто  
пошел в дом.

Тяжелые, резкие шаги его затихли только  
на ковре гостиной, к которой примыкала сто-  
ловая.

В столовой было пусто.

Он прошел далее несколько комнат и неза-  
метно очутился у будуара графини.

Подойдя к нему, он вдруг остановился.

До его слуха долетел какой-то странный,  
порывистый шепот. Шепот этот раздавался из  
будуара, отделенного от приемной графини,  
в которой он находился, только спущенной

портьерой. Он прислушался.

— Дорогая моя... Незабвенная! — с глубоким чувством говорила графиня. — Бог свидетель, как тяжела моя судьба, но среди величайшего горя я останусь верна клятве, которую дала тебе, как и клятве, данной мною перед алтарем... Мне стоит посмотреть на твои дорогие черты, и в душе моей возрождаются новые силы.

Граф не разобрал, говорила ли его жена «дорогая», «незабвенная» или же «дорогой», «незабвенный», то есть относились ли эти эпитеты к мужчине или к женщине.

Он не выдержал.

Осторожно отмахнув портьеру, он прошел в будуар.

Графиня Надежда Корнильевна стояла спиной к нему на коленях перед киотом с образами, и держала в руке чей-то портрет.

Граф Петр Васильевич также беззвучно подкрался к ней по толстому ковру и быстро перегнувшись через ее плечо, увидел, что это был миниатюрный портрет ее матери.

— Да! Только бы, Ты поддержал меня, Господь мой! — продолжала графиня, не замечая

мужа. — Только бы Ты просветил его разум и открыл ему, как сам он глубоко несчастлив в своем ослеплении. А я... я, забывая себя, стану исполнять долг свой и дам ему все то счастье, какое может дать страстно любящая жена.

— Аминь! — проговорил граф.

Быстро обернувшись и вскочив с колен, графиня увидела, что на глазах ее мужа блеснули слезы.

— Ты... Здесь... И именно в эту минуту! — проговорила она растерянно.

— За все сокровища мира не отдал бы я этой минуты! — воскликнул он. — Она не изгладится из души моей во всю мою жизнь. Прости, прости меня, Надя! Клянусь тебе!..

— Полно, Петя, не клянись! Возблагодарим Бога и за то, что ок просветил тебя... Что ты сознал свои заблуждения... Лучшего счастья я не могла бы для себя сегодня пожелать!

— Хорошо... Клясться я не стану... Но вот медальон... Он имеет форму сердца... Он открывается... Пусть он будет символом, что мое сердце всецело принадлежит тебе и всегда будет для тебя открыто... Верь мне, что из любви к тебе я готов на все лучшее, и что

каждый раз, когда меня станет соблазнять что-либо дурное, мысль об этой минуте и об этом медальоне-символе и надежда хоть когда-нибудь добиться твоей любви станет поддерживать меня.

С этими словами он надел ей на шею медальон на золотой цепочке в виде сердца, осыпанного бриллиантами.

Надежда Корнильевна взяла обеими руками его голову и поцеловала его в лоб.

На лице графа Вельского отразилось испытываемое им блаженство от столь редкой искренней ласки его жены.

— Зачем он так поспешил? — сказала между тем как бы про себя Ольга Ивановна. — Графиня, может быть, еще не вышла в столовую.

— Как же не спешить влюбленному мужу к холодной, как мрамор, жене, — с явною насмешкою сказал граф Стоцкий, держа в руке сорванный им цветок.

— Поверьте, граф, что все уладится между нами, и в конце концов они будут любить друг друга и жить счастливо. Я, по крайней мере, приложу все силы мои для этого и упо-

треблю все свое влияние на Надю.

— Ну, тогда, конечно, счастье их обеспечено, — снова ядовито усмехнулся Сигизмунд Владиславович.

В это время на террасу из сада вошел приехавший из города Корнилий Потапович Алфимов.

Он подозрительным, ревнивым взглядом окинул беседующую парочку.

— Где же Надя? — сказал он, здороваясь со Стоцким и Хлебниковой.

— Она с мужем в столовой... Я сейчас скажу им, что вы приехали.

Ольга Ивановна ушла в комнаты.

Корнилий Потапович и Сигизмунд Владиславович остались одни.

— Однако вы сильно, как я вижу, приударяете за Ольгой Ивановной, — сказал старик, ударяя по плечу графа.

— Я? — воззрился на него тот недоумевающим взглядом.

— Ну, конечно, вы... О чем вы тут с ней ворковали?

— Ошибаетесь, Корнилий Потапович, этот кусочек не для меня... Его, кажется, готовит

себе ваш зятек...

— Что! Граф Петр?..

— Да, кажется, надо же ему утешиться от все возрастающей холодности его жены...

— Ну, этому не бывать, — сверкнул Алфимов глазами из-под очков.

— Вы что же хотите, чтобы он жил аскетом и был бы верен недоступной богине — своей жене? Ведь он моложе вас... У него кипит кровь и бьется сердце.

— Кто сказал вам, что у меня не кипит она?

— Все же не так.

— Как знать... Эта девушка производит на меня одуряющее впечатление... Вам я признаюсь, так как хочу просить вашего содействия, если только вы сами...

— Будьте покойны насчет этого... Она не в моем вкусе... Слишком серьезна и идеальна...

— Вы часто бываете здесь, подготовьте ее исподволь к моему объяснению... Я хочу предложить ей руку и сердце.

— Вы?

— Да, я... Чему же вы удивляетесь?

— Я подумал, как вы, считающийся финан-

совым гением, способны на такую невыгодную сделку...

— Что вы этим хотите сказать?

— Да то, что вы сразу набиваете цену на товар, который можно приобрести дешевле... Граф Вельский оказывается практичнее вас. Он начал с дешевенького, но блестящего парюра...

— Но она честная девушка, да и отец ее...

— И вы верите, при вашем знании жизни, в добродетель современных девушек и неподкупность нынешних отцов? Хлебников, ваш управляющий, и должен молчать, если не захочет потерять место... Вы возьмите ее в дом под видом присмотра за хозяйством. Вот и все.

— Конечно, — после некоторого раздумья сказал Корнилий Потапович, — так было бы удобнее, но...

— Какое там «но».

— Я думаю, что она на это не пойдет...

— Предоставьте это мне и Матильде Францовне.

— Матильде?

— Да, не бойтесь... Ревность не входит в



число ее многих пороков, которые в ней кажутся добродетелями. При моем содействии, она, как женщина, уладит все по вашему желанию.

Развитию подробностей этого гнусного плана помешали вышедшие на террасу граф и графиня Вельские и Ольга Ивановна. Муж и жена оба весело улыбались.

— Однако у них, кажется, на самом деле начинается «совет да любовь», — злобно проворчал граф Сигизмунд Владиславович.

## XVIII

### ТЮРЬМА ИЛИ ГНЕЗДЫШКО?

Командировка Федора Осиповича Неволина закончилась как раз в то время, когда он был, по мнению Корнилия Потаповича, совершенно безопасен для счастья его дочери.

Надежда Корнильевна Алфимова уже несколько месяцев как была графиней Вельской.

Положим, вскоре после свадьбы старик Алфимов начал сильно сомневаться в личном счастье Нади, так как ее постоянное печальное настроение указывало на внутренние страдания, переносимые молодой женщиной.

В душе Корнилия Потаповича сперва было зашевелилось даже нечто, вроде угрызения совести, но так как он, как мы знаем, не принадлежал к числу людей, способных предаваться «безделью», к которому причислял и сожаление о совершенном и случившемся, то скоро и нашел утешение в русской поговорке: «Стерпится — слюбится».

Возникшая в его старческом уме, или лучше сказать, в его старческой крови страсть к Ольге Ивановне еще более отодвинула на задний план мысли о Наде.

«Графиня богата, любима мужем, предупреждающим все ее малейшие желания... Какого ей еще рожна нужно?» — рассудил он и успокоился.

Расположение к человеку, с его точки зрения, порождалось услугами, которые этот человек делает другому, к нему расположенному. Любовь — эгоистическое чувство необходимости для одного в другой, или для одной в другом, в том или другом, но непременно материальном смысле.

Иного чувства Корнилий Потапович не понимал и называл его «блажью».

Таковой «блажью» считал он и чувство его дочери к «докторишке», как называл он Неволина.

Но вернемся к Федору Осиповичу Неволину.

Его командировка, повторяем, кончилась.

Она продолжалась, однако, более десяти месяцев, во время которых он еженедельно давал медицинский отчет «петербургской знаменитости» и получал изредка краткие извещения, состоявшие почти сплошь в одобрении принятого метода лечения.

Больная, однако, умерла в Баден-Бадене.

Об этом исходе правильного метода лечения Федор Осипович не замедлил сообщить «светилу медицинского мира», с указанием последних употребленных им средств.

Ответа на это письмо он ждал с большим трепетом, боясь указания на существенные сделанные им промахи.

Но ответ пришел успокоительный для него как для врача.

«Светило медицинского мира» писал, что смертельный исход болезни произошел по всем правилам врачебной науки и при совер-

шенно рациональном методе лечения.

Репутация Неволина как врача в глазах «знаменитости» была сохранена.

Федор Осипович мог отдаться всецело своему личному горю, или лучше сказать, предчувствию этого горя и начал спешно готовиться к отъезду на родину.

К чести Федора Осиповича надо сказать, что обязанности врача он понимал очень высоко и не допускал, имея на руках больного, отвлекаться лично посторонними делами, хотя бы эти дела составляли для него вопрос жизни и смерти.

Так было и в данном случае.

Имея на руках порученную ему больную, он все свои мысли направил к всевозможному разъяснению по данным его науки ее болезни и столь же возможному если не излечению, то облегчению ее страданий, забывая носимую им в сердце страшную рану.

Этой раной было непонятное для него молчание Надежды Корнильевны Алфимовой.

Он написал уже несколько писем на имя ее горничной, но сам не получил ни одного.

«Ужели она забыла меня? С глаз долой —

из сердца вон», — иногда только мелькало в его голове.

Он гнал от себя эту мысль, но воображение рисовало ему тогда нечто еще более ужасное.

Федор Осипович знал о предполагаемом сватовстве со стороны графа Вельского и о настойчивом желании этого брака стариком Алфимовым, знал он также и о клятве, данной Надеждой Корнильевной у постели умирающей матери — повиноваться во всем отцу.

«Ужели ее выдали замуж против ее воли?»

Эта мысль холодила ему мозг.

Он не мог себе представить, что Корнилий Потапович, так ласково, чисто по-родственному обошедшийся с ним при расставании, мог воспользоваться этой клятвой своей дочери, чтобы принудить ее согласиться на брак, который ей в будущем не сулит ничего, кроме несчастья.

«Может быть, она больна... умерла...» — терялся он в догадках.

Всецело, повторяем, овладели им эти мысли после смерти порученной ему больной, во время сборов в Петербург.

Ранее с берегов Невы до него не долетало

никакой весточки.

Только что переведенный в Петербург, он не успел завести близких знакомств, не успел сойтись на короткую ногу с товарищами.

К кому же он мог обратиться за щекотливыми сведениями о любимой девушке?

Наконец поезд помчал его в Россию.

В первый же день приезда в Петербург — на дворе стояли первые числа августа — он поехал на Сергиевскую.

С трепетно бьющимся сердцем подъезжал он к подъезду дома Алфимова.

Прежний бравый швейцар распахнул перед ним дверь.

— Дома?..

— Никак нет-с... на даче-с.

— Где?..

— На Каменном острове.

— Все здоровы?

— Все, слава Богу.

— И Надежда Корнильевна?.. — чувствуя, как сжимается у него горло, спросил Неволин.

— Ее сиятельство тоже изволят быть здоровы.

Этот титул сказал ему все.

— Ее сиятельство изволят быть здоровы... — машинально повторил он.

— Точно так-с... — невозмутимо ответил швейцар. — Что с вами, барин, вам худо?.. — вдруг добавил он, видя, что Федор Осипович, бледный как смерть, прислонился к притолке двери.

— Ничего, это так... со мной бывает... головокружение... Дай-ка мне стакан воды.

Швейцар бросился за водой.

Федор Осипович собрал всю силу своей воли, и когда вестник его горя возвратился, неся на подносе стакан с водой, он уже пришел в себя и, выпив залпом стакан, сказал:

— Благодарствуй. Так я к ним на дачу понаведаюсь.

— Там у них свои дачи поблизости... У Корнилия Потаповича и у их сиятельств... — пустился в объяснения швейцар.

Но Неволин не слышал его.

Сунув в руку швейцара какую-то мелочь, он вышел из подъезда и, бросившись в пролетку ожидавшего его извозчика, крикнул:

— Пошел!

Без думы, в каком-то оцепенении ехал он

по улицам Петербурга, сам не зная куда.

Сообразительный извозчик, которого Федор Осипович взял от подъезда меблированных комнат на Екатерининской улице, где он временно остановился, привез его обратно к тому же подъезду.

При остановке экипажа Неволин вышел из своего столбняка, бросил извозчику рублевую бумажку, вошел в подъезд, поднялся во второй этаж и, только очнувшись в своем номере, бросился ничком на постель и зарыдал.

Слезы облегчили его.

Он посмотрел на часы.

Был четвертый час в начале.

Он решился заехать в контору Корнилия Потаповича в надежде, что старик сам пригласит его к себе на дачу, и, быть может, сведет и к дочери.

С графом Федор Осипович был почти не знаком, если не считать нескольких случайных и коротких встреч.

Сказано — сделано.

Неволин снова одел пальто, взял шляпу и поехал на Невский проспект.

Корнилий Потапович оказался в конторе.



В его кабинете Неволин застал и графа Вельского.

«Счастливым случаем!» — мелькнуло в его голове.

Вскоре он, однако, разочаровался.

Старик Алфимов принял его очень любезно, расспрашивал обстоятельно о его заграничной поездке, но не обмолвился приглашением.

Граф Петр Васильевич Вельский при возобновлении знакомства с Федором Осиповичем обошелся с ним так холодно-вежливо, что о визите к нему не могло появиться и мысли.

— Графиня теперь никого не принимает... — бросил он между прочим в разговоре, сильно подчеркнув эти слова.

Неволин понял и вскоре, простившись, вышел из конторы Алфимова.

Надежда увидеть графиню Вельскую открыто и честно рушилась.

Приходилось прибегнуть к свиданию исподтишка.

Страстное желание видеть молодую любимую им женщину все более и более охватыва-

ло Федора Осиповича.

Он воспользовался возможностью отдыха после путешествия и не вступал в исполнение своих обязанностей ординатора больницы.

В продолжение нескольких дней просидел он безвыходно в своем маленьком номере.

Голова его положительно шла кругом.

В то, что сама Надежда Корнильевна польстилась на графский титул и на возможность играть роль в высшем петербургском свете или же даже что она разлюбила его и полюбила другого, он не верил.

Он был глубоко убежден, что брак ее с графом Вельским был насильственный.

Это убеждение подтвердилось и приемом, оказанным ему в конторе Алфимова Корнилием Потаповичем и графом Петром Васильевичем.

Он ничего не сделал им дурного, и они оба не могли иметь против него ничего, кроме того, что его любила когда-то жена последнего.

Если бы только любила и променяла добровольно, то граф Вельский, торжествующий победу, не был бы так холоден к своему быв-

шему несчастному сопернику.

Отсюда ясен был вывод, что графиня любит его до сих пор и граф Петр Васильевич знает это.

Прийдя к этой мысли, он вышел из своего добровольного заточения и отправился на Каменный остров.

Без труда нашел он роскошную дачу графа Вельского, находившуюся в одном из лучших и тенистых летних уголков Петербурга, пользующихся за последнее время обидным пренебрежением.

Он прошелся несколько раз мимо дачи, пошел далее, погулял и снова вернулся.

Самый вид жилища горячо любимого им существа, казалось, вносил, с одной стороны, успокоение в его измученное сердце, а, с другой, между тем поднимал в нем целую бурю.

Ощущения эти менялись мучительно одно за другим.

Ощущение близости в несколько шагов от женщины, которая так же, как и он страдает в разлуке с ним и жаждет свиданья — за последнее время это убеждение всецело укрепилось в уме Неволина — давало ему нечто вро-

де нравственного удовлетворения.

Дух сомнения между тем нашептывал ему другое.

«Тюрьма или гнездышко?» — восставал в его уме мучительный вопрос при виде дачи, где жила с мужем графиня Вельская.

Дача была поистине великолепна. Изящная постройка, расположенная среди окружающего тенистого сада с массой душистых цветов и мраморными фигурами в клумбах, фонтаном, бившим легкой и обильной струей и освежавшим воздух, — все, казалось, было устроено для возможного земного счастья двух любящих сердец.

«Гнездышко!» — мучительно откликалось в душе Федора Осиповича.

А между тем в этом месте, казалось, самой природой созданном для бьющей ключом жизни, — было пусто и мертво.

В течение нескольких часов, которые Неволин провел около дачи и поблизости, она показалась ему прямо необитаемой.

«Да здесь ли она?» — мелькнуло в его уме.

В это время в воротах появилось живое существо — это был дворник, одетый в новую

красную кумачовую рубашку, плисовые шаровары, сапоги со сборами и черном новом картузе.

Он меланхолически остановился у ворот, куря свою носогрейку.

Неволин перешел на ту сторону и, проходя мимо него, небрежно бросил:

— Это дача графа Вельского?

— Так точно.

— Петра Васильевича?

— Так точно.

— Не живут?

— Никак нет-с, живут-с, — отвечал дворник. — Только граф более все по делам в Петербурге, а их сиятельство графиня ведут жизнь уединенную.

Федору Осиповичу показалось, что в нотах даже грубого голоса дворника он уловил сочувствие и сожаление к сиятельной затворнице.

«Тюрьма!» — пронеслось в его голове.

И странно, на этом последнем выводе он остановился с большим внутренним удовлетворением.

Так скверно устроен человек, что, страдая

сам, он находит себе утешение в страданиях ближнего.

Стало уже совершенно смеркаться, когда Неволин уехал с Каменного острова.

## XIX СВИДАНИЕ

Ежедневно стал совершать свои мучительные прогулки на Каменный остров Федор Осипович Неволин.

Какая-то непреодолимая сила тянула его туда. Им руководило, кроме того, предчувствие, что случай поможет ему увидеть графиню Надежду Корнильевну Вельскую. Это предчувствие не обмануло его.

На пятый или на шестой день своего странствования около дачи Вельского он, как раз в то время, когда проходил мимо ворот, столкнулся лицом к лицу с выбежавшей из ворот девушкой, на голове которой был накинут шелковый платок.

Он сразу узнал Наташу, горничную Надежды Корнильевны, на имя которой он писал из-за границы несколько писем, не получив на них ни строчки ответа.

— Наташа! — окликнул он девушку, бро-

сившуюся было от него в сторону.

Та остановилась в недоумении, но взглядев-шись в Неволина, только ахнула.

— Федор Осипович, вы ли это?

— Я, или не узнала?

— Да и как узнать-то, похудели вы очень, побледнели, больны верно?

— Нет, ничего, здоров.

— Какое ничего, вот теперь в вас вглядыва-юсь... Краше в гроб кладут.

— Что делать... Ты куда?

Девушка смутилась.

— Да так, пробежаться вздумалось... Ее си-тельство отпустили.

— Мне бы с тобой поговорить надо... — че-рез силу, сунув в руку Наташи первую попав-шуюся в кармане кредитку, сказал Неволин.

— За что жалуете... Я и так всегда гото-ва... — сконфузилась молодая девушка, но бу-мажку сунула в карман.

Наташа была скорее подругой, нежели гор-ничной Надежды Корнильевны. Крестьянка села Отрадного, первая ученица тамошней сельской школы, она по выходе Алфимовой из института была взята в Москву и определе-

на в услужение барышне, а затем с нею же переехала в Петербург.

Не рассталась с ней Надежда Корнильевна и сделавшись графиней.

Обе столицы быстро оказали свое действие на молоденькую деревенскую девушку, она приобрела тот внешний лоск и даже интеллигентность, которые отличают тип столичных горничных, прозванных некоторыми остряками «театральными».

— Да ты, может, куда спешишь? — спросил Федор Осипович.

— Нет, барин, ничего, не к спеху, подождет, не впервой и понапрасну дожидаться... — лукаво усмехнулась она.

— Куда же нам пойти?.. — после некоторой паузы начал он.

— Да пожалуйста к нам в сад, в беседку.

— Неудобно.

— Чего неудобно... В доме ни души... Графиня у себя в будуаре читает. Графа дома нет-с, пожалуй, не ранее, как под утро явится... Барышня Ольга Ивановна тоже в городе... Дом-то почитай, как мертвый.

— Что так?



Наташа только рукой махнула.

— Эх, и среди золота не сладко живется, Федор Осипович!

Сердце Неволина похолодело от этих слов.

Он встал, вышел с Наташей во двор жилища графини, прошел в сад и вскоре очутился в закрытой беседке-павильоне.

Беседка выглядела положительно бомбоньерочкой.

С полом, обитым мягким ковром, с легкою гнутою мебелью и круглым столом, вся убранная цветами, она была положительно самым подходящим уголком для влюбленных.

«Гнездышко!..» — снова было мелькнуло в голове Неволина, но только что сказанная Наташей фраза успокоила вспыхнувшее было в нем ревнивое чувство.

«Тюрьма!..» — с каким-то радостным озлоблением подумал он.

— Вот что, Наташа... — начал он дрожащим голосом... — У меня до тебя будет просьба.

— Что прикажете?

— Устрой, чтобы я мог увидаться с Надеждой.

дой Корнильевой.

— Да разве вы приехать к нам не можете?

Неволин объяснил ей, что видел графа Петра Васильевича и что он с ним встретился так холодно, что о визите в его дом не может быть и речи, а про жену свою сказал, что она никого не принимает.

— Это правильно... Ее сиятельство совсем затворилась... Точно в келье... На будущей неделе Корнилий Потапович праздник у себя на даче устраивает, так и на него она, как граф ее ни уговаривал, ехать не хочет... Не знаю, на чем и порешат.

— Так видишь ли... А видеть мне ее хоть один раз, быть может, последний раз, а нужно.

— Понимаю, батюшка барин, понимаю, любовь-то не железо, не ржавеет, да и графинюшка моя, узнав, что вы вернулись, как обрадуется!

— Да разве она не знает?

— Ничегошеньки им об этом не говорили... Кабы знали они, и я бы знала... — с некоторой гордостью сказала Наташа. — Да и не скажут. Не любит вас молодой граф-то, просто

ненавидит, можно сказать, да и натравливает его на вас тут другой, черномазый.

— Кто такой?

— Граф Стоцкий.

— А, видел, знаю... Но что же я ему сделал?

— Уж этого доложить доподлинно не могу, а только раз слышала я ненароком разговор их о том, что графиня-то по-прежнему вас любит, а потому с ним, то есть с графом Петром Васильевичем, так холодна.

— А холодна разве?

— Как чужие... На последях тут несколько понежней стали... Да и то не так, как муж с женой.

Как ни отрадно было слышать это Федору Осиповичу, но он почувствовал какую-то брезгливость узнавать от прислуги семейные тайны любимой им женщины и перебил молодую девушку.

— Так устроишь, а завтра я в это же время за ответом приду, против дачи буду.

— Можно бы, кажись, устроить... Да не знаю, как ее сиятельство... Я, однако, не думаю, чтобы отказали принять вас... Граф же по вечерам дома не бывает, а Ольга Ивановна

к сродственникам поехали и только в конце недели будут.

— Так пожалуйста... До завтра.

С этими словами он вышел из беседки, а затем из сада и со двора и направился к себе домой, полный надежды на завтрашний день.

В тот же вечер Наташа, раздевая графиню, несколько таинственно сказала ей:

— А я сегодня у дачи встретила старого знакомого.

— Кого это?

— Федора Осиповича Неволина.

Надежда Корнильевна сначала побледнела, а потом вся вспыхнула.

— Ты говорила с ним? — после некоторой паузы, прерывающимся от волнения голосом, сказала она.

— Как же, они меня остановили и долго говорили со мной.

— Давно он приехал?

Наташа передала ей рассказ Неволина о посещении им петербургского дома и конторы Корнилия Потаповича и встречу в ней с графом Петром Васильевичем.

— А-а!.. — протянула как-то неопределенно графиня.

— Исхудал он, бедняга, страсть, — продолжала Наташа, — бледный такой, еле на ногах держится, просто краше в гроб кладут.

— Что ты!

— Христом Богом просили позволения увидеть вас... Говорили, что это, может быть, в последний раз в жизни. Ах, ваше сиятельство, сжальтесь над ним!.. Глядя на него, просто плакать хочется.

— Перестань, Наташа! — вскричала графиня, едва преодолевая усиленное биение своего бедного, исстрадавшегося сердца. — Ты сама не понимаешь, что говоришь... Если граф увидит его здесь — он убьет его на месте.

— Где ж граф увидит? Его каждый вечер дома нет... Вы можете принять его в беседке.

— А если он его встретит или узнает, он убьет его.

— Убьет или не убьет, это еще, ваше сиятельство, неизвестно, а с горя он умереть может. Он завтра в семь часов будет ждать ответа.

— Уйди, я хочу спать! — резко, против сво-

его обыкновения, сказала графиня.

Наташа удалилась с лукавой улыбкой.

«Заснешь ты, как бы не так... — думала она. — На свиданье-то завтра ты пойдешь».

Наташа не ошиблась.

Надежда Корнильевна не спала всю ночь и решила видетъся последний раз с Неволиным, чтобы покончить с ним навсегда.

С таким решением она заснула лишь под утро.

На другой день до самого обеда она то снова отбрасывала мысль о свидании, то решалась на него. После обеда граф Петр Васильевич по обыкновению уехал из дому.

«Сама судьба за него...» — решила Надежда Корнильевна.

Без пяти минут семь графиня, ни словом не напомнившая Наташе о вчерашнем разговоре, прошла в сад и направилась твердой походкой решившегося человека к беседке.

Следившая за ней целый день Наташа последовала туда же.

— Прикажете просить, ваше сиятельство? — спросила она, когда графиня вошла в беседку.

— Да, проси... — опустив глаза, отвечала Надежда Корнильевна и села на диванчик.

— Слушаю-с! — быстро сказала молодая девушка и выбежала из беседки.

— Наташа, Наташа! — крикнула вдруг графиня, на которую снова напала нерешительность.

Но Наташа не слыхала, она была уже на другой стороне аллеи. Через несколько минут Неволин вошел в беседку.

— Федор Осипович... Вы здесь! — вскочила с места Надежда Корнильевна, протягивая к нему обе руки, но тотчас же сдержалась.

«О, что будет, если узнает об этом мой муж!»

— Надежда Корнильевна, — начал он, — об этой минуте я мечтал в течение многих бессонных ночей. В ваших руках моя жизнь и смерть. Я знаю, что вы замужем, но вас выдали насильно. А теперь молю вас, ответьте мне на один вопрос, от которого зависит моя судьба. Любите ли вы своего мужа? Скажете вы «да», я клянусь вам — мы никогда больше не увидимся! Но если вы скажете «нет» — о, тогда я вправе носить ваш образ в моем сердце

как святыню и сделаю ради него все на свете.

— Я не могу ответить вам, — сказала графиня, едва сдерживая рыдания. — Я обязана забыть все, что было мне когда-то дорого, и о том же умоляю вас, сжальтесь — не делайте моего положения еще тяжелее.

— Но разве я не могу быть вашим другом? Разве вы в друге не нуждаетесь?

— Я молю Бога, чтобы он исцелил душу моего мужа и тогда мы станем друзьями.

— А, так значит до сих пор этого не было! Ну, так на правах старого друга я спрашиваю вас: любите ли вы его?

— Как вы меня терзаете! Но я знаю ваше благородное сердце и отвечу прямо: нет, не люблю!

Он страстно схватил ее за руку.

— Взгляните мне в глаза, и в них скажется вся чистота моего чувства к вам. Будет время, когда вы будете сильно нуждаться в бескорыстно преданном друге, и таким другом буду для вас я. Но как эта дружба, так и ваше признание дают мне право еще на один вопрос, любите ли вы меня? Не пугайтесь только нарушения ваших обязанностей. Я вижу,



вы не совсем понимаете их. Вы поклялись быть верной женой графа Вельского, задуть в своем сердце лучшее из чувств, из которого родится все благороднейшее и прекраснейшее на земле. Это значило бы изгнать из души своей искру Божию, без которой не имеет смысла никакая жизнь!

— Не мучьте меня... — произнесла графиня. — Удовольствуйтесь тем, что знаете, что я любила вас всеми силами своей души, что молила Бога быть вашею женой.

— Нет, нет! Скажите мне прямо, что вы меня любите.

Он обхватил ее плечи руками и смотрел на нее жгучим, пылающим взглядом.

Она вся затрепетала, голова у ней закружилась, и против воли она склонилась к нему на грудь.

— Я люблю свое горе! — прошептала она, закрывая глаза. Он потерял голову и с безумною страстью целовал полуоткрытые губы.

В это время в воротах раздался шум въезжающего экипажа.

— Граф вернулся! — проговорила Наташа, появившаяся в дверях, и тотчас же скрылась.

— Ах, беги, беги, спасайся! Он убьет тебя! — проговорила она, уже обращаясь к нему на ты и вырываясь из его объятий.

— Заплатить жизнью за миг блаженства не жаль... — возразил между тем он.

— Иди же, иди, он может прийти сюда. Пожалей меня.

— Хорошо, сейчас иду... Но вот что, Надя, исполни мою первую просьбу. Дай мне что-нибудь на память об этих минутах!

— Что же мне дать тебе? — растерянно сказала она.

— Вот на шее у тебя висит медальон в виде сердца... Дай мне его, и он будет напоминать мне, что твое сердце принадлежит мне, поддерживать во мне силу, энергию и веру в лучшее будущее...

— Этот медальон подарил мне муж.

— И ты не хочешь с ним расстаться?.. Ты меня не любишь.

— Но уходи же, уходи... Он может прийти сейчас... Вот кольцо — оно от моей матери.

— И подарок графа Вельского дороже тебе памяти о твоей матери? А я говорю тебе, дай мне этот медальон, или я не уйду отсюда.

— Граф вышел на балкон... — сообщила появившаяся снова в беседке Наташа.

— Иди же, иди... Или ты хочешь, чтобы он убил тебя?

— Если не дашь мне медальона, то пусть убивает.

— Но он убьет нас обоих... Он меня страшно ревнует.

— Медальон!..

Надежда Корнильевна, вся трепещущая от переживаемого волнения, быстро сняла медальон с шеи и отдала его Неволину.

Тот страстно прильнул к ее руке и быстро вышел из сада.

Графиня в изнеможении опустилась на диван.

Опасения графини Надежды Корнильевны, как оказалось, были напрасны.

Граф вернулся, позабыв дома бумажник и янтарный мундштук, оправленный в золото, с которым обыкновенно не расставался.

Бумажник оказался в его кабинете, а мундштук он оставил на балконе, где курил послеобеденную сигару.

Взяв то и другое, он снова уехал.

Об этом возвестил графиню шум выехавшего из ворот экипажа.

## XX БЕГСТВО

**П**оложение Елизаветы Петровны Дубянской в доме Селезневых делалось день ото дня не только затруднительным, но прямо невозможным.

Любовь Аркадьевна все более и более отдалялась от нее, а за последнее время стала оказывать ей пренебрежение, граничащее с дерзостью.

Все это тяжело отзывалось в душе Елизаветы Петровны, искренно расположенной к порученной ее наблюдению несчастной молодой девушке и всей душой желавшей помочь ей устроить ее счастье.

Дубянская порой переживала мучительные часы сомнения. Имеет ли она право жить в доме, нося в уме своем чудовищное подозрение, относительно дочери сердечно относящихся к ней родителей, не имея возможности подтвердить это подозрение фактами, а следовательно, и высказать его прямо и открыто.

И почти всегда она разрешала этот вопрос

отрицательно, а между тем оставалась в доме Селезневых, удерживаемая какою-то неведомою силой.

Не жалованье и не стол с квартирою удерживали ее сложить с себя обязанности компаньонки девушки, которая смотрит на нее, как на врага, а самая эта девушка, в которой Елизавета Петровна чутким сердцем угадывала жертву чьей-то адски искусно задуманной и исполняемой интриги.

Надвигающаяся на молодую Селезневу неизвестная опасность, от которой, быть может, ей, Дубянской, удастся спасти ее, притягивала Елизавету Петровну, как кролика взгляд змеи, и она не в силах была «отойти от зла и сотворить благо».

Да и было ли «благо» в том малодушном, эгоистическом отстранении себя от помощи ближнему, находящемуся в опасности?

Незаметно для самих себя, быть может, не так рельефно, как Елизаветой Петровной, но всеми живущими в доме Селезневых чувствовалось приближение катастрофы, атмосфера дома была так начинена электричеством, что раздавшийся удар грома не был бы ни для ко-

го неожиданностью.

Все бессознательно ходили, как бы насто-рожась, прислушиваясь, не грянет ли, и даже ждали этого грома, который так или иначе снимет тяжесть с души, освежит воздух и легче станет дышать.

Исключением являлись только двое лиц: Любовь Аркадьевна и ее наперсница горничная Маша.

Они также не были покойны, что было заметно по постоянно лихорадочному настроению, но они, видимо, знали, когда и что произойдет, и с безошибочностью, вероятно, даже могли определить время, когда грянет всеми ожидаемый удар грома.

Обе они держались отдельно от остальных.

Как в момент приближающейся явной опасности на пароходе или поезде люди, за минуту не знакомые друг с другом или даже враждебно настроенные, вдруг чувствуют себя близкими и инстинктивно бросаются в объятия друг друга или, по крайней мере, жмутся друг к другу, ища друг в друге опоры и спасения.

Так было и в доме Селезневых.

Аркадий Семенович, Екатерина Николаевна и Сергей Аркадьевич вместе с Елизаветой Петровной Дубянской составляли именно эту тесно прижавшуюся друг к другу группу лиц перед надвигающейся чувствуемой в воздухе, висящей над головами грозой.

Это теплое, почти родственное отношение окружающих более всего, как казалось Дубянской, удерживало ее не покидать своего тяжелого поста.

Старик Селезнев и его сын за последнее время даже не говорили с Елизаветой Петровной о дочери и сестре, как бы боясь произнести ее имя, и лишь одна Екатерина Николаевна, все еще упрямо не оставлявшая мысли видеть свою дочь за старым графом Вельским, иногда спрашивала:

— Ну, что, пробовали вы повлиять на Любовь?

— Увы, к сожалению, Любовь Аркадьевна так замкнута. Она смотрит на всех окружающих, как на врагов, а на меня в особенности... У ней, по-видимому, есть какое-то горе... Мне кажется, она кого-то полюбила...

— Да, знаю... Это все та же история с этим Долинским. И во всем виноват мой муж! У него страсть ко всяким плебеям... А что говорит она о графе Василии Сергеевиче? Я ведь просила вас почаще выставлять ей на вид все преимущества этого брака...

— Но ведь он так стар.

— Да... Но он принадлежит к родовой аристократии! Вообще, я не хотела бы, чтобы вы мешали моим планам в этом направлении.

— Я к вашим услугам.

— Хорошо... Так постарайтесь же сегодня поговорить с Любой в моем духе... Понимаете? А завтра сообщите мне, что из этого выйдет...

Елизавета Петровна, исполняя свои обязанности, обыкновенно шла к Любови Аркадьевне, но горничная Маша почти всякий раз придерживала дверь ее комнаты рукою и говорила, что барышня нездорова.

— Но меня прислала Екатерина Николаевна пригласить барышню кататься.

— Хорошо-с... Я доложу...

— Я думаю, это совершенно излишне...



— Нет-с, мне так приказано.

Через несколько времени на пороге полуотворенной двери появлялась сама Любовь Аркадьевна.

— Вас, вероятно, прислала мама толковать со мной о графе Василии Сергеевиче Вельском? — говорила она с презрительным смехом. — Так не трудитесь, мадемуазель Дубянская, я сама знаю, что делаю, а кататься я не пойду, потому что мне нездоровится и я хочу читать...

— Могу я зайти к вам вечером?

— Мне не хотелось бы, чтобы мне мешали.

Елизавета Петровна уходила со слезами на глазах. Ей было жаль молодую девушку и было обидно такое с ее стороны недоверие.

Такой или почти такой разговор произошел и в описываемый нами день — это было в одно из воскресений конца июля — когда Елизавета Петровна Дубянская собралась на дачу к Сиротининым и зашла к Любови Аркадьевне предложить ей прокатиться перед поездкой.

Дубянская вышла одна из подъезда дома Селезневых, у которого стояла изящная коляс-

ка, запряженная парой кровных рысаков. Когда она уже садилась в экипаж, к ней подошел Иван Корнильевич Алфимов, шедший к Сергею Аркадьевичу.

— Вы уезжаете, как жаль... А Сергей Аркадьевич дома?

— Нет, его нет, он уехал с утра.

— В таком случае, позвольте мне проводить вас... Вы куда?

— В Лесной... К Сиротининым.

Лицо Ивана Корнильевича подернулось дымкой печали.

— Мне тоже надо в Лесной... Подвезите меня.

— Садитесь! — просто сказала Елизавета Петровна.

Он сел с нею, но сначала разговор не клеился — она казалась ему каким-то высшим существом, которое могла оскорбить речь о чем-либо земном. Но вдруг под влиянием какого-то неудержимого чувства Иван Корнильевич спросил:

— Вы презираете меня?

Дубянская посмотрела на него широко открытыми глазами.

— Вас?.. За что?

— До вас, вероятно, дошла история моей любви... Но теперь все кончено... эта девушка обманула меня.

— Я в первый раз слышу...

— Боже, мне кажется, что эта моя жизненная ошибка известна всем... Относительно же вас мне было бы очень больно, если бы вы были обо мне дурного мнения.

— Я и не думала быть о вас дурного мнения.

— Благодарю вас, благодарю... Ведь с тех пор, как я увидел вас, мне в душу заглянул какой-то свет добра и истины, и я поклялся, что сделаю все на свете, чтобы добиться вашего расположения, а быть может...

Он не договорил и остановился.

— Перестаньте... — начала она. — К числу человеческих добродетелей принадлежит и повиновение родителям, а вашего отца такое объяснение не порадовало бы... Лучше скажите, как вы проводите время?

— Очень однообразно... — отвечал он, поняв, что возвращаться тотчас к объяснению было бы бесполезно. — Сегодня, например, бу-

ду у барона Гемпеля... Там соберутся все наши...

— И Неелов?.. — спросила Дубянская под влиянием какой-то неопределенно мелькнувшей у ней в голове мысли.

— Нет, он отказался, потому что нездоров. Дубянская облегченно вздохнула.

— И будете играть?..

— Да... Но, клянусь вам, последний раз...

— Смотрите, вспомните печальную историю моего несчастного отца, которую я вам рассказывала, и берегитесь, прошу вас, этих людей... До добра они вас не доведут... Это истинные сотрудники сатаны... Если вы хотите спокойствия своей души — разойдитесь с ними.

— Я это делаю и сделаю.

В то время, когда коляска с молодым Алфиновым и Дубянской уже катила по Выборгскому шоссе, на хорошенькой дачке в одном из переулков, прилегающих к Муринскому проспекту, царила оживленная деятельность.

Дмитрий Павлович Сиротинин с истинным наслаждением поливал куртины[11] цветов, а Анна Александровна хлопотливо на-

крывала на террасе стол и по временам с беспредельной любовью смотрела на сына.

— Милый ты мой, сколько ты для меня сделал!.. — проговорила она наконец, ласковым взором окидывая дачку, сад и огород. — Да и не для меня одной, а и еще для кое-кого! — прибавила она лукаво и ласково.

— Полно, мама, много ли я для тебя сделал! Вот разве в будущем пойдет лучше... — откликнулся Дмитрий Павлович. — Оно на это и похоже. Последнее время хозяйский сын оказывает мне такое доверие, что все удивляются — постоянно старается оставлять ключ от кассы у меня... А только и тогда я не думаю, чтобы Елизавета Петровна была у нас счастливой. Она привыкла жить в лучшей обстановке...

Мать не успела возразить ему, как у палисадника остановилась коляска, привезшая Дубянскую и Алфимова.

Анна Александровна стала так усердно просить его, что он не сумел отказаться и вошел. Елизавета Петровна также приняла живое участие в цветах и овощах.

Завязалась веселая, непринужденная бол-

товня, и какой бесцветной и гнетущей скукой показались Ивану Корнильевичу разговоры, которые ведутся в его компании.

Было уже поздно, когда Дмитрий Павлович проводил Елизавету Петровну домой.

На углу Литейной и Сергиевской она заметила горничную Любовь Аркадьевны, которая о чем-то разговаривала с Нееловым, но, увидя приближающийся экипаж, мгновенно исчезла.

Войдя в дом, Дубянская, томимая каким-то тяжелым предчувствием, тотчас пришла к Любови Аркадьевне.

Маша уже встретила ее у дверей ее спальни.

— Барышня спит, — проговорила она, слегка отворяя дверь и указывая на лежавшую фигуру девушки.

— Хорошо, не будите ее... — отвечала Елизавета Петровна. «Странно, странно... — сказала она про себя. — Здесь что-то затевается...»

На другое утро Маша снова не пустила Елизавету Петровну к Любови Аркадьевне, говоря, что та хотела хорошенько выспаться и

не велела будить себя.

В двенадцать часов Екатерина Николаевна, узнав об этом от Дубянской, приказала Маше разбудить барышню.

Та повиновалась, но, вернувшись, объявила, что дверь барышни заперта изнутри, и как она ни стучала, не получила ответа.

В доме все переполошились и послали за слесарем, но ранее, чем он явился, кому-то удалось подобрать ключ и отпереть спальню Любовь Аркадьевны.

Самой ее там не было, но вбежавшая прежде всех Маша схватила со стола и отдала Елизавете Петровне запечатанное письмо без адреса.

Дубянская передала его Екатерине Николаевне.

Та судорожно разорвала конверт, развернула письмо и громко прочла:

*«Дорогие родители, простите меня за то горе, которое я вам причинила, но и поступить иначе я не могла. Моя любовь сильнее дочернего долга. Но мы скоро увидимся — так скоро, как вы меня простите.»*

Люба».

— О, Боже! О, позор! — воскликнула Селезнева. — Она сбежала с этим адвокатишкой.

— Господин Долинский сидит у Сергея Аркадьевича... — заметила Маша.

## XXI АРЕСТ КАССИРА

На дворе стоял конец сентября.

Петербург уже начинал оживать после летнего затишья, хотя сезон еще не начинался.

Было то межсезонное время, которое бывает в столицах в апреле и сентябре.

В первом случае все еще находятся в городе, но собираются его покинуть, а во втором многие уже приехали, но не устроились, не вошли, так сказать, в городскую колею.

На улицах уже людно, но нет еще настоящего оживления, все как-то особенно настроены, все куда-то спешат, видимо, обремененные заботами и делами межсезонного времени.

В клубах и театрах почти пусто, артисты играют, что называется, спустя рукава, наби-



раясь сил к предстоящему сезону.

В присутственных местах, банках и конторах тоже среди служащих заметно апатичное отношение к делу.

Летом его было меньше, многие только что вернулись из отпусков и еще не сбросили с себя расслабляющие впечатления летнего кейфа, да и другие, следуя их примеру, неохотно переходят от сравнительного летнего безделья к серьезной работе.

Исключение в описываемый нами день представляла банкирская контора «Алфимов с сыном».

В ней царила полнейшая тишина и шла сосредоточенная напряженная работа.

Начиная с самого Корнилия Потаповича, летом почти не занимавшегося в конторе, и до последнего служащего — каждый был проникнут сознанием важности делаемого им дела.

Иван Корнильевич сидел в своем кабинете, помещавшемся рядом с кабинетом его отца.

Лицо его было мертвенно бледно и искажено ужасом сознания приближающейся раз-

вязки.

Дверь скрипнула.

Он вздрогнул и замер, но, увидя графа Сигизмунда Владиславовича, вздохнул свободнее.

Граф Стоцкий, поздоровавшись с молодым человеком, оглядел его внимательно.

— Что с тобой?

— У нас идет проверка кассы и книг... — пониженным шепотом, в котором слышалось необычайное волнение, отзетил Иван Корнильевич.

— Ну, так что же?

— Разве ты не знаешь?

— Я ничего не знаю... — спокойно ответил граф.

— Это ужасно... Что будет! Что будет!

— Неужели ты брал деньги из кассы? Какая неосторожность! — будто бы только сейчас поняв в чем дело, воскликнул граф Сигизмунд Владиславович с поддельным испугом.

— Увы! Откуда же бы я брал их на эти громадные кутежи и проигрыши...

— Сколько?

— Сорок две тысячи...

— Ого... Но разве ключи были у одного тебя?

— Нет, я оставлял иногда их кассиру...

— Это Сиротинину?

— Да, Дмитрию Павловичу.

— Поклоннику Дубянской и, кажется, счастливому... В таком случае, все в порядке и идет отлично, — заметил граф.

— Я тебя не понимаю.

— А между тем это более, чем просто. Сама судьба дает тебе в руки прекрасный случай отделаться от беды и от соперника...

— Что ты говоришь? — воскликнул, весь вспыхнув от негодования, молодой Алфимов.

— Дело, дружище, только дело.

— Но это подлость!..

— Громкое слово... Своя рубашка ближе к телу... Впрочем, если ты из идеалистов — принимай позор на свою голову... Не надо было допускать до ревизии и сказать отцу, прося его пополнить из твоего капитала...

— Он проклял бы меня, и на меня бы еще обрушилось проклятие матери.

— В таком случае, надо выбираться из воды... Тут нечего думать, что потонет другой...

— Боже мой, Боже мой... — ломал себе руки Иван Корнильевич.

— С чего же это надумалось Корнилию Потаповичу производить ревизию?

— Он целое лето не занимался делами и захотел проверить.

— А-а... Так как же ты?

— Что?

— Мой дружеский совет не подставлять свою голову... Вспомни, какими глазами посмотрит на тебя Елизавета Петровна, когда все обнаружится... Ведь папенька твой, выгнав тебя из дому, не поцеремонится прокричать о твоих проделках по всему Петербургу.

— Не говори... Он не пощадит, это я знаю.

— То-то же... А тут очень просто, настаивай на том, что ничего не знаешь, и все падет на него. Нужно только уметь владеть собою...

Он не договорил, так как в кабинет вошел сам Корнилий Потапович.

Он был мрачнее тучи и резко швырнул Ивану Корнильевичу какой-то листок.

— Вот! — прохрипел он. — У нас в конторе есть мошенники.

— Что? Не сходятся книги? — спросил

Иван Корнильевич, уже, видимо, хорошо владея собою под ободряющим взглядом графа Стоцкого.

— Все сходится чудесно, кроме кассы!..

— А вы никого не подозреваете? — спросил граф Сигизмунд Владиславович.

— Кого я могу подозревать, все они с виду люди честные.

— Я посоветовал бы вам не вмешиваться в это дело самим. Лучше всего передать его хорошему человеку сыскной полиции. Через час вы будете знать, в чем дело... Мы сейчас это устроим, идем, Иван Корнильевич!

Молодой человек схватился за мысль хоть на некоторое время уйти из конторы, быстро взял шляпу и вышел вместе с графом Сигизмундом Владиславовичем.

Последний уже окончательно овладел умом и волею Ивана Корнильевича.

Как автомат сделал Алфимов официальное заявление и вернулся в контору уже с полицейским чиновником и агентом сыскного отделения.

Началось составление акта, во время которого агент разговаривал с графом Стоцким и

молодым Алфимовым.

— Не знаю положительно, как это могло случиться?.. Кого винить? — разводил руками Корнилий Потапович.

— Конечно, кассира, — решил агент.

— Сиротина... Нет, не может быть! — с убеждением воскликнул старик. — Он с такою тщательностью и аккуратностью исполнял все мои поручения... Он — честный человек и притом прекрасный сын!.. Он боготворит свою мать...

— Все это очень может быть, но это все-таки мало противоречит моему мнению, — возразил агент. — Ваш сын признает, что он сам несколько раз отдавал Сиротину ключ от кассы. А что всего важнее, это то, что после первого же получения ключа он купил себе дачу в Лесном на имя своей матери... Откуда у него деньги?

— У него могли быть сбережения...

— А сколько он получает жалованья?

— Четыре тысячи...

— Какие же могут быть от этого жалованья сбережения при дороговизне столичной жизни?

— Он живет скромно, — продолжал защищать своего любимца Корнилий Потапович.

— Все они скромны с виду.

— Дело совершенно ясное, — вставил свое слово граф Стоцкий.

— Если это его дело, то он сам в нем признается... — в раздумье произнес старик Алфимов и позвонил.

— Позовите Дмитрия Павловича, — приказал он появившемуся служащему.

Через минуту в кабинете появился Сиротинин. Он был печален, но спокоен.

— Знаете ли вы, зачем я вас позвал сюда? — спросил Корнилий Потапович.

— Вероятно, по поводу недочета.

— Знаете вы, кто это сделал?

— Не имею ни малейшего подозрения...

— Ну, так я вам скажу, что это ваша работа! — вдруг воскликнул старик, которому, наклонившись, на ухо что-то шепнул граф Стоцкий.

— Я? — широко открыл глаза Дмитрий Павлович.

— Раскайтесь вы, я бы простил... А вы вот как...

— Умоляю вас, остановитесь! — перебил его Сиротинин, бледнея. — Это страшная, ужасная ошибка, и вы пожалеете...

Иван Корнильевич стоял смущенный, то краснея, то бледнея.

— Посмотри на этого несчастного! — крикнул ему отец. — И он еще отпирается... Какая наглость!

— Но скажите, ради Бога, на каком основании...

— А! Вам нужно основание! Извольте! Разве не давал вам Иван ключ от кассы? Говори, Иван, давал?

— Давал! — нетвердо ответил тот.

— О, моя мама!.. Бедная мама!.. — зарыдал Дмитрий Павлович и пошатнулся.

Агент ему подставил стул. Он тяжело опустился на него, уронил на руки голову, продолжая оглушать рыданьями кабинет.

У Ивана Корнильевича сердце кровью обливалось от жалости, но слова графа Стоцкого и мысль об Елизавете Петровне пересилили эту жалость.

— Отец, сжался над ним... — мог только выговорить он.



— Довольно! — крикнул Корнилий Потапович, который не мог выносить слез.

— Вы меня обманули, но я заслуги помню, — судить вас не будут, но и служить вы у меня не останетесь. Подпишите обязательство в том, что вы обеспечиваете меня всем вашим имуществом и уходите.

При этих словах Дмитрий Павлович вскочил со стула.

— Что?.. — крикнул он надорванным голосом. — Не судить, как же не судить, а просто подписать свой позорный приговор?.. Нет, пусть судят...

— Вы рассчитываете разжалобить присяжных, как разжалобили почтенного хозяина? — заметил агент.

Сиротинин смерил его гордым взглядом.

— Я рассчитываю на свою невиновность... — заметил он.

— Как же прикажете? — спросил полицейский чиновник, уже оканчивавший составление акта.

— Если он не хочет милости, так пусть с ним поступят по закону.

Сиротинин, шатаясь, отправился было к

двери.

— Пойдите, пойдите! — крикнул ему вдогонку агент. — Вы останетесь здесь и отправитесь с нами... Вы арестованы...

— О, мама, моя бедная мама! — прошептал он, снова возвращаясь к стулу и грузно опускаясь на него.

Акт был составлен и подписан.

— Вы позволите, — обратился Дмитрий Павлович к полицейскому чиновнику, — написать несколько строк моей матери и послать с посыльным?

— Только с тем, чтобы вы дали мне прочесть написанное.

— Извольте, тут нет секрета, — отвечал Сиротинин.

— Секрета не может быть для правосудия, — важно заметил чиновник.

Дмитрий Павлович взял лист бумаги и написал:

*«Дорогая мама!*

*Я арестован по обвинению в растрате.  
Нужно ли говорить тебе, что я невинен.*

*Твой сын Дмитрий».*

Дав прочесть эти строки полицейскому чиновнику, он запечатал в конверт и попросил отправить с посыльным.

Просьба его была исполнена.

— Теперь едем, — заявил агент.

Оба чиновника и бывший кассир конторы удалились из кабинета.

— Какая закоснелость! — воскликнул с неподдельным негодованием граф Сигизмунд Владиславович. — Не правда ли, Иван Корнильевич?

— Да, — через силу протянул он.

— Если бы вы не шепнули мне внимательно взглядеться в его лицо, я бы и не заметил, что он смущен, — сказал Корнилий Потапович.

— Я сразу увидал, что это его дело. Мне достаточно было взглянуть на выражение его лица, — авторитетно произнес граф Стоцкий.

— Но почему же он не пожелал выдать обязательство?.. Если он виноват?.. — с некоторым сомнением спросил старик Алфимов.

— У этих мошенников при настоящем состоянии правосудия всегда есть надежда вый-

ти из суда оправданным двенадцатью добрыми людьми, — заметил Сигизмунд Владиславович.

— Ужасное время мы переживаем... Никому нельзя оказать никакого доверия... Впрочем, и ты, Иван, виноват... Зачем тебе надо было давать ему ключ. Это все из-за того, что ты пропадаешь по ночам и не можешь вставать рано. Виноват и очень виноват... Не клади плохо, не вводи вора в грех. Знаешь, чай, пословицу... Следовало бы отнести эту растрату на твой счет.

— Я готов принять на себя, — почти обрадовался Иван Корнильевич.

— Погоди, что скажет следствие и суд, быть может, он не успел растратить и мы потеряли только часть, тогда мы разделим убыток пополам, — заметил Корнилий Потапович. — А теперь потрудись сам идти в кассу... Будем продолжать проверку.

## XXII ТЮРЬМА

**В** этот же вечер состоялся формальный арест кассира банкирской конторы «Алфимова с сыном», Дмитрия Павловича Сироти-

нина, и он был препровожден в дом предварительного заключения.

Что тюрьма страшна, под каким бы названием она не являлась, и что в ней должно быть хуже, чем на воле, знает всякий, переступающий ее порог.

Действительно, первый шаг в тюрьму производит на свежего человека ужасающее впечатление, какой бы он ни был и за что бы ни попал в тюрьму.

Вся эта тюремная обстановка его охватывает ужасом.

Когда раздается звук запираемой двери одиночной камеры, человек чувствует себя первую минуту заживо погребенным.

Если он виновен, то вскоре после того, как это впечатление проходит, на человека находит не раскаяние, а озлобление к тем, кто имел силу и возможность его запереть.

Первая мысль заключенного всегда о свободе.

Добыть эту свободу теми или другими ухищрениями, добыть для того, чтобы снова начать борьбу с одолевшим его противником, то есть с обществом, измыслив план преступ-

ления более тонкого и умелого, — вот в каком направлении работает в одиночном заключении мысль действительного преступника.

Тюрьма в том виде, как она существует, одиночная или общая, бесспорно, школа преступлений, а не место их искоренения.

В общей тюрьме новичок является первое время запуганным, униженным и готовым заискивать не только у начальства, но и у всякого арестанта, и арестанты в самом скором времени завладеют всем его существом: они для него власть, которую он больше всего боится, они же его покровители и учителя уголовного права, которое ему так необходимо.

И вот в самом скором времени с новичком происходит замечательная метаморфоза.

Ужасное впечатление первоначального ареста уже забыто и, несмотря на все неудобства и неприятности тюремной жизни, арестант начинает замечать, что он никогда в своей жизни не чувствовал себя до такой степени спокойным и счастливым, как в тюрьме.

Посадите его в одиночное заключение, увеличьте страдание тюремной жизни до их

апогея — будет то же самое.

Это происходит оттого, что для человека бесхарактерного, а тем более неразвитого, самое тяжкое, что может быть, — это борьба с жизнью.

В тюрьме он чувствует себя беззаботно и легко, ему нечего думать о завтрашнем дне, он не может его ни улучшить, ни ухудшить.

Действительность насмешливой улыбкой не возбуждает его страстей и не заставляет его, очертя голову, кидаться в опасность.

Он беден, правда, и жалок, но и все кругом его бедны и жалки.

Ему легко среди равенства.

Обманывая в мелочах бдительность начальства, он может легко заслужить всеобщее уважение, а что его погубило на воле, что так трудно достается в жизни, обеспеченное положение и удовлетворенное тщеславие — здесь предлагают даром.

Ничто здесь ему не мешает возвеличить свое прошедшее до героических размеров.

Вот влияние тюрьмы!

Это общая участь всех слишком сильных мер.

Они приводят вовсе не к тому, к чему следовало бы прийти.

Если бы человек, который совершил преступление, получил бы хороший урок, который убедил бы его, что поступать таким образом не только скверно, но и невыгодно, и при этом он сохранил бы все свои силы для жизни без унижений, то он, конечно, другой раз не поддался бы соблазну.

Но если вместо этого преступник совершенно нравственно уничтожается и унижается, то ему остается только переходить от преступления к преступлению, пока тюрьма и каторга не измучают его до смерти.

Защитники тюремной системы выставляют на вид, кроме исправительной цели, которой должна служить, по их мнению, тюрьма, также и предупредительную, то есть что тюрьма должна служить якобы устрашительницею, бичем для предупреждения преступлений и удержания от них.

Но и в этом последнем случае они не правы, так как тюрьма далеко не достигает наменного ими результата.

Кому страшна тюрьма?



Тюрьма страшна только тем, для которых она, в сущности, не нужна, то есть людям, которые по своему складу характера, темперамента и нравственности не могут в нее попасть или попадают весьма редко, как это было с Сиротининым, случайно.

Для большого же числа людей, для контрвеса преступных инстинктов которых она предназначена и существует, тюрьма далеко не пугало.

Эти люди тюрьмы не боятся, в особенности те из них, которые с нею уже близко знакомы.

Таким образом, тюрьма и в этом смысле не выполняет того назначения, для которого ее предназначают.

В виду этой крайней несправедливости во взглядах нашего общества было бы необходимо более гуманное и осторожное отношение судебных властей при возбуждении уголовных дел, а тем более аресте обвиняемых до суда.

При начале каждого следствия и до принятия мер должно бы было быть обращено внимание на то, кем именно совершено преступ-

ление: случайным ли преступником или преступником по ремеслу?

Это-то подразделение обвиняемых и должно было бы служить, главным образом, для применения той или другой меры.

Профессиональных преступников, конечно, щадить не должно, тем более, что удаление таких людей из общества приносит несомненную пользу уже тем, что лишает их возможности приводить в исполнение другие преступления, в то время, когда они находятся под стражей.

Но можно ли сравнивать и относиться одинаково к человеку, совершившему преступление случайно, или только заподозренному, часто при роковом даже сцеплении улик, как было в деле Дмитрия Павловича Сиротина, в совершенном преступлении, и к человеку, сделавшему из преступления ремесло?

Вообще, предварительное заключение зачастую является великою несправедливостью, и особенно в России, где общество не разбирает тюрьмы от тюрьмы и где это предварительное заключение идет не в счет нака-

зания, как это принято во всех странах Европы.

Недаром в Англии и Швейцарии заключение до суда зависит не от следователей и прокуроров, а от присяжных, пред которыми должен предстать каждый обвиняемый не позже восьми дней по его аресте.

Этих присяжных бывает обыкновенно шесть человек.

Перед ними не разбирается дело по существу, а только выясняются причины задержания обвиняемого, вескость улик и положение его в обществе, что главным образом и руководит присяжными при принятии этой или другой меры пресечения обвиняемому способов уклоняться от суда и следствия.

Это вмешательство присяжных, то есть людей беспристрастных, не профессиональных юристов, в участь обвиняемого с самого начала возбуждения уголовного дела — бесспорно, самое правильное и гуманное применение суда совести.

Всякий юрист, а тем более следователь, — человек ремесла, и его взгляды бывают всегда односторонни, он видит все в черном цвете и

всякий обвиняемый ему кажется преступником.

Вследствие этой-то односторонности во взглядах судебной бюрократии всех стран, чрезвычайно благотворным является введение в суде и даже в следственном производстве нейтрального, без юридической озлобленности, элемента — присяжных.

Эти представители общества смотрят на людей и жизнь общежитиевыми беспристрастными глазами, а это уже огромный шаг вперед в деле правосудия. Будь у нас в России такое учреждение, Дмитрий Павлович Сиротинин не был бы, быть может, прийдя утром в контору честным человеком, к вечеру уже заключенным под стражу преступником.

Да и мало ли в нашей судебной практике таких Дмитриев Павловичей!

### **XXIII СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ**

**Н**еожиданный арест Дмитрия Павловича Сиротинина, как гром поразивший его, и особенно его старуху мать, произошел как раз во время отсутствия в Петербурге Елизаветы Петровны Дубянской.

За несколько дней до катастрофы в банкирской конторе «Алфимов с сыном» она уехала в Москву вместе с Сергеем Аркадьевичем Селезневым и Сергеем Павловичем Долинским.

Случилось это таким образом.

Когда обнаружилось бегство Любовь Аркадьевна, Екатерина Николаевна Селезнева, если припомнит читатель, тотчас же обвинила в увозе своей дочери Долинского, случайно в то время, не имея понятия о происшедшем в доме, сидевшего у Сергея Аркадьевича.

На замечание в этом смысле горничной Маши, Екатерина Николаевна не ответила ничего, но, видимо, сконфуженная, через несколько минут спросила:

— С кем же она, наконец, могла бежать?

— С Нееловым... — твердо и уверенно ответила Елизавета Петровна.

— С Нееловым? — повторила уже совершенно растерявшаяся Селезнева. — Но ведь она же не протестовала, когда ему было отказано в ее руке.

— Может быть, чувство развилось впоследствии...

— Он так редко бывал в доме... Но почему вы это утверждаете?

Елизавета Петровна рассказала о том, что она видела Машу вчера на улице, беседующею с Владимиром Игнатьевичем.

— Почему же вы мне не сказали об этом вчера?

— Я бросилась прямо к комнате Любовь Аркадьевны, но она уже спала, по крайней мере, Маша...

Елизавета Петровна хотела взглянуть на последнюю, но ее уже при первых словах рассказа компаньонки простыл и след.

— Что же Маша? — раздражительно переспросила Селезнева.

— Показала мне, приотворив дверь, фигуру лежащей на постели девушки... Быть может, это было просто устроено чучело...

— Несомненно, что эта негодяйка была с ней в заговоре... Но почему же вы-то меня не предупредили?

— Я только вчера в этом сама окончательно убедилась.

— О, позор, о, срам! — воскликнула вместо продолжения разговора Екатерина Николаев-

на, но в этом восклицании уже не было таких отчаянных нот, быть может потому, что Екатерина Николаевна считала фамилию Нееловых старинной дворянской фамилией.

С письмом дочери в руках Екатерина Николаевна вместе с Елизаветой Петровной вышла в гостиную, куда вскоре вошли Сергей Аркадьевич с Долинским, а спустя четверть часа и вернувшийся домой Аркадий Семенович.

Все они были ошеломлены известием о бегстве Любовь Аркадьевны.

— Надо заявить... Поезжай к градоначальнику... Пусть телеграфируют и задержат... — волновалась Екатерина Николаевна.

Аркадий Семенович чуть ли не в первый раз в жизни осмелился противоречить своей супруге.

— Огласка, душа моя, только увеличит скандал, да и как в этом случае догнать беглецов и вернуть их... Это, конечно, можно, но благоразумно ли... Похищение девушки относится к тому исключительному разряду похищений, где необходимо укрепить законное право похитителя на похищенную... Я не ре-

шаюсь думать, что Неелов похитил мою дочь иначе, как с целью на ней жениться...

— Это несомненно! — заметил и Сергей Аркадьевич.

— Я не хочу этого... Этому надо помешать... — не унималась Селезнева.

— И, матушка, помешать можно, но потом как бы не пришлось просить его же об этом как о милости.

— Ты думаешь? — уставилась на него Екатерина Николаевна. Она только теперь поняла смысл слов ее мужа и замолчала.

— Надо узнать, куда они скрылись, и написать, что мы согласны на брак и признать, если он уже совершен... — продолжал Аркадий Семенович.

— О, ужас!.. — снова стала восклицать Екатерина Николаевна.

— Маша должна об этом знать... Она была с ними в уговоре, — заметила Елизавета Петровна.

Позвали Машу.

Та явилась с плачем и рыданием и повинилась во всем, рассказала о свиданиях барышни с Владимиром Игнатьевичем, продол-



жавшихся по несколько часов, свиданиях, не оставлявших в уме присутствующих сомнения, что Аркадий Семенович был прав, говоря, что возвращать домой дочь поздно.

— Куда же они бежали? — спросил Аркадий Семенович.

— Это уж, барин-батюшка, как перед Истинным, не могу знать...

— Но как же они поехали?

— В коляске, четверкой.

— Когда?

— Сегодня ночью...

— И тебе барышня не говорила, куда они намерены ехать?

— Венчаться...

— Но где?

— Не могу знать.

Больше от Маши не добились ничего.

— В случае, если мы получим от них уведомление, я сам, конечно, не поеду, но попрошу съездить вас, Сергей Павлович, по старой дружбе, и Елизавету Петровну.

Долинский был печален.

Видимо, побег любимой им девушки тяжело отозвался в его сердце, но он поборол в се-

бе свое «горе отвергнутого» и почти спокойным тоном сказал:

— Я всегда рад быть полезным всей вашей семье.

Елизавета Петровна тоже поспешила дать свое согласие, тем более, что внутренне признавала себя виновницей, хотя и совершенно пассивной, бегства Любовь Аркадьевны.

Поездка с Долинским, защитником Алферова, не особенно улыбалась ей, хотя за последнее время она несколько примирилась с молодым человеком, и инстинктивная ненависть к нему, как к адвокату, спасшему, как она думала, от заслуженного наказания убийцу ее отца, потеряла свой прежний острый характер.

Изысканное уважение, оказываемое ей Сергеем Павловичем при всяком удобном случае, сделало свое дело над сердцем женщины.

Она додумалась, и надо заметить, весьма основательно, что нельзя же отождествлять адвоката, исполнившего свое профессиональное назначение, с защищаемым им преступником, и стала относиться к Долинскому почти дружелюбно.

— И я тоже поеду, — выразил желание Сергей Аркадьевич.

Решили таким образом, что при первом полученном известии о местожительстве беглецов депутация из этих трех лиц с письмом Аркадия Семеновича отправится к ним для переговоров.

— А пока не надо поднимать шуму — и так много будет разговоров.

— Машку уволить, — вставила Екатерина Николаевна, в первый тоже раз в своей жизни согласившаяся со своим мужем, хотя внутренне негодовавшая, что Долинский и Дубянская примут участие в ее семейном деле.

«Адвокат и наемница», — презрительно думала бывшая княжна, но не высказала этого вслух, даже намеком.

— Машку, конечно, уволить, и тотчас же, — согласился с женою Аркадий Семенович.

Прошло три дня, когда по почте было получено письмо от Любови Аркадьевны.

По штемпелю оно пришло из Москвы, но адреса своего она не сообщила, и кроме того, в нем была приписка Неелова, которая нагна-

ла на старика Селезнева скорбное раздумье.

«Между вашей дочерью и мною не существует тайн, — писал он между прочим, — то, что вы предпримите относительно меня, то, значит, предпримите и относительно ее».

В переводе это значило:

«Если вы не предложите таких условий, какие мне понравятся, то дочери вам не видать. Я держу ее в руках, и без моей воли она ни на что не решится».

«Кто знает, замужем ли она за ним», — думал с горечью Аркадий Семенович.

В письме дочь ничего не говорила о браке, и подписано оно было просто: «Люба».

Содержание его исчерпывалось объяснением ее поступка и просьбой пощадить ее и простить.

По совещанию с Екатериной Николаевной, Аркадий Семенович дал знать Долинскому, который не замедлил явиться.

Снова собрался совет из отца, матери, брата, Елизаветы Петровны и Долинского.

— Они, несомненно, в Москве, или под Москвой... — сказал Сергей Павлович.

— Вы судите по штемпелю письма?

— Нет, нисколько, письмо они могли опустить в Москве и уехать дальше...

— Почему же вы говорите так уверенно?

— А потому, что оказывается, Неелов недавно купил именье у графа Вельского, которое расположено под Москвой... Несомненно, они туда и укрылись.

— Это весьма вероятно, — согласился старик Селезнев.

— И хорошее именье? — не утерпела не спросить Екатерина Николаевна.

— Говорят, что несмотря на то, что граф продал его очень дешево, именье великолепное и стоит вдесятеро дороже, — отвечал Долинский.

— Сколько же мог Неелов заплатить?

— Сорок тысяч.

— Однако, значит у него есть средства, — задумчиво проговорила Селезнева, видимо, окончательно примирившаяся с выбором дочери.

— Вероятно, — равнодушно ответил Сергей Павлович.

— В таком случае, поезжайте в Москву, — заговорил снова Аркадий Семенович, — я се-

годня же заготовлю письмо Любе. Эх, сколько ты причинила мне горя, злая девчонка! — воскликнул старик, и из глаз его выкатились две слезы.

Это был первый взрыв его отчаяния при посторонних. Что он переживал со дня бегства дочери в кабинете, знали только стены этой комнаты.

— Когда же мы поедем? — спросил Сергей Аркадьевич.

— Завтра, с курьерским поездом, — отвечал старик Селезнев. — Вам удобно? — обратился он к Долинскому.

— Я всегда к вашим услугам...

Аркадий Семенович пристально посмотрел на молодого человека и только теперь понял, сколько и он пережил за это время.

Человек так устроен, что поглощенный своим горем, никогда не замечает горя ближних.

— Благодарю вас, — с чувством пожал Селезнев руку Сергею Павловичу.

Отъезд на завтра был решен.

В этот же вечер Аркадий Семенович пригласил Елизавету Петровну в свой кабинет и

заставил ее пересказать те наблюдения, которые она сделала за период пребывания в доме над Любой.

Дубянская повиновалась, хотя ей было очень тяжело сообщать свои теперь осуществившиеся подозрения.

В настоящее время ей казались они настолько выясненными, что она мысленно жестоко укоряла себя, что не последовала совету Анны Александровны Сиротининой и не сообщила их родителям Любовь Аркадьевны.

«Любящую девушку трудно удержать...» — припомнилась ей в виде некоторого утешения фраза той же Сиротининой.

— Это были все лишь одни мои предположения, — закончила свой рассказ Елизавета Петровна, — до встречи господина Неелова, беседующего с Машей, я не могла точно доказать их и боялась оскорбить Любовь Аркадьевну необоснованным обвинением...

— Я понимаю вас, — пожал ей руку Аркадий Семенович, — у вас прекрасная душа и доброе сердце... Я думал, что у моей девочки тоже доброе сердце... Я ошибся...

— Она полюбила... и не могла совладать со

своей любовью. Все, Бог даст, устроится, и она будет счастлива... — заметила Дубянская в утешение огорченному отцу.

— Дай-то Бог! Дай-то Бог! — задумчиво произнес он.

## XXIV В МОСКВЕ

Долинский, молодой Селезнев и Елизавета Петровна Дубянская по приезде в Москву остановились в гостинице «Славянский Базар», заняв два смежных номера, и с того же дня принялись за официальные и неофициальные розыски.

Первые были безуспешны, по справке адресного стола, дворянина Владимира Игнатьевича Неелова в Москве на жительство не значилось. Что же касается до Любовь Аркадьевны, то она и не могла быть записанной, так как убежала из дома без всяких документов.

Ее метрическое свидетельство лежало, и теперь в дорожной сумочке Елизаветы Петровны, переданное ей Аркадием Семеновичем Селезневым, как необходимое при браке, в совершение которого он не верил.



— А если и обвенчались они где-нибудь в селе без бумаг, так, пожалуй, священник и не записал в книги, а брак-то такой едва ли действителен... Тогда пусть запишет и на свидетельстве сделает надпись... Уж вы похлопочите, успокойте меня, — сказал Аркадий Семенович Дубянской во время беседы их в кабинете накануне отъезда.

— Найти бы только, а я уже все сделаю и настою, чтобы оформить как можно крепче, — отвечала Елизавета Петровна.

— Непременно, как можно крепче.

На другой же день по прибытии в Москву, Долинский и Селезнев поехали за шестьдесят верст по смоленской железной дороге, где верстах в пяти от станции лежало именье, купленное Нееловым у графа Вельского.

Тут они напали на некоторый, но весьма туманный след.

Неелова и Любовь Аркадьевну они там не нашли, но им сказали, что барин с молодой барыней пробыли несколько дней в имении, а затем уехали.

— Куда же они уехали? — спросили в один голос Долинский и Селезнев.

— А уж этого не могу знать... Мне барина не допрашивать, — отвечал староста, он же управитель имения.

— Кто-нибудь же возил их на станцию?

— Вестимо, возили... Михайло-кучер возил.

— А где этот Михайло?

— Да, чай, на конюшне спит... Я пойду, пошукаю его.

— Пошукай, пошукай.

Вскоре перед лицом обоих приятелей явился Михайло.

— Ты к какому поезду возил Владимира Игнатьевича с барыней?

— Надо быть, к часовому...

— Это, значит, в Москву?

— А уж не могу знать, не то в Москву, не то в Смоленск.

— Как так?

— Да так, в ту пору у нас на станции перекресток... С обеих сторон поезда приходят...

— Тэк-с...

Таким образом, вопрос, возвратился ли Неелов с Селезневой в Москву или поехал дальше на Смоленск, Брест, Варшаву и даже

за границу, остался открытым.

Во время этого отсутствия Долинского и Селезнева в Москве, Елизавета Петровна сама, сидя у себя в номера, получила неожиданные сведения о беглянке при тяжелых, впрочем, для Дубянской обстоятельствах.

Не прошло и часу после отъезда молодых людей, как в номер, занимаемый Елизаветой Петровной, постучались.

— Войдите.

Вошел лакей гостиницы и сообщил, что госпожу Дубянскую желает видеть какой-то господин по тому делу, по которому она приехала в Москву.

— Просите! — сказала очень заинтересованная Дубянская. Через пять минут незнакомец вошел в номер.

При виде его у Елизаветы Петровны вырвался крик ужаса, гнева и горя.

Перед нею стоял Егор Степанович Алферов.

— Елизавета Петровна, — заговорил он дрожащим от волнения голосом. — Не отвергайте человека, которого привело к вам раскаяние. Вы видели, что я сумел обмануть и судей, и присяжных, и сделался снова полно-

правным и свободным человеком. Следовательно, не страх, а глубокое, мучительное раскаяние в том, что я осиротил и обездолил вас, приводит меня к вам.

— Вы лжете! Такие, как вы, раскаиваться не могут. Вы пришли сюда все под влиянием той же постыдной страсти, которой вы преследуете меня с первого дня нашего знакомства.

— Вы несправедливы ко мне, — перебил он с мольбой в голосе. — Не скрою от вас: я люблю вас более собственной жизни и переживаю муки ада от сознания, что эта любовь остается навеки безответной. Но я пришел просить не любви вашей, а только одного слова прощения.

— Ну и что же было бы, если бы я простила вас?

— У меня осталось бы счастье посвятить вам всю свою жизнь, все мои мысли, — ответил он просто.

— Дружба преступника.

— Нет, дружба человека, который был преступником.

— Не станете ли вы уверять, что исправи-

лись?

— Да, Елизавета Петровна, беру Бога в свидетели, что с той минуты, в которую я заглянул в вашу чистую душу, все нечестное стало для меня ненавистно! О, сжальтесь надо мной...

Он неожиданно для Дубянской бросился перед ней на колени.

— Не бросайте меня в тьму безысходного отчаяния... Я так измучился! Пощадите!.. Будьте для меня тем же светлым ангелом надежды, как и для всех, кто вас знает.

— Встаньте, — сказала Елизавета Петровна. — Может быть, я прощу вас, когда буду убеждена в вашем исправлении.

— Благодарю, благодарю вас, — прошептал Алферов, по лицу которого струились слезы.

Он схватил край ее платья и горячо прижал его к губам.

— А теперь уйдите, — проговорила молодая девушка. — Я не могу больше выносить вашего присутствия.

— Позвольте мне остаться еще несколько минут, и я скажу вам вещи, которые докажут вам, что я и до этого старался быть полезным,

если не вам самим, то вашим друзьям. Вы ищете Любовь Аркадьевну Селезневу?

— Да, а вы знаете где она? — с поспешностью спросила Дубьянская.

— Она здесь, в Москве, вместе в Нееловым.

— Так дайте мне ее адрес... Я пойду к ней...

— Я сам не знаю, где они живут... Он тщателью скрывает это...

— Они обвенчаны?

— Нет. Он, кажется, даже собирается жениться на одной богатой купеческой дочке...

— Несчастливая! Одна, в чужом городе и в руках негодяя! — воскликнула Дубьянская.

— Теперь она не так одинока... У нее есть добрая и умная подруга.

— Кто это?

— Мадлен де Межен.

— Шансонетная певица?

— Она бросила сцену... Она теперь невеста Савина.

— Этого мошенника?

— Он оправдан.

— Вы тоже оправданы! — не удержалась Елизавета Петровна.

Алферов подавил вздох.

— Я прошу вас только повременить говорить кому бы то ни было о сообщенном мною вам. Я достану адрес или, в крайнем случае, устрою возможность вам видеться с Любовью Аркадьевной.

— Хорошо, но устройте это как можно скорее.

Егор Степанович поклонился и вышел.

Оставшись одна, Елизавета Петровна Дубянская почувствовала себя крайне несчастной.

Ей начало казаться то, что она оскорбила память отца, снизойдя до разговора с его убийцей, то, что раскаяние этого человека было глубоко и искренно, что было бы грехом отвергнуть его окончательно.

Девушка то плакала, то молилась, то глубоко задумывалась и измучила бы себя окончательно, если бы эту борьбу дочернего чувства с долгом христианским не прервало возвращение ее спутников.

Они рассказали ей все, что узнали в имении Неелова.

— Невозможно было добиться лишь одного, куда они уехали из имения, — заметил Се-

лезнев.

— Да, это вопрос, — вставил Долинский.

— Они в Москве, — заявила Дубьянская.

— Почему вы так в этом уверены? — в один голос спросили молодые люди.

— Я имею на это основание, которое пока сказать не могу... На этих днях я получу точные сведения.

— Вы где-нибудь были?

— Я не выходила из номера.

— Что же, вам птица на хвосте принесла все эти сведения? — произнес, смеясь, Селезнев.

— Если это птица, то коршун, выклевавший мое сердце.

Молодые люди посмотрели на нее широко раскрытыми глазами.

Они только сейчас заметили ее бледность и расстроенный вид.

— Что с вами? — спросил Долинский. — У вас кто-нибудь был и огорчил вас?

— Не спрашивайте меня... Я все равно раньше времени не могу вам ничего сказать... Я дала слово.

Они оба остались в полном недоумении.



Прошло несколько дней.

Алферов не являлся со своими сообщениями. Елизавета Петровна ходила в тревожном состоянии духа. Долинский и Селезнев не беспокоили ее вопросами и не возвращались к загадочному разговору о полученных ею сведениях.

В их уме даже появилась роковая мысль, что молодая девушка тронулась в уме.

Они оба продолжали свои розыски в Москве, бывая всюду, где собиралась публика.

Сентябрь в этом году стоял великолепный.

Погода была чисто летняя, теплая.

Сад «Эрмитаж» и Петровский парк по вечерам кишели публикой.

К последнему по Тверской улице тянулись длинною лентою всевозможные экипажи.

Однажды, вернувшись вечером домой, Долинский и Селезнев зашли по обыкновению в номер Елизаветы Петровны.

— Отгадайте, кого мы видели, Елизавета Петровна? — воскликнул Сергей Павлович.

— Не мастерица, — отвечала молодая девушка, грустно улыбаясь.

— Ну, так слушайте. Мы сейчас из Петров-

ского парка. Экипажей там и дам целые миллионы. Богатство — умопомраченье. Красавиц — не перечесть... Вдруг вижу несется коляска, которой позавидовала бы любая владетельная особа: кучер и лакей — загляденье, кони — львы. А в коляске сидят две дамы — одна, точно сказочная царица, другая поскромнее... Поровнялись они с нами, и... о, боги!.. Вторая оказалась Любовь Аркадьевна!

— Вы с ней говорили? — вскочила с кресла, на котором сидела, Дубянская.

— То-то же, что нет... Сергей так загляделся на первую, что не заметил сестры... Я тоже совершенно растерялся, а в это время коляска была уже далеко... Мы исколесили весь парк, но более их не встречали... Утешительно одно, значит Неелов и Любовь Аркадьевна в Москве.

— Я же вам говорила.

— Но кто эта красавица, которая с ней? — задумчиво произнес Сергей Аркадьевич.

— И это я знаю, — просто сказала Елизавета Петровна.

— Вы... знаете?.. — в один голос спросили молодые люди и невольно переглянулись

друг с другом.

— Знаю... Это — шансонетная певица Мадлен де Межен — невеста Савина.

— Откуда же у вас, однако, эти сведения? — серьезно спросил Сергей Павлович.

— Птица на хвосте принесла.

— Вы шутите!

— Я не шучу... Какое вам дело, откуда эти сведения, если они верны!

— Значит, и Савин здесь?

— Здесь.

— В таком случае, дело упрощается... Завтра же я разыщу Николая Герасимовича и через него найду и Неелова, и Любовь Аркадьевну, — сказал Долинский.

— Но как же ты разыщешь его? — спросил Селезнев;

— Очень просто... Он, несомненно, живет прописанный, ему нечего теперь скрывать...

— А кто же эта Мадлен де Межен? Его невеста?

— Ну, если хочешь, невеста... Он живет давно с ней... Эта связь началась еще за границей... Она его безумно любит, и эта любовь

побудила ее приехать в Россию в качестве шансонетной звезды... Она дожидалась его освобождения, и теперь они снова вместе...

— Однако, это все-таки не особенно подходящее общество для моей сестры, — сквозь зубы проговорил Селезнев.

— Это несомненно... Видимо, Неелов думает иначе.

— Я его заставлю думать так, как думают все порядочные мужья...

— Он не муж ее... — печально сказала Елизавета Петровна.

— Вы и это знаете?

— Я знаю даже, что он раздумал, видимо, на ней жениться и ухаживает за очень богатой московской невестой.

— Негодяй! Я его заставлю жениться под пулей! — воскликнул Сергей Аркадьевич. — О, только бы найти его.

— Не беспокойся, теперь найдем. И он от нас не увернется, — с нескрываемой злобой добавил Сергей Павлович Долинский.

— Боже мой, Боже мой, несчастная девушка, она теперь, может быть, сама не знает как вырваться из этого омута, в который броси-

лась очертя голову.

— Не беспокойтесь, она будет его законной женой, а затем может бросить его, если пожелает, — сказал Долинский.

— Утешительного мало. Разве в этом счастье?

— Но в этом сохранение чести... Однако уже поздно, пора в постели... Утро вечера мудренее. До завтра. Пойдем, Сергей Аркадьевич.

Молодые люди простились с Дубянской и отправились к себе в номер.

## XXV МЕДАЛЬОН

**Р**астрата в несколько десятков тысяч рублей, конечно, не могла произвести никакого затруднения в операциях банкирской конторы «Алфимов и сын» при ее громадных денежных оборотах.

Известие о растрате с быстротою молнии распространилось по городу, особенно после того, как на другой день газеты оповестили о ней в витиеватой форме. Несколько особенно осторожных вкладчиков явились вынуть свои капиталы, но когда контора тотчас же

выдала их, то на другой же день они принесли их обратно, приведя за собой и других.

Все, таким образом, для репутации конторы окончилось благополучно.

Корнилий Потапович, занятый всецело возможностью овладеть Ольгой Ивановной, не обратил особого внимания на случившееся и после ареста Сиротинина снова пришел, к удовольствию Ивана Корнильевича, в хорошее расположение духа.

Праздник, данный им на даче, не привел его к желаемым результатам, а потому он решил начать сезон необычайным по роскоши и затеям бал-маскарадом.

Этот праздник был назначен на 8-е октября.

За несколько дней перед ним графиня Надежда Корнильевна задумчиво сидела в своем будуаре уже на зимней квартире.

На глазах ее сияли слезы умиления.

«Итак, меня связала теперь с мужем новая неразрывная и святая связь!» — думала она.

«А тот, милый, желанный, несчастный! Теперь я обязана отнять у него даже тот невинный залог — медальон... Как он страдает-

ся... О... Петя, если бы ты только знал, какую жертву мы приносим».

Дверь тихо отворилась.

— Надя, ты плачешь! Ты все еще несчастна! — проговорил граф Вельский.

— Нет, Петя, эти слезы не горькие... Эти слезы светлые, перед новой жизнью, которая должна настать для нас... Теперь не ради одной меня ты должен отказаться от своих...

Он понял.

На глазах у него выступили слезы никогда неизведанного счастья.

Он стал обнимать жену и с невыразимой нежностью целовал ее.

— Письмо от госпожи Руга! — доложила, входя Наташа.

— Могла бы и подождать! — заметил граф Петр Васильевич, с видимым отвращением распечатывая конверт.

Графиня смотрела на него вопросительным взглядом.

— Она зовет меня на генеральную репетицию, — проговорил он, пробежав записку глазами. — Скажи, Наташа, что я не приеду...

— Благодарю! — произнесла графиня с чув-

ством. До позднего вечера провел граф в будуаре графини.

«Со вчерашнего дня я совсем другой человек, — думал граф Петр Васильевич, проснувшись утром, — Да, эти чистые слезы, эти светлые радости не сравнятся ни с какими другими наслаждениями! И зачем только понадобилось Корнилию Потаповичу именно в эти дни сводить со мною счеты», — продолжал он, схватывая со стола лист, испещренный цифрами.

«Да, дела расстроены!.. Необходимо отыгаться. И это разве будет отступлением от моей клятвы? Ничуть... Я сделаю это ради жены!..»

Размышления эти были прерваны приездом графа Стоцкого.

— Здравствуй... — проговорил он, входя. — Рад видеть, что ты здоров и невредим, а то вчера на репетиции все думали, что ты болен.

— Нет, я был дома. Да и надоел мне, по правде сказать, весь этот разврат, — несмело сказал Петр Васильевич.

— Неужели и игра? А вчера как раз вышла замечательно интересная, метал князь Аслан-



беков, и Гемпель выиграл горы...

— А я так не завидую даже и Гемпелю... Я провел дивно вечер.

— С кем? С Ольгой Ивановной? Теперь понимаю, почему ты отвоевываешь ее у тещушки и нажил себе в нем врага. Только потом, когда ты будешь с деньгами...

— Перестань... Я восстаю против его исключительств потому, что так хочет моя жена, и я вчера сидел дома с женою и был счастлив.

— И воображаю как! Женщины всегда очень милы, когда у них не чиста совесть...

— Я требую, чтобы ты сказал мне сейчас, говоришь ли ты вообще или о моей жене? — вскричал граф Петр Васильевич, бледнея.

— Не требуй, милый юноша, можешь ненароком обжечься... — холодно возразил Стоцкий.

— Повторяю, я требую! — яростно крикнул граф Вельский.

— Да и к чему говорить тебе, я уже предупредал тебя, а ты не веришь.

— Ты говорил тогда бездоказательно.

— А теперь могу привести и неоспоримое

доказательство.

— Говори.

— Но к чему это? Оставим лучше.

— Говори.

— Тебе будет горько...

— Нет, я требую, я прошу, я умоляю.

— Ну, хорошо, но помни, что ты сам просил.

— Помню, помню.

— Но так как я люблю, чтобы слова мои имели свой настоящий вес, дай мне прежде всего слово, что ты не станешь бесноваться и попусту скандалить, а выслушаешь меня спокойно, как подобает мужчине, и доведешь дело до конца, чтобы оно выяснилось само собою.

— Постараюсь... Даю...

— Помнишь тот медальон, который ты подарил жене в день рождения?

— Ну да, да.

— Попроси ее надеть его на бал.

— Что ты хочешь сказать?

— Его у нее нет...

— Где же он?

— Он у того человека.

— Я сейчас задушу ее! — проскрежетал граф Петр Васильевич.

— И этим испортишь все дело! Пока ты должен быть так же ласков и спокоен, как был вчера, до самого бала... А когда все откроется, то и тогда бесноваться тебе не расчет. Расстаньтесь спокойно, потому что все состояние теперь — ее.

— Графиня готова и просит ваше сиятельство, — доложил лакей.

— Не пойду! — рявкнул граф.

— Ты уж начинаешь... — заметил ему граф Сигизмунд Владиславович. — Пойми же...

— Это правда... — сознался граф Вельский. — Сейчас буду, — ответил он лакею.

Граф Стоцкий простился и вышел.

8 октября дом Алфимова и снаружи, и внутри был залит огнями.

Казалось, что в эту ночь в его роскошных залах, частью обращенных в сады, собрались представители всех народов, званий и положений, не исключая и творений человеческой фантазии, начиная с мифологического Зевеса и кончая шаловливым эльфом.

Граф и графиня Вельские по праву моло-

дых хозяев дома своего тестя были незаконстумированы.

Граф мрачно стоял у входа.

К нему подошел человек в костюме Мефистофеля и тихо его спросил:

— Исполнил ты мой совет? Она ничего не подозревает.

— Тяжело мне было дьявольски, но все сделано, как ты говорил.

— Да вон и она... — шепнул граф Стоцкий — это был он — указывая на графиню, появившуюся в зале в сиянии своей спокойной и грустной красоты.

Граф Петр Васильевич бросился к ней, едва разыгрывая роль восхищенного.

— А отчего ты не надела моего медальона? — спросил он между прочим.

— Если ты его так любишь, я следующий раз надену... — ответила она, видимо, смущенная.

— Я говорю, чтобы ты надела его именно сегодня, — почти крикнул граф, теряя самообладание.

Этот тон оскорбил графиню.

Она невольно оглянула стоявших вокруг

и заметила, что Мефистофель обменялся знаками с какой-то боярыней.

— Хорошо, я съезжу домой, если тебе так хочется! — ответила она мужу.

— Да, поезжай, я хочу, чтобы на тебе был мой медальон... — прохрипел граф.

Графиня удалилась.

— О, как я отомщу... — скрежетал Петр Васильевич.

— Напрасно! — возразил Мефистофель. — Помни ее богатство!.. Лучше ступай и развлекись. Посмотри, какая там прелестная фея...

Граф Петр Васильевич нехотя оглянулся, но увидя нечто, действительно, очаровательное, решил развлечься, как сумеет.

— Почему ты такая грустная, прелестная фея? — спросил он, подходя.

— И феи не могут не плакать, когда их добрые дела разрушаются, — ответил ему знакомый гармонический голосок.

— Ольга Ивановна! — вскрикнул он. — И вы печальны! Помните, вы обещали мне быть моим другом? Ну, станем и плакать, и утешаться вместе. О, Ольга Ивановна, я ужасно страдаю.

— Это я заметила днем дома. Но что с вами? Ведь ваши отношения к Наде поправились...

— О! Не говорите мне о ней! У меня с нею все покончено! И если я в чем вижу милость Бога ко мне, то это в том, что возле меня вы.

Они сидели в густо увитой со всех сторон зеленью беседке.

— Что вы говорите? — прошептала она.

— Правду, только правду...

Он схватил ее руку, привлек ее к себе и страстно, приподняв маску, поцеловал в губы.

У несчастной, давно беззаветно привязанной к нему девушки закружилась голова.

Тут была и жалость, и дружба, и страсть.

— Я полюбил вас с первого взгляда... — нашептывал ей граф Петр Васильевич. — И это вечное, вечное молчание! Вечная невозможность высказаться! Ну, хоть сегодня, Оля, когда я понял свое несчастье и весь свой позор, сжался, позволь мне прийти в отведенную тебе комнату по окончании бала и отвести с тобою душу. Нам тогда никто не помешает.

— Хорошо... Я не запру своей двери... Моя комната здесь по коридору, вторая дверь...

— А нам с женой отвели наверху... Я благоговяю фантазию тестя, который настоял, чтобы мы ночевали у него, а завтра присутствовали на интимном завтраке. Сначала я не понимал, зачем он этого во что бы то ни стало желает, а теперь я не хочу и доискиваться причины... Я вследствие этого буду счастлив.

Прошло еще четверть часа.

Вдруг в дверях залы появилась графиня Надежда Корнильевна. На ее шее ярко сверкал бриллиантовый медальон в виде сердца. Граф Петр Васильевич взглянул и бросился к ней, как безумный.

— Что это значит? — спросил ошеломленный граф Стоцкий.

— Понять не могу! — отвечала Матильда Францовна.

— Значит, и ночное свиданье голубков не состоится?

— Это-то ничего! — отвечала Руга, вместе с графом Сигизмундом Владиславовичем подслушивавшая разговор в беседке. — Приманка посажена, и вся разница в том, что вместо одной рыбки попадет другая...

— Я не понимаю...

— Ускользнул молодой — попадет к ней старик, он на это и рассчитывал, устраивая праздник на два дня...

— А-а...

В двенадцать часов гости Корнилия Потаповича все съехались, и бал оживился еще более.

Затем в одной из зал взвился занавес, и за ним открылась прелестная живая картина «Шалости амура».

В ней Матильда Руга не пощадила никого и ничего, лишь бы угодить вкусам старика Алфимова.

Старый банкир был в неопisanном восторге.

В картине было много такого, что побудило графиню ускользнуть из залы в другие комнаты.

— Мне и самому это противно... — гадливо сказал, провожая ее, граф Петр Васильевич. — Один миг с тобою, или эта мерзость!.. Но это скоро, вероятно, кончится.

Возвращаясь в зал, он встретил Ольгу Ивановну, которая тоже спешила уйти.

— Как тянется вечер... — заметила она ему.



— О, я тоже не дождусь конца, мне предстоят дивные мгновенья! — отвечал он. — Я теперь так счастлив...

«Это я ему дала такое счастье!» — думала девушка с радостным трепетом.

## XXVI ЗАПАДНЯ

**Н**а сцене между тем следовали одна за другой самые соблазнительные живые картины.

— Вы просто превзошли сами себя, Матильда Францовна! — восторгался Корнилий Потапович. — Это восхитительно.

— Я готовлю вам сегодня еще один сюрприз, только скажите, когда вы отдадите за него обещанные десять тысяч.

— Вы это об Ольге Ивановне? Да быть этого не может!.. А деньги хоть сейчас... Чек на контору.

— Ну, хорошо же... Стойте здесь и ждите.

Через минуту к старику Алфимову подошла одна из подруг Матильды Францовны и что-то долго втолковывала ему.

— О, благодарю, благодарю, понимаю! — воскликнул старик. — Я никогда не забуду

этой услуги.

Собеседница удалилась, и к Корнилию Потаповичу, на губах которого играла плотоядно-довольная улыбка, подошел граф Стоцкий.

— Вы понимаете, конечно, — заговорил Сигизмунд Владиславович, — что все это устроил граф Петр Васильевич с целью доставить вам удовольствие, и вы как порядочный человек обязаны отблагодарить его.

— Да чего же он хочет?

— Он желал бы, чтобы часть приданого его жены была ему передана, если возможно, тотчас же.

— Тотчас же?.. Но ведь он сильно мотает деньги, играет... Ну, да хорошо, хорошо, обещаю... Только позвольте, мне нужно переодеться.

Ольга Ивановна между тем ходила под руку с Матильдой Францовной Руга.

Нельзя сказать, чтобы она особенно симпатизировала этой женщине, но с первого разговора с ней в саду своего отца в Отрадном, молодая девушка чувствовала к ней какое-то непонятное для нее самой влечение, точно Руга своими блестящими глазами, как и бле-

стящими драгоценными камнями, гипнотизировала ее.

Предсказания певицы почти сбывались.

В ушах, на груди и на руках Ольги Ивановны Хлебниковой тоже блестели драгоценные камни, хотя и не выдерживавшие сравнения с украшениями певицы, но и о них там, в Отрадном, молодая девушка не смела и мечтать.

Ольга Ивановна теперь уже хорошо понимала, насколько была права Руга, говоря, что от ее, Ольги Ивановны, желания зависит быть осыпанной золотом и бриллиантами.

Эта житейская опытность красивой, блестящей женщины, ее первой учительницы жизни, заключала в себе, быть может, то притягательное обаяние для молодой девушки, от которого она уже два года не могла освободиться.

Обе женщины прошли в буфетную залу.

Убранство ее было шедевром декоративного искусства и роскоши.

Громадный буфет был переполнен всевозможными яствами и напитками. Тысячи разноцветных электрических огней отражались в массивных серебряных вазах с фруктами и

старинных жбанах с шампанским.

— Я хочу смертельно пить, — сказала Матильда Францовна.

— Я тоже не прочь выпить чего-нибудь прохладительного, — отвечала Ольга Ивановна.

— Я сейчас добуду и себе, и вам, — сказала певица. — Садитесь здесь.

Она указала на свободный мраморный столик, множество которых было расставлено в обширной зале.

Хлебникова села, а певица направилась к одному из буфетов, где было не так тесно, как у других.

Вскоре она вернулась с двумя стаканами шампанского, в один из которых незаметно для Ольги Ивановны влила какой-то жидкости, находившейся у нее в маленьком золотом флакончике-брелоке, висевшем на браслете.

Барон Гемпель, взявшийся услужить ей, принес серебряную тарелку с двумя великолепными дюшесами.

— Кушайте, моя крошка... Это вас освежит... В залах становится жарко.

— Какая масса народа.

— Праздник выдающийся.

Ольга Ивановна, действительно хотевшая пить, почти залпом выпила бокал шампанского.

Вино действительно подкрепило ее, а то она стала уставать, так как бал уже приближался к концу.

«А мне надо еще беседовать с графом... — думала молодая девушка. — Я все-таки уйду к себе раньше».

Руга между тем весело болтала с бароном, внимательно следя за стаканом Хлебниковой.

Когда он был выпит молодой девушкой до дна, на губах певицы появилась довольная улыбка.

— Кусочек дюшесы... Груши замечательно сочны и вкусны, — предложила Матильда Францовна.

Ольга Ивановна принялась за грушу.

Вскоре они покинули буфетную залу и вернулись в танцевальную.

Танцевали мазурку.

При появлении обеих дам несколько кавалеров бросились выбирать их.

Руга согласилась и быстро умчалась в вихре этого увлекательного танца, а Ольга Ивановна отказалась.

Она чувствовала себя как-то не по себе.

В висках стучало, сердце усиленно билось... Кровь, казалось ей, горячим ключом клокотала в жилах.

«Что со мной? — думала молодая девушка. — Неужели на меня так подействовало вино?»

Она прошла по залам и направилась в отведенную ей комнату. Там она в необычном волнении бросилась на диван. Вокруг царил черная темнота.

Она распустила шнуровку у лифа, заменявшего в ее костюме феи корсет.

Ей казалось, что одежда давит ее.

«Я запру дверь и лягу. Я не хочу говорить с ним...» — подумала она и направилась к двери.

Последняя вдруг бесшумно отворилась и заперлась. Чьи-то сильные руки обхватили ее, и на лицо и шею посыпались страстные поцелуи.

— Перестаньте, граф! Пощадите! Ведь вы

хотели говорить со мной по-дружески... — прошептала она, силясь вырваться из объятий.

Но этого ей не удалось. Объятия все сжимали ее, поцелуи жгли. Она кончила тем, что стала отвечать на них в каком-то полубессознательном экстазе.

«Пала! Опозорена! Погибла!» — как молотом стучало в голову Ольги Ивановны при первом ее пробуждении на другой день.

Сердце сжималось невыносимой болью, и несчастная девушка замерла в своей безысходной скорби, не отдавая себе отчета во времени.

Вошедшая в комнату Хлебниковой на другой день Наташа, тоже переселившаяся в дом Корнилия Потаповича вместе с графом и графиней, просто ахнула.

— Что с вами, барышня, на кого вы похожи?.. Вы больны?.. Надо за доктором.

— Нет, я просто устала... И сегодня не выйду... — преодолевая себя, ответила Ольга Ивановна.

Костюмированный бал Корнилия Потаповича происходил накануне дня его рождения,

а потому на другой день более близкие люди собрались к роскошному завтраку-обеду, назначенному, в виду позднего окончания бала, в четыре часа.

В числе таких близких был граф Стоцкий и Матильда Руга.

— Ума не приложу, как это могло случиться: откуда она взяла медальон? — говорила певица.

— Я тоже остолбенел, когда увидел его на ней, — ответил Сигизмунд Владиславович.

— Необходимо разузнать... А пока, чтобы избавиться от ее влияния графа Петра, надо хоть увезти его куда-нибудь.

Она не договорила, так как в гостиную, где ждали гости новорожденного, вошел Корнилий Потапович.

— Ну, Матильда Францовна, — заговорил он, — моей благодарности к вам суждено все расти и расти... Но вопрос, что будет дальше, как объяснить ей эту ошибку с ее стороны.

— Ничего, Корнилий Потапович, все обойдется, ей теперь нет выбора... — заметил граф Стоцкий. — А вот граф Петр, он виновник вашего счастья.



Старик Алфимов сам пошел ему навстречу. Граф Вельский поздравил тестя.

— Порадовал ты меня подарком вчера, а я умею быть благодарным.

— Каким подарком?

— Однако, ты отличный актер.

— Я не понимаю вас, Корнилий Потапович! — воскликнул граф Петр Васильевич.

— Ну, ну, не горячись, я понимаю, что это щекотливо... Но у тебя отличный адвокат, граф Сигизмунд Владиславович, он говорил мне о твоих делах... а я устроил... Вот.

Старик торопливо сунул в руку графа свернутую бумажку и тотчас отошел.

Граф Вельский развернул ее.

Она оказалась чеком на сто тысяч рублей.

— Что за чудеса с ним? И какие он пустяки мне сейчас болтал? — спросил граф Петр Васильевич графа Сигизмунда Владиславовича, показывая ему чек.

— Очень просто, я знал о твоих затруднительных обстоятельствах и уговорил его.

— Но о каком подарке он толковал?

— Ах, это пустяк! Просто была маленькая уловка, чтобы его умиловить.

— Спасибо, Сигизмунд, за дружескую услугу.

— Радуюсь, что ты еще веришь моей дружбе и не считаешь меня за клеветника по поводу той истории с медальоном... Но это дело еще не окончено, а пока позволь мне дать тебе совет.

— Что такое? — холодно спросил граф, которого история с медальоном действительно несколько восстановила против графа Стоцкого.

— Брешь в твоих делах заткнешь этими ста тысячью только на время... Что же будет дальше?.. Очевидно, тебе необходимо отыграться... Здесь же невозможно... Твоя жена...

— Оставь в покое мою жену.

— Ну и разные другие обстоятельства, — не смущаясь, продолжал граф Сигизмунд Владиславович. — Поезжай в Монте-Карло. Там при счастье и уменье можно выиграть миллион... Я сам знаю одного недавно приехавшего оттуда такого счастливица.

Глаза графа Петра Васильевича заблестели.

Игра была его главной страстью.

Матильда Францовна между тем разговаривала с графиней Надеждой Корнильевной, и та, хотя положительно знала, что говорит со своим заклятым врагом, но не могла от нее отделаться.

Руга хвалила вчерашний праздник и намекнула, что заметила мрачное расположение графа Петра Васильевича в начале бала.

— Да, Петя бывает иногда капризен... — сказала графиня. — Вчера он вдруг обиделся, что я не надела подаренный им мне недавно медальон.

— Какая странность, графиня, — наивно сказала певица. — Я недавно видела точно такой же медальон у одного доктора, Неволина... Он был так сконфужен... Вы его знаете, конечно, Графиня.

— Я знаю его, Матильда Францовна, но не знаю, зачем вы мне это сообщаете... — проговорила Надежда Корнильевна, глядя ей в глаза, спокойно, гордо и холодно, — хотя знаю также, что если вы передадите это и моему мужу, то ошибетесь в расчете... Он верит мне, и между нами нет тайн... И скоро он окончательно научится различать своих истинных

друзей от таких, которые его эксплуатируют.

Опытная интриганка Руга растерялась перед спокойной чистотой графини и не знала, что сказать, но на ее счастье к ним подошел Корнилий Потапович.

— Дитя мое, говорят, Ольга Ивановна заболела и уехала к себе.

— Когда, как? — встревожилась графиня.

В это время в гостиную вошла Наташа и подала Надежде Корнильевне письмо.

— Кто принес?

— Ольга Ивановна просила передать вашему сиятельству, — сказала горничная и удалилась.

Графиня вскрыла письмо и прочла следующее.

*«Я бегу, как преступница, Надя. Не разыскивай меня, не разузнавай и причин, которые побуждают меня бежать... Я уже никогда, никогда не должна видеть ни тебя, ни... его. Не сожалей обо мне, что бы ты ни услышала. Я сожаления не стою.*

*Ольга».*

— Что это значит, что это значит? — спрашивала графиня взволнованным голосом, передавая письмо подошедшему мужу.

«Вчера я оскорбил ее!» — промелькнуло у него в голове и сердце его болезненно сжалось.

— Положительно ничего не понимаю, — вслух прибавил он, пожав плечами. — Надо вернуть ее и разузнать.

Он быстро вышел.

— Ну, вот теперь если с нею что-нибудь случится, все станут обвинять меня! — жаловался старик Алфимов Матильде Францовне. — Это способно отравить всякое удовольствие.

— Полноте! Все станут винить не вас, а графа Петра Васильевича.

— Ах, да, да! Вот это отлично!

«Еще бы! Как не отлично! Теперь вы оба у нас в руках», — думала Матильда Руга.

## XXVII

### РАЗРУШЕННЫЕ КОЗНИ

**Ч**тобы объяснить разрушенную интригу графа Стоцкого и Матильды Руга с медальоном, взятым, если припомнит читатель,

почти насильно доктором Федором Осиповичем Невוליным у Надежды Корнильевны, и появление этого медальона снова на груди графини Вельской к положительному недоумению интриганов, нам необходимо вернуться за несколько времени назад.

Разговор между графом Стоцким и графом Петром Васильевичем после вечера, проведенного последним с женой, признавшейся ему, что она готовится быть матерью, был подслушан горничной графини — Наташей.

Преданная своей барыне, любящая ее до обожания, молодая девушка, убедившись, что «черномазый», как она звала графа Сигизмунда Владиславовича, интригует против Надежды Корнильевны и восстанавливает против нее графа, не упускала случая, чтобы не подстеречь, когда граф Петр Васильевич останется наедине со своим приятелем, и не подслушать, не плетет ли что «черномазый» на графинюшку.

Так было и в тот раз, когда Сигизмунд Владиславович торжественно предъявил доказательство неверности графини Надежды Корнильевны, предложив графу Вельскому по-

просить ее надеть подаренный им медальон на бал к Корнилию Потаповичу.

Граф Стоцкий постарался успокоить взбешенного графа и объяснил ему, что доказательство будет полно и несомненно только тогда, когда он потребует, чтобы его жена надела медальон в день бала или даже лучше всего, когда бал начнется, иначе-де она может вернуть его от «того человека», то есть от доктора Неволлина, на время или навсегда.

Мы знаем, что граф Петр Васильевич сдержался и последовал совету своего коварного друга. Друг оказался неправым. Медальон заблестал на шее графини и своим блеском рассеял мрак опутавшей было ее гнусной интриги.

Но вернемся к рассказу. Подслушав этот разговор и быстро сообразив, что барыне готовится крупная неприятность, даже несчастье, Наташа в тот же вечер, захватив с собою футляр, в котором был медальон и на котором была выгравирована фирма ювелира Иванова, отправилась к доктору Неволлину.

Федор Осипович жил на Загородном проспекте и занимал хорошенькую холостую

квартирку в четыре комнаты.

Успокоенный сознанием, что любимая им женщина тоже любит его, вырастив в своем сердце какую-то странную уверенность, что так или иначе, несмотря на то, что она замужем, они будут счастливы в недалеком будущем, Неволин рьяно принялся за работу над подготовлением к докторскому экзамену и диссертации, а также занялся практикой, которая началась для молодого врача очень удачно.

Этим он отчасти обязан был «знаменитости», при помощи которой Корнилий Потапович Алфимов отправил его в почетную ссылку.

«Светило медицинского мира», быть может, чувствуя угрызения совести по поводу той роли, какую он сыграл в судьбе молодого врача, стал чрезвычайно благоволить к нему и назначил даже своим ассистентом.

Небольшая планета, восшедшая на петербургском медицинском горизонте в лице Федора Осиповича Неволлина, позаимствовав свой свет от этой самосветящейся звезды, засветилась, в свою очередь, довольно ярким



блеском, и пациенты, как бабочки в темную летнюю ночь, полетели на этот свет.

Имя Неволина стало понемногу приобретать известность в столице.

В числе его пациенток была и Знаменитая певица Матильда Францовна Руга.

Почти еженедельно, а иногда и чаще певица призывала его к себе, жалуясь на недомоганье, расстройство нервов, головные боли.

Доктор осматривал больную, обыкновенно не находил ничего опасного (собственно, не находил ничего), прописывал успокоительное и, получив хорошую визитную плату, уезжал.

Матильда Францовна попробовала было над ним силу своего кокетства, неотразимую для других мужчин, но на Неволина она не произвела, к озлоблению красивой женщины, ни малейшего впечатления и таким образом увлечь молодого врача и выпытать от него его отношения к графине Вельской, для чего собственно и лечилась так старательно здоровая певица, не удалось.

— Стрелы амура не действуют... — шутил граф Стоцкий, когда его сообщница передава-

ла ему безуспешность своего кокетства.

— Как стене горох.

— Значит, он любит ее искренно... — заметил граф.

— Идиот! — озлобленно умозаключала Ру-га.

— Видно, под них не подкопаешься... — подзадоривал ее Сигизмунд Владиславович.

— Поверьте, что я-то подкопаюсь, не я буду... — кипятилась Матильда Францовна.

— Едва ли...

— Не злите меня.

— Расстроятся нервы, пошлете за Неволинным... Да смотрите, не влюбитесь сами не хуже того, как он влюбился в графиню. Это бывает. Еще Пушкин сказал:

*Чем меньше женщину мы любим,  
Тем больше нравимся мы ей...*

— Не беспокойтесь, не влюблюсь ни в Неволина, ни в вас.

— Я, кажется, об этом беспокоюсь меньше, чем Неволин.

— А мне это безразлично, на мой пай и других дураков хватит.

— Других... Остается благодарить.

— Не стоит благодарности.

В ночь после этого разговора Матильда Францовна долго совещалась со своей камеристкой, вертлявой хорошенькой девушкой Иришей, обыкновенно ходившей к доктору Неволину с приглашением от барыни и сумевшей пленить сердце лакея Федора Осиповича, красивого, молодого франтоватого Якова.

— Не извольте беспокоиться, Матильда Францовна, в лучшем виде все выпрошу и такое наблюдение устрою, не хуже сыскной полиции, потому что Яков у меня вот где.

Ириша топнула ножкой, обутой в изящные ботинки, отданные ей барыней.

— Так смотри же, можешь, пока я сплю, хоть каждый день туда ездить, извозчик на мой счет. Да возьми себе мое голубое платье.

— Очень вам благодарна, ангел вы, а не барыня! — бросилась целовать руки Матильды Францовны Ириша.

— Только обо всем мне сообщить!

— Будьте покойны, все разузнаю и выпрошу. Он — Яков-то — передо мной ведь тает и

млеет, на манер мокрой курицы.

— Понимаю, понимаю, — улыбнулась Руга.

Разузнать Ирише, впрочем, долго многого не пришлось, несмотря на то, что Яков не чувствовал под собой ног от радости, когда предмет его мечтаний и настойчивого ухаживания сам явился к нему, особенно узнав цель этого появления.

— К барину? — спросил он. — Уехал с визитом.

— Ну вас к ляду с вашим баринком, — лукаво улыбнулась Ириша. — Урвалась на минутку. Семь-ка,[12] думаю, посмотрю, не завел ли мой Яков какую ни на есть зазнобушку. Испытать захотела, словам-то мужчин тоже верить, ох, погодить надо.

— Ну, уж касательно меня это, совсем напротив, — весь сияя от счастья, произнес Яков, все стоя перед Иришей в передней и любуясь ее стройной фигуркой, одетой по-модному.

— Так гостью тут на торчке и принимать будете? — спросила, улыбаясь, молодая девушка.

— Ах, я телятина, пожалуйста ко мне в го-

ренку!

— То-то же.

Так начались счастливые дни для Якова Никандровича, как звали полным именем лакея Неволина. Посещения «от себя», а не «от барыни», Ириши участились, она сама даже как будто привязалась к своему поклоннику, с которым ее связывало секретное поручение барыни. Предупредительная любезность, возможное исполнение капризов, маленькие подарки, все льстило самолюбию Ириши и заставило ее, если не любить, то «уважать», выражаясь жаргоном петербургских горничных, Якова Никандровича. Расспросы о барине, однако, повторяем, были безрезультатны, несмотря на то, что влюбленный Яков готов был выложить все перед своей возлюбленной.

— Занимается, ездит по визитам, у себя принимает больных, — вот все, что мог рассказать о жизни Неволина его лакей.

— А барыни-то у вас бывают?

— Больные бывают.

— Ну, может, эта болезнь-то одна прилика?

— Нет, этого не заметно. Можно сказать,

что этого нет. Я сам диву даюсь. Молодой, из себя красивый, а живет монах монахом.

— Не врешь?

— Перед вами-то... Да я как на духу.

— Так-таки совсем и живет без женского сословия?

— Может, где сам бывает, мне не известно, а чтобы у нас, ни-ни...

Ириша все неукоснительно докладывала Матильде Францовне. Та была недовольна, хотя видела, что ее наперсница искренна и получала сведения из верного источника.

«Пожалуй, и впрямь не подкопаюсь под них...» — кусала Руга себе губы.

Случай — этот слуга дьявола — пришел к ней на помощь.

Однажды, заехав утром к Якову, когда Федор Осипович только что уехал в больницу, Ириша застала своего возлюбленного за уборкой комнат и вместе с ним вошла в спальню Неволлина.

Вдруг в глаза молодой девушки бросился лежавший на мраморной доске умывальника осыпанный бриллиантами медальон на золотой цепочке.

— Это чей?.. — схватила она его. — Ты чего же мне, пес, врал, что никакого женского словия у твоего барина не бывает, что монах-де он монахом. Ишь расписывал, а что это, мужская вещь, по-твоему, забыла зазнобушка ранним утречком...

Яков насилу мог прервать разглагольствования Ириши.

— Экая беда какая. Схоронись ко мне в горенку. Сейчас, значит, вернется.

— Кто вернется, она?

— Какая там она, никакой тут «ее» нет. Барин медальон, завсегда на нем, на теле носит. Только второй раз позабывает, умываясь, так в первый раз приехал назад бледный, весь дрожит... и прямо к умывальнику.

— Рассказывай, рассказывай, так я и поверила... — заметила Ириша, продолжая любоваться медальоном. — Хорошая вещица, дорого стоит.

В это время в передней раздался сильный прерывистый звонок.

— Он... Положи на место и схоронись.

Ириша вздрогнула от звонка, положила на умывальник медальон и скрылась в комнату

Якова. Это действительно возвратился Федор Осипович и прямо прошел к себе в спальню и, взяв забытый медальон, тотчас же уехал.

Ириша убедилась, что Яков ей не врал.

«А все-таки, значит, зазнобушка у него есть», — решила молодая девушка.

— Может, померла она, в память носит... — высказал свое соображение Яков.

— Может быть... — согласилась Ириша.

В тот же день Матильде Францовне была доложена ею во всей подробности история с медальоном, который был точно описан молодой девушкой.

— Ты говоришь, в виде сердца?..

— Так точно-с.

— Весь осыпан бриллиантами?

— Да-с...

— Хорошо, ступай... Благодарю тебя... Это очень важно... Можешь взять себе мой бархатный лиф, шитый стеклярусом.

Ириша поцеловала руку у своей барыни и вышла.

«Это тот медальон, который граф подарил своей жене в день ее рождения», — решила Руга.



Она на другой же день при свиданьи сообщила об этом графу Стоцкому.

На этом и была расставлена сеть графине Надежде Корнильевне, если бы Наташа, подслушав разговор двух графов, не приняла меры и не свела гнусных замыслов интриганов к нулю.

Наташа застала Федора Осиповича дома.

— Доложите, — сказала она Якову.

— Как прикажете? — спросил тот, приняв ее за барыню.

— Скажите, что Наталья Ивановна.

Яков доложил.

— Проси сюда! — сказал Неволин, догадавшись сейчас, кто была посетительница, и, встав от письменного стола, начал ходить нервными шагами по кабинету.

— Ты от барыни? — дрожащим голосом спросил он, когда Наташа вошла в кабинет, плотно притворив за собою дверь.

— Никак нет-с... Не от их сиятельства, а по поводу их...

— То есть, как это? Что случилось?

— Пока еще ничего, Федор Осипович, а может случиться, ой, нехорошее дело для их сия-

тельство.

— Что такое? Говори...

Наташа, не торопясь, обстоятельно передала содержание подслушанного ею разговора между графом Стоцким и графом Петром Васильевичем.

— Если теперь узнают, что медальона у графини нет, беда будет, — заметила она.

— Я с ним не расстанусь, — как-то болезненно выкрикнул Неволин.

— Понимаю-с я, даже очень, что вам, Федор Осипович, тяжело, а все надо придумать, как и графиню из беды вызволить. Я вот футлярчик от медальона принесла. Где он куплен, значит...

Она остановилась.

— Что же дальше? — спросил Федор Осипович, глядя на нее помутившимися глазами.

Перспектива расстаться с медальоном, который он хранил как святыню, отняла у него способность соображать.

— Может, подумала я, в магазине точно такой же найдете медальон... — продолжала Наташа.

— А, понимаю... Давай футляр.

Наташа подала.

— А если я не найду, что тогда? — спросил Неволин.

— Придется, Федор Осипович, хотя на время отдать его, чтобы не подвести барыню.

— О, Боже мой... Теперь открыты магазины?

— Надо быть, открыты... еще не поздно.

— Едем.

Неволин отпер ящик письменного стола, вынул оттуда все свои сбережения за последнее время и, сунув деньги в карман, вышел вместе с Наташей в переднюю и затем, надев с помощью своего лакея пальто, вышел из квартиры.

Яков ничего не подозревал, предположив, что барин уехал к больной.

К счастью Федора Осиповича, у ювелира Иванова оказался медальон точь-в-точь такой же, как был у него.

Заплатив, не торгуясь, за него триста шестьдесят рублей, он отдал его Наташе.

В тот же вечер последняя подала футляр с медальоном графине;

— Он возвратил! — побледнела Надежда

Корнильевна, хотя, как припомнит читатель, сама собиралась взять его обратно у Неволина.

— Нет, нет-с... Разве он с ним расстанется, умрет скорее, чем отдаст... Это другой.

— Я не понимаю.

Наташа рассказала все по порядку.

— Благодарю тебя, ты истинный друг... — сказала растроганная графиня.

Таким образом, козни графа Стоцкого и певицы Руги были на этот раз разрушены.

## XXVIII

### РАЗБИВАЮЩИЕСЯ МЕЧТЫ

Елизавета Петровна Дубянская была отчаянно права.

Любовь Аркадьевна Селезнева хотя еще смутно, но начинала понимать, что, доверившись любимому человеку, сделала непоправимую жизненную ошибку.

Перспектива вечной, как ей казалось, близости к любимому человеку, наполнившая все ее существо сладким трепетом, через несколько дней после бегства сменилась томительным гнетущим сомнением.

Беглецы на лошадях, чтобы замести след,

доехали до Колпина, где сели в купе первого класса и прямо поехали в Москву.

Не останавливаясь в Белокаменной, Неелов с похищенной им «невестою», каковою Любовь Аркадьевна считала себя, и каковою считал ее первое время совершенно искренно и Владимир Игнатьевич, отправился во вновь купленное имение.

Погода, как мы уже говорили, в тот год стояла прекрасная, и влюбленные провели на лоне природы несколько дней, упиваясь восторгами близости и свободы.

Любовь Аркадьевна в чаду своего счастья позабыла обо всем, о родителях и даже об обещании тотчас же венчаться, данном ей любимым человеком.

Ей казалось, что чудным мгновениям, часам блаженства никогда не суждено кончиться.

Она начала только жить полною жизнью женщины, пресыщение наслаждениями любви было далеко от нее — она не допускала и мысли о возможности охлаждения со стороны ее ненаглядного Володи; что же касается себя самое, то она думала, что никогда не из-

менится к нему.

Но, увы, охлаждение мужчины наступило скоро.

Поживший, и сильно поживший, Неелов, поддавшись обаянию молодого, красивого, полного жизни существа, почувствовал сам прилив невозвратной юности и вернувшейся пылкой страсти, но, увы, это было проходяще: наступила реакция, и утомленный наслаждениями Владимир Игнатьевич вдруг стал тяготиться ласками своей молодой подруги.

Любовь Аркадьевна с ужасом сделала это открытие.

Она не понимала, что это происходило от невозможности с его стороны ответить на эти ласки, это раздражало его самолюбие, как мужчины.

Она удвоила свою нежность, холодность любимого человека еще более разжигала ее страсть и она не сдерживала ее проявления.

Она думала этим привлечь снова его к себе, получить на ее чувственные порывы такой же ответ.

Результат, конечно, вышел противоположный.

Он уклонялся сначала от ее объятий почти деликатно, но наконец была произнесена фраза, послужившая роковой гранью для их отношений прошлого и настоящего.

— Оставь, Люба, нельзя же вечно лизаться!.. — сказал Неелов, отстраняя от себя молодую девушку.

Любовь Аркадьевна побледнела.

«Он меня не любит!» — промелькнула в ее голове роковая мысль.

Это было начало конца.

Мельком пробежавшая мысль вернулась и скоро стала господствующей в уме молодой девушки.

— Он меня не любит... Я ему надоела... — на разные лады повторяла она себе с утра до вечера.

Поведение Владимира Игнатьевича подтверждало это гнетущее ее сердце открытие.

Он стал уезжать из дома по хозяйству, на охоту, и даже один раз к соседям по имению.

Это было накануне их отъезда из деревни.

Молодая женщина сидела одна в кабинете Владимира Игнатьевича и писала письмо родителям. Это было то письмо, после получе-

ния которого из Петербурга выехали на розыски беглецов Долинский, Селезнев и Дубянская.

— О, папа... папа... — шептала она, не будучи в силах писать, так как глаза ее затуманивались слезами. — Как я огорчила тебя... Но ты мне простишь... И мама простит... Милые, дорогие мои... Ведь я же теперь раба, раба его! Он говорит, что если я не буду его слушаться, он опозорит меня... И ко всему этому он не любит меня... Что делать, что делать... Нет, я не напишу вам этого, чтобы не огорчать вас... Он честный человек, он честный...

Она снова склонилась над письмом. Вдруг она вздрогнула, быстро спрятала письмо и отерла слезы. Дверь отворилась, и вошел Владимир Игнатьевич.

— Как я соскучилась, Володя, почти целый день, как мы не виделись... — проговорила Любовь Аркадьевна, сияясь ему улыбнуться.

— Надеюсь, что тебе здесь было всего достаточно... — раздраженно отвечал он.

— Мне не доставало тебя, ведь ты один у меня на свете. Без тебя мне так сиротливо и страшно!..



— Перестань ребячиться! Не маленькая... — холодно остановил ее Неелов. — Я был у соседей... Играл и выиграл...

— Зачем ты играешь?! Ведь ты достаточно богат. Одного моего приданого...

— Твоего приданого!.. Да еще неизвестно, что скажут твои родители...

— Они согласятся и простят... Я в том уверена... Я на днях напишу им.

— Нам надо уехать отсюда... — перебил ее Неелов.

— В Петербург?

— Ну, нет... Надо еще узнать ответ от твоих родителей... Мы поедем в Москву... После первого письма ты напишешь второе, где скажешь, чтобы они прислали ответ до востребования.

— Но ведь ты сам хотел поселиться здесь...

— Здесь невыносимо скучно...

— Скучно!..

— Чему же ты удивляешься... Нельзя же проводить время, глядя друг другу в глаза... Это не жизнь...

— Не жизнь...

— Мне надо познакомиться с московским

обществом...

— А я буду опять оставаться, как сегодня, по целым дням одна.

Владимир Игнатьевич молча пожал плечами.

— Послушай, Володя, помнишь, ты обещал мне обвенчаться, как только мы сюда приедем... Папа и мама тогда уж наверное простят нас... Не поедем в Москву... Обвенчаемся и поедем в Петербург.

Она смотрела на него взглядом, полным мольбы. Он не смотрел на нее.

— Ах, как ты мне надоедаешь, Люба! — воскликнул он. — Целыми днями ты изводишь меня то своей любовью, то хныканьем. Ну да, я обещал обвенчаться, но поверь, я знаю, что делаю, и обвенчаюсь тогда, когда это действительно будет нужно, учить тебе меня нечего... Лучше ступай готовиться к отъезду... Поезд уходит через час.

— Сегодня?.. Так поздно?..

— До станции рукой подать... Нас не съедят волки...

Молодая девушка вышла из кабинета, едва сдерживая слезы. «Такую глупость, как свя-

зять себя с этой дурой, можно было сделать только в порыве... Уж правду говорят, захочет Бог наказать, разум отнимет».

На вечерний поезд, однако, они не попали, так как Неелова задержали дела со старостой, и отъезд был отложен до другого дня до часового поезда.

По прибытии в Москву Неелов и Селезнева остановились в отделении «Северной гостиницы», находящейся недалеко от вокзала.

Хозяин этой гостиницы был знаком с Владимиром Игнатьевичем по Петербургу, где служил буфетчиком одного из шикарных ресторанов, а потому формальностей прописки, неудобной для Неелова и невозможной, за неимением документов, для его спутницы, можно было избежать.

Любовь Аркадьевна действительно не ошиблась за свое будущее.

Начались для нее томительные, скучные дни сидения в гостинице одной, так как Владимир Игнатьевич уезжал с утра и не являлся до позднего вечера.

Молодая девушка старалась не показывать виду, что она страдает и мучается, но эти

страдания и мучения против ее воли написаны были на ее побледневшем и осунувшемся лице, и эта печать грусти раздражительно действовала на Владимира Игнатьевича.

Видимо, чувствуя все-таки некоторое угрызение совести, Неелов предложил Любовь Аркадьевне прокатиться раз вечером в Петровский парк.

Она, конечно, с радостью согласилась.

Сколько наслаждений доставила несчастной девушке эта прогулка. Только теперь она поняла, что особую прелесть этой прогулке придало почти недельное заключение в четырех стенах отделения гостиницы.

Любовь Аркадьевна была весела и оживлена. На впавших щечках появился даже румянец. Эта поездка, к счастью для нее, даже освободила ее от дальнейшего заточения.

Неелов в Петровском парке встретился с Николаем Герасимовичем Савиным, катавшимся с Мадлен де Межен.

Владимир Игнатьевич, как мы знаем, был товарищ Николая Герасимовича. Они встретились с искреннею радостью и познакомили своих дам.

Савин, желая поговорить с Нееловым, предложил Любовь Аркадьевне место в своей коляске и пересел сам в коляску Владимира Игнатьевича.

Таким образом, дамы продолжали прогулку с глазу на глаз и через какой-нибудь час уже были приятельницами. У женщин, особенно молодых, это происходит очень быстро. Не этим ли объясняется, что это чувство приязни бывает зачастую не только мимолетно, но даже является порой основанием для будущей неприязни.

На Любовь Аркадьевну красота Мадлен, ее наряд, фигура, ее симпатичный голос, произвели неотразимое впечатление.

У очень молоденьких девушек и женщин, сильных своей молодостью и сознанием силы своей привлекательности, отсутствует чувство зависти к другим женщинам, чувство, которое неизбежно приходит впоследствии.

Такие девушки и женщины могут совершенно искренно увлекаться другими хорошенькими женщинами, почти влюбляться в них. Так произошло и с Любовью Аркадьевной. Она влюбилась в Мадлен де Межен. Послед-

няя тоже почувствовала к ней необычайную симпатию. Основанием для этого явилась прежде всего возможность оказать молоденькой женщине покровительство. Красивые и молодые женщины ужасно любят являться в ролях покровительниц своих подруг.

Симпатия, внушенная молодой француженкой Любовь Аркадьевне, побудила последнюю на откровенность.

Быть может, впрочем, переполненная горькими думами головка и оскорбленное за последнее время сердце сделали то, что молодая девушка невольно выложила свою душу первой женщине, которая, как ей показалось, отзывчиво отнеслась к ее рассказу.

— Это ужасно... Однако, какой он... странный... — не могла подобрать подходящего слова Мадлен де Межен.

— Я сама не знаю, что с ним сделалось за последнее время.

— Попробуйте с ним быть холодны...

— Я не могу...

— Это-то более всего и губит женщину в глазах мужчин... Им не надо показывать всю полноту чувства, мужчина всегда должен

оставаться относительно чувства женщины в некоторой неизвестности... Это заставит его быть к ней внимательнее... Они ведь, эти мужчины, в сущности, не любят нас, в нас они любят себя самих, свои удобства, свой комфорт, свое наслаждение... Потому мужчина более всего боится не потерять любимую им женщину, а быть ею брошенным... Смерть своей жены или любовницы мужчина всегда предпочтет разлуке, где первую ушла женщина... Надо всегда поэтому держать мужчину под «дамокловым мечом» — возможности такой оскорбительной для него разлуки...

Любовь Аркадьевна слушала этот первый жизненный урок своей новой подруги с широко открытыми глазами.

В следующей за первой коляске между Нееловым и Савиным шел тоже оживленный приятельский разговор.

Вспоминали прошлое, друзей, товарищей, женщин...

— Кто это с тобой? — спросил Николай Герасимович.

— Ох, не говори... — сделал гримасу Владимир Игнатьевич. — Попутал меня черт...

Увлёкся, похитил её из родительского дома... Привёз из Петербурга в имение, а затем сюда, живу в гостинице, жду, что родители вступят в переговоры, а между тем не рассчитал, что страсть моя к ней прошла, а она влюблена, как кошка, и страшно этим наскучила...

— Да, попался в переплет...

— Мне необходимо быть вне дома, а она одна... Понимаю сам, что ей скучно... Но что же я поделаю... С глазу на глаз с ней мне ещё скучнее.

— Отлично, Мадлен тоже скучно, когда я уезжаю, она возьмет её под свое покровительство.

Эта мысль улыбнулась Неелову.

— Вот это прекрасно! — заметил он.

Таким образом мужчины решили отдельно то, что было решено в первой коляске дамами.

## XXIX С БЕРЕГОВ СЕНЫ

**Н**иколай Герасимович Савин и Мадлен де Межен занимали великолепное отделение в гостинице «Англия» на Петровке.

В Москву они прибыли из Петербурга всего



месяца с два.

Оправданный калужским окружным судом по обвинению в поджоге, освободившись таким образом от гнета тяготевших на нем в России обвинений, из-за которых он претерпел столько мытарств этапа и тюремного заключения, Савин полетел, как вырвавшийся школьник, на берега Невы, где ожидала его любимая и любящая женщина, покинувшая для него родину, родных и друзей, оставшихся в ее милой Франции.

Вернувшись в Париж, верная своему слову, она, покончив в нем свои дела, уехала к своей кузине и там, в глуши французской провинции, стала жить ожиданием весточек от ее «несчастливого друга», как называла Мадлен де Межен Савина.

Весточки приходили, но короткие и печальные.

Краткость объяснялась необходимостью отдавать написанные письма на просмотр тюремного начальства, что заставляло Николая Герасимовича быть сдержанным в проявлении своих чувств, обреченных, как ему казалось, на профанацию посторонних, чуждых

и неумеющих понять их людей.

Печальны они были потому, что настроение духа Савина в русских тюрьмах, не исключая и образцового дома предварительного заключения, за последнее время было мрачно и озлобленно.

Письма, таким образом, не удовлетворяли молодой женщины, думавшей, что при переписке она сохранит душевную близость с любимым человеком.

Этой близости, увы, она не чувствовала.

Гнетущая тоска все сильнее и сильнее стала сжимать ее сердце.

Наконец она не выдержала и снова уехала в Париж, не сказав ни слова своей кузине о цели своей поездки.

Цель эта между тем была во что бы то ни стало пробраться в Россию и хотя присутствием с «несчастливым другом» в одном городе ободрить и утешить его, доказав ему, что обещания следовать за ним даже в «холодную Сибирь» — не были с ее стороны пустыми словами.

Обладая небольшим, но приятным сопрано, Мадлен де Межен зачастую между своими

певала модные шансонетки и знала таким образом все новинки Парижа в этом роде.

На своем, хотя и коротком веку, она перевидала множество представительниц шансонетного жанра парижских бульварных сцен и усвоила без труда их шик и методу.

С таким аристократическим запасом она легко могла появиться перед русской публикой в качестве «звезды», тем более, что условия ее были много скромнее настоящих «парижских звезд».

Очень скоро через одного из театральных агентов она добыла сверх ожидания даже очень выгодный ангажемент в Петербург.

Агент расписал ее антрепренеру самыми яркими красками и сам хлопотал, чтобы не продешевить свежееиспеченную «звезду», так как его вознаграждение составлял процент с ее гонорара.

Она получила солидный аванс и уехала с берегов Сены на берега Невы.

При самом выезде из Парижа она написала письмо Савину, но при формальности передачи писем арестантам он получил его тогда, когда она уже второй день жила в шикар-

ном номере «Европейской гостиницы» в Петербурге.

Она приехала как раз накануне дня, назначенного для судебного разбирательства дела Савина в Петербурге, и когда он вернулся в свою камеру, довольный своим оправданием, его там ожидала другая радость — письмо от Мадлен де Межен.

Прочтя письмо, он понял, что Мадлен уже в Петербурге, и стал ожидать свидания.

Он был уверен, что Мадлен де Межен добьется этого свидания.

Действительно, не без труда и хлопот Мадлен де Межен добилась свидания с ее «несчастливым другом».

Чего не добьется любящая женщина?

Свидание произошло в конторе дома предварительного заключения и, несмотря на присутствие помощника смотрителя, деликатно, впрочем, отошедшего в противоположный конец комнаты и остановившегося у окна, Мадлен и Савин бросились друг к другу в объятия.

В разрешенные им полчаса они переговорили о многом.

Молодая женщина рассказала, как она сделалась артисткой с единственной целью попасть в Петербург.

— И подумай, я произвожу фурор... Меня буквально засыпают цветами и подарками, — не могла не похвалиться своим успехом Мадлен де Межен.

Николай Герасимович поморщился, но не сказал ничего.

— Мне уже косвенно, конечно, делали самые выгодные предложения... Здесь, говорят, у вас совсем нет женщин... — продолжала она вполголоса свою болтовню.

Разговор, конечно, шел по-французски.

— Что ты за вздор болтаешь?.. Как нет женщин?..

— Ну, то есть изящных женщин... Ваши мужчины имеют вид голодных собак при виде каждого смазливового личика.

Николай Герасимович не выдержал.

— Перестань болтать пустяки... Поговорим лучше о деле.

Он сообщил ей о положении своих денежных дел, о надежде на вторичное оправдание в Калуге и некоторых планах будущего.

— Тебе, конечно, придется бросить свою сценическую деятельность, — сказал он, подчеркнув последнее слово.

— Почему?

— А потому, что я ненавижу сцену, — резко отвечал он. Перед ним промелькнуло его тяжелое прошлое.

Он вспомнил Маргариту Гранпа, которую погубила и отняла та же сцена. Припомнился ему неожиданный его арест в Большом театре и поездка в Пинегу, откуда он вернулся, чтобы узнать, что девушка, которую он одну в своей жизни любил свято и искренно, начала свое гибельное падение по наклонной плоскости сценических подмостков.

Он в этот момент, на самом деле, искренно ненавидел театр, хотя эта ненависть в первый раз в такой резкой форме зажглась в его сердце.

Теперь снова женщина, которую он любит, вступила на еще более скользкие подмостки кафешантана, и хотя разум говорит ему, что это она сделала исключительно из любви к нему, но все же, кто знает, что тот фурор, который она произвела среди мужчин, глядя-

щих на нее, по ее собственному выражению, как голодные собаки, и о котором она говорит с нескрываемым восторгом, не вскружит ей голову и она не пойдет по стопам той же Гранпа, а, быть может, падет еще ниже.

Это вторичное вмешательство сцены в его жизнь озлобило его против театра, и он это озлобление перенес на Мадлен-артистку.

Он замолчал после резкого возгласа:

— А потому, что я ненавижу сцену!..

Молодая женщина смотрела на него с нескрываемым недоумением.

Ей не был известен первый роман его юности, а потому она приписала его раздражение исключительно чувству ревности, что приятно польстило ее самолюбию.

Она внутренне была рада, что любовь его в разлуке не уменьшилась, за что она опасалась, судя по коротким и холодным последним письмам.

К чести Мадлен де Межен надо сказать, что она совершенно искренне сообщала своему «другу» о своих успехах, без предвзятой мысли возбудить его ревность, но далеко, повторяем, не была недовольна этим результа-

ТОМ.

— Я приглашена на сорок представлений... директор уже говорил о продлении контракта, но если ты не хочешь...

— Да, уж пожалуйста... Побаловалась и будет... — голосом, в котором все еще слышалось раздражение, прервал ее Савин.

— Я сделаю так, как ты хочешь...

— Меня скоро отправят в Калугу... — продолжал он, — а после оправдания я сейчас же вернусь в Петербург и к этому времени ты должна быть свободна... Понятно, если ты этого хочешь...

Последние слова он произнес с нескрываемой иронией и несколько деланно равнодушно.

— Nicola... — с упреком произнесла Мадлен де Межен.

— Ну, прости, прости меня, я раздражен, тюрьма не улучшает характера.

Они перешли к более миролюбивым темам.

Определенные полчаса миновали.

Они расстались.

Николай Герасимович вернулся к себе в



камеру.

Странный осадок в его сердце оставило это первое свидание на родине с любимую женщиной.

До отправки в Калугу он еще несколько раз виделся с Мадлен де Межен и его поразило то, что она ни словом не обмолвилась о сценической деятельности.

Молодая женщина поняла, что эта деятельность ему неприятна, и молчала, хотя это ей стоило больших усилий, так как уже на второе свидание она принесла ему в кармане вырезки из петербургских газет, на страницах которых появились дифирамбы ее таланту и красоте.

Она поняла, с присущим ей тактом, что этим вырезкам суждено так и остаться в ее кармане.

После оправдательного приговора калужского окружного суда Николай Герасимович возвратился в Петербург и, устроив свои денежные дела, вскоре уехал с Мадлен де Межен, несмотря на горячие мольбы антрепренера, не пожелавшей возобновить контракта, в Москву.

Первые дни свободы около прелестной женщины, конечно, были для Николая Герасимовича в полном смысле медовыми, но затем в этот мед снова попала ложка дегтя в форме мучивших самолюбивого до последних пределов Савина воспоминаний об артистической деятельности Мадлен де Межен в Петербурге.

Появилась чуть заметная натянутость отношений, не оставшаяся, повторяем, тайной для чуткого сердца женщины.

В Москве они вели веселую жизнь. Николай Герасимович счастливо играл, что вместе с полученным им остатком его состояния позволяло ему не отказывать ни в чем ни себе, ни Мадлен де Межен.

Счастье в игре, по-видимому, его, однако, не радовало.

«Счастлив в картах, несчастлив в любви, — часто появлялось в его мыслях. — Несомненно, в Петербурге она не была безгрешна», — вдруг умозаключил он, стараясь, как всегда это бывает, сам найти доказательство того, чему хотел бы не верить, даже в предрассудках.

Другого доказательства у него не было, да и быть не могло.

Так жили они в Москве до встречи в Петровском парке с Нееловым и Селезневой.

После катанья они весело поужинали в ресторане «Мавритания» и Мадлен де Межен увезла Любовь Аркадьевну к себе ночевать.

С того вечера молодые женщины стали неразлучны.

### XXX СООБЩНИКИ

Кирхоф продолжал одолевать графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого все более и более возрастающими требованиями.

Тот бился, как рыба об лед, и положительно терял голову.

Вскоре после бала у Алфимова граф снова получил лаконичную записку своего бывшего сообщника:

*«Приезжай и привези денег. К.».*

Раб своего прошлого, граф Стоцкий на другой же день утром отправился к Кирхофу.

— Привез денег? — встретил его последний вопросом, произнесенным повелитель-

НЫМ ТОНОМ.

— Нет, привезу завтра вечером две тысячи.

— Этого мало, привезешь и две с половиною.

Граф Сигизмунд Владиславович бешено зашагал взад и вперед по комнате.

— Так продолжать нельзя, ты становишься ненасытен!

— А ты будешь, разумеется, неистощим, дружище! Это в твоих интересах. Видишь ли: всякому свой черед. Прежде я таскал для тебя каштаны из жара, а теперь ты потаскай за меня.

Граф Стоцкий сделал отчаянный жест.

— Не бесись, сердечный... У тебя там нож под сюртуком, зарезать хочешь? Смотри, не просчитайся! Все наши с тобой дела, как я уже говорил тебе, в руках третьего человека, и тронь ты один волос у меня на голове, он пустит их в ход! Одним словом, клянусь тебе честью каторжника — и жить, и погибать мы будем вместе.

— О, уезжай, уезжай отсюда, куда бы то ни было, и я заплачу тебе все, что ты хочешь! — скрежетал граф Сигизмунд Владиславович.

— Ведь я уже сказал тебе, что во второй раз дурака не сломаю! — спокойно отвечал Кирхов, сидя развалившись в кресле у письменного стола. — Мне хорошо и здесь, а твои заботы я ценю выше миллиона, и ты мне его сделаешь. Так успокойся же, дружок, ступай и создавай деньги, а то я дольше завтрашнего вечера ждать не могу.

Граф Стоцкий вышел и так хлопнул дверью, что в квартире задрожали окна.

Вечером за ужином у Матильды Руга никто не мог и подозревать, что этот веселый человек в душе несчастнее каторжника.

Граф Сигизмунд Владиславович по приглашению певицы уехал последний.

Когда гости разъехались, она строго обратилась к нему.

— Почему вы не были у меня сегодня утром?

— Меня задержал Кирхоф!

— О, ненавистный человек! Хотите, я достану вам яду.

— Нет, я дорожу его жизнью, как своей собственной.

— Все это прекрасно, но он забирает у нас

чуть не половину добычи.

— Увы!

— Значит, необходимо ускорить дело с графом Петром, а для этого нужно прежде всего отдалить его от жены. После этой несчастной истории с медальоном он чувствует себя виноватым и, кажется, еще более привязался к ней.

— Да, и мне трудно стало настраивать его против нее. Он запрещает мне говорить о ней.

— Вы видите, что это серьезно.

— Вижу! Но что же делать?

— Я уже кое-что придумала... Капитолина Андреевна Усова будет праздновать рождение своей шестнадцатилетней дочери Веры и на этом балу первый раз покажет ее публично. Девочка в полном смысле красавица... Вы знаете, кому она предназначена?

Граф Стоцкий утвердительно кивнул головой.

— Надо раздражить тщеславие графа Вельского.

— Нет, из этого едва ли что-нибудь выйдет! — возразил граф Сигизмунд Владиславо-

вич. — Надо устроить, чтобы граф и графиня возненавидели друг друга... Ольга Ивановна составит для графини достаточную причину.

— Ах, да, расскажите, как вы туда ездили и знает ли она, кто...

— Она поселилась у своих дяди и тетки. Меня встретил ее дядя, и так грозно, что я почти струсил... Затем вышла она сама. Когда она меня увидела, только побледнела, как мертвец. Я поскорее достал письмо графа и подал ей. Она не берет. «Нет, — говорит, — у нас с графом нет и не может быть ничего общего». Тут дядя ее взбесился окончательно. Схватив письмо, распечатал и прочел его, да еще вслух. Пока он возился с конвертом, я думал, что тут, черт знает, что выйдет, но оказалось, что граф Петр очень вежливо уговаривает ее вернуться, а затем рассыпается в любезностях по адресу своей супруги. Дяденька даже опешил, а Ольга Ивановна дослушала до конца, тихо вскрикнула и упала в обморок. «Ничего не понимаю», — проворчал дядя и унес девушку из комнаты, как ребенка. Затем вскоре вернулся ко мне и объявил: «Ответа на письмо не будет. Моя племянница останется

здесь. А будь то, что я подозреваю, правда — вашему графу пришлось бы поплатиться головой. Честь имею кланяться!» Мне оставалось только поскорее унести ноги.

— Да, но хорошо и то, что вы узнали, что она не знает, кто был героем ее романа... — заметила между тем Матильда Францовна.

— Мне же думается, что мое посещение Костина принесло нам и другие выгоды.

Певица посмотрела на него вопросительно.

— Мы знаем теперь, — продолжал граф, — что ее дядя, а тем более отец, когда они узнают все, способны мстить за дочь, ни перед чем не задумавшись, и запугав ими старика Алфимова, мы можем брать с него все, что вздумаем. С другой стороны, Ольга Ивановна не могла скрыть от родных своей любви к графу Петру Васильевичу. После обморока у ней открылась нервная горячка и она все бредит Вельским. Если ее приключение станет известным графине, конечно, в том смысле, что его герой — ее муж, она возненавидит и прогонит его, а он с горя и злобы очутится в наших руках бесповоротно. А чтобы спасти



его от мести отца и дяди, мы его увезем в Париж. Насколько это удастся, мы узнаем скоро.

— Вы умный и предусмотрительный человек... — заметила Руга. — Кстати, Корнилий Потапович был сегодня у меня, и я уже его напугала, если не дядей, которого не знала, то отцом... Он пришел в восторг от младшей дочери Усовой, но я его огорчила тем, что сказала, что за ней ухаживает граф Петр Васильевич.

— И что же он?

— Он с сердцем воскликнул: «Эх, вечно этот человек у меня на дороге!.. Нельзя ли его и на этот раз устранить?»

— Разлакомился, старый черт!.. — заметил граф Стоцкий. — Что же дальше?

— Дальше начал справляться об Ольге Ивановне, но за вестями о ней я его направила к вам. Он, верно, будет у вас завтра.

— И прекрасно, я с ним поговорю.

Граф Сигизмунд Владиславович простился со своей сообщницей и уехал.

Матильда Францовна не ошиблась.

Еще не было двенадцати часов, как Корнилий Потапович явился к графу Стоцкому.

Первый вопрос его был об Ольге Ивановне.

— Говоря откровенно, — сделал граф серьезное лицо, — она серьезно меня тревожит... Она у своего дяди, во всем призналась ему и тетке, те написали ее родителям... Покуда он и она думают, что это был граф Петр, но...

— Ну и прекрасно! И прекрасно! Пусть их думают, что это был граф Петр. Он человек молодой и легче с ними справится.

— Но граф мой лучший друг, — с жаром сказал граф Сигизмунд Владиславович, — и я из дружбы к нему обязан...

— Ну, так что же? Ведь и вы мне друг. А я... готов на всякие жертвы...

— Да ведь это известно не одному мне, это знает Матильда Францовна и ее подруга... Они могут обратиться к графу Петру и он, чтобы оправдаться, способен будет...

— Ну, да это ничего, ничего... Им денег дать нужно... Я дам столько, сколько у Вельского нет... А на вас я рассчитываю.

— Право, не знаю... Это очень неприятное и щекотливое дело... — с расстановкою нерешительным тоном сказал граф Стоцкий.

— Перестаньте, граф! Ведь вы знаете, я очень богат и уже стар... Сын мой имеет отдельное состояние, дочь тоже... Хранить для них мои деньги я не намерен... Так вот что, моя касса всегда к вашим услугам... Я куплю молчание Матильды и ее подруги... и заживем по-прежнему... По рукам?..

— Хорошо, так и быть, по рукам... Я считаю вас таким же моим другом, как и графа Петра... Я не знаю, что делать между двух друзей.

— Молчать.

— Хорошо...

— Благодарю вас.

Алфимов с чувством пожал руку графу Стоцкому.

— Вы куда? — спросил он, увидев, что граф взял перчатки.

— К графу Петру...

— Так поедemте вместе... Мне надо узнать, будет ли он на вечере у Усовой.

Графиня Надежда Корнильевна сидела у себя в будуаре среди целой груды полотна, батиста и кружев и с нежными мечтами женщины, впервые готовящейся быть матерью, рассматривала крошечные рубашечки, чеп-

чики и остальные принадлежности для новорожденного.

Вошел граф Петр Васильевич и, нежно поцеловав у жены руку, опустился рядом с ней на диван.

— О, как я счастлив, Надя! — воскликнул он, смотря на нее восторженным взглядом. — Я не могу на тебя насмотреться и нарадоваться тому, что ты стала такая спокойная, светлая, даже на щеках появился румянец.

— Я очень рада, что ты доволен.

— Да, ты спокойна! Но счастлива ли ты, Надя? Простила ли ты мне все горе, которое я тебе причинил? Любишь ли ты меня хоть чуть-чуть?..

— Ты видишь все мои поступки, знаешь все мои мысли, тайн от тебя у меня нет. Суди сам.

— Ах, что за дурак я был! — вскричал граф, снова целуя руку у жены. — Убивать время в кутежах вместо того, чтобы наслаждаться чистым, прочным счастьем.

— Сам Бог внушает тебе такие мысли, милый!

— А какой у тебя здесь беспорядок... — рас-

смеялся граф Петр Васильевич, оглядывая комнату, но, мгновенно поняв в чем было дело, еще раз с глубокой нежностью поцеловал руку Надежды Корнильевны.

— О, Надя, если бы ты знала, как я безгранично счастлив...

— Я искренно радуюсь этому... А что, ты ничего не знаешь об Оле? — спросила графиня.

— Нет! С минуты на минуту ожидаю Сигизмунда... Я поручил ему разузнать, где она и что с ней.

Надежда Корнильевна поморщилась, однако промолчала.

— Чрезвычайно странно, что она так уехала! И еще эта записка, которую она оставила... Я думала, что ты один можешь объяснить это... Скажи мне правду, Петя?

— Клянусь тебе, я сам ничего не понимаю! С Ольгой Ивановной я вел себя, как брат. Бывали случаи, что я бесился на тебя за твою холодность и старался заставить тебя ревновать, но с тех пор, как понял, что ты слишком чиста и высока для ревности, я веду себя так же честно.

— И слава Богу!..

— Граф Стоцкий желает видеть его сиятельство! — доложила Наташа.

— Вот сейчас и узнаю об Ольге Ивановне, — сказал граф Вельский, целуя руку у жены и уходя.

Графиня проводила мужа долгим взглядом.

Она верила ему. Граф принадлежал к числу людей испорченных и бесхарактерных, но он не был лгуном.

Это было, быть может, одно из его достоинств, но для его жены оно было хуже всех его пороков.

Он был откровенен с Надеждой Корнильевой, откровенен до мелочей, и эта-то откровенность заставила страдать и самолюбие, и нравственное чувство этой чистой женщины.

В данном случае, впрочем, эта черта характера ее мужа успокаивала ее.

Со дня завтрака у ее отца у нее не выходило из головы письмо, адресованное ей Ольгой Ивановной.

По письму выходило, что ее подруга счита-

ет себя преступницей, а потому не может видеть ни ее, Надежду Корнильевну, ни ее мужа, значит...

Графиня даже мысленно не хотела делать вывода.

«Ужели... в доме ее отца... с ее единственной подругой? Нет, не может быть!»

Надежда Корнильевна гнала от себя эту мысль, а она упорно все лезла ей в голову.

«Граф бы сказал ей, — думала она теперь после разговора с мужем, — или бы смутился после поставленного ею прямо вопроса: „Скажешь мне правду?“».

Не случилось ни того, ни другого, хотя он и дал некоторое объяснение, за которое схватилась графиня Надежда Корнильевна.

Ухаживание графа, ухаживание для возбуждения ревности к жене, вскружило голову Ольге Ивановне, она влюбилась в ее мужа и, считая это чувство преступлением, бежала и скрылась... Это было логично, особенно для такой идеалистки, какою была графиня Вельская.

«Но зачем муж вмешал в это дело графа Стоцкого? — снова при воспоминании о Си-

гизмунде Владиславовиче поморщицалась Надежда Корнильевна.— Мог бы сам разузнать».

Она бы поехала сама, но ей не позволяли продолжительных прогулок и, главное, волнения.

«А где ее искать?.. Впрочем, увидим, что скажет граф».

На этом Надежда Корнильевна успокоилась.

## **Часть третья ВСЯКОМУ СВОЕ**

### **I НА ПРОДАЖУ**

**Б**ольшой вечер у полковницы Капитолины Андреевны Усовой по случаю шестнадцатилетия ее младшей дочери Веры состоялся лишь через месяц после назначенного дня, ввиду постигшей новорожденную легкой болезнью, и отличался обычным утонченным угождением самым низким страстям развратных богачей.

Откровенные разговоры и не менее открово-



венные костюмы присутствовавших дам и девиц, запах бьющих в нос сильных духов, соблазнительные жесты и позы, все наполняло залы Усовой той наркотической атмосферой, которая возбуждает разбитые нервы и пробуждает угасающие силы.

Молоденькая красавица Вера Семеновна, решительно не понимавшая ужасной доли, которую предназначила ей ее заботливая родительница, была царицей этого вечера.

И молодежь, и старики наперерыв старались привлечь на себя ее внимание или тайно отводили в сторону полковницу и она, не стесняясь, вступала с ними в постыднейшие торговые переговоры, прикрывая их заботами о счастье дочери.

Сама Вера Семеновна была буквально перепугана всем, что происходило вокруг нее, и часто с мольбой поднимала глаза на мать, но та отвечала ей только циничными, насмешливыми улыбками.

Вначале концерта, отличавшегося самыми свободными текстами песен и романсов, в зале появились, совершенно неожиданно для графа Стоцкого, уже предвкушавшего увлече-

ние графа Петра Васильевича Вельского молоденькой Усовой, Григорий Александрович Кирхоф и Николай Герасимович Савин.

Граф Сигизмунд Владиславович не знал Савина в лицо, но слышал, что он приехал в Петербург и возобновил знакомство с Кирхофом, а потому каким-то чутьем угадал, что это был он.

Граф смутился... Сердце его усиленно забилося, что случалось с ним очень редко, он знал, что Николай Герасимович был дружен с настоящим графом Сигизмундом Владиславовичем Стоцким, и теперь ему придется под этим же именем знакомиться с ним.

Он сумел, однако, побороть свое волнение и несколько прийти в себя, когда увидал, что оба вошедшие в залу посетителя направляются прямо к нему.

«Зачем Василий привел его сюда? — неслось в голове графа Стоцкого. — Что это, развязка, или же начало игры втроем?»

— Позволь, граф, тебя познакомить, — прервал его размышления голос подошедшего Кирхофа, — мой давнишний приятель Николай Герасимович Савин, много за свой крутой

нрав претерпевший на своем веку...

Григорий Александрович подчеркнул особенно эпитет «крутой».

— Граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий, — представил он графа Савину.

— Граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий... — медленно, с расстановкой повторил Николай Герасимович, пристально глядя на своего нового знакомого.

Тот не вынес этого взгляда и побледнел. «Что это, конец или начало? — снова промелькнуло в его голове. — И что из двух лучше?»

— Очень приятно!.. — любезно тотчас сказал Савин и крепко, с чувством пожал руку Сигизмунду Владиславовичу.

«Начало!» — мысленно решил последний. Завязался общий светский разговор.

— Однако я тебя не представил хозяйке и ее двум дочерям, младшая из которых виновница настоящего торжества. Это новый распутившийся цветок в оранжерее полковницы... — спохватился Григорий Александрович и отвел Савина от графа Стоцкого с целью разыскать хозяйку и ее дочерей.

— Ну, что? — шепотом спросил он Николая Герасимовича, когда они шли по залу по направлению к гостиной.

— Конечно, не он...

— Но это пока между нами.

— Понятно.

Капитолина Андреевна приняла Савина холодно-любезно. Она знала, что дела его не из блестящих, а к таким людям полковница не чувствовала симпатии. Красота Савина, между прочим, заставляла ее опасаться за младшую дочь; чутьем матери она провидела, что Николай Герасимович именно такой человек, которым может увлечься очень молоденькая девушка, а это увлечение может, в свою очередь, расстроить все ее финансовые соображения, которые по мере возрастающего успеха ее дочери среди мужчин достигали все более и более круглых и заманчивых цифр.

Екатерина Семеновна при его представлении глядела на Савина почти плотоядно.

Вера Семеновна вся зарделась.

Николай Герасимович внимательно взглянул на нее, и его поразила и красота ее, и вы-

ражение тоски и ужаса в ее прекрасных глазах.

«Такой цветок и между таким чертополохом!» — подумал он.

С чувством поздравив молодую девушку, он заговорил с ней так задушевно, что она взглянула на него с доверием и благодарностью.

Окружавшие Веру Семеновну мужчины были, видимо, раздражены ее боязливостью и холодностью.

В особенности горячился Корнилий Потапович и, воображая, что обязан этим графу Петру Васильевичу Вельскому, сказал ему несколько колкостей.

С досады на него последний решил, что добьется благосклонности Веры Семеновны, но вскоре заметил, что, хотя и впервые в жизни, но потерпит поражение и он.

Из залы слышались звуки Штраусовского вальса.

Молодая девушка решила не танцевать, но мужчины налетели на нее с приглашениями наперебой, как коршуны на голубку.

Вера Семеновна испугалась еще больше и,

как бы ища защиты, бросилась к старшей сестре, но та встретила ее насмешками.

— Да что вы на нее смотрите, Корнилий Потапович, — сказала она Алфимову. — Возьмите эту недотрогу, отведите ее в зал насильно и заставьте танцевать с собой...

Ослепленный страстью, старый банкир даже не понял насмешки, заключавшейся в этом предложении ему танцевать с молодой девушкой.

Вера Семеновна готова была разрыдаться.

Наблюдавший за ней издали Савин вдруг подошел к ней и низко поклонился.

Она радостно подала ему руку и пошла с ним в залу.

— Я не хочу принуждать вас танцевать против воли, мне хотелось только избавить вас от этих нахалов.

— О, да, да, спасите меня!

— Клянусь вам, что сделаю все! Но лучше бы все-таки, если бы ваша матушка...

— Ах, мама такая странная! Она сама смеется надо мною. Да нет! Я больше здесь не останусь! Я сейчас скажу ей, — прибавила она, увидя мать у буфета и, оставя руку Нико-

лая Герасимовича, подошла к ней.

Произошла гнусная, безобразная сцена.

Мать, то ласково соблазняя, то сердясь и угрожая, объясняла дочери ту роль, которую предстояло ей играть в обществе, и резко приказывала ей быть любезною с богатыми кавалерами и не шептаться с прогоревшим баринном и вдобавок с авантюристом.

Савину, стоявшему недалеко, стало противно.

Он решил уехать, но в это время к нему снова подошла Вера Семеновна.

— Я совсем не понимаю, чего хочет от меня мама... — наивно, жалобным тоном сказала она.

— И дай Бог вам никогда этого не понять... — серьезно сказал Николай Герасимович.

Молодая девушка окинула его недоумевающим-вопросительным взглядом.

— Мне, к сожалению, надо проститься....

— Вы уже уезжаете! — вскричала она тоскливо. — О, вы себе представить не можете!.. Значит, никого не останется...

Савин был тронут.

— Я останусь, чтобы сегодня охранять вас.

— Только сегодня? — наивно сказала молодая девушка.

— Кто знает будущее?.. — загадочно сказал Савин.

Он действительно не отходил от нее целый вечер, пока выведенная из терпения Капитолина Андреевна не позволила дочери идти спать, видя, что самые богатые из гостей уже задумали играть в карты и ворчали на графа Стоцкого, который отговаривался нежеланием.

В конце концов он согласился.

Николай Герасимович, простившись с удалившейся в свою комнату и искренно рассыпавшейся перед ним в благодарностях Верой Семеновной, тоже присоединился к игрокам.

Граф Сигизмунд Владиславович метал банк. Он недаром отказывался играть.

Он боялся именно участия Савина.

И действительно, под пристальным взором Николая Герасимовича он терял свое обычное хладнокровие, руки его дрожали и волей-неволей он должен был представить игру, действительно, счастью, оставив на сле-



дующие разы искусство.

Как всегда бывает с играющими нечисто — счастье им не улыбается в картах.

Граф Стоцкий проигрывал.

Не выиграл, впрочем, и Николай Герасимович, одна за другой карты его были биты, но к его благополучию, он, не расположенный в этот вечер к серьезной игре, ставил на них незначительные куши.

Граф Петр Васильевич Вельский, напротив, был в ударе, делал крупные ставки и выигрывал карту за картой, наконец сорвал банк.

— Будет!.. — прохрипел граф Сигизмунд Владиславович, подвигая кучу кредитных билетов и золото графу Вельскому. — Больше я не могу, сегодня мне не везет фатально.

— А мне вдруг повезло — это редкость! — воскликнул граф Петр Васильевич.

— Значит, не везет в другом... — заметил граф Стоцкий.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты проиграл сегодня у Веры Семеновны...

— Ну, это еще посмотрим... Я надеюсь, и

тут крикну «ва-банк».

— И карта твоя будет бита.

Николай Герасимович, беседуя в это время с Кирхофом, правым ухом слышал этот разговор.

«„Несчастлив в картах — счастлив в любви“, — припомнилась ему поговорка. — Уже ли этот ребенок?..»

Перед духовным взором Савина восстала обаятельная фигурка молодой дочери Усовой.

Какая-то давно уже им не испытываемая теплота наполнила его сердце — ему показалось, что именно это чувство он испытывал только тогда, когда проводил незабвенные, быстро промчавшиеся минуты около его несравненной Марго.

«Ужели я влюблен?» — мысленно воскликнул Николай Герасимович и внутренне рассмеялся над самим собой.

Желающих метать банк не нашлось.

Игра прекратилась.

Гости стали расходиться по домам.

Только некоторые сдались на усиленные просьбы Капитолины Андреевны и остались ужинать.

Одни из первых простились с хозяйкой Николай Герасимович Савин и Григорий Александрович Кирхоф.

Полковница их особенно не удерживала.

Была великолепная звездная ночь.

Приказав экипажу следовать за ними, Савин и Кирхоф пошли пешком.

— И вы говорите, что этот человек держит все нити в своих руках?.. — спросил Николай Герасимович своего спутника.

— Это так же верно, как то, что мы идем рядом с вами...

— Это очень хорошо, мне бы хотелось вывести на чистоту всю эту историю... Вы, значит, как и я, уверены, что Сиротинин невиновен?

— Я это знаю давно.

— Это ужасно... Только я, испытав на своем веку весь ужас тюремного заключения, могу безошибочно судить, что это такое... У меня была еще надежда на оправдание, а тут...

— Тут нет никакой надежды... Все улики против него...

— Надо спасти его...

— Наш «граф», кажется, не очень хорошо

чувствует себя в вашем присутствии.

— Вы заметили?

— Еще бы... А потому...

— Вы думаете, что моя просьба на него подействует?

— Она будет для него приказанием, как и моя.

— Как и ваша?

— Я его держу в руках тем же, да кроме того, у меня есть с ним старые счеты... Вы мне в них не мешаете, а потому-то я так охотно повез вас сейчас же к нашей «дорогой полковнице».

— Я вам очень благодарен, мне так хотелось бы оказать услугу Елизавете Петровне Дубянской.

— Ах, это компаньонке Селезневой, которая бежала с Нееловым?

— Она теперь госпожа Неелова.

— Он на ней женился? А здесь поговаривали, что он раздумал...

— Ему не позволили этого...

— В эту Дубянскую влюблен Иван Корнильевич Алфимов, а она друг детства Дмитрия Павловича Сиротинина, и как обыкновенно

бывает, детская дружба перешла в более серьезное чувство... Быть может, ревность молодого Алфимова и была побудительной причиной: спасая себя, погубить кассира и соперника?..

— Какая подлость! — воскликнул Николай Герасимович.

— Бедный юноша не так виноват, он всецело в руках нашего пресловутого графа, и тот играет им как куклой... Если бы Корнилий Потапович вторично теперь сделал ревизию кассы, то он бы сам понял, кто был и первый вор.

— Вы думаете?

— Я в этом убежден... Но ему не до того... Старик совсем сошел с ума и только и бредит женщинами... Он ревнует к ним даже сына...

— Этот старый коршун... — с гадливостью сказал Савин.

— Да! Наш Сигизмунд помогает обоим и умеет устроить, чтобы старик и молодой не встречались на одной дорожке!..

— Ну, дела!.. — заметил Савин.

— Да, уж такие дела, что и не говорите. Чего стоит одна наша полковница... Видели?

— Видел... и на первых порах мне даже пришлось сыграть роль доброго гения этой чистой голубки, попавшей в стаю галок и коршунов...

— И конечно, голубка совсем очаровалась своим добрым гением?

— Она дитя...

— Детям-девочкам именно и нравятся такие...

— Какие?

— Как вы... Рыцари без страха и упрека.

Николай Герасимович вздохнул. Образ Веры Семеновны Усовой снова восстал перед ним, и снова он ощутил приятную теплоту в своем сердце.

Собеседники вышли на набережную Невы, сели в экипаж и поехали по домам, продолжая беседовать друг с другом.

## II

### В ГОСТИНИЦЕ «АНГЛИЯ»

Владимир Игнатьевич Неелов был очень доволен, свалив со своих плеч «обузу», как он называл Любовь Аркадьевну, и окунувшись с головой в вихрь московских удовольствий.

Он стал даже, действительно, серьезно

ухаживать за дочерью одного московского купца-толстосума, имевшего великолепные дачи в Сокольниках и любившего перекинуться в картишки.

Неелов пропадал у него на даче с утра до вечера, гоняясь за двумя зайцами, обыгрывая отца и расставляя тенета богатейшей московской невесте.

Мадлен де Межен все более и более привязывалась к молодой девушке и, повторяем, почти была с нею неразлучна.

Часто она оставляла Любовь Аркадьевну ночевать у себя, и они по целым ночам говорили «по душе».

Николай Герасимович также с некоторого времени бывший не прочь пользоваться «холостой свободой», ничего не имел против этого, а, напротив, чрезвычайно любезно присоединял свои просьбы не оставлять Мадлен одну, когда он должен уезжать «по делам», к приглашениям своей подруги жизни.

Долинский оказался правым.

Савин совершенно легально проживал в Москве, и из адресного стола посыльным «Славянского Базара» была доставлена точ-

ная справка о его местожительстве.

На другой же день по получении этой справки Сергей Павлович поехал к Николаю Герасимовичу.

Он застал его за завтраком вместе с Мадлен де Межен и Любовью Аркадьевной, как раз в этот день ночевавшей в гостинице «Англия».

— Боже мой, какими судьбами! — воскликнул было Савин при входе, в номер Долинского, но остановился, увидав Любовь Аркадьевну, которая, смертельно побледнев, встала со стула, но тотчас же снова не села, а скорее упала на него...

Из рассказов Мадлен де Межен он знал, что молодой адвокат близок с домом Селезневых, — любил молодую девушку и даже желание ее отца было, чтобы он сделался ее мужем.

Николай Герасимович догадался, что Сергей Павлович приехал в Москву по следам беглецов.

Этим объясняется и испуг молодой девушки, вскоре, впрочем, оправившейся и бросившейся к Долинскому.



— Вы из Петербурга, что папа и мама, что брат?..

— Папа и мама здоровы, а ваш брат со мной в Москве, с нами и Елизавета Петровна Дубянская.

— Где она? Где? — воскликнула радостно Любовь Аркадьевна.

Только теперь, когда положение ее выяснилось, она поняла и оценила свою бывшую компаньонку.

— Очень рад, очень рад вас видеть... Сперва надо хлеба и соли откусать, а потом успеете переговорить на свободе, мне надо уехать, а Мадлен... Но позвольте вас представить.

Савин представил Долинского Мадлен де Межен.

— Я очень рада, заочно я знаю вас давно и благословляю как спасителя Nicolas, — сказала француженка.

— Какое там спасение... — улыбнулся Сергей Павлович.

— Мадлен тоже пойдет переодеваться. У ней это продолжается несколько часов.

— Nicolas! — с упреком сказала молодая женщина.

— Уж верно, матушка, да я ведь к тому, что у Сергея Павловича будет время переговорить с Любовью Аркадьевной. А теперь милости просим.

Слуга по звонку Николая Герасимовича принес лишний прибор, и Долинский уселся за стол.

Разговор за завтраком, конечно, не касался цели его приезда в Москву, а вертелся на петербургских новостях.

По окончании завтрака Савин тотчас же уехал, а Мадлен де Межен удалилась в другую комнату.

Молодые люди остались с глазу на глаз.

Наступила довольно продолжительная пауза.

Вдруг Любовь Аркадьевна как-то вся вздрогнула и залилась слезами.

— Вы плачете... О чем? — встав со стула, сказал Сергей Павлович и подошел к молодой девушке.

Молодая девушка продолжала рыдать.

Он взял со стола недопитый ею стакан содовой воды и поднес ей.

— Выпейте и успокойтесь... Не терзайте

меня.

Он смотрел на нее с выражением мольбы.

Она порывистыми глотками выпила воду и подняла на него свои чудные заплаканные глаза.

Он взял ее за руку и отвел к маленькому диванчику, на котором и усадил ее, а сам сел рядом.

— Нет, — начала она, — так нельзя, я думал, что найду вас счастливой и довольной, рука об руку с любимым человеком.

Любовь Аркадьевна вздрогнула.

— А между тем, — продолжал он, — я нахожу вас среди чужих людей, грустной и, видимо, несчастной. Это выше моих сил, мне тяжело было бы видеть вас счастливою с другим, но несчастной видеть еще тяжелее... Я был когда-то вашим другом... Вы сами дали мне право считаться им. Теперь же я скажу вам, что я любил и люблю вас без конца.

Он вдруг порывисто схватил ее руку и поднес ее к своим губам. Молодая девушка с каким-то испугом отняла ее.

— Ах, оставьте, пощадите меня! — воскликнула она со слезами в голосе.

— Поймите же, Любовь Аркадьевна, что я готов отдать жизнь, чтобы заменить ваши слезы веселой улыбкой... Наконец, я помню, что вы когда-то относились ко мне сердечно... Почему же вы не хотите быть со мною откровенны?

— Нет! Нет! Это невозможно... О, если бы вы знали все!

— Ну, а если я... если я уже почти все знаю! — воскликнул Сергей Павлович.

Молодая девушка мертвенно побледнела и долго смотрела на него широко открытыми глазами, в которых мгновенно исчезли слезы горя и появилось мучительное выражение безысходного отчаяния.

— Вы знаете... Вы знаете... Все?

— То есть, как все... Я вижу состояние вашего духа, вижу вас одинокой и могу догадываться, — поправился Долинский, сам испугавшись впечатления своих первых слов.

— Догадываться? — печально повторила Любовь Аркадьевна. — Об этом даже нельзя догадываться... Действительность печальнее всех догадок...

— Боже мой... Так говорите же, умоляю вас,

говорите!

— Хорошо, я расскажу вам все по порядку, — начала молодая девушка. — Вы знаете, что едва мне исполнилось шестнадцать лет, как меня начали вывозить в свет... Владимир Игнатьевич сейчас же стал за мной ухаживать и был просто трогателен своим вниманием и деликатностью... Наконец, не предупредив меня, он просил у папы моей руки. Папа отказал ему наотрез, но он все-таки продолжал бывать у нас и ухаживать за мной. Вдруг один раз папа приходит ко мне и объявляет, что мама решила выдать меня за князя Геракова, вы помните такой тощий и длинный молодой человек, с совершенно лошадиной физиономией... К тому же он был так глуп, что двух слов с ним сказать было нельзя... Куда хуже Владимира Игнатьевича! Я его без отвращения не могла видеть. Разумеется, я была в отчаянии, и бедный папа очень жалел меня. Но вы знаете маму, она такая гордая, а папа ее во всем слушается. Один раз я поехала одна кататься днем на Стрелку, мы жили тогда на Каменном острове.

Вдруг подъезжает Владимир Игнатьевич

верхом... «Любовь Аркадьевна, — говорит он, — вы несчастливы!» Я не смогла отвечать и заплакала. «Вы его не любите?» Я все плачу. Тут он стал говорить мне что-то много-много хорошего, потом сказал: «Надейтесь на меня», — и ускакал. А этот князь Гераков приходился нам дальним родственником по маме и, приехав из провинции, жил у нас. Вдруг дня через два его приносят к нам раненого. Жалко мне его было и ухаживала я за ним усердно, но в душе все-таки благодарила Владимира Игнатьевича, придравшегося за что-то к князю и вызвавшего его на дуэль; я верила, что он любит меня больше жизни, которой рисковал для меня. Когда князь Гераков выздоровел, то отказался от меня и уехал. После этого мама стала еще усерднее искать для меня жениха и решила выдать меня за старого графа Вельского. Этого я испугалась хуже князя Геракова... Но мы с Владимиром Игнатьевичем виделись потихоньку, и он сказал, что объявил графу, что если он не откажется от этого сватовства, то он убьет его. Граф отказался. Затем Владимир Игнатьевич стал уговаривать меня бежать с ним. Я сначала от-

казывалась, потом согласилась... О, Боже! Это было последствием минутной слабости к нему... Было уже поздно не соглашаться... Но я стану теперь упрекать себя всю жизнь...

Любовь Аркадьевна снова залилась слезами.

— Полноте, перестаньте, — как мог утешал ее Долинский, — у вас еще целая жизнь впереди, и вы можете еще быть так счастливы...

— Нет, — покачала головой молодая девушка, — мне осталось только умереть... Он меня не любит... Я в том убедилась... К родителям я не вернусь... Ему я не нужна... Он не знает, как от меня отделаться... Я сама вижу...

— Ну, так и слава Богу, что это так! — торжественно и серьезно сказал Сергей Павлович. — В дружбу мою вы до сих пор верили... Поверьте же и любви моей и согласитесь быть моей женой...

— Так значит, вы меня не презираете?

— Бог с вами, что вы говорите, Любовь Аркадьевна! Вы молоды и чисты, а потому доверчивы... Неелов был первый человек, который сумел заговорить с вами языком, понятным вашему сердцу, да еще и при таких об-

стоятельствах. Виноваты ли вы, что поверили ему?.. Ну, а теперь говорю с вами я и прежде всего объявляю, что если отец ваш и благословит наш брак, я заранее отказываюсь от его богатства... согласны вы?

Любовь Аркадьевна долго молчала.

На заплаканном красивом лице ее быстро сменялись разнообразные выражения. Видно было, что в душе ее происходит жестокая борьба.

— Нет! — проговорила она наконец. — Это великодушие!..

— Клянусь вам, что я люблю вас и знаю, что вы выше меня. Это жертва скорее с вашей стороны.

— Не вам жениться на обещанной...

— Перестаньте... Вы меня сделаете счастливым...

— Нет, я не стою вас...

— Но пошли бы вы за меня, если бы Неелова не было?

— Нет! Умереть я должна... Мстить ему я не хочу... Было время, я его любила... Вас же теперь я оценила еще более.

— И потому мне отказываете?.. — с горе-



чью в голосе сказал Сергей Павлович.

— Да, потому... Ваше счастье мне дороже жизни...

— И вы не хотите мне дать его?

— Я не могу вам дать его... Я это чувствую... Вы любите меня, это несомненно... Но придет время, вы сами поймете, что мое прошлое могло бы отравить вашу жизнь до конца.

— Я позабуду его.

— Я не могу позабыть его... Я могу быть женой его или ничьей.

Долинский долго смотрел на нее с глубоким почтением и восторгом.

— Бедная моя, — проговорил наконец он почти с материнской нежностью. — Вы не любите его и все-таки решаетесь быть его женою? Так вы будете ею, только доверьтесь мне во всем...

— Я доверюсь вам во всем... — с искренним чувством сказала молодая девушка. — Вы спасете мою честь! — с благодарностью в голосе воскликнула Любовь Аркадьевна.

— Я и спасу ее, быть может, губя себя! — задумчиво сказал Долинский.

## СЛЕДСТВИЕ

Сцена в банкирской конторе, время, проведенное в сыскном отделении, арест и препровождение в дом предварительного заключения — все это пронеслось для Дмитрия Павловича Сиротина как бы окутанное густым непроницаемым туманом.

Он очнулся и пришел несколько в себя только на другой день в своей камере.

Проснувшись, он огляделся вокруг себя недоумевающим взглядом.

Где он? Что это за странная комната с одной запертой дверью, со сделанным в ней круглым маленьким окошечком со стеклом, закрытым, видимо, с наружной стороны?

В то время, когда его внимание привлекло это крошечное окошечко, его ставенка внезапно отворилась и в нем появился человеческий глаз.

Кроме глаза ничего не было видно.

Но вот глаз скрылся, и ставенка снова захлопнулась.

Дмитрий Павлович вскочил.

— Где это я? — вслух с отчаянием в голосе воскликнул он.

Взгляд его упал на окно, помещенное как-то странно, выше, чем обыкновенные окна и защищенное железной решеткой, тень от которой вследствие, видимо, яркого солнечного дня рельефно отражалась на матовых стеклах.

Эта решетка ему сказала все.

Он понял и, как-то вдруг заметавшись, опустился, как стоял у постели, на пол и зарыдал.

— Я в тюрьме, в тюрьме... — сквозь рыдания шептал он. Слезы несколько облегчили его.

Его ум стал мало-помалу проясняться.

Он припомнил весь вчерашний день, и отчаяние сменилось страшным негодованием честного человека, заклеяменного незаслуженно позорным именем вора.

Он вскочил, как ужаленный, с пола и стал быстрыми шагами ходить по комнате.

«Что же это? Куда же девались эти сорок две тысячи, хранившиеся у него в кассе и так таинственно исчезнувшие? Проверку ежедневную производил или сам Корнилий Потапович, или Иван Корнильевич в его присут-

ствии...» — медленно, с расстановкой рассуждал Сиротинин.

Ему, действительно, за последнее время часто давали ключ и он производил выдачи и оплаты векселей до приезда в контору молодого хозяина, но все эти выдачи аккуратно им записывались, и при дневной проверке оказывалось все в порядке, а между тем исчез целый капитал: сорок две тысячи...

«Кто же вор? Кто же этот таинственный похититель, без взлома, без подобранного ключа, видимо, систематически, постепенно выудивший из кассы десятки тысяч?» — вставал в уме Дмитрия Павловича вопрос.

Таким вором мог быть только один из троих: сам Корнилий Потапович, его сын или же он, Сиротинин.

Первые оба — не только владельцы конторы как отец и сын, но даже пайщики, так как Дмитрий Павлович знал, что Иван Корнильевич в деле отца имеет свой отдельный капитал, — они оба, значит, должны были воровать у самих себя. Сиротинин не знал отношений между стариком Алфимовым и его сыном.

Обвинение против двух первых, таким образом, отпадало при первой же о нем мысли, да и самая мысль казалась дикой, невозможной.

Оставался один виновник — это он, Дмитрий Павлович Сиротинин.

А между тем он не виноват.

Это, впрочем, знает он один.

Другие этого знать не могут. Трое имели доступ в кассу, два владельца и он — кассир. Мало этого: и Корнилий Потапович, и Иван Корнильевич производили ежедневную проверку в его присутствии, под его наблюдением.

Даваемые ему иногда последним поручения, заставлявшие его покидать на несколько минут помещение кассы, не пришли ему в голову, как никогда не возбуждавшие никаких подозрений.

Значит, для всех других несомненным и единственным виновником был он.

Он — вор. Это вне сомнения. В этом будут убеждены все, не говоря уже о следователе и прокуроре.

«Мать!» — пронеслось в голове Дмитрия

Павловича, и вдруг слезы ручьями снова потекли из его глаз.

Но это не были те еще недавние слезы отчаяния, это были слезы сожаления.

«Милая, бедная мама! Какой удар вынесла ты, прочтя письмо. Но ты, дорогая, ты одна, я глубоко уверен в этом, не согласишься, что твой сын бесчестный человек. Не поверила бы ты, если бы я сам даже признался в преступлении... Но тем более тяжело твое несчастье. Видеть невинного сына, клейменного обществом страшным именем вора, тяжелее во сто крат, чем знать, что заблудшее дитя несет заслуженное наказание».

«Она! Елизавета Петровна!»

Мысли Сиротинина перенеслись на эту милую девушку. Только теперь почувствовал он сердцем, как дорога она ему. Только теперь понял он, что после матери он желал бы, чтобы только один человек не признал его виновным.

Этот человек был — Елизавета Петровна Дубянская.

Дмитрий Павлович не знал об отъезде Елизаветы Петровны в Москву.

«Мама, конечно, напишет ей, — думал Сиротинин, — им вдвоем будет легче переносить тяжелое горе».

Вдруг он почувствовал, что холодный пот выступил на его лбу.

«А что, если она...»

Он не был в силах окончить своей мысли.

«Нет... Она слишком чиста, слишком пронзительна, чтобы поверить... Она знает меня... За последнее время мы так сошлись... Я выложил ей всю свою душу... Она мне сказала, что читает в моем сердце, как в книге... Не могла же она не прочесть в нем, что я честный человек... Ведь это заглавие книги моего сердца...»

Он с нетерпением стал ожидать свидания с матерью и с ней.

Это свидание состоялось только после первого допроса у следователя.

Последний был умный, пронзительный и добрый человек.

Несмотря на многолетнее служение слепой, нелюбезной и строгой Фемиде, в его сердце не были порваны человеческие струны. Ему не представлялся обвиняемый в фор-

ме отношения за известным номером в папке с синей оберткой, на которой напечатано слово «Дело». Он всегда видел в нем человека, старался заглянуть к нему в душу, расшевелить его совесть, нравственно на него воздействовать.

Для Дмитрия Павловича Сиротинина было большим счастьем, что его дело попало именно к такому следователю.

Счастье это заключалось не в том, чтобы судебный следователь мог помочь ему в его деле, разыскать виновника растраты и освободить невинно заключенного.

Мы знаем, что обстоятельства его дела сложились так, что из них не было выхода. Мы видели, что Сиротинин понимал это сам, понимал, конечно, и судебный следователь.

При первом же допросе на последнего произвело впечатление открытое, честное лицо обвиняемого, и поразило его чистый и прямой взгляд.

Выработавший из себя вследствие своей деятельности опытного физиономиста, следователь тотчас понял, что имеет дело не с преступником, а с несчастным.



После отрицательного ответа на первый вопрос о виновности, судебный следователь прямо обратился к Сиротинину с вопросом:

— Не подозреваете ли вы кого-нибудь?

— Нет! — также прямо и решительно отвечал Дмитрий Павлович.

Следователь начал расспрашивать его относительно порядка приема денег в конторе, ежедневной проверки кассы, присутствии при этом тех или других лиц.

Сиротинин подробно и ясно дал об этом обстоятельное показание.

— Во время поверки, когда она производилась в присутствии молодого Алфимова, не давал ли он вам каких-либо поручений, требовавших вашего ухода из кассы?

— Это случалось... Он иногда требовал ту или другую из конторских книг, которые хранились в другой комнате.

— Не думаете ли вы, что в это время... — начал было следователь.

— Нет, я этого не думаю!.. — с жестом негодования перебил его Дмитрий Павлович.

Следователь посмотрел на него широко раскрытыми глазами.

— Но вы сами, надеюсь, понимаете, что если не будет сыскан виновник растраты той суммы, которая не могла быть прочтена, то этим виновником... окажетесь вы?..

— Я это знаю, — вздохнул Дмитрий Павлович.

— А между тем поведение с ключом вашего молодого хозяина мне кажется подозрительным... Ручаетесь ли вы, что в то время, когда он удалял вас из кассы, несколько паек кредитных билетов не переходило в его карманы...

— Это невысказано! — воскликнул Сиротинин. — Он пайщик конторы, и исчезнувшие деньги или то есть известная часть их, принадлежит и ему... Он был, кроме того, всегда ко мне так добр и любезен...

— Все это так... Я высказал лишь мои соображения, — заметил судебный следователь и этим окончил первый допрос обвиняемого в растрате кассира.

Когда солдаты увели арестанта, следователь довольно долго глядел на затворившуюся за ним дверь.

— Да! — воскликнул он вслух, — во всю

мою долгую практику я первый раз вижу безусловно честного человека в арестантском халате, под тяжестью позорного обвинения... Я ему даже не могу помочь... Он сам не хочет помочь себе... Все улики против него, а участвовавшие за последнее время растраты кассирами не дают мне права даже на освобождение его от суда... Только чудо может спасти его... Будем же ждать этого чуда.

На другой же день после первого допроса обвиняемого судебный следователь вызвал к себе для допроса обоих Алфимовых, назначив, однако, им разные дни.

Первым по повестке вызывался Корнилий Потапович, а через день после него был назначен допрос Ивана Корнильевича.

Старик Алфимов вкратце рассказал историю обнаружения растраты, о его предложении Сиротину выдать ему обязательство на растраченную сумму, обеспечив его всем своим имуществом, и оставить занятия в конторе без суда, и отказ Дмитрия Павловича от этого.

— Я не ожидал от него такой наглости и закоснелости, — заключил он.

— А, быть может, это только доказывает, что он не виноват? — уронил следователь.

Корнилий Потапович посмотрел на него вопросительно-недоумевающим взглядом.

— Если бы не полная очевидность его вины, господин следователь, я сам первый бы готов был стоять за него горой.

— Вследствие чего?

— А вследствие того, что до момента обнаружения растраты считал его честнейшим и аккуратнейшим из моих служащих. Он с такою точностью и идеальной честностью исполнял несколько моих провинциальных поручений, что я стал верить в него, как в самого себя.

— И эти поручения были связаны с находившимися у него на руках денежными суммами?

— Конечно.

— Суммы эти превышали сумму приписываемой ему растраты?

— В десять раз, если не более...

— Мог он воспользоваться при исполнении поручения хоть частью денег так, чтобы это ускользнуло от вашего внимания при по-

верке?

— О, конечно, он мог войти в сделку и нажечь меня на большую сумму на законном основании... Я выбрал его для этих поручений как рекомендованного прекрасно его бывшим начальством, а по выполнении поручений при освободившемся месте кассира я поручил ему кассу и думал, что я могу теперь спать спокойно... Кто мог думать, что его добросовестность и аккуратность были лишь лицемерием...

Корнилий Потапович вздохнул.

— Вы поручали вашему сыну оставлять у Сиротинина ключ от кассы после дневной проверки? — спросил следователь.

— Нет... Это было опрометчивостью с его стороны, за которую он и поплатился имущественно...

— То есть как?

— Все недостающее он заплатит из своего капитала, вложенного в дело.

— Вы ему сказали об этом?

— Да.

— И что же он?

— Он тотчас же согласился и предложил

сделать это даже сейчас.

— Кто теперь заведует кассой?

— Мой сын.

На этом допрос старика Алфимова был окончен.

Он не поколебал мнения судебного следователя в невиновности Дмитрия Павловича Сиротинина, но уже окончательно убедил его в ней состоявшийся через день допрос Ивана Корнильевича.

Судебный следователь как-то невольно принял против него более строгий тон, и смутившийся при первом появлении в камере следователя молодой человек смутился и растерялся еще более.

— Во время проверки кассы лично вами без вашего отца не давали ли вы Сиротинину таких поручений, которые заставляли его удаляться из помещения кассы?

— Не помню...

— Припомните...

— Кажется, что нет.

— Вы говорите правду?

— Да... — через силу произнес с дрожью в голосе Иван Корнильевич.

— Кто мог, кроме Сиротинина, совершить эту кражу?

— Не знаю...

Кроме этих односложных ответов: «да» и «нет», «не помню» и «не знаю», от молодого Алфимова добиться нельзя было ничего.

«Вот настоящий виновник! — решил следователь, отпустив этого свидетеля. — Но как обличить его? Вот вопрос!»

#### IV

### ОН СБЕЖАЛ!

В тот же вечер после свидания Сергея Павловича Долинского с Любовью Аркадьевной Селезневой, Елизавета Петровна Дубянская уже была в «Северной» гостинице, и молодая девушка встретила ее с искренней радостью.

Она застала там и Владимира Игнатьевича Неелова, который ранее уже от Любови Аркадьевны узнал о прибытии в Москву петербургских гостей, и это известие нельзя сказать, чтобы его порадовало.

Он встретил Дубянскую смущенный, с холодной любезностью, и перекинувшись несколькими словами, извинился, что ему необходимо уехать по делу, и вышел.

— Я рад, что Любовь Аркадьевна остается с преданным ей другом... — заметил он при прощании, подчеркнув, видимо намеренно, последние слова.

Оставшись с глазу на глаз с Елизаветой Петровной, Любовь Аркадьевна рассказала ей все свое недоумение относительно изменившегося к ней любимого человека, свою сердечную муку, свои предположения — последние со слов Мадлен де Межен — и, наконец, всю безвыходность своего положения.

— Вы не можете себе представить, как я рада, что вы здесь, а то я совершенно одна... М-ше де Межен добрая, великодушная, милая женщина, но она все-таки мне чужая...

— А я? — спросила Елизавета Петровна.

— Вас я считаю теперь родной... Вы породнились со мной, будучи близкой свидетельницей всего со мной происшедшего... Я знала ведь, что вы обо всем догадывались, но были так благородны и великодушны...

— Что не высказала своих подозрений вашим родителям?

— Да.

— Но это только потому, что я сомневалась



в справедливости возникших в моем уме подозрений.

— Этим-то вы и доказали чистоту вашей души.

— Но, быть может, теперь вы не должны меня благодарить за мое пассивное отношение к вашей судьбе. Если бы я вам помешала, кто знает, вы были бы счастливее.

— Нет, от судьбы не уйдешь... Я уже была обреченной. В тот день, когда вы поступили к нам, было мое первое свидание с ним наедине, которое решило все...

— Мне эта мысль тогда же приходила в голову... — заметила Дубянская.

— Если бы вы мне стали мешать, вы ничему бы не помогли, а я не сохранила бы о вас такого хорошего мнения и не была бы с вами так откровенна, как теперь.

— Сергей Павлович сказал мне, что вы обещали передать мне письма господина Неелова.

— Да, я их и вручу вам для передачи ему... Я не знаю, что он хочет с ними делать, но я верю, что он берет их для моей пользы.

— В этом не может быть сомнения. Долин-

ский — честный человек.

— Я в этом и сама не сомневаюсь.

Любовь Аркадьевна встала с дивана, на котором сидели обе женщины, подошла к стоявшему комоду, отперла один из ящичков, вынула из него небольшой дорожный сак, а из него пачку писем и передала их Елизавете Петровне.

Та спрятала их в карман.

— Так вы говорите, что он совершенно перестал говорить о браке?

— И даже раздражается, когда я напоминаю ему об его обещании.

— Это ужасно... Извините, но он... нечестный человек... — с трудом произнесла последние слова Дубянская.

— Увы! — могла только воскликнуть Селезнева.

— И вы продолжаете любить его?

— Нет... Но он должен на мне жениться... Иначе я пропащая...

— Конечно...

— Сергей Павлович дал мне слово, что я буду его женой... Я ему верю...

— Он не даст слова необдуманно.

— А что брат? — спросила Любовь Аркадьевна. — Когда я увижу его?

— Он здесь. Но увидеть его вы можете только когда будете женою Неелова.

— Почему это?

— Так мы решили с Сергеем Павловичем.

— По каким же причинам?

— Он не должен знать, в каком вы находитесь положении. Он человек горячий, и мало ли что может произойти между ним и Владимиром Игнатьевичем.

— Пожалуй, вы правы, — согласилась Селезнева.

— Но как же вы здесь живете... без всяких бумаг?.. — начала Елизавета Петровна после некоторой паузы.

— Хозяин гостиницы старый знакомый Владимира Игнатьевича.

— Но все же лучше записаться... Я вам привезла ваше метрическое свидетельство. — Дубянская вынула из висевшей на ее руке сумочки бумагу и передала ее Любовь Аркадьевне.

«Ну, нашествие друзей и родственников, — думал между тем Владимир Игнатьевич Нее-

лов по дороге в Сокольники. — Авось догадаются и увезут ее в Петербург обратно к родителям... Вот одолжили бы».

Он уже давно ломал голову над тем, как бы «поблагороднее» написать Аркадию Семеновичу, что Любовь Аркадьевна охладела к нему, и он вынужден просить родителей, чтобы они взяли ее обратно.

Тут же представлялся случай обойтись без письма.

«Я уеду завтра на несколько дней к себе в имение и оставлю здесь ее одну, авось догадаются», — решил он.

«А, быть может, эта ее отставная компаньонка увезет ее к ее любезному братцу и рыцарю Долинскому и сегодня?» — не без удовольствия мечтал он.

Ему не хотелось покидать Москву и в особенности дачу в Сокольниках, где, как мы знаем, он охотился за двумя зайцами. Возвратившись поздно ночью, он спросил встретившего его лакея:

— Барыня у себя?

— Так точно-с. От них с час, как уехала гостья...

Сердце Неелова упало.

«Придется завтра уезжать, — подумал он. — Ей не скажу ничего и исчезну...»

Действительно, на другой день утром Владимир Игнатьевич, не заходя в комнату Любовь Аркадьевны, уехал на вокзал и покатил в свое имение.

По приезде домой ночью, Елизавета Петровна застала дожидавшегося у себя в номере Долинского.

Они еще долго советовались друг с другом.

Они, действительно, как Дубянская передавала Селезневой, решили устранить совершенно от дела Сергея Аркадьевича, человека горячего, несдержанного и могущего только испортить придуманный Сергеем Павловичем план заставить Неелова жениться на Любовью Аркадьевне.

— Я сегодня написал и отправил с курьерским обстоятельное и подробное письмо Аркадию Семеновичу, — сказал Долинский. — Он получит его завтра до обеда, значит, до курьерского поезда может быть получена телеграмма о его немедленном возвращении.

— Это будет лучше.

— Еще бы! Тогда у меня будут развязаны руки. И мне претит эта ложь. Он спрашивает, нашел ли я сестру. Что она, как! Мне приходится лгать и выворачиваться. Я все откровенно написал Аркадию Семеновичу. Он поймет меня...

— Как бы не затормозила Екатерина Николаевна.

— Ну, в этом случае Аркадий Семенович умеет постоять за себя и часто идет наперекор ее княжеской воле.

Сергей Павлович оказался правым.

На другой день, около шести часов вечера, была, действительно, получена на имя Сергея Аркадьевича Селезнева телеграмма, гласившая: «Приезжай немедленно. Нужен».

Телеграмма была подписана: «Аркадий Селезнев».

— Как же сестра? — с недоумевающим выражением лица спрашивал Сергей Аркадьевич.

— Не беспокойся о сестре... Сестру мы найдем не нынче, завтра и обо всем тебя уведомим... А, быть может, ты и вернешься, — говорил ему Долинский.

— Да зачем я там понадобился?

— Уж этого, брат, не знаю... Приедешь, узнаешь... Вероятно, что-нибудь очень важное.

— Что же может быть? И не придумаю.

— Нечего и придумывать. Поезжай с курьерским.

— Придется ехать.

Сергей Аркадьевич собрался и уехал, Долгинский и Дубянская поехали его провожать, и с вокзала Сергей Павлович завез Елизавету Петровну в «Северную гостиницу» к Селезневой, а сам уехал домой.

Он долго не ложился, ожидая возвращения молодой девушки, но так и не дождался.

Встав на утро, он справился у лакея.

Оказалось, что Елизавета Петровна дома не ночевала.

Он уже хотел ехать справляться, не случилось ли чего с нею, оделся и вышел в коридор, но в нем столкнулся лицом к лицу с бледной, расстроенной Дубянской.

— Что с вами? Где вы были?

— У Любовь Аркадьевны.

— Что случилось?

— Неелов исчез из Москвы, он сбежал, оставив ее на произвол судьбы.

— Откуда вы это знаете?

— Извозчик сегодня утром отвез его на станцию железной дороги.

— Вот как! — на первых порах сам пораженный воскликнул Сергей Павлович.

Елизавета Петровна прошла к себе в номер. Долинский последовал за ней.

— Несчастливая!.. Она погибла!.. — воскликнула Дубянская, скорее падая, нежели садясь в одно из кресел, не снимая с себя верхнего платья.

— Успокойтесь!.. Ничего не погибла... — уже спокойным голосом сказал овладевший собой Сергей Павлович. — Мы его найдем.

— Где найти его?

— Не иголка... Не затеряется... Далекое не уедет... Может быть, знает Савин...

— Так вам Савин и скажет... Они с ним друзья...

— Мне Савин скажет все... Отдохните, разденьтесь... Вы, вероятно, не спали всю ночь...

— Не сомкнула глаз.

— Вот видите... Тем больше причин успо-



коиться и заснуть... А я пойду...

— С Богом...

Сергей Павлович уехал.

По счастью, он застал Николая Герасимовича дома.

— Ради Бога, помогите мне. Я к вам по делу... — сказал, входя в комнату, Долинский.

— Извольте, все, что могу, я сделаю... Для вас, вы сами знаете...

— Для меня вы даже нарушите законы дружбы?

— Я вас не понимаю.

— Скажите мне, где Неелов?

Савин смутился.

— Я... я... право, не знаю.

— Нет, вы знаете, но не хотите сказать мне, а между тем никакие законы дружбы не обязывают покрывать подлеца...

— За что вы его так?.. — улыбнулся Николай Герасимович, Сергей Павлович подробно рассказал всю историю ухаживания Владимира Игнатьевича за Любовью Аркадьевной, увоз ее из Петербурга и, наконец, неисполнение данного слова здесь и исчезновение из Москвы, с целью, видимо, окончательно от нее от-

делаться.

Вся эта история, рассказанная Долинским, получила в глазах Савина совершенно другое освещение, нежели тогда, когда он слышал ее, конечно, в другой редакции, от самого Неелова.

— Да, это... некрасиво... — пробормотал он сквозь зубы.

— Это подло, бесчестно!.. И вы как честный человек, несмотря на чувство дружбы к нему, конечно, примете сторону беззащитной, несчастной, опозоренной девушки...

— Но что вы хотите от него?

— Я хочу, чтобы он на ней женился.

— И она этого хочет?

— В том-то и все несчастье.

— Почему же несчастье?

— Да потому, что если бы она захотела быть моею женою, я обвенчался бы с ней завтра...

— Вот как!.. В таком случае, мне, действительно, неудобно скрывать его... Я получил от него вчера телеграмму... Вот она...

Савин вынул из кармана телеграмму и подал ее Долинскому. Тот прочел:

*«Уезжаю на несколько дней в деревню. Если Любу увезут в Петербург, телеграфируй.*

*Неелов».*

— Вот на что он рассчитывает!.. Легко, однако, думает отделаться... — проворчал Сергей Павлович. — Так как теперь вы наш, то исполните еще одну мою просьбу...

— Какую?

— Поедьте со мной к нему в имение. Я захвачу еще двух моих московских друзей, из которых один доктор...

— Зачем это?

— Если он не согласится венчаться, я вызову его на дуэль... Вы будете его секундантом, а доктор пригодится кому-нибудь из нас...

— Совсем как во французском романе...

— Жизнь, Николай Герасимович, порождает романы позамысловатей французских...

— Извольте... я готов ехать, когда вы назначите...

— Благодарю вас... Если вы считаете себя у меня в долгу, то теперь мы квиты, — сказал с чувством, пожимая руки Николая Герасимо-

вича, Сергей Павлович Долинский.

## V ПОЕДИНОК

Владимир Игнатьевич уже третий день сучал в своем добровольном заключении — в прекрасном доме своего имения — ис нетерпением ждал освобождающей его телеграммы Николая Герасимовича Савина.

Нарочный по несколько раз в день ездил в шарабане на станцию железной дороги справляться, не пришла ли депеша, а Неелов, обыкновенно стоя с биноклем у окна своего кабинета, пристально смотрел на видневшуюся дорогу, по которой он должен был возвратиться в усадьбу.

На третий день утром он увидал, что нарочный возвращается не один, рядом с ним сидел какой-то господин, судя по костюму.

Расстояние не позволяло даже в бинокль разобрать, кто это.

«Уж не сам ли Савин? — мелькнуло в голове Владимира Игнатьевича. — Может, дружище везет радостную весточку, что неприятель выступил из Москвы вместе с пленницей... Это было бы совсем по-дружески».

Шарабан сделал поворот в аллею, ведущую к дому, и скрылся из виду Неелова.

Тот бросил на стол бинокль и стал нервной походкою ходить по кабинету, а затем вышел и через амфиладу комнат отправился в переднюю встретить прибывшего гостя.

Шарабан в это время остановился у подъезда и перед Владимиром Игнатьевичем совершенно неожиданно для него предстал Сергей Павлович Долинский.

«Прислан для переговоров...» — мелькнуло в уме быстро оправившегося от неожиданности Неелова, и он с любезной улыбкой приветствовал Долинского.

— Здравствуйте... Какими судьбами! Вот не ожидал...

— Я к вам по делу... — сдержанно-холодно сказал Сергей Павлович, едва притрагиваясь к поданной ему Владимиром Игнатьевичем руке.

— Милости просим... милости просим, — заторопился Неелов. — Пожалуйте ко мне в кабинет.

Долинский снял пальто и последовал за хозяином.

— Чем могу служить? — спросил Владимир Игнатьевич, когда он вошел в кабинет. — Прошу садиться.

Сергей Павлович не слышал или сделал вид, что не слышит последнего предложения.

— Я приехал спросить вас о ваших намерениях относительно Любовь Аркадьевны Селезневой.

— По какому праву... У вас есть доверенность от ее родителей?

— Нет, у меня нет никакой доверенности, и спрашиваю я вас не от лица ее родителей, а лично от себя.

— По какому праву, в таком случае, еще раз спрошу вас я?

— По праву человека, который любил ее, предлагал ей руку и сердце, но которому она отказала из-за вас...

— И совершенно напрасно! Я никогда не собирался жениться на ней, — отвечал спокойно Неелов.

— Это ложь! У меня есть ваши к ней письма...

— А, вот насколько вы с ней близки! — заметил Владимир Игнатьевич, нимало не сму-

щаясь.

— Дело не в близости, а в правде...

— В таком случае выслушайте меня, не горячася. Надо вам сказать, что жизнь я вел всегда бурную, полную чувственных наслаждений. Затем дела мои расстроились. Приходилось решиться брать жену с деньгами. Любовь Аркадьевна, кроме того, хороша собой и одно время мне казалось, что я даже люблю ее. Но когда она согласилась бежать со мной, пыл этот прошел, а изменившиеся обстоятельства дали мне возможность вдуматься. Какой я ей муж? Ведь этот брак был бы и ее и моим несчастьем. А главное, теперь я дешево своей свободы не отдам!

— Но ведь вы ее скомпрометировали и обязаны...

— Повторяю, я не женюсь и ради себя, и ради нее.

— В таком случае, я вас заставлю.

— Вы?!

— Да, я...

Неелов презрительно расхохотался.

Настойчивость этого «адвокатишки», как он мысленно называл Долинского, начинала

его раздражать.

— Да, именно я... — повторил твердо и решительно Сергей Павлович.

— Не пригрозите ли вы мне дуэлью? — иронически заметил Неелов.

— Да, я требую удовлетворения.

— По какому праву, за чужую вам женщину?

— Не за нее, а за ваш презрительный смех, который я считаю оскорбительным.

— Это другое дело. Но сперва смотрите...

Владимир Игнатьевич вынул из ящика письменного стола заряженный револьвер и, прицелившись в окно в сидевшего беззаботно шагах в двадцати на крыше воробья, выстрелил.

Воробей мгновенно свалился.

— Посмотрите и вы, — ответил хладнокровно Сергей Павлович, для которого стрельба и охота были любимой забавой.

Он взял из рук Владимира Игнатьевича револьвер и подойдя к окну, мимо которого в это время пролетала ласточка, поднял руку. Курок щелкнул и ласточка тотчас упала мертвою на землю.



— Хорошо!.. — сказал Неелов. — Но где же мы будем драться, один на один... Ведь это против всяких правил.

— Не беспокойтесь, все предусмотрено.

— Как так?

— На станции дожидаются окончания моих с вами переговоров Николай Герасимович Савин и два моих товарища, из которых один доктор. Савин охотно будет вашим секундантом.

— Однако, вы предусмотрительны, — сквозь зубы проворчал Владимир Игнатьевич.

— Пошлите за ними экипаж, — продолжал Сергей Павлович, пропуская мимо ушей это замечание.

— В таком случае, я сейчас распоряжусь.

Владимир Игнатьевич дернул сонетку.

— Четырехместную коляску отправьте сейчас на станцию за господами, — отдал он приказание явившемуся на звонок слуге.

— Теперь все-таки садитесь, — сказал Неелов Долинскому, когда слуга удалился, а сам стал ходить по кабинету.

Сергей Павлович сел.

— А вы послушайте мои условия: стрелять в вас я буду, но убить не убью, а только раню, потому что рана облегчит ваше дело женитьбы на Любовь Аркадьевне.

— Говорю вам, что я не женюсь... А вас убью... — сказал на ходу Неелов.

— Это — как решит Бог, — отвечал Долинский.

Владимир Игнатьевич вдруг остановился против него.

— К чему же такое великодушие?.. Если вы меня убьете или искалечите, честь вашей будущей жены будет восстановлена и вы можете спокойно на ней жениться.

— Увы, — вздохнул Сергей Павлович, — она не любит меня, а любит вас...

— Вот как! — заметил Неелов и стал снова ходить по кабинету. Наступило молчание.

Какие думы роились в голове этих двух молчавших людей — кто знает?

Шум подъехавшего к крыльцу экипажа заставил Сергея Павловича встать с кресла.

Неелов пошел встречать новых гостей.

Долинский последовал за ним.

— И ты, Брут! — встретил упреком Нико-

лая Герасимовича Владимир Игнатьевич. — И даже со смертоносным оружием, — указал он рукой на ящик с пистолетами, который держал в руках Савин.

— Что делать, брат! У меня правило и относительно самого себя, и относительно моих друзей: «Заварил кашу — расхлебывай».

— Присяжный поверенный Таскин... Доктор Баснин... — представил Сергей Павлович Неелову остальных двух прибывших.

— Мы несколько знакомы, — подав руку обоим, сказал Неелов, обращаясь к Таскину.

На лице Владимира Игнатьевича выразилось смущение.

Таскин был один из претендентов на руку дочери московского купца-толстосума, за которую ухаживал Неелов, и часто участвовал в карточной игре в доме ее отца, подозрительно поглядывая всегда на руки банкмета Неелова.

Он понимал, что это его враг, и появление его в качестве секунданта Долинского ему казалось дурным предзнаменованием.

Игроки и особенно шулера все суеверны.

— Так значит, вы не стоворились? — начал

Савин, когда все прибывшие с Долинским по приглашению хозяина вошли в кабинет.

— Нет, — коротко отвечал Неелов.

— Значит, драка?

— Да... Я прошу тебя быть моим секундантом. Господин Долинский оскорбился моим презрительным смехом и вызвал меня на дуэль.

— Представляю вам моего секунданта, — сказал Сергей Павлович, указав на Таскина.

Тот молча поклонился.

— Очень приятно, — процедил сквозь зубы Владимир Игнатьевич.

— Когда же мы назначим дуэль? — спросил Николай Герасимович.

— По мне, хоть сейчас, — согласился Неелов.

— И отлично, — подтвердил Сергей Павлович.

— Здесь у меня в лесу есть отличная полянка, как будто сделанная для дуэлей... Я не вею отпрягать, и мы отправимся.

Неелов позвонил и отдал явившемуся слуге соответствующее приказание.

Секунданты удалились в другую комнату и

через четверть часа вернулись с выработанными условиями поединка.

Все пятеро в четырехместной коляске отправились на место, о котором говорил Неелов.

— В тесноте, да не в обиде! — пошутил Савин, усаживаясь на переднем сидении, между Нееловым и доктором Басниным.

Коляску остановили у опушки леса и пошли по лесной тропинке.

Владимир Игнатьевич шел впереди, указывая дорогу.

Полянка действительно оказалась чрезвычайно удобной.

Защищенная со всех сторон густым лесом, она была в тени, так что солнце, ярко блестящее в этот чудный сентябрьский день, не мешало прицелу.

В воздухе веяло прохладой.

Отмерив шаги, секунденты установили противников и в последний раз обратились к ним с советом примирения.

Оба противника от мира отказались.

Пистолеты были им вручены.

— Орел или решка? — крикнул Савин, под-

брасывая монету.

— Орел! — сказал Неелов.

— Тебе стрелять первому, — объяснил Николай Герасимович, поднимая монету.

Присяжный поверенный Таскин стоял рядом с Долинским и не спускал глаз с лица Владимира Игнатьевича.

Последний не мог отвести глаз от его задумчивого, испытующего взгляда.

Этот взгляд смущал его.

Он целился долго, но рука видимо дрожала.

Наконец он выстрелил и пуля пробила шляпу Долинского и несколько опалила волосы.

— Вам стрелять! — крикнул Николай Герасимович Сергею Павловичу.

Последний быстро поднял руку и выстрелил, почти не целясь. Владимир Игнатьевич со стоном упал на землю. Все бросились к нему.

— Ну что? — спросил Долинский тихо доктора после осмотра.

— Жизнь не в опасности, но ампутацию сделать придется. Раздроблена голенная

кость левой ноги.

Доктор сделал первоначальную перевязку, а затем все вчетвером бережно вынесли раненого из леса и уложили в коляску... Доктор сел с ним, и коляска шагом направилась к усадьбе.

Остальные пошли пешком.

Также бережно внесли Неелова в его кабинет и уложили в вольтеровское кресло.

— Садитесь рядом со мной, — сказал он Долинскому. — Мне нужно переговорить с вами... Теперь Любовь Аркадьевна едва ли захочет венчаться с калекой, — продолжал он. — Мне теперь нужна уже не жена, а сиделка на всю остальную жизнь. Все, все пропало!

Он тяжело вздохнул и замолчал.

— Послушайте, привезите ее... — сказал он после некоторой паузы.

— И священника! — добавил Сергей Павлович.

— Ну и священника, если хотите, — согласился Владимир Игнатьевич.

Долинский и Таскин уехали, а Савин и доктор остались при раненом.

По приезде в Москву Долинский передал

все Елизавете Петровне, всячески стараясь выставить Неелова в лучшем свете.

Но когда она передала его рассказ Любовь Аркадьевне, то она поняла роль ее друга и горячее чувство приязни к нему еще усилилось.

— Он плох?.. — было ее первым вопросом, когда она вместе с Долинским и Дубянской на другой день приехали в имение Неелова.

— Кажется, необходимо будет ампутировать ногу, — морщась, ответил доктор. — А там увидим... всяко бывает...

— Люба... — сказал Владимир Игнатьевич. — Совесть заставляет меня заглазить зло... Если я умру, ты будешь свободна, а если выживу, тебе придется быть прикованной на всю жизнь к креслу калеки и твоего врага.

— Для меня не остается выбора, — ответила она, — но я буду тебе благодарна за то, что ты не бросил меня на позор.

В это время приехал Долинский с сельским священником и дьячком, которых ему удалось ссылкой на законы и даже на регламент Петра Великого убедить в возможности венчать тяжело больного на дому, тем более, что соблазненная им девушка чувствует под



сердцем биение его ребенка. В этом созналась Любовь Аркадьевна Дубянской.

Начался обряд венчания.

Неелов сидел в кресле, его шафером был доктор и, стоя сзади, держал над ним венец.

У Селезневой был шафером приехавший снова по просьбе Сергея Павловича Таскин, и ее обвели три раза вокруг кресла больного жениха.

Обряд окончился.

Чсть Любовь Аркадьевны Селезневой была восстановлена, но Долинский не выдержал до конца и уехал на станцию, а оттуда в Москву.

На другой день, приехав снова в имение, он застал в доме Неелова целый консилиум врачей.

Елизавета Петровна занималась по хозяйству.

Любовь Аркадьевна была одна в своем будуаре. Сергей Павлович вошел туда.

Молодая женщина бросилась к нему навстречу и неожиданно для него упала перед ним на колени.

— Чсть ваша спасена, хотя вы будете

очень несчастны, Любовь Аркадьевна! — сказал он, поднимая ее. — Но прошу вас, что бы ни случилось, знать, что я ваш на всю жизнь... Теперь я уеду, но в знак вашего расположения, дайте мне что-нибудь на память.

— Вот кольцо... — взволнованным голосом проговорила она. — Это первый драгоценный подарок, сделанный мне папой... я дорожила им больше всего.

Она сняла с пальца колечко с изумрудом и бриллиантового осыпью, подала Долинскому и тотчас вышла.

Но в зеркале он видел, что по лицу ее струились крупные слезы.

Владимиру Игнатьевичу отняли ногу, но операция удалась блистательно, и больной был вне опасности.

Все, кроме Таскина, уехавшего накануне, и Долинского, вернувшегося также в Москву после разговора с Любовью Аркадьевной и получения от нее кольца, несколько дней провели в имении Неелова, куда даже приехала и Мадлен де Межен, вызванная Савиным.

Когда опасность для больного миновала, они тоже вернулись в Москву, но за это время

Николай Герасимович глубоко оценил достоинства Елизаветы Петровны Дубянской и окончательно стал благоговеть перед этой девушкой.

На другой день по возвращении в Москву Долинский и Дубянская уехали в Петербург, куда раньше послали письмо с извещением о состоявшемся бракосочетании Неелова и Селезневой.

## VI МАТЬ И НЕВЕСТА

В Петербурге Елизавету Петровну ожидало роковое известие. В своей комнате, в доме Селезневых, на письменном столе она нашла письмо Анны Александровны Сиротининой. Письмо было коротко, очень коротко, но в нем чувствовалась такая полнота человеческого горя, что, охватив сразу все его глазами, Дубянская смертельно побледнела.

*«Большое несчастье. Приходите, родная.*

*Ваша А. Сиротинина».*

Вот что прочла в письме Елизавета Петровна, и, переодевшись с дороги, даже не за-

ходя к Екатерине Николаевне Селезневой — Аркадий Семенович встретил их на вокзале — тотчас поехала на Гагаринскую.

В уютной квартирке Сиротининых царило бросившееся в глаза молодой девушке какое-то странное запущение.

Казалось, все было на своем месте, даже не было особой пыли и беспорядка, но в общем все указывало на то, что в доме что-то произошло такое, что заставило его хозяев не обращать внимания на окружающую их обстановку.

Самое выражение лица отворившей на звонок Елизаветы Петровны дверь прислуги указывало на совершившийся в этой квартире недавно переполох.

— Дома Анна Александровна? — спросила Дубянская.

— Дома-с, пожалуйста, — отвечала служанка, снимая с молодой девушки верхнее платье.

— Здоровы?

— Какое уж их здоровье...

В тоне голоса, которым произнесла прислуга эту фразу, слышалось что-то злое.

— Это вы! — вышла навстречу гостье в гостиную Анна Александровна.

— Здравствуйте.

Все это было сказано старушкой с какими-то металлически-холодными звуками в голосе.

Елизавета Петровна остановилась перед ней, как окаменелая.

Сиротинина до того страшно изменилась, что встретить она ее на улице, а не в ее собственной квартире, она бы не узнала ее.

Еще недавно гордившаяся, что у нее почти нет седых волос, она теперь выглядела совершенно седой старухой.

Страшная худоба лица и тела делала ее как будто выше ростом. Платье на ней висело, как на вешалке. Морщины избороздили все ее лицо, а глаза горели каким-то лихорадочным огнем отчаяния.

— Что с вами, дорогая? Что случилось? — кинулась к ней молодая девушка. — Дмитрий Павлович болен?

— Хуже...

— Умер?

— Хуже...

— Что же с ним? Бога ради, не мучьте меня.

— Он... в тюрьме... — не сказала, а вскрикнула со спазмами в голосе Анна Александровна.

— В тюрьме... — бессмысленно глядя на старушку, повторила Елизавета Петровна, — в тюрьме?

Ноги ее подкосились, и она, схватившись за преддиванный стол, у которого они стояли, в изнеможении скорее упала, чем села в кресло.

— В тюрьме... — снова с каким-то недоумением, видимо, не понимая этих двух слов, повторила она.

— Да, в тюрьме... А вы этого не знали? — сказала Сиротинина с какой-то злобной усмешкой.

— Откуда же знать мне?

— Весь Петербург знает... Все газеты переполнены.

— Я это время не читала газет и не была в Петербурге.

— Вы не были в Петербурге?

— Я была в Москве, по поручению Селезне-

вых... Туда убежала с Нееловым их дочь... Мы ездили за ней...

— О, Боже, благодарю тебя! — вдруг воскликнула старушка. — Простите меня... прости, Лиза, — и она с рыданиями бросилась обнимать Дубянскую.

Та вскочила, поддерживая на своей груди плачущую горькими слезами старушку, усадила ее в кресло и опустилась у ее ног на ковер.

— Успокойтесь, милая, дорогая... Расскажите, что случилось? — умоляла она.

Анна Александровна продолжала плакать навзрыд.

— А я подумала, что и ты, Лиза, веришь в то, что он виноват... — сквозь рыдания говорила она.

— Виноват? Кто? В чем?

— Мой Дмитрий... в краже...

— В краже?.. Что вы говорите? Разве может быть человек, кто этому поверит?

— Все верят... Его обвиняют, а он не может оправдаться...

— Это невозможно!

— Возможно... Все улики против него...

Сиротинина, несколько успокоившись, рассказала подробно и насколько возможно при ее состоянии толково все дело Дмитрия Павловича Сиротинина — об оказываемом ему доверии молодым Алфимовым, обнаружении растраты, аресте. Показала его письмо, которое она с момента получения хранила у себя на груди.

— Вы виделись с ним? — спросила Елизавета Петровна, выслушав этот печальный рассказ.

— Да.

— Что же он?

— Он спокоен... Он невиновен...

— Это само собой разумеется... Но он должен оправдаться...

— Он говорит, что это невозможно...

— Деньги взял не он... Я знаю, кто взял деньги.

— Вы?.. Знаете? — воскликнула Сиротинина.

— Да, я знаю, — повторила Дубянская.

— Кто же?

— Иван Корнильевич Алфимов.

— Что вы, он сам хозяин, пайщик отца...



— Это ничего не значит... Вы не знаете старика или знаете его меньше, чем знают у Селезневых... Он, несмотря на имеющийся у его сына отдельный капитал, держит его в ежовых рукавицах и, вложив этот капитал в дело, платит ему жалованье за занятия в конторе и даже не дает процентов, которые присоединяет к капиталу... Мне все это рассказал Сергей Аркадьевич и жаловался даже сам молодой Алфимов.

— Но это еще не доказывает, что он вор...

— Есть и доказательства... Он вращается в обществе барона Гемпеля, графа Стоцкого и других игроков, он сам игрок, а игрока от вора разделяет мгновение.

Сиротинина печально покачала головой.

Она видела, что молодая девушка попала, что называется, на своего конька и, отчаявшись найти исход для своего несчастного сына, предположила, что Дубянская увлекается в своем предубеждении против всех лиц, которые играют, называя их игроками.

Анна Александровна знала Ивана Корнильевича и не могла допустить мысли, что этот почти мальчик, если не по летам, то по

виду, вежливый, предупредительный, мог быть не только вором, но даже убийцей человека, который к нему относился с такою сердечностью.

Позорное обвинение сына она считала хуже, чем его убийство.

Она, конечно, отказалась, но сочувствие ее тронуло.

Кто-нибудь другой подвел ее ненаглядного Митю, а не молодой Алфимов.

Не знала Анна Александровна, что Иван Корнильевич приезжал к ней по совету графа Сигизмунда Владиславовича, чтобы отвести глаза людям.

Совет этот подал опытный руководитель молодого человека после того, как тот рассказал ему о допросе его у следователя:

— Дело скверно... Поезжай-ка к его матери, рассыпья перед ней в сожалениях...

— Это ужасно!.. Как я посмотрю ей в глаза?..

— А ты в глаза не смотри... Держи свои опущенными вниз, что докажет твою скромность и невиновность, — цинично пошутил граф Стоцкий.

— Ужели нельзя этого избежать?

— Отчего же, можно... Но лучше сделать это, так как ты тогда сразу покоришь и ее, и его в свою пользу... Иначе дело может разыгаться иначе и, кто знает, что ты не начнешь путаться на вторичном допросе, и, в конце концов, следователь тебя так прижмет к стене, что ты принужден будешь сознаться...

— Боже, неужели он еще второй раз может меня потребовать?

— Второй, третий, десятый... Сколько раз захочет.

— Это пытка!

— Ты на первом-то допросе вел себя как я тебя учил?

— Да... Говорил «да», «нет», «не знаю», «не помню». Но мне было так тяжело.

Иван Корнильевич вздохнул.

— Так и продолжай... А что до тяжести, то «любил кататься, люби и саночки возить». Зато потом, может быть, будешь кататься с Елизаветой Петровной Дубянской.

— Кабы твоими устами...

— Будешь мед пить... не только мед, шампанское и вместе...

— Поскорей бы все это кончилось.

— Конец бывает всему... не унывай...

— Хорошо говорить тебе, посадил бы я тебя в мою шкуру...

— Сиживал и не в таких шкурах... «Терпи казак — атаманом будешь».

Граф Стоцкий поощрительно потрепал рукой по плечу Ивана Корнильевича Алфимова.

Достойный ученик достойного учителя послушался и поехал к Сиротининой.

Граф Сигизмунд Владиславович, как мы видели, знал человеческие сердца.

Анна Александровна была подкуплена в пользу молодого Алфимова.

— Нет! Этого я так не оставлю... Я сама поеду к следователю и дам показание, — не унижалась между тем Дубянская.

Старушка продолжала печально качать головой.

— Ведь не украл же эти сорок тысяч Дмитрий Павлович? — горячилась Елизавета Петровна. — Отвечайте!

— Конечно, не украл, — ответила, задетая за живое, Сиротинина.

— А между тем они пропали?

— Пропали.

— Кто же взял их?

— Не знаю.

— Вы не знаете, а я знаю... Это ясно, как Божий день... Взял тот, кому они были нужны для удовлетворения преступной страсти... Иван Корнильевич игрок... Игроку всегда нужны деньги, особенно когда он окружен шулерами... Он и брал деньги, а для того, чтобы свалить вину на Дмитрия Павловича, отдавал ему ключ от кассы... Неужели вы этого не понимаете? Вы не любите вашего сына!..

Анна Александровна не обиделась на этот возглас молодой девушки, тем более, что в нем слышалась такая любовь к милому ее сыну со стороны говорившей, которая живительным бальзамом проникла в сердце любящей матери.

Анна Александровна любовно смотрела на эту девушку, которая, по ее мнению, быть может, одна во всем мире, кроме нее, убеждена в невинности ее сына.

— Я сейчас пойду к Долинскому...

— Зачем?

— Я буду просить его взяться за защиту

Дмитрия Павловича...

— Он не хочет иметь защитника...

— Это невозможно, этого нельзя допустить... Он, кажется, хочет, чтобы его съели окончательно эти негодяи... О, я понимаю их игру, у меня появилась сейчас мысль, которая подтвердила еще более мое предположение.

— Какая мысль?

— Я пока не могу сказать ее, но потом, со временем, когда он будет свободен, я скажу вам ее...

— Он... свободен... — с грустью сказала Сиротинина.

— Он будет свободен... Он не виновен. Я пойду к нему завтра и добьюсь свидания, а сегодня я все-таки поеду сначала к Долинскому, мне самой нужен его совет...

— Поезжай с Богом, — тихо проговорила Анна Александровна, — уже одно твое негодование и волнение успокоили меня. Около Мити, значит, не одно, а два любящих сердца... Есть, значит, в мире два существа, которые не считают его вором.

— Его не будет и не посмеет очень скоро считать таким никто! — горячо сказала Ели-

завета Петровна.

В ее голосе было что-то пророческое и настолько уверенное, что Сиротинина почти с надеждой во взгляде посмотрела на нее.

— Ужели это может быть? — глубоко вздохнула она.

— Это будет... Мой муж не может быть вором...

— Твой муж! И ты решаешься теперь?..

— Его невиновность обнаружится... Это так же верно, как то, что есть Бог, — сказала Дубянская. — Но если бы силы ада и одолели, я во всяком случае буду его женой...

Анна Александровна вскочила с кресла и бросилась на шею молодой девушке, обливаясь слезами.

Это не были уже слезы одного отчаяния.

— Милая, дорогая, хорошая... Каким это будет для него утешением... Он так страдал...

— Ведь он имеет мое слово...

— Да... но обстоятельства изменились...

— В моих глазах ничто не изменилось...

Обрушилось на него несчастье, а разве любящие люди бросают любимых людей в несчастье?

— Ты ангел...

— Я только любящая женщина.

## VII У АДВОКАТА

Совершенно иначе отнесся к соображениям Елизаветы Петровны Дубянской по делу Сиротинина Сергей Павлович Долинский, к которому она приехала прямо от Анны Александровны.

Молодой адвокат жил недалеко от Гагаринской улицы, на Маховой, занимая очень хорошую квартиру в бельэтаже.

Небольшая холостая квартира была обставлена солидно и указывала на деловитость ее хозяина.

Меблировка, зеркала, картины были дорогие, но не бросались в глаза и не били на эффект.

Лучшей комнатой был большой кабинет, уставленный мебелью, крытой коричневой кожей и громадными библиотечными шкафами, наполненными книгами по юридической специальности.

Огромный письменный стол был завален бумагами, раскрытыми книжками «уставов»,



а массивная чернильница была украшена бронзовой статуэткой Фемиды, с весами в одной руке и мечем в другой.

Хотя был и приемный час, но Сергей Павлович оказался дома.

Вернувшись в Петербург, он приводил в порядок дела.

Визит молодой девушки, видимо, поразил его.

Хотя он знал, что недавнее предубеждение против него как защитника убийцы ее отца уже прошло, но все же понимал, что только важное, серьезное, не терпящее отлагательства дело могло привести к нему Елизавету Петровну.

— Что случилось? Чем могу служить? — спрашивал он, усаживая в кресло перед письменным столом неожиданную гостью и сядя на противоположное кресло.

— Я к вам за юридическим советом...

— Я к вашим услугам...

— Вы слышали о растрате в конторе Алфимова?

— Да, я читал еще в Москве газетные известия.

— В Москве, и ничего не сказали мне...

— Я не думал, что это вас может интересовать, да кроме того, вам было там не до газет...

— Да, правда, конечно, вы не знали... Это отчасти к лучшему, тогда я не могла бы исполнить поручения Селезневых.

— Почему?

— Потому, что узнав, что арестован мой жених, я бы, конечно, бросила все и уехала в Петербург.

— Ваш жених? — удивленно спросил Долинский.

— Да... Дмитрий Павлович Сиротинин — мой жених... Он арестован совершенно невинно...

Сергей Павлович чуть заметно улыбнулся, но это не ускользнуло от зорких глаз молодой девушки.

— Вы улыбаетесь?.. Вы думаете, что во мне говорит любящая невеста?.. Вы ошибаетесь и осознаете вашу ошибку, как только я расскажу вам, в чем дело.

— Я весь внимание.

Елизавета Петровна, не торопясь, подроб-

но рассказала все дело Сиротинина и высказала свои соображения о настоящем виновнике растраты.

Когда она окончила свой рассказ, Долинский сидел некоторое время молча в глубокой задумчивости.

Дубянская смотрела на него нетерпеливо-вопросительно.

— Я должен вам сказать, что вы правы... Действительно, здесь устроена адская махинация не без участия Стоцкого, Гемпеля, Кирхова и даже Неелова, и не вам бороться с ней...

— Не мне? Значит вы советуете не вмешиваться в это дело? — с почти злобной усмешкой спросила Елизавета Петровна.

— Сохрани меня Бог подать такой совет... Невинность должна всегда обнаружиться... Я говорю только, что ваше показание следователю не даст ему возможности начать обвинение против потерпевшего, каким является в данном случае молодой Алфимов, и превратить его в обвиняемого, если этого, конечно, потребует его отец.

— Но что же в таком случае делать?

— Надо добыть не соображения и выводы, а доказательства...

— Их добыть невозможно.

— Кто знает?

— Вы говорите загадками...

— Мне сдается, — начал он после некоторой паузы, не обратив внимания на замечание молодой девушки, — что нам в этом деле может помочь опять же тот человек, который помог и в московском...

— Савин?

— Никто другой.

— Я вас не понимаю...

— Он хорош с Гемпелем и Нееловым, то есть знает их кружок, быть может, я даже почти уверен, не участвуя в их проделках, а потому с ним они не будут стесняться, и если он захочет, то может раскрыть все это дело.

— Но он не захочет...

— Почему?

— Какое ему дело до неизвестного ему Сиротинина!

— Он ваш жених...

— Что же из этого?

— А то, что вследствие этого мне думается,

что Николай Герасимович с курьерским прикатит в Петербург и примется за это дело горячо.

— Какое же отношение имею к нему я?

— Савин человек увлекающийся... Я достаточно имел случаев изучить его... Это хорошая русская натура с подгнивающим, но все еще живущим корнем... Если он кого любит, то любит беззаветно, если ненавидит, то ненавидит от души...

— Что же из этого?

— А то, что перед вами он благоговеет...

Елизавета Петровна потупилась.

— Не конфузьтесь... Такое благоговение ничуть не оскорбительно...

— Я и не говорю этого.

— Он вскоре после вашего с ним знакомства сказал о вас: «Вот девушка, для которой я бросился бы в огонь и в воду, и не как за женщину, а как за человека». А он не из тех людей, у которых слово разнится от дела.

— Я ему очень благодарна, но нельзя же его беспокоить и заставлять приезжать по совершенно чужому для него делу.

— Ему, как он не раз говорил, совершенно

все равно где жить, в Москве, или в Петербурге... Он любит приключения... Это современный рыцарь, немножко даже Дон-Кихот, но в хороших сторонах этого героя Сервантеса... Я ему напишу сегодня же...

— Если так — то напишите... Я не смею пренебрегать ничьей помощью...

— Его помощь, я предчувствую, будет существенна.

— Я просила бы также вас принять на себя защиту Сиротинина...

— Я готов, но до моего участия еще далеко... Следствие только что начато... Дай Бог, чтобы вашему жениху и не надо было бы моих услуг...

— То есть как?

— А так, чтобы дело не дошло относительно его до суда вследствие открытия настоящего виновника... Я верю в это... Я верю, что в земное правосудие вмешается отчасти небесное... Редки случаи, когда действительно невинный садится на скамью подсудимых...

— О, как желала бы и я верить в это.

Она встала.

— Благодарю вас... Вы все-таки подали мне

хотя и призрачную, но надежду.

— Я сейчас же сяду писать Савину...

— В добрый час...

Елизавета Петровна вернулась к Селезневой несколько успокоенная, но там ожидало ее начало той пытки, которая была неминуема для нее в обществе таких, кто знал о ее близости к семье Сиротининых.

Она застала Екатерину Николаевну в гостиной.

— Я вас жду, жду... Мне так хотелось с вами переговорить еще о моей милой Любе, услышать еще раз, как они устроились, а вы только что вернулись из Москвы и уж пропали на несколько часов...

Все это хотя и было сказано в виде шутки, но в тоне голоса Селезневой проскользнули ноты раздражения.

— Я узнала об обрушившемся несчастье над близкими мне людьми.

— Это, верно, над Сиротиниными? Вы, кажется, интересовались ее сыном?

— Я интересовалась им как хорошим, честным человеком, — глядя прямо в глаза Екатерины Николаевны, отвечала Дубянская.

— Теперь вам придется изменить свое мнение: он оказался вором...

— Это роковая ошибка...

— Хороша ошибка... Почитайте газеты и вы увидите, как дважды два четыре, что никто, кроме него, не мог совершить растраты...

— А я все-таки не верю этому.

— Ваша воля, — пожалала плечами Селезнева, — но вы будете одни при этом мнении. Впрочем, вероятно, то же мнение высказывает и мать, укрывавшая сына и покупавшая на свое имя дачи.

— Позвольте, дача куплена из скопленных им денег, в рассрочку...

— Так всегда говорят все преступники.

— Он не преступник.

— Ну, будь по-вашему... Мне ведь в сущности все равно... Расскажите лучше мне о Любе...

Подавив свое волнение, Дубьянская стала рассказывать подробно московские происшествия.

К концу ее рассказа в гостиную явились Аркадий Семенович, Сергей Аркадьевич и Иван Корнильевич Алфимов.



Сергей Аркадьевич, знавший все происшедшее в Москве от отца, которому дорогой от вокзала рассказали все Долинский и Елизавета Петровна, и теперь еще все волновался.

— И зачем надо было меня вызывать из Москвы?.. Я бы заставил его точно так же жениться на сестре...

— Так бы и заставил, когда ты не брал в руки ни ружья, ни револьвера... Он пристрелил бы тебя, как птицу, — сказал Аркадий Семенович.

— Но я брат... Мне было удобнее...

— Подставить свою голову без малейших шансов на хороший исход... Это было бы безумием... Я очень благодарен Сергею Павловичу, что он предусмотрел это и написал мне о вызове тебя сюда...

— А я так совсем ему не благодарен.

— Но как же скрыли, что была дуэль? — спросила Екатерина Николаевна.

— Объяснили рану несчастным случаем на охоте, — отвечала Елизавета Петровна.

Разговор перешел, благодаря присутствию Алфимова, на растрату в их конторе.

— Несомненно, виноват Сиротинин, — заметил Аркадий Семенович.

— Конечно, кто же другой, — подтвердил Сергей Аркадьевич.

— А вот Елизавета Петровна другого мнения, — вставила Екатерина Николаевна.

— Вот как? — вопросительно посмотрел на нее старик Селезнев.

Молодой Алфимов побледнел.

— Действительно, я другого мнения, — сказала Дубянская, — я хорошо знаю Дмитрия Павловича и удостоверяю, что он не может быть вором. Он скорее умер бы с голоду, чем взял бы что-нибудь чужое! Вы верите, потому что не знаете его так, как я его знаю... Его нельзя даже подозревать...

— Однако, все улики налицо...

— Какая же это улика!.. Не та ли, что кроме него некому было украсть? Кто знает...

Дубянская едва заметно повела глазами в сторону Ивана Корнильевича.

Тот сидел, как на иголках, и нервно кусал свои губы.

— Я не поверила бы ему, если бы он сам мне сказал, что совершил это преступление.

— Вы влюблены в него, — заметила Екатерина Николаевна.

— Я и не скрываю этого... Я его невеста...

— Вы? — широко раскрыла глаза Селезнева. — Но теперь...

— Что же теперь?.. Я убеждена, что его невиновность обнаружится, это, во-первых, а, во-вторых, если он сделается жертвой скрывшегося за его спиной негодяя, то я обвиняюсь с ним, когда его осудят, и пойду с ним в Сибирь.

— Это очень романтично, — сказала Селезнева. — Но верно и то, что вы одни такого о нем мнения.

— Ошибаетесь, я только что была у Долинского, и он согласился со мной, что Сиротинин не виновен.

— У адвокатов нет виновных, — вставил Сергей Аркадьевич, несколько раздраженный против Дубянской за вызов из Москвы.

Иван Корнильевич Алфимов не проронил ни одного слова.

Екатерина Николаевна Селезнева приписала это воспитанию и такту молодого человека.

Ему как заинтересованному в деле и не следовало, по ее мнению, говорить.

Он между тем молчал по другим причинам. Иван Корнильевич переживал страшное внутреннее мучение.

Елизавета Петровна считает Сиротинина невиновным. Он этого никак не ожидал, он думал, что она отвернется от него как от преступника, от вора.

И к мукам совести несчастного прибавилось еще мученье ревности.

«Господи, — думал молодой Алфимов, — я надеялся все приобрести, а вместо того потерял все!»

Он встал, простился и вышел.

Елизавета Петровна тоже вскоре удалилась в свою комнату. Перспектива разговоров, подобных сегодняшнему, возмущала ее.

После обеда она снова поехала к Сиротининой и просила позволения у Анны Александровны временно переехать к ней.

Старушка с радостью выразила на это свое согласие.

— Мы будем с вами говорить о несчастном Мите...

— Мы спасем его...

В тот же вечер молодая девушка сообщила Селезневым о своем решении переехать к матери своего жениха.

— Старушка страшно потрясена, и одиночество делается для нее ужасным.

— Нам очень жаль, но насильно мы удерживать вас не можем, — сказала Екатерина Николевна.

— Я вам и не нужна...

— Нет, все-таки вы могли бы быть нам полезны по хозяйству... В качестве моей компаньонки, наконец... Мы вас так полюбили...

— Благодарю вас...

На другой день Елизавета Петровна, которую чуть ли не насильно щедро наградил Аркадий Семенович, переехала на квартиру Анны Александровны Сиротининой, о чем уведомила запиской Долинского.

Вечером же она получила письмо от Сергея Павловича, в котором была вложена телеграмма из Москвы от Николая Герасимовича Савина.

Телеграмма гласила:

*«Выезжаю завтра курьерским. Савин».*

## VIII

### АДВОКАТ-ПРАВЕДНИК

Сергей Павлович Долинский оказался тонким психологом.

Он угадал, чего не доставало в жизни Николаю Герасимовичу Савину.

Ему не доставало деятельности, и именно такой, на которую его вознамерился отправить «знаменитый» адвокат, — эпитет, уже даваемый некоторыми газетами Долинскому.

Савин скучал.

Жизнь веселящейся Москвы и Петербурга не могла удовлетворить его, слишком много видевшего на своем веку. Любовь к Мадлен де Межен, как мы знаем, была отравлена созданными им самим предположениями и подозрениями, да и не такой человек был Николай Герасимович Савин, чтобы долговременное обладание даже красивейшей и любимейшей женщиной не наложило на отношение его к ней печать привычки — этого жизненного мороза, от которого вянут цветы любви и страсти.

Он привык к Мадлен, она стала его вторым

«я», тем более, что любовь этой женщины к Николаю Герасимовичу совершенно изменила ее.

Из кипучей, веселой, подчас своенравной, и всегда изменчивой парижанки, какой любил ее Савин, она сделалась покорной, серьезной, рассудительной женщиной, «совсем женой», по своеобразному выражению Николая Герасимовича.

Эта «совсем жена» уже не была для него не только женщиной, но даже другим лицом, это было, повторяем, его второе «я», и вместе с ней, таким образом, он чувствовал себя одиноким и, повторяем, скучал.

Полученное от Долинского письмо, таким образом, внесло в жизнь Савина перспективу разнообразия, и он схватился за предложение адвоката явиться на помощь Елизавете Петровне Дубянской обеими руками, тем более, что действительно не избег общей участи всех знавших молодую девушку и поддался ее неотразимому обаянию, как хорошего, душевного человека.

Николай Герасимович тотчас же написал и отправил известную нам телеграмму на

имя Долинского.

Письмо он получил утром, когда Мадлен де Межен еще спала, так что, когда она вышла к завтраку, ей готовился сюрприз.

— Мы едем завтра в Петербург, — сказал Савин.

— В Петербург? Зачем? Мне нравится больше Москва...

— Мне нужно по делу.

— А... Это другое дело... Надолго?

— Как все устроится...

— Не секрет это дело?

— Далеко нет.

Николай Герасимович со свойственным ему жаром, особенно когда он говорил об интересующем его предмете, объяснил молодой женщине суть дела, которое его призывает в Петербург.

Мадлен де Межен давно не видела своего «Nicolas» таким оживленным и жизнерадостным, а как добрая женщина — глубоко заинтересовалась положением Дубянской, над женихом которой стряслась такая неожиданная беда.

— Но что можешь сделать для нее ты? —



спросила она, и в ее голосе прозвучала нота сомнения.

— Я? — воскликнул Савин. — Все...

— Уж и все, — улыбнулась Мадлен де Межен.

— Да я ведь знаю многих из этих господ... Я сойду с ними снова и не будь я Савин, если не обнаружу этой гнусной интриги...

— Да поможет тебе Бог, — сказала молодая женщина, набожная, как все безупречные дамы.

В Петербурге Савин и Мадлен де Межен заняли отделение в «Европейской» гостинице, по странной игре случая то самое, в котором несколько лет тому назад Николай Герасимович мечтал о Гранпа и за дверь которого вышвырнул явившегося к нему с векселем Мардарьева, что послужило причиной многих несчастий в жизни Николая Герасимовича, начиная с потери любимой девушки и кончая недавно состоявшимся над ним судом с присяжными заседателями в Петербурге.

Николай Герасимович, уже занявший отделение, вспомнил все это и даже вздрогнул при этом воспоминании.

Он хотел распорядиться о переходе в другое, но перспектива вопросов со стороны Мадлен де Межен, которой понравилось помещение, остановила его.

«Пустяки, ребячество!» — сказал он самому себе.

Не знал он, что страшное совпадение идет еще дальше, что он приехал в Петербург обличить сына или, по крайней мере признаваемого таковым, того самого Алфимова, который был главным, хотя и закулисным, виновником его высылки в Пинегу и возбуждения против него уголовного дела об уничтожении векселя, предъявленного ему Мардарьевым.

Так порою вертится колесо жизни.

Переодевшись и выпив стакан кофе, Савин поехал к Долинскому.

Сергей Павлович не мог встретить его на вокзале, так как это был его приемный час, о чем он уведомил Николая Герасимовича телеграммой в Москву, прибавив, что в день приезда ждет его к себе.

Действительно, он его ждал с большим нетерпением.

К желанию оказать услугу Елизавете Пет-

ровне Дубянской присоединилось стремление во что бы то ни стало развязать узел загадочного преступления, стремление, присущее каждому юристу, если только он человек призвания.

Сергей Павлович был именно таким юристом.

Он почти не занимался гражданскими делами и «председательство в конкурсах» не было его идеалом — он весь отдался изучению уголовного права, этой, по выражению одного немецкого юриста, поэзии права.

Сергей Павлович Долинский высоко и чисто смотрел на призвание адвоката как совместного работника с прокуратурой и судом в деле отправления земного правосудия.

С первых шагов его в суде его уста не осквернились «софизмами», он не был «любодеем мысли и слова», какими являлись его подчас почтенные и уже знаменитые товарищи.

Этим он вскоре заслужил уважение не только в обществе, но и среди магистратуры и прокуратуры.

Последние знали, что молодой адвокат го-

ворит хорошо и задушевно только в силу своего непоколебимого внутреннего убеждения, и это убеждение невольно сообщалось его слушателям как бы по закону внушения мысли, так что речи Долинского действовали не только на представителей общественной совести — присяжных, — но и на коронных судей, которые, что ни говори, в силу своих занятий, и до сих пор напоминают того посевшего в приказах пушкинского дьяка, который:

*Спокойно зрит на правых и неправых,  
Добру и злу внимая равнодушно.*

Дела Сергея Павловича Долинского были блестящи.

При таком отношении к своей практике понятно, что молодой адвокат был крайне заинтересован делом кассира Сиротинина, в невиновности которого, после беседы с Елизаветой Петровной Дубянской, у него не осталось ни малейших сомнений.

Роковое стечение обстоятельств, как он знал, порождает — хотя, к счастью весьма

редко — страшные судебные ошибки, а наличие этих роковых обстоятельств в деле кассира банкирской конторы «Алфимов и сын» было очевидно, особенно для людей, знавших кружок лиц, среди которого вращался молодой Алфимов.

«Если бы, — думал Сергей Павлович после отправления Николаю Герасимовичу письма с курьерским поездом, — Иван Корнильевич действовал один, то, конечно, ему по молодости и неопытности не удалось бы выдержать роль потерпевшего. Можно было бы повидаться со следователем — Долинский знал их всех лично — и направить следствие так, что молодой Алфимов сбился бы в показаниях и уличил бы самого себя... Но у него, наверное, опытный руководитель и советчик из этой шайки, а потому надежда на такой исход дела является очень призрачной. Надо войти в эту шайку своим человеком, чтобы добыть данные, могущие служить основанием для раскрытия дела... Это может сделать один лишь Савин».

Понятно поэтому нетерпение, с которым ожидал Сергей Павлович Долинский приезда

к нему Николая Герасимовича.

## IX АГЕНТ-ДОБРОВОЛЕЦ

— Ну вот и я, ваш агент-доброволец!  
С этими словами Николай Герасимович Савин вошел в кабинет Сергея Павловича Долинского.

Молодой адвокат крепко пожал ему обе руки.

— Благодарю и за Елизавету Петровну, и за себя.

— За себя за что же, разве вы тоже влюблены в нее?

— Нет, мой друг, за себя я благодарю вас как за представителя русского правосудия. Существуют дела, раскрытие которых возможно лишь в высококультурных странах. Дело Сиротинина принадлежит именно к таким делам.

— Я вас не совсем понимаю, — заметил Савин, удобно усаживаясь в кресло и закуривая предложенную ему Долинским дорогую сигару.

— Есть дела — я объясню это вам яснее — которые требуют для обнаружения истинного

виновника участия представителей общества, а казенные обнаружители и пресекатели преступлений бессильны со всею своею властью или же, быть может, именно в силу этой всей власти.

— Это как в Англии, где каждый англичанин не прочь помочь правосудию и не считает это зазорным, а напротив, ставит это себе в государственную заслугу.

— Именно, именно... Английское правосудие, как и весь ее государственный строй, заслуживает восхищения и подражания... Таково, по крайней мере, мое мнение.

— В каком же положении дело этого, как его?..

— Сиротинина.

— Да, Сиротинина.

— В очень скверном... Я вчера виделся с судебным следователем. Он глубоко убежден в невинности обвиняемого, но положительно не в состоянии что-либо для него сделать... Улики все налицо, а человек, который по мнению следователя виноват, очень осторожен и неразговорчив.

— Значит, есть и предполагаемый настоя-

ций виновник?

— Есть, но лучше я вам все расскажу по порядку. Вам необходимо ознакомиться как с делом, так и со многими несомненно причастными к нему лицами обстоятельно и подробно...

— Я вас слушаю.

Сергей Павлович рассказал Николаю Герасимовичу с присущей его языку ясностью все обстоятельства, предшествовавшие и сопровождавшие обнаружение растраты в банкирской конторе «Алфимов и сын», передал сообщения Елизаветы Петровны Дубянской, сообщения, с которыми он согласился, да еще нашел их подтверждение в мнении судебного следователя, производящего дело.

— Главными пружинами, как кажется, являются здесь трое: граф Стоцкий, барон Гемпель и Кирхоф, очень может быть, что был и Неелов, но его здесь, как вам известно, нет...

— Почему вы указываете прямо на лица?

— А потому, что молодой Алфимов вращается в их кружке, который его, видимо, обчищает, и задушевный друг графа Стоцкого, личности чрезвычайно темной и подозри-



тельской...

— Позвольте, позвольте, я знал одного графа Стоцкого в Варшаве, мы были с ним большими приятелями... Как зовут его?

— Сигизмунд Владиславович...

— Это он... Но тот был прекрасный человек, честный, прямой, добрый, один из редких представителей польской национальности.

— Ну, этот другой, он отличается именно всеми противоположными качествами его соименника.

— Но позвольте, этого не может быть... Сигизмунд Стоцкий был последний представитель в роде, других графов Стоцких нет.

— Значит он переменялся.

— Каков он из себя?

Сергей Павлович описал наружность графа Сигизмунда Владиславовича.

— Странно, он совсем не похож на того...

— Уж не знаю...

— Странно, очень странно... — продолжал повторять Николай Герасимович. — Мне интересно будет с ним встретиться.

— А остальных вы знаете?

— Гемпеля да, мы друзья... Кирхофа же я встречал за границею и также знаю довольно близко.

— Значит, вы почти у пристани.

— Дай-то Бог... Но это дело интересуется меня теперь вдвойне из-за личности графа Стоцкого. Не мог же человек измениться так нравственно и даже физически. Надо будет съездить к Гемпелю. Где он живет?

— Этого я не знаю... Да вам, по моему мнению, следует столкнуться с ними на нейтральной почве. Пусть они сами уже втянут вас в свою компанию.

— Вы правы. Но где же?

— Во втором часу дня вся их компания собирается завтракать в ресторане Кюба.

— Отлично, завтра же я буду там.

— Очень хорошо, завтра же как раз вторник, — легкий день для начала дела, — засмеялся Долинский.

— Чего вы смеетесь?.. Я верю в эти народные приметы о легких и тяжелых днях и сам не раз испытал последствия, начиная дело в понедельник.

— Ну?

— Верно, верно... Так с завтрашнего дня, с легкого, я примусь за работу.

— Дай Бог успеха.

— А теперь скажите мне, где живут Селезевы?

— Зачем?

— Я желал бы заехать повидать Елизавету Петровну.

— Она не живет более у них.

— Где же она живет?

— Она переехала к матери Дмитрия Павловича Сиротинина.

— Вы знаете адрес?

— Да.

Долинский сказал адрес, и Савин записал его в свою записную книжку.

— Я заеду к ней прямо от вас.

— Вы ее очень обрадуете.

— Не буду вас задерживать...

— Если понадобится, я по утрам и после обеда до восьми дома.

— Буду являться с рапортом... — пошутил Николай Герасимович, прощаясь с Сергеем Павловичем, и уехал.

— На Гагаринскую улицу! — крикнул он

кучеру уже взятого им месячного экипажа-коляски.

Подобно лучу яркого живительного солнца отразилось переселение к Анне Александровне Сиротининой Елизаветы Петровны: не только в обстановке уютненькой квартир-ки, но и в расположении самой ее хозяйки.

Все в квартире приняло иной, более спокойный, привлекательный вид, а сама Анна Александровна стала куда бодрее: туча мрачной грусти, лежавшая за последнее время на ее лице, превратилась в легкое облачко печали с редкими даже просветами — улыбками.

Сразу высказанное Елизаветой Петровной мнение, что Дмитрий Павлович Сиротинин — жертва несчастья, интриг негодяев, и что в скором времени все это обнаружится, и его честное имя явится перед обществом в еще большем блеске, окруженным ореолом мученичества, конечно, приятно подействовало на сердце любящей матери, но, как мы знаем, не тотчас же оказало свое действие.

Факты и безысходность положения ее сына, обвиняемого в позорном преступлении, стояли, казалось, непреодолимой преградой

для того, чтобы мнение любящей его девушки проникло в ум старушки и взяло бы верх над этой, как ей по крайней мере казалось, очевидностью. Но зерно спасительного колебания уже было заронено в этот ум.

«Что-то скажет Долинский?» — думала Анна Александровна после отъезда от нее Дубянской, которая, как, конечно, помнит читатель, отправилась прямо от Сиротининой к «знаменитому адвокату».

Анна Александровна слышала о Сергее Павловиче много хорошего, и уже одно то, что прямая, честная, не входящая никогда в сделки со своей совестью Лиза — как называла Дубянскую Сиротинина, — несмотря на свое прошлое предубеждение к защитнику убийцы своего отца, изменила свое мнение о Долинском и стала относиться к нему с уважением, очень возвышало личность молодого адвоката в глазах старушки.

Она знала также, что Елизавета Петровна никогда не лгала, а потому была уверена, что получит от нее настоящее мнение Сергея Павловича о деле ее сына, не смягченное и не прикрашенное ничем.

«Если он согласится с доводами Лизы, то...»

Анна Александровна боялась закончить свою мысль, до того она показалась ей привлекательной, и только с мольбою обратила полные слез глаза на висевший в ее спальне, куда она удалилась после отъезда Елизаветы Петровны, большой образ Скорбящей Божьей Матери — этой Заступницы и Покровительницы всех обиженных, несчастных и сирых.

Чудный лик Богоматери, казалось, с ободряющей любовью во взоре глядел на скорбящую по сыну мать.

Старушка невольно не могла отвести глаза от этого лица и как-то машинально опустилась на колени перед образом и забылась в теплой молитве.

Как бы в ответ на эту искреннюю молитву было вторичное посещение в тот же день старушки Елизаветой Петровной.

Подробно рассказала она ей свой разговор с Сергеем Павловичем Долинским и его план поручить расследование этого дела Савину.

— Так он тоже находит, что Митя?..

Анна Александровна остановилась, как бы боясь высказать последнее слово.

— Конечно же находит, что он не виноват... Он совершенно согласился со мной, что Дмитрий Павлович — жертва адской интриги негодяев.

— Так, так... — грустно покачала головой старушка.

— Иначе бы он не придумал найти человека, который знает всех этих лиц и сумеет среди них самих обнаружить всю эту хитросплетенную сеть, которою они опутали невинного из-за своих гнусных расчетов...

— И ты думаешь, он возьмется?

— Долинский убежден, что да, а он знает его лучше, чем я.

— Дай-то Бог, дай-то Бог!.. — прошептала Анна Александровна, и в первый раз лицо ее несколько прояснилось.

Когда же, как мы знаем, в тот же вечер Елизавета Петровна попросила у ней позволения временно переехать к ней, то Сиротинина с радостными слезами бросилась на шею молодой девушке.

— Вы уже говорили об этом с Селезневыми?

— Нет еще, но я, во-первых, им не нужна,

так как была приглашена к дочери, которой теперь нет, и, во-вторых, я не могу жить среди людей, которые иного мнения о нем, чем я.

Анна Александровна поняла, что «о нем» значит о ее сыне, и одобрительно кивнула головой.

— Кроме того, мне приходится там встречаться с молодым Алфимовым, которого я считаю хотя, быть может, и не самостоятельным, но зато главным виновником несчастья Дмитрия Павловича. Я уже видела его.

— Видела... Но что же он? — взволновалась старушка.

— Если бы вы сами видели, что делалось с ним, когда заговорили о растрате в его конторе и когда я высказала мое мнение, что Дмитрий Павлович жертва негодяя, скрывшегося за его спиной, причем как бы нечаянно взглянула на него, то вы сами бы поняли, что, несомненно, взял деньги он.

— Да что ты?

— Он был бледен, как полотно, и сидел, как приговоренный к смерти. Выбрав удобную минуту, он ушел. Несомненно, что это дело его рук и, быть может, даже не с одной це-



лью свалить на Дмитрия Павловича свою вину он подсовывал ему ключи...

— Какая же другая цель?

— Ему хотелось устранить его со своей дороги.

— Я тебя не понимаю.

— Я не хотела говорить этого раньше времени, но все равно, придется сказать это Долинскому и Савину, так должна же я сказать и матери моего жениха.

— Что такое?

— Он влюблен в меня.

— В тебя?

— И даже объяснялся мне в любви...

Помните в тот день, когда он провожал меня к вам на дачу и даже вошел к вам, но держал себя как-то странно?

— Помню, помню...

— Видимо, ему и посоветовали сразу убить двух зайцев... Свалить всю вину и устранить соперника.

— Боже, какая подлость! — воскликнула старушка.

— От его приятелей можно ожидать всего... Это мое соображение, но оно, по моему

мнению, может служить некоторою путеводною нитью при розысках. О любви к женщине в этом кружке, где вращается молодой Алфимов, говорят открыто, не стесняясь... Ведь там женщина и призовая лошадь стоят на одном уровне.

На этом Елизавета Петровна и Анна Александровна расстались, чтобы с другого дня начать совместную жизнь и совместной надеждой на торжество правды.

## X ЗА ЗАВТРАКОМ

Явившийся к Елизавете Петровне в квартиру Сиротининой Николай Герасимович Савин был принят как посланник неба.

Дубянская заняла кабинет Дмитрия Павловича, и Анна Александровна любила проводить с ней все свое свободное от хлопот по хозяйству время именно в этой комнате.

Казалось, для обеих женщин растравление раны воспоминаниями, навеваемыми всякой безделицей, в этой тщательно убранной и комфортабельно устроенной комнате доставляло жгучее наслаждение.

Елизавету Петровну эти воспоминания,

окружавшие ее днем и ночью, закаляли на борьбу, а для старухи-матери, в сердце которой появилась надежда, они стали почему-то еще более дорогими.

На второй день после переезда Дубянской, в квартире Сиротининой раздался резкий звонок.

Он донесся до слуха Елизаветы Петровны и Анны Александровны, бывшей в комнате последней.

— Кто бы это мог быть? — с недоумением сказала старуха.

— Быть может, письмо... — сделала догадку Дубянская.

— Для письма не время...

Вошедшая служанка разрешила сомнения.

— Пожалуйте, барышня, к вам-с... — сказала она, обращаясь к Елизавете Петровне.

— Ко мне, кто?

— Какой-то господин... Вас спрашивает... Дома, говорит, Елизавета Петровна, ну я, вестимо, говорю: «Дома, пожалуйста...»

— Да кто такой?

— А мне невдомек спросить-то... Он в гостиной...

— Экая ты какая, можно ли так всех пускать...

— Господин хороший...

Дубянская оправила наскоро свой туалет и вышла. В гостиной она застала Савина.

— Николай Герасимович... Вот не ожидала...

— Прямо чуть не с вокзала к Долинскому, а затем к вам... Взявшись за дело, нечего дремать... Куй железо, пока горячо, сами, чай, знаете поговорку...

— Я не знаю как, и благодарить вас... Садитесь...

Савин сел в кресло, а в другое опустилась Елизавета Петровна.

— Благодарить будете потом, если будет за что, а пока еще не за что... — заметил Николай Герасимович.

— Как не за что?.. Примчались по чужому делу...

— Оно меня так же интересует, как свое собственное. Я, прочитав письмо Сергея Павловича, подпрыгнул от радости, что могу быть вам чем-нибудь полезным.

— Благодарю вас.

— Опять же не за что. Сознать, что работаешь на пользу других, так приятно, что в этом сознании уже лежит величайшая награда, а я и обрадовался потому, что за последнее время начал подумывать, что я уже совсем никому не нужен...

— Полноте...

— Верно, верно, я говорю не из фатовства, а искренно. Мне было так тяжело... Теперь я ожил... Долинский дал мне инструкции, к вам я приехал за другими... С завтрашнего дня начинаю тщательные полицейские розыски и не будь я Савин, если не выведу их всех на чистую воду. Жениха вашего сделаю чище хрусталя... Это возмутительная история.

— Не правда ли?

— Положительно.

— Я вам сообщу еще некоторые соображения, но позвольте мне познакомить вас с хозяйкой этой квартиры, матерью Дмитрия Павловича Сиротинина, Анной Александровной.

— Сочту за честь и удовольствие.

Елизавета Петровна вышла и через

несколько минут вернулась вместе с Сиротиной.

— Вот, Анна Александровна, позвольте вам представить Николая Герасимовича Савина, который, как вы знаете, был так добр, что взялся помочь нам в нашем общем горе...

Анна Александровна протянула руку и крепко пожала руку Савина.

— Уж не знаю, батюшка, как и благодарить вас... Помогите вам Бог, век за вас буду молиться Пресвятой Владычице Божьей матери...

— Помилуйте, сударыня, я только что сейчас объяснил Елизавете Петровне, что меня самого крайне интересует это дело и, наконец, каждый из нас, если может, обязан помочь ближнему в несчастье...

— Ох, не все так думают в наше время, не все... — печально покачала головой Сиротина, сидевшая на диване.

Елизавета Петровна начала сообщать Николаю Герасимовичу свои соображения, не скрыла от него смущения молодого Алфимова, при котором она высказала свое мнение о совершенной в банкирской конторе растрате, а также и о том, что Иван Корнильевич уха-

живал за ней и мог быть заинтересован в аресте и обвинении Дмитрия Павловича как в устранении счастливого соперника.

— Он, видимо, не ожидал, что я буду на его стороне, и был поражен, когда я высказала решение даже в случае его обвинения, обвиняться с ним и следовать за ним в Сибирь...

— Да, да, это очень важно... На этой истории скорее всего можно их изловить.

— Я и сама так думаю...

Николай Герасимович передал Елизавете Петровне совет Долинского поехать завтра завтракать к Кюба, где он может встретить всю эту компанию.

— Это хорошо, это будет иметь вид случайного возобновления знакомства и не возбудит с их стороны подозрения.

— То же самое говорил и Сергей Павлович... Великие умы сходятся... — пошутил Савин.

Дубянская грустно улыбнулась.

— Несчастье изощряет женский ум...

— О, как вы правы, и именно тогда, когда мужчина падает духом, женщина начинает работать мыслью.

Получив еще некоторые необходимые сведения по делу, Николай Герасимович простился и уехал.

Скоро в квартире Сиротининых были повсюду потушены огни.

Но это еще не доказывало, чтобы все спали.

Анна Александровна, действительно, часик вздремнула, но затем, одолеваемая думами о сыне, ворочалась с боку на бок.

Со дня ареста Дмитрия Павловича Анна Александровна проводила таким образом все ночи.

Не спала и Елизавета Петровна.

Она, напротив, забылась лишь под утро.

Всю ночь напролет обдумывала она возможность выхода из того положения, в которое попал любимый ею человек, соображала, комбинировала.

Теперь она волновалась, как начнет Савин свою трудную миссию.

От удачного начала зависит многое.

Николай Герасимович между тем в виду все-таки проведенной им не с таким удобством, как дома, ночи в дороге, спал, как уби-



тый.

Во втором часу дня он входил в общую залу ресторана Кюба, на углу Большой Морской улицы и Кирпичного переулка.

— Ба!.. Савин!.. — раздался возглас с одного из столиков, в то время, когда Николай Герасимович не успел еще и приглядеться к находящимся в ресторане. — Какими судьбами?..

Савин оглянулся на возглас и улыбнулся. Рыба сама шла в сетку.

За столом сидели барон Гемпель и Григорий Александрович Кирхоф.

Николай Герасимович пожал руку первому и внимательно посмотрел на второго.

— Опять в Петербурге? — спросил барон. — Вы не знакомы? — указал он на Кирхофа.

— Как будто встречались за границей, — заметил Савин.

— Григорий Александрович Кирхоф.

— Киров... Кирхоф, — повторял Николай Герасимович и настоящую, и измененную фамилию Григория Александровича. — Кажется, в Париже?..

— Угадали, в Париже, — заметил смущенно Кирхоф. — Очень приятно.

Выражение его лица красноречиво говорило, что это «очень приятно» было сказано далеко не от чистого сердца.

— Ты один? Садись, — сказал между тем барон Гемпель. Николай Герасимович присел к столику.

— Думаешь по утрам кормиться здесь? Хвалю... Лучше завтраков не найдешь в Петербурге.

— Нет, я так, случайно...

— Ты был в Москве?

— А, несколько месяцев.

— Не встречал ли Неелова? Он тут сбежал из Петербурга с одною прехорошенькою штучкой.

— Не только встречал, но даже и повенчал его с этой штучкой.

— Повенчал! Ха, ха, ха! Это интересно. Вот чего не ожидал от Владимира... Мы думали здесь, что он живо удерет от нее, а она возвратится вспять под кров родительский.

Гемпель продолжал от души смеяться.

— Теперь удрать от нее ему не сподручно... Он без ноги.

— Как без ноги? Час от часу не легче... Же-

нат и без ноги... Два несчастья сразу, и не разберешь, какое из них хуже... Ну, ты ему дал жену, а кто же у него отнял ногу?

— Долинский.

— Это адвокат?

— Он самый.

— Как так?

— Прострелил ее на дуэли.

— Та, та, та... Ведь этот Долинский был влюблен в эту нееловскую штучку, в Селезневу.

— Кажется, но он вел себя по-рыцарски... Он мог бы убить его, а только ранил... Стреляет он восхитительно...

— Неелов тоже не даст промаха в туза.

— А тут дал.

— Да расскажи толком, все по порядку...

Лакей подал первое блюдо завтрака.

Николай Герасимович принялся за еду, что, впрочем, не помешало ему довольно обстоятельно рассказать свою встречу с Нееловым и Любовь Аркадьевною, приезд Долинского и Елизаветы Петровны Дубянской, бегство Неелова из Москвы, дуэль в его усадьбе и оригинальную свадьбу тяжело раненого.

И Гемпель, и Кирхоф слушали все это с величайшим вниманием и видимым интересом.

— Надо впрыснуть здоровье новобранных, — заметил барон Гемпель.

Подозвав слугу, он приказал заморозить бутылку шампанского.

— Ты познакомился, значит, с Елизаветою Петровною Дубянскою? — сказал, между прочим, барон Гемпель, когда первая бутылка шампанского была распита и завтракающие принялись за вторую, потребованную Савиным.

— Да, очень милая девушка, а что?

— Она тоже ведь героиня романтической истории...

Николай Герасимович наострил уши.

— Вот как, какой? — сказал он деланно равнодушным тоном.

— Ты разве не слыхал о растрате сорока тысяч рублей в банкирской конторе «Алфимов и сын»?

— Что-то, кажется, читал, но не обратил внимания...

— Так видишь ли, в растрате обвиняется

кассир... — повторил Гемпель.

— Ну, ну...

— В него влюблена была эта самая Дубянская, бывшая компаньонка Любовь Аркадьевны Селезневой.

— Вот как?..

— А в нее, в свою очередь, влюбился по уши Иван Корнильевич Алфимов, сын Корнилия Потаповича Алфимова, нашего финансового туза и гения, и совладелец с ним банковской конторы «Алфимов и сын», где была произведена растрата кассиром, соперником молодого хозяина...

— Это интересно, совсем банкирский роман...

— Вот теперь и неизвестно, виноват ли на самом деле кассир, или это подстроено, чтобы устранить его с дороги к сердцу молодой девушки и очистить эту дорогу для банкирского сына.

— Ужели это возможно?

— А ты откуда свалился, что находишь, что это невозможно... Тут, брат, вмешался наш «общий друг», — барон потрепал по плечу Кирхофа.

— Какой такой? — спросил Николай Герасимович, между тем как Григорий Александрович укоризненно посмотрел на Гемпеля.

— Ишь ведь у тебя язык-то, как только тебе попадет лишний стакан шампанского... — заметил Кирхоф.

— Ну, что из этого, ведь Савин свой... — оправдывался барон.

— Какой же это ваш общий приятель? Может быть, и мой?.. — повторил Савин.

— Не знаю, знаешь ли ты его? Граф Стоцкий...

— Я знал в Варшаве одного графа Стоцкого... Сигизмунда Владиславовича...

— Он самый... Такой, брат, человек, что другого человека наизнанку выворотит, все рассмотрит, опять выворотит и с миром отпустит... Каждого вокруг пальца обернет, так что он и не опомнится...

— Вот какой он стал... — удивился Николай Герасимович. — Я его не знал таким. Впрочем, он тогда был моложе... Красавец собою?

— Да, недурен...

— Да что я говорю... Помните в Париже, вы

увидели у меня его портрет, — обратился Савин к Кирхофу, — и тогда же пересняли, сказав, что он напоминает вам вашего брата или родственника, не помню уже?..

— Да, да, припоминаю... — уже совершенно смущенно подтвердил Григорий Александрович.

— Где он живет?.. Мне так бы его хотелось видеть... Нам многое с ним можно вспомнить из дней невозвратной юности...

— Он живет на Большой Конюшенной. Барон Гемпель назвал номер дома и квартиры.

— Сейчас же после завтрака поеду к нему, — сказал Николай Герасимович.

— Едва ли вы его теперь застанете... Если он не приехал сюда, значит уехал куда-нибудь по делу, — как-то странно заторопился Григорий Александрович Кирхоф.

— Ну, не застану, так не застану... Узнаю, когда он будет дома.

Вторая бутылка шампанского была опорожнена, и собеседники вышли из-за стола, а затем и из ресторана.

## XI НЕОЖИДАННЫЙ ПОМОЩНИК

— Пройдемтесь, мне с вами надо перегово-  
рить, — шепнул Кирхоф Савину, когда  
они одевались в передней ресторана.

Николай Герасимович не удержался от до-  
вольной улыбки.

Начало дела шло блестящим образом.

Один спяна проболтался более, чем следо-  
вало, другой, видимо, смущен и прямо лезет в  
петлю, которую, если заблагорассудится, мо-  
жет накинуть на него он, Савин, накинуть и  
затянуть.

Это не помешало Николаю Герасимовичу  
окинуть говорящего вопросительно-недоуме-  
вающим взглядом.

Савин оставил экипаж в распоряжении  
Мадлен де Межен и пришел к Кюба пешком.

По выходе из ресторана барон Гемпель сел  
в свою изящную эгоистку и укатил, простив-  
шись с Кирхофом и Савиным.

— На улице говорить неудобно, не проеде-  
те ли вы ко мне? — заискивающе начал Гри-  
горий Александрович, жестом приглашая Ни-  
колая Герасимовича сесть в поданную уже к  
подъезду ресторана изящную полуколяску,  
запряженную кровным рысаком.



— Простите, но я хотел заехать к графу.

— Именно раньше мне надо переговорить с вами... по поводу Стоцкого, — спешно перебил Кирхоф.

— Что такое? Что с ним?

— Ничего особенного, но поверьте, вы узнаете много интересного и не пожалеете о подаренном мне часе.

— Вы дразните мое любопытство... Извольте... Поедемте.

Савин ловко вскочил в экипаж.

За ним уселся Григорий Александрович.

Когда они через каких-нибудь полчаса уже сидели в кабинете Кирхофа, последний начал таинственно:

— Вы хотели ехать сейчас, Николай Герасимович, к графу Сигизмунду Владиславовичу Стоцкому, чтобы повидаться со своим товарищем юности?

— Да... Но в чем же дело? — нетерпеливо сказал Савин.

— Вам не придется повидать его.

— Почему? — широко раскрыл глаза Николай Герасимович.

— Потому, что он не тот, который изобра-

жен на вашем портрете. Между ними нет никакого сходства.

— Странно... Ужели такое совпадение имени, отчества и фамилии и, кроме того, насколько мне известно, молодой граф Стоцкий был последний представитель своего рода.

— Действительно, других графов Стоцких нет. И этот один...

— Куда же девался другой?

— Его нет в живых.

— Послушайте, это становится интересным...

— И, несмотря на это, я попрошу вас ограничиться только этими сведениями, — заметил Кирхоф.

— Вы смеетесь надо мной... Нет, я это дело разужнаю.

— Напрасно... вы мне нанесете этим большой ущерб, а себе не доставите никакой прибыли, кроме удовлетворения праздного любопытства.

— Какое тут праздное любопытство! — воскликнул Савин. — Товарищ и друг моей юности оказывается подмененным... Его нет в живых, а по Петербургу гуляет другой граф

Стоцкий, быть может, самозванец, воспользовавшийся бумагами покойного... Хорошо праздное любопытство!

— Допустим даже, что вы были близки к истине. Что же из этого?

— Как что? Надо уличить негодяя, сорвать с него маску.

— Зачем?

— Зачем? Зачем?.. Да хотя бы в память покойного...

— Ведь этим вы его не воскресите.

— Понимаю, но...

— И нет тут никаких «но»... Если же вы будете молчать до поры до времени, я даже не прошу молчания навсегда, то... Вот что, я не так прост, как выгляжу. Я следил за выражением вашего лица, когда говорили о деле этого кассира Сиротина, и понял, что, несмотря на то, что вы небрежно уронили: «Читал что-то в газетах», — вы интересуетесь этим делом. Отвечайте же прямо, правда?

— Положим, что правда.

— Тогда согласиться на мое предложение вам прямая выгода... Я буду весь к вашим услугам и сообщу вам поболее, чем этот бол-

тун Гемпель, который в сущности ничего не знает... Слышал, что называется, звон, да не знает, где он...

— А вы?

— Я в курсе этого дела и могу помочь в нем, а главное, доставлю вам помощь и графа Стоцкого...

— Его помощь!

— Да...

— Каким же образом?

— Да все равно... Ведь вы неизбежно столкнетесь с ним в Петербурге, в нашем кружке, но мне хотелось бы, чтобы представил вам его я... Будете вы молчать или не будете, он все равно в ваших руках.

— Почему?

— Потому что он знает, что вы знали настоящего графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого.

— Откуда ему это известно?

— Это сказал ему я.

— Вы?

— Да, я... Я имею в силу этого над ним власть и вас я прошу только не разрушать ее, ничуть не посягая со своей стороны на вашу...

Вертите им, как хотите...

— А если я не соглашусь?

— Тогда мы оба, и граф и я, погибнем, не принеся вам никакой пользы... Сиротинин будет обвинен и сослан.

— Хорошо, — после некоторой паузы сказал Николай Герасимович, — я согласен. Вот моя рука... Но одно условие...

— Хоть десять, — отвечал Кирхоф, крепко пожимая руку Савина.

— Расскажите мне всю суть этой истории с растратой и с Сиротининым...

— Извольте...

— Я вас слушаю...

— Молодой Алфимов находится всецело в руках графа Стоцкого... Он эксплуатирует его и вертит им, как хочет... Молодой человек ведет большую игру, принимает участие в кутежах, а между тем его средства очень ограничены.

— Как ограничены?.. Но он миллионер...

— Да, действительно, отец его очень богат, и у него самого отдельное громадное состояние.

— Как же так?

— Но его капитал находится в деле отца, который платит ему ограниченное жалованье и держит вообще в черном теле.

— Ага... — протянул Савин.

— Кроме того, в последнее время Иван Корнильевич без ума влюбился в компаньонку бежавшей Селезневой Елизавету Петровну Дубянскую... Это его отвлекало от кутежей, но играть он продолжал, надеясь отыграться... Долгов у него много, и понятно, что он, вероятно, по совету графа Стоцкого, повыудил из кассы конторы деньги, а для того, чтобы отвести от себя подозрение, поручал изредка ключ Сиротину, его счастливому сопернику в любви к Дубянской...

— Хороша махинация...

— И, несомненно, придуманная графом Сигизмундом... Молодой Алфимов до этого не додумался бы вовек... Впрочем, это все только мое предположение. Так ли это было на самом деле, я не знаю, но думаю, что оно похоже на правду...

— Это сама правда...

— Имея в руках эти данные, вам надо будет действовать на графа Стоцкого и воспользо-

зоваться его влиянием на молодого Алфимова.

— В каком смысле?

— Чтобы тот сознался во всем отцу... Отец может и не начать против него дела, а Сиротинин будет свободен.

— Да, да, это так... — задумчиво согласился Николай Герасимович.

— Но, повторяю, во всем этом я буду вашим деятельным помощником только при одном условии, что сам представлю вас его сиятельству.

Он подчеркнул умышленно титул.

— Когда же это представление состоится?

— На днях в одном злочном месте Петербурга будет вечер по случаю совершеннолетия будущей жрицы любви...

— Вот как, в каком же это месте?

— У полковницы Усовой. Ее дочери исполнилось недавно шестнадцать лет. Мать хочет показать этот свежий товар своим знакомым. Вы не знаете Капитолину Андреевну?

— Не имею понятия... В мое время такой не было.

— Любопытная дама, и не менее любопыт-

ный дом... Я поведу вас на этот вечер, и там вы встретите и графа Стоцкого, и других действующих лиц интересующей вас истории.

— Будет и молодой Алфимов?

— Нет, едва ли... Будет старик, претендент на распускающийся цветок... Граф Сигизмунд ревниво охраняет от встречи отца и сына на одной дорожке.

— Ну, делишки же у вас, занятные... Хорошо, я согласен... Когда вечер?

— Через два дня.

— Это не долго.

Они перешли к воспоминаниям о парижской жизни, и затем Николай Герасимович простился и уехал.

«Ура! Победа!» — чуть не вскрикнул он, сходя с лестницы дома, в котором занимал квартиру Кирхоф.

В тот же вечер Николай Герасимович успел побывать у Долинского и у Дубянской, сообщив им о счастливом начале дела.

Елизавета Петровна вдвойне порадовалась этому, так как день этот принес ей именно двойную радость.

Утром она имела первое свидание с Дмит-



рием Павловичем Сиротининым, любезно разрешенное ей, в качестве невесты обвиняемого, судебным следователем, которому она, хотя и не официально, не в форме показания, успела высказать все, что у нее было на душе по поводу дела Сиротинина.

Судебный следователь выслушал ее сочувственно, но воздержался выразить свое мнение.

Свидание состоялось в конторе дома предварительного заключения.

Дмитрий Павлович уже от матери знал о неизменившихся к нему отношениях любимой девушки, и это известие действительно утешило его в его невольном одиночестве.

Он и так, надо сказать, безропотно переносил заключение, тем более, что по распоряжению прокурорского надзора, вследствие ходатайства судебного следователя, ему было разрешено чтение и письмо; теперь же убеждение, что самые дорогие для него лица не считают его виновным, еще более успокоительно подействовало на его нервы.

Он вышел к Дубянской спокойный, почти веселый.

Помощник зрителя, зная из предъявленного Елизаветой Петровной разрешения следователя, что свидание происходит между женихом и невестой, галантно уселся за стол в другом конце комнаты и углубился в книгу, делая вид, что совершенно не интересуется их беседой.

Да и интересоваться было нечем.

Как это ни странно, но в то время, когда общественное мнение было всецело за виновность Дмитрия Павловича Сиротинина в растрате конторских сумм, в доме предварительного заключения, начиная с самого зрителя и кончая последним сторожем — все были убеждены, что он невиновен.

Таким образом, ничего обличающего обвиняемого, как это было в других делах, из беседы заключенного с посетителями начальство ожидать не могло.

— Лиза, ты... — протянул молодой девушке обе руки Сиротинин.

— Я, милый, я, дорогой...

— Я не знаю, как благодарить тебя...

Он нагнулся и приник к ее рукам, покрывая их горячими поцелуями.

Она почувствовала, что на ее руки капнуло несколько горячих слезинок.

— Ты плачешь... — вздрогнула она. — О чем?.. Видишь, я не плачу, а надеюсь и жду... Я — женщина...

— Ничего, ничего, Лиза, — потрянул он головой, — это не беда, это слезы радости... В общем, я спокоен.

— И должен быть спокоен, так как, во-первых, ты прав, а, во-вторых, все скоро выяснится...

— Что выяснится?

— Твоя невиновность.

— Это невозможно... Я сам знаю, что не виноват, но если бы был своим собственным судьей, то обвинил бы себя... Более обвинить некого...

— Как знать...

— Лиза, — вдруг сделавшись необычайно серьезным, сказал Дмитрий Павлович, — если у тебя такая мысль, на которую намекнул мне следователь, то оставь эту мысль... Это невозможно даже допустить...

— Значит, следователь намекнул тебе на возможность виновности молодого Алфимо-

ва?

— Да... — скорее движением губ, нежели языком, сказал Сиротинин. — Но почему ты знаешь?

— Очень просто, потому что это и моя мысль. Что я говорю, мысль! Мое твердое, непоколебимое убеждение.

— Лиза!.. — тоном упрека остановил ее Дмитрий Павлович.

— Что тут Лиза... Я давно Лиза... Не одна я в этом убеждена...

— Не одна ты...

— Да... Мое мнение разделяет Долинский и Савин...

— Савин... Это который недавно судился?

— Да.

— Откуда ты его знаешь?

В коротких словах рассказала Елизавета Петровна Сиротинину все случившееся в последние дни, побег Селезневой, поездку ее в Москву и знакомство там с Николаем Герасимовичем.

— Потому-то я так долго и не была у тебя... Я ничего не знала, не читала в хлопотах и газет... По приезде я получила письмо от твоей

мамы, а ее рассказ поразил меня, как громом... Я прямо от нее бросилась к Сергею Павловичу.

Она передала Дмитрию Павловичу сущность беседы с адвокатом, совет его поручить дело Савину, согласие последнего и приезд его в Петербург.

— Дорогие мои, из этого ничего не выйдет... Такое подозрение и бессмысленно и возмутительно, — сказал Сиротинин.

— А для нас всех, а также, говоришь ты, и для судебного следователя, которому я сегодня высказала все свои соображения...

— Ты?

— Да, я... Для нас всех, повторяю я, это даже не подозрение, а полная уверенность...

— Это невозможно... Он такой душевный человек...

— Весьма возможно, что он орудие в руках других, и это даже вернее всего... Ясно одно, что деньги взял он...

— Нет.

— Значит взял их ты! — вспыхнула Дубянская.

— Лиза!

— Ты не брал, значит взял он... Да что говорить об этом, ведь поверишь же ты, когда он сам в этом сознается?

— Он... сам... сознается... Голубчик, ты... расстроена...

— Пусть... Считай меня хоть помешанной, а я говорю тебе, что он сам сознается... Его доведут до этого... Его заставят...

— Если он сознается, то, конечно, я поверю... Но не иначе...

— Иначе и не может быть...

— Страшное затеяли вы дело...

— Чего же тут страшного?.. Отыскивать правду?.. Страшное было бы дело, если бы ты был обвинен и сослан...

— Это так и будет...

— Посмотрим... Для моих отношений к тебе это все равно... Никакой приговор суда меня не убедит в твоей виновности... И в Сибири я буду любить тебя точно так же, как люблю теперь...

— Это для меня выше всех оправданий...

— Напрасно... Я хлопочу не для себя и даже не для тебя... Я хлопочу из-за торжества правды... Правда для человека должна быть выше

всего...

— Даже выше любви?

— Не выше, так как в любви должна быть прежде всего правда...

— О, ты моя дорогая энтузиастка! Я рад, что ты утешаешься этой иллюзией и поддерживаешь мою мать... Она стала куда бодрее... Благодарю тебя...

Назначенный срок свидания миновал, и они расстались.

В тот же день вечером, как мы знаем, Николай Герасимович принес Елизавете Петровне утешительные вести.

Через несколько дней на вечере у полковницы Усовой состоялось знакомство Савина с Сигизмундом Владиславовичем Стоцким.

## XII В ЛЕТНЕМ САДУ

**В** конце сентября часто выдаются в Петербурге великолепные дни. Кажется, что природа накануне своего увядания собирает с силами и блеснит всю роскошь своих дивных красок. Даже сады Петербурга — эти карикатуры зеленых уголков — красуются яркою зеленью своих деревьев, омытой осенним

дождичком, и как бы подбодренной веющей в воздухе прохладой. Таким осенним прощальным убором красовался Летний сад.

Был воскресный день, третий час пополудни.

Графиня Надежда Корнильевна Вельская шагом прогулки шла по средней аллее сада.

Доктор прописал ей моцион, и она ежедневно, по возвращении в город в половине сентября, ездила в Летний сад и два или три раза проходила его.

Эти прогулки составляли даже развлечение в ее скучной, однообразной жизни, среди обстановки того иногда настоящего, а зачастую кажущегося, злата, через которое, по выражению русской песни, льются еще более горькие слезы.

Вдруг с одной из скамеек поднялась и пошла навстречу графине скромно одетая дама, в которой Надежда Корнильевна узнала тетку Ольги Ивановны Хлебниковой — Евдокию Петровну Костину — за ней следовал ее муж Семен Иванович.

После таинственного исчезновения Ольги Ивановны и не менее загадочного письма ее



к графине, последняя так и не могла добиться, куда скрылась беглянка и какие причины руководили ее внезапным исчезновением.

По сообщению графа, Ольга Ивановна уехала из Петербурга в Москву, вероятно, к родителям, так как вскоре после ее бегства ее отец отказался от места управляющего в Отрадном и переехал на жительство в первопрестольную столицу.

Занятая своим горем молодая женщина — и в этом едва ли можно винить ее — забыла о своей подруге, тем более, что, как помнит, вероятно, читатель, объяснила ее исчезновение возникшим в сердце молодой девушки чувством к графу, что отчасти подтверждал и смысл оставленного письма.

Вид родственников подруги, однако, снова вызвал воспоминание о ней, сомнение в верности истолкования ее поступка и желание узнать истину.

Графиня и Евдокия Петровна обменялись радостными приветствиями.

— Восхитительный день, и нельзя в этот день не погулять... — застенчиво, и как бы извиняясь, сказал Костин, почтительно снимая

шляпу. — Вот мы с женой и пришли в Летний сад, хотя Таврический от нас ближе... Но там уже теперь сделалось сыро...

— Я тоже гуляю, но охотно посижу поболтаю с вами, — сказала Надежда Корнильевна.

Они все трое возвратились к скамейке и уселись на нее.

— А что моя Оля? Что она поддельвает? — спросила графиня. — Я не знаю о ней ничего со дня ее странного отъезда... Говорят, она в Москве...

— О, как она несчастна! — воскликнула Костина. — И как бесчеловечно было лишать ее счастья всей жизни.

— Что вы говорите... Оля несчастна... Почему?

— Дуня, перестань... Разве можно! — остановил Евдокию Петровну муж.

— Оставь, Семен! Не раздражай меня! — вскричала упрямо Костина. — Ты должен понимать, в каком я состоянии... Я должна все сказать графине.

— Конечно, конечно, расскажите, моя дорогая.

— Так вы, значит, не знаете, что Оля была

загублена в вашем доме и теперь она живет в Москве, в монастыре и решила посвятить себя Богу. Я и ее мать говорили с ней по душе, но она отказалась назвать имя своего обольстителя... Ну, да мы-то все равно его знаем...

— Дуня! — молил ее муж.

Графиня Надежда Корнильевна глядела на говорившую широко открытыми глазами.

Судорога внутреннего волнения передергивала ее губы.

— Оставь меня, Семен! Я, разумеется, не назову имени человека, прежде, чем расскажу, почему я его подозреваю! Когда Оля жила у вас, она познакомилась с некоей Левицкой, молодой девушкой, которая затащила ее в известный притон на Васильевском острове к полковнице Усовой. Не сдобровать бы уж ей и тогда, но спасибо добрый человек Ястребов разъяснил нам, в чем дело, и муж вовремя поехал к Усовой и застал Олю с глазу на глаз с...

— Дуня!.. — вскрикнул опять Семен Иванович.

— Да оставь же меня, Семен! Ты вредишь моему здоровью!.. Ну, тогда-то ничего не вы-

шло у них, а вот в тот же день, когда у вашего батюшки был бал, супруг ваш ухаживал за Олей, и кончилось тем, что она на другой день должна была бежать... Сама она его не назвала, но догадаться было легко...

— Нет, это невозможно! — воскликнула графиня, бледнея.

— Так зачем же граф присылал ей письмо графа Стоцкого, а когда она прослушала чтение этого письма, где только и говорилось, что о любви к вам, она упала в обморок... Что вы об этом думаете?

Надежда Корнильевна молчала.

— Исхудала она еще и здесь до неузнаваемости и несколько дней тому назад, как уехала в Москву, в Никитский монастырь... Там монахиней одна ее подруга.

«Нет, нет! — думала графиня. — Этого быть не может! Граф Петр человек испорченный, но он не лицемер! Ведь именно в тот день...»

После этого разговор не клеился.

Все сидели молча.

Сама Костина поняла всю неловкость своей откровенности и прикусила язык.

Семен Иванович кидал то укоризненные

взгляды на жену, то сочувственные — на графиню и покачивал головой.

Наконец последняя встала и, простившись с Костиными, пошла к выходу.

Ей было не до продолжения прогулки.

В то время, когда графиня Вельская беседовала с Костиными в Летнем саду, муж ее сидел с графом Стоцким дома и толковал с ним о делах.

Граф взволнованно шагал взад и вперед по комнате.

Сигизмунд Владиславович, попивая шампанское, подводил по книгам счета и когда кончил, объявил, что для графа Петра Васильевича осталось одно спасение: сократить расходы по дому и удвоить игру, а для этого уехать за границу.

Граф Вельский все-таки еще любил жену, да и все лучшие его чувства восставали против этих мер.

Но граф Стоцкий умел управлять его слабой волей с дьявольским искусством.

Он убедил его во всем и предложил даже переговорить с графиней вместо него.

— Тебе тяжело будет объясниться с ней...

— Да, голубчик, я даже не знаю, как приступить к делу...

— Ну, вот, видишь, а я знаю, и все обделаю к общему благополучию.

— Выручай и тут, дружище...

Граф Петр Васильевич позвонил.

— Графиня дома? — спросил он вошедшего лакея.

— Их сиятельство только что возвратились с прогулки.

— Итак, я пойду... Миссия из неприятных, но чего я не сделаю для тебя как искренний друг... — сказал граф Сигизмунд Владиславович.

— Благодарю тебя...

— Подожди меня... Я скоро возвращусь... Вели подать еще бутылку...

Когда графине доложили о желании графа Стоцкого ее видеть, она раздражительно сказала:

— Просите!

Она дала слово мужу не отказывать в приеме этому ненавистному для нее человеку и держала это слово.

Графиня Надежда Корнильевна встретила

графа Сигизмунда Владиславовича с тем же плохо скрываемым отвращением, которое всегда внушало ей плотское чувство, сказывавшееся в его глазах в ее присутствии.

Он заметил это и с горькой улыбкой произнес:

— Кажется, мне никогда не удастся победить ваше отвращение ко мне, графиня... А между тем клянусь, никто не любил вас и не любит вас так, как я!..

— Перестаньте говорить об этом, граф! — воскликнула она с гордым негодованием. — Или, несмотря на просьбы мужа, я не стану вас больше принимать!..

— Повинуюсь, графиня, но будет время, что вы заговорите со мной иначе! Погибель налетает быстро! Теперь же я являюсь по поручению вашего супруга, спросить вас, не огорчит ли вас его намерение в скором времени прокатиться с друзьями за границу;

— Муж мой хорошо сделал, что выбрал вас посредником, а то мне пришлось бы в лицо сказать ему, что он напрасно лицемерит, спрашивая мое мнение. Мне пришлось бы называть ему имя девушки, которое заставило бы

его покраснеть... А теперь, по крайней мере, все ясно, каковы его поступки, таковы и друзья!.. То же, что он прислал именно вас, еще ярче оттеняет ту непроходимую пропасть, которая залегла между нами обоими.

— Вы опять, как всегда, несправедливы ко мне, графиня, — начал было граф Стоцкий...

— Довольно, передайте моему мужу, что он может уезжать когда и куда он хочет.

— Позвольте, графиня, мне все же объяснить вам. Если я согласился явиться к вам от его лица, то только ради того, чтобы избавить вас от тяжелой сцены. Не скрою от вас, что граф Петр сильно сомневается в вашей добродетели и, приди он сюда, при малейшем противоречии с вашей стороны он, со свойственной ему вспыльчивостью, мог бы забыться.

— И сомнение это раздули в нем вы! — горько улыбнулась графиня Надежда Корнильевна.

— Вы отгадали, графиня. Я счел своим долгом выяснить ему тот обман с медальоном, которому он подвергся на недавнем празднике у вашего отца.

— Вполне похоже на ваш благородный ха-



рактиер.

— Мною руководила одна безумная страсть к вам, графиня.

— Замолчите, нахальный человек! — вскричала она. — Это не откровенность, а цинизм! Вы говорите мне только потому, что уверены в слабых характеристиках моего мужа, хотя отлично знаете, что да всегда была и всегда останусь верна своему долгу.

— А я клянусь вам, что настанет день, когда вы будете моей! — воскликнул вне себя граф Стоцкий.

— Скорее смерть! Никогда!

— Раз я захотел, то это будет... А что касается Ольги Ивановны Хлебниковой, то я не сообщил вам о ней, единственно боясь вас огорчить.

— О, раз вы признали виновность моего мужа, я готова отрицать ее.

— Отрицайте, если вам нравится, но факт останется фактом, — отвечал, нахально улыбаясь, граф Сигизмунд Владиславович.

— Довольно... Я хочу остаться одна... Передайте моему мужу, что я сказала: когда и куда угодно.

— Хорошо, графиня, передам, — злобно улыбнулся он и вышел.

— Все в порядке... Графиня объявила: когда и куда угодно... — смеясь сообщил графу Вельскому Сигизмунд Владиславович.

— Так и сказала? — побледнел тот.

— Так и сказала... Теперь постарайся запасть в достаточном количестве наличными.

— Еще хватит...

— Я буду сам это время хлопотать о том же самом, потому что ты едва ли в состоянии меня выручить...

— Как тебе не стыдно, Сигизмунд! Разве между нами возможен вопрос о каких-нибудь ничтожных нескольких тысячах? Бери у меня всегда сколько захочешь...

— Ты настоящий друг... Благодарю тебя...

— Да полно... Что за пустяки...

— Однако, я тебя выручил сегодня вдвойне, пойдя за тебя объясняться с графиней... Она сегодня раздражена более обыкновенного.

— Отчего?

— Кто-то ей шепнул о твоём мимолетном увлечении.

— Каком?

— С Ольгой Ивановной...

Граф Вельский побледнел, а затем покраснел.

— Но, клянусь тебе...

— Не клянись... Все равно не поверю.

— Послушай, Сигизмунд...

— И слушать не хочу...

— Это, наконец, возмущает меня... — вспыхнул граф.

— Возмущайся сколько хочешь...

— Но ведь это такая мерзость, обвинить человека в том, в чем он не повинен ни сном, ни духом.

— Ха, ха, ха!.. — гомерически расхохотался граф Стоцкий.

— Сигизмунд, я с тобой серьезно поспорюсь...

— Из-за девчонки...

— Но повторяю, клянусь тебе...

— А я повторяю тебе: клянись, не клянись, а я видел своими собственными глазами, как ты за ней ухаживал в этот вечер, а, проходя мимо трельяжа, за которым вы с ней скрылись, совершенно случайно, видит Бог, слу-

чайно, подслушал, как ты ей назначал свидание в отведенной ей комнате.

— Все это правда...

— Вот, видишь ли...

— В то время я был рассержен на жену за медальон...

— А потом?..

— А потом я провел время после бала с женой...

— Почему же твоя жена не верит в это?

— Не знаю...

— Ты неопытный подсудимый... Ну, да Бог с тобой... Я перестал бы тебя уважать, если бы ты упустил случай воспользоваться влюбленной девчонкой... Свиданье было назначено... Ты пошел...

— Свидетель Бог, не ходил...

— Послушай, ты, кажется, считаешь меня совсем дураком... Кто же был у нее?

— Не знаю...

— Ведь не я же?.. Только я один знал место вашего свидания, но ведь я не из гастрономов в этом смысле, ты меня знаешь...

— Я недоумеваю...

— Ну, будь по-твоему... — махнул рукой Си-

гизмунд Вяадиславович. — Главное, графиня, как и я, убеждена, что это твое дело, и поэтому, понятно, негодует...

— Это ужасно!

— Что же ужасного?

— Как мне разубедить ее?

— Это трудновато, да я не вижу в этом необходимости...

— Но как я ей буду глядеть в глаза?

— Избегай ее... После же путешествия за границу, время сделает свое дело, и все забудется...

— Нет, мне надо оправдаться во что бы то ни стало...

— Напрасный труд... Она не станет тебя слушать... Она сказала мне, что ты ей сделаешь большое удовольствие, если не будешь показываться ей на глаза...

— Она сказала это?..

— И добавила, что тоже самое касается и меня... — со смехом закончил граф Стоцкий.

— Вот как!.. Это другое дело.

— Так будь же благоразумен, и чем делать драму из твоей, в сущности, шалости...

— Опять!..

— Хорошо, хорошо, одним словом, из-за пустяков, так сделаешь лучше, если займешься устройством своих дел.

— Непременно, непременно... — рассеянно отвечал граф Петр Васильевич.

— А я поеду, мне еще нужно заехать места в два... — вставая, сказал граф Стоцкий.

Граф Вельский его не удерживал.

### XIII С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

**Н**а другой день после вечера у полковницы Усовой, в первом часу дня, Николай Герасимович Савин звонил у двери квартиры графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого.

Граф только что сделал свой утренний туалет и в изящном халате сидел за стаканом кофе и газетой в своем кабинете.

— Дома барин? — спросил Савин у открывшего ему дверь лакея с плутовской физиономией.

— Дома-с, но они не одеты...

— Не беда, что за церемония со старыми приятелями, — заметил Николай Герасимович, когда лакей снимал с него пальто.

— Как прикажете доложить?

Савин дал свою карточку.

— Пожалуйста в залу, — произнес лакей и удалился.

Савин прошел в залу, или, скорее, гостиную, комнату довольно больших размеров, но, несмотря на это, — она, заставленная и буковой, и мягкой мебелью, имела довольно уютный вид, и в ней царил, видимо, тщательно соблюдаемый порядок.

Над одним из диванов — турецким — был повешен на стене вышитый шелком ковер, изображавший в середине герб графов Стоцких, а на углах инициалы графа Сигизмунда Владиславовича под графской короной.

Николай Герасимович с невольною усмешкой посмотрел на эту вывеску родовитого хозяина.

«Настоящий граф не сделал бы этого», — мелькнуло в его голове.

В кабинете между тем происходила немая сцена. Взяв с мельхиорового подноса поданную ему лакеем карточку Савина, граф Сигизмунд Владиславович положительно остолбенел, бросив на нее взгляд.

«Начинается! — пронеслось в его уме. — И

как скоро!»

Он вспомнил, что всю ночь отгонял от себя мысль о появлении Савина, не только знавшего, но и бывшего в приятельских отношениях с действительным владельцем титула графов Стоцких, отгонял другою мыслью, что успеет еще на следующий день со свежей головой обдумать свое положение, и вдруг этот самый Савин, как бы представитель нашедшего себе смерть в канаве Сокольницкого поля его друга, тут как тут — явился к нему и дожидается здесь, за стеной.

Граф Стоцкий положительно растерялся и бессмысленно переводил глаза с карточки на стоявшего навтыжку лакея и обратно. Это длилось несколько минут, к большому недоумению слуги.

— Как прикажете, ваше сиятельство? — наконец нарушил тот молчание.

Граф молчал. Молчал и почтительный лакей, переминаясь с ноги на ногу.

— Одеваться... — наконец произнес с каким-то отчаянным жестом Сигизмунд Владиславович.

— Я им докладывал-с, что ваше сиятель-



ство не одеты-с, так они говорят: ничего, что за церемонии между старыми приятелями.

— Гм... Между старыми приятелями... — повторил граф Стоцкий. — Если так, то проси.

— Слушаю-с.

Лакей вышел и затем, снова отворив дверь кабинета, произнес:

— Пожалуйста...

Николай Герасимович вошел.

— Очень рад, очень рад, — встал и пошел ему навстречу граф Сигизмунд Владиславович.

— Извините, что побеспокоил так рано... Хотелось застать дома, — начал Савин.

— Помилуйте... Что за церемонии...

— Между старыми приятелями, — заметил Николай Герасимович. — Действительно, я хочу, но никак не могу признать в вас друга моей юности, графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого.

— Я самый и есть.

— Знаю, вы, да не вы... Нельзя так измениться... Он был совсем не похож на вас...

— Значит, это был другой, — деланно спокойным тоном отвечал граф.

— Не мог быть и другой, так как он был последний в роде. У меня есть его портрет. Кирхоф уверял меня, что он похож на его покойного брата, и даже в Париже переснял для себя.

— Я слышал от Кирхофа эту историю... Быть может, он был по другой линии.

— Странно, странно... Но не в этом дело... Что мне до того, похожи ли вы, или нет на моего друга... Не правда ли?

Николай Герасимович пристально посмотрел на Сигизмунда Владиславовича.

— Собственно говоря... Конечно... — неуверенно произнес он.

— Важно то, что я знаю это, а остальное в моих руках... Не так ли?

— Я вас не понимаю, — смущенно заметил граф Стоцкий.

— И не надо... Быть может, вам и не придется меня понимать, чего я от души желаю. Я к вам, собственно, по делу.

— Чем могу служить?

— Так как вы такой полный тезка моего старого друга, полнее какого и быть не может, то мне почему-то думается, что вы не откаже-

тесь оказать мне небольшую услугу.

— Вы друг моего друга Кирхофа, а друзья моих друзей мои друзья... — любезно отвечал граф Стоцкий.

— В таком случае, все обстоит благополучно, и вы окажете мне просимую услугу...

— Все, что в силах и средствах...

«Уж не думает ли он, что я явился потребовать от него отступного за молчание?» — мелькнуло в голове Николая Герасимовича, и он поспешил заметить вслух:

— В силах вы будете, а средств тут никаких не надо...

Из груди Сигизмунда Владиславовича вырвался невольный облегченный вздох, что подтвердило красноречиво предположение Савина:

— Я весь внимание...

— Заставьте молодого Алфимова сознаться в произведенной им растрате...

Видимо, не ожидавший ничего подобного и застигнутый совершенно врасплох, граф Сигизмунд Владиславович смертельно побледнел и даже откинулся на спинку кресла.

— Я... извините... ничего... не понимаю... —

с расстановкой, дрожащим голосом, после довольно продолжительной паузы проговорил он.

— Полноте, граф... Не играйте со мной в темную, мы с вами с глазу на глаз, нас, надеюсь, никто не подслушивает, а потому мы можем говорить начистоту... Ведь то, что я вас даже наедине называю «граф», что-нибудь да стоит.

— Чего же вы от меня хотите?

— Вы слышали...

— Но я уверяю вас, что знаю это дело только по газетам и рассказам потерпевших...

— Вы хотите убедить меня в том, в чем убедить меня нельзя. Но ваша настойчивость доказывает, что вы не желаете исполнить мою просьбу... До свиданья... Пеняйте на себя... Я все равно, так или иначе, раскрою это дело, а заодно и много других...

Николай Герасимович встал.

— Позвольте, позвольте, куда же вы?! — вскричал и граф Стоцкий.

— Мне некогда терять время в пустых разговорах...

— Но какой вам интерес в раскрытии этого

дела?

— Это до вас не касается... Я прошу, и этого достаточно...

— Вы знаете этого Сиротинина?

— Может быть... Но это все не относится к делу... Угодно вам исполнить мою просьбу?

— Да вы присядьте...

— Я спрашиваю...

— Но если я этого не в силах?

— Повторяю вам, что меня вам не обморочить... Молодой Алфимов пижон, глядящий из рук отца... Под вашим просвещенным руководством он вкусил от всех благ жизни, от вина, карт и женщин, это ему понравилось и он запустил свою лапу в отцовскую кассу... Это ясно и естественно... Сиротинин, в которого влюблена Дубьянская, ему мешал, так как юноша тоже в нее влюбился, старый друг посоветовал ему оказывать кассиру доверие и давать иногда ключ от кассы, чтобы свалить при раскрытии растраты на него вину и устранить его с дороги к сердцу понравившейся молодой девушки... Это также, я думаю, и естественно, и ясно...

— Нет, последнего я ему не советовал, по

крайней мере, в такой форме, — заявил Сигизмунд Владиславович, которого поразили имеющиеся в распоряжении Савина сведения.

— Вот так-то лучше, — улыбнулся Николай Герасимович и сел.

Сел и граф Стоцкий.

— В какой же форме советовали вы ему?

— Я узнал все уже в день ревизии кассы... Ключ он давал без моего совета.

— Собственным умом дошел... Из молодых, да ранних, — заметил Савин. — Но это все равно... Необходимо, чтобы он сознался и невиновность Сиротинина была доказана... Вы это сделаете.

— Если смогу, извольте.

— Вы должны это сделать.

— Поймите, наконец, что если вы и правы, и я подал ему некоторые советы в этом деле, но ведь они клонились в его пользу, а не в ущерб. Человек склонен следовать таким советам, вы же желаете, чтобы я заставил его накинуть себе петлю на шею, не могу же ругаться я, что он согласится.

— Особенной петли я для него не вижу...

Без желания отца он не будет даже привлечен к ответственности.

— Отец-то у него особенный... Он может и пожелать.

— Не думаю... Впрочем, ведь и он у вас в руках.

— Положим... — уже перестал отрицать граф Сигизмунд Владиславович.

— Значит, все обстоит благополучно.

— Как знать...

— Я вам это предсказываю заранее... Но пусть будет по-вашему... Я вхожу в ваше положение, вам не хочется потерять ни одного из пижонов: ни отца, ни сына...

Граф Стоцкий сделал было жест протеста.

— Не возражайте, это так, будем разговаривать по душе... Можно сделать так, что вы не потеряете ни одного... Мне нет расчета вводить вас в убытки, а судьба Алфимовых для меня безразлична.

— Если это так, я к вашим услугам... — просиял Сигизмунд Владиславович.

— Ну, вот видите... Вы должны согласиться, что я знаю жизнь и людей...

— Приходится согласиться.

— Вам, понятно, неудобно предложить молодому Алфимову разрушить то самое здание, которое построено им при вашем содействии... Это вызовет с его стороны вопросы недоумения и, наконец, у него возникнет подозрение в вашей искренности, и он даже, сделав по вашему — не сделать он не посмеет, у вас есть средство его заставить...

— Какое?

— Припугнуть навести на эту мысль отца...

— А-а...

— Но повторяю, тогда ваши отношения к нему будут окончательно испорчены, а между тем у него еще и после катастрофы останутся деньги, и большие деньги, которые всегда не минуют ваших рук.

— Позвольте... — вспыхнул было граф Стоцкий.

— Мы говорим по душе... — успокоил его Николай Герасимович.

— Это другое дело...

— Это вам невыгодно, и я это понимаю... Но есть другое средство, при котором вы останетесь по-прежнему его другом, наставником, покровителем, и даже он и его капитал будут



всецело в ваших руках.

— Какое же средство?

— Не спешите... Я сейчас сообщу его вам...

Вы друг и его отца?

— Да, мы хорошие...

— Вас связывают с ним некоторые его старческие грешки... Вы не будете отрицать этого?

— Нет.

— При таких отношениях вы можете ему по-дружески намекнуть, что поведение его сына внушает вам опасение даже за его личное состояние и, между прочим, вскользь заметить, что и недавняя растрата дело рук его сына, а не Сиротинина... При этом вы возьмете с него честное слово, что это останется между вами... При ваших отношениях он просто побоится нарушить это данное вам слово.

— Но где же доказательства?

— Чудак вы человек! Я не хочу думать, чтобы вы не понимали, вы притворяетесь...

— Клянусь, не понимаю.

— Кто теперь заведует кассой?

— Сын...

— И она теперь вся в целости и сохранно-

сти?

— Не знаю...

— Полноте... Очень хорошо знаете... Ведь жизнь требует денег, а откуда же взять их молодому Алфимову, которому скряга-отец не дает даже распоряжаться его собственным капиталом, как не из кассы конторы.

— Он делает займы...

— Но их приходится покрывать... За них приходится платить проценты.

— Это верно... Что же дальше?

— Шепните старику, чтобы он теперь проверил кассу... Когда обнаружится, что касир-сын также не из аккуратных, то старик, вследствие истории с ключем, поймет, кто виновник и первой растраты и, конечно, сейчас же подаст заявление следователю...

— Но Иван не сознается в первой растрате...

— Вот тут-то и будет ваше дело по-дружески объяснить ему, что семь бед — один ответ, да и что ответа-то для него никакого не будет...

— Отец его выгонит...

— Но отдаст его капитал, за вычетом рас-

траченного.

— Это, действительно, мысль.

— Вот видите, вместо того, чтобы вы делали мне одолжение, я оказываю вам услугу... Вам выгодно будет исполнить мою просьбу, притом вы приобретете во мне друга юности, который громко везде будет именовать вас графом Стоцким.

— Приобрести такого друга, как вы, приятно при всех обстоятельствах, выгодных и невыгодных... — любезно, но уклончиво сказал граф Сигизмунд Владиславович.

— Значит, по рукам... — протянул ему руку Николай Герасимович.

— Я согласен и сделаю все, как вы проектировали.

— Только поскорее... Надо начать с сегодняшнего дня...

— С сегодняшнего дня?

— Непременно... Вы, может быть, не сидели в этом милом здании на Шпалерной, а я сидел и должен вам сказать, что там очень скучно...

Савин засмеялся.

— Думаю, что невесело...

— Так значит, там скучно и Сиротинину, и надо поскорее его оттуда вызволить...

— Хорошо, я сделаю это сегодня же.

— Отлично, вот так-то мирком, да ладком, по старой дружбе... А пока честь имею кланяться.

Савин стал прощаться.

— До свиданья, до приятного свиданья... — крепко пожал ему руку граф Стоцкий и проводил его до передней.

Когда Николай Герасимович ушел, Сигизмунд Владиславович возвратился к себе в кабинет, весело потирая руки. План Савина понравился ему самому.

## XIV НА МЕСТО

**И**ван Корнильевич Алфимов был сам накануне сознания во всем своему отцу.

Тяжелые дни переживал этот, еще в сущности неиспорченный, безвольный, запутавшийся в расставленных ему жизненных сетях молодой человек.

Все, казалось, сошло с рук так, как предсказал граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий. Подозрение в растрате не коснулось его, ви-

новник был найден, признан за такового общественным мнением и сидел в тюрьме.

Отец оказывал ему полное доверие и зачастую даже не делал вечерних проверок кассы.

Он мог черпать из нее широкою рукою и черпал действительно.

Все, казалось, по выражению его друга и руководителя графа Стоцкого, «обстояло благополучно», а между тем сам Иван Корнильевич ходил, как приговоренный к смерти, и только при отце и посторонних деланно бодрился, чтобы не выдать себя с головою.

Впрочем, от ястребиных глаз Корнилия Потаповича не скрылось угнетенное состояние его сына.

— Что ты стал, словно мокрая курица? — заметил ему он. — Втюрился, что ли, в какую бабу, так скажи, мигом обвенчаю, если мало-мальски подходящая, для нас с тобой этот товар не заказан, дорогих нет, всяких купим.

— Нет, я ничего, папа, так, вся эта истовия подействовала на меня неприятно...

— Это с Сиротининым-то?.. История, действительно, неприятная... Но зато урок, родному отцу сыну верить нельзя... Вот какие

времена переживаем... Вот что...

Корнилий Потапович вышел из помещения кассы, где происходил этот разговор.

Это было как раз на другой день после того, как молодой Алфимов виделся с Елизаветой Петровной Дубянской у Селезневых.

Иван Корнильевич не помнил, как он вышел из их квартиры. В глазах у него было темно, ноги подкашивались.

Он с трудом уселся в ожидавшую его у подъезда пролетку.

— Домой! — как-то машинально сказал он кучеру, хотя ему было необходимо в тот вечер заехать в несколько мест.

«Вот как она его любит... В Сибирь за ним идти готова, — неслось в его голове. — Не верит в его виновность и считает виновным... меня...»

Невыносимой болью сжалось его сердце.

Чтобы забыться, чтобы уйти от этих преследующих его видений, он начал пить и проводить бессонные ночи за игорным столом, а для этого необходимы были деньги — они были под рукой, в кассе конторы.

Рука протягивалась — деньги брались, не

давая забвения, а лишь все глубже и глубже засасывая молодого человека в жизненный омут.

С вечно тяжелой, отуманенной головою он, однако, не мог отделаться от преследующих его видений. Дубянская и Сиротинин стояли перед ним, и на устах обоих он с дрожью читал страшное слово: «Вор!»

Деньги были необходимы несчастному не на одни кутежи и игру. Граф Стоцкий требовал от него периодически большие суммы, чтобы, как он выражался, заткнуть горло ненасытной Клавдии — этой, как, вероятно, помнит читатель, приманки для молодого Алфимова, отысканной с непосредственной помощью полковницы Усовой.

Чтобы дать первые две тысячи рублей, и было совершено Иваном Корнильевичем первое заимствование из кассы конторы, начало растраты, за которую сидел теперь Сиротинин в доме предварительного заключения.

Граф, по его собственным словам, спас от нее своего друга, удалив ее в Москву и пообещав от лица молодого Алфимова ей золотые горы.

— Такая упорная девчонка, — заметил Сигизмунд Владиславович, — насилу уломал, может наделать больших бед.

С этого времени начались периодические требования Клавдии Васильевны Дроздовой денег через графа Стоцкого.

Последний пугал молодого Алфимова перспективой скандала, и деньги давались ему для пересылки «ненасытной акуле», как называл граф молодую девушку.

Надо ли говорить, что ни одной копейки из этих денег не получила Клавдия Васильева Дроздова?

Граф Стоцкий ограничился сообщением Капитолине Андреевне, что Клавдия надоела Ивану Корнильевичу и было бы удобнее, если бы ее она к себе не принимала.

— Он влюбился, ему не до нее и даже теперь будет неприятно с нею встречаться, — заметил он, — это и к лучшему, он будет играть.

Полковница Усова, получавшая процент с выигрыша, ничего не имела против изменившихся вкусов молодого человека, тем более, что ей все равно было: тем или другим спосо-



бом получать прибыль.

Белокурая Клодина была бесцеремонно удалена и более не появлялась в гостиных Капитолины Андреевны.

Между тем молодая девушка действительно серьезно привязалась к Ивану Корнильевичу и заскучала в разлуке с ним, но женская гордость не позволяла ей искать свидания со своим бывшим обожателем.

К тому же над бедной девушкой разразилась вскоре и другая беда, а именно, ее мать умерла от разрыва сердца.

Клавдия Васильевна осталась одна.

За несколько дней до рокового открытия, сделанного Иваном Корнильевичем Алфимовым, что любимая девушка любит другого и, несмотря на обвинения этого другого в позорном преступлении, остается верна своему чувству, в другом конце Петербурга, на дальней окраине Васильевского острова происходило начало эпилога драмы, действующим лицом которого явилась действительно полюбившая молодого Алфимова девушка.

В доме самого отталкивающего, запущенного вида, в комнате, способной внушить от-

вращение самому невзыскательному человеку, сидели у окна и оживленно беседовали две женщины уже не первой молодости.

Одна из них по неряшеству вполне подходила к окружающей обстановке.

Другая, казавшаяся гостьей, напротив, была одета очень роскошно, хотя пестро и безвкусно.

— Ну, что? Как дела? — спрашивала гостья.

— Что? Разве вы меня не знаете, милая Матильда Карловна? Разумеется, я устроила все великолепно. Бросилась она после смерти матери — ведь ни синь пороха не получила от нее, незаконная — работы искать и нашла было — сидит день и ночь, не разгибаясь! Ну, заработает на дневное пропитание и довольна. Нет, думаю, ты из таких натур, как я на тебя посмотрю, которых не уломаешь, пока у них хоть одна корка черствого хлеба есть! С тобою по иному надо. Выждала, пока она во второй раз кончила работу, да и говорю: «Вы устали? Давайте, я отнесу, мне по дороге». Она согласилась, даже еще благодарить принялась. Ну, а я — не будь плоха — взяла ее работу да хорошенько поизмяла, перепачкала,

перепортила и отнесла в магазин. Там просто на дыбы встали! Пришла она к ним на другой день за работой, а они ее выгнали... Теперь носится по всему городу, работы ищет! Со всем до крайности дошла!

— Молодец вы, Мила Ивановна! Умная женщина!

— Ну, да за ум, да за расторопность и деньги берутся... Вы, милая Матильда Карловна, так и знайте, что за эту я дешевле ста рублей не возьму.

— Да побойтесь вы Бога! Ведь мне же ее везти надо, одеть.

— Ну, как знаете. Да вот и она! Даете сто?

— Дам, дам!.. Вот...

Вошла Клавдия Васильевна. Она была худая, бледна и печальна, но все еще очень хороша.

— Ну, что, нашли работу? — спросила ее Мила Ивановна.

— Нет, — отвечала она грустно. — Вы уж повремените... Завтра я наверно достану работу и через несколько дней с вами расплачусь.

— Полноте вам горевать! — добродушно

заговорила Мила Ивановна. — Вот эта госпожа хочет взять вас к себе в Москву на постоянное место и жалованье положить хорошее и обещает, что если будут вами довольны, то и мне за вас уплатит.

— Я очень рада, — воскликнула молодая девушка. — Поверьте, вы мною будете довольны. Работать я умею и люблю. Но что же мне придется у вас делать?

— Видите ли, — отвечала Матильда Карловна, несколько смущенно, — я содержу нечто, вроде ресторана... У меня бывает много господ... Так вот, вам придется с несколькими другими девицами присматривать за порядком, прислуживать...

— Едва ли я могу, — проговорила печально Клавдия Васильевна. — Для этого нужны и ловкость и уменье...

— О, все это приобретется весьма быстро при самом деле, — возразила Матильда Карловна. — Так поедемте сейчас ко мне в гостиницу... Вы после хлопот, вероятно, голодны, покушаем, и вечером же со скорым поездом умчимся в Москву.

На другой день скорый поезд примчал их в

Москву.

Был двенадцатый час утра, когда Матильда Карловна с Клавдией Васильевной ехали по неизвестным последней улицам Белокаменной.

На этих улицах господствовало оживление, сновали пешеходы, обгоняли друг друга экипажи.

Но когда пролетка, на которой они ехали, повернула в один из переулков, находящихся между Грачевкой и Сретенкой, Клавдию Васильевну поразило какое-то вдруг сменившее жизнь большого города запустение.

В переулке не было ни души.

В одноэтажных и двухэтажных домах, большею частью деревянных, в нижних этажах закрыты были ставни, а в верхних опущены шторы.

Изредка из некоторых окон как бы всполошенные звуками колес единственного въехавшего экипажа повысунулись женские фигуры в растрепанных прическах, с помятыми лицами и сонными глазами.

Иные были в ночных кофтах, а иные в еще более откровенных костюмах.

Все это очень поразило молодую девушку.

Пролетка остановилась по указанию Матильды Карловны у одного из двухэтажных домов.

Дом был каменный, с вычурными украшениями из алебастра и с выдающимся подъездом, с зонта которого спускался большой фонарь с разноцветными стеклами.

Заспанный лакей в одной жилетке отворил на звонок Матильды Карловны дверь.

Она с Клавдией Васильевной прошла на второй этаж и провела ее в отдельную, хорошо убранную комнату.

— Вот здесь вы и поселитесь, — сказала она. — Сегодня выходить на работу вам не нужно. Лучше отдохните, я сейчас вам пришлю кофе и завтрак.

Вскоре после ее ухода к Клавдии Васильевне вошла прехорошенькая и пресимпатичная брюнетка и принесла кофе и очень вкусный завтрак.

Девушки разговорились.

Клодина передала ей свою печальную историю.

— Ну, теперь все это миновало для вас раз

навсегда, — утешала ее новая подруга. — Здесь житье привольное, — ешь, спи, наряжайся, а каждый вечер музыка, гости... А чтобы вам легче было привыкать, я вам сразу найду такого поклонника, который озолотит вас.

— Ах, что вы мне такое говорите... Мне этого вовсе не нужно... Я хочу делать свое дело... служить... работать...

— Эх, вы, горемычная! — продолжала брюнетка не то с жалостью, не то с презрением. — Ничего, я вижу, вы здешнего не понимаете. Ну, да ложитесь спать с дороги, — сказала она, увидав, что молодая девушка окончила завтрак и уже выпила кофе. — Вечером я зайду, там будет видно.

Постель была роскошна. В пружинном матраце она, как показалось ей, утонула. Свежесть постельного белья, пропитанного духами, приятно щекотало нервы.

Молодая девушка вскоре заснула, как убитая.

Спала она долго.

Когда она проснулась, в комнате было уже темно, а снизу слышалась музыка и какой-то

неясный шум. Кто-то играл на фортепиано с аккомпаниментом скрипки.

В комнату вошла та же самая брюнетка со свечою в руках, одетая по-бальному. В этом костюме ее красота выделялась еще более.

Клавдия Васильевна положительно загляделась на нее.

Вслед за брюнеткой явилась горничная. Небрежно поклонившись сидевшей на кровати Клавдии, она зажгла розовый фонарь, висевший в комнате, и свечи у изящного туалета.

— Ну, что, отдохнули? — спросила брюнетка.

— Совершенно... Я, кажется, спала очень долго...

— Да, — улыбнулась брюнетка, — почти двенадцать часов, теперь уже двенадцатый час ночи...

— Что вы говорите?..

— Ничего... Здесь только с этого времени начинается работа... Если не хотите больше спать, давайте я помогу вам переодеться и спустимся вниз... Там уже собрались гости... Слышите, какой содом пошел... Вот и увидите



здешние порядки... Ведь и я была когда-то такая, как и вы...

— Хорошо, пойдемте... Спать я больше не хочу... — согласилась Клавдия Васильевна.

— Я сейчас вернусь, — сказала брюнетка и вышла.

## XV

### «НЕЧТО, ВРОДЕ РЕСТОРАНА»

Содержимое в Москве Матильдой Карловской учреждение, которое она скромно назвала Клавдии Ивановне «нечто, вроде ресторана», было одним из шикарных московских «веселых притонов».

Недаром еще со времен Грибоедова известно, что «на всем московском лежит особый отпечаток».

Сорок сороков церквей московских с их на все музыкальные тона звучащими колоколами, с их золотыми и пестрыми куполами, указывают на набожность коренного московского населения, и, действительно, полные всегда молящимися храмы Божии до сих пор удовлетворяют эту беспримерную для других русских городов набожность московских обывателей.

Но наряду с этим, сохранившимся почти с основания этого векового исторического города «древним благочестием», нигде также не умел и не умеет погулять народ, как в той же Москве. В ней во все времена давался простор широкой русской натуре, на ней всецело оправдалось изречение святого князя Владимира: «Руси есть веселие пити».

Так, повторяем, наряду с сохранившимся «древним московским благочестием», выросли в Москве богато украшенные «храмы греха», обжорства, пьянства и разгула. В них всецело проявлялась московская широкая натура, не знающая пределов своим желаниям и удержу при гульбе.

Ряд улиц, целый квартал, выражаясь прежним полицейским языком деления города, отведен в Москве для ночного разгула.

Днем эта местность погружена в сон, и лишь с вечерними огнями начинается в ней жизнь, та жизнь, которая боится дневного света, солнца, этой эмблемы добродетели.

В этой-то местности и находилось «нечто, вроде ресторана» Матильды Карловны.

Через несколько минут новая подруга

Клавдии Васильевны вернулась с платьем и начала преобразовывать молодую девушку в нарядно, но слишком смело одетую барышню.

За этим занятием их застала вошедшая хозяйка.

— Ну, вот и хорошо, ну, вот и отлично! — ласково заговорила она. — Люблю людей, которые с охотой берутся за дело!.. Жаль только, что лиф у тебя маловато вырезан. Ну, да ничего, зато руки у тебя прелестны, шея и грудь.

Это рассматривание ее фигуры, будто бы она была лошадь, до глубины души оскорбляло Клавдию Васильевну, но она, скрепя сердце, покорилась и была очень рада, когда Матильда Карловна, окончив оценку, повела ее вниз.

Обстановка нижних комнат, по некоторым из которых Клавдия Васильевна проходила утром по приезде, совершенно изменилась теперь, и молодая девушка была поражена богатством и роскошью, бьющими ей в глаза.

Целые снопы газового света лились со всех сторон и освещали анфилады больших и блестящих золотой мебелью, громадными зерка-

лами и пестрыми коврами комнат.

На стенах, оклеенных дорогими обоями, и в некоторых комнатах, обитых шелковой материей, висели картины, заставившие молодую девушку опустить глаза.

Женское голое тело, искусно освещенное, так и било в глаза со стен.

Средняя комната с прекрасно вылощенным паркетом была больше всех.

По стене стояли маленькие золоченые стулья, между которыми там и сям находились мраморные столики на золоченых ножках.

В широких простенках шести окон висели громадные зеркала в золоченых рамах, а в углу стоял великолепный рояль, на котором играл какой-то господин, а за его стулом стоял другой, со скрипкой.

Десятка два таких же, как Клавдия Васильевна, нарядно и откровенно одетых девиц сидели у столиков или ходили парочками по залу.

Было в зале несколько мужчин.

Стоял невообразимый гул голосов, шел оживленный разговор, но не общий, а в отдельных группах, и сразу ничего нельзя было

понять, так как слышались всевозможные языки: французский, немецкий, польский, итальянский, словом, происходило нечто, напоминающее в миниатюре вавилонское столпотворение.

— Новенькая, новенькая... — пронесся по залу шепот, а Матильда Карловна, слегка подтолкнув под локоть Клодину, втокнула ее в оживленную особенно группу девушек и мужчин, а сама удалилась в маленькую гостиную, смежную с залой, и важно уселась в кресло с каким-то вязаньем в руках.

Не прошло и десяти минут, как молодая девушка выбежала из толпы, как обожженная, и бросилась бежать по анфиладам комнат наверх.

Очутившись в отведенной ей комнате, она бросилась в постель и зарыдала, но тотчас быстро вскочила и направилась к двери.

— Это куда? — грубо окликнула ее, столкнувшись с нею на пороге, Матильда Карловна. — Никак бежать? Ловко! Это в моей-то хорошей одежде! Нет, ты мне прежде заплати за то, что ты пила, ела, да и платье надевала...

Клавдия Васильевна стояла перед ней, как

приговоренная к смерти, и молчала.

Углы ее губ нервно подергивались.

— Скажите пожалуйста, — продолжала между тем Матильда Карловна, — чуть под забором с голоду не умерла, а туда же... да вздор все это!.. Сейчас же ступай вниз! Тебя гости ждут! Слышишь ты?..

Молодая девушка бессмысленно смотрела на нее пылающими, но сухими глазами.

— Слышишь ты? — повторила Матильда Карловна и схватила ее за руку.

Клавдия Васильевна с силою рванулась от нее и вскрикнула.

— Ишь ты какая!..

Бог весть, что было бы с ней, если бы за нее не вступилась прибежавшая на крик брюнетка.

— Оставьте ее, мадам! — сказала она. — Пусть она привыкнет, поодумается, завтра ей легче будет. Ведь и со мной то же было.

Матильда Карловна поворчала несколько минут, но потом, махнув рукой, ушла вскоре вместе с брюнеткой.

Клавдия Васильевна мгновенно переоделась в свое собственное платье, тихо про-

скользнула по лестнице в самый низ и очутилась в сенях подъезда.

В это время швейцар впускал новую оживленную компанию гостей.

Молодая девушка воспользовалась этой суматохой и отбежала уже далеко от ужасного дома прежде, чем швейцар успел сообразить, в чем дело.

Достойный и верный слуга Матильды Карловны тотчас же погнался за ее несчастною жертвою.

— Помогите! Спасите! — кричала Клавдия Васильевна, видя, что он ее настигает.

Но люди, проходившие в это время по переулку, слишком заняты были мыслью о предстоящих удовольствиях.

— Эге! Одна убегает! — смеясь, говорили они.

— Ничего, потом привыкнет, — умозаключили другие.

Выбежав из переулка и не видя другого спасения, молодая девушка бросилась в ворота первого дома, шмыгнула в первую дверь и по лестнице побежала наверх.

Через несколько минут она была уже на

чердаке трехэтажного дома.

На чердаке было совершенно темно, и только после нескольких минут пребывания там глаза привыкли к окружающему мраку, и несчастная девушка различала полосы еле пробивавшегося света, отражаемого уличными фонарями.

В первую минуту Клавдия Васильевна облегченно вздохнула полной грудью, сочтя себя в безопасности от преследования грозного швейцара своеобразного ресторана.

Но это сравнительное спокойствие было непродолжительным.

До чуткого уха все еще бывшей настороже молодой девушки донеслись звуки нескольких человеческих голосов со двора.

Видимо, швейцар видел, куда она скрылась, и призывал на помощь дворников дома.

Клавдия Васильевна пошла, или лучше сказать, поползла, так как приходилось идти в некоторых местах на четвереньках, на одну из полос света.

Вскоре она очутилась у слухового окна, выходящего на улицу. Небольшое усилие со стороны молодой девушки, и одиночная рама



слухового окна подалась и отворилась.

Теперь ей были ясны доносившиеся от ворот двора крики.

— Сюда прошмыгнула, сюда! — кричал грубый голос.

Клавдия Васильевна догадалась, что этот голос принадлежит преследовавшему ее швейцару.

— Иди ты к лешему! На ночь глядя увидел ты, куда кто прошмыгнул. Может, тебе с пьяных глаз померещилось.

— Говорю тебе, перед самым моим носом прошмыгнула, еще минута, и я бы ее за шиворот схватил.

— Да что, она у тебя украла что ли что?..

— Ничего не украла. Сбежала...

— От кого?

— От Матильды Карловны.

— И поделом крашеной кукле. Так зачем же она сюда побежит, сбежала если, так дала стрекача к воздахтору, обыкновенное дело... — продолжал убеждать швейцара другой сиплый голос.

— Какой такой воздахтор. Она не здешняя.

— Ну...

— Сегодня по утрам мадам из Питера привезла.

— Проворонили. Что же за такой заморской птицей плохо глядели...

— Между рук из подъезда выскользнула, — продолжал сетовать швейцар. — Да ты не зубоскаль и не прохлаждайся, — вдруг переменял он тон. — Поискать надо. Магарыч получишь. Матильда Карловна не постоит. Да я завтра утречком пива поставлю. Потому, мне беда, я в ответе. Будь миляга, душевный ты человек, отец-благодетель...

— Так пару пива? Сейчас фонарь зажгу. Пошукаем на дворе. Выхода нет.

— Я здесь посторожу...

— Ладно, а я фонарь зажгу, подручного кликну, он у ворот постоит, и мы вместе пошукаем.

— Будь милый человек...

— Коли же на дворе нет, может, на чердак стреканула, у нас дверь открыта, просто...

Это донесшееся до Клавдии Васильевны изображение дворника заставило ее вздрогнуть и присесть на пол у самого слухового окна.

Ей казалось, что ее сейчас увидят с улицы.

Вся дрожа от страха, без мысли в голове сидела она на корточках, продолжая чутко прислушиваться к происходившему внизу.

Прошло, как показалось, по крайней мере, ей, очень много времени.

На дворе продолжали раздаваться голоса, которых было уже несколько.

Но чу! Тяжелые шаги раздались на лестнице, ведущей в ее убежище — чердак.

Через несколько минут в нем появилась бородатая фигура дворника с фонарем в руках, а за ним шел ее преследователь, швейцар.

Вне себя от страха, Клавдия Васильевна распахнула окно, быстро юркнула в него и, скатившись по крутой железной крыше, полетела на мостовую.

— Ишь, подлая, выбросилась! — мог только ахнуть швейцар, когда снизу донеслось до него и дворника падение чего-то тяжелого и нечеловеческий крик.

Крик раздался один раз, а затем все смолкло. Собралась мгновенно толпа прохожих, явилась полиция.

У упавшей девушки оказался разбитым че-

реп.

Она была мертва.

Труп был уложен на извозчика и отвезен в мертвецкую ближайшей полицейской части.

Дворник дома быстро затушил фонарь и вместе со швейцаром Матильды Карловны вышел за ворота и смешался с толпою любопытных.

Швейцар вскоре незаметно удалился к своему посту.

## XVI СТАРАЯ ГАЗЕТА

«Однако же и умница этот Савин! Приятно иметь дело с таким человеком!» — думал граф Сигизмунд Владиславович, занимаясь своим туалетом и решив, действительно, в этот же день открыть глаза старику Алфимову и спасти кассира Сиротинина.

«Какой, поистине, гениальный план он придумал... Оказать услугу старику, сделать самостоятельным сына и обоим иметь в руках, да к тому же оказать услугу человеку, который, ох, как может повредить мне... Это великолепно!»

Граф прыснул на себя духами из малень-

кого пульверизатора, бросая последний взгляд на себя в зеркало, и, приказав находившемуся тут же, в его спальне, лакею подать себе шляпу и перчатки, вышел через кабинет и залу в переднюю.

— Экипаж подан?

— Так точно, ваше сиятельство!

Граф Стоцкий вышел, спустился с лестницы, сел в карету и крикнул кучеру:

— На Невский, в контору Алфимова.

Через какие-нибудь четверть часа карета остановилась у банкирской конторы.

Прежде всего Сигизмунд Владиславович зашел в помещение кассы к молодому Алфимову.

Иван Корнильевич не заметил вошедшего к нему графа Стоцкого.

Он сидел над полу разорванной и смятой газетой и, казалось, впился глазами в печатные строки.

— Жан, что с тобой? — должен был дотронуться до его плеча граф Сигизмунд Владиславович.

Молодой человек вздрогнул.

— А! Что?! Это ты, Сигизмунд... На, читай,

это ужасно!

— Что такое?

— Ведь ты говорил мне совсем не то...

— Да скажи толком, ничего не понимаю...

— Читай...

Граф Стоцкий был до того поражен видом молодого Алфимова, что сразу и не обратил внимания, что он совал ему в руки разорванную газету.

Он и теперь, взяв ее из рук Ивана Корнильевича, продолжал смотреть только на него.

Смертная бледность молодого человека сменилась легкою краской, глаза его вдруг замигали и наполнились слезами.

— Ты плачешь... Над старой газетой... Чудно!..

— Прочти, это ужасно... Несчастливая...

— Кто?

— Прочти...

Граф Сигизмунд Владиславович перевел глаза на газету. Она оказалась старым номером «Московского Листка», как можно было видеть из до половины оторванного заголовка.

— Откуда у тебя эта газета?

— Принесли завернутые деньги... Я случайно бросил взгляд и прочел... Да почти сам. Вот здесь...

Иван Корнильевич указал графу на довольно большую заметку под рубрикой «Московская жизнь», заглавие которой гласило: «Жертва веселого притона».

В заметке этой подробно и витиевато было рассказано о самоубийстве колпинской мещанки Клавдии Васильевны Дроздовой, бросившейся на мостовую с чердака дома на Грачевке и поднятой уже мертвой.

Причиной самоубийства выставлен обманный привоз молодой девушки в Москву из Петербурга содержательницей одного из московских веселых притонов под видом доставления места, побег молодой девушки, преследование со стороны швейцара притона, окончившееся роковым прыжком несчастной на острые камни мостовой.

Репортер придал заметке романтический колорит и описал в общих чертах внешность самоубийцы, назвав ее чрезвычайно хорошенькой, грациозной молодой девушкой.

«Вскрытие трупа обнаружило, — добавлял

он, — что покойная была безусловно честная, непорочная девушка. Против содержательницы веселого притона возбуждено судебное преследование».

Видно было, что, несмотря на то, что швейцар и дворник быстро ступшевались, полиция сумела напасть на след несчастной и заставила их быть разговорчивыми.

Граф Сигизмунд Владиславович невольно побледнел и задрожал во время чтения этой заметки.

— Это ужасно! — воскликнул он, бросив газету. — К сожалению, случается во всех столицах мира.

— Но ведь это Клодина... — перебил его с дрожью в голосе молодой Алфимов.

— Кто?

— Клодина... Белокурая Клодина, которая живет в Москве и которой ты переводишь от меня деньги, чтобы, как ты говоришь, избежать с ее стороны скандала...

Граф Стоцкий уже настолько умел совладать с собой, что неподдельно расхохотался.

— Ты с ума сошел... Клодина и... эта несчастная честная девушка.



Граф продолжал неудержимо хохотать.

— Чего же ты хохочешь?.. Разве это не она?.. Клавдия Васильевна Дроздова из Петербурга... Конечно же она...

— Ой, перестань, не мори ты меня окончательно со смеху... — не переставая хохотать, проговорил граф Сигизмунд Владиславович.

— Я ничего не понимаю...

— Вот с этим я с тобой совершенно согласен, — перестав смеяться, заметил граф Стоцкий.

Иван Корнильевич смотрел на него широко открытыми глазами.

— Ты должен благодарить Бога, что я хохочу, так как я мог бы на тебя серьезно рассердиться. Ведь вывод из всего того, что ты мне здесь нагородил, один... Это то, что я тебя обманул и обманываю, что я клал и кладу в карман те деньги, которые брал и беру для пересылки твоей любовнице.

— Она не была моей любовницей.

— Толкуй больной с подлекарем.

— Клянусь тебе!

— Это безразлично и ничуть не изменяет дела, ну, женщина, которая выдает себя за

твою любовницу. Значит, я у тебя крал эти деньги.

— Я этого не говорил, — смутился молодой Алфимов.

— То есть, ты не сказал мне прямо в глаза, что я вор, но сказал это, заявив, что несчастная девушка, окончившая так печально свою молодую жизнь в Москве, и твоя Клодина одно и то же лицо...

— Меня поразило совпадение имени, отчества и фамилии.

— Какие такие у них имена, отчества и фамилии, у крестьян и мещан... Дроздовых в России тысячи, среди них найдутся сотни Васильев, у десятка из которых дочери Клавдии... Я сам знал одну крестьянскую семью, где было семь сыновей и все Ивановы, а по отцу Степановичи, по прозвищу Куликовы. Вот тебе и твое совпадение. Поройся-ка в адресном столе, может, в Петербурге найдешь несколько Иванов Корнильевичей Алфимовых, а по всей России сыщешь их, наверное, десяток...

— Благодарю тебя, ты меня успокоил, значит, это не она... — сказал молодой Алфимов, не поняв или не захотев понять намек своего

сиятельного друга на его плебейское происхождение.

— Конечно же, не она... Успокойся, жива она тебе на радость... Можешь даже взять ее в супруги.

— Оставь шутки...

— Впрочем, виноват, опоздал... По моим последним сведениям, она из Москвы уехала с каким-то греком в Одессу и жуирует там... Сына же твоего...

— Какого моего сына? — вскрикнул Иван Корнильевич.

— Ну, все равно, ребенка, которого она выдает за твоего, она оставила в Москве, в одном семействе, на воспитании.

— Вот как!

— А то видишь ли... Будет она тебе бросаться с крыши, чтобы сохранить свою честь... Не тому она училась у нашей полковницы.

— Ты прав, а я не сообразил... О, сколько я пережил страшных минут...

— Глуп ты, молод, поэтому-то я над тобой расхохотался и ничуть на тебя не обиделся...

— Прости, Сигизмунд... — пожал ему руку

Иван Корнильевич.

— Полно, в другой раз только не глупи...  
Ну, что твое дело с Дубянской?

Молодой Алфимов сделал отчаянный жест рукой.

— Все кончено!.. Она оттолкнула меня, как скоро оттолкнут и все...

— Уж и все...

— Ведь недочет в кассе снова откроется.

— Мой совет тебе — выделиться.

— То есть как выделиться?

— Потребовать от отца свой капитал, и шабаш...

— Это невозможно!

— Но ты сам говоришь, что долго скрывать недочета будет нельзя... И, кроме того, знаешь русскую поговорку: «Как веревку не вить, а все концу быть».

— Так-то так... Но я на это не решусь...  
Будь, что будет... Авось...

— Ну, как знаешь...

В это время у окошка кассы появились посторонние лица.

Иван Корнильевич занялся с ними.

Граф Сигизмунд Владиславович вышел из

кассы и отправился в кабинет «самого», как звали в конторе Корнилия Потаповича Алфимова.

— А, вашему сиятельству поклон и почтение... — весело встретил старик Алфимов графа Стоцкого. — Садитесь, гостем будете.

— Здравствуйте, здравствуйте, почтеннейший Корнилий Потапович, — сказал, усаживаясь в кресло, граф Сигизмунд Владиславович.

— А вечерок-то у нашей почтеннейшей Капитолины Андреевны не удался...

— То есть как не удался?

— Верочка-то оказалась барышней с духом, да с характерцем...

— Н-да... Но ведь это достоинство...

— Как для кого, для вас, молодых, жаждущих победить, пожалуй, ну, а для нас, стариков, которая покорливее, та и лучше...

— Пустяки, для вас не может быть непокорных... У вас в руках современная сила — золото...

— Мало из молоденьких-то это понимают... — усмехнулся Корнилий Потапович.

— А мать-то на что... Внушить...

— Так-то оно так... А все же, как она вчера к этому молодцу прильнула, водой не разольешь... Кто это такой?.. В первый раз его видел...

— Это Савин... Мой хороший друг...

— Савин... Савин... Это самозванец?..

— Да, пожалуй... Современный, если хотите...

— Позвольте, позвольте... Припоминаю...

И перед стариком Алфимовым пронеслись картины прошлого, он вспомнил «крашеную куклу» — Аркадия Александровича Колесина, Мардарьева, его жену, разорванный вексель и нажитые на этом векселе и на хлопотах о высылке Савина из Петербурга деньги.

Он не знал Николая Герасимовича, и Николай Герасимович не знал его.

Неужели теперь он, как бы в возмездие за сделанное ему зло, отобьет от него Веру Семеновну Усову, от которой старик пришел вчера положительно в телячий восторг?

— Так это Савин?..

— Да, Савин...

— Он ей голову как раз свернет...

— Едва ли... Мать зорка, не допустит...

— Что мать с девкой подделает, как взбесится... А хороша! Славный, преаппетитный кусочек...

— Что говорить, султанский...

— Султанский, это правильно...

У старика у углов губ показались даже слюнки.

Графу Сигизмунду Владиславовичу даже стало противно.

Он переменял разговор.

— Что с вашим Иваном? — спросил граф.

— А что?..

— Точно его кто в воду за последнее время опустил, я сегодня был у него, сидит, точно его завтра вешать собираются...

— Уж не говорите... Сам вижу, как малый сохнет; уж я пытал его, не влюблен ли?..

— Что же он?

— Говорит, нет... Может вам, ваше сиятельство, по дружбе проговорился.

— Я-то знаю, да не то это...

— Знаете... В кого же?

— В Дубянскую он влюблен, в Елизавету Петровну...

— Она кто же такая?

— Бывшая компаньонка Селезневой.

— А... Так ее фамилия Дубянская...

— Да...

— Дубянская... Дубянская... А ее мать, урожденная она не Алфимовская?..

— Уж этого я не знаю, — удивленно вскинул на него глаза граф Стоцкий.

— Так, так, это разузнать надо, — как бы про себя пробормотал старик. — Что же, если она хорошая девушка, я не прочь, — сказал он графу.

— Да она-то прочь...

— С чего это? Кажись, Иван тоже красивый парень, богат и сам, и мой наследник...

— Не тем тут пахнет!.. Влюблена она...

— Блажь...

— То-то, что не блажь... Жених у ней...

— Это другое дело... Богатый?

— Нет, не богат, да к тому же теперь он в тюрьме...

— Кто в тюрьме?

— Жених ее.

— Хорошего гуся подстрелила... Острожника, — презрительно заметил Корнилий Потапович.



— Ведь не все виновные в тюрьму попадают...

— Толкуй там...

— Верно, чай, знаете поговорку: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».

— Кто же он?

— Ваш бывший кассир, Сиротинин.

Корнилий Потапович вытаращил глаза, растопырил руки и так и остался у своего стола, вопросительно глядя на графа Сигизмунда Владиславовича.

## XVII ОТКЛИКИ ПРОШЛОГО

— Сиротинин? — после довольно продолжительной паузы спросил старик Алфимов.

— Да, Сиротинин...

— К чему же вы, ваше сиятельство, прибавили, что в тюрьме сидят и невинные люди... Это вы, значит, о Сиротинине?..

— Может быть, и о нем...

Корнилий Потапович побледнел.

— Так не шутят...

— Я и не шучу... Но дайте мне слово, что все, что скажу вам, останется между нами.

— Извольте, даю.

— Я буду говорить с вами, как друг...

— Я вас давно считаю сам своим другом...

— И надеюсь, эта дружба не без доказательств. История с Ольгой Ивановной поставила меня во внутреннюю борьбу между моим другом графом Петром и вами, и вы знаете, что я в этом деле на вашей стороне...

— Знаю, знаю, — смутился старик, — и я не буду неблагодарен.

— Не об этом речь... Теперь эта история всплыла снова... Графиня, ваша дочь, откуда-то узнала, что проделал ее муж с ее подружкой, семейное счастье графа разрушено... Я мог одним моим словом восстановить его и...

Граф Сигизмунд Владиславович остановился.

— И вы?.. — с дрожью в голосе спросил Корнилий Потапович.

— И я не сказал этого слова...

— Благодарю вас... — облегченно вздохнул старик Алфимов.

— В настоящее время я попал опять в тяжелую борьбу с самим собою... Я друг вашего сына, и вместе с тем, ваш друг...

— Моего сына?.. — вопросительно повтори Корнилий Потапович.

— Дружба к нему обязывает меня молчать, дружба к вам обязывает меня говорить... Я снова доказываю вам искренность моей дружбы и... скажу... Но я не желаю, чтобы ваш сын считал меня предателем, потому-то я и требую сохранения полной тайны...

— Да, поверьте мне, что я в этом случае буду могилой...

— Верю...

— Он грустен и ходит, как приговоренный к смерти. Причиной этого не одна несчастная любовь. В наше время от этого не вешают долго носа.

— Какая же причина?

— Он за последнее время, несмотря на мои советы, ведет большую игру, проигрывает по несколько тысяч за вечер; одна особа тут, кроме того, стоит ему дорого... У него много долгов, за которые он платит страшные проценты... У него есть свое состояние, но если так пойдет дело, то я боюсь и за ваше.

— Что вы хотите сказать?..

— Ревизия кассы показала вам сорок ты-

сяч недочета, — продолжал граф Стоцкий, не обратив внимания на вопрос Корнилия Потаповича.

— Так вы думаете?.. — вскочил старик, задыхаясь, но снова сел.

— Я ничего не думаю, я только напоминаю вам факты... Теперь он заведует кассой один?

— Один... — упавшим голосом сказал старик.

— Так вот, если вы теперь неожиданно ревизуете кассу, то снова откроется недочет и еще более значительный...

— Что вы говорите!.. Значит Сиротинин — жених Дубянской — страдает невинно... Боже великий!..

— Проверьте кассу — более ничего я не могу вам сказать... Но главное, что это умрет между нами... Помните, вы дали слово.

— О, конечно, конечно... Но Боже великий! Это возмездие...

Граф Сигизмунд Владиславович простился с Корнилием Потаповичем и вышел.

До выхода из конторы он зашел к Ивану Корнильевичу.

— Что отец? — спросил тот. — Ты был у

него?

— Он что-то очень мрачен...

— С чего бы это? Утром он был в духе.

— Уж не знаю... Будешь сегодня у Гемпеля?

— Не знаю.

— Прощай... Сегодня будет интересная и большая игра.

— Мне за последнее время чертовски не везет.

— У вас с шурином одна напасть... Очень вас любят бабы...

— Только не меня...

— Рассказывай... Так приезжай.

— Хорошо, приеду...

Граф Стоцкий вышел, сел в экипаж и велел ехать кучеру к Кюба.

«Ну, заварил кашу... Авось буду устами Савина мед пить».

Корнилий Потапович Алфимов сидел между тем в своем кабинете, облокотившись обеими руками на стол и опустив на них голову.

Он думал тяжелую думу.

Перед ним проносилось его далекое темное прошлое.

Созерцая эти картины, он иногда вдруг

вздрагивал всем телом, как бы от физической боли.

— Дубянская... Дубянская... — повторял он. — Несомненно, она их дочь. Елизавета Петровна... Да, его звали Петром.

Он вспомнил своего барина Анатолия Викторовича Алфимовского и его красавицу-дочь Татьяну Анатольевну.

Вспомнил Алфимов, как вместе с этим баринном, ровесником ему по летам, неутешным вдовцом после молодой жены, он вырастил эту дочь, боготворимую отцом.

Он, будучи крепостным, вырос с баринном вместе, был товарищем его игр и скорее другом, нежели слугою.

Припомнилось ему, как расцветала и расцвела Татьяна Анатольевна и вдруг исчезла из родительского дома, захватив из шифоньерки отца сто пятнадцать тысяч.

Отец, ослепленный любовью к дочери, не замечал домашнего романа с приходящим учителем Петром Сергеевичем Дубянским, окончившийся бегством влюбленной парочки, но зоркий Корнилий, тогда еще не Потапович, следил за влюбленными.

Он погнался за ними, догнал их на одной из ближайших станций от Петербурга и под угрозой воротить дочь отцу и предать суду учителя, отобрал капитал, оставив влюбленным пятнадцать тысяч, с которыми они и уехали за границу, где и обвенчались...

Старик Алфимов вздрогнул.

Он вспомнил вынесенную им борьбу с искушением, отдать ли отцу отобранные деньги или не отдавать.

Грех попутал его — он не отдал денег, и они послужили основой его настоящего колоссального богатства.

Вернувшись в Петербург, он передал своему барину-другу о бегстве его дочери с учителем и неудачной будто бы погоне за ними его, Корнилия.

Барин умер после двухкратно, одного за другим повторившегося удара.

После его смерти в его письменном столе нашли вольную на имя Корнилия.

Корнилий, уже сделавшийся Корнилием Потаповичем, стал свободным человеком и богачем.

До него доходили слухи и о беглецах.

Он слышал, что Дубянский выиграл в рулетку целый капитал, на который купил имение под Петербургом, да кроме того дочь получила наследство от отца, шестьдесят тысяч, не взятых ею из шифоньерки, и два имения.

Выигрыш в рулетку погубил Петра Сергеевича Дубянского.

Он пристрастился к игре и в конце концов проиграл и свой выигрыш, и состояние жены, которая умерла в чахотке.

Он решил кончить жизнь самоубийством, обобранный и обыгранный окончательно шулером Алферовым, который недавно судился и был оправдан присяжными заседателями.

Дубянская Елизавета Петровна, несомненно, дочь Петра Сергеевича Дубянского и дочери его, Корнилия Потаповича, барина-друга.

Все это разом пришло на ум старику Алфимову, который в водовороте светской и деловой жизни как-то и не думал о прошлом и пропускал мимо ушей доходившие до него известия.

Теперь лишь он, сгруппировав их вместе, понял всю подавляющую душу связь настоящего с прошедшим.



Он украл капитал у дочери своего барина, оставив ее с мужем почти без средств, вследствие чего, быть может, Дубянский попытался игрой составить себе состояние, но, как всегда бывает с игроками, игра, обогатив его вначале, в конце концов погубила его жену, самого его и сделала то, что его дочь принуждена была жить в чужих людях.

Сын его жены, Иван Корнильевич, влюбленный в эту девушку и сам растративший деньги, сваливает, умышленно отдавая ключ кассиру Сиротину, вину на него, жениха Елизаветы Петровны Дубянской.

Все это представляет такую непроницаемую сеть жизни!

«Надо расчесться со старым долгом... На душе будет легче... — решил Корнилий Потапович. — Куда беречь, к чему?.. Хватит на все и на всех... По завещанию откажу все Надежде, та тоже будет в конце концов нищая... Ее муж игрок...»

«И Иван игрок...» — припомнился ему только что происходивший разговор с графом Стоцким.

«Да и этот-то не лучше их... Все одна шай-

ка... Но граф мне нужен... Он много знает... Он опасен. А этот Савин. Ведь это тоже связь с прошлым... Это возмездие...» — неслось в голове старика Алфимова.

Но решение рассчитаться со старым долгом как будто облегчило его душу.

Он поднял голову и даже стал просматривать лежащие по столу бумаги.

«Я отправлю его на несколько дней в Варшаву, благо есть дело, и проверю кассу без него... Если, действительно, там недостача, я знаю, что делать».

Внутренний голос говорил ему, что нечего сомневаться в том, что растратил не Сиротинин, а его сын Иван.

Корнилий Потапович позвонил.

— Попросите ко мне Ивана Корнильевича... — приказал он явившемуся служителю.

Через несколько минут молодой Алфимов вошел в кабинет Корнилия Потаповича.

Старик пристально через очки посмотрел на него.

Молодой человек имел чрезвычайно расстроенный вид и, видимо, не мог скрыть, при всех производимых над собой усилиях, своего

смущения.

То, что за час перед этим казалось для старика Алфимова загадкой, теперь только явилось подтверждением страшных подозрений.

— Вы меня звали?..

— Да... Садись, дело есть...

Иван Корнильевич сел.

— У нас все благополучно?.. — вдруг спросил его Корнилий Потапович.

— Кажется... все... благополучно... — заикаясь, ответил не ожидавший или, быть может, очень ожидавший этого вопроса молодой Алфимов.

— Разве может в денежных делах казаться... — деланно шутливо заметил Корнилий Потапович, — ты еще сам капиталист, горе ты, а не капиталист...

Молодой человек вздохнул несколько свободнее.

— Все благополучно, — отвечал он уже совершенно твердо.

— Благополучно, так благополучно, и слава Богу... Тебе надо будет сегодня вечером уехать.

— Куда?.. — побледнел снова Иван Корни-

льевич.

— В Варшаву, на несколько дней... Надо переговорить и столкнуться вот по этому делу...

Корнилий Потапович взял со стола бумагу и подал Ивану Корнильевичу.

— А как же... касса?.. — с трудом произнес он, взяв бумагу.

— Касса, что касса?.. Касса останется кассой... Артельщик под моим наблюдением будет вести эти несколько дней ежедневные расчеты...

— Прикажете сдать?..

— За сегодняшний день сделаем обыкновенную дневную проверку... Не ревизовать же тебя... Ведь ты сам хозяин, не наемный кассир, не Сиротинин...

Иван Корнильевич вздрогнул.

Это, как и все его смущение, не ускользнуло от зоркого глаза Корнилия Потаповича.

Ему теперь не надо было и ревизии.

Он знал заранее, что найдет в кассе в отсутствие сына.

Не знал только суммы недочета, но сумма в этом случае была безразлична.

Не надо думать, что происходило это безразличное отношение к сумме со стороны старика Алфимова в силу перевеса нравственных соображений, — нет, он даже теперь, решившийся расквитаться со старыми долгами, далеко не был таким человеком.

Не надо забывать, что у Ивана Корнильевича в деле был свой капитал, и Корнилий Потапович был уверен, что недочет, и прошлый, и настоящий, не превысит его, такой недочет не мог бы остаться незамеченным им.

Значит, деньги Корнилия Потаповича были целы.

Что же касается до решения сквитаться со старыми долгами, то взятые им у дочери своего барина сто тысяч рублей, принадлежащие по праву Елизавете Петровне Дубянской, даже со всеми процентами составляли небольшую сумму для богача Алфимова, и душевное спокойствие, которое делается необходимым самому жестокому и бессердечному человеку под старость, купленное этой суммой, составило для Корнилия Потаповича сравнительно недорогое удовольствие.

Он имел возможность себе его доставить.

— Так сегодня поезжай с курьерским... — сказал старик Алфимов.

— Слушаюсь-с.

Корнилий Потапович начал объяснять подробно суть поручения, даваемого им Ивану Корнильевичу, и давать некоторые советы, как вести себя и что говорить при тех или других оборотах дела.

Иван Корнильевич внимательно слушал.

Наконец старик кончил и взглянул на часы.

— Однако, мне пора по делу... Так сегодня, с курьерским...

— Слушаюсь-с.

Корнилий Потапович и Иван Корнильевич вдвоем вышли из кабинета.

Первый уехал из конторы, а второй вернулся в кассу.

## XXVIII ОЧНАЯ СТАВКА

**П**одозрения, высказанные графом Сигизмундом Владиславовичем и подтвердившиеся для Корнилия Потаповича при последней беседе с сыном, — оправдались.

При произведенной единолично стариком

Алфимовым во время отсутствия сына проверке кассы обнаружился недочет в семьдесят восемь тысяч рублей.

«Вовремя надоумил граф, спасибо ему...» — подумал Корнилий Потапович, окончив тщательную проверку и убедившись, что цифра недочета именно такая, ни больше, ни меньше.

«Ведь времени-то прошло со дня его заведывания всего ничего... Эдак он годика в два и себя, и меня бы в трубу выпустил... А теперь не беда... Пополню кассу из его денег... сто двадцать тысяч, значит, вычту, а остальные пусть получает, а затем вот Бог, а вот порог... На домашнего вора не напасешься...»

«Но нет, этого мало... — продолжал рассуждать сам с собою, сидя в кабинете после произведенной поверки кассы и посадив в нее артельщика, Корнилий Потапович, — надо его проучить, чтобы помнил...»

Он провел рукою по лбу, как бы сосредоточиваясь в мыслях. «Надо освободить и вознаградить Сиротинина...» Вдруг он вскочил и быстро, особенно для его лет, заходил по кабинету.

— Да, так и сделаю... — сказал он вслух, вышел из кабинета а затем и из конторы.

Он прямо поехал к судебному следователю, производившему дело о растрате в его конторе.

Следователь в это время доканчивал допрос вызванных свидетелей.

Старику Алфимову пришлось подождать около часу, несмотря на посланную им визитную карточку.

Наконец его пригласили в камеру судебного следователя.

— Чем могу служить? — спросил сухо последний.

Бывший весь на стороне Дмитрия Павловича Сиротинина, он инстинктивно недружелюбно относился к этим «мнимо потерпевшим» от преступления кассира.

— Я к вам по важному, экстренному делу...

— Прошу садиться...

Корнилий Потапович сел на стул.

— Видите ли что...

— Опять растрата?.. — перебил его судебный следователь.

— Да... Нет... — смешался старик... — Со-



всем не то... У меня есть к вам большая просьба.

— Какая?

— Вызовите меня и моего сына для очной ставки с Сиротининым.

— Это зачем?.. — вскинул через золотые очки удивленный взгляд на Алфимова судебный следователь.

— Это необходимо...

— Но...

— Без всяких «но». Арестант Сиротинин категорически отказался заявлять на кого-либо подозрение в краже денег из кассы, признал, что действительно получал от вашего сына ключ от нее, следовательно, ни в каких очных ставках надобности не предвидится...

— Но я говорю вам, что это необходимо...

— А я попрошу вас не вмешиваться в производимое мною следствие.

— Но Сиротинин не виновен...

— Что-о-о?! Как вы сказали?.. — воскликнул следователь.

— Я сказал, что Сиротинин не виновен...

— Вы открыли вора?..

— Да... — чуть слышно произнес Корнилий

Потапович.

— И он?..

— Мой сын...

— Он сознался?

— Нет, но он сознается при вас, и при мне, и при Сиротинине, здесь, на очной ставке... У меня в руках доказательства...

— И вы хотите начать дело против него?

— Нет... Я хочу, чтобы урок для него был памятен...

— Это другое дело... Хорошо... Ваш сын в Петербурге?

— Нет, он в Варшаве, но будет здесь послезавтра.

— В таком случае, я вызову вас повестками через два дня...

— Благодарю вас.

Корнилий Потапович простился со следователем, который на этот раз любезно протянул ему руку и очень ласково сказал:

— До свидания!..

— Повестки вы пришлете ранее?

— Повестки вы получите завтра.

Старик Алфимов вышел.

«Надеюсь, это будет ему уроком... Несчаст-

ному еще сидеть три дня... Ну, да ничего... Упал — больно, встал — здоров... Чутье, однако, не обмануло меня, Сиротинин не виновен... То-то обрадуется его невеста, эта милая девушка», — думал между тем судебный следователь, когда за Алфимовым захлопнулась дверь его камеры.

Вернувшемуся сыну старик Алфимов не сказал ни слова по поводу обнаруженного им недочета в кассе, подробно расспросил о поездке и исполнении поручения и даже похвалил.

У Ивана Корнильевича, во все время поездки страшно боящегося, что его отцу придет на ум в его отсутствие считать кассу, при виде спокойствия Корнилия Потаповича отлегло от сердца.

— Там следователь прислал повестки... — небрежно уронил старик в конце разговора.

— Следователь?.. — побледнел Иван Корнильевич.

— Да, и меня, и тебя вызывает, — подтвердил старик, от которого не ускользнуло смущение сына.

— Когда?

— На завтра.

Разговор происходил дома, вечером, вскоре по приезде молодого Алфимова с Варшавского вокзала.

Выйдя из кабинета отца, Иван Корнильевич прошел в свои комнаты, но ему, несмотря на некоторую усталость с дороги, не сиделось дома.

Мысль о завтрашнем допросе у следователя, об этой пытке, которой ему представлялся этот допрос, не давала ему покоя.

«Необходимо повидаться с Сигизмундом, — решил он. — Но где его сыскать?»

Иван Корнильевич позвонил и приказал явившемуся на звонок лакею заложить коляску.

— Слушаю-с, — стереотипно отвечал лакей и удалился.

«Он дома или у Асланбекова, или у Усовой, у Гемпеля он был недавно, часто он у него не бывает, — продолжал соображать молодой Алфимов. — А видеть его мне нужно до зарезу...»

Он в волнении ходил по своему кабинету и каждую минуту поглядывал на часы.

Наконец, в дверях появился лакей.

— Лошади поданы, — заявил он.

— Наконец-то! — с облегчением воскликнул молодой человек, взял шляпу, перчатки и вышел в переднюю.

— Отец дома? — спросил он на ходу лакея.

— Никак нет-с, они уехали...

Иван Корнильевич вышел из подъезда, сел в коляску и приказал ехать на Большую Конюшенную.

На его счастье граф Стоцкий оказался дома. У него были гости... Баловались «по маленькой», как выражался Сигизмунд Владиславович, хотя эта «маленькая» кончалась иногда несколькими тысячами рублей.

— Вот не ожидал! Вот одолжил-то! Ты когда же вернулся? — встретил с распростертыми объятиями граф молодого Алфимова.

— Два часа тому назад.

— Ты настоящий друг. Спасибо... А мы тут бражничаем и перекидываемся в картишки...

— Я к тебе по делу.

— Дело не медведь, в лес не убежит... Да что такое?.. Ты расстроен?..

— Завтра опять вызывают...

— Туда?..

— Да...

— Хорошо, вот когда все разойдутся, потолкуем... Теперь не ловко...

Последний диалог был произнесен шепотом.

— Милости прошу к нашему шалашу, — сказал граф громко указывая на открытый ломберный стол, на котором лежали пачки кредиток, между тем, как молодой Алфимов здоровался с общим знакомыми.

С одним лишь незнакомым ему блондином он церемонно поклонился.

— Савин, Николай Герасимович, Алфимов, Иван Корнилович, — представил их граф Сигизмунд Владиславович, — а мне из ума вон, что вы не знакомы.

— Очень рад...

— Очень приятно...

Алфимов и Савин пожали друг другу руки.

Прерванная игра возобновилась.

Метал банк Сигизмунд Владиславович и по обыкновению выигрывал, только карты Савина почти всегда брали, но он и ставил на них сравнительно незначительные куши.

По окончании игры, после легкой закуски гости стали прощаться и разъехались.

Граф Стоцкий и Алфимов остались одни.

— В чем дело? — спросил Сигизмунд Владиславович, забравшись с ногами на диван и раскуривая потухшую сигару.

— Завтра вызывает следователь...

— Так что ж из этого?

— Но ведь это пытка...

— Что делать! На то и следствие.

— Зачем я ему?

— Я этого не знаю... Ведь я не следователь...

— А что, если он меня сведет с ним?..

— С Сиротининым?

— Да.

— Очень может быть... К этому надо приготовить...

— Что же мне говорить?

— То же, что говорил... «Да», «нет», «не знаю», «не помню».

— Я ужасно боюсь...

— Пустяки... Ну, как съездил? — переменял граф Стоцкий разговор.

— Ничего, съездил, все устроил благопо-

лучно...

— А здесь?

— Здесь все по-старому...

— Старик не нюхал в кассе?

— Нет, видимо, не проверял.

— Это хорошо.

— Ну, а как же насчет завтрашнего дня?

Что ты мне посоветуешь?

— Странный ты человек... Ну, что мне тебе советовать?.. Будь мужчиной и не волнуйся...

— Как не волноваться?..

— Да так. Ведь это все одна пустая формальность, все эти допросы.

— Вызывают и отца...

— Вот видишь... Поезжай-ка спать. Утро вечера мудренее.

— И то правда... Уж поздно...

Молодой Алфимов простился и уехал.

«Странно... — думал, раздеваясь и ложась спать, граф Сигизмунд Владиславович. — Что бы это все значило? Неужели он заявил на него следователю и хочет предать суду за растрату?.. Не может быть... Впрочем, о чем думать? Все это узнаем завтра вечером...»

Иван Корнильевич между тем не спал всю



ночь. Нервы его были страшно напряжены.

Лакей, пришедший его будить по приказанию в десять часов утра, уже застал его на ногах.

— Корнилий Потапович уже спрашивал, готовы ли вы? — сказал лакей.

Молодой Алфимов быстро умылся, оделся и вышел в столовую, где его отец уже допивал третий стакан чаю.

Иван Корнильевич с трудом выпил один, давась и обжигаясь. Старик зорко следил за ним из-под очков.

— Пора, — сказал он, взглянув на часы. — Без четверти одиннадцать... Едем.

— Едемте... — вздрогнул сын и послушно отправился за отцом в переднюю.

Через десять минут они были уже в здании окружного суда. Судебный следователь находился в своей камере. Их тотчас же провели туда.

— Введите арестанта Сиротинина, — сделал распоряжение следователь, предложив обоим Алфимовым сесть на стоявшие у стола следователя стулья.

Через несколько минут, в сопровождении

двух солдат с ружьями, вошел Дмитрий Павлович Сиротинин.

— Стража может удалиться, — сказал судебный следователь. Солдаты браво повернулись и, стуча сапогами, вышли из камеры.

— Я вызвал вас, господин Сиротинин, чтобы в последний раз в присутствии обоих потерпевших спросить вас, признаете ли вы себя виновным в совершении растраты в их конторе?

— Нет, не признаю, — твердым голосом ответил Дмитрий Павлович.

— И не имеете ни на кого подозрения?

— Нет...

— Из дела видно, что иногда, проверяя кассу, Иван Корнильевич Алфимов отсылал вас по поручениям, не предполагали ли вы...

Сиротинин не дал кончить судебному следователю.

— Я уже имел честь объяснить вам, господин судебный следователь, что подобное чудовищное предположение никогда не приходило, не приходит и не может прийти мне в голову... Я стольким обязан Корнилию Потаповичу и Ивану Корнильевичу.

— Несчастный! — тихо сказал старик Алфимов.

Иван Корнильевич сидел бледный, как смерть, потупя глаза в землю.

Ему казалось легче умереть, нежели посмотреть на Сиротинина.

— Вы видите, он упорно не сознается, господа, — обратился судебный следователь к обоим потерпевшим.

— И не мудрено, — вдруг почти громким, кричащим голосом сказал Корнилий Потапович, — ведь так вы, пожалуй, господин судебный следователь, захотите, чтобы он сознался и в растрате семидесяти восьми тысяч рублей, обнаруженной мною два дня тому назад и произведенной уже тогда, когда господин Сиротинин сидел в тюрьме, и сидел совершенно невинно... Не обвинить ли его, кстати, и в этой растрате? Как ты думаешь об этом, Иван?

Молодой Алфимов уже с самого начала понял, к чему ведет речь его отец, и дрожал всем телом.

При обращенном же к нему вопросе он как-то машинально скользнул со стула и

упал к ногам Корнилия Потаповича.

— Батюшка!

— Ты сознаешься в обеих растратах?

— Сознаюсь, батюшка...

— Я не отец тебе, — воскликнул старик Алфимов, — да ты и не виноват передо мной, ты крал у себя самого, ты заплатишь мне из своих денег сто двадцать тысяч с процентами, а остальные восемьсот восемьдесят тысяч можешь получить завтра из государственного банка, я дам тебе чек, и иди с ними на все четыре стороны.

— Батюшка!

— Ползай на коленях и проси прощенья не у меня, а у этого честного человека, которого ты безвинно заставил вынести позор ареста и содержания в тюрьме... Которого ты лишил свободы и хотел лишить чести. Вымаливай прощенья у него... Если он простит тебя, то я ограничусь изгнанием твоим из моего дома и не буду возбуждать дела, если же нет, то и ты попробуешь тюрьмы, в которую с таким легким сердцем бросил преданного мне и тебе человека...

— Я прощаю его! — сказал растроганный

Сиротинин.

## XIX ОСВОБОЖДЕНИЕ

— Я прощаю его! — повторил Дмитрий Павлович, и слезы ручьем полились из его глаз.

Это были, если можно так выразиться, двойственные слезы.

С одной стороны, ему было бесконечно жаль несчастного Ивана Корнильевича, выносившего пытку нравственного унижения, а, с другой, то, что через несколько часов он будет свободен, а главное, что его честь будет восстановлена, привело его в необычайное волнение, разразившееся слезами.

— Встань... — между тем строгим голосом говорил сыну Корнилий Потапович. — Встань... Меня ты не разжалобишь, я в своем слове кремень.

— Батюшка...

— Встань, говорю тебе... Этот честный и благородный человек простил тебя, и кара закона не обрушится на твою голову, но внутри себя ты до конца жизни сохранишь презрение к самому себе... Прошу вас, господин сле-

дователь, составить протокол о признании моего сына в растрате сорока двух тысяч рублей — относительно последней растраты я не заявлял вам официально — добавив, что я не возбуждаю против него преследования...

Судебный следователь, не дожидаясь обращения к нему старика Алфимова, уже писал постановление.

— Он должен подписать его... — сказал он, тотчас подписав написанное.

— Встань и подпиши... — почти крикнул на сына, все еще рыдавшего у его ног, Корнилий Потапович.

Тот встал, отер слезы, и взяв поданное ему судебным следователем перо, дрожащей рукой подписал свое звание, имя, отчество и фамилию.

— Этого признания, надеюсь, достаточно для освобождения из-под стражи неповинно осужденного мною человека, перед которым я всю жизнь останусь в долгу? — спросил Корнилий Потапович.

— Совершенно достаточно, — ответил судебный следователь, начавший снова что-то писать. — Я сейчас кончу постановление о

прекращении следствия и освобождении его из-под ареста.

— Иван Алфимов вам более не нужен?

— Нет.

— Иди отсюда... Не оскверняй своим присутствием общество честных людей... Сегодня же выезжай из моего дома и не показывайся мне на глаза... Чек на твой капитал, за вычетом растраченных тобою денег, получишь завтра в кассе.

— Батюш... — начал было Иван Корнильевич, но старик не дал ему договорить этих слов.

— Иди и не заставляй меня еще раз повторить тебе, что я тебе не отец... Иди.

Молодой Алфимов вышел, низко опустив голову. Один Сиротинин проводил его сочувственным взглядом.

— Как мне жаль его, — чуть слышно прошептал он.

Судебный следователь окончил постановление и прочитал его Дмитрию Павловичу.

— Подпишитесь, господин Сиротинин.

Дрожащей от волнения рукой подписал он этот освобождающий и возвращающий ему

честь документ.

— Позвольте мне искренно поздравить вас с таким оборотом дела, предчувствие не обмануло меня, я был давно убежден в вашей невинности... Вы вели себя не только как несомненно честный человек, но как рыцарь...

Следователь протянул Дмитрию Павловичу руку, которую он пожал с чувством.

— Благодарю вас... Я всю жизнь сохраню о вас светлое воспоминание.

— Это случается очень редко, как редки и такие обвиняемые, — улыбнулся судебный следователь.

— Я сейчас же напишу отношение к начальнику дома предварительного заключения о вашем немедленном освобождении. Присядьте, — добавил он. — Вы свободны господин Алфимов, — обратился он к Корнилию Потаповичу.

— Нет, господин судебный следователь, позвольте мне при вас испросить прощение у Дмитрия Павловича. Он простил моего сына, но простит ли он меня?.. Мои лета должны были научить меня знанию людей, а в дан-



ном случае я жестоко ошибся и нанес господину Сиротину тяжелое оскорбление. Простите меня, Дмитрий Павлович!

В голосе старика слышались слезы, быть может, первые слезы в его жизни.

— От души прощаю вас, Корнилий Потапович, вы были введены в заблуждение... Я сам наедине с собою, в своей камере размышлял об этом деле и понимаю, что будь я на вашем месте, я бы никого не обвинил, кроме меня... Сознавая свою невинность, я сам обвинял себя, объективно рассматривая дело... От всей души, повторяю, прощаю вас и забываю...

— Благодарю вас, благодарю...

Корнилий Потапович протянул Дмитрию Павловичу обе руки, которые тот с чувством пожал.

— А в доказательство вашего искреннего прощенья у меня будет до вас одна просьба...

— Я весь к вашим услугам...

— Позвольте мне приехать сюда в дом предварительного заключения, и после вашего освобождения самому доставить вас к вашей матери и невесте...

— Невесте!.. Вы почему знаете?..

— Я не только знаю, но даже, как кажется, я перед ее матерью в большом долгу... Я нянчил ее мать когда-то на руках.

— Едва ли это удобно, сегодня...

— Нет, именно мне хотелось бы самому внести радость в тот дом, куда я внес печаль и горе... Не откажите...

— Извольте... Ваши соображения и чувства, лежащие в их основе, не позволяют мне не согласиться...

— Вот за это большое спасибо, но человек никогда не бывает доволен... Есть еще просьба...

— Еще?

— Да, еще... С завтрашнего дня я прошу вас занять ваше место в кассе моей банкирской конторы с двойным против прежнего окладом жалованья. Этим вы окончательно примирите меня с самим собою.

— Но...

— Никаких «но». Я сделаю объявление в газетах о возвращении вашем на прежнюю должность кассира конторы одновременно с уведомлением о выходе из фирмы Ивана Алфимова.

— Это жестоко относительно вашего сына, — запротестовал Дмитрий Павлович.

— Это только справедливо.

— Я не имею права отказаться и от этого вашего предложения, так как, действительно, это совершенно восстановит мою честь в глазах общественного мнения, которое было настроено всецело против меня.

— Это и есть моя цель. Значит, вы согласны?

— Да.

— Ну, теперь я спокоен... Еще расквитаться с одним старым долгом, и на душе моей будет легче... Позвольте мне, старику, обнять вас.

И Корнилий Потапович заключил Сиротина в свои объятия. Судебный следователь тем временем кончил писать бумагу, запечатал ее в конверт, подписал адрес и позвонил.

— Стражу! — приказал он вошедшему курьеру.

Это приказание резнуло было ухо Дмитрия Павловича, но вспомнив, что это последний раз, он радостно улыбнулся. Судебный следователь угадал его мысль.

— Вам придется совершить эту последнюю

тяжелую формальность.

— Я понимаю.

Одному из вошедших конвойных следователь вручил пакет, с приказанием немедленно передать его начальнику дома предварительного заключения.

— Экстра, — добавил он.

— Слушаюсь-с, ваше высококородие, — отвечал солдатик. Сиротинин в сопровождении конвойных внутренним ходом отправился в дом предварительного заключения.

— До скорого свиданья, — сказал ему Корнилий Потапович.

— До свиданья...

Когда Сиротинин ушел, Корнилий Потапович простился с судебным следователем, поблагодарив его от души за исполнение его просьбы.

— Это вполне соответствует моим обязанностям, — сказал тот, — притом же разъяснение этого дела меня самого крайне интересовало... Я с самого начала видел в нем нечто загадочное, но обстоятельства сложились так, что я был бессилен что-либо сделать для обвиняемого.

— Но теперь, слава Богу, все разъяснилось... Для моего сына это, быть может, послужит уроком.

— Дай Бог...

Корнилий Потапович вышел из камеры следователя, спустился вниз и, сев у подъезда в пролетку, приказал ехать на Шпалерную.

Остановившись, к великому изумлению кучера, у дома предварительного заключения, он был беспрепятственно впущен в контору.

В ней он застал смотрителя, который уже получил бумагу судебного следователя относительно освобождения арестанта Сиротинина.

Корнилий Потапович отрекомендовался.

Имя известного петербургского богача и финансиста было знакомо смотрителю, и тот рассыпался в любезностях и сам подвинул стул Алфимову.

— Мы мигом устроим все и долго вас не задержим... А как мы рады все, что наконец Сиротинина освободили! Поверьте, что здесь, в доме, начиная с меня и кончая последним сторожем, все были убеждены, что он сидит

вследствие какой-то ошибки... Значит оно так и вышло?

— Да, произошла ошибка... — уклончиво ответил Алфимов.

— Скажите, какой случай!

Смотритель ушел сделать нужные распоряжения.

Через несколько минут он вернулся с Дмитрием Павловичем Сиротининым.

В минуту были соблюдены все формальности, и Корнилий Потапович с Дмитрием Павловичем вышли за ворота дома, куда ни тот, ни другой не пожелали бы возвратиться.

Они уселись в пролетку, и Алфимов обратился к своему спутнику:

— Кажется, на Гагаринскую?

— Да.

— Пошел на Гагаринскую! — крикнул он кучеру. Пролетка покатила.

Странные чувства овладели Дмитрием Павловичем.

Ему казалось, что он едет по незнакомому ему городу, и он с любопытством рассматривал Литейную, Сергиевскую и даже Гагаринскую улицы, которые знал очень хорошо, по-

стоянно живя в этих местах.

Заключение в одиночной камере точно заставило его все забыть.

Арестанты дома предварительного заключения лишены даже удовольствия пройтись из тюрьмы в камеры судебных следователей по городу, так как камеры эти помещаются в здании суда, а между последним и «домом предварительного заключения» существует внутренний ход.

В квартире Анны Александровны Сиротининой не только не знали об освобождении Дмитрия Павловича из-под ареста, но даже не предполагали такой быстрой возможности этого, скажем более, почти перестали на это рассчитывать.

Это бывает всегда с людьми, чего-нибудь сильно желающими и особенно твердо на желаемое надеющимися, даже уверенными в исполнении. Из малейшей отсрочки у них наступает реакция, и надежду снова вытесняет сомнение.

Некоторое промедление вследствие просьбы Кирхофа, допущенное в деле, привело в пессимистическое настроение сперва Анну

Александровну, а затем это настроение передалось Елизавете Петровне.

Последняя, впрочем, боролась с возникающей в ее сердце безнадежностью и старалась утешить себя, что такие дела не делаются вдруг, но вчерашнее сообщение Сиротининой окончательно встревожило ее.

Анна Александровна вернулась со свидания с сыном совершенно расстроенной.

— Все кончено!.. — вошла она в гостиную и бессильно опустилась на диван.

— Что кончено? — с тревогой в голосе спросила молодая девушка.

— Завтра его опять вызывают к следователю...

— Что ж из этого?

— Он говорит, что это, вероятно, для заключения следствия, после чего передадут дело в суд для составления обвинительного акта, и всему конец.

Дмитрий Павлович действительно полагал, что вызов к следователю имеет эту цель, так как, известно читателю, не придавал никакого значения хлопотам своей матери и невесты, хотя и не говорил им этого.



«Пусть себе утешаются... Легче таким образом свыкнуться с горем», — думал он.

— Ужели все кончено?.. Это он так сказал?

— Нет, он не сказал... Это я от себя... Что ж тут себя утешать, ведь, конечно, все конечно... Присяжные обвинят...

— Это еще неизвестно... Куда же запропастился Савин?

— Куда запропастился... — с горечью сказала Сиротинина. — Никуда не запропастился, а поделать ничего не может...

— Я завтра же поеду к Долинскому, а через него разыщу Николая Герасимовича.

— Все по-пустому...

— Как знать!

— Да уж чует мое сердце материнское, быть беде... Утешались мы с тобою, моя горемычная, как малые дети...

На другой день утром Елизавета Петровна Дубянская, однако, все-таки поехала к Сергею Павловичу, но не застала его дома. Ей сказали, что он будет не ранее шести часов вечера. С этою вестью она вернулась домой.

— Это ужасно, как на зло, куда-то уехал с самого утра, — волновалась молодая девушка.

— Э, матушка, у него не одно наше дело... Да и дело-то какое, безнадежное... — с отчаянием махнула рукой старушка.

Они обе сидели в кабинете Дмитрия Павловича.

— А я все-таки вечером съезжу...

— Поезжай.

В это время в передней раздался сильный звонок. Обе женщины вздрогнули.

## XX

### СТАРЫЙ ДОЛЖНИК

— Матушка-барыня, матушка-барышня, молодой барин... — как сумасшедшая вбежала в кабинет прислуга.

— Что ты плетешь?.. Какой молодой барин?.. — воскликнула Елизавета Петровна.

Пораженная известием Анна Александровна молчала.

— Барин, молодой барин, Дмитрий Павлович... Со стариком каким-то!.. — воскликнула прислуга и выбежала из комнаты.

— Верно, опять обыск... — с отчаянием заметила Сиротинина. Обе женщины, однако, поспешили в гостиную.

— Мама... Лиза... — бросился к ним с ра-

достной улыбкой Дмитрий Павлович.

— Митя... Дмитрий!.. Ты! Ты!.. — в один голос вскрикнули Сиротинина и Дубянская.

— Я, мои дорогие, я... опять около вас... дома...

— Свободен?

— Свободен.

— Митя, голубчик... — пошатнулась и чуть было не упала Анна Александровна.

Сын поддержал ее и бережно довел до кресла. Старушка неудержимо рыдала.

— Мама, что с тобой, мама?..

Анна Александровна перестала плакать.

— Ничего, родной, ничего, это с радости... Не выдержала... Поцелуй свою невесту...

— Лиза, дорогая...

— Дмитрий...

Молодые люди упали друг другу в объятия.

Корнилий Потапович стоял вблизи двери и смотрел на эту сцену. В первый раз в его жизни в его сердце зашевелилось человеческое чувство — чувство умиления.

Когда первые волнения встречи прошли, он выступил вперед.

— Позвольте и мне принять участие в ва-

шей семейной радости, — сказал он неподдельно растроганным голосом.

— Корнилий Потапович, батюшка!.. — воскликнула Сиротинина.

— Извините, взволновавшись, мы вас и не заметили, — спохватилась Елизавета Петровна.

— Что за извинения?.. Когда тут замечать было... Не до меня вам... Я знаю...

— Садитесь, — предложила Дубянская. Старик Алфимов сел.

Елизавета Петровна и Дмитрий Павлович тоже присели на диван.

— По моей страшной вине, сын ваш был оторван от вас, — обратился Корнилий Потапович к Сиротининой, — мне самому и хотелось вам возвратить его... Честным человеком вошел он в тюрьму и еще честнее вышел оттуда... У меня нет сына, но позвольте мне в нем видеть другого.

— Как нет сына? — воскликнула Анна Александровна.

— Так, нет... Иван оказался вором, за которого пострадал неповинно Дмитрий Павлович.

— Что вы!

— Он сегодня сознался у следователя... Я немедленно выдам ему капитал и поведу один мою банкирскую контору, сын ваш мне будет главным помощником и кассиром, он уже согласился на это...

— Да простите вы сына-то... Молод ведь он... Его вовлекли, быть может, — заступилась Сиротинина.

— Несомненно, вовлекли, — подтвердила Елизавета Петровна.

— Нет, я его не прощу... Я в своем слове кремень... Достаточно того, что его простил Дмитрий Павлович.

— Он простил его?

— Ты простил его?

Оба эти восклицания Сиротининой и Дубянской были обращены к Сиротинину.

В глазах обеих женщин сияло восторженное поклонение Дмитрию Павловичу.

Последний скромно наклонил голову в знак подтверждения.

— Простите и вы его, — сказала Елизавета Петровна.

— Нет, не просите... Его я не прощу, — то-

ном бесповоротной решимости заявил Алфимов. — А вот до вас, барышня, у меня есть маленькое дельце...

— До меня? — с недоумением спросила Елизавета Петровна.

— Да, до вас... Матушка ваша не Алфимовская была урожденная?

— Да, Алфимовская.

— Татьяна Анатольевна?

— Да... Вы ее знали?

— Она, она!.. — как бы про себя прошептал Корнилий Потапович. — Знал ли я ее?.. Как еще знал, с колыбели на моих руках она и выросла... Мы с покойным барином почитай ее сами выкормили.

— С покойным барином? — повторила вопросительно Дубянская.

— И в долгу у ней, у покойницы, в долгу, ну, все равно, с дочкой рассчитаюсь, ведь вы единственная...

— Да, я одна... Был брат, но тот умер ребенком.

— Так-с, значит вы одна и наследница капитала.

— Капитала?.. Я не понимаю.

— Поймете, барышня, все вам расскажу на чистоту, душу свою облегчу... Пусть и близкие вам люди слушают... В старом грехе буду каяться, ох, в старом... Не зазорно... Может, меня Господь Бог за это уже многим наказал, не смотрите, что богат я, порой на сердце, ох, как тяжело... От греха... По слабости человеческой грехом грех и забываешь... Цепь целая, вериги греховные, жизнь-то наша человеческая...

Алфимов тяжело вздохнул. Все молчали с любопытством.

— Выросла ваша матушка, дай Бог ей царство небесное, красавицей-раскрасавицей... Вы несколько на нее похожи, но, не скрою, красивее вас она была...

— Моя мать была до самой смерти красавица...

— Пошел ей восемнадцатый годок... Мы с барином на нее не нарадуемся...

Елизавета Петровна снова при слове «барином» вопросительно взглянула на Корнилия Потаповича.

— Удивляетесь вы, что я дедушку вашего барином величаю, так объясню я вам сперва и это... Крепостным я был его — Алфимовско-

го-то... Вырос с ним и был по смерть его слуга... Вот оно что... Поняли?

— Поняла...

— Гувернантки при ней были... Учителя разные ходили, всем наукам обучали, а среди учителей один был, молодец из себя, по фамилии Дубянский — вот он и есть ваш батюшка... Влюбилась в него Татьяна Анатольевна и убежала из родительского дома...

Старик Алфимов остановился.

Ему предстоял вопрос, говорить ли дочери о преступлении матери, или же скрыть, чтобы не потревожить память умершей. Он решил на последнее.

— Дедушка-то ваш, как узнал об этом, так и обмер... Удар с ним в ту пору случился... Несколько оправившись, призывает меня к себе и говорит: «Поезжай и разыщи их, вот тут сто тысяч, в банковых билетах, отдай им...» — сунул он мне пачки этих билетов и прибавил: «Но чтобы они мне на глаза не показывались...» — вскрикнул он последнее-то слово не своим голосом и упал на подушки постели... Второй удар с ним случился... Не приходя в себя, Богу душу отдал...



Он снова остановился и несколько минут молчал.

— Умер барин-то... Вольную на мое имя в столе нашли, в шифоньерке шестьдесят тысяч деньгами... Два имения после него богатейших остались... В моем же кармане сто тысяч... Капитал, ох, какой, по тому времени, мне капитал-то казался... Гора... Попутал бес, взял я вольную, да и ушел с деньгами-то... Думаю, и дочке бариновой хватит... Богачкой ведь сделалась... Вот в чем грех мой... Простите...

Корнилий Потапович неожиданно для всех присутствовавших сполз с кресла, опустился на колени и до земли поклонился Дубянской.

Та вскочила.

— Встаньте, Корнилий Потапович, что вы...

Алфимов встал.

— Ничего, барышня, ничего, голубушка, от лишнего поклона меня не убудет... За все уже сразу прощенья прошу, и за себя, за грех мой, и за жениха вашего, что огорчил я вас, его заподозрив в бесчестном поступке... Так про-

стите Христа ради...

— Прощаю, прощаю... Дело прошлое...

— Так вот я какой старый должник ваш...

Теперь сделал я вчера выкладку и присчитал и проценты, приходится вам получить ровно сто пятьдесят тысяч... Извольте...

Корнилий Потапович вынул из кармана громадный бумажник, вынул из него подписанный чек и положил перед Елизаветой Петровной.

— Во всякое время получить можете в государственном банке.

— Это мне?

— Вам-с... Вам, кому же, как не вам.

— Но...

— Какие же тут «но»... У вашей матушки взял, дочери отдаю... наследнице... Вот вам и приданое... За такого молодца выходить бесприданнице не полагается... Возьмите, спрячьте, ведь целый капитал...

Елизавета Петровна сидела молча и глядела то на Корнилия Потаповича, то на лежавший перед ней чек, эту маленькую бумажку, на самом деле заключавшую в себе целый капитал.

— Не хотите, видно, простить меня, старика... — после некоторой паузы, грустно сказал Алфимов.

— Нет, не то, Корнилий Потапович, не то... — встрепенулась Дубянская. — Я думала совсем о другом.

— О чем же?

— Я думаю, что Бог допускает иногда и преступления на благо тех, против которых они совершены... Если бы вы не утаили этих денег, они пошли бы, как и все состояние моих родителей, на удовлетворение роковой страсти моего отца... Моя мать, умирая, сокрушалась лишь о том, что я буду нищая... Она знала несчастную склонность своего мужа к игре, доведшей ее до преждевременной смерти, а его до самоубийства... а Бог, Бог позаботился о его дочери... И вот вы возвращаете мне то, что принадлежало моей матери... Не только я, но и Бог простит вас за ваш грех прошлого.

Корнилий Потапович схватил руку молодой девушки и поцеловал ее.

— Еще более облегчили вы душу мою этими словами вашими... Коли простили меня

совсем, и даже поселили в сердце моем надежду на милость Божию, так позвольте мне и благословить вас к венцу... И поверьте, что старый слуга вашего дедушки благословит вас искренно, от всей души.

— От этого не отказываются, благодарю вас...

Старик Алфимов снова поймал руку Елизаветы Петровны и почтительно поцеловал.

— А теперь до свиданья... Не буду мешать вам проводить первый день свиданья... Дай Бог, чтобы вся ваша жизнь прошла в таких же радостях, какие принес вам сегодняшней день.

Он стал прощаться и снова почтительно поцеловал руки у Дубянской и Сиротининой.

— Вас я жду завтра в конторе, — сказал он, крепко пожимая руку Дмитрию Павловичу.

— Я буду, как всегда, аккуратен.

По его уходе Сиротинин, по настоянию матери и невесты, подробно рассказал все происшествия сегодняшнего утра.

Волнуясь, почти со слезами на глазах, рассказывал Дмитрий Павлович о признании, совершенном молодым Алфимовым.

— Он был совершенно уничтожен, на него было жаль смотреть.

— Бедняжка! — воскликнула Анна Александровна.

— Действительно, бедняжка... И большой у него капитал? — спросила Дубянская.

— Осталось более восьмисот тысяч.

— Боже мой, какая уйма денег! — сказала Сиротинина.

— И поверьте, все пойдет прахом... Он игрок! — заметила Елизавета Петровна.

— Несчастный!

Затем Сиротинин рассказал о предложении, сделанном ему Корнилием Потаповичем, снова занять место кассира в его банковской конторе с двойным против прежнего окладом содержания.

— Что же ты? — спросили в один голос мать и Дубянская.

— Я согласился, так как это единственный способ восстановить мою репутацию... Он обещал об этом опубликовать в газетах, одновременно с уведомлением о выходе из фирмы его сына.

— Ну, что я говорила тебе, что все кончит-

ся благополучно! — торжествующе воскликнула Елизавета Петровна. — Не права я?

— Права, права, моя милая... — привлек он ее к себе. Молодые люди крепко расцеловались.

— И все это устроила она, она одна... Она спасла тебе честь... — сказала Анна Александровна. — Люби и цени ее.

— Едва ли кто может любить и когда-нибудь любил так женщину, как люблю ее я! — воскликнул Дмитрий Павлович, взяв за руку Дубянскую и нежно смотря на свою невесту.

— Мы обязаны всем этим Долинскому и Савину, — сказала Елизавета Петровна. — Несомненно, что Николай Герасимович устроил, что настоящий виновник сознался.

— Я останусь всю жизнь им благодарен, — с чувством сказал Сиротинин. — Долинского я съезжу сам поблагодарить, а Савина я не знаю, но ты меня, конечно, с ним познакомишь.

— Непременно.

День прошел незаметно.

## XXI ПУБЛИКАЦИЯ

На другой день во всех петербургских газетах на первой странице, на самом видном месте, появилась следующая публикация, напечатанная жирным шрифтом:

«Сим имею честь уведомить моих многочисленных клиентов, что сын мой Иван Корнильевич Алфимов выбыл из торговой фирмы „Алфимов и сын“ и никакого участия в банкирской конторе моей отныне не принимает. Главнoуправляющим этой конторой, принадлежащей мне единолично, и старшим кассиром мною вновь приглашен дворянин Дмитрий Павлович Сиротинин, которому мною и будет выдана полная доверенность. Кроме того, имею честь присовокупить, что ни по каким обязательствам сына моего, Ивана Корнильевича Алфимова, я уплат производить не буду.

С почтением

Корнилий Алфимов».

Публикация эта произвела большую сенса-

цию в финансовом мире.

Корнилий Потапович достиг цели — честь Сиротинина была совершенно восстановлена, а между строк этой публикации читалось обвинение Ивана Корнильевича.

Так все и поняли.

— Жестокий старик! — сказала Елизавета Петровна Дубянская, прочитав Анне Александровне эту публикацию за чайным столом, когда они ожидали одевавшегося у себя в кабинете, чтобы ехать в контору, Дмитрия Павловича.

— В этом случае он справедлив, если бы он покрыл сына, то тень на Дмитрие все-таки бы осталась, — заметила Сиротинина.

— Так-то, так. Но жаль и молодого человека, тем более, что я уверена, что он действовал под влиянием негодяев... Теперь он окончательно погиб... Ведь у него почти миллион, они набросятся на него, как коршуны.

— Может, остепенится... Тяжелый урок...

— Слабохарактерен он, тряпка... Где ему устоять...

— Может начать свое дело...

— Какое там дело... Все растащут, все про-



играет... И в конторе-то отца, как говорил Дмитрий, он почти не занимался делом, ни во что не вникал и не хотел вникать...

— Ну, тогда, конечно, проку из него не будет, — согласилась Анна Александровна. — По-человечески его жалеть действительно надо, но нам-то он, ох, какое зло сделал, ты только сообрази, легко ли было Мите вынести весь этот позор, легко ли было сидеть в тюрьме неповинному... Он перед нами-то спокойным прикидывался, а вчера я посмотрела, у него на висках-то седина... Это в тридцать лет-то... Не сладки эти дни-то ему показались, а все из-за кого...

— Да, конечно, — вздохнула Дубьянская. — Но теперь за это он наказан...

— Так и пусть сумеет сам вынести пользу себе из этого наказания... Не маленький, понимать должен... Если же сам в петлю полезет, туда ему и дорога... Худая трава из поля вон, — раздражительно сказала старушка.

Елизавета Петровна вздохнула.

— Вы правы, — с грустью сказала она.

В это время в столовую вошел Сиротинин, поцеловал руку у матери и невесты и присел

к столу.

— В контору?

— Да, я обещал быть сегодня же. Корнилий Потапович очень вчера настаивал. Быть может, я все-таки заставлю его несколько смягчиться к сыну.

Через какие-нибудь полчаса, когда Дмитрий Павлович, наскоро выпив стакан чаю, вышел из дому и подъезжал к конторе, ему еще раз пришлось убедиться, что старик Алфимов «спешит».

Над конторой, несмотря на то, что вся катастрофа случилась лишь накануне, красовалась новая вывеска, на которой вместо слов «Банкирская контора Алфимов и сын» было написано: «Банкирская контора К. П. Алфимова».

Корнилий Потапович, несмотря на то, что был только одиннадцатый час в начале, был уже в конторе.

Видимо, относительно Дмитрия Павловича им были отданы соответствующие распоряжения.

Об этом догадался, не без внутренней улыбки, Дмитрий Павлович по торжествен-

ной почтительности, с которою встретил его швейцар.

При появлении его в конторе все служащие встали почтительно со своих мест, что прежде делали лишь при появлении «самого» и его сына Ивана Корнильевича.

Дмитрий Павлович по-прежнему по-товарищески поздоровался со всеми.

Артельщик забежал вперед и отворил дверь в кассу.

На письменном столе Сиротинин нашел два ордера для записи в расход выданных чеков на государственный банк, один на имя купеческого сына Ивана Корнильевича Алфимова в восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей, а другой — дворянки Елизаветы Петровны Дубянской на сто пятьдесят тысяч рублей.

Ордера были написаны рукой самого Корнилия Потаповича.

Задумчиво смотрел на эти лежавшие перед ним бумаги Дмитрий Павлович Сиротинин, и, казалось, в бездушных цифрах, выведенных старинным, но твердым почерком полуграмотного богача, читалась ему повесть

двух русских семей, семьи Алфимовских, отпрыск которой сделалась госпожей Дубянской, и семьи Алфимовых, странной сводной семьи, историю которой знал понаслышке Дмитрий Павлович.

Раскрытая книга, в которую надо было вносить цифры расхода, лежала перед ним, а он медлил, казалось с благоговением, приступить к этому, в сущности, обыденному для него акту.

Впервые мысль, что каждая цифра приходной и расходной книги банка имеет тесную связь с жизнью человека, его семейных и близких, поразила его с особой ясностью.

Цифра, касающаяся купеческого сына Ивана Корнильевича Алфимова, казалась ему цифрой его гибели.

Цифра Дубянской, напротив, независимо от того, что это была любимая им девушка, его невеста, представлялась ему цифрой светлого будущего.

За обоими цифрами рисовалась страшная картина смерти и преступления.

В этих размышлениях его застал артельщик, заведываващй разменной кассой, на

обязанности которого было выдавать жалованье служащим.

Он принес пачку денег и книгу, в которой служащие расписывались в получении.

— Что вам? — спросил Сиротинин.

— Извольте получить жалованье, по приказанию Корнилия Потаповича.

И снова в книге Сиротинин увидел почерк «самого».

На странице, отведенной для него, Дмитрия Павловича, выписано было жалованье за все время отсутствия его в конторе в удвоенном размере.

Сиротинин, не входя в объяснения с артельщиком, расписался, взял деньги и положил их в карман.

Артельщик вышел с почтительным поклоном.

Дмитрий Павлович вписал в расход, просмотрел и проверил книги, оказавшиеся в порядке, наличность сумм, в присутствии состоявшего при нем артельщика, запер шкафы, взял ключ и собрался уже идти в кабинет «самого», как вошел служитель с приглашением от Корнилия Потаповича.

— Просят в кабинет! — сказал он.

— Он один?

— Никак нет-с, там от нотариуса господин...

— А...

В кабинете Корнилия Потаповича Сиротинин действительно застал чиновника от нотариуса, привезшего доверенность и уже прощавшегося с хозяином.

Старик Алфимов приветливо поздоровался с вошедшим Дмитрием Павловичем, как здоровался обыкновенно до ареста его по обвинению в растрате. Казалось, будто бы ничего не случилось и даже не было перерыва в служебной деятельности Сиротинина.

— Я вверяю вам управление конторою, вот доверенность, написанная в этом смысле с самыми широкими полномочиями...

Он передал бумагу Дмитрию Павловичу.

Тот взял её.

Чиновник от нотариуса вышел.

— Не будет никаких приказаний? — спросил Сиротинин.

— Нет... У вас все там в порядке?

— Все...

— Когда ваша свадьба?

— Недели через две, через три...

— Напомните вашей невесте ее обещание.

— Она его помнит...

Алфимов замолчал.

Дмитрий Павлович догадался, что ему можно выходить, и тотчас вышел.

Корнилий Потапович его не задержал. Сиротинин возвратился в кассу.

Работа вошла в свою колею. Ему самому даже стало казаться, что он и вчера, и третьего дня работал в кассе и что все происшедшее было сном.

Лишь открывая книгу расхода, когда взгляд его упал на записанные им сегодня две злосчастные цифры, он возвращался к действительности.

По уходе Дмитрия Павловича Сиротинина из дому Елизавета Петровна тоже оделась и уехала, захватив с собой данный ей Корнилием Потаповичем чек.

Прежде всего она решила заехать к Сергею Павловичу Долинскому.

Это был его приемный час, но, на ее счастье, в его кабинете сидел только один кли-

ент.

Когда он вышел, она попросила доложить о себе.

Сергей Павлович сам вышел к ней в приемную.

— Пожалуйста... Пожалуйста... Поздравляю, — весело встретил он ее.

Они прошли в кабинет.

— Разве вы знаете? Я пришла поблагодарить вас от души.

— Полноте, полноте, за что, что я сделал?.. Вы говорите, знаю ли я?.. Подробностей нет, но читал публикацию... Да вот сейчас ушел от меня тоже один банковый деятель, так говорил, что весь финансовый мир только и говорит об этом... Это со стороны Алфимова благородно, но относительно сына жестоко...

— Я тоже этого мнения...

— Но вместе с тем, им это и заслужено... Но как все это случилось? Садитесь и рассказывайте.

Он усадил ее в кресло около письменного стола и сам сел напротив.

Елизавета Петровна начала подробный рассказ. Сперва, со слов Дмитрия Павловича,



она описала подробно сцену у следователя, а затем уже, как очевидица, и возвращение Сиротинина в свою квартиру в сопровождении Корнилия Потаповича. Передала она Долинскому и исповедь старика Алфимова относительно его поступка с ее матерью, причем показала выданный им чек.

— Это совершенный роман! — воскликнул Сергей Павлович, когда Дубянская кончила свой рассказ. — Таким образом, вы богатая невеста человека с упроченным навсегда положением в финансовом мире... Молодец Савин!

— Поразительно быстро это он устроил.

— Я говорил вам, что это он один сумеет...

— Но каким образом?..

— Этого я сам не знаю, потому что за последние дни его не видал и, признаться, стал даже в нем сомневаться...

— Где он живет?

— В «Европейской».

— Мы с Дмитрием заедем к нему поблагодарить.

— Следует...

Наступила небольшая пауза, которую пре-

рвала Елизавета Петровна.

— Я приехала, кроме того, чтобы принести вам искреннюю мою благодарность, еще и попросить вас помочь мне в денежных делах... Что мне делать с этими деньгами?

— Вот несовременный вопрос, — улыбнулся Долинский. — Что делать? У вас жених — банковый деятель...

— Мне неловко обращаться к нему, он очень щепетилен в этих вопросах...

— Тогда поедemте в банк, получите деньги, купите прочные и выгодные бумаги, положите их на хранение — вот и все.

— Но с условием, что вы мне позволите вас поблагодарить.

— От души, словами, да...

— Но я отнимаю у вас время...

— Вам я его не продам, хотите взять даром... Иначе я отказываюсь...

В голосе его прозвучали строгие, решительные ноты.

— Что ж я с вами поделаю... Еще раз благодарю вас.

Она подала ему руку и крепко, по-дружески пожалала ее. Они вместе поехали в государ-

ственный банк.

Процедура финансовой операции заняла два часа. Получив деньги, они поехали в контору Юнкера, купили бумаги и снова вернулись в банк и положили их на хранение.

— Ну, вот вы и прошли сегодня мытарства капиталиста, — пошутил Сергей Павлович. — В благодарность позвольте мне вас проводить до дому.

## XXII НОВЫЙ РОМАН

Исполнив поручение Долинского и узнав от графа Сигизмунда Владиславовича, что начертанный им план освобождения Сиротина из тюрьмы приведен в исполнение, Николай Герасимович, действительно, больше не появлялся у Сергея Павловича.

Савину было не до того.

В его жизни снова начинался роковой переворот.

Жизнь людей с пылким, увлекающимся темпераментом, которым природа в такой большой дозе наградила нашего героя, периодически посещается бурями. Это зависит от них самих, они ищут таких бурь. Тихая при-

стань — домашний очаг, регулярная жизнь, постоянство любящей женщины — все это не создано для них. К ним всецело могут быть применены слова поэта:

*Под ним струя светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой,  
А он, мятежный, ищет бури,  
Как будто в буре есть покой?*

То же самое сейчас происходило и с Николаем Герасимовичем Савиным.

Отношения к Мадлен де Межен, независимо от того, что были, как мы знаем, отравлены им же самим созданными подозрениями, сделались за последнее время так монотонно ровны, тем более, что пикантная француженка совершенно исчезла в любящей женщине.

Будь на месте Савина другой человек, более благоразумный, более думающий о будущем, он понял бы, что именно около этой женщины он может найти тихую пристань, после со столькими крушениями предпринятого им плавания по бурному житейскому морю.

Он женился бы на ней и на крохи своего когда-то громадного состояния создал бы де-

ло, которое привело бы его, если не к богатству, то к довольству у тихого домашнего очага.

Но не таков был Николай Герасимович.

Это «мещанское счастье», как называл он тихую семейную жизнь, не привлекало его.

Изменившаяся Мадлен де Межен, всецело отдавшаяся своему искреннему чувству к нему, не интересовавшаяся нарядами, не искавшая удовольствий, с каждым днем производила на него впечатление «скучной женщины», эпитет, которым с его стороны был подписан приговор всякому чувству.

Случайная встреча с Верой Семеновной Усовой, роль, которую Николай Герасимович сыграл относительно этой девочки-ребенка на вечере у ее матери, плохо скрытое едва вышедшей из подростка девочкой увлечение им, ее спасителем от этих наглых светских хлыщей разного возраста — все это создало в уме Савина целую перспективу нового романа, героиня которого была наделена им всеми возможными и невозможными для женщины качествами.

Николай Герасимович из Веры Семеновны

создал себе идеал.

Вырвать эту трепещущую чистую голубку из когтей бездушного коршуна — ее матери — лаской и нежностью заставить впервые забиться страстью юное сердечко, возвратить земле это неземное существо, но не грубым способом Капитолины Андреевны, не приказанием, не толчками в грязный жизненный омут, а артистическим пробуждением в ребенке — женщины.

Вот увлекательная задача, и сколько блаженства сулит она ее разрешившему.

Эту задачу поставил себе Николай Герасимович.

Так быстро, почти без хлопот устроившееся дело Сиротинина не могло отвлечь мыслей Савина от разрабатываемого им плана, напротив, сблизившись вследствие этого дела с Гемпелем, Кирхофом и графом Стоцким, Николай Герасимович нашел, особенно в последнем, усердного помощника в осуществлении этого плана.

Бессознательно помогала этому и сама Капитолина Андреевна: раздраженная упорством молодой девушки, она настойчиво тре-

бовала от нее приветливости и кокетства по адресу тех или других указанных ею избранников; на чем свет стоит поносившая Савина, которому не могла простить вмешательства между ней и ее дочерью в первый вечер, и на которого всецело сваливала неудачу первого дебюта, в роли дорогого приза, ее дочери.

Последняя, как это всегда бывает с женщинами вообще, а с молоденькими девушками в особенности, чем более слышала дурного от своей матери о «спасителе», тем в более ярких чертах создавала в себе его образ, и Капитолина Андреевна добилась совершенно противоположных результатов: симпатия, внушенная молодой девушке «авантюристом Савиным» — как называла его Усова — день ото дня увеличивалась, и Вера Семеновна кончила тем, что влюбилась по уши в героя стольких приключений.

Граф Сигизмунд Владиславович, бывший уже совершенно «своим человеком» у полковницы Усовой, взялся быть «почтальоном любви» и уже на вторую записку Савина принес ему ответ от Веры Семеновны.

Завязалась деятельная переписка, в кото-

рой Николай Герасимович с искусством опытного ловеласа раскалял воображение девочки, рисовал ей, с одной стороны, мрачные картины будущего, если она останется при матери, а с другой — чудную перспективу любви, утеху и наслаждение.

Капитолина Андреевна уважала графа Стоцкого и всецело доверяла ему, даже очень обрадовалась, что он ей «покорил», как она выражалась, дочь.

Вера не только перестала его дичиться, но с охотою беседовала с ним по целым часам.

Она и не подозревала, что ее «сиятельный друг», как она называла графа Стоцкого, заодно с ее врагами и хочет лишить ее «честного заработка», естественного, по ее мнению, результата ее забот и хлопот относительно дочери.

— И в кого она такая удалась? — рассуждала Усова, — Катенька вот сразу пришла в настоящее понятие и сообразила, в чем дело, а эта, вишь, какая упористая.

А между тем этот вопрос решался очень просто.

Старшая дочь Капитолины Андреевны по-



лучила домашнее воспитание, и ее нравственная порча происходила постепенно, так что, действительно, к шестнадцати годам она могла «прийти в настоящее понятие и сообразить, в чем дело». Вера же, по настоянию «высокопоставленного благодетеля», имя которого произносилось даже полковницей Усовой не иначе, как шепотом, была отдана в полный пансион в одно из женских учебных заведений Петербурга — «благодетель» желал иметь «образованную игрушку».

Другой мир, мир создания идеалов вместе с подругами, развернулся перед девочкой, и хотя Капитолина Андреевна, ввиду того, что «благодетель» попал в руки одной «пройдохи-танцовщицы», стал менее горячо относиться к приготавливаемому ему лакомому куску, и не дала Вере Семеновне кончить курс, но «иной мир» уже возымел свое действие на душу молодой девушки, и обломать ее на свой образец и подвести под своеобразные рамки ее дома для Капитолины Андреевны представлялось довольно затруднительно, особенно потому, что она не догадывалась о причине упорства и начала выбивать «дурь»

из головы девчонки строгостью и своим авторитетом матери.

Авторитет этот был далеко не силен, а строгость вбила «дурь» только еще глубже, а не выбила наружу. Настойчивость и поспешность со стороны Усовой повела лишь к тому, что Вера Семеновна на одно из писем Савина, предлагавшего бежать к нему, ответила согласием отдаться под его покровительство.

Поручив первую часть плана графу Стоцкому, он взял себе вторую — расчистку себе дороги к «неземному божеству» устранением препятствий.

Таким препятствием являлась Мадлен де Межен.

Чутким сердцем любящей женщины поняла она, что с ее «Nicolas» творится что-то неладное.

Он стал раздражителен, почти груб с нею, умышленно оставлял ее одну, говорил о тяжелых условиях жизни, а между тем на ее предложение ехать попытать счастье в Америку, как они предполагали ранее в Брюсселе, разражался злобным смехом.

— Ты сошла с ума, — сказал он, — ты не по-

нимаешь, что говоришь... Я русский, я люблю Россию, а ты предлагаешь мне навсегда расстаться с моей родиной!

— Зачем навсегда?.. — возражала Мадлен.

— Конечно, навсегда... Для увеселительной поездки в Америку у нас с тобой нет средств, а ехать туда работать, вложив в какое-нибудь дело оставшиеся крохи капитала, надо уже совершенно эмигрировать, а кто знает, не надуют ли нас благородные янки, и мы с тобой в лучшем виде прогорим и останемся на мостовой без куска хлеба...

— Там есть много моих соотечественниц.

— Твоих соотечественниц... — с явной насмешкой проговорил Савин. — Тебя-то, пожалуй, и возьмут на содержание, а я сделаюсь чистильщиком сапог... Впрочем, ты красивая женщина, ты можешь там сделать себе карьеру... Там много миллионеров...

— Nicolas, за что же оскорблять?! — со слезами в голосе проговорила молодая женщина.

Николай Герасимович был ошеломлен, и уже с языка его готовы были сорваться слова извинения, но Мадлен де Межен продолжала:

— Я могу, наконец, получить ангажемент... Это его окончательно взорвало.

— На сцену!.. Ну, видишь ли, разве я не прав, что ты можешь себе создать там карьеру, но мне-то не улыбается перспектива жить на содержании у артистки — женщины, составляющей общее достояние...

— Да что ты, разве все артистки таковы? — с упреком посмотрела на него молодая женщина.

— Все! — резко и безапелляционно ответил он и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Савин уехал из дому.

Привыкшая за последнее время к подобным сценам Мадлен не придавала и описанной нами особого значения и, решив написать письмо к своей кузине во Францию, прошла в кабинет Николая Герасимовича за бумагой.

Около письменного стола она заметила вставленную записку.

Она подняла ее и не была бы, конечно, женщиной, если бы не любопытствовала взглянуть на ее содержание.

Это было одно из писем Веры Усовой, в котором неопытная девушка доверчиво и вос-

торженно отвечала на признание в любви Савина.

Мадлен де Межен прочла и первую минуту страшно побледнела.

Несколько времени она стояла, как окаменелая, держа в руках роковую записку.

— Начало конца! — прошептала она. — Не надо дожидаться конца, — добавила она громко и вдруг выпрямилась.

Вся гордость любящей женщины, сознающей еще свою красоту и таящуюся в ней силу, поднялась в ее душе. Она положила записку под чернильницу, взяла нужную ей бумагу и начала писать письмо.

Николай Герасимович приехал только поздно вечером. Мадлен де Межен уже спала.

Савин не ложился долго. Он ходил по кабинету и думал. Его тревожил и мучал вопрос: «Что ему делать с Мадлен?»

Он понимал, что дальнейшая совместная жизнь будет пыткой, для них обоих, а между тем сказать это в глаза этой, когда-то страстно любимой им женщине, столько для него сделавшей и стольким для него пожертвовавшей, у него не хватало духу.

«Она до сих пор любит меня! — думал он. — Что же мне делать? Что делать?»

Он осторожно вошел в спальню.

Молодая женщина крепко спала.

«Бедная! Какое пробуждение ждет тебя...» — посмотрел он на нее.

Он тихо разделся и лег, но вопрос: «Что делать?» — все продолжал неотвязно преследовать его.

Он не мог его решить, не мог и заснуть.

Ему и не могло прийти на мысль, что молодая женщина спала так крепко только потому, что она решила в этот день этот же мучивший его теперь вопрос: «Что делать?»

Николай Герасимович заснул, так и не решив его.

К утреннему чаю Мадлен де Межен вышла совершенно спокойная, почти веселая.

Савин между тем был мрачен и сосредоточен.

— Нам на некоторое время придется расстаться, — сказала молодая женщина.

Николай Герасимович удивленно посмотрел на нее.

— Почему?

— Я вчера получила письмо от моей кузины из Дижона. Тетя очень больна и непременно желает меня видеть.

— И ты хочешь ехать? — спросил Савин.

В тоне этого вопроса сквозила плохо скрываемая радость. Молодая женщина горько улыбнулась.

— Непременно, и сегодня же с курьерским... На Москву...

— На Москву... Что за фантазия?..

— Ты забыл, что мы спешили и я не успела взять у Леперсье мою шляпку. Ту самую, которую, помнишь, я выписала из Парижа для заседания брюссельской судебной палаты.

— Узнаю женщину, — улыбнулся Николай Герасимович.

Он совершенно преобразился и не мог даже скрыть этого. Продолжавший мучать его вопрос: «Что делать», — разрешился так просто и так благоприятно.

«Я напишу ей... Это легче», — неслось в его голове.

— Я, к сожалению, не могу проводить тебя даже до Москвы, — смущенно сказал вслух Савин, — у меня тут дела...

— И не надо, голубчик, доеду одна, не маленькая...

— В таком случае, я поеду хлопотать о деньгах... Куда сделать тебе перевод?

— Перевода делать не надо... Я возьму деньги так...

Это удивило Николая Герасимовича, но, боясь, чтобы Мадлен де Межен не раздумала уезжать, он не стал задавать вопросов.

— Я дам тебе, кроме денег на дорогу, еще пятнадцать тысяч. Это половина моего капитала.

— Зачем так много?

— Мало ли, что может случиться, — уклончиво ответил Николай Герасимович, — и, наконец, у тебя они будут целее.

— А, хорошо... Прощай, я пойду укладываться...

Савин поцеловал ей руку, но не посмотрел ей в лицо.

Он боялся и хорошо сделал, так как увидел бы, что глаза молодой женщины были полны слез.

Она быстро вышла.

«Как кстати эта болезнь тетки», — весело



подумал Николай Герасимович Савин.

Отъезд Мадлен де Межен накануне того дня, когда назначено было похищение Веры Семеновны Усовой, так хорошо все устраивал, что Савин не обратил внимания на отказ молодой женщины от перевода денег за границу и от других подозрительных сторон ее решения уехать.

Она уезжала — это было ему надо, а до остального ему было безразлично.

Он оделся и поехал устраивать денежные дела.

С курьерским поездом железной дороги он проводил когда-то любимую им женщину.

Когда поезд ушел, Николай Герасимович облегченно вздохнул полной грудью.

## XXIII

### ПОД КРЫЛОМ ДРУГА

«Это, положительно, несчастное отделение, — думал Савин, возвращаясь с Николаевского вокзала в „Европейскую“ гостиницу, — Сегодня же прикажу себе отвести с завтрашнего дня другое...»

Несмотря на то, что перед ним в радужных красках развертывалась перспектива обла-

дания «неземным созданием», этой девушкой-ребенком, далекой от греха страсти, — последняя, впрочем, он был убежден, таилась в глубине ее нетронутого сердца, — разлука с Мадлен и ее последние слова: «Adieu, Nicolas», — как-то странно, казалось ему, прозвучавшие, оставили невольную горечь в его сердце.

Ему почудилось, что с отъездом этой женщины внутри его что-то порвалось, но его живой, подвижной характер не дал ему долго останавливаться на этом впечатлении, и оно, так сказать, вырвалось наружу лишь в мелькнувшей у Николая Герасимовича мысли:

«Это, положительно, несчастное отделение...»

По приезде в гостиницу он тотчас же отправился в контору и, на его счастье, оказалось, что утром только что очистилось отделение, хотя несколько менее занимаемого им, но зато уютнее и свежее меблированное. Так, по крайней мере, объяснил ему управляющий гостиницы.

Приказав с завтрашнего же утра считать освободившееся отделение за собою и утром

перенести все вещи из занимаемых им комнат, Николай Герасимович поднялся наверх.

Лакей отпер занимаемое им помещение, зажег лампу перед диванным столом гостиной и удалился.

Николай Герасимович остался один. Впечатление какой-то странной пустоты производило на него это, в сущности, тоже уютное и роскошно меблированное отделение.

Это впечатление наблюдается тогда, когда возвращаются в квартиру, из которой только что вынесли покойника, близкие ему люди.

Все, кажется, стоит на своем месте, ни одной вещью не убавилось, а, в общем, чего-то нет, чего-то такого, что, независимо от присутствия вещей, казалось, наполняло все помещение.

Нет человека.

Это сравнение своего положения с положением человека, возвратившегося с кладбища, пришло в голову Савина под нахлынувшим на него впечатлением окружающей его пустоты.

С Мадлен де Межен он больше никогда не увидится. Ему вдруг стало как-то особенно

жаль ее.

Он прошел в комнату, служившую ей будуаром. Там, хотя все было прибрано расторопными слугами образцовой гостиницы, не взгляд Савина как раз упал на лежавший на ковре обрывок голубой ленточки.

Он вспомнил, как замечательно шел Мадлен де Межен голубой цвет.

Ее образ, блестящий, обаятельный, предстал перед ним. Она, как живая, сидела перед ним здесь, на этом самом кресле, около которого валялся этот обрывок ленты, но не та Мадлен, какой она была за последнее время, а та, которую он помнит в Париже, и от одного присутствия которой у него кружилась голова, мутилось в глазах.

Он не понимал, что она осталась такою же, а изменился он сам, его взгляд на нее, и теперь восторженно вспоминал о той, разлуке с которой был рад несколько часов тому назад, как освобождению из душной тюрьмы.

Сердце его сжималось чисто физической болью.

Он поднял обрывок ленты и как-то совершенно неожиданно для себя самого стал по-

крывать его поцелуями.

Это, впрочем, продолжалось лишь несколько минут.

«Что за ребячество!» — остановил он самого себя, подошел к окну, раскрыл форточку и бросил ленточку на улицу, а сам все-таки несколько времени простоял около этой открытой форточки, тяжело дыша, как бы набираясь воздухом.

«Боже, как, однако, я распустил свои нервы», — подумал он и стал ходить по комнате.

Перед ним снова начали проноситься картины прошлого, связанные именно с этим отделением «Европейской гостиницы».

Он вспомнил Маргариту Гранпа.

Кстати ему пришел на память разговор о ней, слышанный им у графа Стоцкого. Он и теперь, как тогда, почувствовал, как больно сжалось его сердце. Думал ли он, что девушка, на которую он положительно молился, будет когда-нибудь предметом такого разговора?

«И все женщины таковы, — мелькнуло у него в голове. — И Вера...»

Он постарался остановить эту мысль.

«Завтра она будет со мною, это нежное, эфирное создание, все сотканное из мечты. Завтра я осыплю ее страстными поцелуями, завтра она, робкая, трепещущая, будет в моих объятиях, ее маленькое сердечко будет биться около моего сердца».

Эта перспектива близкого блаженства заставила забыть Николая Герасимовича и прошлое, навеянное этим отделением гостиницы, с Маргаритою Гранпа в его центре и уехавшею Мадлен.

«Мне еще сегодня надо к графу, окончательно условиться», — спохватился он и позвонил.

Явившемуся лакею он приказал дать себе пальто и шляпу.

— Постели мне в кабинете, — приказал он и вышел.

Мысль провести ночь в спальне, где кровать Мадлен была бы перед его глазами, как надгробный памятник погибшей любви, все же была ему неприятна.

«Завтра все пройдет!» — успокоил он себя. Граф Сигизмунд Владиславович был дома. Он сидел у себя в кабинете и с легкой

усмешкой наблюдал за Иваном Корнильевичем Алфимовым, нервною походкой ходившим по комнате.

Николай Герасимович Савин оказался положительным пророком в начертанном им плане.

Граф Стоцкий действительно убил разом двух, и очень крупных, зайцев, оказав услугу Алфимову-отцу и не возбудив ни малейших подозрений в Алфимове-сыне, который оказался всецело в его руках.

Прямо от судебного следователя Иван Корнильевич поехал к графу Стоцкому.

Тот только что встал, когда резкий, непрерывающийся электрический звонок, раздавшийся в квартире, заставил его воскликнуть:

— Кого это черт несет спозаранку?

Через минуту это недоразумение разрешилось. Перед ним стоял бледный, с блуждающим взором воспаленных, заплаканных глаз молодой Алфимов.

— Что с тобой? — воскликнул, казалось, с неподдельным испугом граф Сигизмунд Владиславович.

— Все кончено, — скорее упал, нежели сел

в кресло Иван Корнильевич и, закрыв лицо руками, зарыдал.

— Что такое? Что такое? Расскажи! В толк не возьму...

— Все кончено... Я сознался...

— Кому? В чем?

— Следователю.

— Следователю? Ужели отец... Корнилий Потапович...

— Он меня выгнал.

— Значит, он не жаловался?

— Нет.

— А капитал?

— На него я получу чек.

— И сколько у тебя?

— Восемьсот с чем-то тысяч.

Граф Сигизмунд Владиславович энергично плюнул.

— Дурак!

Это далеко не лестное обращение по его адресу заставило молодого Алфимова поднять голову.

— Что такое, дурак...

— Дурак, значит дурак! — со смехом отвечал граф Стоцкий.



— Я не понимаю...

— И не мудрено, потому что ты дурак...

— Объяснись.

— Чего тут объяснять... У него состояние почти в миллион, он распустил нюни... Я думал, что он, по крайней мере, прижмет тебя и заставит отдать половину, чтобы не возбуждать дело... И отдал бы...

— Отдал бы... — как эхо повторил Иван Корнильевич.

— То-то и оно-то... А тут все-таки благополучно кончилось, а он ревет...

— Хорошо благополучно, на мне тяготеет проклятие матери...

— Бабьи сказки...

Уверенный тон графа Сигизмунда Владиславовича, с которым он разбивал все доводы молодого Алфимова, подействовал на последнего ободряюще, и он начал обсуждать свое будущее.

— Ну куда же мне деваться?

— Как куда?

— Отец приказал сегодня же выехать из его дома.

— Эка невидаль... У тебя теперь деньги

есть?

— Тысячи четыре найдется.

— Так о чем же думать... Против меня дверь об дверь освободилась на днях квартира, сними и переезжай.

— Вот это хорошо, очень хорошо. Но как же без мебели?

— О, ты, простота... Мебель поставит мебельщик. Я сам это тебе устрою, а ты поезжай домой, забирай свои собственные пожитки и переезжай пока ко мне. Завтра квартира будет готова, и мы справим такое новоселье, что чертям тошно будет... Не забудь заехать за чеком... А теперь... пойди умойся, а то лицо заплаканное... точно у бабы, а я прикажу позвать старшего дворника.

Граф позвонил и отдал явившемуся слуге распоряжение, а Иван Корнильевич последовал совету своего ментора и, умывшись, вместе с ним вошел в кабинет.

С явившимся старшим дворником дело было сделано в пять минут, он получил плату за месяц вперед и объяснил, что квартира вся вычищена и приведена в порядок.

— Хоть сегодня извольте переезжать, —

сказал старший дворник.

— Сегодня и переедут, — заметил граф Стоцкий.

Дворник ушел.

— Ну, теперь поезжай домой, заезжай за чеком и переезжай ко мне, а я оденусь и пойду к мебельщику... Ты полагаешься на мой вкус? В грязь лицом не ударю.

— Конечно, полагаюсь... У тебя бездна вкуса, я это знаю.

— Почему же ты знаешь?

— По твоей обстановке.

— А-а...

Иван Корнильевич простился и уехал.

Лакей молодого Алфимова положительно вытаращил глаза, когда получил от возвратившегося барина приказание укладывать платье, белье и вещи.

Он стоял даже некоторое время в недоумении.

— Слышишь, я сегодня же переезжаю... Надо нанять ломового... Вот адрес...

Он вынул из кармана адрес графа Стоцкого и подал его лакею.

— Сегодня-с? — переспросил слуга.

— Да, сегодня, сейчас.

— Слушаю-с.

Укладка вещей заняла часа два. Иван Корнильевич нервно ходил по своему кабинету и спальне.

В его уме вертелась фраза графа Сигизмунда Владиславовича: «Заезжай за чеком».

Он несколько раз даже решался ехать в контору, но в последнюю минуту отказывался от этого решения.

Ведь чек надо получить от отца лично, а видеться с ним, по крайней мере сегодня, он положительно не мог.

Нервы его были слишком возбуждены.

Глаза то и дело наполнялись слезами, когда он смотрел на за несколько лет привычную для него обстановку дома человека, которого он, по завещанию матери, называл отцом.

«Выгоняют, как... вора...» — с трудом даже мысленно произносил он это страшное слово.

«Вор... и... клеветник...» — продолжал он бичевать самого себя.

«Не легче ли было бы, — думалось ему, — если бы отец совсем не отдал бы денег? Если

бы я остался нищим, пошел бы работать и в этом нашел бы себе наказание. Наказание примиряет. А то еще было бы мне лучше, если бы меня посадили в тюрьму, судили и осудили бы».

Такие отрывочные, странные мысли бродили у него в голове в то время, как Василий — так звали его лакея — запаковывав вещи, укладывая в сундук и чемодан белье и платье.

Изредка он задавал молодому барину вопросы, которые отвлекали Ивана Корнильевича от его тяжелых дум, и он отвечал на них.

Когда все было уложено и упаковано и Василий отправился за извозчиком, до кабинета молодого Алфимова донесся какой-то шум, шаги.

Он догадался, что это вернулся отец, и даже сел в кресло закрыл глаза.

«Вот сейчас придет сюда... Опять объяснения, упреки», — пронеслось в его уме.

В соседней комнате, действительно, минут через десять послышалась чья-то тяжелая походка.

Кто-то вошел в кабинет.

Иван Корнильевич продолжал сидеть с закрытыми глазами. Вошедший почтительно кашлянул.

«Это не отец», — мысленно решил молодой Алфимов и открыл глаза.

Перед ним стоял камердинер его отца — Игнат — и на подносе подал ему конверт без всякой надписи.

— От Корнилия Потаповича.

— Хорошо, — сдавленным шепотом произнес Иван Корнильевич и взял конверт.

Игнат удалился.

Молодой Алфимов разорвал конверт.

В нем оказался чек на государственный банк на восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок рублей.

Он облегченно вздохнул.

Чаша свиданья с отцом, по крайней мере на сегодняшней день, миновала.

Возвратившийся Василий стал выносить вещи.

Иван Корнильевич, бросив последний взгляд на свои комнаты, вышел.

Лакей в передней и швейцар в подъезде проводили его с почтительным удивлением.

Они уже знали от Василия, что молодой барин переезжает из дома родителя, но причина такого внезапного переезда была для них неведома, и они положительно недоумевали.

С деньгами, действительно, в Петербурге можно сделать почти мгновенно все.

К вечеру уже квартира Ивана Корнильевича была обмоблирована и имела совершенно комфортабельный вид.

Новая обстановка и новизна положения изменили к лучшему состояние духа молодого человека.

Устроившись в своем новом помещении, хотя и не совсем разобравшись, он весело поужинал с графом Стоцким у Контана и, вернувшись домой, сладко заснул.

Не успел он проснуться на другой день, как к нему пришли от Сигизмунда Владиславовича.

— Его сиятельство вас просят к себе кушать кофе.

— Хорошо, сейчас.

Сделав наскоро свой туалет, Иван Корнильевич поспешил к графу, которого застал в кабинете с газетою «Новости» в руках.

— Однако, твой тятенька рассвирепел.

— А что? — дрогнувшим голосом спросил молодой Алфимов.

— Полюбуйся.

Граф передал ему газету.

Иван Корнильевич прочел объявление Корнилия Потаповича и побледнел.

— Это ужасно! — воскликнул он.

— Положим, особенно ужасного ничего нет.

— Как так?! Он меня опозорил.

— Разве ты хочешь открывать банкирскую контору?

— Нет.

— В таком случае, какое тебе дело, какого о тебе мнения господа финансовые деятели? Поймут это объявление только одни они.

— А общество?

— Общество подумает, что ты кутил, отдавая дань молодости, а деспот-отец принял одну из мер, практикуемую среди купечества для обуздания непокорных детищ... Впрочем, общество завтра позабудет эту публикацию.

— Так-то оно так, но...

Иван Корнильевич не договорил и задумался.



мался.

Несмотря на утешение своего ментора-друга, публикация произвела на него ошеломляющее впечатление.

Он снова поддался унынию, и никакие меры, принимаемые графом Стоцким, не достигали цели и не могли заставить его вернуться к прежней веселой жизни.

Молодой Алфимов или сидел дома, или же был в квартире Сигизмунда Владиславовича, ходя, как маятник, из угла в угол и действуя на нервы его сиятельству.

Последний решил взять его за границу, куда он собирался с графом Вельским, Гемпелем и Кирхофом.

В тот вечер, когда к графу Сигизмунду Владиславовичу должен был заехать Савин, он первый раз заговорил о заграничной поездке с молодым Алфимовым.

Тот ухватился за эту мысль.

— Но, говорят, что эту публикацию поместили и в иностранных газетах, — заметил Иван Корнильевич.

— Пфу... Не думаешь ли ты, что Европе только и дела, что читать помещаемые о тебе

публикации? Русским языком тебе твержу, что и здесь все ее забыли.

В передней раздался звонок.

— Это, наверно, Савин... По делу, — заметил граф Стоцкий.

— Я уйду к себе черным ходом, — заторопился Алфимов.

— Хорошо. Я зайду потом к тебе, поедем ужинать.

— Пожалуй.

— Ну, слава Тебе, Господи! Умнеть начал! — воскликнул Сигизмунд Владиславович.

## XXIV БЕГЛЯНКА

Назначенный на другой день вечер у полковницы Усовой был чрезвычайно оживлен.

Вера Семеновна была в каком-то возбужденно веселом настроении и вызывала шепот восторга собравшихся ценителей женской красоты.

Капитолина Андреевна была довольна и вечером, и младшей дочерью.

У Екатерины Семеновны была на этот ве-

чер тоже серьезная миссия, порученная ее матерью и графом Стоцким — серьезно увлечь Ивана Корнильевича Алфимова, которого граф Сигизмунд Владиславович всеми правдами и неправдами успел затащить на вечер к полковнице.

Он передал Капитолине Андреевне о попавшем в полное распоряжение молодого человека громадном капитале, а у ней уже текли слюнки в предвкушении знатной добычи.

Она рассыпалась перед графом Стоцким в благодарностях за рекомендацию клиентов и в особенности за дочь, которая, по ее мнению, была близка к осуществлению возлагаемых на нее любящею матерью надежд.

— Век не забуду вам этого, ваше сиятельство, — говорила полковница, — вы положительный волшебник, ведь как вдруг под вашим влиянием развернулась девчонка, любо-дорого глядеть.

Они стояли в глубине залы, из одного угла которой до них громкий смех Веры Семеновны.

Для более наблюдательного и внимательного слушателя в этом смехе было что-то ис-

терическое, но обрадованная поведением дочери мать не заметила этого.

— Погодите хвалить, захвалите. Конец венчает дело... — полушутя, полусерьезно отвечал граф Сигизмунд Владиславович.

— Нет, уж не говорите, вы молодец... Благодарю! Благодарю.

— И мой птенец, кажется, развернулся, — заметил граф Стоцкий, указывая глазами на проходившую парочку: Ивана Корнильевича и нежно опирающуюся на его руку Екатерину Семеновну.

— Об этом не беспокойтесь... Катя маху не даст... Не таких к рукам прибирала и с руки на руку перебрасывала, — с материнской гордостью заметила Капитолина Андреевна и отошла от графа.

Он посмотрел на часы, затем оглянулся кругом.

Был двенадцатый час в начале, вечер был в полном разгаре.

— Пора! — шепнул он незаметно Вере Семеновне, проходя мимо нее, и отправился в гостиную, где снова уселся около полковницы и начал занимать ее разговором о способе по-

живиться на счет молодого Алфимова.

Та слушала с восторгом, и перспектива наживы в радужных красках витала перед ее глазами.

Вера Семеновна между тем незаметно вышла из залы, прошла через кухню в сени, где ожидала ее горничная, подкупленная графом Сигизмундом Владиславовичем, которая накинула ей на голову платок, а на плечи тальму и проводила по двору до ворот.

Выйдя из калитки, молодая девушка робко остановилась и огляделась кругом себя.

— Вера Семеновна... вы? — раздался над ее ухом голос.

— Я...

— Едемте...

Она подала Николаю Герасимовичу Савину — то был он — дрожащую руку, и он подвел ее к стоявшей у ворот карете, отпер дверцу, посадил ее в экипаж, впрыгнул в него сам и крикнул кучеру:

— Пошел!

Карета покатилась.

— Ты со мной!.. Со мной!.. Моя... Навеки... Дорогая моя!.. — взял ее за руки Савин.

— Ты меня защитишь от них, от всех?.. — прошептала она, прижимаясь к нему.

— Тебя добудут они только через мой труп! — отвечал он, наклоняясь к ней ближе.

— Милый!..

— Божество мое!..

В карете раздался звук поцелуя.

— Куда мы едем?

— Ко мне...

— К тебе!..

Карета остановилась у подъезда «Европейской» гостиницы.

Лакей отпер и распахнул дверь занятого утром Николаем Герасимовичем нового помещения.

Оно было все освещено.

В первой же комнате был накрыт стол на два прибора, уставленный всевозможными закусками и деликатесами, в серебряных вазах стояли вина, дно серебряного кофейника лизало синеватое пламя спирта.

Лакей, сняв с прибывших верхнее платье, вышел.

— Ты живешь здесь?.. Как хорошо!.. — с наивным восторгом воскликнула молодая де-

вушка.

— Мы будем жить здесь, — поправил он ее.

— Мы, — повторила она и вдруг обняла его за шею и крепко поцеловала.

Он было схватил ее в свои объятия, но она выскользнула из его рук и бегом побежала в другую комнату, то был ее будуар... Глаза у нее разбежались от туалетных принадлежностей, которые были установлены на изящный столик из перламутра с большим зеркалом в такой же раме; платяной шкаф был отворен, в нем висело несколько изящных платьев и среди них выдавался великолепный пеньюар.

— Это чьи же платья? — наивно спросила она.

— Твои.

— Мои?

— Да, они сделаны совершенно по мерке...

Граф Сигизмунд Владиславович недаром спрашивал у тебя адрес твоей портнихи.

— А, помню, так вот для чего... Она стала рассматривать платья.

— А дальше еще комната?

— Да.

— Какая?

— Спальня.

— Спальня?

— Но пойдем, дорогая моя, чего-нибудь покушать, выпить...

— Я ничего не хочу...

— Ну, для меня...

— Для тебя, изволь...

Он снова повел ее в первую комнату, они сели рядом.

Через каких-нибудь пять минут, несмотря на то, что она заявила, что ничего не хочет, Вера Семеновна с аппетитом пробовала все поставленные блюда и пила второй бокал шампанского.

Николай Герасимович был на седьмом небе.

Все дороги ведут в Рим, и все подобные свиданья кончаются одинаково.

Вернемся в квартиру матери влюбленной беглянки.

Исчезновение молодой девушки очень скоро обратило на себя общее внимание.

— Куда скрылась божественная Вера Семеновна?

— Куда исчезла наша царица бала?



— Куда закатилось наше красное солнышко?

Эти сетования дошли до Капитолины Андреевны, занятой разговором с графом Сигизмундом Владиславовичем.

Окончив разговор, она встала и прошлась по залам и гостиным. Граф сопровождал ее.

— На самом деле, куда девалась Вера? — с недоумением сказала она, ни к кому собственно не обращаясь.

— Мы сами недоумеваем... — отвечали ей некоторые из мужчин.

— Вера Семеновна жаловалась мне на головную боль, — заметил граф Стоцкий, — быть может, она прошла к себе.

— Опять за свое принялась... — раздражительно сказала Капитолина Андреевна. — Дурь нашла... каприз... Погодите, я сейчас приведу ее к вам, господа...

Полковница быстро направилась во внутренние комнаты. Граф Стоцкий нагнал ее в коридоре.

— Капитолина Андреевна, на два слова.

— Что такое?

Она проходила мимо желтого кабинета,

того самого, в котором граф Стоцкий имел неприятное первое свидание с Кирхофом, тогда еще бывшим Кировым.

— Зайдем сюда...

Капитолина Андреевна и граф Сигизмунд Владиславович вошли в кабинет.

Последний плотно притворил дверь и запер ее на ключ.

— Что такое? Что это значит? — воскликнула полковница.

— Садитесь и выслушайте.

Капитолина Андреевна села, с тревогой смотря на своего собеседника.

Сел и граф.

— Необходимо, чтобы вы вернулись в залу, не заходя к Вере Семеновне, и объявили гостям, что она внезапно заболела.

— Это почему? — воскликнула полковница. — Я ее, мерзкую, заставлю выйти.

— Это невозможно.

— Почему?

— Очень просто, потому что ее здесь нет.

— Как здесь нет? Где же она?

— Это я вам скажу тогда, когда вы дадите мне ее бумаги.

— Вы с ума сошли!

— Как хотите... Идите тогда, ищите ее по дому, объявляйте всем о бегстве вашей дочери... Заявляйте полиции... Впрочем, последнего, я вам делать не советую, для вас полиция нож обоюдоострый. А я, я уйду...

Он двинулся было к двери.

Она вскочила и загородила ему дорогу.

— Отдайте мне дочь! — крикнула она.

— Потихе, потихе, могут услышать... Меня вы не запугаете.

Он взял ее за руки и почти бросил обратно в кресло.

— Угодно меня слушать или я ухожу?.. — спросил он ее.

— Я слушаю... — покорно отвечала она.

— Ваша дочь, при моем содействии, бежала из дому с одним из моих друзей, в которого она влюблена.

— Это с Савиным!.. — взвизгнула Капитолина Андреевна.

— Хотя бы с Савиным... Это безразлично...

— Но он гол, как сокол... У него французка содержанка!

— Гол не гол, а денег у него теперь оста-

лось немного... Что касается француженки, то они разошлись, и она уехала вчера из Петербурга.

— Моя дочь ее заменила... Несчастливая! — мелодраматично воскликнула полковница.

— Не увлекайтесь материнским чувством, — с иронической улыбкой заметил граф Стоцкий, — ведь вы же и готовили ее, чтобы она кого-нибудь при ком-нибудь заменила, так как ваши избранники все люди пожилые и, конечно, не живут без женщин... Дело только в том, что ее судьбой распорядились не вы, а я... Вы меня не раз называли другом.

— Хорошо друг...

— Вы измените ваше мнение, когда дослушаете до конца. Савину она очень понравилась... По моим с ним отношениям я не мог отказать ему в содействии соединить их любящие сердца... Долго их связь не продолжится, а между тем он лучше всякого другого сделает из нее львицу полусвета, и я ручаюсь вам, что старик Алфимов убьет в нее все состояние, из которого, конечно, значительная толика перепадет и нам с вами... С финансо-

вой точки зрения вы не в убытке. Зачем же поднимать скандал...

По мере того, как он говорил, лицо Капитолины Андреевны приобретало постепенно прежнее спокойное выражение, и наконец она даже сказала:

— Если бы это было так...

— Это так и будет... Мы не первый год работаем вместе, и, кажется, никогда мои советы не были вам в ущерб.

— Я и не говорю этого... С первого раза меня это поразило и взволновало... Если вы говорите, что этот ее роман долго не продолжится, то пусть ее позабавится, поиграет в любовь, я ничего не имею, но все же сделаю вид, что сержусь на нее... Когда она вернется, то будет послушнее.

— Умные речи приятно слушать... Значит, давайте мне бумаги и объявите гостям, что она нездорова.

— Ох, боюсь я, как бы она совсем не пропала для меня, ведь мать я, сколько заботы с нею было, расходов...

— Покроем сторицей, говорю вам.

— Я вам верю...

Граф отпер дверь. Они вышли.

Капитолина Андреевна прошла в спальню и через несколько минут вынесла дожидавшемуся ее в коридоре графу Сигизмунду Владиславовичу метрическое свидетельство Веры Семеновны.

— Извините мою девочку... Она и верно расхворалась... Жар, озноб... — объявила через минуту в зале и гостиной полковница.

Все выражали искреннее сожаление.

На другой день утром граф Стоцкий послал Николаю Герасимовичу метрическое свидетельство его новой подруги жизни.

В описываемое нами время метрическое свидетельство заменяло для несовершеннолетних девушек вид на жительство, и полиция свободно прописывала их.

Это только и было нужно Савину для избежания недоразумений с администрацией гостиницы.

## XXV

### СОВРЕМЕННАЯ ПЕРИКОЛА

Время летело со своею ледяною бесстрастностью, не обращая никакого внимания ни на комедии, ни на трагедии, ни на трагикоме-

дии, совершающиеся среди людей, ни на их печали и радости.

Через месяц после возвращения Дмитрия Павловича Сиротинина в банкирскую контору Алфимова в почетном звании главного управляющего состоялась его свадьба с Елизаветой Петровной Дубянской.

Свадьба была более, чем скромная.

Венчание происходило в церкви святого Пантелеймона, а оттуда немногочисленные приглашенные, в числе которых были Аркадий Семенович, Екатерина Николаевна и Сергей Аркадьевич Селезнев, Долинский, Савин и Ястребов с женой, приехали в квартиру молодых, где, выпив шампанского и поздравив новобрачных, провели вечер в дружеской беседе и разошлись довольно рано, после легкой закуски.

Сиротинин переехал в том же доме на Гагаринской улице, но только занял квартиру в бельэтаже, более просторную и удобную, с парадным подъездом с улицы.

Его мать, по настоянию невесты и сына, осталась жить с ними.

Корнилий Потапович, по праву посажен-

ного отца, подарил невесте великолепный изумрудный парюр, осыпанный крупными бриллиантами, стоимостью в несколько тысяч.

Шаферами у невесты был молодой Селезнев, а у жениха — Сергей Павлович Долинский.

Когда гости разъехались и молодые остались одни в гостиной — Анна Александровна занялась с прислугой приведением в порядок столовой — Елизавета Петровна подошла к мужу и, положив ему руки на плечи, склонилась головой ему на грудь и вдруг заплакала.

— Что с тобой, Лиза, дорогая, милая?.. — тревожно заговорил Дмитрий Павлович.

— Ничего, Митя, ничего... Это так, хорошо, хорошо...

— Что же тут хорошего — плакать?

— Не говори, молчи. Дай поплакать, это слезы счастья... Ведь всего месяц назад я не могла думать, что все так хорошо, скоро и счастливо устроится... Ведь сколько я пережила за время твоего ареста, один Бог знает это, я напрягала все свои душевные силы, чтобы казаться спокойной... Мне нужно было это



спокойствие, чтобы обдумать план твоего спасения, но все-таки сомнение в исходе моих хлопот грызло мне душу... А теперь, теперь все кончено, ты мой...

Елизавета Петровна подняла голову, обвиняла голову мужа своими руками и впиалась в него счастливым взглядом любящей женщины.

На глазах ее еще были слезы, напоминавшие капли летней росы на цветах, освещенных ярким летним утренним солнцем.

— Сокровище мое, как я люблю тебя... Сколько счастья ты уже дала мне и сколько дашь впереди...

Об обнял ее.

Губы их слились в нежном, чистом, святом поцелуе.

— Едва ли в Петербурге, что я говорю, во всем мире сыщется пара людей счастливее нас! — восторженно воскликнул он.

— Не говори так... Не сглазь... — с суеверной тревогой проговорила она.

— Такое счастье нельзя сглазить... Оно лежит не вне нас, оно не зависит ни от людей, ни от обстоятельств, оно — внутри нас, в на-

шем чувстве, и это счастье взаимной любви может кончиться только смертью...

Как бы подтверждая слова своего мужа, Елизавета Петровна снова склонила голову к нему на грудь и крепко прижалась к нему.

В квартире было тихо.

Разъехавшиеся из квартиры Сиротининых, из этого вновь свитого гнездышка, гости были все под тем же впечатлением будущего счастья молодых, счастья, уверенность в котором, как мы видели, жила в сердцах новобрачных.

Все уехали домой в прекрасном расположении духа, подышав этой атмосферой чистого чувства, царившего в квартире Сиротининых, и лишь в сердце Николая Герасимовича Савина нет-нет да и закипало горькое чувство.

Сердце его было, кроме того, переполнено каким-то тяжелым предчувствием.

Он не сознался бы в этом самому себе, но ему была завидна эта перспектива тихого счастья, развертывавшегося перед Сиротиниными; его, Савина, горизонт между тем заволакивался грозными тучами.

Он с грустью думал о будущем.

Ослепленные страстью глаза прозрели. Он увидал, что его новая подруга жизни из «неземного созданья» обратилась в обыкновенную хорошенькую молоденькую женщину, пустую и бессердечную (последними свойствами отличаются, за единичными исключениями, все очень хорошенькие женщины), да к тому же еще всецело подпавшую под влияние своей матери.

Капитолина Андреевна Усова через несколько дней после побега дочери явилась в «Европейскую» гостиницу, заключила в свои материнские объятия сперва свою «шалунью-дочь», как она назвала ее, а затем и Савина и благословила их на совместную жизнь.

— И молодец он у тебя, люблю таких, сразу полонил тебя, — обратилась она к сперва смущенной ее появлением, а затем обрадовавшейся дочке, — с ним не пропадешь.

Полковница осталась с «детьми», как она назвала их, пить кофе и уехала, обещая навещать и пригласив к себе.

С этого и началось.

Насколько молодая девушка была, по выражению Капитолины Андреевны, «упориста» относительно ее, настолько молодая женщина стала в руках интриганки-матери мягка, как воск.

Это видел Николай Герасимович, но был бессилён бороться с тлетворным влиянием Усовой, которую вдруг почему-то со всею силою дочерних чувств полюбила Вера Семеновна.

— Милая, добрая мама, она простила меня, — твердила молодая Усова, — как она меня любит, как была она права, говоря, что желает мне добра.

И это убеждение в высоких нравственных качествах матери было невозможно выбить из юной головки.

Влияние Капитолины Андреевны вскоре сказалось. Молодая женщина стала мотать деньги направо и налево, как бы с затаенной целью вконец разорить своего обожателя.

К чести Веры Семеновны надо сказать, что у нее самой такой цели не было, она была лишь исполнительницей ловких наущений своей матери.

Оставшиеся у Савина пятнадцать тысяч приходили к концу, и он с горечью в сердце чувствовал, что ему вскоре придется отказывать своей «Верусе», как звал он Веру Семеновну, в тех или других тратах.

Первый пыл страсти миновал, а восставший денежный вопрос способный, как известно, парализовать и последние вспышки этой страсти, заставил поневоле Николая Герасимовича делать невыгодное для Веры Семеновны сравнение с Мадлен де Межен.

Савин подчас тяжело вздыхал при этом воспоминании.

Последний поступок любящей француженки окончательно доконал его, и вместе с тем, еще более возвысил в его глазах так недавно близкую ему женщину.

В первые дни восторгов любви Николай Герасимович совершенно позабыл о своем намерении написать Мадлен де Межен об окончательном с ним разрыве.

В минуты даже кажущегося счастья человек не хочет вспоминать о тяжелых обязанностях жизни, он старается отдалить их.

Так было и с Николаем Герасимовичем,

писать письмо о разрыве когда-то безумно любимой им женщине было именно этою тяжелою обязанностью.

Мадлен де Межен его предупредила, как предупредила и в вопросе о своем отъезде из Петербурга.

Через неделю после того, как он проводил ее на Николаевский вокзал, на его имя было получено заказное письмо с русским адресом, написанное писарскою рукою.

Он распечатал конверт и в письме узнал почерк Мадлен.

В письмо вложен был перевод на государственный банк в пятнадцать тысяч рублей на его имя.

Николай Герасимович побледнел при виде этой бумажки.

Он понял, что Мадлен де Межен возвращает ему его деньги.

С жадностью он стал читать письмо.

В нем молодая женщина, видимо, хладнокровно сообщала ему, что обстоятельства ее жизни изменились, что она не уезжает во Францию, а остается в России и едет в день написания письма в Одессу, где получила

очень выгодный ангажемент в опереточную труппу. Деньги она возвращает, думая, что ему они понадобятся скорее, чем ей, так как она в настоящее время совершенно обеспечена.

«Возврат к прошлому, — между прочим говорилось в письме, — невозможен, так как если воспоминание об моей артистической деятельности в Петербурге, которую я предприняла исключительно для тебя, вызывало в тебе сомнения, омрачившие последние дни нашей жизни, а между тем я была относительно тебя чиста и безупречна, то о настоящем времени я в будущем уже не буду иметь право сказать этого».

«Дай Бог, — заканчивалось письмо молодой женщины, — чтобы m-lle Вера дала тебе больше счастья, нежели могла дать я, хотя искренно этого хотела. Прощай».

Письмо выпало из рук Николая Герасимовича, он откинулся на спинку кресла, стоявшего у письменного стола, за которым он сидел, и несколько минут находился в состоянии беспамятства, как бы ошеломленный ударом грома.

«Она все узнала... Теперь я понимаю ее отъезд... Но как?..» — мелькнуло у него в голове, когда он очнулся.

Он вспомнил найденное им под чернильницей письмо Веры.

«Она прочла его...» — догадался он.

Теперь только, по прочтении письма молодой женщины, он с ужасом почувствовал, что в его сердце, действительно, таилась надежда снова вернуть ее себе.

Теперь все кончено. Последние строки рокового письма — это прозрачное признание — вырыло между ним и ею непроходимую пропасть.

Взгляд его упал на валявшийся на столе перевод.

Он выдвинул ящик письменного стола и бросил его туда.

Он решил узнать адрес Мадлен и вернуть ей ее деньги.

«Я напишу ей, — с наблевшею злобою подумал он, — что если она берет плату за настоящее, то что же мешает ей взять эту плату и за прошлое... Пятнадцать тысяч хороша плата даже для „артистки“».



Он с яростью подчеркнул мысленно последнее слово.

Но, увы, все возраставший аппетит «Веруси» к нарядам и драгоценностям заставил его вскоре изменить решение.

По переводу были получены деньги, и ко дню свадьбы Сиротинина с Дубянской от них оставалось всего около четырех тысяч рублей.

Окончательное безденежье стояло перед Савиным близким грозным призраком.

Все, что было им за последнее время пережито и переживаемо, сделало то, что, возвращаясь из квартиры молодых Сиротининых, этого гнездышка безмятежного счастья, Николай Герасимович, повторяем, чувствовал зависть, и это чувство страшною горечью наполняло его сердце.

«Разве я не мог бы точно так же быть счастливым с Мадлен?» — пронеслось в его голове.

На счастье с Верой Семеновной он и не рассчитывал.

Он понимал, что связь их основана на извлекаемых этой женщиной — так скоро пре-

образившейся в «петербургскую львицу-акулу» — из него выгодах, и что с последней вынутой им из кармана сотенной бумажкой все здание их «любви» — он мысленно с иронией произнес это слово — вдруг рушится, как карточный домик.

За последнее время предчувствие этой катастрофы с его «зданием любви» все чаще и чаще посещало его сердце.

При возвращении от Сиротининых последнее как-то особенно было полно этим предчувствием. Сердце не обмануло Николая Герасимовича.

Возвратившись в гостиницу, он был удивлен, что встретивший его лакей подал ему ключ от его отделения.

Савин вздрогнул.

— А где же барыня? — сдавленным голосом спросил он.

— Барыня уехали, за ними приехала их мамаша, они уложили вещи...

— Хорошо, ты мне не нужен... — не дал ему договорить Николай Герасимович.

Он сам отпер дверь и вошел.

— Там вам письмо... — успел доложить ему

вдогонку слуга.

На письменном столе Савин увидел лежавшее на нем письмо Веры Семеновны.

Николай Герасимович дрожащей рукой распечатал его. В письме было лишь несколько строк:

*«Прости, что я уезжаю от тебя, не объяснившись. Объяснения повели бы лишь к ссоре.*

*Ты сам приучил меня к роскоши и исполнению всех моих прихотей. Отвыкнуть от этого я не могу, да и не хочу.*

*Я молода. У тебя же, я это знаю достоверно, нет больше средств для продолжения такой жизни, какую мы вели. Иначе же я жить не могу, а потому и приняла предложение Корнилия Потаповича Алфимова и переехала в купленный им для меня дом.*

*Ты, надеюсь, меня не осудишь. Человек ищет, где лучше, а рыба — где глубже.*

*Вера».*

В этом письме сказалась и мать, и дочь.

Оно произвело на Савина впечатление удара по лицу, но вместе с оскорблением, на-

несенным ему эту женщиною циническим признанием, что она жила с ним исключительно из-за денег, он почувствовал, что письмо вызвало в нем отвращение к писавшей его, хотя бы под диктовку мегеры-матери.

Глубоко вздохнув, как человек освободившийся от тяжести, он разорвал в мелкие клочки прочтенное письмо и стал ходить по комнате.

Постепенно к нему возвращалось спокойствие.

«Не гнаться же за ней... Ее дорога известная... Я взял от нее лучшее, и теперь, бросив ее в толпу, оплатил этой толпе за свою разбитую жизнь... О, Мадлен, на кого я променял тебя!..»

Он не спал всю ночь, обдумывая свое будущее. Планы за планами роились в его голове.

На другой день с почтовым поездом Николаевской железной дороги он уехал из Петербурга, решив никогда не возвращаться в этот город каменных домов и каменных сердец.

## **XXVI**

### **ДВЕ СМЕРТИ**

Владимир Игнатьевич Неелов перенес ампутацию блистательно, а механическая фальшивая нога, выписанная из Парижа, давала ему возможность ходить, почти как здоровому.

Любовь Аркадьевна была для него самой внимательной сиделкой, но как только опасность миновала, она стала избегать его.

Он сам почувствовал, насколько его общество тягостно для нее, и решился оставить ее одну в имении.

— Здесь ты можешь жить, как тебе угодно, а я не стану отравлять твое существование своим присутствием. Поеду искать наслаждений, которые еще доступны калеке. Но если ты вздумаешь вызвать меня, то я явлюсь, — сказал он ей.

Она ничего не ответила на это.

Он уехал на другой день после этого заявления. Имение, вследствие безалаберности графа Вельского и небрежности Неелова, было запущено.

Лучшие из старых служащих, недовольные новыми порядками, разошлись.

Любовь Аркадьевна тосковала, и чтобы за-

глушить горе, поставила себе целью восстановить порядок в именье и принялась за хозяйство.

Владимир Игнатьевич отправился в Москву и поселился там.

Анна Павловна Меньшова содержала в Белокаменной совершенно такой же тайный увеселительный и игорный дом, как полковница Усова в Петербурге, с тою только разницею, что в виду щепетильности москвичей доступ к ней был гораздо труднее.

Она жила в одном из первых построенных в описываемое нами время на петербургский образец домов, так называемых Петровских линиях, занимая громадную и роскошную квартиру на третьем этаже.

Неелов, обжившись в Москве, был с нею в хороших отношениях и даже успел войти в соглашение относительно известного процента с выигранного им рубля, за что ему предоставлялось доставлять карты.

В описываемый нами вечер он был, по-видимому, особенно в духе, врал, болтал разный вздор и согласился метать банк только по усиленной просьбе молодого Лудова.

Данила Иванович Лудов был одним из полированных отпрысков старого московского купечества.

Едва достигнув совершеннолетия, он остался один распорядителем миллионов своего умершего ударом в Сандуновских банях тятеньки. Маменьку Господь прибрал, по его выражению, годом ранее.

Вырвавшись из ежовых тятенькиных рукавиц, молодой Лудов тотчас же поехал за границу, людей посмотреть и себя показать.

Об его заграничном житье-бытье ходило после по Москве множество анекдотов.

Рассказывали, например, что он несколько дней подряд хотел поехать на конке в местность Парижа, где он не бывал, в «Комплет».

Вскакивал на конки, где была эта надпись, но был выпроваживаем кондуктором, с одним из которых он вступил в драку и попал в полицию.

Там ему только разъяснили, что надпись на конке «Комплет» (Complet), которую он принял за неизвестную ему местность Парижа, куда отправляется вагон, означала, что

конка «полна» и что мест более нет.

В том же Париже, по приезде, он в ресторане обратился к лакею за разъяснением, что такое омары — при жизни у тятеньки он не имел понятия ни о каких заморских кушаньях.

— Это род раков, — отвечал слуга.

— Дай-ка мне дюжину.

— Дюжину!.. — повторил удивленно гарсон, но пошел исполнять приказание.

Через некоторое время Лудову принесли двенадцать омаров, на двенадцати блюдах.

Лудов затем совершил кругосветное путешествие, но это не помешало ему вернуться в Москву таким же купеческим обломом, каким он уехал, лишь всегда одетым по последней европейской моде.

Впрочем, он привез с собою прирученного тигра, который долгое время служил предметом толков досужих москвичей.

Этот-то Данила Иванович Лудов в описываемое нами время прожигал уже в родной Москве тятенькины капиталы.

Кроме Лудова был еще обрусевший англичанин мистер Пенн, приятель Данилы Ивано-



вича и тоже большой оригинал, всегда ходивший с хлыстом, как отличительным знаком знатока лошадей и охотничьих собак.

На собачьих выставках в московском манеже мистер Пенн был постоянным экспертом.

Было и еще несколько человек из представителей «веселящейся Москвы».

Игра завязалась легкая, веселая, ставка была скромная.

Только Лудов и Пенн заметно волновались и сосредоточенно следили за игрой.

— Дама бита шесть раз... Ставь на даму, — шепнул Даниле Ивановичу мистер Пенн.

— Дама пять тысяч! — крикнул Лудов.

— Ого... — проговорил Неелов, принимаясь изящно и непринужденно метать карты. — Десятка — туз, осмерка — валет, тройка — семерка, дама... бита... Ну, вам огорчаться этим, Данила Иванович, нечего. Никакой даме против вас долго не устоять... Ставьте еще.

— Дама — пять тысяч!

— К чему ты горячишься?.. — заметил ему мистер Пени. — При таких условиях игра перестанет быть забавой.

— Владимир Игнатьевич, мечите, — упрямо отрезал Лудов.

Дама была бита.

— Дама десять тысяч! — отчеканил Данила Иванович. Кругом поднялся ропот, но Лудов настоял на своем. Неелов стал метать.

Дама опять была бита.

— Дама — двадцать тысяч! — проговорил Лудов, почти с бешенством.

— Послушай, оставь... — начал было мистер Пенн.

— Если ты намерен мне мешать, то убирайся отсюда! — крикнул Данила Иванович.

— Нет, мистер Пенн прав... Это безумие, — подтвердили другие.

— Я никого и ничего знать не хочу! — кричал Данила Иванович в исступлении. — Владимир Игнатьевич, мечите. Дама — двадцать тысяч!

Неелов притих, пожал плечами и стал метать. Дама опять была бита.

Мистер Пенн проиграл тоже около трех тысяч рублей. Он поставил последние бывшие у него в кармане пятьсот рублей.

Карта была бита.

Вдруг мистер Пенн вскрикнул:

— Карты меченые! Я сейчас только увидал это, как увидал и то, что вы передернули.

Неелов вскочил и быстро, вместо ответа, стал собирать со стола выигранные деньги.

— Ах, ты мерзавец! — заревел рассвирепевший англичанин и стал бить Неелова бывшим в его руках хлыстом.

В зале поднялся шум.

Владимиру Игнатьевичу удалось добраться до лестницы, но здесь он остушился со своею искусственной ногой, кубарем скатился вниз и остался без движения на асфальтовом полу швейцарской с разбитой головой.

С помощью призванных дворников и городского несчастного подняли, уложили в извозничьи сани и повезли в ближайшую Ново-Екатерининскую больницу, но он дорогою, не приходя в сознание, умер.

Газеты отметили этот факт под заглавием «Несчастный случай», каким и представили это дело местной полиции, не знавшей закулисных сторон дела.

Заметка эта прошла незамеченной, тем более, что в этот же день московские газеты по-

местили обширное описание самоубийства купеческого сына Ивана Корнильевича Алфимова в одном из веселых притонов Москвы.

Репортеры в этом случае не придали этому самоубийству романтического характера в погоне за традиционным пяточком; происшествие само по себе действительно имело этот характер.

В заметке рассказывалось, что молодой человек покончил с собой выстрелом из револьвера в том самом притоне, откуда год тому назад бежала завлеченная обманом жертва Клавдия Васильевна Дроздова и из боязни быть вновь возвращенной в притон бросилась с чердака трехэтажного дома на Грачевке и была поднята с булыжной мостовой без признаков жизни.

Самоубийство Алфимова ставили в ближайшую связь с этим происшествием, так как покойная Дроздова была девушка, которую он любил и на которой ему не разрешил жениться его отец, известный петербургский финансовый деятель и миллионер.

Последнее, как известно нашим читателям, несколько расходилось с истиной, но в

общем связь между самоубийством Дроздовой и молодым Алфимовым существовала.

Читатель, вероятно, помнит, какое страшное впечатление произвела на Ивана Корнильевича случайно прочтенная им заметка о самоубийстве Клавдии Васильевны Дроздовой.

Граф Стоцкий, с присущим ему апломбом, успел убедить его, что дело шло о самоубийстве тезки и однофамилицы Клодины.

Находясь, видимо, под влиянием своего ситительного друга, молодой Алфимов поверил и успокоился.

Он снова окунулся в водоворот веселой петербургской жизни, особенно после происшедшей с ним катастрофы, когда он принужден был признаться в произведенной им растрате и был изгнан отцом из дома с наследованным после матери капиталом.

Капитолина Андреевна оказалась права относительно способностей своей старшей дочери Кати и не таких, как молодой Алфимов, не только забирать в руки, а с руки на руку перекидывать.

Иван Корнильевич вскоре сильно привя-

зался к молодой девушке и ходил отуманенный ее ласками, часто перемешанными с капризами.

Он совершенно позабыл не только о Клодине, но и о своей последней, казалось ему, безумной любви к Елизавете Петровне Дубянской, ставшей госпожой Сиротининой.

Проектированная графом Сигизмундом Владиславовичем заграничная поездка состоялась. С ним вместе отправились граф Вельский, барон Гемпель, Кирхоф и молодой Алфимов, а с последним ставшая с ним неразлучной Екатерина Семеновна Усова.

Граф Стоцкий первое время восстал против проекта своего молодого друга взять с собою Катю, доказывая ему, что ехать за границу с женщиной все равно, что отправиться в Тулу со своим самоваром.

Но Иван Корнильевич стоял на своем, и граф, скрепя сердце, согласился.

Какое-то предчувствие говорило ему, что эта «баба ему дело испортит».

Он утешался, впрочем, одним, что Екатерина Семеновна была тоже в его руках и не посмеет отступить от даваемых ей им ин-

струкций.

Предчувствие, однако, не обмануло его в этот раз, хотя порча дела произошла со стороны, совершенно не ожидаемой для графа Стоцкого.

Как-то раз оставшись вдвоем — они жили в одном из лучших отелей Ниццы — Екатерина Семеновна совершенно случайно вспомнила увлечение своего возлюбленного белокурой Клодиной.

— Она некрасиво поступила со мной... — заметил Иван Корнильевич.

— Ну, что поминать лихом покойную, — отвечала Екатерина Семеновна.

— Как покойную? — дрожащим голосом спросил Алфимов.

— Разве ты не знаешь, что она покончила жизнь самоубийством в Москве?

И Екатерина Семеновна, ничего не подозревая, рассказала историю жизни Клодины за последние дни в Петербурге, об увозе ее в Москву и описанном в газетах смертельном прыжке молодой девушки с чердака трехэтажного дома на мостовую.

— Так это была она? — сказал весь блед-

ный Иван Корнильевич, но тотчас оправился и не произнес более ни одного лишнего слова.

На другой день он исчез из Ниццы, бросив своим товарищам по путешествию свою подругу жизни.

Он с утренним поездом поехал в Россию и через несколько дней был уже в Москве.

В Белокаменной он принялся за тщательные розыски и с помощью денег вскоре разузнал всю историю бросившейся на мостовую «жертвы веселого притона», памятную для местной полиции.

Матильда Карловна, хотя по суду и была лишена права быть хозяйкой учреждения, которое она скромно именовала «нечто, вроде ресторана», но сумела передать его фиктивно своей бедной родственнице, оставшись негласной его хозяйкой.

Молодой Алфимов поехал туда.

Из рассказов «пансионерок» Матильды Карловны, которых он в этот вечер положительно залил шампанским, Иван Корнильевич узнал все подробности самоубийства Клодины, а Ядвига, как звали брюнетку, с первых



шагов Клавдии Васильевны в «притоне» принявшая в ней участие — показала ему даже фотографическую карточку, оставшуюся в узелке несчастной, которую молодая девушка до сих пор без слез не могла вспомнить.

Карточку эту, как память о покойной, Ядвига хранила у себя в комодке.

Сомнения не было.

Клодина была верна ему, Алфимову, до самой смерти.

Он пригласил Ядвигу распить с ним наедине бутылку шампанского и после того, как бутылка была опорожнена, удалил молодую девушку под каким-то предлогом из кабинета.

Вернувшись, Ядвига застала тароватого гостя распростертого на ковре кабинета с простреленным черепом.

## XXVII

### «СУЖЕНОГО КОНЕМ НЕ ОБЪЕДЕШЬ»

Прошло полгода.

Судебное дело о самоубийстве Ивана Корнильевича Алфимова окончилось утверждением в правах наследства после него его сестры, графини Надежды Корнильевны Вельской.

Наследственное имущество составляло капитал в шестьсот тысяч рублей, хранившийся в государственном банке под именной распиской отделения вкладов на хранение, найденной в кармане самоубийцы.

Более двухсот тысяч рублей он уже успел прожить — или, лучше сказать, ими успели поживиться граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий и его сподвижники.

Получение наследства графиней спасло ее почти от нищеты или, в лучшем случае, от зависимости от Корнилия Потаповича, потому что все ее состояние, составлявшее ее приданое, было проиграно и прожито графом Петром Васильевичем, который ухитрился спустить и большое наследство, полученное им после смерти его отца, графа Василия Сергеевича Вельского.

Дом в Петербурге, где жила графиня, оказался обремененным двумя закладными, кроме долга кредитного общества, и к этому времени закладные были просрочены, и бедная графиня могла лишиться последнего собственного крова.

Быть может, и полученные ею шестьсот

тысяч пошли бы на безумную страсть ее мужа, бесстыдно эксплуатируемого его «другом» графом Стоцким, так как графиня Надежда Корнильевна, по чисто женской логике, отказывая своему мужу в любви и уважении, не решалась отказывать ему в средствах, передав ему все свое состояние.

Ей казалось, что этим она успокаивает свою совесть, возмущенную ложной клятвой, данной перед алтарем по принуждению ее названного отца.

Но, увы, через несколько дней после получения ею известия о доставшемся ей наследстве после покончившего с собою самоубийством ее брата в петербургских газетах появилось сообщение из Монте-Карло о самоубийстве в залах казино графа Петра Васильевича Вельского, широко перед этим жившего в Париже и Ницце, ведшего большую игру и проигравшего свои последние деньги в рулетку.

Надежда Корнильевна, нельзя сказать, чтобы встретила спокойно известие о трагической смерти ее мужа.

Ее верная горничная Наташа нашла ее без чувств в будуаре, а около нее валялась прочи-

танная ею газета.

Произошло ли это от того, что она все же привыкла считать графа близким себе человеком, или же от расстройства нервов, чем графиня особенно стала страдать после смерти своего сына, родившегося больным и хилым ввиду перенесенных во время беременности нравственных страданий матери и умершего на третьем месяце после своего рождения — вопрос этот решить было трудно.

Испугавшаяся Наташа бросилась за доктором и почему-то фатально вспомнила о Федоре Осиповиче Неволине.

Он оказался дома и через полчаса уже всеми доступными его науке средствами приводил в чувство безумно любимую им женщину.

Обморок продолжался более часу.

Наконец Надежда Корнильевна пришла в себя и в наклонившемся над ее постелью человеке узнала Неволина.

— Вы здесь, зачем? — вскрикнула она.

— Я здесь как врач около больной, — спокойно, настолько, насколько это было возможно в его положении, отвечал Федор Осипович.

пович, хотя это «зачем» больно резануло его по сердцу.

— А... — произнесла больная и закрыла глаза.

Тяжелый вздох против воли вырвался из груди Федора Осиповича.

Он отдал некоторые распоряжения относительно ухода за больной присутствовавшей в спальне Наташе и вышел с грустно наклоненной головой.

Чувствительная девушка проводила его сочувственным взглядом и даже метнула взгляд укоризны на лежавшую с закрытыми глазами больную графиню Надежду Корнильевну.

На другой день вечером Федор Осипович снова заехал к графине Вельской.

— Как здоровье графини? — спросил он у отворившего ему дверь лакея.

— Их сиятельство сегодня встали и чувствуют себя, как кажется, лучше.

— Доложи, что приехал доктор. Не пожелает ли графиня меня принять?

— Слушаюсь-с, — сказал лакей и удалился, оставив доктора Неволлина в зале.

Мы уже говорили, что Федор Осипович был почему-то твердо уверен, что безумная любовь, питаемая им к подруге своего детства и разделяемая ею не только в прошлом, но и в настоящем, должна увенчаться браком.

Смерть графа Вельского, о которой он узнал тоже из газет даже ранее Надежды Корнильевны, нисколько не поразила его.

Эта смерть — так сложилось его внутреннее убеждение — была неизбежна, она устраняла последнее препятствие к соединению любящих сердец.

Как-то особенно сладко было ощущать Неволину висевший у него на груди медальон графини Вельской.

Он, как сумасшедший, стремглав помчался на призыв Наташи к почувствовавшей себя дурно графине Надежде Корнильевне и вдруг...

Холодное, почти тоном упрека сказанное вчера молодой женщиной «зачем» леденило мозг Федора Осиповича.

«Ужели она теперь не примет меня, — неслось в его голове, в ожидании возвращения лакея, — меня, который любит ее всем серд-

цем, жизнь которого не полна без нее, и для которой я готов ежеминутно пожертвовать этой жизнью?»

Федору Осиповичу казалось, что лакей не возвращался целую вечность.

Наконец он появился и почтительно произнес:

— Ее сиятельство вас просит.

Неволин облегченно вздохнул.

Графиня Надежда Корнильевна встретила его весьма приветливо.

Она была еще бледна после вчерашнего обморока, но в общем состояние ее здоровья оказалось удовлетворительным.

Не будучи в состоянии забыть вчерашнее роковое «зачем», Неволин вел себя более, чем сдержанно, и начал беседу с графиней только как с пациенткой.

Она, видимо, поняла это сама и перевела разговор на более общие темы.

— Я только сегодня получила официальное уведомление о смерти моего мужа и о том, что он уже и похоронен там, — между прочим сказала графиня.

Федор Осипович молчал, опустив голову.

— Я и не знаю, перевозить ли его тело сюда, или же не тревожить его праха?

— У него здесь в Петербурге не осталось после смерти отца никаких близких, кроме вас, — сказал Неволин, с трудом произнося последние слова.

— Да, он последний в роде, родственников у него нет... Может быть, впрочем, дальние... Я не знаю... Вы говорите: «Кроме меня»... Это и составляет для меня вопрос. Если я не перевезу его тело, меня осудит общество, если же я исполню всю эту печальную церемонию, то должна буду лицемерить... Я вам как старому другу должна признаться, что известие о его смерти поразило меня лишь неожиданностью... Успокоившись теперь, я не нахожу в сердце к нему жалости, несмотря на то, что он был отец моего милого крошки, которому Бог так мало определил пожить на этом свете... Я не любила графа, выходя за него; он не сумел даже заставить меня к нему привыкнуть... Притворяться убитой горем на его похоронах я не была бы в силах.

Она остановилась.

Федор Осипович продолжал сидеть молча.



— Вам может показаться с моей стороны бессердечным, что я так говорю все это на другой день по получении известия о смерти мужа, да еще такой страшной, трагической смерти, но что делать, если он сам сделал меня по отношению к нему такой бессердечной...

— Я полагаю, графиня, что в Петербурге никого не найдется, кто бы решился вас осудить за это... Слишком хорошо знали вашу жизнь с графом или, лучше сказать, слишком хорошо знали его жизнь...

— Как знать... Но если и осудят меня, Бог с ними... Я была так далека от них всех и останусь далека... Друзья же мои, их немного, меня знают... — она как-то невольно протянула руку Федору Осиповичу.

Тот почтительно поцеловал эту руку, хотя ему стоило больших усилий эта почтительность.

С этого дня доктор Неволин стал довольно частым гостем графини Вельской.

Он оказался правым.

Общество не осудило графиню Надежду Корнильевну за бессердечность к своему му-

жу, оставленному ею лежать в чужой земле.

Покойный граф слишком уже бравировал своим презрительным отношением к разоренной им жене, чтобы на самом деле мог найтись человек, в котором смерть его вызвала бы сожаление, а хладнокровное отношение к ней вдовы — порицание.

— Он не знал о получении графиней наследства после брата, иначе он повременил бы годок разбивать свою пустую голову, — сказало даже одно почтенное в петербургском свете лицо, хотя и отличавшееся ядовитой злобою, но, быть может, этому самому обязанное своим авторитетом в петербургском обществе.

С его мнением почти всегда соглашались. Согласились и в данном случае.

Частые посещения доктора Неволина, уже успевшего сделаться «петербургской знаменитостью», вызвали было некоторые пересуды.

Злые языки заработали, но не надолго.

Через год после смерти в Монте-Карло графа Вельского Надежда Корнильевна вышла замуж за доктора Неволина.

Свадьба была очень скромная, хотя венчание происходило в церкви пажеского корпуса.

Сергей Павлович женился на Любови Аркадьевне Нееловой, урожденной Селезневой.

Судьбе главного нашего героя Николая Герасимовича Савина мы посвятим следующую, последнюю главу нашего правдивого повествования.

## **XXVIII В СИБИРЬ!**

**В** марте 1889 года в гостинице «Принц Вильгельм» в Берлине остановился отставной корнет Николай Герасимович Савин с женой, прибывший накануне из Москвы.

Савин привел с собою шестерку лошадей, которых поместил в конюшнях Бретшнейдера.

Здесь, в татерсале, он познакомился с барышником, евреем Зингером.

Новому знакомцу он заявил, что в Москве на конюшнях его матери стоят еще десять прекрасных рысаков, и жена его, оказавшаяся госпожой Мейеркот, подтвердила слова мужа и добавила, что она неоднократно каталась

на этих рысках и даже сама правила.

Зингер польстился на дешевую покупку и купил у Савина 16 лошадей — шесть, находившихся в Берлине, и десять в Москве — за 16 000 марок.

Для того, чтобы дать Савину возможность привезти лошадей из Москвы, Зингер дал ему 6000 марок.

К величайшему удивлению своему, он встретил Савина через несколько дней на улице.

— Разве вы не уехали? — спросил.

В ответ на это Савин объяснил ему, что «жена» его, она же госпожа Мейеркорт, ужасно расточительна и растратила все деньги на покупки, но если Зингер выдаст ему еще 2000 марок, то он, Савин, сейчас выедет в Москву.

Зингер согласился, но для того, чтобы жена не отняла снова у Савина деньги, Зингер хотел вручить ему их на вокзале перед отходом поезда.

Поезд ушел в положенный час, но не увез Савина, не явившегося на вокзал.

Зингер бросился в гостиницу, но оказалось, что Савин покинул гостиницу, забыв за-

платить по счету 249 марок и возвратить швейцару взятые у него 600 марок, оставив на память о себе сундук с двумя старыми книгами.

Госпожа Мейеркорт, кроме номера в гостинице «Принц Вильгельм», занимала еще номер в «Центральной» гостинице и потому могла «выехать» еще с большею легкостью.

Савин намеревался покинуть не только гостиницу, но и Берлин, но был арестован вместе со своею сожительницею.

Не чувствуя за собой никакой вины, Савин ужасно оскорбился арестом и так убедительно сумел доказать свою невиновность, что был освобожден.

Так как при нем было найдено 2800 марок (правда, не в кармане, а в чулке, но все-таки при нем), то он и мог доказать, что не имел никакой надобности скрываться, имея возможность уплатить все по счету.

Первым делом освобожденного Савина было обратиться к редакциям газет с требованием поместить опровержение известий, «позорящих» его честь.

Некоторые редакции не согласились, и то-

гда он явился туда лично и обещал прислать к редакторам своих секундантов.

Но пока Савин восстанавливал свою опороченную репутацию, берлинская полиция снеслась с полицией других европейских столиц и сочла себя вынужденною, на основании добытых сведений, арестовать Савина и его сожительницу вторично.

На этот раз их не освободили, и они 26 августа (7 сентября) 1889 года предстали перед судом Берлинского ландгерихта.

Савин обвинялся во многократных обманах, в попытках к мошенничеству, в угрозах к редакторам газет и, наконец, в нарушении таможенных правил, так как в Ахене он заявил таможене, что везет свою шестерку лошадей в Париж.

Госпожа Мейеркорт обвинялась в содействии Савину в его мошенничествах.

Выдаваемая Савиным за его жену госпожа Мейеркорт, урожденная Швелдрун, была опереточною певицей и вышла замуж за московского «банкира», а в настоящее время, когда муж в Америке, является «невестой» Савина, за которого, конечно, выйдет замуж, когда

брак с мужем будет расторгнут.

Госпожа Мейеркорт, высокая, стройная блондинка, с замечательно бледным лицом, возбуждала среди мужчин еще больший интерес, чем Савин среди дам.

На вопрос президента суда был ли Савин осужден раньше за обманы в Брюсселе и Париже, Николай Герасимович заявил, что это неправда.

Действительно, он осужден был в Брюсселе, но только за то, что оскорбил должностных лиц, а в Париже был арестован по подозрению в сношениях с нигилистами.

Франция должна была выдать его России, но он в дороге бежал, «что в России делают все арестованные».

Бежав в Дуйсбург, он направился в Пешт, оттуда в Венецию, где посетил своего «друга» Дон-Карлоса, испанского претендента.

В то время из Болгарии ушел Баттенберг, и Савин заявил своему «другу», что он намерен отправиться в Болгарию и поработать там для России. Дон-Карлос одобрил этот план и дал ему 10 000 франков.

С французским паспортом на имя графа Ту-

Луза де Лотрека Савин прибыл в Софию и заявил министрам, что вследствие своей «близости» с французскими капиталистами, он может добыть для Болгарии миллионы.

— Разве вы могли добыть денег? — спросил его президент.

— Нет, но в интересах России, я хотел сделаться претендентом на болгарский престол и надеялся, что русское правительство наградит меня за это.

В Софии Стамбулов с товарищами признали его «претендентом», и он в качестве такового отправился в Константинополь.

В Константинополе у него было столкновение с обер-полицей-мейстером, которого он вынужден был «побить»; если бы этого случая не было, «то Болгария принадлежала бы теперь России». Он русский патриот и никогда не был нигилистом.

Таковы объяснения, которые дал Савин в берлинском суде.

Что касается последнего обвинения, Николай Герасимович не признал себя виновным. Зингер — еврей, ему верить нельзя, «у нас в России им не верят».



Он получил с него вовсе не 6000 тысяч марок, а всего четыре тысячи, швейцара в гостинице он тоже не обманывал, и долг образовался оттого, что швейцар уплачивал за него, Савина, мелкие расходы.

Один из свидетелей подтвердил действительно, что Зингер выплатил Савину не 6000 тысяч марок, а только четыре тысячи.

В последнем своем слове Савин сказал:

— Перед судом я всегда говорю правду, но не считаю обязанностью говорить правду полиции, которая впутывается в дела, которые ее совсем не касаются.

В публике при этих словах раздался смех.

— Какое дело полиции до моих споров с Зингером? У нас в России это гораздо лучше: там дадут полиции на водку, и дело в шляпе.

Зал заседания охватывает гомерический хохот.

Савин чрезвычайно доволен своим спичем, очень хорошо зная, что чем более он будет клеветать на свое отечество, тем снисходительнее к нему отнесется немецкий суд.

Еще лучше, чем Савин, отличился его защитник Фридман.

По его мнению, прокурор неверно охарактеризовал подсудимого.

Савин не мошенник, это просто легкомысленный, заносчивый славянин, малообразованный, некультурный полуазиат, отправляющийся в Болгарию, чтобы сделаться претендентом, и наделяющий турецких пашей затрещинами просто для удовольствия.

Такую «скобелевскую натуру» нельзя считать простым обманщиком.

Он ни в чем не виноват и его следует оправдать.

Подсудимый — только человек, который думал, что с помощью затрещины и давания на водку можно прожить век и возвратиться в отечество с большим запасом опыта.

Суд действительно оправдал обоих подсудимых, но Савина не освободил от ареста, а передал в распоряжение полиции для выдачи русскому правительству.

Доставленный из-за границы этапным порядком в Москву, Савин вскоре предстал там перед судом по обвинению в целом ряде мошенничеств.

Присяжные заседатели вынесли ему обви-

нительный вердикт, и по приговору московского окружного суда он был сослан в Томскую губернию, где местом его жительства был назначен Нарымский округ.

Очутившись в глухой деревне, Савин ходатайствовал о разрешении ему проживать в Томске, где бы он мог подыскать себе подходящие занятия.

В этой просьбе ему было отказано.

В Москве он поручил господину Наумову продажу своего движимого имущества и взыскание денег с разных лиц, но их не получил и решил отправиться в Москву за деньгами, чтобы вернуться обратно и открыть на эти деньги какое-нибудь торговое предприятие.

По дороге в Москву, в вагоне Савин познакомился с купцом Жилиевым, ведущим в Козлове и Ельце крупную торговлю хлебом.

На вопрос Жилиева, с кем он «имеет честь говорить», Савин назвал себя Морозовым и заявил, что едет в Рязск, где думает закупить на козловской ярмарке лошадей для продажи их за границей.

Жилиев предложил ему ехать с ним в Коз-

лов на ярмарку, где у него много знакомых ба-  
рышников, у которых можно выгодно купить  
лошадей, о деньгах же он не советовал ему  
особенно беспокоиться, так как он может их  
ему ссудить.

Савин отправился с Жилиевым на ярмарку  
в город Козлов, где взяв у последнего 920 руб-  
лей, начал скупать лошадей, которых отдавал  
на прокормление.

Оставив себе из взятых у Жилиева денег  
280 рублей, он отправился в Рязск, где, выда-  
вая себя за Морозова, занимался коммерче-  
ским оборотом.

В это время до сведения администрации  
дошли слухи, что Савин бежал из Сибири и  
проживает в Рязске.

Тотчас же были приняты все меры к ро-  
зыску его, и он был арестован.

Рязанский окружной суд, в котором по-  
следний раз судили нашего героя, после про-  
должительного совещания вынес приговор,  
по которому Савин в мошенничествах был  
оправдан, в побеге же из места ссылки был  
признан виновным и приговорен к заключе-  
нию в тюрьме на 3 месяца, а по отбытии этого

наказания должен быть возвращен на место ссылки.

Эти и подобные вести о похождениях корнета Савина, имя которого стало чуть ли не нарицательным как «ловкого мошенника», доходили по газетам до его петербургских знакомых, среди которых семья Ястребовых, Долинских и Сиротининых сохранили о нем хорошую память.

Дальнейшая жизнь «Героя конца века» и «Современного самозванца» могла служить, действительно, обвинительным материалом лишь для составленных против него обвинительных актов, — некоторые из них были очень обширны, — но не для романа, который мы и заканчиваем этими строками.

В его мошеннических проделках, преимущественно на почве имущественных прав, совершенных им вследствие наступившего безденежья и сознания полной своей неспособности и неподготовленности к какому-либо труду в борьбе за свое жалкое существование, не было ничего романтического.

Появлявшиеся около него женщины были уже далеко не героинями романов, а, выража-

ясь языком тех же обвинительных актов, лишь «пособницами в преступлениях».

Нельзя, впрочем, не сказать, что в Савине погибла недюжинная русская натура, извращенная с малых лет почти беспочвенным воспитанием, которое давали своим детям представители нашего богатого офранцуженного старого барства.

# Примечания

*Это была дочь светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, всесильного временщика в царствование Екатерины I, сосланного затем в Березов вместе с семьей. Последняя была амнистирована Анной Иоанновной.*  
(Примеч. авт.)

[^^^]



*Россия и Франция в первой половине XVIII в.*  
Русская старина. 1897. (Примеч. авт.)

[^^^]

*Речь идет о Стефане Яворском (1658–1722) — местоблюстителе патриаршего престола с 1700 по 1721 год. «Камень веры» — полемическое сочинение против лютеранства.*

[^^^]

*Васильчиков А.* Семейство Разумовских. (Примеч. авт.)

[^^^]

## 5

*Андреевской кавалерии — то есть ордену Андрея Первозванного, учрежденному Петром I в 1699 году, — соответствовала голубая (бликитная) лента через плечо.*

[^^^]

*Кировоград с 1924 года.*

[^^^]

Соловьев С. М. История России. (Примеч. авт.)

[^^^]

*Ксения Петербургская канонизирована в 1989 году.*

[^^^]

Соловьев С. М. История России. (Примеч. авт.)

[^^^]



Хвала, слава, спасибо.

[^^^]

Часть сада, участок.

[^^^]

А ну, давай, ну-ка.

[^^^]